БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Робертсон Дэвис

# МЯТЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ

# ЧТО В КОСТЯХ ЗАЛОЖЕНО

# ЛИРА ОРФЕЯ

18+

Лауреат Премии генерал-губернатора и финалист Букеровской премии

# Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея

## Робертсон Дэвис

Аннотация
Робертсон Дэвис. Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея
Мятежные ангелы
- Второй рай I
- Новый Обри I
- Второй рай II
- Новый Обри II
- Второй рай III
- Новый Обри III
- Второй рай IV
- Новый Обри IV
- Второй рай V
- Новый Обри V
- Второй рай VI
- Новый Обри VI

Что в костях заложено
- Часть первая
- Часть вторая
- Часть третья
- Часть четвертая

Часть пятая
Часть шестая
Лира Орфея
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

## Аннотация

Робертсон Дэвис – крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной словесности. Его «Дептфордскую трилогию» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») сочли началом «канадского прорыва» в мировой литературе. Он попадал в шорт-лист Букера (с романом «Что в костях заложено», входящим в данный том), был удостоен главной канадской литературной награды – Премии генерал-губернатора, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика.

Итак, вашему вниманию предлагается под одной обложкой вся «Корнишская трилогия», последовавшая за «Дептфордской». Пока Фонд Корниша разбирается с наследством богатого мецената и коллекционера Фрэнсиса Корниша, его тайную биографию излагают даймон Маймас («даймоны – олицетворение совести художника, они подпитывают его энергией…

идут рука об руку… с судьбой») и ангел биографий Цадкиил Малый («именно он вмешался, когда Авраам собирался принести в жертву Исаака; так что он еще и ангел милосердия»); а в биографии этой была и служба в разведке, и подделка полотен старых мастеров из самых благородных соображений, и семейные тайны во всем их многообразии. Апофеозом же деятельности Фонда Корниша становится небывало амбициозный проект: завершить неоконченную оперу Э. Т. А. Гофмана «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Великая сила искусства – или заложенных в самом сюжете архетипов – такова, что жизнь всех причастных к проекту начинает подражать событиям оперы. А из чистилища за всем этим наблюдает сам Гофман, в свое время написавший: «Лира Орфея открывает двери подземного мира»…

# Робертсон Дэвис
# Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея

Robertson Davies
The Cornish Trilogy:
THE REBEL ANGELS
Copyright © Robertson Davies, 1981
WHAT'S BRED IN THE BONE
Copyright © Robertson Davies, 1985
THE LYRE OF ORPHEUS
Copyright © Robertson Davies, 1988
This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency
All rights reserved
© Т. П. Боровикова, перевод, примечания, 2012, 2013
© Д. Н. Никонова, перевод стихов, 2012, 2013
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство Иностранка®
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

* * *

Робертсон Дэвис – один из величайших писателей современности.

***Малькольм Бредбери***

Робертсон Дэвис – один из эрудированных, занимательныйх и во всех отношениях выдающихся атворов нашего времени.

***The New Yirk Times Book Review***

«Мятежные ангелы» – поразительный и поразительно остроумный роман. Дэвис вновь подтвердил свою репутацию первоклассного рассказчика с великолепным чувством комического.

***Newsweek***

«Что в костях заложено» – изысканная пища для ума и отменное развлечение для чувств.

***Time***

«Лира Орфея» – идеальный роман для того, чтобы расслабиться у камина, для обсуждения с близкими, для чтения вслух.

***The Boston Globe***

Доподлинный шедевр, который покорит читателей всего мира, – ничего другого и не ждали от канадского живого классика и виртуоза пера.

***Chicago Tribune Books***

Робертсон Дэвис всегда был адептом скорее комического, чем трагического мировоззрения, всегда предпочитал Моцарта Бетховену. Это его сознательный выбор – и до чего же впечатляет результат!

***The Milwaukee Journal***

Кем Данте был для Флоренции, Дэвис стал для провинции Онтарио. Из истории жизни этих людей, с их замахом на покорение небесных высот, он соткал увлекательный вымысел.

***Saturday Night***

Психологизм для Дэвиса – это все. Он использует все известные миру архетипы, дабы сделать своих героев объемнее. Фольклорный подтекст необъятен… Причем эта смысловая насыщенность легко воспринимается благодаря лаконичности и точности языка.

***Книжное обозрение***

# Мятежные ангелы

# Второй рай I

## 1

— Парлабейн вернулся.

— Что?

— Вы не слыхали? Парлабейн вернулся.

— О боже!

Я спешила по длинному коридору, продираясь сквозь болтовню студентов и сплетни преподавателей, и вновь услышала то же в разговоре двух сотрудников колледжа.

— Вы, наверно, не знаете про Парлабейна?

— Нет. Что я должен знать?

— Он вернулся.

— Сюда?

— Ну да. В колледж.

— Не насовсем, я надеюсь?

— Кто знает? С Парлабейном никогда не скажешь.

То, что надо. Мне будет что сообщить Холлиеру, когда мы встретимся после почти четырехмесячной разлуки. В нашу последнюю встречу он стал моим любовником, — во всяком случае, мне лестно было так думать. Несомненно, он стал

предметом моей мучительной любви. Все летние каникулы я не находила себе места, маялась и надеялась на открытку из Европы, из неведомых краев, где скитался Холлиер. Но он не из тех, кто посылает открытки. И не из тех, кто много говорит о своих чувствах. Но и на него порой находит. В тот день, в начале мая, когда он рассказал мне о своем последнем открытии, а я — охваченная жаждой служить ему, завоевать его благодарность и, может быть, даже любовь — совершила непростительное и выдала ему тайну *бомари*, он, кажется, взмыл на крыльях чувства и именно тогда заключил меня в объятия, уложил на этот ужасный диван у себя в кабинете и овладел мною под скрип пружин, в путанице одежды, в страхе, что нас кто-нибудь застанет…

На этом мы расстались: он — смущенный, я — исполненная изумления и преданности, а сейчас мне предстояло снова его увидеть. Мне нужна была вступительная реплика.

Так — два этажа вверх по винтовой лестнице, а потолки в колледже Святого Иоанна такие высокие, что это больше похоже на три этажа. Почему я спешила? Из желания поскорей его увидеть? Конечно, я хотела этого, но и страшилась. Как приветствовать своего профессора, своего

научного руководителя, которого ты любишь, который имел тебя на старом диване, на ответную любовь которого ты надеешься? Я начала думать о себе во втором лице — верный признак, что мой английский костенеет, становится чересчур ходульным. Я встала, запыхавшись, на лестничной площадке, где единственная дверь вела в его комнаты, а на двери висело старое рукописное объявление: «Профессор Холлиер у себя. Стучите и входите». Я повиновалась и узрела его за столом, подобного Данте (будь у Данте получше с передними зубами) или, быть может, Савонароле (будь Савонарола красивее). Запинаясь — у меня слегка кружилась голова, — я выпалила свою новость:

— Парлабейн вернулся!

На такой эффект я даже не рассчитывала. Он выпрямился в кресле, и хоть челюсть у него не отвисла, но мышцы ее заметно ослабли, а на лице появилась та сосредоточенность, которую я в нем любила даже больше улыбки (улыбка ему не очень шла).

— Вы сказали, что Парлабейн вернулся?

— Да, об этом говорят в коридорах.

— Боже, какой ужас!

— Почему ужас? Кто такой Парлабейн?

— Боюсь, вы и сами скоро узнаете. Хорошо отдохнули за лето? Как успехи в работе?

Ни намека на приключение на диване, который стоял тут же и казался мне самой важной вещью в комнате. Лишь сухие профессорские вопросы о работе. Конечно, ему плевать, как я отдохнула. Его интересует только моя работа — крохотная, ничтожная составная частица его собственной. Он даже не предложил мне сесть, а я не так воспитана, чтобы без приглашения садиться в присутствии преподавателя. Так что я начала рассказывать про свою работу; через несколько минут он заметил, что я стою, и махнул рукой в сторону стула. Мой отчет его удовлетворил.

— Я устроил так, чтобы в этом году вы работали тут. Конечно, у вас где-то есть свой закуток, но тут вы сможете разложить книги, бумаги, оставлять вещи на ночь. Я очистил для вас вот этот стол. Мне нужно, чтобы вы были рядом.

Я затрепетала. Трепещут ли еще девушки в наше время, когда их любовники выражают желание, чтобы они были рядом? Я — да. Но тут…

— Знаете зачем?

Я покраснела. Я хотела бы не краснеть, но в двадцать три года я все еще краснею. Я не смогла выговорить ни слова.

— Не знаете, конечно. Откуда вам. Но я скажу, и вы будете прыгать от счастья. Сегодня утром умер Корниш.

О, отчаянье неразделенных чувств! Диван и то, что он означает, совсем ни при чем.

— Я, кажется, не знаю, кто это.

— Фрэнсис Корниш, несомненно, самый крупный… был самым крупным покровителем, ценителем и знатоком искусства, когда-либо жившим в Канаде. Он был невероятно богат и не жалел денег на картины. Они все отойдут Национальной галерее; я знаю, потому что я исполнитель его завещания. Он также был весьма сведущим коллекционером книг, и они отойдут университетской библиотеке. Но он был также и не очень сведущим коллекционером рукописей; он сам не знал своих богатств, его так завораживали картины, что времени на прочее у него уже не оставалось. Рукописи тоже отойдут университетской библиотеке. И одна из них ляжет в фундамент вашей научной карьеры, что и мне, надеюсь, тоже будет полезно. Как только мы заполучим эту рукопись, вы приступите к серьезной работе — работе, которая должна будет поднять вас на несколько ступеней академической лестницы. Эта рукопись ляжет в основу

вашей диссертации. И это будет не какой-нибудь плесневелый, засаленный обрывок, с какими приходится иметь дело большинству студентов. Она может стать бомбой, небольшой сенсацией в исследованиях эпохи Возрождения.

Я не знала, что сказать. Мне хотелось воскликнуть: неужели я опять всего лишь ваша студентка, после того что произошло на этом диване? Как вы можете быть таким бесчувственным, профессором до мозга костей? Но я знала, что он ожидает услышать, и произнесла нужные слова:

— Замечательно! Просто потрясающе! А что это за рукопись?

— Я еще не знаю — знаю только, что она по вашей части. Вам понадобятся все ваши языки — французский, латынь, греческий и, может быть, придется еще подтянуть древнееврейский.

— Но что же это? То есть, если вы не знаете, что это за рукопись, почему она вас так интересует?

— Я могу только сказать, что она совершенно особенная и может произвести эффект… разорвавшейся бомбы. Но мне надо до обеда переделать много дел, так что поговорим потом. А вы за это утро перенесите сюда свои вещи и повесьте на дверь записку, что вы тут работаете. Рад был вас

снова увидеть.

С этими словами он зашаркал старыми шлепанцами по ступенькам, ведущим в большую внутреннюю комнату: она служила ему личным кабинетом, и там же за ширмой стояла его раскладушка. Я это знала, потому что однажды, в его отсутствие, заглянула туда. Он выглядит как тысячелетний старик, подумала я, но все эти академические волшебники — оборотни: если работа пойдет хорошо, через два часа он выпорхнет из этой двери, выглядя на тридцать вместо своих законных сорока пяти. Но сейчас он изображал Дряхлого Ученого Старца.

«Рад был вас снова увидеть»! Ни поцелуя, ни улыбки, даже руку не пожал! Разочарование пропитывало меня, словно яд.

Но у меня впереди много времени, и я буду работать во внешней комнате у Холлиера, постоянно у него на глазах. Время творит чудеса.

Я уже достаточно заразилась вирусом научного любопытства, чтобы ощущать и другую надежду, отчасти скрасившую мое разочарование. Что же это за рукопись, о которой он так ничего и не сказал?

## 2

После обеда, когда я раскладывала на столе во внешней комнате свои бумаги и прочие вещи, в дверь тихо постучали и вошел человек, который не мог быть никем, кроме Парлабейна. Всех остальных в колледже Святого Иоанна, кто ходил в таком виде, я знала. Он был в сутане или одеянии вроде монашеского, слегка похожем на маскарадный костюм, что выдавало в нем англиканина, а не католика. Но это не был ни один из преподавателей богословия нашего колледжа.

— Я брат Джон, или доктор Парлабейн, если вам так удобнее; профессор Холлиер у себя?

— Я не знаю, когда он вернется, но точно не раньше чем через час. Передать ему, что вы заходили?

— Дорогая, из ваших слов следует, что вы ожидаете моего немедленного ухода. Но я не тороплюсь. Давайте поболтаем. Кто вы?

— Я аспирант профессора Холлиера.

— И работаете в этой комнате?

— Да, с сегодняшнего дня.

— Значит, вы не простая аспирантка, раз вас допустили работать в такой близости к великому человеку. Ибо он — поистине великий человек.

Да, мой старый однокашник Клемент Холлиер стал поистине великим человеком средь тех, кто понимает, что он делает. Я полагаю, вы принадлежите к их числу?

— Я его аспирант, как я уже сказала.

— Но вас, несомненно, как-нибудь зовут, дорогая.

— Мисс Феотоки.

— О, какое имя! Бриллиант среди имен! Цветок во рту! Мисс Феотоки. Но, конечно, это еще не всё?

— Если уж вы так настаиваете, меня зовут Мария Магдалина Феотоки.

— Все лучше и лучше! Но какой контраст! Феотоки[1] — с отчетливым ударением на первое «о» — в сочетании с именем грешницы, из коей Господь наш изгнал семь бесов. Вы не канадка, я полагаю?

— Канадка.

— Ну конечно. Я забыл, что любая фамилия может оказаться канадской. Но вы, видимо, не так давно приехали в Канаду.

— Я тут родилась.

— Но ваши родители, надо полагать, нет. Отку-

---

**[1] Примечания: 1**

*Феотоки* — богородичный(ая), от *греч.* Theotokos — Богородица.

да же они приехали?

— Из Англии.

— А до Англии?

— А почему вы спрашиваете?

— Потому что я неизлечимо любопытен. А вы возбуждаете любопытство, дорогая. Очень красивые девушки — а вы, несомненно, знаете, что вы очень красивы, — возбуждают любопытство, но в моем случае, могу вас уверить, это любопытство благодушное, отеческое. Вы не можете быть «прекрасной английской розой». Вы нечто более загадочное. Это имя — Феотоки — означает «родительница Бога», так ведь? Вы не англичанка — нет, конечно нет. А посему я задаю вопрос в духе доброго христианского любопытства: где жили ваши родители до Англии?

— В Венгрии.

— Ага, вот оно! И несомненно, ваши почтенные родители имели мудрость унести оттуда ноги из-за беспорядков. Я не прав?

— Правы.

— Откровенность за откровенность. А имена — чрезвычайно важная вещь. Так что я вам расскажу, откуда взялась моя фамилия: она гугенотская, и я полагаю, что когда-то, очень давно, кто-то из моих предков умел красиво говорить и

таким образом заслужил это прозвище[2]. Через несколько поколений жизни в Ирландии оно превратилось в фамилию Парлабейн, а теперь, после еще нескольких поколений в Канаде, эта фамилия стала не менее канадской, чем ваша, дорогая. Думаю, глупо было бы полагать, что после пятисот поколений, прожитых где-то в другом месте, мы за один миг — за одну жизнь — становимся полностью канадцами, твердолобыми, деловитыми североамериканцами. Мария Магдалина Феотоки, я полагаю, что мы с вами станем очень добрыми друзьями.

— Да… Извините, мне нужно работать. Профессор Холлиер еще не скоро вернется.

— По счастливому стечению обстоятельств я располагаю нужным количеством времени. Я подожду. С вашего позволения, я устроюсь на этом старом, обшарпанном диване, которым вы не пользуетесь. Что за развалина! Клем никогда не замечал, что его окружает. В этой комнате он весь. И это, конечно, приводит меня в восторг. Я счастлив вновь припасть к лону старого доброго «Душка».

— Должна вас предупредить: декан не любит,

---

**[2] Примечания: 2**

Парлабейн выводит свою фамилию от французского «парле бьен» (parler bien) — «хорошо говорить».

когда наш колледж называют «Душком».

— Он такой серьезный человек! Будьте уверены, я никогда не совершу этой ошибки в его присутствии. Но, Молли — я буду звать вас Молли, это уменьшительное от Марии, — как, во имя присносущного Бога, декан может ожидать, что колледж Святого Иоанна и Святого Духа не будут называть «Душком»? Мне нравится название «Душок». Оно ласкательное, а я очень ласковый.

Он уже растянулся на столь памятном мне диване, и стало ясно, что избавления не жди, так что я замолчала и погрузилась в работу.

Но до чего прав Парлабейн! Действительно, в этой комнате весь Холлиер. И весь «Душок» тоже. «Душку» примерно сто сорок лет; он был построен в эпоху, когда университетская готика пожаром пылала в груди архитекторов. Архитектор «Душка» знал свое дело, так что здание нельзя назвать безобразным, но в нем множество странных закоулков и ничем не оправданных архитектурных излишеств. Вот и эти комнаты, в которых жил Холлиер, были расположены неудобно, как-то поперек здания. Чтобы попасть сюда, нужно было подняться на два этажа по винтовой лестнице; это были единственные комнаты на площадке, если не считать коридора, ведущего на хоры

часовни, к органу. Внешняя комната, в которой я работала, была большая, с двумя арочными готическими окнами, а вторая, в которой спал Холлиер, располагалась на три ступеньки выше и как бы за углом. Чтобы вымыть руки или воспользоваться уборной, нужно было спуститься на целый высокий этаж, а если Холлиер хотел принять ванну, ему приходилось тащиться в другое крыло здания — в овеянных веками традициях Оксфорда и Кембриджа. Архитектура была настолько готической, насколько этого можно было достичь в девятнадцатом веке. Но Холлиер, начисто лишенный чувства соразмерности, обставил комнаты древним хламом из дома своей матери: все, что стояло на ножках, шаталось, мягкая мебель была неприятно засалена, из нее там и сям лезла набивка. На стенах висели фотографии — студенческие группы ранних лет Холлиера в «Душке». Кроме книг, лишь одна вещь в комнате смотрелась уместно: огромная алхимическая реторта, из тех, что напоминают скульптуру пеликана работы художника-абстракциониста. Реторта стояла на шкафу; ее много лет назад подарил Холлиеру кто-то, не ведавший о его равнодушии к вещам. По нормальным меркам в комнатах Холлиера царил страшный хаос, но в

них была определенная соразмерность, даже своего рода гармония. Стоило перестать ужасаться беспорядку, запущенности и, не побоюсь этого слова, грязи, и в комнатах проступала странная красота, как и в самом Холлиере.

Парлабейн пролежал на диване почти два часа и, кажется, все это время не сводил с меня глаз. Мне нужно было уйти по своим делам, но я не собиралась оставлять его тут одного, так что я придумала себе работу и стала размышлять о Парлабейне. Как это он выведал обо мне так много за такое короткое время? Как ему удалось называть меня «дорогая» и ни разу не получить отпора? Да еще «Молли»! Он ломился к цели, как чугунный шар, но этот шар был покрыт слоем чего-то мягкого, маслянистого, и это обезоруживало собеседника. Я начала понимать, почему люди так расстраивались, узнав о возвращении Парлабейна.

Наконец явился Холлиер.

— Клем! Милый, дорогой Клем! Как я счастлив тебя видеть!

— Джон… Я слышал, что ты вернулся.

— Да, а как весь «Душок» счастлив меня видеть! Мне оказали поистине теплый прием — я все утро счищал с рясы изморозь. Но вот я здесь, в

обществе старого друга и очаровательной Молли, которая тоже станет мне дорогим другом.

— Ты уже познакомился с мисс Феотоки?

— Дражайшая Молли! Мы с ней отлично поболтали по душам.

— Ну что ж, Джон, давай зайдем ко мне и поговорим. Мисс Ф., я уверен, что вам нужно идти по делам.

«Мисс Ф.» — так он зовет меня в неофициальных разговорах; нечто среднее между официальным обращением и обращением по имени, которым он никогда не пользуется.

Они поднялись по ступенькам во внутреннюю комнату, а я поспешила вниз по винтовой лестнице, нутром чувствуя, что дело очень плохо. У меня впереди вовсе не тот чудесный семестр, которого я ждала и жаждала.

## 3

Я люблю приходить на работу рано; это значит быть за столом в полдесятого, потому что академические работники вроде нас начинают работу поздно и работают допоздна. Я открыла дверь внешней комнаты Холлиера, и меня окатила волна запаха. Так пахнет в комнате с закрытыми окнами, где спят не очень чистые

мужчины, — немного похоже на вонь из клетки льва в зоопарке. На диване растянулся крепко спящий Парлабейн. Он был почти полностью одет, только плотную монашескую рясу снял и укрылся ею вместо одеяла. Он со звериной чуткостью мгновенно услышал мое приближение, открыл глаза и зевнул.

— Доброе утро, дражайшая Молли.

— Вы что, всю ночь тут пробыли?

— Великий человек разрешил мне приклонить голову тут, пока в «Душке» не найдется для меня комната. Я забыл заранее предупредить казначея о своем прибытии. А теперь мне нужно помолиться и побриться — по-монашески, в холодной воде, без мыла, разве что в туалете оно найдется. Эти лишения смиряют меня.

Он натянул и зашнуровал пару больших черных ботинок, а потом достал из рюкзака, засунутого за диван, грязный мешок — видимо, с принадлежностями для мытья. Затем он вышел, бормоча что-то себе под нос — надо полагать, молитвы, — а я открыла окна и хорошенько проветрила комнату.

Я проработала, наверное, часа два, разложила бумаги и книги в нужном порядке на большом столе, воткнула в розетку шнур портативной

пишущей машинки, когда Парлабейн вернулся, волоча большой, покрытый оспинами кожаный чемодан, который выглядел так, словно его купили на распродаже в бюро находок.

— Дорогая, не обращайте на меня внимания. Я буду вести себя тихо как мышка. Только запихну свой сундук — не находите ли вы, что слово «сундук» больше всего подходит к такому старому чемодану? — вот сюда, в угол, чтобы не болтался у вас под ногами.

Он так и сделал, а затем снова устроился на диване и принялся читать, беззвучно шевеля губами, небольшую толстую черную книжечку. Надо полагать, снова молитвы.

— Простите, доктор Парлабейн, вы собираетесь пробыть тут все утро?

— Все утро, и весь день, и весь вечер. Казначей пока не нашел мне жилья, хоть и был так добр, что разрешил мне есть в общем зале. Если, конечно, это доброта — мои воспоминания о том, как кормят в «Душке», внушают некоторые сомнения.

— Но я работаю в этой комнате!

— Для меня будет огромной честью разделить ее с вами.

— Но это невозможно! Как я буду работать в

вашем присутствии?

— Служение науке требует уединения. О, как я вас понимаю! Но любовь к ближнему, дражайшая Молли! Не забывайте о любви к ближнему! Куда же я пойду?

— Я поговорю с профессором Холлиером!

— Я бы на вашем месте сначала хорошенько подумал. Да, возможно, что он велит мне уйти. Но есть некоторая вероятность — и притом немалая, — что он велит уйти вам, в ваш закуток, или как там называются эти чуланчики, отведенные аспирантам. Мы с профессором Холлиером очень старые друзья. Еще с тех пор, когда вас и на свете не было, дорогая.

Я так разозлилась, что не нашла ответа. Поэтому я сбежала и околачивалась в библиотеке, пока не прошло время обеда. Потом вернулась, решив попробовать еще раз. Парлабейн лежал на диване и читал бумаги из папки, взятой с моего стола.

— Добро пожаловать, милейшая Молли! Я знал, что вы вернетесь. Вы ведь не можете долго гневаться. С таким прекрасным именем — Мария, Матерь Божия, — вы, несомненно, само понимание и всепрощение. Но скажите мне, зачем вы так пристально изучаете этого монаха-расстригу, Франсуа Рабле? Видите, я заглянул в ваши бумаги.

Рабле вовсе не тот человек, которого я ожидал бы встретить в вашей компании.

— Рабле — одна из величайших недопонятых фигур эпохи Реформации. Я специализируюсь в том числе и на нем.

Как я себя ненавидела за то, что объясняюсь! Но у Парлабейна был чудовищный дар — он умел заставить меня оправдываться.

— Ах, так называемая Реформация. Столько шуму из-за таких мелочей! Действительно ли Рабле был из этих гадких, сварливых реформаторов? Неужели он был заодно с этим несносным Лютером?

— Он был заодно с этим в высшей степени почтенным Эразмом.

— Понимаю. Но все же он был скабрезен. И глубоко презирал женщин, если я правильно помню, хотя прошли годы с тех пор, как я читал его неуклюжий, грубо сплетенный роман о великанах. Но нам с вами нельзя ссориться; мы должны жить в братской любви. Со времени нашего последнего разговора я повидал нашего дорогого Клема, и он разрешил мне остаться тут. Я бы на вашем месте не стал его из-за этого дергать. Его ум, кажется, занят великими вещами.

Значит, он победил! Мне нельзя было уходить.

Он добрался до Холлиера первым. Он улыбнулся мне с видом довольного кота:

— Вы должны понять, дорогая, что мой случай — особый. Поистине, всю жизнь я был особым случаем. Но я нашел решение всех наших проблем. Взгляните на эту комнату! Несомненно, это комната средневекового ученого. Вон тот предмет на шкафу — алхимическая принадлежность, даже я это понимаю. Эта комната подобна келье алхимика в каком-нибудь тихом средневековом университете. И она полностью укомплектована! Вот сам великий ученый, Клемент Холлиер. А вот вы — необходимая принадлежность любого алхимика, его *soror mystica,* или подруга по научным занятиям, выражаясь современным языком. Но чего же тут не хватает? Разумеется, нужен еще *famulus,* доверенный слуга ученого, его преданный ученик и безропотный прислужник. В этом крохотном уголке Средневековья я беру на себя роль фамулюса. Вы поразитесь — сколько от меня пользы. Видите, я уже переставил все книги в шкафу, упорядочив их по алфавиту.

Черт! Я ведь сама хотела это сделать. Холлиер никогда не может ничего найти, такой у него беспорядок. Мне хотелось заплакать. Но я не собиралась плакать перед Парлабейном. Он, однако,

не умолкал:

— Надо полагать, в этой комнате убирают раз в неделю? И Холлиер так запугал уборщицу, что она не смеет ничего тронуть или передвинуть? Я буду убирать тут каждый день, чтобы комната была чистая, как… ну, не как свежевыпавший снег, конечно, но более или менее чистая, в той степени, какая терпима для ученого. Чрезмерная чистота — враг творчества, полета мысли. И еще я буду убираться для вас, дражайшая Молли. Я буду уважать вас, как должен *famulus* уважать *soror mystica* своего господина.

— Достаточно уважать, чтобы не рыться в моих бумагах?

— Возможно, не до такой степени. Я люблю знать, что происходит вокруг. Но что бы я ни нашел, дорогая, я вас не выдам. Если бы я выбалтывал все, что знаю, я бы никогда ничего не достиг.

Чего же это он достиг? Монах-оборванец, оправа очков починена изолентой! Но я тут же сама ответила на свой вопрос: он пролез в мой особый мир и уже отобрал у меня большую его часть. Я вызывающе взглянула Парлабейну в глаза, но он лучше меня умел играть в эту игру, и скоро я опять неслась вниз по винтовой лестнице, злая,

обиженная, растерянная.

Черт! Черт! Черт!

# Новый Обри I

## 1

Осень — наиболее созвучное мне время года; университет — наиболее созвучное обиталище. По опыту всех лет, когда я был студентом, а позже — преподавателем, я заметил, что в первый день учебного семестра всегда бывает хорошая погода. Шагая по кленовой аллее, ведущей к университетскому книжному магазину, я был, по-видимому, счастлив — настолько, насколько я вообще способен быть счастливым, а я по натуре склонен к счастью, или же к воодушевленному труду, что для меня одно и то же.

Встретил Эллермана и одного из немногих по-настоящему неприятных мне людей — Эркхарта Макварища. С тех пор как я видел Эллермана в прошлый раз, по его лицу стало гораздо заметнее, что у него рак.

— Вы на пенсии, однако начался семестр — и вы тут как тут, на прежнем пастбище, — сказал я. — Я думал, вы упорхнули куда-нибудь на греческие острова и там наслаждаетесь свободой.

Эллерман тоскливо улыбнулся, а Маквариш из-

дал сиплый звук, обычно заменяющий ему смех.

— Вы же знаете — уж кому и знать, как не вам, отец Даркур, что пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья — валяться в грязи[3].

И он снова засипел, в восторге от собственного остроумия.

Как это похоже на Макварища: сказать гадость бедняге Эллерману, который, что очевидно, смертельно болен, и мне — за то, что я священник. Макварищ считает, что ни один человек в здравом уме не имеет права быть священником.

— Я решил посмотреть, как выглядит университетский городок, когда меня в нем больше нет, — объяснил Эллерман. — А если правду сказать, мне захотелось посмотреть на юные лица. Я всю жизнь на них смотрел, вот и привык.

— Это серьезная слабость, — сказал Эрки Макварищ. — Никогда не позволяйте себе подсесть на чужую молодость. От зеленых яблок, того и гляди, понос прохватит.

Желание созерцать молодых — с умирающими это бывает, я часто такое вижу. Женщины любят смотреть на младенцев и все такое. Бедный Эллерман. Но он продолжал:

---

**[3] Примечания: 3**

*...пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья — валяться в грязи.* — Второе послание апостола Петра, 2: 22.

— Не только молодежь, Эрки. Людей постарше тоже. Знаете, университет — удивительно прекрасное сообщество. Здесь кого только не встретишь, и все выражают свое «я» гораздо свободней, чем если бы они были бизнесменами, адвокатами и тому подобное. По-хорошему об этом надо бы написать книгу. Я всегда хотел сам ею заняться, но я теперь вышел из игры.

— Уже пишут, — сказал Макварииш. — Вы что, забыли? Университет поручил Дойль написать его историю. Дойль на три года освободили от всех остальных обязанностей, дали ей бюджет, секретарей, ассистентов, чего только пожелала ее жадная душа историка. Выйдут три неподъемных тома унылого мусора, но кого это волнует? Главное, что у университета будет история.

— Нет, не будет; я совсем не о том говорил, — сказал Эллерман. — Я имел в виду рассказ о том о сем, прихотливо меняющий течение, с деталями и подробностями, которые никто никогда не подумает записать, но которые составляют самую ткань жизни. Что люди говорили неофициально, что делали, когда были не на параде, всяческие сплетни и слухи, без необходимости что-либо доказывать.

— Нечто вроде «Кратких жизнеописаний»

Обри[4], — сказал я бездумно, желая лишь сделать приятное Эллерману, который так плохо выглядел.

Он отреагировал неожиданно энергично. Чуть не подпрыгнул на месте.

— Да! Именно, совершенно верно! Нужен кто-то вроде Джона Обри, который слушает все, любопытствует обо всем, записывает торопливыми каракулями, не заботясь о стиле. Сорока научного мира, хватающая никем не оцененные безделицы. Да, этому университету нужен Обри. О, будь я только на десять лет моложе!

Бедняга, подумал я, он цепляется за жизнь, которая от него ускользает, и думает найти ее в пьянящей влаге сплетен.

— Чего же вы ждете, Даркур? — спросил Маквариш. — Эллерман же именно вас описал, до черточки. Сорока от научного мира; никаких комплексов по поводу стиля. Вы именно то, что надо. Вы сидите вороном у себя в башне и видите сверху весь университет. Эллерман только что придал смысл вашему существованию.

---

**[4] Примечания: 4**

*Нечто вроде «Кратких жизнеописаний» Обри…* — Джон Обри (1626–1697) — английский писатель и коллекционер, автор книги «Краткие жизнеописания», сборника занимательных биографий великих англичан.

Макварiш всегда напоминает мне девушку из сказки — ту, которая с каждым словом роняла изо рта жабу. Я не знаю другого человека, который умел бы вставить в обычный разговор столько гадостей. И еще он умел заставить невинных бедняг вроде Эллермана поверить, что это — остроумие. Эллерман засмеялся.

— Даркур, а ведь и правда! Считайте, что ваша судьба решилась! Новый Обри — вот кем вы должны стать.

— Можете начать с нашего Из-Дерьма-Конфетку, — сказал Макварiш. — Он, без сомнения, самая странная рыба даже в нашем странном пруду.

— Не знаю, о ком вы.

— Да знаете! Профессор Озия Фроутс.

— Я никогда не слышал, чтобы его так называли.

— Еще услышите, Даркур, еще услышите. Потому что именно этим он занимается, и на это ему дают большие гранты, а теперь, когда за расходами университета начали следить, возможно, кое у кого возникнут кое-какие вопросы по этому поводу. А после него… о, их десятки, выбирай на вкус. Но вам следует как можно скорее заняться Фрэнсисом Корнишем. Вы слыхали, что он умер

прошлой ночью?

— Очень жаль это слышать, — сказал Эллерман, которому сейчас особенно неприятно было слышать о смерти, все равно чьей. — Какие коллекции!

— Скопления — так, пожалуй, будет вернее. Огромные залежи; думаю, в последние годы он и сам не знал, что у него есть. Но я узнаю. Я исполнитель по его завещанию.

Эллерман воодушевился.

— Книги, картины, рукописи, — сказал он, блестя глазами. — Надо думать, университет получит большое наследство?

— Я не знаю, пока не увижу завещания. Но очень возможно. И наверняка это будет конфетка. Конфетка, — сказал Маквариш. Он произнес это слово с большим смаком.

— Вы исполнитель завещания? Единственный? — спросил Эллерман. — Надеюсь, я еще успею увидеть, чем все кончится.

Бедняга, он догадывался, что это маловероятно.

— Насколько я знаю — единственный. Мы были очень близки. Я буду рад заняться его вещами, — ответил Маквариш, и они пошли своей дорогой.

День уже не казался мне таким прекрасным.

Неужели Корниш составил новое завещание? Многие годы я был уверен, что его душеприказчик — я.

## 2

Через несколько дней я уже знал больше. Я был одним из трех священников, отпевавших Корниша на шикарной погребальной службе, которая состоялась в красивой часовне «Душка». Корниш был выдающимся выпускником колледжа Святого Иоанна и Святого Духа; он не был прихожанином ни одного прихода; колледж ожидал получить от него богатое наследство. Три веские причины, чтобы сделать все по высшему разряду.

Корниш мне нравился. Нас роднила страсть к старинной музыке, и мне случалось помогать ему советами при покупке нотных рукописей. Но не стану врать, что я был его близким другом. Корниш был эксцентричен, и я думаю, что его сексуальные пристрастия выбивались из общего ряда. Он водил дружбу с сомнительными личностями, в том числе с Эркхартом Макваришем. Мне было неприятно получить от адвокатов копию завещания и обнаружить, что Маквариш действительно назначен душеприказчиком

наряду со мной и есть еще третий — Клемент Холлиер. Понятно, почему выбор пал на Холлиера: он великий ученый-медиевист с мировой репутацией в необычной области — палеопсихологии. По-видимому, это означает, что он долго рылся в старых книгах и рукописях и в результате получил неплохое представление о том, что на самом деле думали люди эпохи Возрождения о себе и мире вокруг себя. Я шапочно знаком с Холлиером еще с тех пор, как мы оба учились в «Душке». Мы киваем друг другу при встрече, но наши жизненные пути разошлись. Холлиер — удачная кандидатура, он сможет разобраться со многими вещами из Корнишева наследства. Но Маквариш? Он-то почему?

Как бы то ни было, Маквариш не сможет творить все, что его левая нога пожелает. Впрочем, мы с Холлиером тоже, потому что Корниш назначил нас не исполнителями, но консультантами и экспертами, чтобы мы разобрались с наследством и решили судьбу коллекции — картин, книг и рукописей. Настоящим исполнителем назначен племянник Корниша, Артур Корниш, молодой бизнесмен, по слухам — способный и богатый; мы должны действовать по его указаниям. Вот он сидит на скамье в первом ряду: спина прямая,

во всем обличье ни грана скорби, сразу виден стопроцентный деловой человек, совершенно непохожий на своего высокого, нескладного, близорукого дядюшку, которого мы сейчас хороним.

Я сидел на отведенной мне скамье в алтарной части и видел Макварища, который, тоже на скамье в первом ряду, исполнял все, что положено, — вставал, садился, опускался на колени и так далее, но каждым движением сигналил: «Меня нельзя даже заподозрить в том, что я проделываю все это всерьез. Я просто веду себя, как подобает чрезвычайно воспитанному человеку среди суеверных дикарей». Декан «Душка» произнес краткую надгробную речь, представив Корниша венцом добродетелей. Во все время этой речи Макварищ ухмылялся — несомненно, издевательски, словно желая сказать, что знает о покойном немало пикантных подробностей. Не обязательно связанных с сексом. Корниш при жизни активно продавал и покупал картины, в том числе работы лучших канадских художников, и я мог бы назвать немало людей из числа присутствующих, кому он когда-то, по слухам, перешел дорогу как коллекционер. Зачем же они явились проводить его в последний путь? Меня посетила мысль совершенно не в духе любви к

ближнему: может быть, они пришли убедиться, что Корниш действительно мертв? Великие коллекционеры и великие знатоки искусства не обязательно хорошие люди. А вот благодетели обязательно должны быть хорошими людьми, в чьей добродетели нельзя даже усомниться; Корниш же оставил «Душку» немалое наследство, хотя официально колледж еще не был поставлен в известность. Но я намекнул декану, и теперь декан выражал свою благодарность единственным способом, доступным человеку в его положении, — долго и громко молился за покойного друга.

Совершенно средневековая сцена. Сколько науки, педагогических теорий, передовой мысли ни вливай в колледжи и университеты, все равно они в большой степени сохраняют дух Средних веков, из которых ведут свое происхождение. И то, что «Душок» — колледж относительно недавно основанного университета, расположенного в Новом Свете, на удивление мало что меняет.

С моего места прекрасно были видны лица собравшихся, старательно внимавших почтенному красноречию декана. На лицах читалась почти средневековая безмятежность. Если не считать всезнающей ухмылки Макварииша. Но я видел

Холлиера, который не полез в первый ряд, хотя имел на это полное право: тонкое, красивое лицо, от которого веяло чем-то ястребиным, было серьезным и торжественным. Недалеко от Холлиера сидела девушка, которая меня чрезвычайно интересовала: некая Мария Магдалина Феотоки, которая днем раньше явилась на мой семинар по греческому языку Нового Завета. Девушки, занятые такими вещами, обычно старше и явно более погружены в академическую жизнь, чем Мария. Она, без сомнения, очень красива, хотя такую красоту не всякий заметит и полюбит; я подозревал, что ровесников Марии ее внешность не привлекает. Спокойное лицо, приковывающее взгляд, — такое можно увидеть на иконе или мозаичном портрете. Лицо овальное; длинный, орлиный нос; ей надо следить, чтобы не остаться без зубов, иначе к старости и без того крючковатый нос сомкнется с подбородком; волосы совершенно черные, цвета воронова крыла, иссиня-черные, но не того ужасного оттенка, какой бывает у крашеных волос. Что ей понадобилось на похоронах Корниша? При взгляде на нее больше всего поражали глаза, потому что под и над радужкой слегка виднелся белок, и, когда она моргала — а казалось, что она моргает намного

реже обычных людей, — не только верхнее веко опускалось, но и нижнее поднималось навстречу ему, а такое не часто увидишь. На этот раз меня поразил взгляд Марии, застывший — возможно, в молитвенном экстазе. Она покрыла голову свободно ниспадающим платком в отличие от большинства присутствующих дам, которые, будучи современными женщинами, пренебрегли наставлениями святого Павла на этот счет. Что же она здесь делает?

Комическую нотку этим похоронам — а на многих похоронах присутствует комик — придавал Джон Парлабейн, который, как мне стало известно, пробрался в «Душок» и ныне обитал там. Парлабейн в монашеской рясе демонстрировал кривлянья и ломанья[5] в высочайших традициях высокой англиканской церкви. Я ничего не имею против — пред именем Иисуса должно преклониться всякое колено[6], — но Парлабейн не ограничивался преклонением: он корчил гримасы, крестился скользящим движе-

**[5] Примечания: 5**

*…демонстрировал кривлянья и ломанья…* — Даркур уподобляет Парлабейна Флибертиджиббету, бесу «кривлянья и ломанья». (Шекспир У. Король Лир. Акт I, сц. 4. Перев. М. Кузмина.)

**[6] Примечания: 6**

*…пред именем Иисуса должно преклониться всякое колено…* — Послание апостола Павла к филиппийцам, 2: 10.

нием, призванным демонстрировать давнюю привычку, и, будучи урожденным протестантом из какой-то не очень склонной к ритуалам деноминации, отвратительно переигрывал. Покрытое шрамами лицо — я помнил, как и когда появились эти шрамы, — сложилось в постную ухмылку, которая, по-видимому, должна была сочетать скорбь по ушедшему другу с радостью по поводу небесной славы, в коей этот друг сейчас обретается.

Я англиканин и священник, но иногда мне хочется, чтобы мои единоверцы хоть немного знали меру.

У меня как священника была особая задача на этих похоронах. По поручению декана я произнес молитву на предание тела земле, и вслед за этим хор запел: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»[7].

Итак, Фрэнсис Корниш почил от своих трудов, хотя не могу достоверно сказать, упокоился ли он в Господе. Несомненно, он возложил на меня определенные бремена, ибо его наследство было

---

**[7] Примечания: 7**
Откровение апостола Иоанна Богослова, 14: 13.

обширно и состояло не только в деньгах, но и в дорогих сокровищах, и мне предстоит разбираться с этим наследством, и с Холлиером… и с Эркхартом Макваришем.

**3**

Три дня спустя мы трое сидели в кабинете Артура Корниша, в одном из банковских небоскребов в финансовом квартале города. Корниш объяснял нам, кто есть кто и что есть что. Он не был груб, просто мы не привыкли к такому стилю общения. Мы привыкли к собраниям, на которых деканы суетились, всячески стараясь, чтобы все оттенки мнений были услышаны, а потом душили любые действия пыльными, вялыми путами научной этики. Артур Корниш знал, что нужно сделать, и ожидал от нас быстрого и эффективного исполнения.

— Конечно, о деловой и финансовой стороне позабочусь я, — сказал он. — Вы, господа, должны проследить за тем, чтобы имущество дяди Фрэнка — предметы искусства и всякое такое — было распределено по назначению. Возможно, это будет большая работа. То, что подлежит отправке новым владельцам, следует вручить надежному перевозчику: я сообщу вам название выбранной

мною транспортной фирмы. Она будет выполнять ваши указания, завизированные моей секретаршей, которая, в свою очередь, будет оказывать вам всяческую помощь. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали это как можно скорее, потому что мы хотим утвердить завещание и раздать наследникам все, что им причитается. Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете действовать без промедления?

Профессора не любят, когда их подгоняют, особенно если это делает человек, которому нет еще и тридцати. Они умеют действовать быстро — во всяком случае, они так думают, — но не терпят, чтобы ими помыкали. Нам с Холлиером и Макваришем даже не понадобилось переглядываться: мы тут же сомкнули ряды против нахального юнца. Заговорил Холлиер:

— Первым делом мы должны выяснить, чем именно из «предметов искусства и всякого такого», как вы выразились, нам придется распорядиться.

— Я полагаю, что существует инвентарная опись.

Настал черед Макварища:

— Вы хорошо знали своего дядю?

— Не особенно. Мы виделись время от вре-

мени.

— И вы никогда не бывали у него?

— В его доме? Нет, никогда. Меня не приглашали.

Я решил, что нужно и мне вставить пару слов:

— Думаю, «дом» не совсем подходящее слово для описания жилища Фрэнсиса Корниша.

— Значит, у него в квартире.

— У него было три квартиры, — продолжал я. — Они занимают целый этаж принадлежавшего ему здания. И они от пола до потолка забиты предметами искусства… и всяким таким. Я не сказал «чересчур плотно заставлены» — я сказал «забиты».

Вновь заговорил Холлиер, продолжая ставить нахального мальчишку-богача на место:

— Если вы не знали своего дядюшку, то не можете и вообразить, насколько маловероятно, что у него была инвентарная опись; он был не из тех, кто делает описи.

— Понятно. Настоящее гнездо старого холостяка. Но я знаю, что могу на вас положиться: вы со всем разберетесь. Возьмите помощников, если нужно, и составьте каталог. Для утверждения завещания потребуется оценка имущества. Я полагаю, что вся коллекция стоит довольно много.

Если понадобятся люди для бумажной работы — наймите их, и моя секретарша завизирует распоряжения по выплате денег.

Мы еще немного пообщались в том же духе и вышли — через комнату, где сидела визирующая секретарша (профессионально обаятельная женщина средних лет), мимо других секретарей, помоложе, строчащих с приглушенным треском на явно дорогих пишущих машинках, и мимо человека в форме, стерегущего врата, ибо эти огромные двери действительно больше напоминали ворота крепости.

— Я никогда не встречал ничего подобного, — сказал я в лифте, пока мы ехали вниз с шестнадцатого этажа.

— Я встречал, — сказал Маквариш. — Вы заметили, у него панели красного дерева? Шпон, я полагаю. Внешний лоск, под стать юному Корнишу.

— Нет, не шпон, — ответил Холлиер. — Я постучал. Цельное дерево. С этим молодым человеком надо вести себя очень осторожно.

Маквариш фыркнул:

— А картины на стенах видели? Корпоративщина. Выбраны дизайнером интерьеров. Далеко Артуру до дяди Фрэнка.

Я тоже заметил картины и знал, что Маквариш не прав. Но нам хотелось немного унизить главного душеприказчика, потому что мы его чуточку побаивались.

## 4

Всю следующую неделю мы с Холлиером и Макваришем ежедневно после обеда встречались в трех квартирах Фрэнсиса Корниша. Визирующая секретарша выдала нам ключи. По прошествии пяти дней оказалось, что положение превосходит наши худшие ожидания, и мы даже не знали, с чего начать.

Корниш жил в одной из квартир, и она слегка напоминала человеческое обиталище, хотя гораздо больше походила на лавку чрезвычайно неопрятного торговца предметами искусства — каковой, собственно говоря, и служила Корнишу. Фрэнсис Корниш за свою жизнь многое сделал для того, чтобы открыть хороших канадских художников и помочь им пробиться к успеху. Он в основном покупал картины для себя, но иногда выступал в роли агента для художников, еще не достигших славы. Это означало, что он держал их картины у себя дома и, если получалось, продавал, причем всю выручку перечислял художнику,

не оставляя себе никаких комиссионных. Точнее, в теории дело обстояло так. На практике он брал картину у молодого художника, засовывал куда-нибудь и забывал или рассеянно одалживал какому-нибудь любителю искусства, а потом удивлялся и обижался, когда художник поднимал шум или грозил судом.

Корниш был напрочь лишен лукавства, но в нем не было также ни капли методичности. Считалось, что именно из-за этого он не вошел в семейный бизнес, заложенный когда-то его дедом. Дед начал с торговли лесом и балансовой древесиной[8], при жизни Фрэнсисова отца дело сильно расширилось, а за последние двадцать пять лет фирма забросила лесоматериалы и превратилась в крупную инвестиционную компанию. Сейчас ее возглавлял Артур — четвертое поколение. Немалое богатство Фрэнсиса, частично происходившее от доверительного фонда, созданного его отцом, а частично унаследованное от матери, позволяло ему выступать в роли покровителя искусств, не думая о деньгах.

Фрэнсис редко продавал картины, взятые у художников, но, если становилось известно, что

---

**[8] Примечания: 8**

*Балансовая древесина* — круглый или колотый лесоматериал, используемый для производства целлюлозы.

Корниш взял на продажу картины такого-то, другие, более вменяемые торговцы картинами обращали внимание на этого художника. Так странно проявлялось немалое влияние Корниша в мире торговцев предметами искусства. Его суждения были столь же безошибочны, сколь беспорядочны методы ведения дел.

Среди прочего нас беспокоила сваленная в первой квартире огромная масса картин, рисунков и литографий, а также скульптуры малых форм. Мы не знали, кому все это принадлежит, — Корнишу или самим художникам.

Мало того, квартира номер два была так забита картинами, что в дверь приходилось пролезать боком, а в комнаты, где едва хватало места одному человеку, — впихиваться силой. Здесь хранились картины иностранных художников. Должно быть, иные из этих картин Корниш в глаза не видел уже лет двадцать пять. Шаря в пыли, мы кое-как установили, что здесь представлены работы всех мало-мальски значительных художников за последние пятьдесят лет. Но сколько их всего и к какому периоду творчества художника относилась каждая картина, мы не могли определить: чтобы переместить одну картину, приходилось перемещать другие, и вскоре всякое

передвижение по квартире становилось невозможным, а сам исследователь обнаруживал, что замурован на некотором расстоянии от выхода.

Холлиер нашел в ванной четыре больших свертка в коричневой бумаге, покрытые толстым слоем пыли. Холлиер смахнул пыль (будучи аллергиком, он ужасно страдал при этом) и обнаружил, что свертки надписаны прекрасным почерком Корниша: «Литографии П. Пикассо, открывать только чистыми руками».

Моей собственной пещерой Аладдина стала третья квартира, где хранились книги и рукописи. Точнее, я попытался застолбить ее, но Холлиер и Маквариш отстояли свое право подглядывать: удержать ученого от проникновения в такое место невозможно. Книги лежали кучами на столах и под столами — огромные фолианты, маленькие томики в одну двенадцатую листа, всевозможные книги от инкунабул до, по-видимому, полного собрания первых выпусков Эдгара Уоллеса[9]. Стопки книг, подобно дымовым трубам, высились на полу, и их ничего не стоило опрокинуть. Иллюстрированные книги, в кото-

**[9] Примечания: 9**

*Эдгар Уоллес* (1875–1932) — популярный английский писатель, драматург и сценарист; стоял у истоков такого жанра, как триллер. Умер в Голливуде, работая над сценарием «Кинг-Конга».

рые достаточно было заглянуть, чтобы оценить их великую красоту; Корниш, видимо, купил их лет сорок назад, потому что сейчас таких уже не найдешь ни за какие деньги. Карикатуры и рукописи, в том числе более-менее современные; одного Макса Бирбома[10] столько, что хватило бы на роскошную выставку: восхитительные, нигде не опубликованные шаржи на монархов и знаменитостей тысяча девятисотых и девятьсот десятых годов; я возжелал их всем сердцем. И еще порнография, на которую Маквариш накинулся с радостным хрюканьем.

Я мало что знаю о порнографии. Она меня не возбуждает. Но Маквариш, кажется, в ней прекрасно разбирался. Здесь была и классика жанра — ни много ни мало прекрасный экземпляр «Сладострастных сонетов» Пьетро Аретино с оригинальными гравюрами Джулио Романо[11].

---

**[10] Примечания: 10**

*Макс Бирбом* (1872–1956) — английский писатель, иллюстратор, художник-карикатурист; входил в круг Оскара Уайльда. Прославился сатирическим романом о жизни Оксфорда «Зулейка Добсон» (1911).

**[11] Примечания: 11**

*…«Сладострастных сонетов» Пьетро Аретино с… гравюрами Джулио Романо.* — Пьетро Аретино (1492–1556) — итальянский сатирик, публицист и драматург, «бич государей». «Сладострастные сонеты» (1525) — стихотворные подписи к порнографическим фрескам художника-маньериста Джулио Романо (1492–1546), ученика Рафаэля. Фрески были уничтожены, однако гравер Маркантонио Раймонди, тоже ученик Рафаэля, успел создать на их основе гравюры.

Я слыхал об этом чуде эротического искусства, и мы все хорошенько рассмотрели книгу. Мне скоро надоело: несмотря на то что иллюстрации изображали способы совокупления (Маквариш упорно именовал их «позициями»), обнаженные люди были похожи на античные статуи и сохраняли такое мраморное спокойствие, что показались мне скучными. Их не оживляло ни единое чувство. С ними контрастировали японские гравюры, на которых яростные мужчины с пугающе увеличенными гениталиями в почти людоедской манере набрасывались на луноликих женщин. Холлиер глядел на них в мрачном спокойствии, но Маквариш так ухал и ерзал, что я испугался, как бы у него не случилось оргазма прямо тут, в пыли. Я никогда не думал, что взрослого человека может так возбудить неприличная картинка. Всю неделю Маквариш снова и снова требовал, чтобы мы вернулись в третью квартиру, лишний раз полюбоваться.

— Видите ли, я сам любитель таких вещей, — объяснил он. — Вот самый ценный экспонат моей коллекции.

Он вытащил из кармана табакерку, судя по работе — восемнадцатого века. С внутренней стороны крышки были изображены эмалевые

Леда и лебедь. Стоило нажать кнопку, как лебедь вонзался Леде меж ног и та начинала дергаться в механическом экстазе. Мерзкая игрушка, подумал я, но Эрки над ней трясся.

— Мы, холостяки, любим держать у себя такие вещи, — сказал он. — Вот вы, Даркур, чем увлекаетесь? У Холлиера, конечно, есть красавица Мария.

К моему вящему удивлению, Холлиер покраснел, но промолчал. У него — красавица Мария? Моя мисс Феотоки с семинара по новозаветному греческому? Мне это совершенно не понравилось.

На пятый день, то есть в пятницу, мы были даже дальше от цели — начать разбирать коллекцию, — чем в первый. Мы слонялись по трем квартирам, стараясь не показывать друг другу, что у нас нет ни намека на какой-либо план. Тут в замке первой квартиры повернулся ключ, и вошел Артур Корниш. Мы показали ему, в чем состоит наша проблема.

— Боже милостивый, — сказал он. — Я представления не имел.

— Мне кажется, тут никогда не убирали, — сказал Маквариш. — У вашего дяди Фрэнсиса были твердые убеждения на предмет уборщиц. Пом-

ню, он говорил: «Вы видели руины Акрополя? Пирамид? Стоунхенджа? Колизея в Риме? Кто довел их до такого состояния? Глупцы говорят — армии захватчиков, рука времени. Чушь! Это были уборщицы». Он говорил, что в метелки для пыли, которые используют уборщицы, всегда вставлены жесткие пуговицы, чтобы хлестать и царапать хрупкие предметы.

— Я знаю, он был эксцентричен, — сказал Артур.

— Когда люди говорят «эксцентричен», они имеют в виду что-то туманное, податливое. А ваш дядя был неудержим, особенно в том, что касалось произведений искусства.

Артур, похоже, не слушал: он вел раскопки. Другими словами нельзя было передать то, чем приходилось заниматься в этом невероятном и очень дорогостоящем хаосе.

Артур выудил из кучи небольшую акварель:

— Вот неплохая вещица. Я знаю, где это. Залив Джорджиан-Бей; в детстве я там жил подолгу. Наверное, ничего страшного, если я оставлю ее себе?

Он ужасно удивился, когда мы все на него накинулись. В последние пять дней мы постоянно натыкались на милые вещицы и думали, что

вроде бы ничего страшного не будет, если мы оставим их себе, но каждый раз себя пересиливали.

Холлиер объяснил. Акварель подписана: это работа художника Вэрли. Купил ее Фрэнсис Корниш или взял у Вэрли, когда тот был на мели, надеясь продать и заработать для художника немного денег? Кто знает? Если Корниш не купил эту акварель, она сейчас стоит довольно много и входит в наследство умершего художника. Таких проблем возникают сотни, и как мы должны их решать?

Тут мы поняли, почему Артур Корниш, которому нет еще и тридцати, считается способным бизнесменом.

— Обо всех подписанных картинах запросите авторов, если они живы и если их удастся разыскать. Все остальное пойдет в Национальную галерею согласно завещанию. Мы не можем чрезмерно углубляться в вопросы владения. В завещании написано «все, чем я владею на момент моей смерти», и в той мере, в какой это касается нас, он владел всем содержимым этих квартир. Вам предстоит большая переписка; я пришлю хорошего секретаря.

Он ушел, с тоской взглянув на акварель работы Вэрли. Как легко возжелать чего-нибудь, когда

владелец этой вещи мертв и она завещана безликому, бездушному общественному учреждению.

# Второй рай II

## 1

С момента, когда Парлабейн обосновался во внешней комнате Холлиера, минуло десять дней. За это время я испытала по очереди целый спектр чувств: негодование, потому что он вторгся туда, где хотела обитать я сама; отвращение, потому что мне приходилось делить с ним пространство, которое он вскоре пропитал собственным изрядно крепким запахом; ярость из-за его манеры копаться в моих бумагах и даже у меня в портфеле, стоило мне выйти; раздражение по поводу его речи, в которой к жутковатой елейности клирика девятнадцатого века примешивались иногда резкие фразы и даже непристойности; ощущение, что он надо мной смеется и играет со мной как кошка с мышкой; негодование женщины, с которой издевательски обращаются как с немощнейшим сосудом[12]. Я совершенно не могла работать и решила все высказать Холлиеру.

---

**[12] Примечания: 12**

*…издевательски обращаются как с немощнейшим сосудом.* — Немощнейшим сосудом женщину называют в Первом послании апостола Петра, 3: 7.

Поймать его было непросто, так как после полудня он исчезал: насколько я поняла, это было связано с делами Корниша. Я надеялась, что вскоре Холлиер снова упомянет ту таинственную рукопись, о которой говорил раньше. Но как-то я поймала его во внутреннем дворике, уговорила присесть на скамью и выложила свою обиду.

— Конечно, вам это неприятно, — сказал Холлиер. — Мне тоже. Но Парлабейн — мой старый друг, а старых друзей не бросают в беде. Мы вместе учились в школе — в Колборн-колледже, а потом в «Душке» — и научную карьеру начинали вместе. Я кое-что знаю о его семье; это далеко не радужная история. А теперь он на мели. Да, наверное, он сам в этом виноват. Но, понимаете, я всегда им восхищался, а я полагаю, вы не знаете, что это значит у мальчиков и юношей. Для них очень важно обожать какого-нибудь героя, а когда обожание проходит, было бы нечестно по отношению к самому себе забыть, что этот герой когда-то для тебя значил. Он всегда был первым, по всем предметам, а для меня было удачей оказаться на пятом месте. Он писал блестящие, легкие стихи; некоторые хранятся у меня до сих пор. Беседа с ним была наслаждением для всех нас; он был остроумен, а я, совершенно

определенно, нет. Весь колледж ожидал от него великих свершений, а слава о нем гремела далеко за пределами колледжа, во всем университете. Он окончил учебу с медалью от генерал-губернатора и всяческими другими отличиями и упорхнул в Принстон, на щедрую стипендию, дописывать докторскую. Но мы ему не завидовали, а только восхищались. Понимаете, он был совершенно особенный.

— Но что же случилось?

— Я не очень разбираюсь в том, что и почему случается с людьми. Когда он вернулся, «Душок» немедленно заграбастал его на кафедру философии; совершенно очевидно, что он был самым блестящим молодым философом в университете, а пожалуй что, и во всей Канаде. Но за эти годы он стал другим человеком. Его коньком была средневековая философия — в основном Фома Аквинский, — и средневековые схоластические диспуты были для него хлебом, водой и воздухом. Но он сделал нечто такое, чего, как правило, не допускают ученые-философы: позволил философии просочиться в собственную жизнь. Он смеха ради отстаивал самые нелепые точки зрения в спорах. Его специальностью была история скептицизма: невозможность подлинного знания… отсутствие

уверенности в истине. Ему ничего не стоило выставить черное белым. Я полагаю, это повлияло и на его личную жизнь. Пошли скандалы, и в конце концов «Душок» решил, что для него это слишком, и по всеобщему согласию Парлабейн отчалил, оставив по себе недобрую славу.

— Похоже, у него слишком много ума и недостаточно характера.

— Мария, не фарисействуйте: это не пристало ни вашему возрасту, ни вашей красоте. Вы не знаете Парлабейна так, как я.

— Но он еще и монахом прикидывается!

— Он это делает, чтобы подразнить «Душок». Кроме того, он действительно был монахом. Его последняя попытка найти свое место в жизни.

— Вы хотите сказать, что он больше не монах?

— Может быть, формально он до сих пор монах, но он дезертировал, и попасть обратно ему будет не так легко. Я потерял его из виду, но несколько месяцев назад получил жалостное письмо: он писал, как несчастен в монастыре — где-то в срединных графствах Англии, — и просил помочь ему оттуда выбраться. И я послал ему денег. Разве я мог поступить иначе? Мне и в голову не пришло, что он явится сюда, тем более в этой хламиде. Но, наверное, у него просто нет другой одежды.

— И что, он тут так и останется?

— Казначей уже ропщет. Он не против гостей, которые остаются на одну-две ночи. Но он говорил со мной о Парлабейне и заявил, что не потерпит скваттеров в колледже, и он не разрешает Парлабейну питаться в столовой, пока не получит какой-нибудь гарантии, что тот уплатит по счету. Сами понимаете, платить Парлабейну нечем. Так что мне придется что-нибудь сделать.

— Надеюсь, вы не собираетесь взять его на свое иждивение.

— Вы надеетесь? А какое у вас право надеяться на что бы то ни было в этом роде?

Мне нечего было ответить. Я не ожидала, что Холлиер вдруг примет в разговоре со мной профессорский тон — после происшествия на диване, который теперь служил одром Парлабейну. Пришлось немного отступить.

— Извините. Но все же это и меня касается. Вы ведь сказали, что я буду работать у вас во внешней комнате. А как я могу работать, когда он там сидит и вяжет эти свои нескончаемые носки? И пялится на меня. Он меня просто до безумия доводит.

— Потерпите еще немного. Я помню и про вас, и про работу, которую вы должны для меня сде-

лать. Постарайтесь понять Парлабейна.

На этом он встал, и разговор окончился. Он пошел прочь, а я подняла голову и увидела в окне комнаты Холлиера — очень высоко, ибо «Душок» весьма готичен в своем обличье, — Парлабейна, глядящего вниз, на нас. Конечно, он не мог слышать нашей беседы, но он смеялся и грозил мне пальцем, словно говоря: «Гадкая девчонка! Нехорошая!»

## 2

«Постарайтесь понять Парлабейна». Ну ладно. Я поднялась по лестнице и, не дав ему открыть рот, спросила:

— Доктор Парлабейн, вы не хотите сегодня со мной поужинать?

— Мария, для меня это большая честь. Но могу ли я спросить, чему обязан этим неожиданным приглашением? У меня такой голодный вид?

— Вы вчера утащили у меня из портфеля большую плитку шоколада. Я решила, что вы, может быть, недоедаете.

— И это так. Нынче, стоит мне появиться в обеденном зале, казначей встречает меня кислым лицом. Он подозревает, что мне нечем заплатить по счету, и он прав. Мы, монахи, скоро научаемся

не стыдиться своей бедности.

— Встретимся внизу в половине седьмого.

Я повела его в популярный студенческий ресторан «Обжорка», специальностью которого были спагетти. Парлабейн начал с наваристого овощного бульона, потом съел гору спагетти с мясным соусом и выпил целую бутыль кьянти за вычетом одного бокала, который достался мне. Потом сожрал большую порцию какого-то десерта из заварного крема со сливовым конфитюром и кокосовой стружкой, потом пропахал огромные борозды в большом куске горгонзолы, который принесли на стол целиком, а унесли в виде жалких остатков. Затем выпил две кружки капучино и заполировал рюмкой ликера «Стрега». Я даже рискнула раскошелиться на итальянскую сигару.

Парлабейн ел быстро и жадно, рыгал звучно и со смаком. За едой он разговаривал, демонстрируя содержимое набитого рта и донимая меня вопросами, требующими развернутых ответов.

— Мария, чем вы нынче занимаетесь? То есть в те моменты, когда не сверлите взглядом меня и невинные длинные монашеские носки, которые я вяжу; нам, монахам, приходится носить длинные носки, чтобы ветер, задравший рясу, не обнажил

непристойное зрелище престарелой ноги.

— Я занимаюсь работой, которая в конечном итоге войдет в мою диссертацию.

— О благословенная научная степень, печать пожизненной принадлежности к интеллектуальной элите! Но в чем вы специализируетесь?

— Это непростой вопрос. Мою работу можно в общем и целом отнести к сравнительному литературоведению, но в этом доме обителей много. Я работаю с профессором Холлиером, так что, скорее всего, моя диссертация будет посвящена чему-то близкому к его тематике.

— А его тематика, строго говоря, не относится к сравнительному литературоведению. Он роется в кухонных отбросах и мусорных кучах Средневековья. Напомните мне, на чем он сделал себе славу.

— Он детально исследовал процесс создания церковного календаря Дионисием Малым. О многом из этого писали и раньше, но именно Холлиер показал, как Дионисий приходил к своим выводам: народные верования и древние обычаи, лежавшие в основе его работы, и тому подобное. Именно это создало ему имя как палеопсихологу.

— Боже милостивый, это еще что такое? Новая разновидность мозгоклюев?

— Вы же знаете, что нет. Это специалист, который изучает мышление людей тех времен, когда оно было дикой смесью религии, народных поверий и неверно понятых обрывков античных трудов. В отличие от современного мышления, которое, будем откровенны, не что иное, как дикая смесь материализма, народных поверий и неверно понятых обрывков научных теорий. Сравнительное литературоведение сюда тоже входит каким-то боком, потому что приходится знать кучу языков, но вообще это епархия Центра истории науки и технологии. Холлиер, как вы знаете, и там занимает должность.

— Нет, я об этом не знал.

— Ходят слухи, что скоро откроется Институт передовых исследований; там Холлиер будет очень важной персоной. Это произойдет, как только университет заполучит какие-нибудь деньги.

— Значит, наверное, не скоро. Наше по-отечески заботливое правительство в последнее время стало задумываться о больших расходах университетов. Это народные деньги, дорогая Мария, ни в коем случае не забывайте. А народ, непогрешимый и мудрый, должен получить то, что ему нужно, или то, что он считает нужным, потому

что так ему сказали политики. А нужны ему люди, способные выполнять полезную работу, а вовсе не витающие в облаках типы вроде Клема Холлиера, желающие копаться в прошлом. Когда вы напишете свою диссертацию, какая польза от вас будет обществу?

— Это зависит от того, что вы называете обществом. Может быть, мне удастся пролить свет на одно-два темных места в душе современного человека, раскопав душу человека средневекового.

— Милочка, за это вас любить не будут. Чужое невежество неприкосновенно. «Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет»[13]. Вы знаете, кто это сказал?

— Оскар Уайльд, верно?

— Умничка. Наш милый покойный Оскар. Он вовсе не был дураком, когда переставал притворяться мыслителем и давал волю воображению. Но мне казалось, что вы изучаете Рабле.

— Да… просто мне нужна тема для диссертации, и Холлиер поручил мне исследовать формирование мышления Рабле.

---

**[13] Примечания: 13**

*«Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет».* — Уайльд О. Как важно быть серьезным. Перев. И. Кашкина.

— Но это ведь вовсе не ново?

— Холлиер надеется, что я найду какие-то новые подробности или новую точку зрения на давно известные вещи. Кандидатская диссертация не обязательно должна быть громом среди ясного неба.

— Нет, конечно. Мир не выдержал бы столько раскатов грома. Вы еще ничего не написали?

— Я готовлюсь. Мне нужно подтянуть греческий Нового Завета: Рабле придавал ему большое значение. В его время это был очень важный язык.

— Но, судя по вашей фамилии, вы наверняка знаете новогреческий?

— Нет, но древнегреческий знаю неплохо. И еще французский, испанский, итальянский, немецкий и, конечно, латынь — золотую, серебряную[14] и то ужасное наречие, на котором говорили в Средние века.

— Я ослеплен вашим блеском. Откуда такие познания?

— Мой отец был полиглотом. Он родом из Поль-

---

**[14] Примечания: 14**

*…и, конечно, латынь — золотую, серебряную…* — Золотая и серебряная латынь — латинский язык периодов 83 г. до н. э. — 14 г. н. э. и 14–117 гг. н. э. соответственно. Эту градацию впервые ввел Вильгельм Зигмунд Тейффель, немецкий специалист по классической филологии.

ши и долго жил в Венгрии. Когда я была ребенком, он превратил изучение языков в игру. Я не скажу, что безупречно знаю все эти языки; я не очень хорошо пишу на них, но прилично читаю и говорю. Это не так трудно, если есть способности.

— Да, если есть способности.

— Стоит изучить два или три, и все остальные как будто сами укладываются на место. Люди боятся иностранных языков.

— Значит, языки вашего детства — польский и венгерский? Это все?

— Еще один или два. Это несущественно.

Я, конечно, не намерена была сообщать ему, какой несущественный язык использую дома во время скандалов. Я надеялась, что моя несдержанность в истории с *бомари* и Холлиером меня кое-чему научила. Я уже боялась, что стоит на секунду ослабить защиту — и Парлабейн вытащит из меня все. Его любопытство обладало особой силой, и он помыкал мною в разговоре как хотел, так что я вполне могла открыть больше, чем намеревалась. Может быть, перейдя в наступление, удастся избежать допроса? Ну-ка…

— Доктор Парлабейн, вы все время спрашиваете, но сами ничего не рассказываете. Что вы за человек? Вы родились в Канаде, верно?

— Пожалуйста, зовите меня «брат Джон»: я давно оставил академические суетные звания, когда низко пал в этом мире и открыл, что единственное мое спасение — в смирении. Да, я родился в Канаде. Я дитя этого великого города, этого великого университета и «Душка». Вы ведь знаете, почему наш колледж называют «Душком»?

— Потому что он носит имя святого Иоанна и Святого Духа. «Душок» — это Святой Дух.

— Иногда это прозвище используют в оскорбительном смысле, а иногда, как я уже говорил, ласкательно. Но вы, конечно же, помните цитату? Евангелие от Марка, глава первая, стих восьмой: «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Так что колледж — воистину *alma mater*, матерь кормящая, питающая своих детей из одной груди млеком знаний, а из другой — млеком спасения души и доброго вероучения. Иными словами, водой, без коей невозможна жизнь, и Святым Духом, без коего невозможна жизнь добродетельная. Но мерзкие детишки так перепутали мамкины сиськи, что уже не разберут, где какая. Я открыл для себя спасение души и доброе вероучение лишь после того, как чрезвычайно низко пал в мире сем.

— Как же это случилось?

— Может быть, когда-нибудь я вам расскажу.

— Но не все же вам меня допрашивать, брат Джон. Мне рассказывали, что вы сделали блестящую карьеру ученого.

— И это так. О да, я блеснул метеором в научном мире, когда еще не знал ничего о человечестве и вовсе ничего — о себе.

— Это знание вас и погубило?

— Меня погубила неспособность сочетать эти два вида знаний.

Я решила обойтись с братом Джоном погрубее, — может быть, так удастся из него что-нибудь вытянуть, пробив его защиту.

— Слишком много ума и недостаточно характера?

Подействовало.

— Мария Магдалина Феотоки, это недостойно с вашей стороны! В устах какой-нибудь узколобой канадской девицы, сроду не видавшей ничего, кроме Торонто и залива Джорджиан-Бей, такое замечание могло бы сойти за проницательность. Но вам случалось испивать из лучших источников. Что вы имеете в виду под «характером»?

— Выдержку. Сильную волю, чтобы уравновесить книжные знания. Умение сложить два и два и получить четыре.

— И еще — умение пролезть на хорошую академическую ставку, а потом на постоянную профессорскую должность, потом стать полным профессором, ни разу не задумавшись, чего именно ты полон, а потом взмыть в небеса, и стать заслуженным профессором, и вынудить у декана повышение ставки, угрожая, что иначе уедешь в Гарвард… Нет, Мария, это не ваши слова. Это сказал какой-то глупец из вашего прошлого. Отыщите его, загоните в угол и скажите ему вот что: этот превозносимый им «характер» ни шиша не стоит. На самом деле нас творит, ваяет и создает некто, кому лишь немногие осмеливаются взглянуть в лицо: это ребенок, которым ты когда-то был, давным-давно, до того, как формальное образование запустило в тебя когти; нетерпеливый, жадный до всего ребенок, жаждущий любви и власти, не могущий насытиться ни тем ни другим; он ярится и буйствует у тебя в душе, пока ты не закроешь глаза и глупцы не скажут: «Правда, у него такой умиротворенный вид?» Именно эти запертые внутри ненасытные дети — причина всех войн, и всех ужасов, и всего искусства, и всей красоты, и всех открытий в мире, потому что они пытаются добраться до всего, что было для них недосягаемо, когда им еще не исполнилось

и пяти лет.

Так, мне удалось его растрясти.

— И что, нашли вы этого ребенка? Малютку Джонни Парлабейна?

— Думаю, да. И это оказался весьма затюканный младенец. Но вы верите тому, что я сказал?

— Да, верю. Холлиер говорит то же самое, только другими словами. Он говорит, что люди никогда не живут в том, что называется настоящим; сооружение, представляющее собой психику современного человека, шатается и кренится над пропастью шириной не менее десяти тысяч лет. А все знают, что дети — дикари.

— А вы встречали дикарей?

Еще бы! Но вот тут-то мне и следовало придержать язык. Поэтому я только кивнула.

— Так чем же на самом деле занимается Холлиер? Только не говорите опять «палеопсихологией». Расскажите мне словами, понятными простому философу.

— Философу? Если вам нужен философ, то Холлиер очень близок к Хайдеггеру. Он пытается воспроизвести образ мысли ранних мыслителей, и не только великих мыслителей, но и обычных людей, которые иногда занимали не совсем обычное положение, королей и священников

— некоторых, потому что они оставили след в истории развития человеческого мышления, — через традиции, обычаи и народные поверья. Холлиер хочет знать об этом. Он хочет понять способы мышления древних людей, не критикуя их. Он глубоко погружен в Средние века, потому что они на самом деле расположены посредине — между далеким прошлым и современным постренессансным мышлением. Он хочет встать на полпути, чтобы смотреть в обе стороны. Он ищет ископаемые идеи и на их основе пытается понять, как работала человеческая мысль.

Я заказала еще бутылку кьянти, и Парлабейн выпил ее почти всю, так как я не пью больше двух бокалов за вечер. Кроме этого, он осушил четыре рюмки «Стреги» и выкурил еще одну удушливую сигару, но я привыкла и к пьяницам, и к вони. Парлабейн заговорил громче, иногда произнося слова одновременно с рыганием и при этом повышая голос, видимо, чтобы заглушить внутренние помехи.

— Знаете, когда мы с Холлиером были студентами в «Душке», я бы и ломаного гроша не дал за его шанс подняться выше хорошего профессора на постоянной ставке. Он очень сильно вырос.

— Да, он один из тех заслуженных профессоров,

по чьему адресу вы проехались. Совсем недавно ректор в интервью для прессы назвал его одним из украшений университета.

— Боже милостивый! Старину Клема! Воистину поздний расцвет. И еще, конечно, у него есть вы.

— Я его аспирантка. И довольно способная.

— Чушь! Вы его *soror mystica*. Это и ребенку видно. Во всяком случае, гениальный ребенок, жадный до всего малютка Джонни Парлабейн увидел это раньше, чем взрослые успели продрать сонные глаза. Холлиер вас окружает. Поглощает. Вы им полностью окутаны.

— Не кричите. Люди смотрят.

Тут он действительно перешел на крик:

— «Не кричите, я вас прекрасно слышу. У меня в ухе телефон Морли — он полностью помещается в слуховом проходе и не виден снаружи. Конец глухоте!» Помните эту старую рекламу? Нет, конечно: вы слишком много знаете, но слишком молоды и потому ничего не помните. — Он передразнил фальцетом: — «Не кричите, люди смотрят!» Кого это колышет, глупая ты дырка? Да пускай себе смотрят! Ты его любишь. Хуже того, ты в нем полностью растворилась, а он и не знает. Как ему не стыдно, дураку!

Но он же знает! Разве я позволила бы ему овла-

деть мною на диване пять месяцев назад, если бы не была уверена, что он знает о моей любви? Нет, не надо об этом спрашивать. Я уже не так уверена в ответе.

Хозяин «Обжорки» обеспокоенно маячил неподалеку. Я умоляюще взглянула на него, и он помог мне поднять Парлабейна на ноги и подтолкнуть в сторону двери. Монах оказался силен как бык, и вышла потасовка. Парлабейн запел очень громким и неожиданно мелодичным голосом:

*Все кружится и летит,*
*Спит добро, и злоба спит,*
*Денег нету заплатить,*
*Отчего ж мне до́лжным быть,*
*Скоро-скоро смерть придет,*
*Всех сравняет в свой черед…*[15]

Наконец мне удалось вытащить его на улицу, доволочь до парадной двери «Душка» и сдать ночному привратнику, своему старому приятелю.

Я шла к метро и думала: вот что выходит, когда пытаешься понять Парлабейна, — скандал в ресторане. Следует ли продолжать? Думаю, да.

---

**[15] Примечания: 15**

Джон Гейвуд. Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Д. Никоновой.

Но меня опередили. На следующее утро в комнате Холлиера меня ждала записка и букет цветов — сальвий, совершенно очевидно нарванных на клумбе у резиденции декана. В записке говорилось:

> О дражайшее и самое всепонимающее из Творений!
>
> Простите меня за вчерашнее. У меня слишком давно ни капли во рту не было. Пообещаю ли, что это больше не повторится? Увы, такое обещание было бы неискренним. Но я должен загладить вину. Так пригласите меня на обед еще раз, и поскорее, и я расскажу Вам историю своей жизни, которая, безусловно, стоит тех денег, что Вы заплатите за ужин.
>
> Покорный раб, ползающий у Ваших ног,
>
> *П.*

## 3

Чтобы получить ученую степень, до начала работы над диссертацией надо пройти несколько курсов, имеющих отношение к твоей теме. Я уже

почти набрала нужное количество курсов, но в этом году Холлиер предложил мне взять еще два — один по культуре европейского Ренессанса у профессора Эркхарта Макварища, а другой по греческому языку Нового Завета у профессора преподобного Симона Даркура. Маквариш читал скучно; материал был хорош, но Маквариш, как настоящий ученый, не считал возможным рассказывать интересно, чтобы его не обвинили в «популяризаторстве». Он был малорослый, с длинным красным носом, который он постоянно вытирал носовым платком, вытаскивая его из левого рукава. Как мне объяснили, это признак того, что он когда-то служил офицером в первоклассном полку Британской армии. На его лекции ходило человек двадцать.

Проф.-преп. был совсем другой. Священник, круглый как колобок и розовый как младенец, не читал лекцию, а проводил семинар, на котором все должны были высказываться или хотя бы задавать вопросы. Нас было только пятеро: кроме меня, трое молодых людей и один мужчина средних лет, все — будущие священники. Двое из молодых людей были современные, расхристанные, длинноволосые, по-модному немытые; они собирались занять какие-то посты

в евангелической церкви и в свободное время помогали проводить службы под рок-музыку, где их единомышленники танцами изгоняли из себя Зло и обнимались в слезах по окончании шоу. Мне кажется, эти двое занимались греческим, так как надеялись прочитать в оригинале Писания, что Иисус, помимо всего прочего, отлично танцевал и играл на гитаре. Третий молодой человек принадлежал к очень высокой англиканской церкви[16], Даркура именовал не иначе как «святой отец» и ходил в темно-сером костюме, к которому, несомненно, скоро надеялся добавить священнический воротничок. Мужчина средних лет бросил работу страхового агента, чтобы стать священником, и трудился, как раб на галерах: у него была жена и двое детей, и ему нужно было как можно скорее рукоположиться. В целом эта компания не очень вдохновляла. Предполагалось, что Господь призвал всех четверых к служению себе, но, возможно, лишь по рассеянности или в порядке инсценировки какого-то сложного еврейского анекдота.

---

**[16] Примечания: 16**

*…молодой человек принадлежал к очень высокой англиканской церкви…* — Высокая церковь — направление в англиканской церкви, организационно и обрядово более близкое к католичеству. Низкая церковь — направление, организационно и обрядово более близкое к протестантизму.

К счастью, проф.-преп. оказался гораздо лучше, чем я ожидала.

— Чего вы ждете от этого семинара? — сразу спросил он. — Я не собираюсь учить вас языку; надо полагать, вы все знаете древнегреческий?

Я знала, но четверо мужчин, явно растерявшись, неохотно признались, что немного учили язык или что их поднатаскали на летних курсах.

— Если вы знаете греческий, то, надо полагать, знаете и латынь, — сказал проф.-преп., и слушатели ответили мрачным молчанием.

Но пал ли он духом? Нет!

— Давайте проверим ваши познания, — сказал он. — Я напишу на доске небольшой текст и через несколько минут попрошу вас его перевести.

Слушатели явно встревожились, и один из длинноволосых пробормотал, что забыл дома латинский словарь.

— Он вам не понадобится, — сказал Даркур. — Текст совсем простой.

Он написал: *«Conloqui et conridere et vicissim benevole obsequi, simul leger libros duciloquos, simul nugari et simul honestari».* Сел и озарил нас улыбкой из-за стекол очков в форме полумесяца.

— Это девиз, основа того, чем мы будем заниматься весь предстоящий год на этом семинаре,

дух нашей будущей совместной работы. А теперь давайте переведем. Кто хочет?

Последовала ужасная тишина, какая бывает, когда сразу несколько человек пытаются сделаться невидимыми.

— Говорить вместе, смеяться вместе, делать друг другу добро… — пробормотал аккуратный юноша и умолк.

Судя по виду волосатой парочки, они уже ненавидели Даркура.

— Сначала дамы, — сказал Даркур, улыбаясь мне.

И я ринулась вперед:

— «Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение»[17].

Он заметно обрадовался:

— Восхитительно. А теперь пусть кто-нибудь другой скажет, откуда эта цитата. Ну же, вы все читали эту книгу, хотя бы в переводе. Вы должны ее хорошо знать; автор должен стать вам близ-

---

**[17] Примечания: 17**

*«Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение». <…> Это из «Исповеди» Блаженного Августина…* — Цитата из «Исповеди» Блаженного Августина дана в переводе М. Сергеенко.

ким другом.

Но все молчали, и я заподозрила, что никто не знает. Ну что, подумала я, сделать так, чтобы меня ненавидели? Впрочем, это так или иначе случится: меня всю жизнь ненавидели все соученики.

— Это из «Исповеди» Блаженного Августина, — сказала я.

Волосатые юнцы посмотрели на меня с ненавистью, а гладкий — с тошнотворной завистью. Мужчина средних лет все тщательно записал; он собирался победить этот предмет или умереть; на нем лежал долг перед женой и детьми.

— Благодарю вас, мисс Феотоки. А вы, джентльмены, учитесь преодолевать свою робость, — сказал его преподобие — кажется, с легкой иронией. — Именно к этой цели мы будем стремиться: беседа и веселье — я надеюсь, вызванные чтением Нового Завета. Не могу сказать, что в этой книге много забавного, хотя и Христос однажды пошутил, играя словами, над новым именем Петра, которое сам же ему дал: «Ты — Петр, и на сем камне я создам Церковь Мою». Конечно, имя Петр — по-гречески «петрас», «камень». Это можно было бы перевести как «Ты крут, и на сей круче я создам Церковь Мою», тогда каламбур отчасти удалось бы передать, но, наверное, не стоит этого

делать. А то вдруг прихожане через две тысячи лет будут валиться под скамьи от смеха. Конечно, я полагаю, Христос называл Петра Кифой, то есть «камнем» по-арамейски, но этот каламбур наводит на мысль, что Господь наш знал греческий язык, хотя бы немного, а может быть, и неплохо знал. И вы должны знать греческий, если хотите служить Ему.

Мне показалось, что Даркур забавляется; он видел, что длинноволосым юнцам не по душе то, к чему он гнет, и нарочно дразнил их.

— Эти исследования могут много куда завести, — продолжал он, — и в том числе, конечно, в глубины Средневековья, когда греческий язык, который мы собираемся изучать, был едва известен в Европе и Церковь косо смотрела на всех, кто его знает. Но некоторые подозрительные люди его знали хотя бы отчасти — алхимики и прочий сброд, — и, кроме этого, традиция изучения древнегреческого сохранилась на Ближнем Востоке, где в это время греческий язык медленно двигался по длинному пути к тому, что мы сейчас называем новогреческим. Очень забавно бывает следить, как языки дробятся и превращаются в совершенно другие. Так, латынь износилась до дыр, распавшись на вульгарные диалекты, такие как

французский, испанский и итальянский, и глядь — люди вдруг обнаружили, что на этих упаднических жаргонах можно выражать совершенно новые понятия, о которых на латыни никто даже и не думал. Точно так же сейчас распадается английский язык — он становится мировым языком, который обязаны знать и на котором должны говорить все встречные и поперечные, но, если бы доктор Джонсон услышал, как они говорят, его бы кондрашка хватила[18]. «Королевский английский» можно считать покойником; даже американский английский, когда-то наглый выскочка на литературной сцене, уже отошел в пыльное прошлое по сравнению с тем, что можно услышать в Африке, — а именно там в наши дни происходит все самое интересное. Но я отвлекаюсь на болтовню — отвратительная привычка для преподавателя. Пожалуйста, если увидите, что я заговорился, призывайте меня к порядку. Итак, за работу. Могу ли я считать, что все вы знаете греческий алфавит и, следовательно, умеете

**[18] Примечания: 18**

*…но, если бы доктор Джонсон услышал, как они говорят, его бы кондрашка хватила.* — Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Составитель первого толкового словаря английского языка. Джонсон не имел предшественников в подобного рода работе, и на момент публикации (1755) его словарь был первым в английской литературе, но до настоящего времени не потерял своей ценности.

считать до десяти по-гречески? Хорошо. Давайте начнем с изменений в этой области.

Я поняла, что проф.-преп. мне понравится. Он, похоже, считает, что обучение может быть увлекательным и что тяжелых на подъем людей нужно хорошенько встряхнуть. В этом он был похож на Рабле, которого даже образованные люди вроде Парлабейна как-то по-дурацки себе представляют. Рабле был блестяще образован, потому что ему нравилось учиться, а по-моему, это лучшая причина, чтобы учиться. Не единственная, но лучшая.

Я хотела знать много, но не для того, чтобы, как нынче говорят, стать специалистом и превозноситься над людьми, знающими меньше тебя о крохотном уголке маленького мирка, в котором ты обжился. Я надеялась на улов побогаче: мне нужна была — ни много ни мало — Мудрость. В современном университете, если попросишь знаний, тебе обеспечат их практически в любой форме, хотя, если потребовать чего-нибудь вышедшего из моды, могут сказать, как в лавке: «Извините, на этот товар нет спроса, мы его не держим». Но попросить Мудрости с большой буквы — боже сохрани! Какой парад скромности, какие отговорки из уст мужчин и женщин, у

которых в глазах сияет ум, как прожектор маяка. Ум — да, но Мудрости не наберется и на огонек свечи.

Это и приковало меня к Холлиеру: мне показалось, что я разглядела в нем Мудрость. А как говорил Парацельс[19] (с чьими трудами мне придется ознакомиться в ходе исследований Рабле), «стремление к мудрости — обретение второго рая в сем мире».

И я искренне верила, что с Холлиером обрету второй рай, да и первый тоже.

**[19] Примечания: 19**

*Парацельс* (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541) — знаменитый алхимик, врач и оккультист. Считается предтечей современной фармакологии; скрестил каббалистику с алхимией и магическими практиками.

# Новый Обри II

## 1

Гуманно ли вообще назначать человека исполнителем завещания? Разумеется, это выражение доверия, но долг душеприказчика может превратиться в тяжкую повинность. Дела Корниша все больше затягивали нас с Холлиером, воруя время и силы у нашей собственной работы. В завещании была приписка, гласившая, что, когда распределение имущества будет закончено, все консультанты, они же помощники душеприказчика, могут взять себе «по одному предмету искусства, полюбившемуся им, при условии, что этот предмет не завещан кому-либо другому». Но это лишь усугубляло наши страдания, потому что мы постоянно натыкались на лакомые кусочки и тут же выясняли, что они уже кому-то предназначены. Кроме того, юристы Артура Корниша запретили нам выбирать и уносить что-либо, пока все предметы, завещанные разным лицам, не переданы по назначению. Мы были как бедные родственники на елке для богатых детей.

Богатых и вовсе не настолько благодарных,

как следовало бы, по моему мнению. Крупные бенефициарии с удовольствием брали то, что им нравилось, но дали понять, что некоторые вещи, предназначенные для них, им вовсе не нужны и лучше даже не настаивать.

Одним из таких получателей наследства была Национальная галерея. Корниш оставил ей десятки холстов, но при условии, что все картины канадских художников будут выставлены вместе в постоянной экспозиции под названием «Коллекция Корниша». Представители галереи заявили (в общем, разумно), что предпочитают выставлять картины в историческом контексте, поэтому Кригхоффы и другие более ранние картины из коллекции Корниша должны отправиться в экспозицию ранней канадской живописи; не может же галерея разбросать картины примитивистов по всем залам. Еще сотрудники галереи сказали, что, по их мнению, некоторые современные картины — не первый сорт, что бы там ни думал Корниш, и они просто не могут обещать, что поместят эти картины в постоянную экспозицию. Если Корниш собирался завещать галерее свою коллекцию, он мог бы обсудить это заранее или просто оставить денег на постройку нового крыла; но, даже если бы он это сделал,

новое крыло все равно негде было бы строить, так как у галереи нет свободной земли. Они писали письма — вежливые, но на грани — и часто намекали, что дарители бывают эгоцентричными тиранами и что любой, у кого нет ученой степени по искусствоведению, — дилетант.

Холлиеру это не понравилось. Он сильно чувствующий человек и предан своим друзьям, и он решил, что галерейщики оскорбляют память Корниша. Я же, со своим нудным умением видеть обе стороны вопроса, вовсе не был в этом уверен. Маквариш отнесся к ситуации легкомысленно, чем еще больше разозлил Холлиера, — как будто завещание и желания Корниша ничего не значили.

— Все дарители и благотворители — сумасшедшие, — сказал Маквариш. — Они хотят посмертной славы и посмертной благодарности. Любой колледж, любой факультет может порассказать такое, что вы заплачете. Как вам понравится семейка, которая создала фонд в миллион долларов и выделила доход с него на должность профессора по внутренним болезням, а через много лет отыграла назад, когда ей не понравился человек, назначенный на эту должность, — третий по счету? А тот старый козел,

который подарил университетской библиотеке коллекцию книг по истории, помыкал всеми и требовал, чтобы ему присвоили почетную степень, даже когда выяснилось, что книги на самом деле не его, а принадлежат фонду, которым он управляет? А старый Магаффи, который завещал кругленькую сумму на устройство Центра кельтских исследований при условии, что «кельтские исследования» будут означать «исследования Ирландии», а шотландцы, валлийцы и бретонцы могут пойти отсосать друг у друга в кустах? А тот урод, который дал деньги на курс лекций, но настоял, чтобы они начались при его жизни и чтобы, пока он не умер, за них платил университет! И вдруг через много лет он с ухмылкой заявляет ректору, что передумал, да и лекции-то ему не нравились! В девяти случаях из десяти благотворители тешат самих себя. Они сколотили состояние благодаря хитрости и смекалке — и именно эти качества мешают им расстаться с деньгами даже на смертном одре. Даже наш дорогой друг Корниш — прекрасный человек, как мы все знаем, — не может просто так разжать руки. Но кого это волнует? Если Национальная галерея не берет картину, отдайте ее галерее Онтарио, все равно ей отойдет куча всего. Кого по большому

счету волнует лишняя тряпка, намазанная краской? Вы же читали завещание: определенные картины отправляются по назначению, а всем, что останется, распоряжаются исполнители. То есть мы. Племянник ничего не узнает, и ему плевать. Наше дело — взрезать арбуз: очистить эти три квартиры.

Но Холлиер не желал и слышать о подобном. Я знал его много лет, но до сих пор никогда не заглядывал ему в душу. Похоже, он слишком совестлив, а это вредно. Чересчур активная совесть и никакого чувства юмора — опасное сочетание.

У Макварриша, напротив, чувства юмора было более чем достаточно. Люди часто думают, что оно — отличная приправа к любому характеру и почти заменяет здравый смысл, не говоря уже о мудрости. Но у Макварриша чувство юмора означало безответственность, пренебрежение чужими нуждами и желаниями, мешающими удобству самого Макварриша. Чувством юмора, как улыбающейся маской, он прикрывал презрение ко всем, кроме самого себя. В разговорах и в жизни он больше всего ценил то, что называл «умением не брать в голову»: ничто не следовало воспринимать всерьез. Поэтому серьезность Холлиера, по прозрачным намекам Макварриша,

граничила с дурным воспитанием. Мне тоже нравятся люди, которые умеют не сосредоточиваться на плохом, но для Макварiша это понятие служило прямым синонимом эгоизма. Он не стремился как можно точнее исполнить последнюю волю Корниша; ему просто нравилось быть важным лицом — исполнителем завещания богатого и незаурядного человека, нравилось якшаться с галерейщиками, людьми, соответствующими его завышенным требованиям сноба. А я, как всегда, вынужден был играть роль миротворца меж двух непримиримых сторон.

Самому мне приходилось бороться с сотрудниками архивов. Университетскую библиотеку не удовлетворила обещанная груда редких книг и рукописей — библиотека жаждала заполучить все бумаги Корниша. Оттавская национальная библиотека, которой не завещали ничего, прислала вежливое, но решительное письмо, в котором требовала письма, дневники, бумаги — абсолютно все относящееся к деятельности Корниша как коллекционера и покровителя искусств. Две библиотеки засучили рукава и принялись фехтовать — вежливо, но решительно. Думаю, Корниш просто не предполагал, что его старые письма и прочий хлам могут представлять цен-

ность для кого бы то ни было. Он не вел никаких дневников; архивом ему служили картонные ящики, куда он швырял бумаги как попало и в любом порядке. В записных книжках, сохранившихся только потому, что Корниш никогда ничего не выбрасывал, вперемешку шли кое-как нацарапанные заметки о назначенных встречах, упоминания о неуказанных суммах денег, адреса, порой отдельные слова и фразы, когда-то что-то значившие. Я просмотрел их по диагонали и в книжке, заполненной не до конца — видимо, последней, — обнаружил такую запись: «Одолж. Макв. рук. Раб. 16 апр.».

Были тут и сокровища, о которых никто, кроме меня, не знал, потому что я не давал библиотекарям совать сюда свой нос. Письма от художников, которые потом прославились, но писали Корнишу, когда были еще молоды и бедны, — искренние дружеские письма, в которых порой сквозила берущая за душу нужда. Художники иллюстрировали письма набросками и каракулями — смешными, восхитительными, иногда невыразимо прекрасными. Когда я объяснил все это Артуру Корнишу, он сказал:

— На ваше усмотрение; дядя Фрэнк вам доверял, мне этого достаточно.

Это было приятно, но мало помогло, потому что библиотекари наседали.

Национальная библиотека мотивировала свои претензии тем, что Корниш — «великий канадец» (о, как он смеялся бы, ибо я не встречал менее тщеславного человека), поэтому все, что имеет к нему отношение, следует беречь, как архивные документы, — каталогизировать, внести в перекрестный указатель, поместить в бескислотные контейнеры, чтобы сохранить навечно. Но университетская библиотека считала, что Корниш — великий благодетель университета, который выказал свое уважение к библиотеке, подарив ей прекрасную коллекцию книг и манускриптов; следовательно, и память о нем должна храниться, если это возможно, в тех же руках.

Почему, спросил я. Разве самих сокровищ недостаточно и нужен еще мусор, бóльшая часть которого годится разве на свалку? Нет, ответили архивариусы ровными голосами, в которых явственно слышались гнев и ужас, вызванные моей тупостью и невежеством. Неужели я забыл про исследования, эту масштабную отрасль, которой живет университет? Студенты с факультетов искусствоведения, истории и бог знает чего еще захотят узнать о Корнише все, что только можно.

И как, по моему мнению, можно будет написать официальную биографию Корниша, если все его бумаги не будут навечно отданы на хранение в надежные руки?

Меня это не впечатлило. Мне случалось читать официальные биографии своих хороших знакомых, и мне все время казалось, что эти книги про каких-то совсем других людей, а не тех, которых я знал. Биографы, как правило, осторожно льстили своим героям, хотя и не пренебрегали описанием того, что писатели обожают называть «пороками». Современные биографы верят, как в Святое Писание, в то, что у всех людей есть «пороки», но обнажаемые биографами «пороки» обычно сводятся к несогласию с мнением самого биографа по поводу политики, социального прогресса или еще чего-нибудь безличного. То, что я считаю человеческими пороками — гордыня, гнев, зависть, похоть, чревоугодие, стяжательство и леность, семь смертных грехов (четыре последних из этого списка были далеко не чужды и Корнишу), — редко удостаиваются сколько-нибудь осмысленного обсуждения. Что же касается добродетелей, то есть веры, надежды, любви к ближнему, благоразумия, справедливости, мужества и воздержания — некоторыми из них

Корниш обладал в похвальном изобилии, — биографы не хотят их обсуждать ни под этими именами, ни под современными модными кличками. Ни в одной из биографий лично знакомых мне людей даже не ночевала любовь к ближнему, и, возможно, с моей стороны было бы нетактично желать, чтобы Корнишу, если уж ему суждено стать предметом биографии, досталось сколько-нибудь любви. Или ненависти, или чего угодно, только не высоконаучного тумана, напущенного профессиональным писателем биографий.

Так что я плел словеса и тянул время, танцуя меж двух претендентов, плохо спал и иногда мечтал набраться храбрости и сделать то, на что я был в полном праве, а именно — швырнуть весь этот мусор в огонь. Но у меня не поднималась рука на прекрасные письма художников.

Чего стоила вся сокровищница Корниша? Артуру Корнишу было легко — он имел дело только с деньгами, а их можно описывать в терминах, понятных налоговым инспекторам и суду по делам наследства. Произведения искусства — совершенно другой коленкор; налоговикам нужны были цифры, которые они могли бы вписать в нужное место на клочках бумаги, представляющих интерес единственно и исключительно для

налогового ведомства. Мы не могли воспользоваться страховыми описями: Корниш никогда ничего не страховал. Какой смысл страховать вещь, которую невозможно заменить? Я без труда выпросил у Холлиера и Макварриша разрешение связаться с Торонтовским отделением «Сотби» и пригласить их для оценки коллекции. Но тут опять начались проблемы. Оценщики знали свое дело и могли сказать, сколько можно будет выручить за всю коллекцию, если внести все вещи в каталог и продавать по отдельности с аукциона правильно выбранным покупателям. Но оценка для апробации завещания — это несколько другое: Артур Корниш не собирался допускать, чтобы налог на наследство исчисляли на основе нынешних непомерно раздутых цен на произведения искусства. То, что Корниш довольно много всего оставил общественным учреждениям, вовсе не так сильно снижало сумму налога, как следовало бы, по мнению Артура.

Это был тяжкий труд, и он мешал мне делать то, за что университет платил мне деньги.

## 2

Основное оправдание моего существования, я полагаю, в том, что я хороший учитель. Но чтобы

хорошо учить, мне нужен определенный душевный покой, потому что я не просто отбарабаниваю лекции, составленные давным-давно, — я втягиваю свою группу (всегда небольшую) в разговоры и обсуждения; моя работа различна год от года, и результат тоже различается, потому что от способностей и прилежания студентов зависит так же много, как и от меня. Посмертные требования Корниша налагали на меня слишком тяжкое бремя забот, и я как преподаватель был не в лучшей форме.

А мне сейчас особенно хотелось учить хорошо, потому что впервые за несколько лет мне достался крайне способный ученик, а именно — та самая Мария Магдалина Феотоки, которую я заметил на похоронах Корниша. Я спросил, знала ли она покойного, и она сказала, что нет, но профессор Холлиер предложил ей прийти на похороны, так как, по его словам, в один прекрасный день она, может статься, будет многим обязана Корнишу. По-видимому, Холлиер ее особенно выделял, и это меня удивило, потому что он, как правило, почти не общался со студентами вне лекций и семинаров. Я решил, что его, как и меня, привлек ее ненасытный аппетит ученого; она, кажется, жаждала знаний ради них самих, а не ради карье-

ры, к которой они могли привести. В силу своего богословского образования я задумался, не принадлежит ли она к числу избранных от науки; конечно, я шутил, но лишь отчасти. Как известно, Кальвин делил человечество на избранных ко спасению и обреченное большинство; мне кажется, со знанием та же картина: одним людям знания даются сами, а другим для их приобретения нужно тяжело трудиться. Когда имеешь дело с избранными от науки, то кажется, словно бы не учишь их, а напоминаешь им то, что они уже знают; именно так было с Марией, и она меня завораживала.

Конечно, она была подготовлена к изучению новозаветного греческого лучше, чем средний студент; она хорошо знала древнегреческий и, вместо того чтобы считать язык Нового Завета упадочным, видела его, как он есть: величественными руинами. Так греческая статуя с отбитым носом, без рук, без гениталий все же остается греческой и прекрасной даже в поврежденном виде. Более того, именно на этом языке святой Павел и четыре евангелиста повествовали о священном и величественном.

Но зачем он Марии? Она вскользь упомянула, что изучает Рабле, который знал греческий и

как священник, и как гуманист во времена, когда Церковь не поощряла изучение греческого. Вот ведь забавно, сказал я на семинаре: в эпоху Возрождения новооткрытые труды классиков по-настоящему оценили вне университетов; в университетах же не изучали не только Платона, возмутителя спокойствия, но и добропорядочного Архимеда с его научными открытиями и архимедовыми спиралями. Мои слова рассмешили двух ультрасовременных студентов, детей эпохи вседозволенности, — видимо, слово «спираль» вызвало у них какие-то сугубо свои ассоциации. Но Мария поняла, о чем я говорил: университеты не могут быть универсальнее тех, кто учит, и тех, кто учится в их стенах. Людей, способных выйти за рамки модных учений своего века, очень мало, и мне казалось, что Мария может стать одной из них. Я верил, что как учитель способен помочь ей в этом.

Я напомнил себе, что опасно заводить любимчиков среди студентов. Но учить Марию было все равно что бросать горящие спички в нефть, а остальных — все равно что пытаться развести костер из сырых дров. Жаль, что Корниш забирает у меня столько энергии.

Еще и потому жаль, что меня сильно захватила

идея «Нового Обри». Слова Эллермана заронили мне в душу искру, и я хотел раздуть ее в пламя.

Непритязательные заметки о разных мелочах из жизни наших ученых современников — вот что он предложил. Но с чего начать? Найти в университетах эксцентричных ученых — проще простого, если под эксцентриком понимать человека, склонного к чудачествам. Но подлинный эксцентрик — тот, кто стоит в стороне от модных наук своего века, и, быть может, зачинатель новых наук будущего — более редкая птица. Они редко пользуются популярностью, потому что черпают силы из источника, непонятного современникам. У меня были причины считать таким человеком Холлиера; нужно воспользоваться особой возможностью, предоставленной Корнишем, и изучить Холлиера как следует. Но меня привлекали люди, чья эксцентричность была более зрелищной, *психус академикус*, как называли их студенты; я обожаю шарлатанов. А в лице Эркхарта Макварриша мне представился прекрасный экземпляр шарлатана.

Нельзя сказать, что он не ученый. У него хорошая репутация специалиста по Ренессансу. Но он нескромен; насколько я знаю, он единственный человек в научном мире, имеющий

наглость именовать себя «великим ученым». Когда-то он руководил Центром исследований Ренессанса, и одно время даже казалось, что он выдвинет центр на видное место в мировой науке. Маквариш заманивал к себе способных студентов, но его не интересовали их попытки встать на собственные ноги; он использовал их как высококвалифицированных помощников, и они поняли, что возможности защититься у них не будет. Когда они предъявили Макваришу претензии, он заявил, что любой, кто с ним работал, может получить любую научную должность где угодно в силу одного этого факта. Им не понадобится никакая диссертация, и вообще дурацкие докторские степени каждый год присваиваются патентованным глупцам. Звание ученика Маквариша — гораздо лучше любой ученой степени. Но студенты не поверили ему по самой веской причине: потому что он врал. Так что Эрки сняли с должности, но университету это дорого обошлось: Эрки перешел в небольшую высокооплачиваемую группу заслуженных профессоров, слишком великих, чтобы заниматься административной работой. Увольнение методом ударной возгонки.

Если университет захочет уволить профессо-

ра с постоянной должности, будет страшный скандал. Научные деятели обожают собачиться между собой, но терпеть не могут скандалов. Всеобщее мнение сошлось на том, что единственный способ избавиться от Эрки — убить его. Возможно, декан и тешил себя какими-то планами в этом направлении, но точно не хотел, чтобы его поймали. В общем и целом Эрки не был плохим ученым. Он просто был невыносим, а это почему-то не считается уважительной причиной для убийства. Так что Эрки занял пост заслуженного профессора — с необременительными обязанностями, преданной секретаршей и немногими студентами.

Но его это не удовлетворило. Он обиделся на университет и, как сам выражался, «затаил на него зуб». Свою злобу он высказывал в своеобычной шутливой манере горстке своих любимчиков, или, как их еще называют студенты, прихвостней. Я слыхал, как некоторые из них поливают грязью Корниша и его завещание. «Миллион долларов! — презрительно говорили они. — Что такое в наши дни доход с миллиона долларов — оклад для парочки посредственных профессоров, как будто университету не хватает посредственностей». Нетрудно было догадаться,

откуда это идет. Да, обязательно надо вставить Макварiша в книгу.

Уже прошла добрая часть октября, когда Эрки пригласил меня к себе на вечеринку. Он устраивал приемы каждые две недели, обычно для студентов и младших преподавателей. Особо прогремела вечеринка, на которой почетным гостем был парикмахер Эрки: у Эрки была прекрасная серебристая шевелюра, уложенная и ухоженная, и ходили слухи, что он спит в сеточке для волос. Но я давно вынужден был признать, что обладаю не шекспировским высоким лбом, а всего лишь обширной лысиной, так что, говоря о шевелюре Эрки, мне надо следить за собой, чтобы не впасть в грех зависти. На предстоящую вечеринку пригласили и Холлиера, и наверняка она была как-то связана с Корнишем.

И точно, на вечеринке оказался и Артур Корниш — единственный из гостей, не имевший отношения к научному миру. Мы собрались довольно пунктуально, в пять часов, поскольку на приглашениях элегантным каллиграфическим почерком Эрки было написано: «Херес — с 5 до 7 часов вечера», а в нашем университете пунктуальность очень ценят. Конечно, наливали не только херес: самой большой популярностью

пользовались джин и шотландский виски, но «херес», по мнению Эрки, звучало элегантнее, чем «коктейли».

Эрки жил в хороших апартаментах, где в дорогих книжных шкафах стояли прекрасные книги. Его жилище украшали несколько отличных картин на расхожие сюжеты эпохи Возрождения: Мадонны, святые Иоанны, обнаженная женщина, достаточно рахитичная, чтобы принадлежать кисти Кранаха, но определенно не в его стиле, и две-три неплохие старинные статуэтки. Берегись зависти, сказал я себе, ибо я люблю хорошие предметы искусства и сам владею несколькими, хотя и похуже. У Эрки был прекрасный бар, переделанный из церковного шкафа для облачений, и его приятель-студент щедро разливал оттуда напитки. Восхитительный фон для Эрки.

А вот и он сам, стоит посреди комнаты в домашней куртке, или курительной куртке, или как это называется… прекрасного бутылочно-зеленого шелка. Пусть менее значительные шотландцы довольствуются пиджаками из шотландки, но Эрки не таков. Он презирал шотландку как романтическую фальсификацию, о которой сроду никто не слыхал, пока труды сэра Вальтера Скотта не привлекли в Шотландию поток туристов.

Эрки любил играть высокородного шотландца. Его шотландский акцент тоже был высокородным: легкий намек на мелодичную речь горца и едва заметная раскатистость «р». Ничего похожего на простонародный выговор из стихов Роберта Бёрнса.

Я удивился, заметив Марию. Эрки держал ее под руку и указывал на висящий над каминной полкой портрет мужчины в кружевном галстухе по моде семнадцатого века и зеленом сюртуке того же цвета, что и куртка хозяина дома. Нос на портрете был такой же длинный и лицо такое же красное, как у самого Эрки.

— Вот, дорогая, этот человек вам наверняка придется по душе. Мой великий предок сэр Томас Эркхарт, первый и, без сомнения, величайший из переводчиков Рабле. Привет, Симон, вы знакомы с Марией Феотоки? Она драгоценна по двум причинам: как несравненная красавица и как женщина — специалист по Рабле. В старину говорили, что порядочная женщина не может читать Рабле. Мария, вы порядочная женщина? Надеюсь, что нет.

— Я не читала перевода Эркхарта, — ответила Мария. — Я предпочитаю французский оригинал.

— Но вы столько теряете! Великий памятник научной мысли и английской литературы семнадцатого века! И какое богатство языка! «Обозвали их беззубыми поганцами, рыжими-красными — людьми опасными, ёрниками, за…рями, прощелыгами, пролазами, лежебоками, сластенами, пентюхами, бахвалами, негодяями, дубинами, выжигами, побирушками, задирами, франтами — коровьи ножки, шутами гороховыми, байбаками, ублюдками, балбесами, обалдуями, обормотами, пересмешниками, спесивцами, голодранцами, сраными пастухами, дерьмовыми сторожами, присовокупив к этому и другие оскорбительные названия…»[20]! Как мы только обходимся безо всех этих слов? Обязательно прочитайте! Позвольте мне преподнести вам экземпляр в подарок. И еще скажите, дорогая: это правда, что бедра благородной дамы всегда прохладны? Так говорит Рабле, и я уверен, вы знаете, почему он так говорит, но правда ли это?

— Не думаю, что Рабле хорошо разбирался в благородных дамах, — ответила Мария.

— Вероятно, вы правы. Но мой предок уж точ-

---

**[20] Примечания: 20**

*«Обозвали их беззубыми поганцами… присовокупив к этому и другие оскорбительные названия…»* — Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Том I, глава XXV. Перев. Н. Любимова.

но в них разбирался. Он был великосветским вельможей до мозга костей. Знаете ли вы, что, по слухам, он умер от восторга, узнав о восстановлении на троне его богоизбранного величества короля Карла Второго?

— Я даже, кажется, догадываюсь о природе этого восторга, — ответила Мария.

— Ого! *Туше, туше!*[21] Вы заслужили коктейль — чтобы, может быть, самой изведать долю того же восторга.

Мария направилась к бару, не дожидаясь, пока Эрки ее туда отведет. Эта молодая особа явно владеет собой, и ее не впечатляет шумная, пошловатая галантность Эрки. Я представил Марию Корнишу, чужому на этом сборище, и он вызвался принести ей то, что она пьет. Она попросила кампари. Для студентки необычный и недешевый напиток. Я присмотрелся к ее одежде, хотя не очень разбираюсь в таких вещах.

Подошла профессор Агнес Марли:

— Вы слышали про беднягу Эллермана? Боюсь, ему уже недолго осталось.

— Правда? Надо пойти его навестить.

— К нему не пускают.

---

**[21] Примечания: 21**
Touché *(фр.)* — попадание в фехтовании.

— Очень жаль. Он мне кое-что сказал пару недель назад… предложил один проект. Я хотел дать ему знать, что я взялся за работу.

— Может быть, если поговорить с его женой…

— Ну конечно. Я именно так и сделаю. Мне кажется, ему будет приятно об этом узнать.

К нам подошел Артур Корниш, а с ним Мария.

— Я слышал, Мюррей Браун опять пинает дядю Фрэнка, — сказал он.

— За что?

— За то, что у него было много денег и кучу из них он оставил университету.

— Я слышал, миллион «Душку»?

— Да. И еще несколько миллионов разным колледжам и отдельным кафедрам.

— И что же Брауну не так?

— То же, что всегда. Почему у одних людей много денег, когда у других так мало? Какое право имеет человек распоряжаться, куда пойдут его деньги, если они нужнее в другом месте? Какое право имеет университет получать деньги помимо государственных, если они тратятся на всякую грязь и чепуху? Вы же знаете Мюррея; он друг простого народа.

К нам присоединился Эрки:

— Мой великий предок назвал бы Мюррея Бра-

уна прощелыгой или, быть может, дерьмовым пастухом.

— Лучше не упоминать о дерьме, — сказал Артур. — Это одна из любимых тем Мюррея: он прослышал, что в университете есть ученый, который работает с человеческими экскрементами, и хочет знать, откуда взялись деньги на этакую гадость.

— Откуда он знает, что это гадость? — спросил Холлиер.

— Он не знает, но может убедить в этом других. Он увязывает это с вивисекцией, это его другая любимая тема: пытки, а теперь еще и размазывание всякой грязи. И на это тратятся народные деньги?! Ну, вы знаете его вечный припев.

— А где он все это говорил?

— На каком-то митинге; он уже взялся за работу в преддверии очередных выборов.

— Это, должно быть, про Ози Фроутса. — Эрки сдавленно захихикал. — Ози уже несколько лет возится с человеческими фекалиями. Странное занятие для бывшего великого футболиста. Хотя странное ли?

— Я думала, демагоги любят естественные науки, — сказала Агнес Марли. — Из них можно извлечь практическую пользу. Нападают они

обычно на гуманитарные дисциплины.

— О, про гуманитариев он тоже не забыл. Он рассказал про какую-то девушку, которая хвалилась, что она девственница, и в доказательство носила воду в решете. Что это за игры в университете, черт побери, вопросил он с праведным, с его точки зрения, гневом.

— О боже, — сказала Мария, — это он про меня.

— Что это вы творите, дорогая? — спросил Эрки.

— Делаю свою работу. Я ассистент преподавателя, и мне приходится читать инженерам-первокурсникам лекции по истории науки. Это непросто: они не верят, что у науки есть какая-то история, для них все происходит здесь и сейчас. Так что мне приходится читать как можно интересней. Я рассказала про девственных весталок — и как они доказывали свою девственность тем, что приносили воду из Тибра в решете. Я подзадорила нескольких девушек с курса — у меня огромный курс, сто сорок человек, — и кое-кто не побоялся и попробовал, и у них ничего не получилось. Было много смеху. Тогда я пронесла воду в решете шагов двадцать и не пролила ни капли, и все долго ухали и ахали, и тут я дала им посмотреть на решето. Конечно, мое реше-

то было смазано жиром, а это доказывает, что девственные весталки неплохо разбирались в коллоидной химии. Все прошло на ура, и теперь студенты едят у меня из рук. Видимо, кто-то из них об этом рассказал, а этот Мюррей, как его там, подхватил.

— Умно, — сказал Артур, — но, боюсь, чересчур умно.

— Да, — подхватила Агнес Марли. — Первая заповедь что для преподавателя, что для студента: не будь чересчур умным, иначе не оберешься неприятностей.

— Но неужели это и правда действует? — спросил Эрки. — Я принесу сито из кухни, и мы попробуем.

Он с большой помпой принес сито, намазал его сливочным маслом, умудрился налить туда несколько капель воды и сделал лужу на ковре.

— Но конечно, я не девственник, — заметил он, хихикая чересчур игриво.

— И еще вы использовали неправильный жир, — заметила Мария. — Вы не подумали, что могло оказаться под рукой у весталок. Попробуйте ланолин, и, может быть, вы все же окажетесь девственником.

— Нет, нет, я лучше поверю, что это истинная

проба, — возразил Эрки. — Мне приятней думать, что вы, дорогая Мария, действительно девственница. Ведь это так? Ну скажите, тут все свои. Вы девственница?

Студент-бармен зареготал: судя по его виду, он был провинциалом и сейчас, наверное, думал, что вращается в высшем свете.

— Что такое, по-вашему, девственность? — спросила она. — Один канадец определял девственность как ситуацию, когда душа управляет телом, а не наоборот.

— О, ну если вы собрались говорить о душе, тут я не специалист. Отец Даркур нам об этом больше порасскажет.

— Думаю, весталки очень хорошо понимали, что делают, — отозвался я. — Простой народ требует простых доказательств для вещей, которые вовсе не просты. Мне кажется, что писатель, которого вы упомянули, мисс Феотоки, говорил о целомудрии, которое является свойством духа; девственность же — это технический, телесный атрибут.

— Ох, Симон, какой же вы иезуит, — сказал Эрки. — По-вашему, выходит, что девушка может пуститься во все тяжкие, а потом сказать: «На самом деле я, конечно, целомудренна, потому что

мысленно держала фигу в кармане»?

— Целомудрие не исключительно женское свойство, — заметил я.

— В общем, мне удалось достучаться до инженеров, — продолжала Мария. — Они почти поверили, что науку изобрели до их появления в университете и что, может быть, глупые люди, жившие в старину, все-таки кое-что знали. Тогда ведь было много подобных испытаний. Одно из них позволяло определить мудреца. Помните, профессор Маквариш?

— Я прибегну к классической отговорке ученого, дорогая Мария: это не моя специальность.

— Если вы мудрый человек, это определенно ваша специальность, — сказала Мария. — В старину считали, что мудрец может поймать ветер сетью.

— Что, сеть надо было намазать жиром?

— Нет, это метафора: она значила «постигнуть осязаемое, но невидимое», но, конечно, это мало кто понимал.

Холлиеру во время этого диалога было явно не по себе, а теперь он поспешил сменить тему:

— Отвратительны эти нападки на Фроутса: он очень талантливый ученый.

— Но эксцентричен, — сказал Эрки. — Наш

Из-Дерьма-Конфетку, несомненно, эксцентричен, а вы знаете, какой политический капитал можно сколотить нападками на эксцентричного человека.

— Очень талантливый ученый, — продолжал Холлиер, — и мой большой друг. Моя работа и его тесно связаны, но дешевый демагог вроде Брауна этого никогда не поймет. Думаю, мы с Фроутсом оба пытаемся поймать ветер сетью.

## 3

На приемах с коктейлями я вечно порчу себе аппетит разнообразными аппетитными закусками. Поэтому от Эрки я направился прямо к себе, по дороге купив газету, чтобы посмотреть, считаются ли нынче новостями нападки Брауна на университет.

Официально я числюсь на кафедре богословия в «Душке», но живу в другом месте. У меня комнаты в Плоурайт-колледже, это совсем рядом. Здание относительно современное, но построено не в скудном, человеконенавистническом стиле современной университетской архитектуры; мои комнаты расположены в надвратной башне, так что из окон я вижу и внутренний дворик Плоурайта, и большой, раскинувшийся во всю ширь

пестрый университетский городок.

Кухни у меня нет, но есть электроплитка и небольшой холодильник в ванной. Я сделал себе тосты и кофе, достал банку меда. Не очень подходящая еда для человека, начинающего полнеть, но мне чужда современная лихорадочная погоня за стройностью. Еда помогает мне думать.

Речь Брауна была изложена в газете не целиком, но довольно подробно. Я встречал Мюррея Брауна, когда служил приходским священником — до того как занялся научной работой. Он был озлобленным человеком и дал выход этой злобе, отправившись в крестовый поход во благо бедняков. Думая об обидах, нанесенных малоимущим, Браун мог всласть предаваться гневу, как угодно выходить из себя, приписывать низкие мотивы любому, кто с ним не соглашался, и сбрасывать со счетов как несущественное все, чего не понимал. Консерваторы его ненавидели, а либералы стыдились, так как он обладал чрезвычайно узким кругозором и не имел определенных целей; но он находил достаточно единомышленников, чтобы снова и снова избираться в парламент

провинции Онтарио[22]. Он вечно с чем-нибудь яростно боролся, бичевал те или иные прегрешения, а теперь вот обратил взор на университет. В своем примитивном стиле он был довольно ловким полемистом. Неужели мы тратим такие огромные деньги для того, чтобы профессора возились в дерьме, а девицы несли похабную чушь в аудиториях? Конечно, нам нужны врачи, медсестры, инженеры, может быть, даже юристы. Нужны экономисты — в разумном количестве — и учителя. Но нужны ли нам всякие излишества? Слушатели соглашались, что нет.

Интересно, счел бы Мюррей излишеством меня? Несомненно. По его понятиям, я дезертир. Мюррей считал, что задача священников — работать с бедняками: пусть не так эффективно, как специально обученные социальные работники, но уж как могут и незадорого. Я полагаю, что представление о религии как образе мышления и чувства, который может забирать все интеллектуальные силы здорового человека,

---

**[22] Примечания: 22**

*…чтобы снова и снова избираться в парламент провинции Онтарио.* — Канада состоит из десяти провинций и трех территорий. Каждая провинция имеет свой парламент, свое правительство (премьер-министр, министры), своего лейтенант-губернатора, свой бюджет, свои суды и т. д. Город Торонто, где происходит действие книги, относится к провинции Онтарио.

было Мюррею совершенно чуждо. Но я отработал свое на посту священника в мюрреевском смысле и обратился к преподаванию в университете, потому как убедился, если воспользоваться любимой формулировкой Эйнштейна, что серьезные ученые-исследователи — единственные по-настоящему верующие люди в наш глубоко материалистический век. Узнав, насколько трудно спасать чужие души (да и спас ли я на деле хоть одну душу за девять лет приходской работы среди бедных и не столь бедных?), я хотел обратить все время, какое у меня было, на спасение собственной души, заняв должность, которая оставляла бы мне время для главной работы. Мюррей назвал бы меня эгоистом. Но так ли это? Я изо всех сил тружусь над великой задачей по отношению к человеку, наиболее близкому ко мне и наиболее податливому к моим усилиям, и, быть может, своим примером мне удастся убедить еще горстку людей сделать то же самое.

О нескончаемый труд! Вначале не знаешь совсем ничего, кроме разве того, что наверняка заблуждаешься, а истинный путь скрыт густым туманом. Юнцом, еще полным надежд, я обратил свои силы на подражание Христу и как дурак вообразил, что это значит имитировать Христа в

любой мелочи, наставлять людей на правый путь (когда я сам не знал, где право, где лево) и как можно чаще получать заушения и поношения. Нынче людей уже не распинают в поддержание общественного порядка, но, по крайней мере, я мог добиваться, чтобы меня распяли психологически, и добился, и висел на кресте, пока до меня не начало доходить, что я просто невыносим для окружающих и ни капли не похож на Христа — даже на нудного *détraqué*[23] Христа, порожденного моим незрелым воображением.

Мало-помалу тяжелая работа на приходе поставила мне мозги на место, я понял, каким дураком был, и стал «христианином-тяжелоатлетом»: я увлеченно работал в мужских клубах и клубах для мальчиков и заявлял во всеуслышание, что главное для христианина — дела, а вера сама процветет в спортзалах и кружках по изучению ремесел. Может, для кого-то так оно и было, но не для меня.

Постепенно до меня дошло, что подражать Христу не значит устраивать инсценировку Страстей Христовых бродячей труппой со мной, чудовищно плохим актером, в главной роли. Быть может,

---

**[23] Примечания: 23**
Испорченный *(фр.)*.

подражать Христу следует в Его твердом приятии своей участи и в том, что Он не отступил от нее, даже когда эта участь привела Его к позорной смерти. Именно цельность Христа осветила такое множество миллионов жизней, а моя задача — найти и явить цельность Симона Даркура.

Не профессора его преподобие Симона Даркура, хотя и этой роскошно титулованной фигуре приходилось отдавать должное, поскольку университет платит ему и за то, что он преподобие, и за то, что он профессор. И священник, и профессор будут функционировать вполне удовлетворительно, если Симон Даркур, весь целиком, будет жить, серьезно осознавая, кто он такой, и говорить с внешним миром, исходя из этого осознания, как священник и как профессор и всегда — как человек, смиренный перед Богом, но не обязательно всегда смиренный перед ближними.

Вот истинное подражание Христу, а если Фоме Кемпийскому оно не нравится, это потому, что Фома Кемпийский — не Симон Даркур. Но старик Фома мог стать и другом. «Если себя не можешь сделать таким, каким желаешь, как можешь сделать, чтобы другой был таков, как тебе угод-

но?»[24] — спрашивал он. Конечно никак. Но я решил, что суровая работа над собой, каковой я увлекался в молодости, молитвы и лишения (одно время я насыпал горох себе в ботинки и даже развлекался с бичом, пока моя мать его не обнаружила, — вообще был Полным Ослом, хоть и думал, что играю роль Долготерпеливого Слуги) — все это чепуха. Я полностью бросил работать над собой снаружи и терпеливо ждал, когда судьба сама придаст мне нужную форму изнутри.

Терпеливо ждал! В душе — может быть, но университет мне платит не за терпеливое ожидание, и я вынужден был проводить занятия, готовить богословов к рукоположению, участвовать в куче комитетов и научных групп. Я вел насыщенную академическую жизнь, но находил время для того, что, как я надеялся, было духовным ростом.

Я обнаружил, что самая большая проблема — мое чувство юмора. Юмор Эркхарта Макварриша был равен безответственности и презрению к остальному человечеству, а мой — склонен ставить мир вверх тормашками, переворачивая

---

**[24] Примечания: 24**

*«Если себя не можешь сделать таким, каким желаешь, как можешь сделать, чтобы другой был таков, как тебе угодно?»* — Фома Кемпийский. О подражании Христу. Перев. К. Победоносцева.

вещи с ног на голову в самый неподходящий момент. Как преподаватель кафедры богословия, я вынужден исполнять определенные обязанности священника, а в «Душке» любят ритуалы. Я это полностью одобряю. Как там говорил Йейтс? «И что, как не обряд и не обычай, рождают чистоту и красоту?»[25] Но именно тогда, когда обряды и обычаи предписывали благоговение, на меня порой нападала смешинка. Интересно, не этим ли страдал Льюис Кэрролл? Религия и математика, два царства, в которых юмор, кажется, совершенно не у дел, довели его до написания «Алисы». В христианстве нет места стоянию на голове и очень мало терпимости к юмору. Меня пытались убедить, что святой Франциск любил шутить, но я не верю. Возможно, он был всегда весел, но это нечто другое. Мне случалось задаваться вопросом: а не был ли святой Франциск самую чуточку не в себе? Он слишком мало ел, а это не обязательно ведет к святости. Сколько видений Царства Небесного было вызвано низким уровнем сахара в крови? (Я густо намазал медом третий тост.) По правде сказать, тому Симону Даркуру, которого я пытаюсь обнаружить в себе и выпустить

**[25] Примечания: 25**

У. Б. Йейтс, из стихотворения «Молитва о дочери». Перевод А. Блейз.

на свободу, не чуждо свойство, которое можно назвать цинизмом, а можно — ясностью зрения, смягченной любовью к ближнему. Именно благодаря этому качеству я не преминул заметить, что портрет сэра Томаса Эркхарта, принадлежащий Эркхарту Макваришу и так удивительно на него похожий, был подмалеван для достижения нужного эффекта. Зеленый сюртук, волосы (парик) и большая часть лица остались неизменными, но кто-то явно поработал над портретным сходством. Если поглядеть на картину под углом при ярком свете, подрисовка бросалась в глаза. Я кое-что понимаю в живописи.

Ох уж этот Эрки. Мне было неприятно, когда он приставал к барышне Феотоки насчет девственности и насчет бедер благородной женщины. Я нашел это место у себя в английском издании Рабле. Действительно, бедра оказались прохладные и влажные, потому что женщины, как утверждал автор, постоянно в неурочное время испускают мочу (интересно почему? кажется, сейчас они ничего такого не делают), потому что в том месте никогда не светит солнце и потому что его овевают исходящие из «расселины» газы. Мерзкий старикашка Рабле и мерзкий старикашка Эрки! Но Мария не растерялась. Молодец!

Но что за жалкий фигляр этот Эрки! Неужели вся его жизнь так же фальшива, как его «внешний человек»?

Разве эти мысли — в духе любви к ближнему? Ну что ж, апостол Павел говорит, что любовь — то и это, но нигде не утверждает, что она слепа.

Да, я определенно изменю настоящему Симону Даркуру, если не вставлю Эрки в свою книгу. И точно так же изменю, если не отыщу неправедно гонимого Озию Фроутса, которого я когда-то, в дни его футбольной славы, хорошо знал, и не скажу ему что-нибудь ободряющее.

## Второй рай III

### 1

— Нет, я не могу пообещать, что на этот раз не напьюсь. Молли, почему вы так ненавидите приятный душевный подъем?

— Потому что в нем нет ничего приятного. Он шумен, назойлив и обращает на себя внимание.

— Какое мещанство! От вас, ученого и раблезианца, я ждал большего. Я ожидал встретить свойственную настоящему ученому широту взглядов, раблезианский простор духа. Напейтесь со мной, и вас не будут заботить взгляды пошлой толпы.

— Я ненавижу пьянство. Мне слишком много приходилось его терпеть.

— Правда? Вот это откровение — первое, которое я от вас услышал. Молли, вы просто потрясающе скрытная девушка.

— Да, это так.

— Но это неестественно и, должно быть, вредно для здоровья. Молли, расстегнитесь чуть-чуть. Расскажите мне историю своей жизни.

— Я думала, это вы собирались мне рассказать

историю своей жизни. Честный обмен. Я плачу за ужин — вы рассказываете.

— Но я не могу говорить в пустоту.

— Я не пустота; я прекрасно запоминаю все, что слышу, — пожалуй, даже лучше, чем то, что читаю.

— Интересно. Можно подумать, вы из крестьян.

— Любой человек — из крестьян, если вернуться назад на несколько поколений. Мне не нравится тут говорить. Слишком шумно.

— Вы же сами меня сюда привели. В эту студенческую рыгаловку, «Обжорку».

— Это вполне пристойный итальянский ресторан. И недорогой, притом что здесь хорошо кормят и порции большие.

— Мария, это чудовищно! Вы приглашаете на ужин несчастного, нищего человека — потому что так мы, обитатели «Душка», называем себя в молитве перед едой, *miseri homines et egentes*, — и заявляете ему в лицо, что это дешевая забегаловка, подразумевая, что кого-нибудь другого вы повели бы в заведение почище. Вы не ученый и не джентльмен, Мария, — вы зануда и невежа.

— Пусть так. Но грубостью вы меня не заставите плясать, Парлабейн.

— Брат Джон, с вашего позволения. Черт возьми, вы вечно боитесь, что вас кто-нибудь «заставит плясать». Что вы имеете в виду? Прыжки вверх-вниз на упругой поверхности? «Скачку вдвоем», как сказал бы Рабле?

— Хватит, не будьте Макваришем. Любой мужчина, кое-как умеющий читать, запоминает пару гадких словечек из английского перевода Рабле, пробует их на женщинах и думает, что ему сам черт не брат. Мне это нужно как прыщ на жопе, если уж вам непременно хочется услышать раблезианское выражение. Когда я говорю «заставить плясать», я имею в виду то, что мужчины вечно проделывают с женщинами: заставляют их растеряться, ставят в неловкое положение, оскорбляют их свысока и благодушно помыкают ими. И я не собираюсь этого терпеть.

— Вы делаете мне невыразимо больно.

— Ничего подобного. Вы — прихлебатель высшей марки, брат Джон. Но мне плевать. С вами интересно, и я готова платить, чтобы слушать ваши рассказы. Я считаю, это честный обмен. Я же вам сказала: я терпеть не могу разговаривать в шуме.

— О, эта страсть чересчур цивилизованного человека к тишине! Совершенно неестественная.

Зачатие человека обычно сопровождается определенным количеством шума. Первые девять месяцев жизни нас носят в утробе под оглушительную какофонию: барабанный грохот сердца, бульканье и бормотанье кишок, которые, должно быть, шумят не хуже такелажа парусника, громкий смех матери, — вы можете себе представить, каково приходится крохотному капитану Немо, прыгающему вверх-вниз в водяном пузыре под сотрясения материнской диафрагмы? Почему дети шумны? Потому что выросли в шуме, в буквальном смысле этого слова. Взрослые сердятся на детей, когда те утверждают, что удобнее делать уроки при включенном радио, но дети лишь пытаются восстановить первозданный шум, в котором они учились быть всем — от комка клеток до рыбы, от рыбы до человека. Вкус к тишине — сугубо приобретенный, обусловленный. Тишина — это бесчеловечно.

— Что будете есть?

— Давайте начнем с большой порции креветок. Конечно, они будут из морозилки, но, раз уж я недостоин лучшего, предадимся третьесортной роскоши. И побольше очень острого соуса. Потом — омлет-фриттата с курицей. Потом спагетти, как в прошлый раз; они были вполне сносны,

но принесите вдвое больше, и я уверен, что соус можно сделать поострее. Велите повару положить побольше перчиков — моя спутница за все заплатит. Потом сабайон, да глядите, чтоб в нем было побольше бухла. А на закуску — сыр, побольше сыру; чем козлиней и размазистей, тем лучше — я люблю сыр, который не стесняется заявить о себе. И еще как минимум один итальянский хлеб с хрустящей коркой, несоленое масло, какую-нибудь зелень — лучше редиску, если есть, от нее рыгается слаще; и чесночное масло, чтоб намазать то да се, не помешает. Кофе хорошенько вспеньте. А что до выпивки… Боже, ну и набор! Но жаловаться без толку; несите по бутыли орвьето и кьянти, да смотрите не охлаждайте орвьето, ибо Господь не на то его создал и я такого не потерплю. А потом, ближе к делу, поговорим про «Стрегу». Давайте, живо.

Официантка покосилась на меня, и я кивнула.

— Я все правильно заказал, вы не находите? Хороший ужин должен быть зрелищем; эдвардианцы это понимали. Их трапезы были роскошным театральным действом, как пьесы Пинеро, с искусными приготовлениями, ожиданием, развязкой и смачным финалом. Хорошо скомпонованная пьеса; хорошо скомпонованный

ужин. Съедобная драма. Потом, конечно, явились Шоу с Голсуорси и превратили театр и еду в нечто возвышенное: из пьес пропали занимательные интрижки, а еду заменило варево из травы — с добавкой вареного яйца, если человек всерьез решил обожраться.

— Это такое вступление в историю вашей жизни?

— Практически что угодно может послужить вступлением в историю моей жизни. Ну хорошо: я родился в состоятельной, но честной семье, в сем богоспасаемом граде Торонто, сорок пять насыщенных событиями лет назад. Вы достаточно знаете историю, чтобы разрисовать фон: сгущаются тучи войны, Гитлер сидит враскоряку над миром, подобно Колоссу Родосскому, и, как обычно, политики не способны распознать негодяя даже вблизи; начинается война, и страх сжимает сердце, пока мать Британия отважно сражается в одиночку (хотя, конечно, французы и кое-какие другие народы с этим не согласятся). На сцену выходят американцы — громко, неуклюже и с опозданием. Наконец победа! Новый мир не очень уверенно встает из праха старого. Россия, союзник в военное время, снова становится врагом в мирное. Пока суть да дело, я ходил в школу,

и в неплохую, потому что я не только кое-чему научился и довольно рано приобрел вкус к философии, но и познакомился с блистательно богатыми мальчиками, такими как Дэвид Стонтон, и блестяще умными мальчиками, такими как ваш нынешний шеф Холлиер. Мы были друзьями и ровесниками — он старше меня на несколько месяцев; он думал, что я умней его, потому что говорю быстро и умею показать товар лицом, но я знал, что умный-то на самом деле он, хоть и не так ловко складывает слова. Он не оставил меня в очень трудное время, и я ему благодарен. Потом я отправился в университет, пронесся по небесам «Душка», подобно комете, и был настолько глуп, что имел наглость жалеть и немного презирать старину Клема, тяжкими трудами заслужившего кучку не очень блестящих наград.

Я наслаждался университетской свободой. Конечно, я понятия не имел, что такое университет: это не река, в которой можно удить рыбу, а океан, где юнцы должны купаться, отдаваясь приливам и течениям. Но я был рыбаком, и притом успешным. Клем вырастал в сильного пловца, готового к встрече с океаном, хотя я этого не понимал. Но все это слишком серьезные материи, а нам уже несут креветки.

Креветки почему-то напоминают мне о моих первых сексуальных подвигах. Я был невинным юнцом и по причинам, о которых вы можете догадаться, глядя на мое изувеченное лицо, не осмеливался приближаться к девушкам. Но для определенного сорта женщин постарше преуспевающий молодой человек — все равно что валерьянка для кошки, и я попался на крючок Элси Уистлкрафт.

Вы слыхали про Огдена Уистлкрафта? Который теперь считается крупным канадским поэтом? В те годы он принадлежал к так называемым новым голосам и работал младшим преподавателем здесь, в университете. Элси, очень энергичная и совершенно бесстыжая, делала ему карьеру с огромной скоростью, но при этом у нее оставалось время на любовные приключения, которые, как она считала, приличествуют жене поэта. Так что однажды, когда Огги ушел читать свои стихи на каком-то вечере, она меня соблазнила.

С ее точки зрения, неудачно, потому что тогда как раз вошел в моду женский оргазм, а она такового не достигла. Дело в том, что Элси забыла запереть собаку, огромного пса по кличке Мэт, он увидел, чем мы занимаемся, страшно обрадовался и заинтересовался, и громко залаял. Элси

пыталась заткнуть ему глотку, отвлеклась от главного, в критический момент Мэт ткнул меня холодным носом в корму, и я слишком быстро достиг финала. Я так хохотал, что Элси пришла в ярость и отказалась попробовать еще раз. В следующие недели у нас получалось лучше, но я так и не забыл про Мэта, и вообще Элси не нравилось мое отношение ко всей этой истории. Элси считала, что супружескую неверность можно оправдать и освятить всепоглощающей страстью, но Мэт привык ассоциировать меня с интересными делишками и, даже будучи привязан снаружи, громко лаял все время, пока я находился в доме.

Тем не менее эта связь придала мне уверенности в себе, а то, что я наставил рога поэту, было бальзамом для моего самолюбия. В целом я имел неплохой успех, пока был в университете, но ни разу не, как это называют, влюбился.

Это случилось позже, когда я отправился в Принстон писать докторскую диссертацию и там полюбил одного юношу — беззаветно и безоглядно, поистине прекрасной любовью. Можно сказать, что это единственный прекрасный момент во всей моей биографии.

До того я был довольно незрелым в смысле чувств. Вечная университетская история, на ко-

торую вы так пуритански намекнули в прошлый раз, — гипертрофированный мозг и недоразвитое сердце. Я считал, что очень развит в этом плане, потому что искал эмоции в искусстве — по большей части в музыке. Конечно, искусство — не эмоции; это воспоминание об эмоциях, выжимки былых чувств. Но для умного человека нет ничего проще, чем имитировать чувства, обманывая самого себя, потому что эмоции, порожденные искусством, очень похожи на настоящие. Эта любовь совершила революцию у меня в душе и, как многие революции, оставила по себе цепочку временных правительств, по очереди доказавших свою неспособность править. И, как часто бывает после революции, новая жизнь оказалась еще хуже прежней.

Не буду посвящать вас в детали. Я ему надоел, и все было кончено. Такое может случиться с любой парой, и если смерть еще хуже, то Господь поистине жесток.

Вот и омлет принесли. Еще орвьето? А я выпью. Мне нужно подкрепить силы для следующего броска.

Так начался мой спуск в ад. Я не драматизирую; подождите, увидите. Я вернулся сюда и устроился преподавать философию: это неплохая специаль-

ность, всегда можно заработать на хлеб с маслом. И «Душок» был счастлив заполучить обратно одного из своих талантливых питомцев. Но счастья поубавилось, когда «Душок» уже больше не мог закрывать глаза на тот факт, что я втягиваю кое-кого из студентов на путь разврата и порока. Дети — ужасные ябеды; они любят, когда их совращаешь, но, кроме этого, любят исповедоваться и жаловаться. Полагаю, что и я вел себя не очень мило: когда их обуревало раскаяние, я над ними смеялся.

Так что «Душок» указал мне на дверь, я уехал на запад и поработал преподавателем в паре мест, и там вышла точно такая же история, только быстрее. Не забывайте, это было еще до начала эры вседозволенности.

Мне удалось устроиться на преподавательскую работу в Штатах, как раз когда первые отблески эры вседозволенности озарили небосвод. К этому времени я уже катился по наклонной, потому что примитивные забавы с детишками не стерли памяти об истории с Генри и я довольно сильно пил. Стал алкоголиком, хотя сам не думал об этом именно такими словами. Но выпивка не решала моих проблем, так что я, по тогдашней моде, попробовал наркотики и увидел, что это хорошо.

Мне действительно было хорошо. Я воображал себя свободной душой и великим просветителем молодежи… Мария, ваше кольцо очень интересно мерцает каждый раз, как вы подносите вилку ко рту. Вам не кажется, что для девушки, угощающей друзей в «Обжорке», это довольно большой бриллиант?

— Это стекло, — ответила я, сняла кольцо и спрятала в сумочку.

Мне, конечно, не следовало его носить, но я надела его вчера на коктейли к Макваришу и не сняла после, когда Артур Корниш повел меня в ресторан. Кольцо мне нравилось, и я сегодня по рассеянности надела его снова, нарушив свое правило: никогда не носить его в университет.

— Врушка. Это очень хороший камень.

— Продолжайте, пожалуйста, рассказывать. Я зачарована.

— Как слушатель Старого Моряка? «Ему внимает, как дитя, им овладел Моряк»[26]. Ну так вот, чтобы не затягивать, скажу сразу, что ФБР депортировало нашего Моряка обратно в Канаду из-за небольшого скандальчика, который вышел в американском университете, и не успел

**[26] Примечания: 26**

*«Ему внимает, как дитя, им овладел Моряк».* — Из поэмы С. Т. Кольриджа «Старый моряк», перев. Н. Гумилева.

Моряк опомниться, как оказался в Британской Колумбии, в некоем заведении, где серьезно настроенные и знающие свое дело люди пытались отучить его от выпивки и наркотиков. Вы знаете, как это делается? Тебе просто перекрывают доступ к наркотикам, фактически устраивают ознакомительную экскурсию в ад, и ты обливаешься потом, бредишь, катаешься по полу, а потом чувствуешь себя так, как, наверное, чувствуют себя очень глубокие старики, если им сильно не повезло. А для протрезвления тебя накачивают специальным препаратом и позволяют пить когда хочешь, только ты не хочешь, потому что от препарата тебе становится чудовищно плохо после выпивки, даже после рюмки хереса. Препарат называется — или назывался, когда мне его давали, — алкоголюнет. Уловили тончайший юмор? «Алкоголю — нет!» О, эти медики-юмористы! Потом, когда ты чист физически и в жутком состоянии душевно, тебя стараются вновь поставить на ноги в интеллектуальном плане. Для меня это оказалось хуже всего… О, слава богу, вот и спагетти! И кьянти… нет, нет, Мария, не беспокойтесь, я не впадаю снова в алкогольную зависимость, как это чрезвычайно неприятно называется. Просто позволяю себе

немного расслабиться в дружеской компании. Я себя контролирую, не беспокойтесь.

Так на чем мы остановились… ах да, групповая терапия. Знаете, что это такое? Группа равных людей собирается и болтает о своих проблемах; можно говорить все, что в голову взбредет, о себе или о любом другом человеке, который что-нибудь сказал, и все это очень терапевтично. Позволяет избавиться от балласта. Настоящая оргия, только в психологическом смысле. Кровища на стенах. Конечно, я и на индивидуальные сессии ходил, к психотерапевту, но групповая терапия должна была сыграть роль волшебной палочки.

Беда лишь в том, что сотоварищи по группе не были мне ровней. Кто равен мне? Гениальные философы с головой, набитой всем подряд: от Платона до логических позитивистов, этих новейших вундеркиндов философского мира, и тому подобное. А меня окружал безнадежный кагал кающихся алкашей: агент по продаже автомобилей, выгнанный из «Киваниса»[27], еврейская мамаша, чьи родные не желали прислушиваться

**[27] Примечания: 27**

*…агент по продаже автомобилей, выгнанный из «Киваниса»…* — «Киванис» («Kiwanis») — всемирная сеть клубов, занимающихся благотворительной и просветительной работой.

к ее ценным указаниям, пара школьных учителей, которые, судя по их тупости, разве что обществоведение могли преподавать, пара бизнесменов, чьим богом был Маммон, и водитель грузовика, которого включили в группу, видимо, для того, чтобы он напоминал нам о необходимости смотреть на дорогу и не позволял оторваться от реальности. От чьей реальности? Точно не от моей. Так что бес противоречия подвигнул меня выстраивать групповые встречи в хорошенькие узоры, еще сильнее вывихивая мозги бедным алкашам. Впервые за много лет я забавлялся по-настоящему.

Группа заявила протест, и мозгоклюй велел мне проявлять сострадание к братьям по несчастью. В его понимании это означало не оспаривать даже самые сомнительные заявления и принимать сопли жалости к себе как озарение свыше. Он был болван — пускай умелый, но все же болван. Но когда я ему об этом сказал, он пришел в ярость. Мария, послушайте моего совета: никогда не отдавайтесь в руки мозгоклюя, который ниже вас интеллектуально. И даже если это означает беспросветное страдание без помощи извне — все равно в конечном итоге так будет для вас лучше. Не все мозгоклюи умны, и они, совершенно

определенно, не священники. Я стал подумывать о том, не лучше ли обратиться к священнику, но тут сотрудники заведения сообщили мне: они сделали все, что могли, и для меня настала пора вернуться в мир. Иными словами, меня вышвырнули на улицу.

Где ищут хорошего священника? Я попробовал одного-другого, потому что у всех людей в душе есть сентиментальные местечки, и я все еще верил, что на свете существуют святые, чья добродетель мне поможет. Боже мой! Стоило им узнать, как я высокообразован, как стремителен в споре, как быстро нахожу доводы в подкрепление своих слов, они начали сами на меня опираться и рассказывать мне о своих бедах, ожидая ответа. Некоторые хотели расстричься и жениться. Что я мог сделать? Бежать! Бежать! Но куда?

Теперь у меня были кое-какие средства, поскольку мои родители умерли; хотя перед смертью они долго болели и эта болезнь поглотила значительную часть семейного состояния, у меня было достаточно денег, чтобы отправиться путешествовать, и куда же я поехал? На Капри! Да, на Капри, этот банальный символ разврата, хотя теперь он так кишит туристами, что грешники едва находят место погрешить; великая эра Нормана

Дугласа[28] давно прошла. Так что я отправился в светлый край златой весны, где песни Сафо небо жгли[29]. Правда, Сафо вытеснили со сцены красивые мальчики-рыбаки, готовые разделить с вами домик у моря за хорошие деньги и подарки, а иногда — озлиться и побить вас, просто так, для интереса. Как-то весной мне не повезло — один такой мальчик отправил меня в больницу на полтора месяца. Я вас шокировал?

— Тем, что вы голубой? Отнюдь.

— Увы, я не голубой; я унылый и убогий темно-серый. Я смотрю на голубых, и мне смешно: они делают из этого что-то глубоко мещанское и политизированное. Они все испортят своими криками про права, альтернативный стиль жизни «всякая любовь свята», «оба партнера должны быть чисты»… Они пытаются превратить старую добрую игру во что-то похожее на диетическую колу или кофе без кофеина — одна видимость, без сути. Убери тьму и опасность, и что останется? Чудачество: все равно что совать вот эти

---

**[28] Примечания: 28**

*Норман Дуглас* (1868–1952) — английский писатель, известный романом «Южный ветер» (1917, рус. перев. 2004) и гомосексуальными наклонностями; долго жил на о. Капри.

**[29] Примечания: 29**

*…светлый край златой весны, где песни Сафо небо жгли.* — Из поэмы Дж. Г. Байрона «Дон Жуан», перев. Т. Гнедич.

спагетти не в рот, а в ухо. Вот это точно выйдет альтернативный стиль жизни и, несомненно, извращение, но кого это будет волновать? Нет уж, мой грех должен быть Грехом с большой буквы, иначе он утратит всякое достоинство.

— Если вы предпочитаете мужчин, что мне до этого?

— Вовсе не предпочитаю, за исключением одной-единственной формы удовлетворения. Нет уж, не надо мне «гомоэротики» и ужасных, непостоянных, корыстных «королев», с которыми нашему брату приходится иметь дело; не надо мне борьбы за равноправие меньшинств и всякой чуши про альтернативный стиль жизни; не надо мне ни любви, что о себе молчит[30], ни любви, которая громко объявляет о себе в комиссии по защите прав меньшинств. *Gnosce teipsum*, говорил дельфийский оракул, познай самого себя, и я себя знаю. Я грязный старый пидор и люблю все как есть — и грязь, и вонь. Но не просите меня любить людей. Они не моей породы.

— Знаете, брат Джон, судя по всему, на свете довольно мало людей вашей породы.

— Я не слишком привередлив: я прошу лишь

---

**[30] Примечания: 30**

*…любви, что о себе молчит…* — Из стихотворения Альфреда Дугласа «Две любви», перев. А. Лукьянова.

ума и честности в вещах, которые по-настоящему важны.

— Этого достаточно, чтобы исключить большинство из нас. Но что же было дальше — как вы покинули Грецию и оказались в рясе?

— Вам не нравится моя ряса?

— Не то чтобы не нравится, но внушает некоторое недоверие. Помните у Рабле: «Никогда не доверяйте тем, кто смотрит через дырку в куколе»?

— Уж он-то знает, ведь он смотрел на мир через эту дырку почти всю жизнь. Мария, вы так и не объяснили, почему тратите столько времени на этого похабного женоненавистника, монаха-отступника. Как вы думаете, может, он был вроде меня?

— Нет. Он не очень любил женщин, хотя, по-видимому, терпел одну достаточно, чтобы зачать с ней двоих детей, и по-настоящему любил своего сына. Может быть, ему просто попадались не те женщины. Да, он знал крестьянок и придворных дам, но встречал ли он хоть одну умную, образованную женщину? Они в его кругу были редкостью. Нет, он не мог быть вроде вас, брат Джон, потому что он по-настоящему любил, по-настоящему радовался и уж точно не был при-

хлебателем при университете, как вы сейчас. Он любил учиться и не использовал свои знания как дубинку для избиения других людей, в отличие от вас. Нет-нет, вас нельзя поставить на одну доску с мэтром Франсуа Рабле. А что до монашества… ну расскажите мне, как вы стали монахом?

— Ага, вот и сабайон принесли! Значит, живем. Простите, я должен посетить комнату для джентльменов. Жаль, что вы не можете пойти со мной: у других джентльменов бывает неподражаемое выражение лица, когда монах шествует к писсуару и задирает рясу. А как они подглядывают! Хотят знать, что у монаха под рясой. Всего лишь более-менее чистые трусы, уверяю вас.

Он ушел, заметно шатаясь; люди с соседних столиков пялились на него, и он подарил им лучезарную улыбку, такую елейную, что они сочли за благо поскорей уставиться в свои тарелки.

— Вот так-то лучше! Да, ряса, — сказал Парлабейн, вернувшись. — Это сама по себе целая история. Видите ли, пока я был в Греции, я несколько опустился в свете: знакомые начали меня избегать, а мои приключения на пляжах — ибо я уже не мог снимать даже самый скромный рыбацкий домик — получили известность, которую, видимо, следует называть скандальной даже в нашем

толерантном обществе. Плохая репутация без денег, которые могли бы ее подсластить, — тяжкое бремя. В один прекрасный день я зашел в канадское консульство, чтобы узнать, нет ли для меня писем, — такое бывало редко, но иногда мне удавалось выпросить у кого-нибудь немного денег. И вдруг там действительно оказалось письмо. Причем — я до сих пор помню экстаз узнавания — от Генри. Письмо было длинное; во-первых, он признавал, что плохо со мной обошелся, и просил прощения. Во-вторых, оказалось, что он пережил все, что можно, ведя примерно ту же жизнь, что и я (хотя ему жилось легче, поскольку он был богат), и обрел нечто другое. Это нечто оказалось религией, и Генри был полон решимости впрячься в религиозную жизнь в составе монашеского ордена, ведущего работу среди самых несчастных людей. Боже, какое это было прекрасное письмо! И в заключение он предлагал послать мне денег на билет, если нужно, чтобы я приехал к нему и решил, хочу ли взвалить на себя те же обеты.

Надо полагать, для консульских работников это было зрелище — я рыдал и не мог ничего сказать. Но наконец все как-то прояснилось, и мне удалось выпросить у самого консула денег, чтобы послать каблограмму Генри. Я обещал вернуть

долг немедленно, как только Генри пришлет денег, — консулам приходится держать ухо востро с людьми вроде меня, чтобы не остаться с пустым карманом.

Несколько дней я чувствовал, что познал настоящее раскаяние и искупление; когда наконец пришла ответная каблограмма и гарантия кредита в банке, я сделал нечто впервые в жизни: пошел в церковь и дал обет Богу, что буду жить в благодарности за Его великое милосердие, что бы ни случилось со мной дальше.

Этот обет был для меня священен, и всего лишь через несколько дней Господь сурово испытал меня. Я возвращался в Северную Америку через Англию, где мне нужно было забрать кое-какие вещи — в основном книги по специальности, — и в Лондоне получил другую каблограмму. Генри был мертв. Без объяснений, хотя потом, когда я выяснил, что случилось, у меня не было сомнений, что он покончил с собой.

Эта новость привела меня в отчаяние, но не смертельное. Потому что, видите ли, у меня оставалось письмо Генри, со словами раскаяния и заботы обо мне, и это не дало мне окончательно сойти с ума. Кроме того, я знал, что собирался сделать Генри и что я сам обещал Богу в той

греческой церкви. Я стану монахом и посвящу жизнь служению беднякам и несчастным. Это будет жертва за мои собственные тяжкие ошибки и приношение в память Генри.

Но как стать монахом? Ходишь, ищешь, кто согласен тебя принять, а это вовсе не так просто, ибо религиозные ордена подозрительно относятся к людям, вдруг возжелавшим монашеской жизни: они не хотят, чтобы в них видели альтернативу Иностранному легиону. Но наконец меня принял Орден священной миссии: я просился в англиканские группы, потому что хотел сразу попасть в монахи, избегая нудной процедуры перехода в католичество. Кое-какие данные сыграли в мою пользу: я уже был крещеным и мое образование *головокружительно* превышало нужный уровень. Я прошел собеседование с провинциалом ордена в Лондоне; у отца провинциала были положительно самые большие брови, какие я видел в своей жизни, и из-под этих бровей он смотрел так, что смирял даже меня. Впрочем, я и хотел смиряться. Кроме того, я нашел его слабое место: он любил шутки и игру слов, и я — с величайшим почтением, честное слово, — развел его на несколько смешков, точнее, безмолвных сотрясений плеч, потому что он смеялся бесшумно. Через

несколько дней я уже ехал в Ноттингемшир с крохотным чемоданчиком вещей, которые мне позволили считать своими, — гребенкой, щеткой для волос, зубной щеткой и тому подобным. Отец настоятель, кажется, был мною очарован не больше, чем отец провинциал, но меня взяли на испытательный срок, наставили, конфирмовали и со временем сделали послушником.

Жизнь в монастыре была именно тем, чего я искал. Головной монастырь располагался в большом старом викторианском доме, к которому пристроили часовню и разные другие необходимые помещения. На нас лежала нескончаемая работа по хозяйству, которую нужно было делать, и притом хорошо.

*Тот, кто наводит чистоту,*
*Твоим законам внемлет,* – [31]

так нас учили об этом думать. Мы не только наводили чистоту в помещениях, но ковырялись в огороде — в монастыре ели овощи в огромных количествах из-за всех этих постных дней — и делали другую черную работу. При монастыре была школа, и мне поручили немножко препода-

**[31] Примечания: 31**

*Тот, кто наводит чистоту, / Твоим законам внемлет…* — Из стихотворения Джорджа Герберта «Эликсир», перев. Вл. Федорова.

вать, но ничего такого, что имело бы отношение к вероучению, философии и другим центральным вещам в жизни ордена: мне достались латынь и география. Я должен был посещать занятия по теологии — не теологии как части философии, а богословию, если можно так выразиться, ради него самого. И все это было натянуто на каркас ежедневного монашеского молитвенного правила.

Вы его знаете? Вы не поверите, сколько можно молиться. Служба первого часа в шесть пятнадцать, потом утреня в шесть тридцать, малая месса в семь пятнадцать, после завтрака — служба третьего часа в восемь пятьдесят пять, а за ней двадцать минут духовных упражнений. Потом мы работали как черти до молитв шестого часа, которые начинались в двенадцать пятьдесят пять, потом был обед и снова работа до чаю, который начинался в пятнадцать тридцать, а в пятнадцать пятьдесят — молитва девятого часа. Потом можно было расслабиться — поиграть в теннис или шахматы — и покурить. После ужина была вечерня в девятнадцать тридцать, потом уроки, и день завершался повечерием, которое начиналось в двадцать один тридцать.

Вы, кажется, очень молчаливая девушка. Вам

бы в монастыре понравилось. В обычные дни у нас было принято малое молчание — с девяти тридцати до службы шестого часа — и большое — от повечерия до девяти тридцати следующего утра. В Великий пост мы молчали и с вечерни до повечерия. Можно было говорить в случае крайней необходимости — скажем, если тебя изувечил бешеный бык, — но во всех иных случаях мы обходились языком знаков, которым не должны были злоупотреблять (под контролем собственной совести). Я скоро нашел лазейку: устав ордена не запрещал писать, и мне часто влетало за передачу записок во время служб.

Службы требовали определенных умственных усилий, потому что приходилось изучить монастырский часослов, отличать простой праздник от двойного и полудвойного и знать назубок все прочее, что нужно монаху. Хотите, я расскажу вам все про общую службу апостолам вне пасхального периода? Хотите услышать правила относительно пользования велосипедами? Хотите, я опишу, как выглядит «почтительная и внимательная поза»? Это значит, что нельзя сидеть нога на ногу во время богослужения и нельзя подпирать рукой голову, даже если она вот-вот отвалится от страшного недосыпа.

И конечно, никакого секса. Школьники должны были знать свое место, а монахам и послушникам строго-настрого наказывали не допускать никакой фамильярности, шумного и неуважительного поведения. Мальчики не могли входить в комнаты взрослых, за исключением священников-тьюторов, и любые совместные прогулки тоже запрещались. О, эти чуваки знали всю низость человеческого сердца. Женщин на территорию монастыря не пускали, кроме как по специальному разрешению настоятеля, который был настоящим альфа-самцом и, находясь при исполнении, требовал полного повиновения и уважения к себе, яко бы к самому Христу. Но, конечно, у настоятеля был свой исповедник, который, по идее, должен был держать его в рамках, не давая чересчур превозноситься.

Кажется, система, идеально заточенная под свою цель, нет? Но, знаете, в ней были самые разные шероховатости — в тех местах, где нынешняя так называемая демократичность и старая монастырская система не притерлись друг к другу. Так что время от времени кого-нибудь не постригали по завершении послушничества, и он уходил обратно в мир. Точнее, опять становился «от мира»: наш орден вел большую работу в миру,

помимо преподавания. У ордена были миссии для бедняков, где некоторые монахи урабатывались почти до смерти, хотя я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь действительно от этого умер. И эти монахи были не от мира, хотя, несомненно, находились в мире.

Я вам дам один полезный совет. Никогда не доверяйте человеку, который был в монастыре и вышел оттуда. Он, конечно, скажет, что сам решил уйти до принятия обетов, но очень вероятно, что его выкинули, и по уважительным причинам, — хотя бы потому, что он всем докучал и совал палки в колеса. Неудавшихся монахов больше, чем вы думаете, и никому из них не следует доверять.

— Даже вам, брат Джон?

— Меня не выкинули: я сбежал. Меня бы постригли, уверяю вас: я выразил желание оставаться в ордене всю жизнь, прошел послушничество, стал бельцом — принес обет целомудрия, бедности и послушания — и питал надежду стать священником. Я знал устав ордена сверху донизу и сзаду наперед и понимал, где у меня проблемы, — со статьей девять, «Молчание», и пятнадцать, «Относительно послушания». Я не умел придерживать язык и терпеть не мог, когда

мне делали выговор люди, которых я считал ниже себя.

— Да, я так и думала.

— Да, и, несомненно, вы думали совершенно неправильно. У меня не было ничего общего со снобами-кандидатами, которые не любили получать выговоры от помощника настоятеля, потому что он говорил с фарсовым йоркширским акцентом. Я не сноб. Но я завоевал свое место в непростом мире интеллектуалов, когда еще и не слыхивал об ордене, а в уставе ордена говорилось недвусмысленно: «У каждого довольно ума, чтобы исполнить Божью волю о себе, и достаточно сил, чтобы делать, что велено, если и недостаточно, чтоб быть, кем он желает». Отец настоятель и мой духовник были неумолимы, когда я смиренно и почтительно просил дать мне работу, на которой пригодятся мои лучшие качества, а именно мои знания и ум для их полезного применения. Но настоятель и духовник могли цитировать устав не хуже меня: «Не можешь искать Божьей воли и вместе своей, разве что твоя воля полностью подчинена Божьей. Но если это так, то о твоей воле нечего заботиться, а если не так, нужно много труда, чтобы смирить ее». И они смиряли меня, но, так как они тоже были

людьми и могли ошибаться, они сделали одну ошибку и поставили меня на приготовление всего необходимого к литургии, а это значило, что у меня под рукой оказались огромные кувшины с вином, и я отхлебывал, хлебал и доливал водой, пока в одно прекрасное утро не увлекся и не был найден в ризнице мертвецки пьяным. Мария, никогда не пейте дешевое вино на пустой желудок. Я полагаю, что несерьезно отнесся к этой истории, а епитимьи выполнял в непокорном расположении духа. Короче говоря, дела шли все хуже и хуже, и я знал, что меня могут выкинуть, а орден ясно давал понять, когда послушника принимали, что может выкинуть его безо всяких споров и объяснений.

Я бы потерпел, но к этому времени я начал ощущать голод по иной жизни. Орден предлагал добродетельную жизнь, но в этом и беда — слишком, неумолимо добродетельную. Я знавал другую и потому тосковал по экзистенциальной беспросветности, злорадству, черному юмору, придававшему вкус современной интеллектуальной жизни вне монастыря. Я был как ребенок, которого кормят исключительно здоровой пищей: моя душа жаждала нездоровой, мусорной еды, чтобы как-то сбалансировать себя.

Так что я тайком отправил письмо через человека, приехавшего в монастырь на ретрит[32], и наш дорогой Клем прислал мне денег, и я перелез через стену.

Это лишь такое выражение: на самом деле никакой стены не было. Просто в один прекрасный день, во время рекреации, я ушел по дорожке, надев костюм и рыжий парик из ящика с барахлом, которое школа использовала как реквизит для рождественского спектакля. Монастыри не посылают вслед беглецам поисковые партии с собаками. Я уверен, начальство было радо от меня отделаться.

Потом я содрал парик и напялил рясу, которую весьма провиденциально, хоть и не очень честно, захватил с собой. Она замечательно сглаживает путь. Я сел на самолет и ринулся в объятия своей матери кормящей, старого доброго «Душка»… б-б-бэр-р-р-р! Простите, я, кажется, рыгнул… Молли, вы не позволите мне одним глазком на минуточку взглянуть на бриллиант, который вы так быстро убрали?

— Нет. Он ничем не отличается от любого дру-

---

**[32] Примечания: 32**

*…приехавшего в монастырь на ретрит…* — Ретрит — период уединения и духовных упражнений, обычно проводится вдали от цивилизации, в том числе в монастырях.

гого бриллианта.

— Напротив, моя дорогая. Как он может быть подобен любому другому бриллианту, если это *ваш* бриллиант? Вы придаете ему блеск, ибо ни единый камень на свете не властен придать блеска вам.

— Нам пора идти. Мне надо кое-что доделать до ухода домой.

— Ага, у нее есть дом! У прекрасной Марии Магдалины Богородичной есть дом! И где же это он может быть?

— Вам этого знать не нужно.

— У нее есть дом, да еще кольцо с бриллиантом! Знаете старика Бертона — «Анатомия меланхолии», — современника Шекспира? У него что-то такое было про кольцо с бриллиантом, что я заучил наизусть еще до монастыря и иногда, грешник, припоминал во время служб, — видно, дьявол мне нашептывал. Звучало это так: «Влюбленный в „Апологиях“ Кальканини говорил о своем сердечном желании: стать перстнем на пальце своей возлюбленной, чтобы слышать, осязать, видеть и делать — уж не ведаю что; о глупец, отвечал перстень, будь ты на моем месте, ты бы слышал, видел и наблюдал *pudenda et poenitenda*, каковые вещи воистину внушили бы

тебе омерзение и ненависть к ней и, быть может, ради нее даже ко всему Евину роду!» Но перстень — ханжа и глупец, ибо он видел зрелища, за которые влюбленный отдал бы и душу.

— Брат Джон, не дурачьтесь. Идемте.

— Нет, погодите. Вы понимаете, о чем я? Про это даже песня есть.

Он громко запел, отбивая такт ручкой ножа по столу:

*Хотел бы я алмазом стать,*
*Хотел бы ярко я блистать*
*На пальчике желанной,*
*Как будет жопу вытирать —*
*Так мне удастся повидать*
*Тот край обетованный!*

— Ну идемте же, нам пора.

— Не будьте ханжой, Мария! Думаете, я вас насквозь не вижу? Вы покупаете историю моей жизни за дешевую жратву и сидите с лицом судьи-вешателя. А теперь застеснялись и хотите убежать, словно никогда в жизни не слышали неприличных песен. Спорим, что не слышали! Спорим, что ты не знаешь ни одной неприличной песни, сучка с каменной мордой…

Сама не знаю, что на меня нашло. Впрочем, нет — знаю. Кровь не позволяет мне оставить вызов без ответа. Кровь по обеим линиям, отцовской и материнской. Меня вдруг переполнили ярость и отвращение к Парлабейну. Я запрокинула голову и громко — у меня может быть очень громкий голос, когда нужно, — запела:

> *Стоит ниггер в переулке, член поднялся стояком —*
>
> *Там в окошке свет зажегся, а в нем девка голяком!*[33]

Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Когда пел Парлабейн, посетители за другими столиками, в основном студенты, старались на него не смотреть. Человек, орущий пьяную песню, на их шкале стоял где-то в диапазоне дозволенного. Но я позволила себе истинную непристойность. Я произнесла нечто непростительное, грязное. Услышав слово «ниггер», аудитория зашипела и засвистела, а один юноша встал с места, словно собираясь выступить на заседании комитета по борьбе за равноправие. В тот же миг подлетел владелец ресторана, схватил меня под локоть,

---

**[33] Примечания: 33**
Перевод М. Костюковича.

приподнял, настойчиво подталкивая к двери; по дороге он позволил мне задержаться у кассы ровно настолько, чтобы оплатить счет.

— Не приходить обратно, не приходить — ни вы, ни падре! — гневно бормотал он, поскольку терпеть не мог беспорядка.

Вот так нас выкинули из «Обжорки», и раз я была не пьяна, а только на взводе, то сочла своим долгом проводить Парлабейна обратно в «Душок».

— Боже, Молли, — произнес он, когда мы, шатаясь, побрели по улице, — где вы подцепили такую песню?

— А где Офелия подцепила свою? Подслушала, надо думать. Солдаты горланили ее во внутреннем дворе замка, пока Офелия сидела у окна и вязала Полонию спальные носки.

Это напомнило Парлабейну Шекспира, и он заорал:

— Спой мне какую-нибудь похабную песню, развесели меня![34] — И все время поднимал голос, пока я старалась поднять с мостовой его самого.

Мимо проехала машина университетской по-

---

**[34] Примечания: 34**

*Спой мне какую-нибудь похабную песню, развесели меня!* — Шекспир У. Генрих IV, часть 1. Акт III, сц. 3. Перев. В. Морица, М. Кузмина.

лиции с двумя полицейскими; они поспешили мимо, отвращая взгляды, — если и случилась заварушка, они совершенно не собирались в нее вмешиваться. Но что они видели? Парлабейн в рясе и я в длинном плаще — был холодный осенний вечер — выглядели, должно быть, как две пьяные бабы, затеявшие потасовку на мостовой. Парлабейн вдруг воспылал ко мне неприязнью и стал молотить кулаками, но я дралась не впервые в жизни и пару раз треснула его, чтобы протрезвел. Наконец мне удалось протолкнуть его в главные ворота «Душка» и сдать привратнику, который, судя по его лицу, решил, что это уже слишком.

И это действительно было слишком.

## 2

Наутро я нетвердо держалась на ногах и горько каялась. Не с похмелья, потому что я никогда не напиваюсь, но от сознания, что вела себя как дура. Зря я запела про ниггера. Где я подцепила эту песню? В монастырской школе. Тамошние девчонки вечно пели песни, которым их научили старшие братья. Я прекрасно запоминаю все, что слышу, причем похабные песенки и лимерики застревают у меня в голове навсегда, а вот прочитанные серьезные факты иногда из нее вылетают.

Но я не желала плясать под дудку Парлабейна и никогда не боялась ответить на чужую подначку; мои отец с матерью, хоть они и совсем разные люди, одинаково не хотели бы, чтобы их дочь отступила и побоялась принять вызов.

Я спрятала подальше кольцо с бриллиантом — жалкий предмет женского тщеславия и, хуже того, свидетельство неподобающего студентке богатства — и перестала ездить в университет на своей малолитражке. Будь осторожна, Мария! Парлабейну удалось выбить меня из колеи: он разбудил во мне менаду, этот дух, который сидит, скованный, внутри любой женщины с маломальским характером, но, вырываясь на волю, может сильно напугать мужчин. Менады, что растерзали Пенфея в кровавые клочки и сожрали, не мертвы, а только спят. Но я не хотела иметь ничего общего с менадами от политики, Союзом по борьбе за равноправие женщин; я избегала их точно так же, как Парлабейн, по его словам, избегал политизированных геев: они превращают в предмет политических, коллективных выступлений что-то слишком глубокое, слишком важное. Моя личная менада вырвалась из-под контроля, и я растратила ее чудовищную энергию на победу над эгоистичным монахом-манипулятором.

Покайся, Мария, и впредь будь осторожна!

Придя к Холлиеру, я обнаружила, что Парлабейна там нет, зато в комнате сидит сам Холлиер.

— Я слышал, вы с братом Джоном нашумели вчера, — сказал он.

Я не нашлась с ответом и лишь кивнула, словно мне снова было шестнадцать лет и меня ругал Тадеуш.

— Присядьте, — сказал Холлиер. — Мне нужно с вами поговорить. Я хочу предупредить вас насчет Парлабейна. Я знаю, это звучит так, как будто я выхожу за рамки, и вы прекрасно способны позаботиться о себе сами и все такое. Когда я просил вас попробовать понять его, я не думал, что вы зайдете так далеко. Но, пожалуйста, отнеситесь внимательно к моим словам: не допускайте близких отношений с Парлабейном. Почему? В свете нашей общей работы, я думаю, мне не обязательно выражать это современными словами: подойдут и старинные, они вполне точны. Парлабейн — дурной, злой человек, а зло заразительно, и я не хочу, чтобы вы им заразились.

— Не слишком ли сурово? — спросила я.

— Нет. Вы же понимаете, что я говорю не о морали в терминах деревенских кумушек, а о подлинно палеопсихологических явлениях.

Плохие люди существуют; их мало, но они есть. Быть плохим так же трудно, как быть хорошим, и лишь у немногих людей хватает сил на то или на другое. Но у него — хватает. В нем сидит демон-разрушитель, и он утащит вас в бездну, а потом будет насмехаться над вами за то, что вы поддались. Будьте осторожны, Мария.

Меня поразили его последние слова — ведь я твердила себе то же самое с того момента, как проснулась. Таков Холлиер — что-то в нем есть от мага. Но нельзя просто так склоняться перед магом, как будто у тебя нет своей воли и разума. Во всяком случае, пока нельзя.

— А мне кажется, его ужасно жалко.

— И что?

— Он мне рассказал историю своей жизни.

— Да, он, должно быть, уже успел ее как следует отшлифовать.

— Ну, у него была не очень счастливая жизнь.

— Но, конечно, рассказывал он с юмором.

— Вы его не любите за то, что он голубой?

— Он содомит, не знаю уж, какого цвета. Но это не обязательно делает человека плохим. Оскар Уайльд тоже был содомит, а человека добрей и щедрей его земля еще не носила. Зло таится не в поступках человека, а в нем самом и заражает

все его поступки. Он вам все рассказал, нет?

— Нет, не все. Как правило, когда просишь кого-нибудь рассказать про свою жизнь, он начинает с детства, но Парлабейн начал гораздо позже.

— Тогда я вам кое-что расскажу. Я знал его с детства; мы вместе учились в школе и вместе ездили в летние лагеря. Он вам объяснил, что у него с лицом?

— Нет, и у меня не было случая спросить.

— Рассказать недолго, а вот последствия остались на всю жизнь. Нам было лет по четырнадцать, мы были в летнем лагере, и Парлабейн — у него всегда были умелые руки — ремонтировал байдарку. Он работал под наблюдением одного из вожатых, и все как будто было в порядке. Но он поставил жестянку с клеем разогреваться на открытом огне вместо водяной бани; бог знает, куда смотрел вожатый. Клей взорвался и покрыл лицо Парлабейна кипящей коркой. Его тут же увезли в больницу, что-то срочно сделали — и в целом справились неплохо, потому что, хоть на лице остались шрамы, все же это было лицо, и глаза не пострадали так, как могли бы. Я поехал с ним, и руководство лагеря устроило меня к нему в больницу как его лучшего друга, потому что они хотели, чтобы с ним кто-нибудь побыл. Три

дня подряд, все время, когда он не был в операционной, я сидел с ним и держал его за руку.

Все это время он был в ярости оттого, что не прибыли его родители. Езды там было всего несколько часов, и родителям сообщили о происшествии, но никто не приехал. Они явились на четвертый день: бесполезный отец, похожий на мышь, и мать — совсем другой коленкор. Она играла в большую политику на городском уровне — сначала в комитете по образованию, потом попала в олдермены — и была страшно занята, как она объяснила. Она приехала, как только удалось вырваться, но не могла остаться надолго. Она была само очарование, сама доброта. Впоследствии я убедился, что она к тому же очень умный и способный человек. Но в плане материнской любви ей явно чего-то недоставало.

Парлабейн говорил с ней так ужасно, что мне захотелось выползти из комнаты, но он не отпускал мою руку. Она его мать, и когда он страдает, что же она делает? Трудится на общее благо и не может отложить свою ношу из-за семейных проблем.

Она держалась безупречно. Мягко засмеялась и сказала: «Ну что ты, Джонни. Я понимаю, что тебе больно, но это же не конец света?»

Тут он заплакал. Из-за того что глаза тоже пострадали, это было чудовищно больно, и скоро плач перешел в крик, который вырывался из крохотной дырочки, оставленной для рта во всех этих повязках. Дырочка была такого размера, что в нее едва-едва пролезала трубка, через которую его кормили. Когда он говорил, казалось, будто ребенок кричит из колодца: приглушенно и невнятно. Но смысл его слов был чудовищен.

В маленькой северной больнице стоял тяжелый летний зной, потому что кондиционеров в палатах не было. Под повязками, наверное, было нестерпимо жарко, раны болели, от обезболивающих тошнило. На крик прибежал врач со шприцем, и скоро Джон уже больше не кричал, но миссис Парлабейн сохранила безупречную выдержку.

«Клемент, ты ведь с ним побудешь, правда? — спросила она. — Мне действительно очень нужно в город».

И она удалилась, сопровождаемая послушным мужем. Я заметил, что он, прежде чем уйти, потянулся к кровати и похлопал Джона по безжизненной руке.

На том все кончилось. Скоро повязки сняли, и появилось знакомое вам лицо. Он и раньше

не был красавцем, но теперь словно надел красную маску. Со временем она поблекла. Я уверен, что пластические хирурги в Торонто могли бы многое сделать для него в последующие годы, но Парлабейны ничего не предприняли.

— Даже не подали в суд на лагерь?

— Владельцы лагеря были какие-то их знакомые; они не хотели им вредить. Джон считал это страшной несправедливостью.

— И поэтому он стал таким?

— Отчасти поэтому, я полагаю. Конечно, вся эта история не могла подвигнуть его в противоположном направлении. Они с матерью после этого жили как кошка с собакой. Он звал ее богиней-сукой, это выражение из Генри Джеймса[35], который писал про богиню-суку по имени Успех. Она и достигла успеха — в своем понимании. Джон утверждал, что она бросила его, когда была нужна ему больше всего. Она же несколько раз говорила мне, что для него сделали все, что можно, она лично об этом распорядилась, и вообще он

**[35] Примечания: 35**

*Он звал ее богиней-сукой, это выражение из Генри Джеймса, который писал про богиню-суку по имени Успех.* — «Чрезмерное поклонение богине-суке по имени Успех — наша национальная болезнь». На самом деле эти слова принадлежат не американскому писателю Генри Джеймсу (1843–1916), а его брату — философу и психологу Уильяму Джемсу (Джеймсу; 1842–1910).

придает ненормально большое значение несчастью, которое может случиться с кем угодно. Но это так, к слову, хотя, я полагаю, это проливает определенный свет на его личность, ну и на ее личность, конечно, тоже. То, что он не нашел в себе сил рассказать вам эту историю — хотя, я не сомневаюсь, очень трогательно рассказал о другом великом предательстве своей жизни, об этом эгоистичном мужеложце Генри Леви Третьем, Принстонском Красавчике, — показывает, насколько глубокий след она в нем оставила… Надеюсь, теперь его дела немного поправятся. Мне удалось найти ему работу, и сейчас он пошел оформляться. Эпплтон, который читает на вечернем отделении, сломал бедро, и, даже когда он вернется на работу, ему придется снизить нагрузку. Так что я уговорил директора вечернего отделения взять Парлабейна на замену до конца года: раз в неделю «Основы философии» и два раза «Шесть главных философских трудов».

— Замечательно!

— Боюсь, Парлабейн так не думает. Вечернее отделение означает, что ему придется читать лекции вечером, а учатся там в основном люди средних лет, с уже сложившимися взглядами; ему не перепадет радости наставника, формиру-

ющего юные умы, чем он так любит заниматься.

— Немного сурово для юных умов, я полагаю.

— Боюсь, ему больше не преподавать по-настоящему. У него хорошие мозги — когда-то были просто отличные, — но он слишком много болтает и отклоняется от темы. Знаете, он хочет, чтобы я взял его к себе.

— Куда?

— На должность особого ассистента.

— Но ведь это я ваш ассистент!

— Он был бы счастлив заменить вас. Но даже не думайте об этом: я никогда не соглашусь.

— О змей!

— О, это еще не худшее, на что он способен; это его нормальный образ действий. Я хочу и могу помочь ему, но есть пределы: я устроил его на работу, и на этом моя помощь заканчивается.

— Я думаю, вы к нему просто невероятно добры.

— Он мой старый друг. Понимаете, старых друзей не выбирают; иногда приходится принимать их такими, как есть. Если знаешь человека несколько лет, то, скорее всего, он будет у тебя на совести всю жизнь. Иногда приходится делать все возможное.

— Ну, хотя бы отсюда он уберется.

— Вряд ли. Я, конечно, потребую, чтобы он снял где-нибудь комнату, но у него не будет служебного кабинета в университете. Он вернется, чтобы мусолить мои книги, ну и еще ради вас.

— Ради меня?

— Да; понимаете, вы ему нравитесь. Да, да, он гомосексуалист, но это ничего не значит. Почти всем мужчинам — ну, кроме совсем странных — в том или ином смысле нужна женщина. Ему приятно вас мучить. И, кроме того, не следует недооценивать притягательное действие женской красоты на всех мужчин. Мужчин, которые на самом деле не любят цветы, очень мало, а тех, которые не реагируют на красивую женщину, еще меньше. Это идет не от секса; дело в духовном подъеме, который дарует красота. Да, он вернется, чтобы мучить вас, и дразнить, и приводить в ярость, но на самом деле — чтобы хорошенько наглядеться на вас.

Я решила чудовищно рискнуть:

— Вы меня тоже поэтому тут держите?

— Отчасти. Но в основном потому, что вы на голову выше и интеллектуально созвучней мне, чем любые другие студенты и аспиранты, какие у меня когда-либо были.

— Спасибо. Я принесу вам цветов.

— Я буду очень рад. У меня не доходят руки самому купить.

И что я теперь должна была думать? Холлиер притягивал меня в том числе и вот этой чертой: собственническим равнодушием. Он не может не знать, что я его боготворю, но не дает мне возможности это доказать. Кроме того единственного раза. Боже, кто захочет оказаться на моем месте? Но, может быть, мне, как тогда Парлабейну в больнице, нужно осознать, что это не конец света.

Холлиер явно обдумывал какую-то речь, прежде чем ее выложить. Вот наконец решился:

— Мария, вы должны сделать для меня две вещи.

Непременно! Что угодно! Моя внутренняя менада была полностью укрощена, и на трон взошла Терпеливая Гризельда.

— Во-первых, я хочу, чтобы вы сходили к профессору Фроутсу, моему старому знакомому. Возможно, между его работой и моей существует определенная связь, и я хочу это проверить. Вы про него слышали — он в последнее время фигурирует в новостях, даже слишком часто, что не нравится ни университету, ни ему самому, надо полагать. Он работает с человеческими

экскрементами — с окончательными отбросами, которые считаются совершенно бесполезными для человечества, — и в них, как я понимаю, надеется обнаружить что-то ценное. Вы знаете, что я уже давно изучаю лечение грязью, которое практиковалось и в Средние века, и в древности, и ныне на Востоке. Мать-бедуинка купает новорожденного в моче верблюда или в своей собственной; наверняка она сама не знает зачем, но следует обычаям. Современные биологи знают зачем: это подходящая защита от нескольких видов инфекции. Кочевники на Ближнем Востоке бинтуют ноги рахитичного ребенка в лубки и накладывают повязки с ослиным пометом, и через несколько недель кривые ноги становятся прямыми. В Плоурайте есть привратник-ирландец, с которым это проделали ирландские цыгане, когда ему было три года, и теперь у него ноги такие же прямые, как у меня. Грязью лечили повсеместно; иногда это было лишь суеверие, иногда действовало. Кстати, пенициллин Флеминга начался с лечения грязью. Каждый дровосек знал, что для рубленых ран нет ничего лучше плесени со старого хлеба. Спасение в грязи. Почему? Я подозреваю, что ответ знает Озия Фроутс… По основному принципу это удивительно сходно с

алхимией — открытие ценного в том, что отвергли невидящие. Это и долгий поиск алхимиками философского камня, и библейский камень, который презрели строители. Помните шотландский гимн, парафраз Писания? «И камень, что отвергнут был, лег во главу угла…»[36] И *lapis angularis*[37] алхимического креста, и камень *filius macrocosmi*[38], который есть Христос, Всеблагой?

— Я читала то, что вы об этом писали.

— Ну так вот. Не ищет ли естествоиспытатель Фроутс того же, что и мы, но иными средствами, не зная о наших поисках, но идя по тому же следу?

— Но это же будет просто фантастика!

— Боюсь, именно она. Если я ошибаюсь, мои домыслы годны лишь для фантастического романа. Если я прав и если об этом станет известно, мы можем осложнить жизнь бедняге Фроутсу. Так что мы должны держать язык за зубами. Потому я и хочу, чтобы этим занялись вы. Если я приду

---

**[36] Примечания: 36**

*«И камень, что отвергнут был, лег во главу угла…»* — Парафраз цитаты из псалма 117, стих 22. Встречается также в других местах Писания (например, Евангелии от Луки и Матфея). Перев. Д. Никоновой.

**[37] Примечания: 37**

Краеугольный камень *(лат.)*.

**[38] Примечания: 38**

Сын большого мира, сын макрокосма *(лат.)*.

к Ози в лабораторию, он что-нибудь заподозрит, поймет, что я не просто так пришел, а если я скажу ему, он либо будет чрезмерно впечатлен, либо у него случится приступ научной совести — вы же знаете, какими ужасными пуританами могут быть ученые по отношению к своей работе: они не терпят и примеси чего бы то ни было непроверяемого на опыте и все такое. Но вы сможете прийти как студентка. Я сказал ему, что вы интересуетесь его работой, потому что занимаетесь чем-то связанным с Ренессансом. Упомянул Парацельса. Это все, что он знает, или все, что ему следует знать.

— Конечно, я к нему схожу.

— Только вечером: когда его студенты уже уйдут и не помешают ему бурлить энтузиазмом. Они зеленые новички в науке и все до одного Фомы неверующие: не поверят и в бабушкины морщины, пока не измерят их микрометром. Но Ози, в самой глубине души, энтузиаст. Так что сходите как-нибудь после ужина. Он всегда в лаборатории как минимум до одиннадцати.

— Я схожу, как только смогу. Но вы сказали, что хотите попросить меня о двух вещах?

— А… ну… да. Но вам не обязательно делать вторую, если вы не хотите.

Какая я дура! Я же знала, что это что-то связанное с работой. Может, что-нибудь насчет рукописи, о которой он говорил в начале семестра. Но дикие фантазии пронеслись у меня в голове: может быть, он хочет, чтобы я с ним жила, или чтобы поехала с ним вместе на выходные, или вышла за него замуж, или еще что-нибудь столь же маловероятное. Но то, что он сказал, было еще невероятнее:

— Я буду вам бесконечно благодарен, если вы представите меня своей матери.

# Новый Обри III

## 1

Похороны Эллермана вышли мрачными. Это не такое идиотское замечание, как кажется: мне приходилось бывать на похоронах очень мужественных и всеми любимых людей, где царил жизнерадостный настрой. Но в похоронах Эллермана не было ничего личного и ничего красивого. Ритуальные залы существуют для удобства, для того чтобы избавить семьи от необходимости принимать в маленьком доме огромную толпу людей, а церкви — от необходимости хоронить тех, кто при жизни не имел ничего общего с церквями и никак их не поддерживал. Говорят, что в наше время люди уходят от религии; но, видимо, уходят не настолько далеко, чтобы после смерти обойтись вовсе без религиозных церемоний. Интересно, это потому, что человек по природе своей религиозен, или потому, что он по природе своей осторожен? Так или иначе, мы не любим расставаться с друзьями без хоть какой-нибудь церемонии, и слишком часто из этого выходит плохой спектакль.

Проповедник из какой-то секты, которую в рекламе назвали бы «смелое новое сочетание», произнес молитвы и зачитал отрывки из Писания, а потом намекнул, что Эллерман был хорошим человеком. Аминь.

Эллерман любил стиль во всем и был гостеприимен. Это мероприятие привело бы его в ужас: он наверняка предпочел бы что-нибудь классом повыше. Но что можно придумать, если никто ни во что толком не верит и к тому же канадцы, безнадежно неуклюжие во всякого рода церемониях, сводят похоронный обряд к унылой рутине?

Что бы я сделал, если бы распоряжался на похоронах? Я выставил бы на обозрение военные награды Эллермана — многочисленные и весьма почетные; я бы задрапировал гроб его докторской мантией и положил сверху докторскую шапочку. Как память о человеке, которым он был, о его талантах. Но — «наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь»; и у могилы я бы содрал эти свидетельства жизни, а на голый гроб бросил землю (а не розовые лепестки, которые, по мнению работников похоронных бюро, символизируют слова «земля еси и в землю отыдеши»). В стуке комьев земли по крышке гроба есть что-то честное, подлинное. Эллерман преподавал

английскую литературу и был специалистом по Браунингу; неужели нельзя было прочитать вслух отрывок из «Похорон грамматика»? Но это праздные мысли; Даркур, ты просишь театральности. Скорбь должна быть скупа, скаредна и скудна — не в деньгах, конечно, но в средствах своего выражения. Смерть, не тщеславься[39]: ни ухмыляющийся череп, ни арсенал церемоний, ни трогательное великолепие веры не приветствуются на современных городских похоронах человека из среднего класса; скорбь приходится прятать как наименьший общий знаменатель разрешенных эмоций.

Жаль, что я не успел повидаться с ним перед смертью, рассказать ему, что его задумка, «Новый Обри», укоренилась во мне; таким образом, во что бы он ни верил при жизни, часть его не умрет и будет жить, хотя и скромно.

Он собрал довольно много народу — человек семьдесят пять, определил я наметанным глазом. Маквариш блистал отсутствием, хотя они с Эллерманом были приятелями. Эрки по возможности старается игнорировать смерть. К моему удивлению, пришел профессор Озия Фроутс. Я

---

**[39] Примечания: 39**

*Смерть, не тщеславься…* — Джон Донн. Священные сонеты: сонет X. Перев. Д. Щедровицкого.

знал, что его воспитали в меннонитской вере, но думал, что занятия естественными науками выжгли из него веру в вещи невидимые[40], в высоты, которые не могут быть измерены вверху, и глубины, которые не могут быть исследованы внизу[41]. Пока мы стояли у входа в зал церемоний, я рискнул с ним заговорить:

— Надеюсь, вся эта чепуха в газетах вас не очень расстраивает.

— О, если бы я мог сказать, что нет! Все, что они говорят, так нечестно. Конечно, вряд ли можно ожидать, что они поймут.

— Но ведь это не может серьезно повредить вашей работе?

— Может, если мне придется прекратить опыты, чтобы успокоить этого Брауна. Из-за его политических игр я могу потерять семь лет: если мне придется сейчас свернуть работу, потом надо будет все начинать сначала.

Я не ожидал такого отчаяния. Я знал Ози много

---

**[40] Примечания: 40**

*…веру в вещи невидимые…* — Послание апостола Павла к евреям, 11: 1.

**[41] Примечания: 41**

*…в высоты, которые не могут быть измерены вверху, и глубины, которые не могут быть исследованы внизу.* — Перефразированная цитата из Книги пророка Иеремии, 31: 37 («Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь»).

лет назад, в бытность его звездой футбола; тогда он был азартен и, похоже, таким остался.

— Я уверен, что нет худа без добра, — сказал я. — Тысячи людей узнали о ваших опытах и заинтересовались. Я сам заинтересовался. Можно мне как-нибудь к вам зайти?

К моему изумлению, он расцвел:

— Когда угодно. Но приходите вечером, когда я один или почти один. Тогда я с радостью все вам покажу и расскажу. Как мило, что вы проявили интерес.

Все оказалось просто. Я смогу поближе познакомиться с Ози ради «Нового Обри».

## 2

И по отношению ко мне, и по отношению к Ози Фроутсу нечестно было бы сказать, что я накрыл его сачком, как энтомолог бабочку. Нет, не так я видел «Нового Обри». Конечно, бедняга Эллерман, который любил все старинное в английской литературе, наслаждался восхитительным стилем Джона Обри, смесью проницательности и наивности, с которой Обри записывал обрывки информации о великих людях своего времени. Но меня интересовало не это; пускай студенты-младшекурсники пишут такое в студенческих

литературных журналах: «Дневник нашего собственного мистера Пипса»[42] и тому подобную игривую чепуху. Я ценил неистощимое любопытство Джона Обри, его энергию, его решимость выяснить все, что можно, об интересующих его людях; именно этому качеству я собирался подражать.

Это не простое любопытство. «Новый Обри» — вполне достойный университетский проект. Энергия и любопытство — кровь, текущая в жилах университетов. Желание выяснить, раскопать, восстановить скрытое, сорвать покровы — дух университета, и именно эта неустанная любознательность объединяет человечество. Что до энергии, то лишь те, кто не изведал охоты за знанием, станут утверждать, что она не требует сил, упорства, решимости в стремлении к победе; это особый вид энергии, и те, у кого ее мало или вовсе нет, не смогут быть ни учеными, ни учителями, потому что настоящему учителю тоже нужна энергия. Чтобы учить, нужны силы, а чтобы хранить почти полное молчание, но быть

**[42] Примечания: 42**

*…«Дневник нашего собственного мистера Пипса»…* — Сэмюэл Пипс (также Пепис; 1633–1703) — английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого зашифрованного дневника, в котором описана повседневная жизнь лондонцев периода стюартовской Реставрации.

начеку и помогать, пока студенты учатся сами, нужно еще больше сил. Видеть, как падает твой ученик (чтобы научиться больше не падать), когда одно твое слово помогло бы ему сохранить равновесие, но оставило бы в неведении относительно большой опасности, — это требует особых сил, ибо удержаться от предостерегающего крика труднее, чем закричать.

Именно любопытство и энергию я собирался вложить в «Нового Обри»: это будет дар моему университету, который узнает о нем лишь после моей смерти. Я честно оправдал свой хлеб как ученый — две неплохие книги по новозаветным апокрифам, исследования поздних Евангелий и Апокалипсисов, не попавших в канон Святого Писания. В этом отношении я больше не должен никому ничего доказывать. Значит, я могу посвятить свое время и силы — и, конечно, любопытство, которым я баснословно богат, — созданию «Нового Обри». Я уже начал составлять план. В любой работе должен быть порядок. Старый Обри прекрасен своей беспорядочностью, но «Новый Обри» не должен ему в этом подражать.

Я не сразу пошел в лабораторию к Ози; сначала я хотел обдумать, что именно ищу. Конечно, я не имел в виду оценку его трудов с научной точки

зрения: я не умею этого делать, и, кроме того, когда Ози опубликует свою работу, этим займутся его коллеги и другие ученые. Нет, мне нужно было уловить дух этого человека, источник энергии, движущей его работу.

О чем-то таком я думал однажды вечером, через несколько дней после похорон Эллермана, когда в мою дверь постучали, и, к моему изумлению, это оказался Холлиер.

Мы знакомы с Холлиером еще со студенческих лет в «Душке», всегда хорошо относились друг к другу, но не были близки. Мы и в студенческие годы не были близкими друзьями, потому что я изучал классическую филологию и собирался заняться богословием (в «Душке» предпочитают, чтобы священники до принятия сана получили кое-какое общее образование), и мы виделись только во всяких студенческих обществах. С тех пор мы встречались по-дружески, но не устраивали встреч специально. Я решил, что он пришел поговорить о чем-то связанном с Корнишем. Холлиер был не из тех, кто наносит светские визиты.

Так и оказалось. Холлиер согласился выпить, неловко поговорил минут пять на общие темы, связанные с работой, а потом двинулся вперед:

— Меня кое-что беспокоит, но, поскольку это относится к вашей части работы исполнителя, мне не хотелось об этом упоминать. Вы не нашли у Корниша никакой описи книг и манускриптов?

— Он раза два или три начинал составлять опись и делать кое-какие заметки. Он понятия не имел, что такое настоящий каталог.

— Значит, если что-то пропало, вы бы этого не заметили?

— Заметил бы, если бы речь шла о нотных рукописях, потому что их он мне часто показывал и я довольно хорошо знал, что у него есть. В противном случае — нет.

— Есть одна рукопись, про которую я точно знаю, что она у него была, потому что он купил ее в апреле прошлого года и как-то вечером показал мне. Он купил собрание рукописей ради каллиграфии: это были копии входящих и исходящих писем из канцелярии папы Павла Третьего, сделанные в то же время. Как вы знаете, Корниш интересовался каллиграфией на уровне просвещенного любителя; он купил это собрание ради почерка, а не ради содержания писем. Собрание поступило из чьей-то коллекции, и главной жемчужиной было письмо Иакова бен Самуэля Мартино, в котором бегло упоминался развод

Генриха Восьмого, — как вы знаете, Мартино выступал одним из экспертов по этому делу[43]. В письме были правки, сделанные собственной рукой Мартино. Больше ничем содержание письма не было интересно — просто образец красивого почерка. Самое большее — заслуживает сноски. В тот вечер пришел и Маквариш, и они вместе любовались письмом Мартино, а я пока стал смотреть все остальное, и там была кожаная папка — не очень большая, примерно семь на десять дюймов, — с буквами «С. Г.», тисненными золотом и почти поблекшими. Вам такая не попадалась?

— Нет, но письмо Мартино есть, точно как вы описали. Очень хорошо. И все остальные документы, которые, как вы говорите, были вместе с ним, тоже есть.

— Как вы думаете, куда могла деться эта пап-

---

**[43] Примечания: 43**

*…письмо Иакова бен Самуэля Мартино, в котором бегло упоминался развод Генриха Восьмого… Мартино выступал одним из экспертов по этому делу.* — Генрих VIII Тюдор (1491–1547) — король Англии. Генрих хотел развестись с первой женой (из шести) Екатериной Арагонской, но, согласно каноническому церковному праву, оснований для развода не было, и Генрих обращался к различным экспертам по богословию (в том числе к представителям других религий), надеясь с их помощью найти формальное обоснование для развода. Папа Климент VII отказался утвердить развод, что повлекло за собой отлучение короля от католической церкви и церковную реформу: англиканская церковь отделилась от Римской католической.

ка?

— Не знаю. Я впервые услышал о ней от вас. Что это было?

— Я даже не знаю, могу ли вам об этом сказать.

— Ну, дорогой мой, если вы не скажете, как я должен ее искать? Может быть, он ее положил в какой-нибудь другой архив — если старые картонные ящики из винно-водочного магазина, в которых Корниш хранил рукописи, можно называть архивами. Он следовал какому-то очень приблизительному плану, но, если вы мне не скажете, что это за рукопись, я не буду знать, где смотреть. Почему она вас так интересует?

— Я пытался понять, что это на самом деле такое, когда заявился Маквариш и тоже захотел посмотреть, и я, конечно, не мог ему отказать: мы оба в чужом доме и рукопись не моя. Мне так и не представилось случая к ней вернуться. Но, конечно, Маквариш ее видел, и у него выпучились глаза.

— У вас тоже выпучились глаза?

— Надо думать.

— Ну же, Клем, оставьте свою академическую застенчивость и скажите мне, что это было.

— Да, наверное, ничего другого не остается. Это была одна из великих, подлинно великих поте-

рянных рукописей. Я уверен, вы знаете немало таких.

— Да, в моей области их известно очень много. В девятнадцатом веке всплыли письма Понтия Пилата на французском языке, на бумаге девятнадцатого века, с описанием распятия Христа. Доверчивый богатый крестьянин заплатил за них кучу денег. И лишь когда тот же самый жулик попытался продать ему предсмертное письмо Христа к Богородице, написанное фиолетовыми чернилами, покупатель заподозрил неладное.

— Мне бы хотелось, чтобы вы серьезнее отнеслись к моим словам.

— Я вас уверяю, это чистая правда. Я знаю, о чем вы говорите: утраченный дневник Генри Гудзона[44], дневник Джона Макферсона[45], в котором описывается создание «Оссиана», и тому подобное. И ведь старые рукописи действительно всплывают время от времени. Вспомните

---

**[44] Примечания: 44**

*Генри Гудзон* (1560/70–1611?) — английский мореплаватель, занимался поисками Северного морского пути в Азию.

**[45] Примечания: 45**

*…дневник Джона Макферсона, в котором описывается создание «Оссиана»…* — Джеймс Макферсон (1736–1796) — шотландский поэт, прославившийся литературной мистификацией «Сочинения Оссиана, сына Фингала, переведенные с гэльского языка Джеймсом Макферсоном». Оссиан — легендарный кельтский бард III в.

огромную охапку бумаг Босуэлла[46], найденную в сундуке на чердаке в Ирландии. Ваша рукопись тоже из этой оперы?

— Да. Это были «Стратагемы» Рабле.

— Никогда не слыхал.

— И никто не слыхал. Но Рабле служил историографом у своего покровителя Гийома дю Белле и в качестве такового написал «Стратагемы, или Военные доблести и хитрости благочестивого и преславнейшего кавалера де Лангэ в начале Третьей кесарийской войны». Он писал по-латыни, а затем перевел свой труд на французский, и считается, что книгу издал друг Рабле, печатник Себастьян Грифиус, но ни одного экземпляра не сохранилось. Так был этот труд опубликован или нет?

— И это был он?

— Да, это был он. Видимо, это была оригинальная рукопись, с которой Грифиус набирал книгу или собирался набрать, — на ней сохранилась разметка для наборщика, что само по себе чрезвычайно интересно.

---

**[46] Примечания: 46**

*Босуэлл*, Джеймс (1740–1795) — шотландский писатель и мемуарист, слава которого основана на двухтомной «Жизни Сэмюэла Джонсона» (1791); эту книгу часто называют величайшей биографией на английском языке.

— Но почему эту рукопись никто не заметил?

— Чтобы обратить на нее внимание, нужно знать кое-какие факты, известные лишь специалистам: титульного листа у нее нет, сразу начинается текст мелким почерком, не очень примечательным, так что, видимо, специалисты по каллиграфии особо не заинтересовались.

— Нет слов, это замечательная находка.

— Корниш, разумеется, не понял, что это такое, а я так и не успел ему сказать: я хотел сперва как следует разглядеть рукопись.

— И не хотели, чтобы Эрки вас опередил?

— Он специалист по Ренессансу. Надо думать, у него не меньше прав на рукопись Грифиуса, чем у любого другого человека.

— Да, но вы не хотели, чтобы он узнал о своем праве. Я вполне понимаю. Не начинайте сразу от меня защищаться.

— Я бы предпочел сделать открытие, известить Корниша, — в конце концов, он владелец этой чертовой штуки, и пускай уже он распоряжается ее научной судьбой.

— А вдруг он отдал бы ее Эрки? Ведь Эрки считает себя большим специалистом по Рабле.

— Даркур, ради бога, не глупите! Предок Макварища — если сэр Томас Эркхарт действительно

его предок, а я слыхал, как знающие люди в этом сомневаются, — перевел одну книгу или часть книги Рабле на английский, и многие специалисты по Рабле считают, что этот перевод никуда не годится: он полон отсебятины, фантазий и не относящейся к делу болтовни, в точности как сам Макварiш! В этом университете есть люди, которые действительно кое-что знают о Рабле, и они смеются над Макваришем.

— Да, но он специалист по эпохе Возрождения, а эта рукопись — явно очень важный кусок истории Возрождения. Если честно, она относится к области Макварiша, а не к вашей. Простите, но так это выглядит со стороны.

— Как я ненавижу эти разговоры об «областях». Словно мы какие-нибудь золотоискатели, готовые пристрелить любого, кто зайдет на застолбленную нами заявку.

— А что, скажете, это не так?

— Видно, придется рассказать все.

— Да уж пора бы. Что вы от меня скрыли?

— Там была рукопись «Стратагем», как я уже сказал. Страниц сорок мелким почерком. Не очень хороший почерк, и нет подписи, если не считать, что по всей рукописи было как будто большими буквами написано: «Пропавшая книга

Рабле!» Но еще в одной небольшой связке бумаг, в заднем отделении кожаной папки, в чем-то вроде кармана, лежали три письма.

— От Рабле?

— Да, от Рабле. Это были черновики трех его писем к Парацельсу. Написанные грубо, начерно. Но не настолько начерно, чтобы Рабле отказался их подписать. Может быть, ему просто нравилось писать свое имя: такое часто бывает. Его подпись словно прыгнула на меня со страницы — большая, с росчерками. Он писал не почерком Апостольской канцелярии[47], но своим собственным, с маньеризмами…

— Да, Эрки вечно настаивает, что Рабле был маньеристом.

— Эрки пускай заткнется; он это от меня услышал. Он не различит маньеризма ни в каком виде искусства; он просто слеп. Но Рабле — поэт-маньерист, который лишь по случайности пишет прозой; и в прозе он добивается того же, чего Джузеппе Арчимбольдо — в живописи: передает плодово-ягодность, ореховость, лиственность,

---

**[47] Примечания: 47**

*Он писал не почерком Апостольской канцелярии…* — Апостольская канцелярия (*лат.* Cancellaria Apostolica) — один из древних институтов Римской курии, главного административного органа папского престола и Ватикана; в XIII в. в Апостольской канцелярии разработали собственный особый почерк для деловой переписки.

навозность и самые дикие гротескные изобретения[48]. Но передо мной были эти письма и грандиозная подпись, которую невозможно ни с чем спутать! Мне пришлось собрать все силы, чтобы не пасть на колени. Подумайте! Нет, вы только подумайте!

— Очень интересно.

— Интересно, говорите? «Интересно». Да это потрясающе! Я заглянул внутрь — буквально на секунду, — и там были абзацы по-гречески (наверняка цитаты), там и сям отдельные слова по-древнееврейски и полдюжины символов, буквально открывающих глаза.

— Открывающих глаза на что?

— На то, что Рабле находился в переписке с величайшим естествоиспытателем своего времени, о чем раньше никто не знал. На то, что Рабле, которого подозревали в протестантизме, был чем-то по меньшей мере столь же непроститель-

---

**[48] Примечания: 48**

*…добивается того же, чего Джузеппе Арчимбольдо — в живописи: передает плодово-ягодность, ореховость, лиственность, навозность и самые дикие гротескные изобретения.* — Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593) — итальянский живописец, декоратор, представитель маньеризма. Писал портреты, составленные из фруктов, овощей, цветов, ракообразных, рыб, жемчужин, музыкальных и иных инструментов, книг и т. д. Лица на картинах Арчимбольдо стилизованы; эффект формы и светотени в пространстве создается весьма искусной компоновкой элементов — эту манеру и пытается передать словами Холлиер.

ным для служителя Церкви — даже вредителем и отступником: если он и не был каббалистом, то, по крайней мере, изучал каббалу, если и не был алхимиком, то, по крайней мере, изучал алхимию! А это, черт возьми, моя область, и эти бумаги сделают имя любому ученому, к которому попадут, и черт меня побери, если я допущу, чтобы этот шарлатан, шлюхин сын Макварииш, наложил на них лапы!

— Вот это речь истинного ученого!

— И еще я думаю, что он таки наложил на них лапы! Я думаю, что этот говнюк их спёр!

— Пожалуйста, успокойтесь! Даже если рукопись обнаружится — я ведь не смогу ее просто так отдать вам. Она пойдет в университетскую библиотеку.

— Вы же знаете, как это делается. Достаточно шепнуть словечко главному библиотекарю. И я даже не буду вас об этом просить, я сам это сделаю. Мне бы только первым добраться до рукописи — больше ничего не надо!

— Да, да, я понимаю. Но у меня для вас плохие новости. В одной из записных книжек Корниша есть фраза: «Одолж. Макв. рук. Раб. шестнадцатого апр.». Как вы думаете, о чем это говорит?

— «Одолж.». «Одолж.» — значит ли это «одол-

жил» или «одолжить»?

— Откуда я знаю? Но я думаю, что вы хватаетесь за соломинку. Рукопись у Эрки.

— Украл! Я так и знал! Ах он жулик!

— Погодите, погодите — нельзя делать поспешных выводов.

— Я не делаю поспешных выводов. Я знаю Макквариша. Вы знаете Макквариша. Он выманил рукопись у Корниша, и теперь она у него! Чертов жулик!

— Пожалуйста, не надо предположений. Все просто: у меня есть эта записная книжка, я покажу ее Макваришу и попрошу вернуть рукопись.

— Думаете, он отдаст? Он будет все отрицать. Даркур, я должен заполучить эту рукопись. Раз уж вы все знаете, скажу еще, что я ее кое-кому обещал.

— Быть может, несколько преждевременно?

— Это случилось при особых обстоятельствах.

— Слушайте, Клем. Надеюсь, я не покажусь вам занудой, но за книги и рукописи из коллекции Корниша отвечаю я, и нужны поистине особые обстоятельства, чтобы вы получили право рассказывать постороннему человеку о любом предмете из этой коллекции, пока все юридические вопросы не решены и вся коллекция не

лежит в надежном месте за стенами библиотеки. Что это за особые обстоятельства?

— Мне бы не хотелось об этом говорить.

— Не сомневаюсь! Но придется.

Холлиер заерзал в кресле. Я не могу подобрать другого слова, чтобы описать его неспокойное движение, — как будто он думал, что, изменив позу, облегчит внутренний дискомфорт. К моему удивлению, он покраснел. Мне это совсем не нравилось. Его замешательство приводило в замешательство и меня. Он заговорил уныло, виновато. Великий Холлиер, которого ректор совсем недавно упомянул в своей речи — призванной впечатлить правительство, снова брюзжащее по поводу размера наших грантов, — как одно из украшений университета, краснел передо мной! Я сам никогда не относился к разряду украшений (я — полезная ножка стола, не более) и слишком предан университету, чтобы наслаждаться видом ерзающего украшения.

— Очень способный студент… это будет основой научной карьеры… конечно, под моим руководством…

У меня неплохая интуиция, хотя всеобщее мнение приписывает это качество исключительно женщинам — по-видимому, несправедливо. Я

опередил его:

— Вы имеете в виду мисс Феотоки?

— Ради всего святого, как вы угадали?

— Ваша ассистентка, моя студентка, работа по крайней мере частично связана с Рабле, выдающиеся способности — не нужно быть ясновидцем, знаете ли.

— Ну что ж… вы не ошиблись.

— Что же вы ей сказали?

— Один раз упомянул о рукописи в очень общих выражениях. Потом, когда мисс Феотоки спросила снова, сказал чуть больше. Но все равно немного, вы же понимаете.

— Тогда все просто. Объясните ей, что нужно подождать. Пока мы выудим рукопись у Эрки и окончательно разберемся с делами Корниша, пока библиотека как следует внесет рукопись в каталог и даст разрешение на ее использование, может пройти год.

— Если вы сможете забрать ее у Макварiша.

— Смогу.

— А если он захочет работать с ней сам или отдать кому-нибудь из своих любимчиков?

— Это не мое дело. А вы хотите отдать ее одной из своих любимиц.

— Что вы имеете в виду, говоря «любимица»?

— Ничего особенного. Любимая ученица. А что?

— У меня нет любимчиков!

— Значит, вы один на тысячу. У всех у нас есть любимчики. Как может быть иначе? Некоторые студенты умнее и привлекательнее других.

— Привлекательнее?

— Клем, у вас ужасно вспотела шея. Выпейте еще.

К моему удивлению, он схватил бутылку виски, налил в стакан на три пальца и разом осушил.

— Клем, что вас гложет? Лучше расскажите.

— Наверное, вы по должности имеете право исповедовать?

— Я давно не исповедую, с тех пор как перестал работать на приходе. Да и тогда этим особо не занимался. Но я знаю, как это делается. И еще я знаю, что лучше не исповедовать людей, с которыми общаешься каждый день. Но если вы хотите мне что-то рассказать не для протокола, валяйте. И я, конечно, могила.

— Этого я и боялся, когда сюда шел.

— Я вас не насилую. Поступайте как хотите. Я, конечно, не ваш духовник, но я ваш собрат-исполнитель завещания Корниша и имею право знать, что происходит вокруг вещей, за которые

я несу ответственность.

— Я должен загладить определенную вину перед мисс Феотоки. Я совершил большой грех по отношению к ней.

— Какой?

— Я злоупотребил своим положением.

— Неужто присвоили ее работу? Это скорей похоже на Макварища, чем на вас.

— Нет, нет… Гораздо более личное. Я… я познал ее плотски.

— Господи боже мой! Вы заговорили языком Ветхого Завета. Хотите сказать, что вы ее трахнули?

— Какое омерзительное выражение.

— Я знаю, но есть ли подходящее неомерзительное выражение? Я не могу сказать, что вы с ней возлегли, — может быть, вы вовсе не лежали. Я не могу сказать, что вы ею овладели, — она, совершенно очевидно, полностью владеет собой. «Имел с ней половое сношение» звучит как протокол уголовного суда. Или там до сих пор говорят «имел с ней близость»? Да что же на самом деле было?

— В апреле прошлого года…

— Надо же, какой насыщенный месяц выдался.

— Симон, заткнитесь и перестаньте острить.

Неужели вы не видите, как это для меня серьезно? Я поступил исключительно неправильно. Отношения между учителем и учеником — особые, ответственные, я бы даже сказал — священные.

— Да, можно и так сказать. Но все мы знаем, что творится в университетах. Преподаватели тоже люди — подвернется симпатичная девушка, и вуаля! Иногда это бывает тяжело для девушки; иногда может сломать карьеру преподавателю, если на него бросится какая-нибудь шлюшка-интриганка. Делайте поправку на греховную природу человека. Я не думаю, что Мария вас соблазнила, — она слишком перед вами благоговеет. Значит, это вы ее соблазнили. Как?

— Не знаю. Честно, не знаю. Вот как это было: я рассказывал ей про свою работу, посвященную средневековому лечению грязью… мне как раз удалось хорошо продвинуться… и вдруг Мария рассказала мне кое-что — это касалось ее матери… ее рассказ добавил огромный кусок к уже собранной части головоломки, и я пришел в такое возбуждение… меня охватили невыразимо прекрасные чувства, и не успел я понять, что происходит, как мы…

— И Абеляр с Элоизой[49] воскресли вновь примерно на полторы минуты. Или это потом повторилось?

— Нет, конечно нет. Я даже ни разу не говорил с ней об этом.

— Только однажды. Понимаю.

— Можете себе представить, что я пережил в тот вечер у Эрки, когда он начал приставать к ней насчет девственности.

— Но мне показалось, что она справилась блестяще. А она была девственницей?

— Боже мой, откуда я знаю?

— Бывают признаки. Вы же медиевист. Вы должны знать, на что тогда смотрели.

— Не хотите ли вы предположить, что я смотрел?! Что я, по-вашему, вуайерист какой-нибудь?

— Я начинаю предполагать, что вы идиот. У вас что, совсем никакого опыта в этих делах?

— Есть, конечно. Этого трудно избежать. Два раза это было за деньги, ну, знаете, во время командировок. Много лет назад. И один раз на конференции, коллега, женщина, это длилось

---

**[49] Примечания: 49**

*Абеляр с Элоизой.* — Пьер (тж. Петр) Абеляр (ок. 1079–1142) — французский философ и теолог-схоласт, имел роман со своей ученицей Элоизой Фульбер и вступил с ней в тайный брак; был оскоплен ее оскорбленными родственниками.

пару дней. Она говорила не смолкая. Но в этот раз был какой-то демонический припадок — это был не я.

— Вы, кто же еще. Такие демонические припадки — следствие непризнанных элементов в несбалансированной жизни. Значит, вы обещали Марии рукопись Рабле, чтобы искупить вину? Так?

— Я должен загладить свой поступок.

— Клем, мне не хочется читать вам проповеди, но, поверьте, это не дело. Вы думаете, что обидели девушку и что ценный подарок — ценный в системе понятий, свойственной вам обоим, — все исправит. Но это не так. Искупление должно быть в том же духе, что и проступок.

— Вы хотите сказать, что я должен на ней жениться?

— Я никогда не поверю, что она согласится за вас выйти.

— Я в этом вовсе не так уверен. Иногда она на меня смотрит… особенно. Я не тщеславен, но иногда ошибиться трудно.

— Думаю, она в вас влюблена. Девушки влюбляются в своих преподавателей, я вам уже говорил. Но не женитесь на ней, даже если она достаточно раскиснет, чтобы согласиться; у вас ничего не

выйдет. Вам обоим опостылеет этот брак, не пройдет и двух лет. Нет, не переживайте за Марию: она умеет управлять своей жизнью и благополучно переболеет вами. Это вам надо вернуться в колею. Если вам и следует искупить грех, это искупление должно относиться к вашей жизни.

— Но как? О, я понял, вы имеете в виду епитимью?

— О, это хорошее средневековое мышление.

— Но что именно? Я могу, конечно, подарить церкви при колледже какую-нибудь утварь из серебра.

— Плохое средневековое мышление. Епитимья должна быть болезненной.

— Тогда что же?

— Вы на самом деле этого хотите?

— Да.

— Я дам вам старый испытанный рецепт. Кого вы ненавидите больше всего на свете? Если вас попросят назвать одного врага, кто это будет?

— Макварiш!

— Я так и думал. Тогда в качестве епитимьи пойдите к Макваришу и расскажите ему все, что только что рассказали мне.

— Вы с ума сошли!

— Нет.

— Меня это убьет!

— Не убьет.

— Он всем растреплет!

— Вполне возможно.

— Мне придется уйти из университета!

— Вряд ли. Но вы сможете в течение года или около того носить на плаще красивую красную букву «А»[50].

— Да вы шутите!

— Вы тоже. Слушайте, Клем. Вы приходите ко мне, ожидая, что я сыграю для вас священника, и вымучиваете из меня епитимью, а потом отказываетесь ее выполнить, потому что вам будет неприятно. Вы настоящий протестант; ваше кредо: «Прости меня, Боже, но, ради Бога, никому не говори!» Вам нужен священник помягче. Попробуйте Парлабейна: вы его содержите, так что он, можно сказать, у вас в кармане. Идите исповедуйтесь ему.

Холлиер встал.

— До свидания, — сказал он. — Вижу, я очень ошибся, придя к вам.

---

**[50] Примечания: 50**

*… вы сможете в течение года или около того носить на плаще красивую красную букву «А».* — Принятое у американских пуритан наказание для прелюбодеев: они должны были носить нашитую на одежду алую букву «А» (от *англ.* adultery — прелюбодеяние). См., напр., роман Н. Готорна «Алая буква» (1850).

— Клем, не будьте ослом. Сядьте и выпейте еще.

Он выпил — еще одну большую порцию виски.

— А вы знаете Парлабейна? — спросил он.

— Не так хорошо, как вы. Но в студенческие годы я с ним довольно часто виделся. Приятный парень, очень остроумный. Потом я потерял его из виду, но думал, что мы все еще друзья. Я все жду, что он зайдет повидаться. Я не хотел сам его приглашать: при сложившихся обстоятельствах это может его смутить.

— При каких это обстоятельствах?

— В студенческие годы он все время смеялся надо мной за то, что я хочу идти в Церковь. Вы же помните, он был Великим Скептиком и не мог понять, как это я могу быть верующим христианином перед лицом здравого смысла или того, что он считал здравым смыслом. Так что я чуть не упал со стула, когда несколько месяцев назад получил от него письмо: в письме говорилось, что он монах в Ордене священной миссии. Такие перевороты случаются нередко, особенно в среднем возрасте, но от Парлабейна я такого никогда не ожидал.

— И он хотел покинуть орден.

— Да, он об этом и написал. Просил помощи, и

я ему помог.

— То есть вы послали ему денег?

— Да. Пятьсот долларов. Я решил, что лучше послать. Если деньги пойдут ему на пользу, это будет благое дело по отношению к нему, а если нет, это будет благое дело по отношению к ордену. Он хотел уйти оттуда.

— Он и у меня вытянул пятьсот.

— Уж не устроил ли он массовую рассылку? В общем, я не хотел, чтобы он подумал, будто я злорадствую или требую свои деньги обратно.

— Симон, он очень плохой человек.

— Чем он занимался?

— Жил прихлебателем, тунеядцем и попрошайкой. И все это — в монашеской рясе. И учил Марию плохому.

— Он пристает к Марии? Я думал, он гомик?

— Не все так просто. Гомосексуальные наклонности всего лишь необычная черта. Я знал гомосексуалистов, которые были необыкновенно хорошими людьми. Но Парлабейн — дурной человек. Это старомодный термин, но в его случае подходит.

— Но что он делал с Марией?

— Пару дней назад их вышвырнули из студенческого ресторана за то, что они орали грязные

песни, а после этого люди видели, как они затеяли драку на улице. Я нашел ему работу — заменять другого преподавателя на вечернем отделении. Я велел ему найти другое жилье, но он только проминается под ударами, как полусдувшийся воздушный шарик, и продолжает околачиваться в моих комнатах и делать намеки Марии.

— Какие намеки?

— Многозначительные. Мне кажется, он знает. Про нас с Марией.

— Думаете, она ему сказала?

— Нет, это немыслимо. Но у него нюх. И еще я узнал, что он видится с Макваришем.

Я вздохнул:

— Это ужасно, но верно: ни о чем так не жалеешь, как о сделанном добром деле. Надо было оставить его в ордене: они кое-что знают о епитимьях и, может быть, вправили бы ему мозги.

— Одну вещь я не могу ни понять, ни простить: почему он обратился против меня?

— Такова его натура. Для него невыносимо быть кому-то обязанным. Он всегда был горд, как Люцифер. Если припомнить наши студенческие дни, он настолько походил на Люцифера, насколько это возможно для человека среднего роста, с изувеченным лицом. Мы ведь представ-

ляем себе Люцифера высоким темноволосым красавцем — в общем, падшим ангелом. Но если Парлабейн когда-то и был ангелом, то совершенно неизвестного мне типа: просто очень способный студент-философ с особым талантом к скептическому гипотипозу.

— А?

— Способностью препарировать сказанное в «интеллектуальном» смысле, или унижать собеседника, или назовите как угодно. Стоило высказать при нем какую-нибудь мысль — на ваш взгляд, хорошую и дорогую лично вам, — и он немедленно помещал ее в такой контекст, что вы оказывались легковерным дураком или ограниченным типом, который ничего не читал и не умеет работать мозгами. Но Парлабейн проделывал это так величественно и притом так ловко, что вам казалось, будто вас настигло просветление.

— Пока вас не начинало от этого тошнить.

— Да, пока человек не набирался достаточно уверенности в себе, чтобы понять, что он не может быть постоянно неправым и что объявлять все подряд мошенничеством или безумством не лучшая политика. Парлабейн выпустил свой скепсис из-под контроля.

— Знаете, Симон, со скепсисом вообще странно. Я знавал философов-скептиков, и, за исключением Парлабейна, в повседневной жизни они все — совершенно обычные люди. Они возвращают долги, берут ипотеку, отправляют детей в университет, трясутся над внуками, стараются заработать на жизнь — совершенно как любой другой человек из среднего класса. Они устраиваются в жизни. Как им удается увязать это с тем, что они проповедуют?

— Это не что иное, как здравый смысл. В нем наше спасение — всех, кто работает головой. Мы приходим к компромиссу между тем, что постигаем интеллектом, и тем, что мы есть в мире, каким мы его знаем. Только гении и люди с вывихом пытаются сбежать, и даже гении порой живут по правилам совершенно мещанской морали. Почему? Потому что это упрощает все несущественные детали. Невозможно постоянно импровизировать, видеть в новом свете каждую тривиальную мелочь. Но Парлабейн — человек с вывихом.

— Когда-то куча народу считала его гением.

— Я помню, что был одним из них.

— Думаете, его вывих — от того ужасного происшествия с лицом? Или из семьи? Может быть,

из-за матери?

— Когда-то я предположил бы и то, и другое, и третье, но больше так не думаю. Люди преодолевают и худшие семейные обстоятельства, чем были у него, калеки с изувеченными телами совершают феноменальные вещи, а от людей, скулящих по поводу собственных матерей, меня уже тошнит. У каждого должна быть мать, и не каждый завоевывает большой приз, в чем бы он ни заключался. Что такое идеальная мать? Нам уже все уши прожужжали про то, как слишком любящие матери делают из детей гомосексуалистов, недостаточно заботливые — преступников, а посредственные — душат их интеллектуальное развитие. По-моему, всю эту бодягу с матерями давно пора пересмотреть.

— Мне кажется, еще минута — и вы начнете мне рассказывать про первородный грех.

— А почему бы и нет? У нас была и психология, и социология, но на практике мы остались там же, где и были. Суровые старые богословские концепции ничем не хуже современных: не потому, что они на самом деле что-то объясняют, но потому, что признают свою неспособность объяснить все и сваливают все необъясненное на Бога. А Он, может быть, жесток и непредсказуем, но хотя бы

берет на себя ответственность за многие скорби человеческого рода.

— Значит, вы думаете, что невозможно объяснить Парлабейна? То, что он не оправдал наших ожиданий? То, каков он сейчас?

— Клем, вы живете в университете дольше, чем я, и насмотрелись на многообещающих юных дарований, из которых выходят посредственности. Мы слишком большое значение придаем умению сдавать экзамены и хорошо подвешенному языку.

— Вы сейчас скажете, что характер важнее ума. Я знаю нескольких людей с изумительно твердым характером и с куриными мозгами.

— Клем, перестаньте мне рассказывать, что я сейчас скажу, и посмотрите хорошенько на себя. Вы, несомненно, один из умнейших людей в университете, ученый с международной славой, но стоит вам вляпаться в крохотную этическую проблему с девушкой, как вы становитесь полным идиотом.

— Вы оскорбляете меня, пользуясь моим уважением к вашим ризам.

— Ерунда! Я сейчас не в ризах; я надеваю полное облачение только по воскресеньям. Выпейте еще.

— Вы не находите, что наш разговор вырождается в пьяную болтовню, а?

— Очень возможно. Но пока мы не опустились на четвереньки, я вам скажу, что я понял за двадцать лет «в ризах», как вы это старомодно назвали. В судьбе человека играет роль и отмеренный ему запас ума, и характер, и трудолюбие, и мужество, но все они могут оказаться на помойке, если не будет еще одного фактора, о котором никто не любит говорить: обыкновенного тупого везения.

— А я думал, вы скажете — спасительной Господней милости.

— Конечно, можно это и так назвать, а пути, которыми Господь рассеивает свою милость, непостижимы для человеческого разума. Господь — старый чудик и шутник, Клем, и об этом нельзя забывать.

— С нами Он неплохо обошелся, верно, Симон? За Старого Шутника!

— За Старого Шутника! Да смеется Он над нами еще много лет.

## 3

Лаборатория профессора Озии Фроутса больше всего напоминала кухню дорогого отеля. Чистые

металлические столы, раковины, ряд шкафчиков, похожих на большие холодильники, и несколько приборов, которые, судя по их виду, предназначались для очень точных вычислений. Сам не знаю, что я ожидал увидеть: пока я собрался навестить Ози, шумиха в прессе, поднятая Мюрреем Брауном, нарисовала в умах публики очень красочную картину, так что я не удивился бы, обнаружив Ози в чем-то вроде гнезда безумного ученого из плохого фильма.

— Заходи, Симон. Ничего, что я на «ты»? Мы всегда были на «ты».

Ози — это имя он превратил из клички первокурсника-козерога в овеянное славой прозвище первоклассного футболиста. В те великие дни, когда он и Бум-Бум Глейзбрук блистали в университетской футбольной команде, болельщики любили выкрикивать речевку:

Ози Фроутс — молодец!

Выйдет в поле — всем капец!

Ози всех расплющит!

Ози Фроутс — лучший!

А если он получал травму на поле, чирлидерши во главе с его подружкой Попрыгуньей Пегги поднимали его на ноги протяжным кличем: «Да-вай, О-зи! Да-вай, О-О-О-ЗИ-И-И-И!!!» Все знали, что

Ози — звезда не только футбола, но и биологии и очень большой человек в университете. Одному Богу и биологам известно, чем он занимался после получения диплома и стипендии Родса[51], но ректор упоминал его в числе прочих украшений университета. Приятно, что Ози меня еще помнит.

— Мюррей Браун все никак не успокоится.

— Да. Ты знаешь про вчерашний митинг у парламента? За сокращение грантов на образование. У некоторых были плакаты: «Долой дерьмо из университета». Это про меня. Я — излюбленный конек Мюррея.

— Так ты действительно работаешь с…

— Действительно. И это очень хорошо. Пора бы наконец кому-нибудь это понять. Боже, до чего глупы люди.

— Они не понимают, они платят слишком высокие налоги, их пугает инфляция. Пинать университеты легче всего. «Долой излишества из образовательных программ. Студентам нужны

**[51] Примечания: 51**

*Стипендия Родса* — международная стипендия для обучения в магистратуре или аспирантуре Оксфордского университета. В настоящее время претендовать на стипендию Родса могут студенты из Австралии, Новой Зеландии, Канады и ряда других стран. Стипендия присуждается за высокие академические способности, спортивные достижения, лидерские качества.

полезные специальности, которые позволят им заработать на жизнь». Ты никогда не убедишь большинство в том, что образование и «зарабатывать на жизнь» — совсем разные вещи. А когда общественность видит людей, которые занимаются любимым делом и получают за это деньги, она завидует и требует положить этому конец. Уволить преподавателей, которые не приносят прибыли. Образование и религия — две области, в которых каждый считает себя специалистом; каждый утверждает, что смотрит с позиции здравого смысла… Надо думать, твоя работа обходится недешево?

— Дешевле, чем многое другое, но точно не задаром. В основном это не государственные деньги. Я получаю гранты и от разных фондов, и от Государственного совета по научным исследованиям, и так далее, но университет меня поддерживает и платит мне зарплату, и, надо думать, я — готовый козел отпущения для людей вроде Брауна.

— Они против тебя из-за предмета твоих исследований. Зато, наверное, у тебя сырье дешевое.

— К сожалению, нет. Я же не ассенизатор какой-нибудь. Мне нужен особый продукт, а он идет по три доллара ведро. Умножь это на сто

или сто двадцать пять — а это самая маленькая тестовая группа, — выходит триста долларов в день или даже больше, по семь дней в неделю, и это только начало.

— Сто ведер в день! Ну и ну.

— Если бы я исследовал рак, мне бы ни слова не сказали. Ты же знаешь, рак в моде уже много лет. Под него можно получить любые деньги.

— А ты не можешь сказать, что это связано с исследованием рака?

— Симон! А еще священник! Это же будет вранье! Я пока не знаю, с чем связаны мои опыты. Именно это я и пытаюсь выяснить.

— Чистая наука?

— Почти. Конечно, у меня есть кое-какие идеи, но я двигаюсь от известного к неизвестному. Это заброшенная и непопулярная область исследований, потому что никто на самом деле не любит возиться с фекалиями. Но рано или поздно кому-то придется, и похоже, это буду я. Наверное, лучше объяснить поподробнее?

— Да, я с удовольствием послушаю. Но я пришел не для того, чтобы выпытывать. Просто дружеский визит.

— Я с удовольствием расскажу все, что знаю. Но придется чуточку подождать: должен прийти

еще один человек. Холлиер просил познакомить с моей работой одну девушку, потому что она что-то такое для него делает, уж не знаю что. В общем, она скоро придет.

Она скоро пришла; оказалось, что это моя студентка с семинара по новозаветному греческому и жало в плоть профессора Холлиера, внезапного пуританина: мисс Феотоки. Мы представляли собой странное зрелище: я был в полном облачении и в воротничке священника, потому что зашел к Ози после официального ужина в комитете, для которого такая одежда была уместна; Мария выглядела, как Магдалина с иллюстрации в средневековой книге, хоть и не столь мрачно; а Ози — как бывший великий футболист, который переквалифицировался в исследователи и занимается очень спорной темой. Он по-прежнему был чрезвычайно высок и силен, но уже лысел, и, когда белый лабораторный халат распахивался, на талии обрисовывалась выпуклость, словно под одеждой был спрятан футбольный мяч. Мы обменялись любезностями, и Ози принялся рассказывать:

— Люди всегда интересовались своими фекалиями; первобытные народы, сходив до ветру, обязательно разглядывали результат — нет ли

там чего интересного, и цивилизованные люди это делают чаще, чем вы думаете. Обычно они пугаются: они слыхали, что кровь в стуле — признак рака, и удивительно много народу бежит к доктору, забыв, что накануне ели маринованную свеклу. В старину врачи исследовали стул, так же как и мочу. Они не могли разрезать человека, но эти исследования проводили часто и охотно.

— Это называлось скатомантия, — заметила Мария. — И как, они что-нибудь узнавали?

— Мало что, — ответил Ози. — Хотя врач, знающий свое дело, может многое понять по запаху. Например, кал наркоманов очень легко определить. Конечно, когда появилась настоящая наука, с лабораториями, ученые кое-что делали со стулом — измеряли количество азота, эфирного экстракта, нейтральных жиров, холевой кислоты, сгустков слизи, желчи, бактерий, скоплений мертвых бактерий. Количество пищевого остатка довольно мало. Их труды были полезны в ограниченной области для диагностического процесса, но они не слишком продвинулись. Главное, что

меня сподвигло на эту работу, — Ослер[52]. Ослер вечно отбрасывал замечательные ценные идеи и озарения, которые не хотел исследовать; надо полагать, он думал, что ими на досуге займутся другие. Еще в студенческие годы меня заворожили его краткие заметки о болезни, которую тогда называли катаральным энтеритом; Ослер упомянул изменения в составе кишечной секреции. Он писал: «Мы слишком мало знаем про *succus entericus*[53], чтобы говорить о влиянии, вызванном изменениями в его количестве или качестве». Он написал это в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Но он предположил, что существует связь между раком и диареей, и анемией, и некоторыми болезнями почек, и его слова засели у меня в памяти… И только лет десять назад я наткнулся на книгу, которая напомнила мне о словах Ослера, хотя была посвящена совершенно иной теме. В ней выдвигались основы науки, которую ее автор называл конституциональной

---

**[52] Примечания: 52**

*Ослер,* Уильям (1849–1919) — известный канадский врач, открыватель тромбоцитов. Первым описал ряд болезней. Создал первую в мире программу медицинской резидентуры и первым привлек студентов-медиков к практическому лечению больных.

**[53] Примечания: 53**

Кишечный сок *(лат.)* — сложный по составу пищеварительный сок, вырабатываемый клетками слизистой оболочки тонкой кишки.

психологией. Это был Уильям Герберт Шелдон, авторитетный ученый из Гарварда. Грубо говоря, его теория сводилась к тому, что существует фундаментальная связь между телосложением и темпераментом. Идея, конечно, не нова.

— В эпоху Возрождения об этом постоянно писали, — заметила Мария.

— Но эти писания нельзя назвать научными. Сказать так значило бы сильно преувеличить.

— Для того времени это было очень неплохо, — сказала Мария. — Парацельс писал, что существует сто, если не тысяча, типов желудка, так что если взять тысячу людей, будет так же глупо утверждать, что они одинаковы телом, и одинаково лечить их, как утверждать, что они одинаковы духом. Существует сотня форм здоровья, писал он, и человек, способный поднять пятьдесят фунтов, может быть так же здоров, как тот, кто способен поднять триста.

— Может, он это и писал, но он не мог этого доказать.

— Он это постиг озарением.

— Ну, мисс Феотоки, так не годится. Подобные вещи доказываются экспериментально.

— А Шелдон доказал экспериментально то, что писал Парацельс?

— Несомненно!

— Значит, Парацельс был гениальнее — ему не пришлось корпеть в лаборатории, чтобы получить правильный ответ.

— Но мы не знаем, правилен ли ответ Шелдона; у нас вообще пока еще нет ответов — только результаты тщательных наблюдений. А вот…

— Ози, она тебя дразнит, — сказал я. — Мария, возьмите паузу и дайте договорить великому человеку. Может быть, потом мы дадим слово и Парацельсу. Вы, конечно, знаете, что профессора Фроутса сейчас сильно критикуют, и эта критика может ему повредить.

— То же было и с Парацельсом: его гнали из одной страны в другую и во всех университетах над ним смеялись. И постоянной должности ему тоже нигде не дали. Извините, не позволяйте мне перебивать, пожалуйста.

Что за вздорная девушка! Но ее задиристость — как глоток свежего воздуха. Я и сам втайне болел за Парацельса. Но мне хотелось услышать про Шелдона, и Ози продолжал:

— Он не просто говорил, что люди разные. Он показал, чем они различаются. Он обследовал в общей сложности четыре тысячи студентов. Конечно, не самая удачная выборка — все моло-

дые, все умные, — недостаточно разнообразия, которое я стараюсь обеспечить в своих опытах. Но в конце концов он разделил своих «морских свинок» на три группы. Среди них были эндоморфы с мягкими, округлыми телами, мезоморфы — мускулистые и костистые и эктоморфы — тощие, хрупкие. Шелдон тщательно исследовал их темперамент и происхождение, как они живут, чего хотят от жизни, и обнаружил, что толстяки — висцеротоники, или «люди живота», любящие комфорт во всех его проявлениях; мускулистые крепыши — соматотоники, получающие наслаждение от спорта и напряжения сил; а тощие — церебротоники, интеллектуальные и нервные: люди, живущие головой… Пока ничего особо нового. Надо думать, Парацельс мог бы прийти к тем же выводам, просто наблюдая. Но Шелдон — измерениями и разнообразными тестами — доказал, что у любого человека наблюдаются какие-то элементы от каждого из трех типов и именно эта смесь влияет на — я сказал «влияет», а не «определяет» — темперамент. Для оценки количества таких элементов в одном субъекте Шелдон предложил использовать шкалу от одного до семи. Например, семь-один-один — максимальный эндоморф: толстяк почти без

мускулов, почти без нервов, настоящий бурдюк. А один-один-семь — физическая развалина, сплошные нервы и мозг, телесные возможности на нуле. Кстати говоря, большой мозг не обязательно означает большие способности или хорошо используемый интеллект. Идеально сбалансированный человек, видимо, относится к типу четыре-четыре-четыре, но их немного, а если такой и попадется, он, скорее всего, окажется секретарем дорогого спортивного клуба с первоклассным поваром.

— Вы, наверное, классифицируете всех подряд? — спросила Мария.

— Нет, конечно. Нельзя типизировать человека, не обследовав его, а для этого нужны точные измерения. Хотите посмотреть?

Мы, конечно, не хотели. Но Ози совершенно явно наслаждался каждой минутой этой лекции, и вот он уже воздвиг экран и проектор и показывал нам слайды с изображениями мужчин и женщин самого разного возраста и внешности, сфотографированных голыми на фоне прямоугольной сетки линий, позволяющих точно определить, где у них что выпирает и где чего маловато.

— Публике я этого не показываю, — заметил Ози. — Для показа я зачерняю лица и гениталии.

Но тут все свои.

Действительно. Я узнал университетского полицейского с выпирающим животиком и работника из хозчасти, который обрезает деревья. А это, кажется, одна из секретарш ректора? И девушка из клуба выпускников? Мелькнули несколько студентов, которых я знал в лицо, и… пожалуй, мне тут не место — профессор Агнес Марли: ляжки у нее были толще, чем казались в твидовом костюме, а грудь решительно маловата. Всех этих несчастных фотографировали под жестоким, ослепительным светом. В правом верхнем углу каждой фотографии большими черными цифрами было обозначено их соотношение элементов по шкале Шелдона. Ози снова включил свет.

— Вы поняли, как это делается? Кстати, я надеюсь, что вы никого не узнали. Ничего страшного не случилось бы, но люди иногда чувствительно относятся к таким вещам. Но каждый хочет знать свой тип, так же как люди любят, когда им предсказывают будущее. Что касается меня, то я — два-семь-один: жира не очень много, но, как видите, достаточно, чтобы создавать проблемы при сидячей работе; кости и мышцы у меня на семерку — будь у меня на пару баллов больше

с любого конца шкалы, я был бы Геркулесом. В церебротоническом аспекте у меня только единица — слава богу, это не значит, что я глуп, но я никогда не был, что называется, чувствительным или нервным. Потому-то история с Брауном меня не сильно задевает. Кстати говоря, вы заметили вариации оволосения? Женщины к этому очень чувствительно относятся, но для специалиста вроде меня тип оволосения многое открывает… Типизировать встречных по одной только внешности — нет, всерьез этим невозможно заниматься. Но можно многое понять о типе, если проанализировать слова человека. Взять, например, Христа: на всех картинах Его изображают церебротоническим эктоморфом, и здесь возникает богословский вопрос, который должен быть интересен тебе, Симон. Если Христос — воистину Сын Человеческий, воплотившийся, по идее, Он бы должен быть четыре-четыре-четыре, правда? Человек, взявший на себя страдания мира. Но нет, Он нервного, худощавого типа. Хотя физически крепок: проходил пешком большие расстояния, завораживал толпу речами, а для этого нужна сила, перенес бичевание и прочие измывательства солдат; значит, не меньше тройки по мезоморфной шкале… Невероятно интересно, правда?

Теперь возьмем тебя, Симон: ты профессиональный пропагандист и толкователь слов человека, который в буквальном смысле совершенно не твой тип. Навскидку я могу определить тебя как четыре-два-пять — мягкий, но массивный и чрезвычайно энергичный. Ты много пишешь, верно?

Я подумал о «Новом Обри» и кивнул.

— Ну конечно. Это заложено у тебя в типе, когда он сочетается с превосходным интеллектом. Прилично развитая мускулатура, чувствительный, но не чересчур нервный тип и много кишок. Потому что именно от них у твоего типа так торчит живот, видишь? У иного висцеротоника кишки вдвое длиннее, чем у настоящего церебротоника. У церебротоников кишки коротковаты, зато они падки на секс. Качки почти до такой же степени равнодушны к сексу, а толстяки вместо секса предпочитают лишний раз поесть. А вот мелкие, тощие люди — им вечно неймется. Я мог бы порассказать удивительные вещи. Но ты, Симон, — человек кишок. И это как раз подходит к твоему типу священника: любишь ритуалы и церемонии и, конечно, много ешь. Пердишь много?

«Много» — это сколько? Я не поддался на провокацию.

— Надо думать, много, но тайком, из-за этой пятерки на церебротоническом конце. Но писатели — посмотри. Бальзак, Дюма, Троллоп, Теккерей, Диккенс в конце жизни, Генри Джеймс (который, кстати, всю жизнь страдал запором), Гюго, Гёте — у каждого не меньше сорока футов кишок.

Ози совсем забыл про научное бесстрастие и начал горячиться, выступая на любимую тему.

— Вы, конечно, спросите: а при чем тут фекалии? Дело в том, что я вспомнил Ослера и подумал: состав кала может разниться в зависимости от типа, и это может быть интересно. Потому что люди забывают или просто не принимают во внимание, что кал — истинное творение человека. Люди производят его с разной частотой, которая в пределах нормы варьируется от трех раз в сутки до одного раза в десять дней; в среднем, скажем, сорок восемь часов. Вот так, и было бы довольно странно, если бы в кале не было ничего индивидуального или характерного и если бы он определялся только состоянием здоровья. Вы знаете крестьянскую пословицу «Свое дерьмо не воняет». Зато чужое воняет вовсю. Это — творение, глубоко характерный продукт. И я решил взяться за работу… Ставить подобный эксперимент — адский труд, вот что

я вам скажу. Во-первых, Шелдон выявил семьдесят шесть типов в пределах нормы; конечно, у людей с какими-то врожденными проблемами могут быть самые дикие вариации. Набрать экспериментальную группу — тяжкая работа, потому что приходится беседовать с кучей народу, каждому все объяснять и вычеркивать тех, кто может создать нам проблемы в будущем. Я и мои ассистенты опросили много больше пятисот человек; нам удалось сделать это втихую, чтобы не привлекать несерьезных людей и психов вроде Брауна. В результате мы отобрали сто двадцать пять человек, которые обещали отдавать нам весь свой кал, как следует упакованный в предоставленные нами специальные контейнеры (тоже недешевые, кстати), как можно более свежим и делать это достаточно долго, потому что для любых мало-мальски серьезных наблюдений нужно исследовать серию. И еще мы хотели взять как можно большее разнообразие темпераментов, а не только молодых и умных студентов. И, как я уже говорил, нам приходится платить испытуемым, чтобы вознаградить их за все неудобства: они понимают важность наших опытов, но все равно нужна какая-то компенсация. Они вынуждены проходить разные тесты по

требованию моего медицинского ассистента и ежедневно отмечать на графиках разные вещи, например настроение по семибалльной шкале от «лучезарно» до «в глубоком упадке». Я часто жалею, что эти опыты нельзя проводить на крысах, но исследовать человеческий темперамент задешево невозможно.

— Доктор Фроутс, вы бы понравились Парацельсу, — сказала Мария. — Он предпочитал исследованиям формальной анатомии наблюдение за живым организмом как единым целым; ему понравились бы ваши слова о том, что кал — это творение. Вы читали его трактаты о коликах и кишечных червях?

— На самом деле я только его имя слыхал. Мне казалось, он какой-то псих.

— То же самое Мюррей Браун говорит про вас.

— Ну так Мюррей Браун ошибается. Я не могу ему сказать об этом сейчас — может быть, еще несколько лет не смогу, — но мое время придет.

— Это значит — ты нашел, что искал? — спросил я.

Я чувствовал, что надо увести Марию подальше от Парацельса.

— Я ничего не искал. Процесс научного познания устроен совсем не так: я только смотрю,

чтобы понять, что есть и чего нет. Если заранее придумать, что ищешь, ты это обязательно найдешь, и будешь не прав, и, может быть, упустишь что-то настоящее, что у тебя под самым носом. Конечно, мы не просто так тут сидим: в научных журналах вышло не меньше полдюжины статей за подписью Фроутса, Редферна и Оймацу. Мы накопали кое-что интересное. Хотите посмотреть еще картинок? Их делает Оймацу. Восхитительно! В такой тонкой работе японцам нет равных.

На слайдах, как я понял, были изображены сверхтонкие поперечные срезы фекалий, снятые под микроскопом и в особом освещении. Они были невероятно прекрасны, как роскошные полированные пластины мохового агата, глазкового агата, брекчиевой яшмы. Я вспомнил о халцедонах, которые, согласно Откровению Иоанна Богослова, лежат в основании Небесного Града. Но как Мария не смогла уговорить Ози послушать про Парацельса, так и я, скорее всего, имел бы не больше успеха с цитатами из Библии. Так что я лихорадочно соображал, что бы такое сказать.

— В этих образцах неоткуда взяться кристаллической решетке?

— Нет, но это отличная догадка, проницатель-

ная. Конечно, кристаллической решетки в них не может быть по ряду причин, но есть, скажем так, предрасположенность к определенной, довольно постоянной форме. А если она заметно изменяется — что это может означать? Я не знаю, но если удастся выяснить… — Ози почувствовал, что впадает в неподобающий ученому энтузиазм, — тогда я узнаю что-то, чего не знаю сейчас.

— И это может привести к…

— Я бы не хотел гадать, куда это может привести. Но если обнаружится формирование определенного узора, столь же индивидуального, как отпечатки пальцев, это будет очень интересно. Но я не хочу действовать опрометчиво. Такое бывало с людьми, которые начитались Шелдона. Некто Хаксли, брат ученого — кажется, писатель, — почитал Шелдона и стал кидаться в глупые крайности. Конечно, будучи писателем, он обожал комические крайности соматических типов и совершенно потерял голову из-за одной темы, к которой Шелдон все время возвращается в своих двух больших трудах. Это — юмор. Шелдон все время повторяет, что для работы с соматотипами нужно недремлющее чувство юмора, и, черт побери, я понятия не имею, о чем это он. Если факт — это факт, то, уж наверное,

больше ничего не надо? Никакие дополнительные ужимки не нужны. Я много читал, знаете ли, литературы на общие темы, и все определения чувства юмора, какие мне попадались, совершенно бессмысленны. Но этот Хаксли — который другой, не ученый, — все время зацикливается на том, как смешно, если муж и жена принадлежат к определенным, не соответствующим друг другу типам, и думает, что при виде креветки-эктоморфа и его жены, бурдюка-эндоморфа, разглядывающих идеального мезоморфа — греческую статую в музее, — все просто животики надорвут. Что тут смешного? Он сломя голову помчался делать выводы о том, что соматика влияет на психику и что, может быть, тело — это и есть то самое бессознательное, про которое говорят психоаналитики: неизвестный фактор, из глубин которого поднимаются непредвиденные и неподконтрольные элементы человеческого духа. И что научиться разумно обращаться со своим телом означает найти путь к душевному здоровью. Прекрасно звучит, но только попробуйте доказать. Это уже работа для таких, как я.

Было поздно, и я собрался уходить — Ози явно показал нам все, что собирался. Но, уходя, я вспомнил про Пегги. В наши дни слишком по-

дробные вопросы о женах друзей могут оказаться нетактичными, если вдруг выяснится, что они уже больше не жены. Но я рискнул:

— Как поживает Пегги?

— Как мило, что ты спросил. Она будет счастлива, что ты про нее вспомнил. Бедняжка Пег.

— Надеюсь, она здорова? Я помню ее главной чирлидершей.

— Правда, она была потрясающая? Какая фигура! Каждая унция упруга, как резина. Просто шаровая молния. Господи, видел бы ты ее сейчас.

— Очень жаль такое слышать. Что-то серьезное?

— О, она вполне здорова. Это все ее тип, понимаешь, ее соматический тип. Ее постигло ПП — то, что Шелдон назвал «проклятье пикника». Пикник, понимаешь? Ну да, ты же знаешь греческий. Компактная, упругая фигура. Но у нее самую чуточку смещен баланс элементов, она четыре-четыре-два, и… в общем, она сейчас весит много больше двухсот фунтов, бедная, а росту в ней едва пять футов три дюйма[54]. Нет, детей у нас нет. Но она не унывает. Ходит в кружки при местном

---

**[54] Примечания: 54**

*…весит много больше двухсот фунтов, бедная, а росту в ней едва пять футов три дюйма.* — Более 90 кг при росте менее 160 см.

колледже — «Стрижка и тримминг собак», «Йога для пробуждения и бодрости», «Писательское мастерство» и тому подобная херня. А я часто задерживаюсь в лаборатории по вечерам… ну, ты понимаешь.

Я понимал. Старый Шутник чересчур сурово обошелся с Ози и Пегги, и, даже будь у Ози получше с чувством юмора, вряд ли можно было ожидать от него радости по этому поводу.

Мы шли с Марией по университетскому городку, и она заметила:

— Я все думаю: может быть, профессор Фроутс — маг?

— Думаю, вы бы его сильно удивили таким предположением.

— Да, он не хотел и слушать про Парацельса. Но именно Парацельс говорил, что святые мужи, служащие силам природы, — маги: они могут делать то, что недоступно другим, потому что у них особый дар. Я уверена, что трудам профессора Озии Фроутса покровительствует Гермес Трисмегист, Трижды-величайший. Во всяком случае, я на это надеюсь, потому что, если это не так, профессор Фроутс далеко не уйдет. Жаль, что он не читал Парацельса. Тот говорил, что душа каждого человека соответствует плану его тела,

его кровеносных сосудов. Я уверена, что Шелдон согласился бы.

— Мне кажется, у Шелдона было чувство юмора. Он бы согласился уступить пальму первенства средневековому алхимику. А Ози — нет.

— Жаль, что естественные науки — такие… науки, правда?

— Мисс Феотоки, это реплика гуманиста, будьте с ней очень осторожны. Мы, гуманисты, — вымирающий вид. Во времена Парацельса энергия университетов рождалась из конфликта между гуманизмом и теологией; энергия современного университета кроется в любовной интрижке правительства с естественными науками, и иногда эти влюбленные настолько близки, что становится страшно. Если вам нужен маг, поглядите на Клемента Холлиера.

С этими словами мы расстались, но мне показалось, что она удивленно взглянула на меня.

Я зашагал к Плоурайту, думая о фекалиях. Как много люди узнали о доисторическом прошлом, изучая окаменелый помет давно вымерших животных. На самом деле это чудо: прошлое оживает через то, что было беспечно отброшено. А как живо средневековые люди, еще не отдалившиеся от природы, интересовались пометом животных.

И какое разнообразие названий: заячьи орешки, конские яблоки, коровьи лепешки, овечьи горошки, лисьи катышки… Ведь можно же, наверное, приискать другие названия для вещества, столь близкого сердцу Ози Фроутса, — получше, чем «дерьмо»? Например, сноски библиотекаря, скидки футболиста, мины сапера, вавилоны архитектора, отложения геолога, удобрения агронома, вклады банкира? А для меня самого, может быть, подойдет слово «десятина»?

Размышляя на такую несерьезную тему, я пошел спать.

## 4

Я был уверен, что Холлиер скоро заставит Парлабейна зайти ко мне. И действительно, тот объявился на следующий вечер после моего визита к Ози Фроутсу.

Я был не в духе: у меня из головы не шла суровая оценка моего физического, а следовательно, и духовного состояния, которую дал вчера Ози. Я 425 — мягкий, массивный и, безо всякого сомнения, вскоре заплыву жиром. Я часто обещаю себе, что буду ежедневно ходить в спортзал, приведу себя в форму, и выполнил бы обещание, если бы не был так занят. Теперь Ози нанес мне удар, заявив, что

жир — моя судьба, неизбежная ноша, внешний, видимый признак внутренней, лишь отчасти видимой любви к удобству. Быть может, я себя обманываю? Не зовут ли меня студенты за глаза Толстяком? Но пускай фея Карабос явилась на мои крестины с особым даром, тучностью, — там были и другие феи, добрые, они принесли мне интеллект и энергию. Но человеку свойственно недовольство тем, что он имеет, и я обижался на свой жир.

Хуже того, Ози предположил, что я из людей, постоянно пускающих ветры. Конечно, все понимают, что с возрастом это проявление человеческой природы только усиливается. Тем более излишне напоминать об этом священнику, часто посещающему пожилых людей. И зачем Фроутсу вздумалось обсуждать эту тему в присутствии Марии Магдалины Феотоки?

Так, еще одна причина для недовольства собой. Какое мне дело, что подумает Мария? Но мне было до этого дело, и до того, что думают о ней люди, тоже. Откровения Холлиера меня разозлили: лучше бы ему не тянуть лапы к студентам… нет, нет, это несправедливо… ему не следовало злоупотреблять положением наставника, даже впав в экстаз из-за своих научных достижений.

Я вспомнил Бальзака, который, обуреваем похотью, бросался на кухарку, прижимал ее к стене, а потом кричал ей в лицо: «Вы обошлись мне в целую главу!» — и мчался назад к своим рукописям. Мне не понравилось сообщение о том, что Мария орала на улице похабные песни: если это действительно так, наверняка у нее были свои причины.

Даркур, подумал я, ты чудишь из-за этой девушки. Почему? Я решил, что это из-за ее красоты, всеобъемлющей красоты, ибо она красива не только лицом, но и движениями, и редчайшей чертой — прекрасным низким голосом. Ведь ничего страшного, если мужчина полюбуется красивой женщиной? Ничего страшного, если он не хочет выглядеть смешным толстяком, тайным пердуном в присутствии такого потрясающего Божьего творения? Я вспомнил, что Фроутс не попытался определить ее тип, и вряд ли из сдержанности, поскольку таковой не страдал. Боже мой, неужели он узнал в ней ПП, «проклятье пикника», еще одну Попрыгунью Пегги, которая к тридцати годам превратится в бочонок? Нет, не может быть: Пегги была словно надувной мячик, упругая, фонтанировала энергией, а к Марии ни одно из этих определений было неприложимо.

Когда явился Парлабейн, мои сорок футов литературных кишок роптали: за ужином я лишил их сладкого. Быть может, кого-то такие самоограничения ведут к святости, только не меня: я впадаю в раздражительность.

— Симочка, это ты, мой сладенький? Я тебя совсем забыл, и мне стыдно. Хочешь задать Джонни шлёпки по попке? Три раза по каждой щечке ужасно жесткой линейкой?

Видимо, он хотел начать разговор тем же тоном, на котором закончил двадцать пять лет назад. Парлабейн обожал нести пошлую игривую чепуху, потому что она меня смешила. Но я никогда не играл с ним в эти игры, разве что в шутку: никогда не был одним из «мальчиков» теплой компашки, называвшей себя «услада джентльмена». Они меня интересовали (точнее сказать, завораживали), но меня никогда не тянуло присоединиться к их общей интимной жизни — уж не знаю, в чем она заключалась. Кстати, доподлинно этого я так никогда и не узнал, потому что они, хоть и говорили все время о гомосексуализме, после окончания университета в основном женились и упокоились, кажется, в полнейшей буржуазной респектабельности, которую лишь изредка разнообразили развод и

второй брак. Один из этих мальчиков ныне стал судьей, и адвокаты подобострастно (или издевательски-подобострастно) обращались к нему «милорд». Я полагаю, что мальчики, как и сам Парлабейн, в свое время перебесились: один-двое были на очень дружеской ноге со всеядной Элси Уистлкрафт, которая мнила себя великой гетерой, посвящающей нетронутых юнцов в искусство любви. В молодости многие экспериментируют, пока не остановятся на том, что подходит им больше всего (обычно это традиционный вариант). Однако я был осторожен, скрытен и, видимо, труслив — и никогда не входил в число Парлабейновых «мальчиков». Но когда-то мне льстило, что он говорит со мной как с одним из них.

Глупо, но кто из нас никогда не валял дурака тем или иным образом? Однако прошло двадцать пять лет, и нынче такие манеры неуместны. Наверное, мой ответ прозвучал сурово:

— Ну, Джон, я слыхал, что ты вернулся, и ждал, что ты рано или поздно ко мне зайдешь.

— Да, я непростительно долго откладывал этот визит. *Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*, как говорят у нас в лавочке. Но вот он я. Я слыхал о тебе замечательные вещи. Прекрасные книги.

— Да, смею надеяться, неплохие.

— И священный сан. Ну… лучше сразу с этим покончить: ты видишь по моей рясе, что я переменился. Наверное, за это я должен благодарить тебя — по крайней мере, частично. Знаешь, я часто вспоминал тебя все эти годы. Твои слова всплывали в памяти. Ты был мудрее меня. И я наконец пришел в Церковь.

— Ты попробовал стать монахом, скажем так. Но у тебя явно ничего не вышло.

— Сим, ты слишком суров. Мне пришлось нелегко. Все как будто обратилось в прах и тлен. И разве удивительно, что я наконец пришел туда, где ничто не подвержено тлену.

— Не подвержено? Тогда почему ты здесь?

— Если кто меня и поймет, так это ты. Я пришел в Орден священной миссии, желая убежать от вещей, превративших мою жизнь в ад, — а из них хуже всего было мое собственное своеволие. Я подумал: если отброшу своеволие, то смогу обрести покой, а с ним спасение. «Если будешь с радостью нести свой крест, он сам понесет тебя».

— Фома Кемпийский — ненадежный проводник для человека вроде тебя, Джон.

— Правда? А я думал, он как раз в твоем вкусе.

— Нет. Точнее говоря, я отношусь к нему со всяческим уважением. Но он — для честных

людей, понимаешь, а ты никогда не был честным до конца. Нет, не перебивай, я тебя вовсе не оскорбляю, просто честность Фомы Кемпийского недостижима для такого хитрого человека, как ты. Так же как Фома Аквинский слишком тонок, чтобы служить тебе надежным руководством: ты замалевываешь его тонкость, но показываешь фигу в кармане его принципам.

— Неужели? Ты, кажется, видишь меня насквозь.

— Это только справедливо: когда мы были моложе, ты считал, что насквозь видишь меня. Я полагаю, ты не смог нести свой крест с радостью и сбежал из монастыря.

— Ты одолжил мне денег для этого. Моя благодарность не имеет границ.

— Тебе придется разделить свою благодарность между мной и Клемом Холлиером. Хотя… может, у тебя в списке был еще кто-нибудь?

— Неужели ты думаешь, что паршивых пяти сотен мне хватило бы?

— Во всяком случае так говорилось в твоем красноречивом письме.

— Ну ладно, это дело прошлое. Мне нужно было выбраться из монастыря — всеми правдами и неправдами.

— Довольно неудачное выражение в твоем случае.

— Боже, какой ты стал вредный! Мы ведь братья по вере, разве не так? Где твоя любовь к ближнему?

— Я много думал о том, что значит любить ближнего, так вот: это не значит быть доверчивым простачком. Почему тебе нужно было уйти из монастыря? Тебя собирались вышвырнуть?

— Не с моим счастьем! Но они не хотели продвигать меня к рукоположению.

— Странное дело! Почему бы это, скажи на милость?

— Ты саркастичен, как первокурсник. Слушай, я буду с тобой откровенен. Ты когда-нибудь бывал в таких местах?

— Раза два ездил на ретриты, когда был помоложе.

— Ты бы выдержал такую жизнь, если бы это было навсегда? Слушай, Сим, я не потерплю, чтобы со мной разговаривали как с каким-нибудь тупым кающимся грешником. Я не хулю орден: они дали мне то, чего я просил, — Хлеб Небесный. Но мне нужна хоть капля интеллектуального масла и джема на этом хлебе, иначе я им давлюсь! А мне приходилось слушать проповеди отца

настоятеля, и это было все равно что лекции по философии на первом курсе, только сомневаться не разрешали. У меня в жизни должна быть хоть какая-то игра интеллекта, иначе я сойду с ума! И хоть немного юмора — не туповатые шутки, которые отвешивал отец провинциал в разговоре с братией, когда хотел показаться «своим парнем», и не детские грязные анекдоты, которые шепотом рассказывали в перерывах послушники, чтобы показать, что уж они-то знают жизнь. Мне нужен благотворный, целительный, сочный юмор — как у этого чертова Рабле, про которого мне все уши прожужжали. Мне нужна хоть какая-то закваска, чтобы положить ее в бескваснoе тесто Хлеба Небесного. Если бы мне позволили стать священником, я мог бы привнести нечто полезное, но они не согласились, и я думаю, что ими руководили лишь зависть и злоба!

— Зависть к твоей учености и уму?

— Да.

— Может быть, отчасти и так. Зависть и злоба встречаются в монастырях не реже, чем за их стенами, а у тебя особо бесстыдный ум, который не может замаскироваться даже ради не столь одаренных людей. Но что сделано, то сделано. Вопрос в том, чем ты занимаешься теперь.

— Я немножко преподаю.

— На вечерних курсах.

— Мне это полезно для смирения.

— На вечерних курсах преподает множество прекраснейших людей.

— Но черт побери все на свете, я не просто «прекраснейшие люди»! Я лучший философ, какой когда-либо учился в этом университете, черт бы его драл, и ты это прекрасно знаешь.

— Может быть. Но, кроме того, ты тяжелый человек и никуда не вписываешься. У тебя есть какие-нибудь другие планы?

— Да, но мне нужно время.

— И деньги, надо думать.

— А разве ты в свое время мог предугадать…

— Что ты собираешься делать?

— Я пишу книгу.

— О чем? Раньше твоей специальностью был скептицизм.

— Нет, нет, это совсем другое. Я пишу роман.

— И что, собираешься заработать на нем кучу денег?

— Ну конечно, не сразу.

— Попробуй обратиться за грантом в Канад-

ский совет[55]: он поддерживает писателей.

— Ты напишешь мне рекомендацию?

— Я каждый год рекомендую довольно много народу. Но всем известно, что я не разбираюсь в литературе. Откуда ты знаешь, что можешь написать роман?

— Потому что он уже сложился у меня в голове! И он просто феноменальный! Блестящее описание жизни в этом городе, какой она когда-то была, — андерграунда, потайной жизни то есть, — но в основе повествования лежит анализ нравственных болезней нашего времени.

— О боже!

— Что именно ты хотел этим сказать?

— Я хотел сказать, что этой теме посвящены примерно две трети первых романов. Очень немногие из них публикуются.

— Какой ты злой! Ты же меня знаешь: помнишь вещи, которые я писал в студенческие годы? С моим интеллектом…

---

**[55] Примечания: 55**

*Попробуй обратиться за грантом в Канадский совет…* — Канадский совет по искусствам — государственная структура, созданная правительством Канады для развития, пропаганды и популяризации различных видов искусства. Совет финансирует работу канадских деятелей искусства и стимулирует создание произведений искусства в Канаде, а также пропаганду канадского искусства за рубежом. В частности, этот перевод трилогии Робертсона Дэвиса осуществлен при поддержке Канадского совета.

— Этого я и боюсь. Романы пишутся не интеллектом.

— А чем же?

— Спроси Озри Фроутса: он говорит, что сорокафутовыми кишками. Погляди на себя: ярко выраженный мезоморфный элемент в сочетании со значительной эктоморфией, но почти никакой эндоморфии. Ты себя совершенно не берег, ты пил, торчал и скитался, и у тебя по-прежнему спортивная фигура. Наверняка у тебя жалкий, коротенький кишечник. Когда ты последний раз ходил в туалет?

— Это еще что за хрень?

— Новая психология. Спроси Фроутса. А теперь, Джон, давай заключим договор…

— Мне только немножко денег, чтобы перебиться…

— Хорошо, но я сказал «договор», и вот какой. Перестань ходить в этом наряде. Мне противно смотреть, как ты разгуливаешь, прикидываясь служителем Церкви, хотя не служишь никому, кроме себя самого и, возможно, дьявола. Я дам тебе костюм, и ты будешь его носить, иначе не получишь никаких денег и ни крошки моей помощи.

Мы перебрали мои костюмы. Я собирался

отдать ему тот, который стал тесноват, но Парлабейн, не помню, как это ему удалось, выпросил один из лучших моих костюмов — элегантного священнического серого цвета, хотя и не священнического покроя. И пару хороших рубашек, и пару темных галстуков, и сколько-то носков, и несколько носовых платков, и даже почти новую пару ботинок.

— Ты точно поправился, — сказал Парлабейн, прихорашиваясь перед зеркалом. — Но я умею обращаться с иголкой — сделаю пару вытачек.

Наконец он собрался уходить, и я, чисто по слабости, налил ему выпить — одну порцию.

— Как ты переменился, — сказал он. — Знаешь, ты был таким размазней. Мы как будто поменялись ролями. Ты, набожный в юности, стал жестким, как камень; я, неверующий, пытался стать священником. Неужели жизнь так размыла твою веру?

— Укрепила, я бы сказал.

— Но когда ты читаешь Символ веры, ты на самом деле веришь в то, что произносишь?

— В каждое слово. Перемена заключается в том, что я верю и в кучу других вещей, которых в Символе веры нет. Он записан как бы стенографией. Только самое нужное. Но я живу не

только самым нужным. Если человек твердо решил вести религиозную жизнь, ему нужно укрепиться умом. Его ум делается как столбовая дорога для всех мыслей, и среди этих мыслей он должен выбирать. Помнишь, Гёте говорил, что не слышал о преступлении, какого и сам не мог бы совершить? Если отчаянно цепляться за добро, как ты узнаешь, что такое на самом деле добро?

— Понимаю. Ты что-нибудь знаешь о девушке по фамилии Феотоки?

— Это моя студентка. Да.

— Я ее иногда вижу. Она *soror mystica* Холлиера, ты знал? А я его *famulus*, хотя он всячески пытается меня выставить. Так что я ее довольно часто вижу. Она красотка, аж в штанах шевелится.

— Мне об этом ничего не известно.

— Зато Холлиеру, кажется, известно.

— Что ты хочешь сказать?

— Я думал, может, ты что-нибудь слышал.

— Ни слова.

— Ну ладно, мне пора. Жаль, что ты совсем испортился как священник.

— Не забудь, что я тебе сказал про монашеское облачение.

— Ой, да ладно тебе — иногда не грех. Я люблю в нем читать лекции своим взрослым ученикам.

— Поберегись. Я могу серьезно испортить тебе жизнь.

— Епископу настучишь? Ему плевать.

— Не епископу. Полиции. Не забудь, ты у них на заметке.

— Ничего подобного!

— Неофициально. Может быть, они просто хранят кое-какие записи. Но если я еще раз поймаю тебя в этом маскарадном костюме, братец Джон, я на тебя настучу.

Он открыл рот, подумал и закрыл. Чему-то он все-таки научился: не оставлять за собой последнее слово любой ценой.

Он допил свой стакан, бросил тоскливый взгляд на бутылку (я сделал вид, что не замечаю) и ушел. Но у двери обратил ко мне жалостный призыв, который обошелся мне в пятьдесят долларов. И свою монашескую рясу он тоже забрал, свернув ее в узел и завязав собственным поясом.

# Второй рай IV

## 1

— *Пошрат!*

Мамуся с размаху отвесила мне пощечину. Удар был неслабый, но я зашаталась чуточку сильнее, чем можно было ожидать, заскулила и притворилась, что вот-вот упаду. Она бросилась ко мне и приблизила лицо вплотную к моему, дыша чесноком и яростью.

– *Пошрат!* — снова завизжала она и плюнула мне в лицо.

Привычная сцена из нашей совместной жизни; я знала, что слюну вытирать нельзя. Нужно потерпеть, и в конце концов, скорее всего, выйдет по-моему.

— Ты ему рассказала! Выболтала своему *гаджё* про *бомари*! Ты меня ненавидишь! Хочешь меня уничтожить! О, я знаю, как ты меня презираешь, как стыдишься, как хочешь меня погубить! Ты завидуешь моей работе, которой я едва зарабатываю себе на хлеб! Но ты думаешь, что я уже зажилась на свете, что какая-то шлюха-*пошрат* может меня растоптать и свести в могилу, вы-

рвать у меня тайны! Я тебя убью! Я приду ночью и зарежу тебя, когда ты будешь спать! Не пяль на меня свои бесстыжие бельма, или я тебе их иглой выколю! — (Я на нее не смотрела, но это была ее излюбленная угроза.) — О, за что мне такое наказание! Расфуфыренная дамочка, шлюха *гаджё*! Ты его шлюха, верно ведь? И хочешь привести его сюда, чтобы он за мной шпионил! Чтоб тебя Младенец Иисус терзал огромным железным крюком!

Она все ярилась и ярилась, получая от этого колоссальное удовольствие; я знала, что в конце концов ярость перейдет в хорошее настроение и мать начнет подлизываться, принесет мне мокрый холодный мятный компресс на лицо и рюмку Еркиной сливовицы, и поиграет мне на *боше*[56], и споет, и ее любовь будет такой же визгливой, как ее гнев. Мне осталось только правильно сыграть сломленную, покаянную дочь, для которой единственный свет в окошке, солнце или тучи на небосклоне — любовь матери.

Мою жизнь никак нельзя было назвать однообразной. В университете я была мисс Феотоки, способная аспирантка, стоящая несколько вы-

**[56] Примечания: 56**

Скрипка *(цыг.)*. Переводчик благодарит Лилит Мазикину за консультации, связанные с цыганской культурой.

ше других из-за принадлежности к избранной группе научных сотрудников; у меня были друзья и неприметное, надежное место в научной иерархии. Дома я была Мария, из кэлдэраров[57], из ловарей[58], но не совсем, так как мой отец не принадлежал к этому древнему и гордому племени, но был *гаджё*; и потому, если мать была мной недовольна, она обзывала меня оскорбительным словом «пошрат» — «полукровка». Все, что было со мной не так, по мнению матери, объяснялось тем, что я *пошрат*. Конечно, в этом некого винить, кроме самой матери, но говорить об этом, когда она сердится, было бы нетактично.

Я наполовину цыганка, и после смерти отца эта половина в сознании моей матери, кажется, выросла до трех четвертей, а может, и до семи восьмых. Я знала, что она меня очень любит, но, как часто бывает, ее любовь по временам становилась тяжким бременем, а ее требования — пыткой. Жить с матерью означало жить по ее

---

**[57] Примечания: 57**

*Кэлдэра́ры* — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома. В России и на Украине называют себя котлярами.

**[58] Примечания: 58**

*Лова́ри* — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома. На данный момент довольно обширно рассеяны по Европе, России, США. Сформировались как этногруппа на территории Венгрии.

законам, которые почти во всем шли вразрез с тем, чему меня учили в других местах. При жизни отца все было по-другому, потому что он мог ее контролировать: не криком и не тиранством — так правила она, — а лишь необыкновенной силой своего благородного характера.

Он был поистине великим человеком, и со дня его смерти — мне тогда было шестнадцать лет — я искала его или кого-то похожего во всех мужчинах. Я знаю, что психиатры объясняют причину таких поисков проблемным девушкам, словно это какая-то глубочайшая тайна, которую девушки никогда не раскрыли бы сами. Но я всегда знала: я ищу своего отца, я хочу найти мужчину, равного ему отвагой, мудростью, способностью дарить тепло и любовь. Раза два мне на миг показалось, что я нашла такого человека в Клементе Холлиере. Я знала, что он мудр; я была уверена, что он проявит храбрость, если потребуют обстоятельства; способность дарить тепло и любовь я хотела бы в нем пробудить, но знала, что нельзя вешаться ему на шею. Я должна служить ему; я должна выразить свою любовь смирением и жертвенностью; он должен сам меня заметить. И в тот апрельский день, на диване, я думала, что он меня действительно заметил.

Я пока не разочаровалась, но уже начала самую чуточку сердиться. Когда же он проявит себя как преемник моего любимого Тадеуша, моего любимого отца?

Разве я современная девушка, если питаю подобные мысли? Наверное, я современная: ведь я живу сейчас. Но я, как и все остальные, живу, по словам Холлиера, в смешении эпох: какие-то мои мысли принадлежат сегодняшнему дню, какие-то — далекому прошлому, а какие-то — эпохе, которая ближе моим родителям, чем мне. Если бы я могла упорядочить эти идеи и управлять ими, я бы лучше понимала, на чем стою, но порой, когда мне больше всего хочется быть современной, прошлое лезет в мою жизнь, а порой, когда я тоскую по прошлому, мне некуда деваться от настоящего — как в те минуты, когда мне хочется, чтобы Тадеуш не умер, а был со мной сейчас, объяснял, направлял и помогал найти свое место в жизни. Когда мои знакомые девушки выражают желание стать свободными, когда я слышу других женщин, радующихся тому, что они называют освобождением, я чувствую себя полной дурой, потому что просто не знаю, где я и кто я.

Однако я знаю, где я была или, точнее, где были и где прожили судьбоносные части своей жизни

люди, от которых идет все мое «я». Мой отец, Тадеуш Бонавентура Нимцевич, был поляк и имел несчастье родиться в Варшаве в 1910 году. Я говорю «несчастье», потому что слишком скоро началась великая война и семья отца, довольно состоятельная, потеряла все, кроме богатых запасов гордости. Отец был очень образованный человек, инженер по профессии, со специализацией по открытию и оборудованию заводов. Именно эта работа еще молодым привела его в Венгрию, и скоро он, как многие другие поляки, обосновался в Будапеште. Для удобства венгерских друзей, которым было тяжело выговаривать фамилию Нимцевич, он добавил к ней Феотоки, девичью фамилию своей матери. У нее были греческие корни.

Он был романтиком — точнее, мне нравится так о нем думать — и, как многие люди романтического склада, влюбился в цыганку, но, в отличие от многих, женился на ней. Это была моя мать, Орага Лаутаро.

Не все цыгане — кочевники, и семья матери, потомственные музыканты, уже много лет жила в Будапеште: цыгане-музыканты предпочитают играть в шикарных ресторанах, офицерских клубах и домах богатых людей, а не скитаться по

дорогам. Надо сказать, что цыгане-музыканты считают себя аристократами среди своего народа. Моя мать выделялась, потому что играла на скрипке перед публикой: обычно цыгане-скрипачи все мужчины, а женщины пляшут и поют. Она была очень красива и пробуждала страсть; молодой польский инженер искал ее благосклонности и наконец уговорил обвенчаться с ним, как по цыганскому обряду, так и в католической церкви.

Приближение Второй мировой отец почуял нутром, а может, понял по характеру своей работы в промышленности. Отец решил убраться из Европы и стал устраивать отъезд. Хлопоты заняли столько времени, что отец с матерью едва успели добраться до Англии к осени 1939 года, когда началась война. Там их нагнал Ерко, брат матери, после путешествий по Франции, где он странствовал по причинам, о которых я расскажу в свой срок. В Англии семья прожила до 1946 года; мой отец был в армии, но не солдатом: он проектировал оборудование и планировал его производство, а Ерко работал при нем техником — делал модели. У Тадеуша и матери родился ребенок, но скоро умер, и, лишь когда они приехали в Канаду и осели в Торонто, родилась я

— в 1958 году, когда матери было уже под сорок. (Она всегда говорила, что родилась в 1920 году, но мне кажется, что она точно не знала, и у нее, конечно, не было никаких подтверждающих документов.) К этому времени отец и Ерко наладили собственный бизнес — производство больничного оборудования: отец умел управлять производством, а Ерко, талантливейший механик, мог сделать и улучшить рабочую модель любого отцовского изобретения. Казалось, что семью подхватила и несет волна успеха, пока в 1975 году отец не умер — не картинно, надорвавшись от чрезмерных трудов, а буднично, от запущенной простуды, которая перешла во что-то другое и оказалась непобедимой. До этого наша семья, наверное, мало чем отличалась от любой другой семьи канадских иммигрантов европейского происхождения — немножко иностранцы, но без вопиющих контрастов с окружающей североамериканской жизнью. Но смерть отца все перевернула, и от этого переворота семья так и не оправилась.

У отца был сильный характер: отец очень любил мать, ему нравилось думать, что она цыганка, но при нем было ясно, что мы должны жить как обеспеченная польская семья. Моя мать одева-

лась как состоятельная женщина, и в дорогих магазинах ее отучили от крикливых расцветок и длинных юбок в пол. Она редко говорила по-цыгански, на языке своего детства, — разве что со мной и Ерко, а с отцом обычно общалась по-венгерски; она немножко научилась у отца польскому, и я тоже учила этот язык наравне с венгерским; мать иногда ревновала, видя, что мы с отцом разговариваем на языке, которым она владеет не свободно. Английский она так и не выучила как следует, но это не осложняло ее жизнь, так как в Торонто хватало людей, с которыми она могла общаться по-венгерски. В компании, где говорили по-английски, она переходила на ломаный английский, которому умудрялась придавать определенный шарм, — подобная речь неотразимо действует на англоговорящих. Вспоминая годы, предшествующие смерти отца, я понимаю теперь, что мамуся жила своего рода приглушенной, замкнутой жизнью. Любимый человек обволакивал ее, как меня ныне обволакивает Холлиер.

Меня научили называть ее мамусей сами родители — так ласкательно обращается к любимой матери хорошо воспитанный польский ребенок. Канадские дети, слушая нас с матерью, думали,

что я говорю «мамуша» (всем канадцам медведь на ухо наступил), но, если правильно произносить это слово, оно звучит ласково и нежно. Кроме того, в дни рождения и на Рождество я называла ее «édesanya»[59], как положено в состоятельных венгерских семьях. Отца я обычно называла по-венгерски — «édesapa»[60]. Когда мать хотела его позлить, она учила меня называть ее «мамика» — это почти то же самое, что грубое «мамка», и отец хмурился и укоризненно цокал языком. Он никогда не сердился, но это цоканье было для меня все равно что выговор.

Меня воспитывали, как мне кажется, весьма строго: *édesapa* не любил канадских вольных манер и не мог понять, что канадцы вовсе не желают его обидеть таким обращением. Он был поражен, когда узнал, что в хорошей монастырской школе, куда меня отдали, девочек учат играть в софтбол и лакросс и что монахини сами подбирают юбки и прыгают с нами. Вид монахинь на коньках — а это на самом деле очень красиво — совершенно выбил отца из колеи. Конечно, это были традиционные монахини, в одеяниях до пят;

---

**[59] Примечания: 59**
Матушка *(венг.)*.

**[60] Примечания: 60**
Батюшка *(венг.)*.

когда в шестидесятые годы в монашеской одежде произошла революция, отцу, наверно, показалось, что небо падает на землю. Теперь я знаю, что стареющий романтик почти неотличим от стареющего консерватора, но тогда, как верная дочь, я старалась хотя бы частично разделять его негодование. Но безуспешно. День, когда отец узнал, что я, подобно другим девочкам в монастыре, за глаза называю мать настоятельницу «мама-супер»[61], был черным днем в моей жизни. Бедный *édesapa*, такой милый, такой галантный, такой рыцарственный, но — даже я вынуждена признать — такой отсталый в некоторых вещах. Однако благородство его духа и высокие идеалы пленили меня и до сих пор держат в плену.

Я не знаю, как он смог сделать столько денег. Многие думают, что бизнес и возвышенные представления о жизни не сочетаются, но я в этом не уверена. Отец, без сомнения, заработал много — мы были изумлены, узнав после его смерти, сколько именно. Ерко не смог бы вести дело в одиночку, зато ловко продал его конкурирующей фирме; в результате у мамуси оказалась неплохая сумма, лежащая в доверительном управлении, и

**[61] Примечания: 61**

*«Мама-супер»* — от Mother Superior (титул настоятельницы монастыря).

у меня тоже, и сам Ерко стал довольно богатым человеком. Конечно, у каждого свое представление о богатстве; должно быть, настоящие богачи сами не знают, чем владеют. Но Ерко был богат превыше всяких представлений венгерского цыгана-музыканта о богатстве; он обильно рыдал и уверял меня, что после него все достанется мне и что он часто ощущает на себе холодную руку смерти. Ему было только пятьдесят восемь, он был силен как бык и вел образ жизни, который давно уже прикончил бы человека послабее, но о смерти он говорил так, словно с часу на час ожидал ее прихода.

Много раздоров вызвало то, что я должна была получить всю сумму, лежащую в доверительном управлении, по достижении двадцати пяти лет и весь мамусин капитал после ее смерти. Мамуся решила — и никакие мои уговоры, никакие объяснения растерянных мужчин из компании по доверительному управлению не смогли ее разубедить, — что я прикарманила все деньги, что ее обожаемый Тадеуш каким-то образом поступил с ней по-свински и что она почти нищая. Где ее деньги? Почему ей не дали их в руки? Да, она ежемесячно получает чек на солидную сумму, но почем она знает, сколько это будет продолжать-

ся? В глубине души она прекрасно знала, что к чему, но ей нравилось скандалить по-цыгански, глядя, как сотрудники доверительной компании пятятся и судорожно сглатывают перед лицом ее гнева.

На самом деле она испытывала опьяняющий прилив энергии — это иногда бывает с женщинами после смерти мужа. Она горевала по Тадеушу в настоящем цыганском духе, клялась вскоре последовать за ним в могилу и несколько недель ходила с траурным видом. Но всю эту скорбь, частью напускную и частью искреннюю, пронизывало осознание того, что она свободна, что долг респектабельности *гаджё*, который лег на нее в результате замужества, уплачен ею сполна. Свобода для мамуси означала возврат к цыганской жизни. Мамуся надела траур — старомодный жест, но необходимый для утоления скорби. Но так и не вышла из траура — модная одежда понемногу исчезла, и в шкафах воцарились вещи в ярко выраженном стиле *Ciganyak*[62]. Мать надевала сразу несколько юбок и, к моему ужасу, перестала носить нижнее белье.

— Грязные вещи, — говорила она в ответ на

---

**[62] Примечания: 62**
Цыгане *(венг.)*.

мои протесты, — всего несколько дней, и они становятся гадкие, вонючие; только неряха может такое носить.

Она вернулась к цыганским понятиям о чистоте, которые очень сильно отличаются от современных; единственным предметом нижнего белья была сорочка, которую она хорошенько стирала вручную раз в несколько месяцев; она не мылась, но втирала в кожу оливковое масло, а в волосы — другое, ароматическое. Я не говорю, что она стала замарашкой, но североамериканский идеал чистоты был чужд ее личному стилю. Золотые цепи и россыпи золотых колец, припрятанные со дней ее ресторанных скрипичных выступлений, вновь увидели свет; они музыкально звенели и брякали, когда она двигалась. Она часто говорила, что настоящее золото звенит по-особенному и этот звук не похож ни на какой другой. Она теперь постоянно ходила в черном платке: выходя в мир *гаджё*, она завязывала его под подбородком, а дома — на затылке. Она была красивой женщиной, колоритной фигурой, но не каждый согласился бы иметь такую мать.

Мамуся жила в мире тайн и в высшей степени разделяла убеждение, что цыгане — утонченные существа, а все остальные — *гаджё,* то есть лохи,

доверчивые простачки, предназначенные для того, чтобы их обманывать. Это убеждение сидело в ней очень глубоко; иногда она была вынуждена принимать какого-нибудь *гаджё* почти как равного, признавая, что и у них есть своя хитрость. Но твердая вера в собственное хитроумие и превосходство никогда не убывала надолго.

Именно это убеждение приводило к самым жестоким ссорам между нами. Мамуся неустанно и виртуозно воровала в магазинах. Мы питались в основном краденой едой.

Когда я протестовала, она говорила:

— Но они такие тупые! В этих ихних супермаркетах длиннющие коридоры заставлены чем попало, и нужными вещами, и всякой дрянью, на которую только *гаджё* и польстится. Если они не хотят, чтобы у них воровали, пускай поставят охрану.

— Но они доверяют людям, — объясняла я, и мамуся разражалась чудовищным, жестким цыганским смехом. Я продолжала, уже правдивей: — Ну, если честно, охрана обошлась бы дороже, чем стоят украденные вещи.

— Значит, они этого ожидают. Так чего ты шумишь?

И мне нечего было ответить.

— Но если тебя поймают — подумай, какой позор! Ты вдова Тадеуша Феотоки! Как это будет выглядеть, если ты попадешь под суд?

(Я думала и о позоре, который ждет меня, если все узнают, что моя мать воровка.)

— Но я не собираюсь попадаться, — отвечала она.

И действительно, она ни разу не попалась. Она не ходила слишком часто в один и тот же супермаркет, а перед входом становилась сутулой, трясущейся, растерянной; шаркая по проходам супермаркета, она устраивала потрясающий спектакль со старомодными очками: то поправляла их, пытаясь закрепить на носу, то начинала с превеликим трудом читать инструкции на этикетке консервной банки, которую держала в правой руке; левой же в это время ловко переносила товар с нижней полки во внутренние карманы потертого черного пальто, которое всегда надевала в эти пиратские рейды. На подходе к кассе в руках у матери оказывались лишь одна или две мелкие упаковки, и она открывала кошелек, стараясь, чтобы кассир хорошенько разглядел его жалкое содержимое; иногда она откапывала целых восемнадцать центов одноцентовыми монетками, чтобы наскрести нужную

сумму. Бедная! Как жаль этих одиноких старушек, перебивающихся на скудную пенсию по старости! (Грозная старая разбойница, надувающая глупых *гаджё*!)

Я старалась как можно меньше питаться дома — не только потому, что не одобряла мамусиного способа приобретения продуктов, но еще и потому, что плоды ее преступлений составляли невкусный и нездоровый рацион. В любом случае цыгане готовят, по современным понятиям, просто ужасно, а хозяйственный порядок, который поддерживался у нас дома при Тадеуше, отошел в прошлое. В день великой битвы из-за Холлиера на ужин была свинина с бобами, густо посыпанная паприкой, и особый мамусин кофе — она готовила его, добавляя чуть-чуть нового кофе к спитой гуще старого и ставя на огонь, чтобы кипел, пока не понадобится.

Как я и предвидела, за бурей последовало затишье, на мое избитое лицо наложили примочки, мы с матерью всласть пообнимались, и я немного порыдала. Поцелуи считаются у цыган слишком важным действием, чтобы обмениваться ими после обычной семейной размолвки; их приберегают для важных случаев, так что мы не поцеловались.

— Зачем ты рассказала ему про *бомари*? — спросила мамуся.

— Потому что это важно для его работы.

— Это важно и для моей работы, но уже не будет важно, если все об этом узнают.

— Я уверена, он сохранит тайну.

— Тогда он будет первым *гаджё*, который так сделал.

— О мамуся, а как же отец?

— Твой отец был связан со мной великой клятвой. Брак — это великая клятва. Никакая сила не заставила бы твоего отца выдать мою тайну — или меня выдать какую-нибудь его тайну. Мы были мужем и женой.

— Я уверена, что профессор Холлиер поклянется, если ты его попросишь.

— Поклянется не произносить ни единого слова про *бомари*?

Я поняла, что сваляла дурака.

— Конечно, он захочет об этом написать, — сказала я, ожидая, не начнется ли снова ужасный скандал.

— Что написать?

— Статьи в ученых журналах; может быть, даже книгу.

— Книгу про *бомари*?

— Нет, нет, не только про *бомари*, про разные вещи, которые мудрые люди вроде тебя сохранили по сей день.

Это была цыганская лесть с моей стороны: мамуся убеждена в своей необыкновенной мудрости. У нее и доказательство есть: когда она родилась, ее отцу и матери на двоих было больше ста лет. Это верная примета.

— Странный он учитель, если хочет учить этих плосколобых бездельников-студентов делать *бомари*. Они не управятся с *бомари*, даже если им все про него рассказать.

— Мамуся, он не для того хочет узнать, чтобы рассказывать студентам. Он хочет написать об этом для немногих очень ученых людей, таких как он сам, которые интересуются сохранившейся древней мудростью и древними поверьями. Современному миру ужасно не хватает этой мудрости. Он хочет воздать почести таким людям, как ты, которые страдали и молчали, чтобы сохранить древние тайны.

— Он запишет мое имя?

— Никогда, если ты его попросишь не называть тебя; он напишет, что узнал то-то и то-то от очень мудрой женщины, которую ему посчастливилось встретить при обстоятельствах, которые он по-

клялся не открывать.

— Ах вот как?

— Да. Ты же сама знаешь, что *гаджё* не смогут сделать *бомари*, даже если им все объяснить и рассказать. У них нет твоего опыта и твоей великой родовой мудрости.

— Ну что ж, маленькая *пошрат*, ты это затеяла, и, надо думать, мне придется довести дело до конца. Я это делаю для тебя, потому что ты — дочь Тадеуша. Ничто меньшее меня не убедило бы. Приводи своего мудреца.

## 2

«Приводи своего мудреца». Но это лишь начало; нужно провести встречу моего мудреца и мамуси так, чтобы никто из них не возненавидел меня на всю жизнь. Какая я дура! Зачем я это затеяла? Дура-*гаджи*! Удастся ли мне хоть ноги унести, не говоря уже про обожание, благодарность и, может быть, любовь Холлиера, которые я надеялась завоевать в результате? Зачем я только решила помочь ему изучать лечение грязью! Я как ученик волшебника из сказки: затеяла нечто такое, чего уже не могла остановить, и, может быть, в итоге волшебник меня накажет.

Мне хватило времени поразмышлять о своих

бедах — весь вечер я провела в обществе мамуси, лежа на диване и меняя примочки каждые полчаса, а мамуся играла мне на скрипке и иногда пела.

Она была хитра и знала, как раздражает меня эта музыка. Я очень люблю музыку, в особенности утонченную, интеллектуальную; она уверяет меня в существовании порядка, а таких уверений очень мало в моей запутанной жизни. Но мамусина музыка — подлинно венгерская, цыганская: жалобная, скорбная, воющая и вдруг переходящая в безумное веселье; пальцы скользят по грифу, извлекая глиссандо, похожие на первобытные вопли какого-то непостижимого для меня экстаза. Цыганская гамма — малая терция, увеличенная кварта, малая секста и большая септима — терзала мои нервы; благородному экстазу Баха почему-то довольно было диатонической шкалы. С этой музыкой мне приходилось бороться; ее первобытность и сентиментальность шли вразрез со всем, чем был для меня университет, но я знала, что это часть моего наследия, которое не удастся отсечь, как бы я от него ни отрекалась. О, я прекрасно знала, что со мной не так: я хотела быть интеллектуалкой, убежать от всего, что значила мамуся и стоящие за ней поколения кэл-

дэраров. И еще я знала, что этого можно добиться только предельным насилием над собой. Я подозревала, что даже моя мучительная страсть к Холлиеру проистекала лишь от желания сбежать из моего мира в его мир. Любовь это или нет?

Мамуся тем временем перешла на глубоко личную музыку — такое она никогда не играла в офицерских столовых и модных ресторанах. Она звала эту музыку медвежьей песнью: ее играли и пели цыгане, ходящие с медведем, своим зверям, но я думаю, что эта песня гораздо старше: для цыган, сложивших ее в незапамятные времена, медведь был не только ценным имуществом и средством заработка, но спутником и, может быть, объектом поклонения. Вам не верится? Подумайте о том, как люди в наши дни беседуют со своими кошками и собаками; обычно это умилительные слова, подходящие, по мнению хозяев, не слишком опасному животному. Но как говорить с медведем, который может тебя убить? Как предложить ему дружбу? Как попросить у него мудрости, которая так непохожа на человеческую, но все же постижима для человека? Этой просьбой, кажется, и была медвежья песнь — музыка медленная, с длинными вопросительными паузами и сильным напором на низкие гортан-

ные звуки, так редко слышные в той музыке, которую я понимаю и ценю. «Скырлы-скырлы». Как ты, братец Мартын? Что видишь? Что слышишь? А потом: «Грры-грры» — это братец Мартын (ибо всех цыганских медведей зовут Мартынами) говорит свое веское слово. Сыграет ли мамуся это для Холлиера? И (я не знала, насколько он чувствует такие вещи) поймет ли он что-нибудь в этой музыке?

«Приводи своего мудреца»; что подумает он о доме, в котором я живу?

Это был большой и красивый дом в тяжеловесном банкирском стиле, каких так много в Роуздейле, самом дорогом, засаженном самыми роскошными деревьями квартале Торонто. Дом номер 120 по Уолнат-стрит был не самым красивым, но и не самым простеньким в этом квартале. Стены из сплошного кирпича, деревянные части выкрашены в белый цвет, на углах — импозантная рустовка; красивые деревья, за ними ухаживают и обрезают их; прекрасный газон, явно созданный профессионалом, густая трава без единого сорняка. Идеальный дом для польского инженера, преуспевшего в Новом Свете и желающего занять место в мире соответственно своим деньгам, способностям и очевидной

респектабельности. Как гордился этим домом Тадеуш и как по-доброму смеялся, когда мамуся говорила, что дом слишком велик для пары с одним ребенком, даже если считать экономку, которая жила в своей собственной отдельной квартире на третьем этаже. Хороший дом, обставленный добротной мебелью, ухоженный наемными уборщиками и садовниками. Любой прохожий подумал бы, что это и до сих пор так.

Внутри, однако, произошли катастрофические перемены. Когда Тадеуш умер, мамуся заговорила о продаже дома и покупке лачуги, более соответствующей ее финансовому положению нищей вдовы. Но брат Ерко убедил ее не глупить: она сидит на мешке с деньгами. Именно Ерко вспомнил, что при покупке дом оказался зарегистрированным в муниципалитете как многоквартирный и предназначенный для сдачи комнат внаем; это разрешение было получено в войну по какой-то временной надобности и впоследствии так и не отозвано, хотя Тадеуш занимал весь дом целиком. Ерко заявил, что нужно снова переделать дом в многоквартирный с меблированными комнатами и зарабатывать на этом. *Гаджё* всегда хотят жить в хороших местах.

Я не знаю, как выглядел дом раньше, но после

того, как мамуся и Ерко с ним разделались, дом 120 по Уолнат-стрит, несомненно, стал одним из самых причудливых человеческих ульев в этом городе, славящемся своими причудливыми человеческими ульями. Из экономии Ерко почти всю работу сделал сам; руками он мог делать что угодно и с помощью одного рабочего превратил прекрасный, гордый дом Тадеуша в десять квартир: лучшая, состоящая из гостиной, кухни, спальни и солнечной веранды, досталась мамусе. На первом этаже появились, кроме этого, две однокомнатные квартирки, темные и неудобные, как собачья конура; у одной после добавления кухни (больше похожей на стенной шкаф) и кукольной душевой кабинки оказалось не менее семи углов. Эти жилища были сданы двум молодым людям, мистеру Кольбенхайеру и мистеру Витраку. Кольбенхайер был скелетоподобен и объяснялся исключительно шепотом; насчет Витрака меня постоянно мучили мрачные предчувствия, потому что он выглядел как человек, твердо намеренный совершить самоубийство, а его квартира казалась идеальным фоном для такой несчастной кончины.

На втором этаже, где когда-то располагались спальни Тадеуша, мамуси и моя, появилась квар-

тира с одной спальней, собственной ванной и крохотной кухонькой, а также гостиной, делившей окно с кухней благодаря архитектурному выверту Ерко, разгородившего окно пополам. В этой квартире жила королева наших съемщиков, миссис Файко, и три ее кошки. На том же этаже были три комнаты с общей кухней и ванной; в них обитали мисс Гретцер, миссис Новачински и миссис Шрайфогель, все старухи, хозяйки в общей сложности четырех пуделей и двух кошек. Они согласились между собой, что, поскольку мало пользуются душем (из боязни застрять в нем и погибнуть в кипятке), его поддон можно заполнить рваной газетой и использовать как туалет для домашних животных. Предполагалось, что старухи вычищают его время от времени, но они были забывчивы и слабы здоровьем, так что эта работа обычно доставалась мне. В конце концов, мисс Гретцер было восемьдесят семь лет; насколько было известно, она уже три года не выходила из дому; миссис Новачински любезно совершала для нее все нужные покупки.

На верхнем этаже располагались две однокомнатные квартиры с общей ванной. В них проживали мистер Костич, который, по слухам, как-то был связан с химчистками, и мистер Хорн,

санитар. Каждый раз, как мамуся упоминала профессию мистера Хорна, он орал: «Да уж точно, что не санитарка!» — и оттого пользовался среди жильцов репутацией остряка.

В подвале располагалась очень большая пятикомнатная квартира, где жил дядя Ерко, где стоял его самогонный аппарат и где мамуся делала свою самую важную и секретную работу.

Отделкой всех этих комнат и квартир тоже занимался Ерко. Он удачно купил по дешевке партию краски и обоев, залежавшуюся на складе. Обои были синие, с большими темно-синими розами — совершенно ужасный фон для многочисленных семейных портретов и свадебных фотографий, которыми старухи украшали свои комнаты. Что же до краски, она была розовая. Не нежно-розовая и не какого-либо оттенка розового цвета, а РОЗОВАЯ. Для укрепления сил Ерко, работая, постоянно отхлебывал сливовицы собственного производства, в результате чего ни одно полотно обоев не легло прямо, а на полу возникли большие пятна краски. Когда цыганская парочка начала наконец принимать жильцов (предпочтительно *гаджё,* не слишком богатых хитростью), это был пьяный, опустившийся, изнасилованный дом. В нем воняло; из каждого угла

разило по-своему. Это была траурная симфония в ключе «кот-минор», с низкими басовыми нотами в ключе «старый пес» и модуляциями старости, увядающих жизней и утраченных надежд.

Куда же смотрели муниципальные инспекторы, призванные следить за подобными заведениями? Почему не закрыли этот ужасный кроличий садок? Ерко знал свое дело. Инспекторы взяток не берут, это всем известно. Но им мало платят (во всяком случае, они так думают), а им и их женам хочется иметь хорошие вещи — посудомоечные машины, электрические газонокосилки и кондиционеры. Ерко мог доставать для них эти вещи по оптовым ценам: у него остались связи в промышленности еще со времен работы с Тадеушем. Он оказывал инспекторам любезность и не только организовывал доставку бытовых приборов прямо с фабрики, но каким-то образом устраивал так, что счет за доставленные приборы, даже по оптовым ценам, так и не приходил. А как все знают, в мире *гаджё* даже небольшая любезность приносит обильные плоды.

А где же во всей этой картине была я? Ерко и мамуся единодушно согласились, что было бы очень глупо держать целую комнату под девчонку, которая все равно весь день пропадает в

университете, и что я прекрасно могу спать на диване у мамуси. У меня были свои деньги, я ни от кого не зависела, и ничто не мешало мне снять собственную отдельную квартиру, отчитываться исключительно перед собой, убраться подальше от вони дряхлых собак и немытых старух, не слышать за стенкой жутких воплей мистера Витрака, увидевшего плохой сон. Точнее, ничто, кроме любви и верности. Потому что, как ни мучительно по временам было жить с мамусей и как ни раздражало меня общество Ерко, лишь изредка трезвого, я любила их обоих. Если я их покину, думала я, одному Богу известно, что с ними будет.

### 3

Очень скоро визит моего мудреца устроился: он мог прийти к нам через три дня после того, как я передала ему приглашение. «Моя мать приглашает вас на чай», — сказала я, движимая незнамо каким безумием. Наверное, при этих словах у него в голове нарисовался образ хрупкой, благоуханной старушки, обитательницы дома в Роуздейле, наливающей изысканный китайский чай в тонкостенный дорогой фарфор. Но в этой истории, как и в любых нерабочих отношениях с

Холлиером, я, кажется, совершенно перестала соображать. Во всем, что касалось учебы и научной работы, я беседовала с ним вполне осмысленно, но в любом деле, хоть как-то касавшемся личных отношений, даже самых обыденных, становилась полной дурой.

Обоих нас изумило превращение Парлабейна. Ряса исчезла, а с ней — наигранно монашеские манеры. В хорошем сером костюме он был почти элегантен. Кажется, костюм был сшит на более высокого и плотного человека: в плечах он явно жал, а жилет был слишком просторен. Чтобы брюки не волочились по земле, Парлабейн вынужден был донельзя подтягивать их вверх. Но галстук солидной расцветки, чистая рубашка, белый платок в нагрудном кармане, — право, большего нельзя было бы ожидать и от самого опрятного ученого.

Лучше всего было то, что он перестал роптать на скудное жалованье преподавателя вечерних курсов. Я спросила, не нашел ли он дополнительных источников дохода.

— Я пока присматриваюсь к тому-сему, — сказал он, — и нашел в университете кое-что, это поможет мне перебиться, пока я не получу аванс за роман.

Роман? Это что-то новое.

— Это довольно крупное произведение, — объяснил он, — и его еще надо редактировать. Но уже можно показывать. Я еще немного пошлифую его и попрошу Клема на него взглянуть, посоветовать насчет публикации.

Впервые в жизни я услышала, что Холлиер — специалист по романам. Наверно, мое удивление было заметно.

— Клем поймет его лучше многих. Понимаете, мой роман не из бестселлеров. Это настоящий *roman philosophique*[63], и я хочу спросить мнения знающих людей, прежде чем отдавать его издателю.

— О, у вас уже есть издатель?

— Пока нет; тут мне тоже понадобятся советы. В какое издательство пойти? Я не хочу, чтобы мой роман попал не в те руки и получил неправильную рекламу.

Это был совсем новый Парлабейн — невинный, полный надежд. Говорят, женщины обязаны время от времени видеть в знакомых мужчинах мальчиков. Мне кажется, это несправедливо; но, бесспорно, когда Парлабейн, склоняя голову

---

**[63] Примечания: 63**
Философский роман *(фр.)*.

набок, говорил о своем романе, в изувеченном, словно размытом лице вдруг проступил маленький мальчик.

## 4

Со дня нашего знакомства Артур Корниш трижды приглашал меня на ужин, и два раза я соглашалась. Он был непохож на университетских мужчин: либо женатых, либо «не из тех, кто женится», либо молодых ученых, которым нужно, чтобы кто-нибудь сидел и слушал, пока они будут говорить о себе и своих научных перспективах. В первый раз Артур говорил о еде, политике и путешествиях и, кажется, не торопился открывать мне какие-то личные тайны. Кроме того, он, по-видимому, не думал, что за этот ужин я буду ему что-то должна. Он держался слегка отстраненно, но был очень мил и ожидал, что по меньшей мере половину всего времени буду говорить я. Поэтому я говорила о еде, политике и путешествиях, хотя мало что знала о том, другом и третьем. Но Артур умел создавать легкое, расслабленное настроение, а это было для меня в новинку.

— Давайте еще как-нибудь выберемся на ужин, — сказал он, высаживая меня у дома 120 по Уолнат-стрит после того первого ужина. — Я не

люблю есть в одиночку.

— Но у вас, наверно, куча знакомых.

Он, несомненно, хорошо обеспечен: машина скромная, но дорогая. Надо думать, у состоятельного молодого человека достаточно знакомых девушек.

— Не таких красивых девушек, как вы, — сказал он, но эта реплика явно не была задумана как прелюдия к дальнейшим комплиментам или возне, которую иные мужчины считают справедливой платой за ужин.

Я без ложной скромности выслушиваю похвалы своей красоте. Она — факт, и для меня лучше быть красавицей, чем уродиной, но я не фиксируюсь на этом. Рано или поздно все знакомые мужчины как-то комментируют мою внешность. И я решила, что этот милый, холодноватый молодой человек счел меня украшением, с которым приятно появиться в ресторане, и что это честный обмен. Артур мне нравился, потому что был богат; я нравилась ему, потому что была красива. Вполне разумно.

Я отказалась от второго приглашения, потому что мне нужно было пойти на одну лекцию, и решила, что на этом делу конец. Однако Артур пригласил меня в третий раз, на ужин и симфо-

нический концерт, и это меня слегка удивило, потому что в нашу первую встречу он ничего не говорил про музыку.

Мы пошли в хороший, но не показушный ресторан, и по столику, который нам дали, было ясно, что Артура там знают. Еда была очень хорошая, совершенно из другого пространства кулинарной мысли, чем меню «Обжорки». Я постаралась одеться соответственно и выглядеть как можно лучше и была готова к очередному раунду разговоров о еде, политике и путешествиях, но Артур удивил меня, заговорив о музыке. Мне показалось, что он говорит как меценат, и я вспомнила, что он — племянник Фрэнсиса Корниша. Он заговорил о дяде:

— Дядя Фрэнк оставил свою коллекцию нотных рукописей университету; жаль, что не мне. Я бы сам хотел заняться чем-то в этом роде. Конечно, скупать рукописи у современных композиторов нетрудно, я и этим тоже понемножку занимаюсь. Но я бы хотел получить в коллекцию кое-что из его ранних вещей; в них — в самих рукописях — есть особая красота, которой лишены современные работы. Многие старинные композиторы писали ноты исключительным, прекрасным почерком. Им приходилось писать разборчиво,

чтобы переписчики не ошибались. Но, кроме этого, они гордились своим почерком.

— Вы хотите сказать, что рукописи нравятся вам больше самой музыки?

— Нет, но в действительно хорошем оригинале есть неподражаемая спокойная красота. Люди покупают рукописи книг и наслаждаются ими, совершенно отдельно от интереса к самой книге. Так почему бы и не музыка? В рукописи Мендельсона весь Мендельсон — она точна, прекрасна, самую чуточку подчиняется условностям, чувствительна, но не слаба. Она рисует портрет автора. А Берлиоз! Яростный дух, но рукопись абсолютно разборчива и вся испещрена замечаниями, написанными его собственным почерком — почерком романтика, получившего прекрасное классическое образование. Или Бах. Его рукописи — это рукописи человека, которому приходилось экономить линованную бумагу: она стоила денег, а он не любил тратиться. Бетховен — сплошные каракули. Рукопись сохраняет отпечаток личности автора. У моего дяди было несколько прекрасных рукописей Листа, и мне жаль, что я их не получил. Мы сегодня слушаем Листа. Эгресси исполняет последние три Венгерские рапсодии.

— Я ненавижу подобную музыку.

— Правда? Жаль.

— Я заткну уши, когда он будет играть.

— За что вы ее ненавидите?

— За все. Ее дух, накал страстей, нецеломудренные виньетки.

— Именно то, что люблю я.

— Для вас это разнообразие, а мне приходится в этом жить.

— Феотоки ведь греческая фамилия?

— Да, это фамилия моего отца, но по матери я цыганка, а быть цыганкой в современном мире — особенно университетском — просто не годится.

— Вы не любите этого в себе?

— Мне пришлось бы гораздо сильнее уверовать в наследственность, чтобы согласиться, что во мне этого много. Я — канадка, собираюсь делать карьеру в науке, и мне не нужно ничего от цыганского мира.

Ради всего святого, почему я это сказала? Я сама удивилась, услышав свои слова. Они прозвучали так агрессивно, так похоже на университетских девушек-всезнаек, которых я не любила. Я не хотела говорить об этом, я вообще не собиралась говорить Корнишу, что во мне есть цыганская кровь, потому что это прозвучало так, как будто я

хочу придать себе дешевой привлекательности. Переменим тему.

— Вы никогда не говорили дяде, что интересуетесь нотными рукописями?

— Он это знал.

— Разве не странно, что он вам ни одной не оставил?

— Вовсе не странно. Намекнуть коллекционеру, что вам интересна его коллекция, — ужасная ошибка: он может заподозрить вас в том, что вы вожделеете его вещей. Он начинает думать, что вы только и ждете его смерти. Ну так я ему покажу, говорит себе коллекционер и оставляет всю коллекцию другим людям.

— Должно быть, коллекционеры — очень странные люди.

— Да, из самых странных.

— А вы тоже странный? Но вы работаете с цифрами, — наверно, это помогает сохранить рассудок.

— А я работаю с цифрами?

— Но вы же работаете с деньгами.

— О, моя работа заключается совершенно в другом. Я направляю деньги в нужные места, как электричество.

— Электричество?

— Как большие энергосистемы, подстанции и все такое. Распределение и передача электричества — очень важная отрасль инженерного дела. Нужно рассчитать, куда направить энергию и как ее туда доставить, чтобы получить нужный результат. Деньги — разновидность энергии.

— Большинство людей считает, что этой энергии у них слишком мало.

— Это совсем другое. Личные деньги, из-за которых люди поднимают столько шуму, сильно зависят от того, куда идут деньги-энергия: какие долговые обязательства, какие отрасли получают массированную поддержку и когда. Люди, которые не работают с деньгами профессионально, любят говорить о том, как «делать деньги», но они могут делать деньги только потому, что люди вроде меня принимают решения о деньгах-энергии. Деньги, которые нужны людям для личных трат, — это часть большой картины, точно так же как электричество, которое они включают у себя дома, нажав на кнопку, — крохотная часть того, что происходит в большой энергосистеме. Освещает им жизнь, но в глобальном масштабе ничего не весит. Способов распорядиться деньгами для чисто личного удовлетворения очень немного. Вот власть над деньгами-энергией за-

вораживает.

— Только не меня.

— Вас не интересует власть?

— Это явление не из моего мира.

— Но я думал, что университетский мир — мир власти.

— О нет, вы плохо знаете университеты. Они не просто ульи классных комнат, где на студентов лепят этикетки, чтобы они могли получить работу получше. Это мир научных исследований: беззаветное стремление к знаниям и иногда к истине.

— Беззаветное?

— Иногда.

Конечно, я думала о Холлиере и о том, как мне хочется идти по его стопам.

— Я, конечно, не могу судить. Я никогда не учился в университете.

— Не учились?!

— Я — хорошо замаскированный самоучка. Мне удается многих обмануть. У меня нет даже степени бакалавра, не говоря уж о магистре, но обычно я успешно скрываю этот факт. Вы же меня не выдадите?

— Но… как же…

— Как я достиг такого светского лоска и умения

вращаться в высших кругах? В университете суровых тычков, я полагаю.

— Расскажите мне про УСТ.

— Не так давно в банковской сфере с предубеждением относились к людям, учившимся в университете, особенно если эти люди собирались подняться на самый верх. Разве университет может научить чему-нибудь полезному? Диплом экономиста? Экономику можно изучить лучше и быстрее, прочитав несколько книг. Опыт в управлении бизнесом? Да я прирожденный бизнес-администратор! Светский лоск и шлифовка манер? Мои опекуны решили, что для этого достаточно путешествовать и общаться с разными Ротшильдами. Я так и сделал.

— Ваши опекуны? Почему опекуны?

— О, у меня был дед — настоящий закоренелый денежный мешок. Вы бы его возненавидели: он думал, что ученые — это такие оборванцы, которых можно кормить любой дрянью, они не заметят, потому что все равно за едой читают древнегреческие книжки. Это от него сбежал дядя Фрэнк. Но мой отец, который был на самом деле очень хорошим банкиром и не таким дикарем, как дед, женился поздно и после моего рождения погиб в автомобильной аварии, в

которой погибла и моя молодая красивая мать. Так что у меня был дедушка и опекуны — члены его кружка банкиров. Поэтому я, как ни крути, сирота. Более того, к отчаянию психиатров, я был очень богатым сиротой. У меня не было родителей, которые, в великой традиции канадского высшего общества, смиряли бы меня, не разрешали быть собой, заставляли быть похожим на них. Так что я рос совершенно свободным — в рамках цивилизованного воспитания, конечно. И, будучи свободным, я понял, что вовсе не склонен к бунту, — напротив, меня тянуло ко всему ортодоксальному. Возможно, это странно, если вы ищете странности. У меня было прекрасное детство: меня кормили две груди, доверительное управление и капитал. Потом я путешествовал, и именно тогда у меня родилась великая идея.

— Что за идея?

— Хотите, чтобы я вам рассказал? А с какой стати?

— С самой лучшей: потому что мне любопытно. Я хочу сказать, не можете же вы быть обыкновенным скучным банкиром.

— Мария, это высокомерно и глупо. Вы ни черта не знаете о работе банкира и презираете ее, потому что она, как вам кажется, не имеет

ничего общего с университетской жизнью. А что, по-вашему, поддерживает работу университета? Деньги, вот что. Преподаватели — члены профсоюза; обслуживающий персонал — члены профсоюза[64]; докторам и инженерам нужны всякие винтики; все это стоит громадных денег, и как альма-матер их получает? Да, частично от выпускников: университет — воистину матерь кормящая, если ей удается тянуть бабки с выпускников, так давно ее покинувших. Но кто управляет этими деньгами? Кто превращает их в энергию? Люди вроде меня, и не смейте об этом забывать.

— Ладно, ладно, ладно! Я на коленях прошу прощения, я пресмыкаюсь на полу. Я только хотела сказать, что в вас есть что-то интересное, а банковское дело меня не интересует. Значит, это может быть ваша великая идея. Расскажите, пожалуйста.

— Ну ладно, хотя вы и не заслужили.

— Я буду тихой и почтительной.

---

**[64] Примечания: 64**

*Преподаватели — члены профсоюза; обслуживающий персонал — члены профсоюза…* — В Канаде работодатели вынуждены платить членам профсоюза более высокую зарплату, так как профсоюз выторговывает для своих членов более выгодные условия найма по коллективному трудовому соглашению. Сотрудники канадских университетов в обязательном порядке должны быть членами Канадского союза государственных служащих (Canadian Union of Public Employees).

— Я думал об этом еще в школе, а в путешествиях только укрепился в этой мысли, потому что встретил людей, у которых это получалось. Я буду покровителем искусств.

— Как ваш дядя Фрэнк?

— Совершенно не так, как мой дядя Фрэнк. Он был в своем роде покровителем искусств, но зато скрягой в более широком масштабе. Он был накопителем: покупал произведения искусства, а потом не мог и мысли допустить, чтобы с ними расстаться. В результате получилась куча-мала, которую мне теперь приходится разгребать с помощью Холлиера, Макварриша и Даркура. Это совсем не то, что я подразумеваю под меценатством. Конечно, дядя Фрэнк что-то платил ныне живущим художникам, замечал отдельные таланты, поощрял их и давал им то, в чем они больше всего нуждались, — сочувственное понимание. Но по большому счету он не был покровителем искусств. Все, что он делал, служило исключительно удовлетворению Фрэнсиса Корниша.

— А что такое покровитель искусств по большому счету?

— Великий вдохновитель, человек, вдыхающий жизнь в начинания. Наверное, можно

сказать, что он поощряет, но, кроме этого, он зачинает идею, он режиссер, не дающий артистам отвлечься от своих ролей, он обеспечивает движущую их энергию — это не только деньги, отнюдь. Он такой человек — очень редкий тип личности, — который должен работать в театре, опере, балете. Он — центральная точка опоры для группы разных художников, и он должен быть диктатором. Такая работа требует такта и твердости, но превыше всего — исключительного вкуса. Это должен быть диктаторский вкус, который признают артисты и художники и которому они желают угодить.

Наверное, я смотрела на него удивленно и недоверчиво.

— Вы растерялись, потому что я претендую на исключительный вкус. Странное дело, некоторыми вещами позволено хвастаться, а некоторыми — нет; если бы я сказал, что чрезвычайно ловко умею обращаться с деньгами и у меня к этому особый дар, вы бы совсем не удивились. Почему же тогда я не могу сказать, что у меня исключительный вкус?

— Это просто… необычно, наверное.

— Да, это действительно необычно, в том смысле, о котором я говорил. Но такие люди были в

истории.

Я порылась в памяти, ища пример.

— Как Дягилев?

— Да, но не в том смысле, который вы, должно быть, имеете в виду. Его считают какой-то экзотической личностью; на самом деле он был жестким и неуступчивым человеком, а карьеру свою начал юристом. А вот Кристи из Глайндборна[65] вовсе не был экзотичен и достиг, по-моему, большего, чем Дягилев.

— Все равно, все это кажется чуточку… я пытаюсь подобрать слово, которое вас не рассердит… чересчур грандиозным.

— Посмотрим. Во всяком случае, я посмотрю. Но я не хочу быть скрягой от искусства, как дядя Фрэнк; я хочу показать миру плоды своих трудов и себя самого.

— Я от души желаю вам удачи.

— Спасибо. У меня, конечно, будет нужная энергия, но без удачи она ничего не стоит. Нам пора. Хотите после концерта встретиться с Эгресси? Я с ним довольно хорошо знаком.

---

**[65] Примечания: 65**

*Кристи из Глайндборна.* — Джон Кристи (1882–1962) — британский меценат, основатель Глайндборнского оперного фестиваля, который с 1934 г. проводится близ городка Льюис, графство Восточный Сассекс.

## 5

Мне не очень понравилась первая часть концерта — «Фестивальная увертюра» Донаньи и какие-то вещи Кодая. Дирижер решил устроить вечер венгерской музыки. Когда на подиум вышел Эгресси и приготовился играть Второй фортепианный концерт Листа, я на него разозлилась. Я отключила слух, как и собиралась, но человек, подлинно любящий музыку, не может отключиться до конца, точно так же как невозможно отключиться от ужасной «музычки», играющей в общественных зданиях. Можно только стараться в нее не втягиваться. Но когда во второй части программы Эгресси заиграл последние три Венгерские рапсодии, я не смогла не слушать. Не-слушание требовало решимости, такого отрицания духа, которое мне совершенно не под силу. Во время Пятнадцатой рапсодии, в которой так часто в разных обличьях звучит марш Ракоци, я развалилась на куски, не только эмоционально, но в какой-то степени и физически: я рыдала и не могла остановиться, и мой носовой платок не в силах был вместить эти слезы.

Конечно, Артур знал, что я плачу, зрители со всех сторон знали, хотя я плакала бесшумно. Как

ни удивительно, он не пытался ничего сделать: не протягивал великодушно большой белый носовой платок, не похлопывал меня по руке, не бормотал «ну-ну». Но я чувствовала, что он уважает мои слезы и знает, что они — глубоко личное, что он ничего не может исправить, что мне нужно плакать. Потом он повез меня домой — уже ничего не говоря о встрече с Эгресси, — и никто из нас не упомянул о моих слезах.

Почему я плакала? Во-первых, потому, что за ужином вела себя как дура, заговорив о своей цыганской крови, словно это мелкий грешок против этикета, а не благословение и проклятие. Какое мещанство, какая низость, как это в духе *гаджё*! Что меня дернуло так говорить с чужим человеком о том, что я вообще никогда ни с кем не обсуждала? Ребенком я невинно думала, что быть наполовину цыганкой — очень интересно, пока мои одноклассники не просветили меня. Цыгане — грязнули, воры, знают всякие гадкие штуки. Некоторым детям родители просто запретили со мной играть; я была чуждым, странным ребенком.

Действительно, у меня были свои странности: мысли не по возрасту. Порой я задумывалась, каково быть одной из этих улыбающихся бледно-

кожих и часто бледноглазых канадских матерей, за чьими приятными манерами так часто скрывался косный и жесткий дух. Отражением матерей были бледные дети, которые считали меня странной, потому что я была не бледна, а румяна, черноглаза и черноволоса; даже канадские зимы не смогли отбелить меня до правильного цвета — цвета галет из амарантовой муки.

От вопроса «каково быть ими?» один шаг до попыток стать ими. Я делала все, что могла: подражала их походке, осанке, жестким высоким голосам, но главное — выражениям их лиц. Я не «снимала» их, как некоторые девочки в монастырской школе «снимали» монахинь и «маму-супер». Я «надевала» их, как плащ, чтобы понять, каково им живется, чтобы узнать их получше. В четырнадцать лет я называла свои приемы «технологией Феотоки по взаимозаменяемости личности» и страшно наслаждалась ими. И действительно, это очень многому меня научило: попробуйте ходить, как другой человек, стоять, как он, выяснить, как он говорит таким голосом, — и вы удивительно много о нем узнаете.

Возможно, я была странным ребенком, но я и щепки не дам за ребенка, который не странен. Любой ребенок окажется странным в глазах

взрослых, стоит лишь узнать его поближе. Если в ребенке нет странности, что с него проку? Он вырастет в очередную двуногую брюкву. Но я была страннее других. Другие гордились шотландской, французской, ирландской, какой угодно кровью. Но цыганская кровь не была предметом для гордости — разве что она есть и у тебя, и тогда ты знаешь, что такое цыганская гордость. Это не самоуверенная гордость хвастливых кельтов, тевтонов и англосаксов, но нечто родственное гордости евреев: чувство, что ты — другой и особенный.

У евреев, которых так жестоко третировали нацисты в Германии — унижали, пытали, морили голодом и доводили до смерти всевозможными способами, от утонченнейших до брутальнейших, — есть одно слабое утешение: цивилизованный мир за них; они сами объявили, что никогда не позволят миру забыть об их страданиях. Но как бы евреи ни гордились своим прошлым, они современные люди, в их распоряжении все средства современного мира, и они умеют добиться, чтобы их услышали. Цыганам подобные средства неизвестны, но цыгане тоже были жертвой безумства нацистов.

История цыган покрыта странным налетом ра-

циональности, обманувшим столь многих людей в мире. Сначала сам фюрер выразил интерес к цыганам; они оказались пережитком индоарийской расы, и для науки было желательно сохранить их образ жизни в первозданной чистоте. Для этого их следовало собрать, пересчитать, пронумеровать и записать их имена. Их должны были исследовать ученые, и в том, что цыгане, живые люди, были объявлены епархией Министерства исторических памятников, есть чудовищный юмор. Цыган согнали вместе, а затем те же ученые, что превозносили их, обнаружили, что они — нечистая этническая группа, угроза чистоте высшей расы; очевидным решением была стерилизация с целью положить конец нечистой наследственности и порожденной ею неисправимой преступности. Но по мере того как Германия захватывала все большую часть Европы, цыган оказалось проще убивать.

Цыгане умеют убегать и прятаться, и многие сбежали, укрывшись в сельской местности, которая всегда была им родным домом. Тут и началось самое страшное: войска охотились на цыган, как на зверей, и стреляли их на месте. Те, кто не смог убежать, попали в руки *Einsatzgruppen*, эскадронов смерти, и были отправлены в газовую

камеру. Цыган на свете мало, так что статистика их уничтожения не ужасает, если вас впечатляют в основном цифры: людей, погибших такой смертью, было чуть меньше полумиллиона, но, когда умирает хотя бы один человек, вместе с ним уходит целый мир надежд, воспоминаний и чувств. Если тебя лишили возможности умереть своей смертью — это чудовищная кража человеческого достоинства.

Именно про этих людей думала я, канадка по рождению, но наполовину цыганка по крови, слушая три последние Венгерские рапсодии Листа, все в миноре, все — о мрачном и торжествующем протесте средневековых людей, живущих в современном мире, где неисправимые преступные склонности заставляют их тащить белье с чужой бельевой веревки и пудрить мозги *гаджё*; где *гаджё* хотят, чтобы им предсказали судьбу люди, якобы сохранившие древнюю мудрость, утраченную самими *гаджё* в изобретенном ими сложном мире, где жульничество и кражи возведены в степень государственных институтов.

Полмиллиона цыган умерли по воле мира *гаджё*; кто их оплакивает? Я — иногда.

Я.

## 6

— Значит, моя гадкая дочь рассказала вам про *бомари*?

— Очень мало; я так и не понял, что это такое на самом деле. Но достаточно, чтобы возбудить во мне великое любопытство.

— Зачем вам знать? Что вам до этого?

— Понимаете, мадам Лаутаро, я лучше объясню, вкратце. Я историк, но я изучаю не историю войн и правительств, не историю наук и искусств — во всяком случае, наук, как мы их сейчас понимаем. Я изучаю историю убеждений. Я стараюсь фиксировать не только факт, что люди тогда-то верили в то-то и то-то, но и причины, и логику, стоящую за этими убеждениями. Пускай даже это убеждение было ошибочным или кажется нам ошибочным сегодня; меня интересует само его существование. Видите ли, я не думаю, что люди глупы и верят в полную глупость; может быть, они заблуждаются, но это значит, что у них есть причины верить в неправду, — она заполняет брешь в ткани того, что они хотят знать, или того, что им, по их мнению, нужно знать. Мы часто отбрасываем такие верования, не поняв их сути. В наши дни о приближении вражеской

армии сообщает рация или полевой телефон, но в старину в каждом войске были люди, которые могли узнать о приближении врага, приложив ухо к земле. Сегодня этого недостаточно, потому что армии движутся быстрее и мы атакуем, еще не видя врага, но несколько тысяч лет этот прием неплохо работал. Это простой пример; я не хочу утомлять вас сложностями. Но чуткий слух, позволяющий услышать приближение армии за несколько миль без каких-либо приборов, почти не встречается в наше время. Сотни миллионов людей теряют ощущение себя как части природы, умение полагаться на естественные явления и даже не осознают своей потери. Я занимаюсь этими вещами не потому, что предпочитаю все старое всему новому; я уверен, нам стоит исследовать то, что знали люди в старину, прежде чем это знание исчезнет с лица земли, — их знания и образ мышления, стоящий за ними. Я узнал про *бомари* совсем немного, но то, что я знаю, наводит на мысль, что это может быть очень важно для моей работы. Надеюсь, в моих словах есть какой-то смысл.

К моему изумлению, мамуся кивнула:

— Вполне здравый смысл.

— Смогу ли я убедить вас поговорить со мной

об этом?

— Мне нужно соблюдать осторожность: тайны — это очень серьезно.

— Я вас прекрасно понимаю. Уверяю вас, я пришел сюда не для того, чтобы разнюхивать. Мадам Лаутаро, мы с вами понимаем всю важность секретов.

— Мария, принеси чаю, — велела мамуся, и я поняла, что победила во многом — может быть, во всем.

Холлиер оказался на высоте. Его искренность и серьезность пробили броню даже моей подозрительной матери. А ее способности к пониманию оказались намного больше, чем я предполагала. Дети часто недооценивают умственные способности родителей.

Заваривая излюбленный мамусей обжигающий крепкий чай, подходящий к этой встрече больше, чем любой общепринятый светский напиток, я слушала доверительную беседу мамуси и Холлиера. Я передам их разговор, но не мамусин ломаный английский — его сложно воспроизводить и утомительно читать. Кроме того, это выставит ее в смешном свете, хотя на самом деле она вовсе не смешна. Когда я вернулась, мамуся, похоже, брала с Холлиера клятву.

— Никогда, никогда не рассказывать этого ради денег, вы понимаете?

— Абсолютно. Я тружусь не ради денег, мадам, хотя мне и нужны деньги, чтобы жить.

— Нет, нет, вы трудитесь, чтобы постичь мир; весь мир, не только маленькое «здесь» и мелкое «сейчас», а это означает тайны, верно?

— Без сомнения.

— Тайны — кровь жизни. Каждая важная вещь — тайна, даже если ее знаешь, потому что никогда не узнаешь ее всю. Если можно узнать о чем-нибудь все, это знание того не стоит.

— Прекрасно сказано, мадам.

— Тогда поклянитесь, поклянитесь могилой своей матери.

— У нее нет могилы — она живет примерно в миле отсюда.

— Тогда поклянитесь ее чревом. Клянитесь чревом, вас носившим, и сосцами, вас питавшими.

Холлиер с блеском выполнил это весьма неканадское требование.

— Я торжественно клянусь чревом, меня носившим, и сосцами, меня питавшими: я никогда не выдам то, что вы мне рассказали, ради выгоды или по любой другой недостойной причине, что бы мне это ни принесло.

— Мария! Кажется, мисс Гретцер упала: что-то грохнуло наверху. Сходи проверь, все ли с ней в порядке.

Черт! Но от моего послушания зависело многое, и я пошла наверх, где обнаружила мисс Гретцер, живую и вполне здоровую, на кровати в обществе пуделя Азора; она уплетала свое любимое лакомство — фаршированные финики. К тому времени как я вернулась, клятва была скреплена, но чем именно поклялся Холлиер, кроме указанных органов своей матери, я так и не узнала. Мамуся устраивалась на диване, готовясь произнести речь.

— Как вы поняли по табличке на двери, моя фамилия Лаутаро. Мой муж, Нимцевич-Феотоки, упокой Господь его душу, скончался, и я вернулась к своей девичьей фамилии. Почему? Потому что она обозначает то, чем я занимаюсь. Лаутаро — то же, что лютьер. Вы знаете, что такое лютьер?

— Скрипичных дел мастер?

— Мастер, творец, любовница, мать, рабыня скрипок и всего семейства смычковых. Цыганский род, из которого я происхожу, сделал скрипки своим ремеслом, а в каждом ремесле есть тайны. Это мужская работа, но отец стал ме-

ня учить, потому что увидел у меня особый дар, а мой брат Ерко захотел стать кузнецом; вы знаете — да? — работать с цветными металлами, и особенно с медью, в лучших цыганских традициях, и у него так хорошо получалось, что было бы черным грехом его остановить. Кроме того, он был нужен нам, лютьерам, по причинам, о которых вы узнаете в свое время. Я научилась ремеслу лютьера от отца, который научился от своего отца и так далее. Мы были самые лучшие. Я скажу вам — и плюньте мне в рот, если я вру, — что Изаи, великий Эжен Изаи, не позволял дотрагиваться до своих скрипок никому, кроме моего деда. Я переняла все знания своих предков.

— Да, это поистине великое искусство.

— Делать скрипки? Нет, мое искусство выше. Мое искусство оживляет их. Кому нужна новая скрипка? Ребенку. Для них делают скрипки в половину, в четверть размера, да, но великому артисту не нужна новая скрипка: ему нужна старая. Но старые скрипки — как старые люди: они с причудами, их нужно умасливать, посылать на курорт, делать притирания и все такое.

— Значит, вы в основном занимаетесь ремонтом?

— Ремонтом? О да, я делаю и обычный ремонт.

Но это больше ремонта. Это означает отдых, восстановление юности. Вы знаете, что такое волк?

— Наверное, не в том смысле, в котором вы употребляете это слово.

— Будь вы скрипачом, вы боялись бы волка. Это — жужжание или вой, которые возникают на одной струне, когда вы играете на другой, и его могут вызвать самые разные мелочи — даже капля отслоившегося клея, — а убрать его дьявольски трудно. Конечно, если использовать эпоксидный клей и все такое, можно многого достичь, но хорошую скрипку нужно ремонтировать тем же клеем, какой использовал ее создатель, а выяснить, что это был за клей, совсем непросто, потому что клей был одним из ревностно охраняемых секретов. Но волка можно убить и другим способом, а именно — после ремонта поместить инструмент в *бомари*. Вы понимаете, я говорю не о дешевых скрипках, но о работах великих мастеров. Например, к Гоффриллеру, к Бергонци, к чему угодно от Маркненкирхена до Мирекура или хорошего Бэнкса нужно подползать на коленях, если хочешь выманить их обратно в жизнь.

— И для этого используется *бомари*?

— Для этого используется *бомари*, если вы сможете его найти.

— И *бомари* представляет собой лечение теплом — что-то вроде запекания?

— Как, во имя дьявола, вы об этом догадались?

— Моя профессия — отгадывать такие вещи.

— Вы, должно быть, великий маг!

— В мире, где мы с вами трудимся, мадам Лаутаро, с моей стороны было бы глупо отрицать ваши слова. Творить магию — значит производить эффект, для которого нет видимой причины. Но мы с вами также знаем, что причина есть всегда. Так что я объясню свое волшебство: я подозреваю — и, судя по вашим словам, правильно, — что *бомари* — искажение, или цыганская форма, того, что первоначально называлось *bain-marie. Bain-marie* вы найдете в любой хорошей кухне: это всего лишь водяная баня, которая держит в тепле то, что свернется или испортится, если остынет. Но почему это называется *bain-marie*? По преданию, водяную баню изобрела вторая величайшая Мария в мире — Мириам, сестра Моисея, великая волшебница. Говорят, что она умерла от поцелуя Бога. Нам позволительно сомневаться в ее истории, хотя никогда не следует сбрасывать предания со счетов, не исследовав их сначала. Кажется более вероятным, что *bain-marie*

— изобретение Марии Профетиссы[66], которая считается автором книг; Корнелий Агриппа[67] верил, что она — историческая личность, хотя она жила на несколько веков раньше его. Она была величайшей из женщин-алхимиков, а это, надо сказать, весьма устрашающая компания. Мария Профетисса была еврейкой, она открыла соляную кислоту, а также изобрела *balneus mariae,* или *bain-marie*, алхимический инструмент, дошедший до наших дней; хотя его унизили и изгнали на кухню, все же он овеян определенной славой. Так вот — от *bain-marie* до *бомари*. Я прав?

— Не совсем, волшебник, — сказала мамуся. — Пойдемте-ка со мной.

Мы пошли вниз, в подвал, где жил Ерко и где располагалась тщательно спрятанная мамусина мастерская. Мамусино ремесло, как и ремесло Ерко, было почти бесшумным, хотя порой, должно

---

**[66] Примечания: 66**

*…изобретение Марии Профетиссы…* — Мария Профетисса (Мария Еврейка, Мария Коптская) — женщина-алхимик, жившая в I или III в. н. э.; возможно, основательница Александрийской алхимической школы, изобретательница ряда химических аппаратов и процессов, используемых по сей день. Некоторые ошибочно отождествляли ее с сестрой Моисея Мириам-пророчицей или с Марией Магдалиной.

**[67] Примечания: 67**

*Корнелий Агриппа* (Генрих Корнелиус, Агриппа из Неттесгейма, 1486–1536) — даровитый и богатый познаниями, склонный к мистике писатель, врач, философ, астролог и адвокат. Корнелий родился в Кёльне и имя Агриппа взял в честь основателя своего родного города.

быть, звяканье молоточка медника доносилось наверх. Кузня Ерко была совсем маленькой: цыгане не пользуются большими наковальнями и огромными мехами обычных кузнецов, потому что им приходится носить свою кузню на спине, а таскать лишнюю тяжесть не в цыганском стиле. В мастерской располагались кузня Ерко и рабочий стол мамуси. Здесь мы нашли и самого Ерко — он в кожаном фартуке возился с чем-то мелким, шпилькой или защелкой совершенно ювелирных размеров.

Мой дядя Ерко, подобно мамусе, радикально изменил образ жизни после смерти Тадеуша. Пока Ерко работал подручным моего отца и главным техником фабрики, он выглядел отчасти как деловой человек, хотя ему всегда было не по себе в приличных костюмах. Но когда Тадеуш умер, Ерко тоже вернулся к цыганскому образу жизни, бросив жалкие попытки стать человеком Нового Света. Как он старался, когда они только приехали в Канаду! Он даже имя хотел сменить, чтобы стать, как он думал, неотличимым от своих новых соотечественников. Его звали Мия Лаутаро, и он хотел поменять свое имя на точный эквивалент: Мартин Лютер. Кажется, он так и не понял, почему отец решительно запретил ему

это делать. Ерко было его ласкательное, семейное прозвище, и я ни разу не слышала, чтобы его называли Мией. Когда умер Тадеуш, Ерко горевал не меньше мамуси; он сидел часами в мрачных раздумьях, рыдая, бормоча время от времени: «Мой добрый батюшка скончался».

И действительно, Тадеуш был ему вместо отца, наставлял его, следил за выгодным вложением его солидных заработков, поднимал его в мире бизнеса настолько, насколько Ерко мог подняться. То есть не дальше изготовления чертежей и моделей, потому что Ерко не мог руководить другими, совершенно не умел объяснять вещи, которые сам делал с легкостью, и по временам уходил в недельные запои.

Цыгане, как правило, пьют немного, но если уж пьют, то не останавливаются; Ерко не то чтобы окончательно спился, но был ненадежен в работе со всеми, кроме Тадеуша. Мамуся пыталась делать хорошую мину при плохой игре, убеждая отца, что пьяница лучше неисправимого бабника, но Тадеушу приходилось держать Ерко в ежовых рукавицах: пьяный, он был подобен медведю, братцу Мартыну, — тяжелый, непредсказуемый и требующий очень осторожного обращения. В мастерской у Ерко стоял самогонный аппарат;

Ерко ни в какую не желал платить правительству налоги за слабенькое пойло и гнал собственную сливовицу, которая оглушила бы и быка — или любого человека, кроме самого Ерко.

— Ерко, я собираюсь показать *бомари*, — сказала мамуся.

Ерко страшно удивился, но не возразил. Он никогда не перечил своей сестре, хотя, насколько я знала, мог ее ударить и даже с размаху треснуть молотком медника.

Мамуся подвела Холлиера к тяжелой деревянной двери работы Ерко; я думаю, даже самый ловкий медвежатник не смог бы ее открыть, столько на ней было всяких задвижек и замков. Ерко отпер их все — он считал, что замков должно быть много, и посложнее, — и мы вошли в комнату, которая когда-то, видимо, освещалась электричеством, но сейчас нам пришлось использовать свечи, потому что вся проводка была снята.

Комната была не особенно большая, — думаю, когда-то в ней располагался винный погреб. Сейчас все бочки и стеллажи были убраны. Первое, что привлекало внимание, — запах: не отвратительный, но очень сильный, тяжелый и теплый; я могу его описать только как сочетание

сильно сгущенных запахов мокрой шерсти и конюшни. Вдоль стен выстроились большие, тяжело-элегантные силуэты: они были округлые и больше всего напоминали немые человеческие фигуры. На полках по центру комнаты стояли такие же штуки, но поменьше, выпуклые и блестящие. Они блестели, потому что были сделаны из меди, и каждый дюйм нес на себе отпечаток молотка Ерко; оттого они мерцали и отражали свет — почти как драгоценные камни, но более приглушенно. Это была не тонкая, дешевая медь кувшина или украшения заводской работы, но лучший металл, очень дорогой по нынешним рыночным ценам. Казалось, мы пришли в пещеру, где спрятан клад.

Мамуся начала представление.

— Это великие знатные дамы и господа, — сказала она и присела в глубоком реверансе.

Она подождала, пока Холлиер не воспримет все окружающее и не запросит еще.

— Вы хотели знать, что такое *бомари*, — сказала она. — Но я не могу потревожить «сон красоты» этих древних знатных господ. Однако вот эту даму мы запечатали только неделю назад, и если я ее сейчас открою, а потом запечатаю снова, большой беды не будет, ибо она собирается отдыхать

шесть месяцев.

По указанию мамуси Ерко взял нож и ловко вскрыл тяжелую восковую печать на горле одного из малых медных сосудов. Поднял крышку — потребовалась немалая сила, потому что крышка прилегала очень плотно, — и из сосуда вырвалась мощная эссенция запаха, который пропитывал помещение. В сосуде, на ложе из чего-то напоминающего темно-бурую землю, лежала фигура, закутанная в шерстяную ткань.

— Настоящая шерсть, соткана тщательно, чтобы я знала, что в ней нет ни единой нитки мусора. Это должна быть настоящая овечья шерсть, иначе ничего хорошего не выйдет.

Мамуся размотала фигуру, укутанную не меньше чем в шесть слоев, и мы увидели скрипку.

— Знатная дама разделась, чтобы отойти ко сну, — сказала мамуся, и действительно, у скрипки не было ни кобылки, ни струн, ни колков, и она сильно походила на человека в дезабилье. — Видите, она засыпает: лак уже немного потускнел, но она дышит, она погружается в транс. Через шесть месяцев я, хитрая служанка, ее разбужу, снова одену, и она вернется в мир, и ее голос будет в полном порядке.

Холлиер протянул руку и потрогал бурую пыль,

лежащую на шерстяной ткани.

— Влажное, — сказал он.

— Конечно влажное. И живое. Вы знаете, что это?

Он понюхал свои пальцы и покачал головой.

— Лошадиный навоз. Самый лучший: хорошенько перепревший и просеянный, от лошадей в расцвете здоровья. Этот навоз — из беговых конюшен, и вы не поверите, сколько за него дерут. Но дерьмо от каких-нибудь старых кляч не годится. Для самых лучших требуется самое лучшее. Эта спящая красотка — Бергонци, — сказала мамуся, слегка постукивая по скрипке. — Невежды болтают про Страдивари и Гварнери, и, конечно, они великолепны. Я люблю Бергонци. Но лучше всех — скрипки Лемана из Санкт-Петербурга; вон там стоит одна, на четвертом месяце, точнее, четвертый пойдет с новолуния. Их нужно укладывать в постель в соответствии с луной.

Она покосилась на Холлиера, чтобы посмотреть, как он это воспримет.

— А откуда берутся эти знатные дамы и господа? — спросил он, оглядывая комнату, в которой стояло штук сорок разнокалиберных футляров.

— От моих друзей, великих артистов, — ответила мамуся. — Я не могу вам открыть, чьи это

скрипки. Но великие артисты меня знают, и, когда они приезжают сюда — а они все приезжают в этот город, иногда ежегодно, — они привозят мне скрипки, которые нуждаются в отдыхе или у которых какая-то беда с голосом. У меня есть нужное умение и любовь, чтобы все исправить. Потому что, видите ли, для этой работы нужно понимание — превыше того, что знает даже самый лучший ремесленник. Мастер должен сам быть скрипачом, чтобы испытывать скрипки и судить о них. Я очень хороший скрипач.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Холлиер. — Надеюсь, когда-нибудь мне выпадет честь послушать вас. Это будет все равно что слушать голос веков.

— Вы верно сказали, — отозвалась мамуся, которая наслаждалась каждой секундой этой галантной беседы. — Я играла на благороднейших инструментах в мире, потому что, вы же знаете, в семействе смычковых есть не только скрипки, но и альты, а вон те здоровые парни в углу — виолончели, а эти, самые большие, — толстяки-дураки, контрабасы, у них есть привычка хрипнуть из-за переездов. А у меня они рассказывают свои секреты, как у доктора. Великий музыкант — о да, он заставит их петь, но у Ораги

Лаутаро они шепчут, что с ними не так, а затем поют от радости, когда хворь ушла. Эту комнату нельзя держать открытой; Ерко, закутай мадам, а я потом вернусь и снова уложу ее.

Мы вновь поднялись наверх, мамуся и Холлиер долго отвешивали друг другу грандиозные комплименты, а потом я повезла Холлиера домой на своей машинке.

Какой успех! Стоило перенести несколько пощечин и залпов мамусиной ругани, потому что успех снова сблизил меня с Холлиером. Я ощущала его энтузиазм. Но он не был направлен непосредственно на меня.

— Я знаю, что вы не обидитесь, но ваша матушка — удивительное открытие, живая окаменелость. Она могла бы жить в любую эпоху, от Венгрии девятнадцатого века до любого места в Европе шестьсот-семьсот лет назад. Какая восхитительная похвальба! Сердце радуется, потому что я словно слышу самого Парацельса, великого человека и короля хвастунов. И вы же помните, что он писал: «Никогда не надейтесь найти мудрость лишь в университетах: говорите со старухами, цыганами, магами, скитальцами, всевозможными крестьянами; учитесь у них, ибо они знают о таких вещах больше всех ученейших

университетов».

— А профессор Фроутс? Он ищет в навозной куче драгоценный камень, про который лишь подозревает, что он может там найтись, но природу которого даже не может отгадать.

— И с ним тоже стоит говорить, и, если он что-нибудь найдет, я позаимствую у него все открытия, которые можно обратить на пользу моих исследований по лечению грязью. То, что делает ваша матушка, — лечение грязью в его высшей форме. Хотя назвать превосходную субстанцию, в которой она хоронит скрипки, грязью — значит пасть жертвой глупейшего современного предрассудка. Но я склонен воспринимать Ози как современного алхимика: он ищет всепобеждающий философский камень именно там, где алхимики велели его искать, — в самом низком, самом презренном, самом отвергнутом. Пожалуйста, устройте мне еще одну встречу с вашей матушкой. Она меня завораживает. Она в высшей степени носительница того самого духа, который нельзя назвать необразованным, но который не скован пошлыми условностями. Его можно звать дикой душой.

Я вернулась в дом 120 по Уолнат-стрит, и оказалось, что устроить следующую встречу легче

легкого.

— Твой мужчина очень красивый, — сказала мамуся. — Как раз такой, как мне нравится: красивые глаза, большой нос, большие руки. К этому должна прилагаться большая штука. У него большая?

Она проказничала, стараясь выбить меня из колеи и заставить покраснеть. Ей это удалось.

— Смотри, дочь моя, будь с ним осторожна: он чаровник. Какая элегантная речь! Ты его любишь, правда ведь?

— Я им восхищаюсь. Он великий ученый.

Мамуся взвыла от смеха.

— «Он великий ученый», — пропищала она пародийным фальцетом, подобрала юбки и прошлась по комнате на цыпочках — надо думать, это должно было изображать меня или ее представление о моей университетской работе. — Он мужчина, точно так же как твой отец был мужчиной. Будь осторожна, или я его у тебя заберу! Я могла бы полюбить этого человека!

«Только попробуй — пожалеешь», — подумала я. Но недаром же я наполовину цыганка: я ответила ей так, чтобы хорошенько умаслить — пускай захлебнется в масле.

— Он от тебя в восторге. Пока мы ехали, он

только и говорил что о тебе. Он говорит, что ты истинная *пхури дай*[68].

Это почетное звание высокопоставленных цыганок: не так называемых королев, существующих часто лишь напоказ для *гаджё*, но великих старых цыганок, советниц, без чьей мудрости ни один вожак кэлдэраров и не подумает принимать важные решения. Я была права: она клюнула.

— Он подлинно великий человек, — сказала она. — И в мои годы я лучше буду *пхури дай*, чем игрушкой для постели. Слушай: я сделаю так, чтобы ты его заполучила. Тогда он достанется нам обеим.

Боже мой! Что теперь?

---

**[68] Примечания: 68**
Старая женщина *(цыг.)*.

# Новый Обри IV

## 1

Только ближе к концу ноября мы наконец рассортировали наследство Корниша и приготовили к отправке в учреждения, которым оно предназначалось. Работа, которая поначалу казалась непосильной, требовала непрестанного тяжкого труда, и мы с Холлиером упорно трудились, отрывая столь нужное и желанное время от собственной работы. Эркхарт Маквариш не столь утруждался; каким-то волшебством он переложил большую часть трудов по разбору и описи вещей на секретаршу из конторы Артура Корниша, которая, в свою очередь, пригласила двух крепких мужчин, чтобы те поднимали, таскали и перекладывали.

Нам с Холлиером некого было винить, кроме самих себя. Маквариш разбирал картины и другие произведения искусства, среди которых попадались тяжелые и неухватистые. Вряд ли можно было требовать, чтобы он таскал их в одиночку. Но Холлиер занимался книгами, а он был из тех людей, что костьми лягут, но не дадут никому

другому дотронуться до книги, пока не исследуют ее собственноручно, после чего с тем же успехом можно сразу положить ее куда надо. Но беда в том, что у книг редко бывает окончательное «куда надо»: те, кто разбирает книги, все время словно жонглируют ими, пихая семо и овамо, строя на полу пирамиды, если на столах больше нет места. Мне выпало разбирать и раскладывать рукописи и папки с рисунками, и эту работу я вряд ли мог кому-то перепоручить. По правде сказать, я не желал ничьей помощи.

Все мы противились идее чужого вмешательства — по причине, в которой так до конца и не признались. В завещании Корниша был особый раздел, подробно перечисляющий все завещанное Национальной галерее, галерее Онтарио, университетской библиотеке и колледжу Святого Иоанна и Святого Духа. Список был составлен за два или три года до смерти Корниша. Но и после составления списка Корниш до конца жизни продолжал пополнять коллекцию — как обычно, жадно и неразборчиво. Несколько больших посылок пришло уже после похорон. Поэтому многое из коллекции, в том числе первоклассные экземпляры, не было упомянуто в завещании. Но в нем был пункт, позволяющий каждому из ис-

полнителей выбрать что-нибудь для себя из того, что еще не завещано, — в знак признательности за выполненную работу и как дар от старого друга. Все остальное попадало в ту часть наследства, которой должен был распорядиться Артур Корниш. Понятно, что мы хотели выбирать из недавних приобретений. Я полагаю, такое поведение можно назвать коварством. Но мы не хотели допускать жадные глаза галерей и библиотек до всего наследства, чтобы не пришлось потом спорить или даже судиться из-за выбранных нами вещей. Наше право было неоспоримым, но общественные организации так жадны, так твердо уверены в собственном праве, так влиятельны и иногда так злобно-хитроумны, что мы не хотели без нужды дразнить их.

Поэтому мы никоим образом не собирались подпускать к коллекции библиотекарей, архивариусов и кураторов, пока не будет проведено последнее собрание; когда оно кончится, пускай обдирают жилище Корниша, как им угодно.

В ту судьбоносную пятницу, в ноябре, я пришел на место первым. За мной явился Эркхарт Маквариш. Мне представился случай исполнить неприятное дело.

— По моему ведомству все оказалось на месте,

кроме одной вещи; она упомянута в записных книжках Корниша, и я никак не могу понять, что это. Он пишет об определенной рукописи, а я не смог ее найти.

Эрки вопросительно взглянул на меня, но, кажется, не очень обеспокоился.

— Вот, — сказал я, доставая записную книжку из ящика, уложенного для отправки в университетские архивы. — Видите, он пишет про «рук. Раб.», которую одолжил «Макв.» в апреле прошлого года. Что это может быть?

— Понятия не имею, — ответил Эрки.

— Но «Макв.» — это явно вы. Вы что-то у него одалживали?

— Я никогда ничего не одалживаю, потому что сам терпеть не могу давать вещи взаймы.

— Тогда как вы объясните эту запись?

— Никак.

— Но это ставит меня в трудное положение.

— Даркур, не будьте занудой. Здесь, должно быть, несколько тысяч книг, рукописей и прочего. Ни один нормальный человек не ожидает, что мы проверим каждый клочок бумаги и все старые письма. Лично я свалил кучу всего в рубрику «Прочее» и не сомневаюсь, что вы с Холлиером поступили так же. Корниш постоянно тащил бо-

гатства к себе в нору, но какой-либо порядок был ему совершенно чужд. У такого человека вещи неминуемо теряются. Не берите в голову.

— Но я беспокоюсь. Если рукопись, которая должна быть в коллекции, куда-то делась, я обязан ее найти и проследить, чтобы она попала в университетскую библиотеку.

— Простите, ничем не могу вам помочь.

— Но «Макв.» — это, несомненно, вы.

— Даркур, мне не нравится, как вы на меня давите. Уж не хотите ли вы сказать, что я что-нибудь украл?

— Нет-нет, ни в коем случае. Но войдите в мое положение: я должен что-нибудь сделать по поводу этой записи.

— И на основании этой записи, найденной среди накаляканных адресов и телефонов, среди напоминаний о бог знает каких давно прошедших событиях, вы на меня наседаете. Вы что, нашли все остальные работы, которые упоминаются в этих каракулях?

— Нет, конечно. Но эта запись не похожа на прочие: там определенно сказано, что он одолжил вам нечто. Я просто спросил.

— Даю вам слово, что я ничего об этом не знаю.

Когда тебе дают слово, ты вынужден либо его

принять, либо устроить неприятный шум. Здесь нужна решимость, но я заколебался и пропустил нужный момент. В таких стычках побеждает человек с более сильной волей, а я, наверное, съел что-нибудь не то, а может, просто от природы не люблю скандалов — или же у шелдоновского типа Эрки есть натуральное преимущество перед моим шелдоновским типом в таких ситуациях. Как бы то ни было, я упустил свой шанс. Я злился, но кодекс чести, регулирующий отношения ученых, приказывал мне оставить эту тему. Конечно, мне было не по себе, и я укрепился в уверенности, что Эрки прикарманил рукопись Рабле, про которую говорил Холлиер. Но раз я своим допросом не смог вырвать рукопись у Эрки, должен ли я теперь обличить его и потребовать… чего? Домашнего обыска? Невозможно! Воззвать к Артуру Корнишу? Но поймет ли Артур всю важность пропавшей рукописи, а если и поймет, захочет ли что-либо предпринять? Поддержит ли меня Холлиер? А если я действительно устрою скандал и возьму верх и рукопись в итоге попадет в университетскую библиотеку, достанется ли она Холлиеру с его Марией? Если Маквариш отдаст рукопись, он вполне может вытащить важные письма из отделения на крышке и заявить, что

никогда в жизни их не видел. У меня в голове за несколько секунд пронеслась буря доводов, как всегда бывает у человека, проигравшего в споре. Лучше смотреть в лицо фактам: я отступил, и конец делу. Эрки победил, а я, скорее всего, нажил себе врага.

От дальнейших неприятных разговоров меня избавило появление человека из адвокатской конторы, другого — из «Сотби» и секретарши, назначенной Корнишем разбирать наследство. Вскоре после них пришли Холлиер и Артур Корниш. Мы выполнили необходимые формальности: представитель «Сотби» засвидетельствовал под присягой, что оценка произведений искусства была проведена его фирмой в соответствии с действующими рыночными ценами; мы трое — что выполнили свой долг в полную меру своих способностей. На том официальная часть закончилась. На самом деле эти клятвы ничего не стоили, потому что не было другого способа выяснить точную цену коллекции Корниша, кроме как продать ее, а наши способности как исполнителей зиждились на мнении Корниша, а не на профессиональных качествах. Юрист и человек из «Сотби» ушли, и настал момент, которого мы все ждали.

— Ну, джентльмены, что вы выбрали? — спросил Артур Корниш.

Он поглядел на Макварища, который был старше всех.

— Я — вот это, — сказал Эрки, подходя к столу в дальнем конце комнаты и кладя руку на бронзовую фигуру, стоящую в кучке похожих.

Похожих, но не столь же ценных. Эрки выбрал лучшую, но почему бы и нет?

Статуя изображала Венеру; представитель «Сотби» определил, что это работа Кановы, причем хорошая.

Я был рад, что Эрки задал такой тон для нас с Холлиером: выбранная им вещь была, несомненно, ценной, но в коллекции Корниша не выделялась. Безусловно, тут нашлись бы вещи получше. Это был выбор обстоятельного, но не жадного человека.

— Профессор Холлиер, — пригласил Артур.

Я знал, как неприятно Холлиеру останавливать на чем-либо свой выбор. Он стоял с лицом ребенка, которого щедрые взрослые в день рождения привели в конфетную лавку и велели выбирать. Для такого скрытного человека сама ситуация была чрезвычайно неприятной. Наконец он заговорил:

— Я хотел бы взять эти книги, если никто не возражает.

Он выбрал четыре тома *Historia Animalium* Конрада Геснера — жемчужину книгоиздательского искусства шестнадцатого века.

— Отлично, Холлиер, — сказал Эрки. — Немецкий Плиний, как раз из вашей оперы.

— Профессор Даркур, — объявил Артур.

Наверное, мне было неприятно объявлять свой выбор — не меньше, чем Холлиеру. Но сглупить нельзя. Когда еще подвернется такая возможность? Никогда. Я какое-то время притворялся, что не знаю, куда смотреть, и наконец положил на стол коричневую бумажную папку с двумя карикатурами, элегантно нарисованными и раскрашенными в бледные цвета. Их мог создать только один человек на свете.

— Бирбом! — воскликнул Эрки, бросаясь вперед. — Симон, какой вы хитрец! Если бы я знал, что здесь есть Бирбомы, я бы и сам, может быть, выбрал что-нибудь другое.

Он вроде бы не сказал ничего особенного, но почему мне вдруг захотелось его убить?

Мы перенесли выбранные вещи на центральный стол, чтобы все могли их хорошенько разглядеть. Секретарша попросила нас дать описания

этих вещей для занесения в официальные бумаги. Она была приятная женщина; я пожалел, что ей ничего не полагается. Артур спросил Холлиера про Геснера, и Холлиер оказался неожиданно красноречив:

— Он швейцарец на самом деле, не немец. Чрезвычайно знающий человек, но больше всего, я думаю, отличился как ботаник. В этих четырех томах он объединил все сведения обо всех животных, известных науке на тысяча пятьсот пятидесятый год. Это издание — сокровищница фактов и предположений, но задумано оно было как научный труд. В отличие от средневековых бестиариев, содержащих исключительно легенды и бабкины сказки.

— А я думал, бабкины сказки — это как раз то, чем вы занимаетесь в своей лавочке, — вставил Эрки.

— В своей лавочке, как вам угодно было выразиться, я изучаю накопление научных знаний, — безо всякого выражения ответил Холлиер.

— Давайте посмотрим на Бирбомов, — сказал Эрки. — О, какая красота! «Портреты колледжей»: посмотрите на колледж Святой Магдалины! Какая прелесть! А Баллиол — сплошь высокий лоб и высокоумная гордость! Брейзноуз — детская

головка на широченных плечах! Мертон[69] — боже, это очаровательный портрет самого Макса! А вторая карикатура? «Старый и молодой: Космо Гордон Лэнг». Что они говорят? «Молодой: — Не могу решить, куда пойти, на сцену или по духовной части. И там, и там открываются такие возможности… Старый: — Ты сделал правильный выбор. Положение в Церкви дало мне возможность поучаствовать в настоящем отречении от трона»[70]. Ах, Симон, хитрюга! Это очень ценные вещи, знаете ли.

Конечно они ценные, но дело же не в этом; это настоящий Макс Бирбом. Как они понравились бы Эллерману!

— Я не собираюсь их продавать, — парировал я. Может быть, не стоило говорить так резко. — Я оставлю их как сокровище своим наследникам.

— Надеюсь, не «Душку», — сказал Эрки.

---

**[69] Примечания: 69**

*…колледж Святой Магдалины… Баллиол… Брейзноуз… Мертон…* — Колледжи в составе Оксфордского университета.

**[70] Примечания: 70**

*Положение в Церкви дало мне возможность поучаствовать в настоящем отречении от трона.* — Космо Гордон Лэнг (1864–1945) — архиепископ Йоркский. Известен в числе прочего резко непримиримой позицией, занятой им в ситуации отречения от престола короля Эдуарда VIII (1936). Подпись к карикатуре иронически противопоставляет участие в настоящем отречении участию в театральном (во многих пьесах английских драматургов рассматривается ситуация отречения от престола).

Что за манера лезть не в свои дела!

Артур понял, что меня заклевали. Он провел рукой по роскошной линии бронзовой спины.

— Очень красиво, — сказал он.

— Да, но видите ли вы, почему я выбрал именно ее? — спросил Эрки. — Поглядите хорошенько. Разве она не похожа кое на кого? На женщину, которую мы все четверо знаем? Посмотрите внимательно. Это же вылитая Мария Магдалина Феотоки.

— Да, определенное сходство есть, — согласился Артур.

— Хотя мы не можем… точнее, я не могу поручиться за всю фигуру, — поправился Эрки. — Но все же современная одежда позволяет многое угадать. Интересно, кто послужил моделью? Раз это работа Кановы, скорее всего, какая-нибудь наполеоновская придворная дама. Наверное, он был с ней близок. Посмотрите, как проработаны детали.

Бронзовая Венера была высотой дюймов двадцать пять; она сидела, закинув одну ногу на колено другой и старательно завязывая ленты сандалии. Необычная деталь: вульва, которую скульпторы обычно изображают гладким бугорком, была сделана реалистично. Это была не

порнография; статуэтка дышала женской грацией и любовью скульптора, которые Канова так хорошо умел передавать в своих работах.

Мне тяжело быть беспристрастным к Эрки. Разумеется, он оценил красоту фигуры, но глаза у него сально блестели, намекая, что он ценит ее и с эротической стороны… Но почему бы и нет, о невыносимый пуританин? Что тебе мешает — дурацкое заблуждение девятнадцатого века о недопустимости эротики в искусстве или дурацкое заблуждение двадцатого века о том, что человеческое тело не более чем набор масс и плоскостей? Нет, мне не нравилось отношение Эрки к статуе, потому что он связал ее со знакомой нам девушкой, которую Холлиер знал особенно близко; Эрки явно старался поставить нас в неловкое положение. То, что я принял бы без слов от другого человека, было невыносимо, когда исходило от Эрки.

— Холлиер, вы согласны, что она похожа на Марию?

— Похожа, я совершенно согласен, — неожиданно сказал Корниш.

— Красотка, верно? — спросил Эрки у Артура, поглядывая на Холлиера. — Скажите мне, чисто ради интереса, сколько бы вы ей дали по шкале

Раштона?

Мы непонимающе посмотрели на него.

— Разве вы не знаете? Эту шкалу разработал У. А. Х. Раштон, великий математик из Кембриджа. Если в двух словах, то неоспоримой красавицей всех времен считается Елена Троянская, «что в путь подвигла тысячу судов»[71]. Следовательно, красота женщины, подвигшей в путь тысячу судов, равна одной Елене. Как же мы оценим красоту женщины, которая подвигла в путь только один корабль? Очевидно, она равна одной миллиелене. Любую женщину, хоть сколько-нибудь претендующую на красоту, можно оценить промежуточным значением по этой шкале. Возьмем, например, Грету Гарбо: вероятно, ей можно дать семьсот пятьдесят миллиелен, потому что при поразительно красивом лице у нее тощая фигура и большие ноги. Что касается Марии, то она кажется мне чудом во всех отношениях, которые я имел удовольствие исследовать. И ее одежда явно не прячет под собой никаких дефектов. Я даю ей восемьсот пятьдесят миллиелен. Артур, что скажете?

— Я скажу, что мы с ней друзья, а друзей я не

---

**[71] Примечания: 71**

*…«что в путь подвигла тысячу судов».* — Слова из пьесы Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста».

оцениваю с помощью математических величин, — ответил Артур.

— О, какой вы добропорядочный! «Никогда не упоминать имени дамы в офицерской столовой», да?

— Называйте как хотите. Но я думаю, что есть разница между статуей и человеком, которого я лично знаю.

— И «да здравствует маленькая разница»! — воскликнул Эрки.

Холлиер тяжело и громко дышал, и я задался вопросом: а что знает Эрки? Потому что если он знает хоть что-нибудь, то скоро это станет известно всему миру, причем в той форме, которую придаст этой новости неприятный ум Эрки. Но я не понимал, как при сложившихся обстоятельствах Эрки мог узнать хоть что-то про Холлиера с Марией. Я также не понимал, почему меня это задевает, хотя, очевидно, задевало. Я понял, что пора переменить тему. Секретарше было явно не по себе: она видела, что назревает неприятная ситуация, но не понимала, о чем идет речь.

— Я хочу кое-что предложить, — сказал я. — В завещании нашего старого друга Фрэнсиса Корниша говорится, что все исполнители должны выбрать что-нибудь на память о нем, и мы

все время действовали в предположении, что это касается нас троих. Но ведь Артур тоже исполнитель! Артур, в первый день, когда мы тут встретились, вам понравилась одна картина, маленький набросок Вэрли.

— Она предназначалась галерее Онтарио, — сказал Эрки. — Очень жаль, но она занята.

— Да, я знаю, — сказал я. Непонятно, почему Эрки думает, что только он один все знает. — Но мне сказали, что вы, Артур, любите музыку. И даже собираете музыкальные рукописи. Кое-какие из незанятых вещей могут вас заинтересовать.

Артур был польщен, как часто бывает с богатыми людьми, когда кто-нибудь вспоминает, что они, вообще говоря, тоже люди и не все в их власти. Я выудил конверт, заранее положенный поближе, и преподнес Артуру. У него загорелись глаза при виде элегантного, тонкого почерка на четырехстраничном олографе[72] песни Равеля и листа бумаги с шестью или восьмью тактами, написанными неподражаемой сильной рукой Шенберга.

— Я с большим удовольствием приму это, — сказал он. — И большое спасибо, что вы обо мне

---

**[72] Примечания: 72**

*Олограф* — документ, полностью и собственноручно написанный человеком, чья подпись под ним стоит.

подумали. Мне приходило в голову что-нибудь выбрать, но после случая с Вэрли я не хотел настаивать.

Да, но теперь мы узнали его лучше, и он стал нам симпатичнее, чем тогда, когда жадно смотрел на Вэрли. Артур учился на ходу.

— Если мы всё решили, я хотел бы на этом закончить, — сказал я. — Мы ждем вас в Плоурайте в шесть, и мне как заместителю декана еще надо кое-что сделать.

Я взял своих Бирбомов, Холлиер засунул под мышку по два тома Геснера с каждой стороны, а Маквариш, чей трофей был тяжел, попросил секретаршу вызвать ему такси. За счет наследства Корниша, я не сомневался.

Я с сожалением покидал жилой комплекс, где располагались квартиры Корниша и где я часто проклинал взваленную им на меня работу. Мы опустошили пещеру Аладдина, и это было приключение.

## 2

Обязанности заместителя декана необременительны, и я с радостью принял эту должность, поскольку к ней прилагалась хорошая квартира в колледже; в Плоурайте не было бакалавриата

— только магистратура и аспирантура, поэтому он был приятным оазисом тишины и спокойствия посреди университета. Когда наш колледж устраивал гостевые вечера, я должен был присматривать, чтобы все шло хорошо, чтобы гости не чувствовали себя покинутыми, а еда и питье были настолько хороши, насколько этого можно ожидать в университете. Гостевые вечера недешево обходились колледжу, но поддерживали традицию, о которой в современных университетах часто забывают, — старинный обычай ученого гостеприимства. Мы устраивали эти встречи не для того, чтобы люди могли, жуя и запивая, торговаться и заключать сделки; это были не унылые, вызывающие изжогу «рабочие обеды», не скучные «симпозиумы» на определенную тему. Ужины проводились раз в две недели, и колледж приглашал гостей, чтобы они могли поесть, выпить и повеселиться. Просто потому, что так выражается торжество цивилизации над варварством, человеческих чувств над пыльной ученостью и утверждается постулат, что жизнь ученого — хорошая жизнь. Ози Фроутс определил, что я люблю церемонии, и не ошибся. Наши гостевые вечера были церемониями, и я прилагал особые усилия, чтобы они были церемониями в

лучшем смысле этого слова, то есть чтобы люди приходили, потому что им очень хочется, а не потому, что не удалось отвертеться.

На эту ноябрьскую пятницу мы пригласили миссис Скелдергейт из парламента провинции Онтарио, главу комитета по распределению финансирования для университетов. Я устроил приглашения Холлиеру и Корнишу — а потому пришлось позвать и Макварища тоже, — чтобы скромно отпраздновать завершение работы над наследством Корниша. Артур, конечно, мог пригласить нас на обед ради такого случая, но я решил его опередить: мне не нравится идея, что самый богатый человек в компании всегда должен платить за всех.

Кроме перечисленных людей, на ужин должны были прийти четырнадцать сотрудников Плоурайта, не считая декана и меня. Мы были спаянной группой, несмотря на разнообразие научных интересов. Гилленборг — выдающийся сотрудник медицинской школы нашего университета, Дердл и Делони — с кафедры английского, но с разных направлений, Эльза Чермак — экономист, Хитциг и Бойз — с кафедр физиологии и физики, Стромуэлл — медиевист, Ладлоу — юрист, Пенелопа Рейвен — с кафедры сравнительного

литературоведения, Аронсон — компьютерщик, Роберта Бернс — зоолог, Эрценбергер и Ламотт — с кафедр немецкого и французского, а Мукадасси — гость кафедры стран Юго-Восточной Азии. Если учесть, что Маквариш — историк, Холлиер представляет плохо определенную, но вызывающую большие споры область медиевистики, декан — философ (зоилы утверждали, что он был бы счастливее в университете девятнадцатого века, где еще существовало отделение философии морали), а сам я — специалист по классической филологии, наши интересы чрезвычайно разнообразны, и я надеялся, что разговор выйдет оживленным.

И не я один. Когда мы спускались из большого зала, чтобы продолжить ужин в зале профессуры, Эрки Маквариш взял меня под руку и прошептал на ухо медоточивым голосом — а он умел быть сладкозвучным, когда хотел:

— Восхитительно, Симон, совершенно восхитительно! Вы знаете, что мне это напоминает? Конечно, вы знаете, что я страстный поклонник Рабле. Все из-за моего великого предка. Ну так вот, мне это напоминает ту прелестную главу о деревенских жителях на празднике, во время рождения Гаргантюа, когда они выпивают, бол-

тают и шутят. Помните, как сэр Томас перевел название главы? «Как они болтали во хмелю». Наша беседа в зале была великолепна, а эти младшие преподаватели очень милы, но я с нетерпением жду, когда мы водворимся в зале профессуры, где, несомненно, ученые будут болтать во хмелю с удвоенной силой.

Он метнулся в мужской туалет. Мы специально устраиваем перерыв в ходе гостевого вечера, чтобы каждый мог сходить в туалет, освежиться, при необходимости прополоскать вставную челюсть и приготовиться к тому, что будет дальше. Я знаю, что моя чувствительность к любым словам Эрки Макварииша доходит до абсурда. Но все же мне было неприятно, что он сравнил нашу приятную трапезу с раблезианским обжорством. Да, через несколько минут мы должны были сесть за стол, где стоят вино, орехи и фрукты, но главное в этом застолье — беседа. Эрки совершенно не обязательно было выражаться так, как будто мы — выпивохи-крестьяне из книги его любимого автора. Но все же Эрки не дурак: я как замдекана должен был следить, чтобы графины с вином не пустели, чтобы у Эльзы Чермак была ее сигара, а у подагрика Ламотта — его минеральная вода. А потому я, единственный из собравшихся, об-

ладал свободой перемещения вокруг стола и мог слушать, как ученые болтают во хмелю.

— О, какая красота! — воскликнула миссис Скелдергейт, входя в зал профессуры вместе с деканом. — Какая роскошь!

— Не такая уж и роскошь, — возразил декан, для которого это была больная тема. — И я вас уверяю, на этот стол не пошло ни цента из госбюджета; вы — наш гость, а не угнетенных налогоплательщиков.

— Но все это столовое серебро, — сказала дама из правительства. — Такое совсем не ожидаешь увидеть в колледже.

Декан не мог оставить эту тему в покое, и, учитывая, с кем он беседовал, трудно его винить.

— Это все подарки колледжу, и поверьте мне на слово, что, если все содержимое этого стола продать с аукциона, не хватило бы даже на неделю работы такой лаборатории, как… — он лихорадочно искал в уме, кого бы назвать, — как у профессора Фроутса.

Миссис Скелдергейт была тактична, как любой политик.

— Мы все надеемся, что профессор Фроутс совершит большое открытие. Может быть, прольет новый свет на природу возникновения рака.

Она повернулась налево, туда, где стоял Арчи Делони, и спросила:

— Кто вон тот красивый, но мрачный мужчина, ближе к тому концу стола?

— О, это Клемент Холлиер, он роется в мусорных кучах идей далекого прошлого. Он красив, правда? Когда ректор в своей речи назвал его украшением университета, мы не могли решить, что имеется в виду, — его внешность или его труды. Но заботы его старят. «Еще хранит в руинах величавых былую мощь», как выражался Байрон[73].

— А вон тот человек, который всех рассаживает по местам? Я точно знаю, что мы уже встречались, но у меня ужасная память на имена.

— Это наш замдекана Симон Даркур. Бедняга Симон борется с тем, что Байрон называл «жировой водянкой», а попросту — с полнотой. Очень достойный человек. Священник, как видите.

Интересно, Делони все равно, услышу ли я? Или он даже хочет, чтобы я услышал? «Жировая водянка», подумать только! О, как злобны эти костлявые эктоморфы! По всей вероятности, я еще буду радоваться жизни, когда Арчи Делони

---

**[73] Примечания: 73**

*«Еще хранит в руинах величавых былую мощь»...* — Байрон Дж. Г. Манфред. Акт III, сц. IV. Перев. И. Бунина.

скрутит артритом. Выпьем же за мои сорок футов кишок и все, что к ним прилагается!

Профессор Ламотт был бледен и промокал лоб носовым платком: судя по всему, Роберта Бернс только что наступила ему на подагрическую ногу. Роберта расстраивалась, а Ламотт, идеал вежливости, ее успокаивал:

— Ничего страшного, это совершенно не имеет значения.

— Нет, имеет, — сказала Роберта, которая обожала спорить, как все шотландцы, но при этом была добросердечна. — Все имеет значение. Вселенной приблизительно пятнадцать миллиардов лет, и я клянусь, что за это время не случилось ни одного незначительного происшествия, — все, что произошло, каким-то образом повлияло на общий итог. Может быть, вам полегчает, если вы меня ударите? Я вам разрешаю заехать мне кулаком в ухо.

Но Ламотт, к которому уже вернулся нормальный цвет лица, только игриво хлопнул ее по уху пальцами. Декан услышал их разговор и отозвался:

— Роберта, я вас слышу и совершенно согласен: все имеет значение. И это порождает целый сонм рассуждений на темы этики.

Декан совершенно не умеет вести светскую беседу, и профессора помоложе любят над ним подтрунивать. В разговор вмешался Делони:

— Но вы не можете не признавать существования тривиальных, совершенно бессмысленных предметов и явлений. Таких, как великая распря, бушующая ныне на кафедре кельтских исследований. Вы слышали?

Декан не слышал, и Делони стал рассказывать:

— Вы знаете, как они там вечно квасят — причем крепкое, а не кровь виноградной лозы, как цивилизованные люди вроде нас. На прошлой неделе Дарраг Туми набрался до изумления и храбро заявил, что «Мабиногион»[74] на самом деле ирландский эпос, а валлийцы его украли и совершенно испортили. Профессор Джон Дженкин Джонс поднял перчатку, и дело дошло до кулачной драки.

— Не может быть! — воскликнул декан, прикидываясь, что он в шоке.

— Арчи, это совершеннейшая неправда, — сказала профессор Пенелопа Рейвен: она обходила стол, ища карточку со своим именем. — Они

**[74] Примечания: 74**

*«Мабиногион»* («Mabinogion», *букв.:* «то, что должен знать рассказчик — ученик барда») — единственный дошедший до нас памятник древневаллийского прозаического эпоса. Важная часть кельтской культуры.

не обменялись ни одним ударом; я там была, я знаю.

— Пенни, вы их просто выгораживаете, — сказал Делони. — Удары были. Я слышал это из неопровержимо авторитетного источника.

— Не было никаких ударов!

— Ну, толчки.

— Да, возможно, они толкались.

— И Туми упал.

— Поскользнулся. Вы раздуваете этот инцидент до эпических размеров.

— Может быть. Но университетское насилие так мелко. Душа просит чего-нибудь полнокровного. Какого-нибудь достойного мотива. Приходится преувеличивать, чтобы не чувствовать себя пигмеем.

У нас на гостевых вечерах не положено так себя вести. Усевшись за стол, следует вежливо беседовать с соседями слева и справа, но люди типа Делони и Пенни Рейвен имеют привычку кричать через стол, влезая в чужие разговоры. Декан принял горестный вид — так он выражал свое неодобрение. Пенни повернулась к Аронсону, а Делони — к Эрценбергеру, и оба начали вести себя хорошо.

— А правда, что если вскрывать ирландцев, то у

четырех из пяти окажется луженый желудок? — шепотом спросила Пенни.

Гилленборг, швед, подумал и ответил:

— Это не входит в мою тематику.

— Чем вы сегодня занимались? — спросил Хитциг у Ладлоу.

— Читал газеты, — ответил Ладлоу, — и они мне порядком надоели. Каждый день десяток храбрых цыплят кричит в заголовках, что небо падает.

— Только не спрашивайте меня, почему все большие новости — обязательно плохие, — сказал Хитциг. — Человечество радуется прегрешениям, всегда радовалось и всегда будет радоваться.

— Да, но эти прегрешения очень однообразны, — сказал юрист. — Все одни и те же старые темы, без вариаций. Как жаловались наши друзья на другом конце стола, примитивность преступлений делает их обыденными. Потому так популярны детективные романы: в них преступники всегда хитроумны. Настоящее преступление не хитроумно: все те же сюжеты повторяются снова и снова. Если бы я хотел совершить убийство, я придумал бы совершенно новое орудие. Думаю, я пошел бы на кухню к жене, залез в морозилку и вытащил замороженную буханку хлеба. Вы видали такие? Они как большие камни. Треснуть

жертву — скажем, свою жену — по голове, потом испечь хлеб и съесть. Полиция тщетно ищет орудие убийства. Нестандартное мышление, понимаете?

— Вас найдут, — сказал Хитциг, который знал очень много о Ницше и был склонен к мрачности. — По-моему, такую схему уже пробовали.[75]

— Вполне возможно, — согласился Ладлоу. — Но, по крайней мере, я добавлю что-то новое к монотонной повести Отелло. И войду в анналы истории преступлений как «убийца хлебом». Я признаю, что мы живем в мире, полном насилия, но меня не устраивает единообразие этого насилия.

— Надо полагать, время студенческих беспорядков уже прошло, — говорила в это время миссис Скелдергейт, обращаясь к декану.

— И слава богу, — ответил он. — Хотя мне кажется, что люди сильно преувеличивали те беспорядки, которые были; в университетах всегда бунтуют, и студенты неустанно лезут в политику. Фраза «студенты устроили беспорядки на

---

**[75] Примечания: 75**

*…вытащил замороженную буханку хлеба. <…> Треснуть таким жертву… по голове, потом испечь хлеб и съесть. <…> По-моему, такую схему уже пробовали.* — Аллюзия на рассказ Роальда Даля «Агнец на заклание», только там был не хлеб, а окорок.

улицах» отдается эхом во всех уголках и закоулках истории. Но конечно, мы относимся к своим студентам гораздо гуманнее, чем европейские университеты когда-либо относились к своим. Некоторые мои коллеги из Сорбонны хвастаются, что никогда не говорили со студентом за пределами аудитории, так как предпочитают избегать всякого сближения. Как видите, разительное несходство с англоамериканской традицией.

— Господин декан, значит, вы думаете, что бунты ничего не изменили?

— О, изменили, спору нет. Согласно нашей традиции, отношения преподавателя и студента — это отношения адепта и ученика, ищущего посвящения. Желание заменить их на отношения поставщика услуг и клиента послужило одной из причин беспорядков. Эта идея и публике понравилась, и, соответственно, правительства начали говорить с университетами в том же духе, если мне позволено будет так выразиться. «В следующие пять лет нам понадобятся инженеры числом семьсот голов; профессор, извольте все устроить». И так далее. «Профессор, вам не кажется, что философия в наше время — ненужное излишество? Неужели вы не можете сократить штаты?» Образование для немедленного эффективного

употребления — эта идея сейчас популярна, как никогда, и никто не желает смотреть вперед, никто не хочет думать об интеллектуальном тонусе страны.

Миссис Скелдергейт растерялась: она открыла кран, который уже не могла закрыть, и декан пошел вразнос. Но она умела слушать, и на ее лице не отразилось ничего, кроме интереса к словам собеседника.

Профессор Ламотт еще не пришел в себя после атаки на его подагрическую ногу и был донельзя шокирован, когда Макварриш, перегнувшись через него, спросил у профессора Бернс:

— Роберта, я вам уже показывал свою косточку пениса?

Профессор Бернс, зоолог, даже бровью не повела:

— А у вас правда есть? Раньше они все время попадались, но я уже давно ни одной не видела.

Эрки отсоединил от часовой цепочки оправленный в золото предмет и протянул Роберте:

— Восемнадцатый век, прекрасный экземпляр.

— О, какая красота. Профессор Ламотт, посмотрите, это косточка пениса енота; раньше они были очень популярны в качестве зубочисток. А портные ими распарывали наметку. Спасибо,

Эрки, очень мило. Но спорим, что у вас нет кисета из мошонки австралийского кенгуру; мне брат прислал такой из Австралии.

Профессор Ламотт с отвращением разглядывал косточку пениса.

— Вы не находите ее чрезвычайно неприятной? — спросил он.

— Я не ковыряю ею в зубах, — объяснил Эрки. — Только показываю дамам на светских приемах.

— Вы меня поражаете, — сказал Ламотт.

— Подумать только, Рене, а еще француз! Тонкие умы любят освежаться ветерком, несущим легкий аромат непристойности. *La nostalgie de la boue*[76] и все такое. Непристойность и даже грязь — но утомленный интеллект надо время от времени спускать с цепи. Вспомните хотя бы Рабле.

— Я знаю, вы очень любите Рабле, — сказал Ламотт.

— Это семейное. Мой предок, сэр Томас Эркхарт, сделал первый и до сих пор непревзойденный перевод Рабле на английский язык.

— Да, его перевод значительно лучше оригинала, — сказал Ламотт.

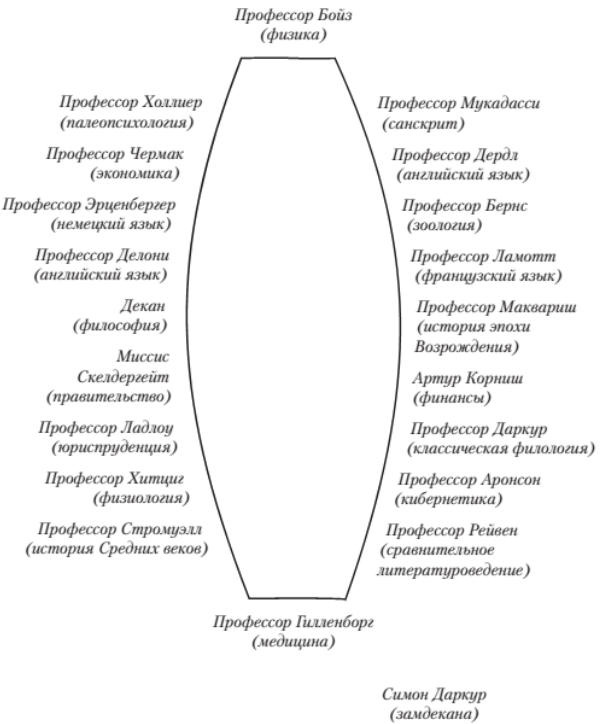
Но Эрки был совершенно глух к чьей бы то ни

---

**[76] Примечания: 76**
Тоска по грязи *(фр.)*.

было иронии, кроме собственной. Он продолжал рассказывать профессору Бернс про сэра Томаса Эркхарта, перемежая свой рассказ похабными цитатами.

*Зал профессуры*
*Схема расположения гостей за столом*
*27 ноября*



Я обходил стол кругом, исполняя свои обязанности. Приятно было видеть, что Артур Корниш оживленно беседует с профессором Аронсоном, компьютерной звездой нашего университета. Они говорили о фортране — языке программирования, к которому Артур как финансист питал профессиональный интерес.

— Как вы думаете, стоит чуть позже допросить миссис Скелдергейт, что говорят в парламенте насчет бедняги Фроутса? — спросила Пенелопа Рейвен у Гилленборга. — Они его совершенно неправильно понимают, честное слово. Правда, я ничего не знаю о его опытах, но человек не может быть таким идиотом, каким его пытаются выставить эти дураки.

— Я бы на вашем месте не стал этого делать, — ответил Гилленборг. — Помните наше правило: на гостевых ужинах никогда не говорить о делах и не просить об одолжениях. И я добавлю еще одно: никогда не пытайтесь ничего объяснять про науку людям, которые хотят понять вас неправильно. С Фроутсом все будет в порядке: знающие люди не сомневаются в ценности его работы. А то, что сейчас происходит в парламенте, всего лишь разгул демократии: каждый некомпетентный человек должен высказать свое

плохо обоснованное мнение. Никогда не объясняйте и не оправдывайтесь — это правило всей моей жизни.

— Но я люблю объяснять, — возразила Пенни. — У людей бывают совершенно безумные представления об университетах и людях, которые там работают. Вы видели в газетах некролог бедняге Эллерману? Невозможно догадаться, что это о человеке, которого мы все знали. Факты более-менее правильные, но не передают его сути, а суть в том, что он был ужасно хороший человек. Конечно, если бы они хотели его распять после смерти, это было бы проще простого. Он писал какой-то безумный любовный роман с продолжениями, вроде бы держал его в секрете, но признавался каждому встречному и поперечному: что-то вроде женщины-мечты, которую он придумал для собственного наслаждения и признавался ей в любви квазиелизаветинской прозой. Если кто-нибудь доберется до этого романа…

— Не доберутся, — сказал Стромуэлл с другой стороны стола. — Его больше нет.

— Правда? — спросила Пенни. — Что случилось?

— Я его сжег собственноручно, — ответил Стро-

муэлл. — Эллерман хотел, чтобы его не стало.

— Но разве его не следовало передать в архивы?

— По-моему, в архивы и так попадает слишком много всего, а попав туда, приобретает несообразно большое значение. Людей надо судить по тому, что они публикуют, а не по тому, что они держали в нижнем ящике стола.

— И что, этот роман действительно был такой неприличный, как намекал Эллерман?

— Не знаю. Он просил меня не читать, и я не стал.

— И так человечество потеряло еще один великий любовный роман, — произнесла Пенни. — А вдруг его автор был великим художником от порнографии?

— Только не Эллерман, он был слишком предан университетскому идеалу, — возразил Хитциг. — Будь он в первую очередь художником, он не был бы так счастлив в университете. Недовольство — важнейшая черта художника. Университеты могут выпускать хороших критиков, но не художников. Мы, университетские люди, — прекрасные ученые, но склонны забывать об ограниченности познания: оно не может творить и зачинать.

— Ну, это вы хватили! Я могу назвать кучу

художников, которые жили в университетах, — возразила Пенни.

— А я на каждого вашего назову двадцать, которые не жили, — сказал Хитциг. — Лучше всего и в самых больших количествах у университетов получаются ученые. Наука состоит из открытий и откровений — а они не искусство.

— Ага! Почтительно вопрошать Природу, — сказала Пенни.

— Нет, искать зияющие дыры в точных науках и затыкать их к вящей пользе мира, — сказал Гилленборг.

— Тогда как вы назовете гуманитарные науки? — спросила Пенни. — Цивилизацией, наверное?

— Цивилизация покоится на двух вещах, — сказал Хитциг. — Это открытие ферментации, производящей алкоголь, и способность добровольно задерживать дефекацию. И скажите на милость, без этих двух — где был бы наш сегодняшний восхитительно цивилизованный вечер?

— Ферментация, несомненно, относится к науке, — сказал Гилленборг. — А вот управление дефекацией — к психологии. И если кто-нибудь сейчас скажет, что психология — это наука, я

завизжу.

— Нет-нет, вы вступили на мою территорию, — вмешался Стромуэлл. — Задержка дефекации — процесс по природе своей теологический и, несомненно, является одним из последствий грехопадения человека. А это, по общепринятой ныне точке зрения, знаменует собой зарю персонального сознания, отделение личности от племени, или массы. Животные не способны задерживать дефекацию; это вам объяснит любой режиссер, который хоть раз пытался вывести на сцену лошадь и обойтись без казусов. Животные лишь смутно сознают себя: еще более смутно, чем мы, повелители мира. Когда человек съел плод с древа познания, он начал осознавать себя как нечто отличное от окружающей природы и в последний раз беззаботно опорожнил кишечник, пока, ступая боязливо, шел из Эдема в одинокий путь[77]. После этого он, конечно, вынужден был вести себя осторожно, глядеть под ноги и в буквальном смысле слова не гадить где попало.

— Вы такая же кислятина, как Мильтон! — воскликнула Пенни Рейвен. — «Шел в одинокий путь»! А как же Ева?

---

**[77] Примечания: 77**

*...ступая боязливо, шел из Эдема в одинокий путь.* — Перефразированная цитата из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай».

— Каждый ребенок заново переживает опыт осознания себя уникальным существом, — сказал Хитциг, не обращая внимания на этот взрыв феминистических эмоций.

— Каждый ребенок заново переживает всю историю развития жизни на Земле, начиная с рыб, прежде чем научиться задерживать дефекацию, — сказал Гилленборг.

— Каждый ребенок заново переживает изгнание из рая — материнской утробы — и извергается в мир, который на каждом шагу причиняет боль, — сказал Стромуэлл. — Господин заместитель декана, скажите, пожалуйста, эти люди совсем забыли, что графины с вином надо передавать по кругу?

Я оторвался от интереснейшей речи Корниша про акул-ростовщиков (разумеется, он не одобрял этого промысла, но чрезвычайно интересовался им) и еще раз обошел вокруг стола, чтобы убедиться, что всем собравшимся хорошо и удобно, и ускорить продвижение графинов. Оказалось, что графины застряли у непьющего профессора Мукадасси, который заслушался речами Холлиера. Я был рад, что Клем получает удовольствие от вечера, потому что он на самом деле не очень компанейский человек.

— Культурными окаменелостями, — говорил он, — я называю убеждения и сценарии, которые так глубоко вросли в окружающую жизнь, что уже не вызывают никаких вопросов. Помню, мальчиком я пошел в церковь с какими-то родственниками из Англии и заметил, что многие деревенские женщины делают крохотный реверанс перед пустой стеной. Я спросил почему. Никто не знал, но потом мой кузен спросил у священника, и оказалось, что до Реформации здесь стояла статуя Девы Марии. Солдаты Кромвеля уничтожили ее, но не смогли уничтожить местный обычай, как явствовало из поведения женщин. Много лет назад я ненадолго заехал на остров Питкэрн — и словно оказался в самом начале девятнадцатого века; последними иммигрантами, прибывшими на остров, были солдаты Веллингтона. Их потомки все еще говорили языком Сэма Уэллера: «Нужды нет, сударь» и «Если угодно вашей милости». Когда мой отец был мальчиком, любой благовоспитанный канадский ребенок знал, что первая буква в слове «herb» не произносится. Такое произношение все еще можно услышать кое-где, и современные англичане думают, что это невежество, а на самом деле это история культуры. Это мелочи, но

среди народов, живущих замкнуто, — выживших настоящих цыган, некоторых кочевых племен Востока — сохранились самые разные идеи, достойные внимания. Мы склонны думать, что человеческое познание прогрессивно: поскольку мы сами знаем все больше и больше, из этого должно следовать, что наши деды знали меньше нас, а прадеды еще меньше. Но правдоподобна и другая теория: может быть, мы просто в разное время узнаем вещи с разных сторон и разными путями. И это проливает новый свет на всю мифологию: мифы не мертвы, просто мы их теперь по-другому понимаем и по-другому применяем. Если вы думаете, что суеверие умерло, зайдите как-нибудь на экзамен и посмотрите, сколько всяческих амулетов и талисманов притаскивают с собой студенты.

— Неужели вы это серьезно? — спросил Бойз.

— Совершенно серьезно, — ответил Холлиер.

— Вы говорите об одной из великих пропастей непонимания, существующих между Западом и Востоком, — сказал Мукадасси. — Мы, жители Индии, знаем: люди ничем не хуже нас верили в разные вещи, которые сейчас образованные члены общества считают нелепостью. Но я согласен с вами, профессор: наша задача не презирать эти

верования, а стараться понять, что имели в виду древние люди и какого результата намеревались добиться с их помощью. Научная гордыня толкает нас на величайшее безумие и мракобесие — презрение к прошлому. Но мы, люди Востока, в повседневной жизни уделяем Природе намного больше внимания, чем вы. Может быть, потому, что у нас есть возможность гораздо больше времени проводить под открытым небом. Но если я могу так выразиться — и, пожалуйста, не думайте, что я хочу задеть ваши чувствительные места, профессор, — нет, нет, ни за какие сокровища мира, — ваше христианство не очень помогает в общении с Природой. Она все равно скажет свое слово, и даже та Человеческая Природа, которую христианство так часто порицает. Надеюсь, я никого не оскорбил?

Холлиер не оскорбился: Мукадасси явно преувеличил степень его приверженности христианским идеям.

— Одна из моих любимых культурных окаменелостей — садовый гном. Вам попадались такие? Они очень милы, весьма симпатичны. Но неужели люди покупают их лишь за симпатичность? Я уверен, что нет. Гномы — это сахар в напитке веры; западные религии больше не кладут сахара

в этот напиток, а сильно разбавленный филантропизм, который для многих сходит за религию, его и вовсе не предлагает. Гномы говорят о тоске человека — неосознанной, но тем более сильной — по садовому божеству, духу земли, кобольду, кабиру[78], хранителю домашнего очага. Гномы ужасны, но в них есть истина, которой нету в купальнях для птиц и солнечных часах[79].

Профессор Дердл в это время плакался на свою судьбу Эльзе Чермак. Эльза успела пожаловаться ему на двухдневный «семинар выходного дня» по экономике, который она посетила в дружественном университете.

— Вы хотя бы говорите на свои темы, — сказал Дердл. — Вам не приходится слушать атмосферный треск.

— В самом деле? Много же вы знаете.

— А разве можно трещать об экономике? Я ду-

---

**[78] Примечания: 78**

*…духу земли, кобольду, кабиру…* — Кобольды в мифологии Северной Европы — духи домашнего очага или горные, подземные духи. Кабиры (*др. — греч.* καβειροι) — древние божества древнегреческой и более ранней мифологии.

**[79] Примечания: 79**

*Гномы ужасны, но в них есть истина, которой нету в купальнях для птиц и солнечных часах.* — Купальни для птиц, солнечные часы — наряду с садовыми гномами традиционные украшения садов в англосаксонской культуре.

мал, нет. Но вам уж точно не приходится слушать белиберду, на которую я сегодня убил полдня. У нас находится с визитом Большой Человек из Блумсбери[80], вы знали? Он произнес речь о могучих и славных делах прошлого, частицей коих был и сам. Бóльшая часть речи звучала примерно так: «Конечно, в те въемена в Блумсбеъи мы были совсем *бэзумные*. Слуги были *бэзумные*. Бывало, садишься за стол, а на стуле у тебя таъелка с едой. Потому что все гоъничные были *бэзумные*… У нас была къасная двей. У всех были синие двеи, зеленые двеи, коичневые двеи, но у нас была къасная двей. Полное *бэзумие*!» Щедрость университетов к людям, знавшим великих мира сего, просто изумительна. Мне кажется, это какая-то форма романтизма. Любой приблудный англичанин,

**[80] Примечания: 80**

*…с визитом Большой Человек из Блумсбери…* — Группа Блумсбери (иначе — «Блумсберийский кружок») — группа английских интеллектуалов, писателей и художников, выпускников Кембриджа, объединенных сложными семейными, дружескими, творческими отношениями. Группа начала регулярно собираться в 1905–1906 гг. в лондонском районе Блумсбери. В группу входили писатели-модернисты Вирджиния Вулф, ее подруга Вита Сэквилл-Уэст, Литтон Стрейчи, Э. М. Форстер, Д. Гарнетт, художники Дора Каррингтон и Дункан Грант, художник и писатель Уиндем Льюис, историки искусства К. Белл и Р. Фрай, экономист Джон Мейнард Кейнс, ориенталист Артур Уэйли, философ и математик Бертран Рассел и др. Блумсберийцы противостояли викторианскому ханжеству, отстаивали принципы художественного поиска, независимость в жизни и в искусстве.

помнящий Вирджинию Вулф, Уиндема Льюиса или Э. М. Форстера, может называть любую сумму гонорара, есть и пить, пока его не хватит кондрашка, за счет любого университета Северной Америки. Чисто средневековое явление: бродячие жонглеры и шпагоглотатели. Впрочем, американские нахлебники еще хуже: обычно они — поэты или миннезингеры, желающие показать свою близость к молодежи. Их манера постоянно подлизываться к студентам меня просто убивает, потому что платят-то им не студенты. Господи, слышали бы вы сегодняшнюю речь этого слабоумного осла! «Я ни-когда-а-а не забуду, как Виъджиния ъазделась совеъшенно догола, завеънулась в полотенце и изобъазила Аънольда Беннетта, как он диктует в турецких банях[81]. Мы пъосто визжали! Бэзумие! Бэзумие!»

— У нас есть свои *бэзумные* рассказчики, — сказала Эльза. — Вы когда-нибудь слыхали байку Делони про директора колледжа Святого Брендана, у которого ручная майна говорила по-латыни?

---

**[81] Примечания: 81**

*…Виъджиния… изобъазила Аънольда Беннетта, как он диктует в турецких банях.* — Арнольд Беннетт (1867–1931) — английский писатель-реалист, которого модернисты-блумсберийцы считали чересчур старомодным; Вирджиния Вулф полемизировала с ним в прессе в течение десяти лет.

Она умела говорить: «Liber librum aperit»[82] — и разные другие классические фразы, но у нее было тяжелое детство, и она могла заорать: «Пойдем бухнём, старик» — в тот момент, когда директор отчитывал непутевого студента. Надо сказать, что Делони прекрасно исполняет эту байку, и если он решит стать гастролирующим лектором, вполне возможно, что это будет его коронный номер. Экономисты — они точно такие же: часами рассказывают, как Кейнс не мог наскрести мелочь на такси[83] и тому подобное. Университеты — великие хранилища подобных бесполезных мелочей. Джим, вам пора в саббатический отпуск, вы начинаете скисать.

— Может, и так, — ответил Дердл. — По правде сказать, я сейчас работаю над собственной байкой — о том, как мы встречали инспекцию из Канадского совета, которая должна была провести «осмотр на месте». Вы ведь знаете, как

---

**[82] Примечания: 82**

«Книга открывает книгу» *(лат.)* — пословица алхимиков.

**[83] Примечания: 83**

*...Кейнс не мог наскрести мелочь на такси...* — Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) — английский экономист. Создал оригинальную теорию вероятностей, не связанную с аксиоматикой Лапласа, фон Мизеса или Колмогорова. Возникшее под влиянием идей Кейнса экономическое течение впоследствии получило название кейнсианства. Кейнс также считается одним из основателей макроэкономики как самостоятельной науки.

они работают? Очень похоже на средневековый визит епископа. Вы убиваете несколько месяцев на документацию к заявке на грант, который нужен для выполнения какой-нибудь особенной работы. Когда все бумаги собраны, Канадский совет посылает комитет из шести-семи человек на встречу с вашим комитетом из шести-семи человек, вы их кормите, поите, смеетесь над их анекдотами, заново рассказываете им все, что уже рассказали, и вообще обращаетесь с ними по-дружески — даже как с равными. Потом они возвращаются в Оттаву и оттуда пишут, что, по их мнению, ваш план недостаточно хорошо проработан и потому не заслуживает их поддержки. Зажравшиеся шавки мещанского филистерства! Сидят на тепленьких местечках с хорошими окладами и пенсиями!

– *Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens*, — сказал Эрценбергер.

— Переведите, пожалуйста, — попросила Эльза.

— Против глупости сами боги бороться бессильны, — перевел Эрценбергер и добавил, не в силах скрыть нотку жалости в голосе: — Шиллер.

Эльза проигнорировала жалость и снова повернулась к Дердлу:

— Ну так вот, кто ходит по миру, тот должен знать, что время от времени люди будут захлопывать дверь у него перед носом или спускать собак. Ученые — побирушки. Так всегда было и всегда будет. Во всяком случае, я на это надеюсь. Помоги нам Господь, если ученые когда-нибудь дорвутся до контроля над настоящими деньгами.

— Боже, Эльза, ну зачем такой пессимизм! Это все ваши дурацкие сигары: они порождают ощущение обреченности. Любой ученый, который хоть чего-нибудь стоит, хочет стать царем-философом. Но для этого нужна куча денег. Хотел бы я иметь маленький независимый доход: я бы все бросил и стал писать.

— Нет, Джим, не бросили бы. Университет навеки запустил в вас когти. Научная работа — она проникает в кровь, как сифилис.

На гостевых вечерах никто не напивается. Вино вершит свою древнюю магию — люди делаются в большей степени сами собой, и то, что вплетено в ткань их натуры, проступает явственнее. Ладлоу, преподаватель-юрист, смотрел с точки зрения закона, а миссис Скелдергейт, которую больше всего занимали язвы общества, пыталась возбудить в Ладлоу негодование, а может быть, жалость или что угодно, только не хладно-

кровное рассудочное созерцание картин упадка нравов в нашем городе.

— Конечно, в первую очередь надо думать о детях, потому что многим взрослым помочь уже нельзя. О детях и молодежи. Когда я начала заниматься этой работой, труднее всего мне было осознать, что многим женщинам абсолютно безразличны их собственные дети. Эти малютки выброшены в мир, которого совершенно не понимают. На прошлой неделе одна девочка рассказала мне, что к ним домой пришел старик и подрался с ее мамой на кровати. Разумеется, девочка не поняла, что это было половое сношение. Кем она станет, когда поймет, а это неминуемо случится очень скоро. Ребенком-проституткой. Я уверена, это одно из самых трагических зрелищ в мире. Я пыталась как-то помочь другой девочке, которая не умеет говорить. С ее речевым аппаратом все в порядке: она не говорит, потому что ею не занимались вообще. Она не знает самых простых слов. Ее ягодицы покрыты треугольными ожогами: любовник матери прижигает девочку утюгом, чтобы излечить ее от глупости. Другой ребенок боится говорить: он живет в немом ужасе, а мать, видя его мучительные, умоляющие гримасы, бьет его.

— Вы описываете чудовищный мир, какую-то достоевщину, — сказал Ладлоу. — Тяжело сознавать, что все это происходит меньше чем в двух милях от зала, где мы сейчас сидим в окружении удобства и даже роскоши. Но что же вы предлагаете?

— Я не знаю, но что-то нужно делать. Мы не можем просто закрывать глаза. Неужели у вас, университетских преподавателей, нет никакого ответа? Раньше думали, что спасение — в образовании.

— Живя в университете, неизбежно понимаешь, что образование не спасает вообще ни от чего, разве что оно сопровождается прививкой здравого смысла, доброго сердца и понимания, что все люди — братья, — сказал Ладлоу.

— И признания отцовства Бога, — добавил декан.

— Позвольте, я не буду высказывать свое мнение на этот счет, — сказал Ладлоу. — Прения о Боге не для юристов, они для философов вроде вас и священников вроде Даркура. Мы с миссис Скелдергейт видим общество, как оно есть: она — как социальный работник, я — в ходе своей работы в суде; мы вынуждены работать с тем, что общество нам предоставляет. И вот что еще, миссис

Скелдергейт, я никоим образом не недооцениваю серьезность проблем, причиной которых вы считаете бедность и невежество, но мне приходилось работать с поистине ужасными судебными делами, и я знаю: ровно то же самое встречается в слоях общества, которые вовсе нельзя назвать бедными или — по крайней мере, в обычном смысле этого слова — невежественными. Бесчеловечность, жестокость и преступный эгоизм встречаются отнюдь не только у бедняков. Массу примеров такого поведения можно наблюдать прямо здесь, в университете.

— О Ладлоу, конечно же, вы преувеличиваете ради красного словца, — сказал декан.

— Вовсе нет. Любой, кто долго проработал в университете, знает, например, как распространено в этой среде воровство. Но все сговорились о нем молчать. И думаю, правильно, потому что представьте себе, какой шум поднимется, если это выйдет наружу. Но чего вы хотели? Подобный университет — сообщество из пятидесяти тысяч людей; если взять город с населением в пятьдесят тысяч, среди жителей неминуемо найдутся воры. Что крадут в университете? Все, что угодно, от мелочей до недешевой техники, от ножей и вилок до целых комплектов священных сосудов из

университетских часовен — их, как я случайно узнал, вывозят контрабандой в Южную Америку. Глупо было бы притворяться, что студенты не имеют к этому никакого отношения. И вероятно, сотрудники тоже, только мы об этом не знаем. Это можно объяснить: все учреждения пробуждают в сердце человека склонность к воровству, а украсть что-нибудь у *alma mater* — значит отомстить матери кормящей за ее высокомерные претензии от имени какой-то — не признаваемой даже ее владельцем — части человеческого духа. Не случайно наши предки прозвали студентов «клерками святого Николая» — тяга к знаниям и склонность к воровству[84]. Ну неужели вы не помните, как три года назад приглашенный лектор, который жил в нашем колледже, пытался прихватить с собой занавески с окон? Он ученый человек, но заразился всеобщим желанием что-нибудь стянуть.

— Послушайте, Ладлоу, я никогда не поверю, что это всеобщее желание.

— Тогда я задам вам другой вопрос: вы никогда в жизни ничего не крали? Впрочем, нет, я беру

---

**[84] Примечания: 84**

*…прозвали студентов «клерками святого Николая» — тяга к знаниям и склонность к воровству.* — Святой Николай, по преданию, покровитель моряков, купцов и детей, а также бродяг и воров.

его назад: в силу своей должности вы по определению честны; декан колледжа не ворует, хотя человек, облаченный в мантию декана, может что-нибудь украсть. Я не буду спрашивать этого человека. Но вот вы, миссис Скелдергейт, вы никогда ничего не крали?

— О, если бы я могла сказать, что нет! — улыбаясь, ответила миссис Скелдергейт. — Но увы. Мелочь, конечно, — книгу из библиотеки колледжа. Я сделала все, чтобы компенсировать украденное, даже более чем компенсировать. Но отрицать я не могу.

— Душа человеческая — неисправимая воровка, — сказал Ладлоу. — И в оливковых рощах Академа, и повсюду. Поэтому можно ожидать, что студенты, прислуга и преподаватели будут по-прежнему воровать книги и другое имущество университета, а доверенные лица — предавать доверившихся. Мир без греха был бы поистине странен — и чертовски негостеприимен для юристов, вот что я вам скажу.

— Вы говорите так, словно верите в дьявола, — сказал декан.

— Дьявол, как и Бог, не входит в компетенцию юристов. Но вот что я вам скажу: я ни разу в жизни не видел Бога, зато дьявола — дважды, оба раза

в суде: один раз на скамье подсудимых, а другой — в судейской мантии.

Макварииш и Роберта Бернс уже сцепились, как кошка с собакой, над телом Ламотта, который, судя по всему, не получал удовольствия от их беседы.

— Не стоит говорить с зоологом о любви, если вы подразумеваете секс, — говорила профессор Бернс. — У братьев наших меньших — если их можно считать таковыми — мы видим секс как он есть. И можно по пальцам пересчитать виды, в которых партнеры проявляют друг к другу хоть какую-то нежность. Все прочие лишь следуют непреодолимому инстинкту.

— А у людей? — спросил Ламотт. — Неужели вы согласны с этим ужасным Стриндбергом, что любовь — фарс, изобретенный Природой, чтобы обманом заставить людей размножаться?

— Нет, не согласна, — ответила Роберта. — Это вовсе не фарс. Человечество благополучно размножалось задолго до того, как понятие любви вообще появилось, иначе мы бы сейчас тут не сидели. Это можно видеть и среди студентов: одни больны от любви, другие аж бурлят от похоти, некоторые это совмещают.

— Один мой студент хотел иметь бешеный

успех у девушек, — встрял Эрки, — и для этого покупал у шарлатана какую-то гадость — что-то вроде супа из бычьих яиц. На самом деле это не помогало, но он думал, что помогает, и, вероятно, это действовало, только не говорите Гилленборгу. В то же время другой мой студент влюбился в балерину, к которой у него не было ни единого шанса даже подойти. Но каждый раз, как она танцевала, он посылал ей орхидею и совершенно разорился. Конечно, оба студента — дураки. Но, Роберта, неужели вы действительно разделяете любовь и старое доброе «туда-сюда-обратно»? Не слишком ли это радикально?

— Старое доброе «туда-сюда-обратно», как вы изволили выразиться, хорошо на своем месте, но не стоит воспринимать его как мерило любви. А то я вспомню, что я зоолог, и скажу, что с точки зрения статистики величайший любовник в природе — кабан: он извергает восемьдесят пять миллиардов сперматозоидов при каждом совокуплении. Ему уступает даже племенной жеребец с тринадцатью миллиардами. Но человек знает, что такое любовь, а кабан и жеребец, сделав свое дело, даже не взглянут на партнершу.

— Я рад, что не получил естественно-научного образования, — сказал Ламотт. — Я всегда ду-

мал и продолжаю думать, что женщина — чудо Природы.

— Разумеется, она — чудо, — согласилась Роберта. — Вы даже не представляете какое. Вы слишком духовны. Посмотрите на красивую девушку — разве она дух? Конечно, у нее есть дух, но помимо этого — куча совершенно роскошных, прямо-таки завораживающих вещей. Да хоть и на меня посмотрите: я, конечно, не собираюсь рекламировать свои увядшие прелести, но вот я сижу, и в ушах у меня вырабатывается сера, в носу застывает слизь, во рту булькает слюна, слезы всегда наготове. А после еды — вроде того ужина, который мы только что съели, — какие чудеса творятся у меня внутри! Желчный пузырь и поджелудочная железа трудятся вовсю, фекалии деловито слипаются в комки, почки выполняют свою чудесную работу, моча заполняет мочевой пузырь, а мои сфинктеры — вы даже не представляете, как женский пол должен быть благодарен сфинктерам! А любовь принимает все это как должное, словно жадный ребенок, видящий только глазурь на торте!

— Я вполне обойдусь глазурью, спасибо, — ответил Ламотт. — Мне претит видеть в женщине ходячую мясную лавку.

— Эта глазурь так разнообразна, что ее одну можно изучать всю жизнь, — сказал Маквариш. — К каким только трюкам не прибегают женщины! Знакомый парикмахер рассказывал о просьбах женщин, которые приходят в его салон к маникюрше, она же специалист по излишним волосам. Женщины хотят, чтобы их лобковым волосам придали форму сердечка или стрелки, и терпят любые пытки горячим воском, чтобы получить нужный результат. А потом требуют, чтобы эти волосы покрасили хной! «Там внизу огонь пылает», как поется в матросской песне. Да уж, запоешь, когда увидишь результат!

— Только зря мучаются, — сказала Роберта. — Ради «туда-сюда-обратно» люди терпят что угодно. Точнее, Природа им в этом любезно помогает. Во время полового сношения острота восприятия сильно снижается: притупляются зрение, слух, вкус, осязание и обоняние, что бы там ни писали в книгах по технологии секса. Некрасивая партнерша на время становится красивой; кровавые прожилки и красный нос едва заметны, сопение не кажется комичным, зловоние изо рта словно пропадает. И это, Рене, вовсе не любовь: это Природа идет на помощь любви. И еще человек — единственное создание, знающее

любовь как сложное чувство; кроме того, человек — единственное во всей природе существо, которое занимается сексом ради развлечения. О, это богатейший предмет для исследования.

— «Люби не так, как любит узник плоти»[85], — процитировал Ламотт, делая вид, что затыкает уши. — Готов спорить, что никто из вас не знает этого сонета.

Время шло, и скоро я уже должен был предложить декану перейти к кофе и коньяку для желающих. Мне пришлось потрудиться, чтобы привлечь внимание декана: он, миссис Скелдергейт и Ладлоу по-прежнему бились насмерть из-за природы университетов.

— Ладлоу говорит, что университет — это город, но я не уверен, что такое определение подходит, — говорил декан.

— Безусловно, университет — город молодежи, — сказала миссис Скелдергейт.

— Отнюдь, — возразил декан. — Да, к счастью, в университетах много молодежи, но одна молодежь не могла бы поддерживать их существование. Это город мудрости, а сердце университета

---

**[85] Примечания: 85**

*«Люби не так, как любит узник плоти»…* — Джордж Сантаяна (1863–1952), сонет VI. Перев. Елены Калявиной.

— его ученые; университет не может быть лучше, чем они, и это к их огню приходят греться молодые люди. Потому что молодежь приходит и уходит, а мы остаемся. Они — минутная стрелка научных часов, а мы — часовая. Разумные общества всегда собирали своих ученых мужей в разного рода учреждения, где их главной задачей было — быть мудрыми, сохранять плоды мудрости и пополнять их в меру своих сил. Разумеется, в университеты как-то пролезают педанты и беспринципные люди, и нам не дают об этом забыть; и, как правильно заметил Ладлоу, у нас есть свои негодяи и воры — вот уж действительно «клерки святого Николая». Но мы — хранители и стражи цивилизации, особенно теперь, когда уже нет аристократии, когда-то выполнявшей эту задачу. Город мудрости — с вашего позволения, я бы остановился на этой формулировке.

Но ему не позволили остановиться на этой формулировке, потому что в университетах никто никогда не удовлетворяется чужими определениями. Заговорил Делони:

— Знаете, декан, я думаю, это не просто город: большой университет вроде нашего скорее похож на империю, он состоит из множества когда-то независимых колледжей, еще сохраняющих

толику независимости, под эгидой федерации, которая есть сам университет. Ректор университета — император, он председательствует над совокупностью государств, у каждого из которых — свой правитель, а деканы, директора и так далее подобны великим князьям, главам могучих княжеств; здесь и там меж ними встречается князь-епископ[86], как глава колледжа Святого Брендана, или митрофорный аббат, как декан «Душка». Все они ревниво охраняют свою власть, но все подчиняются императору. Университеты родились в Средние века и до сих пор сохраняют в себе много от той эпохи: не только в одеяниях и официальной атрибутике, но и глубоко в сердцах.

— Декан, когда вы говорите «ученые мужи», не следует ли добавлять «и жены», чтобы никого не обидеть? — спросила миссис Скелдергейт.

— Как юрисконсульт декана могу вас уверить, что ссылки на мужской род во всех формулировках включают в себя женский род, — сказал

---

**[86] Примечания: 86**

*Князь-епископ* — епископ, который, помимо осуществления священнических функций, обладал светской властью на определенной территории и являлся сувереном соответствующего территориального образования — церковного княжества. Князья-епископы существовали в Священной Римской империи, Англии (епископ Дарема), Франции, Черногории и в некоторых других странах.

Ладлоу.

— А также любой другой род, чтобы не дискриминировать никого из университетского сообщества, — добавил декан, не совсем лишенный чувства юмора.

— Господин декан, не желаете ли кофе? — произнес я установленную формулу.

Декан поднялся, все остальные тоже встали, и образовались новые группы — на оставшиеся несколько минут вечера. Ко мне подошел Артур Корниш:

— У меня не было случая сказать, что я вам чрезвычайно благодарен за сегодняшнее. Конечно, все думают, что я и так получу от дяди Фрэнка огромное наследство, но в большой семье все это происходит очень безлично, а мне хотелось иметь какую-нибудь памятку о дяде. Мы с ним больше похожи, чем может показаться. Он совсем молодым ушел от дел и посвятил себя коллекционированию предметов искусства; думаю, он специально притворялся еще менее практичным, чем на самом деле, чтобы избежать бремени участия в бизнесе. Знаете, когда он охотился за произведениями искусства, у него была невероятная хватка. В сделках с торговцами антиквариатом он украл бы и дохлую муху у слепого

паука. Но ко многим художникам он был добр; так что, я думаю, одно в каком-то смысле компенсирует другое. Но скажите, откуда вы узнали, что меня интересуют музыкальные рукописи?

— Мне рассказал наш общий друг — мисс Феотоки. Как-то после занятия мы разговорились с ней о средневековых методах записи музыки, и она упомянула о ваших интересах.

— Я помню, что однажды говорил с ней об этом, но не думал, что она слушает.

— Она слушала. Она пересказала мне все ваши слова.

— Это приятно. Наши с ней музыкальные вкусы сильно различаются.

— Она интересуется средневековой музыкой и старается выяснить все, что можно, о более ранней. О ней почти ничего не известно: мы знаем, что Нерон играл на скрипке, но что именно он играл? Иисус с апостолами, воспев, пошли на гору Елеонскую[87], но что именно они пели? А вдруг, услышав это пение, мы бы ужаснулись тому, как Спаситель гнусаво скрипит и воет? Мы можем восстановить музыку прошлого лишь за последние несколько веков, но музыка очень

---

**[87] Примечания: 87**

*…воспев, пошли на гору Елеонскую…* — Евангелие от Матфея, 26: 30.

часто — ключ к человеческим чувствам. Холлиер мог бы этим поинтересоваться.

— Может быть, Мария это делает как раз для него. Она вроде бы им совершенно очарована.

— Я, кажется, слышал имя Марии? — К нам подошел Макварииш. — Это чудесное создание постоянно всплывает в разговорах. Кстати, я надеюсь, что не был сегодня излишне фамильярен с ее образом? Просто с тех самых пор, как я заметил эту Венеру в куче другого имущества вашего дядюшки, я был одержим ее сходством с Марией, а теперь, когда я забрал ее домой и рассмотрел в деталях, я в еще большем восторге. Она всегда будет рядом со мной — так невинно завязывая сандалию, словно рядом никого нет. Артур, если вам захочется вспомнить, как она выглядит, я всегда рад видеть вас у себя. Она к вам очень тепло относится, знаете ли.

— Почему вы так думаете? — спросил Артур.

— Потому что я вообще много знаю о ее мыслях. Один мой друг, вы с ним не знакомы, — очень забавный типчик, некто Парлабейн, — с ней близок. Он трудится на Холлиера — называет себя его *фамулюсом*, подумайте, какая прелесть, — и потому все время видит Марию, она работает в комнатах Холлиера. Они постоянно болтают по

душам, и Мария рассказывает ему абсолютно все. Ну, не прямо, конечно, но он умеет читать между строк. Разумеется, она обожает Холлиера, но вы ей тоже очень нравитесь. Вас нельзя не любить, дорогой мой мальчик.

Он легонько тронул Артура за рукав, как часто трогал и меня. Эрки обожает хватать людей руками.

— Только ни в коем случае не подумайте, что я сам стараюсь втереться к ней в симпатию, — продолжал он. — Хотя, конечно, Мария ходит ко мне на лекции и сидит в первом ряду. И мне это чрезвычайно приятно, потому что студенты в среднем не украшают обстановку, а я не могу устоять перед женщинами, которые украшают. Знаете, я обожаю женщин. Этим я не похож на Рабле, зато очень похож на сэра Томаса Эркхарта.

И он ушел прощаться с деканом.

— Сэра Томаса Эркхарта? — переспросил Артур. — Ах да, это переводчик. Мне, кажется, уже ненавистен сам звук его имени.

— Если вы знакомы с Эрки, вам придется все время слушать про сэра Томаса, — сказал я. И добавил — желчно (я в этом признаюсь, но Эрки меня бесит): — Посмотрите энциклопедические статьи о нем и его биографии, и вы обнаружите:

по всеобщему мнению, сэр Томас был самовлюблен до умопомрачения.

Артур ничего не сказал, только подмигнул. Затем тоже пошел прощаться с деканом, а я вспомнил, что, как замдекана, обязан вызвать такси для миссис Скелдергейт. Выполнив долг, я поспешил к себе в надвратные комнаты, чтобы записать для «Нового Обри» все, что услышал за вечер. «Как они болтали во хмелю».

### 3

«Новый Обри» начал внушать мне ужас. Он был задуман как портрет университета, нарисованный с натуры, но стал слишком напоминать личный дневник, причем такой, которому его хозяин исповедуется в постыдных вещах. Слишком мало про других людей; слишком много про Симона Даркура.

Я мало пью, и спиртное не бросается мне в голову, но после гостевого вечера я был сам не свой — и несколько стаканов вина, выпитых в промежутке между шестью и десятью часами вечера, этого не объясняли. Сегодняшний день должен был оставить по себе приятное чувство: утром я неплохо поработал, после обеда завершил дела с наследством Корниша, заполучил

два первоклассных рисунка Бирбома, которые никогда не публиковались, а следовательно, были совершенно мои — лакомый кусочек для коллекционера: любому из них известна эта страсть к единоличному обладанию. Гостевой вечер прошел удачно, исполнители завещания Корниша хорошо провели время за мой счет. Но я был в меланхолии.

Священник, получивший профессиональную подготовку, должен уметь разбираться с такими вещами. Я задал себе пару откровенных вопросов, и все стало ясно. Дело в Марии.

Она первоклассная студентка и очаровательная девушка. Ничего необычного. Но она занимала слишком большое место в моих мыслях. Я глядел на нее, слушал ее ответы на занятиях и тревожился из-за того, что знал про нее и Холлиера. То, что он однажды поимел ее на старом диване, было неприятно, но такое случается и не стоит излишнего расстройства, особенно если учесть, что Холлиер явно находился в состоянии притупленного восприятия, так хорошо описанном Робертой Бернс. Но Холлиер думал, что Мария в него влюблена, и это меня тревожило. Что она в нем нашла? Конечно, он выдающийся ученый, но она же не такая дура, чтобы влюбиться в этот

внешний атрибут человека, во всех других отношениях совершенно неподходящего. Он красив, если вам нравятся лица с резкими чертами, мрачные, словно их владельцев преследуют призраки или терзает повышенная кислотность желудка. Но если оставить в стороне способности ученого, Холлиер — полный осел.

Нет, Даркур, это несправедливо. Он умеет глубоко чувствовать: посмотри, как он верен этому безнадежному неудачнику Парлабейну. Чертов Парлабейн! Он разболтал Макваришу про Марию, и, когда Эрки сказал «умеет читать между строк», мне стало совершенно очевидно, что они обсуждали ее и делали какие-то выводы — совершенно несправедливые, как все выводы мерзких характером мужчин относительно женщин.

Артур Корниш ей нравится, подумать только! Нет, «очень нравится» — это Эрки сказал. Очередное преувеличение. Но преувеличение ли? Зачем ей понадобилось упоминать Корниша, когда мы говорили о методах записи средневековой музыки? Что-то насчет коллекции его дяди, но имело ли это отношение к делу? Мне прекрасно известна привычка влюбленных вставлять в любой разговор имя любимого человека — только для того, чтобы лишний раз произнести это

волшебное слово, ощутить его во рту.

Даркур, твоя беда в том, что ты позволил себе сойти с ума из-за девицы.

Это вызвало очередную внутреннюю бурю, после чего я попытался применить ряд освоенных мною методов теологической критики для изучения собственного сознания.

Даркур, твоя беда в том, что ты начинаешь влюбляться в Марию Магдалину Феотоки. Что за имя! Мария Магдалина, женщина с семью бесами; и Феотоки, Божественное материнство Девы Марии. Конечно, у людей бывают самые удивительные имена, но какой контраст! Именно он не давал мне покоя.

О болван! О кретин! О тварь втройне безумная![88]

«До какой степени человек, вроде бы в здравом уме, может сам себя обманывать?» — «Ты — полнеющий священник средних лет…» — *«…да, но твоя Церковь разрешает священникам вступать в брак, не забывай об этом…»* — «Заткнись, разве я сказал хоть слово о браке?» — *«…но ты о нем думал, и, кроме того, у тебя ископаемые, мещанские взгляды, для тебя любовь и брак неразрывно*

---

**[88] Примечания: 88**

*О тварь, втройне безумная!* — Перефразированная цитата из пьесы У. Шекспира «Антоний и Клеопатра», акт IV, сц. 10, перев. М. Донского.

*связаны…»* — «…вернемся к делу. До какой степени человек, вроде бы в здравом уме, может сам себя обманывать? Ты сделал неплохую карьеру, живешь обеспеченной жизнью…» — *«…но одинокой…»* — «…кто разгладит подушку, на которую опустится твоя голова в час смерти?» — *«…ты что, всерьез ожидаешь, что эта прекрасная женщина проводит тебя до могилы?»* — «До какой степени человек, вроде бы в здравом уме, может сам себя обманывать? Что ты можешь ей предложить? Поклонение». — *«Подумаешь! Ей будут поклоняться десятки мужчин — молодых, красивых, богатых, как Артур Корниш».* — «Он, должно быть, ее любит: вспомни, как ему неприятны были сегодняшние разговоры Эрки о ней, сначала днем, а потом вечером. Есть ли у тебя хоть один шанс в соперничестве с ним? А с Красавчиком Клемом? Даркур, ты дурак».

Разумеется, я могу любить ее безнадежно. История знает множество таких случаев. Начиная со времен, упомянутых Робертой Бернс, — с тех пор, как наши волосатые предки перестали кусать своих женщин и кидать им кости от своего ужина, съеденного сырым. Человечество понесло еще больший груз безнадежной любви с тех пор, как Идеалист и Бабник стали разными аспектами

одного и того же влюбленного.

Да, я идеалист, несомненно. У меня есть определенный опыт, но я довольно давно не… и не могу сказать, что мне этого сильно не хватало… Но Мария молода и в расцвете красоты. Одного обожания и остроумных разговоров ей будет недостаточно.

Господи, как я вообще в это вляпался?

## 4

Однако я вляпался. По уши влюблен в собственную студентку — в такой ситуации преподаватель выглядит либо негодяем, либо дураком. В течение многих недель я делал все, что мог: не разговаривал с Марией вне занятий, чрезвычайно скрупулезно оценивал ее работы, но они были настолько безупречны, что это не составило особой разницы. Я был полон решимости держать свое безумие взаперти.

Но моей решимости был нанесен страшный удар, а в сердце разгорелся могучий огонь, когда после последнего занятия перед Рождеством Мария задержалась и робко сказала:

— Профессор Даркур, вы бы не согласились прийти на ужин к моей матери на следующий день после Рождества? Мы будем очень рады,

если вы сможете.

Рады! Рады!! Рады!!!

# Второй рай V

## 1

Парлабейн стал постоянным атрибутом моей жизни, и я приняла это без радости, но философски, если мне будет разрешено использовать такое слово. Я не уверена: в результате более глубокого знакомства с Парлабейном стало ясно, что словом «философия» разбрасываться нельзя. Это была его специальность: он — профессиональный философ, по сравнению с которым большинство людей, обращающих умы к великим вопросам, — лишь путаники с кашей в голове. Но если мне позволят употребить слово «философски» для обозначения мрачной капитуляции перед лицом неизбежного, то я приняла почти ежедневное одно-двухчасовое пребывание Парлабейна в комнатах Холлиера философски.

Вместе с монашеской рясой он отбросил особую манеру держаться — полуподобострастную-полупрезрительную. Он больше не был нищенствующим монахом, втайне презирающим тех, у кого просит милостыню. Но вязанье он по-прежнему носил с собой, в коричневом бумажном пакете

из магазина, где, кроме этого, лежало несколько книг и что-то похожее на грязное полотенце. Вспоминая его слова, я слышу щелканье вязальных спиц, которое их сопровождало. Теперь Парлабейн преподавал философию на вечерних курсах, где люди зарабатывали университетский диплом медленно, по крупицам. Мне страшно думать, чему он их учил, потому что от вещей, которые он говорил мне, у меня иногда стыла кровь в жилах.

— Молли, я отношусь к числу настоящих философов-скептиков, которых очень немного в мире. О да, проповедники скептицизма существуют, но они своей жизнью доказывают, что сами не верят в свои проповеди. Они любят своих родных, жертвуют в фонд борьбы с раком, терпеливо и порой одобрительно слушают всю ту чушь, из которой в основном состоят разговоры о политике, обществе, культуре и прочем, — даже в университете.

Однако подлинный скептик все время живет в атмосфере тщательно поддерживаемого сомнения во всем; для скептика любое утверждение или предположение недостаточно хорошо, чтобы с ним согласиться. Разумеется, если какой-нибудь глупец скажет скептику, что сегодня хорошая погода, тот, скорее всего, кивнет, потому что у

него нет времени спорить с дураком о подлинном значении слова «хороший». Но во всех важных вопросах он воздерживается от суждений.

— Неужели он не признает хотя бы некоторые вещи хорошими, а некоторые — плохими? Желательными или нежелательными?

— Это было бы решение из области этики. Цель скептика в вопросах этического характера — разоблачить всякие претензии; суждения такого типа, про которые вы говорите, претенциозны, ибо непременно основаны на какой-либо метафизике. Метафизика же — это попросту болтовня, хотя, надо признать, часто увлекательная. Скептицизм стремится помочь метафизическим суждениям уничтожить самих себя — повеситься на собственных подтяжках, так сказать.

— Но тогда у вас вообще ничего не остается!

— Не совсем так. Остается осторожное согласие с тем фактом, что противоположность любого общего утверждения можно доказать с тем же основанием, как и само это утверждение.

— Я не верю, что вы это всерьез! Месяца не прошло, как вы разгуливали в рясе. Значит, у вас не было никакой веры? Все это один циничный маскарад?

— Ни в коем случае. Вы делаете вульгарное

предположение о связи скептицизма с цинизмом. Цинизм — дешевка, циники обычно — ворчливо-сентиментальные люди. Христианство, да, пожалуй, и любая вера, достойная уважения в интеллектуальном плане, приемлема для скептика, поскольку он сомневается в способности чисто человеческого разума что-либо объяснить или оправдать; но христианство учит, что именно с грехопадением человека в мир пришло сомнение. За этим миром неуверенности и скорби лежит истина, и вера указывает путь к ней, поскольку она основана на существовании чего-то, что превыше человеческого познания и опыта. Скептицизм — от мира сего, дорогая моя, а вот Бог — не от мира сего.

— О боже!

— Вот именно. Таким образом, моя вера не мешала и не мешает мне быть скептиком по отношению ко всему, что находится в сем мире. Без Бога скептик повисает в вакууме, и его сомнение — его победный венец — одновременно является его трагедией. Трагедия человека без Бога так ужасна, что я не могу думать о ней дольше минуты или двух зараз. Падение человека было столь огромным несчастьем, что большинство людей просто не способно его вынести.

— Ни в чем нет уверенности, кроме Бога?

— Семь слов. В семистах тысячах, может быть, мне удалось бы изложить эту идею убедительнее, чем ваша резолюция в стиле «Ридерс дайджест».

— Можете не беспокоиться. Меня вы не убедили.

— Дражайшая Молли, я не могу назвать себя вашим старым другом, но все же, надеюсь, я ваш друг, так что рискну быть откровенным: я не пытаюсь вас ни в чем убедить. Поскольку ваш ум находится на той стадии развития, на которой находится, и ваш возраст и состояние здоровья таковы, каковы они есть, а ваш пол — фактор, который сейчас модно не брать в расчет в интеллектуальных дискуссиях, крайне маловероятно, что я смогу вас убедить в правдоподобии выводов, к которым я сам шел более тридцати лет и пришел ценой больших душевных страданий. Я не собираюсь обращать вас в скептицизм. Но этот университет платит мне — довольно скудно — за высказывание утверждений, которые я считаю истинными, перед лицом разнообразных студентов. Именно это я и делаю.

— Но если это их сломает? Нет истины, нет уверенности ни в чем.

— Значит, это их сломает. Они будут не в худ-

шем положении, чем миллионы других людей, сломленных другими средствами, гораздо менее элегантными, чем мои курсы философии. Разумеется, я говорю им то же, что сказал вам: если человеческий разум отказывается признать свое подчинение чему бы то ни было, кроме самого себя, то жизнь становится трагедией. Бог — фактор, изгоняющий эту трагедию. Но очень часто мои студенты обращаются к философии, чтобы изгнать Бога — обычно какого-нибудь мелкого божка, сотворенного их собственными родителями. Как у многих людей, лезущих в интеллектуалы, у моих студентов — тривиальные умы; они обожают трагедию и сложность.

Это был один из Парлабейнов. Я знала еще как минимум одного, не считая того Парлабейна, который пожирал спагетти, хлестал дешевое вино и вел похабные разговоры в «Обжорке», и того, который почти еженедельно брал у меня взаймы. Этот Парлабейн отнюдь не был философом-скептиком.

— Молли, вы не можете требовать, чтобы я постоянно обитал на головокружительных интеллектуальных высотах. Вот тогда я точно был бы последним шарлатаном. К тому же многие философы, которые увлекались этим, плохо

кончили. Взять хотя бы высокоумного романтика Ницше. Он постоянно держал себя на цепи. Разумеется, он тайно верил в свою чепуху, в то время как я, скептик, предан неверию ни во что, в том числе в свои самые заветные философские концепции. Ницше однажды сказал, что боги не могут существовать, потому что, если бы они существовали и он не был бы одним из них, он бы этого не вынес. Это все равно что сказать «никакая картина мира не может быть истинной, если в ней Фридрих Ницше не сидит на дереве выше всех». Я не таков: я признаю, что дерево состоит не из одной вершины; помимо кроны, у него есть еще и корень. Точнее, это предположение, которым я пользуюсь для практических целей, поскольку никогда не видел деревьев без корней и не слышал о существовании таковых.

Я много думал о деревьях. Они мне нравятся. Они красноречиво говорят о сбалансированном сомнении, которое, как я уже сказал, представляет собой отношение скептика к миру. Не может быть роскошной кроны без сильного корня, который трудится в темноте, вытягивая питание из почвы среди камней, подземных вод и мелких, буравящих почву тварей. Таков и человек: его великолепие, его плоды должны быть на виду,

должны приносить ему любовь и восхищение. А что же корень?

Вы когда-нибудь видели, как бульдозер расчищает участок земли? Бульдозер наезжает на большое дерево и толкает, толкает его неумолимо, пока не вывернет, не повалит; дерево кричит и стонет, когда огромные корни выдираются из земли. На такую смерть особенно тяжело смотреть. А когда дерево наконец падает, оказывается, что его корневая система по размерам не уступает кроне.

А что служит корнем человеку? Все, что питает его видимую часть, но самый глубокий корень, стержневой, — это ребенок, которым человек когда-то был: об этом я говорил, когда развлекал вас историей своей жизни. Этот корень уходит глубже всего, потому что тянется вниз, к предкам.

Предки — как торжественно звучит! Но корень ведет не к надутым лордам в париках на старинных портретах, так гордо выставляемых потомками; он идет в наши незримые глубины, то есть к жизненной грязи, которая питает все подлинное творчество и все достижения. Корни гораздо больше похожи на огромную плаценту, чем на генеалогические деревья, которые, кажется, состоят из одних ветвей.

— Вы говорите совсем как Озия Фроутс.

— Из-Дерьма-Конфетку? Вы его знаете? Можете нас познакомить?

— И не подумаю, если будете его так обзывать. Я считаю, что он — Парацельсов маг; он видит гораздо более широкую картину, чем любой другой человек, за исключением разве что профессора Холлиера. Истина лежит в скрытом и непризнанном.

— Да, в дерьме. Но что именно, по его мнению, там скрыто?

— Он не говорит, и я, скорее всего, не пойму его терминов, даже если он скажет. Но мне кажется, что это своего рода личная печать, и, может быть, она сильно меняется в зависимости от состояния умственного и физического здоровья; это будет новая мера… я не знаю чего, но чего-то вроде личности или индивидуальности. Мне не следует строить догадок.

— Я знаю, это не ваша область.

— Но если он прав, это область каждого человека, потому что открытие Озии Фроутса пойдет на благо каждого.

— Ну что ж, удачи ему. Но я, как скептик, сомневаюсь в науке — точно так же как и во всем остальном, за исключением случаев, когда сам

ученый — скептик, а таких немного. Вонь формальдегида не хуже аромата ладана стимулирует идолопоклонничество, присущее человеку от природы.

Я начала осознавать, что Парлабейн не просто капитальная помеха в моей жизни, а нечто более важное. Он создавал собственную атмосферу, и стоило ему посидеть пять минут на старом диване Холлиера, как эта атмосфера начинала распространяться по всей комнате. Глупо было бы называть ее гипнотической, но она определенно сковывала. Она заставляла меня соглашаться с Парлабейном в его присутствии, но сразу после его ухода осознавать, что я согласилась с очень многим, чего на самом деле не думаю. Все дело было в его двойственности: когда он был философом, он побеждал, потому что мог переспорить меня в два счета; а когда он становился человеком, говорящим о корнях древа личности, то был настолько возмутителен и хитроумен, что я не могла за ним угнаться.

Его «внешний человек» тем временем опускался все ниже. Монахом он смотрелся странно в канадском контексте — даже в «Душке», — но сейчас стал выглядеть как зловещий бомж. Подаренный неизвестным благодетелем костюм

был из хорошего серого английского сукна, но и с самого начала плохо сидел, а теперь превратился в мешковатое рубище, покрытое пятнами от еды. Брюки были слишком длинны — Парлабейну, видимо, надоело укрощать их с помощью подтяжек, и теперь он подпоясывался чем-то вроде старого галстука; края штанин, грязные и обтерханные, волочились по земле. Рубашка была постоянно грязна, и мне пришло в голову, что, может быть, с точки зрения развитого скептицизма обыкновенная чистоплотность кажется безумием. От него разило: не просто нестираной одеждой, а смрадом живой плоти. С приходом зимы Холлиер подарил ему собственное пальто, уже очень сильно поношенное; я звала его «звериным», потому что его манжеты и воротник были отделаны каким-то мехом, уже свалявшимся и облезлым; к пальто прилагалась меховая шапка, которая была Парлабейну велика и походила на замызганный парик. Из-под шапки на воротник свисали давно не стриженные волосы.

Безусловно, бомж, но не имеющий ничего общего с теми бомжами, которые шатались по университету, надеясь выпросить доллар у сердобольного профессора. То были конченые люди, у которых в глазах не светился разум, — на лицах

отражались только растерянность и отчаяние. У Парлабейна вид был почему-то значительный: покрытое шрамами, словно размытое, лицо впечатляло, а за толстыми стеклами очков плавали глаза, пригвождающие взглядом к месту.

Ко мне он относился примерно так, как предсказал Холлиер. Он не мог оставить меня в покое. Он явно думал, что я — безмозглая баба, желающая развлечения ради получить научную степень (не думайте, что в этом есть какое-то противоречие: безмозглые люди вполне способны защитить диссертацию). Но, несмотря на это, он явно хотел быть рядом со мной, разговаривать со мной, сбивать меня с толку своим интеллектуальным блеском. Это не было мне в новинку: в университетах вечно говорят о «преследовании женщин», или «харассменте», или называют это как-нибудь по-другому, согласно моде. Но гораздо чаще тебя лапают и задирают юбку в интеллектуальном смысле, причем люди, которые это делают, не подозревают, что их действия хоть как-то связаны с сексом. Парлабейн был не таков: его интеллектуальное соблазнение было грандиознее масштабом и гораздо интереснее, чем у среднего сотрудника университета. Конечно, он мне не нравился, но играть с ним было весело — на этом

уровне. Сексуальные восторги не всегда телесны, и хотя Парлабейн вряд ли соблазнил бы меня — даже в интеллектуальной плоскости, — ясно было, что этой продолжительной щекоткой он хотел в конце концов довести меня до умственного оргазма.

Конец ноября в Канаде может быть довольно романтичной порой. Голые деревья, морозный воздух, кружащийся ветер, зловещий свет, который иногда царит весь день, а около четырех пополудни тонет в стальной тьме. Все это навевает готичные настроения. В «Душке», столь готичном по архитектуре, поневоле впадаешь в северные фантазии. Иногда я ловила себя на мысли: уж не работаю ли я, будучи в таком расположении духа, на самого доктора Фауста, ибо Холлиер обладал Фаустовой неотступностью и во многом — его внешностью пытливого ученого. Но нет Фауста без Мефистофеля, и вот он — Парлабейн, такой же острый на язык, такой же забавный и иногда такой же страшный, как сам дьявол. Конечно, в пьесе Гёте дьявол носит элегантный костюм странствующего школяра. Парлабейн был внешне полной противоположностью, но по своей власти надо мной в любом разговоре, по своей способности при любых об-

стоятельствах убедить, что худшее — это лучшее, он, несомненно, годился в Мефистофели.

Я презираю женщин, которые ни разу в жизни не пожелали вступить в союз с дьяволом. Я не какая-нибудь деревенская дурочка вроде Гретхен, которую дьявол дал Фаусту в игрушки; я сама себе хозяйка, и, даже если получу то, чего желаю, и Холлиер объяснится мне в любви и предложит стать его женой или любовницей, я не собираюсь полностью в нем растворяться. Я знаю, это смелые слова, ибо лучших, чем я, женщин полностью поглотила любовь, но я надеюсь сохранить часть себя — пускай лишь как еще один дар возлюбленному. В любви я не хочу играть в старую игру — подчинение — и точно так же не терплю современной игры «может-да-может-нет-в-любом-случае-берегись»: дочь Тадеуша, наполовину цыганка, не опустится до подобного жалкого и тухлого жульничества. Парлабейн пытался соблазнить меня интеллектуально: повалить на спину, а потом оставить — растрепанной, задыхающейся; и все это — исключительно словами. Я решила посмотреть, не удастся ли мне сбить его с ног.

— Брат Джон, — сказала я как-то раз ноябрьским вечером, когда внешняя комната Холлиера

начала погружаться в полумрак, — я налью вам чашку чаю и задам вопрос. Вы рассказывали мне о мире философского скептицизма и о Боге как единственной возможности бегства из мира, проклятого трагической двойственностью. Но я постоянно работаю с трудами людей, которые думали по-другому, и нахожу их весьма убедительными. Я имею в виду Корнелия Агриппу, Парацельса и моего милого Франсуа Рабле.

— Желчные лютеране, все до единого, — парировал он.

— Возможно, еретики, но не лютеране. Разве могли такие высокие души согласиться с человеком, считавшим общество тюрьмой, полной грешников, в которой следует поддерживать порядок силой? Видите, я и о Лютере кое-что знаю. Но не пытайтесь отвлечь меня на Лютера. Я хочу говорить о Рабле, а он сказал, что свободное человеческое существо ищет кодекс поведения в собственном чувстве чести…

— Минуточку, он не говорил «свободное человеческое существо». Он писал о мужчинах: «Men that are free, well born, well-bred, and conversant in honest companies».

— Нечего цитировать по-английски; я знаю этот текст и по-французски: «Gens libres, bien nes,

bien instruits, conversant en compagnies honngtes», и хотела бы я посмотреть, как вы будете доказывать, что «gens» означает только мужчин[89]. Это значит «люди». Вы, как и многие, решили, что Рабле — женоненавистник, потому что читали только этот дурацкий перевод сэра Томаса Эркхарта…

— По правде сказать, я его недавно перечитывал, Эрки Маквариш мне его одолжил…

— Я дам вам его на французском, и вы обнаружите: намечая план идеального сообщества — которое почти что можно назвать университетом, — Рабле включает в него и женщин.

— В качестве развлечения, полагаю.

— Не полагайте. Читайте. Только по-французски.

— Молли, вы становитесь ужасным дятлом от науки.

— Грубостью вы меня с толку не собьете. А теперь отвечайте на мой вопрос: является ли чувство чести достаточным в качестве кодекса поведения?

---

**[89] Примечания: 89**

«Людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе…» (перев. Н. Любимова). Французское слово «gens» означает «люди». Английское «men» может означать как «люди», так и «мужчины».

— Нет.

— Почему нет?

— Потому что оно не может быть больше своего носителя — или носительницы, если уж вы намерены придираться. А понятия чести у дурака, малодушного человека, тупой деревенщины, крайнего консерватора и убежденного демократа капитально различаются. Причем любой из них, если обстоятельства сложатся нужным образом, пошлет вас на костер, перестанет выплачивать вам зарплату или просто выпихнет на улицу замерзать. Честь — это вопрос личных ограничений. Бог — нет.

— Ну, я лучше буду Франсуа Рабле, чем одним из ваших замороженных скептиков, которые хватаются за Бога как за спасательный круг в полярном море.

— На здоровье, будьте кем хотите. Вы романтик; Рабле был романтиком. Его чепуха подходит к вашей. Если лживая идея чести как единственного и достаточного руководства в вопросах поведения вас устраивает — то и хорошо! Вы закончите свои дни в одной лиге с идиотами-англичанами, строящими свою жизнь в соответствии с тем, что является и что не является этикетом.

— Слушайте, это казуистика и попытка зада-

вить собеседника авторитетом. Разве то, как человек жил, ничего не значит? Разве по его судьбе не видно, чего на самом деле стоят его убеждения? Наверное, вы предпочли бы прожить свою жизнь благородно, как Рабле, а не торчать в морозильнике скептицизма, гадая, когда наконец Господь откроет дверцу и разморозит вас?

— Это Рабле-то жил благородно? То-то он всю жизнь провел в бегах, прячась от людей, которые умели мыслить точней его.

— Он был великим писателем, щедрым и плодовитым, человеком широкого и гостеприимного ума.

— Романтизм. Чистый романтизм. Вы предъявляете критические мнения, как будто это факты.

— Ну хорошо, считайте, что в научной игре вы меня побили. Но не переубедили, поэтому в настоящей игре я не признаю себя побежденной.

— В настоящей?

— Да. Посмотрите на себя и на меня. Я счастлива тем, что делаю, а от вас ни разу не слыхала ничего приятного или одобрительного о том, что когда-либо сделали вы, кроме единственной любовной интрижки, которая плохо кончилась. Так кто из нас победитель?

— Молли, вы дура, красивая дура. И несете

чепуху таким нежным голоском и с таким очаровательным намеком на иностранный акцент, что юный гетеросексуал вроде Артура Корниша может принять вас за настоящую, чистой воды Аспазию.

— Такова я и есть или, во всяком случае, могу таковой стать. Вы все время говорите, что я женщина, а сами понятия не имеете, что это такое. У вас — мужской ум, и, надо полагать, неплохой, несмотря на то что он ничего не родит; у меня — женский ум; где ваш наслаждается тонкими различиями, там всё — одним цветом, а мой различает оттенки, которые посрамили бы и радугу. Мне не побить вас в вашей игре, но вы и отдаленного представления не имеете о моей.

— Красиво сказано. Предполагаю, что ваша нынешняя игра — романтизм. О, я говорю это не в оскорбительном смысле, но имея в виду игру фантазий, аллюзий…

— Продолжайте же: иллюзий. Но это лишь в том случае, если я позволю вам определять правила игры.

— Позвольте мне закончить. Я сказал вам, что крона моего дерева — скептицизм, не оставляющий нетронутым ничего, кроме благоговейного удивления перед Богом. Но у меня есть и корень,

питающий крону, и, как обычно, он — ее полная противоположность, крона вверх ногами: не на свету, а во тьме, не тянется вверх, а трудолюбиво копает вглубь. Мой корень, Молли, в романтике — и в царстве романтизма мы с вами можем встретиться и отлично позабавиться вдвоем. Как вы думаете, зачем я пишу роман? Скептики их не пишут.

— Ну, брат Джон, по тому, что я о вас знаю, я не могу и представить себе, зачем вы его пишете. Вы разговорчивы, но, мне кажется, у вас не очень богатое воображение; вы не трубадур, не бард, не маг и волшебник. Я не знакома ни с одним романистом, но вы мне кажетесь неподходящим кандидатом для такой работы.

— Сама моя жизнь — роман. Мой роман — это моя жизнь, слегка, но не очень тщательно замаскированная. Мне не нужно воображение: у меня есть богатейшие факты. Я пишу о себе, о людях, которые были для меня важны, о своих мыслях и о том, как они изменились. И я вам скажу, что после выхода романа многим из тех, кого я встречал на жизненном пути, придется покраснеть. Я пишу не ради самооправдания, но чтобы засвидетельствовать вехи замечательного духовного приключения, и пускай читатели сами судят. А

они, несомненно, будут судить.

— Вы мне дадите его прочитать?

— Когда он выйдет, я, может быть, дам вам экземпляр. Рукопись вы читать не будете. Я позволяю это лишь одному-двум друзьям, чьему литературному вкусу доверяю. Вы поклонница Рабле, а потому не годитесь. Это будет очень серьезная книга.

— Спасибо на добром слове.

— А пока что вы можете оказать неоценимую практическую помощь. Об этом как-то не задумываются, но писательство обходится писателю в круглую сумму, пока книга не закончена. Вы бы не могли изыскать такую возможность и одолжить мне пятьдесят долларов на несколько дней?

— У меня записано, что вы уже должны мне двести шестьдесят пять долларов. Вы аккуратист, брат Джон: всегда занимаете сумму, кратную пяти. Почему вы считаете, что я буду и дальше давать вам взаймы теми же темпами?

— Потому что у вас есть деньги, милое дитя. Гораздо больше, чем у среднего студента.

— Почему вы так думаете?

— Я наблюдателен. Когда у человека есть деньги, это трудно скрыть. Но у вас их много. Может,

вам Холлиер дает?

— Убирайтесь!

Но он и не подумал убраться, а я уже знала, что не стоит затевать борцовский поединок с таким мускулистым человеком: даже под этим ужасным костюмом он выглядел необычайно сильным. Он сидел на диване и ухмылялся, а я упрямо занялась работой, пытаясь не обращать на него внимания.

Почему он это сказал? Я уверена, что Холлиер не говорил ему ничего про наше единственное и, как мне теперь казалось, бессмысленное и ничем не оправданное совокупление на этом диване. Нет, конечно, это совершенно не в духе Холлиера, даже принимая во внимание отвратительное пособничество и лояльность мужчин друг к другу в том, что касается женщин.

Я знала, что краснею, — эту склонность мне так и не удалось перебороть. Почему? Видимо, от гнева. Я сидела, что-то писала, перекладывала бумаги и все сильнее чувствовала на себе гипнотический взгляд Парлабейна. Вдруг он запел — очень низким и неожиданно нежным голосом — песню, которую я ненавижу больше всего на свете. Ею дразнили меня девчонки в школе, выведав что-то о моей семье.

*Спи, цыганка, спи, голубка,*
*Сладко-сладко спи,*
*Пусть тебе расскажет песня*
*О моей любви.*

Это стало последней каплей. Я уронила голову на стол и зарыдала. Как нечестно дерется Парлабейн!

— Мария, что случилось, вам нехорошо? Моя песенка затронула в вас какую-то струну, которой лучше было бы молчать? Ну-ну, миленькая, не надо так плакать. Вы, наверно, недоумеваете — как я узнал? Чистая интуиция, дорогая. Видите ли, у меня очень сильная интуиция. Это часть моего корня, а не кроны. Я могу очень многое выведать, просто глядя, слушая и позволяя своим корням питать крону. Если вы хотите, чтобы я никому не говорил, можете положиться на меня. Но вы же знаете — есть люди, которые вами интересуются, потому что вы так красивы и так желанны для людей, которые желают женщин. Эти люди терзают меня вопросами, пытаясь выведать что-нибудь о вас: они думают, что это знание — первый шаг к обладанию вами. Иногда мне трудно им противостоять.

Так что он получил свои пятьдесят долларов.

Сунул их во внутренний карман и поднялся. У самой двери он снова заговорил:

— Молли, не думайте, что я подозреваю вас в глупом и низком желании скрыть свою цыганскую кровь. Я для этого слишком проницателен. Я думаю, вы пытаетесь ее подавить, потому что она — противоположность современной женщине, женщине-ученому, созданию плоть от плоти этого века и этой жалкой и тухлой культурки. То есть всему тому, чем вы пытаетесь стать. Вы не пытаетесь ее скрыть, вы пытаетесь выдрать ее с корнем. Знайте, у вас ничего не получится. Мой совет вам, дорогая: позвольте своим корням питать крону.

## 2

Хорошо Парлабейну советовать мне примириться с моими корнями. Он не мог знать, да его и не волновало, во что эти корни обходились мне дома — в доме, который был вовсе не тайной пещерой чувств и наследственной мудрости, а крысиным гнездом двуличия и жульничества в цыганском стиле. Мамуся как раз готовила Ерко к очередному разбойному набегу на ничего не подозревающий, доверчивый город Нью-Йорк.

У этой парочки был там, как говорится, свой

человек — владелец одной из самых уважаемых нью-йоркских фирм, торгующих струнными инструментами. Другое отделение фирмы располагалось в Париже, и с этим отделением издавна вел дела род Лаутаро. Кое-кто из лучших музыкантов мира, играющих на струнных, а также армия музыкантов пониже рангом, но все же значительных: скрипачи первоклассных оркестров, их коллеги — альтисты, виолончелисты, контрабасисты, — все они время от времени нуждались в новом инструменте для себя или ученика, все приходили к этому известному торговцу и свято верили его суждениям.

Я не могу назвать его имя, ибо это означало бы выдать чужую тайну; и я не утверждаю, что этот торговец — жулик. Но запас хороших инструментов в мире не безграничен; лютьеры, работавшие в восемнадцатом и девятнадцатом веках, исчислялись не сотнями; на свете несколько тысяч прекрасных скрипок, но гораздо больше — не уступающих им или почти не уступающих, вышедших из мастерских мамуси с Ерко и им подобных. И вот торговец музыкальными инструментами говорил покупателю: «Если этот Николя Люпо дороговат для запасного инструмента, я могу вам предложить другую скрипку. Это под-

линник мирекурской школы, но, поскольку у нас нет полного досье на всех ее прежних владельцев, мы не чувствуем себя вправе просить за нее столько же. Возможно, она хранилась у какого-нибудь богатого любителя. Такая красотка — и за смешные деньги». Покупатель пробовал скрипку, иногда брал ее попользоваться, чтобы привыкнуть, и в конце концов покупал.

Я не буду утверждать, что он получил плохую скрипку или что ни одна ее деталь не была изготовлена в Мирекуре. Но может статься, что завиток — красивый, символичный, не очень важный элемент скрипки — полтора года назад был выструган Ерко. А может быть, нижнюю деку — или даже верхнюю — любовно сотворила мамуся из прекрасной белой пихты или клена, купленных у производителей пианино. Угловые клоцы — наверняка работа мамуси, сколь бы подлинным ни было все остальное. И все скрипки, альты, виолончели из подвала дома 120 по Уолнат-стрит заново покрывались лаком — слой за слоем лака, состав которого был секретом рода Лаутаро. Лак делался по методам старинных мастеров из смол и окаменелого янтаря — все это стоило кучу денег и добывалось большой хитростью. О нет, мамуся и Ерко не жулики, они

не подсовывают дешевый товар задорого; пройдя через *бомари*, скрипка их работы становилась прекрасным инструментом. Ее составляли куски других инструментов, сломанных или поврежденных и потому купленных по дешевке. По необходимости добавлялись новые детали. Эти скрипки — чудо мастерства, но все-таки не совсем то, чем кажутся.

Мамуся и Ерко продавали романтику — романтику старины. Скрипичных дел мастера существуют и ныне — в неромантичных местах вроде Чикаго. Они делают прекрасные инструменты, в физическом отношении ничуть не уступающие работам великих лютьеров прошлого. Этим инструментам не хватает лишь аромата веков. Да, многие скрипачи — циники, а некоторые всего лишь ремесленники, члены профсоюза, в них от художника ровно столько, сколько требуется, чтобы играть в последнем ряду симфонического оркестра в маленьком городке. Но все равно они подвержены очарованию старины. Романтика и старина — вот что продавали мамуся и Ерко, вот за что известный торговец скрипками брал большие деньги, поскольку тоже понимал всю ценность романтичной старины.

Почему меня это трогало? Потому что я пошла в

подмастерья — осваивать нелегкое ремесло ученого, а научный мир приходит в ужас от любого намека на фальсификацию и покрывает позором человека, заявляющего, скажем, о существовании шекспировского издания ин-кварто, которое никто, кроме него, не может найти. Если какое-то утверждение невозможно доказать в том или ином разрезе, оно подозрительно и, вероятно, ничего не стоит. Скажете, дешевое пуританство? Нет, но эту позицию невозможно примирить с романтической ложью прекрасных инструментов неясного происхождения, а на самом деле — рожденных в подвале нашего дома.

Для набегов Ерко собирал компанию, которую сам называл струнным квартетом Кодая. Трое других участников — музыканты, попавшие в ту или иную этическую или финансовую передрягу, — были рады бесплатно проехаться в Нью-Йорк в фургончике Ерко с десятком скрипок, которые затем оставались у торговца; Ерко возвращался в Канаду, пересекая границу в другом месте, уже без квартета, но с кучей мусора — сломанных или разобранных инструментов — в кузове машины. Ерко, крупный, меланхоличный, с длинными темными волосами, в глазах таможенников был воплощением музыканта. В

порядке приготовлений к поездке мамуся должна была протрезвить Ерко, чтобы он без проблем вел машину и как следует торговался. И еще — внушить ему, что, если он пойдет с этими деньгами в казино, мамуся его из-под земли достанет и он об этом сильно пожалеет. За скрипки платили наличными, и Ерко возвращался из Нью-Йорка с пачками денег за подкладкой мешковатого артистического черного плаща. Мамуся и дядя рассуждали так: Ерко слишком бросается в глаза и выглядит как в высшей степени типичный музыкант, а потому его никто не заподозрит.

Такова была основа их бизнеса. Еще они делали абсолютно честную работу для нескольких музыкантов высочайшего класса: за нее не так хорошо платили, но Ерко и мамусе, как скрипичных дел мастерам, было лестно, что им поручают такую работу; это поднимало их репутацию среди людей, снабжавших романтикой и надежными скрипками оркестры Северной Америки.

## 3

У цыган считается неприличным болеть, и в нашем доме это никому не позволялось. Поэтому, схватив сильный грипп, я делала все возможное, чтобы скрыть это от мамуси. Та предположила,

что у меня простуда, а о том, чтобы оставаться в постели, то есть на диване в общей гостиной, и подумать было нельзя. Мамуся заставляла меня лечиться единственным методом, который она признавала, — зубками чеснока, засунутыми в нос. От этой гадости мне становилось еще хуже, поэтому я тащилась в университет и укрывалась в комнате Холлиера, где сидела на диване, если Холлиер должен был прийти, а все остальное время — лежала и жалела себя.

А почему бы и нет? Что, у меня не было проблем? Мой дом был неудобным обиталищем, прибежищем двуличия, где мне даже отлежаться по-человечески негде. (*«Дура, ты богата! Сними себе квартиру и повернись к ним спиной».* — «Да, но это заденет чувства матери и дяди, а я люблю их, несмотря на все их ужасные выходки. Бросить их значило бы бросить то, что Тадеуш завещал мне любить».) Чувство к Холлиеру уже начинало меня утомлять: он ни единым знаком не давал понять, что наша мимолетная близость может повториться или что я ему хоть как-то небезразлична. (*«Ну так подтолкни его. Где твоя женская хитрость? Ты в таком возрасте и живешь в такое время, что тянуть резину в этих вопросах неуместно».* — «Да, но мне стыдно даже подумать

о том, чтобы на него вешаться». — *«Дело твое. Не хочешь протянуть руку и взять еду — будешь голодать».* — «Но как это сделать?» — *«„Там в окошке свет зажегся, а в нем девка голяком“!»* — «Хватит! Заткнись! Хватит петь!» — *«Я пою от корня, Мария; а чего ты ждала? Эльфийских колокольчиков?»* — «О боже, это Гретхен, она слушает дьявола в церкви!» — *«Нет, Мария, это твой добрый друг Парлабейн, но ты недостойна такого друга; ты кроткая дурочка».*) Моя научная работа застопорилась. Я ковырялась с Рабле, чьи существующие тексты уже знала очень хорошо, но мне обещали великолепную рукопись, которая привлечет ко мне нужное внимание — вознесет меня ввысь, туда, где мамуся с Ерко уже не смогут меня позорить. Но после единственного разговора в сентябре Холлиер так ни слова и не сказал об этой рукописи. (*«Так спроси его».* — «Я не осмелюсь: он лишь скажет, что сообщит мне, когда будут какие-либо новости».) Мне было ужасно плохо, у меня была высокая температура, а голову как будто набили масляной ветошью. *(«Прими два аспирина и ляг».)*

Так я и лежала как-то днем в глубоком сне (и наверняка с открытым ртом), когда вернулся Холлиер. Я попыталась вскочить и упала. Он помог

мне снова лечь, потрогал мой лоб и посерьезнел. Я уронила несколько слезинок от слабости и объяснила, почему не болею дома.

— Наверное, вы беспокоитесь из-за своей работы, — сказал он. — Вы не знаете, что будете делать дальше, а виноват я. Я думал, у меня раньше будет возможность поговорить с вами о той рукописи, но она, черт бы ее взял, пропала. Нет, клянусь Богом, ее украли, и я знаю кто.

Его рассказ захватил меня. К тому времени как Холлиер поведал мне о наследстве Корниша, о попытках профессора Даркура припереть профессора Маквариша к стенке из-за рукописи, которую тот почти наверняка одалживал, и о совершенно неудовлетворительной позиции Маквариша во всей этой истории, мне сильно полегчало. Я даже смогла встать и заварить для нас чай.

Я никогда не видела Холлиера в таком настроении. Он все время повторял:

— Я знаю, что она у этого негодяя; он ее прикарманил! Как есть собака на сене. Что он собирается с ней делать, скажите мне, Христа ради!

Я попыталась изобразить голос разума:

— Он занимается Ренессансом — надо думать, хочет написать о ней что-нибудь по своей ли-

нии.

— Он занимается совершенно не тем! Что он знает об истории человеческой мысли? Он знает про политику эпохи Ренессанса и какие-то крохи про искусство, но не имеет ни малейших оснований называться историком культуры или идей, а я — имею, и мне нужна эта рукопись!

Какое славное зрелище! Холлиер в гневе, не слушает доводов рассудка! Я видела его в таком возбуждении лишь однажды — когда рассказала ему про *бомари*. Меня не волновало, что он несет бред.

— Я знаю, что вы сейчас скажете. Вы скажете, что в конце концов рукопись выйдет на свет, потому что Маквариш о ней напишет, и тогда я смогу потребовать, чтобы он ее предъявил, и обличу всю ту чепуху, которую он написал. Вы скажете, что я должен пойти к Артуру Корнишу и потребовать у него, чтобы он потребовал у Макквариша рукопись. Но юный Корниш ни черта не знает о таких вещах! Нет, нет, мне нужна эта рукопись, пока никто другой не наложил на нее лапы. Я вам уже сказал, я не успел как следует рассмотреть те письма. И беглого взгляда, конечно, хватило, чтобы понять, что они написаны на латыни, но вдобавок к этому много греческого

— цитаты, надо полагать, — и несколько слов по-древнееврейски — большие, неуклюжие, неподатливые еврейские буквы так и торчали в тексте. Как вы думаете, что это значит?

Я догадывалась, но решила, что лучше пусть он сам скажет.

— Каббала — вот что это значит! Рабле писал Парацельсу про каббалу. Может быть, он в ней хорошо разбирался; может быть, он ее отвергал, а может, интересовался ею и задавал вопросы. Возможно, он принадлежал к группе людей, которые пытались христианизировать каббалу. Но как бы там ни было, сейчас важнее всего на свете написать об этом! Что я и намерен сделать: открыть эту подборку писем и опубликовать ее как следует, а не в какой-нибудь недоделанной макваришевской интерпретации.

— А вдруг там нет ничего особенного. То есть я надеюсь, что там есть что-то интересное, но вдруг?

— Не глупите! В те времена, знаете ли, если один великий ученый писал другому, то уж точно не с целью поболтать о погоде. Это было опасно: письма могли попасть в руки жестоко карающих церковных властей, и имя Рабле снова смешали бы с грязью. Неужели я должен вам напоми-

нать? Протестантизм в то время — все равно что коммунизм в наше, а Рабле был слишком близок к протестантизму и потому находился в постоянной опасности. Но за каббалу его могли и посадить. А если он достаточно далеко зашел, то и казнить! Сжечь на костре! «Ничего особенно интересного»! Мария, вы меня разочаровали! Потому что, знаете ли, в этом деле мне нужна уверенность, что я могу на вас положиться. Когда опубликуют мой комментарий к этим письмам, ваше имя будет стоять рядом с моим, потому что я хочу возложить на вас всю работу по сверке греческих и древнееврейских цитат. Более того, «Стратагемы» полностью ваши — вы будете их переводить и редактировать.

В плане отношений между учеными это была просто фантастическая щедрость. Если он заполучит письма, мне достанется исторический комментарий. Какая красота!

Тут Холлиер повел себя в высшей степени нехарактерно. Он принялся яростно ругаться и швырнул свою чашку об пол, схватил мою и тоже разбил, потом — заварочный чайник. Потом, снова и снова выкрикивая имя Макварища, схватил деревянный поднос, расколотил о спинку стула и стал топтать ногами осколки фарфора, обломки

дерева и заварку. Лицо его потемнело от гнева. Не сказав мне ни единого слова, он выбежал во внутреннюю комнату и захлопнул дверь. Я сидела, сжавшись в комочек, на диване: во-первых, ради безопасности, во-вторых, чтобы удобнее было любоваться гневом Холлиера.

Но он не сказал ни слова о любви. Мне было почти стыдно обращать внимание на такие вещи, когда на карту поставлены грандиозные научные материи. Я все же обратила внимание. Но Холлиер был так зол на Макварища, что больше ничего не замечал.

Тем не менее он продемонстрировал мне свои чувства, показал, что ему не чужды человеческие заботы, хотя бы и о себе самом. Именно в те моменты, когда Холлиер пылал страстью к науке, он становился чем-то большим, нежели рассеянный, отстраненный профессор, он сбрасывал оболочку, которую всегда показывал миру. Когда я впервые рассказала ему про *бомари*, он сделал нечто необычное; рассказывая мне про рукопись Грифиуса, он оба раза терял самообладание, и на этот раз вышел из себя. Во всех трех случаях он словно становился другим человеком — моложе, физически бодрее; страсть толкала его на действия, чуждые его обычному «я».

Это был корень Холлиера, а не суровая крона ученого профессора. Время от времени до меня доносились его крики. Иногда я разбирала слова вроде: «И этот болван еще хотел, чтобы я пошел к Макваришу и все ему рассказал!» Что рассказал? Какой «этот болван»?

Я собрала все с пола, находясь в состоянии полного счастья. Гнев Холлиера излечил меня от гриппа.

Или почти излечил. Вечером, когда я пришла домой, мамуся сказала:

— У тебя простуда прошла, но ты совсем белая. Я знаю, девочка, что с тобой не так: ты влюблена. В своего профессора. Как он там?

— Лучше не бывает, — ответила я, думая о буре, разыгравшейся сегодня.

— Прекрасный мужчина. Очень красивый. Он уже занимался с тобой любовью?

— Нет. — Я не хотела откровенничать с мамусей.

— Ах эти *гаджё*! Они медлительны, как змеи по осени. Надо полагать, ему нужна светская жизнь. Для них очень важна светская жизнь. Мы должны показать тебя в выгодном свете. Пригласи его к нам на Рождество.

Мы долго спорили об этом. Я не очень пони-

мала, что подразумевает мамуся под светской жизнью; когда Тадеуш был жив, они с мамусей никогда не принимали гостей, только водили их в рестораны, на концерты или в театр. Великая перемена после смерти Тадеуша положила этому конец: у мамуси не было друзей в деловых и профессиональных кругах *гаджё*-венгров, и она растеряла прежние знакомства. Но стоило мамусе вбить себе что-нибудь в голову, и я уже не могла ее отговорить. Званый ужин занимал все ее мысли, хотя для нее, как цыганки, Рождество никогда не было большим праздником. Я попробовала говорить откровенно:

— Я не позволю тебе пригласить его сюда и водить меня перед всеми, как цыганского пони на продажу. Ты не знаешь обычаев этих людей.

— Так, значит, в моем возрасте я еще и дура? Я буду вести себя бонтонно, как любая дамочка-*гаджи*, — так гладко, что и вошь соскользнет. Водить тебя? Разве так это делается, *пошрат*? Никогда! Мы все сделаем, как важные дамы в Вене. Пускай он увидит, что не он один тебя хочет.

— Мамуся! Он меня вовсе не хочет!

— Это он так думает. Он сам не знает, чего хочет. Предоставь всё мне. Я хочу, чтобы этот человек стал отцом моих внуков, и давно пора уже. Мы

заставим его ревновать. Ты должна пригласить еще одного мужчину.

Какого мужчину? Артура Корниша? Мы с Артуром довольно часто куда-нибудь ходили и уже начали становиться добрыми друзьями, но он не делал никаких движений в мою сторону, только раз или два поцеловал на прощание, а это не считается. Артура ни в коем случае нельзя вводить в мамусин мир.

Она в это время думала:

— Чтобы Холлиер начал ревновать, ты должна пригласить кого-нибудь равного ему или чуть выше. Кого-нибудь, у кого получше манеры, кто лучше одевается, у кого больше украшений. Другого профессора! Ты знаешь еще кого-нибудь?

Так и вышло, что я пригласила профессора Даркура к нам на семейный ужин в «день подарков». Когда я набралась храбрости и заговорила об этом, у него как-то странно изменился цвет лица — розовая волна пошла из-под воротничка вверх, словно бокал наполняли вином. Я испугалась. Может быть, он слышал, что я живу в цыганском доме? Может, он боялся, что ему придется сидеть на полу и есть печеного ежика, по-видимому единственное известное *гаджё* блюдо цыганской кухни. Когда профессор Даркур сказал, что да, он

с удовольствием придет, я испытала огромное облегчение. Выходя из аудитории, я с удивлением заметила, что он по-прежнему смотрит на меня и порозовел еще сильнее. Но он очень подойдет. Он ровесник Холлиера, у него прекрасные манеры, он одевается элегантно, несмотря на полноту; конечно, он не носит то, что мамуся сочла бы украшениями, но золотой крестик тонкой работы болтается у него на цепочке от часов, пересекающей, надо полагать, сорок футов литературных кишок, по выражению профессора Фроутса. Да, Симон Даркур — то, что надо.

— Священник? — переспросила мамуся, когда я ей сказала. — Надо предупредить Ерко, чтобы не ругался.

— Ты позаботься, чтоб он был трезвый.

— Положись на меня, — ответила мамуся.

Я восприняла эти слова со всем возможным оптимизмом, но не без опасений.

## 4

Предупреждать Ерко, чтобы не ругался, не пришлось. Он вернулся из Нью-Йорка, отяжелев от спрятанных денег, но с легким сердцем, ибо он нашел там бога, которому теперь поклонялся, и этого бога звали Беби Исус. Какой-то прия-

тель повел Ерко в Метрополитен-музей, где в отделе средневекового искусства разыгрывали рождественскую пьесу в честь наступающего праздника. Друг решил, что Ерко понравится средневековая музыка, которую играли на настоящих средневековых альтах и разных других инструментах; один из них напоминал цимбалы, или цыганский дульцимер, которым Ерко владел мастерски. Но прихотливая душа Ерко увлеклась сюжетом — благовещение, непорочное зачатие, поклонение пастухов и путешествие волхвов. Вообще цыгане считаются католиками, но душа Ерко, не замутненная ни образованием, ни конвенциональной религией, была широко открыта чуду; в возрасте пятидесяти восьми лет он преобразился новообретенной верой в Чудесного Младенца. Поэтому он приобрел роскошный рождественский вертеп из резного раскрашенного дерева и, как только вернулся домой, приложил к нему все свои таланты мастерового и резчика по дереву, чтобы довести его великолепие до высшей степени, какую только мог измыслить. И действительно, вертеп вышел роскошный, хотя и несколько пестроватый и вульгарный, в цыганском стиле.

Ерко поставил его в гостиной, где и без то-

го негде было повернуться от лучшей мебели, купленной мамусей и Тадеушем в эпоху, когда они занимали весь дом, но вертеп затмил все. Ерко молился перед ним, а проходя мимо, обязательно отвешивал низкий поклон и бормотал приветствие Беби Исусу. Беби Исус трудами Ерко облачился в красный бархатный наряд, сшитый мамусей и украшенный мелким жемчугом, и увенчался крохотной короной тонкой работы из меди и золота.

Мне был неприятен этот Беби Исус — он шел вразрез с тем, что я привыкла считать необходимой для ученого строгостью ума, не вязался с моим раблезианским презрением к суевериям и моей жаждой… чего? Надо полагать, какой-то канадской конвенциональности, держащей религию строго в отведенном месте, где ее не положено высмеивать, но и руководствоваться ею тоже не положено. Что скажут наши гости про это необычайное святилище?

Они сочли его великолепным. Они прибыли одновременно, хотя Холлиер пришел пешком, а Даркур приехал на такси. Гости издали положенные (слегка преувеличенные) восклицания радости при виде друг друга, как всегда делают люди на Рождество. Не успела я забрать у Дар-

кура пальто, как он бросился в комнату и встал перед вертепом, погрузившись в восхищенное созерцание.

Я предупредила Ерко, что один из гостей — священник, и Ерко, типично для него, решил, что это Холлиер, так как тот был строже одет.

— Добрый отец, — сказал он, низко поклонившись, — я желаю вам всяческого счастья в день рождения Беби Исуса.

— О… а, да, разумеется, мистер Лаутаро, — сказал Холлиер, сильно растерявшись.

По-моему, в свой первый визит он ни разу не слышал голоса Ерко, а тот говорил будто человек, сидящий в колодце с густой нефтью, — басом, глубоким и маслянистым.

Но тут Ерко увидел сверкающий воротничок Даркура, и я даже испугалась, что сейчас мой дядя по-крестьянски поцелует священнику руку. С моей точки зрения, такое начало совершенно не годилось для званого вечера.

— Это мой дядя Ерко, — сказала я, вставая между ними.

У Даркура было очень развито социальное чутье, и он сразу понял, что «мистер Лаутаро» прозвучит совершенно неуместно.

— Можно, я буду называть вас Ерко? — спросил

он. — А вы меня — Симон. Эта прекрасная композиция — вашей работы? Дорогой Ерко, это нас очень сближает. Это, несомненно, самая прекрасная вещь, какую я видел в нынешнее Рождество.

Он, кажется, говорил искренне. Наверно, я не подозревала, что исследователь-медиевист может питать такую страсть к барокко.

— Дорогой отец Симон, — сказал Ерко и снова поклонился, — вы очень наполняете мое сердце радостью. Это все для Беби Исуса. — Он прослезился, глядя на вертеп. — И это все тоже для Беби Исуса. — Он указал на обеденный стол.

Признаю, там творилось чудо. Мамуся распаковала сокровища, не видевшие света со дня смерти Тадеуша, и наш стол мог бы фигурировать в мистерии, посвященной семи смертным грехам, как алтарь *Gula*, или Чревоугодия. На скатерти, неровной от кружев, был расставлен полный фарфоровый сервиз марки «Ройял Краун Дерби», ценимый некоторыми знатоками. Он пестрел красными, синими и золотыми красками — апофеоз цыганского вкуса. Этот сервиз Тадеуш подарил мамусе, когда они собирались принимать гостей дома. Но случай так и не представился. И вот теперь тарелки поменьше стояли на больших сервизных тарелках среди

серебряных приборов с самым затейливым рисунком, какой когда-либо выходил из мастерских «Дженсен». В разветвленных канделябрах горел целый лес свечей, и цветы, на покупке которых я настояла, уже начали увядать от жара.

— Не одни *гаджё* могут все делать как следует, — сказала мамуся.

Если Даркур и боялся, что ему подадут запеченного ежа, теперь он мог увериться, что еж будет съеден среди роскоши, какой этот зверек не знал доселе.

Даркур принес великолепный большой рождественский торт и церемонно преподнес его мамусе. Она одобрительно приняла торт: подобные приношения хорошо укладывались в ее центральноевропейские понятия о приеме гостей. Холлиер пришел без подарка, но мне было приятно, что он надел хороший, хоть и неглаженый костюм.

Прелиминариев не было. Мы сразу сели за стол. Я еще раньше заикнулась насчет коктейлей, но мамуся была тверда: ничего подобного не бывало в ресторанах, где она выступала девушкой; Тадеуш же считал коктейли американской причудой, несовместимой с высоким стилем, как его понимали в Польше. Поэтому коктейлей не

было. Конечно, Даркура попросили произнести молитву перед едой, и он произнес ее — по-гречески; надо полагать, он счел этот язык наиболее подходящим к сервизу «Ройял Краун Дерби». Мамуся восседала во главе стола, Холлиер — слева от нее, а Даркур — справа; Ерко сидел на другом конце. К моему величайшему возмущению, меня назначили на роль подавальщицы; хоть у меня и был свой стул — рядом с Даркуром, — предполагалось, что я не буду сидеть там подолгу. Я должна была приносить еду из кухни, где гнула спину кухарка-португалка, запросившая двойную плату за работу в праздник и совершенно затюканная мамусиными указаниями и запретами.

— Дочери приличествует служить гостям, — сказала мамуся. — Не забывай улыбаться и потчевать их. Покажи себя с лучшей стороны. Пускай твой профессор увидит, что ты умеешь держаться в обществе. И надень платье с вырезом поглубже. Мужчины-*гаджё* любят туда заглядывать.

Я знала, что мужчины-*гаджё* любят туда заглядывать. Цыганок это не особенно волнует. У цыган принято закрывать женщинам ноги, а не грудь. Меня никогда не волновало, если мужчины заглядывали мне в вырез блузки, — Парлабейн

сказал бы, что это мой корень самоутверждается таким образом. В тот вечер я надела юбки до пят, как и мамуся, но что касается плеч и груди, мы обе были вполне откровенны. Правда, я, в отличие от мамуси, не повязала платок на голову. И не надела почти никаких украшений, если не считать пары цепочек и нескольких колец. Зато мамуся была самым разукрашенным объектом в комнате, за исключением Беби Исуса. Она была увешана золотом — настоящим: в ушах огромные кольца, а на шее монисто из талеров Марии Терезии весом унций тридцать.

— Вы смóтрите на мое золото, — сказала она Холлиеру. — Это мое приданое. Я принесла его с собой, когда выходила замуж за отца Марии. Но оно мое. Если бы брак вышел неудачным, я бы не осталась нищей. Но брак был удачный. О, замечательно удачный! Мы, женщины Лаутаро, — отличные жены. Наш род этим славится.

Она говорила с выражением, которое я не могу назвать иначе как ухмылкой. Меня это страшно смутило, и я покраснела. Потом рассердилась и покраснела еще сильнее, потому что видела: и Даркур, и Холлиер глядят на меня, а я играю роль стыдливой девы на смотринах. Все как у настоящих цыган.

Будь оно все проклято! Я — современная девушка, живущая в Новом Свете, — разряжена как цыганка и прислуживаю за столом у своей матери только потому, что не смею сказать ей «нет». А может, потому, что мой корень все еще сильнее моей кроны. Пока я молча бесилась, мои корни уверяли, что я выгляжу замечательно, а все потому, что краснею. Ну почему жизнь гораздо сложнее, чем привыкаешь думать, работая над докторской диссертацией!

Блюда подавали по порядку, который мамуся наблюдала в ресторанах времен своего девичества, и я думаю — нет, я уверена, что для наших гостей он стал потрясением. Не вся еда была краденой. В особенности вина — они были куплены, поскольку в наших краях продажа любых спиртных напитков контролируется государством, а украсть что-либо из магазина, управляемого департаментом контроля над спиртными напитками, трудно даже такой талантливой воровке, как мамуся. Правительство запускает руки во все карманы, а нос — во все стаканы, но за своим карманом следит очень тщательно. Поэтому густое красное вино и токайское, которые мы пили, были куплены за настоящие деньги. Правда, магазин, где их покупали, работал по принци-

пу самообслуживания, так что мамусе удалось стащить бутылку грушевого ликера «Губертус» и пару бутылок «Барака» — абрикосового бренди. Так что у нас был неплохой запас для пяти человек, не считая португалки, которой иногда нужно было подкреплять силы глотком-другим.

Мы начали с супа из омаров: он был украден мамусей в виде консервов и сильно выиграл от добавления хереса и самых густых сливок, какие только удалось купить. Затем настал черед пирога с крольчатиной, действительно превосходного, купленного во французской булочной. Гости ели это необычное блюдо с аппетитом, чему я была рада, так как пирог стоил безумных денег. Возможно, гости не догадывались, что за ним должны были последовать фаршированный карп в чесночном соусе, таком густом, что в нем стояла ложка, и смесь овощей, такая сложная, что они уже как будто и овощами быть перестали. К тому времени как Даркур отдал всему этому должное, у него на лбу выступила испарина.

Холлиер, к моему смятению, оказался шумным едоком. А шумно есть, когда за столом присутствует Ерко, не так-то просто. Холлиер жевал со смаком — челюсти ходили вверх-вниз, как поршни; он не производил впечатления обжоры, но ел

много. Боже, неужели он недоедает в результате одинокой профессорской жизни? Или его мать, живущая неподалеку, загрузила сына индейкой и пудингом, как положено на Рождество у канадцев их круга? Но Холлиер по шелдоновскому типу относился к тем, кто может есть очень много и все равно не нарастить мяса на костях.

За карпом последовали шербет, фруктовый лед — не в качестве десерта, завершающего трапезу, а, как выразилась мамуся, чтобы немножко пошутить с нашими желудками, пока мы не перейдем к следующему серьезному блюду. Им оказался настоящий *gulyás-hus*[90], снова с большим количеством чеснока и в изобилии, поскольку мамуся считала его самым важным блюдом, венцом пира.

На этом пир, собственно, и закончился, если не считать захерторта и абрикосового флана с кремом на основе бренди. Мамуся приказала каждому из гостей отведать захерторта, потому что он напоминал ей великую эпоху в Вене и придавал оттенок космополитизма ужину, который, как утверждала мамуся, во всем остальном был подлинно венгерским. И конечно, мы все долж-

---

**[90] Примечания: 90**
Мясной гуляш *(венг.)*.

ны были съесть по куску торта, принесенного священником.

Гости съели всё, выпили густое красное вино и благодушно перешли к токайскому.

Все это время за столом велась оживленная беседа, которая еще больше оживилась ближе к концу. Я была занята — таскала блюда на кухню и с кухни на стол, а также командовала португалкой, которую я, кажется, слишком сильно подкрепила алкоголем. На вздохи и стоны кухарки можно было не обращать внимания, но ближе к концу вечера она принялась бодро беседовать сама с собой, а время от времени открывала дверь и с пьяной серьезностью наблюдала, как идут дела.

Мамуся полностью вжилась в роль высокородной хозяйки дома, как она понимала эту роль, и решила поговорить с гостями об университете и о том, чем они там занимаются. С Даркуром ей было все понятно: он сам священник и учит священников. Он попытался объяснить, что он, строго говоря, не совсем священник в том смысле, в каком это слово знали мамуся и Ерко.

— Видите ли, я англиканин, — сказал он, — и поэтому, хотя я, конечно, священник, я могу назвать себя священником в пиквиковском смысле.

Если вы понимаете, о чем я.

Они не поняли, о чем он.

— Но вы любите Беби Исуса? — спросил Ерко.

— О да, безо всякого сомнения. Могу вас уверить: не меньше, чем наши братья в Риме. Или, если на то пошло, наши братья в Православной церкви.

Холлиер еще в свой первый визит объяснил мамусе, чем занимается. Теперь он продолжил объяснения, не упоминая, что считает мамусю культурной окаменелостью и обладательницей дикой души.

— Я смотрю в прошлое, — сказал он.

— О, и я тоже! — воскликнула мамуся. — Все мы, женщины рома, умеем смотреть в прошлое. А вам от этого бывает больно? Иногда, после того как я посмотрю в прошлое, у меня бывает ужасная боль в женских частях, надеюсь, вы меня извините за такие слова. Но мы тут все взрослые люди. Кроме моей дочери. Мария, поди на кухню, посмотри, что там делает Роза. Скажи ей, если она надколет хоть одну из этих тарелок, я ей сердце вырежу. Да, дорогой Холлиер, так, значит, вы учите смотреть в прошлое. Вы и мою дочь этому учите, а?

— Мария исследует жизнь одного замечательного человека, жившего в прошлом, некоего

Франсуа Рабле. Я думаю, его можно назвать великим юмористом.

— Что это такое?

— Он был великим мудрецом, но мудрость свою выражал в необузданных шутках и фантазиях.

— Шутках? Это вроде загадок?

— Да, я думаю, шутки можно считать загадками, потому что в них говорится одно, а подразумевается другое.

— Я знаю хорошие загадки, — сказал Ерко. — Но все больше такие, каких нельзя рассказывать при Беби Исусе. А вот эту сможете разгадать? Слушайте хорошенько. Что за большой хохочущий парень входит к королеве в спальню — даже к английской королеве, да-да — без стука?

Воцарилось неловкое молчание, какое всегда бывает, когда загадали загадку: слушатели делают вид, что пытаются ее разгадать, но на самом деле только ждут, чтобы им сообщили ответ.

— Не можете угадать? Большой, горячий, смеющийся парень, он может даже побыть у королевы на постели и заглянуть сквозь ее пеньюар. А? Не знаете такого? Знаете-знаете. Солнце, вот это кто! А, поп Симон, вы думали, я хотел сказать грязно, да?

И Ерко расхохотался, показывая весь рот изнут-

ри аж до язычка, — такое наслаждение доставила ему эта шутка.

— Я знаю загадку гораздо лучше, — сказала мамуся. — Слушайте меня внимательно, иначе никогда не отгадаете. Это вещь, вы поняли? И эту вещь сделал человек и продал ее другому человеку, которому она была не нужна, а тот, кто ею пользовался, не знал, что он ею пользуется. Что это такое? Думайте хорошенько.

Они подумали хорошенько — во всяком случае, сделали вид, что думают. Мамуся для большего эффекта хлопнула по столу и сказала:

— Гроб! Хорошая загадка для священника, а?

— Мадам, обязательно загадайте мне еще цыганских загадок, — сказал Холлиер. — Для меня такие вещи все равно что восхитительный долгий взгляд в далекое прошлое. А все, что можно восстановить из прошлого, проливает свет на настоящее и ведет нас к будущему.

— О, мы можем рассказать секреты, — сказал Ерко. — У цыган куча секретов. Потому цыгане могут так много всего. Послушайте, я открою вам цыганский секрет, за него кто угодно заплатит тысячу долларов. Смотрите, ваш пес ввязался в драку. Каждый пес хочет убивать другой пес, гав-гав! Р-р-р-р! — вы не можете оттащить свой пес.

Пинать его! Тянуть за хвост! Не годится! Он хочет убивать. Так что вам делать? Хорошо облизать длинный палец — хорошо, чтоб был мокрый, — и подбегать и вставлять его пес в задницу — все равно какой пес, ваш или чужой. Вставлять в самую глубину. И пошевелить хорошенько. Пес удивлен! Он думает: что такое? Он отпускать, и вы его пинать, чтобы не было больше драка. — У вас хороший пес?

— У моей матери есть очень старый пекинес, — сказал Холлиер.

— Вот вы это сделать следующий раз, как он драться. Показать ему, кто хозяин. У вас есть конь?

Но оба профессора оказались безлошадными.

— Жалко. Я мог бы вам рассказать, как сделать любой конь навсегда ваш. Все равно расскажу. Пошептать ему в нос. Что шептать? Ваше тайное имя, которое знает только ваша мать и вы. Прямо ему в нос, в обе дырки носа. Ваш навсегда. Если это сделать, он оставит любой человек, с кем живет, и пойдет за вами. Плюньте мне в лицо, если я вру.

— Видите, моя дочь ходит с непокрытой головой, — сказала мамуся Даркуру. — Вы знаете, что это значит? Она не замужем и даже еще не

сговорена, хотя у нее прекрасное приданое. И она хорошая девушка. Никто ее и пальцем не тронул. У цыганских девушек на этот счет очень строго. Никакого баловства, совсем не так, как у бесстыжих девиц-*гаджи*. Что я про них слышала! Вы не поверите! Не лучше *путани*. Мария вовсе не такая.

— Я уверен, она не замужем только потому, что сама не хочет, — сказал Даркур. — Она такая красавица!

— Ага, вам нравятся женщины, хотя вы священник. Хотя да, ваши священники могут жениться, как православные.

— Не совсем как православные. У них, если священник женится, ему никогда не стать епископом. Наши епископы обычно женатые люди.

— Это гораздо, гораздо лучше! Меньше сплетен. Вы знаете, что я имею в виду. — Мамуся поморщилась. — Мальчч-шшики!

— Ну да, я полагаю, да. Но епископам так надоедают чужие скандалы, что они, наверное, не стали бы заниматься такими делами, даже не будь они женаты.

— А вы, отец Симон, станете епископом?

— О, это очень маловероятно.

— Вы не знаете. У вас очень подходящий вид.

Епископ должен быть видным мужчиной, с красивым голосом. А вы не хотите узнать?

— А вы можете сказать? — спросил Холлиер.

— О, ему неинтересно. И я не могу узнать, это не делается на полный желудок.

Хитрая мамуся! Она долго — но не слишком долго — сопротивлялась, и в конце концов Холлиер уговорил ее заглянуть в будущее. Бутылка с абрикосовым бренди ходила вокруг стола, Холлиер говорил все убедительней, мамуся держалась все кокетливей, а Даркуру, несмотря на его протесты, явно хотелось узнать будущее.

— Ерко, принеси карты, — сказала мамуся.

Карты лежали на шкафу, поскольку ничто в комнате не должно было располагаться выше их. Ерко почтительно снял их со шкафа:

— Может, прикрыть Беби Исуса?

— Беби Исус тебе что, попугай, чтобы накрывать его тряпкой? Все, что я могу увидеть в будущем, он и так давно уже знает.

— Сестра, я придумал! Ты погадаешь, а мы скажем Беби Исусу, что это подарок ему на день рождения, и так все будет хорошо, видишь?

— Это мысль, вдохновленная свыше, — сказал Даркур. — Прекрасный талант как приношение Богу. Мне это никогда не приходило в голову.

— Все должны принести подарок Беби Исусу, — сказал Ерко. — Даже цари. Видите, вот цари, я сам делал короны. Вы знаете, что они приносят?

— Первый принес золота, — сказал Даркур, поворачиваясь к вертепу.

— Да, золота; и вы должны дать моей сестре денег, немного — может, четвертак, а то карты лягут неправильно. Но золото — это еще не все. Другие цари принесли смирного лада.

Даркур сначала вздрогнул, а потом пришел в восторг:

— Это очень хорошо, Ерко; вы это сами придумали?

— Нет, это есть в истории. Я видел ее в Нью-Йорке. Цари сказали: «Мы принесли золота и смирного лада».

– *Sancta simplicitas*, — произнес Даркур, встречаясь со мной взглядом. — Если бы только в послании, которое Он нам оставил, было больше смирного лада! В мире, который мы построили сами, его страшно не хватает. Ах, Ерко, до чего же вы хороший человек.

То ли дело в абрикосовом бренди, то ли комната и вправду наполнилась золотым светом? Свечи догорали, и все тарелки были давно унесены на кухню, кроме блюд с шоколадом, нугой и варе-

ньем. Эти заедки должны были, по выражению мамуси, запечатать наши желудки и кишки — не важно, какой длины, — намекнув, что сегодня им больше ничего не перепадет.

Мамуся открыла изящную черепаховую шкатулку, где хранились карты. Колода Таро[91] исключительно красива, а карты мамуси были прекрасной работы, более чем вековой давности.

— Я не смогу гадать по целой колоде, — сказала она. — Только не после такого ужина. Буду гадать по пяти картам.

Она быстро разделила колоду на пять кучек: Жезлы, Чаши, Мечи и Монеты легли по четырем углам, а в центре — колода из двадцати двух высших арканов.

— Теперь мы должны быть очень серьезны, — сказала она, и Даркур убрал с лица учтивую улыбку. — Деньги, пожалуйста.

Он дал ей монетку в двадцать пять центов. Мамуся закрыла лицо руками и посидела так с полминуты.

— Теперь перетасуйте каждую кучку, вытащи-

---

**[91] Примечания: 91**

*Таро́* — система символов, колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, в XIV–XVI веках, в наши дни используется преимущественно для гадания. Переводчик благодарит Анну Блейз и Галину Бедненко за консультации по вопросам, связанным с Таро.

те из каждой по одной карте и разложите их, как я. Из середины берите в последнюю очередь.

Даркур повиновался, и, когда он выбрал, на столе оказались пять карт. Мамуся истолковала их следующим образом:

— Ваша первая карта, которая задает тон для всего остального, — это Королева Жезлов: темноволосая, красивая, серьезная женщина, которая очень сильно занимает ваши мысли… Но дальше идет Двойка Кубков, и она стоит на месте противодействия; это значит, что в вашей любви с темноволосой женщиной один из вас будет чинить препятствия. Но об этом рано беспокоиться, пока мы не прочитали все остальное… Ага, вот Туз Мечей, это значит, что у вас будет беспокойное время и вы лишитесь сна… И последняя из внешних четырех — Пятерка Монет, это значит, что вас ждет утрата, но она будет гораздо меньше, чем большое богатство, которое идет к вам навстречу. Но все эти четыре карты находятся под властью пятой, которая в середине; это ваш козырь, и он влияет на все, что предсказали другие карты. Ага, у вас Колесница! Это очень хорошо; это значит, что все остальное находится под покровительством Солнца, и, что бы ни случилось, это идет на руку вашему большому приобретению, хотя вы,

может быть, увидите это не сразу, а сначала вам придется пережить тяжелые времена.

— Но митру вы не видите? Епископскую шапку?

— Я же вам сказала: большое приобретение. Я не знаю, что это будет, — что для вас большое приобретение. Если шапка епископа, то, может, это она и есть. Но чтобы подойти ближе, мне нужно делать раскладку всей колоды, а это занимает больше часа. И очень хорошую судьбу я вам открыла, отец Симон, за ваш четвертак, хотя они теперь даже не серебряные, а из какой-то дряни, которую подсовывает нам правительство. Вы подумайте о том, что я сказала. Прекрасная темноволосая женщина — если вы ее хотите, колесница на вашей стороне и может привести вас к ней.

— Но, мадам Лаутаро, будьте с нами откровенны: вы приписываете этим картам значения, которые, я полагаю, произвольны. Любой человек, вытянувший те же карты, получит такое же предсказание. Но я уверен: то, что вы делаете, не просто чудеса хорошей памяти.

— Память тут совершенно ни при чем. Конечно, карты имеют определенное значение, но не забывайте, что их тут семьдесят восемь, — сколько

это сочетаний по пять? Одних козырей двадцать две штуки, а они влияют на все остальные четыре масти. Без Колесницы я бы не могла обещать вам такое хорошее будущее… Но все это покрыто плащом времени и судьбы. Вы — это вы, если вы знаете, кто вы такой, а я — это я, и то, что происходит между нами, когда я читаю карты, не может произойти ни с каким другим человеком. А сегодня ночь после Рождества, и уже почти десять часов вечера, и это тоже имеет значение. Все имеет значение. Почему я гадаю вам в это особое время, если я вас сегодня увидела впервые в жизни? Что свело нас? Случай? Не верьте! Случайностей не бывает. Все имеет значение, иначе мир разлетелся бы на куски… И вы не останетесь обойденным, дорогой Холлиер. Сейчас я перетасую карты, вы выберете, и мы увидим, что принесет вам будущий год.

Даркур охотно выслушал предсказание, но Холлиер слушал жадно, светясь лицом. Это была дикая душа, как он ее называл, в действии: он находился в обществе культурной окаменелости. Он выбрал карты; мамуся взглянула на них, и я заметила, что ее лицо потемнело. Я внимательно разглядела карты: я кое-что знаю о гадании и хотела посмотреть, откроет ли мамуся всю правду

как есть, или подсластит ее, или вообще скажет что-нибудь совсем другое. Потому что с Таро нужно вести себя очень осмотрительно — даже если гадаешь не за деньги и, таким образом, не ищешь неприятностей со стороны закона. К примеру, если выпадет Смерть, безобразный скелет с косой, которой он косит цветы, людские головы, руки и ноги, эту карту не следует связывать с человеком, сидящим напротив вас за столом, даже если ясно читаешь смерть у него на лице. Гораздо лучше сказать: «На ваше будущее повлияет смерть человека, которого вы знаете», и тогда, может быть, бедняга запрыгает от радости, надеясь получить наследство или освободиться, если речь идет о женщине, живущей в несчастливом браке. Но мамуся была откровенна с Холлиером, хоть и смягчила некоторые удары.

— Это очень интересно, и вы не должны слишком задумываться об исходе своего гадания, пока я не закончу. Вот эта Четверка Жезлов означает, что какое-то дело, трудное для вас сейчас, скоро станет вдвое труднее… А это Четверка Кубков — вам везет на четверки… значит, кто-то — какой-то человек, близкий к вам, — причинит большое беспокойство вам и другому человеку, который к вам еще ближе… А здесь, где мы начи-

наем говорить о вашей судьбе, — Тройка Мечей, а это значит ненависть, и вам нужно беречься: то ли вас кто-то ненавидит, то ли вы кого-то, но из этого выйдет большая беда… Но ваша четвертая карта — Паж Монет. Паж — это слуга, кто-то, кто на вас работает, и он пришлет вам очень важное письмо. Как это относится к ненависти и беде, я не знаю… Но вот ваш большой козырь — это Луна, переменчивая женщина, она предупреждает об опасности, и, как видите, все вместе дает очень сложную картину, и я не рискну изложить ее вам только на основании этих карт. Поэтому я прошу вас выбрать еще одну карту из козырей, а мы в это время должны от всего сердца пожелать, чтобы она пролила свет на все остальное.

Кажется, Холлиер сильно побелел? Я-то уж точно побледнела. Я думала, мамуся наплетет ему какой-нибудь чепухи про его будущее, — я видела по картам, что оно очень мрачно. Но, должно быть, мамуся слишком боялась карт. Если обманывать карты, они обманут тебя, и многие хорошие гадалки превратились в шарлатанок и обманщиц таким образом, а некоторые даже спились или покончили с собой, когда поняли, что карты обратились против них.

Холлиер вытянул карту и довольно медленно

опустил ее на стол. Это было Колесо Фортуны. Мамуся пришла в восторг:

— Ага, теперь мы знаем! Холлиер, вы положили карту передо мной вверх ногами, так что мы видим все фигуры, которые вращаются на колесе; Дьявол оказался внизу, а верх колеса пуст! Это значит, что все ваши злоключения в конце концов выйдут к добру и вы восторжествуете, хотя и не без тяжелых потерь. Так что мужайтесь! Не падайте духом, и все будет хорошо!

— Спасибо Беби Исусу! — сказал Ерко. — Я вспотел от страха. Профессор, выпейте!

Снова абрикосовый бренди; к этому времени я, кажется, вовсе утратила свою крону и жила исключительно корнями. Наверно, я сильно опьянела, но и все остальные тоже, и это было хорошее опьянение. Чтобы работать с картами, мамуся скинула туфли, и я тоже: две босоногие цыганки. Я не очень хорошо помню, что было дальше, но мамуся достала скрипку и принялась играть цыганскую музыку; я потерялась в тяжелом эмоциональном диссонансе между *лашо*, таким меланхоличным и даже слезливым, и *фришке*, диким цыганским весельем, но в подлинном, отчасти безумном и, несомненно, архаичном стиле, совсем непохожем на слащавые игрушки

для *гаджё* вроде «Королевы чардаша». *Фришке* в мамусином исполнении навевал не картины костра, сверкающих зубов и развевающихся юбок опереточных цыган, но что-то древнее, вечное, изгоняющее университет и докторскую диссертацию в пыльные комнаты; что-то из тех времен, когда люди жили больше под небом, чем под крышей, читали знамения судьбы в криках птиц и чувствовали, что Бог — вокруг, повсюду. Это был тот самый смирный лад.

Ерко принес цимбалы собственной работы: они висели на шнурке на шее, как большой поднос, и Ерко молотил по звучным струнам с такой скоростью, что палочки мелькали, как венчик кухарки, взбивающей сливки. В четыре часа пополудни, когда званый ужин был только мрачной тенью в будущем, я бы поморщилась от такой музыки; сейчас, после одиннадцати вечера, я наслаждалась ею и жалела, что у меня недостает храбрости вскочить и даже в этой тесной комнате затанцевать, забить в бубен, отдаться минуте.

Комната была нам тесна.

— Давайте споем серенаду всему дому! — воскликнула мамуся, перекрывая музыку, и мы немедля повиновались: пошли вверх по лестнице, уже с песней.

Мы пели замечательную венгерскую песню «Magasan repül a daru»[92]. Это не рождественский гимн, а песня торжества и любви. Я держала под руки своих двух профессоров и пела слова за троих: Даркур уловил мотив очень хорошо, но вместо слов пел «ля-ля-ля», а Холлиер, исполненный пыла, но, по-видимому, лишенный музыкального слуха, монотонно ревел, выбрав для этого слог «йя-йя-йя». Когда мы дошли до «Akkor leszek kedves rózsám a tied»[93], я поцеловала обоих — мне показалось, что это будет как нельзя более уместно. Мне пришло в голову, что я до этого момента ни разу не целовала Холлиера и он меня тоже, несмотря на все, что было между нами. Но Даркур откликнулся страстно, и рот у него оказался мягкий и сладкий, а Холлиер поцеловал меня так яростно, что чуть не сломал мне зубы.

Что подумали жильцы? Пудели яростно лаяли. Миссис Файко не выглянула, но сделала телевизор погромче. Показалась мисс Гретцер в ночной рубашке, поддерживаемая миссис Шрайфогель; обе заулыбались и одобрительно закивали, как и миссис Новачински, — она выходила в туалет

---

**[92] Примечания: 92**
«Высоко летит журавль» *(венг.)*.

**[93] Примечания: 93**
«Тогда я буду твоим, моя милая роза» *(венг.)*.

и предстала перед нами без зубов и парика, что смутило ее гораздо сильнее, чем нас. На третьем этаже на лестничную площадку выглянул мистер Костич в пижаме, улыбнулся и сказал: «Прекрасно! Очень хорошо, мадам», но мистер Хорн вылетел к нам в ярости, с воплем: «Дадут наконец в этом доме человеку поспать или нет?»

Мамуся прервала игру и смычком указала на мистера Хорна, который спал в одной пижамной куртке, а потому сейчас демонстрировал сморщенные и неприятные на вид интимные части тела.

— Мистер Хорн, — торжественно произнесла она. — Мистер Хорн — санитар.

Словно по нажатию кнопки, мистер Хорн завопил:

— Да уж точно, что не санитарка! А теперь хватит шуметь, или я вам задам, в бога душу мать!

Ерко, очень мягко ступая, подошел к мистеру Хорну:

— Ты не говори так с моей сестрой. Ты не говори грязно с моей племянница, она девушка. Ты не делай грязный шум, когда мы петь для Беби Исуса. Ты заткнись.

Мистер Хорн не заткнулся. Он заорал:

— Вы все пьяны, вся компашка! Может, у вас и

Рождество, а у меня обычный рабочий день.

Ерко надвинулся на мистера Хорна и больно щелкнул его по кончику пениса длинным гибким молоточком от цимбал. Мистер Хорн завопил и затанцевал на месте, а я, забыв, что должна соблюдать девичью стыдливость, громко расхохоталась. Я хохотала долго — все время, пока мы спускались по лестнице, где все еще лаяли пуделли. Наверно, Рабле понравилась бы эта сцена.

Мамуся вспомнила, что играет для моих друзей роль великосветской дамы. Пронзительным голосом — специально, чтобы услышал мистер Хорн, — она произнесла:

— Не обращайте внимания. Это человек низкого рода, я его держу здесь только из жалости.

Мистер Хорн от ярости забыл все слова, но продолжал что-то нечленораздельно вопить все время, пока мы возвращались в мамусину квартиру.

— У песни, которую мы пели, — сказал Даркур, — мотив знакомый. Кажется, она появляется в одной из Венгерских рапсодий Листа?

— Нашу музыку любят все, — ответила мамуся. — Ее крадут, а это показывает, что она очень ценная. Этот Лист, этот великий музыкант, он у нас все время крадет.

— Мамуся, Лист давно умер, — сказала я, поскольку сидящая во мне аспирантка еще не сдалась и я не хотела, чтобы мамуся показалась Холлиеру невеждой.

Но мамуся была не из тех, кто признает свои ошибки.

— Подлинно великие люди бессмертны, — произнесла она, и Холлиер завопил:

— Великолепно сказано, мадам!

— Кофе! Вы еще не пили кофе, — спохватилась мамуся. — Ерко, подай джентльменам сигары, пока мы с Марией готовим кофе.

Когда мы вернулись в гостиную, Холлиер смотрел на Даркура, который держал в руке царя из вертепа, а Ерко что-то рассказывал о своей работе над его украшением.

— Вот! Настоящий кофе кэлдэраров — черный, как месть, крепкий, как смерть, сладкий, как любовь! Мария, передай эту чашку профессору Холлиеру.

Я взяла чашку, но протянула ее Даркуру, так как он был ближе. Мне показалось, что мамуся как-то слишком резко втянула воздух, но я не обратила внимания. Все мои силы уходили на то, чтобы не шататься и ступать твердо. Абрикосовое бренди в большом количестве — ужасная штука.

Кофе. Потом опять кофе. Длинные черные чируты с ядреным запахом, словно сделанные из верблюжьего навоза, — так сильно они навевали аромат Востока. Я старалась владеть собой, но чувствовала, что у меня опускаются веки, и не знала, удастся ли мне не заснуть до ухода гостей.

Наконец они ушли, и я пошла провожать их до парадной двери, где мы опять поцеловались, чтобы завершить праздник. Мне показалось, что Даркур затянул поцелуй чуть дольше, чем полагалось ему по статусу профессора-дядюшки, но, если вдуматься, он ведь вовсе не старый. От него приятно пахло. Я всегда была очень чувствительна к тому, как пахнут люди, хотя в цивилизованных культурах это не поощряется и бесчисленные рекламы ежедневно сообщают нам, что иметь узнаваемый человеческий запах совершенно не годится. Моя крона не обращает внимания на запахи, но у моего корня острый нюх, а после этого ужина корень полностью владел ситуацией. От Даркура пахло хорошо — симпатичным, чистоплотным мужчиной. А от Холлиера — какой-то затхлостью: как из сундука, который много лет не открывали. Не то чтобы плохо, но непривлекательно. Может быть, это от костюма. Я думала об этом, стоя у двери, глядя,

как они идут прочь, и глубоко вдыхая режущий холодный воздух.

Вернувшись в квартиру, я услышала, как мамуся говорит Ерко по-цыгански:

— Не пей!

— Почему? Это кофе. Холлиер не выпил вторую чашку.

— Не пей, говорю тебе.

— Почему?

— Потому.

— Ты туда что-то положила?

— Сахар.

— Само собой. Но что еще?

— Капельку кой-чего особенного — для него.

— Что?

— Не важно.

— Врешь! Что ты положила в чашку профессору? Он мой друг. Скажи, или я тебя побью.

— Ну, если тебе уж так нужно знать — немножко поджаренных яблочных семечек.

— Да, и что-то еще… Женщина, ты положила в кофе свою тайную кровь!

— Нет!

— Врешь! Что ты затеяла? Хочешь, чтобы Холлиер тебя полюбил? Старая дура! Неужели тебе не довольно было нашего милого Тадеуша?

— Тихо. Мария услышит. Это не моя кровь, а ее.

— Господи Исусе! Ох, прости меня, Беби Исус. Ее кровь! Как ты ее достала?

— Из этих штук — знаешь, этих штук *гаджё*, которые она сует в себя каждый месяц. Я выжала одну в чеснокодавилке, пф-ф-ф — и готово! Она хочет заполучить Холлиера. Но она дура. Я дала ей чашку для Холлиера, а она взяла и отдала ее Даркуру! Как ты думаешь, что теперь будет? И поставь эту чашку, потому что я не потерплю кровосмешения в своем доме!

Я ворвалась в комнату, схватила мамусю за большие золотые кольца в ушах и хотела повалить ее на пол. Но она ухватила меня за волосы, и мы закружились, как два оленя со сцепленными рогами, дергая друг друга и крича во всю глотку. Я костерила мамусю по-цыгански, находя ужасные слова, — я и понятия не имела, что знаю такие. Мы упали на пол, она придвинула лицо вплотную к моему и очень больно и сильно укусила меня за нос. Я всерьез пыталась оторвать ей уши. Мы продолжали вопить.

Ерко, стоя над нами, заорал:

— Непочтительные шлюхи! Что подумает Беби Исус?

И со всей силы пнул меня в корму, а мамуся еще куда-то — не знаю куда, но я лежала на полу, воя от боли и ярости из самых глубин своего цыганского корня.

Где-то далеко лаяли пудели.

# Новый Обри V

## 1

Если до Рождества я думал, что влюблен в Марию, то к началу нового года обрел мучительную уверенность. Я не преувеличиваю, говоря «мучительную»: меня словно заживо раздирали на части. Мое дневное «я» могло как-то примириться с этой ситуацией; пока солнце стояло в небе, я мог привести себе на помощь доводы рассудка. Но как только темнело — а в январе у нас долгие ночи, — мое ночное «я» брало верх и я начинал страдать хуже, чем школьник по своей первой любви.

Хуже, потому что я больше испытал, мучился более разнообразными чувствами, успел повидать жизнь и знал, что случается с преподавателем, влюбленным в студентку. Считается, что юная любовь — всепоглощающая, жаркая, и это правда: думаю, что в юности я не жил невлюбленным больше недели подряд. Однако молодым можно и даже должно любить. Мир сочувственно и благосклонно смотрит на их остекленелый взгляд, рассеянность, тяжкие вздохи. Но челове-

ку сорока пяти лет уже пора заняться другими делами. По всеобщему мнению, он должен был уже разобраться с этой стороной своей натуры, успокоиться в определенной роли: мужа и отца, закоренелого холостяка, бабника, гомосексуалиста — и устремить свои силы на что-нибудь другое. Но любовь, как переживал ее я, пожирала мои силы и время в огромном количестве. Это первичное чувство, преломляющее сквозь себя все остальные ощущения, а в моем возрасте оно дополнительно усугублялось двадцатью пятью годами разнообразного жизненного опыта: он придает любви силу, но не смягчает ее философией или здравым смыслом.

Я был подобен человеку, терзаемому тяжкой болезнью, на которую он не может жаловаться и которая не дает права на сочувствие окружающих. Тот званый ужин полностью выбил меня из колеи в эмоциональном и интеллектуальном плане. Что пыталась сказать мне мать Марии во время гадания? Хотела ли она меня отпугнуть разговорами про Королеву Жезлов и трудную любовь к темноволосой женщине? Может, она что-то подозревает обо мне и Марии? Может быть, Мария догадалась о чем-то, глядя на меня, и рассказала матери? Невозможно: я был сама скрытность. И

вообще, какое я имею право думать, что старуха врала? Конечно, она выглядела шарлатанкой в сравнении с другими роуздейлскими матерями — к примеру, с матерью Холлиера, от которой нельзя ожидать ничего необычного. Но мадам Лаутаро — *пхури дай*, и к ней нельзя подходить с той же меркой. Ни одно происшествие этого необыкновенного вечера не укладывалось в мой обыденный опыт. Что-то в глубине души подсказывало мне, что это была не просто веселая ночь с цыганами-эмигрантами, — это встреча первородной важности и значения.

Не только моя собственная реакция, но и реакция Холлиера убедила меня, что я был в необычном для себя настрое, в корне отличном от всего, что я когда-либо знал. Будущее Холлиера было мрачно, а *пхури дай* гадала Холлиеру, и он ее слушал в таком напряжении чувств, что мне стало страшно: вдруг прозвучит что-нибудь, что лучше оставить недосказанным? Если бы цыганка все выдумывала, она бы, конечно, не наговорила столько зловещего. Это правда, что нам обоим пришел на выручку козырь из старших арканов, но для Холлиера — только после того, как он выбрал во второй раз. Нет, гадание не пахло шарлатанством; оно, как монисто из

талеров Марии Терезии, было из другого мира, но звенело, как настоящее золото.

Так с чем же я остался? С обещанной любовной историей, в которой кто-то будет чинить препятствия, но кончится она хорошо, хотя мне суждено и обретение, и утрата. Любовная история у меня, несомненно, уже есть.

Что за вечер! Каждая подробность помнилась ясно, вплоть до странного чесночного привкуса в кофе. Яснее всего был поцелуй Марии. Суждено ли мне испытать это еще раз? Я твердо решил, что в следующий раз поцелую ее только в роли желанного ей возлюбленного.

Когда я ночью думал о ее поцелуе и о своем решении, в этом был благородный налет романтики, но те же мысли поутру наполняли меня почти что ужасом. Унизительно было думать, что у моей любви горячая голова и холодные, трясущиеся от страха руки. Но так уж оно было: я жаждал вкусить меда любви, но боялся связанной с ней ответственности, а это невозможно для мужчины средних лет, к тому же священника, даже если для молодых влюбленных правила иные. У моей любви была голова Януса: одно лицо, молодое, смотрело назад, на все наслаждения моей юности, на радости поисков и завоеваний, поце-

луев, объятий, постели. Но другое лицо, взрослое, видело комический брак старого холостяка с молодой женщиной, ибо я не мог помыслить ни о чем, кроме брака. Я не мог предложить Марии ничего бесчестного, а священный сан запрещал мне даже думать о легкомысленном сожительстве, какое подобает раскрепощенным юнцам. Но брак? Я уже много лет назад отложил всякую мысль о браке — без труда, поскольку тогда у меня не было никого на примете, к тому же я считал, что приходской священник много теряет из-за отсутствия жены, но выигрывает гораздо больше, если может всего себя посвятить работе. Я ведь еще не стар и могу изменить свою жизнь? Человек, заявляющий, что в сорок пять лет он уже стар для такой естественной вещи, как влюбленность и женитьба, действительно старик. Чем больше вздыхало и чахло молодое лицо моего Януса, тем строже становилось старое.

Смотри на вещи трезво, говорило мое дневное «я». Ты живешь в удобстве и спокойствии, никому не отчитываешься за свои привычки, у тебя есть время для работы и для себя, особенно для духовных трудов, которым ты отдаешь столько сил и которые так долго были твоей главной радостью. Тебе не нужно иметь машину; обслуга колледжа

заботливо присматривает за тобой, потому что за год ты раздаешь около пятисот долларов чаевых им и другим людям, облегчающим твой путь. Тебе не нужно жить в пригороде, отрывать от себя куски для выплат по ипотеке и беспокоиться о зубных брекетах для своих детей. Ты живешь если и не по-княжески, то лучше многих людей своего класса, так что будь осторожен, Даркур, и не наделай глупостей. «О ленивая, изнеженная скотина! — кричало в ответ мое ночное „я“. — Неужто подобные меркантильные соображения для тебя дороже, чем завершение собственной души? Если ты выдвигаешь подобные оправдания для обуздания плоти, как можешь надеяться на совершенствование духа? Жирный слизняк, ты недостоин подаренного тебе Откровения!»

Потому что, видите ли, я счел Марию посланным свыше Откровением, да таким, что я едва и сам осмеливался рассмотреть его как следует.

Я оставил работу на приходе и стал ученым-богословом, потому что хотел копать глубоко в шахтах древних верований, родственных, как уже говорилось, текстам, которые составители Библии сочли неподходящими для включения в каноническое Слово Господне. Мое желание осуществилось, и мои труды даже снискали

некоторое одобрение. Но человек, забивающий себе голову апокрифами, вскоре доберется и до еретических писаний, и я, хоть и не собирался становиться гностиком, все же обнаружил, что сильно увлекся их текстами: очень многое в их вере было для меня привлекательно. Их концепция Софии завладела моим умом, поскольку отвечала некоторым идеям, которые я сам пытался разрабатывать — робко, в порядке эксперимента.

Я люблю женщин, и отсутствие женского начала в христианстве меня давно тревожило. Да, я знаком со всеми апологиями по этой теме; я знаю, что среди последователей Христа были женщины, что Он любил говорить с женщинами и что среди верных, последовавших за Ним к подножию креста, женщины преобладали. Но что бы там ни думал Христос, замысловатое здание доктрины, которое мы зовем Его Церковью, не включает в себя женщин на руководящих постах — только Троицу, состоящую, грубо говоря, из двух мужчин и голубя. И даже запоздалые реверансы католической церкви в сторону Девы Марии не поправили дела. Гностики нашли более удачное решение: они предложили своим адептам Софию.

София, женственное воплощение Господней

Мудрости: «С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим»[94]. София, через которую Господь начал осознавать себя. София, посредством которой вселенная была завершена, сотрудница Бога в делах Творения. София, с чьей помощью — по крайней мере, в моих глазах — холодный ореол патриархального Бога превращается во всеобъемлющее великолепие завершенной Мировой Души.

Но при чем тут Мария Магдалина Феотоки, аспирантка, изучающая под моим руководством греческий язык Нового Завета? Мария, которой минуты три обладал Клемент Холлиер на страшном, ветхом кожаном диване — и которая, надо думать, за эти три минуты испытала огромное удивление, но была весьма далека от физического экстаза? О боже, сразу видно, что я свихнулся на своем научном предмете, но любой, кто читал существующие легенды о Софии, знает про «падшую Софию»: она облачилась в смертную плоть и в конце концов пала, став блудницей

**[94] Примечания: 94**

*«С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим».* — Книга премудрости Соломона, 9: 9.

в тирском доме разврата, откуда ее вызволил гностик Симон Волхв[95]. Про себя я называю это страстями Софии: ведь она вочеловечилась и пережила поношение ради искупления человечества. Именно поэтому гностики почитали ее одновременно как Мудрость и как *anima mundi*, мировую душу, которая требует искупления и, чтобы достичь его, вызывает желание. И разве фамилия Марии, Феотоки, не означает материнство Бога? Только не надо мне объяснять, что к концу византийской эпохи фамилия Феотоки стала у греков обычной, не более значащей, чем английская Годбер[96]. То, что для большинства ученых оказалось бы лишь интересным фактом, для меня было знаком, уверением, что Мария — может быть, для меня одного — вестница особой благодати и искупления.

Я думаю так: кто особо усердно изучает легенды и забытые поверья, тому не стоит удивляться, если легенды вторгнутся в его жизнь и наводнят его

---

**[95] Примечания: 95**

*…гностик Симон Волхв.* — Симон Волхв (также Симон Маг) — в христианских преданиях самарийский чародей, антагонист апостола Петра.

**[96] Примечания: 96**

*…не более значащей, чем английская Годбер.* — Эта фамилия в различных вариантах — Godber, Godbehere, Godebert, Godbert, Gobbert, Gobbet и др. — происходит от англосаксонского и старогерманского имени Годберт — Godebert, означающего буквально «сияющий бог».

разум. Для меня Мария символизировала целостность, Божью славу, Божий дар и одновременно — темную сырую землю, столь чуждую конвенциональному христианскому уму. Персы верили: когда человек умирает, он встречает свою душу в виде прекрасной женщины, бесконечно древней и мудрой. По-видимому, именно это случилось со мной, хотя я, несомненно, еще жив.

Ужасная вещь для интеллектуала — столкнуться с идеей, воплотившейся в реальность. Это со мной и произошло.

Таковы были фантазии моего ночного «я», и все премудрые советы дневного «я» — хорошо устроенного, удобно живущего, заносящего расходы в тетрадочку — не могли их искоренить.

Так что же мне было делать? Отступить? Это будет низостью. Продвигаться вперед? Это будет великолепное и жуткое приключение. Но я должен был идти вперед.

## 2

Как все влюбленные, я утверждаю, что мысли о Марии заполняли каждую минуту моего дня. Но конечно, это не так. Университетские преподаватели — занятые люди, что бы там ни думали разные посторонние. Занятость преподавателей

усугубляется еще и тем, что они, часто по натуре не деловые люди, склонны усложнять разные мелкие проблемы. Свою печать накладывает и отсутствие секретаря или необходимость делить одну загнанную и не всегда компетентную секретаршу на несколько человек. Поэтому преподаватели вынуждены самостоятельно вести многие записи, подшивать документы в папки, искать потерянное. К университетскому профессору постоянно обращаются за информацией, которой у него никогда не было, или за информацией, которая содержалась в давно выброшенных бумагах, или за отзывами о студентах, которых он не видел пять лет и начисто забыл. Преподаватели славятся своей рассеянностью, потому что разрываются между работой, за которую им платят, — преподаванием того, что они знают, и расширением своих знаний — и работой, которой они не ожидали, — совещаниями в разных комитетах под руководством председателей, не умеющих привести своих коллег к согласию. От преподавателей требуют, чтобы они действовали как бизнесмены — в сфере, не имеющей отношения к бизнесу, не пользуясь инфраструктурой бизнеса, оперируя нематериальными вещами. В моем случае обычная неразбериха преподава-

тельской жизни усугублялась необходимостью отправлять разные требы: говорить проповеди (о которых меня не всегда предупреждали заранее), проводить своих друзей и детей своих друзей через различные ритуалы перехода — крещение, венчание, погребение. Я был за штатом, и потому именно обо мне в первую очередь вспоминали, если какой-нибудь священник, часто в отдаленном пригороде, заболевал гриппом и нужно было срочно найти человека на замену — вертеть молитвенное колесо в церкви воскресным утром. Но мне, как преподавателю, не полагался обычный понедельничный выходной священника. Я не жалуюсь, просто говорю, что я занятой человек.

Но все же Мария не удалялась надолго из моих мыслей, даже если казалось, что львиную долю моего скудного запаса времени пожирает Парлабейн со своим чудовищным романом. Я никак не мог понять, насколько он близок к завершению, — столько там было набросков, черновиков и альтернативных версий. И еще мне упорно не показывали полный текст. Парлабейн был, как положено автору, ревнив и подозрителен и, по-видимому, всерьез считал, что я способен украсть у него идеи, если показать мне слишком много. Точно так же он боялся издателей и, кажется,

занимался бессмысленным (с моей точки зрения) делом: пытался продать роман, не показывая его целиком.

— Ты не понимаешь, — отвечал он на мои протесты. — Издатели постоянно покупают книги, которых не видели полностью. Им достаточно прочитать главу-другую, чтобы понять, хорош ли роман. В газетах все время пишут про огромные авансы, выданные под честное слово писателя или набросок книги.

— Я не верю всему, что пишут газеты. Но у меня самого вышло несколько книг.

— Научных. Это совсем другое. Никто не ждет, что твоя книга разойдется широко. Но мой роман будет сенсацией, и я уверен, что, если его правильно подать, преподнести публике, он меня озолотит.

— А ты уже предлагал его в Штатах?

— Нет. Позже. Сначала он должен выйти в Канаде, чтобы те, кто имеет к нему непосредственное отношение, прочитали его первыми, до массового читателя.

— Те, кто имеет к нему непосредственное отношение?

— Конечно. Это не только *roman philosophique*,

но и *roman à clef*[97]. Когда он выйдет, кое-кому придется покраснеть, это точно.

— А ты не боишься исков за клевету?

— Прототипы большинства героев вряд ли начнут кричать, что это они. За них это сделают другие. И конечно, я не такой дурак, чтобы использовать слишком легкоузнаваемые дела и разговоры. Но не переживай, кто надо себя узнает. А со временем их узнают и все остальные.

— Значит, это роман-месть?

— Сим, ты же меня знаешь — как ты можешь так говорить! В моем романе нет ничего мелочного. Нет, не роман-месть. Может быть, роман-правосудие.

— Правосудие для тебя?

— Для меня.

Мне это совсем не понравилось. Но мне торжественно вручали пачку за пачкой желтоватой бумаги с размазанными строками, напечатанными под копирку, и мало-помалу я уверился, что роман никогда не увидит света. Он был ужасен.

Не в том смысле, что автор был невеждой или

---

**[97] Примечания: 97**

*Roman à clef* (роман с ключом, *фр.*) — тип романа, описывающего под видом художественного произведения реальные события. Под «ключом» имеется в виду сопоставление вымышленных, но узнаваемых героев романа с реальными лицами, которых они изображают.

в романе попадались ошибки. Парлабейн был слишком способным человеком, чтобы допустить подобные любительские огрехи. Просто его сочинение невозможно было читать. Каждый раз, как я пытался прочесть хоть немного, на меня нападала смертная скука. Это был очень интеллектуальный роман с очень сложной структурой. Казалось, в нем фигурируют целые армии персонажей — каждый отражал какого-нибудь человека, с которым Парлабейн был знаком лично или понаслышке. И все они излагали свои взгляды на жизнь — глава за главой свинцовой прозы. Как-то вечером я сообщил об этом Парлабейну — тактично, как только мог.

Он рассмеялся:

— Конечно, ты не можешь оценить весь размах, потому что не видел всего романа. В нем есть план, но он проступает очень медленно. Это, знаешь ли, не какое-нибудь любовное чтиво для отпуска. Это по-настоящему великая книга, и я ожидаю, что, когда она выйдет, люди будут читать и перечитывать ее, каждый раз открывая в ней новые глубины. Как у Джойса. Но в моем романе сложны идеи, а не язык. Тебя обманывает первое впечатление — биографический слой. Интеллектуальное путешествие необычного и

очень богатого ума в сочетании с духовными исканиями. Я могу тебе это сказать, потому что ты мой друг и понимаешь, что я собой представляю — до некоторой степени. Другие читатели поймут что-то другое. Одни поймут больше, другие меньше. Это книга, в которой истинно преданный и понимающий читатель найдет себя, а потому — нечто от сути нашей эпохи. Мир приближается к концу одной из Платоновых эр — эры Рыб, и нас ждут гигантские перемены. Эта книга, по-видимому, станет одной из великих книг новой эры, эры Водолея. Она предвещает то, что будущее сулит человечеству.

— Ага. Понятно. То есть я не понял. Если честно, я решил, что это книга про тебя и про всех, кто наступал тебе на мозоли начиная с детства.

— Ну, Сим, ты знаешь, что я стараюсь быть помягче, но эти слова больше говорят о тебе, чем о моей книге. Ты из тех, кому зеркало нужно, чтобы ровно повязать галстук, а не затем, чтобы заглянуть в глаза себе самому. Ты не хуже тысяч других будущих читателей после первого прочтения книги. Но ты невредный старичок, так что получишь пару подсказок. Вот только выпью еще, чтобы вдохновиться. Жаль, что ты отмеряешь выпивку этим наперстком. Я сам себе налью.

Налив почти полный стакан виски и добавив лишь каплю воды, только для виду, он пустился в описание книги; большую часть его речи я уже слышал, и всю ее мне предстояло услышать еще не раз.

— Понимаешь, мой роман обладает замечательно плотной текстурой. В нем множество тем, они переплетаются и освещают друг друга, так что каждая фраза содержит целый сложный узел возможных значений, допускающих несколько различных толкований. Значение внутри значения, так что весь роман многослоен, как луковица. Сюжет движется вперед в обычном, буквальном или историческом, смысле, но его подлинное движение совершается в области диалектики и морали, а финал достигается под давлением последовательно совершаемых отречений, обнаруженных ошибок и того, в чем внимательный читатель опознает полуправду.

— Да, непростая штука.

— Да нет. Простой читатель может интерпретировать все буквально и останется доволен. Ему покажется, что это биография довольно глупого и необыкновенно испорченного юнца, рожденного для жизни в Духе, но полного решимости избежать этой судьбы или отложить ее на воз-

можно более долгий срок, потому что юнец хочет исследовать этот мир и жизнь населяющих его созданий. Роман будет довольно реалистичен, понимаешь, так что может даже показаться простым повествованием. Возможно, глупцы найдут его однообразным или даже скучным, но и они не бросят его, а будут читать дальше — из-за «клубнички»… Это буквальный аспект. Но есть, конечно, и аллегорический аспект. Жизнь главного героя, молодого ученого, — это путешествие современного Обывателя по Пути паломника[98]. Читатель следует за его душой, идущей от детских фантазий через подростковую одержимость механическими и физическими аспектами жизненных ощущений и наконец открывающей для себя логические принципы, метафизику и в особенности скептицизм. В конце концов жизнь ставит перед главным героем дилеммы, свойственные среднему возрасту — раннему среднему возрасту — и зрелости, и вот он силой воображения восстанавливает единый взгляд на

**[98] Примечания: 98**

*…путешествие современного Обывателя по Пути паломника.* — Здесь и далее содержатся аллюзии на книгу Джона Беньяна «Путь паломника». Джон Беньян (1628–1688) — английский писатель, религиозный диссидент, проповедник. «Путь паломника» — одно из наиболее значительных произведений английской религиозной литературы, аллегорический роман, описывающий путь души в поисках Небесного Града.

жизнь, рожденный из синтеза бессознательных фантазий, научного знания, мудрости и мифологии морали. Все это сливается воедино в процессе религиозного примирения души с реальностью и приятия открывшейся истины.

— Уф!

— Минутку. Это не все. В книге есть еще и моральное измерение. Это научный труд, посвященный безумию, ошибкам, отчаянию, исследование тупиков и ложных жизненных теорий, популярных ныне и кое-как реализуемых на практике. Герой — не слишком смышленый авантюрист — ищет добродетельной жизни, в которой ум находился бы в гармонии с чувствами, знания накапливались и объединялись бы в целое в результате вспоминания и осмысления опыта, эмоции укрощались бы фактами, желания направлялись бы на объекты этого мира и все это контролировалось бы чувством юмора и соразмерности.

— Рад слышать, что будет еще и юмор.

— О, эта книга вся юмористическая, с начала до конца. В основе ее лежит глубокий, раскатистый смех удовлетворенного духа. Совсем как Джойс, но не скованный старыми иезуитскими оковами.

— Это очень мило.

— Но венец книги — ее анагогический уровень[99], содержащий финальное откровение двойственной природы мира, опознание человеческого опыта как Божественного языка, а жизни — как прелюдии к путешествию, которое невозможно описать: мы можем лишь гадать о нем, потому что все вещи указывают вне себя — на славу, которая превыше их всех. И потому окажется, что герой сказки — ибо это сказка для простаков, как я уже сказал, — всю жизнь искал отца по имени Образ и мать по имени Идол, чтобы заменить ими настоящих родителей, которые в реальной жизни являют собой лишь жалкие суррогаты Создателя. Путешествие героя никогда не завершится, но его одержимость Образом и Идолом постепенно уступает место убеждению в реальности. Реальности, лежащей за тенями, из

---

**[99] Примечания: 99**

*…анагогический уровень…* — Анагогия (от *греч.* вести вверх, возводить) — метод теологической философии, предполагающий синтетическое (рационально-интуитивное, философско-художественное) познание, исходящее из цели рассматриваемого предмета и синергических намерений мыслящего субъекта. Представляет собой высший уровень библейской экзегетики (объяснение и толкование библейских текстов), направленной на выяснение духовного смысла Священного Писания. Условием такого постижения является интуитивная связь познающего с любым внешним объектом, открывающим по аналогии смысл провиденциального существования субъекта, который вбирает в себя любые творческие поиски сущего.

которых состоит текущий момент, стремительно пролетающий мимо.

— Ты откусил изрядный кусок.

— Да, действительно. Но я могу его прожевать, потому что я его прожил, понимаешь ли. Я усвоил философию в юности, вынес ее в мир и там испытал.

— Джонни, мне очень неприятно это говорить, но… то, что я видел, не вызывает желания читать дальше.

— Ты не читал роман целиком.

— А кто-нибудь читал?

— У Холлиера есть полная копия.

— И что он говорит?

— Мне пока не удалось его перехватить, чтобы поговорить по-настоящему. Он говорит, что очень занят, и я ему верю, хотя, надо думать, мой роман гораздо важнее разных мелочей, пожирающих его время. Да, я нахал, я знаю. Но моя книга — великая книга, и рано или поздно Холлиеру придется с этим смириться.

— Что ты делаешь для публикации?

— Я составил подробное описание книги — план, темы, скрытые значения — и разослал всем крупным издателям. Я послал каждому по одной главе как образец: не хочу показывать весь ро-

ман, пока не буду уверен в их серьезности и не узнаю, какие условия они предлагают.

— И как, клюет?

— Один редактор пригласил меня на обед, но в последний момент позвонила его секретарша и сказала, что он не сможет прийти. Другой издатель позвонил, чтобы спросить, есть ли в книге «откровенные» сцены.

— Ага, старый добрый гомосекс. Да, сейчас это модно.

— Конечно, в книге много такого, но эту часть надо воспринимать только в контексте всего остального, иначе ее легко принять за порнографию. Моя книга откровенная — намного откровеннее всего, что я когда-либо видел, — но она не порнографическая. То есть, я хочу сказать, от ее чтения никто не возбудится.

— Откуда ты знаешь?

— Ну… все может быть, конечно. Но я хочу, чтобы читатель как можно более полно испытал все переживания героя, в том числе экстаз любви и отвратительную грязь секса.

— Если ты заявишь современным читателям, что секс — это грязь, ты далеко не уедешь. Секс теперь в большой моде. Не просто считается необходимым, приятным или естественным, а

вошел в моду. Это совсем другой коленкор.

— Буржуазное потрахивание. Мои тюремные случки — совсем другое. Все равно что сочная курица из «Кей-эф-си» в сравнении с вонючими объедками, за которые дерутся зэки в лагере.

— Такое, пожалуй, купят.

— Сим, не будь вульгарным идиотом. Это великая книга; она разойдется огромным тиражом и станет классическим произведением, но я не намерен вставлять в нее гадости, чтобы сделать ее популярной у мещан.

Классическим произведением. Я смотрел на него — грязного, опустившегося, в останках моего некогда хорошего костюма — и думал: действительно ли он мог написать классический роман? Откуда мне знать? Я не умею определять литературных классиков, и на мне, как и на всем человечестве, лежит бремя вины — сознание, что в прошлом люди иногда не признавали великие произведения великими, а потом оказывались посмешищем. Понятно, человеку трудно поверить, что его знакомый, и особенно такой явный неудачник и жулик, как Парлабейн, написал что-то значительное. В любом случае он не дал мне прочесть весь роман, так что, очевидно, счел меня недостойным: где уж мне, жалкому, огра-

ниченному существу, распознать гениальное произведение. Так что бремя — обязанность объявить книгу великой — ляжет на чьи-то чужие плечи. Но мне было любопытно. Я как хранитель «Нового Обри» обязан был выяснить все подробности, какие только смогу, и описать гения, если мне на глаза попался гений.

Может, выявление классиков литературы мне и не под силу, но несколько фондов прислушиваются к моему мнению о студентах, которым нужны деньги для продолжения учебы. Поэтому, когда Парлабейн ушел, я уселся заполнять анкеты, предоставляемые фондами людям, которых они называют «рекомендателями», а студенты — «ресурсораздавателями». Так что я отключил ту часть своей души, которая служила наперсником Парлабейну, и ту, которая составляла «Новый Обри», и ту — жадную, больную, — которая тосковала по Марии — Софии. Я взялся за пачку анкет: их в последний момент принесли жаждущие субсидий, но плохо организованные студенты. Все анкеты нужно было заполнить и отослать немедленно. Оплатить пересылку, видимо, тоже должен был я: студенты об этом не позаботились.

За моим окном лежал внутренний дворик Пло-

урайта. Для весны было еще слишком рано, но фонтанчики, никогда не замерзающие полностью, пели свою тихую песенку под ледяными коронами. Какое мирное зрелище даже в это губительное время года. «Вертоград заключенный — сестра моя, невеста, запертый колодезь, запечатанный источник»[100]. Как я ее люблю! Разве не странно, что человеку моего возраста так больно любить? Работай, Симон. Считается, что работа спасает от всего.

Я склонился над столом и погрузился в мизантропию. Интересно, что будет, если заполнить эти бумаги честно? Пункт первый: «Как давно вы знаете заявителя?» Вряд ли можно сказать, что вообще знаю, в мало-мальски серьезном смысле, потому что видел этих студентов только на занятиях. «В каком качестве вы их знаете?» Как преподаватель, иначе с чего бы мне заполнять эту анкету? «Из всех студентов, которых вы знаете таким образом, относится ли заявитель к лучшим 5 %? Лучшим 10 %? Лучшим 25 %?» Знаете что, дорогой мой грантодатель, это зависит от ваших стандартов. Большинство этих студентов более-менее на уровне. Ага, но вот мы переходим

**[100] Примечания: 100**

*«Вертоград заключенный — сестра моя, невеста, запертый колодезь, запечатанный источник».* — Песнь песней Соломона, 4: 12.

к конкретике: «Впишите в эту графу свои личные комментарии по данному вопросу». Вот тут «рекомендатель» или «ресурсораздаватель» должен налить сладкого сиропа. Но я устал от лжи.

И вот после полутора часов мучений я обнаружил, что написал про одного юношу: «Он — добродушный лентяй, безвредный, но совершенно не знакомый с понятием работы». Про другого: «Он коварен; никогда не поворачивайтесь к нему спиной». Про третьего: «Он живет за счет женщины, которая считает его гением; возможно, любой выданный ему грант следует соразмерять с ее заработками — она хорошая стенографистка. У нее есть собственный диплом бакалавра, но она некрасива, и я предполагаю, что соискатель, защитив диссертацию, немедленно осознает, что любит другую. Такое часто бывает и, скорее всего, не волнует вас, но меня лично огорчает». О молодой женщине: «У нее плоский, как Голландия, ум — подобный соляным болотам, а не полям тюльпанов. Он простирается до горизонта во всех направлениях и придавлен свинцовым небом. Но она, без сомнения, напишет кандидатскую диссертацию… в некотором роде».

Покончив, таким образом, с избиением младенцев — невинных в своей уверенности, что

я сделаю все возможное, чтобы добыть им денег, — я торопливо заклеил конверты, чтобы не поддаться малодушному раскаянию. Интересно, что подумает о моей писанине Канадский совет. Меня взбодрила надежда на то, что я поверг эту почтенную организацию в немалое смущение и растерянность. *Tohu-bohu*[101] и *brouhaha*[102], как любит говорить Мария[103]. Ах, Мария!

На следующий день в обеденном зале «Душка» я увидел Холлиера. Он сидел за вторым преподавательским столом. Я подсел к нему.

— Насчет Парлабейновой книги, — сказал я. — Это правда что-то необычное?

— Понятия не имею. Мне некогда было читать. Я отдал ее Марии. Пускай прочтет и мне расскажет.

---

**[101] Примечания: 101**

Смешение, суматоха *(фр.)*.

**[102] Примечания: 102**

Шум, свистопляска *(англ., фр.)*.

**[103] Примечания: 103**

*Tohu-bohu и brouhaha, как любит говорить Мария.* — Tohu-bohu — от древнееврейского «тоху ва-боху» (Бытие, 1: 2); обычно переводится как «безвидна и пуста» и используется для описания состояния Земли до того, как Бог произнес «Да будет свет»; в современном французском языке означает «смешение, суматоха». Brouhaha, возможно, происходит от древнееврейского *barukh haba*, «добро пожаловать» (букв.: «благословен грядущий»); в современном французском и английском языках обозначает «шум, свистопляска».

— Отдали Марии! А Парлабейн не взбесится?

— Не знаю, и меня это не волнует. По-моему, Мария имеет право читать, если хочет: она, кажется, оплачивает услуги профессиональной машинистки, которая перепечатывает книгу.

— А он занял у меня довольно большую сумму именно на это.

— Вас это удивляет? Он у всех берет взаймы. Меня уже тошнит от его попрошайничества.

— А что она говорит?

— Она еще мало прочитала. Ей приходится читать украдкой, потому что Парлабейн постоянно прибегает ко мне в комнаты. Но я видел, как она читает: с таким лицом, словно пытается разгадать загадку. И много вздыхает.

— Да, я тоже вздыхал, когда читал.

Но через несколько дней ситуация изменилась: Холлиер подсел ко мне за обедом.

— Я вчера встретил Карпентера. Это издатель, ну, вы знаете. Парлабейн и ему послал свою книгу или часть, и я спросил, что он думает.

— И?..

— Он ее не читал. У издателей нет времени на чтение книг — вы, наверное, знаете. Он отдал ее профессиональному читателю, рецензенту. Отчет, сделанный на основе описания и одной

главы, не дает поводов для оптимизма.

— Правда?

— Карпентер говорит, что таких книг им присылают по две, по три в год — длинные, многословные, многослойные творения со сложной структурой, тяжело груженные философией, но на самом деле всего лишь автобиографии-самооправдания. Карпентер собирается отослать книгу обратно.

— Парлабейн будет разочарован.

— Может быть, и нет. Карпентер говорит, что всегда посылает личное письмо, чтобы смягчить удар. Советует послать книгу в другое издательство, к формату которого она, может быть, больше подходит. Ну знаете, старый добрый метод перепасовки.

— Как там Мария, все читает?

— Трудится, аки пчелка. В основном, я думаю, из-за названия.

— А я и не знал, что у романа есть название.

— Есть, такое же закрученное, как и сам роман. Он называется «Не будь другим».

— Хм. Меня бы не потянуло купить книгу под названием «Не будь другим». А что нашла в нем Мария?

— Это цитата из ее любимого писателя, Пара-

цельса. Она уговорила Парлабейна почитать Парацельса, и Джонни сунул в начинку пальчик и вытащил изюминку, как хороший мальчик[104]. Парацельс написал следующее: «Alterins non sit, qui suus esse potest». То есть: «Не будь другим, если можешь быть собой».

— Клем, я тоже знаю латынь.

— Ну да, надо полагать. В общем, вот это откуда. Так себе, по-моему, но он думает, что это будет красиво смотреться на титульном листе. Курсивом. Намек читателю, что его ждет подлинное наслаждение.

— Наверное, это хорошее название… для тех, кто понимает. Конечно, Парлабейну не занимать решимости быть собой.

— Хорошо бы, люди не так старались быть собой, если это значит быть негодяем. Я уверен, как никогда, что Маквариш прикарманил ту рукопись, которую вам не удалось у него выдрать. И это не идет у меня из головы. Как навязчивая идея. Вы представляете себе, что такое навязчивая идея?

Да, я очень хорошо представлял себе, что это

---

**[104] Примечания: 104**

*…Джонни сунул в начинку пальчик и вытащил изюминку, как хороший мальчик.* — Парафраз английской народной детской песенки. Использован перевод Г. Кружкова.

такое. Мария.

София.

## 3

— Я теперь довольно часто вижу ту девушку, которая тут была в твой прошлый визит, — сказал Ози Фроутс. — Ну, ты ее знаешь — Марию.

Действительно, я ее знал. А что это она делает у Ози в лаборатории? Надеюсь, не носит ему ежедневные ведерки для опытов?

— Она знакомит меня с трудами Парацельса. Он оказался гораздо интересней, чем я думал. У него бывали невероятные прозрения, но, конечно, никакой возможности их проверить. Но все же удивительно, как далеко он продвинулся на одних догадках.

— Ты ни на вот столько не веришь в интуицию великого человека, а, Ози?

— Ни на миллиметр. Нет, я беру это обратно. У каждого ученого бывают интуитивные прозрения, и он их до смерти боится, пока не проверит на опыте. Понимаешь, великие люди попадаются очень редко.

— Но ты — один из них. Ты получил ту награду — теперь Мюррей Браун уже не сможет на тебя нападать, верно?

— Ты про Коберовскую медаль? Да, это неплохо. Весьма неплохо.

— Мне говорили, что ты теперь кандидат на Нобелевку.

— О, эти награды… я рад, конечно… но к ним надо относиться очень осторожно, ни в коем случае не путать с реальными достижениями. Но я доволен, что меня заметили. Кстати, на церемонии вручения мне придется прочитать лекцию. Тогда я и узнаю, что люди думают на самом деле, — по тому, как они примут мою лекцию. Но я еще не все показал, что могу, далеко не все.

— Ози, такая скромность великого человека убийственна по отношению к нам — скромным середнячкам. Мы кое-как плетемся вперед, делая все, что в наших силах, и зная, что это очень немного. Американский колледж врачей удостоил тебя высочайшей из своих наград, а ты жеманничаешь. Это не скромность, а мазохизм. Ты просто любишь страдать и урабатываться до потери пульса. Меня от тебя тошнит. Наверное, это твой шелдоновский тип виноват.

— Это все меннонитское воспитание. «Остерегайтесь гордыни». Вы все ужасно добры ко мне, поэтому я должен стеречься, чтобы не начать гладить самого себя по голове. Кстати, Мария

утверждает, что я маг.

— Надо полагать, в ее системе понятий ты и есть маг.

— Она написала мне очень милое письмо. В основном цитаты из Парацельса. Я постоянно ношу его с собой — это признак слабости. Но послушай: «Природным святым, именуемым магами, дана власть над энергиями и богатствами природы. Ибо есть блаженные во Господе, которые служат жизни будущего века; их именуют святыми. Но есть также и блаженные, кои служат силам природы, — их именуют магами… Что другим не под силу, то им под силу, ибо им это послано свыше как особый дар». Думать о себе в таких выражениях — смерть для ученого. Сомнение, сомнение и еще раз сомнение, пока не будешь уверен на сто пятьдесят процентов! Это единственный возможный путь.

— Если бы Мария написала мне что-нибудь такое, я бы ей поверил.

— Почему?

— Мне кажется, она знает, что говорит. У нее невероятное чутье на людей.

— Думаешь? Она прислала мне очень странного типа, определенно необычного в шелдоновском смысле, так что я его посадил на ведро. Интерес-

ные вещи приносит, но только раз в неделю или около того.

— Я его знаю?

— Ну, Симон, ты же знаешь, я не могу раскрывать имена. Это очень неэтично. Иногда мы с ним обсуждаем сомнение. Он великий любитель сомневаться. Раньше был монахом. Что в нем интересно, так это его шелдоновский тип. Очень редкий: три-семь-шесть. Понимаешь? Очень интеллектуальный и нервный, но фантастически крепкого сложения. Я бы сказал, что человек с такими задатками опасен. Может и ударить. Он измывался над своим телом, кажется, всеми способами, известными человечеству. А судя по тому, как пахнет его продукт, он наркоман со стажем. Он хотя и небольшого роста, но фантастически мускулист и силен. Ему нужны деньги, но он приносит продукт редко и помалу. Запор. Это от наркотиков. Он мне не нравится, но я его терплю из-за редкого типа.

— Ради Марии?

— Нет, ради себя самого. Слушай, я надеюсь, ты не подумал, что я неравнодушен к Марии? Да, она хорошая девушка, но больше ничего.

— У нее неинтересный тип?

— С моей точки зрения, нет. Слишком сбалан-

сирована.

— А она, случайно, не может оказаться «проклятьем пикника»?

— Никогда. Она хорошо сохранится. Будет импозантной женщиной. Наверное, сутулой: это неискоренимо в женской фигуре. Но она будет хорошо держаться до самого конца.

— Ози, а вот эти шелдоновские типы… они необратимы?

— Что ты имеешь в виду?

— В последний раз, когда я сюда приходил, ты был очень откровенен насчет меня и моей склонности к полноте. Помнишь?

— Да, это было в первый приход Марии. Конечно, я это сказал не по результатам обследования. Просто догадка. Но я отнес тебя к типу четыре-два-пять — мягкий, массивный, энергичный. Много кишок.

— Да. Кажется, ты сказал «литературные кишки».

— Да, у многих писателей такие. Конечно, можно иметь длинный кишечник и не быть писателем.

— Не отнимай у меня единственное утешение! Но вот что я хотел спросить: может ли человек такого типа перебороть свое тело, если будет пра-

вильно питаться, заниматься спортом и вообще следить за собой?

— До какой-то степени — да. Но, скорее всего, такой ценой, что оно того не стоит. В этом и беда всяких модных диет, бодибилдинга и так далее. Ты можешь пойти против своего типа и даже многого добьешься, пока будешь неустанно над этим работать. Погляди на голливудских звезд: они морят себя голодом и ложатся под ножи пластических хирургов, а все потому, что внешность — их орудие труда. Время от времени кто-нибудь из них не выдерживает и кончает самоубийством. Понимаешь, тело — это фактор, от которого не убежишь. Ты можешь поддерживать хорошую физическую форму для своего типа, но радикально измениться невозможно. Здоровый человек — это не тот, кто превратил себя в греческую статую, а тот, который живет в соответствии со своим телом. Если вернуться к тебе, я полагаю, ты можешь сбросить фунтов двадцать пять и это пойдет тебе на пользу, но ты не станешь худым: ты станешь более подтянутым толстяком. А во что это обойдется твоей нервной системе, я даже и гадать не могу.

— Иными словами, не будь другим, если можешь быть собой.

— Что это?

— Опять Парацельс.

— Он чертовски прав. Но быть собой непросто. Нужно понимать свою физиологию, а люди не хотят верить правде о себе. Они создают картинку в голове, а потом работают как черти, истязая свое бедное старое тело, — хотят, чтобы оно было похоже на ту картинку. А когда оно не подчиняется — конечно, потому, что не может, — они приходят в ярость и живут в своем теле, как будто это обветшалый дом, из которого они надеются съехать. В этом причина многих болезней.

— У тебя получается какое-то физиологическое предопределение.

— Только не ссылайся на меня. Это совсем не моя область. У меня своя задача, я отвечаю только за нее.

— Ты ищешь ценность в том, что было презрено и отвергнуто.

— Вот и Мария то же самое говорит. Но я буду очень глупо выглядеть, если заявлю это как тему своей Коберовской лекции.

— «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла».

— Симон, с учеными так нельзя разговаривать.

— Тогда скажи им, что это *lapis exilis*, философ-

ский камень их духовных предтеч — алхимиков.

— Ой, уходи, уходи, уходи сейчас же!

Я, смеясь, ушел.

## 4

Я решил стать более подтянутым толстяком, раз на большее все равно не мог надеяться. Я взялся за дело, и мною тут же овладела сварливость. Так всегда бывает, если я отказываю себе в разумном количестве жирных продуктов и сливочных десертов. Я кисло думал про Ози: хоть он и великий человек, я мог бы прочитать гораздо лучшую Коберовскую лекцию. Я бы добавил к сухой научной информации сладкие изюминки из трудов Парацельса и придал всей лекции убедительный гуманистический блеск, который пробудил бы аудиторию и вывел бы ее из пуританского ступора научного мировоззрения. Но я тут же упрекнул себя за тщеславие. В конце концов, что я знаю о работе Ози? Я всего лишь тупой жирный осел, из тела которого, как из подводной лодки через перископ, выглядывает худосочная кислая душа. Нет, так тоже не годится. Я вовсе не такой уж толстый и душа у меня не такая уж кислая, когда я нормально питаюсь. Я терял кучу времени на подобные глупые препирательства с самим

собой. Глубину моего отчаяния доказывает то, что раз или два, несмотря на всю свою безумную любовь, я спросил себя: да стоит ли Мария таких мучений?

Одной из докучавших мне причуд Парлабейна было то, что он обожал принимать ванны у меня; он говорил, что у него в меблированных комнатах удобства очень примитивны. Он подолгу нежился в ванне, а потом разгуливал по моим комнатам голый — не по наивности, а с расчетом. Он щеголял своим телом, да и было чем щеголять: хотя мы ровесники, его тело было поджарым и мускулистым, с тонкими лодыжками и впечатляющим рельефом живота, с отчетливо видной прямой мышцей, как на доспехе римского солдата. Было ужасно несправедливо, что наркоман и алкоголик с двадцатилетним стажем, и притом, если верить Ози, склонный к запорам, так хорошо выглядит в костюме Адама. Лицо его, конечно, было изуродовано, и он плохо видел без очков, но, даже несмотря на это, он потрясающе, разительно контрастировал с человеком, одетым в мой старый костюм и какое-то совершенно ужасное нижнее белье. Одетый, он выглядел зловещим оборванцем; раздетый, он неприятно походил на Сатану с рисунков Блейка. С таким человеком не

хотелось бы подраться.

— Ах, мне бы твою физическую форму! — сказал я как-то в его очередной визит.

— Даже не думай об этом, если хочешь прославиться как теолог, — заметил он. — Они все скелеты или жирдяи. Во всей компашке ни одного такого, как я. Набери еще фунтов сорок, и будешь примерно той же комплекции, что Фома Аквинский в пору борьбы с манихеями. Ты знаешь, он до того разжирел, что не мог повернуться за алтарем, и ему сделали специальный алтарь с выемкой в форме полумесяца. Тебе до этого еще далеко.

— Я знаю от Ози Фроутса, ныне прославленного и оправданного получением Коберовской медали, что у меня сложение типичного литературного деятеля, — сказал я. — Мой живот вмещает то, что Ози называет литературными кишками. Может, будь у тебя хоть небольшое пузцо вроде моего, а не эта стиральная доска, которой я завидую, твой роман читался бы легче.

— Я бы с радостью понес бремя твоего пуза в обмен на положительный ответ от издателя.

— Пока ничего?

— Четыре отказа.

— Видимо, это окончательный ответ.

Он упал в одно из моих кресел — по-прежнему голый. Несмотря на явно владеющее им отчаяние, мускулы сохраняли тонус и он выглядел просто красавцем, если забыть про очки с толстыми стеклами. Скульптура «Отвергнутый писатель» работы Родена.

— Нет. Единственный окончательный ответ, который я признаю, — это когда книгу примут на моих условиях для немедленной публикации.

— О, ну что ты, я вовсе не хотел тебя огорчать. Но… четыре отказа! Это ничто. Не сдавайся, продолжай надоедать издателям. Многие писатели занимаются этим годами.

— Я знаю. Но я — не многие. У меня кончается терпение.

— Сейчас Великий пост, как ты прекрасно знаешь. Это самая тяжелая пора в году.

— Симон, а ты что-нибудь делаешь для поста?

— Я стал меньше есть, но это скорее совпадение. На самом деле во время поста я обычно выполняю программу самопознания, стараюсь заглянуть к себе в душу и хоть немного навести в ней порядок. А ты?

— Я разваливаюсь на куски. Все из-за книги. Никто не хочет принимать ее всерьез, и меня это убивает. Это моя жизнь — в гораздо большей

степени, чем я предполагал.

— Ты имеешь в виду — твоя автобиография?

— Нет, черт возьми! Я же сказал тебе, что это не какой-нибудь сборник мелочных обид. Это — лучшее, что есть во мне, и если эту книгу не заметят, что останется от меня после смерти? Ты слишком жирен, чтобы понимать, что такое навязчивая идея.

— Прости, Джон. Я не хотел тебя обидеть.

— Это все, что я вынес из невыгодной сделки, называемой жизнью, в скверной дыре, именуемой миром. В этой книге я весь — и корень, и крона. Ты не представляешь, на что я готов пойти, лишь бы ее напечатали.

Он все больше погружался в отчаяние, но инстинкта самосохранения не утратил, поскольку до ухода выклянчил еще две рубашки, несколько пар носков и очередную сотню долларов — все деньги, какие нашлись у меня в столе. Я не хотел бы показаться скрягой, но мне уже надоело выслушивать его романтические духовные страдания и при этом раскошеливаться на его плотские нужды.

Он же зарабатывает. Немного, но на жизнь ему должно хватать. На что же он тратит мои деньги, деньги Холлиера и деньги Марии?

Может, правда наркотики? Но для наркомана он недостаточно плохо выглядит. Выпивка? Он много пьет, когда выпадает случай напиться за чужой счет, но вообще не похож на пьяницу. Куда же он девает деньги? Я не знал, но мне уже надоело его постоянное попрошайничество.

## 5

Пост — самое время для самокопания и, быть может, самоуничижения, но, насколько мне известно, не считается подходящим временем для любви. Тем не менее любовь была моим ежедневным спутником, епитимьей, власяницей. Нужно было что-то делать, но что? Симон, гляди на вещи трезво: каким маневром сорокапятилетнему священнику занять позицию, с которой удобно признаться в любви молодой женщине двадцати трех лет? И что она об этом подумает? Симон, ну что она может подумать? Гляди на вещи трезво, идиот.

Но может ли человек, зажатый в тисках навязчивой идеи, смотреть на вещи трезво или хотя бы понять, какие из этих вещей имеют отношение к делу?

Я разработал несколько сценариев и набросал ряд речей — чрезвычайно разумных, но тем не

менее полных нежности. Потом, как это часто бывает, все случилось внезапно и — для такой ситуации — даже просто. Мария как ассистент Холлиера имела право ужинать с преподавателями в общем зале «Душка». Как-то вечером, в конце марта, я столкнулся с ней, когда декан только что произнес молитву после еды и все мы двинулись пить кофе в зал профессуры. Точнее, я собирался пить кофе и спросил Марию, не принести ли и ей тоже. Она ответила, что кофе «Душка» не совсем то, что ей нужно в данный момент. Я увидел возможность и не преминул ею воспользоваться:

— Если вы готовы пройтись со мной до Плоурайта, я сварю вам хороший кофе. Могу и коньяку налить, если хотите.

— Очень хочу.

Через пять минут она уже помогала мне, точнее, наблюдала, как я ставлю маленькую венскую кофеварку на электроплитку. Через пятнадцать минут я уже признался в любви и гораздо более связно, чем ожидал, изложил концепцию Софии (которую Мария, как медиевист, уже знала) и то, что она, Мария, — моя София. Она умолкла и молчала, как мне показалось, очень долго.

— Это самое лестное, что я слышала за всю свою жизнь, — наконец произнесла она.

— Значит, вам эта идея не кажется смешной?

— Смешной? Ни в коем случае. Как вы могли подумать, что смешны?

— Мужчина моего возраста, влюбленный в женщину вашего возраста, безусловно, может показаться смешным.

— Но вы же не какой-нибудь абстрактный мужчина вашего возраста. Вы прекрасны. Я восхищаюсь вами с самого первого занятия.

— Мария, не дразните меня. Я знаю, что я такое. Я мужчина средних лет и совсем нехорош собой.

— О, это! Я назвала вас прекрасным за прекрасную душу, за восхитительную любовь к своему предмету. Кого волнует ваша внешность? Ох нет, это прозвучало очень грубо. Ваша внешность в точности подходит к вашей сути. Но внешность ведь не имеет значения, правда?

— Как вы можете это говорить? Вы же такая красивая.

— Вы бы по-другому на это взглянули, если бы ваша внешность привлекала столько же внимания, сколько моя, и заставляла бы людей думать о вас всякие глупости.

— Неужели мысли, которые я вам сейчас открыл, показались вам глупостями?

— Нет, нет. Я совсем не то имела в виду. Ваши

слова, исходящие именно от вас, — величайший комплимент в моей жизни.

— Так что нам теперь делать? Осмелюсь ли я спросить, любите ли вы меня?

— Да, конечно, я вас люблю. Но, боюсь, совсем не той любовью, о которой говорили вы.

— Значит?..

— Я должна очень тщательно продумывать свои слова. Я люблю вас, но я никогда не перейду с вами на «ты». Я люблю вас за то, что вы помогаете мне постигать вещи, которых я не понимала раньше или понимала не так. Я люблю вас за то, что вы сделали ученость основным источником жизненной силы, а она сделала вас особенным человеком. Вы как огонь: вы меня согреваете.

— Так что нам теперь делать?

— А нам обязательно что-то делать? Мне кажется, мы уже что-то делаем. Если я для вас София, тогда что такое вы для меня?

— Я не очень понимаю. Вы говорите, что любите меня и что я для вас нечто важное. Значит, мы можем любить друг друга?

— Но мы уже любим друг друга.

— Нет, я имею в виду — по-другому. Полностью.

— Вы говорите про любовную связь? Постель

и все такое?

— А это исключено?

— Нет, но я думаю, что это будет большая ошибка.

— О Мария, вы уверены? Смотрите, вы ведь знаете, что я такое: я священник. Я не прошу вас стать моей любовницей. Это было бы мелко.

— Ну уж замуж за вас я точно не пойду!

— Вы хотите сказать, что это совершенно исключено?

— Абсолютно.

— Увы. Но я не могу делать вам непристойных предложений. Не думайте, что это ханжество…

— Нет, нет, я прекрасно понимаю. «Ведь если бы я предал честь, я предал бы тебя»[105].

— Не только честь. Можно сказать и так, но это нечто большее. Я иерей вовек, по чину Мелхиседекову[106]. Это связывает меня определенными правилами, не допускающими двойных толкований. Если я сойдусь с вами, не дав обета перед алтарем, я скоро превращусь в человека, которого вы будете презирать: в священника-отступника.

---

**[105] Примечания: 105**

*«Ведь если бы я предал честь, я предал бы тебя».* — Из стихотворения Ричарда Лавлейса «Лукасте, уходя на войну». Перев. М. Бородицкой.

**[106] Примечания: 106**

*…иерей вовек, по чину Мелхиседекову.* — Псалтырь, 109: 4.

Я согрешу не пьянством, развратом или чем-то иным относительно простым и, может быть, простительным: я стану клятвопреступником. Понимаете?

— Да, прекрасно понимаю. Вы нарушили бы клятву, данную Богу.

— Да. Вы понимаете. Спасибо вам.

— Я уверена, что вы со мной согласитесь: я бы очень странно выглядела в качестве жены священника. И… простите меня, Симон… мне кажется, вам не жена нужна. Вам нужно кого-нибудь любить. Разве вы не можете меня любить, не втягивая в это совершенно посторонние вещи — брак, постель и все прочее, что, по-моему, не имеет ни малейшего отношения к предмету нашего разговора?

— Вы очень требовательны! Вы что, совсем не знаете мужчин?

— Почти совсем не знаю. Зато я хорошо знаю вас.

Слова будто сами вырвались, и я тут же пожалел о сказанном, но ревность оказалась быстрее меня:

— Не так хорошо, как Холлиера!

Она побледнела, отчего ее лицо приняло оливковый оттенок.

— Кто вам сказал? Хотя можно не спрашивать: он сам, конечно.

— Мария! Мария, верьте мне, это совсем не то, что вы думаете! Он не хвалился и не проболтался по глупости: он был несчастен и рассказал мне, потому что я священник, а я не имел права даже заикаться об этом в разговоре с вами!

— Это правда?

— Клянусь.

— Тогда слушайте меня, потому что я скажу вам правду. Я люблю Холлиера. Я люблю его так же, как вас, — за то, что вы прекрасны в своем собственном прекрасном мире. Я как последняя дура хотела Холлиера в том смысле, о котором говорили вы. Я не знаю и никогда не узнаю, почему это случилось, — потому ли, что я хотела его, или потому, что он хотел меня. Но это была огромная ошибка. Из-за этой глупости, которая не принесла мне ни черта хорошего, между мной и Холлиером встала некая преграда и я чуть его не потеряла. Думаете, я хочу, чтобы это повторилось с вами? Неужели все мужчины — жадные дураки и думают, что не бывает любви без этой особой уступки?

— Мир считает, что это — венец любви.

— Ну так миру еще многое предстоит узнать.

Симон, вы назвали меня Софией: Божественной Мудростью, напарницей и соратницей Бога в Сотворении мира. А теперь я вас, может быть, удивлю: я согласна, что я — ваша София, и готова быть ею, пока вы сами того желаете, но я еще и своя собственная Мария. И если мы с вами ляжем в постель, может быть, ляжет туда София, но встанет оттуда Мария, и не лучшая ее часть, а София исчезнет навеки. А вы, Симон, дорогой мой, ляжете со мной в постель как мой мятежный ангел, но очень скоро превратитесь в полноватого англиканского священника, и мятежным ангелом вам больше не бывать.

— Мятежным ангелом?

— Неужели теперь я могу вас кое-чему научить — после этого совершенно ненаучного разговора? О Симон, неужели вы не помните про мятежных ангелов? Это были настоящие ангелы, Шемхазай и Азазель, они выдали небесные тайны царю Соломону, и Бог прогнал их с неба. И что же, они надулись и стали строить планы мести? Ничего подобного! Они не были злопамятными эгоистами вроде Люцифера. Вместо этого они подсадили человечество на ступеньку выше по лестнице прогресса: пришли на Землю, и научили людей языкам, целительству, законам и

гигиене — всему научили, и имели особый успех у «дочерей человеческих». Это замечательный апокриф, и я думала, что вы его знаете, потому что это же объясняет, как появились университеты! Бог в этих историях предстает в не очень приятном свете, правда? Иов вынужден был сказать Ему пару ласковых за несправедливость и капризы, а мятежные ангелы показали Ему, что прятать все знание и мудрость для единоличного пользования — чистый эгоизм. Для меня это — доказательство, что мы еще сможем цивилизовать Бога. Так что, Симон, милый, пожалуйста, не отнимайте у меня мятежного ангела, не становитесь обыкновенным земным любовником. А я не буду отнимать у вас Софию. Вы и Холлиер — мои мятежные ангелы, но, раз я рассказала вам первому, вы можете выбрать, кем хотите быть: Шемхазаем или Азазелем.

— Конечно Шемхазаем! Азазель для меня слишком легкомыслен.

— Симон, вы такой хороший!

Мы проговорили еще час, но не сказали ничего такого, что не было бы в той или иной форме сказано раньше. И когда мы расстались, я действительно поцеловал Марию — не как обычный любовник или обрученный жених, но в духе,

какого я не знал прежде.

С того званого ужина в «день подарков» я полной мерой испил слез сирены[107] и теперь, к своей ликующей радости, понимал, что испытание, кажется, окончено. Я спал сном младенца и на следующий день встал с ощущением несказанной легкости.

## 6

— Алло! Алло! Это преподобный Даркур? Слушайте, я насчет этого, Парлабейна. Он помер. Лежит мертвый в кровати, и свет горит. Тут письмо, в нем сказано — вас позвать. Так вы придете, э? Потому что чего-то надо делать. Не могу ж я сама с этим разбираться.

Таким звонком разбудила меня хозяйка меблированных комнат, где жил Парлабейн, в шесть часов утра пасхального воскресенья. Судя по голосу, она принадлежала к традиционному племени затюканных, постоянно чем-то возмущенных хозяек меблированных комнат. Врачей и приходских священников не удивишь сроч-

---

**[107] Примечания: 107**

*…полной мерой испил слез сирены…* — Аллюзия на шекспировский сонет 119. В сонете говорится о разрушенной и возрожденной любви, которая после возрождения становится еще прекраснее, сильнее и богаче.

ными вызовами, но большинство из них не настолько срочны, чтобы бежать неодетым и не выпить хотя бы растворимого кофе. Врачи и священники — авторитетные фигуры и обязаны явиться на место очередной человеческой катастрофы, какова бы она ни была, собранными и в приличном виде. Меблированные комнаты, где жил Парлабейн, располагались недалеко от университета, и вскоре я уже поднимался по лестнице под взволнованный, сердитый монолог миссис Мастард. Она рано встала, чтобы пойти на семичасовую службу в церковь, увидела свет под дверью Парлабейна, а как она завсегда говорит, чтоб не тратил зря электричество, то и пошла постучать, а он никак не просыпался, так что она вошла… думала, может, он опять дрыхнет пьяный, как это с ним часто бывает, — а еще притворялся каким-то там монахом, — а он там лежал вроде как с улыбкой на лице, и никак его было не растолкать, и весь холодный… нет, врача она не вызывала и уж точно не хочет никаких неприятностей.

Покойный, облаченный в монашескую рясу, лежал на узкой железной койке в скромной комнатке, в которой умудрился навести несвойственный ей от природы мерзостный хаос. Руки

покойного сжимали монастырский часослов. Лицо было удовлетворенное, но без улыбки; мертвые не улыбаются, пока над ними не поработает искусный бальзамировщик. На столе, прислоненное к чему-то, стояло письмо: на конверте значились мое имя и телефон.

Самоубийство, подумал я. Не могу сказать, что мне удалось подбодрить миссис Мастард, но я успокоил ее как мог, а потом позвонил врачу, которого мы с Парлабейном знали еще по колледжу, и попросил его прийти. Он пришел минут через двадцать, также полностью одетый и отчетливо пахнущий растворимым кофе. Какое счастье для священников и врачей, что на свете есть растворимый кофе!

В ожидании врача я успел прочитать письмо и избавился от миссис Мастард — вежливо попросил ее сварить кофе: желательно не растворимый, сказал я, чтобы убрать ее с дороги на как можно более долгий срок.

Письмо было типичным для Парлабейна.

*Дорогой старина Симон!*

*Прости, что пришлось тебя дернуть, но кому-то надо подтереть за мной, а у тебя, в конце концов, работа такая. От Ля Мастард ничего особенного ожидать не приходится, тем более что я ей довольно много должен за квартиру. Этот долг и все прочие мои долги следует погасить из аванса, который вот-вот заплатят за мой роман. Думаешь, нет? Как тебе не стыдно сомневаться! А пока что – я от всей души желаю получить христианское погребение, так что прибавь, пожалуйста, это одолжение к длинному списку прочих своих одолжений – уложи Джонни в постельку, как часто бывало в наши юные годы в «Душке»... правда, ты так ни разу и не рискнул составить Джонни компанию в этой постельке, трусишка! Господь да благословит тебя, Симон.*

***Твой брат во Х.***
***Джон Парлабейн,***
***из Ордена священной миссии***

Пришел врач, и у меня сильно полегчало на душе. Он осмотрел тело и сказал, что Парлабейн мертв (это было и так ясно), но причина смерти

неизвестна (это меня удивило).

— Никаких признаков, — объяснил врач. — Он умер, потому что сердце перестало биться, и ничего иного я не могу написать в свидетельстве о смерти. Остановка сердца. На самом деле именно от этого и умирают все люди.

— Ты не подозреваешь, что он сам это сделал?

— Никаких подозрений. Я заподозрил нечто в этом роде, когда ты позвонил. Но я не могу найти никаких признаков — ни следа от укола, ни какой-либо иной метки. Ни следов яда — а обычно всегда что-нибудь бывает. У него такой довольный вид — не может быть, чтобы он перед смертью страдал. Если честно, я ожидал, что это самоубийство.

— Я тоже, но я рад, что это не так.

— Да, а то ты оказался бы в хорошеньком положении, верно?

Таким образом мой друг-доктор выразил распространенное убеждение, что священникам моей конфессии запрещено хоронить самоубийц по-христиански. На самом деле нам предоставляется большая свобода в решении таких вопросов, и милосердие обычно одерживает верх.

Я сделал все необходимое, добавив работы к своему пасхальному воскресенью, и без того

перегруженному делами. Квартирная хозяйка устроила небольшой, но неподобающий скандал: она не соглашалась отдать тело для погребения, пока кто-нибудь не оплатит долг покойного. Так что я заплатил, думая про себя: интересно, сколько времени она продержалась бы, если бы я позволил ей оставить у себя тело Парлабейна в его нынешнем состоянии? Бедная женщина; должно быть, у нее подлинно собачья жизнь, отчего она стала сварливой, но принимает эту сварливость за силу духа.

Назавтра, в понедельник Светлой седмицы, я отпел Парлабейна в часовне Святого Иакова Младшего, расположенной в удобной близости к крематорию. Я ждал, не придет ли кто-нибудь на отпевание, и размышлял о том, что мне предстоит. Вот я стою в рясе, стихаре и епитрахили: профессиональный диспетчер, отправляющий людей в последний путь. Насколько я верю в то, что сейчас буду произносить? Насколько в это верил Парлабейн? Например, в телесное воскресение? Впрочем, нет смысла переживать: Парлабейн просил христианского погребения и должен его получить. Погребальная служба очень красива — а красивую музыку нельзя изучать, как будто это страховой полис.

Кроме меня, пришли только Холлиер и Мария. Владелец похоронного бюро, обманутый рясой Парлабейна, положил его головой к алтарю; я решил ничего не менять. Я уже объяснил владельцу похоронного бюро, что покойному не нужно нижнее белье: Парлабейн умер в рясе на голое тело, и именно в таком виде я собирался отправить его в огонь крематория. Я не хотел заработать репутацию эксцентричного человека, требуя дальнейших нарушений приличия.

Служба шла в узком кругу, и, когда настало время, я сказал:

— В этот момент священник обычно произносит речь о покойном, чью смертную оболочку отправляет в последний путь. Но нас тут мало, и все мы — друзья покойного, так что я предлагаю нам всем поговорить о нем. Я считаю его человеком, достойным жалости, но он презрительно отверг бы мою жалость — у него был гордый, мятежный дух. Он просил меня похоронить его по-христиански, и потому мы здесь. Он в своеобычной манере выражал свою любовь к христианству, но, кажется, презирал большинство Писаний, которыми принято дорожить у христиан. В нем словно боролись гордыня и вера; он понятия не имел о смирении. Честно сказать,

я не знаю, что о нем думать; мне кажется, он меня презирал, и его последнее письмо, обращенное ко мне, с виду шутливое, на самом деле пронизано презрением. Моя вера требует, чтобы я его простил, и я его прощаю; он просил христианского погребения, и я никак не могу ему в этом отказать. К сожалению, я не могу от чистого сердца сказать, что он мне нравился.

— Он старательно делал все, чтобы его невозможно было любить, — сказала Мария. — Несмотря на все его улыбки, дружеские шутки и ласковые словечки, он всех глубоко презирал.

— Мне он нравился, — сказал Холлиер. — Правда, я знал его намного лучше, чем любой из вас. Надо думать, я видел в нем одну из своих любимых культурных окаменелостей: прошли те времена, когда люди могли, не стесняясь, хвалиться перед другими своим высоким интеллектом. Мы сейчас лицемерим на этот счет. Но Парлабейн не лицемерил: он считал нас тупицами, а меня, я не сомневаюсь, — жуликом от науки. В этом он был пережитком великих дней Парацельса и Корнелия Агриппы, да и Рабле тоже. Тогда люди, которые много знали, затейливо насмехались над всеми, кого считали ниже себя с интеллектуальной точки зрения. В Парлабейне

было что-то освежающее. Жаль, что его роман так плох: на самом деле он, с начала и до конца, одна сплошная насмешка, что бы ни думал о нем автор.

— Он, кажется, умер в твердой уверенности, что роман увидит свет, — сказал я. — В предсмертном письме он распорядился выплатить его долги за счет аванса от издателя.

— Не верьте, — сказал Холлиер. — Он просто не мог признать, что жил нахлебником, хоть и знал, что это правда. И, кстати говоря, пока я не забыл — Симон, кто платит за погребение?

— Я, надо полагать.

— Нет, нет, — сказал Холлиер. — Я тоже поучаствую. С какой стати вы должны платить за все?

— Конечно, так было при его жизни, и так должно быть до самого конца, — сказала Мария. — На момент смерти он был должен мне чуть меньше девятисот долларов. Еще сотня меня не разорит.

— О, там не должно быть такой суммы, — сказал я. — Я договорился, все выйдет очень дешево. Включая стоимость похорон, и то, что он задолжал хозяйке дома, и еще разное по мелочи, надо полагать, на каждого из нас придется… Мария, вы оказались ближе, чем я думал: выйдет больше чем по двести долларов с каждого… О боже, это

совершенно неприлично. Я думал, мы тут будем серьезно и с любовью вспоминать покойного, а мы торгуемся из-за его долгов.

— Так ему и надо, — сказал Холлиер. — Если он сейчас где-то рядом, он, должно быть, сейчас лопнет от смеха.

— Он мог оставить такое же завещание, как Рабле, — сказала Мария. — «Я много должен, ничего не имею, а разницу завещаю бедным».

Она засмеялась.

Мы с Холлиером поймали от нее смешинку и принялись громко хохотать. Сотрудник похоронного бюро высунулся в алтарную часть из маленькой комнатки, где скрывался до поры, и кашлянул. Я понял его сигнал: Парлабейна нужно убрать в крематорий до обеденного перерыва.

— Помолимся же, — сказал я.

— Да, — отозвался Холлиер. — А потом — очищающий огонь.

Мы снова расхохотались. Сотрудник похоронного бюро наверняка видел множество странных похорон, но наше поведение его явно шокировало. Впервые в жизни я смеялся, читая молитву на предание тела земле. Я проследил за отправкой гроба, и мы трое снова встретились на улице. Мне не нужно было идти обратно, чтобы присутство-

вать при кремации.

— Самые приятные похороны в моей жизни, — сказал Холлиер.

— Я чувствую облегчение, — сказала Мария. — Наверное, мне должно быть стыдно… впрочем, нет, не должно быть. В последнее время он стал для меня ужасным бременем, а теперь я освободилась.

— Может, пойдем пообедаем? — предложил я. — Позвольте мне заплатить. Я очень благодарен, что вы пришли.

— Ни в коем случае, — сказал Холлиер. — В конце концов, вы все устроили и сами провели отпевание. Вы сделали достаточно.

— Я пойду, только если вы мне позволите заплатить за обед, — сказала Мария. — Если вам нужна причина — считайте, это потому, что я рада больше вас обоих. Я освободилась от него навсегда.

Мы согласились, и Мария заплатила за обед, который затянулся до трех часов дня. Мы все получили огромное удовольствие от того, что назвали поминками по Парлабейну. По пути в университет, где никто из нас сегодня еще не был, мы заметили, что флаг на главной площади университетского городка приспущен. Нас не

заинтересовало почему: в большом университете постоянно скорбят о смерти того или иного достойного деятеля.

# Второй рай VI

## 1

Февраль. Безусловно, кризисный месяц в университете — да, должно быть, и везде, где царит канадская зима. Кризис бушевал и в гостиной у мамуси, где Холлиер уже битый час ходил вокруг да около своей одержимости Эркхартом Макваришем и рукописью Грифиуса, но так и не мог взглянуть фактам в лицо. В комнате было темнее, чем можно было ожидать от пяти часов февральского вечера. Я старалась не высовываться и смотрела, смотрела… и боялась, боялась.

— Холлиер, почему вы не скажете, чего вам надо? Почему не говорите, что у вас на уме? Думаете меня провести? Вы все болтаете и болтаете, но ваше желание кричит громче слов. Слушайте. Вы хотите купить у меня проклятие. Вот чего вы хотите. Скажете, нет?

— Мне трудно объяснить, мадам Лаутаро.

— Зато понять нетрудно. Вы хотите эти письма, эту книгу, что у вас там. Она у того, другого, и он вас дразнит, потому что вы не можете до нее добраться. Вы хотите заполучить эту книгу. И

отомстить ему.

— В интересах науки…

— Да, вы уже говорили. Вы думаете, что можете сделать с этой книгой то, что там надо с ней сделать, лучше, чем он. Но самое главное, вы хотите сделать это первым. Нет?

— Ну, если формулировать в лоб, то, я полагаю, вы правы.

— А почему же не в лоб? Слушайте: вы приходите, льстите мне, называете меня *пхури дай* и рассказываете длинную историю про этого врага, который превратил вашу жизнь в ад. И вы думаете, я не знаю, чего вам надо? Вы сказали, что я стану вашей коллегой и приму участие в захватывающем эксперименте. На самом деле я должна стать для вас *чохани* — колдуньей, что наводит проклятие. Вы говорите о мире тьмы, об этих… как его… хтонических силах и вообще болтаете по-профессорски, но на самом деле вы имеете в виду магию, разве не так? Потому что вы попали в положение, где красивые, важные профессорские слова не помогают. И вы думаете, что вам поможет старая черная магия. Но вы боитесь открыться и попросить прямо. Я права?

— Мадам, я не глуп. Я двадцать лет ходил кругами около вещей, о которых мы сейчас говорим.

Я исследовал их самыми лучшими, самыми объективными способами, возможными в научном мире. Но я не уверовал в них полностью. Конечно, проблема, которая сейчас передо мной стоит, заставляет меня смотреть в этом направлении, и вы правы: я хочу использовать особые средства, чтобы получить нужное, и если это значит причинить вред моему сопернику по науке, видимо, это неизбежно. Но не надо упрощать, говоря со мной о магии. Я знаю, что она такое, то есть я знаю, что она такое в моих представлениях. Магия… я терпеть не могу это слово из-за того, что оно значит в наши дни, ну да ладно… так вот, настоящая магия может существовать только там, где есть очень сильное чувство. Магия невозможна для скептического ума — ее нельзя призывать, держа фигу в кармане, если можно так выразиться. Нужно желать всем сердцем и нужно верить. Вы хотя бы представляете, как это трудно человеку моего времени, с моим образованием и темпераментом? Вы, на глубочайшем уровне своего бытия, живете в Средневековье, и магия дается вам легко… не скажу «логично». Но для меня она — предмет изучения, психологический, но не обязательно объективный факт. Просто вещь, в которую люди всегда верили, но

которую так никто и не доказал. У меня никогда не было случая самому провести эксперимент, потому что мне недоставало нужного — желания и веры… Но сейчас впервые в жизни — в самый, самый первый раз — я отчаянно желаю. Я хочу заполучить эту рукопись. Хочу настолько сильно, что готов пойти на многое. Мне случалось раньше хотеть — научных премий и всякого такого, — но никогда так сильно.

— Вы никогда не хотели женщину?

— Не так сильно, как я хочу эту рукопись. Наверно, вообще не очень-то хотел. Подобные вещи для меня мало значат.

— Выходит, первая великая страсть вашей жизни коренится в ненависти и зависти? Подумайте, Холлиер.

— Вы все упрощаете, чтобы меня унизить.

— Нет, чтобы вы взглянули себе в лицо. Ну хорошо, желание у вас есть. Но вы не можете заставить себя признаться, что у вас есть и вера.

— Вы не понимаете. Вся моя научная подготовка направлена на то, чтобы не принимать на веру — чтобы исследовать, экспериментировать, пробовать, испытывать.

— Значит, вы хотите ради эксперимента проклясть своего врага.

— Я не говорил о проклятии.

— Словами не говорили. Но мои старомодные уши, извещающие мой старомодный мозг, могут и обойтись без этого старомодного слова. Вы не можете произнести его вслух, потому что хотите оставить себе лазейку. Если оно сработает — и хорошо, а если не сработает, то все это было цыганское шарлатанство и великий профессор, современный человек, по-прежнему на коне. Послушайте меня. Вы хотите эту книгу. Ну так наймите вора, чтобы он ее украл. Я могу вас свести с очень хорошим, ловким вором.

— Да… я об этом думал. Но…

— Но если вы ее украдете, а потом напишете о ней, ваш враг будет знать, что это вы ее украли. Верно?

— Да, это приходило мне в голову.

— Ха! Приходило вам в голову! Значит, давайте смотреть фактам в лицо, как вы уже сделали в сердце своем, но не желаете признаться в этом мне или даже самому себе: если вы хотите заполучить эту книгу или что у вас там и спокойно ее использовать, то человек, у которого она сейчас, должен быть мертв. Вы готовы пожелать человеку смерти, профессор?

— Каждый день тысячи людей желают смерти

другим людям.

— Да, но всерьез ли? Действительно ли они убили бы своих врагов, будь у них такая возможность? Ну ладно: почему вы не хотите сделать так, чтобы его убили? Я не найду для вас убийцу, но Ерко может подсказать, где искать.

— Мадам, я сюда не затем пришел, чтобы нанимать воров и убийц.

— Нет, вы для этого слишком умны, слишком современны. Вдруг вашего убийцу поймают? Наемники часто неуклюжи, совершают ошибки. Если он скажет: «Меня нанял профессор», то вы в беде. Но если вас найдут и вы скажете: «Я заплатил старой цыганке, чтобы она прокляла его», судья только посмеется и погрозит вам пальцем за шуточки. Вы умный человек, Холлиер.

— А вы держите меня за дурака.

— Потому что вы мне нравитесь. Вы слишком хороший человек, чтобы вот так вести себя. Вам повезло, что вы пришли ко мне. Но почему вы пришли?

— На Рождество вы гадали мне на картах Таро, и все это сбылось. Одержимость и ненависть, о которых вы говорили, стали ужасной реальностью.

— И они теперь навлекают беду на вас и на кого-то рядом с вами. Кто это?

— Я и забыл об этом. Не знаю, кто это может быть.

— Я знаю. Это моя дочь Мария.

— Ах да, конечно. Мария должна была работать над этой рукописью вместе со мной.

— Что еще насчет Марии?

— Ну, это все. Что еще может быть?

— Боже мой, Холлиер, вы глупец. Я прекрасно помню ваше гадание. Кто этот Паж Монет, слуга с письмом?

— Не знаю. Он еще не появился. Но фигура в вашем гадании, которая привела меня обратно к вам, — это Луна, переменчивая женщина, предупреждающая об опасности. Кто это может быть, как не вы? Вот я и пришел к вам за советом.

— Вы хорошо разглядели ту карту? Луна плывет высоко в небе; она и Старуха, полная луна, и Дева, молодая луна, и ни одна из них не обращает внимания на волка и пса, лающих снизу, с земли. А в самом низу карты, под землей, помните? Там сидит Рак, это земной дух, управляющий темной стороной всего, что видит Луна. Рак означает много плохих вещей — месть, ненависть, самоуничтожение. Потому что он пожирает, понимаете? Потому и пожирающая человека болезнь носит то же имя. Когда я вижу карту с

Луной, я всегда знаю: может случиться что-то плохое из-за мести и пожирающей ненависти и они могут погубить человека, которому я гадаю. А теперь слушайте меня, Холлиер, то, что я сейчас скажу, вам не понравится, но я надеюсь помочь вам, сказав правду… Вы уже больше часа намекаете мне, что я могу — так, для пробы, шутки ради, чтобы посмотреть, что выйдет, — испытать на вашем враге одно из старых цыганских заклятий. Каких это заклятий? Вы знаете хоть одно? Вы говорите так, будто знаете о цыганах больше моего. Я знаю от силы сотню цыган, и большинство из них мертвы — убиты людьми вроде вас, которым нужно быть современными, всегда правыми. Все эти заклятия лишь средство для концентрации чувства… Но проклятие? Для него нужно самое сильное чувство. Что будет, если вы купите у меня проклятие? У меня нет ненависти к вашему врагу, он для меня ничто. Значит, чтобы проклясть его, я должна быть близка с *Великим Неназываемым* — иначе и меня ждет что-то страшное. Потому что *Великое Неназываемое* очень, очень ужасно. *Оно* занимается не миленьким правосудием цивилизованных людей, а мировым Равновесием, которому на людей плевать: оно может показаться человеку

страшным и злым. Вы понимаете? Когда мировое Равновесие решает, что пора уравнять чаши весов, происходят ужасные вещи. Многое из того, что мы не понимаем, — это проявления мирового Равновесия. Мы притягиваем к себе подобное нам, понимаете, Холлиер? Мы получаем собаку или скрипку, которая подходит нам больше всего, даже если она нам не нравится. А если мы чересчур возносимся, Равновесие без особых церемоний тычет нас носом в нашу слабость. А *Великое Неназываемое* — бог Равновесия, и если я вызову проклятие ради вашего блага, то, поверьте, нужно будет задобрить Равновесие, иначе я окажусь в большой беде. Я не хочу влезать в долги перед *Великим Неназываемым*, чтобы сделать вам одолжение, Холлиер. Я не хочу призывать *Его — оттуда, снизу,* из тьмы, где обитает Рак, командующий всеми созданиями тьмы, духами самоубийц и всеми ужасными силами, — только затем, чтобы заполучить для вас какую-то старую книгу. И знаете, что меня больше всего пугает в нашем разговоре? Легкомыслие, с которым вы просите меня о подобной вещи. Вы сами не знаете, что делаете. Вы обладаете чудовищным легкомыслием современного образованного ума.

Холлиеру совсем не нравилось то, что она

говорит. Все это время его лицо темнело, пока наконец не приняло оттенок, про который говорят «почернел лицом». Оно налилось кровью изнутри. Он взглянул в глаза мамусе, и вся разумная, профессорская манера, с которой он держался на протяжении часа, слетела с него. Он выглядел ужасно — таким я его еще никогда не видела, и голос его звучал сдавленно от сильных чувств.

— Я не легкомыслен. Вы не понимаете, что я такое, потому что ничего не знаете о страсти интеллекта…

— О гордыне. Называйте вещи своими именами.

— Молчать! Вы сказали все, что хотели, а именно — «Нет». Хорошо, не надо больше ничего говорить. Будь по-вашему. Идя сюда, я надеялся как-то убедить вас использовать свои силы, чтобы помочь мне. Я считал вас *пхури дай* и своим другом. Теперь я знаю, чего стоит ваша дружба, и пересмотрел свои представления о вашей мудрости. Я ничего не потерял, придя сюда. Всего хорошего.

— Холлиер, погодите! Вы не понимаете, в какой вы опасности! Вы не поняли, о чем я говорила! Действие проклятия основано на чувстве. Если я скажу *Великому Неназываемому*: «Мой друг

очень хочет того-то и того-то, что Ты можешь для него сделать?» — я буду лишь вашим вестником. Чтобы стать вестником, нужна вера. Я вам не нужна для того, чтобы наложить проклятие: вы уже прокляли своего врага в сердце своем и связались с *Великим Неназываемым* без моей помощи. Поймите, я боюсь за вас! Мне приходилось видеть ужасную ненависть, но ни разу — у человека, который ведет себя так глупо.

— Теперь вы утверждаете, что я могу обойтись и без вас?

— Да, потому что вы меня до этого довели.

— Тогда послушайте меня, мадам Лаутаро! Сегодня вы сделали для меня великую вещь. Теперь я знаю, что у меня есть не только чувство, но и вера. Я верю! Да! Я *верю*!

— О боже! Холлиер, друг мой, я страшно боюсь за вас! Мария, отвези профессора домой — да смотри, будь очень осторожна за рулем!

Я не произнесла ни слова во все время, пока везла Холлиера к воротам «Душка». Я не произнесла ни слова и за целый час его гневной перепалки с мамусей, хотя жуткое чувство, которое накапливалось в этой комнате, как яд, привело меня в ужас. Что я могла сказать? Выйдя из машины, он так сильно хлопнул дверцей, что я испугалась

— не отвалится ли она.

## 2

На следующий день Холлиер казался спокойным и ничего не говорил о своей ссоре с мамусей. Судя по внешнему виду, на него эта ссора повлияла гораздо меньше, чем на меня. Я вынуждена была пересмотреть свои отношения с самой собой. Я боролась, как могла, за освобождение от мира моей матери, который виделся мне миром суеверий, но была вынуждена признать, что мне не под силу полностью освободиться. И в самом деле, я смягчила свою точку зрения на суеверие, которой придерживалась лет с двенадцати, с тех самых пор, когда впервые поняла, какое двусмысленное место в мире оно занимает.

Все, кого я знала в школе, очень плохо относились к суевериям, но достаточно было понаблюдать, чтобы заметить у каждого какие-нибудь иррациональные предрассудки. Если некоторые монахини особо почитают определенных святых, чем они отличаются от девочек, которые гадают, чтобы узнать, нравятся ли они *тому* мальчику? Почему можно подкупить Антония Падуанского, поставив ему свечку, чтобы он помог найти потерянные очки, но нельзя подкупить Маленький

Цветок[108], чтобы она помешала сестре Доминике выяснить, что я не сделала домашнее задание? Вслух я презирала суеверия — так же громко, как все, — а втайне предавалась им, как и все мои подруги. Нас учили, что душа по природе своей христианка, но я открыла, что она вдобавок по природе суеверна.

Я думаю, что именно эта двойственность мышления привлекла меня к работе Холлиера — поиску свидетельств былых верований и скрытой мудрости. Как многие студенты, я искала чего-то такого, что придало бы вещественность жизни, которая у меня уже была, точнее говоря, жизни, которая владела мной. Я была счастлива и польщена, что Холлиер принял меня в подмастерья и допустил к высокоученому ковырянию на свалке якобы отмерших верований. Особенно меня радовало, что университет признает это занятие научным подходом к истории культуры.

Но то, что творилось вокруг меня сейчас, пугающе близко подходило к сердцевине настоящих суеверий. Я боялась признать, что вещи, которые

---

**[108] Примечания: 108**

*Маленький Цветок* — святая Тереза из Лизьё, святая Тереза Малая, в миру Тереза Мартен (1873–1897), католическая святая, кармелитская монахиня, одна из трех женщин, удостоенных титула «Учитель Церкви».

я считала суеверной чепухой, на самом деле играют какую-то роль в нашей жизни. Я видела, что нагаданное мамусей проявилось в жизни Холлиера — а потому и в моей тоже — задолго до того, как Холлиер попросил снова привести его к мамусе. Препятствия громоздились на пути, продвижение вперед замедлилось. Кто же злодей? Мне было совершенно ясно, что источник беспокойства — Маквариш, а Холлиер отвечает ему ненавистью — подлинной ненавистью, а не просто неприязнью, вполне обычной между соперниками в научном мире. Если вспомнить древнюю притчу, он, подобно Каину, восстал на ближнего своего: ему не терпелось прибрать к рукам папку Грифиуса. Правда, Холлиер мало что знал о содержании писем, но тем более был уверен в их чрезвычайной важности. Уж не знаю, какой новый свет, по его мнению, они должны были пролить на жизнь Рабле и Парацельса; Холлиер намекал на гностицизм, на какой-то тайный протестантизм, на мистическую алхимию, на лечение травами, на новые прозрения относительно связей тела и души, дополняющие знание, которое так терпеливо искал Ози Фроутс. Кажется, Холлиер ожидал чего угодно и всего сразу — только бы заполучить письма, спрятан-

ные в кармашке кожаной папки! Но Макбариш преграждал ему путь, и Холлиер превратился в Каина Восставшего.

Это, по крайней мере, не было игрой воображения: Эрки намеренно дразнил Холлиера, явно зная, что у него на уме. При встречах — как правило, на собраниях преподавательского состава или, реже, на разных светских мероприятиях — Эрки каждый раз изображал заботу и любезность: «Клем, как работа? Надеюсь, хорошо? Как, удалось в последнее время обнаружить что-нибудь особенное в вашей области? Наверное, практически невозможно раскопать что-то уж совсем новое?»

Достаточно было одной из этих фраз в комплекте с провокационной улыбочкой, и Холлиер начинал хамить, а позже, в разговоре со мной, злился и грубил мне.

Он злился, потому что Даркур не хотел открыто обвинить Эрки и пригрозить ему полицией, но я хорошо понимала, что Даркур не может этого сделать на основании таких шатких улик. Он знал только, что Эрки, по-видимому, одолжил некую рукопись у Корниша, и где эта рукопись находится сейчас — неизвестно. Ученому, чтобы натравить полицию на другого ученого, нужны более веские улики. К тому времени как Холлиер

потребовал отвести его к мамусе, он сильно похудел и стал мрачен, словно питался собственной одержимостью. Жевал собственные кишки, как тот дракон в «Королеве фей».

Когда Холлиер сказал мамусе, что не знает Пажа Монет, неправедного слугу, я не поверила своим ушам. Парлабейн к этому времени стал еще хуже: если до Рождества он просил денег время от времени, то теперь требовал их еженедельно, а иногда и чаще. Он говорил, что деньги нужны на перепечатку романа, но я не верила, потому что он брал любую сумму, от двух до пятидесяти долларов, а выжав деньги из Холлиера, переходил ко мне и требовал дань с меня.

Я сознательно использую слово «требовал», поскольку он не был обычным заемщиком: он говорил достаточно вежливо, но за его словами чувствовалась угроза, хотя что именно за угроза, я так и не выяснила — старалась сделать так, чтобы не представилось случая это выяснить. Он просил настойчиво, и чувствовалось, что отказ грозит не только словесными оскорблениями; казалось, Парлабейну ничего не стоит перейти к физическому насилию. Неужели он бы меня ударил? Я знаю, что да, и это был бы очень сильный удар, потому что Парлабейн был крепок, хоть и

мал ростом. И еще он был очень зол, а его злости я боялась сильнее, чем боли.

Так что я притворялась современной женщиной, действующей по собственному выбору, хоть и неохотно, но под этой поверхностью, совсем неглубоко, пряталась просто женщина, испуганная силой и яростью мужчины. Он выжимал из меня деньги, и я ни разу не достигла той степени гнева, когда человек готов рискнуть, что его ударят, лишь бы прекратить измывательства.

На Холлиера Парлабейн не давил. Это никому не удалось бы. Вместо этого Парлабейн выжимал все возможное из мужской верности старым друзьям-неудачникам; я полагаю, она, по крайней мере частично, коренится в чувстве вины. «Кабы не милость Божия...»[109] и все такое. Он мог, выклянчив десятку у Холлиера, через тридцать секунд уже оказаться во внешней комнате, выжимая еще десятку из меня. Это был потрясающий спектакль.

Роман был для Парлабейна тем же, что бумаги Грифиуса — для Холлиера. Парлабейн таскал с

---

**[109] Примечания: 109**

*«Кабы не милость Божия...»* — известные слова английского протестанта, мученика Джона Брэдфорда (1510–1555), сказанные при виде преступника, ведомого на казнь: «Кабы не милость Божия, так шел бы и я».

собой огромные пачки машинописных листов в крепком пластиковом пакете из супермаркета. В книге, наверно, было не меньше тысячи страниц: пакет остался плотно набитым даже после того, как Парлабейн наконец вручил Холлиеру пачку бумаги, сказав, что это почти полный, законченный экземпляр книги. Парлабейн намекал, но так и не сказал прямо, что где-то у какой-то машинистки хранится окончательная версия и эта машинистка делает копии для издателей, а у Парлабейна в сумке — собрание заметок, черновиков и вымаранных фрагментов.

Парлабейн устроил из вручения книги Холлиеру целую церемонию. Но когда он ушел, Холлиер взглянул на текст, отпрянул в ужасе и попросил меня прочитать книгу за него и составить отчет — и, может быть, сформулировать какие-нибудь критические замечания, которые он мог бы выдать за свои. Не знаю, догадывался ли Парлабейн о таком обмане, но я старалась, чтобы он не застал меня за единоборством с этим крысиным гнездом от литературы.

Некоторые машинописные тексты читать не легче, чем написанные от руки плохим почерком, и текст Парлабейна был как раз из таких. Он был напечатан на дешевой желтой бумаге,

которая плохо переносит правку чернилами и карандашом, вычеркивания и особенно хватание руками, неизбежное в работе над книгой. Роман Парлабейна «Не будь другим» представлял собой растрепанную охапку листов с загнутыми углами, неприятных на ощупь, покрытых кругами от чашек и стаканов и к тому же вонючих — захватанных руками человека, сам образ жизни которого вонял.

Я начала читать, хотя мне приходилось выполнять эту работу буквально из-под палки. Роман описывал жизнь молодого человека, изучающего философию в университете — явно нашем, в колледже, который явно был «Душком». Родители молодого человека были тупицы, недостойные такого сына. Юноша участвовал в долгих философских застольях с преподавателями и друзьями, которые изъяснялись словами вроде «телеологический» и «эпистемологический». Кроме того, там были чрезвычайно изящно сформулированные фразы про скептицизм и про то, что вся жизнь — лишь банка с червями. Фигурировал в книге и лучший друг по фамилии Фезерстоун (по-видимому, Холлиер); он был умен ровно настолько, чтобы служить спутником и фоном главному герою, который, конечно, был не кто иной, как

сам Парлабейн. (Имени у главного героя не было, а в тексте он обозначался словами *Он* и *Его*, выделенными курсивом.) Был и еще один приятель, посмешище по имени Билли Понч или Жирный Понч, которому не досталось ни одной хорошей реплики, — несомненно, Даркур. Были сексуальные сцены с девушками — слишком тупыми, чтобы понять, что *Он* за интеллектуальное сокровище: они либо отказывались ложиться с *Ним* в постель, либо соглашались, но не оправдывали ожиданий. Прозрение наступило, когда *Он* отправился в другой университет для продолжения образования и встретил там юношу, подобного греческому богу, — нет, автор не мог отказать себе в использовании этого штампа. И вот с Г. Б. *Он* наконец достиг духовной и физической полноты бытия.

Автор вообще ни в чем не мог себе отказать. Все герои слишком много препирались и слишком мало действовали — даже в описаниях секса. Сексуальные сцены были откровенно скучными, кроме тех, в которых участвовал Г. Б.: те описывались чересчур восторженно, и трудно было понять, что вообще происходит, разве что в самом общем плане, — настолько ученым слогом изъяснялись действующие лица.

Критик современной литературы из меня никакой, в то время все мои мысли занимал Рабле. Но все равно я сомневалась, можно ли отнести творение Парлабейна к современным романам, да и вообще к романам. Скорей его можно было назвать пугающе скучной кашей. Так я и сказала Холлиеру:

— Это его жизнь, хотя и намного скучнее, чем он мне тогда рассказывал в «Обжорке». Все происходящее описывается изнутри и под таким сильным увеличением, что сюжет словно никуда не движется: только трепыхается на месте, как кит, выброшенный на берег.

— И что, даже нет никакой концовки?

— О, концовка есть: после долгой борьбы *Он* нашел Бога, который есть единственная реальность, и вместо того, чтобы презирать мир, *Он* научился его жалеть.

— Очень мило с его стороны. Надо полагать, куча карикатур на современников?

— Я бы их все равно не узнала.

— Конечно, это было еще до вас. Но наверняка там есть узнаваемые люди, которые будут не слишком счастливы, что вскрылись их юношеские похождения.

— Да, там много такого, что шокирует, но все

описывается без разбору и без особого смысла.

— Я думал, он нас всех выведет в этом романе — он всегда легко наживал себе врагов.

— Вы получились не так уж плохо, но с профессором Даркуром он обошелся очень сурово: тот в его исполнении — тупица, который думает, что нашел Бога, но, конечно, это не настоящий философский Бог высокой пробы, какого находит *Он* в своем духовном путешествии. Это лишь мелкий божок для мелких умишек. Но самое странное, что во всей книге нет ни капли юмора. Парлабейн — остроумный собеседник, но, кажется, совершенно не способен взглянуть на себя с юмором.

— Неужели вы этого ожидали? А еще изучаете Рабле! Что у Парлабейна есть, так это остроумие, но не юмор, а остроумие само по себе никогда не обращается внутрь, на своего носителя. Человек обладает остроумием, но юмор — это нечто, обладающее человеком. Я не удивлен, что он вывел нас с Даркуром в черном цвете. Никто так придирчиво не судит старых друзей, как гений-неудачник.

— Во всяком случае, как писатель он точно неудачник. Хотя, конечно, я не специалист.

— Из философов не выходят писатели. Вы читали беллетристику Бертрана Рассела?

О том, чтобы Холлиер сам прочитал книгу, и речи не было. Он был слишком поглощен гневом на Макварриша. В феврале он потребовал, чтобы я отвела его к мамусе, и весь тот ужасный час я держалась в тени. Признания, которые мамусе удалось вытащить у Холлиера, привели меня в ужас. Я совершенно не ожидала, что он попросит у нее проклятие. Я полагаю, это свидетельство моей глупости: я сама читала и даже писала о таких вещах вместе с Холлиером, под его руководством, как о части прошлого, которое мы изучали. Но мне никогда не приходило в голову, что он может схватиться за что-то из этого далекого прошлого — во всяком случае, мне казалось, что это принадлежит далекому прошлому, — чтобы отомстить своему сопернику. Мамусей я восхищалась, как никогда: я гордилась ее суровым спокойствием, ее здравым смыслом. Но Холлиер преобразился. Кто теперь был носителем дикой души?

С того дня он ни разу не упомянул при мне обо всем этом деле.

В отличие от мамуси.

— Вот ты на Рождество сердилась на меня за мой маленький план, — сказала она, — а теперь сама видишь, как хорошо все сложилось. Бедный Холлиер — сумасшедший. Он попадет в большую

беду. Совсем не годится в мужья моей дочери. Это рука судьбы перенаправила чашку кофе к священнику Даркуру. Он тебе еще ничего не говорил?

**3**

Говорил ли мне что-нибудь Даркур? Легко мамусе разглагольствовать о судьбе, как будто мамуся — ее пособница и орудие; мамуся, без сомнения, верила в свой мерзкий любовный напиток из молотых яблочных семечек и моей менструальной крови; мамуся принимала за данность силу этого снадобья, точно так же как Ози Фроутс — принципы научной методологии. Но я не могла признать возможность прямой связи между действиями мамуси и отношением ко мне, которое я начала улавливать у Даркура: это означало бы отвергнуть современный мир и признать либо фактор постоянных совпадений в повседневной жизни — а такие взгляды я презирала как подлинно современный человек, — либо то, что некоторые вещи случаются параллельно, словно идут по параллельным путям и время от времени освещают друг друга вспышками ослепительного света, как порою поезда в ночи. Для этого было модное слово: синхроничность.

Но я не хотела об этом думать, я была ученицей Холлиера и хотела исследовать вещи и явления из мира мамуси как объекты изучения, а не как верования, которые нужно принять и жить по ним. Так что я старалась не обращать внимания на Даркура — насколько могла, будучи его ученицей и оставаясь в рамках вежливости.

Все было бы проще, если бы меня не тревожили мысли об измене Холлиеру. Я все еще любила его или, во всяком случае, хранила чувство к нему, которое за неимением лучшего слова называла любовью. Время от времени, когда мы с Холлиером обсуждали мою работу, он говорил что-нибудь открывающее мне глаза, и я вновь утверждалась в своей уверенности: он великий учитель, вдохновитель, открыватель новых путей. Но его одержимость бумагами Грифиуса, его слова о них и о Макварише, казалось, исходили от другого человека: бесноватого, неумного, тщеславного. Я уже перестала надеяться, что он хоть иногда думает обо мне с любовью; я притворялась, что готова играть роль терпеливой Гризельды и мириться с чем угодно, к вящей славе Холлиера, но другая девушка внутри меня уже вот-вот должна была сделать вывод, что моя любовь к Холлиеру — большая ошибка, что из

нее ничего не выйдет и что мне лучше переболеть ею и начать думать о чем-нибудь другом. Я стыдилась этой женской практичности. Но могла ли я любить восставшего Каина?

«Все, что тебе нужно, — это любовник», — презрительно сказало мое ученое «я». «А что в этом плохого?» — отозвалась моя внутренняя женщина, по-цыгански крутанув бедром. «Если тебе нужен любовник, — сказал кто-то третий, которого я не опознала, — возможно, здравый смысл, — далеко ходить не надо: погляди на Даркура, на нем прямо-таки написано „ЛЮБОВНИК“ огромными буквами».

Да, но… «Что „но“? Тебе, кажется, нужен мятежный ангел, один из этих университетских обитателей, учредивших то, что Парацельс называет Вторым раем учености, готовых и желающих учить дочерей человеческих самым разным видам мудрости». Да, но Даркуру сорок пять лет, он полноват, и он священник англиканской церкви. «Он — ученый человек, добрый и, что совершенно очевидно, тебя любит». Я знаю, это устроило бы мое ученое «я», но цыганская девчонка во мне лишь хохочет и говорит, что это совсем не годится. Ну какая из меня жена священника? «Женщина-ученый — а ты надеешься кое-чего

добиться в науке — самая подходящая жена для священника-ученого». Тут цыганка снова начинала хохотать. Я велела ей отправляться к черту; я не готова была признать (во всяком случае, пока), что мы с Симоном влипли в эту историю из-за приворотного зелья, но уж по крайней мере не собиралась терпеть цыганских насмешек. Ну и каша заварилась!

Эти душевные метания донимали меня днем и ночью. Мне казалось, что они подтачивают мое здоровье; каждое утро я гляделась в зеркало, ожидая увидеть лицо, изборожденное следами душевных мучений, — морщинки вокруг глаз, огрубевшие черты, — но была вынуждена признать, что выгляжу не хуже обычного. Не буду утверждать, что меня это расстраивало. Пускай я женщина-ученый, но я отказываюсь играть в излюбленную игру многих моих университетских коллег — выглядеть как можно хуже, одеваться в тряпье, которому место в коробке поношенной одежды для бедных, и ходить с такой прической, будто меня стриг в темном погребе маньяк с помощью ножа и вилки. Надо думать, это говорила моя цыганская кровь. Да здравствуют серьги и яркие шарфы; красуйся длинными черными волосами и шествуй гордо, высоко неся голову. Для

этого (во всяком случае, и для этого тоже) тебя сотворил Господь.

Я решила, что в моем возрасте неразбериха — неотъемлемая часть жизни. По крайней мере, это интересная неразбериха. С тех пор как я набралась достаточно ума, чтобы понять, что такое «вразумление», я молилась о вразумлении. В школе, во время, отведенное для личных молитв, я возводила глаза к алтарю и просила: «Господи, не дай мне умереть дурой». Видимо, то, что я переживаю сейчас, — цена, которую необходимо заплатить за исполнение желаний. «Питайся этим в сердце своем и будь благодарна, Мария».

Необычное вразумление постигло меня в середине марта, когда Симон затащил меня к себе в Плоурайт (он думал, что очень ловко все устроил, но ясно было, что он долго и тщательно планировал), напоил меня кофе и коньяком и признался мне в любви. У него получилось удивительно хорошо. Его речь совершенно не выглядела заученной или отрепетированной; он говорил просто, красноречиво, избегая пышных выражений типа «вечная преданность», «не могу без вас жить» и прочей скучной ерунды. Но что по-настоящему выбило меня из седла, так это признание, что я играю в его жизни роль Софии.

Я думаю, все мужчины, влюбившись, нацепляют на желанную женщину какие-нибудь ярлыки и приписывают ей всевозможные черты, совершенно ей чуждые. Точнее сказать, не полностью ей свойственные — трудно все же видеть в человеке что-то такое, чего в нем совсем нет. Если ты, конечно, не полный идиот. Женщины грешат тем же. Разве я не убедила себя, что Холлиер — маг в самом высоком смысле этого слова? А разве можно отрицать, что Холлиер на самом деле в значительной степени (хотя, возможно, в меньшей, чем я думала) маг? Наверно, послесвадебное разочарование, о котором теперь столько говорят, — это всего лишь осознание, что ярлыки были не совсем точны или что влюбленный забыл прочитать приписку мелким шрифтом. Но ведь, наверно, только очень молодые люди и те, кто себя совсем не знает, навешивают на любимых ярлыки, совсем не соответствующие действительности? И разочарование глупцов так же глупо, как их первоначальные иллюзии? Я не буду утверждать, что знаю ответ; только всезнайки — авторы книг о любви, браке и сексе, — кажется, ни в чем не сомневаются. Но я думаю, что без определенной доли иллюзий жизнь стала бы невыносимой.

Но все же… София! Что за ярлык для Марии Магдалины Феотоки! София — женственное воплощение Мудрости, спутница Бога, сподвигнувшая Его на Сотворение мира; женская половина Бога, которую согласились замалчивать иудеи и христиане и молчат о ней, к великой невыгоде женщин, уже много сотен лет! Я была потрясена. Но действительно ли это полная чепуха?

Нет, я так не думала. Конечно, я не София, потому что ни одна живая женщина не может ею быть, разве что в очень малой степени. Но что я такое в мире Симона Даркура? Я чужестранка — из-за моей цыганской крови; надо полагать, я женщина из Средневековья. Женщина, которая может до определенной степени говорить с Даркуром на одном языке — языке учености, и сопутствовать ему в размышлениях, зачинаемых ученостью. Женщина, которая не боится возможностей, прячущихся в темных закоулках современной жизни, но которая полностью отрицает столь многое в современности. Женщина, которую можно назвать Софией с уверенностью, что она поймет, о чем идет речь. Иными словами, женщина, в которой очарованный мужчина может видеть Софию, не будучи смешным.

О! Это слово прервало мой поток мыслей. Оча-

рованный! Слово «очарование» так затерлось и истаскалось, что все забыли о его связи с чарами, с магией. Может, бедный Симон и правда пал жертвой непростого кофе моей матери-цыганки и теперь видит во мне чудеса из-за этого любовного эликсира? Как будто ему клофелину подсыпали. Такая мысль была мне отвратительна, но я не могла быть совершенно уверена, что это неправда. А если я этого не знаю, какая же из меня Божественная Мудрость, что же я за воплощение Софии? Или подобные дела Софию занимать не должны?

Независимо от ответов на эти сложные вопросы у меня хватило духу ответить Симону, что я его люблю (это была правда) и что ни в коем случае не собираюсь за него замуж (тоже правда). Но он не мог ничего делать в плане физической любви вне брака (по причинам, которые я полностью понимала, и я глубоко уважала Симона за верность принципам, хоть и не разделяла их). Так что вопрос решился. Любовь была реальностью, но эта реальность лежала в определенных границах.

Что меня поразило, так это облегчение Симона, когда мы определили границы. Я знала (а он, видимо, понял только гораздо позже), что он никогда на самом деле не хотел на мне жениться

— и даже не то чтобы очень хотел лечь со мной в постель. Ему нужна была любовь, исключающая подобное, и он знал, что такая любовь возможна, и теперь достиг ее. И я тоже. В тот день каждый из нас стал богаче на одного любящего, терпеливого, замечательного друга, и я, наверное, из нас двоих была счастливее, потому что за этот час полностью изменились и мои чувства к Холлиеру.

Мысль о любви Симона помогла мне перенести болезненное напряжение, царившее в комнатах Холлиера до самой Пасхи, и всем сердцем откликнуться, когда Симон позвонил мне в семь часов утра пасхального воскресенья.

— Мария, я решил, что вас надо известить как можно скорее: Парлабейн умер. Очень внезапно, и доктор говорит, что это сердце. Нет, у нас нет подозрений ни на что другое, хотя я тоже боялся. Я сделаю все, что нужно. Ждать, кажется, нечего, так что я организую похороны завтра утром. Вы приведете Клема? Кажется, мы — единственные друзья покойного. Бедный бес? Да, я сказал то же самое: бедный бес.

## 4

Мы с Холлиером и Даркуром ехали с похорон счастливые, — казалось, мы вновь обрели нечто,

отнятое у нас Парлабейном. Это общее чувство подбодрило и сплотило нас, и нам не хотелось расставаться. Поэтому Холлиер пригласил Даркура подняться к нему в комнаты и выпить чаю. Мы только что съели обед, сопровождавшийся обильными возлияниями, но сегодня явно был день гостеприимства.

Я заглянула в привратницкую, чтобы посмотреть, нет ли писем для Холлиера. В пасхальный понедельник почту не носят, но внутренняя университетская почта могла за выходные доставить что-нибудь отправленное в прошлый четверг.

— Пакет для профессора, мисс, — сказал Фред, привратник, и протянул мне растрепанный сверток в коричневой бумаге, к которому скотчем было приклеено письмо.

Я узнала корявый почерк Парлабейна и прочитала нацарапанное на пакете указание: «Конфиденциально! Сначала прочесть письмо, потом вскрыть пакет».

— Опять этот ужасный роман, — сказал Холлиер, когда я отдала ему посылку.

Он швырнул ее на стол, заварил чай, и мы снова начали болтать — всецело о Парлабейне. Наконец Холлиер сказал:

— Мария, давайте-ка посмотрим, что в пакете.

Может, это эпилог или что-нибудь такое. Бедняга, он умер исполненный надежд насчет своей книги. Нам придется решить, что с ней делать.

— Мы сделали все, что могли, — сказал Даркур. — Единственное, что теперь можно сделать, — добыть все машинописные экземпляры и уничтожить.

Я вскрыла конверт.

— Оно, кажется, ужасно длинное. Адресовано нам обоим, — сказала я Холлиеру. — Хотите, я прочитаю вслух?

Он кивнул, и я начала:

*Дорогие друзья и коллеги, Клем и Молли!*

*Как вы уже догадались, это я отправил к праотцам Эрки Макварииша.*

— Господи Исусе! — воскликнул Холлиер.

— Так вот из-за кого приспустили флаг, — сказал Даркур.

— Он не шутит? Не может быть, что он имеет в виду убийство?

— Читайте же, Мария, читайте!

*Уверяю вас, что я это сделал не из легкомысленного удовольствия, дабы избавиться от неприятного человека, но по чисто практическим причинам, как вы сейчас увидите. Своей*

*смертью Эрки мог помочь в продвижении моей карьеры, а также — вторичное, но немаловажное для меня соображение — принести практическую пользу вам обоим и сблизить вас. Я не могу передать, как тяжело мне было в последние месяцы наблюдать за Молли, которая чахла по тебе, Клем…*

— Чахла? О чем это он? — спросил Холлиер.

Я заторопилась дальше.

*…пока твои мысли витали где-то далеко, утопая в научных размышлениях и в ненависти к Эрки. Но я надеюсь, что мой скромный план соединит вас навеки. В этот кульминационный момент моей жизни мысль о вас приносит мне бесконечное удовлетворение. Слава для меня, слава и радости супружеского ложа для вас; счастливчик Эрки, все это благодаря ему!*

— Мне как-то неудобно это читать, — сказала я. — Симон, вы не почитаете? Пожалуйста.

Даркур забрал у меня письмо.

*Вы ведь знали, что я начиная с Рождества довольно много времени проводил с Эрки? Мария как-то обронила, что мы с ним стали «закадычными дружками». Кажется, это было ей*

*неприятно. Но, Молли, право же, Вы были такой скупердяйкой, что мне пришлось искать средства к существованию в другом месте. Я по-прежнему Вам должен… не помню, какую-то мелочь… но можете списать ее со счетов и считать, что Парлабейн, с которым Вы обошлись со скупостью, не подобающей красивой девушке, отплатил Вам сторицей. Красивые девушки должны быть щедрыми: скаредность неминуемо портит цвет лица. А ты, Клем, ты все время подыскивал мне какие-то паршивые подработки, но пальцем о палец не ударил, чтобы мой роман напечатали. Не было у тебя веры в мой гений — ведь теперь, когда ложная скромность больше не нужна, я могу признать, что я действительно гений и в то же время что я, как большинство гениев, не очень приятная личность.*

*Сперва я пытался зарабатывать на жизнь честными средствами, а потом — любыми средствами, какие подворачивались под руку. Толстяк Даркур вам расскажет, если это интересно. Бедный жирдяй тоже был невысокого мнения о моем романе, возможно, потому, что узнал себя в одном из героев. Люди очень плохо переносят подобные вещи. И тогда я, как носитель подлинного духа эпохи Возрождения, пошел путем героев*

*эпохи Возрождения и нашел себе покровителя.*

*Я стал шестеркой у Эркхарта Макварииша. Я досыта кормил его лестью — интеллигентный слушатель, но ни в каком смысле не соперник, — а также оказывал ему определенные услуги, которые ему трудно было бы найти в другом месте.*

*Почему я был вынужден взять на себя эту роль, на которую люди вроде вас, не обремененные особыми заботами, смотрят с отвращением? Из-за денег, милые мои, — мне нужны были деньги. Подозреваю, что вы не совсем поверили моим жалобам на дороговизну перепечатки романа. Нет, меня шантажировали. Мне не повезло — я наткнулся на одного бывшего знакомого с западного побережья. Он знал про меня кое-что, о чем, как я думал, все забыли. Он не шантажист по большому счету, но настойчив и не стесняется бить ниже пояса. Сегодня вечером я написал о нем в полицию, и можно считать, что его песенка спета. Я не мог бы этого сделать, если бы не собирался смыться со сцены. Так что я не увижу представления, как это ни заманчиво. Но одна мысль о нем меня согревает.*

*В полиции не удивятся моему письму. Я оказывал им мелкие услуги — начал еще до Рождества. Там намекнешь, тут шепнешь. Но они плохо пла-*

*тят. Боже, какие все скупые!*

*Парадокс денег в том, что, когда их много, можно жить очень дешево. Ничто так не экономит деньги, как богатство. Но когда ты на мели, то перебиваешься от куска к куску и нет тебе покоя. Чтобы удержаться на плаву, мне приходилось крутиться — просить, клянчить, стучать легавым и батрачить за гроши нахлебником у скаредного шотландца.*

*Понимаете, у Эрки были особые потребности, с которыми он мог довериться только человеку вроде меня. Только такой, как я, мог их понять и удовлетворить. В наше время столько болтают о сексуальных предпочтениях, но люди по-прежнему склонны думать, что вкусы человечества ограничены гетеросексуальными радостями и несколькими разновидностями гомосексуализма. Но Эрки я бы назвал нарциссистом: его забавы были глубоко личными, а борделем ему служили исключительно его собственный ум и собственное тело. Я его сразу раскусил. Вся эта шелуха про «моего великого предка сэра Томаса Эркхарта» должна была не столько впечатлять других, сколько звучать музыкой, под которую душа Эрки плясала свою одинокую гальярду. Ведь часто бывает, что человека называют себялюб-*

*цем. Вот это и есть вся правда про Эрки. Клем, Эрки был неплохим ученым, эта его сторона была вполне реальной, хоть тебе и неприятно это признавать. Но он был таким самовлюбленным ослом, что действовал на нервы более сдержанным эгоистам вроде тебя.*

*Ему нужен был человек, полностью зависимый от него, такой, который слушался бы без вопросов, привнося от себя толику стиля и изобретательности, и предоставлял бы доступ к вещам, добычей которых Эрки не желал заниматься сам. Я был именно таким человеком.*

*Много в мире есть того, что вашей философии не снилось* [110] *, друзья мои. И моей не снилось, когда я еще нежился в безопасности на лоне университета. Но в тюрьмах и в клиниках для наркоманов я набрался опыта, научился прокладывать себе путь по грязным переулкам и узнавать с виду людей, хранящих ключи от запретных видов счастья. На самом деле теперь, оглядываясь на свои отношения с Эрки, я понимаю, что оказался для него сущей находкой, потому что он был чрезвычайно скуп. В точности как вы двое. Но ему нужен был приспешник, а я знал эту роль, как ее*

---

**[110] Примечания: 110**

*Много в мире есть того, что вашей философии не снилось…* — Шекспир У. Гамлет. Перев. Б. Пастернака.

*никогда не выучить обыкновенному, несведущему прихлебателю. С моей начитанностью в литературе прихлебательства я мог привнести в свою службу именно тот росчерк стиля, в котором нуждался Эрки.*

*У него был пунктик на том, что он называл «церемониями». Социолог, скорее всего, назвал бы их ролевыми играми, но Эрки терпеть не мог социологов и их жаргон, превращающий пикантное приключение в коряво описанную историю болезни. Эрки хотел один раз объяснить своей шестерке суть церемонии, а потом забыть, что он вообще что-то объяснял: шестерка уже сама должна была сделать «церемонию» новой, естественной и неизбежной.*

*Не описать ли мне субботний вечер у Эрки? Я вставал рано утром, чтобы поспеть на рынок Сент-Лоренс за отборными овощами, хорошей рыбой и каким-нибудь сырьем для закусок — мозгами, поджелудочными железами или почками, которые мне предстояло приготовить особым способом. Эрки любил потроха. Затем я возвращался к Эрки (ключа у меня не было, но Эрки впускал меня, отвернувшись и не удостаивая даже «доброго утра»), начинал готовить ужин (с потрохами всегда куча работы) и звонил во*

*французскую кондитерскую, чтобы заказать десерт. Во второй половине дня я забирал десерт, покупал цветы, откупоривал вино и делал все, что нужно для приготовления к первоклассному ужину, который потом кто-нибудь поглотит, словно это вовсе и не произведение искусства. Я весь день крутился не присевши, как говорим мы, домашние работники.*

*Вы не знали, что я и готовить умею? Научился в тюрьме, когда в очередной раз получил поблажку за образцовое поведение; в той тюрьме были неплохие курсы для заключенных, желающих обучиться ремеслу, которое им потом пригодилось бы в честной жизни. У меня оказались к этому определенные способности — к кулинарии, а не к честной жизни. Помимо всего прочего, я пек к вечеру особые сладости. В тюрьме мы называли их веселыми печенюшками, но Эрки не любил вульгарности. Для их приготовления нужно было порезать марихуану — мелко, но не слишком — и замесить легкое тесто, чтобы печенья испеклись быстро, не убивая чудесных свойств травы. Кроме того, я должен был обеспечить достаточное количество «канадской черной» шмали для приготовления «техасского чая», а для этого, если понадобится, съездить в «Голландскую мельни-*

*цу», где меня знали, хоть и не слишком хорошо.*

*Почему меня там знали? Мне очень неприятно это говорить, дорогие мои, но вы так упорно скупердяйничали, что мне пришлось подрабатывать, сообщая любопытным знакомым — кажется, они были из полиции — имена продавцов «тети Мари», «тети Гертруды» и даже «витаминов»*[111]*. Надо полагать, в каком-то смысле я был двойным агентом среди наркодельцов. Это не очень приятная роль, но она порой хорошо вознаграждалась. Каждый раз, заглядывая в «Голландскую мельницу», я испытывал легкую* frisson[112]*, опасаясь, что ребята меня срисуют. Это могло поставить меня в неловкое и даже опасное положение, так как они весьма раздражительны. Но меня так и не застукали, а теперь уже и не застукают.*

*Где же был Эрки, пока я трудился у него на кухне? Экономно, но элегантно обедал у себя в клубе, ходил в кино на иностранный фильм, а потом хорошенько пропотевал в сауне.* L'apres-midi

---

**[111] Примечания: 111**

*…продавцов «тети Мари», «тети Гертруды» и даже «витаминов»…* — Жаргонные названия соответственно марихуаны, героина и амфетаминов.

**[112] Примечания: 112**

Дрожь *(фр.)*.

d'un[113] *джентльмена-ученого*[114].

*Я видел Эрки, лишь когда он возвращался, чтобы переодеться к ужину. К этому времени я должен был приготовить и выложить полный комплект одежды, в том числе шелковые носки, наполовину вывернув их наружу, чтобы было удобнее надевать. Вечерние туфли Эрки следовало начистить до блеска — не только мыски, но и подъемы, и внутреннюю сторону. (Эрки говорил, что джентльмена узнают по начищенной обуви: хороший слуга следит, чтобы у хозяина ботинки блестели целиком.) К этому времени я уже переодевался в свой первый костюм — домашнего слуги, с белоснежной рубашкой и обеденным кителем, накрахмаленным до того, что он напоминал глазурь на свадебном торте. (Стирал все я — по средам, пока Эрки формировал впечатлительные умы молодежи вроде Вас, Мария.)*

*Представление начиналось с хереса перед ужином. Херес — хороший напиток, но Эрки высасывал его так, что это больше напоминало* fellatio*, чем*

---

**[113] Примечания: 113**
Послеполуденный отдых *(фр.)*.

**[114] Примечания: 114**
*L'apres-midi d'un джентльмена-ученого.* — Аллюзия на балет «L'apres-midi d'un faune» («Послеполуденный отдых фавна»), поставленный в 1912 г. Вацлавом Нижинским на музыку Клода Дебюсси. В балете изображаются эротические игры фавна с шарфом, украденным у нимфы.

*употребление спиртного. Он смаковал и наслаждался, вытянув ноги в безупречно начищенных туфлях к разведенному мною огню в камине. Огонь я должен был поддерживать, чтобы он ярко пылал на протяжении всего вечера.*

*— Макваришу подано, — произносил я.*

*Эрки шествовал к столу и принимался за рыбу.*

*О супе он и слышать не желал: почему-то считал его вульгарным. Слова «Макваришу подано» я произносил с горским шотландским акцентом. Уж не знаю, какой персонаж из мысленного театра Эрки я изображал, но, думаю, какого-нибудь верного горца-сородича, который служил Эрки, пока тот воевал, а теперь вместе с лэрдом [115] вернулся к мирной жизни.*

*Эрки со мной не разговаривал. Кивал, когда надо было убрать тарелку, кивал, когда я подносил ему на осмотр графин с кларетом, кивал, чтобы дать понять, что съел достаточно* gâteau[116] *и пора подавать грецкие орехи и портвейн. Кивал, когда я приносил кофе и хороший старый виски в специальном ковшике с двумя ручками. Я неплохо играл роль самоотверженного слуги: во время*

---

**[115] Примечания: 115**
*Лэрд* — шотландский землевладелец.

**[116] Примечания: 116**
Пирожное, торт *(фр.)*.

*ужина стоял за спиной Эрки, чтобы он не видел, как я глотаю недоеденные куски с его тарелок, хотя объедков оставалось совсем немного. Эрки был скуп в том числе и на еду: мне перепадало мало крох со стола богача.*

*Так проходила первая часть вечера. Затем Эрки удалялся к себе в спальню, а я убирал со стола, мыл посуду и устанавливал декорации для второго акта.*

*Примерно к половине десятого я заканчивал мытье посуды и разные приготовления и переодевался во второй костюм. Я на цыпочках входил в спальню и откидывал одеяло, открывая тело Эрки, совершенно голое, приятно порозовевшее после сауны. Я очень осторожно раздвигал его ягодицы и… ага! Вы ждали какой-нибудь клубнички? Думали, я должен был сделать старине Эрки мясной укол? Пошоркать в шоколадный глазик? О нет, наш чистоплотный Эрки не опускался до таких штучек. Отнюдь, я осторожно вводил ему в задний проход предмет, который мысленно называл «колодой», очень похожий на небольшую колоду карт. Это была розовая бархатная ленточка двух дюймов шириной и десяти футов длиной, сложенная гармошкой так, что получался сверточек примерно два на два дюйма*

*и толщиной в четыре дюйма. Снаружи оставался хвостик длиной дюйма два-три. Эрки не двигался и как будто ничего не замечал, и я на цыпочках выходил из спальни.*

*К этому времени я успевал передвинуть мебель в гостиной и поставить перед камином два кресла: для Эрки — старомодный тиковый шезлонг, словно с палубы лайнера Канадской тихоокеанской компании, с разложенными подушками и клетчатым пароходным пледом расцветки макваришевского клана; для себя — низкое кресло без подлокотников, так называемое дамское. Между креслами располагался низенький чайный столик с чашками, блюдцами и чайником чая из «травки», накрытым для тепла вязаным колпаком в виде комической старухи. Я включал проигрыватель и ставил пластинку, которая должна была аккомпанировать появлению Эрки: это была драгоценная старая пластинка на семьдесят восемь оборотов, на которой сэр Гарри Лодер пел «Выйдем, красотка, на бережок»* [117] *. Я был одет в старушечье платье, как старый мешок*

---

**[117] Примечания: 117**

*…сэр Гарри Лодер пел «Выйдем, красотка, на бережок».* — Гарри Лодер (Генри Лодер, 1870–1950) — шотландец, исполнитель комических песен. «Выйдем, красотка, на бережок» («Roamin' in the Gloamin'») — популярная любовная песня, написанная им и впервые исполненная в 1911 г.

*(вышло двусмысленно, но я действительно был похож на старый мешок, так что пусть остается), и косматый серый парик. Должно быть, я напоминал ведьму из «Макбета». Когда входил Эрки в длинном шелковом халате и шлепанцах, я с готовностью нырял в реверансе.*

*Такова была прелюдия к церемонии, которую Эрки называл «Две эдинбургские старые дамы».*

*Невинная забава в сравнении с иными вечеринками, на которых мне приходилось помогать, но «неприличная» именно в том стиле «гадких проказ в детской», который больше всего нравился Эрки. В ходе спектакля мы говорили с эдинбургским акцентом. Я, правда, его сроду не слыхал, но я подражал Эрки, кривил рот и выговаривал слова так, словно сосал конфету; кажется, Эрки был доволен результатом.*

*Еще мы действовали под псевдонимами, и тут все становится сложнее, ибо мы пользовались именами миссис Мэшем (это я) и миссис Морли. Дошло? Вряд ли. Тогда скажу, что Мэшем — имя конфидантки королевы Анны, а Морли — имя, которым пользовалась сама королева, когда без чинов болтала со своей приживалкой, попивая из чайной чашки бренди, которое называла «мой холодный чай». Только не спрашивайте меня,*

*что общего у этих двух дам с Эдинбургом или с Эрки, потому что я не знаю. Но в мире фантазий позволена величайшая свобода.*

Даркур забежал взглядом немного вперед и явно смутился.

— Вы действительно хотите это слушать? — спросил он.

Мы, конечно, хотели.

*Это была его фантазия, не моя, и непросто было импровизировать разговор, чтобы «подогреть» Эрки, а эта обязанность лежала на мне. Эрки любил скандальные университетские сплетни, а я должен был выдавать их словно нехотя, чопорно, пока мы оба попивали чай из марихуаны и грызли марихуановое печенье. Раза два я пытался уговорить Эрки рискнуть и попробовать что-нибудь поинтересней — немножко кислоты на кусочке сахара или крохотный укольчик машинкой* [118] *, — но он из тех, кого мы зовем «приблудными»: человек, который заигрывает с наркотиками, но*

**[118] Примечания: 118**

*...или крохотный укольчик машинкой...* — Машинка — жаргонное название шприца.

*боится заходить далеко. Лаодикиец от греха* [119] *. Так какими же беседами я его развлекал? Вот образчик, который может быть интересен.*

*Миссис Морли.* Дорогая миссис Мэшем! А что же слышно об этой милой девушке, мисс Феотоки?

*Миссис Мэшем.* Ох, она все учится, бедняжечка.

*Миссис Морли.* Бедняжечка, миссис Мэшем? Отчего же бедняжечка?

*Миссис Мэшем.* Оборони господь, миссис Морли, дорогая, как это вы к словам придираетесь! Уж и не скажи ничего. Я только говорю, надеюсь, что она не собьется с дорожки.

*Миссис Морли.* Но как же ей сбиться, если добрый брат Джон ее наставляет? Брат Джон, святой человек. Отложите-ка вязанье, дорогая, да говорите прямо.

*Миссис Мэшем.* Боюсь, она уже не слушает брата Джона, миссис Морли. Если и есть у нее советчик, это жирный отец Даркур, да станет Господь меж нею и его необъятной утробой.

*Миссис Морли.* Храни нас Небо, миссис Мэшем! На что это вы намекаете?

*Миссис Мэшем.* Господь да не попустит, чтоб

---

**[119] Примечания: 119**

*...заигрывает с наркотиками, но боится заходить далеко. Лаодикиец от греха.* — Аллюзия на послание апостола Павла, в котором он называет лаодикийцев «ни холодными, ни горячими».

я кого облыжно обвиняла. Но я видела, как он глядит на нее, распустив губы, словно околдованный.

*Миссис Морли.* О, сколь страшная мысль! Да неужто ее добрый наставник, профессор Холлиер, позволит ей оступиться?

*Миссис Мэшем.* Ох, миссис Морли, мадам, вы святого поведения, откуда вам знать пути коварных, грешных мужчин! Я страшусь вымолвить, но этот самый Холлиер!..

*Миссис Морли.* Неужто вы хотите сказать о нем дурное?

*Миссис Мэшем.* Правдивое слово дурным не бывает, мадам! Но я боюсь, что он уже…

*Миссис Морли.* Еще чаю! Продолжайте, я готова вынести самое худшее.

*Миссис Мэшем.* Не скажу, что он распутник! Даже выговаривать такое не стану! Может, его искушали? Эта девчонка… Феотоки… стыдно сказать… она всего лишь девка! Она и самого добродетельного мужчину соблазнит! Вы давно смотрели на ее подобие? На ту бронзовую статуэтку, что получили от Корниша?

*Эрки взглядывал на статуэтку, и… Молли, Вы же понимаете, ничего личного… просто я, исполняя свой долг прихлебалы и желая ожи-*

*вить забавы Эрки, заранее наносил капельку растительного масла на щелку меж ног статуи — очаровательная деталь этого произведения искусства! — чтобы она казалась влажной и манила к себе. Хорошо придумано, вы не находите? Один взгляд повергал Эрки в конвульсии, так что он балансировал на грани «фейерверка», который следовало оттягивать, чтобы он послужил кульминацией вечера.*

*В том и состояла цель такого длинного и сложного маскарада: очень медленно довести Эрки до кипения. Грязные сплетни, а также чай с печеньем в больших количествах делали свое дело — сплетни возбуждали, Мари Хуановна сдерживала, а розовая ленточка служила запалом, поджигающим порох в ракете.*

*В этих фантазиях фигурировали и другие люди, но вы были звездами первой величины. Эрки вяло пускал слюни в Вашу сторону, Молли, а что до Клема — мне нравилось вызывать его дух, чтобы дразнить Эрки: я прекрасно понимаю и прощаю Клема, но я полностью осознавал, что он не может бесконечно тащить меня за собой, делая свою блестящую карьеру. Старым друзьям люди помогают как могут, пока могут, но, разумеется, кое-кого из них неминуемо теряют по*

*дороге. Клем делал для меня все, что считал возможным, но был твердо намерен не допустить, чтобы я слишком докучал окружающим. Так что я немного позабавился за счет вас двоих, но, как вы вскоре увидите, отплатил вам за вашу подлинную доброту мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною*[120].

*Кроме вас, в церемониях часто фигурировал Озн Фроутс — в нем всегда можно было найти что-нибудь смешное. И много других людей — необъятного памятозлобия Эрки хватало на всех. Но вы, конечно, понимаете, что это была просто игра. Авторы пособий по сексуальной жизни советуют читателям использовать фантазии, чтобы подбавить перчику в надоевшие телодвижения. Кто поставит Эрки в вину его удовольствия или осудит меня за потворство им, если роль прихлебалы — единственное, что мне осталось? Конечно не вы, дорогие друзья. Конечно не вы.*

*Подобным образом Эрки желал развлекаться добрых полтора часа: его наслаждение становилось все острее, и ему все труднее было сдерживать смех, чтобы не выйти из роли миссис*

---

**[120] Примечания: 120**

*...мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною.* — Евангелие от Луки, 6: 38.

*Морли. Похабные сплетни разжигали его, а старушка Мари охлаждала. Во время беседы он сучил ногами в кресле, поднимая их все выше. Наконец полы халата распахивались, открывая голое тело. Это был сигнал к моей кульминационной реплике следующего плана:*

*Миссис Мэшем.* Миссис Морли, мадам, не обессудьте меня, вашу покорнейшую слугу, но я, как старый друг, должна сказать откровенно: у вас туалет в беспорядке.

*Миссис Морли.* Нет, нет, отнюдь!

*Миссис Мэшем.* Да, да, весьма!

*Миссис Морли.* Это ничего. Не беспокойте себя, мадам.

*Миссис Мэшем.* Нет, мадам, ради вашего блага, мадам, как я есть не чужой человек, я должна вас привязать, мадам. Как есть должна.

*Миссис Морли.* Нет, нет, дорогая, вы сами не знаете, что делаете.

*Миссис Мэшем.* Отнюдь! Это в вас кровь Эркхартов заговорила! Видите — старый сэр Томас глядит на вас со стены и смеется, старый хитрый раблезианец. Он-то знает, что ваша природа рано или поздно себя покажет, так что мне, хочешь не хочешь, надо вас сохранить, чтоб вы перед ним не опозорились. Привяжу, и точка.

*На этом я доставал красивую белую пеньковую веревку и привязывал Эрки к креслу — достаточно крепко, чтобы ограничить движения, но не слишком сильно, чтобы не причинить боли. К этому времени он уже успевал по-настоящему возбудиться. Зрелище было омерзительное, но предполагалось, что я ничего не замечаю. Вместо этого…*

*Миссис Мэшем.* Простите меня, мадам. Может, мне не подобает так говорить, но как у вас платье в беспорядке… я у вас увидела… кое-что.

*Миссис Морли.* Кое-что? Вы забываетесь, мадам.

*Миссис Мэшем.* Да, кое-что. Скажу больше: это хвостик. Розовенький хвостик… я его вижу, вижу, вижу…

*Миссис Морли.* Не смейте подглядывать!

*Миссис Мэшем.* Буду подглядывать! И даже… ох как пальцы чешутся… я даже за него дерну!

*Миссис Морли.* Ты не посмеешь!

*Миссис Мэшем.* Посмею! Дерну, дерну, дерну…

*И вот, доведя его почти до изнеможения, я наконец дергал. Я хватал торчащий наружу розовенький кончик и бросался бежать по комнате; свернутая лента быстро, мягко и щекотно разворачивалась внутри Эрки, и он достигал того,*

*что называл «фейерверком».*

*Я же убегал на кухню, где должен был сидеть, пока Эрки высвобождался из неплотно завязанных уз и возвращался в спальню. Затем я прибирался, мыл посуду, расставлял мебель по местам и уходил, прихватив конверт, заблаговременно оставленный Эрки на столике у двери.*

*В конверте было двадцать пять долларов. Жалкие двадцать пять баксов за день, который начинался с шести утра и заканчивался не раньше часу ночи! Вшивый четвертной за то, что человек с моими талантами служит поваром, дворецким, снабжает наркотиками, запихивает ленточки в задницу, исполняет характерные роли, сексуально возбуждает и вообще всячески шестерит при профессоре в течение девятнадцати часов! Я как-то намекнул Эрки, что это тяжелая работа, а он обиделся и заявил: он-то думал, что я наслаждаюсь не меньше его самого! Такая возбуждающая, приятно щекочущая игра! Его эгоцентризм не имел себе равных даже по моему опыту, весьма обширному. Если б он не разнюхал про меня кое-какие вещи, которые мне не хотелось предавать огласке, я бы уже давно на него стукнул. Но теперь я могу не бояться шантажа, ибо стою на пороге вечности, дорогие мои.*

*Молитесь за брата Джона. Меня вела нужда, а не собственная воля. До сегодняшнего дня, когда я решил, что с меня хватит. И стервятника иной раз тошнит.*

*Не могу сказать, что мое решение было внезапным, — я не принимаю важных решений под влиянием минуты. Уже не менее трех недель прошло с того момента, как я решил: пора исчезнуть брату Джону, пародии на монаха, и вновь возникнуть — Джону Парлабейну, автору одного из немногих, несомненно, великих современных романов. Ибо «Не будь другим» — именно это: величайший roman philosophique, который со временем приобретет такое влияние, как ни одно другое литературное произведение со времен Гёте. Именно таким увидят мой роман, когда не будет меня — преследуемого, презираемого и злословимого людьми, которые не стоят моего мизинца. Зависть человеческая — твоя, Клем, да простит тебя Господь, и зависть многих других людей — стоит на пути моей книги; вы знаете меня, знаете в низком обличье приятеля-нахлебника, который совершал ошибки и потому не добрался до тихой гавани университетской жизни. Вы отказываетесь видеть меня в истинном свете — как человека с сильной*

*индивидуальностью, тончайшим восприятием, как первоклассного оригинального моралиста. Я не стал бы таким, если бы, подобно вам, боялся запачкать обувь.*

*Как оригинальный моралист я ценю подлинно прекрасное произведение искусства выше человеческой жизни, в том числе своей собственной. Чтобы мою книгу опубликовали и оценили по достоинству, я готов отдать собственную жизнь, но понимаю, что это вряд ли привлечет внимание. В глазах света я никто; чтобы меня заметили должным образом, я должен стать кем-то. А как этого проще всего добиться? Конечно, прихватить с собой в страну теней еще кого-нибудь. Весь мир любит убийцу*[121].

*Мало кто убивал ради публикации книги: я не назову с ходу ни одного такого убийства, но не исключено, что они были, поэтому буду осторожен. Люди убивают ради иных выгод или из страсти. Я даже не считаю, что замочил Эрки из выгоды, ибо не получаю ничего материального: выигрывает только человечество, которое я таким грубым способом заставлю обратить достойное внимание на мою книгу. Со временем мир увидит, сколь*

---

**[121] Примечания: 121**

*Весь мир любит убийцу.* — Перефразированная цитата из эссе Ральфа Уолдо Эмерсона «Любовь» (1841): «Весь мир любит влюбленного».

*огромен его выигрыш. Что бы выбрали Вы, Мария, — великий роман Франсуа Рабле или живого, дышащего и язвящего Эрки Макварища? Воистину я дарую Эрки своего рода бессмертие, на какое он не мог бы и надеяться, если бы умер от так называемых естественных причин. (Разумеется, мое творчество в корне отлично от творчества Рабле, произведения которого переполнены совершенно излишними мерзкими подробностями, но как труд гуманистического познания мой роман неизмеримо выше его книги.)*

*Почему именно Эрки? А почему бы и не он? Мне нужно кого-нибудь выбрать, а он вполне подходит: его кончина вызовет шум, особенно из-за способа, которым я управился, и в то же время не лишит мир полезного члена общества. Кроме того, мне надоело его напыщенное высокомерие, и его скаредность тоже. Такая странность характерна для людей с необычными сексуальными вкусами: им непременно нужно наслаждаться в обществе другого человека, на которого они могут смотреть свысока. Я думаю, что Оскар Уайльд предпочитал конюхов и мальчишек-рассыльных аристократу Бози. Есть мужчины, которым нравятся вульгарные женщины, и женщины, предпочитающие вульгарных мужчин:*

*роль снобизма в сексе еще не исследована по-настоящему. Но я, в сравнении с которым Эрки — как пес в сравнении с человеком, устал изображать эдинбургскую старуху-сплетницу, снося высокомерие и унизительные выходки Маквариша. И червь, коль на него наступят, вьется* [122] *, и нахлебник карает.*

*И вот несколько часов назад, когда утомительный водевиль с участием двух эдинбургских дам подползал к концу, я изменил сценарий. Эрки сперва решил, что это искусная вариация сюжета, придуманная ради его удовольствия. О, этому прихлебателю цены нет!*

*Представьте себе связанного Эрки: он хихикает, как школьница, а я склоняюсь к нему — все ближе и ближе.*

*Миссис Мэшем*. Ах, миссис Морли, дорогая, как вы хихикаете! Это вам совсем не полезно. Мне придется вас наказать, гадкая вы девчонка. Поглядите, в каком беспорядке у вас платье! Мне придется вас крепко привязать, милая, очень, очень крепко. Но что за глупое хихиканье? Вы разве не можете смеяться хорошенько, как

---

**[122] Примечания: 122**

*И червь, коль на него наступят, вьется...* — Шекспир У. Генрих VI. Акт II, сц. 1. Перев. Е. Бируковой.

следует? Вот я вам покажу, как надо. Видите, я ставлю пластинку: это сэр Гарри Лодер, он поет «Перестаньте, щекотушки». Вот послушайте, как смеется сэр Гарри. Вот это смех! Хороший, громкий. Ну же, миссис Морли, подпевайте нам с сэром Гарри:

*Помню, как я молод был,*
*Дочку фермера любил:*
*Щечки словно маков цвет,*
*Девушке семнадцать лет!*

Вот я сделаю погромче, чтоб вы знали, как надо. И буду вас щекотать! Да! Видите, я иду к вам, чтобы щекотать! Ох, да разве это смех? Ох, поняла! Обычная щекотка не годится. Вот поглядите: у меня с собой вязальные спицы. Вот я вставлю вам одну спицу в нос, у вас такой большой красный нос, миссис Морли, и немножко поворачаю, чтобы пошевелить волоски, а? Что, щекотно? Но все равно этого мало; давайте-ка вставим вам другую спицу во вторую дыхалку. Видите, как легко смеяться, когда я ими шевелю? Ну-ка вместе с сэром Гарри! Ох, это не смех. Это больше похоже на визг. Дайте-ка я их запихну чуточку поглубже. Нет-нет, дорогая моя миссис Морли, неча очи закатывать да мычать. А знаете что,

меня осенило! Давайте-ка я… мне понадобится что-нибудь вроде молотка… давайте-ка я сниму туфлю, вот так. А теперь я каблуком этой туфли хорошенько стукну по концам спиц: раз-два. Но что же это, миссис Морли, вы больше не смеетесь? Один только сэр Гарри смеется.

*И действительно, смеялся уже один сэр Гарри, а Эрки, которому в мозг вошли две алюминиевые вязальные спицы, совершенно затих. Из-за спиц ли, от страха или от разрыва сердца, но Эрки был мертв или настолько близок к смерти, что не мог издать ни звука.*

*Так. Я быстро скинул старое платье миссис Мэшем, поставил проигрыватель на автоматический повтор и увеличил громкость до максимума: пускай сэр Гарри самозабвенно поет и хохочет, пока соседи не позвонят управляющему домом. Засим я смылся, не забыв конверт. Меня не волновало, что по всей квартире остались отпечатки моих пальцев: я так и хотел, чтобы никто не присвоил себе мое убийство.*

*Правда, на одной маленькой вещице, которую я забрал из квартиры Эрки, отпечатков не осталось. Он держал эту вещь в ящике стола и, как многие тщеславные люди, простодушно верил в силу простых замков. А теперь, дети, можете*

*развернуть свои подарки. Сверток номер один: да, это папка Грифиуса, и она ваша, дорогие мои; можете порадоваться ей и сберечь ее для себя, любимых. Особенно письма, спрятанные в заднем клапане. Эрки про них знал и все время намекал на это в разговорах. Он вечно недооценивал мою понятливость, бедный дурачок.*

*Другой сверток, большой, — это полная машинописная копия моего романа «Не будь другим». Клем, я пишу в газеты о том же, о чем только что рассказал вам, и сообщаю им, что моя книга у тебя, что это редкое и прекрасное произведение искусства и что издатели, желающие опубликовать его, должны подать тебе заявку. А желающие будут! О да! Издатели передерутся меж собой за право опубликовать книгу убийцы, а вот философ их не заинтересовал. Книга — потенциальное сокровище, так что, Клем, торгуйся безжалостно. Отомсти за меня, милый друг: обери издателей до нитки, выжми из них все до последнего доллара. И не забывай следить за тем, как они будут продвигать ее на рынке: я обеспечил их материалом для первоклассной рекламной кампании. «Автор пошел на убийство, чтобы эта книга попала к вам в руки! Великий непризнанный гений обращается к своим современникам! Пре-*

*ступник-философ обнажает душу!» Это лишь первый залп. После него вам легко будет привлечь внимание какого-нибудь знаменитого критика, который вольется в общий хор, изливая хвалу на мою книгу — дистиллированную эссенцию погибшего могучего духа.*

*Что до гонорара, на эти деньги я предоставляю тебе основать в «Душке» хорошенький фонд, чтобы людям вроде тебя перепадало бабла для научных трудов. И пускай его назовут «Фондом щедрости Парлабейна», чтобы каждая ученая крыса, желающая денег, возжигала щепотку ладана в мою честь. Ты знаешь, как это организовать. Можешь не бояться, что «Душок» откажется от денег. Старый добрый колледж освятит мой дар, чтобы использовать его на благие цели, даже не сомневайся.*

*Кажется, всё. Надеюсь, вы с Молли не поссоритесь из-за Грифиуса. Потому что я предназначил его для вас обоих, и, если один из вас попытается прикарманить его или же отнимет у другой ее заслуги — мне кажется, что из вас двоих скорее ты, Клем, способен на такую низость, — он будет адски покаран за это, если у меня есть хоть какое-то влияние в аду.*

*А теперь мне осталось лишь выйти за пределы*

*досягаемости закона. Уверяю вас: я хочу это сделать не из страха перед ним, а из презрения к нему. Я мог бы вызвать большой интерес к своей книге, если бы остался на этом свете, пошел под суд и сказал свое слово со скамьи подсудимых. Но вы же знаете современные суды. Можно ли ждать от них правосудия? Могу ли я, спланировав убийство и хладнокровно отправив на тот свет другого человека, ожидать, что у меня взамен отберут жизнь, как того требует идеальная справедливость (единственная, которая по-настоящему удовлетворяет)? Нет, у меня нет на это ни единого шанса! Я так и вижу шествие психиатров, желающих меня «объяснить»! Они уверят суд, что я был «не в себе», так как, разумеется, ни один психически здоровый человек не хочет никому отомстить или прославиться. Люди, пьяные дешевым вином сострадания, будут уверять друг друга, что я «больной». Но я не сумасшедший, я в цветущем здоровье и не собираюсь подвергать себя жалости людей, которые меня не стоят.*

*Осталась одна последняя шуточка. Все решат, что я покончил с собой. Ну пусть попробуют это доказать. Но вы, дорогие друзья, будете знать точно. Сейчас я надену рясу, потом лягу на кро-*

*вать с молитвенником под рукой и введу себе в вену на ступне — там их достаточно — несколько кубиков раствора калия; через тридцать секунд я буду мертв и надеюсь, что за это время успею уронить шприц в щель пола под прикроватным ковриком матушки Мастард. Остроумно, не правда ли? Мое тело будет предано земле (как это прекрасно, романтично звучит) прежде, чем кто-нибудь догадается заглянуть под коврик. Но вы помалкивайте. Мне хочется поставить в тупик моих старых друзей из полиции. Их врачи напрочь лишены воображения.*

*Однако, если какой-нибудь проныра решится меня выкопать, я выражаю свою последнюю волю согласно Закону о распоряжении человеческими органами от 1971 года. Я оставляю свою жопную дырку и все необходимо принадлежащие к ней оболочки и соединительные ткани философскому факультету; ее следует натянуть на стальную раму, чтобы каждый год, первого января, старший из преподавательского состава дул в нее, издавая богатую, звучную ноту. Это будет мое приветствие миру, который я теперь покидаю в поисках великого «может быть». Благословляю вас обоих, дорогие мои.*

*Джон Парлабейн*

*(некогда из Ордена священной миссии)*

Даркур еще дочитывал, а Холлиер уже вытащил письма из кармана в папке Грифиуса и набросился на них. Лицо Холлиера пылало; Даркур заговорил с ним, но он словно не сразу услышал.

— Клем?

— М-хм.

— Нам надо поговорить насчет этой рукописи.

— Да, да, но я должен ее хорошенько просмотреть, прежде чем сказать что-либо определенное.

— Нет, Клем.

— Что?

— Ты не должен ее просматривать. Я знаю, что это очень увлекательно и все такое, но ты должен понимать: она не твоя.

— Не понял.

— Она краденая.

— Да, Маквариш ее украл. Теперь ее нам вернули.

— Нет. Не «нам». У тебя нет на нее никаких прав. Она принадлежит к вещам Корниша, перешедшим по наследству, и я собираюсь проследить, чтобы ее вернули законным владельцам.

Даркур встал, вынул у Холлиера из рук папку Грифиуса и драгоценные письма, уложил все как

было — и вышел.

## 5

Следующие десять дней были для меня чистым адом. Во-первых, я беспокоилась за Холлиера: как только Даркур решительно забрал папку Грифиуса для передачи законным владельцам, Холлиер, фигурально выражаясь, развалился на куски. Он был в таком ужасном состоянии, что я опасалась за его жизнь. Часто говорят «у него был нервный срыв», но что это значит? В случае Холлиера это означало, что, несмотря на все мои усилия, он ничего не говорил и, по-видимому, не слышал; глаза глядели в никуда. Он был холодный на ощупь. Он сидел, сгорбившись, в кресле и, не переставая, медленно поворачивал голову влево, а потом возвращал в прежнее положение. Он был похож на овцу, которая объелась белены; сколько я ни трясла его, я не смогла ни привести его в себя, ни поставить на ноги. От беспокойства я не нашла ничего лучшего, как позвонить Даркуру, и через полчаса он явился снова в сопровождении друга-доктора — как я впоследствии узнала, того же самого, который засвидетельствовал смерть Парлабейна.

Доктор Грин помял и покрутил Холлиера,

постучал его молоточком по коленям, прослушал сердце и наконец поставил диагноз: шок. Не испытал ли Холлиер какое-либо жестокое разочарование? Да, сказал Даркур. Сильное разочарование, связанное с научной работой, — к сожалению, неизбежное. Меня поразила твердость Симона, его отказ уступить хоть на дюйм. «А, понимаю!» — сказал доктор. Он сталкивался с подобными метафизическими хворями у ученых — они отличаются хрупкостью душевного равновесия. Но он знал старину Клема еще со студенческих лет в «Душке» и был уверен, что тот оправится. Однако ему нужен будет хороший уход и забота. Так что Даркур с врачом кое-как поставили Холлиера на ноги, дотащили до моей машинки и запихали внутрь. Машина была мала для четырех человек, один из которых слишком болен, чтобы сжаться в комочек. Я села за руль, и мы поехали в Роуздейл, к матери Холлиера, — это оказалось недалеко от моего собственного дома.

Если бы мне нужно было ходить за больным как следует, я бы никогда не выбрала для этого такую обстановку. Этот дом словно закостенел от хорошего вкуса, и миссис Холлиер, которую я видела впервые, тоже. Меня оставили в гостиной — определенно, я в жизни не видала такой блед-

ной, безжизненной комнаты, — пока мужчины и миссис Холлиер тащили больного наверх. Через некоторое время наверх прошаркала престарелая экономка с чашкой — судя по всему, бульона. Прошло еще некоторое время; Даркур, доктор Грин и миссис Холлиер вернулись, и меня представили как студентку Холлиера. Миссис Холлиер полоснула меня взглядом, который оставил бы царапину на стекле, и кивнула, но ничего не сказала. Доктор говорил что-то утешительное про падение давления — внезапное, но не слишком опасное — и про необходимость отдыха, легкой пищи и детективных романов, когда пациент будет к этому готов. Доктор пообещал наведываться к больному.

Я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Даркур и доктор Грин были канадцами, понимали таких замороженных людей, как миссис Холлиер, и умели с ними управляться. Северные люди этой северной страны могут быть бодряще резки в отношении к метафизическим хворям, но я — совсем другой человек. У меня было неспокойное ощущение, что, пока Холлиер болен, его место здесь. Каким бы интеллектуальным авантюристом он ни был, этот холодный дом — его дом.

Поэтому вечером я рассказала мамусе все. Во всяком случае то, что она способна была понять, потому что она упорно видела ситуацию со своей, оригинальной точки зрения.

— Конечно, он холодный и не может говорить, — сказала она. — Проклятие отскочило и попало в него самого, и теперь он смотрит внутрь себя — на свое собственное зло. Я его предупреждала. Но разве он меня послушал? О нет! Только не наш великий профессор, мистер Современность! Он думал, что будет счастлив, если убьет своего врага, потому что именно это он и сделал — и даже не пытайся меня разубедить, — но теперь он знает, что такое убивать ненавистью. Кто убивает ножом или пулей, может, еще и выкрутится, если не слабак. Но когда человек вроде Холлиера убивает ненавистью… ему повезло, что он не умер на месте.

— Но, мамуся, это же не он убил Макварища, а тот другой — монах.

— О, этот монах был ушлый. По-настоящему плохой человек. Жаль, что я его не знала. Такие люди редки. Но монах был лишь орудием, как нож или пистолет…

— Нет, нет, мамуся, монах всей душой ненавидел Макварища! И Холлиера тоже…

— Еще бы! Столько ненависти вокруг, она только и ждала, как бы взорваться. И Холлиер собирался меня втянуть во все это, подумать только! Он дурак, Мария. Не годится в мужья. Хорошо, что кофе с зельем выпил священник Даркур.

— Ты не хочешь взглянуть на вещи, как они есть.

— Да? Дура, слушай меня: я и вижу вещи, как они есть. Все прочее — лишь глупые разговоры людей, которые ничего не знают о ненависти, ревности и всем остальном, что правит их жизнями, потому что не хотят принять ничего этого как реальность, как настоящую силу. А теперь вот что: дай сюда ключи от машины.

— Зачем? Ты не умеешь водить.

— Я и не хочу водить. И ты не должна. Сорок дней. Ты ведь тоже во всем этом замешана. Не знаю насколько — я не верю, что ты мне рассказала всю правду. Но сорок дней, начиная с сегодняшнего, ты не будешь водить никакую машину. Не будешь, пока эти люди еще могут до тебя дотянуться.

— Какие еще люди?

— Маквариш и монах. Не спорь. Отдай ключи.

Я с деланой неохотой послушалась. Если честно, мне совсем не хотелось попасть в какую-нибудь

аварию, когда машина, как пишут в газетах, «теряет управление». Может, и так; но к кому это управление переходит?

Я очень беспокоилась о том, что появится в прессе. Написал ли Парлабейн в газеты в том же расхристанно-откровенном духе, что и нам с Холлиером? Нет, решив сыграть шутку в этом, как и во всем, Парлабейн отнес адресованное нам письмо сам в субботу вечером, после того как убил Маквариша. Сильно сокращенные отчеты, написанные им для трех торонтовских газет, — потом я узнала, что это были едва читаемые машинописные листки, исчерканные поправками, под плохую копирку, — он отправил по почте, но опустил их в ящик, предназначенный только для писем, идущих за границу. В каждое письмо он добавил несколько деталей от руки, так что все три газеты получили разные описания. Из-за этой неразберихи и того, что в пасхальный понедельник почту не носят, его исповедь попала в газеты только в четверг; полиция же получила свою копию с дополнительными деталями в пятницу — таковы уж капризы современной почты. Поэтому в понедельник газеты описали кончину Эрки как необъяснимое убийство, а в выходные написали о ней опять, с богатыми подробностя-

ми из исповеди Парлабейна. Слава богу, в своих описаниях «церемоний» он не упомянул по именам ни меня, ни Холлиера — мы фигурировали только как хранители великого романа. Полиция объявила, что у нее есть данные, которых нет больше ни у кого, и что она не собирается их обнародовать; газеты предрекали большое опустошение среди торговцев наркотиками.

После того как в понедельник стало известно об убийстве и до четверга, когда выяснились его причины, университетское начальство осыпало Эрки похвалой: учитель, преданный своему долгу, великий ученый, человек выдающихся добродетелей и безупречного поведения, незаменимая потеря для научного мира… в общем, полный набор, в самом изысканном стиле. Публика строила догадки о личности «демона-вязальщика», который убил добродетельного ученого и «омерзительно надругался над телом», засунув в задний проход бархатную ленточку. Желанное разнообразие по сравнению с заурядными убийствами — молотком или пулей — никому не известных заурядных жертв: такие убийства пресса разукрашивала как могла, чтобы вызвать хоть какой-то интерес. Но все это резко прекратилось, когда правда вышла на свет: пла-

ны по проведению роскошной мемориальной службы в огромном актовом зале университета были свернуты. Мюррей Браун в своей речи перед депутатами парламента указал на то, что образование молодежи находится в руках сомнительных личностей, и заявил, что желательно было бы провести нечто вроде чистки во всем университете. И разумеется, новость о книге Парлабейна заворожила издателей. Нам стали обрывать телефон.

Кроме меня, отвечать на звонки было некому. В письме Парлабейна я упоминалась как один из двух человек, имеющих доступ к полной рукописи, а Холлиер был недосягаем. Он, счастливчик, все еще нежился в постели дома у матери и, по ее словам, не мог подойти к телефону. Поэтому я его заменяла, уворачивалась от прямых ответов и обещаний, отказывалась от встреч с разными людьми, а потом все равно была вынуждена с ними разговаривать, когда они вламывались в комнаты Холлиера. Против моей воли меня фотографировали газетчики, залегшие у входа в «Душок», и осаждали литературные агенты, желающие снять с меня бремя забот. Я испытывала на себе все прелести нежеланной славы. Мне предлагали кучу денег за книгу «Джон Парла-

бейн, каким я его знала» и услуги литературных негров, чтобы написать за меня эту книгу с моих слов. (Предполагалось, что я, будучи аспиранткой, не способна членораздельно выражать свои мысли на письме.) Меня приглашали участвовать в телепередачах. Мать Холлиера была в ярости от такой шумихи и подозревала меня — шестым чувством, какое свойственно всем матерям, — в коварных замыслах против ее невинного сыночка. Она, кажется, не сомневалась, что во всей этой истории виновата я. Когда кто-то неумело попытался взломать дверь в комнаты Холлиера, я спрятала рукопись «Не будь другим» в сейф «Душка» и подала заявку на отключение телефона, но оказалось, что для ее выполнения нужно несколько дней. О, *tohu-bohu* и *brouhaha*!

У меня была еще одна причина благодарить покойного Парлабейна: ни в одном из писем к полиции он не упомянул папку Грифиуса. Я понятия не имела, где она сейчас. Но в пятницу на второй неделе атак издателей и газетчиков, под конец дня, я сидела во внешней комнате Холлиера, пытаясь (безуспешно) хоть как-нибудь продвинуться в собственной работе, и тут в дверь постучали.

— Убирайтесь! — крикнула я.

Пришедший снова постучал, погромче.

— Идите в жопу! — взревела я.

Но не запертая мною дверь открылась, и в нее просунулось ухмыляющееся лицо Артура Корниша.

— Мария! Разве так разговаривают со старыми друзьями?

— А, это ты! Если ты старый друг, то где ты был до сих пор?

— Я думал, ты занята. Я читал про тебя в газетах — они все пишут, что ты по двенадцать часов на дню сидишь взаперти с издателями, пьешь шампанское и торгуешься, чтобы подороже продать книгу своего дружка.

— Тебе хорошо острить; меня практически затравили.

— Ты рискнешь пойти со мной на ужин? Если надеть плотную вуаль, тебя никто не узнает. И может быть, засунуть подушку под пальто сзади. Я скажу, что ты — непрезентабельная тетушка: горбунья под вуалью. И вообще я хотел пойти в какой-нибудь уютный ресторан со скудным освещением.

Я сейчас плохо воспринимала юмор, но совершенно не возражала против того, чтобы меня покормили. С тех пор как поднялся шум, я не осме-

ливалась выйти поесть, а от мрачных мамусиных обедов меня уже тошнило. Артур повел меня в очень хороший ресторан, посадил в темный угол и заказал прекрасный ужин. Все это было для меня как бальзам на душу — совершенно не похоже на еду в «Обжорке» в обществе Парлабейна. Конечно, мы говорили об убийстве, о шумихе и обо всех моих бедах. Мы не притворялись, что забыли о вещи, которая сейчас занимала нас больше всего на свете, но теперь я хотя бы могла посмотреть на нее под другим углом.

— Значит, Холлиер слег и оставил тебя на растерзание?

— Его добила потеря папки Грифиуса. Он просто не мог поверить, что Даркур ее забрал. Где она сейчас?

— У меня. Даркур так и не сказал, откуда она взялась, но по его недомолвкам я понял, что здесь как-то замешан Маквариш.

— Что ты собираешься с ней делать?

— Я подумывал о том, чтобы подарить ее на свадьбу.

— Кому?

— Тебе и Холлиеру, кому же еще. Ты ведь выходишь за него замуж?

— Нет.

— Значит, я ошибся.

— Ты ничего подобного не думал!

— Но вы с ним так увлечены совместной работой! Ты была его ученицей, практически апостолом. Как там тебя назвал этот монах-убийца? *Soror mystica*.

— Ты стараешься меня обидеть.

— Я не нарочно, я просто хочу поставить все точки над «i».

— Я не выйду за него, даже если он меня попросит. Да он и не попросит. Мать ему не позволит.

— Правда? Значит, он у нее под каблуком?

— Это не так. Его жизнь — в науке. Это часто бывает с людьми, работающими в университетах. Но когда я увидела его в доме матери, я поняла, что именно там до сих пор живут его чувства. Его мать меня невзлюбила.

— То есть?

— Когда она на меня смотрит, я так и вижу у нее над головой пузырь, как в комиксах, со словами «цыганская сучка».

— Неужели сучка?

— Для таких, как она, все цыганские девушки — сучки.

— Очень жаль. Мне так хотелось подарить тебе эту папку на свадьбу. Ну что ж, когда решишь

выйти замуж, все равно за кого, она твоя.

— О, не говори так. Пожалуйста, подари ее университетской библиотеке, потому что Холлиер жаждет эту папку больше всего на свете.

— Ты забываешь, что она принадлежит мне. Она не входила в список завещанного университету. Надо сказать, что я сам расплатился за нее меньше месяца назад: торговцы старинными рукописями не торопятся выставлять счета. Может, им стыдно, что они ломят такие цены. Но я не обязан делать одолжения профессору Холлиеру. Я уже говорил тебе, что у меня исключительный вкус и я не люблю людей, не ценящих то хорошее, что у них есть.

— Ты о чем?

— О тебе. Я считаю, что он обошелся с тобой безобразно.

— Но ты же не хочешь сказать, что он женится на мне, только чтобы заполучить Грифиуса? Неужели ты думаешь, что я соглашусь на такое?

— Не спрашивай меня об этом, а то ведь я возьму да и отвечу.

— Понятно. Ты обо мне очень плохого мнения.

— Мария, я о тебе невероятно хорошего мнения. Так что давай бросим глупости и перейдем к делу. Ты выйдешь за меня замуж?

— С чего это вдруг?

— На такой вопрос можно очень долго отвечать, но я назову самую важную причину: я считаю, что мы стали очень хорошими друзьями и дальше будем дружить. И очень возможно, что станем друзьями навсегда.

— Друзьями?

— А что плохого в дружбе?

— Когда люди говорят о браке, они обычно используют выражения посильнее.

— Правда? Я не знаю. Я еще никому не предлагал выйти за меня замуж.

— Ты хочешь сказать, что ты никогда не был влюблен?

— Был, конечно. Много раз — даже не помню сколько. У меня были две или три любовные связи с девушками. Но я прекрасно понимал, что эти девушки — не друзья.

— Ты считаешь, что дружба выше любви?

— Да, как все люди. Нет, это я сморозил глупость. Конечно, все считают иначе. Люди говорят о любви к тем, в кого влюблены; иногда эта влюбленность доходит до раболепия. Я ничего не имею против любви. Это очень приятное чувство. Но я предлагаю тебе брак.

— Брак. Ты хочешь сказать, что ты меня не

любишь?

— Конечно люблю, глупенькая. Но я серьезно предлагаю тебе выйти за меня замуж, а для меня неприемлем брак с человеком, которого я не считаю замечательным другом. Любовь и секс — прекрасны, но долго не живут. Дружба — такая, о которой я говорю, — это в первую очередь не секс, а любовь к ближнему и нежная забота, и она длится всю жизнь. Более того, дружба растет, а секс убывает; по-другому не может быть. Так что — ты согласна выйти за меня замуж и быть моим другом? У нас будет и любовь, и секс, но не только. Не отвечай сразу, подумай немного. Но я хочу, чтобы ты очень серьезно подумала, потому что если ты откажешься…

— Ты поедешь в Африку стрелять львов.

— Нет, я решу, что ты сделала ужасную ошибку.

— Ты очень хорошего мнения о себе, да?

— Да, и о тебе тоже — лучшего, чем о ком бы то ни было. Мария, мы живем в эпоху свободы — мне не обязательно ползать на коленях, ныть и притворяться, что я не могу без тебя. Могу, и если придется, то буду. Но с тобой мне будет гораздо лучше, а тебе — гораздо лучше со мной, и глупо было бы делать вид, что это не так.

— Ты чертовски самоуверен.

— Да, я такой.

— Ты не знаешь ни мою мать, ни моего дядю Ерко.

— Познакомь меня с ними.

— Моя мать ворует в магазинах.

— Зачем? Она богата.

— Откуда ты знаешь?

— Моя работа дает возможность выяснять такие вещи. Ты и сама не бедная. Но твоя мать не простая магазинная воровка. Видишь, я и это знаю. Она в некотором роде знаменита среди моих музыкальных друзей. Если такой человек ворует в магазинах — это каприз гения, как коллекции порнографии у некоторых знаменитых дирижеров. Но напомню тебе, что я не на твоей матери собрался жениться.

— Артур, ты очень уверен в себе, но ты многого не знаешь. Наверно, оттого, что у тебя нет родни.

— С чего ты взяла, что у меня нет родни?

— Ты сам говорил.

— Я сказал, что едва помню своих родителей. Но у меня толпы родственников. Правда, некоторые из них умерли, но во мне они еще живы.

— Ты правда так думаешь?

— Да, правда, и в этом есть нечто утешитель-

ное. Ты мне говорила, что не очень веришь в наследственность, хотя я не понимаю, как это согласуется с копаниями в прошлом — твоими и Холлиера. Если прошлое не считается, зачем нужно им заниматься?

— Ну… наверное, я немного преувеличила.

— Я так и думал. Ты пыталась отвергнуть свое цыганское наследие.

— Я передумала.

— Это очень правильно. От него все равно не избавиться, а если его отрицать, оно отомстит.

— Боже, Артур, ты говоришь точно как моя мать!

— Рад слышать.

— Не радуйся: то, что естественно в ее устах, звучит смешно, когда исходит от тебя. Артур, тебе когда-нибудь говорили, что ты склонен к менторскому тону?

— Люблю помыкать людьми, да?

— Да.

— Несносный всезнайка?

— Да.

— Нет. Даже не намекали. Обычно, если люди в разговоре со мной тщательно выбирают выражения, они говорят «решительный человек с хорошо развитой интуицией».

— Интересно, что сказала бы о тебе моя мать?

— Любезно признала бы во мне родственную душу, я полагаю.

— Не будь в этом так уверен. Но что до наследия и всякого такого — ты хорошо подумал? Не забывай, женщины с возрастом становятся похожи на свою мать.

— Быть женатым на *пхури дай* — что может быть лучше? Ну ладно, сколько времени ты собираешься думать?

— Я уже решила. Я согласна.

Замешательство, поцелуи. Через некоторое время:

— Люблю, когда женщина умеет быстро принимать решения.

— Я все решила, когда ты назвал меня глупенькой. Меня еще никто так не называл. Мне говорили лестные вещи, вроде Софии, и нелестные, вроде непочтительной шлюхи, но еще никто никогда не предлагал мне дружбу. Я не могла отказаться.

# Новый Обри VI

## 1

Я не венчаю людей, не поговорив с ними заранее. Я обязательно выясняю, что такое, по их мнению, брак и во что они, по их мнению, собираются вступить. Я действую в том числе из осторожности: я не хочу связываться с людьми, которые желают венчаться по придуманному ими самими сценарию, изобретают для себя замысловатые обеты и хотят заменить молитвы из требника на белиберду Халиля Джибрана[123] или еще какого-нибудь модного гуру. С другой стороны, я готов пойти навстречу брачующимся, если им как современным людям формулировки брачных обетов кажутся чересчур суровыми. Я также придирчив к музыке и не допускаю никаких там «О, обещай мне» или «Господь сотворил тебя для меня». Я не разрешаю использовать ни свадебный марш Мендельсона, поскольку это театральная музыка, ни марш из «Лоэнгрина», который был

**[123] Примечания: 123**

*Халиль Джибран* (1883–1931) — ливанско-американский писатель и поэт, философ-мистик, художник, автор популярной повести «Пророк» (1923).

прелюдией к удивительно неудачному браку. Я не желаю рассматривать себя как живописное приложение к народному обряду, выполняемому людьми, у которых нет ни капли веры в Бога. Однако я не требую от людей, которых венчаю, строгого следования христианским канонам, поскольку и сам не очень ортодоксален.

Поэтому меня удивило стремление Артура и Марии сделать все строго по писаному. Удивило и немного встревожило: по моему опыту, чрезмерная ортодоксальность ведет к беде; некоторая доза пофигизма дает гораздо лучшие результаты.

Беседа с Артуром и Марией состоялась в моих апартаментах в Плоурайте в понедельник накануне венчания. Мария пришла раньше, и я обрадовался, потому что хотел поговорить с ней с глазу на глаз.

— Артур знает про вас с Холлиером?

— О да, я ему все рассказала, и мы согласились, что это не считается.

— В каком смысле «не считается»?

— Это значит — в том, что касается нас двоих, я все еще девственница.

— Но, Мария! В наши дни девственность невесты обычно никого не волнует. Что важно, так

это любовь, доверие и серьезные намерения.

— Не забывайте, что я наполовину цыганка, а для цыган это очень важно. Все зависит от того, чья девственность: для пустых людей она, без сомнения, пустой звук.

— Тогда что вы сказали Артуру? Что, держали фигу в кармане?

— Симон, я не ожидала от вас такой пошлости.

— Это не пошлость. Я просто хочу быть уверен, что вы себя не обманываете. Для меня это не имеет значения, но, если для вас имеет, я хочу быть уверен, что вы действуете сознательно. Важнее всего — излечились ли вы от любви к Холлиеру.

— Не совсем. Конечно, я его все еще люблю; кроме того, Артур дарит мне на свадьбу папку Грифиуса, и, конечно, я буду работать над ней вместе с Холлиером. Но он — мятежный ангел, как и вы, милый Симон, и я люблю его так же, как вас, — хотя, конечно, вы священник, а он своего рода маг, а это очень большая разница.

— Почему?

— Маги не считаются. Мерлин, Клингзор и все прочие были не способны на человеческую любовь и обычно вдобавок импотенты.

— Жаль, что Элоиза с Абеляром этого не знали.

— Да. Они ужасно влипли. Если бы Элоиза хоть

чуточку более трезво смотрела на вещи, она бы поняла, что Абеляр чудовищно наивен в человеческих отношениях. Но конечно, ей было всего семнадцать лет. О, эти письма! Но не будем о них. Холлиер помог мне понять, что такое мудрость и научное познание, — вот что важно, а не то, что я один раз споткнулась на пути. А вы помогли мне ощутить — в меру моих теперешних способностей — щедрость и радость научного познания. Поэтому я люблю вас обоих. Но Артур совсем другой, и то, что я приношу ему, не тронуто ни одним мужчиной.

— Это хорошо.

— Артур говорит, что физический акт любви — метафора духовной встречи. С Холлиером это определенно было так. Независимо от того, что чувствовала я, он тут же устыдился.

— Я и не подозревал, что Артур такой философ в этих вещах.

— У него бывают удивительные мысли.

— У вас тоже. Я думал, вы хотите убежать от своего цыганского наследия.

— Я и хотела… до встречи с Парлабейном. Но он столько говорил о необходимости признать собственные корни и их равноценность кроне… Он помог мне понять, что я не смогу убежать от

своей цыганской крови. Я должна ее признать, потому что иначе она будет глодать меня всю жизнь, как язва. Мы собираемся проделать и цыганские обряды…

— Постойте! Я хочу вас обвенчать, но я не потерплю всякого там рассекания запястий, смешивания крови, махания кровавыми полотенцами в доказательство девственности и прочего. Я думал, вы хотите заключить христианский брак.

— Не бойтесь, ничего такого не будет. Но Ерко очень серьезно относится к своей роли — он ведь заменяет мне отца. Кстати, по цыганскому счету он как брат матери даже важнее. Ерко потребовал у Артура, и получил, выкуп за меня — золотом. И церемониально принял Артура как *пшала* — ну, знаете, это *гаджё*, которые женились на цыганках. Они считаются братьями, хотя, конечно, не полноправными цыганами. А мамуся дала нам хлеб и соль: она разломала булочку с коркой, посолила, и мы должны были съесть половинки, пока она провозглашала, что мы будем верны друг другу, пока нам не надоедят хлеб и соль.

— Да вы целый цыганский хоровод устроили. Вы уверены, что после всего этого хотите еще и венчаться?

— Симон, как вы можете! Конечно мы хотим,

чтобы наш брак благословили. Мы серьезные люди. Я стала гораздо серьезнее, гораздо реальнее, оттого что признала свои цыганские корни.

— Ясно. А как у Артура с корнями?

— У него весьма обширная корневая система. Полный погреб сушеных корней, как он сам выражается.

Пришедший Артур не поддержал тему корней. Кажется, ему больше хотелось прочитать мне лекцию об ортодоксальном подходе, о котором он оказался неожиданно высокого мнения. Артур сообщил мне, что в наши дни распадается столько браков, потому что люди боятся задать для себя достаточно высокую планку: вступая в брак, они одним глазом косят в сторону пожарных выходов, вместо того чтобы принять его как состояние, из которого отступать некуда.

Наверное, он ожидал, что я начну с жаром соглашаться. Но я не стал. Впрочем, я и не спорил: я слишком хорошо знаю жизнь, чтобы пытаться что-либо объяснять настоящему богачу. Они не лучше молодежи: они знают всё. Мария и Артур согласились, что не хотят упрощенной венчальной службы из современных требников, поэтому Артур принес с собой красивый старинный томик, датированный 1706 годом, с портретом

королевы Анны (вот уж действительно, лучше не нашел) на фронтисписе, — явно из коллекции покойного Фрэнсиса Корниша. Я, конечно, знал порядок этой службы, но счел необходимым пройти ее с Артуром и Марией, чтобы они точно знали, во что ввязываются. Разумеется, они настояли на включении той части поучения венчающимся, где им запрещают вступать в брак «для удовлетворения людских страстей и похотений, подобно безсловесным животным». Артур и Мария пожелали принести брачные обеты «во избежание блуда»[124], а Мария заявила, что готова публично пообещать «бояться своего мужа». Да, они действительно хотели, чтобы во время венчания прозвучало слово «бояться», столь ненавистное современной эмансипированной молодежи. На мой вопрос Мария ответила, что рассматривает это обещание как нечто вроде клятвы верности монарху, — еще один обет, который современные люди не принимают всерьез.

Я бы не согласился на подобные анахронизмы, но эти двое ужасно трогательно радовались, что брак «был установлен для доброжелательного общения, взаимной помощи и поддержки». Они

---

**[124] Примечания: 124**

*...«во избежание блуда»...* — Первое послание апостола Павла к коринфянам, 7: 2.

явно искали именно этого, и Артур высказался весьма красноречиво:

— Люди совершенно недостаточно общаются. Те, для кого секс — хобби, распространяются о своем любимом занятии, но никогда не признаются, что с возрастом оно неминуемо уходит на задний план. Кое-кто считает брачным алтарем не кровать, а кухонную плиту, ставя брак на службу чревоугодию. Но почему никто не вспоминает о тесной дружбе на всю жизнь? Такая дружба воплощается в разговорах на самые разные темы. Если люди по-настоящему живут и мыслят, то эта дружба никогда не кончается, она удлиняет саму жизнь, потому что всегда находится что-то еще не сказанное.

— Я раньше думала, глядя на пары в ресторанах: как ужасно, когда люди сидят и молча едят, ни словом не обменяются, — сказала Мария. — Но теперь я понимаю, что это не обязательно так. Может быть, им для общения не нужно все время говорить. Истинное общение — это не обязательно шевеление языком; иногда это — насыщенное глубоким смыслом общее молчание. Но мы с Артуром говорим не переставая с тех самых пор, как решили пожениться.

— Я вот подумал: может быть, мы совершенно

неправильно понимаем легенду об изгнании из рая, — сказал Артур. — Может быть, Господь выгнал Адама и Еву из рая за то, что они ценой невинности обрели познание, а Бог им позавидовал. «…Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его»[125]. Узнаете, Симон?

— Одно из гностических Евангелий, — сказал я, слегка уязвленный тем, что этот юнец пытается наставлять меня в моей собственной профессии.

— Евангелие от Фомы, и там написаны довольно опасные вещи, — разъяснил Артур, который сейчас и папе римскому прочитал бы лекцию, нуждайся тот в помощи. — Адам и Ева узнали, как можно изучать Царство Отца, и с тех пор их потомки этим неустанно занимаются. Именно в этом смысл университетов, когда они не отвлекаются на пустяки. Конечно, Богу стало завидно: Его попросили поделиться своим Царством. Я уверен, что Адам и Ева уходили из рая, смеясь; они радовались, что поменяли ничего не знающую невинность на бесконечное разнообразие возможностей.

Все это было прекрасно и намного лучше того, с чем я обычно сталкиваюсь при беседах с жени-

---

**[125] Примечания: 125**

*«…Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его».* — Евангелие от Фомы, 117.

хами и невестами. Они, бедняжки, в основном довольно глупы и совершенно не способны выразить словами свои ожидания. Они, кажется, даже не очень понимают, какова моя роль в этом обряде. Я не выдаю людям лицензии на право спать в одной постели и пользоваться одним полотенцем — я служу посредником между ними, просящими, и Тем, Кто выслушивает прошение. Но все же я сомневался. Эти двое как-то слишком красиво говорили. А мне нужна была полная уверенность, ибо я по-прежнему всем сердцем любил Марию.

Она поняла, что у меня неспокойно на душе, и перед уходом сказала:

— Девиз нашего брака — то, что вы цитировали на самом первом семинаре. Помните, из Августина?

– *Conloqui et conridere…*

— Да. «Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение». И конечно, взаимные благожелательные услуги включают в себя секс. Так что, Симон, дорогой, пожалуйста, не надо так беспокоиться.

Но я не мог не беспокоиться, потому что был

всего лишь человеком. Я терял невероятно способную ученицу. Я терял женщину, которую какое-то время считал земным воплощением Софии. Да, я знал, что не могу ею обладать, но я все еще любил ее — и собирался навеки связать с человеком, о котором я знал только хорошее, но который мне все же чем-то не нравился.

Я решил, что это зависть. Она должна быть хорошо знакома мятежным ангелам. Это непопулярная страсть: люди с каким-то даже удовлетворением признаются в своей жадности, или вспыльчивости, или даже скупости, но кто признается, что завистлив? Зависть не так легко представить в виде добродетели, надевшей черную маску. Но моя работа как священника — смотреть человеческим грехам в лицо и называть вещи своими именами. Я завидовал Артуру Корнишу, потому что он собирался занять главное место в сердце женщины, которую я все еще любил. Но, как сказала Мария, мятежный ангел, ведя женщину к свету, в большой мир, частично отбирает у нее невинность. Неудивительно, что человек, сыгравший эту роль, завидует тому, кто пожинает плоды его трудов. Я не сомневался, что я сам способен понимать и ценить Марию так, как Корниш никогда не сможет; но я так же

твердо знал, что Мария никогда не будет моей — разве что в мифологической плоскости, о которой она сама мне говорила. «Ваша беда, отец Даркур, в том, что вы хотите одновременно и рыбку поймать, и рясу не замочить: вы хотите быть у Марии первым и главным, но не желаете платить за это положенную цену». Ладно, я все понял. Но боль не утихла.

Почему я так подозрительно относился к Артуру? Потому что у меня была возможность разглядеть его крону, но я ничего не знал о его корнях — за исключением выводов, которые можно было сделать на основании того, что он любит и понимает музыку. Мария, кажется, отдалась ему полностью; все, что она говорила в нашей сегодняшней беседе, каждое слово отдавало какой-то… нет, не фальшью, но чужеродностью, чем-то таким, что было не Марией, но Артуром. Я такое замечал у множества невест, но Марию нельзя было ставить с ними на одну доску.

И вся эта ортодоксальность… до чего она может довести? По моему опыту, основы христианской веры, правильно понятые, составляют самый лучший костяк для жизни и для брака. Но людям интеллектуального склада нужно добавлять еще и наполнитель — я употребляю это слово в кули-

нарном смысле, как дополнительные продукты, которые подмешивают к основному блюду, чтобы увеличить порцию. Иначе еды не хватит. Одними костями сыт не будешь.

Молодые пары, с которыми я беседую перед венчанием, чистосердечно веруют — или имитируют чистосердечие, которого, по их мнению, я ожидаю. Но я знаю, что в доме, который они построят, будут и другие боги, кроме Единого Бога. Римляне верили в ларов и пенатов, и были правы: в каждом доме и в каждом браке есть малые боги. Иногда они раздуваются до невероятных размеров. Они могущественны, даже если хозяева дома не осознают их присутствия. У каждого такого бога есть темная сторона, готовая натворить беды: так, гордость притворяется самоуважением, гнев — верностью принципам высокой морали, похоть — свободой выбора. Какие боги поселятся в доме Корнишей?

Я знал про особый конек Марии: это честь — понятие, найденное у Рабле и взятое Марией на вооружение. Честь, которая, как говорят, побуждает людей к добродетельным поступкам и удерживает от греха. Есть ли у этого бога темная сторона? Не буду тратить время на бесплодные гадания. Но я вполне могу себе представить,

каких адских бед может натворить Честь, если раздуется слишком сильно и заслонит лицо Единого Бога.

## 2

Свадьба Марии решительно удалась — если принять во внимание обстоятельства и закрыть глаза на кое-какие странности. Стоя у алтаря в ожидании невесты, я видел, как она разувается на том конце часовни «Душка». Невеста предстала предо мной босиком, хотя длинное белое платье почти все время закрывало ее ступни. От этого она стала ниже — такой маленькой я ее ни разу не видел, — так что Артур Корниш при своем среднем росте возвышался над ней. Он был одет красиво и в соответствии с обычаями; ясно было, что фрак сшит по мерке, а не взят напрокат. Многие свадьбы приобретают комический оттенок из-за того, что жених одет в плохо подогнанную прокатную одежду и явно не умеет держаться в накрахмаленном воротничке (первом в его жизни). Я считаю, если жених выглядит шутом — это плохая примета. Чаще всего человека подводит неумение носить цилиндр. Артур и его свидетель выглядели безупречно. Свидетелем был Герант Пауэлл, подающий надежды

молодой актер со Стратфордского театрального фестиваля, — красивый, уверенный в себе, он занимал слишком много места, как часто бывает с актерами во время торжественных церемоний. Интересно, подумал я, где это Артур нашел такого приятеля, — лет пятьдесят назад его назвали бы кумиром сумасшедших театралок.

Музыка тоже идеально подходила к случаю, — должно быть, выбирал ее Артур. Странно было видеть, как Мария с безупречной грацией босой цыганки приближается под руку с Ерко по длинному центральному проходу. Ерко ступал вразвалку, как огромный медведь, и демонстративно улыбался сквозь слезы — видимо, решил, что ему подобает именно такое сочетание эмоций. Он где-то — одному Богу известно где — откопал фиолетовый аскотский шейный платок и заколол его булавкой, на которой красовался гранат размером с яйцо.

Мамуся красовалась на первом от прохода месте в первом ряду на стороне, принадлежащей гостям невесты, — *пхури дай* в парадном одеянии, сложные нагромождения юбок, пестрые жилеты, не меньше трех шалей, а волосы намаслены до того, что она уподобилась Богу Сиона: ее стези ис-

точали тук[126]. Мамуся не плакала: она хранила достоинство, как подобает матриарху.

Но стоило появиться Марии, как я уже не видел никого, кроме нее. Когда она приблизилась, сердечная боль сменилась удивлением, ибо на Марии было надето самое длинное ожерелье, какое я когда-либо видел. Ему позавидовал бы и лорд-мэр великого города. Оно состояло из золотых дисков диаметром не меньше двух дюймов, с выбитым на них изображением какого-то рогатого животного. Я не стал разглядывать надписи, ибо невежливо было бы пялиться на невесту, но мне бросилось в глаза непонятное слово «Fyngoud». Что это? Какое-нибудь шотландское сокровище? Рядом с ним меркло мамусино монисто из талеров Марии-Терезии, надетое по торжественному случаю. Сходство с золотой цепью мэра усиливалось тем, что ожерелье было приколото высоко на плечах и часть его свешивалась на спину под фатой. Если бы оно просто висело на шее, как обычные бусы, оно достало бы невесте почти до бедер.

Вот она, милая моя, радость моя, стоит рядом с человеком, которому я ее отдаю. Пора начинать.

---

**[126] Примечания: 126**

…*уподобилась Богу Сиона: ее стези источали тук.* — Псалтырь, 64: 12.

— Возлюбленные мои, сегодня мы собрались здесь перед лицом Господа и перед лицом сего собрания верных…

Уж и компания подобралась! На невестиной стороне, кроме мамуси, один только Клемент Холлиер, а на стороне жениха довольно много народу: возможно, родственники, хотя, скорее всего, также члены советов директоров и бизнес-партнеры.

— …чтобы соединить этого мужчину и эту женщину священными узами брака.

Засим я выполнил это намерение, не переставая удивляться тому, как коротка венчальная служба и как просты и неизбежны ответы в отличие от нудной клоунады, которую приходится выполнять при разводе. Под конец я по долгу службы призвал Господа преисполнить Марию и Артура особым духовным благословением и благодатью, даровав им так прожить сию жизнь, чтобы в жизни будущего века войти в Царствие Божие. Думаю, никогда еще, произнося эти слова, я не чувствовал себя так двусмысленно.

Свадьба была утренняя — снова стремление Артура сделать все «как положено». За ней последовал прием — или угощение, называйте как хотите, — в одной из комнат, которые «Ду-

шок» иногда предоставляет для этой цели. Зала, отделанная резным дубом, была полна торжественной академической мрачности. Мамуся держалась как королева на придворном балу, милостиво привечая — как она явно думала, в европейском, венском стиле — бизнес-приятелей Артура, которых, кажется, всех звали мистер Шурумбурум и миссис Кактотам. Мария сняла фату и повязала платок по фасону, положенному замужней женщине. Ерко уже сильно напился и был очень разговорчив.

— Поп Симон, вы видали монисто? — спросил он. — Как вы думаете, сколько оно стоит, а?

Он дышал мне в ухо теплом и спиртовыми парами, называя немыслимую сумму.

— Я сам его сделал; у меня ушла целая неделя, по многу часов каждый день. Я вам скажу очень важную вещь: все это золото — выкуп за Марию! Кроме цепочек, их я сделал из кое-каких вещей, что остались от Мариного отца. Ну вы знаете, выкуп — то, что Артур мне заплатил как ее дяде, чтобы на ней жениться. Вы скажете, это невиданное дело, но так заведено у цыган, потому что Артур богатый и *гаджё*, он должен заплатить много. Мы с сестрой тоже люди не бедные, но обычай есть обычай. Потому мы все вернули в

виде ожерелья. Вы видели эти большие монеты? В каждой — полная унция золота. Угадайте, что это такое. Ну, угадайте, угадайте. Крюгерранды, вот что! Чистое золото[127], и они принадлежат Марии, так что она, в случае чего, не останется с пустыми руками. Потому что эти *гаджи*, у них и деньги-то бумажные: того и гляди, «пфф»! — и ничего нет. Ничего себе, а? Что вы скажете о семье, которая отдает назад весь выкуп за невесту?

Я мог сказать только то, что это неслыханная щедрость. Холлиер нас слушал; он молчал, и вид у него был кислый. Но Ерко со мной еще не закончил.

— Скажите, поп Симон, что это за церковь у вас такая? Я знаю, вы хороший поп — настоящий, очень большой силы, — но я смотрю вокруг, и что я вижу? Где Беби Исус? Нигде нет! Ни картинки, ни фигуры. За алтарем куча старых святых, но ни Беби Исуса, ни его матушки. Разве в этой церкви не знают Беби Исуса?

— Ерко, Беби Исус тут повсюду, можете не сомневаться.

---

**[127] Примечания: 127**

*Крюгерранды… Чистое золото…* — Крюгерранд — южноафриканская монета, содержащая одну тройскую унцию золота. Также см. выше: «…бросилось в глаза непонятное слово „Fyngoud“. Что это? Какое-нибудь шотландское сокровище?» Fyngoud — «чистое золото» на языке африкаанс.

— Я его не видел. Я хочу видеть, тогда поверю.

Ерко зашлепал прочь — налить себе еще шампанского, которое он пил большими глотками.

— Вот видите, — сказал я Холлиеру. — Я, кажется, согласен с Ерко: свидетельства веры в наших церквах должны быть более наглядными. Наша вера слишком утонченна — мы ее утончили до того, что скоро и вовсе ничего не останется.

— Чепуха, — сказал Холлиер. — Вы ничего подобного не думаете. От подобных мыслей один шаг до пошлейших гипсовых статуэток. О Сим, как я все это ненавижу. Весь этот этнографический колорит напоказ — выкуп за невесту, босые ноги. Сейчас мы пойдем хороводом под залихватские вопли, разливая вино из кубков.

— Я думал, вы в своей стихии. Дикая душа как она есть. Залихватские вопли и необузданное веселье.

— Только если все это не показное. А так это похоже на танец-заклинание дождя, какие индейцы пляшут для заезжих политиков.

Он, кажется, все еще не оправился после нервного срыва, так что я не стал ему противоречить. Но мои собственные мысли в точности отвечали его словам.

— Извините, — сказал он. — Мне нужно произ-

нести тост за невесту, а необходимость произносить речи на меня всегда плохо действует.

Но он зря беспокоился: многочисленные господа Шурумбурум и дамы Кактотам были настоящие канадские WASP-ы и вряд ли собирались петь или разуваться. Распорядителем церемоний был Пауэлл, актер. Через несколько минут он призвал всех собравшихся к молчанию, чтобы Холлиер мог произнести речь. И Холлиер произнес ее; мне почудилась в его словах мрачность, неуместная для свадьбы, но за сами слова я был ему благодарен.

— Дорогие друзья, мы собрались по радостному случаю, и мне выпала особая честь — произнести тост за невесту. Я делаю это с глубочайшим чувством, ибо я люблю ее как учитель, для которого она была самым благодарным и способным из учеников. Я скажу вам, что учитель может стать великим только с великими учениками. Мария дала мне возможность превзойти самого себя и удивить самого себя. То, что я вложил в нее — мне глупо было бы скромничать, преуменьшая свой вклад, — она достойно вернула, приумножив и согрев истинной теплотой. Сейчас Марию окружают ее две семьи. Ее мать и дядя, ярко выраженные представители древней культуры,

идущей с Востока. И мы с отцом Даркуром, преданные слуги другой культуры, которая стала для Марии родной и которой Мария принесла великие дары. Одна мать, *пхури дай*, мать-земля, присутствует среди нас во всем великолепии; другая, альма-матер, матерь кормящая, — университет и вся необъятная вселенная познания и научной мысли, частью которой он является, — окружает нас со всех сторон. При таком богатом наследии почти излишне желать Марии счастья, но я все же сделаю это от всего сердца. Еще я хочу пожелать ей и ее мужу долголетия и всех радостей, которые может принести союз корня и кроны. Те, кто знает о любви Марии к Рабле, поймут, почему я желаю ей счастья словами великого гуманиста: «Vogue la galère — tout va bien!»[128]

Шурумбурумы и Кактотамы вежливо зааплодировали: кажется, речь Холлиера слегка сбила их с панталыку. Скорее всего, они ожидали услышать типичную речь благодушного дядюшки с шутками и прибаутками. Затем последовала речь Артура, которая отнюдь не разрядила обстановку. Он сказал, что жениться — значит принять участие в опасной игре с высочайшей ставкой:

---

**[128] Примечания: 128**

«Плыви, корабль! Все хорошо!» *(фр.)* — Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Т. II, гл. XXIII.

можно достичь полноты жизни — или, наоборот, обеднить ее, втиснуть в узкие рамки. Эта игра — для подлинно зрелых игроков.

Речи женихов на свадьбе всегда ужасны, но эта повергла меня в особенное замешательство.

Когда речи закончились и настало время уходить — я, как священник, знаю, что уйти нужно до того, как все заметно напьются и заведут семейные ссоры или ввяжутся в кулачные драки, — я пошел прощаться с Марией.

— Надеюсь, мы снова увидимся в следующем семестре, — сказал я, поскольку ничего более оригинального мне в голову не пришло.

— Я пока не знаю. Я, может быть, возьму академический отпуск на год, чтобы привыкнуть к замужеству. Но я вернусь. Клем правильно сказал: это мой дом, а вы — моя семья. Спасибо вам, милый Симон, за то, что обвенчали меня с Артуром, и за весь прошедший год. Я очень многому научилась у вас и у Клема.

— Рад слышать.

Но тут моя Мария скорчила дразнящую, проказливую гримаску, какой я никогда у нее не видел.

— Но я все-таки думаю, что самому важному меня научил Парлабейн.

— Чему вы могли научиться у этого разбой-

ника?

— «Не будь другим, если можешь быть собой».

— Но вы этому научились у Парацельса!

— Я это прочитала у Парацельса. Но научилась я этому у Парлабейна. Понимаете, Симон, он тоже был мятежным ангелом.

Холлиер вышел вместе со мной — такой убитый, что я боялся оставлять его одного.

— Вам лучше пойти домой и отдохнуть, — сказал я.

— Я не хочу домой.

Это я мог понять. Общество матушки Холлиера не лучший вариант для человека, чья любимая только что вышла замуж за другого. Пора мне высказаться:

— Слушайте, Клем. Ни мне, ни вам нет смысла утопать в жалости к себе. Мы обладали Марией в той мере, в какой могли, и сами отдали ей все, что позволяли нам природа и обстоятельства. Не будем тешить себя горько-сладкими радостями отречения. Никаких там «То, что я делаю

сегодня, неизмеримо лучше...»[129]. Мы должны быть собой и понимать, что мы такое: мы — мятежные ангелы. Во всяком случае, мы можем надеяться, что мы — именно они, а не просто два глуповатых немолодых профессора, хнычущих о несбыточном.

— Но какой же я дурак! Почему раньше не догадался!

— Клем, не гневите фортуну. Вы думаете, что потеряли Марию. А я скажу, что вы от нее удачно освободились. Помните, что *пхури дай* нагадала вам на Рождество? Последней картой было вечно вращающееся колесо Фортуны. И вот это колесо повернулось в вашу пользу. Скажете, нет? Папка Грифиуса будет ваша, как только вы с Марией снова начнете работать вместе. Это и есть ваша судьба — в вашем-то возрасте и с вашим характером. Вы не герой-любовник: вы слишком сильный маг, чтобы быть любовником. А теперь слушайте меня: идите к себе в комнаты, поспите

---

**[129] Примечания: 129**

*«То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше...»* — слова Сиднея Картона, героя романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах», действие которого происходит во время Великой французской революции. Сидней Картон пожертвовал собой ради другого человека и был гильотинирован вместо него. Предсмертный мысленный монолог Картона заканчивается словами: «То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал; я счастлив обрести покой, которого не знал в жизни» (цит. по перев. М. Богословской и С. Боброва).

после обеда и приходите ужинать в Плоурайт ровно к шести часам. У нас сегодня гостевой вечер.

— Нет, нет, я буду лишним у вас за столом.

— Нисколько; один гость отказался в последний момент, так что судьба явно освободила его место для вас. Коктейли начинаются в шесть. Смотрите не опаздывайте — декан этого не любит.

## 3

Этот гостевой вечер был особенно оживленным, потому что оказался последним в сезоне: за ним должен был последовать большой перерыв на лето. Кроме того, праздники в этом году сложились так, что это был первый гостевой вечер после Пасхи. Когда закончилась первая часть вечера, студенты разбежались по своим делам, а мы спустились на первый этаж в зал профессуры, оказалось, что все завсегдатаи на месте и, кроме них, присутствуют еще два гостя: Джордж Нортмор, судья Верховного суда провинции, и Бенджамин Джубили из библиотеки университета.

Я подумал: скоро ли за столом заговорят об убийстве Эркхарта Макварииша, и кто будет первым? Я мысленно побился об заклад сам с собой, что это окажется Роберта Бернс, и выиграл. Я

снова, ради «Нового Обри», дам отчет о том, «как они болтали во хмелю».

— Бедный Эрки. Помните, он ужинал с нами прошлой осенью? Как он гордился своей косточкой пениса, бедняга. Хотел меня шокировать, но не на такую напал: он просто не знал, что интеллигентная женщина средних лет — крепкий орешек…

— Он был оксфордец старой закалки, — объяснила Пенни Рейвен. — Он думал, что женщины — очаровательные создания, в чьих плотских печурках можно раздуть жаркий огонь очаровательно непристойной академической болтовней. Ну что ж, одним меньше, но в университете еще осталось немало таких, кому прямая дорога — вслед за ним.

— Пенни, это на вас совсем не похоже! — воскликнул Ламотт.

— Ну что вы, Пенни, — вмешался Делони, — бедный Эрки умер. Давайте будем великодушны к побежденным.

— Да, — подхватил Хитциг, — мы не гиены и не биографы, нам не обязательно мочиться на мертвых.

— Ну ладно. *De mortuis nil nisi hokum*[130], — сказала нераскаянная Пенни.

— Я сам из Оксфорда и не меньше времени провел там, чем Макварииш, — сказал декан. — Но я никогда не думал о женщинах плохо.

— Да, господин декан, но вы ведь из Баллиола. Красавцы и джентльмены. А Эрки был из колледжа Магдалины — совсем другая корзина с яйцами… точнее, без яиц.

Декан расплылся в ухмылке, — видимо, память о давнем соперничестве еще тлела у него в душе.

— Интересно, что стало с его эротической коллекцией? — спросила Роберта Бернс. — У него возле двери стояла порнографическая колодка для обуви, она меня всегда интересовала.

— Порнографическая ко… — Ламотт любил изображать невинность в разговорах с женщинами.

— Да, представьте себе. Голая женщина из латуни, лежащая на спине, с разведенными ногами. Чтобы снять галошу, нужно было наступить одной ногой на лицо, а другую втиснуть в промежность. Довольно удобная штука, но

---

**[130] Примечания: 130**

О мертвых ничего, кроме чепухи *(искаж. лат.)*. Перефразированное латинское крылатое выражение «De mortuis nil nisi bene» («О мертвых ничего, кроме хорошего»).

оскорбляла мое чувствительное достоинство как женщины.

— Совершенно не понимаю, зачем людям такие гадкие игрушки, — сказал Ламотт. — За много лет наблюдений я уяснил себе, что имущество человека — гораздо более верный ключ к его характеру, чем все слова и поступки. Если понимаешь язык вещей.

— В ваших шкафах мы найдем только старинный фарфор, — сказал Делони. — Но, судя по тому, что я слышал, Рене, это отнюдь не гарантия высочайшего вкуса.

— Что такое, что такое? Ну-ка, расскажите, — заинтересовалась Роберта.

Ламотт покраснел.

— Ходят слухи, что у Рене прекрасная коллекция бурдалу.

— Пардон?

— Это фарфоровые «утки» — их подсовывали себе под юбки элегантные дамы в восемнадцатом веке во время долгих путешествий в неотапливаемых экипажах.

— Нет, нет, — сказал Ламотт. — Они получили свое название в честь аббата Бурдалу, который произносил необыкновенно длинные проповеди, в высшей степени испытывающие людскую вы-

держку. Но кто это про меня такое?..

— Ага, интересно? А они правда разрисованы неприличными картинками?

— Если принять во внимание, что я пью минеральную воду, а вы — портвейн, вы это не скоро из меня вытянете.

— Слишком утонченные умы легко соскальзывают в непристойность. Будьте осторожны, Рене: мы за вами неотступно следим.

Теперь ухмыльнулся Ламотт.

— Что я слышу! Вы обсуждаете ужасное потрясение всего университета — убийство Макварриша? — завопил Дердл с того конца стола, хотя этикет строго-настрого запрещал подобное.

— А, убийство с розовой ленточкой! — воскликнул судья Нортмор. — Я прочитал все статьи во всех трех газетах, но они были чрезвычайно неясны и противоречивы. Единственное, в чем я полностью уверен, — в том, что профессор университета был убит при обстоятельствах, до некоторой степени будоражащих воображение. Жаль, что дело не дошло до суда, — тогда, быть может, нам удалось бы заглянуть в самые глубины…

Роберта Бернс фыркнула. Декан поднял брови.

— Чтобы раскопать всю правду о десяти футах

розовой ленты в заднем проходе убитого. Зачем и кому понадобилось ее туда засовывать?

— В одном из признаний упоминалось о неких «церемониях».

— Да, да, мистер Ладлоу, но что это были за церемонии?

— Полное объяснение этого факта было дано только в письме, адресованном полиции. Я имел случай с ним ознакомиться, — сказал Ладлоу. — Что-то очень сложное, с участием королевы Анны.

— Неужели мы не можем переменить тему? — взмолился декан.

— Ладлоу, потом расскажете, — прошипел судья.

Но беспомощная мольба декана не могла остановить поток.

Делони допрашивал Ладлоу:

— Что стало с телом?

— С телом Макварииша? Надо полагать, полиция выяснила все, что нужно, и отдала его родственникам.

— А я и не знал, что у него были родственники.

Тут я мог вмешаться в силу своей осведомленности:

— Не было. Поэтому университет взял все на

себя и похоронил его без шума. В крематорий пришли только один-два человека из администрации ректора.

— Не очень-то пышная «церемония». Но еще, надо полагать, и священник? Кто это был? Не вы, Симон?

— Нет, не я. Однако я отпевал убийцу, если вас это интересует. Я знал его с очень давних времен.

— А я думаю, что он, в смысле — убийца, заслуживает награды, — сказала Эльза Чермак.

— Эльза! А мы и не знали, что у вас зуб на Эрки!

— Нет, я имею в виду — за то, что он прикончил себя сам, не вводя государство в немаленькие судебные расходы. Он, наверное, был незаурядным человеком.

— Это точно, — сказал Холлиер.

— Он ведь покончил с собой? — спросил любопытный Делони. — Я слыхал, что он выпил целую канистру репеллента для собак.

Странно было видеть, как Холлиер защищает Парлабейна:

— Ничего подобного, могу вас уверить. Он был исключительным человеком, его способности внушали страх, а чувство стиля было идеальным

— он никогда не опустился бы до смерти от собачьего репеллента.

— А ведь от него осталась книга! Великая книга. Она действительно так хороша? — спросил Дердл.

— Когда ее опубликуют? — спросил Аронсон. — Холлиер, ведь это вы ею занимаетесь?

— Этим занимались другие, пока я болел, — ответил Холлиер. — Насколько я понимаю, сбор предложений от издателей пока не закончен. Люди, даже не видевшие книгу, желают купить права на экранизацию.

— Важнее всего то, что рукопись следует поместить в университетскую библиотеку, — сказал Джубили, профессиональный архивист. — Она родилась в этом университете, она была причиной инцидента, который, сколь он ни ужасен, навсегда останется в анналах университета. Поэтому рукопись нужно поместить туда, где ей следует находиться по праву.

— Он оставил ее библиотеке своего старого колледжа, — сказал Холлиер. — Святого Иоанна и Святого Духа. Для вас — «Душка».

— Боюсь, в такой мелкой библиотеке не умеют правильно обращаться с рукописями, — сказал Джубили. — Вы можете гарантировать, что ее

будут хранить как следует, переложив страницу за страницей листами бескислотной бумаги?

Я вспомнил рукопись Парлабейна — замызганную пачку листов — и улыбнулся про себя.

— Не понимаю, как вы можете называть это «инцидентом», — сказал Дердл. — Как вы не видите: это наше собственное преступление, да еще какое! Сколько университетов могут похвалиться собственным преступлением — то есть общепризнанным, неоспоримым? Оно придает нам особое качество, ставит нас гораздо выше любого другого североамериканского университета. Оно попало в международные новости! Это стоит не меньше трех нобелевских лауреатов! Поднимает нас на небывалую высоту в научном мире!

— Какая чушь! — воскликнул Стромуэлл. — Как можно такое говорить?

— Как можно такое спрашивать? А еще медиевист! Каковы были великие ученые прошлого? Корыстные попрошайки, бахвалы, злопамятные задиры и склочники. Эрки и его убийца — именно из такого теста. И еще они были великими гуманистами. А что такое современный ученый? Затхлое пугало в тисках мещанского «как бы чего не вышло».

— Говорите только за себя, — возразил Стро-

муэлл.

— Я и говорю за себя! Именно это я сегодня утром сказал жене за завтраком.

— А она?

— Она, кажется, ответила: «Да, дорогой» — и продолжала составлять список покупок. Но это не важно, а важно то, что некая гротескность и вырывающаяся из ряда оригинальность необходимы для настоящего ученого и придают ему особую славу. Мрачное величие убийства Эрки падает отсветами на всех нас; оно сообщает частицу величия и нам. А книга его убийцы — это в каком-то особом смысле наша общая книга.

— Вы даже не знаете, хороша ли она.

Пока они препирались, другие участники застолья пытались в угоду декану переменить тему.

— Я слышал из надежного источника, что скоро в нашем университете появится еще один нобелевский лауреат, — объявил Бойз.

— То есть ему ее дали? — уточнил Гилленборг.

— Ну, пока нет официального объявления, стопроцентной уверенности быть не может, но в этом году было только три претендента, и я слышал, что наш — первый в списке.

— Я так и думал, когда прочитал его Коберовскую лекцию. Ози говорил как человек, который

знает, что пришел разбудить мир. Нам всем придется научиться думать по-новому. Экскременты — ежедневный барометр, показывающий, куда движется тело, а возможно, и душа, — к здоровью или болезни. Разумеется, Ози стоял на плечах Шелдона, но все мы стоим на чьих-нибудь предыдущих трудах.

— Именно в этом блеск и слава университета, — сказал декан. — А не в каких-то там ужасных нарушениях естественного порядка.

— Вы всегда тяготеете к свету, господин декан. Возможно, для гармонии нужно и то и другое.

— Совершенно верно, — согласился декан. — Сознаюсь, я никогда особенно не любил Макварища, но хорошая современная теология признает за каждым человеком право добираться в ад своим собственным путем.

Я слушал, и мне в сердце вползала печаль, явно с оттенком жалости к себе — той самой, которую я заклеймил сегодня в речи, обращенной к Холлиеру. Ну что ж, может быть, немного пожалеть себя не помешает, когда ни от кого больше жалости ожидать не приходится. И я отдался этому разнузданному чувству, которое, к моему облегчению, через несколько минут сменилось глубокой нежностью.

*Vogue la galère*, Мария. Да плывет твой корабль.

# Что в костях заложено

*Что в костях заложено, того из мяса не выбить.*

***Английская пословица (с латыни), 1290***

# Часть первая

## Кто задал вопрос?

— Ты должен прекратить работу над книгой.

— Артур, нет!

— Может быть, не насовсем. Но сейчас ты должен остановиться. Мне нужно время подумать.

Трое членов совета сидели в большой гостиной пентхауса. Они уже почти кричали, нарушая деловую атмосферу встречи, — впрочем, атмосфера и с самого начала была не очень деловой. Однако это была деловая встреча, а трое участников представляли собой недавно основанный Фонд Корниша по содействию искусствам и гуманитарным наукам, в полном составе. Артур Корниш, который сейчас бегал взад-вперед по комнате, был, без сомнения, деловым человеком; бизнес-партнеры знали его как председателя совета директоров, но сильно удивились бы разнообразию его интересов, не разделяй он свою жизнь на отдельные аккуратные отсеки. Преподобный Симон Даркур, розовый, пухлый и слегка нетрезвый, выглядел именно тем, кем был, — священником-ученым в неловком положении.

Третья фигура меньше всего походила на члена совета чего бы то ни было: жена Артура, Мария, по-цыгански босая, в домашнем платье, которое можно было бы назвать крикливым, не будь оно сшито дорогими кутюрье из дорогих тканей.

Существует ничем не оправданное мнение, что женщины по природе своей миротворцы. Мария попыталась взять на себя эту роль.

— Но Симон уже так давно над ней работает!

— Мы поторопились. В смысле — заказать ему книгу. Надо было сперва посмотреть, что он раскопает.

— То, что он раскопал, не обязательно так ужасно, как ты думаешь. Верно, Симон?

— Понятия не имею. Решать будут специалисты, и это может занять много лет. У меня пока ничего нет, кроме подозрений. Я уже жалею, что о них упомянул.

— Но ты подозреваешь, что дядя Фрэнк подделал рисунки старых мастеров — часть тех, которые он оставил Национальной галерее. Это уже само по себе ужасно.

— Да, это может оказаться неуместно.

— Неуместно! Мне бы твое хладнокровие. Наша семья занимает высокое положение в канадских финансовых кругах, и вдруг одного из нас подо-

зревают в подделке картин!

— Артур, у тебя какая-то паранойя с этим бизнесом.

— Да, Мария, у меня паранойя, и вполне обоснованная. Нет отрасли более мнительной, капризной, пугливой и просто безумной, чем финансы. Если окажется, что один Корниш был жуликом, финансовый мир решит, что никому из Корнишей доверять нельзя. В газетах появятся карикатуры на меня: «Купите ли вы у этого человека старинную гравюру?» — и все такое.

— Но дядя Фрэнк никогда не был связан с семейным бизнесом.

— Не важно. Он — Корниш.

— Лучший из Корнишей.

— Может быть. Но если он окажется жуликом, пострадает вся его родня, работающая в банковской сфере. Простите меня, но книги не будет.

— Артур, ты ведешь себя как тиран.

— Хорошо, я веду себя как тиран.

— Потому что ты трусишь.

— У меня на это есть все основания. Ты что, не слушала? Не слышала, что говорил Симон?

— Боюсь, я не очень ловко преподнес всю эту историю, — сказал Симон Даркур. У него был очень несчастный вид; лицо побелело, почти

сравнявшись цветом с пасторским воротничком. — Напрасно я начал со своих подозрений — потому что это именно подозрения, больше ничего. Пожалуйста, послушайте, что меня беспокоит на самом деле. Беда не в том, что ваш дядя Фрэнк чересчур ловко обращался с карандашом. Беда со всей книгой. Я дисциплинированный работник. Я не тяну время, ожидая прилива вдохновения и всякой такой чепухи. Я сажусь за стол, включаюсь в работу и преобразую свои многочисленные записи в прозу. Но эта книга изворачивалась и вырывалась у меня из рук, как прутик лозоходца. Может быть, дух Фрэнсиса Корниша не хочет, чтобы писали его биографию? Корниш был скрытен, как никто. Он почти ничего о себе не рассказывал — никому, за исключением двух-трех человек, последним из которых был Эйлвин Росс. Вы, конечно, знаете, что Фрэнсиса и Росса считали любовниками?

— Боже мой! — воскликнул Артур Корниш. — Сначала ты подозреваешь, что он подделывал картины, а теперь выясняется, что он голубой. Чем еще порадуешь?

— Артур, не говори глупостей и не груби, — заметила Мария. — Ты же знаешь, что теперь в этом не видят ничего такого.

— Только не в банковских кругах!

— Милые мои, — сказал Даркур, — не ссорьтесь, и, если мне позволено будет так выразиться, не ссорьтесь по-глупому из-за пустяков. Я работаю над этой биографией уже полтора года, но никуда не продвинулся. Артур, ты меня не напугаешь обещаниями придушить эту книгу. Я уже сам подумывал ее придушить. Говорю вам, я застрял. Мне элементарно не хватает фактов.

Артуру Корнишу не было чуждо ничто человеческое, в том числе инстинктивное стремление заставлять людей делать то, чего они делать не хотят. Поэтому он сказал:

— Симон, это на тебя совсем не похоже. Ты не из тех, кто легко сдается.

— Да-да, Симон, пожалуйста, не думай об этом, — подхватила Мария. — Выбросить на свалку полтора года работы? Ты просто расстроен. Выпей, а мы тебя развеселим.

Артур уже сходил за напитками для всех троих. Он поставил перед Даркуром стакан шотландского виски, с капелькой содовой для порядка, а сам сел на диван рядом с женой.

— Валяй, — сказал он.

Даркур сделал большой, ободряющий глоток.

— Вы поженились примерно через полгода

после смерти Фрэнсиса Корниша. Когда наследственные дела наконец были улажены, оказалось, что сумма наследства гораздо больше, чем все ожидали…

— Ну да, — сказал Артур. — Мы думали, у него только доля от наследства деда и то, что оставил отец, — это могли быть солидные деньги. Он никогда не интересовался семейным бизнесом; родня считала его чудаком — человеком, который возню с пыльными картинками предпочитает банковскому делу. Я единственный из всей семьи хотя бы примерно понимал, что им движет. Банковское дело не сахар, если у тебя нет к нему склонности. К счастью, у меня она есть, поэтому я теперь председатель совета директоров. Состояния дяди Фрэнсиса хватало на безбедную жизнь: у него было несколько миллионов долларов. Но стоило ему умереть, как солидные деньги начали обнаруживаться в самых неожиданных местах. Например, три очень большие суммы на анонимных счетах в швейцарских банках. Откуда они? Мы знаем, что антикварные салоны и частные коллекции хорошо платили ему за установление подлинности работ старых мастеров. Но даже большие гонорары, сложенные вместе, не потянут на несколько лишних миллионов. Чем же он

занимался?

— Артур, замолчи наконец, — сказала Мария. — Ты обещал не мешать Симону.

— Прошу прощения. Симон, продолжай. Ты знаешь, откуда взялись эти лишние деньги?

— Нет, но это далеко не самое важное из всего, чего я не знаю. Я просто не знаю, кем он был.

— Но как ты можешь не знать? То есть я хочу сказать, есть же факты, которые можно проверить.

— Да, есть, но они не укладываются в портрет человека, которого мы знали.

— Я его совсем не знала. Даже не видела никогда, — вставила Мария.

— Я его тоже не знал по-настоящему, — сказал Артур. — Видел его несколько раз еще в детстве, на больших семейных сборищах. Он редко на них появлялся и, кажется, не ладил с родней. Он каждый раз давал мне деньги. Не десять долларов, как обычно дядюшки племянникам на карманные расходы: он тайком совал мне конверт, в котором могла оказаться сотня. Целое состояние для школьника, которого воспитывали в духе уважения к деньгам и бережливости. И еще одно мне запомнилось: он никогда не здоровался за руку.

— Я знал его намного лучше, чем вы двое, и он даже со мной никогда не здоровался за руку, — сказал Даркур. — Мы подружились на почве общих интересов — к музыке, рукописям, каллиграфии и все такое. И конечно, я был одним из исполнителей по завещанию. Но никаких рукопожатий! Фрэнк однажды сказал мне, что терпеть не может здороваться за руку. Что стоит ему коснуться чужой руки, и к его руке прилипает запах смерти. Если собеседник совершенно не понимал сигналов и Фрэнку не удавалось отвертеться от рукопожатия, он сразу бежал в ванную и мыл руки. Невроз навязчивых действий.

— Странно, — сказал Артур. — С виду он не выглядел особенно чистоплотным.

— Он редко мылся. У него было три квартиры, с шестью ванными комнатами в общей сложности. Когда мы начали разбирать его вещи, оказалось, что все ванны заполнены горами картин, набросков, книг, рукописей и тому подобным. Я даже не поручусь, что краны в них все еще работали после стольких лет полного бездействия. Но Фрэнк оставил себе один санузел в прихожей, размером со стенной шкаф, и там бесконечно мыл руки. Ладони у него всегда были белоснежные, хотя в остальном от него попахивало.

— Ты собираешься вставить это в книгу?

— Конечно. Он не вонял. От него пахло, как от старинной книги в кожаном переплете.

— Звучит очень мило, — заметила Мария. — Жулик с ароматом старинной книги. Человек эпохи Возрождения, но без пьянства и дуэлей на мечах.

— Определенно без пьянства, — подтвердил Даркур. — Он вообще не пил — во всяком случае, дома. Но никогда не отказывался пропустить стаканчик или даже несколько, если платил кто-нибудь другой. Он был ужасным скрягой.

— Все лучше и лучше, — сказала Мария. — Жуликоватый скупердяй, пропахший книгами. Симон, я уверена, что у тебя получится отличная биография.

— Помолчи, Мария; я знаю, что ты романтик и тебе симпатичны жулики, но надо себя контролировать. Это все ее цыганская кровь, — объяснил Артур Даркуру.

— Пожалуйста, помолчите оба и дайте мне наконец рассказать! — воскликнул Даркур. — Я не намерен писать авантюрный роман; я собираюсь выполнить твою просьбу почти двухлетней давности, а именно создать солидный труд на научной основе, желательно не смертельно скуч-

ный: биографию покойного Фрэнсиса Корниша. Это должно стать первым проектом только что созданного Фонда Корниша по содействию искусствам и гуманитарным наукам, у которого на данный момент ровно два директора: ты и я. И пожалуйста, Артур, не говори, что ты мне заказал эту книгу. Ты не заплатил мне ни единого цента, и у тебя нет ни клочка бумаги, который сошел бы за контракт. Это был вопрос дружбы, а не денег. Ты решил, что хорошая книга про дядю Фрэнка станет неплохим началом деятельности замечательного фонда, созданного для развития всяческих прекрасных вещей, которые, по твоему мнению, любил дядя Фрэнк. Типично канадская история — всё в высшей степени хорошо и мило. Но я не могу найти для этой книги нужных фактов, а те, что я нахожу, сделают книгу скандальной. Опасения Артура совершенно справедливы.

— Эти факты замарают наш фонд и имя Корнишей, — вставил Артур.

— Не знаю насчет имени Корнишей, но если фонд готов раздавать деньги, то, скорее всего, ученые и художники не будут сильно привередничать, — заметил Даркур. — Ученые и художники обычно не испытывают угрызений совести по

поводу денег. Они не побрезгуют даже доходами от детской проституции. Вам, двум невинным голубкам, еще предстоит это выяснить.

— Симон, похоже, ты не разбавил виски, — сказала Мария. — Ты начинаешь нас запугивать. Это хорошо.

— Да, почти не разбавлял, и я хочу еще стакан такого же, и еще я хочу, чтобы вы меня больше не перебивали и дали наконец рассказать, что я знаю и чего не знаю!

— Один крепкий виски для профессора-преподобного! — возгласил Артур и пошел наливать. — Симон, давай дальше. Что у тебя на самом деле есть?

— Ну, можно начать с некролога, опубликованного в лондонской «Таймс» в понедельник, следующий за кончиной Фрэнсиса. Там неплохо изложено мнение всего света о вашем покойном родственнике, и источник чрезвычайно авторитетный.

— В самом деле? — спросила Мария.

— Если «Таймс» гарантирует, что некий канадец скончался, значит он действительно что-то собой представлял. Фигура мирового значения.

— Можно подумать, некрологи лондонской «Таймс» — циркуляры из Царствия Небесного и

составляет их ангел-регистратор.

— Что ж, это не так далеко от истины. В «Нью-Йорк таймс» был напечатан другой некролог, гораздо длиннее, но это совсем не то. У британцев есть кое-какие необычные таланты, в том числе составлять некрологи. Коротко, стильно, и бьют в полную силу, если есть чем бить. Но они либо не знали кое-каких общеизвестных вещей о Фрэнсисе, либо предпочли о них умолчать. А теперь слушайте. Я буду читать голосом «Таймс».

ФРЭНСИС ЧИГУИДДЕН КОРНИШ

12 сентября, в воскресенье, в свой семьдесят второй день рождения, Фрэнсис Чигуидден Корниш, всемирно известный эксперт по искусству и коллекционер, скончался в своем доме в г. Торонто (Канада). В момент смерти он был один.

Фрэнсис Корниш свыше сорока лет подвизался на поприще искусствоведения, специализируясь на живописи шестнадцатого века и маньеризма. В послужном списке Корниша – многочисленные открытия, опровержение ранее господствовавших мнений, конфликты. Он был известен своими независимыми мнени-

ями и часто эпатировал носителей хорошего вкуса. Его авторитет базировался на выдающихся познаниях в области техники живописи и виртуозном владении приемами иконологии – относительно нового критического подхода. По-видимому, Корниш также многим был обязан замечательно развитой интуиции: он не стеснялся ее демонстрировать, к огорчению многих прославленных экспертов, с которыми неустанно спорил.

Фрэнсис Корниш родился в Блэрлогги, отдаленном поселке, расположенном в провинции Онтарио. Всю жизнь Фрэнсис пользовался свободой, какую предоставляет значительное состояние. Отец Фрэнсиса происходил из старинного знатного корнуолльского рода; мать (урожденная Макрори) – из канадской семьи, составившей капитал сначала торговлей лесом, а затем в финансовой сфере. Корниш никогда не участвовал в семейном бизнесе, но унаследовал его обильные плоды и имел возможность поддерживать все свои начинания с помощью тугого кошелька. Пока не известно, как он распорядился

своими выдающимися коллекциями.

Фрэнсис окончил школу в Канаде и получил образование в колледже Тела Христова (Оксфорд), после чего много путешествовал. Много лет он был коллегой и учеником Танкреда Сарацини, уроженца Рима. Существует мнение, что Корниш перенял у Сарацини ряд чудачеств и сделал их частью собственного мизантропического характера. Но, несмотря на эксцентричность Корниша, о нем всегда можно было сказать, что для него искусство обладает всей мудростью поэзии[131].

Во время и после войны 1939–1945 годов Корниш был членом объединенной группы искусствоведов при антигитлеровской коалиции. Группа, в работу которой Корниш внес чрезвычайно ценный вклад, занималась поиском и

**[131] Примечания: 131**

*…для него искусство обладает всей мудростью поэзии.* — Аллюзия на фразу Бена Джонсона «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии» («Whosoever loves not picture is injurious to truth, and all the wisdom of poetry») из сборника эссе «Timber; or, Discoveries made upon men and matter» («Леса, или Открытия о людях и разных предметах»). Бен Джонсон (1572–1637) — английский поэт и один из трех крупнейших, наряду с Шекспиром и Марло, драматургов Елизаветинской эпохи.

возвращением произведений искусства, перемещенных во время военных действий.

В более поздние годы Корниш сделал несколько щедрых пожертвований картин Национальной галерее Канады.

Он никогда не был женат, и у него не осталось прямых наследников. Из надежных источников известно, что в обстоятельствах смерти нет ничего подозрительного.

— Мне не нравится, — сказала Мария. — Это как-то через губу написано.

— Вы просто не знаете, сколько снобизма может быть в некрологах «Таймс». Я подозреваю, что большую часть этого текста написал Эйлвин Росс, который думал, что переживет Фрэнсиса и хорошенько похихикает над последней фразой. В сущности, этот некролог — снисходительный отзыв Росса о человеке, который неизмеримо превосходил его. В некрологе звучит вопрос — это практически фирменное клеймо Росса. На самом деле текст неплохой, если принять во внимание все обстоятельства.

— Какие обстоятельства? — насторожился

Артур. — И что значит «нет ничего подозрительного»? Кто-то утверждал обратное?

— Не в этом некрологе, — объяснил Даркур. — Но кое-кто из европейских знакомых Корниша мог заподозрить неладное. Не будьте слишком строги: очевидно, что Росс наложил вето на публикацию кое-каких данных, которых не могло не быть в досье «Таймс».

— Например?

— Ну, например, здесь нет ни слова об ужасном скандале, который убил Жан-Пауля Летцтпфеннига и сделал Фрэнсису имя среди искусствоведов. Репутации валились направо и налево. Даже Беренсон[132] самую чуточку поблек.

— Похоже, ты хорошо осведомлен, — сказал Артур. — Но если дядя Фрэнк в результате оказался

---

**[132] Примечания: 132**

*Беренсон,* Бернард (1865–1959) — американский историк искусств и художественный критик, родился в селе Бутрыманцы Трокского уезда Виленской губернии. При жизни считался крупнейшим в США авторитетом в области живописи итальянского Ренессанса. Благодаря своему непререкаемому авторитету Беренсон, зачастую негласно, выступал художественным советником при покупке картин старых мастеров американцами. По его рекомендациям сотни, если не тысячи первоклассных полотен покинули собрания Европы и осели за океаном. Благодаря пятипроцентной комиссии, взимавшейся с коллекционера за благоприятную для него атрибуцию холста, Беренсон стал состоятельным человеком и приобрел старинную виллу «И Татти» во Фьезоле, близ Флоренции. Там он проживал постоянно даже во время Второй мировой войны. По завещанию Беренсона вилла со всеми хранившимися в ней художественными ценностями отошла Гарвардскому университету.

на коне, то это все к лучшему. Кто такой Танкред Сарацини?

— Странный тип. Коллекционер, но прославился главным образом как блестящий реставратор картин старых мастеров. Все большие галереи пользовались его услугами или консультировались с ним. Но через его руки прошли и ушли в другие коллекции кое-какие подозрительные вещи. О нем, так же как и о твоем дяде Фрэнке, ходили слухи, что он слишком хорошо рисует. Росс его ненавидел.

— И что, «Таймс» не нашла сказать о Фрэнсисе ничего лучшего? — спросила Мария.

— А вы заметили: он окончил школу в Канаде, но образование получил в Оксфорде? — сказал Артур. — Ох уж эти англичане!

— В редакции «Таймс» поступили великодушно, по их меркам, — сказал Даркур. — Они напечатали письмо, которое я послал им сразу после прочтения некролога. Слушайте: это из газеты от двадцать шестого сентября.

ФРЭНСИС КОРНИШ

Профессор преподобный Симон Даркур пишет:

«Опубликованный вами некролог мое-

го друга Фрэнсиса Корниша (в выпуске от 13 сентября) не искажает фактов, но рисует чрезмерно мрачный портрет человека, который порой бывал резок и труден в общении, но, кроме того, отличался щедростью и добротой к многочисленным окружающим его людям. Насколько я знаю, никто ни на секунду не подозревал, что его смерть могла последовать от каких бы то ни было неестественных причин.

Многие выдающиеся искусствоведы знали Корниша как прекрасного специалиста, охотно помогающего коллегам. Возможно, он вызвал – из-за своей работы с Сарацини – недоверие некоторых людей, ставших мишенью неприязни этого амбициозного деятеля от искусства. Однако авторитет Корниша, основанный на глубочайших познаниях, был полностью заслуженным. Известно, что даже покойный лорд Кларк несколько раз обращался к Корнишу за консультацией. Корниш редко наносил первый удар в ссоре, хотя следует признать, что он не торопился загладить конфликт или забыть обиду.

Его слава как специалиста по живописи затмевала его значительные достижения в области изучения и научной экспертизы книжных иллюстраций и каллиграфии – области, которую не слишком жалуют критики живописи и скульптуры. Корниш, однако, был уверен в важности этой дисциплины как источника полезных сведений. Помимо этого, Корниш был знатоком и собирателем музыкальных рукописей.

В поздний период своей жизни в Канаде, начиная с 1957 года, Корниш всячески поощрял развитие канадской живописи, хотя его презрение к тому, что он считал псевдопсихологической мишурой, характерной для некоторых современных движений, породило немало конфликтов. Его собственный эстетический подход был тщательно продуман и опирался на философские принципы.

Без сомнения, Корниш был эксцентричен. Но, помимо этого, он был замечательно талантливым человеком и избегал шумихи. Когда его коллекции будут изучены, может оказаться, что он был более

значительной фигурой в искусстве своего времени, нежели считается сейчас».

— Совсем другое дело, — сказала Мария. — Но все равно не очень-то восторженный отзыв.

— Мое дело не писать восторженные отзывы, а говорить правду — как друг, как ученый и как человек, видящий то, что перед ним.

— Ну так ты и в книге можешь это делать.

— Не может, если это значит обличить дядю Фрэнка в подделке картин.

— Артур, не увлекайся. Самое страшное, что ты можешь сделать, — заявить, что моя книга не получит корнишевских денег, если Фрэнсис не будет представлен в виде ангела. Ты забываешь, что я всегда могу найти стороннего издателя. Я неплохо пишу, а книга, способная вызвать скандал, привлекает издателей, потому что сулит прибыль.

— Симон! Ты не посмеешь!

— Посмею, если будешь на меня давить.

— Я не собирался на тебя давить.

— Именно это ты и делаешь. Вы, богачи, думаете, что все в вашей власти. Если я решу писать эту книгу самостоятельно, ты не сможешь мне помешать.

— Мы можем отказать тебе в информации.

— Могли бы, если бы она у вас была, но у вас ее нет, и вы это прекрасно знаете.

— Мы можем подать на тебя в суд за диффамацию.

— Я буду очень осторожно отзываться о ныне живущих Корнишах, а что до покойников, то ты, конечно, знаешь, что на них законы о диффамации не распространяются.

— Ну-ка хватит говорить глупости и угрожать друг другу! — воскликнула Мария. — Если я правильно поняла Симона, ему мешают именно недостаток информации и невнятные подозрения. Но, Симон, что-то же у тебя должно быть. Жизнь любого человека можно раскопать до определенной степени.

— Да, так поступают дешевые писаки — подпускают многозначительных намеков, и получаются дрянные книжонки. Но я не из таких. У меня есть собственная гордость, даже определенная репутация, хоть и маленькая. Если я не могу написать хорошую книгу о Фрэнке, я вообще ничего писать не буду.

— Но вся эта история с Сарацини и то, что в «Таймс» умолчали про того, другого, который умер, или был убит, или что там, — уж навер-

ное, это можно раскопать и нарастить мяса на костяк. Хотя если в результате дядя Фрэнсис в книге выйдет жуликом, я надеюсь, ты сделаешь что можешь. — Артур, кажется, понемногу успокаивался.

— А, это. Это-то я могу. Но мне нужна подоплека. Как Фрэнсис попал в ту компанию? Какие черты характера привели его в соприкосновение именно с этими людьми, не дали остаться чистеньким, подобно Беренсону и Кларку? Как богатый дилетант — а Фрэнк именно богатый дилетант — затесался среди таких подозрительных типов?

— Наверно, просто повезло, — сказал Артур. — То, что происходит с людьми, очень часто — обычное везение или невезение, как в игре.

— Неправда, — заявил Даркур. — То, что мы называем удачей, — внешнее выражение внутреннего «я». Мы сами причина того, что с нами происходит. Я знаю, это звучит ужасно и жестоко, потому что с людьми случаются всякие ужасы, и это не может объяснять все. Но объясняет многое.

— Как ты можешь такое говорить?! — возмутился Артур. — При рождении судьба сдает человеку карты; если кому-то на раздаче пришли одни двойки и тройки, самое большее пятерка, —

что он может сделать против человека с полным флешем? И не говори мне, что все зависит от игрока. Ты не играешь ни в бридж, ни в покер — ты просто не знаешь.

— Да, я не играю в карты, но я богослов, и неплохой. А значит, я лучше представляю себе ставки этой игры, чем ты, банкир ты несчастный. Конечно, каждому приходит своя раздача, но время от времени человеку дается возможность вытянуть новую карту, верно ведь? И вытянутая карта при случае может все изменить. А от чего зависит, какая карта попадется человеку? От рождения Фрэнсису пришли хорошие, надежные карты, но раза два или три ему выпадал шанс вытянуть еще одну, и, похоже, каждый раз ему приходили джокеры. Знаете почему?

— Нет. И ты не знаешь.

— А мне кажется, знаю. В бумагах твоего дяди я нашел пачку гороскопов, которые он заказывал для себя в разные годы. Он был суеверен, знаешь ли, — если астрологию можно считать суеверием.

— А разве нет?

— Я воздерживаюсь от суждения. Важно то, что он в нее верил, до определенной степени. И вот что: судя по его дню рождения, в его гороскопе

господствовал Меркурий, причем в этот момент он находился в зените.

— И что?

— Что «что»? Вот Мария меня понимает. Ведь ее мать — прекрасная гадалка. Меркурий! Покровитель жуликов, джокер, высший из козырей, проказник, расстраивающий все расчеты.

— Это не все, — вставила Мария. — Он еще и Гермес, примиритель противоположностей, находящийся за пределами обычных представлений о морали.

— Именно. Если когда на свете и жил истинный сын Гермеса, это был Фрэнсис Корниш.

— Ну раз вы так заговорили, я вас оставлю, — сказал Артур. — Не из отвращения, а по причине своего невежества. Я нахватался кое-каких знаний от Марии, так что примерно понимаю, о чем вы говорите, но сейчас мне пора. У меня самолет в семь утра, а значит, мне надо встать в пять и быть в аэропорту не позже шести — таковы прелесть и удобство современных способов передвижения. Так что, Симон, я налью тебе еще и пожелаю спокойной ночи.

Так он и сделал, а затем нежно поцеловал жену и сказал ей, чтобы даже не смела просыпаться утром и провожать его.

— Да, Артур наливает не скупясь, — заметил Даркур.

— Потому что он видел, что тебе надо выпить, и чего покрепче. Он ужасно добрый и внимательный, хоть и расшумелся, как банкир, из-за этой книги. Ты же понимаешь почему. Его выбивает из колеи любая тень сомнения в респектабельности Корнишей — потому что он сам в глубине души сомневается. Конечно, для менял у Корнишей безупречная репутация, но банковское дело очень похоже на религию: кое-какие сомнительные постулаты приходится принимать на веру, и тогда все остальное потрясающе логично следует из них. Допустим, Фрэнсис был жуликоват — он тень этой семьи банкиров, а им не положено отбрасывать тени. Но был ли он действительно жуликом? Ну, Симон, расскажи, что тебя на самом деле тревожит.

— Ранние годы. Блэрлогги.

— Где это — Блэрлогги?

— Ты заговорила совсем как «Таймс». Я могу примерно рассказать тебе, как это выглядит сегодня. Я совершил паломничество, как подобает хорошему биографу. Это городок, он расположен в долине реки Оттавы, милях в шестидесяти к северо-западу от города Оттавы. Глубинка. Сей-

час туда можно отлично доехать на машине, но, когда Фрэнсис только родился, многие считали Блэрлогги дальним полустанком, потому что туда можно было добраться только на очень примитивном поезде. Тогда в городке жило тысяч пять народу, в основном шотландцы… Я встал на главной улице города и осмотрелся в поисках улик, надеясь на озарение. Но я прекрасно понимал: то, что я вижу, не имеет ничего общего с тем, что видел маленький Фрэнсис в начале века. «Сент-Килду», дом его деда[133], поделили на квартиры. В доме его родителей, «Чигуидден-лодж», теперь располагается «Дивное похоронное бюро Девинни», именно дивное, и это никому не кажется смешным. Лесопильное дело, на котором Корниши сколотили себе состояние, полностью преобразилось. Оперный театр Макрори снесен, и от самих Макрори ничего не осталось, кроме нудных краеведческих заметок, написанных бездарными дилетантами. В нынешнем Блэр-

**[133] Примечания: 133**

*«Сент-Килду», дом его деда…* — Дом назван в честь шотландского архипелага Сент-Килда, составленного самыми западными из Внешних Гебридских островов. Архипелаг полностью находится в собственности Национального общества охраны памятников Шотландии. О происхождении названия Сент-Килда идут споры; святого с таким именем не существует, и принято считать, что известное с XVII в. название возникло как искажение норвежских и гэльских слов, означающих «источник», «колодец».

логги уже никто не помнит Фрэнсиса, и жители никак не отреагировали на сообщение, что он знаменит. От Фрэнсисова деда остались кое-какие картины; они попали в местную библиотеку, но хранились в сыром погребе и почти полностью погибли. Викторианский мусор самого низкого пошиба. В общем, моя поездка была почти безрезультатной.

— Неужели детские годы так важны?

— Мария, ты меня удивляешь! Разве твои детские годы не были важны? Они — матрица, на которую нарастает вся остальная жизнь.

— И все это потеряно?

— Да, безвозвратно.

— Разве что тебе удастся поболтать с главным ангелом-регистратором.

— Я думаю, что таких не бывает. Каждый человек сам себе ангел-регистратор.

— Значит, я догматичней тебя. Я верю, что ангел-регистратор существует. Я даже знаю, как его зовут.

— Да ну, у вас, медиевистов, для всего есть имена. Кто-то когда-то их выдумал, вот и все.

— А может, они кому-то когда-то открылись в озарении свыше? Симон, не упрямься. Ангела-регистратора зовут Радвериил, и он не простой

писарь: он — ангел поэзии и повелитель муз. И еще у него есть свита.

— Свиток? Покрытый таинственными письменами?

— Да нет же, свита; ему подчиняются другие ангелы. Один из самых важных — ангел биографий, по имени Цадкиил Малый. Именно он вмешался, когда Авраам собрался принести в жертву Исаака. Так что он еще и ангел милосердия — в отличие от большинства биографов. Цадкиил Малый рассказал бы тебе всю подноготную Фрэнсиса Корниша.

Даркур уже очевидно опьянел и впал в лирическое настроение:

— Мария… милая… Прости, я сказал глупость про ангела-регистратора. Конечно, он существует — как метафора безграничной истории человечества, и нечеловечества, и всего неодушевленного, и всего, что когда-либо существовало. Такая история должна где-то быть, иначе вся жизнь сводится к дурацкой конторской папке без начала и без какого-либо внятного конца. Милая! Говорить с тобой — просто наслаждение, потому что ты мыслишь, как средневековый человек. У тебя для всего найдется олицетворение или символ. Ты не разводишь бодягу про этику: ты говоришь о

святых, о покрове, который они простирают над людьми, об их влиянии. Ты не опускаешься до водянистых словечек типа «сверхъестественный», а прямо говоришь о небесах и преисподней. Не твердишь как попугай «неврозы», а просто говоришь «демоны».

— Да, я в самом деле выражаюсь не очень научно, — согласилась Мария.

— Ну, наука — это богословие нашего времени, и она — точно такая же каша противоречащих друг другу утверждений. Но что меня больше всего удручает, так это убогий словарь и жалкий набор образов, который наука предлагает нам, скромным мирянам, для просвещения и для выражения веры. Раньше священник в черной рясе открывал нам мир, который, по-видимому, существовал независимо от нас; мы молились Божьей Матери, и кто-то заботливо подсовывал нам Ее образ, который выглядел именно так, как надо. Жрец нового времени — в белом лабораторном халате — не открывает нам ничего, кроме изменчивого набора слов, которые не может толком произнести, поскольку не знает греческого. А от нас ожидают слепого доверия к этому жрецу: подразумевается, что мы слишком тупы, чтобы понять, о чем он говорит. За всю свою письмен-

ную историю род человеческий не знал более самонадеянного, надутого священства. Его нищета в том, что касается символов и метафор, его стремление абстрагировать все и вся загоняют голодающее воображение человечества в бесплодную пустыню. Но ты, Мария, изъясняешься древним языком, и твои слова попадают в самое сердце. Ты говоришь об ангеле-регистраторе и о его подчиненных — и мы оба в точности знаем, что ты имеешь в виду. Ты даешь понятные и удобные имена психологическим фактам, и Господь — еще один эффективно поименованный психологический факт — да благословит тебя за это.

— Симон, ты несешь чепуху, и тебе уже пора домой.

— Да-да-да. Конечно. Сию минуту. Сейчас попробую встать… Ой!

— Нет-нет, погоди, я тебя провожу. Но пока ты не ушел, скажи мне, что именно про Фрэнсиса ты пытался искать и не нашел?

— Детские годы! Это ключ ко всему. Не единственный, но первый ключ к загадке человеческого характера. Кто были его воспитатели, что они собой представляли, во что верили? Какую неизгладимую печать оставили, какие усвоенные с детства поверья человек носит в себе, даже

когда думает, что уже давно от них избавился? Школы… Школы, Мария! Погляди, что сделал Колборн-колледж с Артуром! Ничего плохого… во всяком случае, не только плохое… но все это до сих пор сидит в нем, от узла, которым он завязывает галстук, до способов чистки обуви и манеры писать юмористические благодарственные записочки людям, у которых он ужинал. И еще тысяча мелочей, скрытых от посторонних глаз, — вот как его мещанская реакция на предположение, что Фрэнсис, возможно, был не совсем добропорядочен. Ну вот… а что собой представляли школы в Блэрлогги? Фрэнсис не выезжал из города до пятнадцати лет. Именно эти школы оставили на нем свои клейма. Конечно, я могу все выдумать. О, будь я бессовестным, как большинство биографов, я бы все выдумал! Не грубо, конечно, — это был бы художественный вымысел, возведенный до уровня искусства! И он был бы правдой… в своем роде. Помнишь, как у Браунинга:

> *…Таким, как я, один остался способ*
>
> *Поведать правду. Звать его – Искусство…*[134]

---

**[134] Примечания: 134**

*…Таким, как я, один остался способ…* — Браунинг Р. Кольцо и книга. Перевод Д. Никоновой.

Насколько лучше я мог бы послужить Фрэнсису, если бы обладал свободой вымысла.

— О Симон, я и так знаю, что в душе ты художник…

— Да, я художник, но я прикован к биографии, а она должна сохранять хоть какое-то подобие фактов.

— Это зависит от твоих моральных норм.

— И от того, как я вижу свою ответственность перед обществом. Но как же совесть художника? Про нее обычно забывают. Я хочу написать по-настоящему хорошую книгу. Не только правдивую, но и такую, которую будет приятно читать. У каждого человека доминирует определенный тип совести, и вот во мне совесть художника отпихивает в сторону все остальные нормы. Ты знаешь, что я думаю, по-честному?

— Нет, но ты явно хочешь мне признаться.

— Я думаю, что у Фрэнсиса наверняка был даймон. Очень уж сильно на него влиял Меркурий-Гермес. Ты знаешь, что такое даймон?

— Да, но ты все равно расскажи.

— Конечно. Я все время забываю, сколько ты всего знаешь. Правда, ты вышла замуж за богача, и теперь как-то не верится, что ты можешь знать что-нибудь по-настоящему интересное. Но ты

же дочь своей матери, восхитительной старой жуликоватой сивиллы! Ты, конечно, знаешь, кого Гесиод называл даймонами: духов золотого века, наставников для простых смертных. Даймоны — не скучное проявление моральных норм, как ангелы-хранители, которым подавай добродетель в духе воскресной школы. Нет, даймоны — олицетворение совести художника, они подпитывают его энергией, когда надо, и шепчут на ухо подсказки, если работа застопорилась. Даймоны идут рука об руку не с добродетелью в ее христианском понимании, но с судьбой. Это — джокер в колоде. Высший козырь, кроющий все остальные!

— Это можно назвать интуицией.

— В жопу интуицию! Она — серый и унылый психологический термин. Концепция даймона мне нравится гораздо больше. Ты не знаешь имен каких-нибудь подходящих даймонов?

— Я только одно знаю. Оно попалось мне на античной гемме. Маймас. Кажется, я тоже слегка опьянела. Вот если бы тебе удалось поговорить с Цадкиилом Малым и с… ладно, будем звать его Маймасом… ты бы узнал про Фрэнсиса абсолютно все.

— Еще бы, клянусь Богом! Тогда у меня было бы

все, что нужно. Я бы знал, что заложено в костях старика Фрэнсиса. Ибо что в костях заложено, то из мяса не выбьешь, и мы должны всегда об этом помнить. Ох, мне и правда пора идти.

Даркур опрокинул в рот все, что оставалось на дне стакана, очень символически обозначил поцелуй на лице Марии — где-то возле носа — и, шатаясь, побрел к двери.

Мария встала — тоже не очень твердо держась на ногах — и взяла его под руку. Не предложить ли отвезти его домой на машине? Нет, гораздо лучше, если он доберется сам — заодно и протрезвеет слегка от прохладного воздуха. Но Мария все же вывела его в коридор пентхауза, где они жили с Артуром, и подтолкнула в направлении лифта.

Двери закрылись, лифт поехал вниз, но Мария еще долго слышала крики Даркура:

— Что заложено в костях! О, что же заложено в костях?

*Цадкиил Малый и даймон Маймас, привлеченные звуками собственных имен, слетелись послушать и нашли этот разговор забавным.*

*— Бедный Даркур, — сказал ангел биографии. — Конечно, ему никогда не вызнать всей правды про Фрэнсиса Корниша.*

*— Даже мы не знаем всей правды, брат, — от-*

*ветил даймон Маймас. — Воистину, я уж и забыл многое из того, что знал, когда судьба Фрэнсиса меня полностью занимала.*

*— Быть может, тебя развлечет, если мы повспоминаем эту историю — насколько мы с тобой ее знаем? — спросил ангел.*

*— Поистине развлечет. Ты весьма заботлив, брат. Запись, или пленка, или как это называется — у тебя. Поставь ее, пожалуйста.*

*— Нет ничего проще! — воскликнул ангел.*

**Что же было заложено в костях?**

Начнем с того, что когда Фрэнсис родился в Блэрлогги, этот город вовсе не был дальним полустанком, и его жители весьма оскорбились бы, услышав нечто подобное. Они считали Блэрлогги процветающим городком и пупом вселенной. Блэрлогги уверенно шагал в двадцатый век, который великий канадский премьер-министр сэр Уилфрид Лорье объявил веком Канады. То, что со стороны могло показаться недостатками, жители города считали достоинствами. Конечно, в город вели не очень хорошие дороги, но они были такие спокон веку — с тех самых пор, как их проложили, и люди ездили по ним, принимая их как есть. Если внешнему миру так уж хотелось

насладиться обществом Блэрлогги, он вполне мог это сделать, проехав шестьдесят миль по железной дороге, которая местами вгрызалась в твердейший гранит Канадского щита — геологического образования незапамятной древности. Город Блэрлогги не считал нужным облегчать дорогу чужакам.

Как положено, деньги и деловые предприятия города были в основном сосредоточены в руках шотландцев. Ниже шотландцев в иерархии, определяемой деньгами, стояли более многочисленные канадцы французского происхождения, в том числе несколько довольно богатых коммерсантов. В самом низу финансовой и социальной пирамиды находились поляки — рабочие и мелкие фермеры. Из их рядов высшие классы вербовали себе прислугу. Всего в городе жило около пяти тысяч человек, и каждый точно знал, где его место.

Шотландцы исповедовали пресвитерианство, а мы ведем речь о Канаде на рубеже веков, где религиозная принадлежность и политические взгляды человека были важными факторами, определяющими его жизнь. Возможно, эти пресвитерианцы затруднились бы сформулировать доктрину предопределения, лежащую в основе

их веры, но они совершенно точно знали, кто входит в число избранных, а чье положение в будущей жизни не столь надежно.

Французы и поляки принадлежали к Римско-католической церкви, тоже совершенно точно знали, где стоят в отношении к Богу, и были вполне довольны своим положением. Еще в городке было несколько ирландцев, тоже католиков, и горстка людей других национальностей, в основном разного рода помесей. Эти ходили в жалкие церквушки, подходящие к их причудливым верованиям, — как правило, временные молельни, устроенные в пустующих лавках. Там царили голосистые бродячие проповедники, которые постоянно менялись, а в витринах вывешивались плакаты, изображающие Апокалиптического Зверя в самых чудовищных подробностях. Евреев, черных и прочих подозрительных элементов в городе не было.

Город можно было бы представить в виде свадебного торта: поляки — нижний слой, самый обширный, несущий на себе самую большую тяжесть; французы — средний слой, поменьше числом, но больше на виду; шотландцы — самый маленький и самый верхний слой, богаче всего украшенный.

Ни один город не бывает абсолютно простым. Любителей совершенства и размеренности во всем немало удивляла игра судьбы, чьей волей сенатор, самый богатый и влиятельный человек в Блэрлогги, не укладывался в предписанные рамки: он был шотландец, но католик, богач, но либерал, и притом женат на француженке.

Это правильно, что мы начали с сенатора, так как он приходился дедом Фрэнсису Чигуидде-ну Корнишу и с него же началось то богатство, благодаря которому Фрэнсис вел обеспеченную жизнь, пока не обзавелся собственным неизвест-но откуда взявшимся капиталом.

Сенатор, достопочтенный Джеймс Игнациус Макрори, родился в 1855 году на острове Барра, на Гебридах. В 1857 году родители привезли его в Канаду. В прекрасной Шотландии они, как и многие другие, голодали. На новой родине они зажили несколько лучше, чем на старой, но так и не выгнали из нутра боль голода и горькой нужды. Однако их сын Джеймс, которого роди-тели называли Хэмиш — по-гэльски, ибо на этом языке они говорили дома, — ненавидел голод и еще ребенком поклялся, что навсегда отгонит от себя бедность. Клятву эту он сдержал. Из нужды он рано начал работать в лесах, составляющих

часть богатства Канады. Благодаря честолюбию и смелости в сочетании с врожденной дальновидностью (а также умением драться на кулаках — и ногами, если кулаков оказывалось недостаточно) он довольно рано стал десятником, потом начал брать подряды для компаний, торгующих лесом, и, когда ему не было еще и тридцати, сделался владельцем собственной компании — к этому времени он уже был богатым человеком.

История вполне заурядная, но — как все, что связано с Хэмишем, — не без интересных подробностей. Он не женился по расчету на какой-нибудь дочке лесного магната, а выбрал невесту по любви. Марии-Луизе Тибодо было двадцать лет, а ему — двадцать семь, и после свадьбы он ни разу не взглянул ни на какую другую женщину. Жизнь в лагерях лесорубов не ожесточила его: став работодателем, он по-человечески обращался с рабочими, а разбогатев, щедро жертвовал на благотворительность и на либеральную партию.

И действительно, либеральная партия, наряду с Марией-Луизой и еще одним человеком, стала большой любовью всей его жизни. Он никогда не выдвигал свою кандидатуру в парламент, но поддерживал и финансировал другие кандидатуры. Когда ему уже больше не нужно было жить рядом

с лесами, он устроился в Блэрлогги; в той мере, в какой в Блэрлогги существовал партийный механизм, мозгами этого механизма был Хэмиш Макрори. Поэтому никто не удивился, когда Уилфрид Лорье определил его в сенат. Макрори не было еще и сорока пяти, — таким образом, он стал самым молодым из членов верхней палаты и, несомненно, оказался самым способным из них.

Тогда в канадский сенат назначали пожизненно. Часто сенатор, ступив на красный ковер верхней палаты, полностью терял интерес к политике. Но партийный пыл Хэмиша не угас после нового назначения, и сенатор Хэмиш стал еще более надежной опорой для Лорье в важной географической области — долине Оттавы.

*– Скоро мы до моего доберемся? — спросил даймон Маймас, которому не терпелось внести свой вклад в повествование.*

*— Всему свое время, — ответил Цадкиил Малый. — Фрэнсиса нужно рассматривать на подобающем фоне; мы не можем начать с самого начала, но пренебрегать сенатором не следует. Таков биографический подход.*

*— Понятно. Ты хочешь рассматривать Фрэнсиса в свете принципа «наследственность против воспитания», а сенатор относится сразу и к то-*

*му и к другому.*

*— Наследственность и воспитание вообще невозможно разделить; иного мнения придерживаются только ученые и психологи, а уж про них-то мы все знаем.*

*— Еще бы! Мы за ними следим с тех самых пор, когда они были шаманами древних племен и скакали, ухая, вокруг костра. Продолжай. Но я жду своего часа.*

*— Терпение. Время — это для тех, кто придавлен к земле его игом. А мы с тобой им не связаны.*

*— Я знаю. Я просто люблю поговорить.*

Кроме Марии-Луизы, сенатор пламенно любил, хоть и по-другому, свою дочь, Марию-Джейкобину. Почему ее так назвали? Потому что Мария-Луиза надеялась, что у нее будет сын, и Джейкобина стала производным от Джейкоба, он же Иаков, он же Джеймс, он же Хэмиш. Кроме того, в этом имени слышалась приверженность дому Стюартов — оно вызывало в памяти злосчастного Иакова III и его еще более злосчастного

сына, Красавчика принца Чарли[135]. Имя это с безупречной скромностью предложила сестра сенатора, мисс Мария-Бенедетта Макрори, которая жила вместе с братом и его женой. Мисс Макрори, которую домашние называли исключительно Мэри-Бен, была устрашающим существом, спрятанным в теле маленькой, сморщенной старой девы. Она придерживалась романтической уверенности в том, что ее предки, шотландцы-горцы, непременно были сторонниками Стюартов. Авторы прочитанных ею книг забыли упомянуть, что Иаков III и его сын были не только красавцами с романтичной внешностью, но и идиотами-неудачниками. Так что девочку назвали Марией-Джейкобиной, а домашние ласково и сокращенно звали ее Мэри-Джим.

У сенатора была и вторая дочь, Мария-Тереза, которую, конечно, перекрестили в Мэри-Тесс. Но Мэри-Джим была первой по рождению и занима-

---

**[135] Примечания: 135**

*…злосчастного Иакова III и его еще более злосчастного сына, Красавчика принца Чарли.* — Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт (1688–1766), известный как Старый Претендент, — претендент на английский престол (как Иаков III) и на шотландский (как Иаков VIII), сын низложенного в результате «Славной революции» (1688) Иакова II — последнего короля Англии из династии Стюартов. *Красавчик принц Чарли*, а также Молодой Претендент — прозвища Карла Эдуарда Стюарта (1720–1788), сына Иакова III; в 1766–1788 гг. он претендовал на английский и шотландский престолы как Карл III, став позднее героем шотландского фольклора.

ла первое место в сердце отца. В городке же она играла роль наследной принцессы, но это ничуть не испортило ее характера. Сперва ее воспитывали дома — гувернантка, безупречная католичка с безупречными манерами, и мисс Макрори; когда девочка подросла, ее отправили в первоклассную школу при монастыре в Монреале, где настоятельницей была еще одна Макрори, мать Мария-Базиль. В семье Макрори придавали большое значение образованию; тетушка Мэри-Бен когда-то окончила ту же монастырскую школу, которой сейчас правила мать Мария-Базиль. Макрори считали, что рука об руку с деньгами должны идти образованность и утонченность, и даже сенатор, которому почти не довелось ходить в школу, всю жизнь читал хорошие книги в большом количестве.

Семейство Макрори принесло достойную дань и Церкви, ибо, кроме матери Марии-Базиль, был еще дядя, Майкл Макрори, верный кандидат на епископскую кафедру где-нибудь на западе страны, как только там освободится подходящее место. Другие родственники не столь преуспели: Альфонс последний раз мелькнул в Сан-Франциско, и с тех пор о нем никто не слышал; Льюис спивался где-то на северных территориях, а Пол

погиб на Англо-бурской войне, ничем особенным не отличившись. Судьба рода была в руках дочерей сенатора, и Мэри-Джим не могла этого не знать.

Возможно, она вообще об этом не думала, а если думала, то ее это не беспокоило: она хорошо училась, была не лишена обаяния и как одна из самых хорошеньких девочек в школе считала себя — и все родные ее считали — писаной красавицей. Как приятно быть красавицей!

У сенатора были великие планы на будущее Мэри-Джим. Конечно, прозябание в Блэрлогги не для нее. Она должна удачно выйти замуж, и к тому же непременно за католика, поэтому ей следует вращаться в более широком кругу подходящих молодых людей, чем при всем желании может выставить Блэрлогги.

Деньги — вода, которая вертит мельницу. При таком богатстве отца Мэри-Джим, несомненно, должна была сделать не просто хорошую, а блестящую партию.

22 января 1901 года, когда Мэри-Джим было шестнадцать лет, умерла королева Виктория и на трон взошел Эдуард VII. Этот принц, любитель удовольствий, не скрывал, что собирается изменить социальный состав королевского двора. Он

издал указ, гласящий, что отныне молодые девушки из хороших семей должны представляться своему королю не на унылых послеобеденных приемах, как было заведено при его матери, а на вечерних ассамблеях, по существу — балах. Кроме этого, король приказал открыть доступ ко двору семьям, которые не принадлежали к старой аристократии, но были, как выразился его величество, «на подъеме». Даже дочери магнатов из доминионов могли надеяться на такую честь, если их семья в достаточной степени обладала этим качеством.

Сенатор сколотил состояние тем, что хватался за возможности, упущенные менее способными людьми. Мэри-Джим следовало представить ко двору. Сенатор взялся за дело — не спеша, методично и неостановимо.

Сначала ему повезло. Коронация короля-императора была отложена на год в знак траура по старой королеве. Потом его величество был нездоров, и в результате двор не собирался, пока королевская семья весной 1903 года не переехала в Букингемский дворец. Переезд ознаменовал начало сезона роскошных дворцовых балов. Именно тогда Мэри-Джим и представили ко двору; но все могло сорваться даже в последнюю

минуту, и сенатору пришлось употребить все свободное время на достижение цели.

Он начал — вполне разумно — с того, что написал секретарю генерал-губернатора Канады, лорда Минто, с просьбой о совете и, если можно, о помощи. В ответе говорилось, что дело очень тонкое и секретарь представит его на рассмотрение его превосходительства, улучив благоприятный момент. Но момент, похоже, оказался трудноуловимым, и через несколько недель сенатор написал снова. Оказалось, что представить вопрос пред очи его превосходительства не было возможности, так как его превосходительство, разумеется, был сильно занят в связи с церемониями, как предшествовавшими коронации, так и последовавшими за ней. Шел уже август. Секретарь намекнул, что дело не очень срочное, так как возраст юной дамы позволяет подождать. Сенатор задумался: а вдруг в резиденции генерал-губернатора все еще чураются семьи Макрори, памятуя тот несчастный случай двадцатилетней давности? К этому времени сенатор уже научился до определенной степени понимать, как мыслят придворные. Он решил пойти другим путем. И попросил у премьер-министра аудиенции на несколько минут по личному вопросу.

Сэр Уилфрид Лорье всегда готов был уделить несколько минут Хэмишу Макрори. Когда он услышал, что личный вопрос — просьба вежливо поторопить дела в канцелярии генерал-губернатора, он расплылся в улыбке. Лорье и Макрори беседовали между собой по-французски, поскольку дома сенатор постоянно говорил на этом языке, втором языке Канады, с женой. И Лорье, и Макрори были истовыми католиками и ощущали, не слишком подчеркивая, свою отдельность от очень английской группы, окопавшейся в канцелярии генерал-губернатора. Они не намерены были сносить пренебрежение. Сэр Уилфрид, как многие бездетные мужчины, любил все семейное, и у него потеплело на сердце при виде отца, желающего устлать ковром дорогу своей дочери в большую жизнь.

— Дорогой мой друг, будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, — сказал Лорье и чрезвычайно сердечно распрощался с Хэмишем.

Не прошло и недели, как Хэмишу сообщили, что он должен снова явиться к сэру Уилфриду. Великий муж был краток:

— Похоже, от его превосходительства мы ничего не добьемся. Напишите нашему представителю в Лондоне и объясните ему, что вам

нужно. Я тоже напишу прямо сегодня. Если вообще возможно представить вашу дочь ко двору, мы это устроим.

Они всё устроили, но это оказалось не быстро и не просто.

Верховный комиссар Канады в Лондоне носил звучный титул барона Страткона и Маунт-Ройял, но письмо сенатора начиналось словами «Дорогой Дональд», ибо они были знакомы через Монреальский банк, в котором барон, тогда еще просто Дональд Смит, был президентом совета директоров. Он хорошо знал Хэмиша Макрори благодаря своего рода масонскому братству, объединяющему всех богатых людей, независимо от их политической платформы. Ответное письмо от барона пришло с первым же почтовым пароходом: да, это можно сделать, и супруга барона будет счастлива представить Мэри-Джим ко двору. Однако барон предупредил, что понадобится много времени, дипломатических усилий и, может быть, даже отчасти выкручивания рук, ибо семья Макрори далеко не одинока в своем желании.

Несколько месяцев сенатор получал отчеты. Дела идут хорошо: барон шепнул словечко государственному секретарю. Дела застопорились:

барон надеется встретить государственного секретаря в клубе и освежить его память. Дела так себе: государственный секретарь сказал, что к нему обращались и другие люди, с более вескими притязаниями, а список дебютанток не может быть слишком длинным. Внезапная удача: новозеландский магнат подавился рыбной костью и умер, и его дочь (не слишком охотно) погрузилась в траур. Дело практически верное, но не предпринимайте ничего, пока не получите официального приглашения. Все это время леди Страткона занималась подковерными интригами, к которым она как дочь бывшего чиновника Торговой компании Гудзонова залива имела природную склонность.

Наконец в декабре 1902 года пришли роскошные пригласительные билеты, и сенатор, который до тех пор носил тайну в себе, мог поделиться торжеством с Марией-Луизой и Мэри-Джим. Но то, как они встретили новость, его несколько разочаровало. Мария-Луиза немедленно засуетилась, говоря, что им нечего надеть, а Мэри-Джим сказала, что это очень мило, но, кажется, не особенно впечатлилась. Ни жена, ни дочь не осознали масштаба одержанной сенатором победы.

Но когда стали приходить письма от леди Страткона, до женщин, кажется, дошла вся важность будущего события. Леди Страткона подробно разъяснила все, что касается нарядов: им понадобятся туалеты не только для дворцового бала, но и для всего открываемого им лондонского сезона балов. Матери и дочери следует, не теряя времени, прибыть в Лондон и отдаться в руки тамошних портных. Им нужно найти подходящее жилье, а пристойные дома на съем в фешенебельных кварталах Лондона уже расхватывают. Какие драгоценности есть у Марии-Луизы? Мэри-Джим должна пройти курс придворного этикета, и леди Страткона уже записала ее в школу светских манер, где престарелая герцогиня за солидную сумму преподаст ей все тонкости нужных ритуалов. Реверанс чрезвычайно важен. Дебютантка ни в коем случае не должна вдруг потерять равновесие.

Лорд Страткона изъяснялся еще прямее. «Захватите с собой чековую книжку потолще и будьте в Лондоне заранее, чтобы вам успели сшить панталоны» — таков был его совет сенатору.

Макрори послушались и в начале января выехали в Лондон с огромным багажом, в числе которого были два огромных сундука с округлыми

крышками, прозванные «Ноевыми ковчегами».

Так как снять правильный дом в Лондоне оказалось невозможно, а жить за пределами Вест-Энда было немыслимо, лорд Страткона поселил Макрори в лучшем номере отеля «Сесиль» на Стрэнде. Макрори подумали: если королевский дворец еще величественней отеля «Сесиль», то, пожалуй, они недостойны туда явиться. В ту пору мужскую прислугу отеля экипировали тремя переменами одежды: на утро — рубашка, жилет и белый «охотничий» галстук, после обеда — синие ливреи с медными пуговицами и белыми галстуками, а вечером — полное великолепие: плюшевые панталоны, сюртуки цвета сливы со стальными пуговицами и пудреные парики. В Блэрлогги такое и не снилось: самые богатые семьи держали у себя горничную, и это считалось верхом роскоши. Но Макрори, гибкие от природы, умели приспособиться; они твердо решили по возможности не выставлять себя неотесанными провинциалами и держаться незаметно, пока не освоятся.

Уроки этикета у престарелой герцогини поначалу представляли некоторую трудность: герцогиня всячески демонстрировала, какую боль причиняет ей неэлегантный канадский

выговор Мэри-Джим. «Ах ты, стерва», — подумала та. Но она как воспитанница монастырской школы умела поставить на место неприятную учительницу.

— Если вы желаете, ваша светлость, я могу говорить по-французски, — предложила она и разразилась долгой и стремительной тирадой на этом языке, который герцогиня знала не очень хорошо и говорила на нем запинаясь.

Престарелая герцогиня поняла, что дитя Макрори — крепкий орешек, и исправилась. Чуть позже, немного собравшись с мыслями, она заявила, что плохо понимает патуа[136], но ей никого не удалось обмануть.

Наконец — в мае 1903 года — судьбоносный вечер настал. Мария-Луиза, еще красивая, была великолепна в бледно-голубом шифоне и серебряной ткани, расшитой полосами бриллиантов. Драпировку на корсаже, надетом поверх немилосердно затянутого нового корсета, удерживали заколки с бриллиантами (взятые напрокат у ювелира, который прекрасно зарабатывал на

**[136] Примечания: 136**

*Патуа* (*фр.* patois) — лингвистический термин, название местных наречий французского языка. В расширительном понимании может обозначать любой нестандартизированный вариант французского языка.

такого рода услугах и держал язык за зубами). Мэри-Джим была одета гораздо скромнее, в платье из тюля и шелкового муслина. Сенатор же облачился выше пояса в привычные белый жилет и фрак, а ниже пояса — в непривычные панталоны рубчатого шелка и плотные черные шелковые чулки. Во всем этом великолепии семья в четыре часа дня сфотографировалась в гостиной своего номера; прически дам привел в порядок парикмахер, у которого они пробыли с часу до половины третьего. Затем они приняли ванну — с великими предосторожностями, чтобы не замочить и не растрепать тщательно уложенные куафюры. Умелая горничная из штата отеля ловко облачила их в роскошные наряды. Когда фотограф ушел, Макрори слегка перекусили у себя в номере. После этого никаких дел у них уже не осталось, и они просидели как на иголках до половины десятого — до прибытия кареты, которая должна была отвезти их во дворец. Пешком они дошли бы за четверть часа, но во дворец направлялось столько народу, что карета ехала сорок пять минут. При каждой остановке их разглядывали толпы зевак, которые собрались поглазеть на расфуфыренных аристократишек.

Макрори нервничали, предвидя, что при дворе

не встретят ни одного знакомого лица, — откуда бы? Они будут уныло подпирать стену, делая вид, что таков их собственный выбор. В особо панические минуты они не сомневались, что будут натыкаться на все углы, разобьют какую-нибудь вазу, испачкаются едой. Лорд-камергер ударит посохом об пол и провозгласит: «Выкиньте вон этих колониальных деревенщин!» Но король-император вовсе не так принимал гостей.

Как только они добрались до места и сдали плащи, на них спикировал улыбающийся помощник-распорядитель. Он восклицал:

— А, вот и вы, сенатор! Мадам! Мадемуазель! Господин верховный комиссар и леди Страткона наверху — позвольте, я вас сейчас же провожу туда. Ужасная давка, правда?

Он сыпал этой успокаивающей, бессмысленной болтовней, пока не сдал их на руки лорду и леди Страткона. Мэри-Джим впихнули в не слишком четко обозначенную стайку девиц — сегодняшних дебютанток.

На помосте в конце зала стояли троны, но… как, а где же фанфары?.. нет, никаких фанфар… в зал тихо — насколько тихим может быть явление короля и королевы — вошли очень плотный, невысокого роста мужчина в военной форме с

кучей орденов и очень красивая женщина в платье, осыпанном драгоценными камнями (сенатор подумал, что их хватило бы на постройку целой железной дороги). Дамы нырнули в реверансе, джентльмены поклонились. Король и королева воссели на своих местах.

Без всякой преамбулы дамы из особой группы начали выталкивать вперед своих подопечных. Секретарь, со списком в руке, бормотал имена, обращаясь к голубоглазому мужчине и улыбающейся красивой глухой женщине. Момент настал: леди Страткона взяла Мэри-Джим за руку, подвела ее к ступеням помоста, и обе сделали реверанс; секретарь пробормотал: «Мисс Мэри-Джейкобина Макрори». Все кончилось. Кампания длиной в двадцать два месяца наконец завершилась.

Сенатор пристально смотрел из толпы. Не просветлел ли королевский взгляд самую чуточку при виде Мэри-Джим? Этот король умел ценить красоту — произвела ли Мэри-Джим на него впечатление? Трудно сказать, но, по крайней мере, выпуклые голубые глаза ни разу не закрылись. Мэри-Джим — темноволосая и румяная, в шотландских предков, — была, несомненно, красавицей.

Представления быстро окончились, и королевская чета встала с тронов. Помощник снова налетел на Макрори:

— Хочу вас познакомить кое с кем. Позвольте представить вам майора Фрэнсиса Корниша! Он вместе со мной позаботится о том, чтобы вы ни в чем не нуждались.

Майор Фрэнсис Корниш был не молод и не стар. Не то чтобы красавец, но и не урод. Его внешность можно было назвать изысканной, но лишь из-за монокля, который он носил на правом глазу, и прекрасных усов, которые опровергали все законы природы, ибо росли не вниз, а горизонтально, по концам закручиваясь кверху. Майор был в парадной форме очень хорошего, хоть и не гвардейского, полка. Он поклонился дамам, протянул указательный палец правой руки сенатору и едва слышно произнес: «Здрастикакпоживаете». Но не покинул Макрори, а остался при них; помощник же улетучился, бормоча что-то про других гостей, о которых тоже надо позаботиться.

Послышалась музыка: гвардейский духовой оркестр, дополненный струнными, играл просто прекрасно. Начались танцы, и майор Корниш следил, чтобы у Мэри-Джейкобины не было недостатка в подходящих партнерах. Он и сам

вальсировал и с ней, и с Марией-Луизой. Время летело, но Макрори ни разу не почувствовали себя заброшенными. И вдруг — поразительно быстро, как показалось Мэри-Джейкобине, — настало время ужина.

Королевская чета ужинала в отдельной зале с несколькими близкими друзьями, но царственная магия витала в воздухе огромной столовой, где Мария-Луиза восторженно восклицала над снетками а-ля дьябль, пулярками по-норвежски, хамоном по-баскски, жареными ортоланами на канапе и ела все подряд, закончив огромным количеством разнообразных пирожных и двумя сортами мороженого. Роскошь этой трапезы полностью растопила всю холодность, которую Мария-Луиза как французская канадка могла испытывать к британскому королевскому дому. Да, они знают толк в еде! Во время трапезы, размякнув от хереса урожая 1837 года, шампанского 1892 года, шато-лангоа 1874 года и — «О майор, не следовало бы, но это моя слабость…» — бренди 1800 года, она неоднократно признавалась майору, что его король по-настоящему умеет принимать гостей. Она поглощала еду, пока новый корсет не начал жестоко впиваться в тело, ибо не обладала умением модных дам лишь слегка ковырять

роскошные яства.

Мэри-Джейкобина ела очень мало: она вдруг осознала, что значит быть представленной ко двору. Раньше она понимала только то, что это очередной шаг в ее жизни, очень важный для ее отца и включающий в себя уроки, которые она должна усвоить. Но здесь она вдруг пробудилась — в настоящем дворце, среди людей, подобных которым она не видала, танцуя под оркестр, подобного которому не слыхала. Дама в роскошных бриллиантах, которая пробиралась в малую столовую, оказалась маркизой Лэнсдаунской. А кто эта дама в черном атласе? Графиня Дандональд. В голубом атласном платье, расшитом бриллиантами? Графиня Поуисс; одна из красавиц-сестер Фокс. Известна своим пристрастием к азартным играм. Майор Корниш охотно поставлял информацию, и, когда Мэри-Джим привыкла к его бормотанию, у них почти получился разговор, хоть и состоящий в основном из ее вопросов и кратких, почти телеграфных ответов майора. Но майор был, несомненно, внимателен, без устали подкладывал еду на тарелку матери и выказывал весьма почтительное, но не раболепное восхищение дочерью.

По залу пробежал шумок. Король и королева

собираются удалиться. Снова поклоны и реверансы. «Позвольте проводить вас к экипажу». Видимо, так при дворе намекают, что гостям пора. Мария-Луиза, явно перебравшая еды и выпивки, довольно хлопает себя по животу, и дочери хочется провалиться сквозь землю. Можно ли надеяться, что ни одна герцогиня этого не заметила? Наконец, после некоторого ожидания, которое помощники скрашивают как могут, карета подана, и швейцар очень громко выкликает имя сенатора. Майор подсаживает семейство в карету. Надежно усадив Марию-Луизу в экипаж, он склоняется к ней и бормочет что-то вроде «позвольтенанестивизит». «Конечно, майор, как вам будет угодно». Макрори возвращаются в отель «Сесиль».

Мария-Луиза скидывает тесные туфли. Приходит горничная и высвобождает ее из жестоких тисков корсета. Сенатор погружен в меланхолию и в то же время вне себя от радости. Его малышка сделала первые шаги в мире, к которому принадлежит по праву. Отныне сенатор всю жизнь будет подстригать бороду по тому же фасону, что и король-император. Правда, у сенатора борода черная, а из его мощной фигуры — наследия тех лет, когда он орудовал в лесах топором и пи-

лой, — можно выкроить двух таких, как король, как бы ни был последний толст. Сенатор нежно целует дочь и желает ей спокойной ночи.

Мэри-Джим удалилась к себе в комнату. Как и отец, она была погружена в меланхолию и в то же время парила в небесах от радости. Дворцовый бал, представление королю, графини, молодые люди в роскошных военных мундирах — а теперь все это кончено, и навсегда! Явилась горничная:

— Помочь вам раздеться, мисс?

— Да. А потом скажите кому-нибудь, чтобы мне принесли бутылку шампанского.

*– Конечно, вся беда вышла из-за того, что матушка нажралась до отвала, — заметил даймон Маймас.*

*— Боюсь, что так, — отозвался Цадкиил Малый. — В остальном Макрори держались очень хорошо. Они вовсе не так дичились, как многие другие люди, впервые попавшие на дворцовый бал. Их выручал некий врожденный апломб, и все было бы хорошо, если бы не еда и выпивка. Что скажешь, — может, пора нам взглянуть на майора Корниша?*

Майор Корниш был светским человеком своего времени и жил, как полагалось офицеру хороше-

го полка. В результате он оказался для Макрори чем-то невиданным — его тихий, протяжный голос, незаметность, монокль и такая манера держаться, словно он не совсем живой, были не похожи на все, с чем Макрори сталкивались раньше. Ему, младшему сыну из хорошей семьи, приходилось думать о карьере и фортуне: он не имел никаких доходов, кроме армейского жалованья, которое также должно было вскоре прекратиться. Майор хорошо служил на Бурской войне, но ничем особенным не отличился и был ранен достаточно серьезно, чтобы его комиссовали обратно в Англию. Он знал, что армия не сулит ему особо радужных перспектив, а потому решил выйти в отставку и сделать что-нибудь, найти свое место в мире на следующий отрезок жизни. Он очень скоро понял, что ему нужно жениться, — в женитьбе была его цель и его надежда.

Брак мог сделать карьеру такого человека, как майор. Безденежные англичане уже давно нашли способ продвижения в свете — они женились на богатых американских наследницах, и несколько таких браков получили всеобщую известность. Бывало, состояния в два миллиона фунтов и более пересекали Атлантику, если дочь американского железнодорожного или стального магната

выходила замуж за английского дворянина. В глазах света это был вполне равноценный обмен: дворянский титул с одной стороны, большое богатство — с другой. Воистину союз, заключенный на небесах. Есть ведь разные небеса для самых разных людей, в том числе таких, которые мыслят в основном чинами и богатством. Майор Корниш решил, что в мире богачей найдется скромное местечко и для него.

Майор был неглуп. Он прекрасно знал, что может предложить: безупречную родословную, но без титула; хороший армейский послужной список; умение держаться — как в свете, так и под огнем буров, понятия не имеющих о том, как положено воевать джентльменам; достаточно ума, чтобы быть достойным человеком и хорошим солдатом, хоть и без особого блеска интеллекта или остроумия. Следовательно, он не мог надеяться на одно из огромных американских состояний. Однако у девушек из колоний можно найти и состояние поменьше, но вполне солидное. У майора при дворе были знакомства, братья-офицеры, которые помогали ему, так сказать, держать нос по ветру. За барышней Макрори стояло отцовское богатство — неизвестных размеров, но точно немалое, — а сама она была хорошенькая, хоть

и не герцогиня, так что подходила майору. Вот и вся премудрость.

При дворе, конечно, были помощники — джентльмены-прислужники, особые люди, которым поручали заботу о приглашенных на балы; это называлось «ухаживать за гостями». Но всегда находилось место еще для одного презентабельного кавалера, который знал, что к чему, и мог развлечь какую-нибудь скучающую или растерянную барышню — а такие всегда обнаруживались на больших приемах. Майор поговорил с другом, который служил помощником на дворцовых балах; тот — с камергером; так майор получил разрешение присутствовать на нужных приемах и возможность познакомиться с Макрори. Сенатор был не единственным, кто умел строить планы и добиваться своего.

За дворцовым приемом, на котором барышню Макрори представили ко двору, последовал сезон лондонских балов — самый роскошный за многие десятилетия. Макрори не вращались в гуще событий, но все же умудрялись попадать на самые важные приемы. Им помогала леди Страткона: ее наставлял муж, знающий, кто из английских магнатов не прочь поговорить с канадским магнатом, который может дать хороший совет по

вложению капитала в богатой колонии. Макрори приглашали то туда, то сюда, то на уик-энд в загородной резиденции. Они попали даже на регату в Хенли и на скачки в Аскот. Мария-Луиза хорошо играла в бридж, и это стало ее пропуском в мир фанатиков бриджа. Ее франкоканадский акцент, которого так стыдилась ее дочь, казался хозяйкам салонов провинциальным, но не отвратительным. Сенатор умел беседовать о деньгах, во всех их многообразных проявлениях, с кем угодно и при этом не быть слишком похожим на банкира. Он был хорош собой и галантен, как положено шотландскому горцу, и тем располагал к себе дам. Макрори вращались не в самых высших кругах общества, но вполне преуспевали.

Что же до Мэри-Джейкобины, она расцвела под солнцем незнакомого мира и стала почти красавицей. Она обрела какое-то новое очарование. Восприимчивая, как все молодые, Мэри-Джим научилась говорить по-другому, чтобы англичане считали ее своей. Теперь она, как и девушки, которых она встречала в свете, называла приятные вещи «дусями», а неприятные — «бяками». Что-то беспокоило ее желудок, воспитанный на монастырской кухне, — видимо, слишком роскошная еда и вино, к которому она не привыкла: иногда

ее тошнило по утрам, но, несмотря на это, она выучилась быть приятной собеседницей (это не дается от природы) и очень хорошо танцевала. У нее появились поклонники.

Майор Фрэнсис Корниш был среди них наиболее настойчивым, хоть и пользовался не самой большой благосклонностью. Иногда Мэри-Джим высмеивала его в разговорах с более оживленными партнерами по танцам, и они с бездушием молодых сердцеедов стали называть его прозвищем, придуманным для него Мэри-Джим: Деревянный Солдатик. Корнишу удавалось проникать не всюду, где бывали Макрори, но он к этому и не стремился: чрезмерная навязчивость не подходила к его стратегии. У него было все, что нужно светскому человеку, чтобы жить скромно, но со вкусом: квартирка на Джермин-стрит и членство в трех хороших клубах, куда он смог порекомендовать и сенатора. И как-то после обеда в одном из клубов майор попросил у сенатора разрешения задать его дочери важнейший вопрос.

Удивленный сенатор помялся и сказал, что должен подумать. Это означало поговорить с Марией-Луизой, которая заявила, что ее дочь может рассчитывать на гораздо, гораздо лучшую партию. Сенатор спросил и Мэри-Джим; она за-

смеялась и сказала, что выйдет замуж только по любви, — а неужели папа думает, что кто-нибудь может полюбить Деревянного Солдатика? Папа решил, что это маловероятно, и сказал майору Корнишу, что его дочери еще рано думать о замужестве. Пожалуй, стоит на время отложить этот вопрос. К тому же здоровье Мэри-Джим, несмотря на ее цветущую внешность, оставляет желать лучшего. Может быть, они поговорят об этом как-нибудь в другой раз?

Наступил август, и, конечно, весь свет уехал из Лондона. Все, кто хоть что-нибудь собой представлял, переместились на север, в сторону Шотландии. Макрори получили приглашения в два-три северных поместья. Но к концу сентября они снова водворились в отеле «Сесиль» и майор Корниш тоже оказался в городе. Он был внимателен, насколько позволяли рамки хорошего тона.

Желудок все чаще беспокоил Мэри-Джим. Мария-Луиза решила, что это уже не просто «желчные приступы», как в Блэрлогги называли несварение желудка, и пригласила врача. Модного врача, конечно. Он вынес вердикт мгновенно и решительно, и диагноз оказался таким, что хуже не придумаешь.

Мария-Луиза открыла мужу новости в постели

— их обычном месте для «совещаний на высшем уровне». Она говорила по-французски, дополнительно подчеркивая, что дело серьезное.

— Хэмиш, я должна тебе сказать нечто ужасное. Только не кричи и не делай глупостей. Выслушай меня.

«Наверно, потеряла какие-нибудь прокатные бриллианты, — подумал сенатор. — Страховка все покроет. Мария-Луиза просто никогда не понимала, что такое страховка».

— Мэри-Джим беременна.

Сенатор похолодел, приподнялся на локте и в ужасе воззрился на жену:

— Не может быть!

— Может. Доктор подтвердил.

— Кто отец?

— Она клянется, что не знает.

— Что за чушь! Она не может не знать.

— Ну тогда говори с ней сам. Я не могу добиться от нее толку.

— Да уж поговорю, и прямо сейчас!

— Хэмиш, не смей. Она в ужасном состоянии. Она — милая, невинная девушка. Она ничего не знает о таких вещах. Ты ее застыдишь.

— А она нас опозорила — это ничего?

— Успокойся. Предоставь все мне. А теперь

спи.

Сенатор, однако, всю ночь проворочался без сна, словно лежал на раскаленной бороне. Он так сотрясал кровать, что Марии-Луизе казалось, будто она в море, но не сказал больше ни слова.

На следующее утро после завтрака жена оставила сенатора наедине с дочерью. Он начал так, что хуже не придумаешь:

— Что это мне сказала твоя мать?

Слезы. Чем больше сенатор требовал, чтобы дочь перестала реветь и открылась ему, тем сильнее она плакала. Отцу пришлось ее успокаивать, гладить, похлопывать и одолжить ей свой носовой платок (ибо Мэри-Джим столь недавно покинула монастырскую школу, что не привыкла иметь при себе собственный платок). Наконец сенатору удалось добиться чего-то членораздельного.

После дворцового бала Мэри-Джим была одновременно счастлива и подавлена. Это сенатор мог понять, поскольку и сам чувствовал ровно то же. На балу Мэри-Джим впервые попробовала шампанское и просто влюбилась в этот напиток. Легкомыслие, подумал сенатор, но вполне объяснимое. Мэри-Джим ужасно не хотелось ложиться в кровать после веселья на балу, после велико-

лепия двора, внимания помощников, блеска высокородных красавиц. И вот Мэри-Джим попросила горничную принести ей шампанского. Его принесли, но не горничная, а один из лакеев отеля «Сесиль», облаченный в роскошную ливрею. Он показался Мэри-Джим добрым человеком, а ей было так одиноко… она предложила ему выпить с ней бокал шампанского. Одно за другое и… Опять слезы.

Сенатор не то чтобы утешился, но немного приободрился. Его дочь — не шлюха, но дитя, попавшее в затруднительное положение. Он не сомневался, что Мария-Джейкобина — пострадавшая сторона и что он может хоть что-то сделать. Он пошел к управляющему отелем, заявил, что в ночь бала работник отеля нанес его дочери тяжкое оскорбление, и потребовал, чтобы ему предъявили виновного. Разве может приличный отель посылать лакея поздно ночью в комнату к молодой девушке? И так далее, все на повышенных тонах. Управляющий обещал немедленно разобрать дело.

Он вернулся с докладом только ближе к вечеру. Весьма прискорбно, сказал он, но того человека найти не удалось. В отеле заведено нанимать дополнительных работников, если ожидается

наплыв гостей, — а в вечер придворного бала отель неминуемо должен был заполниться до отказа, причем не только гостями, приглашенными на бал, но и гораздо более многочисленными постояльцами, которые не были приглашены, но все равно хотели особо отметить этот день. На роль временных лакеев обычно нанимали солдат — через полкового сержант-майора, который получал от этого небольшой побочный доход. Они должны были, облачась в ливреи, украшать собою коридоры и залы для публики, но никак не обслуживать постояльцев. Произошла какая-то необъяснимая путаница — вы не поверите, насколько трудно поддерживать повсюду идеальную дисциплину в такую суматошную ночь, — и одного из этих солдат-лакеев послали отнести шампанское Мэри-Джейкобине. Но так как с солдатом рассчитались в три часа ночи и он покинул отель, теперь его найти невозможно. Что именно он сказал или сделал, чтобы нанести такое сильное оскорбление? Если бы управляющий знал раньше, он, может быть, нашел бы виновного, но теперь, три месяца спустя… к его глубокому сожалению, это невозможно. Он не знает, как загладить происшедшее, но готов принести юной даме извинения от лица отеля. Он,

по правде сказать, уже осмелился послать ей в комнату цветы.

Сенатор не пожелал объяснить, какое именно оскорбление было нанесено. Он потерпел поражение и, как часто делают потерпевшие поражение мужчины, описал жене эту историю в героическом свете.

Мария-Луиза не была склонна к слезам, но обладала здравым смыслом чистейшей пробы, насколько позволяли ее убеждения и опыт.

— Не следует терять головы, — сказала она. — Может, еще ничего и не будет.

Она взялась за дело и стала прикидывать, как добиться желаемого исхода. Мысль об аборте ни разу не пришла ей в голову, ибо сама идея ей, как верующему человеку, была глубоко противна. Однако в квебекской глубинке случалось, что беременности заканчивались выкидышем. В любом случае беременная девушка должна обладать цветущим здоровьем… Мария-Луиза выстроила свои мысли в нужном направлении. Ее дочь страдает от несварения желудка, и, несомненно, виной тому — слишком обильный и жирный стол. Хорошая доза касторки — и все наладится. Она влила в Мэри-Джим дозу касторки, которая свалила бы с ног и лесоруба. Дочь протестовала,

но знала, что у нее нет морального права слишком сильно сопротивляться. Она оправилась только через неделю, но лечение не возымело никакого результата, а лишь придало ей сходство с модной в те годы картиной «Пробуждение души», на которой бледная дева возводила к небесам пылающие очи.

Так. Случай явно тяжелый. Мария-Луиза, исключительно для блага дочери, потребовала, чтобы та несколько раз спрыгнула со стола на пол. Единственным результатом были крайняя усталость и отчаяние жертвы. Но Мария-Луиза еще не отказалась от своей задумки подтолкнуть природу в правильную сторону. На этот раз в ход пошло не шампанское, но огромный стакан джина — столько, сколько, по мнению матери, дочь могла выпить без вреда для себя, — и очень горячая ванна.

После ванны Мэри-Джим стало еще хуже, чем после касторки, но наглый оккупант не стронулся с места. Арсенал народных средств у Марии-Луизы иссяк, она созналась мужу в своем бессилии и сказала, что надо что-то делать.

На протяжении совершенно ужасной недели родители обсуждали, что делать. Можно увезти дочь на континент, дождаться родов и подкинуть

ребенка в воспитательный дом. Эта идея им не понравилась, а после беседы с дочерью стала нравиться еще меньше. Все, что было глубоко заложено в их природу, — монастырское воспитание, священный сан брата и сестры, простая человеческая порядочность — говорило против.

Оставался, конечно, брак.

И сенатор, и его жена были самого высокого мнения об институте брака. Сейчас это было единственное средство спасения нравственности, как они ее понимали. Но возможен ли брак?

Сенатор был сторонником прямых действий и кое-что понимал в этой жизни. Теперь он пригласил на ланч майора — в ресторан при отеле «Савой».

Ланч в модном ресторане — даже в сезон, когда в городе нет ни души, — не лучшее место для переговоров на такую деликатную тему. Но сенатор выложил все и спросил майора Корниша, не переменил ли тот своих намерений. Майор, хладнокровно поедая мороженое, сказал, что хочет подумать, и предложил снова встретиться за ланчем через неделю.

Неделю спустя сенатору показалось, что майор подрос на несколько дюймов. Тот сказал, что да, он не отказывается от своего предложения, но

сенатор должен понимать, что ситуация существенно изменилась. Конечно, разговор о семье сейчас неуместен, но сенатору следует знать, что Корниши — древний род (естественно, из Корнуолла). Родовое поместье, Чигуидден (майор произнес это как «Чигген» и объяснил, что это название означает «Белый дом»), располагается рядом с Тинтагелем, местом рождения короля Артура, и Корниши живут в тех местах так давно, что числили Артура в соседях (во всяком случае, история не сохранила свидетельств обратного). Когда Корнуолл стал королевским герцогством, разные Корниши в разные времена служили герцогам Корнуолльским как помощники смотрителя оловоплавильных заводов.

Корниши — род с древней и славной историей, и родство с такой семьей — большая честь. Однако майор — младший сын, и семья небогата. Поэтому, скорее всего, ему никогда не быть владельцем Чигуиддена. Но все равно он — Корниш из Чигуиддена. Он честно служил своей стране как солдат, но теперь, когда вот-вот выйдет в отставку, его материальное положение весьма шатко.

Сенатор был к этому отчасти готов и поспешил заверить, что брак майора с его дочерью,

естественно, будет включать в себя некоторые дополнительные условия, так что ее супруг сможет впредь не беспокоиться о своем будущем.

Майор сказал, что это весьма щедро, но он хотел бы подчеркнуть, что стремится к этому браку отнюдь не из материальных мотивов. Сенатор, конечно, понимает, что та небольшая подробность, которую он открыл в прошлом разговоре, не может быть полностью безразлична майору. Тем не менее он горячо любит Мэри-Джим, а за прошедшую неделю полюбил еще сильнее, так как она испытала самое большое несчастье, какое может постичь невинную девушку. Майор тактично, вскользь упомянул о встрече Христа с женщиной, застигнутой в прелюбодеянии, и сенатор, не сдержавшись, уронил одну-две слезы при виде такого похвального религиозного чувства. Правда, он никогда не представлял себе Христа в виде англичанина с моноклем и противоестественными усами. Деревянный Солдатик оказался рыцарем! О, хвала Господу!

Будет лучше, сказал майор, если они достигнут полного взаимопонимания. Это несколько удивило сенатора: он считал, что они уже поняли друг друга. Но тут майор вытащил из внутреннего кармана два листа бумаги и протянул их сенатору

через стол со словами:

— Вот несколько важных пунктов, по которым мы должны достичь понимания. Будьте так добры, подпишите оба экземпляра, и я завтра в одиннадцать утра сделаю предложение Мэри-Джим. Не торопитесь, прочитайте внимательно. Там нет ничего сложного, но я тщательно продумал все, что нужно будет для счастливого брака, и не готов уступить ни по одному из пунктов.

«Он совершенно хладнокровен», — подумал сенатор, но сам не сумел сохранить хладнокровие, прочитав переписанный красивым почерком документ, — иначе нельзя было назвать эту бумагу.

(1) возможным вступать в брак, будучи обремененным долгами. В то же время на мне лежат некоторые обязательства, возникшие как следствие той жизни, которую я вел в соответствии со своим положением в армии и в свете. Таким образом, немедленно после того, как Мария-Джейкобина примет мое предложение, я должен получить вексель на 10 000 (десять тысяч) фунтов.

(2) По моим оценкам, расходы на сва-

дьбу, свадебное путешествие и последующий переезд в Канаду составят не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) фунтов, вексель на каковую сумму я с благодарностью приму перед церемонией венчания.

(3) Мой опыт командования людьми, а также управления финансами (в роли полкового адъютанта), несомненно, подготовил меня к занятию должности в промышленности Нового Света, куда я предполагаю переехать вместе с женой после свадебного путешествия и рождения первого ребенка. Поскольку мы должны жить в соответствии с Вашим и моим положением, а также в достатке, к которому привыкла Мария-Джейкобина, я предлагаю закрепить за мной в результате нашего брака сумму в 125 000 (сто двадцать пять тысяч) фунтов, каковую я вложу в дела или распоряжусь ею иным способом исключительно по собственному усмотрению. Кроме того, нам понадобится жилье, достойное Вашей дочери и зятя, а также нашего возможного потомства. Думаю, лучше всего будет, если мы построим себе новый дом. Я охотно

возьму на себя руководство планированием и строительством. Все счета за строительство и обстановку дома будут переданы Вам для оплаты. Я готов в удобное для Вас время обсудить подобающую мне должность в семейном бизнесе и прилагаемое к ней жалованье.

(4) Я обязуюсь растить всех детей, родившихся в этом союзе, и надлежащим образом заботиться о них, но с условием, что они будут воспитаны в протестантской вере в лоне англиканской церкви.

(5)

***Подписано: Фрэнсис Чигуидден Корниш***

***Согласен:*** _____

Сенатор некоторое время глубоко и шумно дышал через нос. Может, изорвать соглашение и треснуть Деревянного Солдатика по голове бутылкой? Сенатор и сам собирался проявить щедрость, но то, что эту щедрость ему предписывали, да еще в таких суммах, сильно ранило его шотландскую гордость. Его принуждают к сделке! Деревянный Солдатик, сохраняя полную невозмутимость, пил кларет из стакана; свет па-

дал на монокль, придавая его владельцу сходство с миниатюрным циклопом, который собирается проглотить овцу.

— Разумеется, тут два экземпляра, — пробормотал он. — Один вам, один мне.

Сенатор продолжал сверлить его взглядом. Названная сумма была сенатору по силам, хоть он и не ожидал, что придется оплачивать долги зятя, сделанные до свадьбы. Поперек горла ему встал четвертый пункт. Протестанты! Чтобы его внуки выросли протестантами! Сенатор не то чтобы не любил протестантов. Главное, чтобы они не устраивали религиозных распрей. Пусть себе заблуждаются, пусть обрекают себя на вечные муки, если таково их извращенное желание. Но его внуки… и тут он вспомнил о маленьком упрямом внуке, из-за которого вышло все это несчастное дело. Если Деревянный Солдатик не женится на Марии-Джейкобине, то кто же на ней женится? Где найти католика, согласного ее взять, — католика столь же подходящего по всем статьям, как майор Корниш, пусть и не очень привлекательного?

— Вас что-то беспокоит? — спросил майор. — Я очень тщательно продумал все финансовые условия и боюсь, что не могу сделать скидки.

Скидки! До чего же наглы бывают англичане! К черту скидки! Но четвертый пункт…

— Четвертый пункт, — произнес сенатор слегка дрожащим голосом. — Мне нелегко будет убедить жену и дочь в его желательности или необходимости.

— К сожалению, ничего не могу сделать. Все Корниши до единого были англиканами, с самой Реформации.

Сенатор, как и его дочь, был подвержен резким переменам настроения. Ярость отхлынула, и он почувствовал себя голым, жалким и слабым. Что толку бороться? Он проиграл.

Он вытащил ручку и подписал каллиграфический документ — оба экземпляра — крупным, плохо выработанным почерком.

— Благодарю вас, — сказал майор. — Я рад, что мы поняли друг друга. Попросите Марию-Джейкобину быть дома завтра в одиннадцать часов. Я буду иметь честь нанести дамам визит.

*– Сенатор мог бы и поторговаться немного, — заметил даймон Маймас. — Он как-то быстро сдался, ты не находишь?*

*— Нет, не нахожу, — ответил Цадкиил Малый. — Видишь ли, с ним, как и с его дочерью, все дело в темпераменте. Сохраняя хладнокровие,*

*они остаются на коне, но сильное чувство вышибает их из седла. Нельзя сказать, что они не могут испытывать чувства. Очень даже могут. Беда в том, что они чувствуют слишком сильно, — эмоции полностью выбивают их из колеи и приводят в состояние, близкое к панике. Это кельтский темперамент: непростое наследство. Часто такие люди делают ужасные ошибки, если им нужно подойти к чувству с логической точки зрения. Ты же знаешь, что было дальше? Сенатор под конец жизни стал философом, а это замечательный способ убежать от необходимости чувствовать. А Мэри-Джим овладела особым приемом — научилась выбрасывать из головы или обращать в тривиальность все, что ее беспокоит.*

*— А что за сцена разыгралась в отеле «Сесиль»? — спросил даймон.*

*— О, это был настоящий кельтский тарарам! Мария-Джейкобина рыдала и клялась, что лучше умрет, чем выйдет за Деревянного Солдатика. А через полчаса развалилась на куски и сказала, что согласна. Родители на нее не давили: просто ситуация оказалась ей не по силам. Ею овладели паника и отчаяние.*

*— Да, действительно, — согласился Маймас. —*

*Я имел дело с точно таким же характером у Фрэнсиса, и порой мне бывало нелегко. Философом он так и не стал, и превращать свои беды в нечто тривиальное тоже не научился. Он всегда бросался на них с открытым забралом. Повезло ему, что у него под рукой был я… не раз повезло.*

*— Да, так это называют люди: везение. Правда, интересно смотреть на родителей Мэри-Джим? Было бы совершенно несправедливо сказать, что они продали дочь ради сохранения респектабельности. На такое они бы никогда не пошли. Но нужно понимать, что для них респектабельность. Это гораздо больше, чем простое «Что подумают соседи?!». Это «Как моя бедная девочка будет смотреть в лицо миру, если в самом начале жизни ее постигло такое несчастье?». Это «Как мне избавить мою малышку от страданий?». Сенатором правили как раз эмоции, замаскированные под здравый смысл. У Марии-Луизы на плечах была отличная голова с норманнской рассудительностью, но Церковь избавила ее от необходимости думать этой самой головой. Мария-Луиза испробовала лучшие известные ей способы и потерпела неудачу. Семья боролась с будущей трагедией как могла. Дело было не в Лондоне — даже если бы Лондон все узнал,*

*ему было бы наплевать. Дело было в Блэрлогги. О, как злорадствовал бы городок, узнав о падении невинной Макрори! Это злорадство всю жизнь хлестало бы ее, словно бич!*

Тем временем в Блэрлогги тетушка Мэри-Бен Макрори, по ее выражению, «удерживала крепость», пока брат с женой и милой Мэри-Джим порхали в высшем свете. Тетушка не роптала. Она знала, что рождена служить, служила с готовностью, и, если хоть намек на зависть или тоску по несбыточному заползал ей в мысли, она немедленно изгоняла его молитвой. В спальне у тетушки под прекрасной олеографией с Мадонны работы Мурильо стояла молитвенная скамеечка с мягкой (но не слишком толстой) обивкой в том месте, где тетушка опиралась коленями. Обивка была сильно потерта от постоянного использования.

Когда тетушка была немногим старше, чем Мэри-Джим сейчас, Господь послал ей недвусмысленное знамение, показав, что ее удел — служить. Доктор Дж.-А. и многие другие люди называли это «удивительным и ужасным случаем», но тетушка знала, что таким образом Господь указал ей жизненный путь.

Это случилось на приеме в саду генерал-губер-

наторской резиденции — или, по-простому, Ридо-холла, в Оттаве. Лорду Дафферину оставалось несколько месяцев на посту генерал-губернатора, и Хэмиша, как способного молодого человека, уже проявившего себя на политическом поприще, позвали на прием, который должен был состояться в конце июля. Хэмиш еще не был женат и потому взял с собой сестру, а она по такому случаю купила шикарную шляпу, украшенную черными и белыми перьями. Ах, как все это было романтично! Восторгаясь романтикой, тетушка убрела в кусты — мысли ее были заняты романтической фигурой Виржиля Тиссерана, который оказывал ей все более заметные знаки внимания, — и вдруг…

Этот случай вошел в анналы орнитологии и даже заслужил сноски в анналах медицины: в те времена виргинские филины — канадский натуралист Эрнест Сетон-Томпсон называл их «крылатые тигры даже среди самых свирепых и хищных птиц» — иногда забирались в плотно населенные части страны и порой кидались на людей, особенно на дам в модных тогда черно-белых шляпах, ибо принимали их за скунсов. И вот, когда Мэри-Бен прогуливалась, исполненная мечтаний, в кустарнике вице-короля, на нее спи-

кировал филин, схватил шляпу и стремительно унес прочь… а заодно и значительный кусок скальпа, принадлежащего хозяйке шляпы.

Мэри-Бен много недель пролежала в больнице с забинтованной головой и разбитым сердцем. Как девушки в мифах выживали после грозных объятий Юпитера в обличье птицы? Конечно, этот бог избрал их, у них была особая судьба. Быть может, Мэри-Бен точно так же избрана Богом, в которого верит? А если так, то к чему именно ее избрали? Это тетушка узнала, когда повязки сняли и открылась изувеченная голова, на которой лишь кое-где сохранились клочки волос. Парик совершенно исключался — оскальпированный череп был слишком чувствителен. Тетушка обходилась маленькими чепчиками, похожими на тюрбаны, из самых мягких материй. Она никогда не пыталась приукрасить эти чепчики, ибо знала, что они такое. Это был головной убор служанки, и тетушка была избрана, чтобы служить. И она служила в доме своего брата, прикрывая крохотный череп крохотными чепчиками. Даже у доктора Дж.-А. не хватило жестокосердия сказать тетушке, что слетевший с небес бог принял ее за скунса.

Ко времени женитьбы Хэмиша на Марии-Луизе

Тибодо сестра вела хозяйство брата уже три года, и никому не пришло в голову, что она должна уступить место молодой жене; отнюдь, Мэри-Бен стала служить и ей, охраняя от докучного домашнего труда. Когда родился первый ребенок, Мэри-Бен оказалась незаменима; она даже придумала для девочки то самое романтическое имя. Мария-Луиза с удовольствием выполняла светские обязанности жены человека «на подъеме» — восходящей звезды деловой и политической жизни, — и ее более чем устраивало, что ведение хозяйства взяла на себя Мэри-Бен, или тетя, как ее все чаще стали называть, когда Мэри-Джим заговорила.

Кроме того, у тети был Хороший Вкус — а его обладатели имеют своего рода власть над другими.

Хороший вкус тетушки и ее умение выбирать разгулялись в полную силу, когда Хэмиш решил построить себе новый богатый дом — на холме, который возвышался на южном горизонте Блэрлогги. У Марии-Луизы не было никаких соображений по поводу домов, зато у тетушки соображений хватило бы на троих. Именно она объясняла архитектору, что именно от него требуется, рисовала ему эскизы и деликатно правила строительными рабочими. Дом, разумеется,

был кирпичный — и не из какого-нибудь там обыкновенного кирпича, но из розового, с особой отделкой поверхности, непроницаемой, словно кафель. Поскольку Хэмиш занимался лесом, на внутреннюю отделку пошли самые изысканные вещи из мира дерева. Детали, точенные на токарном станке; панели с идеально подобранным рисунком дерева; деревянное кружево, вырезанное ленточной пилой… А в комнате, которую предназначили под библиотеку, были деревянные панели на стенах, но не обычные, а восьмиугольниками: похоже на деревянный паркет, но поставленный на попа. Выглядит омерзительно, но, конечно, требует большого мастерства, сказал доктор Дж.-А., у которого на все было свое мнение (обычно — уничижительного свойства).

Тетушка обставляла дом. Тетушка выбирала обои, отдавая предпочтение флокированным — словно узор вырезали из бархатной бумаги и наклеили на гладкий фон. Тетушка покупала картины, тратя деньги в монреальских картинных лавках со скоростью, поражавшей ее брата. Она же выбрала сюжет для витражного окна, которое не особенно освещало лестничную площадку: «Король долины» Ландсира, очень изысканная

вещь. Все эти действия тетушка называла «ненавязчиво оказывать посильную помощь».

Тетушкино желание не быть навязчивой повлияло на план дома: к северной стороне, куда редко заглядывало солнце, пристроили просторный солярий. Над солярием располагались апартаменты, целиком принадлежащие тетушке. Она говорила: стоит ей уйти в свою маленькую комнатку и закрыть дверь, и она уже ни у кого не путается под ногами. На самом деле тетина гостиная была вполне просторна, а к ней примыкала еще спальня с маленькой молельной нишей и ванная, где тетушка могла делать «все, что нужно», то есть различные процедуры для покалеченной головы. Хэмиш и Мария-Луиза даже не заметят присутствия тетушки в доме, когда будут принимать гостей или захотят остаться наедине, как подобает супружеской паре.

Тетушка, мило улыбаясь и кивая, уступая всем и во всем, деловито, как пчелка-хлопотунья, построила дом и даже окрестила его: разумеется, семья не могла жить в «доме номер 26 по Скотт-стрит», и тетушка предложила назвать дом «Сент-Килда» — красиво и к тому же напоминает об острове Барра. Ни у Марии-Луизы, ни у Хэмиша не нашлось других вариантов, и именно это

название появилось на витраже фрамуги над парадной дверью.

Тетушкин ум работал без устали, но никогда не уклонялся в сторону самоанализа и не усматривал связей между различными вещами. Иначе тетушка могла бы задуматься, почему ей особенно дорога одна из вечерних молитв. Молитва эта звучала следующим образом:

*Боже, предначертавший служение людей и ангелов в чудеснейшем миропорядке, ниспошли нам охранителей нашей земной жизни, всегда готовых служить Тебе и в раю… Боже, Ты, что Своим неистощимым Провидением и Божественною любовью посылаешь Своих святых ангелов охранять нас, услышь смиренные моления наши и подай нам покровительство сих святых ангелов, сохранив нас под сенью их крыл, да возрадуемся мы вместе с ними на небесах во веки веков.*

Уж не видела ли тетушка себя таким назначенным свыше хранителем и слугой? Да не попустит Господь, чтобы она впала в подобную гордыню! Но под истинами, в которых мы себе открыто признаемся, прячутся убеждения, которые формируют нашу жизнь.

Никому и в голову не пришло позвать тетушку вместе со всей семьей в великую экспедицию,

целью которой был выход Мэри-Джим в большой свет. Но тетушка не роптала. Она знала о своем безобразии. Да-да, она даже настаивала, что безобразна, и, если Мария-Луиза, сенатор или Мэри-Джим протестовали, тетушка мило улыбалась и говорила: «Ничего-ничего, не надо меня утешать. Я знаю, как выгляжу, и приношу это как дар Богу».

«Принесение Богу» часто фигурировало в религиозной жизни тетушки. После того ужасного случая в Ридо-холле тетушка «принесла Богу» свое увлечение Виржилем Тиссераном — в надежде, что эта жертва будет угодна Небесному престолу. До Виржиля был Джозеф Кроун, который решил, что лучше стать иезуитом, чем тетушкиным мужем. Это тетушка тоже «принесла Богу». Она и свое внешнее безобразие принесла как дар, символ смирения и приятия судьбы. О, у тетушки было много даров для Бога, и, может быть, Он принимал их с благодарностью, поскольку наделил тетушку немалым могуществом в пределах ее маленького царства.

О том, что происходит в Англии, тетушка узнавала из писем Марии-Луизы и, реже, Марии-Джейкобины. Ни у той ни у другой не было особых эпистолярных талантов, но они стара-

лись — мать по-французски, дочь по-английски — держать тетушку в курсе дел, пока могли. Однако они не в силах были описать новую жизнь, новых людей, столь непохожих на все, что знала тетушка, и письма становились реже и короче.

Тетушка все принимала безропотно. У нее было множество дел — она вела хозяйство в «Сент-Килде» и не давала прислуге распускаться. К прислуге относились горничная-полька Анна Леменчик, очень малорослая — почти карлица, — но зато гораздо шире обычного человека, и кухарка Виктория Камерон. Кухарка вечно была на волосок от увольнения, поскольку обладала огненным темпераментом шотландских горцев и склонностью, как говорила тетушка, «фордыбачить», если ей сказать хоть слово поперек. Против Виктории было все: во-первых, она была протестантка, а в городе хватало кухарок-католичек. Во-вторых, кроме вспыльчивости, она была еще и груба и нахально отвечала хозяевам; в-третьих, она была ужасно кривонога и топала в кухне, как лошадь, на весь дом. При таких недостатках неудивительно, что никто не замечал красоты ее смуглого лица, напоминающего испанских мадонн, столь пламенно обожаемых тетушкой. Да и то сказать, слыханное ли это дело — красивая

кухарка? Козырной картой Виктории был ее кулинарный талант: остальные повара в Блэрлогги ей в подметки не годились, у нее был природный дар, и сенатор даже слышать не хотел о том, чтобы ее уволить. Эти двое и миссис Август, полька, приходившая два раза в неделю для генеральной уборки, составляли весь штат домовой прислуги.

Роль дворовой прислуги исполняла пьющая человеческая развалина по имени Старый Билли. Он ходил за лошадьми, исполнял обязанности кучера, сгребал снег, косил траву, уничтожал цветы. Предполагалось, что он также при необходимости поднимает разные тяжести и выполняет другие работы по хозяйству. Старый Билли был истовым католиком и шумно раскаивался в своих грехах (в число которых входила склонность часто и во всеуслышание пускать газы). Поэтому уволить его было невозможно, хоть он и был тяжким испытанием для всех окружающих.

Тетушка же присматривала за юной Мэри-Тесс, когда та приезжала на каникулы из монастырской школы. Это не составляло труда, так как Мэри-Тесс была жизнерадостной девочкой и любила кататься на коньках и санках. И у тети были свои маленькие радости. Во-первых, музыка: тетя играла и пела. Во-вторых, еженедельные

визиты тещи сенатора, старой мадам Тибодо, величественной, заплывшей жиром дамы. Мадам Тибодо не говорила по-английски, но любила посплетничать на французском языке, которым тетушка владела свободно, как и ее брат. Каждый четверг в четыре часа Старого Билли посылали с ландо (а зимой — с элегантными алыми санями), чтобы доставить мадам вверх по склону, ведущему в «Сент-Килду», а потом, в половине шестого, стащить ее обратно, сильно отяжелевшую от чая и всего, что к нему прилагалось. Раз в месяц тетушку посещали отец Девлин и отец Бодри из прихода Святого Бонавентуры: для ограждения от плотских соблазнов они приходили к старой деве только вдвоем. Святые Отцы поглощали огромное количество еды в мрачном молчании, прерывая его лишь пересказом наиболее назидательных приходских новостей. И еще к тетушке приходил, всегда непредвиденно и без какого-либо расписания, доктор Дж.-А. — Джозеф-Амброзиус Джером, главный в Блэрлогги врач-католик: он приглядывал за тетушкой по причине предполагаемой хрупкости ее здоровья.

Он был, без сомнения, самым веселым из ее гостей. Маленький, сухой, очень смуглый, ухмыляющийся, он держался загадочно, а его

воззрения приводили тетушку в ужас. Местные жители считали его целителем и едва ли не чудотворцем. Он вытаскивал с того света дровосеков, если им случалось разрубить себе ногу огромным ужасным топором и вот-вот должно было начаться заражение крови. Он зашивал поляков, порезавших друг друга ножами из-за никому не понятного вопроса чести. Он выхаживал больных воспалением легких — компрессами, ингаляциями и просто волей целителя. Он говорил женщинам, что им нельзя больше рожать, и грозил их мужьям ужасной карой за ослушание. Он прочищал страдающих запором и умащал воспаленные геморроидальные шишки опийной мазью. Он одним взглядом определял, что у больного глисты, и изгонял цепней ужасными зельями.

Считалось, что доктор исповедует какие-то темные верования, о которых чем меньше знаешь, тем лучше, — а может, он и вовсе атеист. Ходили слухи, что он знает богословие лучше отца Девлина и отца Бодри, вместе взятых. Он читал книги

из Индекса[137], в том числе на немецком языке. Но ему доверяли, и сильнее всех ему доверяла тетушка.

Дело было в том, что он ее понимал. Он знал ее нервы, как никто. Он мрачно намекал, что быть девственницей в ее возрасте небезопасно, и, к ее смертельному стыду, иногда требовал разрешения помять ее бледные тощие груди и заглянуть в ее самый тайный проход с помощью металлической трубки, называемой зеркалом, и фонарика. Человек, которому такое позволено, занимает особое место в жизни старой девы. Кроме того, он дразнил ее. Дразнил ее, издевался над ней и напрочь отказывался воспринимать ее всерьез. Если бы тетушка знала о себе хоть что-нибудь, она бы поняла, что любит доктора. А так она видела в нем близкого и грозного друга, которому доверяла, как никому. Он был для нее едва ли не больше чем священник — священник, от которого отчетливо припахивало серой.

Именно доктору тетушка первому открыла

---

**[137] Примечания: 137**

*Индекс* — т. е. Индекс запрещенных книг (*лат.* Index Librorum Prohibitorum) — список публикаций, которые были запрещены Римско-католической церковью. Некоторые издания списка содержали также указания Церкви по поводу чтения, продажи и цензуры книг. Официальной целью составления Индекса было ограждение веры и нравственности от посягательств и богословских ошибок.

новость, которая содержалась в письме Марии-Луизы. Мэри-Джим выходит замуж! Да-да, за англичанина, некоего майора Фрэнсиса Корниша. Судя по всему, он светский щеголь. Ну что ж, ясно было, что Мэри-Джим не засидится в девушках. Она такая красавица! И похоже, они приедут жить в Блэрлогги. Нам придется подтянуть манеры ради английского щеголя. Что же он подумает о ней, старой тетушке, — безусловно, комической фигуре!

— Надо думать, он скоро захочет узнать, что под этим чепчиком, — ответил доктор. — Что ты ему тогда скажешь, а, Мэри-Бен? Если он солдат, как ты говоришь, то, должно быть, видал и похуже.

С этим доктор, смеясь, удалился. По дороге он прихватил с подноса остатки пирога — они предназначались для детей в бедных польских кварталах, но доктор притворялся сладкоежкой.

Когда доктор пришел в следующий раз, тетю распирало от новостей. Они поженились! Где-то в Швейцарии. Место называется Монтрё. И побудут там во время медового месяца, а потом приедут домой. Мадам Тибодо была в восторге: медовый месяц в стране, где говорят по-французски, как-то смягчал ужасную английскость майора.

Сенатор и Мария-Луиза вернулись в Блэрлогги

поздней осенью и были менее разговорчивы, чем ожидала тетушка. Очень скоро, конечно, им пришлось рассказать ей все — ну или часть. Марию-Джейкобину и майора венчал английский священник в англиканской церкви. Ну же, Мэри-Бен, хватит, перестань: что сделано, того не воротишь. Конечно, мы можем молиться, чтобы он узрел свет, но я думаю, что такого человека уже не перевоспитать. А теперь давай-ка перестань реветь и сделай хорошую мину, потому что мне придется рассказать отцу Девлину, а он передаст отцу Бодри, и одному Богу известно, что скажут в городе. Да, я сделала все, что могла, но без всякого толку. Мне еще предстоит рассказать Мэри-Тесс, что отмочила ее сестра, и, уж поверь мне, я ей вдолблю в голову, что в этой семье больше ничего подобного не повторится. Ох, Матерь Божия, мне же еще мать Марию-Базиль придется известить, и уж это будет трудное письмо… ты должна будешь мне помочь. Хэмишу хорошо, он все переносит, как мул: из него ни слова не вытянешь.

Прискорбный отпрыск не возник ни в том разговоре, ни позже; наконец пришла телеграмма: «Моя жена вчера ночью родила мальчика. Корниш». До ее прихода прошло достаточно времени, чтобы избавить жителей Блэрлогги — и тетушку

в первую очередь — от необходимости подсчитывать на пальцах; таким подсчетом в Блэрлогги встречали всех первенцев.

Разумеется, в городе всё знали и, сверх того, предполагали многое, чего никто не говорил. Местная газета «Почтовый рожок» кратко сообщила о свадьбе, не упоминая о том, что она прошла по протестантскому обряду, но в этом и не было необходимости, так как в заметке говорилось, что молодых сочетал браком достопочтенный каноник Уайт. Паршивая газетенка! До чего же гнусные люди эти консерваторы! Негодяи из редакции знали, что все сразу всё поймут. Слава Богу, что хотя бы про четвертое условие еще никто не знает, но надолго ли это! Чуть позже «Почтовый рожок» опубликовал благую весть о рождении Фрэнсиса Чигуиддена Корниша, сына майора и миссис Фрэнсис Чигуидден Корниш; внука нашего всеми любимого сенатора, достопочтенного Джеймса Игнациуса Макрори, и миссис Макрори; правнука мадам Жан Телесфор Тибодо. Но это был лишь костяк; обильные слухи обрастили его плотью. Шотландцы-консерваторы работали языком.

«Вообще-то, ихняя девица могла бы и канадца себе найти, нет?» — «Да что вы, она слишком

хороша для такого. По-моему, сенатор сделал из нее дуру». — «А муж-то сам кто?» — «Католик как пить дать. Зря, что ли, у них дома все крутятся попы да монашки, а у старухи Мэри-Бен идольские картинки по всему дому (даже в гостиной — вот где ужас-то!). Так что мужу некем быть, как католиком. Я, правда, сроду не слыхала, чтоб англичанин был католиком». — «Да нет, они все по большей части англикане, если вообще хоть во что-то верят. Но мне рассказывали, что она встретила его при дворе». — «Я вам больше скажу: сам король хотел, чтобы они поженились. Только намекнул, но это все равно что приказ…» — «Ну как бы то ни было, а мы и сами скоро узнаем. Конечно, мне они докладываться не будут — как я есть честный тори сверху донизу. Верите ли, я живу в Блэрлогги шестьдесят семь лет, и до меня тут мои предки жили, и ни один Макрори со мной сроду не поздоровался». — «Они чуют в тебе протестантскую кровь, вот чего». — «Да, называют это „ложкой дегтя“».

Наконец, больше года спустя, майор и миссис Корниш с младенцем-сыном прибыли в Блэрлогги вечерним оттавским поездом. Если городу и было к лицу какое время года, то это, несомненно, осень, когда пылали клены. Свидетели, стояв-

шие близко, говорили, что Мэри-Джим пролила несколько слез, садясь в ландо, в котором Старый Билли должен был отвезти их в «Сент-Килду». Мэри-Джим держала на руках дитя, закутанное в большую шаль. Майор не колеблясь занял два сиденья лицом по ходу движения для себя и жены, оставив сенатору и Марии-Луизе сиденья, повернутые спиной к кучеру. Свидетели не преминули обратить на это внимание. На перроне осталась огромная куча багажа, за которым Старый Билли должен был вернуться позже: военные сундуки, железные ящики, странной формы кожаные футляры — возможно, с ружьями.

Ко времени, когда настала пора ложиться в постель, у майора накопились вопросы.

— Так кто эта забавная старушонка в чепчике?

— Я же тебе уже сто раз говорила. Это моя тетя, сестра моего отца, она тут живет. Это ее дом.

— Старушка с причудами, а? Хочет звать меня Фрэнком. Ну, в этом большой беды нет. Как, ты сказала, ее зовут?

— Мария-Бенедетта. Но ты можешь говорить «Мэри-Бен», ее все так зовут.

— Вы все Марии-как-нибудь, а? Забавно!

— Семейный обычай, католический. И кстати, уж кто бы говорил про чепчики, но не ты.

Майор в это время нанес на волосы особую смесь с запахом грецкого ореха, а потом надел шерстяную шапочку, которая предположительно должна была прижимать слой мази к голове, оттягивая появление лысины, которой майор страшился.

— Она такая маленькая и так много ест!

— Я не замечала. У нее ужасное несварение, газы. Она просто мученица.

— Меня это почему-то не удивляет. Будем надеяться, что ее не постигнет судьба Джесса Уэлча.

— Кто это?

— Я знаю только его эпитафию:

*Джесс Уэлч в последний отбыл путь:*
*Бедняга не посмел рыгнуть,*
*И газ, расширившись в кишках,*
*Его унес за облака.*

— О, но Мэри-Бен никогда не позволяет себе отрыжки; она — настоящая леди.

— Ну так это все должно как-то выходить, иначе — БАБАХ!

— Фрэнк, не будь бякой. Иди в постельку.

Майор уже перешел к последней процедуре, которую выполнял каждый раз перед отходом ко сну. Он снял монокль — впервые за день, —

тщательно протер его и уложил в бархатную коробочку. Затем привязал на лицо розовую сеточку-наусник, которая всю ночь удерживала его усы в определенном положении, позволяя победить природу. Засим майор вскарабкался на высокое ложе и обнял жену.

— Чем раньше мы построим свой дом, тем лучше… верно, дорогая?

— Именно, — сказала Мэри-Джим и поцеловала мужа. Наусник ей не помешал. Это был не романтический, а супружеский поцелуй.

Против всякой вероятности, за прошедший год супруги привязались друг к другу. Но ни один из них не привязался к ребенку, который сейчас молча лежал в колыбельке у изножья кровати.

Оттягивать было бессмысленно, и назавтра же доктора Дж.-А. Джерома попросили осмотреть ребенка. Доктор Джером, обследующий больного, был совсем не похож на балагура, каким он бывал в светских гостиных. Доктор молча проделал несколько манипуляций: похлопал в ладоши возле уха ребенка, провел горящей спичкой у него перед глазами, потыкал там и сям, даже ущипнул, а потом ущипнул еще раз, чтобы убедиться, что он действительно слышал этот странный крик. Доктор измерил череп ребенка и длинным

пальцем прощупал родничок.

— Швейцарец был прав, — сказал он наконец. — Посмотрим, что можно сделать.

С сенатором, к которому доктор зашел вечером выпить рюмочку, он был разговорчивее.

— Этот ребенок никогда не вырастет, — сказал доктор. — Хэмиш, я не вижу смысла от тебя скрывать: этот ребенок — адиёт, и он не проживет долго, если Господь над ним смилуется.

Корниши, не теряя времени, построили собственный дом на куске земли, хорошо видном из «Сент-Килды», — за садом большого дома, через дорогу. Новый дом был меньше особняка сенатора, но все равно немалых размеров, и в Блэрлогги шутили, что майор собирается брать постояльцев. Зачем молодым супругам с одним ребенком такой огромный дом? Он был еще и современный — для той эпохи, и поговаривали, что в некоторых комнатах вообще не предусмотрены обои, а вместо них — шершавая штукатурка, которую, должно быть, потом будут красить. И такая куча окон… можно подумать, в этом климате дома легко отапливать, даже если в них не понатыкано окон. В доме было паровое отопление — дорогая причуда — и столько ванных комнат, что даже неприлично: ванные при спальнях, и туалет с ра-

ковиной на первом этаже, так что, если идешь по нужде, даже не выйдет притвориться, что идешь куда-нибудь по делу! Визиты любопытных не поощрялись, хотя по обычаю жители Блэрлогги посещали все строящиеся дома — просто посмотреть, как там и что.

Однако дом вызвал гораздо меньше пересудов, чем вид майора с женой, воскресным утром направляющихся под ручку в англиканскую церковь. Вот это оплеуха Макрори, а? Смешанный брак! Вы погодите, пока мальчик вырастет. Он-то точно будет католиком. Паписты его просто так не отпустят.

Но мальчика никто не видел. Его не вывозили гулять в колясочке, а когда Мэри-Джим спросили про ребенка, она сказала, что у него хрупкое здоровье и ему нужен особый уход. Должно быть, родился со стеклянным глазом, в отца, говорили остряки. А может, он калека, говорили другие, не добавляя, что в Блэрлогги и без него полно калек. Со временем все выяснится.

Но ничего не выяснилось, даже когда дом был закончен и обставлен. («Видал вагоны с мебелью на станции? Из Оттавы и даже из самого Монреаля!») Мэри-Джим знала, что ей положено делать, и через некоторое время в «Почтовом

рожке» появилось небольшое объявление. В нем сообщалось, что в определенный день в июне миссис Фрэнсис Корниш будет «у себя» в «Чигуидден-лодж».

Согласно местным обычаям, это означало, что все, кроме явных поляков, имеют право прийти, выпить чашку чая и осмотреть дом. Люди приходили сотнями, шатались по всему дому, терли между пальцами материю драпировок, украдкой заглядывали в шкафы и комоды, поджимали губы и что-то завистливо бормотали друг другу. Вот это да! Сколько деньжищ, должно быть, ухнули! Ну что ж, хорошо тем, у кого они есть. «Чигуидден-лодж»! Не знаешь, что и думать. Жена почтмейстера сказала, что ее муж собирался потребовать, чтобы обитатели дома писали на письмах по-человечески: дом 17, Уолтер-стрит (таков был официальный адрес участка до строительства). Все согласились (но так, чтобы почтмейстерша не слышала), что ее муж, как всегда, все собирается, собирается, но так никуда и не соберется. Почтмейстерша же отрапортовала, что на конвертах писем, которые шлют обитатели дома, уже заранее напечатано «Чигуидден-лодж»! Собственные наборы для письма! И еще Мэри-Джим всех поправляет и

говорит, что это надо произносить «Чигген», как будто мы не умеем читать по-английски. Если, конечно, это по-английски, а то кто их разберет.

Первый раз, когда Мэри-Джим приняла у себя весь город, стал и последним: она согласилась на один-единственный прием, и то лишь из-за высокого положения отца. Ребенка так никто и не увидел, хотя в обычаях города было демонстрировать младенцев, дабы маленькие ангелочки получили свою порцию восторженных восклицаний.

У ребенка была нянька — накрахмаленная мрачная женщина из Оттавы, которая ни с кем не сдружилась. По городу пошел слух, что ребенок кричит ужасно странно, — такого странного крика сроду никто не слыхал. Виктория Камерон сочла нужным проследить источник слуха. Как она и предполагала, это оказалась Доминика Тремблэ, горничная в «Чигуидден-лодж». Виктория спикировала на Доминику и сообщила, что если та еще будет трепать о семейных делах, то она, Виктория, из нее все потроха выдерет. Доминика пришла в ужас и больше ничего не рассказывала. Но когда ее допрашивали, она театрально закатывала глаза и прижимала палец к губам; поэтому слухи только усилились.

Слухи сообщали, что ребенок чахнет из-за какого-то изъяна отца (ну знаете, эти старые английские семьи…) или — тсс! — из-за дурной болезни, какие солдаты часто цепляют от заморских шлюх. Может, потому у Мэри-Джим больше нет детей? Она не хочет или не может? Сплетники упоминали женщин, у которых все нутро насквозь прогнило от болезней, которыми их заразили мужья. Жители города провели немало приятных минут за подобными дискуссиями.

Слухи приумолкли после февраля 1909 года, когда доктор Джером сказал Мэри-Джим, что она опять беременна. Для Корнишей эта новость была одновременно хорошей и плохой. Майор был счастлив, что на свет появится дитя его чресел, — он не сомневался, что это будет сын, — и Мэри-Джим тоже. Они не сошли бы за влюбленных, но уживались мирно и были неизменно вежливы друг с другом («как и не женаты вовсе», говорили в городе). Но мрачная женщина из Оттавы избрала именно этот момент, чтобы уволиться, — с вероломством, свойственным домашней прислуге. Хозяева, увольняющие работников, обязаны назвать причину; работники же не обязаны объяснять, почему уходят. Но мрачная накрахмаленная женщина добровольно

сообщила, что еще год в Блэрлогги ее прикончит, и мстительно добавила: раньше она слыхала, что Блэрлогги — безумная глушь, а теперь сама в этом убедилась. Так что беременная Мэри-Джим была вынуждена ухаживать за больным ребенком одна, если не считать помощи Виктории Камерон. Виктория, похоже, переходила в разряд старых семейных слуг и хранителей, хотя ей было лишь немногим за тридцать. Доминике Тремблэ доверять было нельзя, и в детскую ее не пускали.

Это было неудобно, так как сенатор желал, чтобы его кухарка несла вахту у него на кухне. Майор трясся над женой, как новобрачный, и, когда она уставала или унывала, роптал на судьбу. Что-то надо делать, сказал доктор Джером. Сначала он сказал это Корнишам, Марии-Луизе и тетушке Мэри-Бен, а потом, с особым нажимом, повторил сенатору, когда они в очередной раз сидели за стопочками виски в библиотеке с уникальными панелями.

— Не буду ходить вокруг да около. Гораздо лучше было бы для всех, если бы этот ребенок умер. Он — тяжкая ноша и всегда будет тяжкой ношей, и для нового ребенка тоже, потому что старший брат-кретин — это тяжелое бремя.

— Когда его сюда привезли, ты сказал, что он

не выживет.

— Да, я знаю, что я это сказал, и я был прав. Это ребенок не прав. Он не имел права жить так долго — в таком виде. Пять лет! Это совершенно антинаучно.

— И конечно, делу никак нельзя помочь.

Доктор выдержал паузу:

— Как сказать.

— Джо… неужели ты предлагаешь…

— Нет. Я католик, как и ты, и столп Церкви — пускай и стою не в центре, а с краю. Жизнь, какова бы она ни была, священна. Но будь у этого швейцарца хоть капелька мозгов, он не стал бы вмешиваться, когда ребенок родился. Первые пять минут… можно не то чтобы пригласить смерть, но предоставить природе решать. Я сам это проделывал десятки раз, и совесть меня никогда не мучила. Но иные доктора желают похвалиться своим искусством и потому забывают о всякой ответственности, о человечности. Я тебе скажу начистоту: я был бы рад, если бы вы освободились от этого ребенка. Он плохо действует и на Мэри-Джим, и на всех вас.

— Да, но что ты имел в виду, когда говорил «как сказать»?

— Ребенок сильно сдал за последние несколько

месяцев. Может, мы от него еще отделаемся — и чем скорей, тем лучше.

Очевидно, подозрения доктора Джерома были небеспочвенны. Через несколько дней, после громогласной ссоры с супругом, Мэри-Джим срочно вызвала отца Девлина, и ребенка покрестили во второй раз — уже в католичество. И всего через день-два лучший рабочий с деревообрабатывающей фабрики сенатора изготовил маленький гробик — чудо мастерства. Ночью маленькая процессия из двух карет направилась на католическое кладбище — мрачное, голое, открытое всем ветрам. Шел март, и на кладбище было ужасно холодно. Похороны прошли в узком кругу, насколько это вообще возможно. Могилку выкопал Старый Билли, киркой и лопатой разбивая мерзлую землю. Он стоял в стороне, пока сенатор, Мария-Луиза, тетя Мэри-Бен и майор Корниш слушали, как отец Девлин читает погребальную службу. Сенатор и майор светили керосиновыми лампами. Никто не пролил ни одной слезы, когда первого внука сенатора погребли на доселе пустом семейном участке Макрори.

Когда пришла весна, тетя Мэри-Бен распорядилась, чтобы на могилке поставили камень. Небольшой, белого мрамора, всего фут шириной,

а высотой от силы три дюйма. Рельефные буквы на камне гласили: «ФРЭНСИС».

После этого беременность Мэри-Джим проходила просто прекрасно. 12 сентября предмет биографического труда Симона Даркура наконец родился и был крещен в англиканской церкви как Фрэнсис Чигуидден Корниш.

*– Вот и твой подопечный, — сказал Цадкиил Малый. — Ты, конечно, присутствовал при рождении?*

*— А где я еще мог быть? — ответил даймон Маймас. — Я заступил на пост, если можно так выразиться, в момент зачатия — десятого декабря тысяча девятьсот восьмого года в двадцать три часа тридцать семь минут.*

*— А что ты должен был делать? — спросил ангел биографии.*

*– Выполнять приказы, конечно. Как только Фрэнсиса зачали — как только майор удачно оргазмировал, — меня вызвали наверх и сказали: «Это твой; старайся, но не выпендривайся».*

*— А что, были прецеденты?*

*— Я всегда считал, что несколько цветистых росчерков не повредят ничьей биографии. Возможно, перестарался пару раз. Но Они совсем по-другому смотрят на вещи. Вручая мне Фрэн-*

*сиса, Они велели не выпендриваться, и я всячески старался не выпендриваться. Этой семье просто необходим был кто-нибудь вроде меня.*

*— Они показались тебе скучными?*

*— Дорогой Цадкиил, мы еще даже не начали говорить о Блэрлогги. Это — воплощение скуки! Но по опыту нескольких эонов я знаю, что хорошее скучное начало не мешает интересной жизни. Подопечный так старается убежать от этой скуки, что с ним можно проделывать очень интересные вещи. Точнее, вложить ему в голову, чтобы проделывал сам. Без меня Фрэнсис стал бы достопочтенным горожанином, таким же, как и все остальные. Конечно, я знал все, что следует, о похоронах первого Фрэнсиса. Это было забавно, как сказал тогда майор.*

*— Ты совершенно безжалостен.*

*— Ты тоже, и даже не притворяйся, что это не так. Давным-давно — давай будем говорить так, как будто время для нас реально, — я узнал: когда духу-наставнику вроде меня вручают подопечного, жалость только все портит. Гораздо лучше протащить его через гонку с препятствиями, сквозь колючие изгороди, закалить его. Трястись над неженками — не моя работа.*

*— Ну так что — раз мы добрались до Фрэнси-*

*са, давай двинемся дальше? Мы должны были пристально разглядеть его ближайших предков, потому что они — то, что заложено у него в костях. А именно это и пытается раскопать бедный Даркур.*

*— Да, но теперь за дело взялся я — даймон Маймас, неусыпный дух-хранитель. Фрэнсис был и Макрори, и Корниш, и все прочее, что прилагается при такой смеси. Все это было заложено у него в костях, но, кроме этого, в них был заложен я — прямо с момента зачатия. И это все изменило.*

## Часть вторая

Впервые в жизни Фрэнсис Корниш осознал себя — как существо, наблюдающее отдельный от него мир, — в саду. Фрэнсису было почти три года. Он заглядывал в глубины роскошного красного пиона. Фрэнсис остро ощущал, что он живой (хоть и не научился еще думать о себе как о Фрэнсисе), и пион тоже в своем роде ощущал, что живет на свете, и они взирали друг на друга с высоты эгоизма (каждый — своего) и серьезной уверенности в себе. Мальчик кивнул пиону, и пион, кажется, кивнул в ответ. Мальчик был аккуратненький, чистенький и хорошенький. Пион был распущенный, растрепанный, как положено пиону на пике красоты. Это был важный момент — первая сознательная встреча Фрэнсиса с красотой, которой предстояло стать радостью, мукой и горечью его жизни. Но, кроме самого Фрэнсиса и, может быть, пиона, никто не узнал об этой встрече, а если бы и узнал, то не обратил бы внимания. Каждый час полон моментов, которые для кого-то судьбоносны.

Сад принадлежал матери Фрэнсиса. Впрочем, ошибкой было бы счесть, что Мэри-Джим увлека-

лась садоводством. Сады ее мало интересовали. Сад у нее был только потому, что молодой состоятельной замужней женщине полагалось его иметь. Если бы Мэри-Джим решила, что сад ей не нужен, майор запротестовал бы: у него были незыблемые убеждения по поводу того, что нравится женщинам. Женщинам нравятся цветы; в определенных случаях женщинам дарят цветы; в определенных случаях женщин положено сравнивать с цветами. Хотя, пожалуй, не с пионами: пион — красивый, но развратный цветок. Сад был плодом труда мистера Мейдмента и отражал его скучную, геометрически правильную душу.

Фрэнсиса не часто оставляли в саду одного. Мистер Мейдмент не любил мальчиков — они топчут траву и срывают цветы. Но в этот волшебный миг Белла-Мэй оставила Фрэнсиса, поскольку ей понадобилось на минуту зайти в дом. Фрэнсис хорошо знал, что она пошла писать, как делала часто, ибо у нее, как и у всех Эльфинстонов — ее родни, — был слабый мочевой пузырь. Белла-Мэй не знала, что Фрэнсис знает, поскольку в ее обязанности входило защищать его от травмирующих фактов окружающей действительности. В ее примитивном мозгу царило убеждение, что маленькие мальчики не должны

знать о животных потребностях взрослых. Но Фрэнсис, даже если и не осознавал полностью, кто такой Фрэнсис, все же знал, куда ходит Белла-Мэй, и чувствовал себя слегка виноватым из-за того, что знает. Он пока не очень хорошо умел рассуждать и не мог еще сделать вывод, что, раз Белла-Мэй обременена такими низкими телесными нуждами, то же относится и к его родителям. Родители пока были для Фрэнсиса далекими богоподобными существами. Конечно, они никогда не раздевались (хоть и появлялись несколько раз на дню в новых нарядах), но Фрэнсис видел, как раздевается Белла-Мэй или, во всяком случае, стаскивает с себя одежду под покровом ночной рубашки, потому что Белла-Мэй спала у него в детской. Кроме того, она каждый вечер перед сном сто раз проводила щеткой по грубым волосам цвета ржавчины — Фрэнсис слышал, как она считает, и обычно крепко засыпал задолго до ста.

По настоянию майора Беллу-Мэй звали «няня». Но Белла-Мэй, верная дочь Блэрлогги, считала, что очень глупо звать человека не его именем. Майора и миссис Корниш она считала зазнайками и не думала, что работа няньки — предмет для гордости. Это была работа, и Белла-Мэй старалась

как могла, но у нее были свои соображения, и порой она шлепала Фрэнсиса — не потому, что он как-то особенно шалил, но в качестве личного протеста против семьи Корниш и всего их уклада, идущего вразрез с убеждениями Блэрлогги.

После встречи с пионом, но до того, как Фрэнсису исполнилось четыре года, он узнал, что Белла-Мэй — Ужасная. Она была некрасива, если не откровенно уродлива, а взрослые женщины обязаны быть красивыми, как мама, и пахнуть дорогими духами, а не крахмалом. Белла-Мэй регулярно чистила зубы коричневым мылом, и Фрэнсиса тоже заставляла, хотя в детской всегда был зубной порошок. Это было Ужасно. Еще Ужаснее было ее неуважение к святым образам, которые висели на стене детской. Тут были ярко раскрашенные портреты короля Эдуарда VII и королевы Александры, и раз в месяц Белла-Мэй скоблила их стекла порошком «Бон ами», бормоча себе под нос: «Ну-ка, пожалуйте умываться». Если бы майор это знал, он бы задал Белле-Мэй. Но он, конечно, не знал, потому что Фрэнсис не был ябедой, — Белла-Мэй терпеть не могла ябед. Но Фрэнсис был наблюдателен и вел мысленное досье на Беллу-Мэй. Если бы родители Фрэнсиса могли заглянуть в это досье, они бы, несомненно,

ее уволили.

Взять хотя бы ее дерзость по отношению еще к одной картине, висевшей в детской: изображению Некой Особы. Белла-Мэй терпеть не могла идолов; она принадлежала к немногочисленной в Блэрлогги пастве Армии спасения и точно знала, что правильно, а что нет. Изображение Некой Особы, тем более в детской, не имело права существовать.

Разумеется, она не могла ни убрать картину, ни даже перевесить ее в другое место: картину повесила у кроватки Фрэнсиса тетя, мисс Мария-Бенедетта Макрори, которую точнее было бы называть двоюродной бабушкой. Белла-Мэй не единственная косилась на изображения Некой Особы: майор тоже был недоволен, но решил не затевать ссору с тетушкой и терпеть, так как у детей и женщин всегда бывают разные причуды, связанные с религией. А когда мальчик подрастет, отец, разумеется, покончит со всей этой ерундой. Так что картина висела себе — ярко раскрашенное изображение Иисуса. Он печально улыбался, словно зрелище, представшее большим карим глазам, причиняло Ему боль. Он был в синем хитоне и простирал к зрителю белые руки в традиционном жесте, как бы говоря: «При-

идите ко мне». Он словно плавал в небе на фоне множества звезд.

Время от времени тетя Мэри-Бен приходила «пошептаться по секрету» с Фрэнсисом.

— Когда молишься, посмотри сначала на Иисуса, потом закрой глазки, но представляй себе картинку, как будто она перед тобой. Потому что ты молишься именно Ему, понимаешь? Он знает все про всех маленьких мальчиков и любит их крепко-крепко.

Белла-Мэй точно знала, что Иисус не любит видеть маленьких мальчиков голыми, и всегда переодевала Фрэнсиса очень быстро, с определенными стыдливыми предосторожностями.

— Ты же не хочешь, чтобы Иисус видел твою голую «мадам Сижу»? Видишь, какие у Него большие глаза? — говорила она, умудряясь выразить в этих словах упрек и Фрэнсису, и Иисусу. Ибо запасы ее неодобрения были безграничны.

Религиозная доктрина Армии спасения изливалась из уст Беллы-Мэй в виде неодобрения того и сего; Белла-Мэй жила этой доктриной и часто произносила боевой клич Армии «Кровь и пламя!» с жаром, с каким люди обычно ругаются.

Белла-Мэй старалась, чтобы Армия спасения играла как можно большую роль в жизни Фр-

энсиса, хотя, конечно, не рисковала водить его в храм: майор этого не потерпел бы. Но не реже двух раз в неделю Фрэнсис лицезрел Беллу-Мэй во всем великолепии униформы, и он же был первым, кто увидел Беллу-Мэй во всем блеске, увенчанную Шляпой.

Униформа Армии спасения стоила недешево, и Белла-Мэй покупала обмундирование по частям, скопив нужную сумму. Так, она постепенно приобрела ботинки на низком каблуке, черные чулки, юбку, мундир с чудесными пуговицами. Настало время великого решения. Купить ли ей чепец, всем знакомый головной убор Девушек Армии спасения, или выбрать Шляпу? Шляпа была широкополая, с плоской тульей, из синего фетра, с роскошной красно-золотой лентой, очень похожая (хотя Белла-Мэй этого не знала) на головной убор католических священников в соседнем Квебеке. Белла-Мэй долго вглядывалась в собственную душу, молилась о вразумлении и в конце концов выбрала Шляпу.

Став владелицей полного облачения, Белла-Мэй явилась Фрэнсису во всем блеске. Она маршировала по детской и пела в своеобразном стиле — дополняя песню звуками, которые должны были изображать оркестр.

*У Креста, у Креста*

*Воссиял мне Божий свет,*

*Будем славить мы Христа: ни следа от скорби нет*

*(пум! пум!)*

*Откровенье снизошло,*

*Как мне праведником стать:*

*На душе моей светло, счастлив я – не передать!*

*(Плям! – сердито сказали цимбалы).*

*У Креста-а-а-а-а, у-у-у-у-у Креста-а-а*

*Воссиял мне Божий свет*

*(пум-ти-пум!)*

*Вот такая благодать!*

*Будем славить мы Христа,*

*Счастлив я – не передать!*

*(Бум! БУМ!!)*

Удержаться было невозможно. Фрэнсис соскочил с кровати и принялся вышагивать за Беллой-Мэй, экстатически выкрикивая в нужный момент под ее руководством: «Тебе слава!» и «Мой Спаситель!». Душа его воспаряла ввысь. Он перестал бояться гнева Некой Особы и решитель-

но избегал взгляда печальных глаз. Он не знал, о чем поет, но пел от сердечной радости.

Дверь детской отворилась. Появилась крохотная фигурка тети Мэри-Бен; тетя приятно улыбалась и кивала головкой в маленьком мягком чепчике. Она вовсе не была против. Ни в коем случае! Она жестом велела Фрэнсису вернуться в постель и отвела Беллу-Мэй к окну, где несколько минут что-то очень тихо говорила ей, после чего Белла-Мэй с плачем выбежала из комнаты.

Засим тетушка сказала:

— Фрэнки, давай помолимся перед сном. Или вот что: давай я помолюсь, а ты послушаешь.

Тетя с мальчиком встали на колени у кровати, и тетя вытащила из кармана что-то вроде бус, каких Фрэнсис никогда не видел: черные шарики разного размера были нанизаны на серебряную цепочку, и тетя принялась, пропуская шарики меж пальцев, бормотать что-то похожее на стихи. Закончив, она почтительно поцеловала крестик, подвешенный к бусам, и с милой улыбкой протянула их Фрэнсису, чтобы он тоже поцеловал. Фрэнсису понравилось целовать крестик, понравилась благоговейная тишина и воздействие стихов. Это было не хуже, чем марш Беллы-Мэй, но совсем другое. Он подержал крестик в руке, не

желая его отдавать.

— Хочешь такие, Фрэнки? — спросила тетушка. — Боюсь, что эти, прямо сейчас, я не могу тебе дать, но, может быть, скоро подарю тебе такие же. Это называется четки, милый, а по-другому — розарий, потому что это сад молитвы, где растут дивные розы. Этот сад принадлежит милой Матери Иисуса, и, когда мы молимся с четками, мы подходим к Ней очень близко и можем даже увидеть Ее прекрасное лицо. Но это будет наш с тобой секрет. Не говори папе, хорошо?

Тетя могла не опасаться. Разговоры Фрэнсиса с отцом носили совершенно другой характер.

— Фрэнк, поди сюда, я тебе покажу свое ружье. Загляни в дуло. Видишь? Чисто, как в аптеке. Всегда держи ружье чистым и смазанным. Оно того заслуживает. За хорошим ружьем и уход должен быть хороший. Когда подрастешь, я тебе куплю ружье и научу с ним обращаться. Чтобы ты стрелял как спортсмен, а не как убийца.

Или:

— Фрэнк, пойдем, я тебе покажу, как завязывать мушку для форели.

Или:

— Фрэнк, погляди на мои сапоги. Видишь, как блестят? Я никогда не позволяю горничным до

них дотрагиваться. Этим сапогам одиннадцать лет, а по виду ни за что не скажешь. Вот что значит правильный уход! Человека видно по обуви. Всегда заказывай ботинки у лучшего сапожника. Только мужланы ходят в нечищеной обуви.

Или, на ходу:

— Фрэнк, стой прямо. Никогда не горбись, даже если устал. И выгни спину немножко: на параде это выглядит очень красиво. Приходи завтра после завтрака, я тебе покажу свою саблю.

Хороший отец, твердо намеренный вырастить сына хорошим человеком. Пожалуй, никто не ожидал такого от Деревянного Солдатика. В майоре оказались неизведанные глубины любви. И гордости. Но не поэзии.

Мама была совсем другая. Она очень любила сына, но как будто умела по желанию включать и выключать эту любовь. Она почти не видела Фрэнсиса — разве что случайно, потому что у нее было ужасно много дел. Ей надо было развлекать отца и предотвращать нежелательные встречи, когда Корниши выходили воскресным утром в церковь Святого Альбана, а карета Макрори в это же время выезжала в сторону храма Святого Бонавентуры; надо было читать один за другим романы с хорошенькими картинками на облож-

ке; надо было заводить фонограф с «Лучшими ариями из „Волшебника Нила“»[138], среди которых Фрэнсис больше всего любил такую:

*Что это творится тут?*
*Все топочут – просто жуть!*
*Что тут делает народ?*
*Что? Танцует тэрки-трот!*
*Посмотри, как ритм сменился,*
*Наш танцор со счета сбился —*
*И танцует он прескверно!*
*Это точно гризли-беар*[139]*!*
*Можно со стыда сгореть:*
*Он танцует как медведь!*

Это было чудесно — лучше всего на свете. Не хуже папиной сабли, таинственных тетушкиных бус и мундира Беллы-Мэй, который, правда, Фрэнк с тех пор не видал. Мама брала его за ру-

---

**[138] Примечания: 138**

*«Волшебник Нила»* (The Wizard of the Nile) — оперетта-бурлеск американского композитора Виктора Герберта (1859–1924), впервые поставленная в 1895 г.

**[139] Примечания: 139**

*Танцует тэрки-трот! <...> Это точно гризли-беар!* — Тэрки-трот («шаг индейки», ср. фокстрот — «шаг лисы») и гризли-беар («медведь гризли») — названия популярных танцев, проникших из репертуара чернокожих американских исполнителей в массовую культуру.

ки, и они танцевали тэрки-трот — все кругом и кругом, по хорошенькой маминой гостиной. Как чудесно!

В своем роде это было так же чудесно, как счастье первой встречи с пионом, но, может быть, все-таки не совсем, потому что та встреча принадлежала только Фрэнку, — он мог повторить ее летом и вспоминать о ней зимой, ни с кем не делясь.

Все было чудесно, пока в одно сентябрьское утро 1914 года мир не разлетелся на куски. Белла-Мэй отвела Фрэнка в школу.

Обитатели «Чигуидден-лодж» могли бы уделить этому событию больше внимания, но домашняя жизнь пришла в неустройство из-за частых отлучек майора и его жены — сначала по нескольку дней, потом недель, потом месяцев. Майор с женой ездили в Оттаву, где их все сильнее привечали в резиденции генерал-губернатора. Кроме того, происходили таинственные встречи с военными властями: майор выступал как представитель генерал-губернатора, герцога Коннахтского, который был фельдмаршалом и знал о военных делах больше, чем большинство канадских кадровых военных. Герцог, будучи представителем короны, не мог быть слишком

на виду и не хотел создавать положения, при которых канадцы могли потерять лицо. Поэтому нужен был человек, который доставлял бы информацию в Ридо-холл и советы из Ридо-холла, не задевая ничьего самолюбия. Этим человеком стал майор Корниш — воплощение такта. И когда наконец война против Германии и так называемых Центральных держав была объявлена, майор занял должность, которой не сразу подобрали официальное название, но по сути стал главой военной разведки, насколько таковая существовала в Канаде, и вместе с Мэри-Джим переехал в Оттаву. Он сказал сенатору, что они вернутся, когда кончится война, — тогда все думали, что это ненадолго.

Никто особо не задумывался над образованием Фрэнсиса. Для Марии-Джейкобины все заслонила Оттава, удовольствия и интриги при дворе вице-короля, а она была из тех матерей, которые уверены, что если они счастливы, то и с их ребенком все в порядке. Фрэнсис был слишком мал, чтобы отправить его в пансион, и к тому же страдал от постоянных тяжелых простуд и бронхитов.

— Пусть пока походит в местную школу, — сказал майор, но не Фрэнсису.

Надо заметить, что Фрэнсису вообще ничего не сказали, пока вечером перед началом учебного года Белла-Мэй не заявила:

— Ну-ка ложись, завтра тебе рано вставать: ты идешь в школу.

Фрэнсис прекрасно разбирался в ее интонациях и уловил в этих словах нотки злорадства.

На следующий день Фрэнсис вытошнил весь завтрак, а Белла-Мэй заявила ему, что не потерпит такого, потому что у них совсем нет времени. Крепко — пожалуй, крепче обычного — сжимая его руку в своей, она отконвоировала его в Центральную школу Блэрлогги и сдала в подготовительный класс при школе.

Школа была неплохая, но ее обитатели не привыкли ни к детям, которых приводит за руку няня, ни к детям, одетым в матроску и фуражку с надписью «Славный». Подготовительные классы располагались в здании старой школы, к которому было пристроено большое новое школьное здание. Внутри воняло — вполне объяснимо — маслом для натирки полов, меловой пылью и многими поколениями детей, не дотерпевших до туалета. Учительница мисс Уэйд улыбалась и была вполне дружелюбна, но незнакома Фрэнсису, и среди трех десятков детей в классе не нашлось

ни одного знакомого лица.

— Его зовут Фрэнсис Корниш, — объявила Белла-Мэй и удалилась.

Кое-кто из детей плакал, и Фрэнсис уже было собрался последовать их примеру. Но он знал, что отец не одобрил бы такого, а потому закусил губу и сдержался. По приказу мисс Уэйд и учительницы-практикантки, которая ей помогала, дети расселись на стульчиках по кругу, нарисованному на полу красной краской.

Чтобы сразу установить дружелюбную атмосферу, мисс Уэйд велела детям вставать по очереди, называть свое имя и говорить, где они живут, чтобы она могла приготовить что-то под таинственным названием «классный журнал». Дети повиновались. Одни смело выкрикивали все, что надо, другие справлялись с именем, но не могли объяснить, где живут. Третьей по порядку была маленькая девочка, которая потеряла самообладание и обмочилась. Многие дети засмеялись, зажимая нос и явно получая удовольствие от происходящего, а практикантка кинулась к девочке с мокрой тряпкой для пола и носовым платком для глаз. Когда пришла очередь Фрэнсиса, он тихо сказал: «Фрэнсис Чигуидден Корниш, „Чигуидден-лодж“».

— Как твое второе имя, Фрэнсис? — переспросила мисс Уэйд.

— Чигген, — повторил Фрэнк — так его учили произносить это название.

Мисс Уэйд растерялась и из лучших побуждений переспросила:

— «Чикен»?[140] Ты сказал «Чикен»?

— Чигген, — еще тише поправил Фрэнсис, но его заглушили голоса тридцати других детей, которые принялись восторженно выкрикивать: «Чикен! Чикен!»

Это было что-то понятное, удобная зацепка. Мальчишку в дурацком костюме зовут Чикен! Вот это да! Гораздо лучше той девчонки, которая описалась!

Мисс Уэйд восстановила порядок, но на перемене дети кричали: «Чикен! Чикен!» — целых пятнадцать минут и были совершенно счастливы. В приготовительном классе учились лишь до обеда, и, как только детей распустили, Фрэнсис со всех ног побежал домой, а в спину ему летел презрительный смех.

На следующее утро Фрэнсис заявил, что не пойдет в школу.

---

**[140] Примечания: 140**

Чигген созвучно с «чикен» *(англ.* chicken — курица; в переносном смысле — трус).

— Еще как пойдешь, — сказала Белла-Мэй.

— Не пойду, — сказал Фрэнсис.

— Хочешь, чтобы я отвела тебя к мисс Макрори? — припугнула его Белла-Мэй, ибо в отсутствие родителей тетушке Мэри-Бен дали полную власть вязать и решать во всех вопросах, лежащих вне компетенции няньки.

Так что Фрэнсис отправился в школу под конвоем Беллы-Мэй, и второй день оказался еще хуже первого.

Школьники постарше услыхали, что у малышей завелось что-то необычайное, и на перемене Фрэнсиса окружили большие мальчишки, желающие расследовать дело.

— Не Чикен, а Чигген, — сказал Фрэнсис, изо всех сил стараясь не плакать.

— Видите, он сам говорит, что его зовут Чикен! — завопил один мальчик с явными задатками лидера, ставший впоследствии политиком.

— Да ну, — сказал другой мальчик, философ, желающий смотреть вглубь вещей. — Не могут человека так звать. Ну-ка скажи еще раз.

— Чигген, — сказал Фрэнсис.

— М-да, и впрямь Чикен, — признал мальчик-философ. — Правда, у тебя каша во рту, но все равно Чикен. Ух ты!

Мальчики были полны презрения, но девочки оказались еще хуже. У них была своя площадка для игр, куда мальчикам вход был воспрещен, но во многих местах граница напоминала экватор, то есть была воображаемой линией. Мальчики решили, что будет очень забавно выпихнуть Фрэнсиса на девчачью территорию, — все равно если человека зовут Чикен, то он, скорее всего, девчонка. Когда это случилось, девочки окружили Фрэнсиса и стали говорить не с ним, но через его голову.

— Его зовут Чикен! — вопили одни, визжа от радости.

Эти девочки принадлежали к женскому типу, который психологи позже назовут Гетерой, или Блудницей.

— Да ну, не лезьте к нему. Наверно, у него мамка с папкой дурные. Смотри, он щас заплачет. Он не виноват, что у него родители психи. Мальчик, тебя правда зовут Чикен?

Этих девочек психолог отнес бы к типу Матерей: они стремились питать и защищать. Их жалость была едва ли не хуже открытой издевки.

Учителя патрулировали обе площадки; у каждого в руках был колокольчик. Учитель придерживал его за язычок и чаще всего пристально

глядел на небо. Играя роль стражей порядка, они, как настоящие полицейские, не обращали внимания ни на что, кроме разве убийства или поджога. Если бы их спросили, они, наверное, сказали бы, что Корниш пользуется популярностью у соучеников: вокруг него всегда кипит какая-то игра.

Но нужно жить, а иногда это значит просто терпеть. Фрэнсис терпел, и мучители постепенно успокоились, хотя каждые две-три недели игра возобновлялась. Фрэнсис начал ходить в школу сам, без Беллы-Мэй. Уроки были омерзительны. Дурацкое вырезание из бумаги, какое годится только для младенцев, — Фрэнсис справлялся с ним шутя, и это занятие было ниже его достоинства. Еще дети сшивали карточки с грубо пробитыми в них дырками, чтобы получилась картинка (обычно — силуэт какого-нибудь животного). Еще они учились определять время по часам, что Фрэнсис и так давно уже умел. Учили наизусть 23-й псалом и скучный гимн, который начинался словами:

*Могу ли я, еще дитя,*
*Достойно восхвалить Отца? —*
*и переходил к монотонному (так как*

*мисс Уэйд была не бог весть каким регентом) припеву:*

*Отец наш, хвала, Отец наш, хвала,*

*Отец наш Небесный, хвала!*

Фрэнсис, развитой не по возрасту в области богословия, задавался вопросом: почему он должен хвалить некоего Отца, кто бы тот ни был, за всю эту скуку и мучения?

Именно в детском саду была заложена незыблемая основа пожизненной мизантропии Фрэнсиса. Представители человечества, к которым забросила его судьба, мучили и дразнили его, не допускали до своих секретов и не принимали в игры, кроме случаев, когда играли все до одного. Они смеялись над его одеждой, и однажды кто-то написал слово «х...» чернильным карандашом на воротнике его матроски, за что Белла-Мэй его жестоко отругала.

Дома он ни о чем не мог рассказать. Когда (очень редко) родители приезжали в Блэрлогги на выходные, мама говорила ему, что он должен быть очень-очень хорошим мальчиком, потому что папа делает очень важную работу в Оттаве и его нельзя беспокоить. Ну как дела в школе?

— Ничего...

— «Ничего» — это значит «совсем ничего нет», Фрэнк. «Ничего» вместо «хорошо» говорят только глупые люди.

*Люби Бога и трудись,*
*Сердцем всем Ему молись:*
*Отец наш Небесный, хвала!*

*– Итак, Фрэнсис перешел из райского сада детства в детский сад, — заметил Цадкиил Малый.*

*— Вот так он испытал второе изгнание из рая, — отозвался даймон Маймас. — Первое изгнание — это, конечно, рождение, когда человека выпихивают из рая материнской утробы. Второе — когда он покидает дом, где был счастлив, если ему посчастливилось иметь такой дом, и оказывается среди своих сверстников.*

*— Но конечно, глупо было посылать его в детский садик в белом костюмчике и в сопровождении няньки?*

*– Об этом никто не подумал. Майор и его жена думали только об оттавской работе майора, суть которой Фрэнсису, конечно, никто никогда не разъяснял. Но майор был не дурак и почуял приближение войны гораздо раньше, чем многие люди поважней его чином.*

*— Ты как будто доволен тем, что случилось с*

*твоим подопечным.*

*— Я примерно представлял себе, в каком направлении собираюсь его толкать, а я люблю начинать закалку стали заранее. Не одна многообещающая жизнь была испорчена счастливым детством. Кроме того, детство Фрэнсиса нельзя назвать полностью несчастным. Продолжай рассказ, и увидишь.*

Приближалось Рождество, и стало ясно, что война затягивается; майор решил закрыть «Чигуидден-лодж» и переехать в Оттаву. Фрэнсиса, конечно, глупо было бы брать с собой, так как ни отец ни мать не могли им заниматься. Мэри-Джим с головой ушла в работу дамских комитетов. Она была очаровательна в суровой одежде, которая, по ее мнению, подходила к этой роли. Решили, что Фрэнсис переедет в «Сент-Килду» под крыло бабушки с дедушкой и тети Мэри-Бен.

Переезд сильно облегчил его участь. Тетушка немедленно купила ему одежду, похожую на то, в чем ходили остальные дети Блэрлогги. Фрэнсис блаженствовал в вельветовых бриджах и клетчатой спортивной куртке. Дурацкую бархатную кепку с ушами сменила вязаная шапочка. К тому же теперь Фрэнсис жил в комнате с нормальной, взрослой мебелью, а не в детской. Лучше

всего было то, что Белла-Мэй осталась в «Чигуид-ден-лодж» смотреть за домом, а тетя деликатно объяснила Белле-Мэй, что она может больше не утруждать себя заботой о Фрэнсисе. Это устраивало Беллу-Мэй, по ее собственным словам, сверху донизу, потому что оставляло ей больше свободного времени для продвижения в ее любимой Армии.

Жизнь Фрэнсиса сильно переменилась. Теперь он ел за столом со взрослыми, и оказалось, что застольные манеры, которых он набрался от Беллы-Мэй, нужно срочно улучшать. Во-первых, ему запретили чавкать. Белла-Мэй любила поесть и при этом громко и смачно чавкала, а так как Фрэнсис никогда не ел с родителями, его чавканье доселе проходило незамеченным. Он также научился бормотать молитву перед едой и осенять себя крестным знамением до и после еды. Научился аккуратно управляться с ножом и вилкой, и ему запретили гонять куски еды по тарелке. А самое главное — научился говорить по-французски.

Взрослые не сразу решились его учить. *Grand-*

*père*[141] и *Grand-mère*[142] хотели иметь возможность говорить за столом так, чтобы внук их не понимал. Но тетя сказала, что он все равно нахватается языка, — не лучше ли сразу учить его как следует. Поэтому Фрэнсис сидел рядом с тетушкой и учился вежливо просить все нужное, а потом — говорить другие вещи, и все это на чистом, приятном французском, которому тетушка научилась в монастыре. Кроме этого, Фрэнсис выучил патуа (который тетушка называла лесным французским) — на этот диалект переходили бабушка и дедушка, обсуждая какой-нибудь секрет.

Французский язык открыл Фрэнсису целый новый мир. Конечно, Фрэнсис и раньше замечал, что многие жители Блэрлогги говорят на этом языке, с разной степенью элегантности, но теперь обнаружилось, что владельца скобяной лавки, некоего Дежоде, на самом деле зовут Эмиль Дежарден, а семейство Ле Гарри носит фамилию Легарэ. Однако тут нужен был такт, поскольку среди англоговорящих жителей городка считалось делом чести как можно сильнее уродовать французские фамилии, чтобы отомстить людям,

---

**[141] Примечания: 141**
Дедушка *(фр.)*.

**[142] Примечания: 142**
Бабушка *(фр.)*.

которые имеют глупость (или коварство) говорить на никому не понятном жаргоне. Скорее всего, они еще и предатели. Но Фрэнсис был смышленым мальчиком («на ходу ловит», как выражался сенатор) и выучил не только два французских языка, но и два английских. На школьном дворе большое количество чего-либо следовало называть «агроменная куча», а любое расстояние, которое невозможно было покрыть пешком, — «далёко». Если один взрослый приветствовал другого словами: «Хороший денек, э?» — другой должен был ответить: «Лучше не бывает». Фрэнк осваивал все эти нюансы с той же легкостью, с какой ел и рос, и к девяти годам был уже не дву-, а многоязычен: он мог поговорить с любым встречным на его языке, будь то французский, патуа, английский язык канадских шотландцев или диалект долины верхней Оттавы. Кроме того, Фрэнк усвоил хорошие манеры и никогда не стал бы, например, «тыкать» мадам Тибодо, чье положение в свете росло сообразно с ее весом.

Насколько до сих пор Фрэнсиса творила и ваяла Белла-Мэй, настолько теперь его формировала и духовно окутывала тетушка. Это стоило доброй даме немало беспокойных часов, потому что, ко-

гда Фрэнсиса передавали в «Сент-Килду», майор торопливо и с явным смущением сказал, что его сын — протестант и, более того, принадлежит к англиканской церкви, поэтому он, майор, попросил каноника Тремейна, чтобы тот время от времени заходил проведать мальчика. Но каноник Тремейн был ленив и не желал обращать против себя такую важную особу, как сенатор. Поэтому он зашел в «Сент-Килду» только раз, к полному удивлению Марии-Луизы, которая сказала, что, конечно, мальчик здоров и счастлив, и, конечно, ходит в протестантскую школу, и, конечно, молится как положено, и не желает ли каноник еще кусочек торта? Каноник с удовольствием съел предложенное и забыл, что собирался спросить, почему мальчик никогда не появляется в церкви Святого Альбана. Но теперь все заботы о душе Фрэнсиса пали на тетушку.

Тетушка все знала про души. Запущенная душа приманивает в себя врага рода человеческого, а стоит ему войти — и его уже почти невозможно изгнать. Фрэнсис умел молиться перед сном: «День прошел, иду ко сну…» — и, конечно, знал, кто такой Иисус, потому что портрет Некой Особы висел в детской, сколько Фрэнк себя помнил. Но чем именно был так важен Иисус, Фрэнк не

знал. Не знал он и того, что Иисус всегда рядом, наблюдает за тобой и, несмотря на то что давно умер, все же невидимо присутствует. Что же до Божьей Матери, друга и хранителя всех детей, Фрэнсис о Ней даже не слыхал. При виде такого запущенного ребенка тетушкино сердце преисполнилось жалости. Она не могла понять, как Мэри-Джим могла настолько раствориться в муже-протестанте, чтобы допустить подобное. Что же делать?

Искать совета у Марии-Луизы было бесполезно: ее ловкий, практичный ум если вообще работал теперь, то был занят исключительно бриджем. Она организовала в приходе вечера бриджа и юкера для сбора денег на фронт, и эта работа поглощала ее целиком. Работа, впрочем, была непростая, так как большинство католиков в Блэрлогги были франкоканадцами и их патриотический пыл в войне Англии с ее врагами оставлял желать лучшего. Но Мария-Луиза, отведав роскошных яств при дворе английского короля, стала пламенной роялисткой. Мадам Тибодо оказалась еще менее полезной в борьбе за душу Фрэнсиса: дитя крестили в протестантизм, оно осуждено на вечные муки, и чего теперь шуметь? Сенатор и хотел бы помочь, но он подпи-

сал бумажонку Деревянного Солдатика и не мог взять назад свое обещание. Впрочем, он также пообещал не вмешиваться, если Мэри-Бен будет действовать самостоятельно. Он посоветовал поговорить с доктором Дж.-А. — у того светлая голова. Не ходи к попам, Мэри-Бен, пока не поговоришь с доктором.

Отличный совет! Доктор Дж.-А. Джером точно знал, что делать.

— Фрэнк — умный парень. Он много читает для своего возраста. Его нужно вести очень деликатно. Например, ты когда-нибудь говорила с ним о его святом покровителе?

Фрэнк родился 12 сентября, поэтому единственным святым, на которого он мог рассчитывать, был Гвидо Андерлехтский — бельгиец, который неудачно вложил все свои деньги, потерял их и после банкротства обратился к Богу. Такая история вряд ли могла возбудить религиозный пыл у девятилетнего мальчика. Но на этот день приходился также праздник Святого Имени Марии — почти забытый, сильно уступающий популярностью Дню Святого Имени Иисусова. Но для начала сойдет. И вот в один прекрасный день Фрэнсис обнаружил на стене своей комнаты большую олеографию с изображением Марии:

это была репродукция картины Мурильо, и, вопреки ожиданиям, Фрэнсису она очень понравилась. Мягкая красота Марии напомнила ему мать, которую он так редко видел. Он с интересом выслушал объяснения тети: как добра и нежна Матерь Божия и как Она следит за судьбой маленьких мальчиков. Доктор Дж.-А. оказался прав, как всегда.

— Я вовсе не одобряю то, что ты делаешь, — сказал он тетушке. — Но мне часто приходится давать советы, которым я бы никогда не последовал сам. Богоматерь — это гораздо лучше, чем Ее сынок. Я еще ни разу не видел мальчика, который искренне полюбил бы этого придирчивого проныру.

— Ах, Джо, ты это нарочно говоришь, чтобы меня шокировать.

— Может, и так, а может, и нет. Я иногда сам не знаю, что говорю. Но ты, кажется, идешь верным путем.

У Святого Альбана, куда Фрэнсиса брали с собой родители, и речи не было о чьей бы то ни было матери. Но Фрэнсис готов был слушать про кого угодно, если этот кто-то жалел несчастных, ибо сам Фрэнсис был глубоко несчастен.

Все потому, что его в одночасье перевели из

Центральной школы, расположенной недалеко от «Сент-Килды», в Карлайлскую сельскую школу: до нее было почти две мили, но «Сент-Килда» была приписана именно к ней, так как лежала на самом краю участка, относящегося к этой школе. Фрэнсиса перевели из-за того, что попечительский совет школ округа хотел насолить его деду: секретарь совета проверял списки и обнаружил, что Фрэнсис, переехав на сотню ярдов из дома отца в дом деда, оказался в зоне Карлайлской школы. Поэтому как-то в сентябре, когда Фрэнсис был в третьем классе, в десять часов утра ему и еще двоим детям велели собрать книги и явиться в новую школу к мисс Хелен Макглэддери. Не прошло и часа, как Фрэнсис оказался — во всех аспектах, актуальных для его возраста и развития, — в аду. Время, проведенное там, показалось ему вечностью.

Карлайлская сельская школа в то время не была исключительно сельской, так как находилась на окраине Блэрлогги, в районе, где жили в основном рабочие с разнообразных фабрик и заводов, принадлежащих сенатору. В обществе детей этих рабочих, а также фермеров, возделывающих каменистую, скудную землю сразу за околицей городка, Фрэнсис теперь получал образование

— по всем школьным предметам, а также, что гораздо важнее, по социальным, этическим и экономическим вопросам.

Он уже научился хитрить и потому сказал мисс Макглэддери, что его зовут Фрэнсис Корниш. Но ее заранее известили о новых учениках, и она велела ему объяснить, что означает буква «Ч.» в телефонном сообщении секретаря. И вся история началась заново, только с новыми и более искусными мучителями.

На первой же перемене к Фрэнсису подошел старший мальчик, ударил кулаком в лицо и сказал:

— Ну-ка, Чикен, покажи, как ты умеешь драться.

Они подрались, и Фрэнсис бесславно проиграл.

Отныне Фрэнсису приходилось драться дважды в день в течение трех недель, и каждый раз его побивали. Маленькие мальчики обычно не очень искусные бойцы: Фрэнсиса трясли, ему делали больно, но ни разу не нанесли серьезных травм. Но когда начинался урок, Фрэнсис сидел за партой несчастный, у него все болело, и мисс Макглэддери сердилась на него за невнимательность. Мисс Макглэддери было пятьдесят девять лет, и она упорно пробивалась сквозь ухабы и

тернии учительской карьеры: ей нужно было дотерпеть только до шестидесяти пяти, а там она сможет выйти на пенсию и, Бог даст, никогда больше не увидит никого из своих учеников.

Благодаря шотландским корням и тридцати годам преподавания в Карлайлской сельской школе мисс Макглэддери умела выстроить класс по струнке. В Карлайлской школе было только две классные комнаты, и мисс Макглэддери забирала себе все старшие классы, так что у нее под началом было три группы детей. Коротенькая, толстая, невозмутимая, она правила не железной дубиной, но кожаным ремешком, который учителям выдавали для наведения высшей справедливости. Мисс Макглэддери нечасто пользовалась ремешком: ей достаточно было вытащить его из ящика и положить на стол, чтобы погасить любое обычное неповиновение. Ее ремешка боялись даже самые рослые и отпетые хулиганы: она не только исхлестывала руки виновного, превращая их в распухшие, больные, красные лапы, но и виртуозно отчитывала его, к безмолвному экстатическому восторгу остального класса.

— Гордон Макнэб, ты истинное яблочко с макнэбовского дерева. (Хрясь!) Я порола твоего отца

(хрясь!), обоих твоих дядюшек (хрясь!) и однажды выпорола твою мать (хрясь!), и я всему миру готова подтвердить, что ты самый тупой, самый невежественный и самый никчемный лоботряс из всего вашего стада. (Хрясь!) А такое нечасто встретишь. (Хрясь!) А теперь иди на место, и, если ты хоть пикнешь без спросу, получишь еще раз то же самое, да похуже, потому что ремешок — вот он, лежит у меня в столе и ждет тебя. Понял?

— Уы.

— Что? Громче! Не слышу!

— Да, мисс Макглэддери.

И Макнэб тащился на место; мальчики в это время прикрывали рот руками, а девочки, осмелев, презрительно тыкали в него пальцами. И напрасно потом Макнэб кричал на школьном дворе, что мисс Макглэддери — старая сука и панталоны у нее воняют. Он потерял лицо. Авторитет мисс Макглэддери был незыблем, как у капитана пиратского судна.

Она знала, что происходит на школьном дворе, но не вмешивалась. Дедушка юного Корниша был большой шишкой в партии «кремней», то есть ненавистных либералов. А мисс Макглэддери была непоколебимой сторонницей консерваторов, или тори. Если мальчик действительно такой

кремень, пусть себя покажет. Учительница не собиралась ничего делать, пока он не пожалуется: в этом случае она предпримет кое-какие шаги, но будет презирать его как ябеду.

Он не жаловался, но однажды ему поставили фонарь под глазом. Фрэнсис отправился домой, зная, что поднимется шум.

Шум поднялся, но только не такой, какого он ожидал.

Тетя Мэри-Бен пришла в ужас и немедленно потащила его к доктору Джерому. Синяк — это ничего, сказал доктор. Беда невелика. Но…

— Фрэнк, они к тебе лезут? Можешь не отвечать. Я знаю. Я знаю все, что происходит в этом городе. Ты не знал? В Карлайлской школе народ грубый. Ты знаешь, что такое правила Куинсберри?

Фрэнсис что-то слыхал о них от отца. Нельзя бить ниже пояса.

— Нельзя, говоришь? Ну так вот, правила Куинсберри — это все очень хорошо на ринге, но в Карлайлской школе о них не слыхивали. Да и нигде в Блэрлогги не слыхали, насколько я знаю. Ты когда-нибудь видел, как дерутся лесорубы в субботу вечером? Наверняка нет. Эти французишки умеют жестоко драться. Вот гляди: кулаками ты даже вмятину в куске масла не сделаешь. Но у

тебя две ноги в хороших, крепких ботинках. Штука в том, чтобы подпустить противника поближе, а потом откинуться назад и въехать ему правой ногой прямо под дых. Не пинай его в пах: это ты и потом успеешь. Но выбей из него дух. Если это правильно сделать, он, скорее всего, упадет. Тогда ты должен броситься на него и выколотить из него всю начинку. Бей изо всех сил. Он ничего не сможет сделать, пока не переведет дух. Убивать его не надо, но можешь к этому приблизиться — насколько осмелишься. Можешь схватить его за уши и колотить головой об землю — ихние головы все равно не пробьешь.

— Ох, Джо, вы мне сделаете из мальчика хулигана, — сказала расстроенная тетушка.

— Именно, милая. К этому я и веду. Если у человека есть хоть какие-то мозги и он ходит в Карлайлскую школу, он должен себя поставить как следует, иначе эти мозги из него выбьют. Кстати говоря, Фрэнк, это хороший жизненный принцип — показать, что ты груб и жесток. Тогда тебя оставят в покое, а в одиночестве можешь быть сколь угодно нежным — главное, чтобы тебя не раскусили. Ну хорошо, вот вам арника — мажьте синяк два раза в день. И еще, Мэри-Бен, подержи его дома до конца недели — пускай мисс

Макглэддери испугается, что на этот раз хватила через край.

И действительно, вышло так, как предсказывал доктор. Когда Фрэнк не пришел в школу, мисс Макглэддери забеспокоилась, а когда она беспокоилась, ее начинал мучить геморрой. Конечно, ей бы и в голову не пришло пойти к врачу-католику, но в субботу утром доктор Дж.-А. поймал ее за пуговицу на ступенях перед входом на почту, и деваться ей было некуда.

— Я слыхал, хулиганы в Карлайлской школе и не думают исправляться. Вы не боитесь, что в один прекрасный день они зайдут слишком далеко? Будет очень печально, если кто-нибудь получит серьезную травму.

Мисс Макглэддери умела понимать намеки. В понедельник утром она объявила, что в последнее время на школьном дворе стало слишком много драк и что отныне драчуны будут получать ремня.

Конечно, за это винили Фрэнка; он наябедничал. Но стало ясно, что у него есть кое-какая власть, и больше к нему не лезли. Его все равно не полюбили, и, когда началась великая весенняя игра, ему приходилось смотреть со стороны.

Многие мальчики были только наблюдате-

лями, но они, в отличие от Фрэнка, получали удовольствие. Это зрелище подпитывало в них какую-то очень глубинную потребность.

В поле, через дорогу от Карлайлской школы, был пруд, в котором по весне кишели лягушки. Игра состояла в том, чтобы поймать лягушку, воткнуть ей соломинку в клоаку и надуть до огромных размеров. Пока лягушка раздувалась, зрители глядели в восторге, затаив дыхание: не лопнет ли она? Кроме того, была еще более захватывающая возможность — если сказать надувающему мальчику что-нибудь очень смешное, вдруг он на миг перестанет дуть и вместо этого вдохнет, и тогда… тогда он может даже умереть, и это будет настоящая потеха.

Фрэнк не сводил глаз с лягушки: ее корчи и судорожные подергивания лапок пронзали его сердце мукой. Он живо представлял мучения Иисуса, которые тетя как раз начала ему описывать. Когда мальчишки поминали Его имя всуе, Он страдал, а когда шалили, Его раны снова вскрывались и кровоточили. Как, должно быть, страдал Иисус из-за страданий лягушек! И — о ужас! — что Он должен был пережить, когда мальчишки поймали кота, отрезали ему яйца и отпустили и кот умчался прочь, воя и истекая

кровью! Фрэнсис к этому времени начал смутно сознавать, что у него тоже есть яйца и они как-то связаны с чем-то Ужасным, о чем, однако, Фрэнк никак не мог ничего выведать.

Этим занимались животные, и приходилось бежать мимо них, отворачиваясь, краснея и умирая со стыда. Но мальчишки говорили, что люди этим тоже занимаются, — такого ведь не может быть? И собственные родители Фрэнка… но об этом невыносимо было думать. Это было ужасно, чудовищно и невероятно. Ум Фрэнка превратился в царство тошнотворных фантазий. И хотя он был еще мальчиком, его тело словно вступило в заговор против него самого.

Тетушка была не единственным источником информации о тайнах жизни. Фрэнсис находил великое утешение в обществе дедушкиной кухарки, Виктории Камерон. Тете не нравилось, что он якшается с Викторией — не просто протестанткой, а пресвитерианкой из самых отпетых. Виктория знала, что творится в доме сенатора, и не одобряла этого. Мисс Макрори пытается перетянуть бедного мальчика в католичество. Виктория как великая художница от кулинарии получала огромные деньги — тридцать семь долларов в месяц, да на хозяйских харчах! — и

ценила это, но душу свою не продавала ни за какие деньги и противодействовала папистскому влиянию насколько могла, не идя на открытый конфликт. Она говорила себе, что знает про Макрори достаточно, чтобы их повесить, но держит язык за зубами. Не судите, да не судимы будете. Конечно, нельзя быть кальвинистом и при этом никого не судить, но кальвинисты знают, каково Божье предначертание, так что это не значит «судить». Это просто значит отличать добро от зла.

Как часто бывает с людьми, которые держат язык за зубами, Виктория накопила в душе огромные запасы неодобрения: это чувствовалось по ее мрачному взгляду и по манере несколько раз подряд громко втягивать воздух через нос, так что слышно было издалека.

Все, что Виктория могла сделать как верная слуга, которая ест хлеб сенатора, — подружиться с мальчиком. Она так и сделала — правда, в своеобычной суровой манере.

Фрэнсис напрямоту спросил Викторию о великой тайне: правда ли, что люди занимаются тем же самым, что и животные? Виктория ответила, что в мире ужасно много Плохого, и чем меньше об этом знаешь, тем счастливее живешь, и чтоб он не смел больше такое спрашивать.

Тетя Мэри-Бен смутно подозревала об оппозиции в кухне, но доподлинно ничего не знала. Она поведала Фрэнку множество чудесных историй о милосердии Божьей Матери и о его свидетельствах, которые она видела собственными глазами. О Фрэнки, будь уверен: если у тебя беда, ты всегда можешь прибегнуть к Ней. Тетя сдержала обещание и во время истории с подбитым глазом подарила Фрэнку хорошенькие четки, благословленные епископом в Оттаве; она велела держать их под подушкой и обещала вскоре научить Фрэнка стихам, которые читают, когда молятся по четкам.

Фрэнк очень страдал, но знал, что нельзя задавать тетушке тот вопрос. Она либо ничего не знает о таких вещах, либо знает — и тогда расстроится, что он тоже знает. И, кроме того, мало ли — вдруг от этого раны Иисуса опять раскроются.

Вопрос мучил и не отпускал Фрэнка. В это время в театр, принадлежащий его деду, — Оперный театр Макрори, главный очаг культуры в Блэрлогги, — приехала бродячая труппа и начала представлять спектакль с мучительно интригующим названием «Нежеланное дитя». В дополнение к спектаклю устраивались утренние представления «только для женщин», на

которых с лекциями по теме пьесы, важной для всех, выступал «известный специалист». Фрэнсис знал, что Виктория ходила на такой утренник, и неотвязно приставал к ней, пытаясь выведать, о чем же эта пьеса.

Наконец Виктория сломалась.

— Фрэнки, — сказала она с великой серьезностью, — это история девушки, которая Перешла Границы.

Больше он не вытянул из нее ни слова.

Границы? О, что же это за границы?

*– Вот бедняга, — сказал Цадкиил Малый, прерывая повесть. — Неужели тебе его не жалко?*

*— Нет, нет! — ответил даймон Маймас. — Жалость — это человеческое чувство, я не имею к нему никакого отношения. Ты, брат, так тесно соприкасаешься по работе с человеческими существами, что заразился их слабостями. Взять, например, этих детей из Карлайлской школы: они всего лишь то, что они есть. Но ты рассказываешь историю Фрэнсиса так, словно осуждаешь их. Я никого не осуждаю. Моя работа заключалась в том, чтобы сделать из Фрэнсиса нечто при помощи подручных материалов. Если они оказались грубыми — тем лучше: тем удобней было обточить Фрэнсиса, чтобы на его поверхности*

*проступили золотые жилы. Тонкую полировку я оставил на потом.*

*— Но мальчик худел, бледнел и чах.*

*— Ну-ну, опять твои жалостливые суждения. Оставь жалость. Но я и забыл: ты же не можешь. Это не в твоих силах. Но я могу и должен, поскольку призван обтачивать, придавать форму, отсекать пустую породу. Мы с тобой — как греческие скульпторы. Сначала я высекаю нечто из неподатливого камня и полирую, чтобы вышла ровная, гладкая поверхность. Потом ты раскрашиваешь ее, используя богатую палитру, в которой не последнее место занимают такие краски, как Жалость и Любовь к ближнему. Они как будто вдыхают в мое творение жизнь, понятную и близкую людям, но краски смываются со временем, и открывается реальность. Я-то знаю, что эта реальность была там с самого начала.*

*— Но как ужасна «борьба за душу мальчика»! Пекарь — свое, черт — свое.*

*— Надеюсь, ты использовал эту фразу метафорически. Тетю Мэри-Бен несправедливо было бы звать чертом: она примерно так же честна и исполнена благих намерений, как любой другой человек. Она хотела добиться своего только потому, что считала это наилучшим исходом.*

*А вот Викторию Камерон вполне можно назвать пекарем, если очень хочется. В этом есть определенная доля истины.*

Доля истины в этом действительно была, так как несколько поколений семьи Камерон были пекарями; отец Виктории и два ее брата, Хью и Дугал, держали лучшую в Блэрлогги пекарню. Как-то в пятницу вечером Виктория выпросила у тетушки разрешение поднять Фрэнка в два часа ночи и отвести его посмотреть, как Камероны месят тесто.

Тесто оказалось необъятной массой в большой круглой деревянной квашне. Посредине в квашню был вделан огромный шест, а к нему привязаны три длинные полосы льняной ткани. Трое Камеронов сидели с подвернутыми до колен штанами и мыли ноги в низкой раковине. Они скребли и скребли, — казалось, сейчас кожа слезет. Потом они вытерли ноги чистыми полотенцами, припудрили ступни мукой, перескочили из раковины в квашню с тестом, схватились каждый за свою полосу ткани и завели что-то похожее на безумный танец. Они танцевали прямо в квашне, кругом и кругом, пока полосы не намотались на шест; затем Камероны повернулись и заплясали в другую сторону,

разматывая полосы, с криками «Хэй! Хэй! Хэй!».

— Молодой хозяин, хочешь вымыть ноги да поплясать с нами? — закричал старый Камерон.

И не успел Фрэнсис и глазом моргнуть, как Виктория стащила с него башмаки и чулки, вымыла ему ноги, припудрила ступни мукой и плюхнула его в квашню рядом с мужчинами. И он заплясал как мог, потому что тесто оказалось упругим, будто наступаешь на живое тело; но от этого было только веселее. Фрэнсис на всю жизнь запомнил ту ночь, жар кирпичных печей, куда бросали одну за другой охапки папоротника, превращая их в тонкую белую золу. Когда танец окончился, тесто порезали веселками на куски, которым предстояло превратиться в фунтовые буханки, и оставили снова расстаиваться перед загрузкой в яростно жаркие, сладко пахнущие печи.

Наутро за завтраком Виктория заверила Фрэнка, что он ест хлеб, который вчера сам помогал печь.

Жизнь мальчика не была беспросветно мрачной. Он не очень хорошо успевал в школе, но привлек внимание мисс Макглэддери серьезностью, с которой подходил к получасу в неделю, отведенному на изобразительное искусство. Этот предмет, как и все остальные, преподавала мисс

Макглэддери, посвящая сразу три класса в тайны рисования пирамиды. Одну сторону следовало затенить, чтобы пирамида казалась трехмерной, или, как выражалась мисс Макглэддери, чтобы заштрихованная сторона «уходила назад», а незаштрихованная «выступала вперед». Засим последовали пирамида с кругом, который нужно было штриховкой превратить в шар, и наконец апофеоз изобразительного искусства — яблоко. Штриховку следовало выполнять, возя по рисунку плоской стороной карандашного грифеля. Но Фрэнк решил, что это не годится: дома его учили штриховать тонкими параллельными линиями, а иногда — перекрестной штриховкой. Это требовало великого терпения.

— Если будешь рисовать всякие крестики-нолики, то не управишься к четырем и тебе придется остаться после урока, — сказала мисс Макглэддери.

Так что Фрэнк остался в обществе еще пяти или шести неуспевающих, которые не могли уйти домой, не закончив ту или иную работу. Когда Фрэнк показал мисс Макглэддери свое яблоко, она неохотно признала, что вышло «неплохо», не желая поощрять в мальчике «выпендреж», то есть выход за рамки школьной программы и того, что

знала сама учительница. Фрэнк умел рисовать, что вовсе не требовалось от школьников на уроке изобразительного искусства. Однажды мисс Макглэддери обнаружила карикатурный портрет самой себя — на последней странице Фрэнсисова учебника по арифметике. Мисс Макглэддери была вполне справедлива во всем, что не касалось религии и политики, и не страдала тщеславием. Поэтому она призналась самой себе, что портрет хорош, и ничего не сказала Фрэнсису. Он был со странностью, а мисс Макглэддери как истинная шотландка одобряла «деток с причудами», если они не заходили слишком далеко.

Почти каждую субботу Фрэнсису удавалось сбежать в мир фантазий — он ходил на утренние представления в Оперном театре Макрори, когда там показывали кино. Он попадал на сеансы бесплатно: молодая кассирша узнавала его и, когда он клал в окошко кассы десятицентовик, подмигивала и незаметно совала монету обратно.

Теперь скорее на любимое место — в последнем ряду. Фрэнк не шел к другим детям, которые сбивались в кучу на передних рядах. И перед ним разворачивались сокровища. Очередной эпизод (в городке говорили «эзипод») сериала, в котором благородный ковбой каждую неделю

был на волосок от ужасной смерти, обманутый коварными врагами, желающими разлучить его со столь же благородной возлюбленной. Конечно, в двенадцатом «эзиподе» все кончалось хорошо, и следовал анонс другого фильма, который должен был идти несколько недель. После ковбоя показывали ужасно смешную комедию. Иногда «Кистоунскую полицию»[143], про тупых полицейских, таких же беспомощных в борьбе против преступников, как девушка в сериале. Время от времени — Чарли Чаплина, но Фрэнсис его не любил. Чарли Чаплин был неудачником, а Фрэнсис слишком хорошо знал, каково быть неудачником, и не собирался никого из них допускать к себе в любимчики. Потом шел полнометражный художественный фильм на нескольких бобинах. Самые любимые картины Фрэнсиса обычно не нравились другим детям. Английский фильм «Лорна Дун»[144] наглядно доказывал, что гадкая тайна — имеющая отношение к тому, чем занимаются животные и почти наверняка не за-

**[143] Примечания: 143**

*«Кистоунская полиция»* (Keystone Cops) — серия эксцентрических кинокомедий (1912–1917) американского режиссера Мака Сеннета.

**[144] Примечания: 144**

*«Лорна Дун»* (Lorna Doone, 1912) — фильм английского режиссера Уилфреда Ноя по одноименному роману Р. Д. Блэкмора.

нимаются хорошие люди, — была ложью. Фильм повествовал о прекрасной Лорне, как две капли воды похожей на Богоматерь, но благосклонной к подлинно добродетельному герою, который мог поцеловать ее невинным поцелуем, а затем поклоняться ей до скончания века. Этот образ больше повлиял на формирование идеи женственности у Фрэнка, чем все благочестивые наставления тетушки. Конечно, такая девушка, как Лорна, никогда бы не Перешла Границы, что бы они собой ни представляли, — да она к ним и на милю не приблизилась бы! После Лорны крутили фильм «Жилец с третьего этажа»[145], в котором великий английский трагик Форбс-Робертсон (его величие особо подчеркивалось в афишах, и билеты на этот сеанс стоили чуть дороже) играл роль незнакомца, показавшего кучке опустившихся людей, что им совершенно не обязательно жить по-свински. Он выглядел таким благородным, таким утонченным, настолько неспособным на смех или любые другие живые чувства, что явно изображал Некую Особу. Правда, на нем был не слащавый хитон, в каком

**[145] Примечания: 145**

*«Жилец с третьего этажа»* (The Passing of the Third Floor Back, 1918) — фильм американского режиссера Герберта Бренона по одноименной пьесе Джерома К. Джерома.

обычно рисовали Некую Особу, а модный плащ и широкополая шляпа. Фрэнка еще ни разу не водили к мессе, а про церковь Святого Альбана он уже забыл, но, сидя в кино, слагал все виденное в сердце своем и возносил хвалы[146].

Смотря фильм, Фрэнк видел не только сюжет, но гораздо больше: задний план, пейзажи (многие оказывались нарисованными, если вглядеться пристально), углы зрения, даже свет. Этим углубленным пониманием он был обязан дедушке-сенатору: тот увлекался фотографией. Фототехника сенатора была примитивной даже для времен Первой мировой: простейшая ящичная камера и треножник. С этим добром сенатор увлеченно вышагивал по Блэрлогги, фотографируя город и наиболее живописных его обитателей, если они поддавались на уговоры и соглашались посидеть смирно нужное количество секунд. Он выезжал в лагеря лесорубов, откуда подпитывалось его растущее богатство, и фотографировал людей за работой или стоящих возле огромных поваленных стволов. Он фотографировал свои заводы. Он фотографировал молодых мужчин в полном снаряжении, уходящих из Блэрлогги на войну,

---

**[146] Примечания: 146**

*…слагал все виденное в сердце своем и возносил хвалы.* — Лк. 2: 19.

и делал лишний отпечаток с негатива — для их семей. Сенатор никогда не считал себя художником, но у него был острый глаз, и он без устали гонялся за различными световыми эффектами, доступными в Канаде в разные времена года. Все это он обсуждал с Фрэнсисом как с равным. Вся его отстраненность — положенная сенатору и деду — исчезала во время этих экспедиций, охоты за тем, что сенатор называл «солнечными картинами».

— Это все свет, Фрэнк, — твердил он. — Все дело в свете.

Он же объяснил, что штриховка, которой уделяли столько времени на уроке изобразительного искусства, имеет отношение к свету, — мисс Макглэддери не пришло в голову, что это надо объяснять.

Сенатор пламенно ненавидел фотографии, сделанные при искусственном освещении. Он особенно любил снимать под навесом, который по его приказу соорудили в саду. Туда при необходимости тащили мебель, драпировки и прочий антураж — это стоило немалого труда, — и там же, вроде бы в помещении, но на самом деле при натуральном дневном свете, он без устали снимал мадам Тибодо, Марию-Луизу, детей своей

младшей дочери Марии-Терезы и зятя, Джеральда Винсента О'Гормана, который быстро делал карьеру в индустриальной империи Макрори. Тетушка наотрез отказывалась фотографироваться.

— Камера сломается, Хэмиш, — шутила она.

Но по ее настоянию он сфотографировал отца Девлина и отца Бодри. Каждый читал толстую книгу в кожаном переплете, в высоком раздумье облокотившись на стол и прижимая указательный палец ко лбу, явно набитому душеполезной ученостью. Сенатор даже доктора Джерома уговорил попозировать — доктор опирался на череп, ценный экспонат его коллекции.

Фотографировать было ужасно интересно, но потом становилось гораздо интереснее: Фрэнсис и дедушка запирались в ванной комнате, где было темно, если не считать тусклого света красной лампы. Они полоскали и промывали пленку в вонючих жидкостях, налитых в раковину и ванну, ожидая, пока не проявится каждая солнечная картина в отдельности — именно так, как надо, на придирчивый взгляд сенатора. А потом…

Потом начиналось самое интересное. Дедушка брал очень остро заточенный карандаш и принимался улучшать свою работу: ретушировать негатив, подчеркивая тени или обогащая отдель-

ные детали картины тончайшей штриховкой, иногда в виде крохотных точек, иногда — микроскопических спиралей, иногда — крест-накрест. Все для того, чтобы польстить «модели».

Впрочем, не всегда для того, чтобы польстить. Джеральд Винсент О'Горман был брюнетом, и, когда сенатор закончил возиться с его фотографией, на чисто выбритой челюсти зятя проступила темная тень, придавшая ему явно криминальный вид. А шишка отца Бодри — она торчала у него на левой стороне носа, не слишком большая, но заметная, — на фотографии так сильно бросалась в глаза, что священник был поражен: он собирался послать фотографию своей матери в Труа-Ривьер. Даже величественные сутана и биретта не скрашивали этой выдающейся шишки. Зато отретушированная Мария-Тереза потеряла уже заметный второй подбородок. Сенатор никогда не комментировал эти изменения, но мальчик видел улыбку деда, под карандашом которого они рождались, и усвоил, сам того не зная, что портрет — не только желательное для всех сходство, но и выражение мнения художника.

Фрэнсиса иногда тоже допускали к ретуши, и ему не терпелось преобразить «моделей», пририсовав им косые глаза, горбы и уродливые

морщины. Этого ему не позволяли, но однажды, когда дедушка отлучился, Фрэнсис слегка заострил один передний зуб отца Девлина: такой вид, по мнению Фрэнсиса, лучше первозданного снимка отражал внутреннюю сущность святого отца. Фрэнсис так и не узнал, заметил ли дедушка его художество. На самом деле тот заметил, но из духа озорства, которому не так часто давал ход, и из гордости за психологическую проницательность внука промолчал и отпечатал «улучшенный» снимок. Отец Девлин так ничего и не понял: он неоднократно исследовал собственные зубы в зеркале, а также ощупывал их языком, каждый раз убеждаясь, что его клык вовсе не похож на клыки вампира; но он принадлежал к той простодушной части человечества, которая считает, что фотоаппарат не может лгать; кроме того, отцу Девлину не хотелось критиковать сенатора.

Так Фрэнсис там и сям урывал кусочки счастья, вопреки нависающей над ним мрачной тени школы, где его травили почти все. Сам того не зная, он навсегда вобрал в голову и сердце уходящий мир — мир изолированных общин типа Блэрлогги, знающих о мире за околицей лишь из «Почтового рожка» или — в сотне-другой нетипичных семей — из оттавских газет. Из

культурных мероприятий в городке было кино и редкие представления бродячих театральных трупп в Оперном театре Макрори; прочие развлечения ограничивались группами при церквах, различными братствами, бесчисленными карточными вечеринками и, конечно, сплетнями, часто жестокими и причудливыми.

На самом верху классовой пирамиды в городке стояли немногие семьи, которые могли себе позволить держать горничную. Парадоксальным образом наличие горничной придавало семье высокий статус, но сама горничная была презренным существом, служанкой. Например, если горничная покупала себе пальто в магазине Томпсона и Хоуата, Арчи Томпсон непременно звонил ее нанимателям (в городке было около двухсот телефонов), спрашивал, может ли она себе это позволить, и по возможности выяснял размер ее месячного жалованья. Если горничная осмеливалась завести поклонника, хозяйка время от времени обязательно врывалась на кухню, чтобы проверить, чем они там занимаются. Иметь горничную значило быть богатыми; быть горничной означало сносить чужую спесь, особенно со стороны дам, которые сами не держали слуг. Протестантские священники увещевали

хозяев отпускать горничных на вечер воскресенья, чтобы те могли прийти на позднюю службу в церковь. Но сами читали на вечерних службах «подержанные» проповеди.

Лошади в этом мире играли первостепенную роль. Но среди них мало было благородных коней с огнем в глазах и гордо выгнутой шеей; преобладали клячи, годные только на собачье мясо, с запалом, с костным шпатом, часто с запущенным гельминтозом или капающими ноздрями — признаком сапа. Даже великолепные першероны, таскавшие для сенатора огромные сани, груженные бревнами, не были предметом гордости своих коногонов: их редко мыли, не расчесывали им гриву, и слова «от тебя разит, как от лошади» наносили особенную, ныне забытую обиду. Но все эти лошади бодро извергали навоз, и весной, когда с ни разу не чищенных за зиму дорог постепенно сходил снег, сладкий воздух апреля пропитывался запахом ноябрьских отложений, которые постепенно являлись на свет вместе с потерянными галошами и обильными плевками табачной жвачки, накопленными за долгие месяцы морозов.

Где лошади, там и кузнецы. Фрэнсис провел множество счастливых часов, которых не одоб-

рила бы тетя, околачиваясь в кузнице Донохью. Там огромных коней, которые тянули сани с бревнами, подковывали особыми шипованными подковами, не скользящими на ледяных дорогах. Там, в тепле конского дыхания и огня, пылающего в горниле, Фрэнсис научился у Винсента Донохью цветистому богохульству и роптанию на Небеса, узнал запах конского копыта, на которое возлагают раскаленную подкову, и еще более острый запах от фартука кузнеца, на который упала искра. Но ничего непристойного не узнал. Донохью был пуританином, и словарный запас лошадника служил ему для общения с лошадьми, как он их понимал; он не потерпел бы в своей кузнице грязных баек.

Такси еще не вошло в обиход, и те, кому нужен был экипаж для похорон или визита в больницу, ездили в тряских повозках вроде бричек. Зимой колеса бричек меняли на полозья. Внутри воняло старой кожей и плешивыми полостями из шкуры буйвола, которыми пассажиры прикрывали колени. Кучер сидел на ящике впереди, завернувшись в меховую доху незапамятной древности.

В городе было несколько лошадей получше, достойных звания коня, а самые лучшие, конечно, принадлежали сенатору: шестерка славных

гнедых и один-два пони — запрягать в легкую двуколку, в которой Мария-Луиза и зачастую мадам Тибодо ездили за покупками. Неплохие лошади были и у похоронных дел мастеров, ибо смерти подобал особый антураж, а из этих самой лучшей упряжкой — вороных — владело похоронное бюро Девинни.

За хорошими лошадьми и уход должен быть хороший. Когда Старый Билли наконец спился окончательно и умер, сенатор заключил неписаный договор, как часто делали в Блэрлогги. Кучер-конюх, работающий у Девинни, должен был взять на себя уход и за лошадьми сенатора. Очень скоро этот человек — его звали Зейдок Хойл — уже проводил в «Сент-Килде» больше времени, чем в «Мебельном магазине и похоронном бюро Девинни».

Зейдок Хойл на облучке экипажа ли, катафалка ли выглядел весьма импозантно. Он был крупный, мускулистый, осанистый, темноволосый и смуглый, с усами, которые закручивались из-под носа в два изящных черных завитка. Если подойти поближе, становилось заметно, что он косоглаз, нос у него пунцовый, а белоснежный «охотничий» галстук и воротничок белы не столько от стирки, сколько от толстого слоя мела.

Швы фрака, в котором Хойл обычно правил катафалком, были бы белыми, если бы он не мазал их чернилами. Цилиндр блестел, но исключительно благодаря вазелину. Голос у Хойла был низкий и ласковый. Хойл был старым солдатом, ветераном Бурской войны, и с лошадьми научился обращаться в армии.

Фрэнсис пламенно обожал его — выше Хойла он ставил только дедушку. Зейдок Хойл родился в Корнуолле и сохранил тамошний выговор. Фрэнсиса он обычно называл «масенький», что в его устах звучало вовсе не странно, или «бедный червячок» — по-доброму, а не оскорбительно. С лошадьми он разговаривал примерно в тех же выражениях, и лошади его любили, насколько они вообще способны любить. Лучше всего было то, что Зейдок мальчиком жил недалеко от корнуолльского Чигуидден-холла и правильно произносил это название. Когда Фрэнсис признался, что в школе его дразнят Чикеном, Зейдок сказал:

— Их надо жалеть за невежество, масенький; жалеть за невежество и презирать[147].

11 ноября, вскоре после того, как Фрэнсису ис-

---

**[147] Примечания: 147**
См. примеч. 375.

полнилось девять лет, Первая мировая война, которую так долго называли просто Великой войной, кончилась. Но это не значит, что майор Корниш и Мэри-Джим вернулись в Блэрлогги. Все понимали, что теперь, когда настал мир, нужно все подчищать, приводить в порядок, мстить побежденным, а это занимает едва ли не больше времени и мозговых усилий, чем собственно война. Майор очень славно повоевал, но остался майором, так как это звание было хорошей защитной окраской. Майоров много, а тот факт, что данный майор был необычно умен, служил в канадской армии, но при этом мелькал в министерстве обороны в Лондоне, афишировать не стоило. О майоре говорили, что он «большая шишка в разведке», а это гораздо лучше, чем какой-нибудь подполковник. Таким человеком нельзя было пренебрегать, когда предстояло столько дел, и майору с женой, светской львицей, пришлось немедленно и на неопределенный срок уехать в Лондон.

Война кончилась, но болезни и не думали складывать оружие. Инфлюэнца — в Блэрлогги точно знали, что она идет от трупов, гниющих на поле битвы, — прошествовала по земле и убила еще двадцать миллионов. Но, кроме нее, в Блэрлогги

свирепствовал и коклюш, а стоило эпидемии коклюша пойти на спад, как пришло то, что тогда называли детским параличом, — ужасное воспаление спинного мозга. Оно убило одних детей, а других превратило в калек на костылях, с ногами, заключенными в ужасные пыточные клетки, или приковало к инвалидным коляскам. Но Фрэнсис, который не был ни особенно крепким, ни особенно болезненным ребенком, умудрился избежать всяческих эпидемий. Он впервые столкнулся с коклюшем четырьмя годами позже. Ему было тринадцать лет, и он кашлял, по выражению доктора Дж.-А., словно индеец улюлюкает на тропе войны.

— Так, этот молодой человек у нас пока в школу ходить не будет — по крайней мере, до Рождества, — заявил доктор тетушке (конечно же, это она в семье отвечала за выхаживание больных). — А может, еще и после. Посмотрим. Болезнь его сильно ослабила, и стоит ему слишком рано оказаться среди других детей, как он станет верным кандидатом сама-знаешь-на-что. Держи его в кровати и заливай в него как можно больше гоголь-моголя. Не беда, если его стошнит от кашля; что-нибудь в нем да останется.

Фрэнсиса ждал долгий отдых от школы, испол-

ненный размышлений, — особенно после того, как мисс Макглэддери убедили, что не стоит посылать ему пачки листов с задачами по арифметике. Мисс Макглэддери была непоколебимо уверена, что в больном теле нельзя терпеть праздный дух и арифметика — именно то, что нужно мальчику настолько больному, что он даже сесть в кровати не может. Фрэнсис был очень болен, и даже уколы, которые раз в три дня делал ему доктор Дж.-А., — в спину, над почками — слабо помогали. Однажды, когда Фрэнсис был совсем плох, тетя запаниковала и послала за отцом Девлином. Он пришел, что-то пробормотал и уронил на мальчика несколько капель воды. Фрэнсис лежал в горячке и ничего не понял, но тетя была весьма утешена. Когда Фрэнсису наконец вроде бы немного полегчало, доктор сказал, что он «совсем разбит болезнью» и его надо осторожно «восстанавливать».

*– Надо полагать, это твоих рук дело, — сказал Цадкиил Малый.*

*— Естественно, — ответил даймон Маймас, — хотя за эпидемию я, конечно, не отвечаю. Но она дала мне возможность на время вывести нашего юного друга из мира действия и погрузить в мир размышлений и чувств. Его слишком много*

*травили и третировали, а это уже не на пользу; оскорбления в адрес матери и гадкие слова про семью начали истощать его терпение. Так что я схватился за первую же возможность вывести его из боя. Ты же знаешь, с особыми людьми мы часто так делаем: им бывает нужен особый отдых, неторопливый, а он невозможен, когда все время приходится куда-то бежать. Хорошая, долгая болезнь может оказаться благословением. Продолжай свою хронику, и мы увидим.*

*— Ты безжалостен, брат.*

*— Да, так может показаться тем, кто смотрит с чисто человеческой точки зрения.*

Между приступами кашля у Фрэнсиса было время поразмыслить. Он был рад, что на время спасся от Александра Дэгга, который мучил его не физически, а душевно.

— Слышь, чё скажу! — рявкал Дэгг. — У твоей родни кровь гнилая. У тетки твоей голова вередная. Ты не знал? Моя мамка говорит. А знаешь, отчего это? Оттого что мозги гниют. И у тебя то же самое будет, верней верного.

Вередная голова? Это словечко в Блэрлогги означало «покрытый сочащимися язвами». У детей в школе часто бывали вередные пальцы, которые они с гордостью демонстрировали, — за-

пущенная ногтоеда. Но как может быть вередная голова? Дома тетушкину голову не обсуждали, и Фрэнсис никогда не видел тетю без шапочки. Он любил тетю и терпеть не мог подобные разговоры, но спасения не было.

— Слышь, чё скажу! Твоя мамка предшествует падению. Моя мамка говорит. Она говорит, гордость предшествует падению. Когда твоя мамка последний раз приезжала, она тут выкобенивалась и клянчила, как будто она лучше других. Так моя мамка говорит: выкобенивалась и клянчила!

Клянчила? Фрэнсису казалось, что его мать — чуть холодноватая красавица — держится с достоинством, равного которому он еще не встречал. Конечно, она лучше других! Было невыносимо, что Александр Дэгг и его мать-ведьма поганят своими грязными языками само мамино имя. Но… предшествует падению? Фрэнсис не мог извлечь из души занозы, оставленные словами Дэгга. Всю жизнь он будет беззащитен перед критикой, даже глупой и несправедливой.

— Слышь, чё скажу! У вас в доме чего-то неладно. Свет горит, где ему делать нечего. Моя мамка говорит, что у вас лунатик. Его там держат, в цепях. Может, это твою тетку сажают на цепь,

когда ей с головой сильно хужает? Ты знаешь?

Да, Фрэнсис об этом знал. Обитатели лучшего дома в небольшом канадском городке словно принадлежат к роду Атридов[148], и остальные жители городка подозревают их в самых темных, поистине мифологических грехах. Подхалимство встречается, но редко, зато процветают зависть, ревность, клевета и насмешки. В домах победнее случаются драки, тайные аборты, детей «подправляют» раскаленным утюгом, чтобы слушались, процветает скупость во всевозможных видах, кровосмешение и обыденная жестокость, но все это, вместе взятое, ничто по сравнению со страшными тайнами Большого дома. Он для всего города — великая театральная сцена, где разыгрываются драмы, владеющие умами горожан еще долго после смерти актеров или ухода их на новые роли. С «Сент-Килдой» был неразрывно связан соседний дом, «Чигуидден-лодж»: майор и его красавица-жена прекрасно дополнили старший актерский состав. Правда, ежедневно выслушивать мнения Блэрлогги (который вещал

**[148] Примечания: 148**

*Атриды* — потомки Атрея. К роду Атрея принадлежали в числе прочих Тантал, Пелопс, Агамемнон, Менелай, Ифигения, Клитемнестра, Орест, Эгист и Электра. По греческим мифам, род был проклят богами: потомки Атрея убивали друг друга, собственных детей, супругов и родителей.

устами мамки Александра Дэгга) приходилось только Фрэнсису.

Но главное место в размышлениях Фрэнсиса занимал доктор Аппер. Местный школьный попечительский совет, движимый бог знает каким порывом к современности, заручился услугами некоего доктора Г. Кортни Аппера: тот как раз объезжал эту часть провинции Онтарио и читал мальчикам и девочкам лекции о тайнах пола во всех школах, куда его приглашали. Курс лекций занимал два дня. В первый день доктор Аппер в загадочных и неконкретных терминах повествовал о необходимости любить и уважать свое тело, каковое есть часть Британской империи, продемонстрировавшей свое моральное превосходство в только что оконченной войне. Любой, кто отпадал от высочайших стандартов — чистоты помыслов, чистоты речи, глубокого дыхания, ежедневного омывания подмышек, — подводил Британскую империю. Кто рассказывает грязные анекдоты, тот сам скоро станет похож на грязный анекдот. Девочки — будущие матери Британской империи, им следует быть образцами утонченности и деликатности во всех отношениях; мальчики — будущие отцы Британской империи, поэтому расхлябанная походка, неправильная

речь, курение сигарет, плевки на улице вредят империи, как не смогли ей повредить и гунны.

Сам доктор оказался маленьким, кругленьким человечком в поношенном черном костюме. Лицо у доктора было круглое, пухлое; глаза слезились, и приходилось их все время вытирать. Но на улице он был великолепен — в инвернесском плаще (сшитом на более рослого мужчину), увенчанный шляпой-котелком. Не прошло и часа после прибытия доктора, как его имя облетело весь город: доктор зашел в цирюльню к Джиму Мерфи побриться и услышал, как ругается кто-то из клиентов, — видимо, тот поставил своей целью разрушение Британской империи. Доктор сорвался с кресла, обличил изумленного богохульника и выбежал на улицу с лицом, еще наполовину покрытым мыльной пеной. Выступая перед детьми, доктор словно гипнотизировал их, заражая своими сильными чувствами.

На второй день проповеди он приступал к делу всерьез. Девочек отделяли от мальчиков и уводили в другую комнату, где луноликая фельдшерица должна была посвятить их в тайны их собственного лунного цикла, а мальчики оставались беспомощными жертвами доктора Аппера.

Доктор начинал разговор с материнства. Он

был лиричен, как поэт; порой казалось, что он поет, аккомпанируя себе на арфе. Нет у мальчика ничего более важного, всеобъемлющего, святого и доброго, чем мама. Ей мальчик обязан самой жизнью, ибо мама, чтобы родить его, спустилась ко вратам ада, тело ее разрывалось от боли, чтобы ее сын мог жить. Доктор не объяснял, как именно это происходило, отчего тайна становилась вдвое ужаснее. Но именно это совершила мать в величии своей любви к еще неведомому ей сыну. Ни один мальчик, сколько он ни живи на свете, не может даже надеяться достойно отблагодарить маму за такой подвиг, ибо она выкупила его жизнь, рискуя собственной!

Конечно, это не под силу ни одному мальчику в мире, но беспрекословным повиновением и сильнейшей любовью он может хотя бы попытаться выразить свою благодарность. Доктор Аппер, пища и жеманничая, произнес монолог мальчика, обращенный к матери, которую он называл «мамочкой». В монологе смешивались поклонение и почитание. Любого человека, не подпавшего полностью под гипнотическую власть доктора, этот монолог заставил бы покраснеть, но доктор был блестящим ритором (хоть от его риторики и становилось нехорошо). Речь к мамочке, отра-

ботанная доктором в течение долгих лет, была своего рода шедевром.

Во второй половине дня доктор удвоил и утроил давление. Мальчики несут в себе задатки, необходимые для того, чтобы стать отцами великого народа. Но они не смогут ими стать, если хоть на минуту ослабят свою решимость хранить чистоту во всех отношениях. Чистоту мысли: об этом доктор уже говорил. Чистоту речи: он уже показал слушателям, насколько недостойны мужчины ругань и грязные разговоры. Но чистота тела — от нее зависит все остальное, и без нее весь народ обречен на вырождение, какое можно наблюдать у жителей других стран.

Чистота тела означала сентиментальное преклонение перед собственными яичками — лишь чуть менее слюнявое, чем то, которое следовало питать к мамочке. Яички не следовало трогать — разве что при мытье, если уж понадобится. Однако к ним можно и должно было обращаться, когда они требовали внимания, — примерно в том же стиле, что и монолог к мамочке, но в данном случае с упреком. Яички следовало поставить в известность, что они должны хранить терпение до дня, когда прекрасная девушка, которая сберегла свою чистоту, станет твоей

женой ради высшей и прекраснейшей конечной цели — материнства. Неужели ты собираешься лишить ее того, что положено ей по праву, ради низкого самоудовлетворения или еще того хуже? (Доктор не объяснил, что именно может быть хуже.) Дальше следовал рассказ о судьбе знакомого доктору мальчика: того одолело такое любопытство насчет собственных яичек, что он вскрыл их перочинным ножом, дабы узнать, что там внутри, и умер от заражения крови на руках у доктора, с последним вздохом заклиная поведать всем прочим юнцам о фатальности неуважения к собственному телу.

Если яички время от времени нуждаются в строгой отповеди, то пенис — тем более. Да, доктор настаивал на том, чтобы мальчики пользовались медицинскими терминами и никогда не называли свои драгоценные части тела грязными кличками, ибо это большой грех. Оказалось, что пенис время от времени своевольничает, и, если это случается, с ним надо беседовать — ласково, но твердо (тут доктор произнес небольшой монолог, услышав который любой разумный пенис устыдился бы и перестал плохо себя вести) и оборачивать мокрым холодным полотенцем, пока тот не образумится. Ни в коем случае не

следует поощрять его мыслью или делом, ибо этим ты предаешь свою самоотверженную мать или ту, почти равную ей по несравненности, девушку, которая доверится тебе и будет ждать от тебя абсолютно чистой и мужественной любви. Подобные дела и мысли называются мастурбацией и стремительно влекут за собой полное разрушение духа и тела. Доктору приходилось видеть чудовищные последствия этого апофеоза всяческих грехов, и он умел по виду отличать мальчиков, предающихся этому омерзительному пороку.

Да, омерзительному и притом опасному, ибо могучий дар пола небесконечен. Если им злоупотреблять, его можно лишиться, и тогда… но доктор отказался описать весь ужас этой перспективы.

Финал речи, он же кульминация представления, наступил, когда доктор, порывшись в штанах, достал собственный пенис как пример взрослого мужского полового члена в его полном великолепии. Держа его в руке, доктор возблагодарил Бога за то, что Он помог доктору донести мальчикам Блэрлогги великую весть о необходимости чистой жизни.

В те два дня, когда Фрэнсис слушал доктора

Аппера, он уже заболевал коклюшем и вскоре после этого слег. Он лежал в кровати, в тепле, под одеялами, и тетушка прилежно поила его гоголь-моголем. Неприятные ощущения от болезни еще усиливались из-за своеволия тела — тех самых органов, которым доктор Аппер придавал такую зловещую важность. Они не слушались; они требовали внимания, и, как Фрэнсис ни старался, ему не удавалось пересилить их настойчивость мыслями о матери, о Британской империи или еще о чем-нибудь. Он был болен не только телом, но и духом.

Доктор поведал нечто, хотя и не все, о великой тайне. Ясно, что мальчики обладают некой властью — могут сделать девушку матерью. Но как именно? Неужели… неужели так, как это делают животные, — то, что видел Фрэнсис украдкой, не понимая? Что это за Границы, переход которых грозит столь страшными последствиями, что о них написали и поставили целую пьесу, с утренниками «только для женщин»? Разумеется, спросить было не у кого. В «Сент-Килде» царила строго католическая атмосфера, а к детям католиков доктора Аппера не приглашали. Дома Фрэнсис не рассказывал о докторе. Он был уверен, что это знание — греховно и, может быть, даже

вновь открывает раны Иисуса. Что же до Божией Матери, Она, конечно, знает о несчастном положении Фрэнсиса, и неужели оно не возбудит в Ней жалости? Он был несчастен, и от этого коклюш становился еще хуже. Когда болезнь наконец отступила — через шесть долгих недель, — Фрэнсис остался наедине со своим давним врагом, тонзиллитом. Виктория Камерон заверила Фрэнсиса, что он выглядит как привидение.

Были в его положении и светлые стороны. Лучше всего было то, что школа отодвинулась куда-то в невообразимо далекое будущее. Даже мисс Макглэддери сдалась и поняла, что пачки задач по арифметике ему не помогут. Другой приятностью было то, что на день Фрэнсиса, полуодетого и закутанного в пледы и платки, перемещали в тетушкину гостиную.

Это была самая живая комната в доме. Мария-Луиза обставила дом строго во франкоканадском духе — комнаты на первом этаже, чопорные и величественные, были заполнены мебелью в голубой парче, которая казалась слишком изысканной, чтобы на ней могли сидеть простые смертные. Но в тетушкиной комнате царила дивная неразбериха — тут стояли все тетушкины любимые вещи, и Фрэнсиса ждал диван перед

камином, в котором Зейдок Хойл ежедневно разводил прекрасный огонь. Визит Зейдока неизменно подбадривал Фрэнсиса, хотя светская беседа кучера состояла в основном из перечисления похорон, на которых он правил катафалком утром (католических) и после обеда (протестантских).

— В одиннадцать я везу мадам Делонпре, — говорил, например, он. — Очень большая женщина; ее было непросто бальзамировать, уж поверь мне. Потом надо ехать обратно в лавочку, снять крест с крыши катафалка и поставить задрапированную урну, чтобы везти старого Аарона Ронга в пресвитерианскую церковь ровно к двум. Подумать только, он девяносто четыре года проскрипел. Под конец совсем ссохся — вот его было легко бальзамировать, там почти ничего не осталось. Успею разве что сэндвич съесть, но мисс Камерон обещала вечером королевский ужин. Я загляну перед ужином, принесу еще дров. Держи выше клювик, малыш.

Пожалуй, это были не очень удачные слова в применении к Фрэнсису: конечно, Зейдок желал ему всего лишь сохранять бодрость, но Фрэнсис воспринимал эту фразу совершенно в другом смысле, так как прекрасно сознавал, что его

«клювик» в течение дня слишком часто смотрит кверху и не желает сдаваться. Знает ли Зейдок? Может, он так смеется над Фрэнсисом? Поди пойми этих взрослых.

Зейдок неизменно возвращался вечером, как и обещал, с новым запасом дров и дневными новостями.

— Мадам Делонпре ужасно расстроилась бы, — говорил он. — Храм был заполнен едва на треть. Но мадам была злобная старая сплетница. Вот к Аарону собралась полная церковь — его отпевали у Святого Андрея. Все дело в больших деньгах, ну и еще в том, что он дожил до таких лет. Похороны затянулись. Я собирался вернуться сюда, чтобы отвезти домой мадам Тибодо после карт. Между нами говоря, Фрэнсис, она уже слишком старая и толстая, чтобы ездить в двуколке с пони. Но в карты все еще играет мастерски. Сегодня вечером выиграла больше трех долларов. Как ты думаешь, может, она плутует?

Его веселая непочтительность слегка разбавляла теплую, счастливую, но неумолимо набожную атмосферу, созданную тетушкой. Та приходила в восемь вечера, чтобы прочитать вместе с Фрэнсисом полный круг молитв по четкам. Фрэнсис уже знал их все наизусть. Но не должен был говорить

об этом майору — если тот вдруг приедет, что было маловероятно. Но ведь теперь, когда отец Девлин крестил Фрэнсиса, тот, несомненно, стал католиком, а значит, поэзия четочных молитв принадлежит ему по праву?

В какой мере сенатор с женой осознавали, что домом безраздельно правит тетушка? Она была такая скромная, так старалась угодить Марии-Луизе как хозяйке дома, жене и матери. Тетушка говорила очень тихо, все время улыбаясь, и почти никто не замечал, что вся жизнь семьи у нее под контролем. Мария-Луиза иногда называла тетушку своим правым, козырным валетом — этот термин она позаимствовала из юкера, любимой тетушкиной карточной игры. Скромность помешала тетушке освоить бридж — эта игра считалась в Блэрлогги новомодной и, конечно, по словам тетушки, была за пределами понимания бедной, скудоумной старой девы. Бридж больше подходил для таких могучих умов, как Мария-Луиза и мадам Тибодо, а также прочих заядлых картежников, с которыми они играли пять раз в неделю, с потрясающей жадностью сражаясь за скромные ставки. Разумеется, это нельзя было назвать азартной игрой: деньги лишь привносили небольшой дополнительный

интерес в битву умов, последующие разборы игр и мелкое передергивание карт, которое, конечно же, нельзя считать настоящим обманом. Марии-Луизе уже ничего не нужно было от жизни, кроме обильной еды и стола, покрытого зеленым сукном. Что же до сенатора, его занимали деловые интересы, необходимость присутствовать в верхней палате в Оттаве, политика и «солнечные картины». Пускай сестра ведет дом; он выдавал ей щедрую сумму на хозяйство, — кажется, эти деньги большей частью уходили на церковь.

Большей частью, но не целиком. У Марии-Бенедетты тоже была своя страсть. Картины маслом. Тетушка покупала дорогие репродукции в монреальских лавках — в Монреаль она ездила дважды в год навестить преподобную мать Марию-Базиль. Картины уже не влезали на стены тетушкиной гостиной, увешанной от пола до потолка шедеврами Мурильо, Ари Шеффера, Гвидо Рени и прочих мастеров сладкой набожности, которая так нравилась тетушке. Десятки других картин, не вставленных в рамы, тетушка держала в папках и, счастливая, перебирала после совершения четочной молитвы. Фрэнсис сидел рядом, закутанный в платки, погруженный в благоговение. Картины принадлежали кисти мастеров

эпохи Возрождения и мастеров девятнадцатого века. Не все они были на священные сюжеты. Дамы томно склонялись с балконов, слушая кавалеров, которые пели внизу, аккомпанируя себе на гитаре. Была тут и прекрасная картина «Сэр Галахад» Дж. Ф. Уоттса, О. З., Ч. К. А. («Это означает „Орден Заслуг“, милый, и „Член Королевской академии“, он поистине великий человек»), на которой чистота юноши («Он не святой, милый, но он всем сердцем любил Господа нашего») и белизна его лошади были искусно связаны между собой. А вот, видишь, Фрэнсис, — это малютка Самуил, пробужденный от сна Божьим призывом; мы как будто видим у него на губах слова: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой»[149]. Вспомни это, Фрэнсис, если когда-нибудь услышишь Глас во тьме. О милый, смотри, а это — Богоматерь Утешение: видишь, бедная женщина потеряла дитя, а Матерь Божия ее утешает; это картина французского художника, милый, Адольфа Вильяма Бугро. О, я не сомневаюсь, что у него была мятущаяся душа, потому что он рисовал ужасные, языческие картины, но вот, видишь, он создал и поистине священную картину, которая убеждает

**[149] Примечания: 149**

*…«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой».* — 1 Цар. 3: 10.

нас в милосердии Божией Матери. А это «Доктор» Люка Филдеса; доктора — невероятно замечательные люди, Фрэнсис, и в своей жалости, заботе о страдающих людях стоят сразу после священников. Видишь, как доктор смотрит на больного мальчика: совсем как наш доктор сидел с тобой, когда ты так ужасно болел коклюшем. А эта… эта картина попала сюда случайно: это «Пылающий июнь» лорда Лейтона. Видишь, девушка спит, но я совсем не понимаю, почему лорд Лейтон решил выставить ее «мадам Сижу» прямо посреди картины; сама не знаю, зачем я ее купила, но, раз уж купила, у меня рука не поднимается выбросить. Правда, красивый цвет?

Фрэнсис мог разглядывать картины часами, погружаясь в созданный ими мир фантазий; они обещали жизнь вне досягаемости Карлайлской школы, неуязвимую для чудовищной мамки Александра Дэгга. Фрэнсис пошел на поправку лишь за неделю до Рождества или около того, и на Рождество тетя приготовила ему два подарка. Своим выбором она признала во Фрэнсисе родственную душу.

Первым подарком было изображение головы Христа — ведь портрет Некой Особы остался в детской «Чигуидден-лодж». Но та картина пред-

назначалась для ребенка; эта была, несомненно, произведением высочайшего искусства. Она называлась «Плат святой Вероники» — «потому что ты же знаешь, милый, что Господь наш споткнулся и упал на страшном крестном пути и тогда святая Вероника вытерла своим платком Его милый Лик, и глядь! — Образ Божий навеки отпечатался на платке. Совсем как с Туринской плащаницей. Взгляни на это спокойное лицо: кажется, что веки приподнимаются и глаза смотрят прямо тебе в душу. Это работа великого бельгийского художника, милый; мы повесим ее так, чтобы тебе было видно с кровати, и ты будешь знать, что Он смотрит на тебя всю ночь».

Другая картина была на светский сюжет, и притом с обнаженной натурой, но ничего скандального: мальчик, примерно одних лет с Фрэнсисом, стоял, рыдая, у двери; художник искусно дал понять, что дверь крепко заперта и в то же время скрывает нечто в высшей степени прекрасное и желанное. Картина называлась «Изгнанная любовь». «Ее нарисовала дама, милый, — американка. Но как она прекрасно владеет кистью — совсем как мужчина, иначе ей не удалось бы придумать и нарисовать такую прекрасную картину!»

Изгнанная любовь. Уж об этом он знал все. О мама, милая мама, почему ты так далеко? Почему ты никогда не бываешь дома? Мама приезжала так редко и ненадолго! Конечно, у нее в Англии была своя работа, в больницах, где лежали канадские солдаты, и Фрэнсису следовало тоже быть храбрым солдатом и не кукситься. Посылки на Рождество и редкие короткие письма, как будто предназначенные для совсем маленького мальчика, не могли восполнить маминого отсутствия. «Изгнанная любовь»... даже храбрый маленький солдат не сдержал слез. Эта картина придала тоске Фрэнсиса внешнюю, видимую форму. Тоска пряталась глубоко у него в душе, всплывая на поверхность каждый раз, когда ему было грустно или одиноко или когда сумерки сгущались за окнами и пламя камина отбрасывало переменчивые тени на стенах.

В ту рождественскую ночь тетя думала, что Фрэнсис уже давно спит, а он разделся догола и встал на фоне стены в своей комнате с ручным зеркальцем в руке, глядя через плечо на свое отражение в большом зеркале напротив. Он очень тщательно принял позу мальчика с картины и долго смотрел на себя. Печаль мешалась с удовлетворением от увиденного. У него получится. Он

может войти в картину и стать ею. У него получится хорошо. Он снова надел пижаму и вернулся в постель; к тоске примешалось удовольствие, непонятное, но утешительное. Он еще много раз будет это проделывать.

*– Что-то у тебя мальчик становится совсем чудиком, — сказал Цадкиил Малый.*

*— Дорогой коллега, ты заговорил почти как Александр Дэгг, — ответил даймон Маймас. — Я деликатно подталкиваю его в направлении, которое диктует его судьба, но в моем распоряжении лишь ограниченный набор инструментов. Я вынужден работать с тем, что есть. Он должен стать знатоком искусства, покровителем искусства, человеком, понимающим искусство, — хотя, конечно, у него на пути встретятся десятки Дэггов, только чуть утонченней, которые будут ядовито утверждать, что он вообще ничего об искусстве не знает. Не жди, что я приготовлю омлет, не разбивая яиц.*

*— Я думал, скорее, о разбитых сердцах.*

*— О, сердца! У любого идущего по жизни сердце неминуемо разбивается. Важно только разбить его так, чтобы потом, сросшись обратно, оно стало сильнее прежнего. Надеюсь, милый Цадкиил, ты простишь мне эту вольность, но вы,*

*ангелы, слишком легко склоняетесь к сентиментальности. Если бы тебе пришлось делать мою работу, ты бы знал, насколько эта склонность губительна.*

*— Я иногда склонен к жалости, если ты это имеешь в виду.*

*— Будь Фрэнсис обычным мальчиком, возможно, ему бы повезло и он получил бы ангела-хранителя: тот держал бы его подальше от беды и подсовывал всякие хорошенькие вещи. Но, как ты прекрасно знаешь, я не ангел-хранитель; я даймон, и моя работа иногда кажется грубой. Мы не в последний раз видим Фрэнсиса перед зеркалом; в следующий раз он не спиной к нему будет стоять.*

*— А, ну хорошо. Давай смотреть дальше.*

Поскольку тетя управляла всем домом, ее вкус проявлялся не только в ее собственной комнате, но повсюду — и особенно в выборе картин. В столовой, например, висели две большие картины Франческо Брюнери. Они обошлись сенатору в кучу денег, но, как объяснила ему тетушка, символизировали его положение в свете.

Одна из них, как гласил медальон на нижней перекладине рамы, называлась «Поворот сюжета». За обеденным столом — явно в каком-то

римском дворце — сидели пять кардиналов в алых одеждах и епископ в фиолетовых. О, каким умом и проницательностью блистали их лица (три полных, два худых)! Пятеро в едином порыве подались вперед, внимательно слушая шестого, кардинала, чей поднятый палец и искорки в глазах обещали слушателям скорую развязку занятной истории. Что это могло быть? Какая-нибудь интрига в Ватикане, тончайшее изменение расклада сил в Римской курии или просто скандал с участием дамы? Скрытое наслаждение на лице мажордома, стоящего чуть поодаль, заставляло предполагать третий вариант. А посмотри на стол! Какое серебро и золото, хрустальные бокалы, рубиновое вино! (О, как ловко художник создал контраст между цветом вина и цветом кардинальских одежд, но не позволил им спорить между собою!) А этот роскошный серебряный сосуд для охлаждения вина! Он словно обещает новые потоки опьяняющей влаги, а стоит на искусно нарисованном паркетном полу. (Гляди, Хэмиш, вот тебе и дерево!) Это шедевр, настоящее произведение искусства, и в самый раз для столовой.

Напротив висела картина еще интереснее, с юмором, но, может быть, и с хитрецой. Она

называлась «Усталый натурщик». Молодой монах, судя по рясе — доминиканец, стоит перед мольбертом в студии. На мольберте — портрет старого кардинала, человека святой жизни. Он прижимает руки к груди. Посмотрите, как нарисованы хрупкие старческие пальцы на фоне алого муара! А взор устремлен к небесам, откуда исходит окутывающий кардинала свет! Но на троне сидит тот, с кого пишут портрет, — старик, он сгорбился на сиденье и глубоко уснул; художник — красивый юноша с кудрями вокруг тонзуры — в отчаянии чешет затылок.

Несомненно, эти картины были исполнены благоговения, показывали преданность их владельцев всему связанному с Церковью, и особенно церковным чинам. Но в то же время напоминали, что и хозяева дома, и кардиналы в красных мантиях — в равной степени носители человеческой природы. Именно такие картины можно было найти в столовой БКМ (большого католического мирянина, как шутливо называли подобных людей в церковных кругах). Такой человек знал свое место, но знал и цену себе — он мог позолотить шпиль церкви или пожертвовать большой колокол, не особенно задумываясь о сумме счета. Заботами тети Хэмиш обзавелся

именно такими картинами, которые ему подобали. Ужиная здесь, отец Бодри и отец Девлин улавливали тонкий намек: со всем нашим уважением, попы в этом доме править не будут. Пейте вино и не забывайтесь.

Канада официально приняла сухой закон в 1916 году, чтобы, вернувшись с войны, наши храбрые мальчики увидели страну очищенной от одного из главных корней всех зол. В богатых домах — как у сенатора — погреба были наполнены прежними запасами, поэтому на вино не скупились. Но даже обширные запасы со временем кончаются, и хозяев дома это отчасти беспокоило. Друзья Марии-Луизы могли поглотить удивительное количество белого вина после обеда, за картами, даже до того, как подадут чай.

Гостей в доме сенатора принимали, по меркам Блэрлогги, часто. Этим, как и всем остальным, незаметно управляла тетушка. Точнее, незаметно во всем, что не касалось музыки, — когда речь заходила о музыке, тетушка блистала. Она была артистичной во всех отношениях, но без нежелательного привкуса богемности, в полном соответствии со строжайшими нормами морали.

— Может быть, помузицируем немного? — спрашивала она через час после обеда, когда

гости успевали слегка переварить еду и немного поболтать.

Никому и в голову не пришло бы ответить, что гораздо интереснее продолжать разговор: это было бы оскорблением для высокой эстетики, разлитой в атмосфере «Сент-Килды», которую создала тетушка, к вящей славе своего брата и невестки.

Когда гости с жаром соглашались, что музыка — именно то, о чем они сейчас мечтают, тетушка подходила к пианино и, если кто-то из гостей присутствовал в доме впервые, немедленно разражалась какой-нибудь трудной для исполнения и очень громкой вещью — например, «Венгерской рапсодией» Листа. Гостя, если он был хоть сколько-нибудь чувствительнее брюквы, поражала громкость, головоломная скорость исполнения, обилие высококультурного шума, производимого тетушкой. Еще большее удивление постигало гостя, когда по завершении пьесы он как раз собирался сказать: «Мисс Макрори, я и понятия не имел…» — и тут остальные гости разражались шутовскими аплодисментами и сама тетушка разворачивалась на крутящемся стульчике, трясясь от смеха.

Ибо пианино было на самом деле «Фонолистом»

(«Лучшие пианисты мира к вашим услугам… ни педалей, ни рычагов…»), а все вместе взятое — маленькой шуткой тетушки. На самом деле играла великая Тереза Каррено, знаменитая укротительница роялей, навеки запечатленная на перфоленте.

— Но если вы хотите, чтобы я спела… — говорила тетушка, и все гости живо выражали желание, чтобы она спела.

Тетя пела по-английски и по-французски, и все обычно соглашались, что ее репертуар весьма целомудрен. Однако звуки, которые она издавала, вовсе не были целомудренны. У нее был хороший голос — истинное контральто, удивительно сильное и сочное для такой маленькой женщины. Тетя пела всю жизнь, а отшлифовала свое пение за двенадцать уроков у маэстро Карбони в Монреале. Метод маэстро был прост и эффективен. «Всякий трогательный звук идет от крика ребенка, — говорил он. — Поэтому кричите, как ребенок, — не от гнева, а зовя любовь — и улучшайте этот звук, мадемуазель, и все остальное само встанет на место». Тетушка послушалась, и ее пение было не просто хорошо — оно поражало; оно трогало и волновало даже людей, полностью невежественных в музыке.

Все песни, исполняемые тетушкой, были в том или ином смысле призывами любви. По-французски — авторства Ги Д'Ардело или по-английски — Керри Джейкобс-Бонд. Песни, пронизанные сильным чувством. Песни оргазмические, хоть тетушка этого и не знала, — они медленно набухали и прорывались финалом.

Но, вне всякого сомнения, шедевром тетушки, коньком, который никогда ее не подводил, была песня «Vale» Кеннеди Рассела. Фрэнсис умел читать и видел, что песня посвящена какому-то человеку по имени Вале, но тетушка и все культурные люди знали, что это по-латыни, произносится «воллЭ» и означает «Прощай». В двух кратких строфах, сочиненных неким де Бургом д'Арси (очевидно, аристократом), песня выражала самую душу тетушки и большей части слушателей. Это была песня умирающего. Он умолял кого-то (жену? невесту? уж конечно, в предсмертный час — не любовницу) остаться у его одра и провести с ним надвигающиеся часы зловещей тишины.

*Любовь твоя была моей наградой.*
*Ты обо мне не плачь, не плачь, не надо…*

(Видимо, все-таки жена, которая верно ис-

полнила свой долг.) Последние строки были величественны и драматичны:

*Когда исчезну я в сырой земле,*
*Вздымая КРЕСТ, молися обо мне!*

Тетя пропевала слова «вздымая КРЕСТ» удивительно громко для умирающего, а следующие за ними «молися обо мне» — почти неслышно, словно и вправду испускала дух. Такой метод маэстро Карбони называл «кручением веретена» — очень эффектный итальянский прием, непростой в исполнении.

Тетя часто пела эту песню. На нее всегда был спрос, когда в приходе Святого Бонавентуры устраивались благотворительные концерты. Отец Девлин как-то сказал (может быть, не слишком удачно подобрав слова): когда мисс Макрори поет «Vale», слушатели настолько близки к смерти, насколько это возможно до того, как и вправду придет их час.

У тетушки в репертуаре были вещи и пожизнерадостней, но она приберегала их для тихих семейных вечеров, когда ее слушали только сенатор с Марией-Луизой да доктор Дж.-А., — он часто забегал на огонек после вечерних обходов, усталый, желающий отдохнуть душой.

— Спой «Пупидона», — говорил он, вытягивая ноги к огню.

— Ах, Джо, вечно вы надо мной смеетесь, — говорила тетушка и затягивала балладу из «Веселой Англии»:

*У Купидона – райский сад,*

*В нем женщины – цветы…*

Далее в песне провозглашалось, что лучший цветок, любимый Купидоном больше всех, — это прекрасная английская роза. Тетушка, чистокровная шотландка из горцев, старая дева, и доктор, чистокровный ирландец, старый холостяк, нашли выражение своего задушенного, непризнанного романа в этой очень английской песне, написанной Эдвардом Германом Джонсом, который родился там, где Англия сходится с Уэльсом. Как тетушка часто говорила Фрэнсису, музыка не знает границ.

Фрэнсис все это слышал. Иногда он сидел в гостиной — уже в пижаме, но завернутый в плед, потому что выпросил разрешения послушать, как поет тетушка, а какой певец отвергнет такую похвалу своему таланту, столь явно искреннюю? Иногда, если в доме были гости, а Фрэнсис уже должен был лежать в постели, он сидел на лестни-

це — в пижаме и безо всяких пледов. На картины он откликался умом и сердцем, желая понять не только то, что они говорят, но и то, как они сделаны; а музыку он слушал только сердцем.

Он уже немало знал про картины. В его распоряжении было все тетино собрание репродукций и книг по искусству с названиями вроде «Шедевры великих галерей мира». Возможно, он был единственным мальчиком в радиусе пятисот миль, знающим, что такое Питти и кто такие путти[150]. Но лучше того: он начал постепенно понимать, как и из чего складываются картины.

Учитель у Фрэнсиса появился неожиданно. Среди тетушкиных книг была одна, которую тетушка купила уже давно, бегло просмотрела и решила, что это не для нее. Книга называлась «Рисование карандашом и пером», а автором

---

**[150] Примечания: 150**

*...что такое Питти и кто такие путти.* — Палаццо Питти — самый большой из ныне существующих флорентийских дворцов; здание служило резиденцией сначала великим герцогам Медичи, затем династии герцогов Лотарингских и, наконец, итальянской королевской фамилии; сегодня это один из самых крупных музейных комплексов Флоренции. *Путти* — скульптурное или живописное изображение купидонов или херувимов, характерное для изобразительного искусства эпохи Ренессанса.

был некий Гарри Фернисс[151]. Надо сказать, что в это время он был все еще жив и прожил еще пять лет после того, как Фрэнсис впервые взял в руки его книгу. Фернисс был замечательным карикатуристом, но, как он объяснял в своей книге неподражаемо задушевным стилем, кто хочет рисовать карикатуры, должен сначала научиться рисовать людей, а кто хочет рисовать людей, тот должен уметь изобразить все и вся. Тот не сможет нарисовать мистера Гладстона похожим на старого орла, кто не умеет нарисовать серьезного мистера Гладстона и серьезного старого орла. Нужно разрабатывать глаз; нужно научиться видеть все как сочетание линий и форм. Андреа дель Сарто был отнюдь не Рафаэль, но мог поправлять рисунки Рафаэля; а читатель мог стремиться к тому, чтобы рисовать, как дель Сарто, даже если в лучшем случае был способен сравняться с Гарри Ферниссом. Впрочем, сравняться с Гарри Ферниссом тоже было не так просто.

Фрэнсис получал сколько угодно бумаги и карандашей: достаточно было попросить тетушку. Он не сказал тетушке про Фернисса, которого

**[151] Примечания: 151**

*Гарри Фернисс* (1854–1925) — английский художник, карикатурист, иллюстратор. Иллюстрировал в числе прочего книги Льюиса Кэрролла («Алиса в Стране чудес», «Сильвия и Бруно»).

она отвергла как недостойного и, без сомнения, грубого в своих методах. Но человек, который в юности, оказавшись свидетелем лондонского пожара, покрыл набросками множество страниц, а потом переработал их в большую, на разворот, гравюру для «Лондонских иллюстрированных новостей», разумеется, завладел воображением Фрэнсиса. Фрэнсис никогда не встречал людей, изображенных на карикатурах Фернисса, но в рисунках просвечивала их душа. Именно такой человек нужен был, чтобы развеять заблуждение, посеянное тетушкой: изобразительное искусство — удел исключительно гениев, в основном иностранцев, а творят его в студиях, обычно под вселяющим ужас духовным водительством Пресвятой Девы, а может, даже и Некой Особы. Книга Фернисса оказалась глотком свежего воздуха. Она дарила надежду — слабую, но все же надежду, — что и кто-нибудь вроде Фрэнсиса может стать художником.

«Всегда имей в кармане запас бумаги, — писал Гарри Фернисс. — Не делай ни шагу без альбома для рисования. Не проходи мимо живописной фигуры, где бы ты ее ни увидел — на улице, в театре или в парламенте. Схвати каждый поворот головы, каждый блик в глазу. Нельзя изобра-

зить хорошенькую девушку, не умея рисовать подзаборных мегер. Если не можешь хранить наброски по определенной системе, то и не надо; когда приучишь руку и глаз улавливать и сохранять каждую мелочь, каждый нюанс, то старые наброски уже не будут нужны, потому что все нужное само выстроится в систему у тебя в мозгу и в руке».

Словно свежий морской бриз прогнал запахи святости. Фрэнсис стеснялся альбома, как печати на лбу, выдающей в нем художника. Многие мальчики на его месте щеголяли бы своим занятием, всячески привлекая внимание взрослых, желающих посмотреть, чем это он занимается. Фрэнсис же научился рисовать, сидя тихо и ничем себя не выдавая.

Рождество прошло, и через несколько недель Фрэнсиса начали выпускать ненадолго подышать воздухом. Однако мальчик старался не привлекать внимания любопытствующих, которые непременно заинтересовались бы, чего это он болтается по улицам, когда все приличные мальчики либо сидят в школе, либо лежат дома с детским параличом или просто с распухшими желёзками. Постоянно быть незаметным, как и постоянно бросаться в глаза, — особое умение;

Фрэнсис изучал технологию невидимости и рисовал везде и всюду.

Однажды, в феврале, он сидел на тюке соломы в конюшне и рисовал жующих лошадей. И вдруг Зейдок Хойл сказал:

— Фрэнк, погода хорошая, а мне нужно съездить на Переволок. Спроси тетю, — может, она тебя со мной отпустит?

Тетушка помялась, но все-таки разрешила, с условием, что Фрэнсиса хорошенько закутают. Его закутали — практически спеленали — и посадили рядом с Зейдоком на скамью кучера. Это был не один из дедушкиных фургонов, а какая-то странная телега с закрытой задней частью. Фрэнсис не смог понять, что это такое. Они проехали мили четыре, вдыхая режущий зимний воздух, и наконец увидели поселок на берегу реки. Он носил какое-то имя, но, по обычаю, его с незапамятных времен называли просто Переволоком. Зейдок показал кнутом куда-то далеко за реку:

— Видишь, Фрэнки? Там Квебек. Много странных делов творится на этой реке.

Они остановились на берегу, у какого-то сарая; оттуда вышел толстый небритый брюнет, кивнул Зейдоку, ушел обратно в сарай и скоро вернулся с ящиком; всего они с Зейдоком погрузили в кры-

тый задок телеги шесть таких ящиков. Зейдок и брюнет не обменялись ни единым словом. Телега тронулась.

— Это был приятный визит, — пояснил Зейдок. — А теперь будет печальный.

Приятный? Что в нем такого приятного? Они не сказали ни слова, а у толстяка было, как показалось Фрэнсису, бельмо на глазу, и Фрэнсис жалел, что не успел его быстро зарисовать. А теперь — печальный визит?

Они проехали меньше мили и оказались у фермерского дома. Зейдок коротко переговорил с женщиной, одетой в черное; на заднем плане маячила другая женщина, постарше, тоже в черном. Из амбара вышел мужчина, и вдвоем с Зейдоком они вынесли из дома что-то тяжелое: длинный сверток в грубой бурой дерюге. Явно человеческое тело. Они запихали его в задок телеги вместе с ящиками. Зейдок произнес что-то утешительное, мужчина кивнул и сплюнул, и Зейдок развернул лошадей в направлении Блэрлогги.

— Зейдок, это мертвец? Почему мы везем мертвеца?

— Ну как «почему»? Таков уж бизнес мистера Девинни: я их забираю и привожу в порядок. Я правлю катафалком. А мистер Девинни заправля-

ет бизнесом. Он следит за тем, чтобы в «Почтовом рожке» появилось объявление о смерти, заказывает и рассылает извещения. Он в траурном цилиндре марширует впереди катафалка. Он занимается утешением родственников — порой это бывает нелегко, но в нем иногда проступает поэтическая жилка. И конечно, он выставляет счета, подсчитывает траурные перья на катафалке и всякое такое. Этот, который лежит у нас за спиной, — это Старый Макалистер. Злобный был старикашка, но теперь он наш клиент. И мне надо приготовить его к похоронам, снова отволочь на ферму, а в пятницу приволочь обратно, чтоб его похоронили. В нашем деле все время приходится кого-нибудь куда-нибудь таскать. Мы едем на труповозке. Ты не знал? Ну да, таким мальчуганам, как ты, многое не рассказывают.

В Блэрлогги они направились прямо на Дэлхузи-стрит, главную и единственную деловую улицу города, и остановились у боковой двери «Мебельного магазина и похоронного бюро Девинни». Зейдок живо соскочил с телеги, открыл дверь лавки, выкатил оттуда легкий столик на резиновых колесах, перетащил Старого Макалистера на столик, прикрыл его простыней и вкатил в лавку. Вся процедура заняла секунд

пятнадцать.

— Нужно пошевеливаться. Незачем людям видеть, чего мы тут делаем. Похороны, малыш, — это произведение искусства, а наша грубая работа не для глаз публики.

Говоря это, он быстро катил Старого Макалистера через ту половину лавки, где продавалась мебель. Задняя часть помещения была отгорожена стенкой с двойной дверью, прикрытой занавесками. Оказавшись на той стороне, Зейдок включил свет — его скупо дарили две не слишком мощные лампочки — и открыл еще одну двойную дверь, очень тяжелую, на широких петлях. Оттуда повеяло холодом, влажным и спертым воздухом, тающим льдом. Зейдок быстро вкатил Старого Макалистера внутрь и закрыл дверь.

— Надо сразу закрывать, чтоб лед не таял, — объяснил он. — Мистер Девинни вечно жалуется на счета за лед.

— А что же ты с ним будешь делать? — спросил Фрэнсис. — Так оставишь до похорон?

— Надо думать, что нет! Он у меня станет таким красавцем, каким при жизни сроду не был. Это искусство, Фрэнки. Основам научиться может каждый, но настоящим художником надо родиться. Ты и не знал, что я художник, а?

И тут Фрэнсис раскрыл свою великую тайну:

— Знаешь, я, наверно, тоже художник.

Он порылся в многослойных одеждах и достал блокнот с набросками.

— Клянусь мощью старого Мельхиседека! — воскликнул Зейдок (таково было его самое страшное ругательство). — Ты и правда художник, малыш! Ничего не скажешь. Мисс Макрори как живая. Ах, Фрэнки, ты очень уж зло изобразил ее шапочку. Нельзя быть жестоким, малыш. А это мисс Камерон! Она у тебя похожа на жутковатую духовную картинку, какие любит твоя тетя. Но в этом есть и правда. А вот я! Кто бы поверил, что когда-то я слыл красавцем! Ах ты, чертенок! Вот точно, мой красный нос, тютелька в тютельку! Ах ты, Фрэнки, негодяй! Заставил меня смеяться над самим собой. О, ты и правда художник. А что же ты с этим собираешься делать?

— Пожалуйста, пообещай, что никому не расскажешь. Они все сразу на меня кинутся, тетя захочет, чтобы я брал уроки, а я пока не хочу. Понимаешь, я должен сперва найти свой путь. Так говорит Гарри Фернисс: найди свой путь, а потом пускай, кто может, тебя учит; но ты иди своим путем.

— А это мадам Тибодо! Ах ты, разбойник! По-

гляди-ка, задница свисает по обе стороны стула. Если бы она это увидела, она бы тебя убила!

— Но это же по правде так! Мне надо научиться видеть то, что у меня под носом. Так говорит Гарри Фернисс: многие люди не видят того, что у них под самым носом. Они видят только то, что, как им кажется, они должны видеть.

— Это верно, Фрэнки, и мое искусство меня научило тому же. Надо подталкивать людей, чтобы они видели именно то, что, как им кажется, они должны видеть. Но давай-ка пойдем — я должен тебя вернуть домой, и лошадь замерзнет.

По дороге обратно в «Сент-Килду» Фрэнсис умолял Зейдока рассказать, что он будет делать со Старым Макалистером. Если это искусство, разве собрат-художник не имеет права знать? Наконец они ударили по рукам: сразу после ужина Зейдок снова заберет Фрэнсиса, потому что тетушка собирается уйти на приходское собрание — что-то такое про бедных и нуждающихся, — и тогда Фрэнсис увидит Зейдока за работой, и Зейдок доставит его домой вовремя, чтобы никто, даже мисс Виктория Камерон, не заподозрил, что Фрэнк успел отлучиться.

В сарае сенатора Зейдок первым делом выгрузил из труповозки шесть ящиков, которые так

там до сих пор и лежали, и запер их в одном из пустых стойл конюшни.

— Зейдок, что это?

— Да просто так, кое-что, это твой дедушка получает из Квебека, от одного надежного человечка. И мистеру Девинни чуток достается, за прогон телеги. Это у него такой побочный бизнес, но мы об этом никогда не говорим. Понимаешь, малыш, у каждого свой секрет. У тебя свой, а у мистера Девинни свой.

Фрэнсису показалось, что, перетаскивая последний ящик в стойло, Зейдок добавил вполголоса: «А у меня свой».

*– Не уверен, что это была удачная идея — привести мальчика тринадцати лет в похоронное бюро, где заправляет бутлегер.*

*— А я уверен, — ответил даймон Маймас. — Тетино воспитание уже почти сделало из него старуху. Он нуждался в мужском примере, а где же был Деревянный Солдатик? Спасал Британскую империю где-то за морем. А мать порхала ангелом милосердия над ранеными солдатами, но на собственного сына у нее времени не было. А дед был слишком сломлен — он годился разве что на второстепенную роль доброго человека в жизни мальчика. Хотя, конечно, он был очень*

*добр — когда вспоминал, что надо быть добрым.*

*— Дед — сломлен?*

*— Он так и не оправился после низвержения своего кумира. Когда Мария-Джейкобина попала в беду и ее пришлось выдать замуж за первого встречного — да еще протестанта, — сенатор разуверился в жизни. В бизнесе и политике он был по-прежнему сильным, но это все внешнее; только глупец вкладывает душу в подобные вещи. Из сенатора словно выдолбили сердцевину. Погляди на Марию-Луизу: старая жирная картежница. Погляди на Мэри-Бен: она боготворила брата, но понимала его в лучшем случае наполовину. Зейдок был самой сильной личностью в окружении мальчика, и ты это прекрасно знаешь.*

*— Он жулик, дорогой мой коллега. Жулик.*

*— Да, жулик, но порядочный и добрый, стоящий в самой гуще жизни и смерти. Ты же знаешь — мне приходится работать с тем, что под рукой.*

*— Тебе виднее. Я не бывал на твоем месте, так что, конечно, не мне критиковать, как ты делаешь свою работу.*

*— Совершенно верно. А Зейдок действительно был чем-то вроде художника — мы это увидим, если ты любезно продолжишь рассказ. Кстати, а ты знаешь, чем все кончилось?*

*— Я не могу помнить все жизни во всех деталях. Я, как и ты, словно впервые смотрю историю Фрэнсиса Корниша.*

Фрэнсис подумал, что свет в похоронном бюро Девинни — как на картинах Рембрандта: две жалкие лампочки над узким наклонным столом, куда Зейдок водрузил сверток с останками покойного Макалистера, злобного старикашки. Зейдок стоял у раковины и яростно тер руки желтым мылом.

— Чистота — это очень важно, — сказал он. — Уважение к мертвым и предосторожность для живых. Никогда не знаешь, отчего умер очередной покойник. Так что я сейчас побрызгаю карболкой, а ты, малыш, отойди подальше в угол.

Уважение к мертвым; Зейдок очень бережно развернул Старого Макалистера, который, судя по всему, умер в кальсонах и фуфайке — мешковатых, цвета печенки, похожих на вторую кожу. Зейдок быстро взрезал нижнее белье кривым ножом, в котором Фрэнсис узнал нож для обрезки кустов. Скоро Старый Макалистер остался голым — непривлекательное зрелище, но Фрэнсис не променял бы его на все сокровища мира.

На такое он даже и не надеялся. Он сможет рисовать обнаженную натуру! Даже Гарри Фернисс

утверждал, что это — после умения видеть, что у тебя под носом, — необходимейшая вещь для того, чтобы стать художником.

Старый Макалистер был лыс и тощ. Лицо и руки — выдубленные и загорелые: шестьдесят семь лет они были открыты всем стихиям, обитающим в долине Оттавы. Но все остальное тело оказалось голубовато-белым. Ноги как палки, ступни вывернулись наружу. Белье пришлось разрезать, так как, по местному обычаю, оно было зашито на зиму прямо на теле. Фрэнсису был знаком этот обычай: в Карлайлской сельской школе так зашивали большую часть детей, и от них чудовищно воняло.

— Для начала устроим ему помывку, — сказал Зейдок. — Но сперва хорошенько выполоскаем.

Вооружившись большой спринцовкой, он аккуратно выполоскал содержимое прямой кишки в ведро. Затем вымыл Старого Макалистера, поливая из короткого шланга и часто сдабривая карболкой. Вода падала на цементный пол и уходила в сток. Зейдок вымыл руки Старого Макалистера, взбивая желтое мыло в обильную пену, и вычистил ему ногти перочинным ножом.

— С ногтями всегда возня, — сказал он Фрэнсису, который самозабвенно скрипел карандашом. — У

этих деревенских и в заводе нету такого, чтоб ногти чистить. Так и ходят с нечищеными от Пасхи до Пасхи. Но когда придут прощаться с телом, у него должны быть ногти как у парикмахера. Понимаешь, это часть нашего искусства. Когда я закончу, он будет выглядеть не хуже, чем когда-то на собственной свадьбе, а может, и лучше. Наверно, лучше.

Он побрил Старого Макалистера, не скупясь на мыльную пену и горячую воду.

— Хорошо, что я побывал камердинером у джентльмена, — сказал он. — Правда, вот такого ни один джентльмен не потерпел бы.

Он ловко сунул палец в рот трупа, оттопыривая впалую щеку. У Старого Макалистера была такая жесткая щетина, что бритва скрипела.

— Надо полагать, он никогда в жизни не брился чаще раза в неделю, — сказал Зейдок. — Где-то у меня был рулон ваты. Для того, что мы называем отверстиями.

Отверстиями оказались уши, ноздри и, к изумлению Фрэнсиса, задний проход. Зейдок засунул в каждое по внушительному ватному комку. Самый большой ком ваты отправился в рот, а за ним — большой ком воска, после чего Зейдок сжал челюсти трупа и держал, пока они не схватились.

— На зимних похоронах с этим никаких забот, а вот летом совсем другое дело. Мне приходилось видать, как воск размякал от жары и покойник вдруг открывал рот. Ты не поверишь, какой тут поднимался визг и обмороки. Но с тобой все будет в лучшем виде, а, старина? — И он дружески хлопнул Старого Макалистера по плечу. — Ну вот, с чисткой покончено. Теперь начинается наука. Малыш, если тебя замутит, вон там есть ведерко.

Но Фрэнсиса не мутило. Он зарисовал правую руку Старого Макалистера — вот это рука, вот это узлы и шишки! Зарисовал обе ступни со всеми мозолями и натоптышами. Сейчас он трудился над изображением тела в полный рост, в непростой перспективе. Ему на помощь пришла ожившая в памяти картина из «Шедевров великих галерей», которую тетушка не давала слишком долго разглядывать, — кажется, она называлась «Урок анатомии». Вот это здорово! Вот это жизнь!

Зейдок подкатил к рабочему столу приспособление, установленное на столике с колесами. Это был бак, из которого тянулся шланг. Маленьким ланцетом Зейдок вскрыл вену в руке Старого Макалистера, ввел в нее иглу потолще, прикрепленную к шлангу, и стал размеренно качать рычаг насоса своей машинки. Качая, он

пел красивым низким голосом, *sotto voce:*

*Да! Пусть погибну, как солдат,*
*Пускай паду в бою —*
*И все, в чем был я виноват,*
*Я смертью искуплю…*[152]

Прошло много времени — Фрэнсис успел еще раз нарисовать тело и стоящую рядом темную фигуру Зейдока. Он гордился мастерством, с которым изобразил гениталии Старого Макалистера: всего шесть беглых линий и тень. Совсем как у Рембрандта. Никакого сходства с омерзительными рисунками мальчишек на заборах. Но мальчишки, конечно, не художники.

— А теперь важное, — сказал Зейдок.

Он ловко наколол иглой пупок Старого Макалистера, вставил туда иглу побольше — он назвал ее трокаром — и снова принялся качать. Потом проделал какую-то очень тонкую операцию с уголком глаза.

— Вот так, старина, — сказал он. — Теперь ты у нас продержишься неделю-другую. А теперь, Фрэнки, настал черед настоящего искусства.

---

**[152] Примечания: 152**

*…Да! Пусть погибну, как солдат…* — Ария из оперы Уильяма Винсента Уоллеса «Маритана» (1845). Автор слов — Эдвард Фитцболл.

Работая, Зейдок, и обычно жизнерадостный, становился прямо-таки весельчаком.

— Время терять не след, а то он возьмет да и окоченеет, — объяснил Зейдок, ворочая Старого Макалистера и ловко натягивая на него носки, брюки и рубашку, — все приехало с фермы, завязанное в узел. — Ну-ка надевай бальные туфельки, щеголь, — пошутил Зейдок, втискивая огромные бесформенные ступни в мягкие кожаные тапочки. — А теперь, еще до воротничка и галстука, — тонкая работа.

— Зейдок, а где ты был камердинером? — спросил Фрэнсис.

— О, до войны — до Бурской то есть — я кем только не побывал! Сперва лакеем; это очень полезный опыт, помогает устроиться в кучу разных мест. Потом я поступил камердинером к джентльмену, потому что на войне я ведь был денщиком у нашего молодого лорда. Я был лакеем в доме у его отца, мы и в армию пошли вместе, — конечно, он офицером, а я рядовым. Но мы все время были неразлучны. Следить за тем, чтобы молодой офицер выглядел как следует — на фронте, где сволочи-буры лезут изо всех щелей, — это та еще работенка, скажу я тебе. Ты знаешь, что у буров не было военной формы? Они так и дрались в

чем у себя на ферме ходили. Это и войной-то не назовешь. Но я научился одевать джентльменов, и живых и мертвых, чтоб они выглядели как джентльмены. А уж с деревенским жителем мне управиться — проще простого.

— Но где ты этому научился — вата, иголки и все такое?

— Меня всегда к этому тянуло. Помню, совсем маленьким, на похоронах деда, я все ныл: «Пустите меня к дедушке, пустите меня к дедушке». Мать решила, что это я из любви к деду, как хороший мальчик, но на самом деле мне просто было любопытно. У деда была трясучка, и меня страшно поразило, как это он перестал трястись. Я думал, это похоронных дел мастер, старый Смаут, его остановил. Конечно, Смаут был таким похоронных дел мастером, какого только и можно встретить в корнуолльской деревне, — по сути, гробовщик. Великие достижения нынешней науки ему были недоступны. По моим теперешним меркам, это была топорная работа: саван дешевый, волосы зачесаны не в ту сторону. Но именно тогда я первый раз этим заинтересовался… Потом, на войне, нам пришлось хоронить мертвых. В нашем полку похоронами ведал сержант-коновал, он не учился этому и сам ничего

не мог придумать, но хотел, чтобы все делалось как следует. Тут я со своим даром и развернулся в полную силу. Конечно, мы мало что могли сделать; никакого бальзамирования, но мы хотя бы придавали нашим беднягам-ребятам вид, достойный солдат королевы. При ранении в лицо очень помогает хорошая доза алебастра. Я бы получил медаль за эту работу, но помешало одно недоразумение. Но я не держу обиды… уже не держу. Другие отделения копировали наши методы, но заходили слишком далеко. Один гнидор зарабатывал на сердцах. Он был офицером, так что его письма не подлежали цензуре, — джентльмен не читает письма другого джентльмена и все такое. И вот он писал родным погибших: «Дорогая мадам, прошу принять мои соболезнования в связи со смертью Вашего сына. Он достойно сражался и умер как герой. Его последним желанием было, чтобы его сердце вернулось в Англию и было похоронено в церкви, где он в детстве учился мужеству и любви к Родине. Я могу доставить Вам вышеупомянутое сердце, надлежащим образом законсервированное, по моем возвращении в Англию, за очень умеренную плату. Примите и проч.». Грязный трюк, но какая мать откажется? Черти б его драли — где бы он ни был сейчас…

Потом, в Англии, я немного поучился у настоящих мастеров, там всего этого и набрался. Хотя, конечно, искусству прихорашивать покойных я научился не у бальзамировщиков. Настоящему искусству. Его я перенял у одного своего товарища, который подрабатывал в мелких ролях клоунов в рождественских пантомимах. Пудра. В ней — главный секрет.

Зейдок выпустил в воздух у головы трупа клубы рисовой пудры с запахом фиалок.

— Это основание, — сказал он.

Зейдок быстро покрыл пудрой лицо Старого Макалистера, которое раньше имело цвет темной замазки, а теперь стало розовым — наподобие лососины. Скулы Зейдок припудрил сухими румянами неожиданно алого цвета. После этого он занялся ртом: осторожно массировал мрачные серые губы, пока те не сложились в непривычную для них улыбку. Эту улыбку Зейдок накрасил красной помадой, какую и шлюха сочла бы чересчур яркой. Затем быстро втер в жидкие волосы немного вазелина и зачесал их на лоб.

— Что ты думаешь — как он причесывался? Когда вообще причесывался, конечно. С виду непонятно, так что будем делать классику.

Зейдок сделал в волосах пробор слева и паль-

цем взбил правую часть волос, придав Старому Макалистеру опрятный и даже щегольской вид. Быстро надел на покойника воротничок и галстук, потом жилет, перетянув его длинной и толстой серебряной цепочкой для часов (самих часов на ней не было). Потом пиджак. В нагрудный карман пиджака Зейдок вставил кусок картона, частично обтянутый белым батистом (своего носового платка у Старого Макалистера не оказалось, да он ими и не пользовался). Руки Зейдок сложил на груди, в позе христианского смирения, и Старый Макалистер стал законченным произведением искусства.

Тут Зейдок еще больше поразил Фрэнсиса — после всех восхитительных и поразительных событий этого дня. Он взял правую руку Старого Макалистера и сердечно потряс ее:

— С Богом, старина.

Заметив удивление Фрэнсиса, он объяснил:

— Я всегда так делаю. Понимаешь, я — последний слуга, я исполняю самые личные услуги. Священник — это все-таки другое. Поэтому я всегда жму руку и желаю доброго пути. И ты, Фрэнки, тоже пожми: все-таки ты тут был и рисовал его и все такое.

Фрэнсис, робея, отважно пожал ледяную лапу

Старого Макалистера.

— Вот так, старина, а теперь давай-ка обратно в холодную. Завтра утречком я тебя отвезу и все успеют с тобой попрощаться. А тебя, Фрэнки, я должен доставить обратно домой и в постель, пока тебя не хватились.

К удивлению Фрэнсиса, Зейдок не только отвез его в «Сент-Килду», но и поднялся с ним наверх, закрыл за ним дверь спальни и пошел — куда? Шаги удалились не вниз по лестнице, а наверх, на третий этаж, в личное царство Виктории Камерон. Туда Фрэнсису запрещали ходить под страхом ужасных кар. Никогда не ходи туда, Фрэнсис, слышишь — никогда, ни в коем случае. Так почему же Зейдок туда пошел? Еще один сюрприз в конце удивительного дня, расширяющего кругозор, несущего просветление. Памятный день на пути к тому, чтобы стать художником, человеком, принадлежащим великому миру событий, — как Гарри Фернисс.

Теперь Фрэнсис проводил целые часы в задней комнате у Девинни, восторженно наблюдая, как работает Зейдок, и рисуя так, словно от этого зависела его жизнь. Его глазам и карандашу представлялось множество самых разных моделей. Старики, конечно, преобладали, но время

от времени попадался кто-нибудь в расцвете лет — жертва несчастного случая или неожиданно тяжелой болезни. Однажды это оказалась девушка лет шестнадцати — Фрэнсис не знал ее, но встречал на улицах и в Оперном театре Макрори.

С женщинами Зейдок вел себя просто образцово. Раздевая клиентку на столе, он всегда прикрывал ей лобок полотенцем, поэтому Фрэнсис так и не увидел полностью голой женщины, как ему ни хотелось.

— Профессиональная скромность, — пояснил Зейдок. — С дамами — не подглядывать. Так что мы всегда прикрываем Особенности полотенцем, понимаешь? Потому что ни один мужчина, будь он хоть какой профессионал, не вправе разглядывать Особенности женщины, с которой имеет дело в чисто профессиональной сфере.

Но — о, как Фрэнсис жаждал увидеть Особенности! Он мучительно пытался себе представить, как они могут выглядеть. На картинах из тетушкиной коллекции было очень мало обнаженных женщин, и те, казалось, вовсе не имели Особенностей, либо прикрывали их рукой, либо стояли в такой позе, что зрителю ничего не было видно. Что собой представляют Особенности? Фрэнсис

тактично задал этот вопрос Зейдоку, упирая на то, что он, как художник, обязан знать все о человеческом теле.

— Ты должен сам это выяснить, — серьезно ответил Зейдок. — Вот буст — это да. Его много где можно увидеть — да, по правде сказать, это первое, что видит любой человек в своей жизни. А вот Особенности — совсем другое дело.

Как-то мартовским вечером Зейдок приехал за Фрэнсисом в заметно подавленном настроении.

— Мне это не по сердцу, малыш, совсем не по сердцу.

Они вынули из ледника то, что ему было не по сердцу: это оказалось тело Франсуа Ксавье Бушара, карлика-портного, которого англоговорящие жители Блэрлогги звали Буши.

Его портняжная мастерская располагалась в жалком одноэтажном домишке в верхнем конце Дэлхузи-стрит. Зимой и летом Буши стоял в дверях, подпирая косяк в ожидании заказчиков. Заказов было немного: где пуговицу пришить, где перелицевать костюм для человека, не желающего тратиться на новый. Но Буши вроде бы зарабатывал себе на хлеб, хотя сам, подобно многим портным, одевался кое-как. На лице карлика навечно поселилась улыбка — собачья ухмылка,

которая, казалось, просила, чтобы его хоть как-то потерпели, какое уж там уважение.

И вот он лежал на столе у Девинни. Голова огромная, торс — бочонком, ручки и ножки коротенькие — казалось, что между плечом и локтем, локтем и кистью расстояние совсем крохотное. Гениталии высились горой над крохотными ножками, хотя на теле мужчины обычного роста не показались бы чрезмерными. Голова лежала под странным углом.

— Повесился, — сказал Зейдок. — Его нашли сегодня утром. Судя по всему, два или три дня прошло. Бедный, бедный малыш. Фрэнсис, мы должны все сделать для старины Ф. К. по наилучшему разряду. Правда, то, что он вытерпел в своей жизни, уже никак не загладишь.

Зейдок поведал о событиях, которые привели к такой развязке жизни Буши, — все, о чем он рассказал, лежало полностью за пределами жизненного опыта Фрэнсиса, если не считать ужасных минут на переменах в Карлайлской школе, когда мальчики мучили котов и надували лягушек.

— Это мужчины в одном братстве. Не буду говорить в каком. Ты знаешь, что такое братство? Это когда кучка мужчин собирается вместе для чего-

то вроде религии, но не совсем настоящей; у них есть алтари и всякие штуки, и они одеваются в дурацкие костюмы и вещают всякую белиберду. Все это очень большая тайна, но кто хочет ее выведать, тот как-то выведывает… Время от времени в братство принимают новых людей и устраивают очень торжественную церемонию; а потом им надо повеселиться. Ну знаешь, после всяких серьезных вещей хочется чего-нибудь несерьезного для разнообразия. Как после похорон, когда на поминках рассказывают анекдоты и скандалят. Ну так вот, этим ребятам пришло в голову, что будет очень весело похитить Буши, притащить его в помещение братства — над лавкой де Марша — и выкупать. Они это проделывали несколько раз. Кто его держал, кто тыкал ему в лицо мылом, кто обдирал ему кожу полотенцем. А потом они его заставляли бегать по комнате, подгоняли мокрыми полотенцами, чтоб полюбоваться, как мелькают его ножки и как болтается его большая штука. Три дня назад они как раз устроили очередную забаву, и надо полагать, что бедняга просто уже больше не мог этого вынести и, придя домой, повесился на подтяжках. Фрэнки, господи боже мой, я даже не знаю — то ли меня плакать тянет, то ли блевать. Мне тоже в жизни всякого

досталось, но бедный Ф. К…

Зейдок замолчал, склонился над телом и продолжил работу с особой деликатностью. *«Да! Пусть погибну как солдат, пускай паду в бою…»*

В тетиных книгах Фрэнсису встречались картины под названием «Положение во гроб». На лицах людей, несущих мертвого Спасителя, читалась такая скорбь, такое благоговение! Фрэнсис видел эти картины, но не понимал их, не воспринимал, не чувствовал, пока не увидел, как Зейдок работает над телом портного. Фрэнсис мужественно рисовал, как подобает настоящему художнику, но вынужден был время от времени шмыгать носом. Этот час запомнился ему на всю жизнь.

Когда все было сделано, Зейдок и Фрэнсис пожали Буши руку и напутствовали: «С Богом!» А потом Фрэнсис тщательно вымыл руки с мылом, ибо Зейдок не допускал отступления от правил.

Ночью, когда Фрэнсису полагалось лежать в постели и спать, у него иногда сна не было ни в одном глазу и он занимался… чем? Назвать это играми было бы не совсем точно, и сам он не смог бы определить свое занятие, если бы того потребовал какой-нибудь негодующий или сердобольный взрослый.

Мысли о сексе и телесные желания посещали

Фрэнсиса по нескольку раз на дню, и даже предписанная доктором Аппером процедура с мокрым полотенцем не помогала. Фрэнсис попробовал ее раз или два, но потом решил, что это глупо: он вовсе не хотел упрекать свой пенис за настойчивое стремление напомнить о себе. Причем пенис проявлял себя не только в те минуты, когда мысли Фрэнсиса устремлялись к загадке Особенностей, но зачастую — когда Фрэнсис думал о чем-нибудь совершенно невинном, например о еде или о том, куда он положил баночку китайских белил. Неужели он порочен? Но порок неотвратимо манил к себе. Может, это какое-нибудь особенное расстройство или болезнь? Почему его так мучит эта часть тела, которую он не может контролировать? Спросить было не у кого.

Но пенис требовал внимания часто, и эти приступы доставляли Фрэнсису пугающее удовольствие. Иногда он сам их провоцировал — прекрасно зная, что поступает плохо, — тем, что разглядывал кинозвезд в журналах. Эти журналы он очень изредка покупал в местном магазине под названием «Улей», где, кроме них, продавались еще резиновые накладные лица, кольца в форме змей с красными стеклышками на месте глаз и книги, в которых рассказывалось,

как стать фокусником или чревовещателем. В журналах изображались популярные актрисы того времени — Мэй Мюррей, Маргарита Фишер, Глэдис Уолтон — в купальных костюмах, обнажающих ноги до колена, или в коротких юбках и скатанных чулках; Глория Свенсон в каком-то историческом фильме, рисующем эпоху, когда люди явно не ведали стыда, показывала одно бедро почти до тазобедренного сустава. Фрэнсис подолгу смотрел на эту картинку, и его окатывала горячая волна. Это возбуждало гораздо сильнее, чем обнаженные женщины, которые изредка попадались в тетушкиных книгах, — зачастую монументальные фигуры Торвальдсена или какого-нибудь художника девятнадцатого века, явно единомышленника доктора Аппера. Те были скучны, а кинозвезды — живые и соблазнительные. Но сильнее всего Фрэнсиса возбуждали фотографии Джулиана Элтинга.

Фрэнсис видел этого знаменитого актера травести в дедушкином театре, в фильме «Прекрасная графиня». Элтинг, ничем не примечательный пухлый мужчина, умел перевоплощаться в женщин, полных элегантности и шарма; в фильме показали кружевное нижнее белье, корсет, парик, с помощью которых происходило перево-

площение. Фрэнсис пытался подражать Элтингу, используя куски занавесок и клочки шелка, припрятанные в комоде. Результат не убедил бы никого, но Фрэнсиса глубоко удовлетворил. Фрэнсису нужно было знать все о человеческом теле; он напихал в майку побольше тряпок, чтобы получился «буст» примерно как у Элтинга. Ноги были очень важной деталью на фотографиях кинозвезд. Фрэнсис расположил собственные ноги на манер Глории Свенсон. Парика у него не было, но он обмотал голову шарфом. Созерцание результата в зеркале доставило Фрэнсису несказанно острое наслаждение. Но как же Элтинг прятал свои Особенности? Личные Особенности Фрэнсиса недвусмысленно дали понять, что это — нелегкая задача.

Постельные фантазии сопровождались ночными кошмарами. Во сне Фрэнсиса преследовали суккубы, совершенно непохожие на Глорию Свенсон или обворожительную Кларину Сеймур; нет, Фрэнсису являлись страшные старые ведьмы и женщины, чудовищно похожие на тех, что он видел на столе бальзамировщика. Они мучили его, шептали ему на ухо, пока он не просыпался с горячим мокрым пятном на бедрах. Тогда он вскакивал, кое-как вытирал простыни мокрым

полотенцем и как мог застирывал пижамные штаны. А вдруг кто-нибудь узнает? Вдруг Анна Леменчик, которая застилает его постель, расскажет Виктории Камерон? Что тогда? Фрэнсис не мог и гадать, но знал, что это будет позор, неописуемый даже красочным лексиконом доктора Аппера. Но остановиться он не мог. Позировать на манер Элтинга было наслаждением, которому Фрэнсис не мог противиться.

*– Что ты об этом думаешь, друг мой? — спросил даймон Маймас.*

*— Лучше ты скажи мне, что ты об этом думаешь, — ответил Цадкиил Малый. — Я полагаю, что за всем этим стоял именно ты.*

*— Правильно полагаешь. И конечно, я позаботился, чтобы никто не застал Фрэнсиса за этими играми, потому что, как он совершенно правильно предполагал, поднялся бы благочестивый переполох. Но ты, конечно же, понимаешь, что он делал?*

*— Очевидно, пытался найти что-то такое, чем жизнь его обделила. Справиться с проблемой, которую нельзя было ни решить, ни забыть в условиях, определяемых его существованием в Блэрлогги. По-видимому, он не был знаком ни с одной девушкой — разве что вприглядку, — а*

*если бы и знал каких-нибудь одноклассниц, все равно это и близко не подошло бы к тому, что он видел в кино.*

*— И это к лучшему, потому что упражнениями возле зеркала он не пытался вызвать к жизни ни какую-либо живую, знакомую девушку, ни, конечно же, Джулиана Элтинга. Конечно, он не знал — люди этого никогда не знают, — что ищет Девушку с большой буквы, девичью часть своей души, идеальную женщину, которая определенным образом присутствует в любом сколько-нибудь значительном мужчине. А мой Фрэнсис был, несомненно, значителен. Не женоподобие, хотя любой наблюдатель заподозрил бы именно это. Конечно, не гомосексуальность — у Фрэнсиса ее была разве что самая малость, не больше обычного. Нет — он ощупью искал Мистический Брак, единство мужского и женского начала в себе самом. Без этого он был бы бесполезен как художник и как знаток искусства. Как бесполезен любой человек — богач, бедняк, нищий, вор, король, королевич, сапожник, портной... кто угодно, если судьбой ему предписано видеть хоть немного дальше собственного носа. Так Фрэнсис начал поиски Мистического Брака — а это великое и значительное путешествие*

*в человеческой жизни. Как водится, оно заняло очень много времени, и искать оказалось важнее, чем в конце концов найти.*

*— Ага! Надо полагать, именно об этих поисках смутно подозревает, но ничего не знает бедный Даркур, который трудится над биографией Фрэнсиса.*

*— Не надо ударяться в крайности. И конечно, не стоит недооценивать Даркура. Но ему не придет в голову описать жизненный путь Фрэнсиса как поиски женственной половины собственной души, как жажду познать эту половину, чтобы обрести полноту, духовную завершенность. Подобная идея, если человеческое существо сталкивается с ней в лоб, обычно оказывается непосильной. В результате люди начинают видеть то, чего не понимают, — а все непонятное для них, разумеется, чудовищно.*

*— Вроде тебя, дорогой Маймас?*

*— Да, вроде меня. Посмотри на меня, Цадкиил; что ты видишь?*

*— Прекрасное существо. Роскошные груди, которым позавидовала бы любая Венера; нежный цвет лица, блестящие глаза, гиацинтовые кудри цвета воронова крыла. Несомненно, женщина. Но эти изящные узкие бедра и жилистые ноги!*

*Эти дивные мужские детородные органы, которые постоянно движутся и шевелятся при каждой смене настроения и направления мыслей! Гермес и Афродита, чудесным образом слитые воедино. Симулякр полного человеческого существа, хотя, конечно, ты бы не мог быть собою — даймоном, — если бы не стоял намного выше человечества в его нынешнем виде. Быть может, ты создание будущего?*

*— Только как символ, брат. Если человечество когда-либо примет подобные формы, ему будет очень трудно себя воспроизводить.*

*— Давай дальше разворачивать историю большого путешествия Фрэнсиса. Именно ее я, как ангел биографии, обязан сохранить, точнее, уже сохранил, ибо мы смотрим не что иное, как запись прошедших событий. Но, как я уже говорил, я не могу помнить все подробности всех жизней. Хотел бы я знать, нашел ли он то, что искал. Мало кто находит.*

*— Да, но любому, кто ищет, посылаются драгоценные знаки и намеки, приносящие внезапное озарение. И конечно, когда мы смотрели на Фрэнсиса перед зеркалом, в нелепых женских тряпках, ты заметил то пророчество, прозрачный намек.*

*— Боюсь, я очень тупой, — сказал ангел.*

*— Взгляни мимо переодетого мальчика — видишь картину на стене? Ту, которую повесила туда тетушка от всей щедрости внешне смиренного, властолюбивого сердца. Знала ли она, что это — пророчество? Вряд ли сознательное, но это было именно оно, а еще — символ той жизни, которую вели все обитатели «Сент-Килды». Картина «Изгнанная любовь».*

*— Неужели Фрэнсис так и не найдет любовь?*

*— Нить повествования разматываешь ты, дорогой друг. Продолжай.*

Продолжая рассказ, мы обязательно должны взглянуть на событие, к которому Фрэнсис не имел ни малейшего отношения, но которое тем не менее решительно повлияло на его будущее. Мы говорим о падении — но лишь временном — Джеральда Винсента О'Гормана, который был мужем тетушки Мэри-Тесс и, таким образом, приходился Фрэнсису дядей.

Дж. В. О'Горман обладал незаурядными деловыми способностями, и сенатор, который отличал талантливых людей, быстро продвигал Джерри (как его все звали) по службе, пока тот не оказался вторым после сенатора человеком в компании. Джерри ведал всеми повседневными делами, давал советы, когда его просили, — а порой и то-

гда, когда его не просили, — но большие вопросы оставлял на решение сенатору.

Джерри, крупный и мясистый мужчина, канадский ирландец, был хорош собой, весел и добросердечен. Любящий муж Мэри-Тесс и заботливый отец двоих сыновей — Джеральда Лоренса и Джеральда Майкла. Истовый католик и, после сенатора, наиболее значительный БКМ в Блэрлогги и окрестностях.

Каждое воскресенье О'Горманы обедали в «Сент-Килде», и тетушкино сердце радовалось при виде любящей четы. Коронным номером О'Горманов была своего рода «кладбищенская галантность» — они любовно препирались на публике, оспаривая друг у друга право первым уйти на тот свет.

— О-о-о, Мэри-Тесс, если ты уйдешь первой, я никогда в жизни тебя не прощу! Моя жизнь без тебя будет каким-то недоразумением.

— Джерри, не говори так! Ты же знаешь, если ты уйдешь первым, я этого не переживу. Ради бога, любимый, пропусти меня вперед. Это будет последнее из тысячи и одного доказательства твоей любви!

— Ну ладно; кто бы из нас ни ушел первым, будем надеяться, если на то Божья воля, что

этот день еще не скоро наступит. Но я ничего не обещаю.

Засим следовал поцелуй — прямо за столом; Джерри сперва заботливо вытирал губы салфеткой, тетушка сияла, Мария-Луиза одобрительно кивала, а сенатор глядел в собственную тарелку.

Кажется, лучше не бывает. Но в один ужасный день Мэри-Тесс оказалась недалеко от главного отделения компании около пяти часов пополудни, решила туда зайти, чтобы прогуляться домой вместе с обожаемым Джерри, и обнаружила его на столе в кабинете: он занимался «этим самым» с секретаршей по имени Блонди Утронки.

О, какие слезы! Какие горячие отрицания! Какой ужасный позор! Ибо на крики Мэри-Тесс прибежала уборщица, которая затем разнесла новости по всему польскому «слою торта», откуда они быстро поднялись во французский «слой», а оттуда, практически мгновенно, — в шотландский, где, конечно, вызвали волну праведного злорадства.

А вы что, не знали? Ну конечно, с Блонди Утронки еще и не то станется! И так все знают, что Джерри О'Горман продвигал ее как мог — устраивал попеть в Оперном театре Макрори прямо перед художественным фильмом, да выбирал

самые лучшие. А за это платят хорошие деньги — пять долларов за выход! «Мыльные пузыри», «Прощальный поцелуй» и все такое. Ну что ж, Блонди Утронки выдула последний мыльный пузырь в Блэрлогги, и скоро ей придется подарить Джерри прощальный поцелуй, это уж точно!

Мамка Александра Дэгга тоже не смолчала: «У них кровь гнилая! Я всегда говорила. То клянчат, а то бесстыдничают на столе со стеклянной крышкой! Мы еще увидим падение Макрори! Мозги гниют! Гляньте на ихнюю старую тетку!»

Но это было еще не самое худшее. Тетушка, неутомимая закулисная устроительница чужих судеб, два года трудилась над большим замыслом, который должен был осуществиться через приход Святого Бонавентуры. Отец Девлин был уже монсеньором Девлином, и именно тетушка толкала и дергала епископа, чтобы отца Девлина удостоили такой чести. Она же подарила отцу Девлину две пары первых в его жизни фиолетовых носков, положенных его новому сану. Но не это было высшим достижением тетушки.

Приход Святого Бонавентуры в военное время отличился на поприще благотворительных трудов. Джеральд Винсент О'Горман был самую чуточку старше призывного возраста и к тому же

чувствовал, что его свояк, майор Фрэнсис Чигуидден Корниш, с лихвой исполняет долг солдата за всю семью. О'Горман не покладая рук — как раб, как собака, как вьючный осел — трудился, организуя кампании по сбору денег в фонд победы. Карточные вечера, концерты, ужины, где подавали жареную птицу (говядина была нужна фронту). Он настолько преуспел, что приход Святого Бонавентуры затмил все протестантские церкви. Посмотрите на сигаретный фонд — огромное достижение, триумф организационных способностей! И еще все знали — стараниями тетушки, — что Джерри творил бесчисленные добрые дела, оплатил из собственного кармана множество украшений и улучшений для церкви и никогда об этом не заикался. Разве подобное усердие не заслуживает хоть какой-нибудь награды?

Усердие было вознаграждено, ибо тетушка не отставала от епископа, который, в свою очередь, не отставал от кардинала из Апостольской канцелярии, пока о Джерри не услышал сам наместник Христа на земле. Однажды в воскресенье утром после мессы монсеньор Девлин объявил, что Джерри за свои заслуги перед Церковью, Святым престолом и обществом становится кавалером

ордена Святого Сильвестра.

Мэри-Тесс была сама скромность. Конечно, это не звание командора, не Большой рыцарский крест — просто орден Святого Сильвестра. Нет, супруге не полагается никакого титула — вся слава достается только мужчине. Но конечно, она очень гордится мужем. Внешние знаки отличия? Ну, в будущем, если выпадет торжественный случай… например, визит епископа или месса в престольный праздник святого Бонавентуры, 15 июля… Джерри обязан будет надеть парадный фрак с золотыми пуговицами и золотой вышивкой на бархатном воротнике и бархатных манжетах и золотым кантом на брюках. И двууголку с папской кокардой. И сам орден Святого Сильвестра, с прицепленной золотой шпорой. И конечно, шпагу. Хочешь не хочешь, ему придется все это надевать, а ей, Мэри-Тесс, придется следить, чтобы он все надел правильно, потому что вы же знаете этих мужчин… Наконец под давлением Мэри-Тесс сознавалась, что это очень приятно.

И вдруг — Блонди Утронки!

Монсеньор Девлин, жизнь которого была отнюдь не медом, столкнулся с самой неприятной задачей из всего, что до сих пор выпадало на его долю, — сообщить Джерри, что подобные вещи

недостойны папских рыцарей и что епископ прислал запрос, от которого нельзя просто так отмахнуться. Ему, монсеньору Девлину, придется сделать формальный доклад епископу, а епископ перешлет его в Рим, и рыцаря лишат рыцарского звания. Монсеньор Девлин, корчась в фиолетовых носках, постарался, чтобы эта новость прозвучала как можно менее серьезно. Но Джерри не был расположен шутить.

— Я только одно хочу знать: требую, чтобы вы мне сказали, отец Мик, кто на меня донес!

— Ну что ты, Джерри, тут и доносчик не был нужен. Весь город знал.

— Мелкие местные сплетни. А кто донес епископу, я вас спрашиваю?

— Ну, Джерри, ты же знаешь, что мне придется написать докладную записку, даже если у меня рука отсохнет.

— Я все понимаю, вы исполняете свой долг. Но кто стукнул вам?

— Весь город, я же говорю. Мы стали посмешищем для пресвитерианцев. Я встретил на почте мистера Маккомаса, и он выразил мне соболезнования в связи с «неприятностями». Чтобы меня жалел пресвитерианский пастор! Они смеются над нами за глаза.

— Да и в глаза тоже, надо сказать! Вчера в конторе какой-то шутник повесил записку на доске объявлений: «Все шпаги, подлежащие возвращению в Рим, следует до пятницы поместить на стойку для зонтиков».

— О, это мелочи! Перетерпи, и они успокоятся.

— Честное слово, я знаю, кто это сделал! Сказать кто? Только не обижайтесь, но вы же знаете, что я его никогда не любил. Отец Бодри! Клянусь, это он написал донос епископу, а тот уже послал запрос вам!

— Довольно, Джерри, я не имею права слушать подобные разговоры.

— Ах, не имеете права? Ну так вот: будь он хоть трижды священник, все равно он доносчик и ябеда, и даю слово, что ему не носить фиолетовых носков, если я могу хоть как-то этому помешать!

— Ну-ну, Джерри, ты же знаешь, что устав ордена предписывает «незапятнанный моральный облик», и все тут. Разговорами не помочь. Где Блонди?

— Уехала в Монреаль.

— Она ведь хорошая девушка. Надеюсь, ты сделал ей щедрый подарок на прощание? Ты ее погубил, знаешь ли.

— У-у-у, отец Мик, нечего бить на жалость!

Она прекрасно знала, на что идет. Это я погиб, а не она.

Кроме подобных разговоров, монсеньору Девлину пришлось выслушивать еще и причитания своей благодетельницы, мисс Мэри-Бен.

Темная туча окутала семью Макрори, за исключением, возможно, сенатора, который на несколько недель отлучился в Оттаву по государственным делам.

Фрэнсис ничего не знал о домашних и публичных несчастьях О'Горманов, так как не ходил в школу, а мрачная атмосфера, царящая в «Сент-Килде», на него не особенно действовала. Его полностью поглощало другое, его личное сенсационное открытие.

Теперь он точно знал, что несколько раз в неделю, вечером, Зейдок Хойл поднимается по лестнице, на которую Фрэнсису было запрещено ступать, так как она вела во владения Виктории Камерон. Что происходит там, наверху? Что связывает двух людей, столь важных в жизни Фрэнсиса? А если в этом нет ничего такого — почему Зейдок разувается и идет вверх по лестнице в одних носках?

И еще звуки. Смех — Фрэнсис по голосам узнал, что смеялись Зейдок и Виктория. Пение — явно

голосом Зейдока. По временам — удары и возня. Изредка, но достаточно часто, чтобы повергнуть Фрэнсиса в недоумение, — какой-то странный звук, словно кошка мяукает, но гораздо громче. Фрэнсис не хотел спрашивать тетушку — вдруг он в результате окажется ябедой. Конечно, он не мог спросить у Зейдока или Виктории, потому что если они там занимаются чем-то запретным — возможно, чем-то имеющим отношение к великой тайне и мрачному миру, завесу над которым едва приподнял доктор Аппер, — то, естественно, рассердятся, и конец долгим философским беседам с Викторией, конец визитам в похоронное бюро Девинни и столь необходимым урокам рисования. Но он должен знать!

И вот как-то ночью, в начале Великого поста, Фрэнсис в пижаме осторожно прокрался наверх, двигаясь ощупью в темноте. Вскоре он почувствовал, что стены покрыты чем-то мягким, вроде одеял. Лестничную площадку освещали лучи луны, падающие через высокое окно, и Фрэнсис увидел, что стены в самом деле обиты мягким и что путь ему преграждает тяжелый мягкий стеганый занавес. Это было странно: он знал, что комнаты Виктории — в другой стороне, а часть этажа, отгороженная занавесом, находится над

спальней бабушки и дедушки. Тут он вдруг споткнулся — очень зря, хотя босой мальчик много шума не поднимет. И внезапно стало светло — это открылась дверь, и в дверном проеме появился Зейдок.

— Видите, мисс Камерон, я же говорил, что он рано или поздно сюда проберется. Входи, масенький.

Послышался голос Виктории:

— Вся ответственность на тебе! Ты знаешь, какой у меня приказ.

— Чем штаны короче, тем помочи длиннее: играть по обстоятельствам — что может быть умнее, — сказал Зейдок. — Он уже тут, и если ты его прогонишь, то потом пожалеешь.

Он поманил Фрэнсиса в комнату. Очень толстая дверь была неумело, но надежно обита мягким.

Комната, большая и пустая, напоминала больничную палату — на столе, покрытом белой клеенкой, стояли таз и кувшин. Пол был покрыт так называемым корабельным линолеумом. Единственная большая лампочка заливала помещение резким светом, который отражался вниз от белого абажура. Но первым делом Фрэнсис увидел кровать — и она приковала его внимание надолго.

Это была больничная кровать с подъемными бортиками — когда они поднимались, кровать превращалась в подобие клетки без крыши. В клетке сидело странное создание — меньше самого Фрэнсиса, одетое в мятую фланелевую пижаму. Голова у него была очень маленькая для такого тела, и череп сходился не в точку, а в некрупную шишку, на которой росли черные волосы. Оттого что верхняя часть головы была такая маленькая, нижняя казалась гораздо больше, нос — длиннее, челюсть — шире. Очень маленькие глазки без особого понимания разглядывали окружающий мир. Сейчас глазки были устремлены на Фрэнсиса. Дитя — или создание, или неизвестно кто — открыло рот и издало тот самый мяукающий звук, что порой доносился до Фрэнсисовой комнаты.

— Иди-ка, Фрэнсис, поздоровайся со своим старшим братцем, — сказал Зейдок. Потом обратился к созданию: — Видишь, Фрэнко, это твой брат пришел тебя навестить.

Фрэнсиса приучили слушаться. Он подошел к клетке, вытянув руку перед собой, и создание, поскуливая, отпрянуло и съежилось на постели.

— Это Фрэнсис-первый, — сказал Зейдок. — Обращайся с ним бережно: он не совсем здоров.

Фрэнсис-второй к этому времени проболел несколько месяцев и был еще слаб. Он упал в обморок.

Очнулся он в своей кровати. Рядом сидела Виктория и вытирала ему лоб холодным мокрым полотенцем.

— Слушай, Фрэнки: поклянись мне на Библии, что никому не расскажешь, где был и что видел. Но, я полагаю, ты хочешь знать, что происходит. Поэтому я отвечу на несколько вопросов. Но смотри, чтобы их было не слишком много.

— Виктория, это правда мой брат?

— Это первый Фрэнсис Чигуидден Корниш.

— Но он же на кладбище. Тетя показывала мне могилку.

— Ну, как ты сам видел, он не на кладбище. Но я не могу этого объяснить. Может быть, ты сам выяснишь, когда подрастешь.

— Но он совсем не похож на человека.

— Не говори так, Фрэнки. Он болен и никогда не выздоровеет, но он человек, это уж точно.

— Но почему он там, наверху?

— Потому что будь он здесь, внизу, это было бы очень тяжело для всех. Все очень непросто. Твоим дедушке и бабушке пришлось бы нелегко. Может быть, ему недолго осталось на этом свете. И так

никто не ожидал, что он столько проживет.

— Но вы, кажется, все время с ним сидите, ты и Зейдок.

— Кому-то надо с ним быть, и твой дедушка попросил меня, и я это делаю. Но у меня не очень получается его веселить. Это делает Зейдок. У него просто замечательно выходит. Твой дедушка ему доверяет. А теперь давай спи.

— Виктория…

— Ну?

— Можно, я как-нибудь еще к нему приду?

— Я думаю, лучше не надо.

— Виктория! Мне бывает так ужасно одиноко. Я бы приходил иногда и сидел там, наверху, с тобой и Зейдоком. Может, я развеселю… его.

— Ну… я, право, не знаю.

— Ой, ну пожалуйста!

— Ладно, посмотрим. А теперь спи.

Взрослые всегда думают, что дети могут засыпать по желанию. Часом позже, когда Виктория снова заглянула к Фрэнсису, он все еще не спал, и она была вынуждена принять чрезвычайные меры — дать ему горячего молока с капелькой дедушкиного рома, чтобы заснул.

Весь этот час у Фрэнсиса в голове лихорадочно вертелись одни и те же мысли. У него есть

брат. Этот брат — очень странный. Он, должно быть, и есть тот самый лунатик, которого, по словам мерзкой мамки Александра Дэгга, Макрори держат на чердаке. Лунатик! Фрэнсис не мог привыкнуть к этой мысли.

Но одно он знал твердо и не собирался уступать. Он должен нарисовать Лунатика.

Назавтра же вечером он явился наверх с карандашом и блокнотом. Виктория Камерон разгневалась: неужели он хочет насмехаться над бедным мальчиком, выставлять его беду напоказ? Конечно нет. Фрэнсис собирался лишь заняться тем же, чем занимался у Девинни, — рисовать все и вся, следуя совету Гарри Фернисса. Но в глубине души осознавал, что рисовать Лунатика его тянет не только пыл начинающего художника; рисуя разные вещи, Фрэнсис как бы осваивал их. Он не мог понять Лунатика, принять его как нечто родственное себе, если не нарисует его — если не будет рисовать его снова и снова, запечатлевая его подобие во всех возможных ракурсах.

Фрэнсис не мог бы поручиться, что Виктория полностью поняла его, но, услышав про Девинни, она очень широко распахнула глаза, тяжело задышала через нос и яростно взглянула на Зейдока. Тот был невозмутим:

— Нам надо признать, мисс К., что Фрэнсис не какой-нибудь заурядный шалопай. А как я всегда говорю, играй по обстоятельствам. Кого попало я бы к Девинни не повел, но для Фрэнсиса это — часть его образования. Он не из любопытства туда ходит: он наблюдатель и примечатель, а таких мало. Он глубже, чем кажется на первый взгляд, а таким людям нужно плавать в глубоких водах — чайная чашка не подойдет. А здесь мы имеем глубокую ситуацию. Фрэнсис-второй — там, внизу, и ум его остер как бритва; Фрэнсис-первый — тут, наверху, и доктор Дж.-А. раздает приказы направо и налево о том, как его следует содержать. Неужели этим двоим не суждено встретиться? Разве им нечего дать друг другу? Я, кажется, все справедливо изложил, не так ли, мисс К.?

Убедил ли он Викторию? Фрэнсис не мог сказать. Но она явно очень доверяла этому кучеру-бальзамировщику.

— Уж и не знаю. Я знаю, какие мне даны приказы, и мне непросто было уговорить его милость, чтобы он разрешил изредка пускать наверх тебя. Изредка, заметь, — а ты тут торчишь почти каждый вечер.

— Да, но сенатор мне доверяет. Иначе разве он

просил бы меня ездить на Переволок?

— Ну… я, право, не знаю. Но ты солдат и мир повидал, и я только надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

— Знаю. Фрэнсису-первому полезно будет увидеть новое лицо — это его развеселит. Давайте-ка споем.

Зейдок затянул «Frère Jacques». Он пел по-французски, и неплохо. Но Виктория пела: «Поп Мартын, поп Мартын! Спишь ли ты? Спишь ли ты?» — поскольку не знала французского — не умела «парле-ву ле дин-дон», как выражались англоговорящие жители Блэрлогги, — и даже не пыталась его учить. Фрэнсис подтянул третьим голосом, и вышло вполне приличное исполнение на двух языках.

Лунатик был зачарован. Не сказать, что его лицо просветлело, но он стоял, вцепившись в решетку кровати, и переводил глазки с одного певца на другого.

Потом Зейдок спел «Да! Пусть погибну как солдат» — очевидно, свою любимую песню. Слова в основном были очень мужественные, но, как Зейдок объяснил Фрэнсису, один куплет у него всегда выходил «жалистно»:

*Судьбу прошу я об одном:*

*Пускай мой славный род*
*В моем лице сейчас покой*
*Достойно обретет.*

— Так пал капитан в Южной Африке, — пояснил Зейдок, но не сказал, кто такой капитан.

Эта прекрасная оперная ария была жемчужиной его репертуара, который Фрэнсис хорошо изучил за несколько вечеров. У Зейдока была очень личная манера исполнения. Когда он пел:

*И кого бы ни встречал*
*В этой дивной стороне,*
*О тебе всегда мечтал,*
*Думал только о тебе…* —

он страстно взглядывал на Викторию, которая этого якобы не замечала, но краснела, что ей очень шло. Кроме этого, в репертуаре Зейдока были шумные мюзик-холльные арии времен Бурской войны и «Прощай, Долли Грей». И еще другие — видимо, обрывки народных песен глубокой древности, но Зейдок пел их так, как слышал в детстве, а не облагороженные, научно обработанные варианты, известные Английскому обществу любителей народных песен.

*На дворе петух поет,*

*Мимо Ирод-царь идет,*
*Дайте пенни, дайте два*
*И кусочек пирога,*
*Дай вам Боже счастья (три раза),*
*Счастья в Рождество!*

Еще он пел неприличную версию «Цыганского табора», заслышав которую Лунатик принимался прыгать на кровати. При этом он, как правило, громко выпускал газы, и Виктория почти автоматически реагировала:

— Ну-ка прекрати, или я сейчас же уйду.

Но вмешивался Зейдок:

— Ну-ну, мисс Камерон, вы же знаете, у мальчика талант.

И Лунатику:

— Лучше наружу, чем внутрь, а?

Это, кажется, слегка утешало несчастного Лунатика, не знающего, чем он провинился. Понимал ли он хоть что-нибудь из истории благородной дамы, которая сбежала от богатого мужа и мягкой перины, чтобы скитаться с ясноглазыми бродягами? Трудно было бы сказать, насколько Лунатик понимает происходящее, но он откликался на ритм, и его любимой песней, которой завершался каждый концерт, была залихватская

мелодия, под которую Зейдок и Фрэнсис хлопали в ладоши:

*Правь, Британия!*
*Боже, храни королеву —*
*Минует нас время*
*Без эля и хлеба!*
*Раз-два, так и быть,*
*Пробуй, прежде чем купить,*
*Запевай-ка веселей —*
*Слава Англии моей!*

После этого Виктория требовала, чтобы они развлекались потише, иначе кое-кто никогда не заснет.

Иногда они устраивали импровизированные пикники: Виктория приносила с кухни разные лакомства. Ели все, Лунатик тоже — шумно и весело, но в его наслаждении Фрэнсис видел пародию на утонченное обжорство тетушки и бабушки. Он нарисовал карикатуру в духе Гарри Фернисса: все трое за столом. Да-да, тетушка, бабушка и Лунатик — все трое вгрызаются в один гигантский пирог. Зейдок счел карикатуру прекрасной, но Виктория схватила ее и разорвала, а Фрэнсиса отругала за нехорошее поведение.

Поскольку Лунатик не умел говорить, разговоры вели Зейдок и Виктория, время от времени кивком указывая на безмолвного собеседника в кровати, чтобы включить в разговор и его. Зейдок тыкал в сторону Лунатика черенком трубки и приговаривал: «Верно, сынок?» — словно тот молчал по собственному выбору и о чем-то раздумывал. Фрэнсис говорил мало, но безостановочно рисовал, пока не заполнил набросками целые альбомы: двое взрослых, одетые вне всякой моды, могли принадлежать к любому из пяти предшествующих столетий. Виктория обычно вязала или штопала, а Зейдок сидел, подавшись вперед и опираясь руками о колени. Он сидел на манер старых крестьян: не касаясь спиной спинки стула. И конечно, у Фрэнсиса накопилось огромное количество изображений Фрэнсиса-первого. Поначалу они были просто гротескны, но со временем стали проникновенны: в них сквозили сострадание и понимание, неожиданные для такого юного художника.

— Виктория, он правда так плох? Неужели ему нельзя хоть иногда сходить вниз?

— Нет, Фрэнк, нельзя. Ни сейчас, ни потом. Ты еще не все видел. Он ведет себя отвратительно.

— Да, он странный, но почему отвратительно?

Виктория покачала головой:

— Если б ты за ним смотрел каждый день, то знал бы. В нем глубоко сидит разложение.

Разложение? Может, у него гниют мозги, как утверждала мамка Александра Дэгга?

Дело вскоре прояснилось. Как-то ночью, в начале Страстной недели, Лунатика больше обычного захватил исполненный Зейдоком гимн, подходящий по календарю: «Кто сей в одеждах окровавленных?» Лунатик запыхтел и принялся дергать себя за пах, прикрытый пижамными штанами.

— Ну-ка, Фрэнко, перестань, — сказал Зейдок.

Но Лунатик не послушался. Он мастурбировал вовсю, сопя и булькая. Это зрелище воистину повергло Фрэнсиса-второго в бездну стыда.

Зейдок быстро поднялся и ухватил Фрэнсиса-первого за руки. Виктория достала из комода странное приспособление из проволоки и тесемок. Зейдок стянул с Лунатика штаны, Виктория быстро надела на его прыгающие гениталии проволочную клетку, пропустила завязки между ногами и закрепила все вместе на спине висячим замочком.

Лунатик упал на матрас, подвизгивая мяукающим голосом, и продолжал скулить.

— Тебе нельзя было это видеть, малыш, — сказал Зейдок. — Теперь ты знаешь, в чем беда. Он никак не может оставить себя в покое, и днем, когда мисс Камерон должна быть внизу, мы так и держим его в этой штуке, иначе никто не знает, до чего он себя доведет. Очень печально, и эта клетка — ужасная гадость, но доктор Дж.-А. говорит, что по-другому нельзя. А теперь давай-ка мы с тобой пойдем вниз, потому что Виктории уже пора его укладывать.

Так вот оно что! Это было явное подтверждение правоты доктора Аппера. Ужасный порок, разложение мозгов и позорная тайна Лунатика — все было частью одной и той же загадки жизни, которая снова начала мучить Фрэнсиса, — а он только было подумал, что начинает от нее освобождаться!

Ему снились чудовищные кошмары; его посещали чудовищные мысли, когда он лежал без сна, глядя невидящими глазами на картину «Изгнанная любовь». Иногда он рыдал, хотя такому большому мальчику стыдно плакать. Но что он мог думать об этом ужасном доме, где утонченная набожность тетушки жила под одной крышей с животной похотью Лунатика, а сладчайшая музыка в гостиной — с пением Зейдока на черда-

ке, настолько бодрым и смачным, что, казалось, в нем крылся намек на опасность, нечто такое, чего не одобрил бы доктор Дж.-А. О доме, где так дрожали за здоровье Фрэнсиса, но вовсе не давали столь нужной ему любви, — ее он получал от двух слуг, которые даже не столько любили его, сколько просто принимали как собрата-человека. О доме, где нежно лелеемый Фрэнсис знал про другого Фрэнсиса, который томился в больнице-тюрьме и которого даже никто не посещал, кроме одной пресвитерианки — кухарки и няньки; она иногда, очень неохотно, говорила, что обо всем этом думает.

— Мы не можем судить, Фрэнк, но такие вещи, как то, что там, наверху, не бывают случайно. Ничего не бывает случайно. Все где-то записано, знаешь ли, и те жизни, которые мы живем, были предрешены давным-давно, еще до Сотворения мира. Нельзя сказать, что твой брат — свидетельство, что кто-то осужден. Но можно, наверно, сказать, что он — предупреждение. Может, для того, чтобы осадить кое-чью гордыню.

*Адамов грех —*
*Он пал на всех.*

Моя бабушка в детстве вышила это крестиком,

и ее вышивка до сих пор висит в рамке у нас дома.

— Виктория, мы все грешники, да?

— Да, Фрэнк. Все, как бы твоя тетушка ни пыталась это прикрыть своими религиозными картинками и расфуфыренными молитвами. Все католики себя так обманывают, как будто жизнь — это маскарад с фиолетовыми носками и прочим. Люди живут не для веселья, знаешь ли.

— И мы никогда-никогда не будем счастливы?

— Покажи мне, где в Библии написано, что люди должны быть счастливы в этой жизни. Счастье грешников — грех. От этого никуда не уйдешь.

— Виктория, а ты тоже грешница?

— Может, я хуже всех. Откуда мне знать?

— Тогда почему ты такая добрая к этому, который наверху?

— Понимаешь, мы, грешники, должны держаться вместе и делать все, что можем, — насколько позволяет наша падшая природа. Это и есть религия. Я никого не сужу. Этот дом, несмотря на все ковры, серебро и нарисованные картины, и твои картинки тоже, — обитель греха.

— Виктория, но это же ужасно. И потом, это не ответ. Если ты грешница, то почему не грешишь?

— Я слишком гордая для этого. Господь сотворил меня грешницей, и этого я изменить не могу. Но я не обязана сдаваться, даже перед Ним, и не сдамся. Не допущу, чтобы Он взял верх. Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться[153]. Но я не сдамся, даже если Он меня осудит на вечные муки.

Так Фрэнсис, кроме капельки теплохладного англиканства и мощной струи горячего сладкого католичества, впитал суровый, неподатливый кальвинизм. Это мало помогло в его личных трудностях. Но он любил Викторию и доверял ей так же, как тетушке. Единственный человек, чей Бог, кажется, не охотился за его скальпом, был Зейдок.

Религия Зейдока, если это можно так назвать, укладывалась в несколько слов: «Жизнь — странная история, масенький. Уж я-то знаю!»

Обитель греха была, однако, в своем роде великолепна, и Фрэнк утешался ее роскошью, не осознавая, насколько она безобразна. Гостиная, такая серебристо-голубая, заставленная неудобной мебелью в стиле какого-то Луи, — ее разнообразили только яростно сверкающее

---

**[153] Примечания: 153**

*…Он убивает меня, но я буду надеяться.* — Иов. 13: 15.

красное дерево «Фонолиста» и массивная виктрола, вместилище дивной музыки, в том числе нескольких пластинок богоподобного Карузо. Столовая, поле великой пожизненной битвы с двумя несварениями желудка: тетушкино проявлялось в ужасных газах, которые она героически сдерживала, а бабушкино — в желчных приступах. Ни одной из дам ни разу не пришло в голову перейти на диету построже. «Я могу добавить сливок», — объявляла тетушка за каждой едой, словно ей отказывали во многих других видах роскоши. «О, не надо бы, но я рискну», — говорила бабушка, накладывая себе вторую порцию нежнейшего теста работы Виктории — обычно в виде сладкого пирога с фруктами. Столовая с бархатными красными обоями и картинками, изображающими кардиналов, казалась внешним придатком двух воспаленных, растянутых и перегруженных желудков. И кабинет деда с мучительно сложными панелями на стенах — тут интереснее всего были альбомы с «солнечными картинами». Обитель греха? Несомненно, дом разочарований и томлений, даже если не считать тех, что мучили Фрэнсиса.

В Страстную пятницу, поздно вечером, сенатор сидел в своем безобразном кабинете, освежаясь

капелькой отличного контрабандного виски. (В этот день сенатор по настоянию Мэри-Бен и Марии-Луизы поужинал лососиной и не стал запивать ее шампанским: воистину день поста и воздержания.) В дверь постучали, и она открылась ровно настолько, чтобы пропустить внутрь доктора Джозефа Амброзиуса Джерома. Доктор улыбался своей обычной улыбкой — широкой, но нерадостной.

— Джо, заходи! Я надеялся, что ты заглянешь. Выпьешь немного?

— Да, выпью, даже несмотря на то, что сегодня такой день. Я на пару слов, насчет твоего жильца с верхнего этажа.

— Все по-прежнему?

— Да, он только становится старше, как и все мы. Хэмиш, ты помнишь, что много лет назад, когда мы переселили его туда, я отмерил ему совсем недолгий срок. И ошибся.

— Да, это была большая ошибка.

— А то я не знаю! Но ты же помнишь, мы тогда все это обсудили и решили, что так будет лучше для Мэри-Джим и нового ребенка.

— Да, но притвориться, что он умер! Мы даже Мэри-Джим обманули! Эти ужасные шутовские похороны — если бы отец Девлин знал, что в гробу

только камни, он бы с нас обоих шкуру спустил!

— Нас поддержали Мария-Луиза и Мэри-Бен. Они были уверены, что это наилучшее решение. Они когда-нибудь заговаривают об этом?

— Не слышал ни слова ни от одной за все эти годы. Наверху никто не бывает, кроме Виктории Камерон, и, кажется, Зейдок заходит иногда. Я — никогда. Мой внук! Джо, ну почему, почему?!

— Лучше не вдаваться в причины.

— Это не ответ. Ты сам-то что предполагаешь? Что говорит наука?

— Ты прочитал ту книгу, что я тебе давал?

— Этого… как его… Крафт-Эбинга[154]? Частично. Когда дошел до человека, который ел ушную серу своей любовницы, то думал — сблюю. Будешь уходить — забери с собой. Скажи мне, при чем тут Мария-Джейкобина Макрори, милая, невинная девушка, попавшая в беду при обстоятельствах, в которых могла оказаться любая?

— А! Но что это за обстоятельства? Я тебе еще тогда сказал: будешь гоняться, как шлюха, за англичанами и светской жизнью — пожалеешь.

---

**[154] Примечания: 154**

*Крафт-Эбинг,* Рихард фон (1840–1902) — австрийско-немецкий психиатр и сексолог, автор знаменитой книги «Половые психопатии» (1886), одного из первых опубликованных исследований сексуальных девиаций.

А теперь посмотри на себя, на свою жизнь с тех самых пор, что она собой представляет? Жалкое зрелище.

— Ну конечно. Ты у нас всегда прав. И что тебе дала эта правота? Посмотри на себя. Ты — сумасбродный, полусъехавший с катушек старый холостяк, а моя сестра — сумасбродная, двинутая на религии старая дева, и, как бы тебя ни тошнило при взгляде на ее полусодранный скальп, вам было бы лучше вместе, чем так, как вы сейчас, — ни вместе, ни отдельно и оба мучитесь. Так что нечего тут проповеди читать.

— Хэмиш, Хэмиш, успокойся. Нечего тут закатывать шотландскую истерику. Все не так плохо. Когда я последний раз видел Мэри-Джим, она была вполне довольна.

— Вполне довольна — не то же самое, что счастлива. Может, я и ошибся. Но я хотел для своей дочери только самого лучшего.

— Боже мой, да никто не может сделать никому другому самое лучшее. Это и для себя-то не всегда получается. Мэри-Джим звезд с неба не хватает, но, Бог свидетель, она красива, и ты из-за этого потерял последние мозги. Добрые намерения могут привести к ужасному несчастью, но пока длится любовь, длятся и они, и вот мы имеем

то, что имеем. Ты не так уж оплошал. Поймал вожделенного англичанина.

— Я не собирался ловить никаких англичан! Но ее надо было выдавать замуж, а где в этом городе или даже в Оттаве я бы нашел подходящего жениха?

— Вечная проблема богатых наследниц-католичек: где найти мужа на ее уровне?

— В Англии я встречал весьма достойных католиков.

— Весьма достойных? Надо думать, ты хочешь сказать — высокородных, богатых и образованных? Я ничего не говорю, это и само по себе немало. Но в результате у тебя на руках оказался Корниш.

— А чем он плох?

— Да ладно! Ты прекрасно знаешь чем. Помнишь бумажку, которую ты подписал?

— Он тогда загнал меня в угол, не буду отрицать. Но он оказался лучше, чем я думал. Пожалуйста, никому не говори, но скоро мы услышим о нем кое-что интересное.

— Чем это он занялся?

— Он этим занимался всю войну. Почти все время делал что-то очень секретное и, насколько я понимаю, опасное. Когда выйдет очередной

список награждений, он станет кавалером ордена Британской империи, сэром Фрэнсисом! А моя девочка будет леди Корниш. Что теперь скажешь?

— Скажу, что я рад за тебя и за Мэри-Джим. Может, не очень рад за Джерри О'Гормана и Мэри-Тесс. Потерять рыцарское звание только для того, чтобы свояк тут же отхватил себе другое, — им это окажется не по нутру.

— О, то было всего лишь папское рыцарство; это — гораздо серьезней.

— Ты меня поражаешь! «Всего лишь папское рыцарство». Ты заговорил почти как протестант.

— В этой стране, если занимаешься финансами, приходится сидеть за одним столом с протестантами. Они правят бал. Католиков и евреев просят не беспокоиться. А я очень крепко подумываю о том, чтобы заняться финансами.

— Тебе что, денег не хватает?

— То, чего человеку не хватает, и то, чего он хочет, — это могут быть совсем разные вещи. Не забывай, я из очень бедной семьи и ненавижу бедность — это у меня в крови. А теперь слушай: торговля лесом уже не та, что была; этот рынок меняется, а я не хочу меняться вместе с ним. Я хочу чего-то совсем нового.

— В твоем возрасте?

— А что такое? Мне всего шестьдесят семь. Мне приходится думать о других. Ты знаешь, что уже много лет люди — вдовы, старики и так далее — приходят ко мне и просят позаботиться об их деньгах.

— И ты это делаешь, причем с выгодой для них. И для меня тоже.

— Да, но мне это не нравится. Ты мне доверяешь, и я этому рад, но бизнес не может строиться на личном доверии. В бизнесе никто не должен нести единоличную ответственность за деньги другого человека. Вот я и думаю разделаться с древесиной и учредить одну из этих компаний доверительного управления.

— В Блэрлогги? Не слишком ли мелкий масштаб?

— Нет, не в Блэрлогги. В Торонто.

— В Торонто? Ты с ума сошел! Почему не в Монреале? Все большие деньги — там!

— Есть и другие большие деньги, и они на западе, и центром для них станет Торонто. Это еще не случилось, но в таких делах приходится бежать впереди паровоза.

— Ты бежишь далеко впереди меня.

— Правильно, так и должно быть. Почему бы нет? Ты доктор — и заботишься о моем здоровье;

я финансист — и забочусь о твоих деньгах.

— Ну что ж… Так когда ты делаешь большой шаг?

— Уже сделал. Об этом мало кто знает, но недавние события меня подтолкнули. Джерри О'Горман и Мэри-Тесс хотят выбраться из Блэрлогги: после той неприятной истории они его больше не любят. Они переедут в Торонто, и Джерри наладит дело.

— Боже мой! А он справится с таким масштабом?

— Да. У него масса еще не раскрытых способностей. И он честный.

— Честный! А как же Блонди Утронки?

— Честный в том, что касается денег. Женщины — это другое дело. Я ему сказал, чтоб больше никаких интрижек, и Мэри-Тесс держит его под каблуком. Он справится. У него отличные организаторские способности, и люди его любят.

— Он не протестант.

— Пока нет. Но уже и не такой добрый католик, каким был раньше, до того как этот святой крысеныш Бодри постарался. Дадим ему время и Торонто и посмотрим, что выйдет. Хотя это даже и не так важно. Я тебе говорил, что Корнишу дают рыцарское звание?

— Я что-то не пойму, куда ты клонишь.

— Ну гляди. Трест Корнишей: Джерри будет исполнительным директором, я — председателем совета директоров (и будь уверен, вся настоящая власть останется у меня), а президентом — сэр Фрэнсис, вывеска всего бизнеса. А уж Корниш-то — махровый протестант. Кому и знать, как не мне.

— А он согласится?

— Куда он денется. Он все время приставал ко мне, чтобы я устроил его к себе в компанию, и вот — местечко прямо как на заказ.

— А он справится?

— Он далеко не дурак. У него прекрасный послужной список, включая войну, а это многое значит. И он не хочет возвращаться в Блэрлогги. Как у президента у него будет только та власть, которую я сам ему дам. По-моему, все вытанцовывается отлично.

— Хэмиш, я всегда говорил, что ты голова, но это — венец всего.

— Да, неплохо выходит. Совсем неплохо. Словно кусочки вдруг сложились в картинку.

— Любящим Бога все содействует ко благу[155].

---

**[155] Примечания: 155**

*Любящим Бога все содействует ко благу.* — Рим. 8: 28.

— Джо, ты ужасный циник. Но если ты говоришь искренне, то ты прав. Даже третье поколение окажется при деле. Сыновья Джерри — славные мальчики и, когда вырастут, займутся банковским делом и будут работать в тресте.

— А что же юный Фрэнсис? Неужели Корниш допустит, чтобы его сына не приняли в большую игру?

— Фрэнсис — хороший мальчик. Он мне нравится больше всех остальных, и я не позволю оттеснить его в сторону. Но он не совсем тот человек, которого я стал бы готовить к работе банкира. Впрочем, это беда небольшая: Мэри-Джим написала матери, что скоро на свет появится еще один юный Корниш. Если это мальчик — а вероятность, как ты всегда говоришь своим пациентам, пятьдесят на пятьдесят, — он попадет в семейное дело, когда вырастет, а это у нас теперь — финансы, отличный бизнес.

— Надеюсь только, что с ним все будет в порядке.

— Джо, о чем ты?

— Ты забыл про этого, наверху?

— Он же не сын Корниша. С Корнишем все в порядке. Отец этого несчастного создания наверняка дегенерат.

— Но он и сын Мэри-Джим тоже.

— Не понял.

— Слушай, Хэмиш. Ты знаешь, я не люблю говорить неприятные вещи…

— Джо, я тебя знаю, ты обожаешь говорить неприятные вещи.

— Это недостойный выпад против старого друга. Но помни, что я — человек науки, а науке приходится глядеть в лицо фактам, в том числе неприятным. Ребенок рождается у двоих людей, и, если с ребенком что-то не так, который из двоих виноват? Ты сказал мне, что отец этого бедного адиёта — неизвестно кто, солдат…

— Одному Богу известно, что он собой представлял. Возможно, сгнил от дурных болезней.

— Нет, очень маловероятно, потому что иначе это как-то сказалось бы и на Мэри-Джим, а я за все годы ничего такого не видел.

— Ты хочешь сказать, что виновата моя дочь?

— Тихо, Хэмиш! Тихо. Налей-ка мне еще стопочку этого превосходного виски, и я все объясню. Потому что я об этом много думал и перечитал все книги, какие мог достать и какие могли пролить свет на это дело. Я дал тебе ту книгу, Крафт-Эбинга, в надежде, что ты уловишь намек, но ты, кажется, не уловил.

— Эта книга — куча грязной чепухи!

— Жизнь тоже куча грязной чепухи. Я-то знаю, я врач. Если бы ты читал эту книгу как научный труд, ты бы понял, о чем она. Труды Крафт-Эбинга до сих пор признаются специалистами, хотя уже много времени прошло, как он умер. Я читал Крепелина, его преемника, он сейчас главное светило в этой отрасли медицины, и по ряду пунктов он полностью согласен с Крафт-Эбингом. Так вот, если бы ты прочитал эту книгу, вместо того чтобы выискивать истории про ушную серу, ты бы усвоил один очень важный факт: здоровая, хорошо воспитанная молодая женщина не испытывает вообще никакого полового влечения. Какие-нибудь романтические идейки из книжек — может быть, но настоящее влечение — никогда. Она не знает, что это такое, даже если примерно представляет себе, откуда берутся дети. А теперь посуди сам: бережно воспитанная и хорошо образованная девушка, католичка, оказывается в гостиничном номере с незнакомым мужчиной. Со слугой, приученным не отвлекаться от своих обязанностей и всячески прятать, если можно так выразиться, человеческую часть своей натуры. Насиловал ли он ее? Насколько нам известно — нет. Она сказала тебе, что одно повлекло за

собой другое. Что же такое это «одно»?

— Хватит, Джо. Тебе пора.

— Нет, Хэмиш, не хватит. Ты прячешь голову в песок. И нечего меня выгонять, потому что я говорю как ваш семейный врач, — я лечу всю вашу семью с незапамятных времен. И сейчас я даю тебе горькое лекарство, чтобы вылечить. Я не говорю, что Мэри-Джим — позорная женщина. Да обратится твой виски в яд у меня во рту, если это так! Но и воплощение добродетели может пасть жертвой душевной болезни…

— Джо, неужели Мэри-Джим больна?

— Это не постоянное расстройство, насколько я знаю. Но оно существует и поражает молодых. Люди моей профессии называют его *furor uterinus.*

– Ты же знаешь, я не учился латыни. Что это такое?

— Ну… я бы перевел это как «бешенство матки». Неуправляемое желание. Я видел, как оно проявляется у женщин… низких женщин, с окраины города. Упаси тебя господь когда-нибудь с таким столкнуться. С желанием то есть. Да, иногда замужняя женщина, привыкшая к такому образу жизни, может… что-то такое почувствовать. Скажем, в жаркую летнюю ночь. Но многие пре-

красные женщины никогда этим не страдают. Так какой можно сделать вывод из того, что это есть у Мэри-Джим?

— О боже! Ты говоришь ужасные вещи!

— Хэмиш, науке известно множество ужасных вещей. И некоторые ужасные люди на этом даже зарабатывают. Взять, например, этого Фрейда, о котором мы узнали только сейчас, когда немецкие книги опять стали доступны. Его никто не слушает, и он скоро сойдет со сцены, или же его изгонят сами коллеги. Но доказанные постулаты медицинской науки, подтвержденные обширным опытом, — против них не попрешь.

— Джо, ты намекаешь на то, что мир обременен сексом, пронизан этой гнилью сверху донизу.

— Я не намекаю — я знаю. Как ты думаешь, почему я холостяк? Хоть и знал давным-давно, что Мэри-Бен согласна за меня выйти. И сейчас еще, наверно, вышла бы. Но я слишком много повидал и решил не рисковать. У науки, как и у религии, есть свои безбрачные служители. А теперь мир сошел с ума и болтает о сексе на каждом углу. Как этот негодяй Аппер, который разъезжает с лекциями по школам и рассказывает невинным детям бог знает что! Фрэнсис о нем ничего не говорил?

— Нет, я даже не слышал от него такого имени.

— Возможно, ему удалось этого избежать. Он очень хрупок. Не думаю, что у него в голове уже завелись какие-нибудь такие мысли. Когда время придет, я обязательно сам с ним поговорю. Предостерегу его.

— Да, пожалуй. Но… Джо… ты думаешь, это… то, что у Мэри-Джим… может повлиять на ее будущего ребенка?

— Скажу тебе по совести, не знаю. Но она уже много лет живет семейной жизнью, и, может быть, оно как-то выгорело. Будем на это надеяться.

— Еще один такой же, как там, наверху, прикончит Марию-Луизу. И меня, возможно, тоже. Джо, неужели ничего нельзя сделать?

— Хэмиш, я тебе уже однажды говорил, что не пойду на убийство, и сейчас скажу то же самое. Я поклялся сохранить этого адиёта в живых; это священный завет в моей профессии. Потому я и приказал сделать ту проволочную штуку — чтобы сдержать его похоть. Без нее он наяривал бы без устали и скоро загнал бы себя в могилу, но я не могу такое терпеть и поощрять. Нам всем надо просто переждать. Слушай, Хэмиш! Если семейные интересы отныне будут в Торонто, почему бы не отправить Фрэнсиса туда учиться? Мэри-Тесс

и Джерри за ним присмотрят. Я слыхал, что «Христианские братья» держат там неплохую школу. Убери его отсюда. Подальше от этих женщин. И представь себе, что будет, если по какому-нибудь чудовищному стечению обстоятельств он наткнется на эту тварь наверху. Что за ужас иметь такого брата!

*– Брат, неужели тебе по-прежнему не жалко Фрэнсиса? — спросил Цадкиил Малый, приостанавливая ленту.*

*— Я тебе уже неоднократно говорил, что жалость не входит в набор инструментов, применяемых в моей профессии, — ответил даймон Маймас. — На этой стадии Фрэнсиса моя жалость не сделала бы его лучше; она только притупила бы его восприятие и лишила преимуществ, которые я ему обеспечил.*

*— Довольно жестоко по отношению к случайным свидетелям, а?*

*— Случайные свидетели меня не касаются. Я даймон Фрэнсиса, а не их. Он уже познакомился со своим Темным Братом. У каждого есть Темный Брат, но большинство людей за всю жизнь так его и не узнают, и тем более не чувствуют к нему ни любви, ни сострадания. Они видят его издали и ненавидят. Но Фрэнсис надежно запер своего*

*Темного Брата в альбомах с набросками, и даже более того — Темный Брат навеки запечатлелся у него в руках и в чувствительном сострадании художника.*

*— Тем не менее, дорогой коллега; только не подумай, что я тебя критикую или учу, как работать. Но разве это хорошо — то, что ты скрыл от всех, кто такой Темный Брат и как он появился на свет?*

*— Ну, в очевидном, физическом смысле этого слова Темный Брат в жизни Фрэнсиса — результат благих намерений Марии-Луизы, когда она в Лондоне всеми известными ей способами пыталась вызвать у дочери выкидыш. Эти люди думают, что ребенок не по-настоящему живой, пока его не выпихнули наружу. Они не знают о внутриутробной жизни, а это сладчайшее и безопаснейшее время в жизни человека. Если ребенка трясти, дергать, шпарить кипятком, окатывать слабительными и травить джином, его можно убить, или, если он очень силен — а Фрэнсис-первый был очень силен, иначе он не выдержал бы этих плясок, — на свет появится урод. Но Фрэнсисов Темный Брат — нечто гораздо большее, нежели очевидный, физический объект. Он — драгоценный дар от меня, и я думаю, что*

*поступил очень хорошо, уцепившись за первую же возможность познакомить с ним Фрэнсиса.*

*— Надо полагать, тебе виднее, брат.*

*— Воистину. Так что давай смотреть дальше, и мы увидим, чем обернулся мой дар Фрэнсису. Все началось с того, что он выбрался из Блэрлогги.*

# Часть третья

Раскрывая доктору Дж.-А. свой замысел нового треста, сенатор был не полностью откровенен со старым другом: идею треста он вынашивал уже пять лет, из них три — воплощал ее в жизнь. История с папским рыцарством лишь немного ускорила дело в том, что касалось О'Горманов, и Джерри с Мэри-Тесс уже купили дом в Торонто на модной улице Сент-Джордж. Майор Корниш и Мэри-Джим обсуждали с архитектором постройку дома в пригороде под названием Роуздейл, как раз входящем в моду, в удобном месте — недалеко от резиденции лейтенант-губернатора. Сенатор и доктор Дж.-А. беседовали под Пасху; меньше чем через месяц О'Горманы перебрались в Торонто и немедленно начали ходить в англиканский собор Святого Иакова.

— Нельзя и думать затевать трест, если не знаешь, где деньги, — сказал Джеральд Винсент своей жене.

Она согласилась, потому что он знал Торонто лучше, — ведь он все время ездил сюда последние полтора года. Но заметила, что, может быть, в городе, который называют «методистским Римом»,

лучше завязывать знакомства в методистских церквах, где богатство мешалось с набожностью в духе Джона Уэсли, образуя необычный, типично торонтовский настой. Когда Мэри-Тесс обнаружила, что дамы-методистки ходят на вечерние приемы в характерных платьях, закрытых до самого подбородка, и не носят никаких драгоценностей, кроме, может быть, горстки неброских крупных бриллиантов (хорошее вложение денег), она решила дело в пользу менее чопорных англикан. За первые три месяца жизни в Торонто, еще до того, как трест начал обслуживать клиентов, О'Горманы стали известны в торонтовском обществе. Известны в хорошем смысле.

Первый вопрос, конечно, был, из какого они класса — «старых денег» или «новых денег»? Для большинства населения (которое относилось к классу «денег нет») разница была неуловима, но все же разница была. Семьи «старых денег» обычно восходили к колониальной эпохе, а некоторые — к имперским лоялистам[156]; «старые деньги» были консерваторами такой чистой воды, что

**[156] Примечания: 156**

*Лоялисты* (от *англ.* loyal — «верный», «лояльный») — жители британских колоний Северной Америки, занявшие во время Войны за независимость (1775–1783) сторону Британии. По окончании войны около 100 тыс. лоялистов эмигрировали, в том числе в Канаду.

в сравнении с ними первый герцог Веллингтон показался бы слабаком и либеральным хлюпиком[157]. «Старые деньги» прилагали все силы, чтобы сохранить и укрепить лучшее в политическом организме страны, и точно знали, где найти эту утонченную эссенцию: она была в них самих и во всем, что им принадлежало. Даже в начале двадцатых годов «старые деньги» все еще предпочитали автомобилям экипажи (во всяком случае, дамы, нанося визиты, пользовались исключительно ими). У «старых денег» сохранились и другие племенные обычаи, отличающие их носителей от простых смертных. Высокопоставленные священники «старых денег» часто носили цилиндры по будним дням, когда направлялись по какому-нибудь священническому делу, связанному с деньгами. «Старые деньги» яростно сражались против обычая надевать короткие пиджаки к ужину и против белых жилетов с фра-

**[157] Примечания: 157**

*…были консерваторами такой чистой воды, что в сравнении с ними первый герцог Веллингтон показался бы слабаком и либеральным хлюпиком.* — Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель, фельдмаршал, участник Наполеоновских войн, победитель при Ватерлоо (1815), 25-й (1828–1830) и 28-й (1834) премьер-министр Великобритании, носитель крайне консервативных взглядов.

ками[158]. Они редко держали любовниц, а если держали, то некрасивых — настолько, что их можно было принять за жен. Для «старых денег» девятнадцатый век еще не совсем кончился.

«Новые деньги», напротив, ориентировались на Эдуарда VII, который глубоко уважал богатство, независимо от его происхождения, и людей «на подъеме». «Новые деньги» хотели стать «большими деньгами» и не очень расстраивались оттого, что гостиные «старых денег» открывались перед ними не слишком охотно. «Новые деньги» носили смокинги, которые называли «таксидо», и курили большие сигары, с которых предварительно снимали кольцо, — немыслимая оплошность, ибо поступающий так грозит запачкать табаком белые перчатки. О'Горманы знали, что относятся к «новым деньгам», но понимали также, что компания доверительного управления, не ладящая со «старыми деньгами», может столкнуться с неожиданными трудностями. Другой проблемой был сенатор. Галантные манеры и представительная внешность помогали ему всюду, но от

**[158] Примечания: 158**

*«Старые деньги» яростно сражались... против белых жилетов с фраками.* — Мода со временем менялась: к фраку полагался то исключительно белый жилет, то, наоборот, черный, а то и вовсе высокий пояс.

неусыпной бдительности «старых денег», конечно, не могло укрыться, что он — католик, а по политическим взглядам — либерал. Решением этой проблемы, как и предвидел сенатор, стала семья Корниш.

Все части головоломки легли на место третьего июня, когда был объявлен список наград ко дню рождения короля и майор Фрэнсис Корниш, президент Корниш-треста, который должен был вскоре открыться, стал сэром Фрэнсисом Корнишем, кавалером ордена Британской империи. За что ему дали орден? По слухам, он делал что-то невероятное в разведке во время войны, и не только в канадской разведке — там слишком мелкие масштабы. Среди штатских и даже среди многих военных распространено мнение, что работа военного разведчика требует блестящего ума, невероятной находчивости и смелости, способности разгадывать шифры, над которыми противник трудился годами, и железной руки для управления обворожительными шпионками. Конечно, это может быть и правдой, но доподлинно никто не знает, и все что-нибудь додумывают. Годы придали обличью Деревянного Солдатика определенное благородство: немногословный мужчина с непроницаемым лицом и седыми вис-

ками. Сверкание монокля, казалось, таило в себе ужасные тайны; усы говорили о природе покоренной, укрощенной, взятой под уздцы. Конечно, такому человеку можно доверить свои деньги; его можно и к ужину пригласить. А жена-то! Какая красавица! Может, она была шпионкой?

Так имя Корниша придало блеск строению, которое зиждилось на прочном фундаменте из Макрори и О'Горманов. Трест обрел финансовую солидность задолго до объявления о наградах и до того, как он официально открыл двери клиентам. Когда компания доверительного управления начинает обслуживать публику, это значит, что она уже давно ведет надежный и прибыльный бизнес, предъявив все нужные обещания и гарантии. Рыцарское звание сэра Фрэнсиса должно было служить гарантией того, что уже давно воплотилось в жизнь.

Ни в коем случае не стоит думать, что высший свет и финансовые круги Торонто страдали снобизмом. Любой представитель этих кругов мигом заверил бы вас, что они все до единого первопроходцы и демократы. Но они были первопроходцами и демократами с хорошими связями, а если зорко следили за католиками и евреями, то это ни в коем случае не предубежденность.

Просто католики и евреи (конечно, среди них попадаются прекрасные люди!) не особенно себя проявили, когда колония совершала долгий и трудный путь к тому, чтобы стать страной. Без сомнения, время католиков и евреев тоже придет. Но пока что обязанность держать киль ровно лежит именно на «старых деньгах» и на представителях «новых денег», которых они сочтут достойными. А кто гарантирует ровность киля лучше, чем президент компании доверительного управления — человек, который достойно служил своей стране во время войны, который обладает вполне респектабельным умом и такой располагающей внешностью?

Что думал об этом сам сэр Фрэнсис — так никто никогда и не узнал. Возможно, он, по крайней мере частично, верил в то, что о нем говорят. Без сомнения, он понимал язык финансов и у него хватало ума, чтобы предоставить финансовые дела тестю и свояку, брать щедрое жалованье и помалкивать.

В этих обстоятельствах семья пренебрегла глубоко провинциальным мнением доктора Дж.-А. о том, что третье поколение семьи должно пойти в школу «Христианских братьев». Юных О'Горманов — Джеральда Лоренса и Джеральда Майкла

— записали в Колборн-колледж, великую твердыню «старых денег». При этом первое имя обоих мальчиков, Джеральд, как-то незаметно потерялось: Мэри-Тесс почувствовала, что семейный обычай приклеивать династическую этикетку на нескольких детей сразу, может быть, подходит для Блэрлогги, но совершенно неуместен для нового положения семьи.

Сэр Фрэнсис тоже отправил сына в Колборн. Кузены редко встречались в новой школе: О'Горманы по возрасту посещали так называемую «Нижнюю школу» и были приходящими учениками, так как их родители жили в Торонто. Сэр Фрэнсис и его жена (ее уже никто, кроме семьи Макрори, не звал Мэри-Джим: весь свет знал ее под именем Джекко, ибо так называл ее муж) уже знали, что будут проводить в Торонто считаные месяцы в году. Сэр Фрэнсис не скрывал, что постоянно сотрудничает (в чем именно, никто так и не узнал) с Очень Важными Людьми, которые находятся в Англии, а следовательно, и ему придется много времени проводить за границей. Джекко не хотела оставаться дома без мужа. Поэтому Фрэнсиса поместили в Колборн как пансионера. Так он вошел, казалось бы, в новый мир, но тут же обнаружил, что этот новый мир во многих важных

аспектах мало чем отличается от старого.

Со времен учебы Фрэнсиса в Колборне читающую публику завалили книгами, авторы которых учились в закрытых школах и возненавидели их. Пережитое в школах навсегда травмировало чувствительную натуру этих людей. Но с Фрэнсисом ничего такого не случилось. Жизнь уже научила его изворотливости, чтобы не сказать дьявольской хитрости, в общении со сверстниками и взрослыми и умению все принимать философски. Ту же стратегию — хитрость и философское отношение — он применил и в Колборне. Он не был умен тем умом, который помогает сдавать экзамены, завоевывать награды и делаться первым учеником. Но он был неглуп. Он философски принимал то, что приносила ему жизнь, — а ее новые приношения кое в чем удивительно напоминали Карлайлскую сельскую школу.

Можно многое узнать о любом обществе, изучая поведение детей и распространенные среди них идеи, ибо дети, а порой и взрослые тоже — тени своих родителей; их поступки и мысли часто не что иное, как скрытые убеждения их родителей, и родители вели бы себя в соответствии с этими убеждениями, если бы общество им позволяло. Доминирующую, хоть и не самую многочислен-

ную, группу в Колборн-колледже составляли сыновья «старых денег», и в их поведении явно отражался дух «старых денег». Они были хранителями традиций и следили за соблюдением этих традиций — беспристрастно и безжалостно. Наилучшей традицией для ускоренного низведения новеньких к общему знаменателю считалось цуканье.

В первый день осеннего семестра префекты назначали каждому старшему мальчику новенького, которому предстояло весь следующий год быть «шестеркой» старшего. По заведенному обычаю, шестерка становился рабом и орудием в руках своего «хозяина» и обязан был выполнять его приказы в любое время дня и ночи. Неписаный закон гласил, что, если с шестеркой очень плохо обращаются, он может пожаловаться префектам, но это считалось стукачеством, а стукач навлекал на себя всеобщее презрение. Эта система, как и все подобные, очень сильно зависела от людей, которые воплощали ее в жизнь. Некоторым шестеркам жилось легко; бывали даже случаи, когда хозяева помогали младшим мальчикам делать уроки. Изредка хозяева оказывались жестокими скотами, и их шестерки жили в аду; но большинство шестерок, как всегда быва-

ет с рабами, высмеивали своих хозяев, когда это могло сойти с рук, вели себя уважительно, когда нельзя было по-другому, и выполняли работу — чистили ботинки, складывали выстиранное белье — настолько плохо, насколько можно было это сделать, не навлекая на себя наказания. Если такая система чему-то и учила, то лишь тому, что любая власть — самодурство, но любому начальнику можно втереть очки притворным старанием, а работать по-настоящему при этом не обязательно.

Фрэнсиса отдали крупному мальчику по фамилии Иствуд, из Монреаля, в целом добродушному и не отягощенному особым интеллектом. Он был офицером кадетского корпуса, и в обязанности шестерки входила полировка пуговиц на его кадетской форме, а также сабли, чтобы блестела. Все это надо было проделывать каждое воскресенье вечером, готовясь к понедельничному параду. Фрэнсис никогда не грешил наглостью: он убедил Иствуда, что восхищается им и гордится его участием в параде, и дело было в шляпе. Про себя он считал Иствуда болваном.

В школе были уверены: если система цуканья годилась для твоего отца, она годится и для тебя. Определенная доза рабского труда и унижения

делает из тебя человека. Возможно даже, что в этом убеждении есть доля правды. Любому следует испытать на своей шкуре, что значит быть слугой: знать, во что обходится подчиненным твоя практически неограниченная власть, очень полезно.

Фрэнсис учился так, чтобы не привлекать излишнего внимания: по результатам учебы — непримечательным, но вполне приличным — он всегда оказывался чуть выше середины списка. Он легко удерживался на этом месте, и у него оставалось время изучать преподавателей — это зачастую бывало полезнее, чем изучение собственно преподаваемых ими предметов.

В день наград смотреть на учителей было интереснее всего: они всходили на сцену молитвенного зала в академических мантиях, порой прикрывающих сюртуки, оставшиеся с какой-нибудь свадьбы незапамятных времен. Примерно половину преподавателей составляли англичане, и гораздо больше половины — ветераны недавней войны. Их украшали медали за доблесть, а порой и более выдающиеся награды.

Один-двое прихрамывали; у мистера Рамзи[159] была деревянная нога и потому — характерная тяжелая, неровная походка. У мистера Ривьера — искусственная рука в черной перчатке. У мистера Карвера — серебряная пластина в черепе; известно было, что с ним случаются припадки, во время которых он залезает на водопроводную трубу в своем классе и проводит уроки с высоты. Академические мантии, старые и мятые, говорили о древних славных университетах и высочайших достижениях в учебе, но эти достижения не принесли своим владельцам ничего, кроме должности школьного учителя. В глазах среднего мальчика учителя были богоподобны, но Фрэнсис чувствовал, что их окутывает облако меланхолии, потому что он, наверняка единственный во всем зале, видел то, что у него под носом, — замечал, в какой позе они стоят и что на самом деле отражают их лица. Конечно, он ни с кем не делился своими открытиями.

Его жизнь была полна тайн — вещей, о которых он ни с кем не мог говорить, хотя у него были друзья и в целом к нему относились хо-

**[159] Примечания: 159**

*Рамзи* — Данстан Рамзи, один из главных героев предыдущей, «дептфордской» трилогии Робертсона Дэвиса: «Пятый персонаж» (1970), «Мантикора» (1972), «Мир чудес» (1975).

рошо. Взять, например, религию: официальной религией школы было англиканство, не очень низкое и не очень высокое[160]. Особого упора на англиканство школа не делала, потому что в ней учились мальчики самых разных религиозных убеждений, в том числе несколько евреев и смуглых мальчиков из Южной Африки, наверняка папистов. Мальчиков заставляли петь гимны — в основном бодрые, состоящие из призывов к достойной и честной жизни. Пели на «изысканную» музыку из «Сборника гимнов для частной школы» — Хольст[161], Воан-Уильямс[162] и лишенные сантиментов мелодии, которые не резали бы ухо и Лютеру. Каждое воскресенье вечером директор школы произносил короткую импровизированную проповедь, а поскольку был из тех людей, чей энтузиазм забегает вперед их же здравомыслия,

---

**[160] Примечания: 160**

*…англиканство, не очень низкое и не очень высокое.* — См. примеч. 16.

**[161] Примечания: 161**

*Хольст,* Густав Теодор (1874–1934) — английский композитор и педагог, наиболее известный симфонической сюитой «Планеты» (1914–1916).

**[162] Примечания: 162**

*Воан-Уильямс,* Ральф (1872–1958) — английский композитор, органист и дирижер, внучатый племянник Ч. Дарвина, близкий друг Г. Т. Хольста; стоял у истоков новой английской композиторской школы (т. н. английского музыкального ренессанса), в своем творчестве вдохновлялся творчеством английских композиторов старой школы и народной музыкой.

часто говорил вслух то, о чем осмотрительный человек промолчал бы. Однажды он, рассуждая о грехе и, видимо, забыв, где находится, процитировал Ницше: «…в любом организованном жрецами обществе „грехи“ неизбежны — в них подлинная опора власти, жрец живет за счет прегрешений, ему надо, чтобы „грешили“…»[163] К счастью, его почти никто не слушал, а кто и слушал, не понял. Фрэнсис, возможно, был единственный, кто принял эту мудрость и сохранил ее в своем сердце. Но в целом религия школы приводила его в недоумение. Казалось, ей не хватает души. В ней не было ничего от тайны, окутывающей теплоты, густоты и сладости, характерных для католичества Мэри-Бен. Это была религия, подогнанная под вкусы «старых денег» и их прихвостней. Это была религия, которая Знала Меру.

Знай меру. Таков был вечный девиз «старых денег» и их подлипал. Те, кто претендовал на познания в области древних языков, могли бы уподобить его девизу греков «Ничего слишком». Другие, знакомые с Шекспиром, могли бы процитировать: «Особенно наблюдайте за тем, чтобы

**[163] Примечания: 163**

*…процитировал Ницше: «…в любом организованном жрецами обществе…»* — Ницше Ф. Антихрист. Перев. А. В. Михайлова.

не преступать скромности природы»[164]. Они понятия не имели, до чего на самом деле нескромна природа. Но Фрэнсис — имел. Он чувствовал это и в пропасти, которая разверзлась у его ног в Карлайлской сельской школе, и в жестокостях жизни, в ее тяготах, отражение которых видел в бальзамировочной у Девинни. Он сердцем чувствовал: жизнь глубже, шире, выше, ужаснее и прекраснее, чем думают «старые деньги», — им и не снилось насколько. Школьникам не положено знать такие вещи, и он редко признавался в них даже себе самому. Но они иногда просвечивали в его рисунках.

Жизнь в большой закрытой школе устроена так, что рисовать незамеченным — невозможно. Фрэнсису как шестерке пришлось, выполняя заказы хозяев, малевать физиономии на спинах желтых школьных плащей. Плащи были клеенчатые, непромокаемые, и Фрэнсис должен был рисовать на спине, между лопатками, забавные рожи, которые затем покрывали шеллаком, отчего они становились практически вечными. Такие плащи очень ценились. Два-три шаржа подошли

---

**[164] Примечания: 164**

*...«Особенно наблюдайте за тем, чтобы не преступать скромности природы».* — Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце Датском. Перев. М. Морозова.

к опасной грани сходства с оригиналом; особенно один из них, суровое шотландское лицо, с густейшими бровями и невероятным количеством растущих из носа волос, явно изображал мистера Данстана Рамзи, учителя истории. Однажды после вечерней молитвы мистер Рамзи позвал Фрэнсиса к себе в кабинет:

— Корниш, дар карикатуриста редок и ценен. Но подумай хорошенько, прежде чем полностью ему отдаться. Это преувеличение наиболее характерных черт, верно? Но если ты считаешь характерным только безобразное, то скоро превратишься в человека, ценящего и видящего лишь безобразие, поскольку таково его ремесло. И тогда ты станешь хихикающей, ухмыляющейся мелкой тварью — таково большинство карикатуристов, даже самых лучших. В нашей библиотеке есть неплохие книги по искусству. Смотри их и учись чему-то большему, нежели карикатура. Не забывай про нее, но пусть это будет далеко не все, на что ты способен.

Фрэнсис был счастлив, что его не высекли тростью за оскорбление величества и сверхнаглость, и пообещал ознакомиться с сокровищами школьной библиотеки. И там, среди не особенно обширного и ничем не примечательного

собрания книг, нашел то, чего не хватало ему в школьной религии.

Как часто бывает (с людьми, у которых есть даймон), это открытие совпало с другим, имеющим к нему не совсем прямое отношение. Шестерки часто пели — когда их сгоняли в кучу, чтобы таскать тяжелый каток, трамбующий лужайку для крикета, или сгребать снег с хоккейной площадки. Пели они то, что им нравилось, а не то, что их заставляли разучивать на уроках музыки; учитель музыки предпочитал «В поисках ягнят» и другие народные песни, потому что они были в темпе пять четвертых и требовали некоторого музыкального искусства. Но шестерки пели сентиментальную песню на простой мотив: одни ее уже знали, а другие быстро выучили.

*Как-то рыцарям в дозоре*
*На крутой скале у моря*
*Свет небесный воссиял —*
*Это был святой Грааль.*
*Голос звал в ночи кромешной:*
*«За Граалем же, не мешкай,*
*Выступай скорей в поход!*
*Пусть Грааль тебе сияет,*

*Пусть Грааль тебя ведет!»*

И пускай мало кто из них знал, что такое Грааль и почему он должен воссиять. Фрэнсис знал, так как читал об этом (книгу, конечно, подсунула ему Мэри-Бен). Грааль — чаша, из которой пил Христос на Тайной вечере, и любому, хоть раз увидевшему эту чашу, была гарантирована очень интересная жизнь вплоть до самой смерти.

Среди книг по искусству, рекомендованных Уховерткой — так мальчики прозвали мистера Рамзи, — была одна, посвященная прерафаэлитскому братству. На иллюстрациях — текст Фрэнсиса не особенно интересовал — было что-то от Грааля: то ли свет, сияющий в глазах мужчин, то ли роскошная, поразительная красота женщин. Этот свет насытил Фрэнсиса, оголодавшего от сухой, поверхностной школьной религии, а пышные изображения природы уравновесили мир убогих парт, чернильных клякс, меловой пыли, еды, вызывающей запоры, и дежурной, однообразной, унылой непристойности в разговорах мальчиков. Благодаря этому преображению даже обязательные спортивные игры и военная подготовка открылись свету, источник которого находился где-то вне школы. А потом директор, у которого ушки были на макушке, услышал

рабскую песню шестерок и посвятил очередную воскресную вечернюю проповедь Граалю, видению, неустанному поиску. С характерным для него презрением к реальности директор призвал всех учеников немедленно прочитать Мэлори и сделать поиски Грааля частью своей повседневной жизни.

Фрэнсис отыскал «Смерть Артура» в школьной библиотеке и скоро вынужден был признать, что это непроходимая, нечитаемая, трудная книга. Он не смог добраться до Грааля или чего-нибудь другого интересного. Энциклопедия тоже не помогла — там скучно объяснялось, откуда взялись те или иные части легенды, и уныло, по-ученому, отвергались самые интересные куски — про Иосифа Аримафейского и короля Артура, именно то, что подпитывало воображение Фрэнсиса и делало Грааль сверкающей реальностью. Так что Фрэнсис вынужденно вцепился в книгу о прерафаэлитах и даже не вернул ее в библиотеку, когда нужно было вернуть, несмотря на то что книга больше никого не интересовала. Фрэнсис подумывал о том, чтобы украсть книгу, но воспитание, полученное в Блэрлогги, настойчиво подсказывало, что Некой Особе это не понравится — возможно, от этого Его раны даже откроются

заново — и что жизнь, полная благородного чувства, не может базироваться на преступлении, особенно таком, которое столь легко раскрыть.

От всех мальчиков ожидали «старания». Самыми старательными признавались даже не те мальчики, которые лучше всех учились, а те, которые участвовали в каких-нибудь школьных конкурсах, где заведомо не могли выиграть, но могли показать свое умение проигрывать, дабы его заметили и оценили. Для Фрэнсиса это оказался конкурс риторики.

Конечно, никто всерьез не ожидал от мальчиков риторики в строгом смысле этого слова. Красноречие — очень подозрительный дар. Но для участия в конкурсе ежегодно записывалось достаточно мальчиков, способных стоять перед зрителями (учителями и учениками), обуздывать собственный страх и десять минут говорить на заданную тему. Директор выдавал участнику сложенный листок с написанной на нем темой и на десять минут оставлял одного в запертой комнате — конечно, не в библиотеке, — чтобы мальчик собрался с мыслями, какие у него были. Фрэнсису досталась тема «Дар видения».

Так что Фрэнсис поднялся на сцену и вполне уверенно принялся критиковать портреты, кото-

рые украшали все четыре стены молитвенного зала. Эти картины, сказал он, каждый день видят все обитатели школы. Но никто не воспринимает их как картины — разве что как пятна на стенах. Это плохие картины, но в таком случае что они делают в образовательном учреждении? Достойны ли они лучшей в Канаде школы? (Он решил, что это удачный штришок, который непременно польстит слушателям.) Он указал на отсутствие мастерства у живописцев и риторически спросил, может ли кто-нибудь из слушателей назвать хотя бы одного создателя любой из этих картин. Он упомянул, что две-три картины уже сильно облезли, хотя им не более пятидесяти лет, — несомненно, они написаны плохими красками. Он слегка пошутил по поводу того, что борода одного директора школы, относящегося к девятнадцатому веку, стремительно зеленеет. Он сказал, что авторы этих картин явно дилетанты или шарлатаны. Последние три минуты из десяти он рассказывал, как признанный гений живописи, например Микеланджело или Бугро, изобразил бы эти суровые фигуры: тогда они не только служили бы напоминанием о былых директорах, но живо отражали бы глубокий ум и сильный характер, служа отдохновением для глаз всей

школы. Он сел в тяжелом молчании.

Оглашая решение жюри, директор похвалил очевидную искренность Корниша. Но кубок получил мальчик, который сразился не на жизнь, а на смерть с темой «Соблюдение дня субботнего: за или против» и привел массу аргументов в пользу того, что по воскресеньям все магазины и прочие заведения в Торонто должны быть закрыты.

После конкурса директор сказал:

— Корниш, ты говорил хорошо. Неожиданно и, я полагаю, правдиво. Но бестактно, Корниш, бестактно. В зале сидели несколько членов попечительского совета, и им это не понравилось. Будь осторожен со словами вроде «шарлатан», — к сожалению, мир полон шарлатанов. Учись прятать когти. Но один член попечительского совета сказал, что тебя надо поощрить. Поэтому вот тебе записка, пойди с ней в школьную книжную лавку и выбери себе книгу по искусству. Но никому не говори, откуда она у тебя. Это приказ.

Так зародилась огромная библиотека книг об искусстве в его всевозможных формах, которую Фрэнсис оставил после себя. Книготорговец, добрый человек, нашел ему «Историю Ренессанса» Буркхардта — она была иллюстрированная, а потому дорогая — и прибавил подержанный

комплект «Жизнеописаний художников» Вазари: он стоил доллар пятьдесят, но книготорговец уценил его ради способного мальчика.

Фрэнсис послушно молчал про свой особый приз, но уже не мог избавиться от репутации знатока живописи и, как презрительно шипели некоторые враждебные ему учителя, «эссс-тета». Фрэнсис раньше не знал этого слова, хотя сталкивался со словом «эстетика». Но по тому, как они его произносили, становилось ясно, что «эссс-тет» — это такой хлюпик, который теряет время на разглядывание картинок, вместо того чтобы закалять волю и готовиться к настоящей жизни — как враждебные учителя, все до единого неудачники, ее понимали. Но не все учителя так думали; особенно мистер Миллз, старший учитель древних языков и античной литературы, стал благосклонно поглядывать на Фрэнсиса.

С учениками было то же самое. Большинство из них думали, что интересоваться картинками могут только девчонки, и то не все. Девочки их круга — по сути, они сами, только в другой анатомической упаковке — такого себе не позволяли. Это были дочери «старых денег». Но были и другие ученики, в том числе большинство евреев, — им хотелось говорить с Фрэнсисом об искусстве.

Точнее, об искусстве, как они его понимали.

Уже несколько лет группа канадских художников, прозванная «Группой семи», пыталась раскрыть канадский пейзаж новыми способами, увидеть его заново — глазом, не замыленным представлениями английского пейзажиста девятнадцатого века о том, как должна выглядеть природа. Конечно, над их работой многие насмехались; их считали отвратительно современными, хотя американскому или европейскому критику они такими не показались бы. Дети как попугаи повторяли слова родителей, и Фрэнсису не давали покоя вопросами вроде: «А что ты думаешь про „Группу семи“? Моя мать говорит, наша шведская кухарка в выходные малевала точно такие картинки. Отец говорит, он нарисовал бы не хуже, только у него времени нет. Ну ты только погляди! По-твоему, это похоже на Джорджиан-Бей? Мой отец говорит, он охотится по всей стране каждую осень, начал еще мальчиком; он говорит, что знает Канаду лучше, чем эти свистуны, и никогда не видел ничего подобного. Синий снег! Подумать только!»

Фрэнсис отделывался ничего не значащими словами — но не потому, что его как-то интересовала новая живопись: он хотел писать не

мир природы, но мир своей фантазии, в котором царила легенда о Граале. Именно она теперь питала его дух; если от католичества, контрабандой протащенного Мэри-Бен в предположительно англиканский мир Фрэнсиса, и сохранилось хоть что-то, это были именно вещи, связанные с Граалем. Познания Фрэнсиса о Граале были почерпнуты почти исключительно из Теннисона; если по случайности Фрэнсис наталкивался на текст, связывающий великую легенду с дохристианской эпохой, он бросал его; ему нужен был только мир Россетти, Берн-Джонса, Уильяма Морриса. Непросто быть прерафаэлитом в Канаде, в третьем десятилетии двадцатого века, в школе, среди жизнерадостных филистеров, равнодушных к картинам (но отнюдь не равнодушных к успехам в учебе). Но в той мере, в какой это вообще было возможно, Фрэнсису это удалось.

Потребовалась определенная доля изворотливости — даже что-то вроде раздвоения личности. Для школьных товарищей он был просто Корниш, неплохой парень, но повернутый на картинках. Для учителей он был мальчиком со способностями чуть выше средних, за исключением древних языков, в изучении которых подавал надежды. Фрэнсис старался не бросаться в глаза ни учите-

лям, ни товарищам: он играл в спортивные игры — средненько, но все же играл, и участвовал в разных других внеклассных занятиях ровно настолько, чтобы его не презирали как лентяя; он старательно учился, всегда был первым по французскому языку (но это школа не вменяла ему в заслугу, поскольку он знал язык с детства, а в школе французский рассматривался не столько как ключ к другой культуре, сколько как гонка с препятствиями и упражнение для ума) и неплохо успевал по латыни и греческому, которые тоже считались упражнениями для ума. Никто не знал, насколько Фрэнсиса пленяли герои Гомера и Вергилия и насколько проще становятся древние языки, если тебе интересно то, что на них написано. В те годы работники образовательной сферы считали, что мозг можно укрепить, как мышцу, если атаковать и покорять все, что поначалу кажется трудным. Лучшей гимнастикой для развития умственных мускулов были алгебра, геометрия и математический анализ; их освоение было эквивалентно поднятию штанги. Но годились и древние языки — они были достаточно омерзительны для среднего мальчика, чтобы считаться первоклассным предметом. А во внутренних чертогах души Фрэнсиса безраздельно

царил Грааль, который казался ему… чем-то прекрасным, неизмеримо превосходящим все, что могла предложить ему нынешняя жизнь, чем-то таким, что нужно было искать в другом месте, но что на краткий миг, проблесками, являлось ему дома.

Можно спорить о том, жестоко ли поступали по отношению к Фрэнсису его родители. Да, они надолго оставляли его на попечение бабушки, дедушки и тети, но разве это жестокость? Они не заметили зияющей пропасти между его школой в Блэрлогги и его жизнью в «Сент-Килде». Они послали его в Колборн, потому что сэр Фрэнсис признавал школы такого типа, но не задались вопросом, какая именно школа может быть нужна Фрэнсису. Они сделали для него все, что можно купить за деньги, и все, что только могли придумать, но редко видели его и почти не думали о нем. Конечно, они оправдывали это войной и ролью в ней сэра Фрэнсиса — позже, в другой, совсем другой войне, его назвали бы «аналитиком». А Мария-Джейкобина, конечно, обязана была делать все для продвижения карьеры мужа и укрепления его позиций. Война уже давно кончилась, но эти обязанности по-прежнему мешали родителям обратить на сына сколько-нибудь

серьезное внимание.

Ожесточился ли он? Чувствовал ли себя отвергнутым, покинутым? Отнюдь. Наоборот, это помогло ему идеализировать родителей и любить их как далекие сияющие фигуры, совершенно отдельные от повседневной жизни. В школе и в дорогих загородных лагерях, где он проводил лето, он всегда держал при себе папку с фотографиями отца — доблестного и матери — красивой. То были иконы, которые утешали и поддерживали его в минуты сомнений. Когда во внутренней жизни Фрэнсиса воцарился Грааль, родители оказались связаны с ним — не напрямую, это было бы глупо, но как люди, которые делают это великолепие возможным и хранят его в современном мире.

Когда сэр Фрэнсис начал проводить в Канаде больше времени в связи с делами Корниш-треста, он стал видеться с сыном по выходным, беседовал с ним, иногда кормил роскошными обедами у себя в клубе и часто показывал свои медали. Правда, тут же объяснял, что медали вовсе не мерило воинской доблести; гораздо важнее — что думают о тебе люди из Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Главное — насколько близкий у тебя доступ к

Знающим Людям. Кто эти люди — он не говорил, но не потому, что они не существовали: в майоре не было фальши, когда дело касалось его ремесла; он не называл этих важных людей, потому что они держались подальше от огней рампы, хотя в прямом смысле управляли этими самыми огнями и выбирали, кого освещать. Эти люди далеко не все были солдатами; некоторые были учеными, некоторые — официально — путешественниками, некоторые — университетскими преподавателями. Никогда не говорилось вслух, но было ясно: майор как-то связан с тем, что называется секретной службой. Секретность была заложена у Фрэнсиса в костях.

Что же касается его матери, она была красавицей — еще до той эпохи, когда это превратилось в профессию. Светской красавицей, хотя сказать так было бы вульгарно и не в духе Грааля.

Быть красавицей всегда означало воплощать некий идеал, относящийся к данному историческому периоду. Мария-Джейкобина, известная теперь как Джекко, была красавицей двадцатых годов. Она не принимала томные позы; она танцевала — энергично и весело. Она не схватывала свой стан расшитыми шелками — она носила обтягивающие платья-футляры, кото-

рые открывали ее красивые колени. У нее была мальчишеская — но не плоская и не чрезмерно мускулистая — фигура. Она много курила, и у нее была целая коллекция длинных мундштуков для турецких сигарет. Она пила коктейли и слегка хмелела — до обворожительного смеха, но никогда до икоты. Она коротко стриглась — ее прическа в разные годы называлась по-разному, но, по сути, это был «итонский гарсон». Она пользовалась косметикой, но при ее румянце это было скорее приятное дополнение, чем маскировка. Она почти не носила нижнего белья; а то, что носила, было украшено искусной вышивкой, но никогда не мешало хорошо сидеть потрясающим платьям. Духи, которыми она пользовалась, были из Парижа; и только богатый человек вроде президента Корниш-треста мог себе такое позволить. Она флиртовала со всеми подряд, даже со старшим сыном.

Да, теперь у нее был еще один сын, которого собирались послать в «Нижнюю школу» Колборна. Его звали Артур, и он приходился Фрэнсису братом. У них было больше десяти лет разницы, и Артур не играл особой роли в жизни Фрэнсиса, но был вполне милым ребенком, и Фрэнсис обращался с ним вежливо. Артур обладал всеми

качествами, которых не было у Фрэнсиса, — шумный, жизнерадостный, крепкий мальчик, очень популярный в школе. Если бы Фрэнсис время от времени не валил Артура на пол и не сидел на нем — ради его же блага, — Артур относился бы к брату снисходительно, чутьем узнавая в нем человека, которому никогда не бывать спортивным капитаном всей «Верхней школы». Для себя Артур поставил именно такую цель и в назначенный срок ее добился. Фрэнсис никогда не узнал — ибо детям не положено знать такие вещи, — что майор был более высокого мнения о нем, нежели об Артуре. Из младшего в один прекрасный день должен был выйти хороший солдат — если ему не повезет настолько, что придется воевать. Но к работе в контрразведке он не годился, в отличие — как подозревал майор — от Фрэнсиса.

В мае 1929 года, когда Фрэнсису шел двадцатый год, несколько назревших вопросов разрешились сами собой.

Первое решение пришло на тренировке по легкой атлетике, на овальной беговой дорожке, окружавшей главную крикетную площадку школы. Фрэнсис был неплохим бегуном, но не звездой. В этот день он пробежал немного, начал задыхаться, в лучших традициях школы

поднажал, потерял сознание и упал на землю. Сенсация! Ученики столпились вокруг. Сержант, который ведал строевой подготовкой, подбежал с криком «Назад, назад! Дайте ему воздуху!», и, когда Фрэнсис пришел в себя через несколько секунд, сержант отрядил четырех мальчиков отвести его в лазарет, где мисс Грив, школьная медсестра, немедленно уложила его на больничную койку. Был четверг, как раз один из дней, когда в школу приходил доктор; он выслушал сердце Фрэнсиса, принял серьезный вид, чтобы скрыть отсутствие мнения, и сказал, что немедленно устроит Фрэнсису визит к специалисту.

На следующее утро Фрэнсис чувствовал себя прекрасно, пошел к общей молитве, как обычно, и был совершенно поражен, когда директор прочитал список наград: Фрэнсис был в списке, он получил награду за изучение античной литературы. И еще его назвали в числе тех, кто должен был немедленно после окончания молитвы явиться к секретарше директора.

— А, Корниш, — сказала мисс Семпл, — ты сегодня утром освобождаешься от уроков. Ты записан на прием к доктору Макодруму в Центральной больнице, на десять часов. Так что поторопись.

Доктор Макодрум был очень важный специ-

алист, но работал в безжалостно перегретом, крохотном закутке без окон в подвале большой больницы и сам был такой бледный, сутулый и озабоченный, что вряд ли мог служить рекламой своей профессии. Он велел Фрэнсису раздеться, попрыгать, побегать на месте, взобраться на сиденье стула и снова слезть на пол и наконец лечь на холодную каталку, пахнущую больницей, а сам тщательно прослушал его во всех местах стетоскопом.

— Ага, — сказал доктор Макодрум и, родив это высоконаучное мнение, отправил растерянного Фрэнсиса обратно в школу.

Поскольку была пятница, а Фрэнсис получил награду, его раньше времени отпустили домой на выходные. Обычно ему приходилось ждать до утра субботы. Поэтому около пяти часов вечера он вошел в новый роуздейлский дом и направился в гостиную, надеясь, что там еще накрыт стол для чая. Но обнаружил свою мать, которая целовалась с Фредом Маркхэмом.

Они даже и не подумали виновато отпрянуть друг от друга. Маркхэм, улыбаясь, предложил Фрэнсису сигарету, которую тот принял, а мать сказала:

— Привет, милый! Отчего ты так рано?

— Мне дали особый отпуск. Я получил первую награду по античной литературе.

— О, какой ты умник! Ну поцелуй меня, милый. Это надо отметить!

— Точно, — сказал Фред Маркхэм. — «Белую даму», а, Фрэнсис?

— О Фред, ты уверен? Он не пьет коктейлей.

— Так пора уже начинать. Держи, старик.

«Белая дама» оказалась очень вкусной, особенно яичный белок. Фрэнсис пил, болтал и чувствовал себя светским человеком. Потом поднялся к себе в комнату, бросился на кровать и разрыдался. Мама! Подумать только, мама! С Фредом Маркхэмом, у которого в переднем зубе золотая пломба! Да ему сорок лет, не меньше! Мама… оказывается, она ничуть не лучше королевы Гвиневры! Но тогда выходит, что Фред Маркхэм — Ланселот, а это смешно. Он может быть только низким смердом или, быть может, вонючим мужланом. И вообще он страховой брокер, и что он вообще о себе возомнил, если считает возможным лапать леди Корниш? Но, судя по всему, мама была не против; она не сопротивлялась, так что, похоже, это был не первый их поцелуй. Мама! Боже, да ведь ей, наверно, не меньше лет, чем Маркхэму! До того Фрэнсис считал мать молодой,

не задумываясь о хронологии. Конечно, она старше его, но он никогда не подсчитывал ее годы.

Открылась дверь, и вошла мать. Она увидела, что Фрэнсис плачет.

— Бедный ты мой, — сказала она. — Ты очень удивился? Не надо. Ну пойми, это ничего не значит. Сейчас все так делают. Ты не поверишь, насколько все изменилось с тех пор, как я была в твоем теперешнем возрасте. И к лучшему, правда. Все эти нудные формальности, и приходилось так быстро стареть. Сейчас никто не обязан стареть, если не хочет. В прошлом году в Лондоне я познакомилась с человеком, которому сделали операцию Воронова — ну знаешь, когда пересаживают железы обезьяны[165], — и он просто потрясающий.

— Похож на обезьяну?

— Глупый, конечно нет. А теперь поцелуй меня, милый, и не беспокойся ни о чем. Ты почти окончил школу, и пора тебе повзрослеть в разных очень важных вопросах. Тебе понравилась

---

**[165] Примечания: 165**

*…сделали операцию Воронова — ну знаешь, когда пересаживают железы обезьяны…* — Сергей (Самуил) Абрамович Воронов (1866–1951) — французский хирург российского происхождения; родился в Воронеже, умер в Лозанне (Швейцария). Автор методики омоложения посредством прививания ткани яичек обезьян к человеческим яичкам, разработанной им во Франции в 1920–1930-е гг. Послужил прототипом профессора Преображенского в повести М. Булгакова «Собачье сердце» (1925).

«Белая дама»?

— Ну… наверно.

— Они поначалу кажутся странными. Ты скоро привыкнешь, и тебе понравится. Главное, чтобы не чересчур понравилось. А теперь давай-ка умойся, сойди вниз и поговори с папой.

Но Фрэнсису не особенно хотелось говорить с папой. Бедный отец, обманутый, как король Артур! Как это называлось у Шекспира? Рогоносец. Слепой рогач[166]. Фрэнсис был недоволен тем, как держался во время разговора с матерью: он должен был вести себя подобно Гамлету в спальне королевы. Как он там ее обличал? «Блюет и хнычет, нежась и любясь»[167]? Нет, это откуда-то еще. Она позволяет своему любовнику распутные щипки, дарит ему грязные поцелуи,

---

**[166] Примечания: 166**

*Как это называлось у Шекспира? Рогоносец. Слепой рогач.* — Шекспир У. Веселые виндзорские кумушки. Перевод М. Кузмина.

**[167] Примечания: 167**

*…он должен был вести себя подобно Гамлету в спальне королевы. Как он там ее обличал? «Блюет и хнычет, нежась и любясь».* — Фрэнсис смешивает две цитаты из Шекспира: «…блюет и хнычет…» («Как вам это понравится», д. 2, сц. 7, перев. В. Левика) и «…нежась и любясь…» («Гамлет, принц Датский», акт 3, сц. 4, перев. М. Лозинского).

он гнусными пальцами треплет ей шею[168]. Боже, какой все-таки пошляк этот Шекспир! Надо бы перечитать «Гамлета». Прошел уже год с тех пор, как мистер Блант протащил их через эту пьесу на спецкурсе по литературе. Мистер Блант злорадно расписывал грех Гертруды. Ибо это был грех. Разве она не преобразила брачные обеты в клятву шулеров[169]? Ну что ж… надо умыться и пойти поговорить с отцом.

Сэр Фрэнсис был очень доволен, что сын получил награду по античной литературе, и открыл бутылку шампанского. Невинный бедняга, он не знал, что самый его дом рушится ему на голову и что прекрасная женщина, сидящая рядом за столом, — прелюбодейка. «Белая дама» еще не совсем улеглась в непривычном к спиртному

---

**[168] Примечания: 168**

*…распутные щипки, дарит ему грязные поцелуи, он гнусными пальцами треплет ей шею.* — Перефразированная цитата из «Гамлета», акт 3, сц. 4, перев. А. Радловой:

> *Пусть пухлый ваш король в постель вас тащит,*
> *Распутно щиплет вас, зовет вас мышкой,*
> *А вы за пару грязных поцелуев,*
> *За пальцы гнусные, что вас ласкают*
> *И шею треплют вам, во всем сознайтесь.*

**[169] Примечания: 169**

*Разве она не преобразила брачные обеты в клятву шулеров?* — Перефразированная цитата из «Гамлета», акт 3, сц. 4, перев. А. Радловой:

> *…брачные обеты*

*Преображает в клятву шулеров...*

желудке, а Фрэнсис уже выпил два бокала шампанского. Поэтому, когда после обеда позвонила Искорка Грэм, он слабее обычного сопротивлялся ее предложению пойти в кино.

Он до сих пор отчитывался перед родителями, куда идет вечером и зачем.

— Искорка Грэм хочет в кино, — пробормотал он.

— А ты, можно подумать, не хочешь? Ладно тебе! Она очень милая девочка. Уж перед папой и мной можешь не притворяться.

— Мама… а это ничего, что Искорка мне звонит? Я думал, это мальчик должен звонить девочке и приглашать куда-нибудь.

— Милый, где ты набрался таких старомодных идей? Ей, наверно, просто скучно. Фрэнк, дай победителю пять долларов. Пускай развеется как следует.

— А? Что? А, да, конечно. Машина тебе нужна?

— Искорка обещала приехать на своей.

— Вот видишь? Она очень хорошая! Не хочет, чтобы все расходы ложились на тебя. Желаю приятно повеселиться.

Искорка хотела посмотреть фильм с Кларой Боу — «Опасные изгибы», так что на этот фильм они и пошли. Искорка взяла Клару Боу за образец

для подражания и в самом деле напоминала ее — неуемной энергией и живыми кудряшками. В зале она как бы случайно положила руку рядом с Фрэнсисом, так что он вынужден был взять эту руку. Не то чтобы он очень хотел, но руку ему практически навязали, как фокусник навязывает карту одному из зрителей. После кино они пошли в кафе-мороженое, уселись на высокие табуретки и стали поглощать сверхкалорийную, нездоровую кашу из мороженого, сиропа и взбитых сливок, украшенную сверху помадкой и орехами. Потом они поехали домой через красивый овраг, каких много в Торонто, — он точно был им не по пути, — и Искорка вдруг остановила машину.

— Что-нибудь не так? — спросил Фрэнсис.

— Бензин кончился.

— Да ну! Осталось больше полубака.

Искорка весело заискрилась:

— Ты что, не знаешь, что это значит?

— Когда бензин кончился? Знаю, конечно. Это значит, что в баке нет бензина.

— Вот глупый! — сказала она, быстро, умело обняла Фрэнсиса за шею и поцеловала.

У нее получилось почти как у Клары Боу в фильме. Но Фрэнсис растерялся и не знал, что делать.

— Дай я тебе покажу, — сказала практичная

Искорка. — Ну-ка расслабься! Это не больно. Расслабься.

Под ее руководством Фрэнсис проявил себя как способный ученик.

За полчаса он сильно обогатился опытом. Искорка по ходу дела расстегнула ему рубашку и положила руку туда, где билось его сердце. Око за око: Фрэнсис расстегнул ей блузку, долго и мучительно копался в лифчике, по пути случайно порвал бретельку комбинации и наконец положил руку Искорке на сердце; тут мошонка (наверно, это была она, если Фрэнсиса не обманули на уроках биологии) принялась отправлять в мозг сигналы о том, что это самое большое счастье, которое он доселе испытывал в своей жизни, ибо сердце Искорки находилось в грудной клетке, а грудь Искорки, вопреки моде двадцатых годов, была весьма пышна, хоть и сдавлена тугой повязкой. Теперь Фрэнсис был уверен, что его поцелуи ничуть не хуже любых киношных.

— Не сопи так, — сказала практичная Искорка.

Когда она высаживала его возле дома, он произнес медленно и настойчиво:

— Надо полагать, это значит, что мы любим друг друга?

Искорка заискрилась еще сильнее, чем в ходе

этого искрометного вечера.

— Вот глупый! Конечно нет. Это просто приятно. Правда? Тебе ведь было приятно?

И подарила ему еще один поцелуй в стиле Клары Боу.

«Приятно», и все? Фрэнсис готовился ко сну, остро сознавая, что весь раздухарился, как сказала бы Виктория Камерон. Это Искорка его раздухарила, и ей было всего лишь «приятно». Неужели девушки проделывают все это — поцелуи, возня под блузкой — только потому, что это приятно?

Не зря он получил награду по античной литературе. В памяти всплыла строка из Вергилия, которую мистер Миллз читал с мрачным напором:

*Varium et mutabile simper*
*Femina…*

Даже в мысленной цитате он постарался правильно расставить строки. «Изменчива и ненадежна / Женщина»[170].

Фрэнсис отправился в постель — раздухаренный, раскаивающийся; он жаждал еще, но был обижен, что его использовали для чужого удо-

**[170] Примечания: 170**

*«Изменчива и ненадежна / Женщина».* — Вергилий. Энеида. Книга IV, 569/570. Перев. С. Ошерова.

вольствия. Он долго не мог заснуть.

— Фрэнк, сходим сегодня пообедаем у меня в клубе, — сказал сэр Фрэнсис, увидев сына за завтраком.

Клуб был большой, мрачный, не тронутый современностью и невероятно удобный. Дам в него допускали только по особым случаям и со строгими ограничениями. Отец заказал два стакана хереса (не слишком сухого), и Фрэнсис подумал, что по сравнению со своей обычной нормой он в эти выходные просто упился.

— Так, обед… что ты скажешь о супе из бычьих хвостов, а потом отбивные, жаренные на гриле, и… о, у них сегодня пудинг из тапиоки! Я всегда говорю, что здесь его готовят, как нигде. Значит, заказываем это, и… официант! — два стакана клубного кларета. Фрэнк, мы празднуем. Твою награду по античной литературе.

— А… спасибо, папа.

— Такую кому попало не дают, а?

— Ну, многие думают, что античная литература — это так, ничего особенного. Даже некоторые учителя считают, что от нее никакой пользы.

— Не обращай внимания. Древние языки — это просто отлично. Все, что дает возможность опереться на прошлое, полезно. Нельзя понять

настоящее, не зная прошлого, а? Надо полагать, ты пойдешь в «Душок» изучать античную литературу? Или оставишь это до Оксфорда?

— Оксфорда?

— Ну, я всегда думал, что ты пойдешь в Оксфорд после здешнего университета. Конечно, ты должен поучиться тут, и, наверное, «Душок» подходит больше всего, раз я глава крупной канадской компании и все такое, — просто нехорошо будет, если мой сын все высшее образование получит за границей. Значит, «Душок», а потом Оксфорд. У тебя будет куча времени.

— А разве мне не надо поторапливаться?

— С чем?

— Я пока не знаю. Но в школе все думают, что надо как можно скорее изучать то, что собираешься.

— Я думаю, тебе не стоит торопиться с тем, что ты будешь делать.

— Да? А что я буду делать?

— А что ты хочешь?

— Если по правде, я хочу быть художником.

— Прекрасно. Это отличная профессия. Тот художник, который написал портрет твоей матери, — де Ласло, или как его там? — он, кажется, просто замечательно рисует. Но имей в виду, у

него талант. А у тебя есть талант?

— Если честно, я не знаю. Мне надо выяснить.

— Превосходно.

— Я думал, ты хочешь, чтобы я пошел в бизнес.

— Дедушка считает, что ты для этого не годишься. Правду сказать, я тоже так считаю. Может, Артур для этого лучше подойдет. Он больше похож на банкира, чем ты. Я подумал, может, ты вместо бизнеса решишь попробовать себя в моем ремесле?

— Извини, я…

— В моей профессии. Давай начистоту. Ты знаешь или, может быть, догадываешься, что я в последние несколько лет был тесно связан с разведкой. Это удивительно интересный мир. Ты не знаешь, что я делал, и не узнаешь. Наверно, излишне предупреждать, что ты ни словом не должен никому обмолвиться о моей работе. О моей настоящей работе то есть. Люди всякое себе воображают. Но мне кажется, ты как раз подходящий человек, а эта награда по античной литературе гораздо лучше подходит к нашей игре, чем работа с финансами. Лучший разведчик — тот, кто в глазах всего света занят чем-то совершенно другим, каким-то делом, которое с виду отнимает у него все свободное время. Худож-

ник — отличное прикрытие. Художники всюду путешествуют, встречаются с самыми разными людьми, и никто не удивляется, если они слегка со странностями.

— Я никогда об этом не думал.

— Вот и хорошо. Кто мечтает и всячески стремится стать разведчиком, у того точно ничего не получится. Слишком много рвения. В лучшем случае из них выходят дешевые филеры. Ты знаешь про свою сердечную слабость?

Сердечная слабость? Неужели это он про Искорку Грэм?

— Вижу, Макодрум тебе не сказал. У тебя, судя по всему, слабое сердце. Ничего страшного, но надо быть поосторожней. А это — самое оно для нашего дела. Кто-нибудь захочет узнать, почему ты не работаешь, — скажешь, что у тебя больное сердце, и все решат, что ты практически инвалид. Будешь бить баклуши и рисовать. Просто отлично. Про меня думали, что я всего лишь солдат. И до сих пор думают. Никто не ожидает от солдата умения соображать. Как и от художника.

— Ты хочешь сказать, что я буду… шпионом?

— Ох, Фрэнк, я тебя умоляю, забудь это слово!

Это из той же оперы, что Филлипс Оппенгейм[171]. Ничего подобного: ты будешь наблюдательным человеком, который ездит туда-сюда, и делает что ему в голову взбредет, и знакомится с самыми разными людьми. Никаких там фальшивых усов, не надо мазать лицо сажей и притворяться, что ты водонос Абдул. Будь собой и держи ухо востро. Пойдешь в «Душок», потом в Оксфорд, будешь набивать голову всем, что тебя интересует, и не слушай дураков — они непременно захотят, чтобы ты изучал что-нибудь такое, важное с их точки зрения. А у тебя — сердечная слабость, понимаешь?

— Но что мне надо будет делать?

— Не могу сказать. Может, просто будешь писать письма. Ну знаешь — дружеские письма кому-нибудь из знакомых про то да се. Имей в виду, я пока говорю навскидку. Поначалу совсем ничего не надо будет делать. Но я хочу, чтобы ты как можно скорее познакомился кое с кем. Я сведу тебя с ними этим летом, когда ты будешь в Англии.

— А я разве еду в Англию?

---

**[171] Примечания: 171**

*…шпионом? <…> Это из той же оперы, что Филлипс Оппенгейм.* — Эдвард Филлипс Оппенгейм (1866–1946) — английский писатель, автор многочисленных шпионских романов.

— А ты разве не хочешь?

— Хочу! Просто я об этом не думал.

— Тебе надо бы познакомиться с моей родней. Я раньше ничего не говорил, ведь они родня твоей матери и все такое, но в тебе не только эта компашка из «Сент-Килды». Мэри-Бен с ее патерами и всякой суетней и бабушка — она, конечно, хорошая женщина, но в конце концов будет вылитая мадам Тибодо. В твоей жизни есть и другие люди. Ты должен познакомиться с родственниками по моей линии. Мы ведь половина тебя, знаешь ли. Может, эта половина тебе понравится больше, чем родня из Блэрлогги.

— Папа, ты ненавидишь Блэрлогги?

— Не то чтобы ненавижу. Я не позволяю себе ненавидеть места, где приходится жить. Но я пожил в Блэрлогги — и хватит. А что?

— Я помню, на прощальном вечере, который ты давал в отеле в Блэрлогги… Вы с дедушкой одни были во фраках, и Альфонс Легарэ подошел пьяный, рассмеялся тебе в лицо и чиркнул спичкой по пластрону твоей рубашки.

— Я помню.

— Ты не дернулся, даже и бровью не повел. Но это было даже хуже, чем если бы ты его ударил, — настолько явно ты был в другом мире. Он ничем

не мог тебя задеть. Я был просто восхищен. Это высокий класс.

— Ужасное выражение.

— Ну, мы так говорим, когда у кого-то есть настоящий стержень.

— Мм… спасибо, сынок. Ты же понимаешь, это все моя профессия. Держать себя в руках. Не делать глупостей.

— Даже если задета твоя честь? Даже ты кому-то доверял больше всех, а он оказался этого недостоин?

— Не стоит доверять людям, пока не узнаешь их как следует. Но ты явно имеешь в виду конкретного человека. О ком ты говорил?

— Папа, что ты думаешь про Фреда Маркхэма?

Деревянный Солдатик редко смеялся, но сейчас рассмеялся:

— Для человека его уровня он неплох, но уровень у него невысокий. Я, кажется, понял, о чем ты. Пускай Фред Маркхэм тебя не волнует. Он — заурядный человечек, неплохо развлекает многих женщин. Но у него нет того, что ты называешь стержнем.

— Но, папа, я видел, как он…

— Я знаю, что ты видел. Твоя мама мне рассказала. Она решила, что ты воспринял увиденное

совершенно неправильно. Людям время от времени нужен отдых. Перемена. Но провести день на поле для гольфа — не то же самое, что сбежать на другой континент. Так что не волнуйся. Мама прекрасно может сама о себе позаботиться. И обо мне тоже.

— Но я думал… брачные обеты…

— Ты имеешь в виду верность? Ты еще узнаешь, что верность меняется и снаружи может выглядеть по-другому, но это не значит, что внутри она слабеет. Не беспокойся за нас с мамой.

— Это значит, что мама для тебя лишь часть… как это называется… легенды?

— И да и нет. Фрэнк… надо полагать, ты мало что знаешь о женщинах?

Кому охота признаваться, что он мало что знает о женщинах? Любому хотелось бы думать, что он знает о них больше своего отца. Фрэнк побился бы об заклад, что видел столько голых женщин, сколько отцу и не снилось, — правда, качеством увиденного он хвалиться бы не стал. Бледные тела у Девинни. Не конкурс красоты, это уж точно. Но Фрэнсис давно перерос свое детское неведение. Теперь он знал, как люди делают *это.* Как животные — но любовь все преображает. Он снисходительно вспомнил беднягу Вудфорда из

школы — когда его дразнили, он проговорился, что думает, будто детей зачинают через пупок женщины! Семнадцатилетний парень! Как над ним смеялись, как издевательски воображали его первую брачную ночь! Фрэнсис теперь знал об Особенностях все, что могла сообщить энциклопедия и школьные уроки биологии. Еще он знал анатомию и мог нарисовать женщину с начисто содранной кожей — по книге. Но отец явно имел в виду близость с женщинами, а Фрэнсис прекрасно знал: несмотря на умение нарисовать освежеванную женщину, живой и теплой он ни разу не касался, пока Искорка Грэм не оказала ему любезность. Но Деревянный Солдатик продолжал:

— Мне часто приходится иметь дело с женщинами. Как в личном, так и в профессиональном плане. Они бывают полезны в разведке. Ты знаешь, я ведь и Мату Хари встречал пару раз. Потрясающая женщина. Прекрасные глаза, но фигура поплотнее, чем сейчас модно. Когда ее наконец расстреляли, ей был сорок один год — примерно как твоей матери сейчас, и такая же красавица. Но ты знаешь, ценность женщин в нашем деле ограниченна, потому что они работают исключительно ради денег и всегда ищут

вариант повыгодней. А вот мужчины… конечно, и среди них много наемников, но кое-кто из лучших работает исключительно за идею или из любви к родине. Я иногда думаю, что у женщины нет родины — только семья. Есть, конечно, мужчины, которых привлекает элемент романтики. А вот женщин таких не бывает, хотя замешанных в нашем деле часто называют авантюристками. Понимаешь, они работают телом и, конечно, смотрят на все совершенно по-другому. Имей в виду, я встречал в нашей среде совершенно поразительных женщин. Им отлично дается все связанное с шифрами, но это уже совсем другой тип — мозг, заточенный на разгадывание загадок. Синие чулки. Обычно они не слишком привлекательны. А вот авантюристки — настоящие стервы. Всегда смотрят, как бы чего урвать… Но… я не об этом собирался с тобой поговорить. А о женщинах вообще. Вот тебе мой совет: никогда ни в чем не связывайся ни с одной, сколь угодно высокого или низкого положения, если она хочет за это денег. Они все мошенницы, и, кроме случаев, когда платишь очень дорого, как правило, остаешься с чем-нибудь таким, что тебе совершенно не нужно. Никакой платы — это хорошее правило. Я тебе вот что скажу: придер-

живайся вдов. Их много, особенно сейчас, после войны, и тебе легко будет найти женщину своего класса, а это важно, если ты хоть сколько-нибудь по-настоящему уважаешь женщин. Конечно, будь щедр, играй честно и прямо, и тогда все будет хорошо. Кажется, это все. А теперь — что ты намерен делать?

— По-моему, я не знаю ни одной вдовы.

— О, еще узнаешь. Но я не о том. Поедешь в Англию этим летом? А осенью — в «Душок»?

— Да, папа. Это будет здорово.

— Хорошо. А в Англии тебе надо будет встретиться с одним-двумя людьми. Я все устрою.

*– Фрэнк упустил момент — не спросил отца о Лунатике, — заметил Цадкиил Малый.*

*— А ты думаешь, у него была такая возможность? Майор весьма умело ведет беседу — с виду как будто и совсем не ведет, но не теряет контроля над нитью разговора. Он ошеломил Фрэнсиса новыми идеями — работа в разведке, поездка в Англию, встреча с Корнишами, умение обращаться с женщинами. У Фрэнсиса в непривычном желудке булькали стакан хереса и стакан клубного вина; у него не было ни единого шанса переменить тему беседы и потребовать, чтобы ему раскрыли давнюю тайну. Ты знаешь, как*

*бывает с тайнами: они растут, становятся все загадочней и вдруг распадаются в пыль, — и никто не может понять, почему вот это когда-то скрывали. Тайна Лунатика осталась в Блэрлогги, ушла в прошлое на несколько лет назад, а Фрэнсис не успевал осмыслить уйму новых удивительных идей, которые обрушил на него отец, — что он не возражает, чтобы мать целовалась с Фредом Маркхэмом, что он, оказывается, был разведчиком, что вдовы — это хорошо. Уж майор-то умел проводить важные разговоры.*

Фрэнсис сидел на руинах замка Тинтагель и пытался думать о короле Артуре. Это была земля святая — именно здесь Утер Пендрагон зачал Артура от прекрасной Игрейны, жены герцога Корнуолльского. И все произошло благодаря искусству волшебника Мерлина. Но как Фрэнсис ни пытался думать об этих великих событиях, он мог только смотреть на северо-запад, через сверкающее бурное море, от которого, кажется, только и исходил свет в Корнуолле. Свет моря отражался обратно к небу, словно источник света находился под самим морем, и это мучило Фрэнсиса, не давало ему покоя весь месяц, проведенный у Корнишей из Чигуиддена. Этот свет придал новое значение легендам, которые

Фрэнсис привез с собой — как багаж, подобающий каникулам в Корнуолле. Это не была ночь с картин прерафаэлитов — лунное сияние, обливающее невообразимо благородных мужчин и нездорово прекрасных женщин; это был свет мира, по видимости неограниченный свет, который тусклое зеркало моря отражало, так сильно рассеивая, что он будто пронизывал весь полуостров Корнуолл. Кое-где виднелись тени, но свет словно бы отрицал их, падая на все предметы со всех сторон.

Ведь наверняка в этом невероятном, незнакомом свете — незнакомом Фрэнсису, который никогда не жил у моря, — можно с головой нырнуть в мир легенд? Глядя с овеянного веками мыса, как не вообразить, что видишь пестрые паруса, несущие Изольду и Тристана к королю Марку? Но сколько бы Фрэнсис ни пытался силой склонить свои мечты к легендарному и поэтическому, в голову лезли исключительно Корниши из Чигуиддена и то, что они очень странные.

Странные потому, что, живя на этой колдовской земле, были, по-видимому, совершенно невосприимчивы к ее чарам. Странные потому, что жили там, где святые древней кельтской Церкви провозгласили Христово Евангелие под-

линно кельтским голосом задолго до того, как из Рима явились смуглые Августиновы миссионеры проповедовать и внедрять свою веру со всем свойственным их породе фанатизмом. Но Корниши из Чигуиддена явно не слыхали о кельтском христианстве, а если и слыхали, то, видимо, не поняли, что оно может быть интереснее низкого англиканства церкви Святого Исфаэля, куда они ходили и где считались большими людьми. Уж конечно, само имя святого Исфаэля было достаточно кельтским, чтобы возбудить даже самое равнодушное к истории воображение. Церковь присутствовала на этой земле в том или ином виде с шестого века, и Корниши это знали. Но им гораздо интереснее было то, что в девятнадцатом веке набожный Корниш пожертвовал огромную сумму, в пятьсот фунтов, на переделку церкви Святого Исфаэля по последнему писку викторианской готики. И Корниши были твердо намерены сохранить всю отделку, до последнего бронзового завитка, до единой плитки, расписанной энкаустикой. Семейное предание гласило, что трудами набожного Корниша кучу старых панелей — пятнадцатого века или что-то вроде этого — выломали и сожгли по окончании великого ремонта.

Странные, ибо словно не догадывались, что сам король Артур, может быть, скакал верхом там, где сейчас простираются их парковые угодья, и что старейшие дубы на их земле, возможно, выросли из желудей того дуба, под которым великий король — *dux bellorum*[172] древних летописей — придержал коня, чтобы отдохнуть и оглядеться в таинственном свете полуострова Корнуолл. Когда Фрэнсис высказал это предположение, дядя — которого звали не как-нибудь, а Артур Корниш — странно поглядел на него и сказал, что, конечно, в парке есть дерево, посаженное в честь коронации королевы Виктории, и это уже вполне приличный дубок, хоть он и перенес два серьезных приступа серой гнили.

Дядю Артура гораздо больше интересовало нечто, называемое Местной скамьей — местное отделение мирового суда, где он заседал, как и все прочие Корниши один за другим, с тех самых пор, как эта самая скамья существовала. Но к сожалению, нынешнему Корнишу приходилось делить скамью с торговцами и даже с местным социалистом, который не мог понять, что суть местного правосудия в том, чтобы знать местных жителей

---

**[172] Примечания: 172**
Военачальник *(лат.); досл.* «повелитель битв».

— кто достойный человек, а кто известный голодранец и браконьер — и выносить вердикты соответственно. Дядя Артур владел обширными землями и многочисленными коттеджами — на арендной плате за них и держался Чигуидден со всей его древней славой. Если дядя Артур и слыхал об Оскаре Уайльде, то наверняка считал его порочным типчиком, с которым Местная скамья разделалась бы без всякой жалости. И уж наверняка дядя не знал афоризма Уайльда: «Земля дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им»[173]. Но если бы знал, то согласился бы, что «этот содомит» хоть тут оказался прав. Любимой темой дядюшки Артура было безжалостное давление правительства на землевладельцев. Если бы его домашние знали слово «паранойя», они бы наверняка согласились, что дядя Артур в этом отношении параноик. Он был уверен, что современное правительство — это один гигантский заговор с целью погубить его и в его лице все лучшее, что есть в сельской Англии.

Жена его, тетушка Мэй, с подобающей скромностью называла себя религиозной женщиной,

---

**[173] Примечания: 173**

*...афоризма Уайльда: «Земля дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им».* — Оскар Уайльд. Как важно быть серьезным. Перев. И. Кашкина.

так как больше всего на свете ее занимали приходские дела и богослужения в церкви Святого Исфаэля. Она помогала бедным, насколько позволяли тающие доходы Корнишей, и железной рукой сдерживала священников, выказывающих наклонность к высокому англиканству. Во что она верила — никто не знал, ибо она держала свою внутреннюю жизнь в строгой тайне. В церкви она молилась, но Чему именно, и что она Ему говорила, и как Оно проявлялось в ее повседневной жизни — никто не знал. Вероятно, она молилась за своего сына Реджинальда, чей полк стоял в Индии, за другого сына — Губерта, который служил во флоте и надеялся выслужиться, и за дочь Пруденс, которая вышла замуж за Родерика Глассона, еще одного угнетенного местного сквайра. Без сомнения, тетя Мэй молилась и за всю орду своих внуков, но действенность этих молитв вызывала сомнения — внуки были хулиганами и нещадно изводили Фрэнсиса.

За месяц, проведенный в Чигуиддене, Фрэнсис так и не разобрался, где чьи дети, — они приходили и уходили без всякой системы, с воплями врывались в дом или выбегали из дома с крикетными битами или велосипедами — и с оружием, если это были мальчики. Что до дево-

чек — тихому канадцу казалось, что они решили свести счеты с жизнью: девочки изображали чудовищную пародию на поло, скача на пони по лужайке, полной кроличьих нор, так что пони вечно спотыкались и девочки вечно валились кувырком под копыта другим, атакующим пони. Кузена-канадца все дети считали смешным недоразумением. Он попытался блеснуть талантом — развести костер без спичек (как его научили в дорогом летнем лагере для мальчиков). За это он получил прозвище Последний-из-могикан, а его страсть ко всему связанному с королем Артуром сочли особым американским помешательством. Он так и не понял, которые дети — Реджинальда, а которые — Губерта, но две девочки точно были дочерьми Пруденс, так как они ежедневно заявляли, что их сестра Исмэй Глассон живо наставила бы его на путь истинный. Они очень гордились сестрой, потому что она была Страхом Господним даже среди чигуидденских буйнопомешанных. Но сейчас она гостила за границей — жила во французской семье, чтобы улучшить свой французский выговор, и, без сомнения, терроризировала французов.

За семейным столом, над скудными порциями невкусной еды, Фрэнсис пытался повернуть

разговор так, чтобы выяснить, известно ли чигуидденским Корнишам, какой великий человек его отец и насколько близок он с лондонскими Знающими Людьми. Но оказалось, что для дяди Артура сэр Фрэнсис — всего лишь младший брат, а тетя Мэй очень жалела, что леди Корниш оказалась американкой, раз уж вообще кому-то вздумалось вводить титул леди Корниш; ибо Корниши были непоколебимо уверены, что канадцы на самом деле американцы, а их жалкие попытки отрицать это — вранье, которому следует противостоять со всей строгостью. О состоянии, приобретенном Деревянным Солдатиком в результате женитьбы и на посту зицпредседателя компании по доверительному управлению, в Чигуиддене вспоминать очень не любили: богатство младшего сына, притом что старший сын едва сводил концы с концами, было непростительной наглостью. Так что Фрэнсису дали понять: он не только Последний-из-могикан, но и Богатый Американец. Он был уверен, что чигуидденские Корниши вовсе не хотели его обидеть; просто их прекрасных манер было недостаточно, чтобы полностью обуздать зависть.

Сидя за общим столом, Фрэнсис иногда поднимал глаза от бараньего рагу, стынущего на

тарелке, и разглядывал фамильные портреты, развешенные на деревянных панелях. Он был вынужден признать, что они ужасны. Они были даже еще хуже (древнее, закопченнее, изъязвленнее), чем портреты в молитвенном зале школы. Но со всех глядело одно и то же семейное лицо — длинное, лошадиное, с зелеными, как крыжовник, глазами; на некоторых портретах взгляд выдавал незаурядных людей — у них в глазах светился ум и умение повелевать. Фрэнсис разглядывал сидящих за столом дядю Артура и разнообразных внуков (тетя Мэй, конечно, в счет не шла — в сложном семейном механизме Корнишей она была лишь аппаратом для воспроизводства): одно и то же лицо, разочарованное и жесткое у дяди Артура, проступающее сквозь детскую пухлость или мальчишескую неловкость или обрамленное плохо заплетенными косичками — у детей, повторялось во множестве вариаций, но форма лица и набор выражений не менялись. Ложась спать в нетопленой комнате, Фрэнсис глядел на себя в волнистое зеркало и видел под черными волосами, унаследованными от Макрори, то же самое лицо; он понимал, что эти черные волосы и крыжовенные глаза когда-нибудь станут просто пугающими.

Чигуидден, правду сказать, его разочаровал. Фрэнсис столько выстрадал из-за этого необычного названия, которое не только было странным само по себе, но еще и произносилось не по-человечески, что теперь ожидал увидеть величественный памятник архитектуры, причем, как подсказывало название, белого цвета. Но нет: Чигуидден оказался большим, невысоким, запущенным особняком из серо-бурого камня, с низкой, неприветливой парадной дверью, жалкими окошечками и сланцевой кровлей, покрытой пятнами мха. Без сомнения, дом был очень старый — не меньше четырехсот лет, судя по тому, как чудовищно неудобно было там жить. Кроме того, в нем воняло, так как викторианская канализация отродясь не справлялась со своим делом, несмотря на то что с ней постоянно возились. По-видимому из-за семейной привычки никогда ничего не выбрасывать, дом был заставлен мебелью и безделушками, среди которых почетное место занимали сувениры, привезенные различными Корнишами из армейской или флотской службы за морем. В целом дом был обшарпанным, неудобным и походил на дряхлого опустившегося старика. Школьная жизнь приучила Фрэнсиса терпеть убогую обстановку,

неудобство и вонь, но от семейного обиталища он ждал уродливой бархатной роскоши, как в «Сент-Килде», или безжалостного следования моде, как в торонтовском доме его матери. Как Корниши вообще могут жить в доме, где каждый стул даже среди лета обдает холодом, словно садишься в таз холодной воды, и где все постели мокры от морских туманов?

Но отец уверял, что по крайней мере половина его корней — тут.

Как Фрэнсис ни старался, он не смог погрузиться в эпоху короля Артура — даже на развалинах Тинтагеля. Он поехал на велосипеде обратно через Камелфорд, в Чигуидден, радуясь, что завтра вернется в Лондон, а через несколько дней сядет на пароход, идущий в Канаду.

— Ну как, понравилось тебе в Корнуолле?

— Благодарю вас, там было очень интересно.

— Но не очень весело?

— О, очень весело. Но я ожидал, что его хозяева хоть немного интересуются местной историей.

— Корниши сами — местная история. Надо полагать, для них история — то, что происходит где-то еще. Они немного провинциальны, а?

— Я бы не стал так говорить.

— Ты, похоже, осмотрителен.

— Я не люблю делать поспешных выводов. Видите ли, я первый раз в Англии.

— Но конечно, не последний. Твой отец мне сказал, что ты планируешь в конце концов поступить в Оксфорд.

— Да, так и есть.

— К тому времени ты можешь оказаться полезным человеком. Твой отец сказал, что ты, возможно, пойдешь по нашей линии.

Так вот что все это значит! Вот зачем полковник Копплстоун пригласил Фрэнсиса на ланч в «Атенеуме» — респектабельном клубе в Вест-Энде, — где, правда, кормили немногим лучше, чем в Чигуиддене. Фрэнсис и ждал чего-то такого. Несомненно, полковник Копплстоун был одним из Знающих Людей.

— Да, он об этом говорил.

— И ты не против?

— Я был польщен.

— Ну что ж… Конечно, мы не даем никаких обещаний. Следуй своему чутью. Но мы все время ищем молодых людей, подающих надежды, и, если у них оказываются нужные задатки, попозже мы можем и пообещать кое-что.

— Спасибо.

— Ты любишь писать письма?

— Простите?

— Ты умеешь писать интересные письма? Если ты действительно хочешь в будущем с нами работать, начни писать мне письма.

— О чем?

— О том, что ты делаешь… и что видишь… и что думаешь. Я хочу, чтобы ты присылал мне письма хотя бы раз в две недели. Пиши на этот адрес — это мой загородный дом. И в письмах обращайся ко мне «дядя Джек»; это вполне допустимо, потому что я старый друг твоего отца. И твой крестный.

— Правда? Я не знал.

— Я тоже, до нашей сегодняшней встречи. Но теперь я — как раз он. Так что пиши мне как своему крестному — это очень удобные отношения, они могут значить очень много или вовсе ничего. Только вот что: никогда не упоминай, что твой отец или твой крестный имеет какое-то отношение к «ремеслу».

— Правду сказать, я не очень хорошо представляю себе, что это за ремесло.

— Конечно не представляешь. Пока тебе довольно знать, что это ремесло людей, которые доверяют своему чутью и видят все, что можно увидеть. Бланманже мы не будем, надо полагать? Давай возьмем кофе и пойдем наверх.

Дорогой дядя Джек!

В Корнуолле было здорово, но в Лондоне мне понравилось больше. Я раньше никогда не видел таких картин. У нас в Торонто картинная галерея маленькая и не очень хорошая, потому что у нас нет денег на первоклассные картины. Пока. Может быть, потом будут. Сейчас я стараюсь узнать как можно больше о новых картинах, которые пишут новые люди, так что в Лондоне я обошел сколько мог частных галерей и увидел много непонятного. Наверно, следует сказать, что сотрудники галерей, точнее, молодые люди, которые показывают картины потенциальным покупателям, не менее интересны, чем сами картины. Они такие лощеные, так легко рассуждают о тактильных ценностях и стиле *nouveau vague* и разных других вещах, в которых я ничего не смыслю. Я впервые осознал свое полное невежество.

Я кое-что почитал о новом искусстве. Точнее, довольно много прочитал. И понял (точнее, думаю, что понял): картина не должна «что-то изображать». Никаких

ужасных «картин, рассказывающих историю», богатых детишек, которые кормят снегирей на снегу, аллегорических изображений Надежды или Пробуждения души и всякого такого, что должно вызывать религиозные чувства или задумчивость. Нет, картина – это всего лишь линии и пятна цвета, расположенные на плоской поверхности, ведь думать, что она не плоская, – это чистый самообман, правда? Я хочу сказать, перспектива – это все прекрасно с точки зрения математики, но только если ее использовать, чтобы провести зрителя, внушить ему, что он смотрит на трехмерное изображение, – это будет обман. Картины – это форма и цвет в чистом виде. Во всяком случае, так написано в новых книгах, и, конечно, именно это говорят лощеные юноши в галереях. Никаких чувств. Возможно, и никакого смысла – только то, что видят глаза.

Но беда в том, что в лучших из новых картин чувства и смысл все равно прорываются наружу. Взять хоть этого Пикассо. Я видел кое-что из его работ в одной га-

лерее, и если это всего лишь форма и цвет на плоской поверхности, то я сплю. Они – высказывание. Правда, если меня спросят, что именно заявляет каждая картина, я не смогу ответить, но я уверен, что она – высказывание, и знаю, что если как следует постараюсь, то пойму, в чем оно состоит.

А старые мастера! Конечно, я делал все, что мог, для изучения новой живописи, но должен признаться, что старые мастера мне понравились больше всего. Я, кажется, догадываюсь почему. Как вы знаете, меня воспитали в католичестве – точнее, не совсем, но двоюродная бабушка тайно пыталась сделать меня католиком, и, пока я не выжму из себя католичество до последней капли (до сих пор что-то не очень получается), все эти Рождества, Поклонения волхвов, Распятия и Преображения никогда не будут для меня лишь сочетанием линий, форм и красок. Они – высказывания: сильные или робкие, причудливые или ужасно банальные. Неужели старые мастера заблуждались? Я стараюсь себя в этом

убедить, но пока не выходит.

Частично в этом виноваты Вы. Вы велели мне «видеть все, что можно увидеть», и, когда я слушаюсь, мои глаза ведут меня в совершенно немодных и несовременных направлениях. Если я должен видеть картины как современный человек, и никак иначе, мне придется выколоть себе глаз. И тогда, согласно пословице, у моей будущей тещи будет кривой зять, верно?

Я не собираюсь поступать назло гипотетической теще или кому-либо из старых друзей. Вам знакомо имя Гарри Фернисса, карикатуриста и иллюстратора? Я обязан ему очень многим; скажу больше, его книга довольно долго была моей библией. Недавно в лавке, торгующей рисунками и картинами, я нашел оригинальный набросок – портрет актера по имени Льюис Уоллер (сроду не слыхал про такого) работы Г. Ф. – и тут же купил его, ради старой памяти, за десять фунтов. Это большой удар по моему карману. Но я просто не устоял. Держать в руках что-то такое, чего касался сам Г. Ф.! О, как лощеные юноши презирали бы этот рисунок!

Но он чудесен по скупости изобразительных средств.

У меня болят ноги от блужданий по Национальной галерее, Тейт, коллекции Уоллеса, Музею Виктории и Альберта. Все они полны чудес. И что Вы думаете? У меня теперь есть любимая картина! Я знаю, что это не годится: влюбленность в один предмет искусства – худший признак дилетанта. Но эта картина поражает меня как удар по голове. Она висит в Нац. гал. и называется «Аллегория времени». Нарисовал ее художник Бронзино; на раме написано «1502–72»[174], и это все, что я о нем знаю. Но какое высказывание! Но что же это за высказывание, в чем состоит аллегория? Я разглядываю картину часами и все же не могу понять.

Вы знаете эту картину? Первое, что поражает взгляд, – обнаженная фигура прекрасной женщины, восхитительно плотской и совершенно голой, за исклю-

---

**[174] Примечания: 174**

*...«Аллегория времени». Нарисовал ее художник Бронзино; на раме написано «1502—72»...* — Картина известна также под названием «Аллегория с Венерой и Амуром». Аньоло Бронзино — итальянский живописец, придворный художник Медичи, выдающийся представитель маньеризма.

чением тиары из драгоценных камней. То есть она не просто голая – голым может быть и труп на столе бальзамировщика. Она потрясающе обнаженная. Слева к ней склоняется юнец лет четырнадцати и целует ее; ясно видно, что она просовывает язык ему меж губ, – как Вы, наверное, знаете, это называется «французский поцелуй», – что довольно странно, если они в самом деле мать и сын. Более того – его правая ладонь лежит на левой груди женщины, и ее сосок выглядывает между его указательным и средним пальцем, а это, конечно, значит, что поцелуй не просто приветствие или что-нибудь такое. Левой рукой юноша притягивает голову женщины к себе. Справа пухлый младенец с многозначительной улыбкой замахивается, чтобы осыпать их розами. Пока все прекрасно. Но атлетически сложенный старик, вроде бы недовольный происходящим, не то задергивает синий занавес, скрывая эту сцену, не то, наоборот, открывает его. Трудно сказать. Ему помогает женщина, от которой видна только голова, но под ней, прямо позади выпяченной

задницы Купидона, располагается другая женщина, чье лицо искажено болью… или ревностью? За пухлым младенцем видна еще одна фигура – с детским, но не невинным лицом, а ее тело заканчивается змеиным хвостом и ужасными львиными лапами. На земле валяются две маски – молодое лицо и старое.

Что Вы думаете об этой прекрасной картине? Пока одному Богу известно, что на ней изображено, но я твердо решил, что и я это узнаю, ведь она заявляет нечто – как и любимые моей тетей ужасные, искусно нарисованные картинки с пирующими кардиналами что-то заявляют. Они говорят, что Церковь могущественна и престижна, а Бронзино… он что-то рассказывает о совершенно другом мире, и об этом мире я хочу узнать. Я никогда не поверю, что эта картина лишь набор определенным образом расположенных линий и пятен. Моя тетя назвала бы ее «хорошим уроком».

Я быстро учусь. Я уже понял, что Бугро на самом деле не очень хороший живописец, хотя техника у него потрясающая.

Вчера я купил еще один набросок – всего несколько штрихов, – изображающий Мадонну с Младенцем, и сбоку закорючка – возможно, один из волхвов. Мне это обошлось в двадцать пять фунтов, и сегодня я точно не буду ужинать в «Кафе Рояль». Но я уверен, что это Тьеполо. Или его школа.

Утром – поезд с пересадкой на пароход. Я очень рад был с Вами повидаться. Скоро напишу еще.

***Примите и проч.,***
***Ваш кр. сын***
***Фрэнк***

«Неплохо для мальчика девятнадцати лет», — подумал полковник Джон Копплстоун, подшивая письмо в новенькую папку.

За четыре года учебы Фрэнсиса в университете Торонто, а именно — в колледже Святого Иоанна и Святого Духа (все студенты, а также преподаватели в неофициальных беседах звали его «Душком»), дело, заведенное полковником Копплстоуном, сильно разбухло. К нему прилагалась еще одна папка, потоньше, с письмами, которые писал полковнику старый друг и заслу-

женный коллега: он подписывался попросту «Дж. Б.» и время от времени уведомлял полковника о том, о чем Фрэнсис не считал нужным писать крестному отцу. Официально Дж. Б. занимал в университете пост секретаря студенческого союза; он любил и умел писать письма. В основном он как почтительный сын писал своей престарелой матушке в Кентербери, но и полковника Коппл-стоуна тоже не оставлял вниманием, а некоторые письма шли и дальше — Знающим Людям. Даже в доминионе[175] — вполне надежном, хотя, быть может, и не очень любимом страной-матерью — могло случиться всякое, о чем следовало знать ее контрразведке, и значительная часть интересной информации шла от Дж. Б.

То, что он рассказывал про Фрэнсиса — если отбросить шелуху, — никому не показалось бы важным, кроме людей, отбирающих кандидатов для «ремесла». В университете к Фрэнсису хорошо относились, но звездой он не был; совсем не то, что называется «большой человек на кампусе».

---

**[175] Примечания: 175**

*Доминион* — фактически независимое государство в составе Британской империи (ныне — в составе Британского Содружества), признающее главой государства британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. После юридического оформления статуса Британского Содружества в 1931 г. все входившие в него государства были признаны доминионами Великобритании (за исключением непосредственно колоний и зависимых территорий).

С девушками он, по-видимому, общался мало, хоть его к ним и влекло. С другой стороны, его дружба с молодыми людьми не была слишком тесной. Раза два Фрэнсис попытался сыграть в постановках университетского театра и оказался безнадежным, деревянным актером; из-за черных волос и зеленых глаз он странно смотрелся на сцене. Вне учебы он ничем особенным не отличился, но оказался неожиданно полезным членом комитета по закупке картин при студенческом союзе: он умел распознать хорошую вещь и настоять на ее покупке, в противовес другим студентам, работавшим с Дж. Б., — те попросту не отличили бы Пикассо от пятна на обоях. Фрэнсис уже покупал работы канадских художников и для себя — в диапазоне от двадцати пяти до ста долларов за картину. Он происходил из богатой семьи, но явно не имел возможности швыряться деньгами. Однажды Дж. Б. встретил его на улице без пальто в морозный день и спросил, в чем дело. Оказалось, Фрэнсис заложил пальто, чтобы купить картину Лорена Харриса[176], перед которой не смог устоять. Все деньги, какие были у Фрэнсиса, он откладывал на приобретение

**[176] Примечания: 176**

*Лорен Харрис* (1885–1970) — канадский художник, член «Группы семи».

картин. На себя он не тратил ничего и имел репутацию жмота, — видимо, этим и объяснялись недостаточные контакты с девушками, поскольку те любят поесть и выпить. Он много рисовал и обладал несомненным талантом карикатуриста, но почему-то не пожелал обратить его себе на пользу; однако в зеленых глазах часто пробегала искорка, свойственная карикатуристу, — когда Фрэнсис думал, что его никто не видит. Он неплохо учился и всех удивил, когда в конце четвертого курса получил ректорскую премию по классической филологии, хоть это и был не очень модный предмет. Премия увеличивала его шансы на поступление в Оксфорд, и Дж. Б., у которого в Оксфорде была «рука», собирался позаботиться о том, чтобы награда не осталась незамеченной.

Кандидат для «ремесла»? Возможно. Оксфорд покажет, подумал полковник Коппл стоун. В конце концов, мальчику всего двадцать три года.

В последнее лето перед Оксфордом Фрэнсис навестил Блэрлогги. Ему бы это не пришло в голову, если бы мать не настояла на поездке. Она сказала, что тамошние обитатели стареют. «Дедушку ты видишь хоть иногда, а бабушку и тетушку не видел уже… о, уже больше десяти лет. Это самое меньшее, что ты можешь для них

сделать, милый». И вот жарким августовским днем он отправился в путь.

Он пересел с главной ветки на поезд, идущий на север, к Блэрлогги, и ему показалось, что кто-то насильно обратил время вспять. До того он ехал в отличном современном поезде — там, поскольку за билет платили родители, ему досталось место в сидячем вагоне, с радионаушниками у каждого кресла; а после пересадки он оказался в каком-то историческом экспонате. Древний паровоз, изрыгающий клубы дыма, величественно и неторопливо — со скоростью двадцать миль в час — тащил один багажный вагон и один пассажирский по ровной низине. Пассажирский вагон был стар, но не почтенной старостью; интерьер украшали многочисленные деревянные кружева, когда-то покрытые лаком, но зеленые плюшевые сиденья облысели и засалились, пол был не метен, в вагоне пахло угольной пылью и усталостью. Из-за жары те окна, что еще открывались, были открыты, и в вагон время от времени залетали дым и сажа от паровоза. Поезд останавливался на крохотных полустанках среди чиста поля — обычно для выгрузки небольших грузов. Останавливались и для того, чтобы остыли буксы, — поезд был подвержен перегревам букс,

этому бичу древних железнодорожных составов.

В полдень они остановились посреди каменистой, поросшей кустами пустоши. «У кого нечем перекусить, можно поесть у старухи, вон там, на горке. Это стоит четвертак», — объявил кондуктор и лично повел небольшую процессию пассажиров на горку, где в кухне у старухи уже стояли на краю плиты тарелки с жареной картошкой и кусками жирного бекона. Сверху на каждую тарелку клали кусок пирога с ревенем. Фрэнсис увидел, что здесь принято осторожно снять пирог (чтобы не раскрошился), положить на дощатый стол рядом с тарелкой, съесть содержимое тарелки и начисто вытереть ее хлебом; затем пирог следовало вернуть на тарелку и съесть вилкой, предварительно хорошо облизав ее. Все это запивалось старухиным кофе, некрепким, но очень горячим. На трапезу отводилось пятнадцать минут; когда встал кондуктор, встали и все остальные, и каждый положил по четвертаку в ладонь старухе, которая стояла не улыбаясь и не говоря ни слова. С кондуктора, судя по всему, денег не брали; он повел цепочку путешественников обратно вниз под горку, к ожидающему поезду. Экономные машинист и кочегар поели из тормозков, устроившись возле

путей. Они забрались в вагоны, смачно рыгая, и поезд торжественно, сонно покатил дальше.

Уже ближе к вечеру кондуктор с важным видом протопал по вагону, выкрикивая: «Блэрлогги! Конечная станция! Блэрлогги!» — словно у кого-то из пассажиров были сомнения на этот счет. Затем кондуктор первым соскочил с поезда и почти добежал до дома к тому моменту, как Фрэнсис стащил чемодан с верхней полки и впервые за долгое время ступил на землю своей малой родины.

Блэрлогги, в отличие от старого поезда, заметно изменился. Лошадей на улицах было мало, и на самих улицах — по крайней мере на некоторых — появилась мостовая. Магазины сменили имена, а «Универсальный магазин для дам», где бабушка всегда покупала шляпы (потому что у барышень Сим, хоть они и протестантки, был наилучший в городе вкус и самая легкая рука в том, что касалось искусственных вишенок и роз), вовсе исчез, и место, где он когда-то был, поросло сорняками. Появился в городе и кинотеатр — судя по всему, пестро раскрашенный фасад прилепили на разорившуюся бакалейную лавку. Оперный театр Макрори, чуть дальше по улице, стоял заколоченный, с заброшенным, словно обиженным, видом.

Деревья стали выше, а дома — ниже. Кузница Донохью куда-то подевалась; самая разительная перемена — по улице навстречу проехал грузовик с пиленым лесом, и фамилия на борту кузова принадлежала не дедушке Фрэнсиса.

Но стоило отойти от главной улицы и подняться на горку, и Фрэнсис увидел «Сент-Килду», которая выглядела совершенно как всегда. Он позвонил в дверь, и открыла Анна Леменчик — ошибки быть не могло, хотя она стала шире и словно бы ниже ростом. Она ничего не сказала — она никогда ничего не говорила, открывая дверь гостям, — но наверху послышалась возня, по лестнице сбежала тетушка Мэри-Бен, опасно поскальзываясь на полированных деревянных ступенях, и бросилась Фрэнсису на шею. Какая она стала крохотная; неужели он так вырос?

— Фрэнсис! Мальчик мой дорогой! Какой ты огромный! Да какой красавец! О Матерь Божия, это ли не счастливый день! Ты на такси ехал? Мы бы послали… да я все забываю, что послать-то теперь некого, — Зейдок в больнице и все такое. О, что скажет бабушка, когда тебя увидит! Иди скорее к ней, милый, иди скорее. Это будет ей полезней всего на свете!

Бабушка лежала в постели — гора плоти, но

желтой, кисло пахнущей. Общаться с ней пришлось по-французски, потому что говорить по-английски ей теперь было трудно. Она была намного моложе сенатора — который, как обычно, уехал по тем или иным делам в Оттаву, или Монреаль, или Торонто, — но годы не имели отношения к ее болезни. Бабушка выглядела лет на десять старше, чем на самом деле (ей исполнилось шестьдесят восемь).

— Доктор Дж.-А. очень скрытен в том, что касается Марии-Луизы, — сказала Мэри-Бен Фрэнсису вечером, за плохо приготовленным ужином. — Мы очень боимся того, что там на самом деле, но он не хочет говорить прямо. Ты же помнишь, какой он всегда был. Говорит, что семьдесят лет обжорства не поправишь. Но неужели от хорошего аппетита может быть *такое*? Я, конечно, молюсь за нее, но доктор Дж.-А. говорит, что век чудес уже миновал. Ох, Фрэнки, Фрэнки, это такой ужас, но мы все уйдем рано или поздно, правда же? А твоя бабушка прожила такую добродетельную жизнь — ей не в чем себя упрекнуть, абсолютно не в чем, — так что, как это ни тяжело для нас, мы должны склониться перед Его волей.

Оказалось, что главная страсть бабушки еще пылает у нее в груди. Вечером Фрэнсис три часа

играл в карты с тетушкой и бабушкой, собравшей последние остатки сил. Играли в юкер. Когда они поднялись наверх, колода из тридцати двух карт уже была готова, и они играли раунд за раундом — безжалостно, почти в полном молчании. Фрэнсис, самый неопытный игрок, проигрывал раз за разом, но он не мог не заметить, что рука бабушки постоянно ныряет под одеяло, вроде бы потереть больное место или поправить ночную рубашку. Но когда рука выныривала снова, не мелькала ли в ней карта, которой не было на столе раньше? Это была недостойная мысль, и Фрэнсис затолкал ее подальше, но, видимо, недостаточно далеко. Мэри-Бен была вполне готова проигрывать, но Фрэнсис еще не достиг возраста, когда понимаешь, что победа не всегда результат всяких трюков.

Когда они прощались на ночь, Фрэнсис шепнул тетушке:

— А как там мадам Тибодо?

— Она теперь очень редко выходит; понимаешь, она стала такая корпулентная. Но держится замечательно. Совершенно оглохла, но в карты играет трижды в неделю. И выигрывает! Представляешь, она выигрывает! Ей уже восемьдесят семь лет.

А где же Виктория Камерон? Кто ходит за Лунатиком?

Оказалось, что тетушке пришлось избавиться от Виктории. Та что-то слишком сильно зафордыбачила, и тетушка выставила ее вон. Новой кухарки не взяли, но Анна Леменчик управлялась как могла с помощью младшей дочки старой миссис Август — девочки старательной, но не слишком способной. Могла Анна Леменчик не многое, но, притом что бедная Мария-Луиза теперь питалась только жидкостями, тетушке не хватало духу нанять другую, хорошую кухарку, несмотря на уговоры деда. Ведь правда, это было бы очень жестоко — нанять кого-нибудь, чтобы готовили яства, которых бедной бабушке не суждено попробовать?

Фрэнсис так и не решился сказать тетушке, что знал о Лунатике, но в первую же ночь в «Сент-Килде» он прокрался наверх, зная, что тетушка сейчас преклоняет колени на молитвенной скамеечке. Мягкая обивка исчезла со стен, и занавесов, глушащих звук, больше не было. В этой части дома никто не спал — Анна Леменчик приходила только на день. Фрэнсис подергал дверь комнаты, которая когда-то служила больничной палатой, домом скорби и тюрьмой одновременно.

Дверь была заперта.

Раздеваясь перед сном в своей старой комнате — словно утратившей вещественность, как и все в «Сент-Килде», — Фрэнсис уловил свое отражение в длинном зеркале, перед которым когда-то позировал, облачившись в пародию на женские одежды. Молодой мужчина; волосы на груди и ногах; черные завитки в паху. Что-то подтолкнуло Фрэнсиса — он мог бы воспротивиться этому порыву, но не стал; он, как когда-то, завернулся в покрывало с кровати и посмотрел в зеркало — жадно вгляделся в его глубины в поисках девушки, которую ожидал там увидеть. Но ее не было. Где же она? В «Душке» он пытался искать ее в разных девушках, но не нашел ни в одной. Она должна где-то быть — эта девушка из мифа, из настоящего Корнуолла, живущего в воображении Фрэнсиса. Он отказывался верить, что ее нигде нет. Но из-за позирований и разглядываний он так возбудился, что пришлось «придушить одноглазого змея», как это называли в школе. Как обычно, это принесло облегчение, смешанное с отвращением, и он заснул в дурном расположении духа. Ему не нужны были интрижки, связи, студенческие забавы, о которых было столько разговоров в «Душке». Он искал любви.

Ему было двадцать три года, и он думал, что в таком возрасте уже давно должен был найти любовь; он подозревал, что с ним самим или с его судьбой, или кто там этим управляет, что-то неладно. Черт!

Наутро он без труда нашел Викторию Камерон: прямо на главной улице, в лавочке с вывеской «Лучшие кондитерские товары Камерон», за прилавком, на котором в изобилии располагались ее кулинарные шедевры.

— Фрэнки, ты же не думал, что я пропаду, если твои родные меня уволят? Наоборот, я процветаю. Папа с мальчиками пекут хлеб, как всегда, а я делаю торты и пирожные, и от покупателей отбою нет, скажу я тебе. Нет, я не вышла замуж и не собираюсь — хотя желающие есть, скажу я тебе. Я найду дела получше, чем быть домашней прислугой при муже, и не сомневайся… Зейдок? Это грустная история. Он хотел на мне жениться, можешь ты себе представить? Я ему сразу сказала: даже не думай, пока работаешь у Девинни. И не думай оттуда увольняться, потому что, даже если уволишься, я за тебя не выйду. Слишком уж привыкла жить по-своему. Но он страдал. Это было заметно. Не буду притворяться, что это только из-за меня, но, может быть, и из-за меня в том

числе… Наверно, сильней всего по нему ударила смерть мальчика. Ты не слыхал? Да, конечно, кто ж тебе рассказал бы. Зейдок чувствовал, что в каком-то смысле он тому причиной.

На этом в разговоре наступил перерыв: Виктория отпустила покупателям, с любопытством разглядывавшим Фрэнсиса, полдюжины корзиночек с лимонной начинкой, еще полдюжины — с малиновой, два лимонных пирога, заказанных на годовщину свадьбы, и большой пакет профитролей. Не говоря уже о двух караваях белого хлеба с хрустящей корочкой, двух — черного и двух с изюмом. Когда поток покупателей схлынул, Виктория продолжила рассказ:

— Ты помнишь, что Зейдок всегда любил ударить по пиву. Когда я ему отказала, он стал приносить пиво наверх. И пил, когда пел Фрэнсису — тому Фрэнсису. Ты знаешь, он так любил этого мальчика. Почти как родного сына. У Зейдока доброе сердце, этого у него не отнять. Мне не нравилось, что он носит туда пиво, но запрещать ему я не хотела: вышел бы шум, а мне казалось, что оно того не стоит. И мне кажется, он еще и назло делал. Мужчины вообще странные. Я думаю, он решил показать мне, что раз я его не хочу, так он пойдет ко всем чертям. Может, наде-

ялся, что я передумаю и спасу его. Но меня не так воспитывали: я знаю, что никого спасти нельзя. Если человек не может спастись сам — насколько человек вообще может сам себя спасти, — никто это за него не сделает. Каждый должен осуществить свое предначертание, а я знала, что мне не предначертано спасти Зейдока. Так что он напивался, начинал дурить, поднимал тосты за здоровье Фрэнки, а Фрэнки чувствовал, что это что-то веселое и хорошее, и радовался на своем языке как умел. Но в одном я была тверда: велела Зейдоку не давать Фрэнки ни капли пива.

Может, оттого все и вышло. Вместо пива Фрэнки выпивал много воды. Можно подумать — ничего страшного. Попьет, пописает в пеленку, и все тут. Но как-то вечером мы с Зейдоком поссорились по-настоящему, потому что он пил больше обычного и слишком шумел, и наконец я ушла: оставила их вдвоем и сказала Зейдоку, что, раз так, пусть он сам укладывает мальчика спать.

Конечно, я знала, что у него ничего не выйдет. Фрэнки ждал меня, чтобы я его уложила, и я не собиралась его подводить. Так что через час или около того, когда я знала, что Зейдок уже ушел, я пошла укладывать Фрэнки и уложила. Но мне показалось, что он какой-то странный и

вроде бы тяжелее обычного. А наутро я нашла его мертвым.

Ты знаешь, что с ним случилось? Он утоп! Я побежала за старой тетушкой, а она послала за доктором Дж.-А., и он посмотрел Фрэнки и сказал вот это самое. Утоп! Понимаешь, этот мальчик, бедняга, был не как другие люди. У него на самой макушке была какая-то железа, которая работала не так, и, когда он принялся пить воду наперегонки с Зейдоком, он, должно быть, выпил… не знаю… может, несколько галлонов, и это оказалось слишком много. Доктор сказал, что вода, должно быть, попала к нему в кровь, а оттуда в легкие и он захлебнулся. Доктор сказал, это называется отек легких. Я запомнила, потому что… ну как такое забудешь? Так что они устроили еще одни похороны, ночью, но на этот раз без попа. И теперь под тем камнем, который так долго был фальшивкой, на самом деле покоится Фрэнки.

Нет, твоим родителям ничего не сказали. По правде сказать, твоя мать и не знала, кто жил на чердаке все эти годы. Но дедушка знал, конечно, и они с доктором Дж. — А… ну, кто знает, что там на самом деле случилось. Они оба, конечно, обрадовались, но виду не подали — это было бы неуместно. Я знаю, что Зейдоку дали денег, чтобы

держал рот на замке. И это ужасно, конечно, но в каком-то смысле они заплатили ему за то, что он сделал.

Эти деньги и погубили Зейдока. Он пил все сильнее и стал хуже работать у Девинни: пару раз родные просто перепугались, заглянув в гроб, — такие у их покойников были распухшие лица и цвет какой-то вареный. Так что оттуда его уволили. Долго ли, коротко ли, как-то зимней ночью он пьяный упал в проулке позади магазина Девинни — потому что его туда все время тянуло какой-то сверхъестественной силой — и замерз чуть не до смерти, и ему отрезали обе ноги и все равно, кажется, не смогли остановить гангрену. Он теперь в больнице. Хорошо бы ты его навестил. Да, я к нему хожу — раз в неделю, ношу пирожные и всякое такое. Больничные повара готовят еще хуже Анны Леменчик.

После того как бедного Фрэнки похоронили второй раз, я и недели не продержалась в «Сент-Килде». Как-то утром мы со старой тетушкой сцепились по-настоящему, прямо на кухне, и она велела мне убираться. «Убираться! — сказала я. — Это вы уберетесь, если я отсюда уйду! Вы со старой хозяйкой набиваетесь за каждой едой еще хуже, чем Зейдок наливается пивом! Не ду-

майте, что вы меня уволили! Это я вас увольняю! Посмотрим, как вы без меня обойдетесь! Парочка фаршированных каплунов!» Да, Фрэнки, это было вульгарно с моей стороны, но уж очень я завелась. После этого я даже на уговоры твоего дедушки не поддалась бы. Как я могла остаться там, где так вульгарно себя повела?

Фрэнсис знал, каких слов она заслуживает, и, хотя молодому человеку это непросто, сказал:

— Виктория, я знаю, никто тебя никогда не благодарил за то, что ты делала для него… Фрэнсиса-первого, как я его называю… Но ты была просто чудом, и я хочу сказать тебе спасибо за него… за всех. Ты была ангелом.

— Ну вот еще, нечего тут рассусоливать. Я делала то, что надо было делать. А что до благодарности… твой дедушка не поскупился, когда мы расставались. Он видит дальше многих. Кто, по-твоему, платит за Зейдока в больнице? И деньги, на которые я открыла эту лавку, тоже подарок твоего деда.

— Я рад. И знаешь что, Виктория, ты сколько хочешь притворяйся суровой пресвитерианкой, но я все равно буду считать тебя ангелом.

И он звучно поцеловал ее.

— Фрэнк, ради всего святого! Только не в лавке!

А если бы кто-нибудь увидел?

— Ну, они бы подумали, что тут сласти не только на витрине, — сказал Фрэнсис и ринулся к двери.

Вслед ему летели слова разъяренной Виктории:

— Да как у тебя язык повернулся! Ты еще хуже Зейдока!

Можно ли быть хуже Зейдока? Когда — в тот же день — Фрэнсис навестил Зейдока в больнице, ему показалось, что с таким упадком и разрушением равняться невозможно. В палате было жарко и душно; две другие койки пустовали, так что Фрэнсис мог без помех беседовать с изможденной развалиной, лежащей возле окна. Под простыню было засунуто что-то вроде клетки, приподнимавшей ее там, где раньше были ноги. Запах дезинфекции подавлял, а из постели Зейдока время от времени долетала струйка другого запаха — чего-то отвратительного, зловещего.

— Все эта гангрена — так это называется, Фрэнки. Я ее чувствую по всему телу. Как перед Богом, даже на вкус чувствую. У меня отняли ноги, но ее, кажется, не остановить. Она меня пожирает, понимаешь? Доктор Дж.-А. говорит, что не встречал таких тяжелых случаев, хотя всякого

повидал в лагерях лесорубов. Он говорит, что не знает, как это я до сих пор не помер, потому что я весь — одна сплошная масса разложения. Он со мной говорит прямо, дружок, потому как я старый солдат и могу перенести даже самое худшее. Нельзя сказать, что он недобрый; просто он видит мир как одну огромную болезнь, а всех нас — как ее части.

— Ох, Зейдок, как тебе не повезло!

— Знаешь, дружок, я знавал большое невезение в свое время. Видал его уродливую морду, оно и вправду страшно. Да, странные штуки порой случаются с человеком. Я ведь тебе никогда не рассказывал про Южную Африку?

— Я знаю, что ты там воевал.

— И хорошо воевал. Просто отлично. Меня представили к чину и награде. А потом все рухнуло — из-за любви. Ты бы никогда не подумал, а? Но это была любовь, и мне не стыдно о ней рассказывать.

Видишь ли, наш полк набирали в Корнуолле, и командовал нами молодой человек, сын очень знатной семьи из наших краев. Его отец — граф, так что сам он был лорд. В чине капитана. Боже, какой он был красивый! Мы выросли вместе — ну почти, потому что я всю жизнь был вместе

с ним: мы охотились, рыбачили, бродили — ну все, что обычно делают мальчишки. Так что я, конечно, вступил в полк, чтобы воевать у него под командой, и стал его денщиком — ну вроде личного слуги. До того как пойти на фронт, я два или три года прослужил в доме его отца младшим слугой, то есть лакеем, и казалось естественно, что я так и продолжал заботиться о его одежде, и даже волосы ему подстригать, и все такое. Мы были друзьями, близкими друзьями — насколько могут быть друзьями хозяин и слуга. И я клянусь как перед Богом, что он никогда ни пальцем не тронул меня, а я — его, никаким неподобающим образом. Это было совсем не в том смысле: я много такого видел и в армии, и на гражданке, и это было совсем не в том смысле. Но я любил капитана, как любят героя. И он по правде был героем. Очень смелым, хорошим человеком.

И, как многих героев, его убили. Его нашла пуля бурского снайпера. Так что мы его похоронили, и я делал для него все, что мог, до конца. Одел его, вымыл ему голову, и он такой красивый лежал в этом дешевом гробу, — конечно, других там было не достать. «Да, пусть погибну как солдат». Помнишь эту песню?

Я думал, я тоже умру. По ночам, после отбоя,

я прокрадывался наружу и сидел на его могиле. Как-то ночью меня заметил патруль — я лежал на могиле и плакал, аж сердце разрывалось. Они написали на меня рапорт, и поднялся ужасный шум. Против меня выдвинули обвинение, и полковник много говорил о том, что такое поведение недостойно солдата и может повредить боевому духу и что такие безнравственные связи надо безжалостно пресекать, и меня уволили из армии с лишением почестей и отослали домой. Прощай медаль и большой кусок моей жизни. Полковник был не из наших людей. Не корнуоллец, и он меня не понял. Не знаю, любил ли он кого или что в своей жизни. Так что мне, по правде, очень не повезло.

— Ужасно не повезло. Но я тебя понимаю. Как раз такая любовь объединяла рыцарей святого Грааля и тех, кто им служил в невинной любви.

— Ну, про это я ничего не знаю. Но конечно, ты ведь тоже частью из Корнуолла, Фрэнки, правда? Не то чтобы корнуолльцы — сильно любящий народ в целом. Но верный.

— А что ты делал в Англии?

— Что мог. Был слугой в домах, иногда работал в похоронных конторах. Но со мной случилась одна вещь — она словно свыше была послана,

чтобы утешить меня за то, другое, и это тоже была любовь, хоть и очень необычная.

Это все было как сон. Во всяком случае, сейчас мне это кажется сном.

Я знал одного полкового сержант-майора — хороший был человек и время от времени выручал меня. Он подрабатывал необычным делом. Поставлял людей — по большей части солдат — в разные места, куда нужны были слуги для больших приемов, просто для красоты: делать почти ничего не надо было, только стоять в ливрее, с внушительной осанкой. Ну а я ведь когда-то был лакеем, верно? Плохо ли получить несколько шиллингов за вечер легкой работы?

Как-то вечером в одном большом отеле выдался наплыв гостей и меня позвали работать. Я был весь разнаряженный — в панталонах, бархатном фраке и белом парике. Усы я тогда, конечно, брил. Слуга должен быть чисто выбритым. Мы отработали свое, и я уже собирался снимать этот наряд, когда кто-то — один из старших официантов — подбежал ко мне и говорит: «Эй, у нас людей не хватает; ну-ка отнеси вот это в номер двести сорок два, а потом можешь уходить». Сует мне в руки поднос с бутылкой шампанского и парой бокалов и убегает. Так что я пошел, постучал в

дверь — очень тихо, как меня учили в замке, — и вошел.

Там была девушка. Вроде бы одна. Помню, что красивая, хотя сейчас уже не вспомню ее лица, потому что она была так красиво одета, а слугам не положено пялиться на господ или даже в лицо им смотреть, если тебя об этом не попросили. Она сказала: «Откройте, пожалуйста, бутылку». Голос был тихий; я подумал, что она, может быть, француженка. Я открыл бутылку, налил в бокал и спросил: «Это все, мадам?» Так нас учили — любой женщине говорить «мадам», а не «мисс». Она говорит: «Погодите минуту. Дайте я на вас посмотрю хорошенько». А я все стою, не поднимая глаз. Не знаю, сколько она смотрела. Может, минуту. Может, две. Потом она говорит, очень тихо: «Вы ходите в театр?» Я отвечаю: «Это не по моей части, мадам». — «О, обязательно сходите! — говорит она. — Я часто там бываю, и это так красиво! Вы не видели „Мсье Бокэра“?» — «Не имею чести знать этого джентльмена, мадам», — отвечаю я. «Конечно не имеете, — говорит она, — он ненастоящий. Он в пьесе. Он — слуга, который на самом деле принц. А актер, который его играет, — самый красивый человек на свете. Его зовут Льюис Уоллер».

Тут я начал понимать, о чем она говорит. Про Льюиса Уоллера я слыхал. Его называли кумиром театральных поклонниц. Настоящий красавчик. Тут она сказала что-то такое, что меня сильно удивило, и я невольно взглянул ей в лицо.

«Вы — вылитый он в „Мсье Бокэре“. Костюм, белый парик. Поразительно! Выпейте бокал шампанского».

«Строго против приказов, мисс». Я начал забываться и потому назвал ее «мисс».

«Но я вам строго приказываю выпить, — говорит она, вылитая принцесса. — Мне одиноко, и я не люблю пить одна. Так что выпейте со мной бокал».

Я-то знал, что она только хорохорится. Она вовсе не привыкла пить, одна там, не одна. Но я ее послушался. И растянул свой бокал как мог, а она выпила три. Мы стали разговаривать. Точнее, говорила она. Я молчал.

С ней что-то было не так. Не знаю что. Вся возбужденная и в то же время невеселая, словно потеряла шиллинг и нашла шесть пенсов, если ты понимаешь, о чем я.

И я скоро понял, в чем дело. Я повидал жизнь и женщин тоже повидал немало, самых разных. Она хотела. Ты понимаешь, о чем я? Не как какая-

нибудь старуха, которую сводят с ума тщеславие, глупость и страх перед собственным возрастом. Эта девушка хотела, и я клянусь тебе, Фрэнки, я не воспользовался ее беспомощностью, ничего такого. Я просто, если можно так выразиться, жил настоящим моментом — мы еще поговорили, и я сделал то, чего она хотела. Не то чтобы она так прямо об этом попросила, да она, скорей всего, и не знала, как это делается. И я клянусь тебе, что делал все с величайшей почтительностью, потому что она была милой девочкой и я ни за что на свете не хотел бы ее обидеть. Это было прекрасно. Прекрасно! А когда все кончилось, она не плакала, ничего такого, но видно было, что она готова ко сну, и я отнес ее в спальню, уложил в постель, один разок хорошенько поцеловал на прощание и ушел.

Фрэнк, ничего прекрасней со мной не случалось за всю мою жизнь! Это было как сон! Но мало кому можно такое рассказать. Люди начнут ухмыляться, скажут, что с ней все ясно, и подумают про нее плохо. И будут не правы, потому что это было совсем не так.

В коридоре стояло большое зеркало, и я, идя мимо, увидал там свое отражение — в ливрее и белом парике. Я выглядел роскошно. Может, я и

был этим самым мсье Бокэром, уж не знаю, кто он. Но тот вечер принес мне что-то очень важное. Он придал мне сил, чтобы оставить позади армейскую историю с позорным увольнением и начать строить новую жизнь.

Правда, не сказать, чтобы мне это особенно удалось. Но через какое-то время я решил попытать счастья в Канаде и перебрался сюда. И вот чем все кончилось.

Нет, я ее больше никогда не видел. Так и не узнал ее имени. Странная история, дружок. Больше ничего и не скажешь. Странная история.

Зейдок устал, и Фрэнсис поднялся, собираясь уходить:

— Зейдок, что я могу для тебя сделать?

— Э, дружок, для меня уже никто ничего не сделает. Совсем ничего.

— Это на тебя вовсе не похоже. Ты выздоровеешь. Вот увидишь.

— Фрэнки, ты хотел сказать мне приятное, но я-то лучше знаю. Ну и что будет, если я поправлюсь? Без ног — на что я гожусь? Старый безногий солдат играет на губной гармошке и просит подаяния у прохожих? Нет! Ни за что! Так что прощай, дружок.

Зейдок улыбнулся — щербатый рот, красный

нос, но усы, когда-то щегольски подкрашенные, а ныне желтовато-седые, все еще гордо торчали к небу.

Фрэнсис, движимый неясным порывом, который он не успел обдумать, склонился над кроватью и поцеловал в щеку эти человеческие останки. И выбежал из палаты, чтобы Зейдок не увидел его слез.

Больница была на некотором расстоянии от города. Когда Фрэнсис вышел, одно из двух городских такси как раз высадило пассажира и собиралось уезжать. Но, поравнявшись с Фрэнсисом, машина вдруг притормозила, и водитель закричал:

— Эй, Чикен! Такси надо?

Это был Александр Дэгг.

— Нет, спасибо. Я пройдусь.

— Где ты был?

— Я здесь уже давно не живу.

— Это я знаю. Я спрашиваю, где ты был.

Фрэнсис не ответил.

— Навещал кого-нибудь в больничке? Небось Хойла, алкаша этого. Он умирает, а?

— Может быть.

— Никаких «может быть»! Слышь, чего скажу? Когда это случилось, никто не удивился. Моя мам-

ка говорит, это предупреждение всем пьяницам.

В спортзалах Колборн-колледжа и «Душка» Фрэнсис научился разным вещам, которых не знал во время учебы в Карлайлской сельской школе. С тех пор он вымахал до шести с лишком футов ростом и окреп. Он подошел к машине, сунул руку в окно со стороны водителя, схватил Александра Дэгга за грудки и резко дернул к дверце.

— Эй! Осторожно, Чикен! Больно же!

— Будет еще больней, если ты не заткнешься. Слушай меня: мне глубоко плевать, что думаешь ты или что там думает твоя стерва-мамка. А теперь вали отсюда, или я тебе вломлю как следует!

Фрэнсис впечатал Александра лицом в руль и вытер руки носовым платком.

— Ах вот оно теперь как! Ах, простите великодушно, мистер Корниш, извините, ваше королевское высочество. Слышь, чего скажу! Моя мамка говорит, что Макрори — шайка кровососов, они попросту используют этот город, выжимают из него что могут! Все вы кровососы!

Эта горькая тирада неслась из окна удаляющегося такси. При этом Александр Дэгг опасно выворачивал шею, так что не видел, куда едет; он чуть не врезался в дерево. Фрэнсису следовало

бы сохранить лицо и радоваться несомненной победе, но молодое безрассудство одержало верх. Он подобрал камень, швырнул вслед машине и обрадовался, услышав звук удара, который, несомненно, поцарапал краску.

— Фрэнсис, милый, я обещала, что на твой прощальный ужин будет утка, но это, кажется, что-то другое, верно? Так что мои слова оказались *уткой.*

— Да, Мэри-Бен, то действительно была *утка,* потому что это — вовсе не утка. Смотрите! Я режу ножом, и из разреза выступает кровь.

— Боюсь, Дж.-А., что вы правы. Фрэнсис, не ешь. В нашем доме тебе не нужно соблюдать этикет.

— Тетушка, меня учили вежливости вы, и именно за этим столом. Я уже не могу остановиться.

— Да, но не до такой же степени, чтобы есть сырого… как вы думаете, Дж.-А., кто это?

— Могу лишь догадываться, что это существо, лежащее у нас на тарелках, отправилось в печь, считая себя каплуном, — сказал доктор. — Мэри-Бен, так жить нельзя; Анна Леменчик не умеет готовить, и все тут.

— Но, Дж.-А., она считает себя кухаркой.

— Значит, тебе придется развеять ее заблуждение, пока она не прикончила и тебя, и Марию-Лу-

изу. Я настаиваю — в интересах моих пациентов. О, то был черный день, когда вы дали уйти Виктории Камерон…

— Но тут я ничего не могла поделать. Она стала тиранкой, настоящей тиранкой. Принималась фордыбачить, стоило мне сказать хоть слово…

— Ах, Мэри-Бен, познай самое себя, пока еще не поздно! Ты безжалостно пилила ее, потому что она была упертой протестанткой и тебе не хватало величия духа признать, что талант поднимает ее выше всяких перегородок между сектами…

— Джо, какой вы недобрый! Разве я когда-нибудь пилю?

— Ты мило пилишь, Мэри-Бен, а это самый худший вид пилежки. Но не будем ссориться, когда Фрэнсис последний вечер с нами. Что у нас после этой ужасной утки, или кто она там? Пирог, верно? Молите Бога, чтобы он пропекся.

Но пирог не пропекся. Анна Леменчик, плотная, непробиваемая даже зрелищем еды, оставшейся на тарелках, внесла поднос с чашкой горячего молока и размоченного хлеба для больной, лежащей наверху. Тетушка извинилась, вышла из-за стола и отправилась кормить Марию-Луизу, которая предпочитала есть свою тюрю в компании. Доктор Дж.-А. встал, принес с буфета бутылку

сенаторова портвейна и снова сел за стол.

— Слава богу, до спиртного Анна не дотянется, убийца этакая, — сказал он, наливая два больших стакана. — Этот дом валится в тартарары, Фрэнсис, да ты и сам видишь.

— Я очень беспокоюсь. Тут, кажется, все идет наперекосяк. Дело не только в еде, а в общем ощущении.

— Фрэнсис, это все скупость. Старческая скаредность совсем заела Мэри-Бен. Она купается в деньгах, но думает, что бедна и ей не на что нанять хорошую кухарку. Твоя бабушка все равно не может есть такое, а Мэри-Бен ест эти отбросы, чтобы доказать свою правоту.

— Доктор, скажите мне честно, бабушка умрет?

— Конечно умрет рано или поздно. Все мы умрем. Но когда — я не знаю. У нее не рак, если ты об этом. Всего лишь начисто испорченный желудок и желчные камни величиной с бейсбольные мячи. Но и она, и Мэри-Бен держатся так, словно заслуженная кара за целую жизнь переедания жирнейшей пищи — что-то неслыханное в анналах медицины. Клянусь Богом, они из этого делают что-то религиозное. «Воззрите, и увидите, еже когда кто имел кислотность пре-

выше моей кислотности». Странность, однако, в том, что Мэри-Бен ела то же самое ровно в тех же количествах, что и ее невестка, но чувствует себя прекрасно — прямо стойкий оловянный солдатик. Ты знаешь, что она каждый день ходит на чай к мадам Тибодо? Думаешь, из христианского милосердия? Как бы не так! Все потому, что мадам Тибодо закупает торты и пирожные у еретички Виктории Камерон, вот почему! И вот тебе, Фрэнсис, женская логика.

— Значит, бабушка не так плоха, как кажется?

— Нет, она и впрямь плоха, но если будет сидеть на хлебе с молоком и моей мятной смеси, то протянет еще долго. Но Мэри-Бен — вот кто будет долгожителем. У Макрори очень крепкая порода. Так что присматривай за собой, Фрэнсис. Это — бесценное наследство.

— Без единого изъяна?

— Что ты имеешь в виду?

— Никакого наследственного безумия? Никаких странностей? Я знаю об этом, который жил наверху; отчего он был такой?

— Не могу тебе сказать. Может быть, случай — то, что называют игрой природы. Или что-нибудь такое, что заложено в костях.

— Но… для меня это очень важно. Если я же-

нюсь и у меня будут дети, насколько вероятно, что они…

— Возможно, вероятность не очень высока. Погляди на себя, на своего брата Артура. Вы оба совершенно здоровы. А может, это и повторится. Но я дам тебе совет…

— Да?

— Пусть это тебя не останавливает. Живи. Если хочешь иметь детей — рискни. Не оставайся холостым и бездетным из какого-либо принципа. Слушайся инстинкта: он всегда прав. Погляди на меня и Мэри-Бен. Вот тебе урок! Да, Фрэнсис, человек в моем возрасте уже не столько советник или учитель, сколько поучительный пример.

*Я обвиняю каждый тщетный призрак*
*В погасшей лампе и неплодном чреве…*

Ты читал Браунинга?[177]

— Н-нет…

— Мы с Мэри-Бен читали его вместе — когда-то, давным-давно. Очень умный человек. Намного опередил всех этих так называемых психологов, о которых теперь столько крику.

---

**[177] Примечания: 177**

*Я обвиняю каждый тщетный призрак… Ты читал Браунинга?* — Цитируется стихотворение английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889) «Статуя и бюст» (1855).

Когда длинный, скучный сеанс игры в юкер у постели бабушки наконец завершился, тетушка настояла, чтобы Фрэнсис зашел к ней в гостиную — поболтать напоследок. Наутро он уезжал. Комната почти не изменилась, только немного обветшала от употребления и от времени.

— Тетя, почему дедушка тут теперь так редко бывает?

— Кто знает? У него столько дел. И надо полагать, ему тут скучно.

— А это, случайно, не из-за еды, а?

— О Фрэнсис, как ты мог такое сказать!

— Ну ты же слышала, что сказал доктор. Тебя это прикончит.

— Ничего подобного; доктору все бы шутить. Но по правде сказать, Фрэнсис, я не могу так обидеть Анну. Она последняя осталась из наших старых слуг, и она единственная не доставила мне ни минуты беспокойства. Ты же помнишь: Старый Билли страшно пил, Белла-Мэй совсем рассудок потеряла с этой Армией спасения, — ты представляешь, они имеют наглость играть свою музыку прямо рядом с церковью, перед началом мессы! А Зейдок… ты же знаешь, что я никогда ему не доверяла: у него было такое выражение лица, словно он, правя каретой, думал о чем-то совершенно

непозволительном. Представляешь, я однажды поймала его на том, что он передразнивал отца Девлина! Да, прямо на кухне! Набросил на плечи скатерть, кланялся, сложив ладони перед грудью, и гнусавил: «Домино со спи-и-иском!» — как будто служит мессу[178], понимаешь? А Виктория Камерон хохотала, прикрывая рот ладонью! О Фрэнсис, что бы ни говорили твой дедушка и доктор Дж.-А. — у этой женщины черное сердце!

В том, что касалось Виктории Камерон, тетушку невозможно было переубедить. Затем она объявила, что при жалованье, которое нынче требуют слуги, — подумать только, доходит до сорока долларов в месяц! — нужно держать ухо востро, иначе тебя оберут до нитки. Так что Фрэнсис перевел разговор на свое будущее, и тетушка страстно, и это не преувеличение, страстно заинтересовалась:

— Художником! О, Фрэнки, милый, да это же исполнение моей заветной мечты! Помнишь, мальчиком, когда ты так ужасно болел, ты сидел тут, в этой комнате, и разглядывал картины, и сам рисовал, и я молилась, чтобы твой дар расцвел во

**[178] Примечания: 178**

*...гнусавил: «Домино со спи-и-иском!» — как будто служит мессу...* — Пародийно искаженное Dominus Vobiscum *(лат.)* — «Благословение Господне на вас», возглас священника во время католической мессы.

что-нибудь подлинно чудесное!

— Тетя, не говори «чудесное». Я пока даже не знаю, есть ли у меня вообще хоть какой-нибудь талант. Способности — возможно. Но талант — это нечто гораздо большее.

— Милый, не сомневайся в себе. Молись Богу о помощи, и Он поможет. Чему Господь положил начало, того Он не оставит. Если не считать жизни в Церкви, быть художником — самое прекрасное призвание, к которому только можно стремиться.

— Да, тетя, ты всегда это говорила. Но мне интересно почему. То есть почему именно живопись, а не музыка или литература, например?

— О, музыка — это, конечно, очень хорошо. Ты знаешь, как я люблю музыку. Писать книги может кто угодно; достаточно приложить старание. Но живопись открывает людям глаза. Чтобы они могли подлинно увидеть Господне творение.

*Вот наше свойство – ценим*
*То, что воссоздано, хотя мы сотню раз*
*Вокруг видали вещи, но не замечали;*
*Все нарисованным становится цен-*

*нее...*[179]

Это Браунинг — «Фра Липпо Липпи». Когда-то мы с одним моим близким другом очень часто читали Браунинга, и на этом месте мне всегда хотелось закричать: «Да, да, это правда!» Художник — огромная моральная сила, Фрэнки. Дар художника — подлинно дар Божий.

— Ну... я надеюсь.

— Не надейся. Верь. И молись. Ты ведь еще молишься, а, Фрэнсис?

— Иногда. Когда мне плохо.

— О милый, молись и когда тебе хорошо! И не проси все время. Дари! Дари Господу хвалы и благодарность! Знаешь, для стольких людей Он что-то вроде банкира. Все время «дай, дай, дай», и они не понимают, что дается-то на самом деле взаймы. Фрэнки... ты ведь помнишь, что было тогда, когда ты болел?

— Ну... кажется, тогда все совершенно зря перепугались?

— О Фрэнк, как тебе не стыдно! Тогда отец Девлин тебя крестил. Ты навеки католик, милый. И от этого нельзя просто так отмахнуться из-за того, что ты попал в модную школу или в среду

---

**[179] Примечания: 179**
Перевод Э. Ермакова.

бездумных людей вроде твоего отца, хотя он, конечно, хороший человек — в меру своего понимания, что хорошо и что плохо. Фрэнк, а четки у тебя остались?

— Где-то лежат, наверно.

— Милый, не говори так! Слушай: тебе всегда нравились мои четки, они и правда очень хорошие. Возьми их… нет-нет, возьми, у меня есть еще… и, я тебя очень прошу, носи их с собой всюду и пользуйся ими. Пожалуйста, Фрэнк, обещай мне!

— Тетя, как же я могу это обещать?

— Тем, что сделаешь это прямо сейчас. Это будет искреннее обещание, данное с любовью. Потому что ты, конечно, знаешь: ты ведь и мое дитя, по крайней мере отчасти, и единственное дитя, какое мне суждено было иметь.

Еще немного поупиравшись, Фрэнсис дал обещание и взял четки. Наутро он покинул Блэрлогги, думая, что больше сюда не вернется.

*– Значит, этот несчастный Лунатик был плодом случайной встречи между романтически настроенной Марией-Джейкобиной и конченым солдатом Зейдоком? — спросил Цадкиил Малый.*

*— Ну, если ты желаешь использовать слово «случай», то да, — ответил даймон Маймас. — Но*

*мы-то с тобой знаем, насколько обманчива сама концепция случайности — совершенно ничем не обусловленных, необъяснимых событий,* — если ее использовать для объяснения происходящего.

*– Да, конечно. Но я не забываю, насколько эта концепция дорога жителям Земли. Они смотрят на вещи в краткосрочной перспективе. Отними у них Случай — и пострадает их любимое понятие свободы воли. Им отпущено слишком мало времени, чтобы понять, что у концепции случая есть определенные ограничения, как и у концепции свободы воли. Странно, не правда ли? Они рады, когда их ученые открывают закономерности в природе, но решительно не желают признавать себя частью этой самой природы. Они, кажется, уверены, что над ними, единственными среди всего Творения, не властна* Anima Mundi[180].

*– Ну что ж, мы видим, что у них есть определенная свобода выбора — в пределах заданного узора, но сам узор очень силен и время от времени просвечивает, видный невооруженным глазом. И тогда случается что-то подобное: Мэри-Джейкобина выбирает Зейдока — против*

---

**[180] Примечания: 180**

*Anima Mundi (лат.* Мировая душа) — в философии единая внутренняя природа мира, мыслимая как живое существо, обладающее стремлениями, представлениями и чувствами.

*всякой вероятности, лишь потому, что влюблена в актера; Зейдок зачинает дитя в единственном совокуплении с девственницей — снова против вероятности, лишь потому, что он сострадателен и несчастен. Назвать ли это случайностью? Но потом она не узнает своего случайного любовника, когда он снова появляется, а он не узнает ее, потому что оба находятся в Новом Свете, который для них — совершенно другой мир. Затем Мария-Луиза уничтожает дитя в утробе матери, что весьма вероятно, если принять во внимание, кто она такая и что она такое. Зейдок не узнает собственного сына — да и как было узнать? Это Случай и Вероятность творят обычную неразбериху, — заметил даймон.*

*— Надо полагать, люди назвали бы это совпадением.*

*— Очень полезное слово для людей, не желающих признавать существование узора, в который укладывается их жизнь. Позволяет сбросить со счетов что угодно.*

*— Но мы-то видим скрытое значение, верно, брат? Конечно видим. Лунатик снова принес в жизнь Зейдока любовь, ибо только любовью можно объяснить его поведение по отношению к мальчику. Лунатик привнес материнство в*

*жизнь Виктории Камерон, которая решила не искать материнства обычным путем — возможно, из страха.*

*— А что же твой Фрэнсис, дорогой коллега?*

*— А! Для Фрэнсиса Лунатик стал неустанным напоминанием о первобытном начале, изгнанном из чрезмерно утонченной жизни; вечным призывом к милосердию; доказательством того, что любой человек — на волосок от уродства и униженности. Постоянным стимулом использовать все дары судьбы на полную катушку.*

*— Но также и постоянным напоминанием о необходимости смирения?*

*— Воистину так. И я считаю: несмотря на то что Лунатика зачали без моей помощи, я в полной мере использовал его для формирования Фрэнсиса. Так что Лунатик не зря жил на свете.*

*— Да, брат, это хорошая работа. А куда же мы направимся теперь?*

*— В Оксфорд.*

*— Оксфорд наверняка не укрепит блэрлоггское наследие, — заметил ангел.*

*— Оксфорд укрепит то, что было заложено в костях. А уж я постарался заложить Лунатика в кости Фрэнсиса — в самых разных аспектах. В Оксфорде Фрэнсису понадобится весь его ум и все*

*сострадание, — сказал даймон.*

# Часть четвертая

## Чего же не выбить из мяса?

— Все согласны, что твой первый год в Оксфорде был колоссально удачным, — заявил Бэзил Бьюс-Боцарис.

— Очень мило со стороны всех, — ответил Фрэнсис.

Жирный хам Бьюс-Боцарис беседовал с ним свысока, и Фрэнсис уже спрашивал себя, как долго собирается это терпеть.

— Ну-ну, к чему ложная скромность? Ты очень неплохо выступал на заседаниях в студенческом союзе; тебя допустили в члены одного из комитетов ДООУ[181]; твои шаржи на оксфордских знаменитостей в «Айсисе»[182] считаются лучшими вещами этого рода со времен Макса

---

**[181] Примечания: 181**

*ДООУ* — Драматическое общество Оксфордского университета.

**[182] Примечания: 182**

*«Айсис»* — студенческий журнал, издающийся в Оксфорде с 1892 г. Назван по имени реки Айсис — такое название носит часть Темзы, протекающая через Оксфорд. В разные годы в журнале сотрудничали такие выдающиеся литературные деятели, как Хиллэр Беллок, Ивлин Во, Грэм Грин, Сильвия Плат и др.

Бирбома[183]. Ты известен как эстет, но тебя нельзя назвать напыщенным дураком. Признай же, что это очень хорошо.

— Это все забавы, а я приехал в Оксфорд за делом.

— За каким?

— Ну, есть такое мнение, что сюда приезжают учиться.

— Чему же это?

— Основам профессии, которой человек намерен заниматься в дальнейшем.

— А именно?..

— Я пока не решил.

— О, хвала Господу! Я уже было испугался, что ты из этих серьезных американцев, строящих себе карьеру. Какое мещанство! Но Роскалнс говорил, что ты ему сказал, будто собираешься быть художником.

Роскалнс? Это еще кто такой? А, да, неопрятный тип, который околачивается вокруг ДООУ и частным образом репетирует студентов по современным языкам. Неужели Фрэнсис с ним откровенничал? Наверно, говорил с кем-нибудь еще, а Роскалнс подслушал — он, кажется, все

---

**[183] Примечания: 183**

*Макс Бирбом* — см. примеч. 10.

время подслушивает. Фрэнсис решил, что Бьюс-Боцариса с него хватит.

— Мне пора, — сказал он. — Спасибо за чай.

— Не спеши. Я хочу еще поговорить. Я знаю кое-кого, с кем тебе интересно будет встретиться. Я слыхал, ты любишь играть в карты.

— Играю иногда.

— На большие деньги?

— Достаточно большие, чтобы играть было интересно.

— И часто выигрываешь?

— Обычно остаюсь при своих.

— О нет, гораздо лучше. Твоя скромность очаровательна.

— Мне действительно пора.

— Конечно-конечно. Только вот что: я знаю людей, которые играют регулярно — и притом хорошо; ты не хочешь к нам присоединиться? Но мы играем не на пуговицы.

— Вы меня приглашаете вступить в какой-то клуб?

— Ничего такого формального. И мы не только играем — еще и разговариваем. Я слыхал, что ты любишь поговорить.

— О чем же вы разговариваете?

— О, о политике. О текущих событиях. Мы жи-

вем в интересные времена.

— Такой-то и сякой-то поехали в Испанию, чтобы выяснить, чем они могут быть полезны. Еще больше народу заявляет, что сей же час поехали бы в Испанию, вот только уладят кой-какие дела. Такого рода разговоры?

— Нет, это — юношеский романтизм. Мы гораздо серьезнее.

— Может, я загляну как-нибудь.

— Конечно!

— Сегодня вечером?

— Восхитительно. В любое время после девяти.

Через несколько дней Фрэнсис послал очередное письмо полковнику Коппстоуну.

> Дорогой дядя Джек!
>
> Второй год в Оксфорде гораздо лучше первого. Уже знаешь, где найти то, что тебе нужно, и где находятся люди, которые тебе совершенно точно не нужны. В нашем колледже Тела Христова мне нравится то, что он такой маленький. Но это значит, что жить в самом колледже могут только первокурсники и немногие избранные, кроме них. Поэтому я снимаю частную квартиру. Мне повезло – я

нашел очень приятные апартаменты практически на пороге колледжа. Дом, где я живу, называется Кентербери-хауз, так как стоит у Кентерберийских ворот колледжа Церкви Христовой. Я занимаю верхний этаж; у меня большая гостиная и маленькая спальня и прекрасный вид на Мертон-стрит – это, пожалуй, самая красивая улица в Оксфорде. Единственный недостаток моей квартиры – то, что, когда Большой Том в 9 часов вечера отбивает традиционный 101 удар, он звонит почти что у меня в спальне. Я подумываю написать ректору и предложить ему уничтожить этот старинный обычай. Как Вы думаете, он меня послушает?

Я познакомился кое с какими новыми людьми. На первом этаже нашего дома – в самой дорогой квартире с самым плохим видом из окна – живет некто Бэзил Бьюс-Боцарис. Имечко с вывертами, а? Он и сам отчасти с вывертами: пару дней назад я пробегал по лестнице мимо его двери, а он высунулся и сказал: «Дева! Узнаю по походке!» Это меня сильно заинтересовало, так что я остановился

поболтать с ним, и он некоторое время разглагольствовал об астрологии; оказалось не лишено интереса. Я не особый приверженец астрологии, но обнаружил, что иногда она дает кое-какие полезные общие сведения о людях. В общем, он пригласил меня на чай, и вчера я к нему пошел.

В промежутке я успел навести о ББВ кое-какие справки. Наш домовладелец весьма словоохотлив; он сказал, что ББВ богат, болгарин и князь. ББВ часто принимает гостей и каждый раз, когда ждет кого-нибудь к обеду, накануне заказывает такой же обед для себя, с вином и всем прочим, а потом редактирует его на предмет ошибок повара и собственных вкусов! Это глубоко впечатлило хозяина, и его можно понять.

Другой знакомый ББВ назвал его необычным человеком. ББВ лет тридцать пять, и официально он приехал в Оксфорд для изучения международного права. Вы и без меня знаете, насколько это расплывчатая область изучения и как это полезно, если нужен предлог, чтобы

околачиваться в каком-нибудь университете. ББВ, по-видимому, интересуется коллизионным правом, а это, конечно, еще более темный лес. Мой информатор сказал, что ББВ – один из вечных студентов, каких притягивает любой университет. Что же до княжеского титула – я не знаю, есть ли вообще в Болгарии князья и были ли когда-нибудь, но это туманный титул, который значит всего лишь, что его носитель стоит несколько выше крестьянских масс. Так что я успел кое-что разузнать до чая.

Начали с обычных вежливых вопросов, для прощупывания почвы. Он спросил, что я изучаю. Польстил мне, похвалив кое-какие наброски, которые я делал прошлой весной для «Айсиса», – портреты университетских знаменитостей. Вкрадчиво осведомился о дне и часе моего рождения, так как он будет счастлив составить мой гороскоп. Я выдал нужную информацию: у меня не было причины отказать, и, кроме того, я не могу устоять перед гороскопами. Я спросил, чем же интересуется он. «Я ценитель», – ответил

ББВ. Это меня удивило, так как комната совсем не похожа была на обиталище ценителя искусств: добротная, скучная мебель (от домовладельца), несколько фотографий в серебряных рамках – судя по виду, центральноевропейцев (мужчины в высоких воротничках, женщины с ужасным изобилием волос и полнотой, которую деликатно именуют пышностью). Во всей комнате ни одного предмета, на котором остановился бы взгляд. В углу – икона Богоматери в отвратительно слащавом стиле девятнадцатого века, в явно дешевой серебряной ризе, закрывающей все, кроме ликов и кистей рук. ББВ улыбнулся, видя мое удивление. «Я ценитель не искусства, – сказал он, – но идей, мировоззрений, политики в широком смысле этого слова». Мы немного поговорили о текущем положении в Европе, об этом немецком деятеле Гитлере, о тяжелой ситуации в Испании – все очень отвлеченно, словно в событиях участвуют только идеи, но не люди. ББВ пригласил меня заходить еще, поиграть в карты, и я согласился – не потому, что он

мне понравился, а именно потому, что не понравился.

Я снова пришел к нему – на карточную игру, и она оказалась достаточно интересной, чтобы вознаградить меня за вечер, проведенный в неудобных обстоятельствах, каких я обычно избегаю. Хозяин выставил обильную выпивку и дорогие сигары для всех желающих, но главное происходило за двумя столами для бриджа – сколько уместилось в комнате, не создавая чрезмерной тесноты. Для дружеской игры на вечере царила слишком серьезная атмосфера. БББ заправлял за одним столом, а за вторым – неряшливый тип, некто Роскалнс; он занимается репетиторством: натаскивает первокурсников в латыни и всех желающих – в современных языках (он не на жалованье в университете, а сам по себе). Все остальные игроки время от времени переходили от стола к столу, но эти двое оставались на местах. Игра шла быстро, и ставки были заметно выше обычно принятых в Оксфорде – здешние обитатели, проиграв фунт, думают, что прожигают

жизнь на всю катушку. Меня особенно интересовал другой человек – второкурсник колледжа Церкви Христовой, некто Фримэнтл, потому что он канадец, хотя давно живет в Англии.

У Фримэнтла взгляд безумного игрока. Жизнь с матерью, бабушкой и прабабушкой научила меня многому в том, что касается карт, и первое правило – сохраняй спокойствие, не стремись к выигрышу, иначе карты, или боги, или кто там правит за карточным столом, посмеются над тобой и заберут твои последние гроши. Только то, что моя мать называла «умным, зорким равнодушием», позволит тебе выжить. Если видишь у кого-то в глазах такое выражение – жаркий, жадный блеск, – то знай: это человек, который уже первым делом потерял себя и, скорее всего, потеряет и все свои деньги – будет проигрывать, пока не отойдет от стола. Когда под конец вечера пришло время расчетов, оказалось, что Фримэнтл проиграл ББВ около двенадцати фунтов и был этому явно не рад. Я выиграл ровно семь шиллингов, отчасти благодаря уда-

че, отчасти потому, что за мной стоят еще три поколения игроков. Любой, кто играл в скат с моими бабушкой и прабабушкой, научится по крайней мере передергивать карты, не роняя их.

Научится и разным другим интересным вещам, так что я глядел во все глаза, не будет ли чего такого. Но ничего интересного не увидел. Разве что Роскалнс самую чуточку склонен время от времени раздавать карты снизу колоды. Но последствия этого не очень сокрушительны. Я люблю рисковать по маленькой и потому собираюсь время от времени ходить на карточные вечера к БББ, хотя знаю несколько других мест, где можно играть в карты, и притом в намного более удобной обстановке.

Зачем же тогда ходить к БББ? Ну Вы же знаете, до чего я любопытен. Почему у БББ еще и голландская фамилия вдобавок к его родной болгарской? Как он финансирует свое роскошное гостеприимство – не за счет ли карточных выигрышей? Действительно ли Чарли Фримэнтл так твердо намерен идти к гибели, как ка-

жется? И почему, когда я уходил, ББВ дал мне конверт с неплохим гороскопом, в котором среди прочего говорилось: «Вы очень проницательны и провидите то, что скрыто от других»? Звучит так, как будто он делает мне авансы. Я никогда не видел в своих гороскопах ничего такого, что указывало бы на особую проницательность, – конечно, если не считать той, какая свойственна карикатуристу.

Как видите, я послушался Вашего совета и не пишу на бумаге с гербом колледжа. Эту бумагу я давеча свистнул, когда ходил в Старый дворец, чтобы по строгому настоянию моей тетушки Марии-Бенедетты нанести ежегодный визит вежливости монсеньору Ноллису, капеллану Римско-католической церкви. Капеллан – со странностями и глядит на канадцев немного свысока, именуя их «колонистами». Я ему покажу колонистов, дайте только случай.

***Примите и проч.,***
***Ваш кр. сын***
***Фрэнк***

Через два дня после карточного вечера у Бьюс-Боцариса Фрэнк сидел у себя в гостиной и работал. Тут послышался резкий, короткий стук, дверь распахнулась, и в комнату влетела девушка.

— Ты Фрэнсис Корниш, верно? — выпалила она и свалила на диван охапку книг. — Я решила на тебя посмотреть. Я Исмэй Глассон, и мы с тобой вроде как кузены.

Со времени поездки в Корнуолл и Чигуидденхауз прошло пять лет, и Фрэнсис уже забыл, что у него есть кузина по имени Исмэй. Но теперь вспомнил: это ужасная старшая сестра мерзких глассоновских отпрысков, которые уверяли его, что, будь Исмэй дома, уж она бы ему показала. Тогда он боялся девушек, но за это время научился значительно лучше владеть собой. Сейчас он сам ей покажет.

— Вот те раз, моя кузина, — сказал он. — А что, ты не спрашиваешь разрешения, прежде чем вломиться в чужую комнату?

— Обычно нет. «Вот те раз, моя кузина» — это ведь цитата откуда-то? Надеюсь, ты не английскую литературу изучаешь?

— Почему ты на это надеешься?

— Потому что те, кто ее изучает, обычно ужасные уроды, а я надеялась, что ты окажешься

приятным человеком.

— Я приятный человек, но с незнакомцами обычно соблюдаю формальности, как видишь.

— В жопу формальности! Налей мне лучше хересу.

За первый год пребывания в Оксфорде Фрэнсис уже привык к местному обычаю — практически купаться в хересе. Он также открыл, что херес вовсе не такой невинный напиток, каким его полагают неискушенные люди.

— Какого тебе? Светлого или олоросо?

— Олоросо. Так что ты учишь, если не английскую литературу?

— Великих современников[184].

— Это еще ничего. Дети что-то говорили про античную литературу.

— Я об этом думал, но решил, что мне надо немного расширить горизонты.

— Да, судя по всему, тебе это было нужно. Дети сказали, что ты все время бродил с видом лунатика, разглагольствовал про короля Артура и

---

**[184] Примечания: 184**

*Так что ты учишь… Великих современников.* — «Великие современники» — первоначальное название дисциплины «Философия, политика и экономика» (ФПЭ). ФПЭ начали преподавать в Оксфорде (колледж Баллиол) в 1920-х гг. для подготовки государственных служащих, так как было решено, что существующие дисциплины — философия и античная литература — не удовлетворяют требованиям современности.

называл Корнуолл волшебной землей, как полный осел.

— Несомненно, по меркам твоих омерзительных, невоспитанных и необразованных младших родственников я и есть полный осел.

— Ого! Кажется, мы сразу не поладили, а?

— А чего ты ждала? Ты врываешься в мою комнату, когда я работаю, оскорбляешь меня, кладешь грязные ноги на мой диван. Тебе дали стакан хереса; по-моему, это любезность превыше той, которую ты заслуживаешь.

— Ну перестань! Я же твоя кузина, в конце концов!

— Не знаю. У тебя есть какие-нибудь документы? Правда, они все равно не скажут больше, чем твое лицо. У тебя лицо Корнишей.

— У тебя тоже. Я бы тебя где угодно узнала. Лошадиное, ты хочешь сказать.

— А я вот не говорил, что у тебя лошадиное лицо. Я слишком хорошо воспитан и уже вышел из детского возраста, и потому не считаю возможным оскорблять людей подобным образом. Если в твоем понимании это значит, что я полный осел или даже урод, — пускай так. Иди играй с достойными тебя хамами.

Фрэнсис получал от этого диалога огромное

удовольствие. В «Душке» он научился укрощать девушек: главное — сразу начать помыкать ими, и тогда они, может быть, не дойдут до стадии помыкания тобой, а именно к этому они, несомненно, стремятся. Эта девушка крута на словах, но ей не хватает подлинной уверенности в себе. Ее одежда неопрятна и не идет ей. Волосы явно нуждаются в расческе; мягкая женская академическая шапочка пыльная и мятая, мантия — тоже. Ноги неплохие, — правда, чулки явно слишком долго носили не стирая. Но корнишевское лицо у нее было выразительным, одухотворенным. Она, как и другие оксфордские девушки, могла бы быть красивой, если бы обладала понятием о красоте и применяла его к себе. Но у нее в голове, судя по всему, укоренилась типично английская идея презрения к собственной женственности.

— Давай не будем ссориться. У тебя хороший херес. Можно мне еще? Расскажи о себе.

— Нет, сначала дамы. Давай ты рассказывай.

— Я на первом курсе в Леди-Маргарет-Холле[185]. Мне дали стипендию на изучение современных языков, так что я ими и занимаюсь. Ты ведь знаешь Чарли Фримэнтла?

---

**[185] Примечания: 185**

*Леди-Маргарет-Холл* — колледж в составе Оксфорда. Был основан в 1878 г. как женский колледж (первый в Оксфорде).

— Да, кажется, встречал.

— Он говорит, что вы познакомились за картами. Он проиграл кучу денег. А ты выиграл кучу денег.

— Я выиграл семь шиллингов. А что, Чарли считает себя игроком?

— Он обожает риск. Говорит, что от этого кровь быстрей бежит по жилам. Обожает опасность.

— Эта опасность обходится дорого. Надеюсь, у него толстый кошелек.

— Не очень тонкий. Толще моего, во всяком случае. Я — из достойных бедняков. Моя стипендия — семьдесят фунтов в год. Моя родня, стеная и жалуясь, добавляет до двухсот.

— Неплохо. Родсовские стипендиаты[186] сейчас получают всего триста.

— Да, но им еще дают кучу денег сверх этого на поездки и то-се. А ты сколько получаешь?

— Я до определенной степени сам присматриваю за своими деньгами.

— Понятно. Не хочешь говорить. Это все шотландская кровь. Чарли мне все про тебя рассказал, так что тебе теперь не укрыться. Он говорит, что твоя семья жутко богата, но слегка вульгарна. А

---

**[186] Примечания: 186**

*Родсовские стипендиаты...* — См. примеч. 51.

мелкие сказали, что ты скряга. Даже по мороженому им не купил.

— Если они ждали от меня мороженого, то совершенно зря подкинули мне в кровать змею.

— Она была дохлая.

— Я об этом не знал, когда она оказалась у меня под ногой. Почему ты в Оксфорде? Ты синий чулок?

— Может быть. Я очень умная. Я хочу работать на радио. Или в кино. Куда-то надо идти, так почему бы и не в Оксфорд? Прошли те времена, когда девушки только выезжали в свет, ходили на балы и ждали прекрасного принца.

— Да, я слыхал. Ну так чем могу быть полезен?

— Похоже, что ничем.

— Если нет других предложений, можем сходить пообедать.

— О, замечательно! Я как раз проголодалась.

— Только не сегодня. Завтра. Чтобы ты успела привести себя в порядок. Я поведу тебя в ДООУ. Ты там была когда-нибудь?

— Нет, никогда. Мне очень хочется там побывать. Но почему ты говоришь «ДООУ»? Все зовут его просто Доу.

— Я знаю, но не знал, знаешь ли ты. В общем, это мой клуб, и туда пускают женщин на время

обеда.

— Но ведь там, наверно, полно жутких уродов? Людей с тошнотными аристократическими именами типа Рептиллиан Пробк-Подошвинс? Там, наверно, вообще одни уроды?

— Нет. Самое большее — каждый четвертый. Но у этих жутких уродов, как ты невежливо выразилась, подают хорошую еду и напитки, и еще у них обычно прекрасные манеры, поэтому не вздумай кидаться булками или иным образом бузить, как принято у вас в женских колледжах. Встретимся в полпервого здесь — на первом этаже, возле двери, на которой написано «Бьюс-Боцарис». Я люблю быть пунктуальным. Шляпу можешь не надевать.

Фрэнсис решил, что для первого раза вполне доходчиво объяснил кузине, кто тут главный.

Совет насчет шляпы не был просто беспричинным оскорблением. На следующий день в обеденном зале ДООУ Исмэй увидела двух элегантных дам в шляпах — они сидели за столом президента общества. Они были актрисами и красавицами, и шляпы их были в модном стиле «валлийская ведьма» — огромные, высокие, остроконечные, с вуалевыми шарфами, ниспадающими с полей на плечи. Шляпы, а также профессиональное уме-

ние держаться и уверенность в себе неумолимо отделяли этих двух от пяти простоволосых оксфордских девушек, в том числе Исмэй, которые пришли обедать с друзьями мужского пола. В члены ДООУ женщин не допускали.

Исмэй уже не была вчерашним воинственным сорванцом. Она вела себя вполне пристойно, но Фрэнсис видел у нее в глазах злобную искорку — как у пони, который притворяется послушным, собираясь скинуть тебя в канаву.

— Эти две дамы в шляпах — мисс Джонсон и мисс Ганн. Они играют в пьесе «Ветер и дождь»[187] в Новом театре, через дорогу, а на следующей неделе уезжают в Лондон. Очень элегантные, правда?

— Надо думать. В конце концов, им за это деньги платят.

Но ее равнодушие было напускным. Исмэй едва не запрыгала, как школьница, когда после обеда к их столику подошел красивый молодой человек и сказал:

— Фрэнсис, я бы хотел представить тебя и твою сестру нашим гостьям.

Когда взаимные представления закончились и

---

**[187] Примечания: 187**

*«Ветер и дождь»* — популярная пьеса английского драматурга, актера и врача Мертона Ходжа (1903–1958), впервые поставленная в 1933 г.

Фрэнсис сказал актрисам все положенные комплименты, он заметил:

— Должен сказать, что Исмэй не родная моя сестра. Она моя кузина.

— Боже мой, да у вас поистине семейное лицо! — воскликнула мисс Джонсон, очевидно желая сказать приятное.

— А он правда президент клуба? — спросила Исмэй, когда великие люди удалились.

— Да, и, следовательно, большой человек в Оксфорде. Джервейс Фезерстоун; все как один считают, что он станет великим актером. Ты видела его прошлой зимой в клубной постановке «Пер Гюнта»? Нет, конечно; тебя здесь еще не было. Но лондонские критики превозносили его до небес.

— Он очень красивый.

— Надо думать. В конце концов, ему в том числе и за это деньги платят.

— Ты просто завидуешь!

Фрэнсис хорошо усвоил принятую в Оксфорде манеру притворяться, что бьешь баклуши, в то время как на самом деле усиленно работаешь. Он овладел техникой учебы еще в Колборне, где от учеников ожидали хорошей успеваемости, и усовершенствовал эту технику в «Душке». В

Оксфорде он более чем соответствовал ожиданиям своего тьютора в том, что касалось учебы, околачивался в ДООУ, помаленьку ковыряясь с костюмами и декорациями, время от времени публиковал карикатуры в «Айсисе», и у него еще оставалось время, чтобы часами просиживать в Эшмоловском музее, изучая превосходную коллекцию рисунков старых мастеров, почти старых мастеров и художников восемнадцатого-девятнадцатого столетий, которых никто не считал мастерами, хотя, по мнению Фрэнсиса, их работы были этого достойны.

Эшмоловский музей в то время не был ни особо привлекательным, ни особо хорошо организованным с точки зрения музейного дела. В лучших традициях Оксфорда музей был призван служить серьезно настроенным студентам и не желал иметь ничего общего с американской манерой проституировать высокое искусство, то есть с попытками привлечь и заинтересовать широкую публику. В конце концов, это был один из старейших музеев Старого Света. Первокурснику Фрэнсису не сразу удалось убедить музейное начальство, что он настроен серьезно. Добившись своего, он получил возможность почти без помех работать с обширной коллекцией музея. Фрэнсис

хотел научиться хорошо рисовать. Он был не настолько самоуверен, чтобы надеяться рисовать, как старые мастера. Но именно им хотел подражать. Поэтому он проводил бесчисленные часы, копируя их рисунки, анализируя технику и с изумлением обнаруживая в себе идеи, озарения и даже вспышки эмоций, которые явно принадлежали рисункам, а не ему самому. Но он не доверял этим шепотам из прошлого, пока не встретил Танкреда Сарацини.

Все вышло потому, что Фрэнсис был членом, хоть и не очень активным, оксфордского студенческого союза. Он бы не стал туда вступать, но на первом курсе его убедили, что это нужно. Иногда он ходил на дебаты и порой даже выступал по вопросам, связанным с искусством или эстетикой, — там, где ему было что сказать. Оттого что он, в отличие от большинства выступающих, знал, о чем говорит, был уверен в своей правоте и высказывал свои мысли простым и недвусмысленным языком, он, к собственному удивлению, заработал скромную репутацию оратора. Политика, которой в основном занимался студенческий союз, Фрэнсиса не интересовала, а сам союз интересовал в основном как место с хорошей кухней.

Но когда Фрэнсис был на втором курсе, комитет

студенческого союза по благоустройству, ища, чем бы заняться, решил, что ветшающие фрески на стенах библиотеки союза требуют внимания. С ними нужно было что-то делать. Что же? Начинающие политики из комитета слабо разбирались в живописи, хоть и знали, что искусство любить надо, и потому украшали свои комнаты репродукциями вангоговских «Подсолнухов» или, кто посмелее, красными конями Франца Марка. Они знали, что фрески в библиотеке — значительное произведение искусства, ведь их написали ведущие художники прерафаэлитского братства. Именно такие вопросы в студенческом союзе любили и понимали, ибо по ним можно было устроить дебаты. Следует ли воскресить художественные реликвии мертвого прошлого, или союз должен решительно пойти вперед, в будущее, заменив эти фрески работами художников несомненно талантливых, но столь же несомненно и решительно современных?

Первым делом, конечно, следовало выяснить, подлежат ли фрески вообще реставрации. Комитет по благоустройству во главе с парой преподавателей, что-то знающих об искусстве, призвал знаменитого Танкреда Сарацини обследовать фрески.

Великий человек явился, потребовал лестницу, взобрался на нее и осмотрел роспись, светя на стены фонариком и ковыряя их перочинным ножом. Спустившись, он объявил, что готов к обеду.

Фрэнсис не был членом комитета по благоустройству, но на обед его пригласили, поскольку тремя или четырьмя краткими выступлениями он заработал репутацию человека, кое-что знающего об искусстве. Ведь он же автор тех набросков — почти шаржей, но не совсем, — которые публиковались в «Айсисе». У него есть коллекция рисунков — оригиналов, а не репродукций. Кому же еще говорить с Сарацини? Когда Фрэнсиса спросили, он охотно согласился встретиться с одним из величайших в мире реставраторов картин. Даже французские музеи, которые так не любят искать экспертов по искусству за пределами своей страны, неоднократно приглашали Сарацини для консультаций.

Сарацини оказался человеком небольшого роста, очень смуглым и очень аккуратным. Он не особенно походил на художника: единственной необычной деталью его внешности была пара скромных бакенбард, которые застенчиво останавливались ровно на такой длине, чтобы заработать право считаться бакенбардами. На

лице постоянно играла улыбка — но не радостная, а ироническая. Карие глаза под прикрытием очков все время блуждали, причем не всегда в согласии друг с другом, отчего иногда казалось, что Сарацини смотрит сразу в две стороны. Он говорил тихим голосом, на идеально правильном английском. Слишком правильном, что тут же выдавало в нем иностранца.

— Мы хотим получить ответ на следующие вопросы: во-первых, можно ли вообще отреставрировать эти фрески и, во-вторых, стоят ли они той суммы, в которую обойдется реставрация, — произнес президент студенческого союза. В будущем он видел себя кабинет-министром, а потому любил прояснять очевидное. — Скажите откровенно, что вы думаете по этому поводу?

— Их ценность как произведений искусства весьма спорна, — сказал Сарацини. Ироническая улыбка у него на лице играла в полную силу. — Если я их восстановлю или их восстановят под моим руководством, они будут выглядеть точно так же, как семьдесят пять лет назад, когда художники спустились с лесов. Отреставрированные, они продержатся двести или триста лет при условии надлежащего ухода. Но конечно, в таком случае это будут мои работы или работы моих

учеников, нарисованные точно так же, как первоначально задумывали Россетти, Берн-Джонс и Моррис, но красками гораздо лучшего качества, на правильно подготовленных поверхностях, запечатанные фиксаторами для предохранения от сырости, дыма и прочих агрессивных воздействий, которые за это время превратили их в набор едва различимых пятен. Короче говоря, я сделаю профессионально то, что авторы фресок сделали практически как любители. Они совершенно ничего не знали о росписи стен. Они были энтузиастами.

На последнем слове он еле слышно хихикнул.

— Но разве не в этом и состоит реставрация? — спросил кто-то из членов комитета.

— О нет; картину, пострадавшую от военных действий или несчастного случая, можно восстановить, подвергнуть дублировке[188], написать заново, если от оригинала ничего не осталось, но она останется работой того же мастера, возвращенной к жизни бережно и со знанием дела. Эти фрески — руины, потому что были написаны неправильным способом с использованием неподходящих красок. Мы видим слабые очер-

**[188] Примечания: 188**

*Дублировка* — укрепление ветхого холста картины подклейкой другого холста.

тания первоначальных фресок, но воскресить их — значит написать заново, а не отреставрировать.

— Но вы можете это сделать?

— Разумеется. Вы должны понимать: я не называю себя художником в романтическом смысле этого затасканного, размытого слова. Я ремесленник — говорят, что в моем ремесле мне нет равных в мире. Я опираюсь лишь на возможности своего ремесла; я призываю не музу, но свои познания в химии и свое мастерство. Но я не исключаю, что муза все же время от времени будет навещать меня. Заранее никогда не скажешь.

— Простите, я не понял.

— Ну, я редко говорю об этом аспекте своей работы. Но если, работая над картиной, вкладывать все свое мастерство, сострадание, любовь — даже если большую часть картины приходится изобретать заново, как мне придется делать в данном случае, — нечто, руководившее изначальным автором, может прийти на помощь.

Именно в этот момент Фрэнсиса, который внимательно слушал, словно стукнули по голове крохотным молоточком — острый, животворящий удар.

— Синьор Сарацини, я правильно понял: вы

надеетесь, что во время работы в вас время от времени будет вселяться дух прерафаэлитов?

— А!.. а!.. а! Вот почему я обычно не говорю на эту тему! Люди вроде вас, мистер Корниш, могут истолковать мои слова поэтически — и заговорить о чем-то вроде одержимости чужим духом. В силу своего опыта я не делаю таких смелых заявлений. Но подумайте вот о чем: авторы этих фресок — поэты; они были лучшими поэтами, чем художниками, за исключением Берн-Джонса, но и он, как вы наверняка знаете, прекрасно писал. О чем же они писали? На фресках изображены поиски Грааля, а эта тема гораздо лучше подходит поэту, чем художнику. Вы согласны, что дух Грааля гораздо легче вызвать словами, чем изображениями? Еретическая ли мысль — то, что у каждого искусства есть своя область превосходства и для него опасно вторгаться в сферу, где властвует другое искусство? Картина, иллюстрирующая легенду, есть лишь бледная копия этой легенды. Картины, рассказывающие историю, бесполезны, поскольку недвижны, — в них нет нюансов, нет развития, которое есть душа рассказа. Мне кажется, это не слишком большая вольность — думать, что у поэтов, которые опозорились с этими старыми, грязными,

ушедшими в небытие картинками, было бы что сказать мастеру-художнику, пускай и не поэту?

— И вам случалось сталкиваться с подобным?

— О да, мистер Корниш, и когда это случается, в этом нет ничего сверхъестественного, поверьте мне.

— Значит, фрески могут быть восстановлены в таком виде, в котором их нарисовали бы Моррис, Россетти и Берн-Джонс, если бы умели писать фрески?

— Этого никто не скажет. Восстановленные фрески определенно будут выполнены с гораздо большим мастерством. И в них будет в полной мере присутствовать вдохновение, руководившее авторами первоначальных фресок.

— Я считаю, мы получили ответы на все вопросы, — сказал Фрэнсис.

— О нет. Простите, остался еще один очень важный вопрос, которого мы не коснулись, — вмешался будущий кабинет-министр. — Во сколько это обойдется?

— Не могу вам сказать, так как я пока не исследовал стены под картинами с надлежащей тщательностью и даже не измерил их протяженность, — сказал Сарацини. — Но конечно же, вы знаете анекдот про американских миллионеров,

один из которых спросил другого, во сколько обходится ему содержание яхты. Второй ответил: «Если вы спрашиваете, значит вам это не по карману».

— Вы хотите сказать, что это может обойтись, скажем, в тысячу?

— Во много тысяч. Если вообще реставрировать фрески, это надо делать хорошо, а качественная работа всегда обходится дорого. Но когда я закончу, у вас будут иллюстрации к легенде о Граале, написанные подлинными энтузиастами… если вам нужно именно это.

Разговор был окончен, хотя стороны еще некоторое время обменивались любезностями и выражали друг другу совершеннейшее почтение. Комитет по благоустройству был вполне удовлетворен. Он совершил нечто такое, что не удавалось ни одному предшествующему комитету в течение многих лет. Теперь он мог написать отчет о проделанной работе. Членов комитета не слишком волновало, будут ли на самом деле восстановлены фрески. В конце концов, студенческий союз был великой школой для будущих политиков и государственных мужей, а политики и государственные мужи работают именно так: они консультируются с экспертами,

обедают и культивируют в себе приятное чувство собственной осмотрительности и практичности. Но практичность подсказывала, что не стоит тратить слишком много денег на картинки.

Фрэнсис, однако, был сильно взволнован и пригласил Сарацини поужинать с ним тем же вечером в отеле «Рэндольф», с полного одобрения президента, который обрадовался возможности сбыть консультанта с рук — теперь, когда вопрос с фресками был наконец решен.

— Несомненно, мистер Корниш, вы единственный из членов комитета хоть что-то знаете о живописи. Кроме того, вы сильно заинтересовались, когда я заговорил о влиянии автора оригинального произведения на реставратора. Я должен еще раз подчеркнуть, что не имею в виду никакой мистики. Я не духовидец; покойники не водят моей кистью. Но подумайте вот о чем: многие композиторы, завершив оперу, набрасывают план увертюры и отдают его доверенному, талантливому помощнику, который пишет настолько в стиле учителя, что специалисты не отличат работу одного от работы другого. Сколько пассажей из позднего Вагнера на самом деле написаны Петером Корнелиусом? Мы знаем — но вовсе не потому, что это видно по музыке.

С живописью то же самое. Многие великие мастера перепоручали большие части своих картин подмастерьям или помощникам — драпировки, фон, даже кисти рук, и те писали так хорошо, что мы не можем определить, где начинается и кончается их работа. Подобным же образом я сегодня могу — не скажу, что любой реставратор может, — сыграть роль подмастерья при покойном художнике и убедительно воспроизвести его стиль. Когда люди заказывали копии шедевров художника, иногда их делали ассистенты — но художник не упоминал об этом, выставляя счет. А сегодня некоторые из этих копий очень трудно отличить от оригиналов. Кто их создал? Мастер или подмастерье? Эксперты никак не могут прийти к согласию.

И я наследник; не мастеров — как видите, я очень скромен, — но этих одаренных подмастерьев, которые порой сами выходили в мастера. Видите ли, в те великие дни, которые мы сейчас почтительно именуем эпохой старых мастеров, искусство было также и ремеслом. Великие художники держали мастерские, которые служили еще и лавками, — туда можно было зайти и купить то, что понравилось. Это романтизм девятнадцатого века поставил художника на

ступень выше ремесленника и заставил его презирать торговлю — художник стал дитятей муз. Зачастую дитя оказывалось без глазу, так как музы — не очень заботливые няньки в обычном смысле этого слова. А оказавшись выше торговли, художник счел себя и выше ремесла, совсем как те неумехи, чей труд мы сегодня обсуждали. Искусство переполняло их до краев, но овладеть ремеслом они не позаботились. И вот результат: они не смогли воплотить собственные идеи так, как хотели бы, и от их трудов остались лишь пятна на стенах. В каком-то смысле печально.

— Вы не очень уважаете прерафаэлитов.

— Те из них, кто лучше всего мыслил — как Россетти, — едва умели рисовать, не говоря уже о живописи. Все равно что в наше время Д. Г. Лоуренс. Идей у него больше, чем у десяти прославленных современных художников, вместе взятых, но рисовать, а тем более писать красками он не умеет. Конечно, найдутся глупцы, которые скажут, что это не важно, главное — замысел. Чепуха! Плохо исполненный замысел — не картина.

— Так вот, значит, что не так с современным искусством!

— А что не так с современным искусством?

Лучшие из современных картин очень хороши.

— Но многие ставят меня в тупик. А некоторые и вовсе просто мазня какая-то.

— Это логическое следствие из искусства эпохи Возрождения. За те примерно три века, что мы называем эпохой Возрождения, разум цивилизованного человека радикально изменился. Психолог сказал бы, что человечество из экстраверта стало интровертом. К исследованию внешнего мира прибавилось исследование внутреннего, субъективного. Первопроходцы этого мира не могли полагаться на старые карты, предоставляемые религией. Именно эти изыскания принесли нам «Гамлета» вместо «Горбодука»[189]. Человек начал искать все великое, а также, если он был честен (хотя очень немногие люди честны), все неблагородное, низкое, злое — в себе. Если художник был гением и мыслителем, он находил в себе Бога и все Его творения и рисовал их, чтобы весь мир мог увидеть их и поклониться им.

— Но современные художники рисуют вовсе не Бога и Его творения. Иногда я вообще не могу

---

**[189] Примечания: 189**

*«Горбодук»* (1561) — пьеса английских драматургов Томаса Нортона и Томаса Сэквилля. Представляет собой переходную форму от трагедий в духе Сенеки и средневековых пьес-моралите в направлении, которое впоследствии развили английские классики-драматурги, такие как Шекспир.

понять, что они рисуют.

— Они рисуют то, что видят в себе, и очень стараются, если честны, — конечно, не все они честны. Но они полагаются только на себя, не опираясь на мифы или религию. И конечно, то, что большинство из них в себе находит, — откровение только для них самих. И эти одинокие поиски часто переходят в шарлатанство. Подделать взгляд в себя — проще простого, мистер Корниш. Поглядите хоть на те фрески, о которых мы говорили утром. Люди, которые их нарисовали, — Россетти, Моррис, Берн-Джонс — у них всех внутреннее видение связывалось с легендой, и они предпочли обернуть его в картинки про Грааль и аппетитных красоток с глазами-черносливами, наполовину мадонн, наполовину — чересчур пышных россеттиевских любовниц. Но современные люди, ушибленные страшной мировой войной и кое-как усвоившие постулаты Фрейда, твердо намерены быть честными. Их тошнит от того, что они считают Богом, а внутри себя они видят нечто настолько личное, что большинству людей оно кажется хаосом. Но это не просто хаос. Это сырые ошметки души, извергнутые на холст. Не слишком приятно на вид и не слишком много сообщает зрителю, но художник

должен пройти через это на пути к чему-то такому, что в самом деле будет говорить со зрителем. Не знаю, правда, будет ли оно приятно на вид.

— Это адски тяжело для любого, кто хочет стать художником.

— Например, для вас? Ну что ж… ищите свое внутреннее ви́дение.

— Именно это я и пытаюсь делать. Но выходит что-то не очень современное.

— Я понимаю. У меня тоже не очень хорошо выходит на современный лад. Но хочу вас предостеречь: не втискивайте себя в современный лад, если он не для вас. Найдите свою легенду. Свой личный миф. Что вас обычно занимает?

— Можно, я вам покажу?

— Обязательно, но не сейчас. Я уезжаю рано утром. Но я скоро снова приеду. Эксетер-колледж хочет, чтобы я посмотрел тамошнюю часовню. Я дам вам знать заранее и оставлю для вас время. Куда вам написать?

— Я учусь в колледже Тела Христова. Если вы напишете мне туда, я получу ваше письмо. Не хотите ли еще коньяку перед уходом?

— Ни в коем случае. Некоторые великие мастера много пили, но нам, подмастерьям и помощникам, даже живущим триста лет спустя, нужно

иметь твердую руку. Я не хочу больше коньяку, и вы тоже, если только вы не уверены абсолютно, что вы — мастер. Мы, второразрядные, должны быть аскетами.

Это было сказано с иронической усмешкой, но для Фрэнсиса, вскормленного, по крайней мере отчасти, на суровой вере Виктории Камерон, прозвучало приказом.

Поздней осенью, вскоре после знакомства с Сарацини, Фрэнсис удивился и поначалу не очень обрадовался, получив такое письмо:

> Дорогой мой внук Фрэнсис!
>
> Я никогда раньше не писал тебе в Оксфорд: я думал, что мне нечего сказать молодому человеку, погруженному в изучение передовых наук. Как ты знаешь, я не получил почти никакого образования, ибо мне очень рано пришлось самому пробивать себе дорогу в жизни. Образование пролагает пропасть между поколениями – еще сильнее, чем нажитое богатство. Что может необразованный дед сказать образованному внуку? Но я надеюсь, что у нас еще остались общие языки.

Первый из них – это язык, которому я не могу подобрать названия; на нем мы с тобой говорили, когда ты был мальчиком и ходил со мной на послеобеденные вылазки за «солнечными картинами». Это был язык глаза и еще – думаю, даже по большей части, – язык света, и мне очень радостно думать, что твое увлечение живописью и интерес к картинам берет начало в этом языке или по крайней мере подпитывалось им. Теперь ты говоришь на этом языке так, как никогда не говорил на нем я. Я горжусь твоей любовью к искусству и надеюсь, что она проведет тебя через счастливую жизнь.

Другой язык – я не назову его религией, ибо всю свою жизнь был твердым в вере католиком, не полностью приемля все, во что католики должны верить. Поэтому я не могу чистосердечно призывать тебя держаться за веру. Но все же не забывай про нее. Не забывай этот язык и не будь одним из тех людей «без царя в голове», которые ни во что не верят. Есть высший мир, недоступный нашим чувствам, а религия – попытка объяснить его. Но

к несчастью, чтобы достичь всех и вся, религия должна быть организованной, и для священников она превращается в ремесло; но хуже всего то, что ее приходится сводить к чему-то приемлемому и понятному для широких масс людей. То, что я написал, конечно, ересь. Помню, как я рассердился, когда твой отец потребовал, чтобы тебя растили протестантом. Но с тех пор прошло много лет, и я часто задумывался, действительно ли протестанты – большие идиоты, чем католики. Чем старше человек становится, тем более одинок он в религии.

Третий язык, на котором мы оба говорим, – деньги. Именно поэтому я тебе сейчас пишу. Я говорю на этом языке лучше тебя, но и ты должен изучить его грамматику, иначе не управишься с тем, что удача посылает тебе как моему внуку. Я сейчас много думаю об этом – врачи говорят, что мне недолго осталось. Что-то с сердцем.

Когда откроют мое завещание, ты узнаешь, что я оставил тебе значительную сумму в единоличное пользование –

сверх той доли, которая причитается тебе в ряду остальных наследников. Причину этого я указываю в своем завещании. Мне кажется, что ты по натуре не слишком подходишь для семейного бизнеса – банковского и трастового дела – и, следовательно, не должен добиваться работы в нем или искать возможностей для продвижения. Это выглядит почти так, как будто я лишаю тебя наследства, но на самом деле ничего подобного. Строго между нами: я надеюсь, что деньги освободят тебя от множества забот и от необходимости заниматься делом, которое, как я подозреваю, тебе совсем не понравится. Но тебе нужно освоить грамматику денег. Неграмотность в денежных вопросах так же связывает человека, как и любая другая неграмотность. У твоего брата Артура, судя по всему, есть склонности к банковскому делу, и на этой работе у него будут возможности зарабатывать, каких не будет у тебя. Но у тебя будут возможности другого рода. И я надеюсь, что они соответствуют твоим жизненным целям.

Пожалуйста, не отвечай на это письмо – я боюсь, что мне недолго осталось читать корреспонденцию, и не хочу, чтобы то, что ты напишешь, читал кто-нибудь другой. Но если ты напишешь мне, чтобы попрощаться, я буду рад.

***С наилучшими пожеланиями,***
***Джеймс Игнациус Макрори***

Фрэнсис тут же написал прощальное письмо — он старался как мог, хотя умел писать не лучше дедушки; даже более того, ему недоставало простоты, характерной для самоучки-деда. Но ответная телеграмма сообщила ему, что письмо опоздало.

Мог ли он что-нибудь сделать? Он написал бабушке и тетушке, написал также и матери. Он подумал, не сходить ли к отцу Ноллису в Старый дворец, заказать заупокойную мессу по старику, но в свете письма это было бы неискренне и насмешило бы старого колониста, если бы он знал.

Лицемерна ли была печаль Фрэнсиса? Она боролась в нем с облегчением, с ощущением новой свободы, с радостью, что теперь он может жить как хочет. Скорбь по старому лесорубу-шотландцу скоро сменилась душевным подъемом и

благодарностью. Хэмиш был единственным из всей родни, кто вообще хоть как-то видел Фрэнсиса и задумывался о том, что он за человек. И может быть, Хэмиш единственный из всех любил в нем художника.

Приближалось Рождество, и Фрэнсис решил, что долг зовет его обратно в Канаду. Совершив зимнее плавание через Атлантику, больше похожее на суровую епитимью, он снова оказался в доме матери, словно сошедшем с картинки в модном журнале. Мало-помалу Фрэнсис начал понимать, что значил дедушка для всех поколений Корнишей, Макрори и О'Горманов. Банкиры искренне скорбели о смерти сенатора, но сильно утешились приятнейшей необходимостью управления его делами. Судя по всему, после смерти дед стал еще сиятельнее, чем при жизни. Джеральд Винсент О'Горман особенно громко хвалил старика за то, как тот распорядился своим имуществом. Никого не обидел. Вот это настоящее Рождество!

Сэр Фрэнсис Корниш был несколько менее доволен, чем О'Горман, и вполне понятно почему: Джерри сменял тестя на посту председателя совета директоров, а Корниш оставался на почетной, но не такой влиятельной должности президента.

Но в то же время леди Корниш получила неплохое наследство, что сильно радовало сэра Фрэнсиса и существенно подсластило горькие слезы его жены. Даже Артур, младший брат Фрэнсиса, которому исполнилось всего двенадцать лет, будто слегка вырос после смерти деда, ибо его перспективы в Корниш-тресте, и до того отчетливые, обрисовались еще четче, и Артур уже держался в школе как юный финансист: одетый дорого, стильно и со вкусом, красивый, обходительный со сверстниками и старшими.

Сильнее всего смерть деда ударила, конечно, по бабушке и тете Мэри-Бен, но и у них были свои утешения: на похороны в Блэрлогги приехали ее преподобие мать Мария-Базиль из Монреаля и его преподобие преосвященный Майкл Макрори из своей епархии на западе. Оба нанесли старухам визит, одарив их утешением и добрым советом (которые нисколько не стали хуже оттого, что сенатор щедро помянул в завещании и брата, и сестру).

Завещание! Кажется, семья только о нем и говорила; положение в нем Фрэнсиса, которому причиталась самая большая из специально выделенных сумм, удивило родных и повергло их в недоумение. (Мать Фрэнсиса и Мэри-Тесс получа-

ли доходы от суммы, переданной в доверительное управление.) Общее мнение кратко и откровенно подытожил Джерри: наверное, Фрэнк мог бы изучать свои картинки и на меньшие деньги, чем доход с кругленькой суммы в миллион.

Тем более что Фрэнсису причитался не только доход: старик оставил ему всю сумму. Да разве Фрэнк умеет обращаться с такими деньжищами? Но Фрэнсис помнил слова деда о том, что нужно изучить грамматику денег. Перед тем как претерпеть мытарства морского путешествия в Оксфорд, он оставил распоряжения, что делать с деньгами, когда они станут доступны. Даже Джерри вынужден был признать, что Фрэнсис вполне справился с задачей.

Итак, Фрэнсис вернулся в колледж Тела Христова, Кентербери-хауз и запасники Эшмоловского музея богатым человеком — в смысле возможностей и в смысле обязанностей. А в перспективе он должен был стать еще богаче, так как дед оставил ему долю в капитале, помещенном в доверительное управление. Кроме него, доход от этой суммы получали бабушка, тетя, мать Фрэнсиса и Мэри-Тесс, и после смерти любой из них доля Фрэнсиса увеличивалась. «Хорошо устроился», — заметил Джерри, а сэр Фрэнсис с достоинством, подоба-

ющим президенту, сказал, что теперь будущее Фрэнсиса обеспечено.

Как любят люди говорить, что чье-то будущее обеспечено, имея в виду лишь то, что ему хватает денег на жизнь! Кто в двадцать четыре года скажет, что его будущее обеспечено? Фрэнсис знал, что по крайней мере в одном отношении его будущее туманно, и сильно страдал из-за этого.

В «Душке» он общался с девушками — общение ограничивалось легким перещупыванием на вечеринках; девушки того времени были осторожны и не позволяли себе, как по-прежнему мысленно называл это Фрэнсис, Переходить Границы. Сам он впервые Перешел Границы в торонтовском борделе, с толстоногой женщиной родом из маленького городка с говорящим названием Осстолоп. Целый месяц после этого Фрэнсис маялся, осматривал себя и все боялся увидеть признаки заражения сифилисом, пока врач не заверил его, что он чист как стеклышко. На основании всего этого Фрэнсис считал, что много знает о сексе, но о любви не имел ни малейшего понятия. А теперь он был влюблен в свою кузину Исмэй, в то время как она его совершенно явно не любила.

Возможно, она любила Чарли Фримэнтла. Фр-

энсис часто видел их вместе, а когда Исмэй была с ним, то много говорила о Чарли. Для Чарли Оксфорд был болезненно тесен: Чарли хотел вырваться в большой мир и изменить его к лучшему, независимо от желаний самого мира. У Чарли были передовые политические взгляды. Чарли читал Маркса — правда, не очень много, так как толстые заумные книги обременяли его свободный, воспаряющий дух. Чарли произнес несколько марксистских речей в студенческом союзе, к восторгу родственных, не скованных буржуазными условностями душ. Его марксизм можно было сформулировать примерно так: все, что есть, — неправильно, и для установления любых зачатков справедливого общества нужно сперва полностью разрушить существующий порядок; надежда на будущее — в рабочих, а все, что нужно рабочим, — сочувственное руководство со стороны людей вроде Чарли, видящих насквозь лицемерие, глупость и кровожадность правящего класса, к которому они сами принадлежат по рождению. Исмэй как верная ученица разделяла все эти идеи. Она еще сильнее Чарли (если это вообще было возможно) ненавидела стариков (то есть людей старше тридцати лет), которые так сильно все испортили. Конечно, Чарли со това-

рищи изрекали все это гораздо более звучным, политическим языком, и у них — или у Исмэй — было много книг, поддерживающих эмоции, которые они называли принципами.

Чарли был всего двадцать один год, а Исмэй — девятнадцать. Слушая их, двадцатичетырехлетний Фрэнсис ощущал себя скучным пожилым человеком. Он не очень разбирался в политике и не был находчив в спорах, но твердо знал, что с философией Чарли что-то не так. Чарли, в отличие от Фрэнсиса, не проучился три года в Карлайлской сельской школе, иначе по-другому представлял бы себе чаяния и способности рабочих. Дедушке Чарли не пришлось прорубать себе дорогу топором лесоруба — из леса в кресло председателя совета директоров. «Дайте рабочим образование, и мир изменится на протяжении трех поколений», — говорил Чарли. Фрэнсис припоминал мисс Макглэддери и думал, что, кажется, рабочие не очень восприимчивы к образованию или любой перемене, выходящей за рамки немедленного улучшения их жизни. Чарли был канадцем, как и Фрэнсис, но из семьи «старых денег». Фрэнсис насмотрелся на «старые деньги» в Колборн-колледже и знал, что лицемерие, глупость и кровожадность — действительно

врожденные свойства этого класса, как и говорил Чарли. Однако у Фрэнсиса была злосчастная способность — небольшая, но ощутимая — видеть обе стороны вопроса. Ему никогда не приходило в голову, что разделяющие их три года могут влиять на мировоззрение Чарли, и, уж конечно, он никогда не думал, что у него самого мировоззрение художника, который ненавидит как богатых, так и бедных и хочет только, чтобы от него отвязались и дали возможность работать спокойно. Чарли был аристократом, бросающимся в бой за правое дело, на стороне угнетенных; лордом Байроном, полным решимости освободить греков, но мало что о них знающим; рыцарем Грааля социальной справедливости.

Судьба Чарли не волновала Фрэнсиса, но от беспокойства за Исмэй он очень страдал. Он четко ощущал, что Чарли на нее плохо влияет, и чем больше наблюдал за Чарли на карточных вечерах у Бьюс-Боцариса, тем больше в этом уверялся. На вечерах стало слишком много завсегдатаев, поэтому теперь там вместо бриджа играли в покер; к нему у Чарли не было вовсе никаких способностей. Мало того что он был азартным игроком — он наслаждался ролью азартного игрока. Он практически выхватывал причита-

ющиеся ему фишки; он швырял карты на стол с победоносным видом; он глупо рисковал — и проигрывал. Он не платил проигрыши, а выдавал долговые расписки, которые Бьюс-Боцарис засовывал в жилетный карман, словно не замечая. Фрэнсис хорошо изучил грамматику денег и знал: долговая расписка — опаснейшая вещь. Хуже всего было то, что при редких выигрышах Чарли непристойно ликовал, словно, обирая окружающих его оксфордцев, мстил за всех неимущих и угнетенных. Фрэнсис страдал из-за Чарли, не осознавая, что Чарли — дурак и простофиля, так как тот обладал чем-то вроде романтического размаха и напора, а Фрэнсис знал, что сам он этих качеств начисто лишен.

Исмэй он видел часто: ее притягивал льющийся рекой превосходный херес, обеды в «Джордже», походы в кино и театр — все, что мог обеспечить и охотно обеспечивал Фрэнсис. Она даже позволяла Фрэнсису целовать и лапать себя («лапать» было ее любимое словечко, если она теряла терпение и хотела, чтобы Фрэнсис перестал) — в качестве разумного вознаграждения за предоставляемые им житейские блага. Это еще больше расстраивало Фрэнсиса: если она ему позволяет такие вольности, что же тогда позволено Чарли?

Он страдал, как может страдать только неуверенный в себе влюбленный, но у его любви был другой, более счастливый аспект. Исмэй охотно позировала ему, и он сделал с нее множество набросков.

Однажды, когда он завершил особенно удачный рисунок, Исмэй сказала:

— Ой, можно, я его возьму?

— Это всего лишь этюд. Давай я попробую нарисовать тебя по-настоящему.

— Нет, это просто здорово. Чарли очень понравится.

Но Чарли не понравилось. Он пришел в ярость и изорвал рисунок, а Исмэй довел до слез — она вообще редко плакала, — заявив, что не позволит этому болвану Корнишу пялиться на нее глазами влюбленного обожателя. А по рисунку совершенно ясно видно, что он смотрит на нее именно так.

Исмэй, однако, нравилось возбуждать ревность Чарли. Он ревновал яростно, не похоже на вялую ревность Фрэнсиса, душную и собственническую, замаскированную под беспокойство за судьбу Исмэй. Так что дело заходило все дальше, и, когда однажды Фрэнсис набрался храбрости и попросил Исмэй позировать ему голой, она согласилась.

Он был вне себя от счастья, пока она не сказала: «Только никакого этого, „художник-и-модель-в-Париже“, ясно?!» Он решил, что это отражает его флегматичный, объективный подход художника к обнаженному телу. Он признался сам себе, что Исмэй грубовата, но то была часть ее неодолимого очарования. Ее грубость вызывала в памяти роскошных аристократок эпохи Возрождения.

Так что он нарисовал ее обнаженной, лежащей на диване у него в гостиной, на верхнем этаже Кентербери-хауза, где был такой хороший свет и уголь так жарко пылал в камине, и потом рисовал ее еще много раз, и, хотя обширный опыт, приобретенный в бальзамировочной Девинни, очень помогал Фрэнсису, мысль о тех изношенных работой телах ни разу не приходила ему в голову.

Однажды, закончив особенно удачный рисунок, Фрэнсис отшвырнул альбом и карандаш и бросился на колени рядом с Исмэй, целуя ее руки и пытаясь удержать непрошеные слезы.

— Что такое?

— Ты такая красивая! И я так тебя люблю!

— О боже! — сказала Исмэй. — Я так и думала, что до этого дойдет.

— До чего?

— До разговоров о любви, осел ты премиро-

ванный.

— Но я тебя и правда люблю. Неужели ты совсем-совсем ничего не чувствуешь?

Исмэй подалась к нему, и он зарыл лицо у нее между грудями.

— Да, — сказала она. — Я люблю тебя, но я в тебя не влюблена — надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать.

Люди вроде Фрэнсиса не способны постигнуть это тонкое различие, очень дорогое некоторым женщинам. Но он был счастлив — ведь она же сказала, что любит его! Может быть, потом когда-нибудь она в него и влюбится тоже.

Поэтому, когда он согласился на ее условие — не говорить о любви, — она согласилась продолжать время от времени позировать в обнаженном виде. Ей это нравилось. Позируя, она чувствовала, что живет полнее, богаче, а обожающий взгляд кузена согревал ее в местах, куда не доходило щедрое тепло его камина, — в местах, о существовании которых Чарли, судя по всему, и не подозревал.

— Кто учил вас рисовать?

Они сидели в одной из гостевых комнат Эксетер-колледжа, где остановился Сарацини, приехав на несколько дней в середине весеннего

семестра. Сарацини разглядывал принесенные Фрэнсисом наброски и законченные рисунки.

— Гарри Фернисс, надо полагать.

— Потрясающе! Похоже на то, но он умер… дай бог памяти… совершенно точно больше десяти лет назад!

— Я учился по его книге. «Рисование карандашом и пером». В детстве она была моей библией.

— Да, у вас его энергия, но не его стиль. У него стиль грубый, шутливый, добродушный, поверхностный.

— Конечно, я сейчас очень много копирую, да вы и сами видите. Я каждую неделю копирую рисунки старых мастеров в Эшмоловском музее. Пытаюсь схватить их манеру, а не только их сюжеты. Вы говорили, что делаете так, когда реставрируете картины.

— Да, но анатомии вы точно учились не у Фернисса… и не у старых мастеров.

— По правде сказать, я учился ей в бальзамировочной у похоронных дел мастера.

— Матерь Божья! В вас много такого, что сразу не увидишь.

— Надеюсь. То, что видно поверхностному взгляду, боюсь, не слишком впечатляет.

— Это говорит влюбленный. Несчастливо влюб-

ленный. Влюбленный в эту самую обнаженную натуру ваших рисунков, которые вы пытались мне подсунуть как копии старых мастеров.

Сарацини положил руку на стопку рисунков, изображающих Исмэй и стоивших Фрэнсису немалых трудов. Фрэнсис покрыл дорогую, ручной работы, бумагу цинковыми белилами, в которые подмешал коричневого болюса, чтобы придать бумаге цвет слоновой кости. На подготовленных таким образом листах бумаги он изобразил обнаженную Исмэй. Рисовал он серебряным карандашом, за который заплатил немалую сумму, и под конец наложил завершающие штрихи красной охрой.

— Я не хотел вас обмануть.

— О, меня вы не обманули… Хотя обманули бы многих.

— То есть я вообще не собирался никого обманывать. Просто хотел рисовать в подлинном стиле эпохи Возрождения.

— И вам это удалось. Вы восхитительно уловили их манеру. Но вот предмет ваш значительно менее удачен. Посмотрите на эту девушку: она — современная девушка. Об этом кричит каждая деталь ее тела. Она стройная, высокая для женщины, у нее длинные ноги. Это не женщина

Ренессанса. Одни только ступни уже выдают ее: это не большие ноги крестьянки и не изуродованные ступни богатой женщины. Понимаете, старые мастера, когда не копировали античные статуи, рисовали женщин, каких сегодня уже не бывает. Эта девушка — посмотрите на ее груди. Она никогда не будет вскармливать ребенка, а если и будет, то недолго. Но женщины Ренессанса кормили грудью, и тем, кто их рисовал, нравились огромные материнские вымена; стоило этим женщинам расстаться с невинностью, и они непрерывно кормили; к тридцати пяти годам их груди превращались в пустые мешки, свисающие до пояса. Их гениталии были изодраны постоянным деторождением, и, надо полагать, почти у всех был геморрой по той же причине. В ту эпоху старость приходила рано. Плоть, розовая и цветущая в восемнадцать лет, теряла упругость, и жир обвисал на костях, слишком мелких для того, чтобы его как следует поддерживать. А эта ваша девушка будет красавицей всю жизнь. И ее красоту вы запечатлели с нежностью, выдающей влюбленного… Я не претендую на дар ясновидения. Но вглядываться в картины — моя профессия. Нетрудно понять, что эта женщина — современная женщина, а отношение худож-

ника к модели всегда видно. Каждая картина заключает в себе несколько вещей: то, что видит художник, но также и его мнение об увиденном, поэтому каждая — в определенном смысле портрет самого художника. И в ваших рисунках все эти элементы присутствуют… Я вовсе не хочу сказать, что ваши рисунки плохи. Но почему вы тратите столько труда, чтобы подражать стилю эпохи Возрождения?

— Мне кажется, он гораздо лучше высказывает многое, что нельзя сказать, точнее, что мне не удается сказать современным стилем.

— Да, да, и еще для того, чтобы польстить натурщице — надеюсь, она это оценила — и показать, что для вас она превыше пространства и времени. Вы неплохо рисуете. В наше время искусство рисования не так любовно взращивают, как когда-то. Современный художник может быть хорошим рисовальщиком, но не очень ценит это умение. Вы же любите рисование ради него самого.

— Да. Возможно, это звучит слишком сильно, но я им одержим.

— Больше, чем цветом?

— Не знаю. По правде сказать, я мало работал с цветом.

— Если хотите, я могу посвятить вас в тайны цвета. Но мне хотелось бы знать, насколько хорошо вы на самом деле рисуете. Хотите, я вас испытаю?

— Я буду польщен, что вы сочли возможным потратить на меня время.

— Тратить время — еще одна существенная часть моего ремесла. У вас альбом при себе? Проведите, пожалуйста, линию с верха до низа листа. Я имею в виду прямую линию, от руки.

Фрэнсис повиновался.

— А теперь проведите такую же линию снизу доверху, абсолютно точно, чтобы две линии полностью совпали.

Это оказалось не так просто. В одном месте вторая линия чуточку отклонилась от первой.

— Ага, уже не так просто, а? Теперь проведите прямую поперек страницы, чтобы она пересекла первую линию, точнее, две слитые воедино. Так. Теперь проведите прямую через центральную точку, где эти линии пересекаются; проведите так, чтобы я не видел даже намека на треугольник в точке пересечения. Да, неплохо.

Далее Фрэнсису пришлось рисовать от руки окружности — по часовой стрелке и против, концентрические и эксцентрические в разных

сочетаниях. Все получилось — вполне достойно, но не идеально.

— Вам надо работать над этим, — сказал Сарацини. — Способности у вас есть, но вы не развили их в полную меру. Вы должны понимать, что это — фундамент рисования. Хотите последний экзамен? Он проверяет нечто большее, чем просто владение карандашом, а именно ваше умение чувствовать массу и пространство. Я буду сидеть тут, на стуле, как сидел все это время, а вы нарисуете меня настолько хорошо, насколько сумеете за пять минут. Но нарисуете так, словно сидите позади меня. Готовы?

К этому Фрэнсис был совершенно не готов, и ему показалось, что он не справился. Но, поглядев на рисунок, Сарацини засмеялся:

— Мистер Корниш, если вас когда-нибудь заинтересует моя профессия — а я вас уверяю, что она чрезвычайно интересна, — напишите мне или приезжайте со мной повидаться. Вот моя карточка; как видите, мой постоянный адрес — в Риме. Я там редко бываю, но, если вы напишете туда, я получу ваше письмо. В любом случае приезжайте в гости. Я вам покажу много разных интересных вещей.

— Вы хотите сказать, что я могу стать реставра-

тором? — спросил Фрэнсис.

— Да, безусловно можете, если поработаете со мной. Но я вижу, что для вас это не комплимент; это намек на то, что ваш талант — второго сорта. Ну что ж, вы спросили моего мнения, и вы его получите. Ваш талант — значительный, но не первосортный.

— Что со мной не так?

— Вам не хватает определенного рода энергии. Слишком слабый поток снизу. В этой стране найдутся десятки уважаемых художников, которые не умеют рисовать и вполовину так хорошо, как вы, и у которых гораздо менее острый глаз, но в их работе есть что-то неповторимое, даже если неподготовленному глазу она кажется грубой и глупой. У них энергия бьет из потрохов. Вы католик?

— Ну… в каком-то смысле да.

— Я мог и сам догадаться. Нужно либо быть католиком, либо не быть. Полукатолики не могут быть художниками, так же как полу- кто угодно еще. Всего доброго. Мы должны встретиться снова.

— Что тебе подарить на день рождения?

— Денег, пожалуйста.

— Но, Исмэй, деньги — это не подарок. Я хочу

подарить тебе что-нибудь ощутимое.

— А разве деньги неощутимы?

— Ты обещаешь купить на них что-нибудь такое, чего тебе по-настоящему хочется?

— А что я, по-твоему, буду с ними делать?

И Фрэнсис дал ей чек на десять фунтов. Когда через два дня Чарли явился к Бьюс-Боцарису с десятью фунтами на игру, Фрэнсиса немедленно охватили подозрения.

— Ты отдала Чарли те десять фунтов?

— Да. Он был без гроша.

— Но я подарил их тебе!

— Мы с Чарли верим в коллективное владение имуществом.

— Да? И чем же он делится с тобой?

— Какое ты имеешь право об этом спрашивать?

— Я тебя люблю! Черт побери все на свете! Я тебе уже сто раз говорил.

— Я думаю, привратник в экзаменационных залах тоже меня любит: у него глаза становятся как у барана, когда я с ним говорю. Но это не дает ему права допрашивать меня о моей личной жизни.

— Не говори глупостей.

— Хорошо, не буду. Ты думаешь, что я сплю с Чарли, так? А если и сплю — я не говорю, что

это так, — какое твое дело? Не слишком ли ты злоупотребляешь правами кузена?

— Дело не в кузенах.

— Помнишь, что ты сказал, когда я первый раз сюда пришла? «Вот те раз, моя кузина». Я тогда сказала, что найду эту цитату, и нашла. Попросила одного парня, он учит английскую литературу. Это из старинной пьесы: «Вот те раз, моя кузина, как ты не сообразила: у него таких мильен, ни в одну он не влюблен». Ты это имел в виду, да? Ты хочешь сказать, что я шлюха?

— Я такого никогда не слыхал; думал, это просто поговорка про чересчур напористых людей. Ты вела себя, и до сих пор ведешь себя, очень напористо. Но ты не шлюха. Конечно же ты не шлюха.

— Нет. Я не шлюха. Но у нас с Чарли гораздо более передовые воззрения, чем у тебя. У тебя бывают какие-то совершенно отсталые идеи. Пойми: я не потерплю с твоей стороны ни допросов, ни покровительства. Если ты этого хочешь, считай, что между нами все кончено.

Последовали извинения, протесты. Заверения в том, что он заботится о ней как влюбленный, — это ее рассмешило. Дорогой обед в «Джордже». После обеда она снова для него позировала; до того как они всерьез принялись за работу, Исмэй

приняла несколько развратных поз, доставила Фрэнсису немалые мучения и оттого страшно развеселилась. Когда она уходила, Фрэнсис дал ей еще один чек на десять фунтов — потому что он все-таки должен был что-то подарить именно ей («Нет-нет, ни в коем случае не давай их Чарли на игру, если его судьба тебе небезразлична, потому что это его погубит»).

Фрэнсис не знал, что Исмэй купила на эти деньги, потому что не смел ее спросить, а по выпискам из банка видел, что она так и не получила по чеку наличные. Конечно, она решила придержать чек, пока не найдет что-нибудь такое, чего ей по-настоящему захочется.

Фрэнсис начал понимать, чего от него нужно Бэзилу Бьюс-Боцарису. Тот всегда приглашал Фрэнсиса остаться поболтать после игры в карты, а так как они жили в одном доме, то Фрэнсису не нужно было уходить до полуночи; им не мешало правило, которое распространялось на всех студентов и аспирантов университета и требовало под угрозой исключения, чтобы они к полуночи возвращались домой — на квартиру или в колледж. Роскалнс тоже оставался, так как не имел отношения к университету, а следовательно, мог свободно приходить и уходить. К чему же

клонились эти разговоры?

Фрэнсис догадался задолго до того, как Бьюс-Боцарис понял, что он догадался. У князя (если он был князь) из Болгарии (если он был именно оттуда) были, как он сам выражался, передовые политические взгляды; не такие наивные, как у Чарли, но созвучные с ним. В тогдашнем Оксфорде было совсем не трудно говорить на эти темы; стайки студентов часто рассуждали о «поляризации» современной политической жизни. Демократия провалилась, и основанные на ней всевозможные формы правления могут пасть в любое время. Любой, у кого есть голова на плечах, понимает (хотя может не формулировать в явном виде), что он либо коммунист, либо фашист; а при наличии в голове мозгов выбор однозначен. Кто отказывается принять ту или другую сторону, тот «индифферентист»; он, несомненно, поплатится за свою глупость, когда настанет час расплаты. Бьюс-Боцарис знал, куда прыгнет лев.

Разумеется, этот политический лев не мог прыгнуть в сторону фашизма, буржуазной идеологии, возглавляемой людьми вроде Гитлера и Муссолини, желающими основать сильные нации — даже империи — на невозможном фундаменте той или иной разновидности капитализма. Шанс

на выживание имел только мир, движимый учением Маркса, — то есть мир, в котором основные доктрины Маркса отточены и выкованы методом проб и ошибок. И не пора ли любому, кто следит за львом, готовящимся к прыжку, встать на сторону силы, которая возглавит цивилизованный мир? Скорее всего, и десяти лет не пройдет, как это случится. Разве ускорение прогресса — не долг каждого интеллигентного человека?

Фрэнсис может быть полезен в этом деле. Возможно, даже очень полезен. Но пока он не принял твердого решения, Бьюс-Боцарис не может открыть, что именно ему придется делать. Бьюс-Боцарис видит многое — о да, он не просто студент, изучающий международное право, как может показаться со стороны. Он видит, что и Фрэнсис — молодой человек с необычными задатками. У Фрэнсиса есть деньги: это легко заметить, если знаешь, что такое деньги, а Бьюс-Боцарис знает. У Фрэнсиса есть неоценимое достоинство — канадское гражданство и канадский паспорт, они позволяют ему ездить почти всюду, не вызывая подозрений. Фрэнсис, конечно, знает, что канадские паспорта очень ценятся в мире международного шпионажа? Настоящий паспорт, который выдержит любые проверки, — это

прямо-таки дар богов. Если Фрэнсис захочет помогать, он будет чрезвычайно полезен, и, конечно, рано или поздно его полезность будет вознаграждена. Ну что, стало понятнее, о чем идет речь?

Фрэнсис признался, что смутно догадывается, о чем говорит Бьюс-Боцарис. Но эта идея ему совершенно в новинку. Ему нужно время подумать. Вау, такого ему никто никогда не предлагал. (Фрэнсис решил, что это «вау» — мастерский штрих, именно такого восклицания человек вроде Бьюс-Боцариса мог ожидать от канадца, которому открылись райские двери политических свершений.) Можно, они вернутся к этой теме чуть позже? Ему нужно все обдумать, а в таких делах он соображает медленно.

Конечно, сказал Бьюс-Боцарис, думай, сколько нужно.

Фрэнсис думал долго. Он не хотел нарушать свой обычный распорядок, чтобы не привлечь внимания болгарина, который, кажется, наблюдал за всеми его перемещениями. Поэтому он дождался пасхальных каникул, чтобы встретиться с полковником Копплстоуном и все ему рассказать. Они снова пошли обедать в «Атенеум». Фрэнсис понял, что полковник считает людный, шумный зал ресторана лучшим местом

для откровений. Два человека, которые склонились друг к другу через стол и тихо беседуют, не бросаются в глаза. Полковник выслушал рассказ Фрэнсиса.

— Да, мы знаем этого твоего болгарина, — сказал он. — Несерьезный человек. По правде сказать, он просто глуп. Таких много; у него нет ни важных контактов среди людей, о которых он говорит, ни реального влияния. Но он любит намекать, что очень влиятелен. Конечно, он презирает студенческие группы, которые явно исповедуют коммунистическую идеологию; он любит тайны, действия тихой сапой и прочие завлекательные подробности, окружающие шпионов высокого класса. Поверь мне, он не относится к их числу. По правде сказать, твой соотечественник гораздо интереснее. Такие горячие головы могут очень многое открыть своими действиями или попытками действовать — гораздо больше, чем они сами знают. Держи меня в курсе.

— Простите, что я не могу быть ничем полезен, — сказал Фрэнсис.

Это была его первая попытка показать, что он достоин «ремесла», и он жалел, что не смог разузнать ничего по-настоящему ценного.

— О, ты очень полезен, — возразил полковник. — Ты подтвердил кое-какие сведения, а это полезно. Моя работа в значительной степени состоит из обыденных мелочей. Не верь романам, в которых какой-нибудь замечательный герой в одиночку совершает великие подвиги.

— А что, замечательных героев на самом деле не бывает?

— Может, и бывают. Но гораздо больше людей, которые просто сидят тихо; тут заметят одно, там другое, подтвердят что-нибудь в пятнадцатый раз.

— А разве мой отец не был замечательным героем?

— Спроси у него. Я даже догадываюсь, что он ответит. Его величайшее достижение заключалось в том, что он перерабатывал и сопоставлял информацию, поступающую от десятков людей вроде тебя. Твой отец просто гений в том, что касается умения сложить два и два и получить четыре.

— Значит, я, скорее всего, буду еще долго заниматься тем же самым?

— Да, надо думать, довольно долго. Да.

— Значит, я вряд ли стану постоянным сотрудником?

— То есть на жалованье? Не выдумывай. Обеспеченным людям вроде тебя не платят за такую работу.

— Понятно. Видимо, это английская специфика. Я недавно говорил с главным куратором Эшмоловского музея — узнавал, нельзя ли мне устроиться туда работать после университета. А он первым делом спросил: «Есть ли у вас независимый доход?» Дядя Джек! А что, если ББВ предложит мне работу за деньги, — может, мне стоит взяться?

— Ни в коем случае, если ты не полный идиот. Он и не предложит, но, если вдруг это случится, сразу дай мне знать. Потому что тебе это никогда не сойдет с рук. Ты вовсе не так одинок и незаметен, как думаешь. Но что это ты беспокоишься о деньгах? Ты ведь не бедствуешь?

— Да, но, кажется, все думают, что меня можно поиметь задешево. Видят во мне только денежный мешок. Неужели я сам по себе ничего не стою?

— Стоишь, конечно. Иначе я бы сейчас с тобой не разговаривал. Но на нашем деле люди не богатеют. И ни один человек, хоть немного в нем замешанный — даже так неглубоко, как ты сейчас, — никогда не сможет полностью

освободиться. Неужели ты хоть на минуту мог подумать, что у этого твоего болгарина куча денег и он раздает их людям вроде тебя? Скорее всего, его держат компроматом, а это может быть очень неприятно. А ты продолжай делать то, что делаешь, и, если когда-нибудь настанет пора говорить о деньгах, я сам подниму эту тему.

— Простите, дядя Джек.

— Ничего страшного, забудь. Забудь — во всех смыслах этого слова.

Взгляд полковника удивил и отчасти смирил Фрэнсиса. Благодушный дядюшка вдруг проявил жесткость.

В Оксфорде шла четвертая неделя летнего семестра — Троицкого, как он звался исстари. Это была «неделя восьмерок» — лодочных гонок, в которых состязались команды колледжей. Колледж-победитель становился «хозяином реки». Фрэнсис, по примеру полковника Коппстоуна, завел очень важный разговор с Исмэй на открытом воздухе. Они удобно расположились на верхней палубе баржи «Тела Христова», в гомоне толпы болельщиков, ели клубнику со сливками и наблюдали за пыхтящими гребцами.

— Я получил странное письмо из своего банка пару дней назад.

— Мне из банка только такие и приходят.

— Меня это почему-то совсем не удивляет.

— На что ты намекаешь?

— Думаю, ты прекрасно знаешь на что. На чек, выписанный на твое имя, с моей подписью, на сумму сто пятьдесят фунтов.

Кажется, Исмэй попалась жесткая клубничина.

— Что они тебе написали?

— Попросили меня зайти посмотреть на этот чек и ответить на кое-какие вопросы.

— А что ты им сказал?

— Мы просто поговорили. Как банкир с клиентом.

— Фрэнк, послушай меня. Я положила этот чек к себе в банк, и этих денег у меня больше нет.

— Я так и думал. Ты отдала их Чарли, верно?

— Нам обязательно тут об этом говорить?

— А почему нет? Главное, не повышай голос, а если тебе нужно сказать что-нибудь особенно важное — говори шепотом, когда я закричу: «Давай-давай, молодцы!» Я тебя услышу. У меня прекрасный слух.

— О, ради бога, я серьезно с тобой разговариваю! Ты думаешь, я подделываю документы?

— Да. И если хочешь знать, я это уже давно за-

подозрил. Думаешь, я принял за чистую монету, когда ты вдруг начала восхищаться моим элегантным почерком и попросила тебя научить? Ты всю жизнь пишешь как курица лапой; если тебе вдруг вздумалось научиться каллиграфии, то лишь затем, чтобы писать, как я. Настолько, чтобы изменить сумму на чеке, например. А зачем это может быть нужно, а, маленькая мошенница?

— Почему в банке вообще тебя спросили?

— У всех банков есть соглашение с прокторами: если студент университета выписывает особенно большой чек, то банк обязан известить проктора. Таким образом они следят за азартными играми. Надо полагать, деньги пошли Бьюс-Боцарису в уплату долгов Чарли?

— Пойдут. Но пойми, Чарли угрожают!

— Кто, жирный князь? Не смеши меня.

— Нет, другие люди… настоящие бандиты. Фрэнк, Бьюс-Боцарис — жулик!

— Какой ужас! Жулики со всех сторон! Я дрожу от страха!

— Ради бога, отнесись к этому серьезно!

— Я совершенно серьезен. Эти гонки волнуют мою кровь. Слушай, как все кругом кричат: «Бэллиол, давай-давай!» Правда, волнительно?

— К Чарли приходили какие-то ужасные бандиты и угрожали ему! У них все долговые расписки, которые он давал Бьюс-Боцарису. Этот жирный пидор их продал!

— Не сквернословь. Эта баржа принадлежит колледжу Тела Христова, и нам следует уважать его святое имя. Тебя удивило, что ББББ продал расписки? Надо думать, ему срочно нужны были деньги и он загнал чужие долги со скидкой.

— Я никогда не слыхала ничего подобного!

— Еще услышишь, милая, еще услышишь. Когда продвинешься немного по стезе подделки документов, узнаешь много нового и удивительного. Говорят, тюрьма — это настоящая школа для начинающих преступников.

— Фрэнк, я тебя умоляю, не шути!

— Я зверски серьезен, да и как иначе, если дело касается большой суммы рыжья. Это, кстати говоря, выражение из воровского арго; ты скоро его освоишь.

— Что ты сказал в банке?

— Ну, раз они уже выдали деньги по чеку, я решил, что нет смысла ничего говорить. Они держались очень скромно — ну знаешь, как ведут себя банкиры, когда думают, что имеют дело с настоящим кутилой.

— Ты хочешь сказать, что ты им ничего не сказал?

— Как, посрамить мой банк? И твою аккуратную работу? Ты так замечательно преобразила мой подарок! Да разве в банке смогли бы потом глядеть мне в лицо, если бы я заявил, что это подделка?

— О Фрэнк, ты такой милый!

— Милый или полный лох?

— Ну… я просто не могла поступить иначе. Но я тебя отблагодарю, по-честному.

— По-честному, в самом деле? А что ты можешь делать по-честному? Переспать со мной?

— Ну, если ты хочешь.

— Ты знаешь, что хочу. Но не тогда, когда ты это делаешь за определенную цену — спасение шкуры Чарли. По-моему, это как-то убивает всю романтику. Хотя как посмотреть… «Женщина уступает домогательствам богатого поклонника, чтобы спасти честь своего возлюбленного». Неплохо, а? Только мне не нравится расстановка ролей: либо я буду любовником, а Чарли негодяем, либо спектакль отменяется. Не желаешь ли еще клубники?

Фрэнсис с нетерпением ждал визита к Бьюс-Боцарису. Эпоха Карлайлской школы, когда любая

оплеуха или пинок повергали Фрэнсиса в смятение и беспомощность, давно прошла; он был готов обойтись с жирным князем жестко, если понадобится. Кровь банкиров — Фрэнсис и не знал, что она у него есть, — кипела в жилах, и он собирался выручить свои деньги. Пообедав в колледже, он быстро покрыл небольшое расстояние до дома и постучал в знакомую дверь.

— Корниш? Рад тебя видеть. Давай я тебе налью чего-нибудь. Надо думать, ты решился наконец присоединиться к нашему делу? Можешь говорить свободно. Роскалнс — из наших. Сегодня не покерный вечер, так что никто больше не зайдет.

— Я пришел насчет долговых расписок, которые выдал тебе Чарли Фримэнтл.

— О, не беспокойся. Мы все уладили. Чарли честно расплатился.

— Как же! Ты загнал его расписки другим людям.

— Какая разница? Главное, Чарли уже ничего не должен.

— Нет, черт побери, должен. Чтобы расплатиться, он подделал мой чек. И эти сто пятьдесят фунтов я хочу получить с тебя.

— Сто пятьде… Слушай, Корниш, Чарли был мне

должен девяносто семь фунтов четырнадцать шиллингов и одиннадцать пенсов, и я этих денег еще не видел. Кстати, сборщики долгов должны зайти ко мне как раз сегодня. Неужто этот нехороший мальчик нарисовал чек на сто пятьдесят фунтов? Это как-то нечестно с его стороны, а?

— Да, а с твоей стороны было нечестно отдавать его расписки сборщикам долгов, как ты их называешь. Они вытрясут из Чарли сто пятьдесят фунтов, из которых ты предположительно получишь свои девяносто семь фунтов четырнадцать шиллингов и одиннадцать пенсов. Скажи мне, кто эти люди. Я собираюсь донести на них прокторам.

— Слушай, Корниш, не горячись. Ты этого не сделаешь. Есть же правила, неписаные правила среди джентльменов насчет долгов и прочего. Не ввязывать в дело прокторов — это, можно сказать, правило номер один. Конечно, самое первое правило — всегда плати долги.

— Но не моими же деньгами!

— А что, моими? Чего ты вообще ко мне пришел? Иди к Чарли, это он у нас нехороший мальчик.

— С ним я обязательно поговорю. Но меня нагрели на сто пятьдесят фунтов, и я думал, что тебе

уже заплатили.

— Ни гроша. Я же сказал, я жду. И я кое-что скажу этим сборщикам. Сто пятьдесят фунтов за девяносто семь! Возмутительно!

— Да, и торговать чужими долговыми расписками — тоже возмутительно. Почему ты сам не потребовал с него денег?

— О Корниш, не будь ребенком. Я занимаю определенное положение. Мне не пристало ходить по квартирам с засаленной книжечкой. Может, конечно, у вас так принято?

— Не твое дело, что у нас принято.

Разговор перешел бы в скандал, но тут кто-то постучал в дверь квартиры. Не будь Фрэнсис так занят перепалкой с болгарином, он услышал бы шарканье и шепот за дверью. Роскалнс пошел открывать, но, выглянув в щелку, попытался снова захлопнуть дверь и был отброшен назад, а в квартиру ворвались двое решительных мужчин. Обитатели Оксфорда разделяются на три общественных класса: разнообразные люди, которые учатся или работают в университете; не менее разнообразные люди, которые прислуживают первым или обслуживают их; и люди, вовсе не связанные с университетом, также весьма разнообразные, но на вид совершенно отличные от

первых двух категорий. Пришедшие явно относились к категории номер три.

— Слушайте, мистер Бьюсь-Базарюсь, так не пойдет. Ваш Фримэнтл смылся.

— Вы хотите сказать, что он исчез?

— Я это и сказал. Он смылся.

— Я не понимаю.

— Ладушки, я объясню. Мы к нему пришли, как было договорено, и он говорит, дайте мне чуток времени, я соберу деньги, а мы говорим, ладно, только никаких фокусов, ясно? Чтоб всю сумму, и наличными. Потому что уж мы-то знаем, как нечестно люди себя ведут, когда требуешь с них долги. И нам этого не надо. Так что мы приглядывали за его домом. Он приходил, уходил, все как обычно. В этом колледже, где он живет: в Новом колледже. Кажный раз, как мы спрашивали, привратник говорил: он у себя. Но эти ребята скажут чего угодно. Вчера мы его не увидели, тихонько поднялись к нему в комнату, и, короче, оказалось, что он смылся.

— Вы хотите сказать, что не можете мне заплатить?

— Что значит «заплатить»? Мистер Бьюсь-Базарюсь, мы дали вам полсотни за евойные расписки и договорились отдать остаток от суммы в де-

вяносто семь фунтов четырнадцать шиллингов одиннадцать пенсов, когда получим ее с Фримэнтла…

— Вы хотите сказать — когда получите с него сто пятьдесят фунтов, — перебил Бьюс-Боцарис.

— Это уже наше дело. Должны же мы что-то иметь за беспокойство? Но теперь нам придется попросить эти полсотни назад, раз нас нагрели.

— Но не я же вас нагрел!

— А это без разницы. Гоните деньги.

— Не выдумывайте.

— Слушайте, мистер Бьюсь-Базарюсь, мы не хотим поднимать шум, но либо вы сейчас заплатите, либо мой коллега вас немножко убедит.

Молчаливый коллега тихо кашлянул, прочищая горло, и стал разминать кисти рук, очень похоже на то, как это делают пианисты. Сборщик, который объяснялся с болгарином, впервые обратился к Фрэнсису:

— Вам, пожалуй, лучше уйти. Это наше частное дело.

— Мое тоже, — возразил Фрэнсис. — Мне и самому надо кое-что получить с Чарли.

— Это уже становится слишком сложно, — заявил сборщик. — Не век же нам тут сидеть. Ну-ка, мистер Бьюсь-Базарюсь, стойте смирно, а вы,

джентльмены, отойдите подальше, пока мой коллега его вежливо обыщет. Это не страшно, главное — не сопротивляться.

Коллега вежливо, но решительно двинулся к Бэзилу, вытянув перед собой руки, словно собирался его щекотать. Бьюс-Боцарис попятился в угол и потянулся рукой к карману пиджака.

— А ну без фокусов! — воскликнул говорливый сборщик.

Коллега же схватил руку Бэзила, которая дернулась кверху. Пистолет зацепился в кармане и выстрелил с грохотом, подобным пушечному. Бьюс-Боцарис заорал даже громче выстрела и упал на пол.

— Господи, он застрелился! — воскликнул сборщик.

— Яйца отстрелил! — отозвался молчаливый коллега, впервые открыв рот.

Сборщики рванулись к двери, пересекли узкий вестибюль, выбежали на улицу и скрылись.

В Оксфорде редко стреляют. Устав университета строго запрещает использование огнестрельного оружия. Не прошло и нескольких секунд, как на звук прибежали мистер Тасним Хан со второго этажа, мистер Уэстерби с третьего, мистер Колни-Оверэнд — сосед Бэзила по первому этажу, а

также домовладелец и принялись выкрикивать противоречащие друг другу советы. Фрэнсис дотащил Бьюс-Боцариса до кресла, усадил, и стало ясно, что болгарин прострелил себе ногу, но не очень серьезно.

Через полчаса Роскалнс увез раненого, который стонал, как рожающая корова, на такси в Рэдклиффский лазарет. Фрэнсис и домовладелец отправились на поиски прокторов, чтобы сделать заявление. В заявлении говорилось только то, что к болгарину пришли двое мужчин, потребовали денег — по-видимому, в связи с какой-то задолженностью; никто ни в кого не стрелял, а ранение было вызвано чистой случайностью. Младший проктор, который уже всякого повидал, поднял брови при слове «чистой», записал имена участников, предупредил Фрэнсиса, чтобы тот не покидал Оксфорд, пока идет дознание, и позвонил в больницу с распоряжением, чтобы Бьюс-Боцариса не выпускали, пока его не допросят.

Фрэнсис отправился в Леди-Маргарет-Холл, где ему удалось быстро поговорить с Исмэй, так как до закрытия ворот оставалось еще четверть часа.

— Да, Чарли смылся. Я знала, что он собирается.

— Куда?

— Наверно, я могу тебе сказать, раз он все равно не вернется и его не найдут. Он поехал в Испанию сражаться за правое дело.

— Какое же из них — правое?

— Республиканцев, конечно. Ты же знаешь Чарли.

— Ну… хорошо хоть ты не оказалась замешана. И не окажешься, если тебе хватит ума держать рот на замке.

— Спасибо, Фрэнк. Ты очень милый.

— Да, этого я и боюсь.

Может быть, «милый» и означало «простофиля», но Фрэнсис все же был вознагражден. Тетя Пруденс Глассон пригласила его провести две недели по окончании семестра в имении «Сент-Колумб», родовом гнезде Глассонов. В письме тети Пруденс говорилось, что они с Исмэй, кажется, подружились и семья будет рада видеть его у себя, так как прошло очень много времени с тех пор, как он гостил в соседнем Чигуиддене. Фрэнсис помнил, что в тот раз Глассоны не нашли нужным позвать его в гости, хотя Пруденс — сестра его отца, а ее мерзкие младшие дети постоянно виделись с Фрэнсисом и сочли его подходящей мишенью для травли. Но он не держал на них зла: слишком заманчивой была перспектива две

недели жить рядом с Исмэй, без Чарли и прочих отвлекающих ее прелестей Оксфорда.

Ужасные дети за это время стали намного сноснее. Две девочки, Исабель и Амабель, превратились в толстых, неуклюжих школьниц, которые мучительно краснели, когда Фрэнсис к ним обращался, а когда он напомнил им про змею в кровати — заерзали и захихикали. Родерик, их старший брат, уже семнадцатилетний, был явным продуктом Винчестера и, кажется, перешел сразу в состояние государственного мужа, минуя юношество; но Родерика почти не было видно, так как он почти все время готовился к экзамену на стипендию, который ему предстояло держать когда-нибудь в будущем. Так что буйный нрав, который Фрэнсис привык ассоциировать с кузенами Глассон, сохранился у одной Исмэй.

С матерью она разговаривала небрежно, словно не принимая ее в расчет, а с отцом постоянно спорила — из принципа. Надо сказать, что Родерик Глассон-старший действительно напрашивался на споры: он был той же политической окраски, что и дядюшка Артур Корниш, то есть его консерваторство было осторожным отзвуком былых лет. Правда, он не опускался до возгласов типа «Куда катится мир!», но часто произносил слово

«нынче» так, что сразу становилось ясно: от мира, который совершенно сошел с ума и даже забыл, как прекрасна была жизнь до 1914 года, ждать решительно нечего. Этот принцип распространялся в том числе и на женскую красоту.

— Жаль, что ты не видел свою мать, когда твой отец на ней женился, — сказал он Фрэнсису. — Невероятная красавица. Нынче такие женщины уже не родятся. Господь разбил форму, по которой их отливали.

— Вот это был бы номер, если бы он мог видеть свою мать, когда его отец на ней женился, — заметила Исмэй.

— Исмэй, милая, не цепляйся к каждому папиному слову, — сказала тетя Пруденс, и привычная семейная перебранка возобновилась.

— А почему люди не могут говорить попросту и вместо этого несут какую-то чушь?

— Ты прекрасно поняла, что я имел в виду, но тебе очень хочется показать, какая ты умная стала у себя в Оксфорде.

— Если ты не хотел, чтобы я стала умная в Оксфорде, зачем пилил меня, чтобы я получила эту несчастную стипендию? Лучше бы я осталась дома и изучала человеческую глупость. Вышло бы гораздо дешевле.

— Исмэй, ты уже слишком большая, и я не могу выгнать тебя из-за стола. Единственное, что мне остается, — это уйти самому. Фрэнсис, не желаешь ли сигару?

— Мы все равно уже все доели, и ты, папочка, совершенно зря изображаешь христианского мученика. Это не аргумент.

— Фрэнсис, я так хорошо помню свадьбу твоей матери! — сказала тетя Пруденс, выступая в роли миротворца. — Но кажется, у тебя был старший брат? Я припоминаю, что твой отец тогда написал нам из Швейцарии.

— Да, был старший брат, тоже Фрэнсис, но он умер.

Именно память о старшем Фрэнсисе смягчала мнение живого Фрэнсиса об Исмэй и ее родителях. В мире, где встречаются тайны вроде Лунатика, споры Глассонов казались мелочами. Как там у Вордсворта? Чуть слышная мелодия

людская, печальная… смирять и подчинять?[190] Да, что-то такое. Вездесущая, глубоко спрятанная скорбь. Нужно стараться понять, нужно сглаживать острые грани. Конечно, Фрэнсис был на стороне Исмэй, но не для того, чтобы сражаться. Ее родители — скучные, заурядные люди, а она слишком молода, слишком полна света и жизни, чтобы быть терпеливой. Наверное, ей никогда не приходилось проявлять терпение. Фрэнсис не знал, что его представление о семейной жизни почти совпадает со взглядами Шекспира: родители, если они не звезды вроде короля Лира, — второстепенные персонажи, мешающие, комические, не стоящие внимания. Один лишь Кориолан слушался своей матери, и вот видите, к чему это его привело!

Фрэнсис не думал о Шекспире, но легенда о Граале вновь завладела его душой. Он снова стоял

---

**[190] Примечания: 190**

*Как там у Вордсворта? Чуть слышная мелодия людская, печальная… смирять и подчинять?* — Перефразированная цитата из стихотворения У. Вордсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай», перев. В. Рогова:

*…но часто слышу*
*Чуть слышную мелодию людскую,*
*Печальную, без грубости, но в силах*
*Смирять и подчинять.*

на священной земле Корнуолла, и его страсть к Исмэй ложилась на сюжет истории Тристана и Изольды, а также другого, еще более первобытного и волшебного мифа.

Это, несомненно, была страсть. Фрэнсису было двадцать четыре года, так что он не страдал и не чах, как мальчишка. Но душа его болела и рвалась к Исмэй; он желал видеть ее счастливой и довольной жизнью. Он, как все влюбленные, верил без всяких на то оснований, что на его любовь ответят. Он так любил Исмэй, что она не могла не заразиться этой любовью. Он не думал о себе уничижительно, не считал, что у него чего-то не хватает по сравнению с другими молодыми людьми. Но при виде Исмэй во всем ее великолепии он смел надеяться лишь на позволение служить ей, посвятить жизнь ей и ее желаниям.

Исмэй все это знала, и то, что она позволила себя уговорить и согласилась провести с ним день в Тинтагеле, возможно, заслуживало удивления. Конечно, она как следует его помучила. Может, им стоит взять с собой Исабель и Амабель? Девочки нечасто выбираются из дому. Ведь нельзя быть эгоистами, правда? Но на этот раз Фрэнсис твердо решил быть эгоистом.

В день пикника выдалась хорошая погода — хо-

тя, поскольку речь шла о Корнуолле, не без дождя. Исмэй еще не бывала в Тинтагеле, и Фрэнсис без устали распространялся о его истории: замок Черного Принца, а до того — монастырь, выросший вокруг отшельнической обители святой Иулитты[191], а еще дальше, в тумане веков, — Артур, загадочная фигура пятого века, возможно последний хранитель римского порядка в Британии, захваченной дикими северянами, или даже лучше того — могучая фигура из валлийских легенд.

— Он что, тут жил? — спросила Исмэй, вроде бы мало-помалу поддаваясь атмосфере рассказа и духу места.

— Он тут родился, и зачали его тоже тут, чудесным образом.

— Почему чудесным образом?

— Его мать была принцесса неописуемой красоты, жена герцога Корнуолльского. Ее звали Игрейна. Великий кельтский военачальник и вождь Утер Пендрагон увидел ее, воспылал к ней желанием и не мог успокоиться. Он призвал на помощь волшебника Мерлина, и Мерлин окру-

**[191] Примечания: 191**

*Святая Иулитта* (Улита) — по преданию, римлянка, вдова, принявшая вместе с сыном Кириком мученическую кончину ок. 305 г. н. э. во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом (284–305). Иулитта и Кирик причислены к лику святых.

жил этот замок волшебным заклинанием, так что однажды, когда муж Игрейны был в отъезде, Утер смог явиться к ней в облике ее мужа и именно тут зачал удивительное дитя, ставшее впоследствии королем Артуром.

— А герцог так и не узнал?

— Герцогу не повезло: в ту же ночь, когда ему наставили рога, его еще и убили, хотя это сделал не один и тот же человек. Артура воспитал другой рыцарь, сэр Эктор, а наставником его был Мерлин.

— Повезло ему.

— Да. Но неужели вы этого не проходили в школе? Ведь ты корнуолльская девушка — корнуолльская принцесса.

— В школе у нас считалось, что мифы бывают только греческие.

— Они и в подметки не годятся великим нордическим и кельтским.

Так Фрэнсис начал плести заклинание, которое давно уже составлял мысленно, и так успешно, что Исмэй поддалась; она была нежней и послушней, чем когда-либо, и наконец на автомобильном пледе, под сенью развалин — возможно, замка Черного Принца, или древней обители братства святой Иулитты, или того самого зам-

ка, где зачали Артура, замка герцога Горлойса, ославленного в легенде рогоносцем, — отдалась Фрэнсису, и ему казалось, что мир прекрасен как никогда и не бывало в нем такого счастья со дней великой легенды.

На обратном пути к семейному автомобилю Глассонов, тоже похожему на остаток какой-нибудь древней легенды, Исмэй была молчалива и ступала как-то странно.

— Что-то не так?

— Ничего страшного. Просто под плед закатилась пара камешков. Знаешь, как в лимерике:

*Любил один парень в Тулоне*
*Подружку на каменном склоне.*
*Ей камни в филей*
*Впивались сильней —*
*От страсти ли бедная стонет?*

Фрэнсис так затерялся в роскошном счастье пережитого дня, что проглотил и это — как чувственную прямоту речи, подобающую кельтской принцессе века легенд.

Фрэнсис серьезно отнесся к совету Сарацини прекратить флиртовать с цветом и выяснить, что это на самом деле такое. Следовательно, он

должен был работать с масляными красками, с которыми никогда не имел дела, если не считать нескольких жалких попыток. Он знал, что начинать надо всерьез. Так что, покинув Корнуолл — уезжать не хотелось, но он знал, что оставаться сверх двух недель не следует, — и пользуясь летними каникулами, Фрэнсис направился в Париж и там почти каждый день работал в Академии Гранд-Шомьер — художественной школе, директором которой в то время был Отон Фриез. Фрэнсис покупал билет у привратника, приходил рано, сидел допоздна, перепортил кучу холстов, покрывая их грязным месивом из красок, и наконец научился воплощать в дело горстку принципов, которые по одному швырял ему Фриез — едва слышно и с явным презрением.

Всегда рисуй толстым по тонкому. Всегда клади теплые тона поверх холодных. Грунтовать надо краской, хорошенько разбавленной скипидаром, а потом — толстый слой цвета, смешанный с мастиксом или венецианским терпентином. Не размазывай сначала краску на палитре: свежая краска дает самый лучший эффект. Никогда не добавляй цвет поверх того же цвета. Всегда клади теплые тона поверх холодных; каждый последующий слой краски должен быть тоньше

предыдущего, и так до самого верха. Всегда толстым по тонкому. Сама простота — совсем как те несколько нот, которые Моцарт написал на обороте письма и дал своему ученику Зюсмайеру, чтобы объяснить, как надо сочинять музыку. Но следовать этим советам оказалось вовсе не так просто. От полного позора Фрэнсиса спасало умение рисовать. В мастерской было множество учеников, которые вовсе ничего не знали о рисовании; от их мольбертов Фриез отворачивался порой, бормоча: «Quelle horreur!»[192] Но Фриез нечасто заходил в мастерскую. Он давал совет и бросал ученика на произвол судьбы, чтобы тот боролся, пока не овладеет приемом или не сложит оружие. Фриез предоставлял ученикам место для работы, атмосферу, имя и изредка — ценные советы; и довольно.

После десяти недель тяжелой работы Фрэнсис решил, что заслужил каникулы, и отправился в Рим. Он хотел посмотреть город, а заодно выяснить, зачем Сарацини зазывал его в гости: из вежливости, или это было нечто большее?

Это оказалось нечто гораздо большее. Сарацини настоял, чтобы Фрэнсис остановился у него и

---

**[192] Примечания: 192**
«Какой ужас!» *(фр.)*

взял его в провожатые по великому городу. Места для гостей у Сарацини вполне хватало.

В квартире у него царила чудесная, роскошная неразбериха. В течение тридцати лет Танкред Сарацини не мог отказать себе, если подворачивалась возможность купить по дешевке или просто по сходной цене хорошую картину, предмет мебели, гобелен, вышивку или скульптуру, — а такое с ним случалось все время. Его квартира не походила на гнездо скряги: каждая вещь была прекрасна сама по себе, все вещи располагались со вкусом, эффектно, насколько позволяло свободное место. Но даже в большой квартире свободное место небесконечно, и, хотя Сарацини не желал этого признавать, предел вместимости его жилья был давно превышен. Общий эффект ошарашивал.

Почему ошарашивал? Потому что целое было значительно больше суммы частей. Коллекция была разнородная, но гармоничная — в ней воплотился вкус одного фанатика, блестящего, гениального ценителя искусств. Это был Сарацини, раздутый до огромных пропорций. Душа человека размером с дом.

Сама квартира была частью старого дворца и выходила на маленькую, некогда очаровательную площадь — посреди нее стоял фонтан,

играющий струйками воды. Но то было в дни, когда Рим еще не опустился, испорченный и изнасилованный автомобилями, подобно множеству других городов. Ныне маленькую площадь ежедневно набивали под завязку припаркованные машины; они приезжали и уезжали, наполняя вонью недвижный сентябрьский воздух. Фонтанчик еще играл, но его чаша была забита мусором и обертками от еды, а чистили ее очень редко. Поскольку наружный воздух был загажен выхлопами, Сарацини весьма логично отказывался открывать окна, и это никак не помогало развеять гнетущее впечатление от его жилища. Оно в буквальном смысле хранило атмосферу вчерашнего дня.

Сарацини жил один. Каждое утро в квартиру приходила женщина и убиралась, насколько он позволял; пыль с предметов искусства он вытирал сам и сам же полировал то, что требовало полировки. Да, он был когда-то женат — на очаровательной английской даме, которая в конце концов решила, что больше не может так жить, и они расстались друзьями. «Танкредо, — сказала она, — ты должен принять решение: коллекция или я?» Он думал недолго. «Дорогая, — сказал он, — коллекция вечна, а ты, как ни больно мне

это говорить, пленница времени». Она засмеялась так дивно, что он почти передумал, но в конце концов удержался. Замечательная женщина! Они встречались — это были дивные встречи — каждый раз, когда он приезжал в Англию. У Сарацини была еще и дочь — счастливо замужем во Флоренции, где он ее время от времени навещал. Ее никак не удавалось заманить в эту квартиру — даже ненадолго.

Сарацини философски относился к одиночеству. Он сделал свой выбор. Если уж приходится выбирать между искусством и человеческими отношениями — искусство, конечно, важнее.

Он был гостеприимнейшим хозяином. Он водил Фрэнсиса по всему городу и показывал ему то, чего не увидел бы и самый привилегированный турист. Нельзя сказать, что двери Ватикана с грохотом распахнулись им навстречу, — на самом деле они неслышно, медленно приоткрылись, поворачиваясь на хорошо смазанных петлях, — но мало какая дверь не открывалась перед Сарацини. Они побывали в кардинальских дворцах, куда не допускали публику, но где дворецкие знали Сарацини как особо важного друга дома. И в великом множестве церквей, часовен и дворцов Сарацини скромно замечал, что такой-то шедевр

живописи вновь обрел свою красоту лишь благодаря реставрации, проведенной им лично.

— Вы ремонтируете Ренессанс, — пошутил однажды Фрэнсис.

Но Сарацини воспринял его слова всерьез.

— Да, — сказал он. — Это задача, к которой я отношусь очень серьезно. Но то, что я делаю, нельзя назвать ремонтом. Скорее — восстановлением. Эта работа требует особых знаний и методов. Если хотите их перенять, приходите работать со мной. — И он взглянул Фрэнсису в глаза, словно подталкивая.

— Дайте мне сперва окончить учебу. Я уже два года отучился, теперь жалко бросать. Остался третий год. И тогда, если вы готовы меня принять…

— К тому времени я начну заниматься одной очень большой и сложной задачей. Частной коллекцией, которой позволили прийти в совершеннейший упадок. Но я думаю, что большую часть удастся восстановить. Мне нужен будет помощник. Я обещаю, что вы многому научитесь.

— Мне всему надо учиться. Работая в Париже, я понял, что совершенно никуда не гожусь как живописец.

— Нет-нет-нет, вы научились основам, и нужно время, чтобы они проявились в вашей работе.

Все то, что вы мне рассказывали, — толстое по тонкому и так далее — очень хорошо, но вы это делали с современными красками. Если станете моим учеником, вам придется научиться делать то же самое со старинными красками: в каком-то отношении это труднее, в других — легче.

— Со старинными красками? А откуда они берутся?

— Я сам их делаю. Как делали старые мастера. Они, знаете ли, не покупали краску в магазине. Они делали ее сами, и очень большая часть моей работы состоит в том, чтобы выяснить, какую именно краску они использовали и ее состав. Вы знаете, что Николас Хиллиард в своих роскошных елизаветинских миниатюрах использовал ушную серу? Что такое ушная сера, тщательно собранная из тысяч ушей? Я знаю. Весь секрет — в химии. Нельзя отреставрировать старинную картину красками, непохожими на те, которыми она была написана. А когда вы это сделаете… Впрочем, вы сами увидите, что будет дальше… что должно быть дальше, если реставрация — это реставрация, а не просто халтура.

По ночам они сидели в роскошной квартире и потягивали шотландский виски — любимый напиток Сарацини. Под хмельком Фрэнсис заго-

варивал о собственных вкусах. Он страдал из-за того, что, несмотря на все усилия, старинная живопись по-прежнему нравилась ему больше современной. Что же он тогда такое? Как он может надеяться стать художником, даже самым скромным, если живет и чувствует не в лад с собственной эпохой? Если картины, которыми он одержим, не современны ни техникой, ни стилем? Взять, например, Бронзино…

— А, Бронзино! Так называемая «Аллегория любви». Интересно, кто дал ей такое невыразительное название? Эта картина вовсе не о любви в ее высшей точке, но о роскоши, о наслаждении всех чувств. Несмотря на эротическое великолепие и напоминание о чувственных удовольствиях, это глубоко моральная картина. Старые мастера были выдающимися моралистами, знаете ли, даже такой человек, как Анджело Бронзино, которого многие недалекие критики называли холодным и бессердечным художником. Вы, конечно, уловили мораль, стоящую за этой картиной?

— Я разглядывал ее буквально часами, и чем больше смотрел, тем меньше понимал.

— Значит, посмотрите еще раз. Ведь вы когда-то получили награду за изучение античной

литературы!

— Это на самом деле не античная тема. Да, главные персонажи — Венера и Купидон, но они не делают ничего такого, что можно было бы соотнести хоть с одним известным мне классическим произведением.

— Вы должны понимать классику так, как ее понимали в эпоху Возрождения, а не так, как ее понимают в средней школе. Вы должны проникнуть в мир Античности — а он вовсе не мертв, уверяю вас: классическая мораль, классические чувства. Венера соблазняет своего сына Купидона, чтобы он выказал отнюдь не сыновнюю любовь. Разве не так же поступают многие матери? После Фрейда на светских вечеринках стало модно болтать про эдипов комплекс, то есть любовь сына к матери; но кто рискнет заговорить о роли матери в этом деле? Скажите начистоту: ваша мать, чью красоту вы неоднократно превозносили в разговорах со мной, — неужели она никогда с вами не флиртовала? Никогда не дарила вам ласку, которую трудно было бы назвать материнской?

— Она никогда не засовывала язык мне в рот и не поощряла играть со своими грудями, если вы об этом.

— Да, но возможность… неужели такая возможность никогда не возникала? Может быть, вы распознали бы ее, будь вы язычником, жадным до наслаждений, а не христианином, запуганным религией до потери рассудка?

— Маэстро, боюсь, я утерял нить ваших рассуждений.

— Я порой об этом думаю. Фрейд начал все эти разговоры про отцов, которые возбуждают эротические чувства в дочерях, но никто не говорит о матерях, которые то же самое делают с сыновьями. Неужели дело и впрямь обстоит так… односторонне?

— Там, где я рос, инцест не был редкостью. Я знал одного парня — сына лесоруба, погибшего на лесоповале. Этот парень с двенадцати лет был вынужден удовлетворять свою мать, вынь да положь, пять раз в неделю. Когда я последний раз о нем слыхал, у него было двое братьев, которые, скорей всего, приходились ему сыновьями. Он так и не женился, — видно, необходимости не было. Впрочем, эти люди жили в условиях, которые люди эпохи Возрождения назвали бы крайне примитивными.

— Не решайте за людей эпохи Возрождения. Но я говорю о возможностях, а не о свершившихся

фактах. Возможности — это такие штуки, которые плавают в воздухе и никогда не опускаются на землю, и они бывают чрезвычайно сильны. Привилегия художника в том, что он может поймать их и превратить в картины, и такие картины бывают самыми сильными. Что есть изображение Мадонны — каких мы видели множество за прошедшую неделю, — как не портрет матери с сыном?

— Святой Матери и Сына Божьего.

— В мире мифов и искусства все матери святы, потому что именно так мы их воспринимаем в глубинах сердца. Нет, не сердца; современные люди только думают, что чувствуют сердцем. В эпоху Возрождения сказали бы «в глубинах печени». А на самом деле — кишок. Поклонение Матери — реальной или мифической — всегда идет из кишок. Вы никогда не задавались вопросом: почему на столь многих картинах Иосиф, земной отец, выглядит таким болваном? На самые лучшие картины его вообще не допустили. А это, Фрэнсис, один из не высказанных словом краеугольных камней нашей могучей веры: любовная связь Сына и Матери. Если верить Писанию, ни одна женщина никогда не оспаривала ее единоличной власти. Но в этих мадоннах нет

ничего явно эротического. А у Бронзино — есть; в своей картине он сбросил цепи христианства и показал истину как она есть — отвергнутую, презираемую любовь… Вы когда-нибудь смотрели на эту картину по-настоящему? Вы оценили мастерство художника, но поняли ли вы, о чем он говорит? Венера держит яблоко в одной руке и стрелу в другой. То есть она говорит: я соблазняю тебя и собираюсь тебя ранить. А посмотрите на фигуры заднего плана: за Купидоном — полубезумная Ревность, она так явно говорит об отчаянии, об отвергнутой и презираемой любви; малыш Наслаждение собирается осыпать участников любовной игры розовыми лепестками — но видите у его ног шипы и маски, символизирующие ложь и иллюзии мира, меченные горечью старости? А кто это стоит за смеющимся Наслаждением? Задумчивое, привлекательное лицо… богатый наряд почти скрывает львиные лапы и жало змеи… руки преподносят медовые соты и одновременно с ними — нечто ужасное. Это, должно быть, Обман — по-латыни *fraude,* — который так ловко превращает любовь в безумие. А кто эти старик и молодая женщина в верхней части картины? Конечно, это Время и Истина; они отдергивают занавес, показывая миру, что

такое на самом деле любовь. Время — и его дочь Истина. Не правда ли, эта картина исполнена высокой морали?

— В вашей интерпретации — несомненно. А так как я ни разу не слышал никакой другой интерпретации, то не могу спорить. Но мне страшно думать, что Бронзино так видел любовь.

— И неудивительно. Но вы знаете, на самом деле он вовсе не так ее видел. Эта картина, которая так зачаровала вас в Национальной галерее, была лишь половиной замысла. Целостное произведение замышлялось как два гобелена. Один из них был закончен и хранится во Флоренции, в галерее Арацци. Он называется «Невинность». На нем изображена Невинность, которой угрожают пес (символизирующий Зависть), лев (Ярость), волк (Жадность) и змея (Предательство), а защищает ее грозная Справедливость, женская фигура с могучим мечом; и мы снова видим Время — с песочными часами и с крыльями (ибо Время летит, как известно каждой мартышке); старик Время сбрасывает плащ с обнаженной девушки — это, конечно, его дочь Истина. Так что на самом деле эти картины должны называться «Аллегории Истины и Роскоши», и они — великолепные проповеди эпохи Возрождения. Вместе они по-

вествуют нам многое о жизни и любви, как их видел христианский разум, освеженный новым прикосновением к античности.

— Маэстро, вы мне ужасно напоминаете мою дорогую тетушку Мэри-Бен. Она всегда утверждала, что картины рассказывают истории и что в них заключены моральные уроки. Но видели бы вы картины, которые она использовала в доказательство!

— Я совершенно уверен, что видел многие из них. Их мораль принадлежит определенной эпохе, а истории, которые они рассказывают, — сладкие и красивые, созданные для людей, которым нужно слащавое, красивое, ограниченное искусство. Но эти картины принадлежат древней традиции, совершенно отличной и от бесчисленных пейзажей с фигурами, и от абстрактных узоров, нарисованных людьми, не желающими говорить никому ничего, за исключением того, что они увидели внутри себя и облекли в легкоусвояемую форму. Но от традиции, которую, хоть и по-разному, уважаем мы с вашей тетушкой, отмахнуться не так просто; и работы, выполненные в этой традиции, нельзя разбирать так, словно они принадлежат другой традиции, полностью объективной. Если вам есть что сказать и вы это

говорите в меру своих сил — тут нет ничего плохого, даже если вы художник. Этим занимаются лучшие современные художники. Например, в голову приходит Пикассо. Подумайте о Пикассо.

Но Фрэнсис больше не мог думать о Пикассо и вообще о чем-либо, кроме непосредственных житейских забот, когда прочитал письмо, переправленное из колледжа и настигшее его за два дня до возвращения в Англию.

> Дорогой Фрэнк!
>
> Спешу обрадовать: я залетела, сомнений нет никаких. Уже два месяца. Я хотела скрыть эту интересную новость от родителей до твоего возвращения в Англию, но у меня не получилось. Нет, я не ввалилась домой босиком и с узлами, как Тэсс из рода д'Эрбервиллей[193], но меня выдало то, что я упорно блевала каждое утро как по часам. Последовали долгие семейные советы, папа произносил пространные мрачные речи, маман рыдала, и в конце концов встал вопрос: что делать?

---

**[193] Примечания: 193**

*...я не ввалилась домой босиком и с узлами, как Тэсс из рода д'Эрбервиллей...* — «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» — роман Томаса Гарди, опубликован в 1891 г.

Я сказала, что съезжу в Лондон, чтобы какой-нибудь умелый доктор отправил этого маленького оккупанта туда, где раки зимуют, но предки подняли ужасный крик. Папа – церковный староста и очень серьезно к этому относится. Им подавай свадьбу. Но не падай в обморок. Они вовсе не считают тебя черным матерым бараном, покрывшим их белую овечку. (Это из Шекспира.)[194] Они даже пару раз ехидно намекнули, что овечка, пожалуй, была и сама не прочь. Нет, они считают тебя весьма желательной партией (как говорили в дни молодости маман). Когда я сказала, что ты, может быть, вовсе и не жаждешь на мне жениться, они заявили, что кровь не вода (еще бы, она гораздо сильнее пачкается), и мы с тобой кузены (в других кругах это, пожалуй, было бы доводом против, а не за), и этот брак желателен во множестве других отношений, а

**[194] Примечания: 194**

*…черным матерым бараном, покрывшим их белую овечку.* — Перефразированная цитата из трагедии У. Шекспира «Отелло», акт 1, сц. 1, перев. М. Лозинского:

> *…вашу белую овечку*
> *Там кроет черный матерой баран.*

не только как средство сохранить лицо. Как ты уже догадался, у Глассонов очень много лица, которое приходится сохранять, и чертовски мало всего остального. Так что ты скажешь? Не теряй времени. Подумай хорошенько и дай мне знать. Если ты поддерживаешь мой план, то все нужно делать быстро.

***Целую и все такое,***
***Исмэй***

Фрэнсис поразмыслил на протяжении утра и дал телеграмму:

ГОТОВЬТЕСЬ СВАДЬБЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ТЧК БУДУ
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЦЕЛУЮ ВСЕХ

***ФРЭНК***

Энтузиазм, звучащий в телеграмме, был неискренним. Фрэнсису вовсе не хотелось жениться на Исмэй — да и ни на ком другом тоже. Он понял: на самом деле он хочет быть влюбленным, но вовсе не хочет связывать себя узами брака, о которых у него сложилось не слишком приятное впечатление. Против аборта возражала его неумолимая совесть католика при поддержке

равно неумолимой совести кальвиниста, взращенной в нем Викторией Камерон. Как это могло случиться? Почему он не принял мер предосторожности? Разгадка была в том, что он счел меры предосторожности неромантичными, а с Исмэй в Тинтагеле все должно было происходить максимально романтичным образом. «У стоячего хера совести нет» — эту суровую мудрость он впервые услыхал в Колборн-колледже. Он не сомневался, что Глассоны смотрят на дело именно таким образом. Он просто не смог бы объяснить им, что сам видел происшедшее в совершенно ином свете, и к тому же это ничего не меняло. Что же делать? Фрэнсису ни на минуту не пришло в голову бросить Исмэй в беде, не говоря уже о том, что в этом случае Глассоны и его собственные родители достанут его из-под земли и убьют. Его карьера — насчет которой у него не было твердых планов, а только масштабные, туманные ожидания — будет погублена, ибо Исмэй вписывалась в картину будущего только в роли Идеальной Возлюбленной, но никак не в роли жены и матери. Он намеревался стать рыцарем Грааля, который скитается в поисках приключений и лишь время от времени возвращается к своей даме. Эти мысли снова и снова крутились у него в голове, и в

конце концов он услышал неприятный голосок совести, который шептал, что Фрэнсис на самом деле большой глупец, особенно для двадцатишестилетнего молодого человека с репутацией умника.

Перспектива встречи с Глассонами в новом качестве гораздо больше пугала Фрэнсиса, чем воссоединение с беременной Исмэй. Ни тогда, ни потом ему так и не удалось полностью изгнать дух доктора Аппера, и в глубине души Фрэнсис был уверен, что совершил нечто грязное и, несомненно, будет справедливо наказан. Но по прибытии на ближайшую к «Сент-Колумбу» железнодорожную станцию он увидел отца и мать Глассон, которые приветствовали его с небывалой теплотой; самой трудной задачей, выпавшей на его долю, было поцеловать Исмэй тут же на перроне в правильном духе — как признанный и одобренный ухажер, а не как удачливый соблазнитель. О том, что было у всех на уме, никто не сказал ни слова до той минуты, когда окончилось чаепитие и Родерик Глассон с чудовищной непринужденностью предложил Фрэнсису пойти пройтись.

Все, что говорилось на этой прогулке, потом было повторено неоднократно, и намерения с

каждым разом становились яснее. Очень жаль, что дело приняло несколько преждевременный оборот, но Фрэнсис, конечно, понимает: нынче на дворе 1935 год, а не темные века Викторианской эпохи. Если подойти к делу с умом, то все будет хорошо. Свадьба состоится через две недели с небольшим; первое оглашение в приходской церкви уже было. Свадьба будет очень скромная — человек шестьдесят-семьдесят, не больше. Потом Исмэй и Фрэнсис поедут куда-нибудь в длительное свадебное путешествие, а когда вернутся с ребенком — через год или около того, — все будет шито-крыто. Да и кому какое дело, кроме семьи?

Фрэнсис помнил, что такой эпизод уже был в семейной истории, но Родерик Глассон, конечно, не мог знать, почему его слова обдали холодом сердце будущего зятя. Это Виктория Камерон рассказала Фрэнсису, что именно из такого свадебного путешествия его родители привезли Лунатика. Боже! А вдруг ребенок окажется таким же страшилищем? Вдруг Фрэнсис носит это темное наследство в себе? Рассудок говорил, что это, скорее всего, не так, но характерная для Фрэнсиса склонность к мифологическому мышлению твердо поставила рассудок на место. Быть может,

Лунатик — это кара за что-нибудь? Фрэнсис не осмеливался задать себе вопрос — за что; он был совершенно уверен, что его родители никогда бы не оступились так, как они с Исмэй. Все, что он знал о своих родителях, подтверждало немыслимость такого предположения. Да и вообще, он не сомневался, что он — истинный сын своего отца; семейное лицо было самым веским доказательством. Видно, с Лунатиком просто не повезло. Но какого рода это невезение?

Эта мучительная каша догадок, иррациональных, беспорядочных, суеверных, была как нельзя более осязаемой. А как понять телеграмму, которая пришла из Канады?

ПОЛУЧИЛИ НОВОСТИ РОДЕРИКА ЦЕЛУЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ НЕ МОЖЕМ ПРИСУТСТВОВАТЬ
СВАДЬБЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БУДЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН
ЛЮБЫМИ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ДЕНЬГАХ

***ОТЕЦ***

Распоряжения о деньгах? Разговоры о чем-то подобном уже были. Во время другой прогулки Родерик объяснил, что Глассоны, как и все остальные землевладельцы, находятся в стесненном

положении. Дохода от арендаторов не хватает на покрытие расходов, налоги просто душат, а возделывать землю невозможно без крупных затрат на механизацию. Имение требует новых капиталовложений, иначе придется продать большую часть родовых земель Глассонов. Хотя и продажа земель позволит лишь на время заткнуть дыры. Родерик отважно заглянул в будущее и увидел только одну надежду для «Сент-Колумба» и всех семейных угодий — новые деньги. Либо семья получит существенные вливания капитала, либо… либо в конце концов ей грозит разорение.

Фрэнсис никогда не подумывал о сельском хозяйстве? Нет, Фрэнсис об этом никогда не подумывал. Вряд ли он захочет стать землевладельцем и фермером.

Родерик засмеялся — почти музыкально. Об этом и речи быть не может. Имение перейдет к Родерику-младшему, единственному сыну. Не то чтобы это предписывалось законом, но так всегда было и всегда будет. Однако юный Родерик твердо намерен делать карьеру в Уайтхолле, и у него к этому явные способности. Но если — только предположим — Исмэй и Фрэнсис поселятся во флигеле, очень приличном, на территории усадьбы, а Родерик и Пруденс будут по-прежнему жить

в большом доме, пока наконец обстоятельства не заставят их уйти на покой (тут Родерик с искусством неумелого актера изобразил мужественное приятие судьбы, старости и смерти), тогда имение можно будет полностью рефинансировать, а семейные владения — Фрэнсис и сейчас кузен, а скоро станет вдвойне родственником — оживить наилучшим возможным образом. Насчет хозяйства Фрэнсису вовсе не придется беспокоиться: Родерик знает сельское хозяйство как свои пять пальцев и, кроме того, в усадьбе есть отличный управляющий, который при наличии нужных средств сделает из хозяйства конфетку, не успеем мы и глазом моргнуть. Со временем вернется Родерик-младший, — впрочем, он и так не будет терять связи с «Сент-Колумбом». Фрэнсис же сможет заниматься чем угодно. Рисовать, если хочет. Возиться с корнуолльской историей и легендами, если это ему по душе. Он будет — кажется, это так называется — пассивным партнером. Впрочем, Родерик не объяснил, что именно в итоге получит пассивный партнер, кроме морального удовлетворения.

До Фрэнсиса медленно начало доходить. Вот почему Глассоны так философски отнеслись к падению Исмэй, хотя могли бы поднять ужасный

шум. Цена Исмэй составляла один миллион канадских долларов плюс накопившиеся проценты, поскольку Фрэнсис не тратил свой доход полностью. Конечно, Глассоны знали о его деньгах: чигуидденские Корниши наверняка сплетничали и, по всей вероятности, преувеличивали. Миллион канадских долларов — это существенно больше двухсот тысяч фунтов: для людей вроде Глассонов — необъятное богатство.

Но это лишь меньшая часть цены, которую он должен заплатить. Главная часть — пожизненное рабство во флигеле, на который падает тень «Сент-Колумба» и тень Чигуиддена, и свобода рисовать и грезить о мифах, если он настолько глуп. Но такой судьбы можно избежать: Глассонам не удастся поймать его в ловушку. Нет, Фрэнсис честно все обдумал, не жалея себя, и признал, что деньги для него важнее. Он был вынужден прийти к позорному для себя выводу, что хочет Исмэй, но цена его не устраивает.

Но все же, как говорил дедушка Макрори, твои деньги никто не забрал, пока они у тебя в кармане. Родерик Глассон, по-видимому, ожидал, что ему по частям передадут всю сумму. Фрэнсис объяснил: самое большее, на что он способен и что может сейчас обещать, — четыре тысячи

фунтов ежеквартально в течение первого года. Это была неправда: помимо кругленькой суммы, завещанной дедом, Фрэнсис вместе с матерью и тетками получал солидный доход от состояния, помещенного в доверительное управление. То были сами по себе неплохие деньги. Но, сидя у себя в спальне за расчетами, Фрэнсис с удивлением понял, до чего любит деньги и как не хочет расставаться даже с малой их долей. Когда Фрэнсис выложил дяде свои условия, у того вытянулось лицо. Но, не имея возможности узнать, сколько у Фрэнсиса денег на самом деле, дядя вынужден был довольствоваться этим. Фрэнсис заметил также, что ему придется оплачивать длительное пребывание Исмэй и, вероятно, тети Пруденс где-нибудь в Европе и это тоже ляжет бременем на его бюджет. Он объяснил, что тратить капитал ни в коем случае нельзя. Родерик при этих словах мудро покивал: он прекрасно знал, что собственный капитал потратил почти полностью и именно потому попал в столь плачевное положение. Но дядя был преисполнен оптимизма: кто знает, может быть, по прошествии года все будет совсем по-другому.

«Исмэй и тетю Пруденс где-нибудь в Европе», — повторил Родерик, когда до него дошло. Но где

же будет сам Фрэнсис? В Оксфорде, ответил Фрэнсис. Он твердо намерен получить диплом, а ему остался еще один год. Но зачем Фрэнсису диплом? Деревенскому джентльмену он совершенно ни к чему. У самого Родерика нет никакого диплома: когда он унаследовал «Сент-Колумб» со всеми его бедами и радостями, он уволился с флота и начал хозяйствовать — и никогда не страдал от недостатка образования. Тут в их вежливую перепалку встряла Исмэй: она тоже хотела окончить учебу и получить какую-нибудь печать — знак высшего образования. Фрэнсис и об этом успел подумать. Вернуться в Оксфорд она, конечно, не сможет: там не любили замужних студенток, более того — просто не допускали их к учебе, что вполне понятно. Но она могла поехать на континент, прекрасно изучать современные языки в Лозанне, а жить поблизости, в Монтрё; континентальные университеты, в отличие от Оксфорда, не особенно интересовались личной жизнью своих студентов. Пребывание за границей позволит скрыть то, что ребенок родится прежде времени, а это тоже немаловажно. Платить за все будет Фрэнсис — в пределах разумного.

— Ты все продумал, а? — сказала Исмэй, когда родителей не было поблизости. — Разбил их по

всем позициям! — В ее голосе звучало восхищение.

— Это кратковременный план, но он дает нам год, чтобы подумать и решить, что делать дальше. Я не хочу застрять тут и стать «Фрэнсисом Корнишем, чьи нежные, тонкие пейзажи продолжают традицию Б. У. Лидера».

На самом деле Фрэнсис думал о «ремесле». Он не рассказал Исмэй о своей работе на полковника и твердо решил не рассказывать без крайней необходимости. В его уме и сердце Исмэй Желанную сменила Исмэй Обетованная (чтобы не сказать Неизбежная), а в его жизни были вещи, о которых ей незачем знать. Она была не болтуньей, а гораздо хуже: обожала отпускать намеки. Ей нравилось возбуждать чужое любопытство и подогревать догадки об опасном и запретном.

Все эти семейные переговоры происходили по вечерам, после утомительного дня, потраченного тетей Пруденс и, в меньшей степени, дядей Родериком на приготовления к свадьбе. Столько дел! И такой скромный бюджет — ибо Глассоны заявили, что жениху ни в коем случае нельзя оплачивать свадебные расходы, даже частично: это не принято и, более того, может оказаться плохой приметой. Глассоны получали огромное

удовольствие от приготовлений и каждый вечер объявляли во всеуслышание, что еще одного такого дня просто не выдержат.

За два дня до свадьбы, вечером, Исмэй и Фрэнсис сбежали от шума и гама и пошли прогуляться в сумерках по проселочной дороге. Небо над ними темнело, и его цвет напомнил Фрэнсису плащ, который Время и Истина так удачно разворачивали в «Аллегории» Бронзино.

— Ты чувствуешь, что тебя загнали в ловушку, да? — спросила Исмэй.

— А ты?

— Я — да, но моя ловушка — физическая. Ребенок. Мне придется через это пройти, прежде чем я смогу заниматься чем-то еще. Но ты в этом смысле свободен.

— Да, но меня связывает долг. Неужели ты не видишь? Конечно, помимо того, что я тебя люблю и хочу на тебе жениться.

— О Фрэнк, не будь таким болваном! Мне просто страшно подумать, как тебя воспитывали. У тебя еще есть шанс.

— Какой?

— Смыться, конечно.

— И бросить тебя? Сейчас?

— Некоторые так делают.

— Только не я. Я бы чувствовал себя последней сволочью.

— Не думаю.

— Может, и нет. Но я думаю, что да.

— Ну хорошо, суженый-ряженый. Как говорится, это твои похороны.

— Не могу поверить, что ты считаешь меня способным на такое.

— Ну что ж, потом не жалуйся.

— Ты крепкий орешек, Исмэй.

— Совсем не похожа на кельтскую принцессу из твоих грез? Может быть, я гораздо больше похожа на настоящую кельтскую принцессу, чем ты думаешь. Судя по тому, что я о них знаю, среди них попадались очень крепкие орешки.

На свадьбу съехались соседи со всех концов: деревенские семьи, мелкие лавочники, арендаторы Глассонов (управляющий заставил их преподнести новобрачным часы для каминной полки, с гравированной надписью вполне феодального содержания, отредактированной подобающим образом), старухи, какие заявляются на все свадьбы и похороны без различия социальных слоев, и епископ из Труро, который не венчал, но благословил новобрачных после венчания. Исмэй, в кои-то веки аккуратно одетая, в девственно-белом

платье, была так прекрасна, что сердце Фрэнсиса болезненно рвалось к ней. Чин венчания проводил местный священник — его как будто достали с самой нижней полки в шкафу низкой англиканской церкви. Он подчеркнул, что в брак не следует вступать для удовлетворения людских страстей и похотений, подобно бессловесным животным, а лишь для продолжения рода. Все эти слова он произносил с таким отвращением, что сестрички Исабель и Амабель, которые в белых платьях символизировали девственность — непаханую и мясистую, — напугались, а Глассоны и Фрэнсис задумались, не заподозрил ли пастырь чего-нибудь неподобающего. Но скоро все кончилось; спели «Глас слышен над Эдемом», епископ сказал свое слово, и Фрэнсис с Исмэй получили право невозбранно спать вместе.

Венчание Фрэнсис кое-как перенес, но вот завтрак на следующий день дался ему труднее. Завтрак состоялся на открытом воздухе, на лужайке «Сент-Колумба», поскольку погода была вроде как ничего. Парадом командовал Родерик Глассон-младший, как положено шаферу; он как человек, нацеленный на Уайтхолл, стремился все делать с максимальной точностью и ровно с такой долей энтузиазма, какая укладывалась

в его представление об элегантности, а это значило, что об избытке энтузиазма говорить не приходилось.

По Родерику было ясно видно, каким он станет к сорока пяти годам. Он прочитал вслух несколько поздравительных телеграмм — так, словно зачитывал неразборчиво написанный протокол заседания своему начальнику. Телеграммы были в основном из Канады, одна-две — от оксфордских друзей (эти надо было читать вслух очень осторожно). Дядюшка Артур Корниш произнес тост в честь невесты; его обороты заставили Исмэй неподобающе захихикать, а Фрэнсиса — похолодеть от намеков на богатство жениха и выражений радости по поводу того, что деньги останутся в семье. Фрэнсис ответил краткой речью, в которой выразил смирение перед родителями невесты и благодарность им. Родители остались довольны, но решили, что он мог бы и чуть посильнее ощущать и то и другое. Пока Фрэнсис говорил, ему приходилось заглушать перешептывания гостей. «Американец? Мне никто не сказал, что он американец». — «Не американец — канадец». — «А какая разница?» — «Они щекотливей, вот что». — «Говорят, он богатый». — «А, вот, значит, как!» Потом шафер поднял тост в

честь подружек невесты и снисходительно заявил, что, поскольку они его младшие сестры, он не может сказать о них ничего хорошего, но не теряет надежд на их улучшение в будущем. Подружки невесты краснели и бормотали: «Слушай, Родди, заткнись уже, а?» Родерик поведал собравшимся, как они с сестрами подложили дохлую змею в кровать будущего жениха; и всем пришлось неодобрительно нахмуриться, когда старый Джордж Третэуэй, кузен, которого Глассоны не слишком жаловали, пьяно заорал, что уж теперь-то они подложили ему в кровать кое-что получше. И наконец, фермер, который арендовал у Глассонов самый большой надел, поднял бокал за счастливую чету; в своей речи он не очень тактично упомянул о вливании свежей крови (он не сказал «свежих денег»), которое, несомненно, сулит всяческие блага хозяйству «Сент-Колумба». Наконец мероприятие завершилось; свадебный торт разорили и роздали, все пожали всем руки, невеста встала у парадной двери и швырнула букет с такой силой, что он чуть не нокаутировал сестрицу Амабель, и новобрачные удалились в прокатном автомобиле в сторону Труро, где им предстояло сесть на поезд.

В Лозанне они без труда записали Исмэй в уни-

верситет; ей зачли год, который она проучилась в Оксфорде. В Монтрё быстро нашлись комнаты в пансионе — гостиная и спальня; в последней стоял еще и диванчик, на котором могли спать Исмэй или тетя Пруденс во время приездов тети. Но все это означало расходы, большие и маленькие; Фрэнсис никогда еще не подвергался подобному медленному кровопусканию, да еще ради дела, которое не было делом его жизни; его грыз первый в жизни приступ яростной скупости, которая потом до конца жизни часто навещала его. Скаредность не красит человека, и Исмэй заметила вслух, что он с лица спал.

Жить с Исмэй оказалось неплохо, но былой трепет куда-то делся. Она стала еще красивее, а ее всегдашняя небрежность в одежде теперь казалась благородным презрением к житейским мелочам. Беременность пока была заметна лишь очень проницательному глазу, но в обнаженном виде тело Исмэй стало еще роскошнее, и Фрэнсис рисовал ее так часто, как только мог. «Фигура прекрасной женщины подобна виолончели», — говорил он, восхищенно проводя рукой по ее набухающему животу. Но хотя он и любил ее, он перестал ее боготворить; иногда они обменивались колкостями, потому что грубоватая речь

Исмэй, когда-то приводившая Фрэнсиса в такой восторг, теперь действовала ему на нервы.

— Если тебе не нравится, как я говорю, нечего было заделывать мне ребенка.

— Пожалуйста, воздержись от вульгарности, мы же не мещане. Непристойности — бога ради, но только не вульгарность.

В таких случаях Исмэй принималась петь песню Офелии[195], тихо и задумчиво, с подчеркнуто простонародным выговором:

*Ах, стыд мальчишкам, стыд и срам!*
*Благим клянусь Христом.*
*Лишь допусти – возьмет все сам,*
*Клянусь я петухом.*
*Пока меня не повалил,*
*Жениться обещал.*
*«Что ж ты в постель ко мне пришла?»*
*—*
*Вот что он мне сказал.*

— Надеюсь, это устроит, — бормотала она, обращаясь, очевидно, к стенке. — Шекспир. Старый добрый Вилли Шекс, любимчик ДООУ. Уж

**[195] Примечания: 195**

*…песню Офелии…* — Цит. по: Шекспир У. Гамлет. Акт 4, сц. 5. Перев. А. Радловой.

в нем-то нет ничего вульгарного. Изысканней Шекспира не найти.

Фрэнсис не мог остаться в Монтрё. Ему нужно было обратно в Оксфорд, и он едва успел к началу Михайлова семестра[196]. Он корил себя за то, что так некрасиво вышло с Исмэй. Конечно, он не жалел, что на ней женился, но это должно было случиться позже. А теперь приходилось ее бросать в такой момент, когда она, конечно же, в нем нуждается, — хотя, когда он уезжал, она была вполне спокойна. В конце концов через несколько недель должна приехать тетя Пруденс. Фрэнсис не разбирался в таких вещах, но ему смутно казалось, что муж должен неотлучно находиться при беременной женщине, бегать среди ночи за мороженым с солеными огурцами, если ее вдруг охватит болезненная тяга к такому блюду, и романтически вздыхать, умиляясь зреющей в ней новой жизни. Доктор в Монтрё философски воспринял заявление Фрэнсиса о том, что ему надо уехать, и заверил его, что все будет в полном порядке. Оставалось только надеяться, что все действительно обойдется. Фрэнсис был полон

**[196] Примечания: 196**

*Михайлов семестр* — название осеннего семестра в ряде британских университетов. Назван в честь Михайлова дня, то есть праздника св. Михаила (29 сентября по западному церковному календарю).

решимости получить диплом, причем с наилучшими возможными оценками. И этот случайный ухаб на дороге ему не помешает. Так что Фрэнсис принялся за работу и работал изо всех сил; он даже почти забросил рисование и живопись и отказался от заманчивого предложения — помогать известному театральному декоратору в работе над постановкой «Бури» в ДООУ.

На Рождество он вырвался к Исмэй. Она выглядела уже явно беременной и явно европейской студенткой — привыкла говорить по-французски чаще, чем по-английски, и с головой ушла в изучение испанского. Она получала от жизни удовольствие — особенно после того, как убедила мать прекратить квохтанье над ней и вернуться в Англию. Здешняя студенческая жизнь подходила Исмэй гораздо больше, чем оксфордская чопорность. В целом они очень дружелюбно провели рождественские каникулы — по большей части сидели в гостиной Исмэй, курили одну за другой вонючие французские сигареты и учились. Говорили они исключительно по-французски. Исмэй понравился стойкий франкоканадский акцент Фрэнсиса. Он был «народный», как она выразилась, а она одобряла все, что идет от народа.

Он приехал и в феврале, когда родился ребенок.

Пансионы плохо приспособлены для родов, и Исмэй рожала в маленькой частной клинике, что обошлось в кучу денег. Фрэнсис выволок диванчик из спальни в гостиную, чтобы спать на нем, а тетя Пруденс, прекрасно сознавая, что кровать положена ей в силу ее пола и возраста, ежедневно стонала, что обременяет зятя своим присутствием.

Ребенок родился без осложнений, но бабушка и отец, как положено, волновались. По правде сказать, Фрэнсис ужасно боялся, пока сам не увидел маленькую дочку и не выслушал заверения доктора в том, что она — полное совершенство. Неужели он ждал чего-то другого? Он не сознался в своих страхах.

— Она — вылитый отец, — сказала тетя Пруденс, улыбаясь Фрэнсису.

— Да, вылитый отец, — согласилась Исмэй, улыбаясь в пространство.

Фрэнсис подумал, что ребенок похож на всех остальных виденных им младенцев, но промолчал.

Почти сразу встал вопрос об имени для ребенка. У Фрэнсиса не было никаких соображений по этому поводу, но Исмэй, возможно, сильнее отдалась материнству, чем готова была признать. Как-то

раз, кормя ребенка грудью, она сказала:

— Давай назовем ее Чарлоттой.

— Хорошо, но почему?

— В честь отца.

Фрэнсис непонимающе посмотрел на Исмэй.

— Фрэнк, я все собиралась тебе сказать, но момент как-то не подворачивался. Сейчас он точно настал. Ты, конечно, знаешь, что ее отец — Чарли?

Непонимающий взгляд.

— Да, Чарли. Я точно знаю. Мы были очень близки перед тем, как он смылся.

— И ты окрутила меня, чтобы прикрыть ребенка Чарли?

— Ну, выходит, что так. Но не думай, что мне это доставило удовольствие. Ты очень милый и вел себя ужасно благородно. Но между тобой и Чарли есть существенная разница: он — из тех, кто приводит события в движение, а ты — из тех, с кем эти события просто случаются. Поэтому для меня выбор однозначен. И вспомни, что перед свадьбой я дала тебе шанс улизнуть, но ты решил остаться. Это ребенок Чарли.

— А он знает?

— Думаю, что не знает, и думаю, что ему все равно. Я получаю о нем кое-какие известия из

третьих рук, а в Испании, конечно, обстановка накаляется, так что, я полагаю, даже если бы он и знал, то ничего не мог бы поделать. У него сейчас дела поважнее.

— Исмэй, у меня просто слов нет.

— Я и не думала, что ты обрадуешься, и я честно хотела сказать тебе раньше, но ты видишь, как вышло. Я хотела обойтись с тобой по-честному, и вот наконец у меня это получилось.

— Это так ты ведешь себя по-честному? Не хотел бы я оказаться рядом с тобой, когда ты начнешь жульничать.

Фрэнсис вернулся в Оксфорд. Он был несчастен и сломлен в том, что касалось его брака, но полон яростной решимости отличиться в финальных экзаменах, назначенных на июнь. Подготовиться к финальным экзаменам за несколько месяцев невозможно, для этого нужно два года. Именно два года назад Фрэнсис и начал работать; последние десять недель были нужны ему для наложения завершающих штрихов, а не для приобретения базовых знаний. Тьютор был им доволен — точнее, настолько доволен, насколько тьюторы способны в этом признаться, — и помог довести его познания до идеального блеска. В результате, написав экзаменационные работы и

выждав необходимый срок проверки и выставления оценок, Фрэнсис с удовлетворением увидел свое имя в списке студентов, получивших диплом первого класса. Он дал телеграмму в Канаду и назавтра получил ответ: «Поздравляем. Привет Исмэй и Чарлотте». Значит, его родители видят их как счастливую троицу, святое семейство с невинным младенцем, пока неспособным оценить достижение папочки?

Исмэй с ребенком были в «Сент-Колумбе»: тетя Пруденс настояла на этом, утверждая, что лето в деревне, свежий воздух и свежие продукты — именно то, что нужно Исмэй и девочке. Поэтому вторую телеграмму с вестью о своем успехе Фрэнсис послал в «Сент-Колумб». Его очень удивило, когда на следующий день ему позвонили. Глассоны не слишком любили разговаривать по телефону, к тому же в Оксфорд, где очень много студентов и очень мало телефонов, было крайне трудно дозвониться. Но дядя Родерик позвонил, и привратник «Тела Христова» отыскал Фрэнсиса, и вот, стоя в привратницкой, где один студент покупал марку, а другой выяснял местонахождение своего велосипеда, Фрэнсис услышал дядю — голос далекий и тонкий, как мышиный писк, — который сообщил, что Исмэй

нет в «Сент-Колумбе»: она сказала, что съездит в Оксфорд на пару дней навестить Фрэнсиса. Это было неделю назад. Разве она не с ним?

Только на следующий день пришло письмо из Лозанны.

> Дорогой Фрэнк!
>
> Нет смысла делать вид, что наш брак жив, когда он совершенно явно мертв. Когда ты получишь это письмо, я уже буду в Испании. Я знаю, где Чарли, и еду к нему. Не пытайся меня искать, все равно не найдешь. Но не беспокойся. Со мной все будет в порядке – а если что и случится, то случится в борьбе за правое дело, которое я ставлю выше всяких личных интересов. Ты самый лучший на свете, и я знаю, что ты не оставишь малютку Чарли, и, конечно, когда (и если) я вернусь, я снова возьму ее на себя. Извини насчет денег. Но если честно, ты их слишком любишь – тебе самому это не полезно.
>
> ***Целую,***
> ***Исмэй***

Потом он обнаружил, что, говоря о деньгах, она имела в виду те, что он положил ей на счет на те-

кущие расходы. Она сняла всю сумму. Смылась!

— Я хочу избить женщину. Кулаками. Интересует ли вас это, и если да, то сколько вы возьмете?

Этот вопрос он задал как минимум восьми проституткам на Пиккадилли и получил восемь отказов — одни женщины смеялись, другие сердились. Видимо, он ищет не в том районе. Эти девушки, в основном хрупкие и хорошенькие, — дорогие ночные феи, недостаточно голодные, чтобы соблазниться его предложением. Он пошел в Сохо, и там на четвертый раз ему повезло.

Женщине было лет сорок; у нее были плохо прокрашенные волосы и платье, отделанное искусственным мехом. Полноватая; лицо под густым слоем косметики глуповатое, но доброе.

— Ну… я и не знаю, что сказать. У меня, конечно, бывают джентльмены с особыми вкусами. Но обычно это они хотят, чтоб их побили. Ну знаете, пару оплеух и разговаривать этак строго. А это я даже не знаю. Кулаками, говорите?

— Да. Кулаками.

— Мне надо подумать. То есть, по правде, поговорить с моим другом. Вы подождете минуточку?

Она порылась в глубинах своего бюста и вытащила распятие на цепочке, которое, когда она

поднесла его к губам, оказалось свистком. Она дважды тихо свистнула. Почти мгновенно рядом возник небольшой смуглый мужчина, неприметно одетый, в черной хомбургской шляпе, словно государственный муж. Женщина зашептала ему на ухо.

— А вы сильно будете бить? — спросил он.

— Трудно сказать, пока не попробую.

— Ну… это может очень дорого обойтись. Например, если выбьете зубы. Синяки. Она не сможет работать недели две. Нет, боюсь, мы вынуждены отказаться, какую б вы цену ни давали.

— Может, если вы один раз хорошенько врежете, этого хватит? — спросила женщина, у которой, видимо, было доброе сердце. — Один раз, хорошенько, скажем — за десять фунтов?

— Двадцать, — торопливо поправил мужчина.

Они пошли на квартиру женщины, расположенную неподалеку.

— Я, конечно, побуду тут, — сказал мужчина. — Вы все-таки не обычный клиент. Вдруг увлечетесь, потеряете контроль. Мне придется тут побыть — ради вас обоих.

Женщина в это время раздевалась — с профессиональной быстротой.

— Не нужно, — сказал Фрэнсис.

— А я думаю, так лучше, — сказал мужчина. — По правде сказать, я думаю, что так надо, раз вы платите. Профессиональный подход. Костюм Евы — ее рабочая одежда.

— Ладно. Я готова, — сказала женщина, уже голая; она твердо стояла на толстых ногах и подбиралась в ожидании удара.

Наметанным взглядом бальзамировщика Фрэнсис увидел шрам от аппендицита — старомодный, похожий на жука с растопыренными лапками. Фрэнсис поднял кулак и, чтобы набраться гнева, стал изо всех сил вспоминать самое отталкивающее в Исмэй — наглость, нечистоплотность, презрение к людям. Но гнев не шел. Мыслями Фрэнсиса завладел Лунатик — не внешний образ, но ощущение, и Фрэнсис не смог ударить. Он вдруг сел на кровать и, к своему глубочайшему стыду, разрыдался.

— Ох, бедненький, — сказала женщина, — не можешь, да?

Она пододвинула к нему коробку бумажных носовых платков.

— Не переживай так. Очень многие не могут — ну, в другом смысле. И у них тоже свои причины.

— Ему надо выпить, — сказал мужчина.

— Нет, я думаю, ему надо чаю. Джимсик, по-

ставь чайник, а? Ну, ну, миленький. Ну расскажи мне. — Она села рядом и притянула голову Фрэнсиса к себе на большую надушенную грудь. — Что она тебе сделала, а? Уж наверняка чего-то да сделала. Что такое? Ну расскажи.

И вот, сидя на кровати с женщиной, которая запахнулась в шелковый пеньюар с потрепанной отделкой из марабу, и ее альфонсом, или сутенером, или как там правильно назывался Джимсик, и отхлебывая горячий крепкий чай, Фрэнсис вкратце, изменив кое-какие детали, рассказал, что сделала Исмэй. Женщина издавала сочувственные возгласы, но, когда он закончил, высказался Джимсик:

— Поймите меня правильно. Она, конечно, поступила по-свински. Но почему? Так следует на это посмотреть. Всегда есть причина, и иногда эта причина вам и в голову не придет. Как вы скажете, почему она так поступила?

— Потому что она любит другого, — ответил Фрэнсис.

— О боже! В жопу любовь! — воскликнул Джимсик. — С ней никогда не знаешь, где стоишь. От нее одна беда.

Он продолжал излагать свою точку зрения на любовь — как мужчина и как работник сферы

сексуального удовлетворения, и Фрэнсису казалось, что он слышит голос Танкреда Сарацини, объясняющего «Аллегорию» Бронзино. Сейчас при мысли об этой картине Фрэнсису яснее всего представилось лицо твари с женской головой, львиными когтями и драконовым хвостом, преподносящей сладкое и горькое. Эта фигура звалась Обманом, или, как сказал Сарацини, *Fraude.* Видимо, Фрэнсис прошептал это вслух.

— Обман? Еще какой обман, да еще и бесстыдство — бросить тебя и ребеночка, — сказала женщина.

Когда Фрэнсис наконец успокоился и собрался уходить, он протянул женщине две бумажки по десять фунтов.

— Нет-нет, миленький, — сказала она. — Я даже и не подумаю. Ведь ты же не ударил. Правда, если б ты меня и треснул, я бы не стала тебя винить.

— Нет, мы так не договаривались, — сказал мужчина, ловко, но вежливо перехватывая деньги. — Мы ведь время потратили, и отказ от исполнения договора, все такое. Но вот что я вам скажу, сэр. Эта ночь делает вам честь. Вы вели себя как джентльмен.

— О, в жопу джентльменство, — сказал Фрэнсис, тут же пожалел об этом, пожал обоим руки и

сбежал вниз по лестнице на улицы Сохо.

Интерьер конторы «Джеффри Дювин и компания» был элегантен до того, что внушал священный трепет; Фрэнсис никогда не осмелился бы войти сюда по собственной инициативе, но именно здесь ему назначил встречу полковник Копплстоун, а в хитро сформулированном послании намекалось, но не говорилось прямо, что это очень важно. Фрэнсис сейчас как раз нуждался в чем-нибудь важном. Таким униженным, незначительным, использованным и выброшенным он не чувствовал себя со дней учебы в Карлайлской сельской школе. В великий лондонский центр торговли антиквариатом и экспорта предметов искусства Фрэнсис явился вовремя, элегантно одетый. Полковник ждал его в небольшой, обшитой деревянными панелями комнате, где висели три картины, при виде которых у Фрэнсиса глаза на лоб полезли. Такие картины могли позволить себе только очень богатые собиратели — и покупали они их у «Дювина».

— Но ты получил диплом. Первого класса, с отличием; я видел в «Таймс». Напомни-ка мне, что это означает.

От истории катастрофической женитьбы Фрэнсиса полковник, кажется, попросту отмахнулся.

До чего бездушны эти старики!

— Ну, моя дисциплина называется «Великие современные мыслители», а официально — «Философия, политика и экономика». Я сосредоточился на философии, а так как у меня уже был диплом бакалавра по классической филологии, я имел определенное преимущество перед теми, кому пришлось изучать литературу по переводам; курс начинается с Декарта, но очень полезно знать, что было раньше. И современные языки: я выбрал немецкий и французский. «Политика» — это в основном британская государственность. Экономики я брал ровно столько, сколько надо, и не больше. Это не моя область: я предпочитаю астрологию без воды.

— Ага. Ну что ж, в Оксфорде ты зря времени не терял, — сказал полковник. — И не слишком переживай из-за того, что случилось. Конечно, это неприятно. Но у меня есть для тебя предложение; поможет тебе забыть об этой истории, ну или почти забыть.

— По линии «ремесла»?

— Да. Конечно, на передний край я тебя не пошлю. Это для совсем других людей. Но есть одно дело, которое тебе очень хорошо подходит. Лучше, чем всем остальным, кто у меня сейчас

под рукой, это уж точно. Ты должен поступить на работу к Танкреду Сарацини.

— А он тоже…

— Нет, совершенно точно нет. И он не должен догадаться, что ты — да. Иначе ты попадешь в хорошенький переплет. Нет, Сарацини ведет свою собственную странную игру, которая нам в данный момент интересна и может быть важна. Кстати, многие, кто верит в такие вещи, говорят, что у него дурной глаз. Я не скажу, что это не так, поэтому будь осторожен. Ты говорил, он предлагал тебе с ним работать и обещал, что тебе понравится? Научиться его мастерству, или ремеслу, или как он это называет?

— Да, но я пока не уверен, что хочу именно этого. Я хочу быть художником, а не мастеровым на подмалевке истлевших картинок.

— Да, но для нашего дела сейчас нужен человек рядом с Сарацини — на той работе, которой он сейчас занимается. Ты что-нибудь знаешь про Дюстерштейнскую коллекцию?

— Никогда не слыхал.

— Она малоизвестна, хотя сотрудники «Дювина» о ней, конечно, знают. Их работа — знать такие вещи. В этой коллекции — куча картин эпохи Ренессанса, Постренессанса и Контрре-

формации. Не лучших, но неплохих. Коллекция хранится в замке Дюстерштейн, в Нижней Баварии, милях в семидесяти от Мюнхена. Владелица, графиня фон Ингельхайм, хочет, чтобы картины привели в отличное состояние, поскольку собирается их продать. Как ты понимаешь, это будет не вульгарная продажа с молотка; никаких там «Налетай, подешевело». Нет, графиня собирается продавать картины постепенно, очень аристократическим образом и в результате выручить кучу денег. Нам нужно узнать, куда попадут эти картины. Графиня уговорила Сарацини подготовить коллекцию к продаже — втихомолку, но не втайне. Ему нужен будет помощник, и мы хотим, чтобы это был наш человек. То есть ты, мой мальчик.

— И я должен буду слать вам отчеты? Но о чем писать? И как?

— Нет, мне ты писать не будешь — если только не случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Но ты ведь будешь время от времени возвращаться в Англию? Разве ты не собираешься проведывать малютку Чарлотту? Конечно собираешься — ты же отец. Но ты будешь писать другие отчеты: сегодня после обеда пойдешь на Харли-стрит, на прием к сэру Оуэну Уильямсу-Оуэну, который

тебя осмотрит, обследует твое сердце и объяснит тебе, какие отчеты о состоянии своего сердца ты должен будешь ему посылать.

Фрэнсису было ясно, что дядя Джек наслаждается этой загадочностью; лучше всего делать вид, что ничего не происходит, и ждать, а инструкции наверняка последуют в свой срок.

— Уильямс-Оуэн знает о сердцах все, что только можно. Он пропишет тебе определенный режим, ты должен будешь ему следовать и отсылать доктору регулярные отчеты о состоянии своего сердца. Частота пульса после тяжелой физической нагрузки и все такое. Но на самом деле ты будешь посылать результаты своих наблюдений за поездами… Замок Дюстерштейн стоит на весьма обширных землях, с лесными угодьями и со множеством ферм. Менее чем в миле от дома, или замка, или что там у них, проходит железнодорожная ветка, идущая на большую охраняемую территорию — концентрационный лагерь, если пользоваться термином лорда Китченера. Туда время от времени идут товарные вагоны и теплушки — не следуя какому-либо регулярному расписанию, но всегда поздно ночью. Вагоны

можно пересчитать: этот поезд — *Bummelzug*[197], как говорят немцы, — едет очень медленно, и когда колеса проезжают по стыку, они издают специфический звук. Если прислушаться как следует, посчитать, сколько раз ты услышал этот звук, а потом разделить на два, получишь число вагонов, проехавших через эту точку, то есть направляющихся в лагерь. Именно эти данные ты будешь отсылать Уильямсу-Оуэну каждые две недели, по схеме, которую он тебе даст. В письме можешь ныть и прикидываться ипохондриком сколько душе угодно. Уильямс-Оуэн сделает так, чтобы информация попала куда надо.

— Ну что ж… Я думаю, это лучше, чем сидеть дома и жалеть себя.

— Намного лучше. Это твое первое профессиональное задание, и, на случай если ты до сих пор не догадался, тебе чертовски повезло, что ты его получил.

— Да, но как насчет… о, к черту джентльменство! Дядя Джек, извините за грубость, но… мне что-нибудь заплатят?

— Как я тебе уже сказал, это задание не первостепенной важности, и у нас нет на него фондов.

---

**[197] Примечания: 197**
Пассажирский поезд малой скорости, «кукушка» *(нем.).*

Но я думаю, что в конце концов ты сможешь на что-нибудь рассчитывать. В любом случае передо мной можешь не притворяться, что тебе нужны деньги. Я знаю про завещание твоего деда. Твой отец мне писал.

— Понятно. Значит, я буду стажером?

— Нет, это настоящее задание. Но послушай моего совета: не суетись из-за денег. Бюджет нашего «ремесла» — тришкин кафтан, и куча народу дерется за каждый клочок. Но когда для тебя что-нибудь найдется — положись на меня, я обязательно дам тебе знать. Пока вместо денег я могу предложить тебе информацию. Мы знаем, где Чарли Фримэнтл.

— А она с ним?

— Надо думать, что да. Он сейчас в самой горячей точке. Если эти двое собираются жить долго и счастливо, то они спятили. А кстати, твой приятель Бьюс-Боцарис отдал концы.

— Что? Как?

— Неосторожность. Надо сказать, агент из него был так себе, а его попытки вербовать людей — чистый анекдот. Ему удалось поймать в свои сети только Чарли Фримэнтла, и даже Чарли, уж на что полный идиот, умудрился надуть его с каким-то карточным долгом. Так что Бэзил оказался,

если можно так выразиться, в несостоятельной позиции и, по-видимому, застрелился.

— Не верю. Думаю, он бы в себя не попал — во всяком случае, намеренно.

— Может быть, и нет. Может быть, ему умело помогли… Еще вопросы есть?

— Просто любопытно. Эти товарные вагоны — что в них?

— Люди.

*– Ему повезло, что он отделался от Исмэй, — заметил Цадкиил Малый.*

*— Ему повезло, что он ее встретил, — сказал даймон Маймас. — Она в его истории выглядит не очень красиво: вероломная шлюшка, жуликоватая соблазнительница. Останься они вместе, что за жизнь была бы у них? Они жили бы как кошка с собакой, терзая друг друга, и очень скоро она изменила бы ему с кем-нибудь. Но она считала себя вольной птицей, а это всегда ведет к беде.*

*— О да. На самом деле она была ученицей и послушницей Чарли Фримэнтла, аспектом его судьбы. Странно, правда, что безмозглые авантюристы вроде Чарли всегда находят женщину, готовую мириться с чем угодно, лишь бы служить им и их безумию? В моих записях такое всплывает снова и снова.*

*— Что ждет ее в Испании? Бегство из одной грязной и опасной лачуги в другую, всегда под угрозой, часто под огнем, в убеждении, что она служит народному делу — которому ни она, ни Чарли не могли бы дать точного определения, — но на самом деле лишь женщина Чарли, его рабыня. Будь мне свойственна жалость, я бы ее пожалел, — сказал даймон.*

*— Но жалость несвойственна тебе, брат. Ты не жалеешь даже бедного Фрэнсиса, которому она разбила сердце.*

*— Конечно нет. Чтобы обрести нужную прочность, сердце должно разбиться и срастись — хотя бы однажды. А Фрэнсис пускай будет благодарен, что я выбрал такой интересный инструмент. У множества людей сердца разбиваются из-за женщин скучных, как капустные кочерыжки.*

*— Но он же знал, что от нее ничего хорошего ждать не приходится. Ему, во всяком случае. Что он в ней нашел?*

*— Ты, конечно, помнишь, как Фрэнсис позировал перед зеркалом у себя в спальне, в Блэрлогги, кое-как прикидываясь женщиной? Он, сам того не зная, искал мистический брак; искал в себе женщину, чтобы завершить и дополнить себя.*

*Он думал, что нашел ее в Исмэй. И был отчасти прав, ибо Исмэй была тем, чем он никогда не был, обладала качествами, каких никогда не будет у него, — красотой и неотразимым развратным очарованием, и потому он любил ее, что бы она ни вытворяла и что бы он о ней ни знал. Думаю, я очень удачно обогатил его жизнь встречей с Исмэй.*

*— А как же ее слова — что он из тех, с кем события просто случаются, а не из тех, кто движет ими?*

*— О брат, неужели ты клюнул на эту банальность? Ты не хуже меня знаешь, что под давлением обстоятельств люди иногда разительно меняют вроде бы основополагающие черты своего характера. Ты меня поражаешь! Я не хочу тебя обидеть, но вот мы сидим тут с тобой, двое Малых Бессмертных, и жизнь Фрэнсиса разворачивается перед нами, как она записана и хранится в твоем архиве, и все же иногда ты разговариваешь так, словно мы всего лишь двое смертных, смотрящих телевизор, в котором не может случиться ничего неожиданного, непредсказуемого. Брат, нас не связывают законы телевизионной мелодрамы. Ты разложил Фрэнсиса по полочкам, а об Исмэй говоришь так, словно*

*она исчезла навсегда. А меня ты, кажется, свел до уровня ангела-хранителя, этой омерзительной теологической фальшивки! Ну же, опомнись!*

*— Не ругай меня, брат. Прости, если я недооценил твою даймоническую роль в этой истории. Но я так часто имею дело со смертными, что порой, как мне кажется, заражаюсь их сентиментальностью.*

*— Не отвлекайся на мелочи, — сказал даймон Маймас. — Как там говорят богословы? Подлинное обрезание — то, которое в сердце* [198] *. И никогда не пренебрегай тем, что заложено в костях. Неужели ты думаешь, что Фрэнсис рожден и воспитан, чтобы всю жизнь быть жертвой? Куда я годился бы, если бы допустил такое? Как сказал один весьма продвинутый смертный своему сентиментальному другу, очисти ум от красивостей* [199] *! Ну что, продолжим?*

---

**[198] Примечания: 198**

*Подлинное обрезание — то, которое в сердце.* — Рим. 2: 29.

**[199] Примечания: 199**

*Как сказал один весьма продвинутый смертный своему сентиментальному другу, очисти ум от красивостей!* — Босуэлл. Жизнь Сэмюэля Джонсона. Также см. примеч. 18.

## Часть пятая

«Тук-тук… Тук-тук…» Двадцать четыре перестука и меланхоличный гудок — вроде бы невинный поезд-«кукушка» проехал по стыку рельсов. Но с чего бы невинному поезду грохотать по сельской Баварии в полдвенадцатого ночи, когда все порядочные товарняки уже отдыхают на запасных путях? Двадцать четыре перестука — значит, двенадцать вагонов. Двенадцать вагонов — груженных, возможно, людьми — следуют в лагерь для интернированных лиц, спрятанный в соседней долине.

Фрэнсис пометил это в записной книжке, которую всегда носил в нагрудном кармане. Завтра он напишет сэру Оуэну Уильямсу-Оуэну на Харли-стрит и отчитается о состоянии своего пульса после определенной физической нагрузки. Это будет его первое наблюдение по приезде в замок Дюстерштейн. Очень удачно, что его спальня расположена именно с той стороны огромного дома, которая ближе всего к железной дороге.

Дом удивил Фрэнсиса — и до сих пор не переставал удивлять, хотя Фрэнсис обследовал его уже неделю. Во-первых, несмотря на имя, дом

не очень-то располагал к меланхолии[200]. Безусловно, он был старинным и огромным даже для сельской усадьбы, но главным было то, что он служил центром большого сельскохозяйственного района и графиня фон Ингельхайм с образцовой эффективностью ворочала огромными производственными объемами — как на собственных землях, так и на прилегающих к ним фермах. Еженедельно грузовики увозили овощи, птицу, телятину или свинину на железную дорогу для доставки в Мюнхен оптовым скупщикам, которые распределяли их по отелям, ресторанам и мясным лавкам. В одном крыле замка располагалась контора, откуда управляли фермами и доставкой продукции, — возможно, ее доставляли в тех же товарных вагонах, которые время от времени наведывались в лагерь по соседству. Замок Дюстерштейн был значительным сельскохозяйственным предприятием.

Он назывался замком, но в нем не было ничего от средневековой крепости. Что-то осталось от семнадцатого века, донжон был заметно старше, но внешний вид и планировка явно относились

---

**[200] Примечания: 200**

*...замок Дюстерштейн...несмотря на имя, дом не очень-то располагал к меланхолии.* — Название замка происходит от Düster Stein *(нем.)* — мрачный камень.

к концу восемнадцатого столетия. Мебель и интерьеры были местами, если приглядеться, потертые, но их потертость наводила скорее на мысль об аристократическом презрении к новомодным штучкам, чем о бедности. Жить в доме было удобно и настолько приятно, насколько приятной может быть жизнь в безусловно большом и аристократическом особняке. Он не страдал избытком домашнего уюта в английском понимании этого слова, но не был и холодной имитацией французского шато. Взять, например, спальню Фрэнсиса: комната, заставленная мебелью и такая огромная, что большая кровать казалась случайностью, а не основной деталью. Тут были и кресла, и письменный стол, и вдоволь места для всех художественных принадлежностей Фрэнсиса, а в одном углу стояла большая и красивая фаянсовая печь. Да, мыться приходилось в крохотном чуланчике, спрятанном в одной из стен, а горячую воду туда приносили по скрытому от глаз внутреннему проходу, так что Фрэнсис ни разу не видел слугу-водоноса. Но и кувшин для умывания, и таз, и два больших ночных горшка, и сливное ведро были из дорогого фарфора восемнадцатого века, с гербом рода Ингельхаймов. Ведро ежедневно кто-то уносил

по тому же самому потайному проходу. Ванны же принимали в большой палате с мебелью ампир — там стояла мраморная ванна почти древнеримского вида, которую наполняли ржавоватой водой через два огромных медных крана. Все это располагалось далеко от спальни Фрэнсиса, но он еще в Оксфорде привык к удаленности ванных.

Комната Фрэнсиса находилась в задней части замка; семейство владельцев жило в другом крыле, куда Фрэнсис так и не проник, но он встречался с владельцами в общих покоях — анфиладе больших гостиных и столовой. Все это пряталось на задворках официальных залов, которыми уже никто не пользовался, — они служили только для выставки коллекции картин, благодаря которой Дюстерштейн и семья Ингельхайм были известны в среде знатоков искусства последние двести лет. Надо сказать, что и картины, висящие в приватной части замка, заслуживали внимания; это были фамильные портреты кисти разных художников, не всегда звезд первой величины, но непременно известных и ценимых.

Со дня прибытия Фрэнсис не уставал переводить изумленный взгляд с портретов на двух представителей семейства, сидящих под ними, — графиню Оттилию и ее внучку Амалию: их черты

повторялись на портретах, немного по-разному сочетаясь, но всегда узнаваемые. Вот это было действительно семейное лицо: у графини — квадратное и решительное, как подобает крупной землевладелице и устрашающе способному аграрию; у Амалии — овальное, пока не отмеченное печатью опыта, но исполненное прекрасного ожидания. Графине еще не исполнилось шестидесяти; Амалии было, видимо, лет четырнадцать. Фрэнсис разговаривал с ними по-английски: графиня желала, чтобы Амалия приобрела беглость в этом языке.

Вечера не были долгими. Ужин начинался в восемь и кончался не раньше девяти, так как еду подавали, на взгляд Фрэнсиса, невероятно медленно. Сарацини разговаривал с графиней. Обязанностью Фрэнсиса было беседовать с мисс Рут Нибсмит, гувернанткой. Амалии разрешалось подавать голос только тогда, когда с ней заговаривала бабушка. После ужина они сидели еще час; графиня растягивала на весь этот час одну чашку кофе и одну рюмку коньяка. Ровно в десять Амалия целовала бабушку, присаживалась в реверансе перед Сарацини и Фрэнсисом и удалялась под присмотром мисс Нибсмит. Затем и графиня уходила к себе в покои, где, как сказал

Сарацини, до одиннадцати часов вела счета ферм, а в одиннадцать ложилась спать с тем, чтобы встать в шесть и до завтрака, который подавали в восемь, провести два часа под открытым небом, отдавая указания работникам.

— Очень размеренное существование, — сказал Сарацини.

— И что, здесь больше ничего не происходит? — спросил Фрэнсис.

— Нет, никогда. Только по воскресеньям приезжает священник и служит мессу, она начинается в семь утра. Вы не обязаны на ней присутствовать, но если будете ходить, это произведет хорошее впечатление, и, кроме того, вы обязательно должны увидеть часовню: это чудо барочного искусства, а в другие часы туда не пускают. Но что значит «больше ничего не происходит»? А что, по-вашему, должно происходить? Начнем с того, что здесь делаются деньги. Семья почти полностью обнищала за время войны, но отец графини Оттилии, а потом и сама графиня восстановили семейное богатство почти до прежнего уровня, а все благодаря телятине, которая, как вы знаете, составляет основу питания людей в этой части света. Амалию готовят к тому, чтобы сделать блестящую партию, — жениха еще не выбрали,

но ему придется соответствовать чрезвычайно высоким требованиям. Большие состояния не достаются дуракам — во всяком случае, в Дюстерштейне. И коллекцию надо привести в первоклассный порядок, и мы с вами будем над ней трудиться, как рабы на галерах, ибо именно этого ждет от нас графиня. Надеюсь, этого хватит вашей трудолюбивой американской душе?

— Простите за нескромный вопрос… мне что-нибудь платят?

— Разумеется. Во-первых, вы получаете огромную привилегию — возможность работать со мной; сотни молодых художников отдали бы что угодно за такую высокую награду. Далее, вам предоставляется возможность ознакомиться с одной из богатейших коллекций, до сих пор находящихся в частном владении. Это значит, что вы сможете каждый день постигать смысл и настроение картин, к которым даже владельцев известнейших в мире галерей пускают только в порядке заранее тщательно обговоренной аудиенции. Самые лучшие работы сейчас одолжены Мюнхенской галерее, но здесь есть и другие великолепные вещи… любой музей был бы счастлив заполучить такие. Вам выпадает честь жить рядом с подлинной аристократи-

ей — Ингельхаймами, аристократией крови, и мною, аристократом таланта, — в красивейшей сельской местности. Каждый день вас кормят настоящими сливками и отборной телятиной. Вы наслаждаетесь утонченной беседой с мадемуазель Нибсмит и завораживающим молчанием Амалии. Вы можете держать свой автомобильчик в замковой конюшне. Но что до денег — нет, денег вам не положено; это было бы все равно что посыпать мед сахаром. Графиня допустила вас сюда как моего ассистента; мне, конечно, платят, но вам — нет. И вообще, зачем вам деньги? Вы богаты.

— Я уже боюсь, что это богатство заграждает мне путь к карьере художника.

— Бывают преграды и посерьезней. Например, отсутствие таланта. У вас талант есть, и я научу вас им пользоваться.

Учеба началась с огромного объема грязной работы, и в оценке качества этой работы Сарацини проявил себя саркастичным тираном. Лощеный эксперт, с которым Фрэнсис познакомился в Оксфорде, патриций, ценитель искусств, принимавший его в Риме, в мастерской превращался в неумолимого погонщика рабов. Первые несколько дней после приезда Фрэнсис не работал, а

только бродил по замку, чтобы «прочувствовать атмосферу», как назвал это Сарацини.

Но в первое же воскресенье все разительно изменилось. Фрэнсис встал рано утром, чтобы поспеть к мессе. Как и сказал Сарацини, часовня оказалась чудом барочного искусства. С первого взгляда мнилось, что над головой — великолепный купол, на котором вихрем разворачивается Страшный суд, но стоило приглядеться, и оказалось, что это тромплей[201], чрезвычайно искусная обманка, нарисованная на плоском потолке; обман действовал только на зрителей, стоящих не слишком близко к алтарю. Если смотреть от алтаря, мнимый купол сильно искажался, а фигуры Святой Троицы, нарисованные *sotto in su*[202], казались похожими на жаб[203]. Верный христианин, подошедший к алтарю для полу-

---

**[201] Примечания: 201**

*Тромплей* (*фр.* trompe-l'il — обман зрения) — технический прием в искусстве, создающий иллюзию объемности объекта, в действительности нарисованного на плоскости.

**[202] Примечания: 202**

Снизу вверх *(ит.).*

**[203] Примечания: 203**

*…фигуры Святой Троицы, нарисованные sotto in su, казались похожими на жаб.* — Объекты изображены так, как будто зритель смотрит на них снизу. В этой технике тромплея часто используется изображение фигур в укороченном виде и подчеркнутая перспектива.

чения гостии[204], сделал бы ошибку, поглядев вверх на обратном пути, ибо в этом случае он увидел бы чудовищно искаженных Бога Отца и Бога Сына, следящих за ним с обманного купола. Сама часовня была маленькой, но казалась большой; толстый патер едва втискивался на узенький высокий амвон, словно в тесные брюки. Вся она была чудом из позолоты и штукатурки, раскрашенной в голубые и розовые тона, которые критик, не склонный поддаваться их чарам, сравнил бы с цветом розочек на торте. Фрэнсис с удивлением обнаружил, что в часовне никого нет, кроме него и Сарацини: графиня с внучкой сидели в дальней от алтаря части храма, в ложе, приподнятой над полом, словно в опере, и не были видны снизу простым смертным. Из ложи волшебный потолок смотрелся лучше всего.

После часовни был завтрак, на котором Сарацини и Фрэнсис обслуживали себя сами.

— А теперь за работу, — сказал Сарацини. — Вы привезли какую-нибудь рабочую одежду?

Об этом Фрэнсис не позаботился, но Сарацини

---

**[204] Примечания: 204**

*Гостия* (хостия, от *лат.* hostia — жертва) — евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, а также в англиканстве и ряде других протестантских церквей. Используется во время литургии для таинства евхаристии.

снабдил его одеждой, когда-то, возможно, бывшей белым лабораторным халатом. Халат был весь пропитан олифой и красками.

— Идем в мастерскую, — сказал Сарацини, — и все время, когда мы там находимся, смотрите называйте меня «Meister»[205]. «Маэстро» не совсем подходит к здешней обстановке. А я во время работы буду звать вас Корнишем, не Фрэнсисом. Корнишь. Да-да, отныне вы у меня будете Корнишь.

Что такое происходило с Сарацини? В мастерской он становился ниже ростом, начинал двигаться по-другому — нервно, порывисто — и нос как будто сильнее загибался крючком. Фрэнсис припомнил, что говорил дядя Джек о дурном глазе, хотя, конечно, сам ни во что такое не верил.

Мастерская была похожа на мастерскую только прекрасным северным освещением. Свет падал из занимавших всю стену окон с видом на парк. Пока Фрэнсис изумленно озирался, Сарацини объяснил, что это — обычная диковина в любимом духе аристократов восемнадцатого века. Стены очень длинной комнаты были инкрусти-

---

**[205] Примечания: 205**
Мастер, художник, учитель *(нем.).*

рованы самыми разнообразными ракушками, вдавленными в штукатурку: одни — выпуклостями, другие — отверстиями наружу. Из раковин составлялись сложные орнаменты в виде колонн, панелей и барочных фестонов. Здесь были не только раковины, но и различные минералы, из которых были выложены пилястры: белый, розовый и золотой мрамор, а также — возможно ли? — ляпис-лазурь. Между колоннами протягивались пышные пучки шнуров из раковин; каждый пучок в самой широкой части был перехвачен огромным куском коралла-мозговика. Когда все это было новое, когда эту комнату любили и восхищались ее убранством, она, должно быть, была роскошной причудой, павильоном рококо, бодрящим сердце и обостряющим чувства. Но раковины выцвели и запылились, вделанная в стену чаша иссякшего фонтана исполнилась пыли и ржавчины, а зеркала уподобились глазам, заросшим бельмами. Скамейки, тоже из ракушек, были кое-как сдвинуты в кучу в одном конце комнаты, освобождая место нескольким мольбертам и лабораторному столу с некрасивым, ничем не прикрытым водопроводом: трубы проходили совсем низко у пола, и приходилось все время быть начеку, чтобы о них не споткнуться.

Картину довершал столь же унизительный для этой прекрасной комнаты огромный железный печеобразный объект, подключенный к слабенькой замковой динамо-машине.

— Сколько любви и мастерства вложили в эту комнату! — сказал Фрэнсис.

— Без сомнения. Но малое должно уступать великому, и теперь здесь моя мастерская, — отозвался Сарацини. — Это была дорогая, затейливая игрушка, и те, кто играл ею, ныне обратились в прах. Наша задача гораздо грандиозней.

Какая же это задача? Фрэнсису не объясняли прямо; ему приходилось самому делать выводы, и он все сильнее отказывался верить в то, о чем догадывался. Он начинал работать после завтрака и работал, с небольшим перерывом на сэндвич и кружку доброго мюнхенского пива, до четырех часов дня, когда свет слишком сильно менялся и переставал устраивать Сарацини. С начала сентября до середины декабря Фрэнсис трудился над самыми разными вещами. Он научился толочь минералы в ступке, превращая их в пыль, и смешивать с различными маслами; это была долгая и кропотливая работа. Научился использовать и приготовлять различные минеральные краски и смолы — киноварь, двуокись марганца,

жженую умбру и липкий, пачкающий гуммигут. Научился откалывать кусочки от роскошных колонн из ляпис-лазури — там, где было не так заметно, — и толочь в ступе, а затем связывать порошок сиреневым маслом[206], и выходил отличный ультрамарин. Особенно приятна была встреча с вайдой, *isatis tinctoria,* из сока которой извлекают темно-синюю краску[207]. За лабораторным столом Фрэнсис учился смешивать карболовую кислоту с формальдегидом (запах которого живо напомнил ему ночи, проведенные с Зейдоком в бальзамировочной у Девинни) и плотно закрывать бутыли со смесью, чтобы она не испарялась.

— Наверняка вы даже не догадывались, что живопись требует такого количества химии и кулинарии, — вещал Сарацини. — Корнишь, вы изготавливаете истинные краски, которы-

---

**[206] Примечания: 206**

*…связывать порошок сиреневым маслом…* — Сиреневое масло получают из душистых белых и сиреневых цветов кустарникового растения сирени обыкновенной (Syringa vulgaris).

**[207] Примечания: 207**

*…встреча с вайдой, isatis tinctoria, из сока которой извлекают темно-синюю краску.* — Вайда красильная (*лат.* Isatis tinctoria) — растение семейства капустных, вид рода вайда. Растение широко культивировалось в Европе ради получения синей краски (в нем содержится тот же краситель, который добывают из растения индиго). По преданию, вайда использовалась кельтскими племенами Британии для боевой раскраски лица (в том числе во времена короля Артура).

ми пользовались старые мастера. Эти богатые оттенки не поблекнут с годами. Сейчас можно купить в магазинах краски с виду похожие, но на деле — совсем не такие. Они позволяют сберечь усилия и время. Но у нас с вами времени ровно столько, сколько было его у старых мастеров, — по двадцать четыре часа на каждый день. Не больше, и никогда не меньше. Для истинной реставрации старинной панели или холста нужно использовать те же краски, какими пользовался живописец. Этого требует правда ремесла. Вдобавок в этом случае вашу работу нельзя будет распознать… Конечно, какой-нибудь особенно умный эксперт с лучами и химией сможет определить, какие части картины были отреставрированы, — я, надо сказать, предпочитаю термин «воскрешены»; но наша задача — воскресить картину так, чтобы у любопытных глупцов не потянулись руки к лучам и химии. Задача картины не в том, чтобы возбуждать недостойные подозрения, но в том, чтобы дарить наслаждение: восторг, благоговейный трепет, религиозные прозрения или просто чувство былого, чувство безграничной глубины и разнообразия жизни.

В этих красивых словах, несомненно, выражались похвальные эстетические и моральные

принципы. Сарацини, воскрешающий прошлое. Но кое-какие детали не давали Фрэнсису покоя.

Если уж воскрешать прошлое, то почему не лучшие творения прошлого? В замке Дюстерштейн были картины, которые явно нуждались в заботе реставратора, — картины выдающихся художников — Менгса[208], вал Билерта[209], даже одна работа Ван Дейка[210], которую не мешало бы почистить, — но ни одна из этих картин не оказалась в ракушечном павильоне. Нет, туда попало несколько других картин, в основном на деревянных панелях, некоторые в плохом состоянии и все без исключения — грязные. В обязанности Фрэнсиса входило вытереть каждую картину, по возможности дочиста, мягкой влажной тряпочкой, а потом — но зачем? — выстирать тряпочку в как можно меньшем объеме воды и высушить воду в тазу, чтобы пыль с картины стала опять пылью; эту пыль следовало всосать

---

**[208] Примечания: 208**

*Менгс,* Антон Рафаэль (1728–1779) — самый крупный немецкий живописец эпохи классицизма.

**[209] Примечания: 209**

*Ван Билерт,* Ян (1597/1598–1671) — голландский портретист, работавший в стиле Караваджо.

**[210] Примечания: 210**

*Ван Дейк,* Антонис (1599–1641) — южнонидерландский (фламандский) живописец и график, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко.

резиновой грушей и поместить в пронумерованный стеклянный флакон.

Большинство непримечательных картин были портретами непримечательных личностей во всем их унылом разнообразии: мелкие дворяне и купцы, бургомистры и ученые люди, их жены с плоскими, как пироги, лицами. Но Сарацини ставил эту аккуратную, скучную мазню на мольберт и часами внимательно рассматривал, а потом снимал краску растворителем в некоторых местах, смазывая живопись или обнажая грунтовку панели. Затем он перерисовывал лицо, делая его таким же, как раньше, но придавая значительности — аристократическая властность, бюргерская сметка, более окладистая борода; женщинам он пририсовывал кольца, скромные, но дорогие, если на портрете были видны руки, и делал получше цвет лица. Иногда Сарацини добавлял в верхний левый угол панели небольшой герб, указывающий статус изображенного на портрете человека. На одну картину, которая была гораздо больше других, он добавил золотую цепь-украшение, воротник и эмблему ордена Святого Духа. «Он наводит марафет на этих четырехсотлетних провинциалов, — думал Фрэнсис, — но зачем и для кого?»

Метод работы с масляными красками, которым пользовался Сарацини, был совершенно незнаком Фрэнсису. Сарацини клал на палитру краски — те самые, которые Фрэнсис с такими трудами изготавливал, — крохотными, почти скупыми мазками; вся остальная поверхность палитры была заполнена смесью фенола и формальдегида с капелькой олифы, и, прежде чем набрать краску, Сарацини окунал кисть в эту тягучую массу, которая служила ему растворителем. Несомненно, странный способ писать красками. К концу ноября Фрэнсис решил, что пришла пора задать вопрос.

— Вы увидите, зачем я это делаю, — сказал *Meister*. — Я бы даже сказал, не сможете не увидеть. Более поздняя запись на реставрированной, или воскрешенной, картине всегда заметна невооруженным глазом. По мере того как картина стареет и краски высыхают — это занимает около пятидесяти лет, — красочный слой трескается определенным образом. Мы называем такие трещины кракелюрами. Они не толще волоса; только плохие картины трескаются так, что становятся похожи на шкуру крокодила. Но эти волосные трещинки проходят сквозь всю толщу краски, до самого грунта, который был использо-

ван для подготовки холста — или панели, такой, с какими я работаю. Что же делать, чтобы в моей новой работе появились кракелюры, чтобы она неотличимо слилась со старой картиной? Как видите, я использую быстросохнущую краску, точнее, эту фенольную смесь, которая служит мне растворителем. Завтра я покажу вам, как делаются кракелюры.

Так вот зачем электрическая печь! Фрэнсис предположил сначала, что она нужна для отопления холодной, сырой комнаты-грота, но все тепло, какое было в комнате, исходило от жаровни — по сути, плошки с горящими углями, установленной на треножнике. По мнению Фрэнсиса, эта конструкция давала тепла не больше, чем последний вздох умирающего младенца. На следующий день после их разговора Сарацини включил электрическую печь. По прошествии некоторого времени печь с великим стенанием и скрежетом принялась вырабатывать тепло — не бог весть сколько тепла, но все равно это была тяжкая нагрузка на примитивную систему электропитания замка, где электролампочки были редки и тусклы и встречались лишь на первом этаже.

Когда *Meister* решил, что нагрев достаточен,

они с Фрэнсисом осторожно загрузили в печь расписанные панели, и через пятьдесят минут запекания на медленном огне на них в самом деле появились волосные трещины, удовлетворившие Сарацини. Картины еще не успели остыть, как он опять удивил Фрэнсиса.

— Пока они не остыли, возьмите соболиную кисть и нанесите обратно на картины ту пыль, которая на них была. Особенно старайтесь, чтобы пыль попала в трещины. Не прилагайте слишком много усилий, но обязательно покройте пылью всю картину, а особенно — свежую запись. Конечно же, используйте для каждой картины пыль из флакона с соответствующим номером. Не следует обижать бургомистра А., нанося на него пыль, которой рука времени осыпала портрет жены бургомистра Б. И поспешите. Пыль должна пристать к картине. Ну-ка за работу, о подмастерье старика Время.

На следующий день Сарацини явился сильно взволнованный.

— Теперь вся работа прекращается до моего возвращения из Рима. Мне нужно до Рождества заехать домой: я не могу долго быть в разлуке со своими возлюбленными — своими картинами, мебелью, даже с балдахином над кроватью: он

когда-то принадлежал императрице Жозефине. Антею, чтобы вновь набраться сил, нужно было прикоснуться к земле, а мне нужно коснуться моих красоток, чтобы набраться решимости, какая нужна для нынешней работы. Корнишь, отчего вы смотрите на меня странно? Неужели моя страстная привязанность к собственной коллекции вас так сильно удивляет?

— Нет, *Meister,* не в том дело. Но… в чем же все-таки заключается ваша нынешняя работа?

— А вы сами как думаете?

— Я не хотел бы строить необоснованных предположений… но эта реставрация, или воскрешение, или назовите как хотите, по-видимому, заходит несколько дальше необходимых пределов.

— О Корнишь, выкладывайте наконец, что у вас на уме. Слово, которое вертится у вас на языке, — подделка, верно?

— О *Meister,* я бы никогда не стал произносить это слово в применении к вам.

— Конечно нет.

— Но все же это выглядит… странно.

— Странно — это очень точное слово! Вот что, Корнишь, вы узнаете все, что вам нужно знать, во благовремение. Поистине, вы узнаете очень мно-

гое, когда нас посетит князь Макс. Он приезжает на Рождество, и я, несомненно, успею вернуться вовремя, чтобы показать ему все эти капитально улучшенные панели. Князь Макс выражается гораздо откровенней, чем я. Разумеется, это его право… А на те две недели, когда меня не будет, я приготовил для вас маленькое удовольствие. Удовольствие и отдых. Вы посмотрели, как я работаю, и я обещал научить вас всему, что вы, по моему мнению, способны вместить. Пока я буду в отъезде, нарисуйте мне картину. Вот небольшая панель. От живописи почти ничего не осталось, но сама панель и кожа, которой она обтянута, вполне сохранны. Нарисуйте мне картину — полностью от себя, но такую, чтобы она не выделялась среди других панелей. Постарайтесь как следует.

— А что нарисовать? Обычную бюргерскую голову-репу?

— То, что считаете нужным. Проявите изобретательность, друг мой. Но картина не должна выбиваться из общего ряда. Я хочу посмотреть, на что вы способны. А когда я вернусь, мы весело справим Рождество. Покажем князю Максу хорошенькие пирожки, которые мы так старательно пекли.

Проявить изобретательность? Ну, раз Сарацини просит, Фрэнсис выполнит его просьбу и удивит Мастера, который, кажется, невысокого мнения о его изобретательности. На следующий день Сарацини уехал в Рим, а Фрэнсис уселся за стол в стылом ракушечном гроте и стал обдумывать сюрприз.

Уехал не только Сарацини. Графиня с Амалией покинули замок в тот же день и направились в Мюнхен, чтобы вкусить от тамошних предрождественских забав. В замке остались только Фрэнсис и мисс Нибсмит.

Общество Рут Нибсмит оказалось весьма приятным: в отсутствие графини она заметно приоткрыла створки своей раковины. Днем Фрэнсис никогда не видел мисс Нибсмит, но они встречались за ужином, сервируемым так же неторопливо, как всегда. Промежутки между переменами блюд они заполняли обильными возлияниями превосходного вина из графининых погребов, а часы после ужина проводили в обществе бутылки бренди.

— Никак не могу привыкнуть к этим немецким комнатам, — сказала мисс Нибсмит, сбрасывая немаленькие туфли и закидывая ноги на стенку роскошной фаянсовой печи, стоящей в семейной

гостиной. — У них нет фокуса. Вы понимаете, о чем я? *Focus,* в латинском значении этого слова. Нет очага. Я скучаю по открытому очагу. Он оживляет комнату не хуже, чем собака. Эти немецкие печи прекрасны и, несомненно, практичны. Они гораздо лучше согревают комнату, чем это делал бы камин. Но где искать центр комнаты? Где встать, если хочешь что-нибудь провозгласить? Где греть седалище?

— Я думаю, фокус там, где самая важная персона, — ответил Фрэнсис. — Когда графиня здесь, фокусом, несомненно, служит она. Кстати, вы, как доверенное лицо хозяев, наверное, знаете: насколько я понимаю, на Рождество тут будет гостить некий князь Макс — станет ли он фокусом? Или графиня в своем замке всегда «царица горы»?

— Князь Макс будет фокусом, — ответила мисс Нибсмит, — но не только потому, что он важная персона. Он самый живой человек из всех, кого я знаю; он так смеется и болтает, что становится центром внимания, где бы ни был. Графиня его обожает.

— Родственник? — спросил Фрэнсис.

— Кузен, из дальних. Он Гогенцоллерн, но бедный. То есть для князя бедный. Но Максик

не из тех, кто ноет и клянет судьбу. Нет-нет, он не сидит на попе ровно, а активно занимается вином; он сплавляет массу этого вина в Англию и особенно в Штаты. Максик из тех, кого наши викторианские предки называли обаятельными проходимцами. Струя горячего воздуха, которая от него исходит, нас всех согреет, а может быть, больно обожжет.

А чем же мисс Нибсмит занимает свои дни? Фрэнсис вежливо осведомился об этом.

— Пишу письма для графини — по-французски, по-английски и по-немецки. Сейчас я к тому же приглядываю за бизнесом. Я хорошо печатаю на машинке. Даю уроки Амалии, в основном по истории; она много читает, и мы с ней разговариваем. Я занимаюсь историей. Я и Кембридж оканчивала по этой специальности. Гертон[211]. А когда есть время, я работаю над своими заметками, — может, когда-нибудь из них получится книга.

— Книга? О чем же?

— Вы будете смеяться. Хотя нет, мне кажется, вы слишком умны, чтобы смеяться. Любой, кто работает с Танкредом Сарацини, наверняка привык

**[211] Примечания: 211**

*Гертон* — колледж в составе Кембриджского университета, первый женский колледж в Англии. Основан в 1873 г. в расположенной неподалеку от Кембриджа деревне Гертон.

ко всяким странным затеям. Я изучаю развитие астрологии в Баварии, особенно в шестнадцатом и семнадцатом веках. Что вы об этом думаете?

— Ничего не думаю. Расскажите.

— Астрология — часть науки прошлого; конечно, в сегодняшней науке для нее нет места, потому что ее корни уходят в развенчанные ныне представления о Вселенной и она использует кучу неоплатонических идей, которые кажутся лишенными смысла… пока не поживешь с ними какое-то время.

— Значит ли это, что вы сами верите в астрологию?

— Ну, не как в незыблемую науку, конечно. Но если ее воспринимать как психологию — это совсем другой коленкор. Астрология основана на идее, которую давно отвергло замечательно рациональное западное общество, а именно что положение звезд при рождении человека определяет его жизнь. В двух словах — «Что вверху, то и внизу»[212]. Полная чушь, конечно. Куча людей родится под одним и тем же сочетанием звезд, и,

---

**[212] Примечания: 212**

*«Что вверху, то и внизу»* — основополагающий принцип герметизма, религиозно-философского течения эпохи эллинизма и поздней античности, носившего эзотерический характер и сочетавшего элементы популярной греческой философии, халдейской астрологии, персидской магии и египетской алхимии.

разумеется, у них всех разные судьбы. Но конечно, нужно обязательно учитывать точное место рождения, а оно очень сильно влияет на картину расположения звезд. Короче говоря, астролог может, зная дату, время и место вашего рождения, составить гороскоп, который порой оказывается удивительно полезным, а иногда абсолютно ни на что не годным.

— Рут, вы говорите так, как будто сами в это верите.

— Наполовину да, на другую половину — нет. Но это очень похоже на «И Цзин»[213]. Кроме рассудка, должна работать интуиция. В астрологии вся соль — в интуиции астролога.

— А у вас сильная интуиция?

— Ну, хоть я и гертонианка, но должна признаться, что да — вопреки советам рассудка. В общем, я изучаю, насколько распространенной и влиятельной была астрология в этих местах во времена Реформации и Контрреформации, когда большинство населения было ярыми католиками и все духовные вещи — а значит, и психология тоже — были отданы на откуп Церкви, которая,

**[213] Примечания: 213**

*«И Цзин»* («Книга перемен») — старейший из китайских классических философских текстов. Содержит систему гексаграмм, которая до сих пор широко используется для гадания.

конечно, знала, как надо, и наставляла своих чад на путь истинный, если они были истинно послушными чадами. Но многие люди не хотели быть послушными чадами. Их неодолимо тянуло что-то из глубин их собственного существа, и они не могли побороть эту тягу, не могли переплавить ее в бесстрастие… или что там требовала от них Церковь. Поэтому они шли к астрологам, но астрологи обычно попадали в немилость у Церкви. Совсем как в наше время, когда все отдается на откуп науке, даже если эта наука полна дыр, как психоанализ. Но люди не согласны отдать все на откуп науке. Например, в США, очень экстравертированной и обуреваемой наукой стране, астрология — большое дело. Янки вечно кричат про свободу воли, и про то, что судьба человека — дело его собственных рук, и все такое, но они не менее суеверны, чем древние римляне.

— М-да, странный вы историк.

— Еще бы!

— Но, как говорил один мудрый человек, которого я знаю… знал — бедняги уже нет в живых, — «жизнь — странная история».

— Страннее не бывает. Взять, например, эту комнату. Вот мы тут сидим уютнейшим образом, несмотря на отсутствие фокуса. Почему нам так

уютно?

— Благодаря печке, конечно.

— Да, но вы не задумывались, почему она такая теплая?

— Задумывался. Как ее топят?

— Благодаря интересной особенности всех этих старых замков. Между основными помещениями проходят узенькие коридорчики — иные не более восемнадцати дюймов шириной, и в них темно, как ночью. И по этим коридорам бесшумно ходят слуги в мягких тапочках и подкладывают дрова в печи. Мы их не видим и обычно не слышим. Мы о них не думаем, но они есть, и только благодаря им здесь можно жить зимой. Подслушивают ли они нас? Я уверена, что да. Они делают нам тепло, мы без них не можем, и они наверняка знают о нас столько, что, знай мы об этом, нам было бы не по себе. Они — потайная жизнь дома.

— Жутковато.

— Жизнь вообще жутковата. А ведь в жизни каждого из нас есть такие невидимые люди… и не совсем люди… которые нас согревают. Скажи, тебе когда-нибудь составляли гороскоп?

— Ну… один раз, в детстве, я послал деньги за составление гороскопа какой-то компании в Штатах, они рекламировали свои услуги в журнале

для мальчиков. Это была жуткая чушь, напечатанная с ошибками на отвратительной бумаге. А в Оксфорде один тип, болгарин, очень хотел составить мой гороскоп, но мне было совершенно очевидно: воля звезд, которую он прочитал, совпадала с его собственным желанием, чтобы я вступил в какую-то ячейку недоделанных коммунистических шпионов, про которую он думал, что он ее возглавляет. Я уверен, ты скажешь, что мое знакомство с астрологией было несколько поверхностным.

— Да, хотя гороскоп болгарина — вполне обычное дело. Куча гороскопов составлялась и, конечно, до сих пор составляется с подобными целями. Но я составлю для тебя гороскоп, если хочешь. Настоящий, без всяких послаблений. Хочешь?

— Конечно. Разве можно отказаться от такого лестного предложения?

— Точно. Кстати, это еще один важный момент. Если для тебя составляют гороскоп, значит тобой по-настоящему интересуются, а это случается реже, чем обычно думают. Где и когда ты родился?

— Двенадцатого сентября тысяча девятьсот девятого года, насколько мне известно — в семь часов.

— А где?

— В городке под названием Блэрлогги, в Канаде.

— Какой-то дальний полустанок. Придется заглянуть в справочник, чтобы узнать точное положение. Ведь звезды в Блэрлогги не точно такие же, как в любом другом месте.

— Да, но, допустим, в Блэрлогги одновременно со мной родился бы еще кто-нибудь; разве его судьба не была бы идентична моей?

— Нет. А теперь я выпущу кота из мешка. Вот что отличает меня от мошенников из твоего детского журнала и от твоего коммуниста-аферист а. Это — мое историческое открытие, которое настоящие астрологи берегли ценой своей жизни, и, если ты хоть полсловом обмолвишься о нем кому-нибудь до выхода моей книги, я тебя найду и очень затейливо убью. Когда тебя зачали?

— Боже, откуда мне знать? Но это было в Блэрлогги, я уверен.

— Обычный ответ. Родители ужасно жеманятся, когда дело доходит до разговоров с детьми на эту тему. Ну что ж, мне придется отсчитать назад приблизительный срок. Дальше, когда тебя крестили?

— О, это я могу сказать: примерно тремя неде-

лями позже, точная дата — тридцатого сентября, около четырех часов пополудни. В англиканской церкви. И кстати, раз уж об этом зашла речь, много лет спустя меня крестили снова, на этот раз в католичество. Я наверняка вспомню дату, если постараюсь. Но какое это имеет значение?

— Дата зачатия важна, это совершенно очевидно. Ты вполне здоровый с виду, так что, я думаю, ты был доношенный. Значит, дату можно восстановить достаточно точно. День, когда человек входит на великую Сцену Жизни, конечно, важен, и только его принимают во внимание астрологи попроще. Но день, когда ты официально родился для жизни в Духе, как ее понимает твоя религиозная община, день, когда ты получил имя, — важен, потому что добавляет несколько штрихов к твоей карте. А двойное крещение! Это уже какое-то духовное щегольство. Принеси мне к завтраку все данные на бумажке, и я ими займусь. А теперь еще по рюмашечке коньячку, и разойдемся по своим непорочным постелькам.

Дни наедине с собой в ракушечном гроте и вечера в обществе Рут Нибсмит врачевали потрепанное самоуважение Фрэнсиса. Отъезд из Англии дался ему очень тяжело. Сперва пришлось объяснять родителям Исмэй, что случилось, а

потом терпеть их очевидную, хоть и невысказанную, уверенность, что это он во всем виноват. Потом пришлось договариваться о малютке Шарлотте — малютке Чарли, как ее называли все, кроме Фрэнсиса, немного шепелявя на первом звуке: выходило что-то вроде «Шарли». Глассоны явно хотели контролировать судьбу девочки, но столь же явно не хотели с ней возиться. Они вполне логично заявили, что уже навоспитывались детей на своем веку. С какой стати им теперь вешать на себя младенца, который ежеминутно требует внимания? Они, что вполне естественно, беспокоились за Исмэй, которая болталась бог знает где, бог знает с кем, в стране, стоящей на пороге гражданской войны. Они признавали, что девчонка — дура, но это, по-видимому, никак не отменяло их уверенности, что во всем виноват Фрэнсис. Когда наконец Фрэнсис, доведенный до крайности, был вынужден сказать, что ребенок не его, тетя Пруденс рыдала, дядя Родерик ругался, но сочувствия к зятю у них не прибавилось. Рогоносцы всегда играют неблаговидную — и обычно комическую — роль.

Наконец Фрэнсису удалось договориться с Глассонами, и никогда в жизни он не чувствовал себя так ужасно. Кроме денег, которые он уже

пообещал на поддержку имения, он согласился оплачивать все расходы на содержание малютки Чарли — существенные, потому что ребенку нужна была первоклассная няня и все остальное, а это должно было влететь в кругленькую сумму, так как Глассоны не собирались ни в чем урезать внучку. Сверх этого он должен был выплачивать четко определенную сумму с неопределенным назначением — на непредвиденные расходы. Вроде бы вполне разумно, но Фрэнсиса не покидало чувство, что им пользуются, а в минуту жизни, когда пошатнулись его честь и его любовь, атака на его банковский счет оказалась неожиданно сильным дополнительным потрясением. Конечно, в таком положении неблагородно так много думать о деньгах, но он о них думал. Что для него была малютка Чарли — то вопящий, то спящий слюнявый комок?

Неудивительно, что он ухватился за предложение дяди Джека — что-то сделать, куда-то поехать, выполнить важное задание. Но за согласие он расплатился тремя месяцами черной работы на Сарацини, который заставлял его орудовать пестом и ступкой, кипятить вонючую грязь — составную часть «черного масла», нужного Сарацини, — и вообще играть роль мальчика на

побегушках и «ученика волшебника».

А чем же занимался этот волшебник? Подделывал картины — ну, во всяком случае, улучшал настоящие, ничего не стоящие картины. Неужели великий Сарацини действительно погряз в этом непростительном для художника грехе? Судя по всему, да.

Ну что ж, раз пошла такая игра и Фрэнсиса в нее втянули, он будет играть на полную катушку. Он покажет Сарацини, что не хуже кого другого может малевать под немецких художников шестнадцатого века. Ему нужно было написать картину, по стилю и качеству похожую на уже законченные панели, которые сейчас стояли вдоль всех стен ракушечного грота, глядя на Фрэнсиса задумчивыми глазами безымянных мертвецов. Садясь за стол, чтобы продумать свою картину, Фрэнсис рассмеялся — впервые за последние несколько месяцев.

Он сделал много набросков; чтобы показать основательный подход к делу, он рисовал на дорогой старинной бумаге, вырезанной из старых книг и остатков альбомов художников, — запас этой бумаги у него оставался еще с Оксфорда. Он грунтовал бумагу умброй и старательно делал наброски (их нельзя было назвать эскизами в

современном смысле слова) серебряным карандашом. Да, выходило неплохо. Именно то, что он хотел изобразить, то, что удивит Мастера. Он быстро и уверенно принялся рисовать на этой несчастной старой панели — в осторожной манере самого Мастера, непримечательными, аутентичными красками, на каждом мазке смешивая их с волшебным составом из фенола и формальдегида.

И тут он с удивлением понял, что счастлив. И от счастья запел.

Многие художники пели за работой — нечто вроде заклинания, вызывающего духов. Стороннему наблюдателю могло показаться, что песня художника не имеет ничего общего с картиной, над которой он работает. Фрэнсис пел оксфордскую студенческую песню на мотив австрийского национального гимна былых счастливых времен «Боже, кайзера храни нам»[214]:

*Что-то жизнь у нас ни к черту,*
*Как могила дом родной —*
*У отца стеноз аорты,*

**[214] Примечания: 214**

*…на мотив австрийского национального гимна… «Боже, кайзера храни нам»…* — Музыка гимна Австрийской империи была написана Йозефом Гайдном в 1797 г. для императора Франца I. В настоящее время эта мелодия служит гимном Германии.

*У мамаши геморрой.*
*Из страны мой братец выслан:*
*Все за то, что содомит.*
*Экономка с мордой кислой*
*На аборт опять бежит.*

Он мычал без остановки, в упоении погрузившись в работу. «Счастливый фальсификатор, — подумал он. — Пока я этим занимаюсь, я неуязвим».

— Ты счастлив? Я — да. — Рут Нибсмит глядела на него с соседней подушки.

Не красавица, даже не хорошенькая, но ладная женщина и, несомненно, веселая. Другого слова Фрэнсис подобрать не смог. Жизнерадостная, свежая и, как выяснилось, с хорошим любовным аппетитом — она никоим образом не тащила Фрэнсиса в постель, но весело согласилась, когда он предложил расширить их дружбу в этом направлении.

— Да, счастлив. И очень приятно слышать, что ты тоже. У меня как-то не очень получается делать других людей счастливыми — этим способом.

— Но ведь так здорово, правда? Как ты оценишь

наши достижения?

— На четверку с плюсом.

— Крепкий второй эшелон. Ну не знаю, я бы поставила пятерку с минусом. Это скромненько, до Ромео и Джульетты мы явно недотягиваем. В общем, мне было очень приятно то, чем мы занимались последние несколько дней.

— Ты так говоришь, как будто все кончилось.

— А все и кончилось. Завтра графиня привезет Амалию из Мюнхена, и я снова заступлю на пост, буду служить образцом добродетели и скромности. И я это сделаю без сожалений — точнее, без особых сожалений. Понимаешь, я считаю, что с нанимателями нужно играть честно: графиня мне доверяет, а значит, я не должна устраивать интрижки с другими старшими слугами, пока воспитываю Амалию. О, если б Амалия нас сейчас видела, она бы умерла от зависти!

— Что? Девочка?

— Тоже мне девочка! Ей четырнадцать лет, и она горячая, как вот эта печка. Между прочим, она тебя обожает.

— Да я с ней и двух слов не сказал!

— Разумеется. Ты далек, недостижим, мрачен и меланхоличен. Знаешь, как она тебя прозвала?

*Le Beau Ténébreux*[215]. Она для тебя готова землю рыть. Она бы совершенно пала духом, если бы знала, что ты довольствуешься ее гувернанткой.

— Ой, ну хватит уже про гувернантку! И кстати, о старших слугах: я никакой не слуга.

— Да ладно! Если ты только слуга — считай, тебе повезло. Графиня вот не слуга: она рабыня — рабыня этого замка и своей решимости восстановить фамильное богатство. Мы с тобой наемники, можем в любой момент взять и уйти. Мне нравится быть одной из старших слуг. Люди много лучше меня были старшими слугами. Если Гайдну не зазорно было носить ливрею Эстергази[216], мне-то на что жаловаться? Когда знаешь свое место — в этом есть куча плюсов.

— То же говорила и Виктория Камерон.

— Одна из женщин в твоем сомнительном прошлом?

— Нет. Наверно, ее можно считать кем-то вроде няньки. Мое прошлое ничем не сомнительно, как ты наверняка прочитала по звездам. Моя жена

---

**[215] Примечания: 215**
Мрачный красавец *(фр.).*

**[216] Примечания: 216**
*…Гайдну не зазорно было носить ливрею Эстергази…* — В 1761–1790 гг. Йозеф Гайдн служил вторым капельмейстером при дворе князей Эстергази — одного из самых могущественных аристократических семейств Австрии.

вечно тыкала меня в нос этим фактом.

— Жена? Это та женщина в гороскопе?

— Значит, ты ее нашла?

— Женщина, которая оставила на тебе огромный рубец.

— Точно, это Исмэй. Она вечно говорила, что я невинен до глупости.

— Фрэнк, это неправда. В смысле — ты вовсе не глуп. По твоему гороскопу это совершенно ясно видно.

— Так когда ты наконец раскроешь мне этот великий гороскоп? Лучше поскорей, если завтра уже приезжает графиня.

— Сегодня вечером. А теперь давай уберемся из этого гнездышка преступной страсти, потому что мне надо одеться, и тебе тоже, и нам обоим нужно помыться.

— Я думаю, не принять ли нам ванну. От нас обоих разит — и это весьма достойный запах.

— Нет, никаких ванн. Слуги сразу нас засекут, если мы соберемся принимать ванну средь бела дня. На баварском языке ванн послеобеденная ванна означает «секс». Нет, тебе придется ограничиться влажным обтиранием и своей предужинной порцией горячей воды.

— Хорошо. «Поцелуй — и навсегда / Нас разъ-

единят года»[217].

— О Рут, не говори «навсегда».

— Конечно не навсегда. Но во всяком случае, до ужина. А теперь — подъем!

— Надеюсь, на ужин дадут что-нибудь хорошее.

— Как ты думаешь, что это будет?

— Что-нибудь неслыханное для Дюстерштейна. Может быть, телятина?

— В точку! Я утром видела меню. *Poitrine de veau farci*[218].

– Увы. Ну что ж: ласковая телятя на всех тарелках лежит.

*Я таю, таю, моя Джен,*
*Как тает снег весной,*
*Я отбываю, моя Джен,*
*К телячьей отбивной.*[219]

— Нам повезло, что хоть это дают. Я так голодна,

---

**[217] Примечания: 217**

*«Поцелуй — и навсегда / Нас разъединят года».* — Из стихотворения Роберта Бёрнса «Расставание».

**[218] Примечания: 218**

Грудинка телячья фаршированная *(фр.).*

**[219] Примечания: 219**

*Я таю, таю, моя Джен…* — Переиначенная ирландская народная песня.

что съела бы и лошадь.

— Голод — лучшая приправа.

— Потрясающе! Какая глубочайшая мудрость! Неужели ты сам до этого дошел?

Фрэнсис шутливо ткнул ее кулаком под ребра и пошел к себе совершать влажное обтирание перед ужином.

После ужина пришло время гороскопа. Рут принесла внушительную пачку бумаг, в том числе зодиакальные карты, на которые она добавила множество пометок красивым наклонным почерком.

— Видишь ли, манера письма не должна контрастировать с материалом, вот я и выучилась так писать.

— Да. Очень мило. Беда лишь в том, что такой почерк очень легко подделать.

— Думаешь? Я уверена, что ты способен распознать подделку под свою собственную руку.

— Да, случалось.

— Вот видишь? Ты точно *Le Beau Ténébreux.* А кто это постарался? Неужели та самая девушка твоей мечты, которая так и торчит в твоем гороскопе?

— Она самая. Какая ты умная, что догадалась.

— Бóльшая часть работы над гороскопом —

умные догадки. То, на что намекает гороскоп, должно быть согласовано с тем, на что намекает его главный герой. Эта девушка для тебя — очень важная фигура.

— Была. Ее больше нет, и слава богу.

— Не «была». Она еще вернется.

— И что тогда?

— Это будет зависеть от того, сохранит ли она к тому времени позицию «девушки твоей мечты». Фрэнсис, ты должен раскрыть глаза на самого себя. В том, что она с тобой так плохо обошлась, часть и твоей вины. Когда мужчина делает «девушку мечты» из обыкновенной живой девушки, ей это чаще всего ужасно вредно. Некоторые девушки ведутся на это и пытаются превратиться в воплощение мечты, получается ужасная липа, и это верный путь к катастрофе. А другие девушки превращаются в законченных стерв, потому что не могут этого перенести. Твоя жена — стерва?

— Стерва, чистейшая дистиллированная стерва тройной очистки!

— Скорее всего, она просто дура. От дур всегда больше бед, чем от всех стерв, которых когда-либо носила земля, вместе взятых. Но давай посмотрим на твою карту. Переберемся на пол, чтобы все разложить. Придави углы книгами. Вот. А

теперь…

Карта была красива, как только могут быть красивы зодиакальные карты, и надписана аккуратно, как может надписать только гувернантка.

— Не буду утомлять тебя астрологическим жаргоном, но давай взглянем на основные факты. Важно то, что Солнце у тебя — в середине неба, а это просто потрясающе. А твой восточный горизонт — точка восхода — находится в соединении с Сатурном; влияние Сатурна часто понимают совершенно неправильно, потому что люди слышат «Сатурн» и сразу думают: мрачный, угрюмый, свинцовый, замкнутый. Но на самом деле Сатурн значит совершенно не это. Твоя Луна — на севере, или в основании неба. А теперь — и это очень важно — твое Солнце находится в соединении с планетой Меркурий. В тебе очень много жизненной силы благодаря сильному Солнцу — и, поверь мне, она тебе понадобится, потому что жизнь уже оставила на тебе несколько рубцов и еще оставит. Но это сильное Солнце также означает, что ты находишься прямо в русле потока психической энергии. У тебя огромный запас духовной отваги и огромная интуиция. И этот Меркурий — дивный, быстрый, способный многое вынести. С психологической

точки зрения ты прекрасно укомплектован… А теперь давай посмотрим на этот очень влиятельный и мощный Сатурн. Это судьба. Ты помнишь историю Сатурна? Ему нелегко пришлось — его кастрировали, но он и сам кое-кого кастрировал[220]. Что в костях заложено… ну знаешь. Есть узоры, которые непременно повторяются. Самые разные барьеры, бремена, которые приходится нести, тревоги, депрессии, нервные истощения — вот тебе и характер «мрачного красавца». Но есть и свои плюсы — в тебе сильно чувство ответственности, которое порой помогает выжить, и наконец обретаемое после долгой борьбы чувство реальности — его неплохо иметь, хотя и не всегда удобно. Видишь, твой Марс поддерживает Солнце, и это дает тебе потрясающее терпение и выносливость. И еще — это важно, — твой Сатурн находится в таком же аспекте с Луной, как твой Марс — с Солнцем, но Сатурн — даритель духовной силы, он уводит тебя далеко в подземный мир — мир сновидений, то, что Гёте называл

**[220] Примечания: 220**

*Ты помнишь историю Сатурна? Ему нелегко пришлось — его кастрировали, но он и сам кое-кого кастрировал.* — Согласно мифам, Крон (он же Кронос, или Сатурн) отрезал детородный орган у своего отца Келуса (Урана), а сын Крона Зевс (Юпитер), в свою очередь, подверг той же операции самого Крона. Имя Крона происходит от греческого слова «хронос» — время.

царством Матерей. Сейчас их любят называть архетипами — это звучит очень по-научному. Но слово «Матери» ближе к истине, потому что они именно Матери. Они творят, они — матрицы всего опыта, проживаемого человеком.

— Так это, значит, мир искусства?

— Не только. Искусство может быть симптомом или видимой формой того, чем являются Матери. Имей в виду, что можно быть прекрасным художником и ничего не знать о Матерях… Сатурн в асценденте и Солнце в середине неба — это очень редкое сочетание, которое сулит совершенно необычную жизнь. Может быть, даже особое небесное покровительство. Ты когда-нибудь что-нибудь такое чувствовал?

— Нет.

— Фрэнсис, ты в самом деле очень необычный человек.

— Лестно слышать.

— Я тебе не льщу! С такими вещами не играют. Я не сшибаю медяки составлением гороскопов. Я пытаюсь проникнуть в суть вещей, и мне очень повезло, что я наткнулась на тот астрологический секрет, про который я тебе говорила. Фрэнсис, я не шучу.

— Надо сказать, что моя необычность не спе-

шит проявляться.

— Скоро начнет, а может, уже начала. Мировой славы я тебе не обещаю, но, может быть, посмертную?.. У тебя в карте есть несколько вещей, о которых я непременно тебе сказала бы, если бы занималась гаданием за деньги. Пребывание в Дюстерштейне для тебя очень важно, это видно по твоей карте. И работа с Сарацини тоже очень важна, хотя он виден только как воздействие Меркурия. И еще всякие фоновые вещи, которые сейчас не видны. Что у тебя с музыкой?

— С музыкой? Я никогда особо не занимался музыкой. У меня нет способностей.

— Нет, это чья-то чужая музыка. В твоем детстве.

— У меня была тетя, которая часто играла на пианино и пела. Надо полагать, ужасную ерунду.

— Это она — ложная мать? У тебя их тут две. Вторая — это та нянька?

— Кухарка моего деда, если точно.

— Очень сильное влияние. Твердое как гранит. А в другой есть капелька чего-то ведьминского. Она была с виду странная? Это она пела? Не важно, что ее песни вышли из моды. Ты знаешь, люди в этом смысле очень глупы: они думают, что только самая модная музыка действует на человека,

а если она недостойна Зальцбурга или Байрёйта[221], то ее можно сбросить со счетов. На самом деле сентиментальная песенка иногда открывает двери, в которые тщетно стучится Гуго Вольф[222]. Наверно, с картинами то же самое. Хороший вкус и сильный эффект не всегда связаны. Если твоя поющая тетя вкладывала в пение всю душу, она могла оставить на тебе пожизненную печать.

— Может, и так. Я часто про нее вспоминаю. Мне пишут, что она сильно сдает.

— А это что вот тут? Какой-то жуткий узел. Вроде бы даже не совсем человек. У тебя не было очень любимой кошки или собаки?

— У меня был очень больной брат.

— Странно. Как-то не слишком похоже на брата… Но кто бы он ни был, он очень, очень сильно на тебя повлиял. Он дал тебе великое сострадание к несчастным и униженным, и это прекрасно —

---

**[221] Примечания: 221**

*…недостойна Зальцбурга или Байрёйта…* — Зальцбург (Австрия), Байрёйт (Германия) — центры оперного искусства, места проведения известных музыкальных фестивалей.

**[222] Примечания: 222**

*Гуго Вольф* (1860–1903) — австрийский композитор. В историю мировой музыки вошел как один из крупнейших мастеров камерно-вокального жанра XIX в., развивший и подытоживший традиции песенной классики от Бетховена до Шуберта и Шумана. Опираясь на традиции немецкой классической песни, Lied, он претворил ее на основе вагнеровской музыкальной драмы.

если не затуманивает здравый смысл. Впрочем, это вряд ли возможно с таким сильным Меркурием. Но неумеренное сострадание губит человека еще быстрей, чем бренди. А царство мертвых? Что ты там делал?

— Я считаю, что узнавал, до чего хрупка и до чего тяжела человеческая жизнь. У меня был замечательный учитель.

— Да, я его вижу, нечто вроде Харона, он перевозит мертвых к ним домой, на тот свет. Если бы я писала научную работу, от чего боже меня сохрани, я назвала бы его «психопомп».

— Красивое слово. Ему бы понравилось называться психопомпом.

— Это, случайно, не твой отец?

— Нет, слуга.

— Странно, а выглядит совсем как отец или, во всяком случае, какой-то родственник. А где отец? Я вижу какого-то Полифема, но не могу понять, отец он или нет.

Фрэнсис рассмеялся:

— О да, он точно Полифем. Носит монокль не снимая. Хороший человек.

— Вот видишь, как осторожно надо подходить к интерпретациям. Полифем вовсе не был хорошим человеком. Но определенно был одно-

глазым. Но действительно ли он твой отец? А что же старик?

— Какой старик? Мой дедушка?

— Да, наверно. Человек, который по-настоящему любил твою мать.

— Рут, что ты несешь?

— Только не лезь в бутылку. Я говорю про инцест. Не физическую гадость, а духовную, психологическую связь. В ней есть нечто благородное. Она бы облагородила и физическую связь, если бы та была. Но я вовсе не имею в виду, что ты — сын своего деда по плоти. Скорее, ты его духовное дитя, любимое за то, что оно — дитя его обожаемой дочери. А что твоя мать? Она как-то слабо проявляется. Ты ее очень любишь?

— Думаю, да. Я всегда так думал. Но она никогда не была реальной в той же мере, что тетя и кухарка. У меня никогда не было ощущения, что я ее знаю по-настоящему.

— Мудро дитя, знающее своего отца, но лишь один человек из миллиона знает свою мать. Матери — загадочные существа.

— Да. Мне говорили. Они спускаются вниз, вниз, вниз, к самым вратам преисподней, чтобы мы, мужчины, могли жить.

— Это очень сатурновское высказывание. И

похоже, что ты ее за это ненавидишь.

— А кто бы не стал ненавидеть? Кому нужен такой неподъемный, давящий долг благодарности по отношению к другому человеку? Я полагаю, что, зачиная меня, она не думала о вратах ада.

— Верно. Если твоя первая карта не врет, тебя зачинали с большим удовольствием. А ты ей уже сказал про свою жену? Что она сбежала с тем авантюристом?

— Нет. Еще не сказал.

— А про ребенка?

— О да, про ребенка она знает. «Милый, ну какой же ты гадкий мальчик, сделал меня бабушкой!» Это она мне написала.

— А ты уже утешил ее, что на самом деле она вовсе не бабушка?

— Черт возьми, Рут, это уже какая-то инквизиция! Ты что, правда это разглядела в своей несусветице?

— Я вижу рога рогоносца — ясно до боли. Ты не суетись. Это бывало и с лучшими людьми. Вспомни короля Артура.

— В жопу короля Артура! И Тристана с Изольдой, и гребаный Грааль, и всю эту кельтскую херню! Каким ослом я себя выставил из-за всего этого!

— Бывает, люди выставляют себя ослами из-за гораздо менее достойных вещей.

— Рут, я не то чтобы вредничаю, но все это как-то слишком неопределенно, мифология какая-то. Скажи честно, ты ведь на самом деле во все это не веришь?

— Я тебе уже сказала: это лишь способ перенаправить интуицию и достичь вещей, до которых невозможно добраться по широким, хорошо освещенным проспектам науки. Да, астрология не укладывается в четкие принципы, но это не повод от нее отмахиваться. Чтобы поговорить с Матерями, нельзя просто взять и позвонить им по телефону. Их номера нет в справочнике. Да, я верю во «все это».

— Но все, что ты мне до сих пор говорила, — приятные, лестные вещи. А если бы ты увидела по моей карте, что я умру сегодня ночью, ты бы мне сказала?

— Наверно, нет.

— Ну хорошо, в таком случае — когда я умру? Ну-ка давай что-нибудь определенное, что там тебе звезды нашептали.

— Ни один астролог, если он в своем уме, не назовет человеку время его смерти. Хотя жил однажды мудрый астролог, который сказал

вспыльчивому королю, что король умрет на следующий день после него. И потому прожил долгую и счастливую жизнь. Но вот что я тебе скажу: прогноз благоприятен. Войну ты переживешь.

— Войну?

— Да, ту, которая скоро начнется. Ну правда же, Фрэнсис, не нужно читать по звездам, чтобы видеть, что скоро начнется война и что нам с тобой лучше бы убраться из этого очаровательного, живописного замка до того. Чтобы не оказаться случайно в том самом поезде, что раз в несколько дней проходит под нашими окнами.

— Так ты об этом знаешь?

— Это не ахти какой секрет. Я бы многое отдала, чтоб хоть одним глазком взглянуть на тот лагерь, но первое правило для иностранцев — не совать нос куда попало. Надеюсь, ты не слишком далеко заезжаешь в ту сторону, когда ездишь проветриться на своей машинке. Фрэнсис, ты ведь не можешь не знать, что мы сейчас в логове тирании, которой не было равных как минимум за последнюю тысячу лет, и, несомненно, самой эффективной тирании за всю историю человечества. А где тирания, там и предательство — иногда утонченнейшее. Ты не знаешь, чем занимается

Сарацини?

— У меня в последнее время возникают разные вопросы по этому поводу.

— Выясни, да побыстрее. Честное слово, Фрэнсис, для человека с таким сильным Меркурием ты удивительно медленно соображаешь. Я сказала, что ты не глуп, но ты определенно туповат. Очень советую тебе выяснить, во что ты вляпался. Может, Макс тебе объяснит. Слушай, Меркурий ведь бог сообразительности, верно? А также хитрости, обмана, всяких трюков и прочего в том же духе. В твоей судьбе скоро наступит величайший момент. Судьбоносное решение. Фрэнсис, я тебя умоляю: будь жуликом, если нужно, только, ради всего святого, не будь тупым жуликом! Ведь у тебя в карте так сильны Сатурн и Меркурий! Ты хотел, чтобы я тебе рассказала о темной стороне твоего гороскопа, — так вот она! И еще одно. Деньги, ты слишком любишь деньги.

— Потому что каждый, кого ни возьми, пытается меня обобрать. Как будто я всеобщий банкир, бесплатный мойщик бутылок, шпик и лакей…

— Шпик? Так вот почему ты здесь! Ну что ж, мне будет чуточку спокойней, раз ты не просто заблудший американец, шарящий вслепую в тумане…

— Я не американец, черт возьми! Я канадец. Вы, англичане, могли бы, наконец, и запомнить разницу!

— Извини, извини! Конечно ты канадец. А знаешь, что это значит с точки зрения психологии? Ужасную кашу. По массе уважительных причин, в том числе из-за сильного планетного влияния, Канада — страна-интроверт, которая из кожи вон лезет, чтобы казаться экстравертом. Проснитесь! Будьте собой, а не дурной копией кого-то другого!

— Ты просто гениально несешь беспросветную чушь — лучше всех, кого я знаю.

— Ну ладно, о тупоголовый друг мой. Подожди, и все увидишь сам. Сеанс у астролога окончен! Уже полночь, а завтра мы должны, бодры и свежи, приветствовать своих хозяев, когда они приедут из Мюнхена, Рима и откуда там должен прибыть пресловутый князь Максимилиан. Так что налей мне еще рюмку коньяка, и — спокойной ночи!

— Хайль Гитлер! — Приветствие князя Макса прогремело как пистолетный выстрел.

Сарацини вздрогнул, и рука его дернулась, будто желая вскинуться в ответ. Но графиня, присевшая в реверансе, поднималась медленно, словно актер пантомимы из потайного люка на

сцене.

— Макс, это было обязательно?

— Дорогая кузина, не сердитесь, я просто пошутил. Можно? — И он нежно поцеловал ее в щеку. — Сарацини, дорогой друг! Милая кузиночка, вы еще красивей обычного. Мисс Нибсмит, как поживаете? А вы… мы не встречались, но вы, надо полагать, Корниш, правая рука Танкреда. Очень приятно.

Когда князь Макс говорил, нелегко было вставить слово. Фрэнсис пожал протянутую руку. Макс не умолкал:

— Спасибо вам, кузина, что пригласили меня на Рождество. Оно в Баварии уже не то, что раньше, хотя по дороге я видел кое-какие признаки увеселений. Я поехал через Обераммергау, надеясь, что уж там-то рождению Господа нашего радуются с должной благодарностью. Ведь тамошние жители продают, в том числе на экспорт, по нескольку сот тысяч погонных метров яслей, распятий и святых образов в год, и даже они вряд ли способны начисто забыть, что было этому причиной. А вот в Швейцарии Рождество в полном безудержном разгуле. В Париже празднуют почти с таким неистовством, как если бы Христос был французом. И в Лондоне люди, в остальном

вполне вменяемые, утопают в диккенсовских соплях, расхватывают в «Фортнуме» последние тарталетки, пудинги, хлопушки и прочую атрибутику местных сатурналий. А здесь… Вижу, вы развесили венки из хвои…

— Ну конечно. А завтра месса, как обычно.

— И я обязательно пойду! Не съев ни крошки, не выпив ни глотка после полуночи. Даже зубы чистить не буду — вдруг пресловутая лютеранская капля воды случайно попадет в горло. Как хорошо! А, Корниш? Или мне следует сказать «тото будиТ рас чуДесна?»[223]

— Простите, ваша светлость?

— Нет-нет, никаких светлостей! Зовите меня Максом. «Тото будиТ рас чуДесна» — это из Диккенса. Вы, должно быть, настоящий диккенсовский протестант, а?

— Меня вырастили католиком.

— А с виду совсем не похоже.

— А как, интересно, должны выглядеть католики? — недовольно спросила графиня.

— Они выглядят прекрасно, кузина, у них в глазах — свет Царства Небесного, который никогда не увидишь у лютеран. Разве не так, а, мисс

---

**[223] Примечания: 223**

*«Тото будиТ рас чуДесна»* — Диккенс Ч. Большие надежды. Гл. 7. Перев. М. Лорие.

Нибсмит?

— О, зато в наших глазах сияет свет истины, ваша светлость.

— Очень хорошо! Гувернантку не подловишь, а? Амалия, надеюсь, и ты впитываешь хоть немножко этого света?

Амалия покраснела, как всегда, когда к ней обращались, а ей было нечего сказать. Но она могла не беспокоиться. Князь продолжал свою тираду:

— Ах, настоящее баварское Рождество, совсем как в детстве! Но надолго ли это? Надеюсь, среди нас нет евреев, так что нам позволено будет праздновать Рождество согласно традициям и нам хотя бы никто не помешает. Танкред, а вы, случайно, не еврей? Меня всегда волновал этот вопрос.

— Боже сохрани, — сказал Сарацини и перекрестился. — Мне и без этого забот хватает.

Тут Амалия обрела голос.

— А я и не знала, что евреи празднуют Рождество, — сказала она.

— Им, беднягам, сейчас вряд ли удается хоть что-то праздновать. За ужином выпьем за наступление лучших времен, хорошо?

Князь приехал в спортивном автомобильчике, который фыркал, кашлял, ревел, пердел и был

нагружен свертками и большими кожаными чемоданами. Когда обитатели замка собрались к ужину, оказалось, что в свертках и чемоданах — подарки для всех. Подарки словно бы громко вопили: «Бонд-стрит!» Графиня получила ящик кларета и ящик шампанского. Амалия — фотографию князя Макса в парадной военной форме, в дорогой рамке от «Эсприс». Мисс Нибсмит — красивейший, хоть и не очень практичный, дневник с переплетом из голубой кожи, с золотым замочком и ключом. Для астрологических записей, хитро сказал князь. Сарацини и Фрэнсис получили карманные дневники в кожаных переплетах на будущий год, явно от «Смитсона». Слугам же досталась корзина роскошных лакомств из «Фортнума».

Конечно, были и другие подарки. Графиня подарила Фрэнсису книгу про дюстерштейнские картины, написанную каким-то трудолюбивым ученым много лет назад. Амалия, сильно краснея, вручила Фрэнсису шесть носовых платков, на которых она вышила его инициалы. Сарацини подарил всем книги стихов, переплетенные во Флоренции. Фрэнсис отличился тем, что преподнес графине и Амалии их портреты — рисунки, сделанные им самим в стиле старых мастеров.

Он особенно старательно подчеркнул семейное сходство. Для мужчин и мисс Нибсмит он ничего не припас, но это, кажется, не имело значения. Когда все подарки были розданы, начался ужин, длиннее обычного, с олениной, жареным гусем и фаршированным карпом, который оказался приятнее на вид, чем на вкус. Когда доели сыр, графиня объявила, что в честь Фрэнсиса трапезу завершит традиционное английское блюдо, которое повар, италошвейцарец, определил как *Suppe Inglese*[224]. Блюдо оказалось смелой попыткой воспроизвести вишневый трайфл[225] — результат получился слишком мокрым, но Фрэнсис оценил добросердечный жест.

Ужин сопровождался не столько общей беседой, сколько сольным выступлением князя Макса, полным упоминаний — небрежных, но не слишком необходимых — про «моего кузена Кароля, румынского короля». Кроме этого, Макс рассказал пару исторических анекдотов

---

**[224] Примечания: 224**
Английский суп *(ит.).*

**[225] Примечания: 225**
*Вишневый трайфл* — традиционный английский десерт из бисквита, желе, молочного крема и взбитых сливок.

про «моего предка, *Friedrich der Grosse*[226], хотя мы, конечно, принадлежим к швабской ветви семейства», и длинную историю о том, как он мальчиком изучал каноническое право, «чтобы священники не могли нас обмануть, — понимаете, во владениях нашей семьи было больше пятидесяти приходов». Когда наконец пришло время тостов, выпили за графиню, Амалию, мисс Нибсмит, за сокровища итальянского искусства, «о которых заботится наш дорогой маэстро Танкред Сарацини», и за английского короля, а затем князь, немало забавляясь, настоял, чтобы они подняли бокалы за «претендента на британский трон, моего кузена князя Рупрехта Баварского, который наследует через своих предков Стюартов, как вы, конечно, знаете». После этого Фрэнсис непременно должен был разбить свой бокал (предварительно убедившись, что это не слишком большая ценность), чтобы никто никогда не мог поднять его по менее важному случаю.

Фрэнсис вышел из своей обычной роли *Le Beau Ténébreux* — в нем бродило выпитое вино. Когда Амалия набралась храбрости и спросила, правда

---

**[226] Примечания: 226**

*Friedrich der Grosse* — Фридрих Великий, он же Фридрих II (1712–1786) — король Пруссии в 1740–1786 гг., один из основоположников прусско-германской государственности.

ли, что в Канаде множество медведей, он ответил, что в его детстве одного мальчика сожрал медведь всего в трех милях от Блэрлогги. Это была правда, но Фрэнсис, не удовлетворившись ею, добавил, что медведя позже видели: он шел на задних лапах, на голове у него была шапка съеденного мальчика, а под мышкой — его мешок с книгами. Двигался медведь по направлению к Карлайлской сельской школе. В это не поверила даже Амалия.

— Милая, английское остроумие склонно к некоторой доле *fantaisie,* — сказала графиня с серьезностью, положенной бабушке.

Затем князь Макс опять завладел нитью беседы и начал рассказывать про охоту на кабанов, в которой он участвовал вместе с разнообразными высокопоставленными родственниками.

— А чем князь занимается сейчас? — спросил Фрэнсис у Рут Нибсмит после ужина.

— Он коммивояжер в виноторговой компании с отделением в Лондоне, — шепнула она. — Живет на жалованье — ему прилично платят, но, конечно, это не богатство. Он настоящий аристократ — бесстыдно живучий и жизнерадостный. Гитлер его никогда не одолеет. Ты заметил маленькую виттельсбахскую штучку — герб на двери его

машины? Макс — подлинный аристократ, но язык у него подвешен как надо, не то что у наших английских важных шишек.

Наступило рождественское утро. Месса была прослушана, завтрак съеден, и Сарацини, не сказав ни слова — хотя князь не переставая говорил о других вещах, — направился в ракушечный грот-мастерскую, а графиня, князь и Фрэнсис последовали за ним. Панели, над которыми Сарацини работал всю осень, были расставлены на столах, прислонены к стенам и к колоннам из ляпис-лазури.

Князь неторопливо осмотрел их все.

— Восхитительно! — сказал он. — Поистине, Танкред, вы превзошли собственную репутацию. Как вы преобразили эту унылую мазню! Я бы никогда не поверил, если бы не видел собственными глазами. И вы говорите, что это нельзя распознать?

— Очень решительно настроенный критик, вооруженный различными кислотами для проб и особыми лучами, позволяющими выявить неизбежную разницу в наложении мазков, наверное, разглядит мою работу — и даже в этом случае у него не будет полной уверенности. Но, как я не устаю повторять нашему другу Корнишу, наша

задача — сделать работу так хорошо, чтобы подозрения даже не возникли и чтобы любопытные критики со своими лучами не явились и не начали сеять эти подозрения. Как видите, картины довольно грязные. И грязь — их собственная. Никакой аугсбургской грязи там, где должна быть нюрнбергская. Без сомнения, эти картины хорошенько почистят, прежде чем повесить в великой галерее.

— Может быть, вас даже пригласят руководить чисткой. Будет неплохо, а?

— Да, я получу большое удовольствие.

— Знаете, некоторые так хороши, что мне даже захотелось оставить их себе. Вы заставляете зрителя поверить, что какие-то чрезвычайно искусные, совершенно неизвестные и непризнанные портретисты подлинно немецкого стиля работали в этих местах среди богатых купцов в пятнадцатом и шестнадцатом веках. Единственное, что вам не удалось спрятать, *Meister,* — это ваш талант.

— Вы очень добры.

— Посмотрите-ка на эту. Шут Фуггеров. Несомненно, один из тех шутов, которых, как мы знаем, Фуггеры постоянно держали с тех пор, как стали князьями. Но который же? Как вы думаете

— может, это дурачок Гензель, любимец князя Ганса? Поглядите на него. Какое лицо!

— Бедняга, — сказала графиня. — Подумать только — родиться карликом и жить игрушкой на содержании! Впрочем, надо полагать, это лучше, чем родиться и жить карликом, которого никто не содержит.

— Наши друзья, несомненно, придут в восторг от этой картины, — сказал князь Макс.

— Прошу прощения, но она не идет с остальными, — вмешался Сарацини.

— Не идет с остальными?! Но она же лучшая во всей партии! Почему не идет?

— Потому что это не подрисованная настоящая картина. Это полная фабрикация, проще говоря — подделка, созданная нашим юным другом Корнишем. Я учил его технике рисования подобного рода картин и велел в качестве упражнения изобразить нечто подобное самостоятельно, чтобы показать, насколько он освоил технику.

— Но это же шедевр!

— Да. Шедевральная подделка.

— Но… а ее можно распознать?

— Без научного анализа — нет. Панель старая и вполне подлинная, обтянутая такой же старой кожей. Цвета правильные, краски сделаны по ста-

рой технологии. Техника безупречна, разве что слишком хороша для совершенно неизвестного художника. Этот хитроумный негодяй Корнишь даже позаботился, чтобы в кракелюрах оказалась подлинная старинная пыль. Я полагаю, что и у одного наблюдателя из тысячи не возникнет сомнений.

— Да, но, *Meister...* этот наблюдатель, конечно же, заметит в верхнем левом углу *Firmenzeichen,* вилы в круге, — старинный знак рода Фуггеров. И похвалит себя за наблюдательность и догадливость, тем более что знак едва виден.

— Да. Но все равно это подделка, дорогой Макс.

— Может быть, по сути. Но не по духу, безусловно. Подумайте, *Meister,* ведь это не имитация работы какого-либо известного художника. В таком случае это действительно была бы подделка. Нет, это всего лишь маленькая картинка в манере шестнадцатого века. Чем же она отличается от остальных?

— Только тем, что написана меньше месяца назад.

— О, это почти лютеранское моральное чистоплюйство! Вы — недостойный слуга Хроноса. Кузина, что вы скажете? Ведь это небольшая жемчужина, правда?

— Я скажу, что эта картина говорит нам об унылом, беспросветном существовании карлика, которому приходится делать из себя посмешище, чтобы его терпели. Который чувствует, что Господь с ним дурно обошелся. Если уж я при взгляде на картину чувствую нечто подобное, это должна быть поистине сильная вещь. Я бы хотела, чтобы она отправилась вместе с остальными.

— Конечно, кузина. Именно такого здравого взгляда я от вас и ожидал. Ну же, Танкред, смиритесь.

— Ну, если вы настаиваете… Вы рискуете сильнее всех нас.

— Это моя забота. Кузина, все ли готово к путешествию?

— Да, шесть бочек с вином стоят в старой житнице.

— Тогда немедленно за работу.

Следующие три часа графиня, Фрэнсис, Макс и Сарацини заворачивали панели — общим числом восемнадцать, включая портрет шута, — в промасленную бумагу. Затем картины зашили в водоотталкивающий шелк, а швы запечатали смолой, которую Сарацини разогрел на жаровне. К сверткам привязали свинцовые грузики. Затем картины отнесли в старую житницу, где по

случаю праздников не было никого из рабочих. С бочек сняли верхние днища и осторожно погрузили картины в белое вино, которое заполняло бочки — по пятьдесят два галлона в каждой. Когда князь Макс забил на место последнее днище, восемнадцать утопленных картин, надежно укутанных в водонепроницаемые упаковки, были готовы к отправке в Англию, на склады уважаемого лондонского виноторговца. Этим утром все славно поработали, и даже графиня чуточку расслабилась против обычного и пригласила всех на рюмочку мадеры в свои личные покои, где Фрэнсис раньше не бывал.

— Сознание наших свершений наполняет меня дивным теплом, — сказал князь Макс, нюхая содержимое стакана. — Я радуюсь широте и изобретательности нашего ума. Интересно, хватит ли у меня выдержки не оставить карлика Фуггеров себе. Нет, это было бы непрофессионально. Он должен отправиться вместе с прочими. Надо сказать, меня очень удивляет молчание нашего друга Фрэнсиса. Он не произнес ни слова о том, что мы сделали с картинами.

— У меня есть веские причины молчать, — ответил Фрэнсис. — Но я, конечно, хотел бы знать, что тут происходит, если это позволительно. *Master*

так запугал меня в последние четыре месяца, что я не чувствую себя вправе задавать вопросы. Надо думать, это и значит быть подмастерьем. Держать глаза открытыми, а рот на замке. Но мне бы хотелось знать хоть что-нибудь, если можно.

— Танкред, похоже, вы ужасный старый тиран, — заметил князь Макс. — Кузина, как вы считаете — может быть, стоит объяснить хоть малую часть?

— Да. Хотя я сомневаюсь, что вы можете — в объяснениях или в чем угодно еще — ограничиться малой частью. Но мистер Корниш уже замешан в… вам придется объяснить в чем… сильней, чем он сам догадывается, и держать его в неведении было бы дурно.

— Значит, так, дорогой Корниш. Вы ведь знаете, что наш фюрер — великий знаток искусства? Это вполне объяснимо, так как в молодости, до призвания на поприще могучих свершений, он сам был художником. Он полон решимости открыть духовные богатства немецкого народа всему миру, а также самому немецкому народу. С этой целью он решил приобрести и вернуть в Германию все работы немецких художников, находящиеся за границей. Репатриация нашего наследия, как он это называет. Конечно, это не

быстрое дело. Во время Реформации произведения немецкого религиозного искусства сильно рассеялись. Это была никому не нужная труха. Во всяком случае, лютеранам ненужная. Многие вещи оказались в других странах, и даже в Америке, откуда они, по всей вероятности, не вернутся. Но то, что в Европе, можно как-то вернуть. Второй период великого рассеяния немецкого искусства имел место в восемнадцатом веке и в начале девятнадцатого, когда любой юный щеголь, совершая обязательное для тех времен большое путешествие по Европе, считал своим долгом прихватить несколько хорошеньких вещичек. И далеко не все они были созданы в Италии. Некоторые шедевры готического искусства происходят отсюда. Фюрер хочет собрать все это, и первоклассные, и второстепенные вещи — хотя он никакое подлинно немецкое произведение не считает второстепенным, — и построить в Линце великий Фюрер-музей, где они будут храниться.

— Но ведь Линц же в Австрии?

— Да, и совсем недалеко от места рождения фюрера. Ко времени, когда все картины будут собраны, Австрия уже созреет и сама упадет в руки… Вы начинаете понимать?

— Да, но неужели фюрера интересуют картины,

над которыми работали мы с Мастером? Они ведь совершенно заурядны? И зачем посылать их в Англию? Почему не предложить их прямо тут?

— Ну… это сложная история. Во-первых, фюрера интересует все немецкое; потом, когда он соберет все произведения искусства, их поделят на хорошие и посредственные. И я должен заметить, что вы с нашим милым Танкредом приподняли эти картины над серой заурядностью. Это весьма интересные портреты бюргеров. Как светится их ум, их немецкость! Во-вторых, фюрер готов… или, точнее сказать, его агенты готовы договариваться с зарубежными владельцами предметов искусства. Они желают меняться. За каждую немецкую картину можно получить картину примерно такой же ценности, которая не принадлежит кисти немецкого художника, но хранится сейчас в немецкой галерее. Музей кайзера Фридриха в Берлине и Мюнхенская пинакотека уже послушались деликатных увещеваний советников фюрера по искусству и обменяли одного Дуччо ди Буонинсенья, одного Рафаэля, несколько фра Липпо Липпи и бог знает что еще на предложенные им немецкие картины. В Англии их, знаете ли, немало.

— Надо полагать.

— И мы как раз собираемся отправить в Англию еще несколько вещей для последующего обмена. Такие картины вполне могли обнаружиться в английских сельских усадьбах. Незначительные вещи, но главный закупщик фюрера заботится и о количестве тоже, а не только о качестве.

— Он и о качестве не забывает, — вставила графиня, сдавленно фыркнув.

— О да, и на здешнюю коллекцию он тоже поглядывает. Главный агент фюрера по закупке предметов искусства, как вы, возможно, знаете, — очень занятой человек, рейхсмаршал Геринг, и он уже нанес визит моей кузине, чтобы узнать, не желает ли она преподнести свою коллекцию в дар Фюрер-музею в знак преданности немецким идеалам. Рейхсмаршал очень любит живопись и сам владеет неплохой коллекцией. Насколько мне известно, — князь посмотрел на графиню, — он попросил фюрера восстановить для него титул, дарованный ландграфом Вильгельмом Третьим Гессенским своему советнику по искусству: «генеральный управляющий отрадой для взора».

— Какая наглость! — воскликнула графиня. — У него чрезвычайно вульгарные вкусы. Впрочем, чего еще ожидать.

— Ну вот, дорогой Корниш, теперь вы все знаете, — сказал князь.

— Значит, это донкихотская антигитлеровская эскапада? — спросил Фрэнсис. — Просто чтобы ему насолить? Но ведь вы чудовищно рискуете?

— Мы, конечно, донкихотствуем, но не настолько, — ответил князь. — За эту работу мы получаем определенное вознаграждение — она, как вы совершенно правильно сказали, опасна. Дружественные нам английские фирмы весьма щедры. В нашей схеме участвуют различные торговцы предметами искусства. Они организуют обмен, и они же продают итальянские шедевры, отправляемые в Англию взамен картин, которыми мы занимались сегодня утром. Подобная небольшая партия незначительных картин может быть обменяна на один холст — Тьеполо или даже Рафаэля. Конечно, мы донкихотствуем, но не совсем бескорыстно. Некоторые суммы денег переходят из рук в руки в зависимости от наших успехов.

Фрэнсис поглядел на графиню. Он хорошо владел лицом, но, должно быть, все же выдал свое изумление. Графиня даже бровью не повела.

— Кто боится риска, тому не восстановить великое состояние, — заметила она.

*– Эта девушка неплохо справилась с гороскопом Фрэнсиса, — сказал Цадкиил Малый. — Она даже намекнула на твое участие в его судьбе, брат. Ты, должно быть, удивился.*

*— Меня не так просто удивить, — ответил даймон Маймас. — Во дни, когда люди признавали существование и силу даймонов вроде меня, нас часто узнавали и призывали. Но безусловно, девушка весьма преуспела. Она предупредила Фрэнсиса о надвигающемся кризисе и предостерегла против растущей в нем привязанности к деньгам.*

*— У этой привязанности веские причины, — заметил ангел. — Он правильно говорит, что все норовят его использовать, а он беззащитен. Погляди на дюстерштейнскую банду! Князь Макс уверен, что Фрэнсис с радостью примет участие в этой, выражаясь очень мягко, мистификации с картинами. Князь видит в ней лишь аристократическую шалость и уверен, что стать одним из шалунов — большая честь для Фрэнсиса. По мнению графини, мещанин вроде Фрэнсиса должен радоваться, что его посвятили в тайну высокородных людей и позволили работать за стол и кров на благо этой тайны. А Сарацини питает искреннее презрение мастера к новичку. Но если дело вскроется, сильнее всех пострадает Фрэнсис,*

*ибо он единственный, кто действительно подделал картину.*

*— Нет, брат, он ничего не подделывал. Он нарисовал оригинальную картину в своем индивидуальном стиле, а если какой-нибудь ценитель искусства ошибется в датировке — это его проблемы. Не Фрэнсис, а князь и графиня выдают эту картину за то, чем она не является. Они аристократы, а как ты прекрасно знаешь, аристократы порой пробиваются наверх отнюдь не благодаря безупречной щепетильности. Что же до денег, эта история еще не рассказана.*

*— Я склоняюсь перед твоим доскональным знанием дела, дорогой Маймас. Меня радует, что Франсуа Ксавье Бушар, карлик-портной из Блэрлогги, готов наконец ворваться в мир под личиной шута Фуггеров, дурачка Гензеля, и получить свою порцию славы. И все потому, что Фрэнсис научился наблюдать и запоминать под руководством Гарри Фернисса.*

*— Таковы маленькие шутки, скрашивающие однообразный труд Малых Бессмертных, — заметил даймон Маймас.*

– Как вы думаете, достопочтенная леди Нибсмит уловила прозрачный намек князя Макса? — спросил Сарацини. — Помните, когда он дарил

ей ту книгу, сказав, что это для астрологических записей? Ему очень хочется, чтобы она составила ему гороскоп.

— А она не хочет? — спросил Фрэнсис.

— Видимо, нет. Он умоляет об этом — насколько такой аристократ способен умолять — уже несколько месяцев. Она же прихотлива — но это ее право. Она непрофессиональный астролог, но очень хороший. Настоящий экстрасенс. Конечно, качество гороскопа сильно зависит от экстрасенсорных способностей астролога. Немцы любят это дело не меньше американцев. У фюрера есть свой собственный астролог.

— Как-то она не похожа на экстрасенса.

— Настоящие экстрасенсы, как правило, и не похожи. Они зачастую вполне обыденные люди. А вам она уже составила гороскоп?

— Ну… по правде сказать, да.

— И как, у вас хорошая судьба?

— Явно странная. Страннее, чем я предполагал.

— Но не страннее, чем предполагал я. Я выбрал вас в подмастерья за странность, и с тех пор мне раскрывались все новые и новые глубины вашей странности. Взять хоть вот эту картину, которую вы нарисовали, пока я был в Риме. Это ведь портрет, верно?

— Да.

— Не буду вас допрашивать. Это явно портрет, его ни с чем не спутаешь — особое чувство между художником и моделью, которое невозможно подделать. Во всяком случае, я такое распознаю. Где ваши наброски?

Фрэнсис достал наброски из папки.

— Вы очень обстоятельны. Даже наброски на правильной бумаге, в правильном стиле. Не в вашем обычном гарри-фернисовском. Но все же я готов биться об заклад, что в первый раз вы рисовали этого карлика в манере Гарри Фернисса.

— Да. Он был мертв, и я сделал несколько набросков, пока тело готовили к погребению.

— Вот видите? Чрезвычайно странно, как я и сказал. Какую пользу принесла вам книга Фернисса! Вы ничего не забываете; вы освоили трюк запоминания через руку. Интересно, что об этой картине скажут люди в Лондоне.

– *Meister,* а кто же они? Я имею право знать, во что впутываюсь, работая с вами. Наверняка это небезопасно. Почему меня держат в неведении?

— Эти люди — авторитетные торговцы произведениями искусства, они заправляют деловой стороной нашей маленькой игры, которая, как вы правильно сказали, небезопасна.

— Они меняют эти ничего не стоящие или, во всяком случае, заурядные картины на другие, намного более ценные?

— Они меняют некоторые картины на другие по ряду сложных причин.

— Ну хорошо. Но мы делаем то, о чем рассказал князь, и не более? Утонченная мистификация германского рейха?

— Чтобы мистифицировать германский рейх, надо быть очень смелым человеком.

— Но кто-то явно этим занимается. Правительство? Может, это контрразведка развлекается таким способом?

— Британское правительство знает о нашей афере, и американское, скорее всего, тоже, но и там и там в курсе лишь горстка людей, и, если дело вскроется и выйдет скандал, они заявят, что ничего не знали.

— Так, значит, все это ради чьей-то личной выгоды?

— Деньги, конечно, участвуют в схеме. Работа, которую мы выполняем, не остается безответной.

— «Безответной»! Ну и словечко! Вы хотите сказать, что вам, графине и князю Максу чертовски хорошо платят!

— Нам платят за дело. Графиня поставляет картины — материал для дальнейшей работы. В этом замке на каждую картину, висящую на стенах, приходятся две, сложенные в бесчисленных служебных коридорах, — где же, как не тут, найдутся вещи нужной эпохи, нужного характера и, не побоюсь этого слова, подлинные? Мой вклад — мастерство, преображающее картины; они становятся гораздо привлекательней для агентов великого рейхсмаршала, чем были в первозданном, запущенном виде. Князь Макс заботится о том, чтобы картины добрались до Англии, до торговцев предметами искусства, — а это рискованное занятие. Подобные услуги недешевы, но то, что платят нам, нельзя даже сравнить с выигрышем лондонских торговцев, ибо они за посредственные немецкие картины получают шедевры итальянского искусства и продают их по ошеломительным ценам.

— В общем, международное мошенничество с размахом.

— Если тут и есть мошенничество, то не такое, какое вы имеете в виду. Допустим, немцы считают наши картины привлекательными и готовы их выменивать на итальянские шедевры. Кто мы такие, чтобы обвинять немецких искус-

ствоведов в некомпетентности? На этой стадии о деньгах речь не идет. Рейх вовсе не желает, чтобы большие суммы немецких денег покидали страну — даже в обмен на произведения немецкого искусства. Поэтому происходит обмен. Перед немецкими экспертами стоит задача собрать самую лучшую и самую полную в мире коллекцию произведений немецкого искусства. Им нужно и количество, и качество. Мы в своей работе не стремимся достичь высочайшего качества — у нас нет ни Дюреров, ни Грюневальдов, ни Кранахов. Чтобы поставлять такие картины, нам пришлось бы заняться подделкой — а это, конечно, невообразимо, и я в священном ужасе бегу самой возможности подобного. Мы просто превращаем непримечательные старые картины в примечательные.

— Только не «Дурачок Гензель». Это подделка, и мы отправили ее в Англию!

— Не горячитесь, дорогой мой, иначе вы можете наговорить вещей, о которых потом пожалеете. «Дурачок Гензель» — ученический этюд, написанный в стиле ушедшей эпохи, испытание художественного мастерства. Вы с честью выдержали испытание. Судья здесь я, и я знаю, о чем говорю. Если специалист, увидев эту картину

в ряду других, не может сказать, что она современная, — какое вам еще доказательство моих достижений? Но вы ни в чем не виноваты. Вы рисовали не с целью обмануть кого-либо, вы не подписывали картину чужим именем, и не вы отправили ее в Англию.

— Это казуистика.

— Очень многое, что говорится в мире искусства, — казуистика.

Казуистика — изучение этики в приложении к морально-религиозным вопросам. Так это слово употребляла Церковь. Но для Фрэнсиса от этого слова разило протестантизмом. Оно означало самооправдание — словно балансируешь на канате над ужасной бездной. Совесть Фрэнсиса болезненно ныла, потому что графиня получила письмо от князя Макса: новооткрытая картина вызвала небольшой фурор среди двух десятков лондонских искусствоведов.

Портреты карликов — не редкость, и кое-кого из них мы знаем по именам. Ван Дейк изобразил королеву Генриетту Марию с ее карликом, сэром

Джеффри Хадсоном[227]; Бронзино нарисовал карлика Морганте в обнаженном виде, спереди и сзади, чтобы ни одна деталь не пропала. В музее Прадо хранятся изображения карлицы Эухении Мартинес Вальехо, как одетой, так и раздетой[228]. Карлики Риси[229] и Веласкеса наблюдают за королевской роскошью словно издали, из своего собственного мира, с каким-то полупониманием. Их мы знаем не по именам, но по боли, которая читается в пристальных взглядах. В менее деликатные эпохи карлики были любимой забавой, и с ними порой обращались примерно так же, как жители Блэрлогги обошлись с Франсуа Бушаром, доведя его до петли.

Графиня зачитала Сарацини и Фрэнсису письмо своего кузена с жаром, какого Фрэнсису доселе

---

**[227] Примечания: 227**

*Ван Дейк изобразил королеву Генриетту Марию с ее карликом, сэром Джеффри Хадсоном...* — Джеффри Хадсон (1619 — ок. 1682) — придворный карлик королевы Генриетты Марии (жена Карла I Стюарта, короля Англии, Шотландии и Ирландии).

**[228] Примечания: 228**

*В музее Прадо хранятся изображения карлицы Эухении Мартинес Вальехо, как одетой, так и раздетой.* — Картины написаны в 1680 г. учеником Веласкеса Хуаном Карреньо де Мирандой (1614–1685); «La Monstrua desnuda» считается первым в истории зафиксированным случаем синдрома Прадера-Уилли — редкого генетического нарушения, приводящего к детскому ожирению.

**[229] Примечания: 229**

*Риси,* Франсиско (1614–1685) — испанский живописец. Принадлежал к

новому поколению мастеров поздней мадридской школы живописи, в которой господствовали придворные вкусы и влияние итальянского барокко.

не доводилось наблюдать у этой весьма сдержанной дамы. Эксперты немного почистили картину, и что же они нашли? Знак, напоминающий *Firmenzeichen,* семейное клеймо Фуггеров, но, возможно, это нечто гораздо более интересное: действительно, он похож на вилы или трехсвечник с нарисованной рядом буквой «О», но это может быть и виселица с болтающейся на ней петлей! Находка и связанная с ней загадка привели искусствоведов в восторг. Может быть, карлика повесили? В том, что это и впрямь дурачок Гензель, у экспертов не было и тени сомнения. Упоминания о нем сохранились в истории, но его изображений никто раньше не видел. Вот это подлинно находка для Фюрер-музея, словно дуновение ветра из давнишней, бесстрашной духом Германии, которая не пряталась от реальности, даже самой гротескной.

Князь очень тщательно формулировал фразы. Любая тайная полиция, перлюстрируя письмо немецкого аристократа к его высокородной кузине, не узрела бы в написанном ничего, кроме явно перечисленных фактов. Но в Дюстерштейне воцарилась великая радость.

Фрэнсис не радовался. Он совершенно не ожидал, что его намерение оставить некое сви-

детельство, комментарий к судьбе знакомого ему карлика, выйдет на свет. Эта картина была для него очень личным делом — можно сказать, приношением по обету в память человека, с которым он никогда и словом не перемолвился и которого узнал только после его смерти. Фрэнсис очень страдал и наконец, не выдержав мучений, пожаловался Сарацини.

— Дорогой мой, неужто вы удивлены? Мало что из тайного не становится в конце концов явным, и в вашем возрасте пора бы уже это знать. А искусство — способ поведать правду.

— Так говорил Браунинг. Моя тетя, бывало, вечно его цитировала.

— Ну и?.. Ваша тетя наверняка мудрая женщина. А Браунинг — тонкий психолог. Но как же вы не видите? Именно чистота правды, глубина чувства, воплощенная в вашей картине, привлекли к ней внимание всех этих ученых мужей.

— Но это же обман!

— Я вам подробнейше объяснил, что это никакой не обман. Это откровение ряда вещей о человеке, изображенном на картине, и о вас, а не обман.

Фрэнсис не очень радовался тому, что его личное мнение о непредсказуемости и частой

несправедливости судьбы прославили как портрет давно умершего карлика. Но его не могла не радовать похвала искусству художника, пускай этот художник и оставался безымянным. Он незаметно (как ему казалось) подводил разговор к тому, чтобы Сарацини похвалил «Дурачка Гензеля», тонкую работу художника, подлинный дух прошлого, цветовую гамму и ощущение большой картины, хотя на самом деле она была маленькой. Ему не удалось обмануть итальянца, и тот посмеялся над его манерой выпрашивать похвалу.

— Но я с удовольствием буду хвалить вас, — продолжил Сарацини. — Почему бы вам не попросить комплиментов прямо, как подобает настоящему художнику? Что вы мнетесь и жеманничаете, как старая дева, которая рисует цветочки акварелью?

— Я не хотел придавать чрезмерное значение такой мелочи.

— О, я понял: вы не хотите впадать в грех гордыни. Ну так не шарахайтесь от гордыни лишь затем, чтобы впасть в лицемерие. Вы вели собачью жизнь, Корнишь, вас воспитывали полукатоликом-полупротестантом в какой-то ужасной дыре, и вам достались худшие половины

от обеих этих систем двуличия.

— Но-но, *Meister*! Я же вижу, что вы добрый католик.

— Может быть. Но когда я художник, я изгоняю всякую религию. Католическая вера породила множество великих произведений искусства; протестантизм — ни одного. Ни единой картины. Но католическая вера взрастила искусство в самой пасти христианства. Если Царство Божие когда и наступит, в нем не будет никаких картин; Христос никогда ни в малейшей степени не интересовался искусством. Его Церковь вдохновила множество картин и скульптур, но вовсе не потому, что Он так учил. Кто же тогда вдохновитель? Очевидно, всеми ненавидимый Сатана. Именно он понимает плотскую и интеллектуальную сторону человеческого существа, он питает их. А искусство — плотско и интеллектуально.

— Значит, вы работаете под крылом Сатаны?

— Приходится, иначе я вовсе не смогу работать. Христу ни к чему люди вроде меня. Вы никогда не замечали, читая Евангелие, как решительно Он держится в стороне от любого человека, в котором можно заподозрить хоть каплю ума? Добросердечные простачки и женщины ничем не лучше рабынь — вот кто за Ним следовал. Не-

удивительно, что католичеству пришлось занять такую решительную позицию, чтобы привлечь к себе умных людей и художников. А протестантизм пытался сделать противоположное. Знаете, чего мне хотелось бы, Корнишь?

— Нового Откровения?

— Да, может и этим кончиться. Мне хочется, чтобы устроили слет, на который Христос привел бы всех Своих святых, а Сатана — всех своих ученых и художников, и пускай дискутируют до победного конца.

— А кто будет судьей?

— Вот в чем вопрос! Не Бог Отец, конечно, — Он ведь приходится отцом обоим спорщикам.

Сарацини действительно хвалил «Дурачка Гензеля», как они с Фрэнсисом теперь называли эту картину. Но похвалой не ограничился. Он безмолвно принял Фрэнсиса в круг людей, удостоенных близкого общения с Мастером, и теперь за работой без устали говорил о том, что считал философией искусства. Его философия была изуродована столь роковой для философов болезнью — личным опытом.

И графиня стала теплее относиться к Фрэнсису. Она, впрочем, и раньше была с ним безупречно вежлива, но теперь она свободнее говорила о том,

чем занимаются они с Сарацини, и чаще приглашала Фрэнсиса на совещания в свои покои, после того как Амалия с мисс Нибсмит уходили почивать. Графине хотелось улучшить экспортируемый продукт. Если такая оригинальная картина, как «Дурачок Гензель», встретила столь горячий прием, не может ли Сарацини чуть сильнее изменять кое-какие старые картины, проходящие через его руки?

— Графиня, неужели вы толкаете меня на подделку?

— Конечно нет, *Meister*! Я лишь прошу вас быть чуточку посмелее.

Беседуя, они неизбежно проговаривались, и Фрэнсис стал намного лучше представлять себе схему того, что нельзя было назвать иначе как изощренным мошенничеством. Графине и Танкреду платили за отправленные картины ровно четверть того, что удавалось выручить за итальянские шедевры, полученные в обмен от немецких музеев. Когда Фрэнсису назвали цены, у него глаза на лоб полезли. А куда шли эти деньги? Конечно, не в Дюстерштейн — это было бы слишком откровенно и опасно. В швейцарские банки, причем в несколько разных.

— Четверть — это не так много, — заметила гра-

финя. — Бернард Беренсон получает столько же всего лишь за то, что выписывает удостоверение подлинности для Дювина. Мы поставляем сами произведения искусства, и все удостоверение подлинности, какое им нужно, — это одобрение великих немецких искусствоведов, которые их покупают. Надо полагать, они знают, что делают.

— Иногда мне кажется, они знают больше, чем говорят, — заметил Сарацини.

— Они работают под неусыпным взглядом рейхсмаршала, — сказала графиня, — а он привык получать то, чего ждет. Говорят, что часть товара — лучшие вещи — оседает в его личной коллекции, а она у него обширна и весьма богата.

— Вся эта затея, похоже, кривей собачьей ноги, — сказал Фрэнсис, вспомнив поговорку из Блэрлогги.

— Если и так — а я с этим не согласна, — мы тут не главные обманщики, — заявила графиня.

— Вы не считаете эту схему обманом?

— Если бы речь шла о простой сделке, считала бы, — объяснила графиня. — Но дело обстоит гораздо сложнее. Я считаю, что мы восстанавливаем справедливость. Мой род потерял на войне все состояние — ну, не все, но очень большую

часть — и принес эту жертву добровольно ради Германии. Но начиная с тридцать второго года мою Германию кто-то обкусывает, так что я ее уже не узнаю́. Мою работу по восстановлению семейного состояния невыносимо затрудняют. А почему? Потому что я неправильная аристократка, то есть настолько близка к демократам, что это нестерпимо для национал-социалистов. Господин Корниш, вы знаете, что такое аристократ?

— Конечно, я знаком с этим понятием.

— А я знаю, что это значит на практике. В эпоху, когда мой род достиг знатности и богатства, аристократом назывался тот, кто приобрел власть и состояние своими талантами, а это значило смелость, готовность рисковать и ничего общего не имело с умением пробираться через лабиринты правил, составленных бездарными трусами ради своего собственного блага. Вы знаете девиз моего рода? В замке его можно увидеть повсюду.

– *Du sollst sterben ehe ich sterbe,* — сказал Фрэнсис.

— Да, а что это значит? Это не какой-нибудь девиз буржуа девятнадцатого века, не сладкоречивое выражение мещанских идей о величии. Эти слова значат: «Ты погибнешь прежде, чем я погибну». А я не собираюсь погибать. Поэтому я

делаю то, что делаю.

— Графиня, кажется, твердо намерена маршировать под знаменем Сатаны, — сказал Фрэнсис Мастеру.

— Каждому из нас Сатана является в ином обличье. Графиня уверена, что встретила его в фюрере.

— Опасный вывод для немецкого гражданина.

— Графиня удивилась бы, назови ее кто гражданкой. Она же сказала вам, кто она: аристократка, отважная мастерица выживания. А не какая-нибудь, как выразился бы Вудхауз, чудаковатая балаболка.

— А если Гитлер прав? Что, если рейх и вправду простоит тысячу лет?

— Я как итальянец скептически отношусь к заявкам на тысячелетнее существование, которое должно стать результатом какого-либо плана. Италия продержалась намного дольше, но в основном благодаря отсутствию всякого целенаправленного руководства, и как блистательно ей это удалось! Конечно, сейчас там свой клоун у власти, но Италия перевидала уже столько клоунов! Они приходят и уходят.

— Я так понял, что меня зовут маршировать под графинины знамена? Под знамя дьявола.

— Да, и вы можете последовать этому приглашению — или вернуться в свою замороженную страну с ее замороженной живописью, рисовать озера подо льдом и раздуваемые ветром кроны сосен. К ним-то Сатана равнодушен, и по вполне понятной причине.

— Вы хотите сказать, что в этом случае я упущу свой шанс?

— Вы, безусловно, упустите шанс научиться тому, чему я мог бы вас научить.

— Да неужели? Вы забыли, что я уже умею смешивать краски, готовить грунтовку в соответствии с лучшими принципами и уже написал одну картину, которая, судя по всему, имела значительный успех.

Сарацини положил кисть и аккуратно похлопал в ладоши:

— Вот давно бы так. Я все ждал, когда вы наконец проявите характер. Самоуважение, достойное художника. Вы прочитали «Жизнеописания художников» Вазари, несколько раз, как я велел?

— Вы же знаете, что да.

— Да, но внимательно ли? Если внимательно, то вас должна была поразить сила духа этих людей. Все лучшие из них — истинные львы, даже кроткий Рафаэль. В минуты слабости они

могли сомневаться в своей работе, но никому другому этого не позволяли. Если в них сомневался их покровитель, они меняли покровителя, ибо знали: в них есть нечто, над чем никто не властен, — сильный самостоятельный дар. Вы всяческими ухищрениями и намеками пытались вынудить у меня похвалы «Дурачку Гензелю». И я его похвалил. В конце концов, вы рисуете уже… сколько, девятнадцать лет? У вас были хорошие учителя. «Дурачок Гензель» сойдет пока что, за неимением лучшего. Да, это неплохая картина. По ней видно, что автор, прихваченный морозом родных просторов и придушенный хитроумной логической гимнастикой Оксфорда, начал наконец познавать себя и уважать свое знание. Ну что ж, и раньше бывало, что художественный талант расцветал не сразу. Но если вы думаете, что научились от меня всему, то ошибаетесь. Технике — да, ее вы частично переняли. Внутренней уверенности — ничуть. Но сейчас вы приобрели нужный настрой, и мы можем начать эту необходимейшую стадию обучения.

Это звучало многообещающе, но Фрэнсис уже научился не доверять обещаниям Сарацини. Итальянец в точности воспроизводил не только приемы живописцев прошлого, но и дух сурово-

сти, свойственный мастерам эпохи Возрождения, вечное недовольство подмастерьем. Какое испытание он выдумает на сей раз?

— Что вы видите?

Мастер стоял в десяти футах от Фрэнсиса и разворачивал свиток, явно старинный.

— По-видимому, это аккуратный рисунок пером, изображающий голову распятого Христа.

— Да. А теперь подойдите поближе. Видите, как это сделано? Каллиграфия. Из крохотных, тончайших готических букв складывается лицо Христа, искаженное страданием, и одновременно — полное описание страстей Христовых по Иоанну, из соответствующего Евангелия, главы с семнадцатой по девятнадцатую — ни словом больше, ни словом меньше. Что вы скажете?

— Забавная диковина.

— Это плод искусства, мастерства, искренней веры. Семнадцатый век. Автор, я полагаю, какой-нибудь священник или, может быть, домашний учитель, живший в семье Ингельхайм. Возьмите и изучите хорошенько. Потом сделайте нечто похожее, но в качестве текста возьмите описание Рождества Христова из Евангелия от Луки, глава первая и глава вторая до тридцать второго стиха. Мне нужно каллиграфическое изображение Рож-

дества, и я сделаю лишь одну уступку: вы можете писать курсивом, а не готическим шрифтом. Так что наточите перьев, сварите чернил из сажи и дубовых орешков — и за работу.

Задание потребовало стольких замеров, прикидок и точнейших расчетов, что и сэр Исаак Ньютон отчаялся бы. Наконец Фрэнсис составил план и уселся за кропотливую работу. Но каким образом она должна укрепить его уверенность в себе? Педантичная нудятина, а результат — дешевый фокус. Вдобавок Фрэнсису мешал сосредоточиться бесконечный поток комментариев и мыслей вслух, исходящий от Сарацини, который работал над серией заурядных натюрмортов семнадцатого века — невозможно пышные цветы, рыба и овощи на кухонных столах, бутыли вина, мертвые зайцы с сизоватым налетом смерти на широко раскрытых остекленелых глазах.

— Я чувствую, Корнишь, что вы меня ненавидите. Ненавидьте на здоровье. Всеми фибрами души. Это поможет вашей работе. Даст хороший заряд адреналина. Но подумайте вот о чем: все до единого задания, которые я вам даю, я сам выполнял в свое время. Так я достиг мастерства, которому нет равных в мире. Какого мастерства? В овладении техникой великих художников,

творивших в семнадцатом веке или ранее. Я не желаю сам быть художником. Никто сегодня не захочет, чтобы ему написали картину в манере, скажем, Говерта Флинка, лучшего ученика Рембрандта. Однако я воспринимаю мир именно так. Это моя единственная подлинная манера. Я не хочу рисовать, как современные художники.

— Значит, вы приберегаете свою ненависть для современных художников, как я — для вас?

— Вовсе нет. За что мне их ненавидеть? Лучшие из них делают то, что всегда делали честные художники, — рисуют свое внутреннее видение или применяют его к какому-нибудь внешнему предмету. Но в прошлом внутреннее видение выражалось связным языком мифологических или религиозных образов, а ныне и мифология, и религия бессильны расшевелить современный ум. Значит, внутреннее видение приходится искать непосредственно. Художник копается в области, которую психоаналитики — великие волшебники наших дней — называют Бессознательным, хотя это, скорее, Средоточие Сознания. Он что-то оттуда вытаскивает — нечто, нацепляемое Бессознательным на крючок, закинутый в великий колодец, где живет Искусство. И то, что вытаскивает художник, может быть очень хорошо, но

выражается оно на языке, который более или менее индивидуален. Это не язык мифологии или религии. А великая опасность заключается в том, что этот личный язык опасно легко подделать. Гораздо легче старого, универсального языка. Надеюсь, что не вскружу вам голову лестью, но ваш «Гензель» нашептывает что-то из того самого, глубокого темного колодца.

— Господи Исусе!

— Вот Он-то как раз ни при чем. Я же вам объяснял. Господь наш желал извлечь из этого мрачного колодца нечто совершенно иное — и извлек, как подобает истинному Мастеру.

— Но современные художники… ведь человек обязан писать в современной ему манере?

— Я не признаю такой необходимости. Если жизнь — сон, как утверждают иные философы, то, конечно, великая картина — та, что богаче всего символизирует неуловимую реальность, лежащую за этим сном. И если мне или вам удобнее всего выражать эту реальность в терминах мифологии или религии, кто нам запретит?

— Но это же подделка, намеренное отступление — на манер тех самых прерафаэлитов. Даже если вы верующий человек, вы не можете верить так, как это делали великие люди прошлого.

— Прекрасно. Живите духом своего времени — и только им, если уж так необходимо. Но некоторых художников подобная полная капитуляция перед современностью ввергает в отчаяние. Нынешний человек, лишенный мифологии и религии, пытается черпать вдохновение в Бессознательном, и, как правило, тщетно. Тогда он что-нибудь выдумывает — а разница между выдумкой и вдохновением вам понятна и без меня. Кормите своих почитателей выдумками — и вы, быть может, начнете презирать их, водить за нос. Разве в этом духе творили Джотто, Тициан, Рембрандт? Разумеется, вы можете стать подобием фотографа. Но вспомните слова Матисса: *«L'exactitude ce n'est pas la vérité»*[230].

– Но разве не точность вы так жестоко вбиваете в меня этой проклятой каллиграфией?

— Да, но лишь для того, чтобы вы научились запечатлевать — насколько позволит талант — то, что Бессознательное нацепило вам на крючок, и представлять это взорам других людей, тех, у кого есть глаза, чтобы видеть.

— Вы учите меня изображать реальность настолько точно, чтобы обмануть глаз, — как тот

---

**[230] Примечания: 230**
«Точность — не истинность» *(фр.).*

римский художник, который рисовал цветы, или мед, или что там, и пчелы слетались на его картины. Как вы это увязываете с той реальностью, о которой говорили только что, — которая поднимается из темного колодца?

— Вещи презирать не следует. У каждой вещи есть душа, которая говорит с нашей душой и может подвигнуть ее к любви. Понимать это — и значит быть истинным материалистом. Наш век называют веком материализма, но это неправильно. Нынешний человек верит в материю не больше, чем в Бога; ученые научили современных людей не верить ни во что. Средневековые люди и большинство людей эпохи Возрождения верили в Бога и в созданные Им вещи. И эти люди были счастливей и завершенней нас. Слушайте, Корнишь: современный человек отчаянно жаждет верить во что-нибудь, иметь какую-нибудь незыблемую ценность. Страна, в которой мы сейчас живем, — чудовищный пример того, на что способно человечество в поисках объекта, который утолил бы его жажду веры, уверенности, реальности… Мне это не нравится, и вам тоже. И графине… Но мы не можем ни отрицать этого, ни изменить. Фанатики-нацисты по крайней мере живописны — хоть какое-то утешение.

Фрэнсис подумал о поездах с заключенными, которые должен был пересчитывать, и не нашел в них ничего живописного. Но промолчал.

Сарацини безмятежно продолжал:

— Страсть современного человека к искусству прошлого — одно из проявлений этой неодолимой жажды уверенности. Прошлое хотя бы закончилось, и все, что можно из него извлечь, не подлежит сомнению. Зачем богатые американцы платят чудовищные деньги за картины старых мастеров, возможно даже не понимая и не любя их? Конечно же, затем, чтобы импортировать хоть немного той самой уверенности. Американская общественная жизнь — балаган, но в вашингтонской Национальной галерее покоится нечто от Бога, частица Его утешительного величия. Эта галерея, по сути, огромный собор. А нацисты готовы менять шедевры итальянских мастеров на акры немецких картин, потому что хотят явить на стенах этого своего Фюрер-музея прошлое своей расы и таким образом материализовать ее настоящее, а также сообщить некую уверенность в ее будущем. Конечно, безумие, но чего можно ожидать в нашем безумном мире?

— По-видимому, можно ожидать, что я в один прекрасный день закончу эту идиотскую работу

или же сойду с ума и убью вас.

— Нет-нет, Корнишь. Можно ожидать, что, закончив эту идиотскую работу, вы научитесь писать прекрасным почерком, подобным руке великого кардинала Бембо. И таким образом ваш взгляд на мир приобретет нечто общее со взглядом этого великого знатока искусств, ибо рука говорит с мозгом, и это так же верно, как то, что мозг говорит с рукой. Вы меня не убьете. Вы меня любите. Я ваш *Meister*. Вы во мне души не чаете.

Фрэнсис швырнул в него чернильницей. Она была пустая, и он нарочно целил мимо. Учитель и ученик расхохотались.

Время шло. Фрэнсис жил в Дюстерштейне уже почти три года, трудясь на Сарацини без выходных и праздников — сперва как раб, потом как коллега, потом как доверенное лицо и друг. Точнее, он дважды ездил в Англию, оба раза на неделю, там встречался с полковником и — для прикрытия — с Уильямсом-Оуэном. Но эти поездки нельзя было назвать каникулами. Отношения с графиней стали чуть более дружескими, хотя запросто она не держалась ни с кем. Влюбленность Амалии во Фрэнсиса прошла, и она перестала его дичиться, а он обучал ее тригонометрии (которой не знала Рут Нибсмит) и азам рисования, а

также многим премудростям джин-рамми и бриджа. Амалия росла красавицей. Было ясно, что правлению мисс Нибсмит приходит конец, хотя вслух об этом не говорилось, — Амалии нужно продолжать образование, скорее всего где-нибудь во Франции.

— Ты, наверно, этим не очень расстроена, — сказал как-то Фрэнсис на вечерней прогулке. — Ты не настоящая гувернантка — не как у Бронте в девятнадцатом веке — и, конечно, хотела бы заниматься чем-нибудь другим.

— И буду, — ответила Рут, — но пока для меня есть работа тут, я останусь тут. Как и ты.

— О да. Ты же видишь, я учусь своему ремеслу.

— И в то же время занимаешься другим ремеслом. Как и я.

— Не понял?

— Да ладно, Фрэнк. Ты ведь профессионал, верно?

— Я профессиональный художник, если ты об этом.

— Да ладно тебе! Ты шпик, и я тоже. Мы с тобой занимаемся одним и тем же *ремеслом.*

– Ничего не понимаю.

— Фрэнк, в Дюстерштейне дураков нет. Графиня тебя срисовала, и Сарацини тоже, а уж я тебя

срисовала в первую же ночь, когда ты стоял у раскрытого окна и считал вагоны «кукушки». Я в это время занималась тем же, стоя под окном, просто ради забавы. Тоже мне шпик! Это же надо — стоять у раскрытого окна в освещенной комнате!

— Ваша взяла, офицер. Не стреляйте, я сдаюсь. Так, значит, ты тоже в «ремесле»?

— Да — с рождения. Мой отец был в «ремесле», пока не погиб при исполнении. Скорее всего, его убили, но точно никто не знает.

— А здесь ты что делаешь?

— Профессионалы друг другу таких вопросов не задают. Просто осматриваюсь. Приглядываю одним глазком за тобой и Сарацини и за тем, что делают графиня и князь Макс с вашей продукцией.

— Но ты же никогда не заходишь в ракушечный грот.

— А мне и не надо. Я печатаю графинины письма и потому в курсе ее дел, как бы она ни притворялась, что это что-то совсем другое.

— А тебя графиня не срисовала?

— Надеюсь, что нет. Было бы ужасно, если бы у нее в доме оказалось сразу два шпика, верно? Кроме того, я птица невысокого полета. Всего лишь пишу письма домой, маме, а она, как вдова

профессионала, умеет их читать и передает все, что надо, наверх.

— Я знаю, это неприлично спрашивать, но тебе что-нибудь платят?

— Ха-ха-ха. Наше «ремесло» в большой, я бы сказала — опасно большой степени полагается на неоплачиваемую помощь. Это такая английская традиция: всякий, кто хоть что-то собой представляет, работает не за деньги. Вот и я работаю за спасибо, но мне намекнули, что если я хорошо себя проявлю, то когда-нибудь попаду в очередь кандидатов на оплачиваемую должность. Женщины в «ремесле» продвигаются, как правило, не быстро. За исключением элегантных богинь любви, а они быстро выгорают. Но я не ропщу. Я осваиваю баварский сельский диалект, что очень полезно, и приобретаю непревзойденные знания о границе между рейхом и Австрией.

— А гороскопы не составляешь?

— Составляю, и много, но в основном — на давно умерших людей. А что?

— Мне намекнули, что князя Макса интересует твое мнение о его гороскопе.

— О, это я знаю. Но не клюну. И вообще, ему это было бы вредно. Он станет своего рода знаменитостью.

— Какого рода?

— Даже если бы я точно знала, все равно не сказала бы.

— Ага! Вижу, ты — иконологическая фигура Благоразумия.

— Это еще что?

— Мастер заставляет меня зубрить всякое такое. Чтобы я мог читать значения старинных картин. Все эти символические женщины — Истина с зеркалом, Жертвенная любовь, кормящая ребенка грудью, Справедливость с мечом и весами, Умеренность с чашкой и кувшином. Их десятки. Это язык знаков, которым пользовались художники определенного жанра.

— А почему бы и нет? У тебя есть занятие поинтересней?

— Меня что-то смущает во всем этом. Эта ренессансная и проторенессансная манера, фигуры Времени, его дочери Истины, и Роскоши, и Обмана, и разные другие создания… Мне кажется, они опускают прекрасную картину до уровня проповеди или даже нравоучительной басни. Неужели великий художник вроде Бронзино мог быть до такой степени моралистом?

— А почему бы и нет? То, что все художники якобы пили, гуляли и развратничали, — романти-

ческая чушь. В большинстве своем они работали как проклятые, чтобы обеспечить себе достойный, зажиточный, мещанский уровень дохода.

— Ну ладно… В общем, иконология — это очень скучно, и я мечтаю, чтобы случилось что-нибудь интересное.

— Случится, и очень скоро. Продержись еще немного. В один прекрасный день ты достигнешь подлинной славы.

— Ты экстрасенс?

— Я? С чего ты взял?

— Сарацини сказал. Он говорит, у тебя очень сильные экстрасенсорные способности.

— Сарацини — старый интриган.

— Это еще слабо сказано. Когда он распространяется об импорте-экспорте картин, которым занимаются они с графиней, я иногда чувствую себя Фаустом при Мефистофеле.

— Повезло тебе. О Фаусте никто никогда не услышал бы, если бы не Мефистофель.

— Ну да. Но у Сарацини талант — представлять жульничество в благородном виде. Он говорит, это потому, что обывательская мораль чужда искусству.

— Я думала, он говорит, что искусство — высшая мораль.

— Теперь и ты заговорила, как он. Слушай, Рут, у нас хоть когда-нибудь получится еще раз переспать друг с другом?

— Ни малейшей надежды. Разве что графиня уедет на какую-нибудь вылазку и заберет Амалию с собой. Но в доме графини, у нее на глазах я играю по ее правилам. Поэтому я не могу развлекаться с тобой и в то же время зорко охранять драгоценную невинность ее внучки.

— Ну что ж… я только спросил. «Увидев вас не в этом — в лучшем мире…»

— «…я буду рад узнать и полюбить вас»[231]. Ловлю тебя на слове.

— А я — тебя.

— Корнишь! Съездите в Голландию и убейте там человека.

— Слушаюсь, *Meister.* Мне взять свой верный кинжал или положиться на отравленный кубок?

— Положитесь на отравленное слово. Больше ничего не подействует.

---

**[231] Примечания: 231**

*«Увидев вас не в этом — в лучшем мире…» / «..я буду рад узнать и полюбить вас».* — Шекспир У. Как вам это понравится. Акт 1, сц. 2. В классических переводах пьесы «потусторонность» выражения «hereafter, in a better world than this» теряется: у Т. Щепкиной-Куперник: «Надеюсь встретить вас в условьях лучших / И дружбы и любви у вас просить»; у В. Левика: «Узнай я вас не в этот час недобрый, / Я вашей дружбы и любви просил бы».

— Наверно, мне следует знать, как зовут жертву.

— Его зовут Жан-Пауль Летцтпфенниг — к несчастью для него. Я незыблемо верю, что имена влияют на судьбу, а имя Летцтпфенниг[232] сулит неудачу. Ему и вправду не везет. Он хотел стать художником, но его картины были неинтересны, подражательны. Да, его можно назвать неудачником, но сейчас на него устремлено внимание множества людей.

— Только не мое. Я про него сроду не слыхал.

— Про него не пишут в немецких газетах, но Германию он очень интересует. На него обращен рыбий глаз рейхсмаршала Геринга. Летцтпфенниг хотел продать Герингу неуклюже подделанную картину.

— Если она подделана неуклюже, то почему привлекла рыбий глаз?

— Потому что Летцтпфенниг — самый неуклюжий шлемиль среди ныне живущих художников и искусствоведов — таскается со своей мазней, предлагая ее направо и налево. Будь она подлинной, это была бы находка века. Крупная работа Губерта Ван Эйка — ни больше ни меньше.

---

**[232] Примечания: 232**
Letztpfennig, то есть от Letzte pfennig *(нем.)* — последний грош.

— Не Яна?

— Нет. Губерт, брат Яна, умер молодым — в тысяча четыреста двадцать шестом году. Но он был великим художником. Это он разметил и написал значительную часть «Поклонения агнцу», великолепной картины, хранящейся в Генте. Ян ее закончил. Картин Губерта сохранилось мало, и если бы нашлась еще одна, это была бы сенсация. Но картина Летцтпфеннига — подделка.

— Откуда вы знаете?

— Нутром чую. Именно чувствительность нутра поднимает меня над заурядными искусствоведами. Конечно, у нас у всех нутро чувствительное. Но я сам художник и знаю больше о том, как работали великие мастера прошлого, чем даже Беренсон. Потому что Беренсон не художник и его нутро переменчиво: на протяжении двадцати лет он приписывал кое-какие значительные картины то одному, то другому, то третьему автору, к огорчению владельцев. А если я что-нибудь знаю, это знание остается со мной навсегда. И я знаю, что Летцтпфеннигов Ван Эйк — фальшивка.

— Вы его видели?

— Мне не нужно его видеть. Если Летцтпфенниг ручается за картину, это фальшивка. Он составил себе крохотную репутацию среди доверчивых

простаков, но я-то про него все знаю. Он проходимец наихудшего вида — из разряда неудачников, портящих все, к чему они прикасаются. И его следует уничтожить.

– *Meister*...

– Что?

— Я об этом никогда не упоминал... мне казалось, что это нетактично... но мне говорили, что у вас дурной глаз. Почему бы вам самому не уничтожить Летцтпфеннига?

— О, как несправедлив этот мир! Как злы люди! Дурной глаз! Конечно, я знаю, что обо мне говорят, — всего лишь потому, что с одним-двумя людьми, которых я невзлюбил, произошел несчастный случай. Кто-то сломал ногу, кто-то ослеп или что-то в этом роде. Ничего смертельного. Я ведь католик, знаете ли; мне претит мысль об убийстве соперника.

— Но вы же хотите, чтобы я убил Летцтпфеннига.

— Я мелодраматически утрировал, чтобы завладеть вашим вниманием. Я лишь хочу, чтобы вы убили его профессиональную репутацию.

— О, я понимаю. Ничего серьезного.

— А если он и умрет от огорчения, то лишь по причине излишней чувствительности. Виноват

будет только он сам. Психологически обусловленное самоубийство. Вполне обычное дело.

— Значит, дело в профессиональном соперничестве?

— Много чести для такого идиота, как Летцтпфенниг, чтобы я возвел его в ранг соперника. Он — мой соперник! Вы, должно быть, думаете, что я невысокого мнения о своей квалификации. Нет! От него надо избавиться, потому что он опасен.

— Опасен для тех, кто продает рейху сомнительные картинки?

— Как вы вульгарно судите! Это в вас говорит лютеранин — извращенное, самоубийственное лютеранское понятие о морали. Вы отказываетесь видеть вещи в истинном свете. Мы — я и еще несколько человек, из которых вы кое-кого знаете, — потихоньку приобретаем работы итальянских мастеров у немецкого рейха в обмен на картины, которые рейху нравятся больше. И ни одна из этих картин не фальшивка — я лишь помогаю им выглядеть наилучшим образом. Цепочка действий тщательно просчитана. Все проходит через вполне заурядных искусствоведов и торговцев. Мы не берем слишком высоких нот — ни тебе Дюреров, ни Кранахов. И вдруг

объявляется этот фламандский шут с фальшивым Губертом Ван Эйком и требует гигантские суммы в деньгах или в картинах, с которыми немцы готовы расстаться. У него даже хватило наглости торговаться, он привел американского покупателя, желающего участвовать в торгах, и теперь в дело вмешивается голландское правительство, и одному Богу известно, что может выплыть на свет.

— А можно узнать какие-нибудь факты? Я уже понял, что эта история вызывает у вас сильные чувства. Теперь мне хотелось бы знать, что именно сделал Летцтпфенниг и чего вы хотите от меня.

— Корнишь, вы обладаете очень приятной здравомыслящей жилкой. Вы ведь из семьи банкиров, верно? Правда, по моему опыту, банкиры нисколько не честней торговцев картинами. Но их вид и речи внушают такое доверие! Ну хорошо. Эта история началась года два назад, когда Жан-Пауль Летцтпфенниг объявил о своей находке. Якобы он во время поездки в Бельгию побывал в старом сельском доме и наткнулся на картину, которую купил ради старого холста. Идиот! Если человеку нужен старый холст, это может значить только одно: он собирается подделать старинную

картину. Короче говоря, он утверждает, что расчистил картину и она оказалась «Сошествием во ад». Вы знакомы с этим сюжетом?

— Я знаю о нем. Но никогда не видел таких картин.

— Они крайне редки. Эту тему любят иллюстраторы рукописей, иногда она встречается на витражах, но художников почему-то не привлекает. Христос искупил души добродетельных язычников, которые предположительно томились в аду до Его крестной смерти. Ну вот… если бы картина была настоящая, а не Летцтпфеннигова мазня, она представляла бы интерес. И будь она в готическом стиле, она вполне могла бы попасть в Фюрер-музей, если бы ее одобрили немецкие искусствоведы. Надо сказать, что эти весьма разумные люди до сих пор имели дело только с людьми незапятнанной репутации — вроде той группы, с которой связан я. И вы тоже — с тех пор, как «Дурачок Гензель» получил такую высокую оценку. Но Летцтпфенниг, поскольку он идиот, утверждает, что на картине есть подпись — он имеет в виду монограмму, — подтверждающая, что это работа Губерта Ван Эйка.

Новость произвела сенсацию. С Летцтпфеннигом немедленно связался американский

коллекционер, запросил информацию и выразил желание участвовать в торгах. Один из крупнейших американских коллекционеров: я скажу вам, что его агент и эксперт — Аддисон Трешер, и вы поймете, о ком идет речь. Тут начались осложнения, поскольку, как вы знаете, рейхсмаршал сам страстный коллекционер, и раз уж поблизости оказался Губерт Ван Эйк, то рейхсмаршал непременно должен был его заполучить. Излишне добавлять, что рейхсмаршал предлагал обмен на картины из немецких музеев. Великие люди в подобных делах стоят превыше мелочных соображений. Рейхсмаршал предложил, точнее, его агенты предложили несколько итальянских шедевров, и Летцтпфенниг чуть не тронулся скудным умишком, пытаясь решить, то ли ему сразу хватать американские доллары, то ли взять итальянские шедевры и потом продать в Штатах.

Тут-то и вмешалось голландское правительство. Вы знаете, как горячо они любят рейх. Голландское министерство изящных искусств заявило, что великий шедевр Губерта Ван Эйка — национальное достояние, которое не должно покидать страну. По логике вещей тут должны были вмешаться бельгийцы и заявить, что картину, вообще-то, нашли в Бельгии, но они

промолчали, и Аддисон Трешер начал подозревать, что картина не бывала в Бельгии и вообще поддельная.

Не буду вдаваться в утомительные детали. Сейчас картину держит у себя голландское министерство изящных искусств, и самые разные люди приходят на нее посмотреть, пытаясь решить, настоящая она или нет. Медланд и Хорсбург из лабораторий Британского музея и лондонской Национальной галереи видели ее и заявили, что не могут составить мнение без рентгена и химической экспертизы, а на это голландцы пока не соглашаются. Лемэр, Бастонь и Бодуэн из Парижа и Брюсселя бекают и мекают. Двое голландских искусствоведов, доктор Схлихте-Мартин и доктор Хаусхе-Кейперс, чуть не перегрызли друг другу глотки. Аддисон Трешер вот-вот прервет переговоры на том основании, что картина поддельная. К тому же он разозлил немцев, Фриша и Бельмана, заявив, что они молчат из боязни — как бы их не уличили в ошибке.

А новых искусствоведов набрать не получается. Конечно, Беренсон не годится — официально потому, что он специалист только по итальянскому искусству, но на самом деле потому, что он еврей и рейхсмаршал такого не потерпит. Ровно по той

же причине и Дювин не может ни сам близко подойти к картине, ни кого-либо пригласить. Это старый спор между эстетическим чутьем и научным анализом. Хейгенс, судья, который занимается этим делом, уже устал и хочет только, чтобы кто-нибудь подтвердил, что картина подлинная — или что она внушает сомнения и следует приступить к научному анализу. И вот он послал за мной. Но я не поеду.

— Почему?

— Потому что наша группа в очень щекотливом положении. Никто не должен ни на миг заподозрить, что мы хотим уничтожить Летцтпфеннига, но Летцтпфенниг должен быть уничтожен, иначе немцы начнут питать подозрения сверх того, что им положено по природе как искусствоведам. Мы не можем допустить, чтобы первые попавшиеся идиоты со старыми картинами влезали в нашу область. Поэтому я написал судье Хейгенсу следующее: я сейчас не могу путешествовать по слабости здоровья, но посылаю своего доверенного ассистента и в случае крайней необходимости приеду в Гаагу сам. Так что едете вы.

— Зачем?

— Чтобы решить, принадлежит ли «Сошествие во ад» кисти Губерта Ван Эйка. Чтобы доказать,

если получится, что Летцтпфенниг нарисовал картину сам или, по крайней мере, подмалевал ее и добавил монограмму Ван Эйка. Вам предоставляется случай создать себе репутацию искусствоведа. Как вы до сих пор не поняли, Корнишь? Это одно из великих испытаний, через которые я вас пропускаю.

— Но что именно вы испытываете? Вы посылаете меня с приказом объявить картину фальшивкой и дискредитировать конкурента. Как-то не очень похоже на искусствоведение.

— Это часть искусствоведения, Корнишь. Ваша североамериканская невинность — заметьте, я выразился до идиотизма мягко — должна освоиться в мире, с которым вы решили связать свою жизнь. Этот мир жесток, и его мораль непроста. Если бы я допускал хоть малую вероятность того, что эта штука — подлинный Губерт Ван Эйк, я бы уже стоял перед ней на коленях. Но с вероятностью десять тысяч против одного это подделка, а подделку следует разоблачить. Искусство в наши дни означает очень большие деньги благодаря титаническим усилиям определенных гениев, из которых величайший, несомненно, Дювин. Подделки не следует терпеть. Хорошее искусство должно изгнать плохое.

— Но эта мораль… так, как я ее понимаю… не вяжется с тем, чем мы тут занимаемся.

— Мораль мира искусства — весьма запутанное вязанье, дорогой мой ученик и коллега. Но все же это мораль. Так что ступайте заслуживать свои шпоры!

— А если у меня ничего не выйдет?

— Тогда поеду я и сделаю то, что не удалось вам, — тем или иным способом, вплоть до дурного глаза, если уж на свете есть дураки, которые в него верят. Я не верю, как я уже объяснил. И тогда, если у нас с вами и сохранятся хоть какие-то отношения, это будут отношения учителя и вечного ученика. Это будет означать, что вы провалились, и мне придется искать себе другого преемника. Испытание ждет не только Летцтпфеннига, но и вас.

Голландское министерство изящных искусств принимало гостей хорошо — можно сказать, по-княжески. По прибытии в Гаагу Фрэнсиса поселили в отель «Дез Инд». Он роскошно отужинал, причем телятиной на его ужине и не пахло. На следующее утро Фрэнсис явился к судье Хейгенсу, который выглядел в точности как положено судье и после обмена любезностями отвел его в красивую комнату, где на мольберте

стояла пресловутая картина. Фрэнсис принялся за работу, и скоро стало ясно, что судья не намерен оставлять Фрэнсиса наедине с картиной. Кроме того, у двери нес вахту смотритель — крупный мужчина в униформе.

«Сошествие во ад» выглядело весьма эффектно. Картина была больше, чем ожидал Фрэнсис, и явно предназначалась для церкви. Краски светились невероятным светом и казались прозрачными — именно братья Ван Эйк принесли эту прозрачность в мир масляной живописи и отработали до совершенства. Оказалось, что цвет лучше всего использовать на светлой грунтовке: в этом случае даже темная краска начинает волшебно светиться. В центре картины располагалась фигура Христа: в левой руке Он победно нес знамя-крест воскресения, а жестом правой приглашал Адама и Еву, пророков Илию и Еноха, Исаию, Симеона и благоразумного разбойника Дисмаса выйти вслед за Ним из ада через врата, которые стояли раскрытыми у Него за спиной. Слева от Него, отвращая лица от Его славы, кривясь, скрежеща зубами, ища случая обратиться в бегство, стояли Сатана и аггелы его. Фоном служило настоящее голландское небо с тонкими облачками, через которые местами просвечи-

вал настоящий голландский пейзаж, очевидно лежащий за вратами ада. Судя по вратам, в аду трудился гениальный кузнец с живым воображением.

Фрэнсис разглядывал картину с полчаса. Если это и подделка, то великолепная, несомненно принадлежащая кисти талантливого художника. Но в истории искусства были и талантливые подделки. Ну что ж, подумал Фрэнсис, довольно эстетического чутья, теперь займемся инквизиторским допросом. У него с собой в чемоданчике было то, что он мысленно называл «набором юного искусствоведа-беренсоновца», — бинокль, большое увеличительное стекло и средних размеров кисть. Фрэнсис поглядел на картину в бинокль с максимального расстояния, какое позволяла комната, потом развернул бинокль и поглядел через другой конец. Ни при увеличении, ни при уменьшении в композиции картины не обнаружилось ничего странного. Фрэнсис разглядел картину в увеличительное стекло, дюйм за дюймом. Затем попросил дюжего смотрителя поставить картину вверх ногами и рассмотрел ее в этом положении. Успокаивающе кивнув судье, он в нескольких местах коснулся картины мягкой кистью. Рассмотрел оборотную сторону, постучал

по холсту, обследовал подрамник. К изумлению Хейгенса и охранника, вдруг скомкал носовой платок, нагрел его над пламенем зажигалки и прижал к холсту минуты на полторы. Потом, громко сопя, обнюхал нагретый участок. Нет, формальдегидом совсем не пахнет. Вслед за этим Фрэнсис снова сел и еще час разглядывал картину, время от времени отворачиваясь и вдруг снова поворачиваясь к ней, — он будто ожидал, что у него за спиной картина частично потеряет свою «ванэйкость». Он долго рассматривал монограмму, маленькую, но хорошо различимую, если знать, куда смотреть, — она пряталась в складках одежд Исаии. Монограмма могла означать много разных вещей — может быть, «Губерт из Гента»? В любом случае подпись не главное: настоящая подпись — качество работы художника, а в нем Фрэнсис не мог найти ни единого изъяна, как ни бился.

Он знал, что подделки часто разоблачаются через поколение-два после того, как они появились и были приняты за подлинные работы. Истина, дочь Времени, открывает приметы иного века, иного характера и вкуса картины, написанной через много лет после периода, к которому ее отнесли. Краска старится по-другому. Меняется

мода на лица, и эта перемена становится явной, когда проходит увлечение определенными чертами. Но Фрэнсис не мог ждать пятьдесят лет. Ему нужно было объявить картину подделкой, и как можно скорее.

Наконец он сказал судье, что видел уже довольно, и тут его ошарашили.

— Несколько ваших коллег сейчас в Гааге, — сказал Хейгенс. — Им, да и мне самому, не терпится узнать ваше мнение. Мы знаем, что вашими устами глаголют авторитет и опыт Танкреда Сарацини. Мы все согласились, что ваше мнение будет чрезвычайно важным и, без сомнения, решающим. Пожалуйста, придите сюда завтра в одиннадцать часов. Художник также будет здесь. Конечно, он ждет победоносного оправдания.

— А вы, *Edelachtbare Heer*?[233]

— Я? О, мое мнение ничего не значит. Я лишь руковожу расследованием. Воистину, было бы неуместно, если бы это поручили человеку, имеющему свое мнение о картине. Я, конечно, представляю голландское правительство.

За обедом Фрэнсис снова баловал себя роскошной трапезой без телятины, за счет принимаю-

---

**[233] Примечания: 233**
Достопочтенный господин *(голл.)*.

щей стороны. Тут к нему подошел улыбающийся американец:

— Вы позволите? Меня зовут Аддисон Трешер, я представляю нью-йоркский Метрополитен-музей и еще кое-какие заинтересованные стороны. Мы можем говорить: Хейгенс сказал, что не возражает. Так что вы думаете?

Аддисон Трешер был одет очень дорого, очень консервативно, с бросающимся в глаза вкусом. У Аддисона Трешера были очки в серебряной оправе и типично американские зубы, столь неприятные на европейский взгляд, — они выглядели так, словно их чистили не больше часа назад. Его манеры были безупречны. Его окружал запах дорогой туалетной воды. Но глаза светились стальным блеском.

Фрэнсис осторожно поделился своими соображениями, которые сводились к тому, что почти никаких соображений у него нет.

— Я знаю, — сказал Трешер. — В том и беда, верно? Ничего такого определенного. Подпись, конечно, фальшивая, но это не важно. Что-то во всем этом деле меня смущает. Вы, конечно, уже видели такую композицию?

Фрэнсис с полным ртом помотал головой.

— Вы никогда не видели рукопись мистерии

поваров и трактирщиков? Позднесредневековая, хранится в Честере[234]. Там есть миниатюра, изображающая Сошествие во ад. Очень впечатляет. Мог ли Ван Эйк ее видеть? Маловероятно. Но тот, кто подделал картину, мог. В ней нет ничего от Фра Анджелико[235] или Бронзино — конечно, и не могло быть, иначе автор выдал бы себя с головой. Но еще она очень напоминает одну большую фреску на Афоне, а вот это было бы действительно странно — случайное совпадение замыслов двух художников, которых разделяет бог знает сколько веков? Все эти так называемые влияния — очень научное понятие. В работах обоих Ван Эйков ничто не наводит на мысль, что они учились таким образом. Тогда художников просто-напросто учили по-другому.

— Да, я понимаю, о чем вы, — сказал Фрэнсис, пытаясь не выдать, что очень быстро усваивает

---

**[234] Примечания: 234**

*Вы никогда не видели рукопись мистерии поваров и трактирщиков? Позднесредневековая, хранится в Честере.* — Честер и Ковентри были традиционными центрами религиозной драмы. Подвижную сцену на колесах катили по улицам. Часто представление устраивали гильдии: цирюльники, дубильщики, штукатуры, мясники, торговцы специями и свечами. Специальностью гильдии поваров и трактирщиков была пьеса о Сошествии во ад.

**[235] Примечания: 235**

*Фра Анджелико* — Фра Беато Анджелико (Гвидо ди Пьетро, 1400–1455) — итальянский художник Раннего Возрождения, монах-доминиканец, принявший в постриге имя Джованни да Фьезоле.

новую информацию. — Но все же… нет доказательств, что это подделка.

— То же самое говорят немцы. И голландцы. Они, конечно, хотят, чтобы она оказалась подлинной, — это будет замечательное приобретение для голландской галереи. Особенно усердствует человек из Маурицхёйса[236]. Если это окажется национальное сокровище, они не выпустят его из страны. Для них это прекрасная возможность натянуть нос Герингу. Они ссорятся по мелочам, но в главном единодушны. Они заплатят Летцтпфеннигу неплохие деньги, но гораздо меньше того, что он получил бы от американцев, и меньше стоимости картин, которые предлагают на обмен немцы.

— Что вы знаете о Летцтпфенниге?

— Ничего особенно порочащего. Его даже можно назвать значительной фигурой. Он весьма хорошо разбирается в голландском искусстве, читает лекции. Он, возможно, лучший реставратор в Европе — конечно, если не считать Сарацини. Пожалуй, многовато знает о технике старых мастеров, и это, конечно, подозрительно в такой ситуации. Но я не могу ударяться в пустые по-

**[236] Примечания: 236**

*Маурицхёйс* — Королевская художественная галерея в Гааге, Нидерланды.

дозрения. Просто я нутром чую — что-то не так, а пока к «Сошествию» не подпускают научных светил из Лондона, вынужден полагаться на свое нутро. Официально это называется «эстетическим чутьем», но по сути сводится к старому доброму нутру.

— Как у Беренсона.

— Да, у Беренсона очень чувствительное нутро. Но Джо Дювин платит ему полных двадцать пять процентов от продажной цены за удостоверение подлинности картины — и я боюсь, что сладкий звон кассового аппарата заглушает соображения нутра. Чтобы жить так, как живет Беренсон, нужна куча бабок. Конечно, для меня все это представляет чисто гипотетический интерес. Я-то картину не получу в любом случае. Но я ненавижу тех, кто подделывает картины. Это вредит нашему бизнесу.

Аддисон Трешер был безупречно воспитан. Он не стал стоять над душой у Фрэнсиса, а упорхнул, сказав, что они увидятся утром. Что же было делать Фрэнсису? Пойти в Маурицхёйс и поглядеть на картины? Он там и раньше бывал, а от разглядывания живописи его уже тошнило. Он отправился в Вассенар и провел остаток дня в зоопарке.

Жан-Пауль Летцтпфенниг пожал Фрэнсису руку. Его ладонь оказалась неприятно влажной; Фрэнсис немедленно вытащил из кармана платок и вытер собственную руку — возможно, чуточку слишком очевидно. Кое-кто из присутствующих не преминул обратить на это внимание. Профессор Бодуэн — Фрэнсис уже мысленно отнес его к злодеям — отчетливо втянул воздух. Пусть уж лучше так — при разговоре профессор обильно выдыхал, а его дыхание наводило на мысль, что он гниет изнутри и сгнил уже как минимум на две трети. Он разительно контрастировал с Аддисоном Трешером, у которого изо рта пахло лучшей зубной пастой, эффективной в борьбе с кариесом. Аддисон Трешер сегодня был одет совершенно иначе — костюм его выглядел официально и намекал на то, что им предстоят великие дела.

И действительно, великие дела вот-вот должны были свершиться. В воздухе висело ожидание, — несомненно, все присутствующие улавливали это чувствительным нутром искусствоведов. Доктор Схлихте-Мартин, дородный и краснолицый, и доктор Хаусхе-Кейперс, молодой и веселый, напоминали игроков в змейки-лесенки: если Ван Эйк окажется настоящим, старый толстяк продвинется на одну клетку, а молодого отбросит назад.

А если наоборот, то старость будет посрамлена, а молодость восторжествует. Фриш и Бельман, немцы, были одеты в серо-стального цвета костюмы и носили на лицах стальные выражения, ибо в любом случае проигрывали. Они очень надеялись, что Летцтпфеннига с треском разоблачат, и жалели, что когда-то встретили его находку с таким энтузиазмом. Лемэр, Бастонь и Бодуэн относились к делу философски: двое французов хотели бы, чтобы картина оказалась подлинной, но сомневались в таком исходе; бельгиец хотел, чтобы она оказалась фальшивкой, ибо был другом всего негативного. Все они делали ставки в сдержанной манере, свойственной критикам по всему миру.

— Все со всеми знакомы, я полагаю? Ну что, перейдем к делу, не будем задерживаться? Мистер Корниш, ознакомьте нас, пожалуйста, со своими выводами.

Судья был спокойнее всех собравшихся. Он и дюжий смотритель у двери.

Фрэнсис вышел вперед. Внутри у него все сжималось, но внешне он был невозмутим. Летцтпфенниг Фрэнсису скорее понравился, хоть ему и хотелось поскорее смыть с правой руки трупный пот. Летцтпфенниг вовсе не был жалкой

фигурой, какой его представил Сарацини. Немолодой мужчина с печатью интеллекта на челе, в очках с толстыми стеклами, с копной седых волос — он напоминал бы художника, если бы не был таким явным ученым. Он был хорошо одет, и белый носовой платок выглядывал из нагрудного кармана ровно настолько, насколько нужно. Ботинки блестели — за ними, несомненно, ухаживали как следует. Но его внешнее спокойствие никого не впечатлило.

«Ну, поехали, — подумал Фрэнсис. — Слава богу, что я могу говорить и авторитетно, и с уверенностью».

— К сожалению, эту картину нельзя считать подлинной, — сказал он.

— Это и есть ваше мнение? — спросил Хейгенс.

— Не просто мнение, *Edelachtbare*, — объяснил Фрэнсис. Он решил, что ситуация требует формального обращения. — Это прекрасная работа, ее стиль очень похож на стиль Ван Эйка. Любой художник любого века мог бы гордиться ею. Но ее нельзя приписать даже *alunno di van Eyck* или *amico di van Eyck*[237]: она написана как минимум на сто лет позже.

---

**[237] Примечания: 237**
Ученику Ван Эйка… другу Ван Эйка *(ит.).*

— Вы говорите с большой уверенностью! — воскликнул профессор Бодуэн, не скрывая торжествующей ухмылки. — Но вы, если мне позволено будет так выразиться, очень молоды, а уверенность, свойственная юности, не всегда уместна в таких делах. Конечно, вы можете обосновать свое мнение?

«Еще как могу, — подумал Фрэнсис. — Ты думаешь, что Летцтпфенниг уже фактически уничтожен, а теперь хочешь уничтожить и меня, поскольку я молод. Ну так получай, вонючка старая».

— Я уверен, что ваш коллега может привести обоснования, — вмешался миротворец Хейгенс. — Если они достаточно вески, мы снова позовем британских ученых, чтобы они провели научный анализ.

— Думаю, это окажется излишним, — ответил Фрэнсис. — Нам заявили, что это работа Ван Эйка, но она совершенно точно не принадлежит кисти Ван Эйка — ни Губерта, ни Яна. Как давно вы, джентльмены, были в зоопарке?

При чем тут зоопарк? Уж не смеется ли над ними этот юнец?

— Единственная деталь картины дает нам все нужные сведения, — продолжал Фрэнсис. —

Посмотрите на обезьяну, которая висит, зацепившись хвостом за врата ада, в верхнем левом углу. Что она тут делает?

— Это иконографическая деталь, вполне ожидаемая на такого рода картине, — произнес Летцтпфеннинг чуть снисходительно по отношению к юному искусствоведу, довольный, что ему выпала возможность заступиться за обезьяну. — Обезьяна, скованная цепями, — старинный символ павшего человечества до пришествия Христа. Символ душ, томящихся в аду, по сути. Так что обезьяна по праву находится рядом с побежденными демонами.

— Но она висит на собственном хвосте.

— А почему бы ей и не висеть на собственном хвосте?

— Потому что обезьяны в Генте во времена Ван Эйков так не поступали. Эта обезьяна — *Cebus capucinus,* она водится в Новом Свете. А скованная обезьяна традиционной иконографии — уроженка Старого Света, *Macacus rhesus.* Обезьяна, изображенная на картине, — обезьяна с цепким хвостом — была неизвестна в Европе до шестнадцатого века, а Губерт Ван Эйк, излишне напоминать, умер в тысяча четыреста двадцать шестом году. Автор картины, кто бы он ни был,

хотел завершить композицию второстепенной фигурой в этом углу, поэтому скованная обезьяна должна была висеть на хвосте, зацепившись за врата ада. У вас в городе есть прекрасный зоопарк, в котором можно увидеть как *Cebus capucinus,* так и *Macacus rhesus,* с весьма информативными табличками на клетках. Потому я и спросил, как давно вы были в зоопарке.

В мелодрамах девятнадцатого века часто встречались авторские ремарки типа: «Немая сцена! Все поражены! Сенсация!» Именно такой эффект возымел приговор, вынесенный Фрэнсисом. Искусствоведы не пытались сделать вид, что хорошо разбираются в обезьянах, но теперь, когда им указали на очевидное, они поспешно согласились, что оно очевидно. Именно в этом часто состоит задача экспертов.

Пока они обменивались высокоучеными замечаниями, уверяя друг друга, что обезьяна им сразу показалась подозрительной, Летцтпфенниг, разумеется, сильно страдал. Дюжий смотритель принес ему стул. Летцтпфенниг сел, трудно дыша. Но скоро вновь обрел самообладание, поднялся на ноги и звучно похлопал в ладоши, как профессор, призывающий студентов к порядку.

— Джентльмены! — сказал он. — Знайте, что

эту картину написал я. Зачем? В том числе — как протест против фанатичного поклонения, которое ныне воздается ранним голландским мастерам и часто сопряжено с умалением достоинств современных художников. То, что для похвалы чего-то одного нужно унизить что-то другое, — весьма порочный принцип. В наши дни уже не умеют писать так, как писали старые мастера! Это неправда. Я именно этого умения и достиг и знаю, что многие другие люди умеют это не хуже меня. Конечно, такое не принято, поскольку считается своего рода маскарадом, неискренностью, подражанием чужому стилю. Я полностью согласен, что художник должен работать, говоря очень общо, в стиле своего времени. Но вовсе не потому, что этот стиль упадочнический, взятый на вооружение по неспособности писать так, как писали великие предшественники… А теперь, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Вы все хвалили эту картину за колорит, за композицию, за то, что, глядя на нее, воспаряешь духом, а это свойственно лишь великим шедеврам. Все вы хвалебно отзывались об этой картине, кое-кто — даже с восторгом. Что именно привело вас в восторг? Магия великого имени? Магия прошлого? Или картина, которая

была у вас перед глазами? Даже вы, мистер Трешер, узнав, что ваш великий клиент не получит эту картину ни при каких обстоятельствах, говорили о ней так, что у меня сердце пело в груди. «Работа подлинно великого мастера, хотя, может быть, и не Ван Эйка», — сказали вы. Ну и?.. Я — тот самый подлинно великий мастер. Или вы хотите взять назад все свои слова?

Трешер молчал, да и остальным искусствоведам тоже не хотелось ничего говорить — кроме Бодуэна, который шипел на ухо Бельману, что ему сразу не понравились эти кракелюры.

Заговорил судья, и заговорил он как судья:

— Следует помнить, *Mynheer*[238] Летцтпфенниг, что вы предложили картину на продажу как подлинник Ван Эйка, а с ней — сказку о ее происхождении, которая, как мы теперь знаем, была лживой. Это нельзя объяснить протестом против умаления современных художников.

— А как еще я мог привлечь внимание к картине? Как еще донести то, что я хотел сказать? Если бы я объявил, что нарисовал великую картину в старинном стиле, — я, Жан-Пауль Летцтпфенниг, профессор искусствоведения,

---

**[238] Примечания: 238**
Господин *(голл.).*

реставратор старых мастеров, зачисленный в посредственности теми, кто ранжирует художников, как школьников, по их успехам, — сколько из вас потрудилось бы переступить порог, чтобы увидеть мой труд? Ни один! Ни один человек! А теперь вы говорили «шедевр», вы говорили «духоподъемная красота». К чему относились эти слова? К тому, что вы видели? Или к тому, что вы думали, что видите?

— Судья прав, — сказал Аддисон Трешер. — Вы хотели получить за картину кругленькую сумму, и не только за ее красоту, которой я не отрицаю, но и за блеск славного имени и славной эпохи. И мы попались! Картина прекрасна, но кто ее купит? Думаю, это ничья. Во всяком случае, я бы сказал, что ситуация тупиковая.

Конечно, это не была ничья. Газеты раздули случившееся в международную сенсацию. Как они узнали? Если в комнате собрались одиннадцать человек и происходит что-то интересное, по крайней мере один из них наверняка проболтается, пресса возьмет след, и понеслось. Предположительно это был Слейтерс, охранник. Его равнодушие оказалось напускным, и он с радостью выложил все, что знал, — конечно, небезвозмездно. Но точно ли никто другой не

обмолвился ни словечком? Фрэнсис, конечно, молчал, пока не вернулся в Дюстерштейн, но кто поручится за Аддисона Трешера? А может, и судья проболтался жене, а она рассказала лучшей подруге, взяв обещание хранить тайну. Немцы, конечно, отрапортовали своим начальникам, а те — рейхсмаршалу, не склонному к излишней молчаливости. Двое французов и бельгиец вряд ли стали бы молчать — они мало чем рисковали и многое приобретали, ибо приняли участие в великом разоблачении, которое еще долго служило пищей для пересудов людям искусства по всему миру.

«Обезьяна разоблачает мошенника» — этот заголовок в той или иной форме повторили все газеты. В одной газете напечатали карикатурное изображение Фрэнсиса, поучающего искусствоведов, — пародию на известный в живописи библейский сюжет: юного Христа, учащего во Храме.

— Вижу, дело Летцтпфеннига закрыли, — сказал Сарацини однажды в ракушечном гроте, поднимая глаза от газеты «Фёлькишер беобахтер».

— Обвинения сняли? — спросил Фрэнсис.

— Теперь без толку его обвинять. Он покончил

с собой.

— О боже! Бедняга!

— Не упрекайте себя, Корнишь. Я вам велел его убить, и вы его убили. Вы уничтожили его профессиональную репутацию по моему приказу, а теперь он свел счеты с жизнью уже по собственному желанию. И очень интересным способом. Он жил в Амстердаме, в одном из этих очаровательных старых домов, выходящих на канал. Вы ведь знаете, там под самой крышей на фасаде приделаны такие блоки: в стародавние времена купцы с их помощью поднимали грузы на чердак. Живописная старинная деталь. Тут написано, что Летцтпфенниг повесился на блоке своего дома, прямо над водой. Когда полицейские его сняли, то нашли записку, пришпиленную к плащу. Как ни странно, он умер, облаченный в плащ и шляпу. Записка гласила: «Пускай теперь говорят что хотят; сначала они говорили, что это шедевр». Что такое? Вам нехорошо? Может, вам лучше взять выходной? Пока что вы вполне достаточно совершили для искусства.

*– Так сложилась репутация Фрэнсиса, — сказал даймон Маймас.*

*— Твои методы, однако, не назовешь нежными, — заметил Цадкиил Малый.*

*— Нет, но они всегда тонки. Это, конечно, я подтолкнул Фрэнсиса в сторону зоопарка, и я же позаботился, чтобы он хорошенько разглядел обезьян.*

*— К несчастью для Летцтпфеннига.*

*— За Летцтпфеннига я не отвечал. Кроме того, ему не на что жаловаться. Он хотел славы и еще — признания своего художественного таланта. И то и другое он получил — посмертно. Его смерть придала трагическую нотку тому, что, принимая во внимание все обстоятельства, можно считать замечательным жизненным путем. А трагедию ощутило оставшееся человечество — как обычно и бывает с трагическими судьбами. В общем, если учесть все, Летцтпфенниг жил не зря. Он останется сноской в истории искусства. А Фрэнсис единым махом завоевал себе неплохую репутацию.*

*— Это и есть та слава, которую предсказывала Рут? — спросил Цадкиил Малый.*

*— О нет, ни в коем случае. Я способен на гораздо большее.*

Гибель Летцтпфеннига заинтересовала мир, так как всякая гибель кому-нибудь да интересна. Но к осени 1938 года, вскоре после того, как Фрэнсису исполнилось двадцать девять лет,

все новости затмил мюнхенский кризис. Явная победа Невилла Чемберлена, которому удалось договориться с немецким фюрером, обрадовала миллионы невинных сердец, которые желали мира и были готовы поверить чему угодно, если оно сулило мир. Но на Мюнхенское соглашение полагались не все. В число недоверчивых входили Сарацини и графиня. В Дюстерштейне было неспокойно. В замке многое изменилось: Амалию отправили учиться в весьма достойный швейцарский пансион. Рут Нибсмит осталась в замке, на посту секретаря графини, но знала, что это ненадолго. Перед Рождеством она сердечно распрощалась со всеми и вернулась в Англию. У Сарацини оказалось очень срочное дело в Риме, но он не мог сказать, сколько времени оно займет, хоть и уверил графиню, что непременно вернется. А графиня объявила, что неотложные дела в Мюнхене, связанные со сбытом продуктов сельского хозяйства, теперь будут держать ее в этом городе по нескольку недель и даже месяцев.

За прошедший год Сарацини и Фрэнсис проделали огромную работу, порой дерзая на многое. Картины все большего и большего размера отправлялись в погреба виноторговой фирмы. Самые большие холсты приходилось снимать с

подрамников и осторожно укладывать свернутыми внутри бочек — тщательно упаковав, чтобы вино не повредило живопись. Подрамники и старинные гвозди от этих картин помещались в две большие сумки с клюшками для гольфа, которые князь Макс прибавил к своему багажу. Среди больших картин были масштабные батальные полотна и несколько портретов мелких исторических деятелей. Вся эта живопись была кардинально улучшена трудами Сарацини, а также и Фрэнсиса, которому доверяли все более важную работу. А что же делать Фрэнсису, когда Сарацини уедет? Накануне отъезда Сарацини просветил его:

— Вы преуспели, Корнишь, и гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Разоблачением Летцтпфеннига вы создали себе имя — скромное, но все же имя. И все-таки, прежде чем явиться миру под именем *amico di Saraceni* вместо более скромного *alunno di Saraceni*[239], вы должны пройти важное испытание. Попросту говоря, можете ли вы рисовать не хуже Летцтпфеннига? Он ведь был мастером, знаете ли, в одном небольшом уголке мира искусства. Теперь, когда вы его убрали, я могу это

**[239] Примечания: 239**
Друга Сарацини… ученика Сарацини *(ит.).*

сказать. Я, конечно, не говорю о подделке, ибо это презренное занятие. Я говорю об умении работать подлинно в технике прошлого и вместе с тем — в духе прошлого. Пока вы не докажете этого, я не буду до конца в вас уверен. «Дурачок Гензель» был хорош. То, что вы сделали за прошедший год, было хорошо. Но без моего неусыпного надзора, без моих советов и моей безжалостной критики — да, я знаю, что я бессердечный негодяй, но таковы должны быть все великие учителя — потянете ли вы? Так что вот: пока меня не будет, напишите оригинальную картину большого масштаба — не только по размерам, но и по замыслу. И это не должно быть подражанием кому-либо. Нет, напишите ее так, как если бы вы сами жили в пятнадцатом или шестнадцатом веке. Найдите свой предмет. Разотрите краски. Основу я вам даю… Вот, смотрите: это, как видите, триптих, алтарная картина солидных размеров. Она состоит из трех панелей и висела раньше в здешней часовне, пока ту не отделали заново в стиле барокко. Живопись, конечно, загублена. Она не меньше двухсот лет простояла в одном из служебных коридоров замка, откуда мы уже извлекли столько забытых картин. Но эта никогда не была хороша, а теперь и вовсе превратилась в

мусор. Очистите ее — до самого дерева — и принимайтесь за работу. Я хочу увидеть, насколько хорошо вы работаете самостоятельно. У вас будет много времени. Я вернусь весной, а может, и чуть позже. Но обязательно вернусь.

Так, незадолго до Рождества 1938 года, Фрэнсис оказался практически единовластным хозяином Дюстерштейна. И семейные комнаты, и официальные покои преобразились: мебель была завернута от пыли в чехлы, люстры — в муслин, и все вместе напоминало обиталище привидений. Фрэнсису оставили одну маленькую комнату — там он спал, там же и ел, когда не трудился в ракушечном гроте. Он ходил гулять по скользким замшелым тропинкам под плакучими ивами. Другой впал бы в меланхолию, но Фрэнсиса радовали сумрак и одиночество, ибо он был обращен в себя и не хотел, чтобы его отвлекали, манили в игру. Он искал свою картину.

Фрэнсис не проходил философию Сарацини (отделяя ее от жадности и оборотистости Сарацини), как Амалия — учебные предметы. Нет, он впитал эту философию, переварил ее и сделал частью своей цельности. Все, что было в Мастере явно недостойного, Фрэнсиса забавляло. Ему хватало ума, чтобы понимать: и у великих

людей есть свои слабости и их грехи тоже могут быть великими. Фрэнсис переварил пшеницу и отрыгнул мякину, и эта пшеница стала плотью от его плоти, костью от кости. Убеждением, а не усвоенным уроком.

Во что же он верил теперь, пройдя утомительный, а порой и унизительный путь подмастерья? Он верил, что в основании великой картины должен лежать великий миф. И этот миф может быть выражен в живописи только художником, которого неотрывно влечет призвание. Фрэнсис научился принимать и ценить свое призвание, которое не стало менее настоящим оттого, что он шел к нему таким кривым путем. Раньше он трудился в ракушечном гроте как подневольный работник, но теперь был волен приказывать самому себе. Хоть ему и придется выражать себя в манере былых времен. Но что это будет за картина, что за шедевр завершит его ученичество?

Картина должна корениться в мифе. В каком? В запутанной мифологии, космическом фарсе похоти и вульгарных семейных склок богов Олимпа? Или их уменьшенных чучел, измысленных римлянами? Ни за что! В более утонченных христианских мифах, принявших тысячу форм в Средние века — эпоху веры? Католичество

Фрэнсиса, конечно, никуда не делось, но это была сладкая вера Мэри-Бен, а не суровое учение Отцов Церкви. В мифе о величии Человека, провозглашенном эпохой Возрождения[240], или в мифе о человеке умаленном, скованном, каким он казался Веку Разума? А может, выбрать эпоху романтизма — миф о внутреннем человеке, стремительно пришедший в упадок и ставший мифом об эгоизме? В распоряжении Фрэнсиса был даже миф девятнадцатого столетия — материализм, преклонение перед миром вещей, вдохновившее импрессионистов на создание столь многих шедевров. Но эти следовало немедленно отвергнуть, даже если бы они влекли к себе Фрэнсиса (на самом деле — нисколько). У него был приказ написать картину в манере старых мастеров — картину, которая с точки зрения техники могла бы чему-нибудь научить даже хитроумного Летцтпфеннига.

Сидя в одиночестве, почти не сознавая, что вокруг кипит Европа, готовая взорваться войной и ее невиданными доселе ужасами, Фрэнсис

**[240] Примечания: 240**

*Высокое Возрождение* — так в искусствоведении обозначается период расцвета изобразительного искусства в эпоху Возрождения в Италии. Считается, что этот период начался в 1490-е гг. фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в Милане и смертью Лоренцо Медичи во Флоренции, а закончился в 1527 г. разграблением Рима войсками Карла V.

наконец нашел ответ. Единственно возможный, неизбежный ответ. Он изобразит миф Фрэнсиса Корниша.

Но как? Он не мог работать, как работает художник, не ищущий продвижения из *alunno* в *amico* в суровой школе Сарацини. Он не мог спуститься, насколько позволяет талант, в царство Матерей и вернуться оттуда с картиной, непроницаемой для понимания даже самых чувствительных и сочувственных наблюдателей, — картиной, которая, может быть, лет через двадцать объяснится сама, окажется пророчеством или воплем отчаяния. Ему нужен сюжет узнаваемый, как узнаваемы сюжеты картин старых мастеров, даже если подлинный смысл картины имеет мало отношения к лежащему на поверхности сюжету.

Он рисовал и уничтожал бесчисленные наброски, но, даже отвергая их, чувствовал, что близится к цели. Наконец сюжет начал проявляться, потом стал неизбежным — сюжет, нужный для воплощения мифа о Фрэнсисе Корнише. Фрэнсис начал делать этюды и предварительные наброски в старинном стиле, на специально подготовленной бумаге, серебряным карандашом. Этюды, которые, может быть, когда-нибудь заведут искусствоведов в тупик. Тема, сюжет, миф должны

воплотиться в триптихе «Брак в Кане Галилейской».

Этот сюжет был не слишком популярен у мастеров, работавших до эпохи Высокого Возрождения. Их стиль предшествовал пышным изображениям этого роскошного пира, столь маловероятным на фоне библейской истории. Картины пира были, по сути, гимнами роскоши мира сего. Фрэнсису же предстояло работать в сдержанной, но не скудной манере, свойственной закату готической эпохи. Делая наброски, он понял, что этот стиль подходит ему как нельзя лучше: миф Фрэнсиса Корниша не был мифом Ренессанса, мифом Разума, мифом самоупоенного эгоизма или мифом о вещности мира. Раз уж Фрэнсису нельзя говорить голосом своего века, он будет говорить последними раскатами голоса готики. Так он и работал, не яростно, а сосредоточенно и с упоением. Когда наконец предварительные наброски были готовы, руины живописи соскоблены со старой доски, краски выбраны и подготовлены и даже ляпис-лазурь, за которой не надо было далеко ходить, перемолота, он начал писать.

Сарацини вернулся только в середине лета 1939 года. Фрэнсис уже начал беспокоиться. В конце июня он получил письмо от сэра Оуэна Уильям-

са-Оуэна, в котором говорилось:

Отчеты о работе Вашего сердца за последние несколько месяцев внушают некоторую тревогу. Я считаю необходимым обследовать Вас еще раз. Советую Вам вернуться в Англию при первой возможности, чтобы я мог Вас осмотреть. Ваш крестный отец, которого я видел на днях, шлет свой привет.

Смысл письма был совершенно прозрачен даже для рассеянного художника, не следящего за политикой. Но до отъезда из Дюстерштейна Фрэнсис должен был повидаться с Мастером. В конце июня Сарацини с Фрэнсисом пришли в ракушечный грот, и Фрэнсис жестом, не лишенным драматической пышности, сдернул покрывало с «Брака в Кане», запеченного надлежащим образом, с аугсбургской пылью в кракелюрах.

Мастер последовал обычной процедуре. В течение четверти часа он молча созерцал картину. Потом обследовал ее в бинокль, через большое увеличительное стекло, потыкал оборотную сторону, понюхал, потер угол мокрым пальцем — все обычные этапы осмотра. Но вслед за этим он сделал нечто необычное: сел и очень долго просто смотрел на картину, время от времени сопя, — Фрэнсису хотелось верить, что удовле-

творенно.

— Ну что ж, Корнишь, — сказал наконец Сарацини. — Я ожидал от вас хорошей работы, но, признаться, вы меня поразили. Вы, конечно, знаете, что сделали?

— Думаю, да, но хотел бы услышать от вас подтверждение.

— Я понимаю вашу растерянность. Ваша картина — ни в коем случае не упражнение в манере прошлого: такие вещи всегда выдает определенный недостаток живой энергии, а ваша картина полна энергии, безошибочно узнаваемого отпечатка «здесь и сейчас». Чего-то несомненно идущего от Матерей. Говоря начистоту — реальности, созданной художником. Вы нашли реальность, которая не является частью хронологического настоящего. Ваше «здесь и сейчас» лежит не в нашем времени. Вы, судя по всему, не закованы, в отличие от большинства, в психологический мир сегодняшнего дня. Терпеть не могу громкие философские сентенции, но ваша имманентность не заражена календарем. Заранее трудно сказать, но я думаю, что вашей картине суждена долгая жизнь — в отличие от живописи Летцтпфеннига, чьи подделки и маскарады недолговечны.

— Значит, мое ученичество закончено?

— В том, что касается этой картины, — воистину так. Я не знаю, сможете ли вы и захотите ли продолжать в том же духе. Поживем — увидим. Но я должен заметить, что если вы будете и дальше писать в такой манере и об этом станет известно, то ваша песенка спета. Критики всего мира обрушатся на вас, как ястребы, атакующие… феникса? Во всяком случае, какую-то редкую птицу.

— Так что же мне делать?

— О, на это я могу ответить совершенно точно. Возвращайтесь в Англию, причем как можно скорее. А я завтра утром уеду в Италию. Может, вы не заметили, но обстановка накаляется.

— А что же картина?

— Если получится, я сделаю так, чтобы ее доставили вам. Но она большая и не гнется, а потому не влезет в бочку. Так что дело непростое. Пусть пока постоит тут, в замке, в каком-нибудь темном коридоре.

— Я не это имел в виду. *Meister,* вы мной довольны? Этот вопрос меня все время глодал и до сих пор гложет.

— Доволен ли я вами? Мне очень трудно произнести это вслух. Довольство несвойственно моему ремеслу, а я редко выхожу за его рамки. Но

сейчас у меня нет выбора и нет возможности тянуть время. Так что пока *a rivederci…*[241] *Meister.*

**[241] Примечания: 241**
До свидания *(ит.).*

# Часть шестая

Война — это бедствие национального и международного масштаба. Но каждый житель воюющей страны сражается на своей личной войне, и порой трудно сказать, победил он или проиграл. Война Фрэнсиса Корниша была долгой и тяжелой, хоть он и не попал на фронт.

По правде сказать, то, что он не на фронте, было не самой большой его проблемой, зато самой очевидной. Мужчина лет тридцати, здоровый с виду и явно не занятый никакой важной работой, вызывал неприязнь и подозрение. Фрэнсису часто приходилось оправдываться. Конечно, у него было свидетельство от сэра Оуэна Уильямса-Оуэна о сердечной болезни и негодности к службе, но не мог же Фрэнсис ходить со свидетельством, пришпиленным к одежде. А дядя Джек, на которого он работал ежедневно и сверхурочно, вообще не дал ему никакого документа: если его ранят или нападут на него — не дай бог, в нем опознают представителя… не «ремесла», Фрэнсис уже перестал пользоваться словом «ремесло» и называл своего работодателя попросту МИ-5.

Вернувшись в Англию в конце июля 1939 го-

да, он стал официальным — в том смысле, что ему платили крохотное жалованье, — сотрудником контрразведки. В его обязанности входило выяснение всего, что можно, о людях, которые выдавали себя за беженцев из Европы, а на самом деле были немецкими агентами. Никакой романтики плаща и кинжала: днем Фрэнсис работал с агентством, которое опрашивало беженцев и помогало им, а ночью прятался в подворотнях, следя за определенными домами — кто туда входит и кто выходит. Собранные сведения (в основном время прихода и ухода) он тщательно записывал и как можно незаметнее доставлял дяде Джеку, у которого был кабинетик на задворках Куин-Эннс-Гейт.

Работа была нудная, но Фрэнсис умудрился внести в нее кое-что от себя — за это он был всем сердцем благодарен Гарри Ферниссу и долгим часам в Блэрлогги, когда рисовал всех и вся, живых и мертвых. Раз увидев человека, Фрэнсис мог нарисовать его похожий портрет. Фрэнсиса нельзя было обмануть переодеваниями. Мало кто умеет маскироваться по-настоящему: люди слишком полагаются на крашеные волосы, другую одежду, измененную походку. Люди маскируются спереди, но не сзади, а Фрэнсис, ученик Сарацини,

мог опознать человека со спины, даже если не узнал в лицо. Так что Фрэнсис развлекался, украшая отчеты набросками. Они были невероятно полезны, но он об этом не знал, поскольку дядя Джек был неразговорчив и никогда не хвалил его. Пользоваться пишущей машинкой Фрэнсису не разрешали, потому что стук машинки среди ночи мог возбудить подозрения квартирной хозяйки. Отчеты Фрэнсиса, написанные мелким изящным курсивом, украшенные рисунками, были маленькими шедеврами. Но дядю Джека их красота, кажется, не впечатляла — он подшивал отчеты в папки, не комментируя их внешнего вида.

То, что было нудной работой в первые месяцы войны, стало опасной и трудной службой, когда начались бомбежки. Осенью 1940 года Лондон бомбили днем и ночью. К маю 1941 года остались только ночные бомбежки. И в воздушном налете 29 декабря[242] Фрэнсис потерял главное сокровище своей жизни.

---

**[242] Примечания: 242**

*…воздушном налете 29 декабря…* — Речь идет о Втором Большом Лондонском пожаре — одном из самых разрушительных воздушных налетов на Лондон, совершенном в ночь с 29 на 30 декабря 1940 г. в ходе так называемого Лондонского блица, бомбардировок Великобритании нацистской Германией (1940–1941). С 6 вечера до 6 утра следующего дня на Лондон было сброшено 24 тыс. фугасных и 100 тыс. зажигательных бомб. Воздушный налет и последующий пожар уничтожили множество зданий.

Он снова встретил Рут Нибсмит. Случайно, октябрьским вечером, в ресторане «Лайонс», куда забежал пообедать, прежде чем заступить на долгую вахту в дверном проеме напротив подозрительного дома.

– *Le Beau Ténébreux!* Какая радость! Чем занимаешься? Хотя можно не спрашивать — топтуна сразу видно. За кем следишь?

— Что значит «топтуна сразу видно»?

— Да ладно тебе! Засаленная фетровая шляпа, потертый плащик, в кармане топырится блокнот. Конечно, топтун.

— Ты это говоришь только потому, что ты экстрасенс. Моя маскировка непроницаема. Я — тот самый неизвестный герой в тылу, которому сейчас так тяжело приходится.

— Скажу тебе как экстрасенс — до конца года ему придется еще тяжелее.

— Конечно, ты права. Я делаю секретную работу. А ты чем занимаешься?

— Это тоже секрет.

Но в разговоре выплыло наружу, что Рут рабо-

тает в Школе кодов и шифров[243].

— Конечно, у меня такой склад ума, я люблю головоломки. Думаю, меня взяли на эту работу, потому что я могу разгадать кроссворд из «Таймс» за полчаса. Ну и экстрасенсорные способности тоже не вредят.

Она взглянула на стену — там висел плакат Фугаса[244], Гитлер с огромным подслушивающим ухом и подписью: «Кто болтает, тот своих убивает».

Их дружба возобновилась, насколько позволяли необычная работа Фрэнсиса и периодические ночные смены Рут. А значит, возобновились и счастливые часы в постели. Рут жила в крохотной квартирке на Мекленбург-стрит. Квартирная хозяйка была не то покладиста, не то равнодушна, и раз в неделю Фрэнсис и Рут урывали часок. В военном Лондоне, душном и сером, стирка была непростым делом, да и мытье не всегда доступно,

---

**[243] Примечания: 243**

*…работает в Школе кодов и шифров.* — Правительственная школа кодов и шифров — главное шифровальное подразделение Великобритании во время Второй мировой войны, со штаб-квартирой в имении «Блетчли-парк» (Блетчли, графство Букингемшир).

**[244] Примечания: 244**

*…висел плакат Фугаса…* — Сирил Кеннет Берд (1887–1965), работавший под псевдонимом Фугас, — британский карикатурист. Больше всего известен как редактор журнала «Панч» и автор пропагандистских плакатов времен Второй мировой войны.

если водопровод разрушен очередной бомбой. Но каким блаженством было сорвать одежду, упасть на грязноватые простыни и утратить себя в единении, где можно забыть о служебных инструкциях, где важны только нежность и доброта! Как ни странно, они не говорили о любви, ни разу не обменялись клятвами верности: чувствовали, что это не нужно. Они и без слов знали, что времени мало, что жить нужно настоящим и что на миг слиться в объятиях — значит урвать этот миг у гибели и разрушения.

— Если на нас сейчас упадет бомба, я скажу, что умираю в самый счастливый миг своей жизни, — сказал Фрэнсис однажды ночью, когда они презрели сирены и остались в теплой постели, вместо того чтобы укрыться в ближайшем холодном бомбоубежище.

— Не бойся. Никакая бомба тебя не достанет. Разве ты не помнишь свой гороскоп, что я составила в Дюстерштейне? Нет, милый, тебя ждет старость и слава.

— А тебя?

Она поцеловала его:

— Это засекречено. И дешифровщик здесь я, а не ты.

29 декабря, в ночь великого воздушного налета,

Фрэнсис был на работе. Он следил за дверью, через которую никто не вошел и не вышел. Когда оставаться на посту было уже невозможно, он пошел в метро и улегся на каменный пол вместе с сотнями других людей. Они лежали без сна, в ужасе. Наконец прозвучал отбой тревоги, и Фрэнсис пошел к дому, где жила Рут, — насколько мог подойти, потому что город горел. Целые улицы были стерты с лица земли.

Ее вытащили из-под развалин, и Фрэнсис нашел ее в больнице — даже быстрее, чем надеялся. Точнее, нашел тело, накачанное обезболивающими, замотанное бинтами, подключенное к капельницам с физиологическим раствором. Наружу виднелась только одна рука. Фрэнсис просидел несколько часов, держа эту руку и молясь, чтобы от его пожатия Рут было хоть чуточку легче. Потом пришла медсестра и жестом показала на выход:

— Уже не нужно. Ее больше нет. Это ваша жена? Подруга?

— Подруга.

— Хотите чашечку чая?

Это никак не помогало, но больше ничего в больнице предложить не могли. От чая Фрэнсис отказался.

Так закончился период величайшего утешения его жизни. По расчетам Фрэнсиса, он продолжался чуть меньше десяти недель. Все, что случилось с Фрэнсисом за оставшийся сорок один год, в том числе своеобразная слава, не шло с этим ни в какое сравнение.

Герой дамского романа пережил бы то, что не слишком точно называют нервным срывом, или выбросил бы белый билет и отправился на фронт, чтобы отомстить или умереть. Но героизм Фрэнсиса был иного рода. Фрэнсис запахнулся в жесткий плащ стоицизма, захлопнул дверь, чтобы туда не пролезла любовь, и трудился как раб, пока дядя Джек — то ли почуяв в нем великую перемену, то ли узрев новые достоинства — не дал ему работу чуточку поинтереснее. Следующие несколько месяцев он сидел в комнатушке в здании, которое с виду совершенно не напоминало о МИ-5, и координировал отчеты наблюдателей вроде него самого, пытаясь извлечь какой-то смысл из информации, которая вовсе не была информативной. Только один раз за все это время он точно мог бы сказать, что участвовал в разоблачении агента.

Но среди одиночества и нудной работы бывали и просветы. В начале 1943 года в Лондоне

объявился отец. Он оказался офицером связи канадской Службы безопасности при МИ-5, причем был большой шишкой: жил в «Клариджe» и мог бы потребовать машину в свое распоряжение, если бы не предпочитал ходить пешком. Деревянный Солдатик за это время стал еще деревяннее, и монокль, если это вообще возможно, еще сильнее сросся с его лицом. Отец привез новости из дому:

— Бабушке и тете Мэри-Бен уже недолго осталось. Они, конечно, старые: бабушке за восемьдесят, а тете все восемьдесят пять. Но их сводит в могилу не старость, а скупость и дурное питание. Этот несчастный доктор еще старше, но он сущий живчик и старушек поддерживает на плаву. Мне он никогда не нравился. Худшая разновидность ирландца. Твоя мать здорова и все так же красива, как в день нашей первой встречи. Но она сдает: провалы в памяти и все такое. Самый большой сюрприз нам преподнес твой младший братец. Отказался идти в университет: видите ли, ты учился в двух, и на семью этого вполне достаточно. Он уже полностью вошел в бизнес, и у него большие способности к этому делу. Но сейчас он в авиации; думаю, он хорошо себя проявит. Джек Коппстоун говорит, что и ты весьма отличился.

— Жаль, что он мне этого не говорит. Иногда

мне кажется, что он про меня забыл.

— Только не Джек. Но надо сказать, что тебя не так легко приткнуть. Слава богу, ты не из породы рубак. Джек тебя использует, когда подвернется подходящая работа. Но я скажу ему пару слов. Конечно, ты мне ничего не говорил. Но все равно я подтолкну машину, чтобы колесики завертелись… Ты ведь знаешь, что оба о'гормановских мальчика в армии? Да, они очень молодые, но им не терпелось. К несчастью, умом их Бог обделил — для нашей службы они точно не годятся, но храбрости им не занимать. Конечно, и сам О'Горман с головой ушел, как он говорит, в военную работу — продает облигации займа победы и все такое. Ну, наверно, кто-то должен это делать. Думаю, что жирный осел целится на какую-нибудь официальную награду. Он так и не оправился после той истории с рыцарством святого Сильвестра. Хочет получить что-нибудь такое, что у него точно не отберут.

Фрэнсису пришло в голову, что отец ведь немолод. Он как минимум на десять лет старше матери. Но сэр Фрэнсис Корниш никогда с виду не был молодым, а теперь не выглядел старым. Раз он до сих пор в «ремесле», значит он хорош в своем деле. Конечно, выглядит как привидение

из Эдвардианской эпохи, но ступает легко. Подтянутый, но не иссохший.

— Знаешь, Фрэнк, я смотрю в прошлое, на канадскую часть семьи, и теперь мне кажется, что больше всех мне нравился старый сенатор. Будь у него такая возможность, он стал бы великим человеком.

— Я всегда считал его великим человеком. Во всяком случае, он заработал кучу денег.

— И основал трест. Ты прав, конечно. Просто я думал о… как бы это сказать… о социальных привилегиях. Корниш-трест… меня это всегда удивляло. Старик считал меня зицпредседателем. Надо полагать, что так оно и было. Мы с ним жили в разных мирах — странно, что они вообще хоть как-то соприкоснулись. Но все же соприкоснулись, и от этого все выиграли.

— Дедушка был глубоко чувствующим человеком.

— А? Да, наверно. Я в этом не очень разбираюсь. Слушай, Фрэнк, тебе надо приодеться. Ты выглядишь ужасно. Даже сейчас при желании можно достать приличную одежду. У тебя ведь куча денег, верно?

— Наверно, да. Я как-то не думаю о своем гардеробе. Мне кажется, сейчас это не имеет

значения.

— Поверь мне, мальчик, это всегда имеет значение. Даже в «ремесле», знаешь ли, защитная окраска может быть разных видов. Если ты выглядишь как мелкая сошка, тебя всегда будут воспринимать как мелкую сошку, потому что у людей не всегда есть время выяснять, что ты такое на самом деле. Так что займись своим гардеробом. Пойди к моему портному, и пусть он тебе построит костюм — самый лучший, какой можно сшить на твои талоны. Носи галстук своей школы или университета. Вдруг тебя убьют во время налета? И когда тебя найдут, то как узнают, кто ты такой?

— Разве это важно?

— Конечно важно. Одеваться как человек из низов, если ты не из низов, так же ненатурально, как чрезмерное щегольство. А неестественность в смерти так же смешна, как и неестественность при жизни.

На следующий день Фрэнсиса отконвоировали на Сэвил-роу. Там его обмерили и обещали ему темно-серый костюм, за которым должен был последовать синий, когда это будет угодно Богу и системе распределения по талонам. Сэр Фрэнсис, сломив сопротивление сына, пошел в атаку и

вручил ему приличные носки и рубашки из собственного гардероба. Они оказались почти впору. Если отец одевает тридцатитрехлетнего сына, это свидетельствует о необычно покладистом характере последнего, но Фрэнсис все воспринимал с юмором: он понимал, что, поработав топтуном, стал выглядеть как топтун и с этим надо что-то делать. Майор только обеспечил необходимый первоначальный толчок.

Уже хорошо одетым — за исключением разве что обуви — Фрэнсис нанес визит синьоре Сарацини, проживающей в южной части Лондона. Об этом попросил Мастер в письме, провезенном контрабандой из Парижа.

Синьора была англичанкой до мозга костей, но отличалась сочной, пышной манерой выражаться, возможно приобретенной в Италии. Синьора, видимо, считала, что это подобает жене художника. Она сразу принялась изливать душу:

— Иногда я думаю: может быть, когда эта ужасная война закончится, мы с Танкредом воссоединимся. Но обязательно здесь. Я ведь сохранила свой английский паспорт. Мне никогда по-настоящему не нравился Рим. А тамошняя квартира… немножко слишком, правда? Ну посудите сами, какая может быть семейная жизнь

посреди исторических ценностей? Ни одного стула без родословной, а отдыхать, сидя на родословной, как-то не получается. Но вы должны понять, мы с Танкредом всегда жили душа в душу. Война разлучила нас, но до того он приезжал ко мне каждый год, и мы любили друг друга. Ах как любили! Но я понимаю, что Танкред вряд ли может быть счастлив в моем доме, а я свой дом обожаю. Эти чинцы и мебель мореного дерева! Божественно, правда? Все до единой табуреточки — от Хила, и все изготовлено самое большее несколько лет назад. Человек должен жить в своей эпохе, верно ведь? Но я так надеюсь, что мы с Танкредом снова будем вместе.

Однако ее мечта не сбылась. Через несколько недель случайная бомба — видимо, предназначенная для Сити — стерла в пыль всю улицу, где жила синьора, и саму синьору тоже. Фрэнсису выпала тяжелая обязанность — написать об этом Мастеру и сделать так, чтобы письмо нашло адресата.

«Она была кровью моего сердца, — написал Мастер в ответном письме, полученном таким же кружным путем, — и я всем сердцем верю, что она сказала бы то же самое обо мне. Но, дорогой мой Корниш, одержимость искусством не знает

жалости, и, может быть, вы это еще испытаете на собственной судьбе».

Вскоре после этого письма дядя Джек вызвал Фрэнсиса к себе и наконец дал понять, что никогда о нем не забывал. Полковник Коппластоун вообще никогда ничего не забывал.

— Ты ведь знаешь, что мы выиграем эту войну? Да-да, хотя сейчас и не похоже. Это будет не скоро, но совершенно ясно, что мы выиграем, если в этой войне хоть кто-то выиграет. Главными победителями будут американцы и русские. Но победа принесет с собой еще более сложные проблемы, и нам нужно начинать работать над ними уже сегодня, иначе они застигнут нас врасплох. И одна из этих проблем — искусство… Оно важно, знаешь ли. Психологически. Нечто вроде барометра психологической и духовной силы. Разбитый враг не должен унести слишком много духовной добычи, а то он будет опасно похож на победителя. Поэтому нам придется разыскивать и возвращать на место всякое бесхозное — проще говоря, награбленное во время войны — барахло. Так что я посылаю тебя в южный Уэльс работать с людьми, которые следили за происходящим. Видишь ли, у тебя есть определенный авторитет. История с Летцтпфеннигом создала тебе имя,

хоть и не слишком громкое, так что не упускай случая, когда он представится. Рад видеть, что ты занялся своим гардеробом. Это было необходимо, знаешь ли. Нельзя заседать на конференциях и в комитетах оборванцем, верно ведь?

Через две недели Фрэнсис оказался в тихой деревеньке под Кардиффом, в усадебном доме, который втихомолку, не привлекая излишнего интереса, заняла МИ-5. Здесь Фрэнсис провел самые тяжелые дни войны, готовясь к работе, которая начнется после победы.

Именно здесь, так далеко от Лондона, он наконец стал лучше понимать, ради чего и с кем работает. В Лондоне он был рядовым агентом, топтуном, который шныряет по темным закоулкам, записывая в блокнот приходы, уходы и встречи подозреваемых. Он учился быть незаметным. Он узнал о психологической ловушке, грозящей тем, кто ведет наружное наблюдение: любой человек, за которым следишь несколько дней подряд, начинает казаться подозрительным. Фрэнсис чувствовал себя идиотом, но не имел права задавать вопросы: его делом было прятаться в подворотнях и за углом, ловить отражение объекта в витринах и по возможности не выглядеть подозрительно — несколько агентов дяди Джека

попали в идиотское положение, донеся на незнакомых коллег. За долгие часы ожидания на посту Фрэнсис возненавидел свою работу, все на свете политические системы и любой национализм. Он начал впадать в то самое состояние духа, которое делает агента легкой добычей для перевербовки: его начинает привлекать роль двойного агента. Ибо за какие высокие принципы может цепляться человек, унизившийся до ремесла филера? Это предел человеческого падения.

В Кардиффе Фрэнсису поручили интервьюировать рядовых агентов, одного за другим, и оценивать принесенные ими данные в свете своей информации и своей интуиции. Кое-кто из агентов работал в МИ-6, внешней разведке. Фрэнсис снова и снова слышал слова Рут — мудрые советы, отложившиеся в голове по крупицам во время их долгих разговоров.

— Некоторые наши лучшие агенты не образец высокой морали. А хуже всех — члены Гоминтерна. Ну знаешь, великое международное братство гомосексуалистов. Только представь себе: переспать с кем-нибудь, а потом заложить его! Но так делают часто — и мужчины чаще, чем женщины, насколько мне известно. Честное слово, нужно набирать в разведку больше женщин. Мужчины

такие тупицы. Женщине можно доверять, кроме разве что в любви: женщины гордятся тем, что знают, а мужчины — тем, что могут разболтать. Это очень мерзкий мир, и мы с тобой слишком невинны, чтобы добраться до высоких постов в нашем деле.

Но вот же он, Фрэнсис, в Кардиффе, на должности, может, и не очень высокой, но все же, судя по всему, немаловажной. Может, он низко пал, сам того не зная? Или Рут говорила от чистого сердца, наивно, как добрый и порядочный человек, не очень представляя себе, о чем говорит?

Помимо работы, Фрэнсису приходилось урывать время для других, часто неприятных обязанностей повседневной жизни. Родерик Глассон ежемесячно писал ему, жалуясь на участь агрария во время войны. Он прозрачно намекал, что, если не получит денег сверх обычного, на большие реформы в поместье, все рухнет и скупердяйство Фрэнсиса доведет семью до разорения. Тетя Пруденс писала реже, но, пожалуй, настойчивее — об успехах и развитии малютки Чарли. Если Фрэнсис хочет, чтобы девочка получила подобающее воспитание, он должен посылать больше денег. В одном письме тетя заявила начистоту, что пора уже малютке Чарли жить в нормальном

доме с родителями, так что, может быть, Исмэй и Фрэнсис пересмотрят свои отношения?

За этим письмом последовало другое, от самой Исмэй, откуда-то из Манчестера. Та ничего не писала ни про малютку Чарли, ни про нормальный дом, ни про то, что адрес Фрэнсиса получила от матери. Исмэй откровенно заявляла, что она на мели и не хочет ли Фрэнсис что-нибудь сделать по этому поводу?

Фрэнсис взял на работе отпуск на несколько дней и проехал очень кружным путем от Кардиффа до Манчестера. Из-за войны поездка оказалась еще труднее обычного. И вот он снова встретился с Исмэй — почти через десять лет — за плохим обедом в дорогом отеле.

— Надо полагать, это когда-то было китятиной, — сказал он, тыча вилкой в содержимое своей тарелки.

Но Исмэй не была переборчива: она жадно ела. Она очень исхудала. Она не утратила своеобразной красоты, но стала костлявой, почти изможденной, а волосы выглядели так, словно она стригла их сама. Грубая одежда темных тонов и все прочие приметы ее облика говорили о преданности великому делу.

Так и было: Исмэй ныне отдавала все свое вре-

мя и силы, но чему именно — было не вполне ясно. Она роняла намеки, из которых следовало, что она делает все возможное, приближая великое восстание рабочих. Такое восстание, организованное во всех воюющих странах, должно в считаные недели привести к прекращению военных действий и передать власть Рабочему интернационалу, который установит закон и порядок в мире, страдающем под гнетом несправедливости.

— Можешь не вдаваться в детали, — заметил Фрэнсис. — Я проезжал через Лондон, и мне в качестве большой любезности разрешили заглянуть в твое досье. Я не очень понимаю, почему ты до сих пор на свободе. Возможно, ты просто слишком мелкая сошка.

— Херня! — сказала Исмэй, чей словарь не очень изменился со студенческих лет. — Вы просто надеетесь, что я выведу вас на важных людей. Руки коротки! — злобно добавила она, жуя китятину.

— Но я не об этом собирался с тобой поговорить. Насколько я понимаю, ты переписываешься с матерью, которая, конечно, понятия не имеет, чем ты занимаешься. Она думает, что нам следует воссоединиться.

— Разбежалась!

— Полностью согласен. Так о чем мы собирались говорить?

— О деньгах. Ты дашь мне денег?

— С какой стати?

— С такой, что у тебя их много.

— У Чарли были деньги. Что с ним случилось?

— Погиб. В Испании. Он был дурак.

— Он умер за лоялистов?

— Нет, он умер, потому что не платил карточные долги.

— Меня это почему-то не удивляет. Он так и не научился грамматике денег.

— Чему?

— Я хорошо знаю грамматику денег. Деньги — одна из двух-трех вещей, которые требуют верности. Неразборчивость в политике простительна, а неразборчивость в отношении к чужим деньгам, особенно если они принесены случаем, — нет. Именно поэтому я не тороплюсь давать тебе деньги. Их послал мне случай, и я дорожу ими больше, чем если бы заработал их тяжелым трудом.

— Ну, Фрэнк, твоя семья ведь богата.

— Моя семья — банкиры. Они постигли высокую риторику денег. Я же лишь скромный

грамматик, как я уже сказал.

— Ты хочешь, чтобы я умоляла.

— Слушай, Исмэй! Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ответь мне честно на несколько вопросов и перестань болтать про борьбу за рабочее дело. Что тебя гложет? Что ты все время строишь из себя жертву? Может, просто мстишь родителям? За что ты ненавидишь меня? Я так же против тирании, как и ты, но я вижу, что и твоей стороне не чуждо тиранство. Почему тирания рабочих лучше тирании плутократов?

— Это такая глупость, что я даже обсуждать ее не буду. Я тебя не ненавижу, а всего лишь презираю. Ты мыслишь штампами. Ты не можешь себе представить великого дела, которое не сводилось бы к личной мести. Ты не умеешь думать, тебе чужда объективность. Дело в том, Фрэнк, что ты попросту художник: тебе глубоко плевать, кто у власти, лишь бы тебе разрешали возиться с красками и клеить блестящие звездочки на несправедливость общества. Господи, да неужели ты даже не знаешь, что говорил Платон о художнике и обществе?

— Самое лучшее в Платоне — это его хороший стиль. Он любил изобретать системы правления, но чутье художника ему подсказывало, что

полностью доверять им не стоит. А я вот возненавидел всяческие системы. Мне равно ненавистны и твоя любимая диктатура пролетариата, и фашизм, и существующий строй. Но я понимаю, что какая-то система должна быть, и я согласен на любую, лишь бы она не мешала мне работать. А это, скорее всего, окажется самая неэффективная, хаотическая, противоречивая система.

— Ну ладно. Разговоры не помогут. Но что же с деньгами? Я ведь по-прежнему твоя жена, и полиция это знает. Неужели ты хочешь, чтобы я пошла на панель?

— Исмэй, ты меня удивляешь. Не пытайся давить на мою сентиментальность. Почему меня должно волновать, пойдешь ты на панель или нет?

— Когда-то ты говорил, что любишь меня.

— Но ведь любовь — буржуазное заблуждение, разве нет?

— А если и да, то что с того? Для тебя она была реальна. Ты наверняка помнишь, как под разными надуманными художественными предлогами уговаривал меня раздеться и пожирал глазами по многу часов подряд, даже не пытаясь заняться чем-нибудь более осязаемым?

— Конечно помню. Я был возвышенно мысля-

щим ослом, а ты — ловкой маленькой динамщицей. Надо думать, боги со смеху лопались, глядя на нас сверху. Но это было давно.

— Надо думать, это значит, что ты нашел себе другую женщину.

— Да, на время. Неизмеримо лучшую. Незабываемую.

— Я не собираюсь тебя умолять, даже не думай.

— Тогда что мы тут сидим?

— Ты хочешь, чтобы я умоляла, да? Ах ты говнюк! Как все художники, все идеалисты — в сердце у тебя говно! Не буду умолять.

— А даже если бы и стала, это ничего бы не дало. От меня ты не получишь ни гроша. И нечего поминать полицию. Это ты меня бросила. Сбежала. Я буду по-прежнему давать деньги на малютку Чарли — она, бедняжка, ни в чем не виновата. Но я не буду содержать ее как принцессу, чего, по-видимому, хочет твоя мать. Я даже готов еще несколько лет выкидывать деньги на содержание бардака, что твой отец называет имением. Но тебе я не дам ничего.

— Просто интересно — а если бы я пресмыкалась, ты бы дал денег?

— Нет. Ты пробовала давить на сентименталь-

ность, и у тебя ничего не вышло. Пресмыкание тоже ничего не дало бы.

— Может, закажешь еще еды? И питья? Я не пресмыкаюсь, имей в виду. Я твоя гостья.

— А в той системе понятий, в которой мы оба выросли, гости священны. В данный момент я признаю эту систему.

– *Noblesse oblige*[245]. Девиз, дорогой сердцу буржуев, претендующих на аристократизм.

— Со времени нашей последней встречи я чуть больше узнал об аристократизме. «Ты погибнешь прежде, чем я погибну». Слыхала такой девиз? Если я снова поймаюсь на удочку твоей красоты — а ты все еще красива, дорогая моя жена, — я, несомненно, погибну, причем заслуженно, от собственной глупости. А я дал себе обет: я не умру дураком.

В свой час война кончилась. Точнее сказать, кончились сражения, на которых звучали выстрелы и взрывы. В бой пошли дипломаты. Начала обретать черты особая операция под названием «победа», в которой должен был участвовать Фрэнсис. Ему и другим людям нужно было восстановить подобие мира в мире искусства.

---

**[245] Примечания: 245**
Положение обязывает *(фр.).*

Искусство — барометр, сообщающий о состоянии национального духа, неопределимая боговдохновенность, которой должна обладать современная страна, чтобы ее душа была здорова. Но операция задерживалась, так как сначала необходимо было уладить многие другие дела. Фрэнсис подал заявление на отпуск по семейным обстоятельствам: ему нужно было съездить домой, в Канаду. Бабушка действительно умерла — в самом начале 1945 года, и тетя Мэри-Бен, перестав быть чьим-либо козырным валетом, вскоре последовала за ней. Мэри-Тесс даже сказала — весьма неделикатно, — что бабушке по прибытии в Царство Небесное понадобился человек, который распоряжался бы для нее вечностью, вот бабушка и позвонила в колокольчик, призывая Мэри-Бен.

Фрэнсис не удивился и не стал отказываться, когда семья возложила на него задачу отправиться в Блэрлогги, уладить там все дела и, по сути, разорвать давнюю связь семьи Макрори с этим городом. Брат Артур с кузенами Ларри и Миком еще не вернулись из действующей армии; Дж. В. О'Горман (ныне — большой человек в мире финансов) был слишком занят, а сэр Фрэнсис — слишком высокопоставленная особа, чтобы привлекать его к подобным длительным делам.

Кроме того, с сэром Фрэнсисом незадолго до того случился удар; к счастью, обошлось без последствий, но к концу дня он «становился хлипковат», как выражалась его супруга. И то сказать, сэру Фрэнсису было уже семьдесят с хвостиком, хотя никто не говорил, как велик этот хвостик.

Что же до Мэри-Джим, или Джекко, как уже давно называла ее вся семья, ей исполнился шестьдесят один год. Выглядела она для своих лет потрясающе, но ее речь и поведение беспокоили Фрэнсиса. Он ощущал нежность и любовь к матери, далекие от навязанного, вымученного обожания, которое он питал к ней с детства. Если он вообще собирается говорить с ней о Лунатике, это надо сделать сейчас.

— Мама, я всегда хотел узнать про моего старшего брата, Фрэнсиса-первого. Ну, ты знаешь. Мне никто никогда про него не рассказывал. Может быть, ты что-нибудь расскажешь?

— Нечего рассказывать, милый. Он был не очень здоровенький и умер совсем малышом. Очень жалко.

— А отчего он умер?

— Ну… отчего умирают такие маленькие детки? Перестал жить, вот и все.

— С ним было что-то не так?

— А? Нет, он просто взял и умер. Это было очень давно.

— Но он ведь прожил как минимум год. Какой он был?

— Милый малыш. А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Странно, когда у тебя был брат, а ты ничего о нем не знаешь.

— Он был милый малыш. Я уверена, если бы он остался в живых, ты бы его очень любил. Но он умер маленьким, вот как.

От отца Фрэнсис тоже ничего не добился.

— Фрэнк, я, честно тебе сказать, его почти не помню. Он умер совсем маленьким. Ты же видел его надгробный камень на кладбище.

— Да, но это значит, что он умер католиком. А ты всегда настаивал, что я протестант.

— Конечно. Все Корниши были протестантами, с самой Реформации. Я забыл, почему его там похоронили. Какая разница? Он умер так рано, что у него и религии-то еще никакой не было.

«Да неужели? — подумал Фрэнсис. — Ты ничего об этом не знаешь. Ты даже не знаешь, что я по большому теологическому счету католик. Ни ты, ни мать — вы не знаете обо мне вообще ни шиша, и все ваши разговоры о любви — обман. Вам всем было глубоко плевать на спасение моей души.

Кроме тети Мэри-Бен, а она, несмотря на всю свою кротость, была неукротимой старой ханжой. Все до единой мысли, когда-либо мелькавшие у вас в голове, — позор для любой религии, заслуживающей этого имени. Но все же я непостижимым образом приплыл в мир, где религия, хотя и не в ортодоксальном изводе, — источник любой осмысленности».

Фрэнсис поехал в Блэрлогги, прихватив сэндвичи, чтобы не травиться по дороге ужасной едой «у старухи». Он сразу отправился к доктору Джозефу-Амброзиусу Джерому. Доктору стукнуло девяносто лет — усохший старичок, но в глазах по-прежнему горит острый ум.

— Ну что ж, Фрэнсис, если ты так уж непременно хочешь знать… Ты как-то говорил, что знаешь про этого, который жил на чердаке. Он был адиёт. Это я его туда пристроил. Если бы я его убил, твой дед сказал бы спасибо — но я такими делами не занимаюсь. Я врач, а не убийца.

— Но его жизнь была совершенно ужасна. Неужели его нельзя было поместить куда-нибудь еще и там заботиться о нем, но чтобы это не было так похоже на тюрьму?

— Тебя что, в Оксфорде совсем ничему не учили? Забыл, что сказано у Платона? «Сумасшедшие

не должны показываться в городе. Их близкие пусть охраняют их в своем доме как умеют. В противном случае они должны будут уплатить пеню»[246]. Ну что ж, они охраняли его как умели, но все же уплатили суровую пеню. От твари, живущей на чердаке, пошла гниль, которая погубила «Сент-Килду». И ваша семья расплатилась монетой духа, как бы твоя бабушка ни глушила совесть картами, а дедушка — важной работой в Оттаве.

— А они не боялись, что его болезнь, чем он там был болен, проявится и у меня?

— Мне они, во всяком случае, ничего не говорили.

— Но почему? У меня ведь те же самые родители.

— В самом деле?

Доктор Дж.-А. расхохотался. Не трескучим смешком дряхлого старца, а полнокровным, хоть и невеселым, смехом.

— А разве нет?

— Я ничего не скажу. Спроси у матери.

— Вы намекаете…

— Я ни на что не намекаю и больше не собира-

**[246] Примечания: 246**

*Забыл, что сказано у Платона? «Сумасшедшие не должны показываться в городе…»* — Платон. Законы. Книга 11. Перев. А. Егунова.

юсь отвечать ни на какие вопросы. Но я скажу тебе кое-что такое, о чем мало кто знает. Говорят, что мудро дитя, знающее своего отца. Но чертовски мудро то, которое знает собственную мать. В материнской душе есть закоулки, куда нет хода сыновьям и куда проникает чертовски мало дочерей. В твоей матери таилась порча. Пока что она не проявилась ни у тебя, ни у Артура — хотя он такой болван, что у него никакая порча не будет заметна. Но у вас впереди еще многие годы. Может быть, ты проживешь с мое, и надеюсь, что Господь сохранит тебя невредимым. Что в костях заложено, то из плоти не выбьешь — это чистейшая правда. Выпей рюмочку, Фрэнк, и не вешай нос. А что стало с хорошим виски, который хранился у твоего деда в погребе?

— Там еще осталось несколько бутылок, и с ними надо что-то делать. Я прикажу отослать их вам, идет?

— Благослови тебя Господь, мальчик! Он уже, должно быть, вылежался и стал мягким — чистое молочко для стариков. Человеку в моем возрасте нужны регулярные порции этого молока.

Расчистка «Сент-Килды» оказалась утомительным делом. Фрэнку и двум его помощникам, которые таскали утварь туда-сюда, аукционеру и

на помойку, понадобилось три недели. Фрэнк не мог жить в доме, хотя там все еще дежурила Анна Леменчик: он боялся ее чудовищной стряпни. Он поселился в отеле «Блэрлогги»: то была ужасная дыра, зато не навевала никаких воспоминаний. Фрэнсис настоял на том, чтобы лично разбирать содержимое каждой комнаты: мебель в стиле разных Людовиков — на аукцион; тетины религиозные картинки и мебель, которая может пригодиться священникам, — в церковный дом. Картины с обнаженной натурой Фрэнсис оставил в папке, предположив, что святые отцы оценят их по достоинству. В библиотеку он отправил книги и еще одну пачку эстампов, а также менее значительные картины (уже от безысходности и против воли библиотекаря). Картины с кардиналами уехали в Монреаль к торговцу предметами искусства и принесли солидную сумму. Фрэнсис предложил Виктории Камерон, ныне — состоятельной женщине, взять из дома все, что она хочет, но она, типично для нее, не пожелала ничего, кроме рисунка, сделанного самим Фрэнсисом много лет назад, — Зейдок в цилиндре и высоком белом воротничке правит катафалком Девинни. И в старой комнате Фрэнсиса тоже оставались вещи, которые требовали внимания. Другому

человеку они показались бы ничего не значащим мусором, но для Фрэнсиса были полны смысла.

Вот небольшая коллекция журналов о кино. Бумага пожелтела и крошится. Когда-то Фрэнсис вглядывался в эти страницы горящими глазами — несведущий подросток, обуреваемый похотью. Былые королевы красоты смело обнажали колени, игриво выглядывая из-под ненатурально волнистых волос. Здесь были и картинки, вырезанные из рождественских выпусков «Татлера», «Зеваки» и «Омелы», которые всегда приносил дедушка на Рождество. На картинках красовались стыдливые девушки двадцатых годов в нижнем бельишке или в прозрачных ночных рубашечках или (очень смело) играющие с миленьким песиком, почти (но не совсем) прикрывая его телом свои груди и Особенности. Фрэнсис понимал теперь, что эти картинки — патология Искусства, последние вздохи умирающей школы эротической живописи, расцветавшей во времена Буше и Фрагонара[247]. Китч, как говорил Сарацини.

Но главное, что Фрэнсис хотел найти и уничтожить, — узелок тряпья, обрезки шелка и шифона,

---

**[247] Примечания: 247**

*…времена Буше и Фрагонара.* — Франсуа Буше (1703–1770) и его ученик Жан-Оноре Фрагонар (1732–1806) — французские живописцы эпохи рококо.

давнишний нелепый наряд, который он надевал, пытаясь принять девичий образ в подражание (как он тогда думал) Джулиану Элтингу. Теперь он знал (или думал, что знает), что это значило: тоску по девушке-подруге, по загадке и нежности, которые он ожидал в ней найти. Он даже догадывался, что искал эту спутницу в себе самом. На ум пришли строки Браунинга, написанные поэтом в ранней молодости:

*Тогда я ведьмой был, прекрасной, юной,*
*Голубоглазой, словно воды речки.*
*В ней отразясь, нагая красота*
*Пленила бога.*[248]

Но этой юной ведьмой не стала даже Рут, а Исмэй, по виду — идеальная кандидатура, по духу оказалась язвительной пародией. Где же юная ведьма? Придет ли она когда-нибудь? Он желал ее не как возлюбленную, но как нечто еще более близкое: завершение себя, желанное, неуловимое измерение собственного духа.

Так Фрэнсис примирился (во всяком случае, он так думал) со своим странным детством, в

**[248] Примечания: 248**

*…строки Браунинга, написанные поэтом в ранней молодости: Тогда я ведьмой был…* — Цитируется стихотворение Р. Браунинга «Полина» (1833).

котором было так много разговоров о любви и так мало сердечного тепла. В Блэрлогги ему не было одиноко, даже долгими вечерами в отеле, когда он сидел и перечитывал — в который уже раз — любимые страницы «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари. Ему не было одиноко и на католическом кладбище — он пошел туда навестить надгробный камень Фрэнсиса-первого, Лунатика, тени, которая осеняла его детство, и неразорвавшейся бомбы, которая, если верить доктору, может еще омрачить его зрелость. Тайны, непризнанного элемента, который, как понимал теперь Фрэнсис, сыграл огромную роль в становлении его как художника. Если он вправе называть себя художником.

Но разве Сарацини, суровый судья, не назвал его «Meister» совершенно серьезно и без всяких объяснений?

Могилу Зейдока Фрэнсис навестить не смог. Даже Виктория не знала, где лежит кучер, — сказала только, что его похоронили в той части протестантского кладбища, которая с типичной для Блэрлогги резкостью называлась «землей

горшечника»[249]. Но Фрэнсис не увлекался прогулками по кладбищам, так что ему было все равно. Он вспоминал Зейдока с нежностью, а все остальное не имело значения.

Наконец «Сент-Килду» продали с молотка, и «Чигуидден-лодж», который до этого несколько лет сдавали в аренду, тоже. Оба имения купил задешево местный земельный спекулянт. Вот и конец старой песни, сказал Фрэнсис родным в Торонто, не зная, уловит ли кто из них аллюзию[250]. Сам он не взял из дома своего детства ничего, кроме одной картины из спальни. Нет, не замечательный портрет Христа, открывающий глаза, когда на него смотришь. А «Изгнанную любовь».

Людей, собравшихся в 1946 году в усадебном доме близ Кардиффа, ждала огромная работа.

---

**[249] Примечания: 249**

*...в той части... кладбища, которая... называлась «землей горшечника».* — То есть кладбище для бедняков и бродяг. Выражение происходит из Нового Завета: «Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля та „землею крови“ до сего дня» (Мф. 27: 6–8).

**[250] Примечания: 250**

*Вот и конец старой песни, сказал Фрэнсис родным в Торонто, не зная, уловит ли кто из них аллюзию.* — «Now there is an end of an old song» — презрительная фраза, символизирующая конец независимости Шотландии; произнесена 1 мая 1707 г. шотландским лорд-канцлером Джеймсом Огилви, графом Сифилдом, при подписании им принятого

парламентами Англии и Шотландии Акта об унии, то есть об образовании единого государства — Великобритании.

Предстояло переработать и сложить в нужном порядке содержимое множества папок, внести в каталоги сотни фотографий. Фрэнсису нужен был ассистент, умеющий держать нос по ветру, и ему послали Эйлвина Росса, только что демобилизованного с канадского флота.

Эйлвин Росс был совсем не похож на тех молодых людей, которых Фрэнсис привык ассоциировать с работой МИ-5 и МИ-6. В нем не было ничего от топтуна, и он не смог удержаться от смеха, когда Фрэнсис обиняками, официальными формулировками объяснял ему задачу.

— Вас понял, шеф, — сказал Росс. — Нам нужно получше запомнить эти картинки, чтобы узнать их даже в подмалеванном, переделанном виде. И по возможности вернуть их людям, у которых на них больше всего прав. Я хорошо распознаю картинки, даже по таким паршивым черно-белым снимкам. А если непонятно, кому принадлежит картина, а такие обязательно будут, мы должны захапать их как можно больше для своего начальства.

Фрэнсис был в шоке. Конечно, Росс все правильно понял, но разве можно говорить такие вещи вслух? Он запротестовал.

— Ой, Фрэнк, да ладно тебе, — сказал Росс. — Мы

же оба канадцы. Нам незачем пудрить друг другу мозги. К чему лишние сложности.

Этому принципу они и последовали, когда Объединенная комиссия по искусству наконец приступила к работе и та часть ее, в которой были Фрэнсис и Росс, собралась в Мюнхене. Россу удалось до такой степени растормошить Фрэнсиса и вытащить его из официальной скорлупы, что Фрэнсис начал получать колоссальное удовольствие от жизни.

Они были далеко не последними людьми в комиссии. В роскошном зале дворца, где выставлялись отобранные у врага картины для ознакомления и возвращения законным владельцам, Фрэнсис видел знакомые лица. Фрэнсис и Росс были не единственными представителями Британии. Здесь присутствовал грозный Альфред Найтингейл из Музея Фицуильяма в Кембридже. Оксфорд представлял не менее знающий специалист Джон Фрюэн. От Национальной галереи и Тейт были, естественно, Кэтчпул и Седдон. Но Фрэнсис и Росс лучше всех знали, какие картины пропали за годы войны и какие из них могли очутиться в Новом Свете, откуда нет возврата.

Был тут и Сарацини, с заметной черной повязкой на левом рукаве. Фрэнсис истолковал ее как

знак скорби по синьоре, хотя прошло уже целых три года с тех пор, как та отошла в лучший мир вместе с южнолондонской квартирой, полной чинца и мореного дуба.

— Я ее никогда не забуду, — сказал Мастер. — Женщина величайшей, нежнейшей души. Пусть наши вкусы и не совпадали. Пока я жив, я не перестану ее оплакивать.

Но скорбь никоим образом не затуманила его грозного взгляда (может, это был тот самый дурной глаз?) и не смягчила ядовитой радости, которой он встречал суждения коллег, отличные от его собственных. Главным среди этих несогласных был профессор Бодуэн из Брюсселя, еще более зловонный, чем всегда. Тяготы войны не прибавили ему кротости. Голландию представляли доктор Схлихте-Мартин с доктором Хаусхе-Кейперсом, который участвовал в Сопротивлении и потерял руку, но был весел, как всегда, и приветствовал Фрэнсиса воплем:

— А, победитель великанов! Бедняга Летцтпфенниг, как ловко вы его тогда отправили на тот свет!

— О, да это же наш юный друг, специалист по — пфф! — обезьянам! — воскликнул профессор Бодуэн. — Что ж, мы будем иметь вас в виду —

вдруг наткнемся на какие-нибудь зоологические проблемы, непосильные для нас, скромных искусствоведов.

— Что это за старый козел, у которого смердит изо рта? — шепнул Росс. — У него на тебя зуб, шеф, я по глазам вижу.

От Германии присутствовали не Фриш и Бельман — те запятнали себя излишне усердной работой над коллекцией Фюрер-музея. Вместо них приехали профессора Кнюпфер и Бродерсен. Францию представляли господа Дюпанлу и Рюдель. Были и люди из Норвегии, Люксембурга и других заинтересованных стран. Фрэнсис обрадовался, увидев Аддисона Трешера, который приехал как представитель США. Он, конечно, будет обеспечивать голос разума, так как его страна не потеряла произведений искусства в ходе минувшей войны. Правда, было бы нетактично спрашивать, не приобрела ли она чего-нибудь.

— В частности, мне пришлось придумывать, как помешать высокопоставленным офицерам военно-воздушных сил отправлять домой картины целыми самолетами. Офицеры не очень разбираются в искусстве, но точно знают, что им нравится, и слыхали, что за картинки, нарисованные вручную маслом, дают кучу денег.

Излишне говорить, что я не нашел решения. Что поделаешь. Любой солдат по натуре мародер.

Трешер был жизнерадостный циник.

В общей сложности в комиссии были представлены четырнадцать стран. От каждой, как правило, присутствовали два искусствоведа и секретарь, желающий стать искусствоведом. Председателем комиссии был подполковник Осмазерли, англичанин, не искусствовед, но грозный администратор.

— Вот это компашка корифеев! — заметил Росс. — Я им в подметки не гожусь.

— Да, не годишься, — ответил Фрэнсис. — Поэтому захлопни пасть и держи ее захлопнутой — и на заседаниях, и вообще всюду. Говорить буду я.

— Мне что, и своего мнения нельзя иметь?

— Иметь — можно, озвучивать — нет. Молчи, слушай и держи глаза открытыми.

Росс предположил, что комиссия быстро разберется с делами, но это лишь показывало его неосведомленность. Во время войны искусство отошло на второй план, и теперь искусствоведы были твердо намерены вернуть ему подобающее место. Долгие годы войны эти люди провели в дружинах ПВО, в очередях за суррогатным кофе из луковиц тюльпанов. Они беспомощно

наблюдали, как дорогие их сердцу сокровища достаются оккупантам, сносили издевательства и насмешки вражеских солдат, ежеминутно ощущая груз прожитых лет. И вот они вновь стали важными персонами, к которым правительства разных стран обращаются за советом. После отвратительной еды, нехватки табака и алкоголя, стылого жилья без горячей воды их расквартировали в отеле — пусть не довоенного уровня, но роскошней всего виденного ими за многие годы. И что лучше всего, они вернулись в мир научной работы, тонкостей познания, где можно дотошно цепляться за мелочи, спорить, торговаться и ссориться. Это был их собственный мир, и они шествовали по нему, как короли-маги. С какой стати им торопиться, срезать углы, идти на компромисс, приближая тот черный день, когда работа будет окончена и им придется вернуться домой? Как Фрэнсис объяснил Россу, только тупой канадец, вчерашний матрос, мог выдумать этакую глупость.

Конечно, Фрэнсис уже задолго до поездки в Мюнхен знал, что Росс отнюдь не туп. Он был блестяще умен; для своего возраста и опыта он прекрасно разбирался в искусстве. И что еще лучше, у него было чутье. Он судил быстро и

уверенно. Но больше всего Фрэнсиса привлекали в нем беспечность и убеждение, что искусство предназначено радовать человека и возвышать его дух. Россу было чуждо ви́дение искусства как тщательно охраняемой тайны, как поля битвы искусствоведов, как сокровищницы, отданной на разграбление манипуляторам людскими вкусами, торговцам модой, делягам от искусства.

В искусствоведении Росс был самоучкой. Он окончил канадский университет Уэстерн, а затем Оксфорд (на стипендию Британского Содружества) по специальности «современные языки». Росса, как и многих других уроженцев прерий, потянуло в военный флот. Там Росс был полезен, а главное — приятен для глаз. Он был из породы необычных существ, мужчин-красавцев. Блондин, но не скандинавского типа, с тонкой кожей и тонкими чертами лица, с хорошей, хотя и не подчеркнуто спортивной фигурой. В нем не было женоподобия: просто он был красив и сам это знал. Среди членов комиссии и их серьезных секретарей (в основном — состарившихся прежде времени, как это часто бывает с людьми умственного труда) он сиял как розовый куст среди вечнозеленых насаждений — розовый куст, еще не погибший от излишней кислотности почвы,

нужной вечнозеленым растениям.

— Эйлвин, ты не даешь мне сойти с ума, — сказал Фрэнсис, слегка перебрав как-то вечером в мюнхенском отеле. — Если Схлихте-Мартин и Дюпанлу снова начнут цапаться, выясняя, Рембрандт это или просто Говерт Флинк[251], Доу[252] или всего лишь Доомер[253], я завою. У меня изо рта пойдет пена, и вам придется выволакивать меня из комнаты и совать под холодный душ. Ну какое это имеет значение? Верните картины владельцам, и дело с концом.

— Ты слишком серьезно ко всему этому относишься, — сказал Росс. — Держись и не бери в голову. Ты ведь должен понимать, что в той соляной шахте в Альтаусзее, где нашли основную часть музея фюрера, было больше пяти тысяч

---

**[251] Примечания: 251**

*...Рембрандт это или просто Говерт Флинк...* — Говерт Флинк (1615–1660) — голландский живописец, ученик Рембрандта; его ранние работы часто приписывались учителю.

**[252] Примечания: 252**

*Доу,* Герард (1613–1675) — нидерландский художник круга «малых голландцев», ученик Рембрандта.

**[253] Примечания: 253**

*Доомер,* Ламберт (1624–1700) — нидерландский художник, считается учеником Рембрандта; его отец, Херман Доомер, поставлял Рембрандту рамы для картин, и в 1638 г. Рембрандт написал портреты четы Доомер к 25-летию их свадьбы, один из которых находится в петербургском Эрмитаже («Портрет Бартье Мартенс Доомер»).

картин, в основном — дорогой мусор. Прибавь к этому то, что нашли недалеко от Марбурга. Да еще необъятную личную коллекцию Геринга. Нам придется перебрать их все, и если мы будем обрабатывать по пятьдесят картин в день, сколько это выходит дней? Расслабься и не слушай, вот и все. Только смотри на картины — те самые, о которых идет речь. Они прекрасны! Сколько мы уже видели «Искушений святого Антония»? И на каждой иссохшего старого пердуна пытаются соблазнить гадкие черти, но чаще — мясистые девицы, на которых у него все равно не поднимется… нога. Будь я художником, я бы нарисовал святого Антония, соблазняемого омаром по-ньюбургски. Вот это я понимаю, искушение! Искушение действует там, где у человека самая большая слабость.

— Ты говоришь банальности, но мудрые не по твоим годам.

— Я всегда был мудр. От рождения. Вот ты, Фрэнсис, от рождения не мудр. Не мудр и не банален: ты родился со слишком тонкой кожей.

На Сарацини очарование Росса действовало значительно меньше, чем на Фрэнсиса.

— Он не лишен способностей, — сказал Сарацини как-то за обедом, — но в душе он карьерист. Впрочем, почему бы и нет? Он не художник. Он

ничего не создает, ничего не сохраняет. Что у него есть?

— Проницательность. — Фрэнсис пересказал слова Росса о святом Антонии.

— Умно. И банально, но лишь проницательный человек видит мудрость в банальном. Искушение достает нас там, где мы слабее всего. В чем ваша слабость, Корнишь? Смотрите, чтобы это не оказался Эйлвин Росс.

Фрэнсис оскорбился. Конечно, его часто видели в обществе первого красавца комиссии по искусству, но он не догадывался, как это интерпретируют некоторые другие члены комиссии. В 1947 году гомосексуализм был чем-то неприемлемым, и именно потому о нем много думали.

Поскольку Сарацини для Фрэнсиса был по-прежнему Мастером, Фрэнсис не отмахнулся от его слов. Фрэнсис признался сам себе, что, конечно, Росс ему нравится. Ведь Росс — земляк, канадец, перед ним не приходится оправдываться, как перед остальными, которые считают Канаду недостраной, обиталищем охотников на бобров. Ведь Росс остроумен и весел, а их окружают люди, для которых остроумие лишь кинжал, каким удобнее поразить соперника. Ведь Росс приятен с виду, а вокруг него — пузатые, мор-

щинистые старики. И — но здесь Фрэнсис не был до конца честен сам с собой — ведь среди всех, кого он когда-либо встречал, Росс ближе всех к неуловимой фигуре, вроде бы девушке, с Россом Фрэнсис не чувствовал себя ни учеником, как неизменно бывало с ним в обществе Рут, ни богатым лохом, как с желанной, коварной Исмэй. Он говорил себе, что в отношениях с Россом чувства играют минимальную роль, что главная составляющая этих отношений — родство духа и дружба.

Тем не менее он счел необходимым передать Россу, что о них говорят. Тот рассмеялся:

— Тудыть-растудыть, тоску-печаль отбрось, забота кошку сгубила, за хвост да об стенку, в общем — вошь, палача заешь![254]

— Что это?

— Бен Джонсон. Я в свое время над ним серьезно работал. Неисчерпаемый глубокий ум, выраженный с победительной мужественностью. А означает все это попросту: «Да пошли они!» Ну какое нам дело, что они думают? Мы-то с тобой знаем, что это не так.

---

**[254] Примечания: 254**

*Тудыть-растудыть... вошь, палача заешь!* — Бен Джонсон, из пьесы «Всяк в своем нраве» (1598), акт 1, сц. IV. Цитата приведена в переводе Р. Шустеровича.

Да? Знаем? Фрэнсис думал, что знает, но он представлял то, на что намекали сплетники, по зазывным взглядам накрашенных юнцов, слоняющихся во тьме мюнхенских ночей. О более тонком грехе, содомии души, он ничего не знал. А Росс знал одно: очаровывая тех, чья жизнь бедна очарованием, можно добиться своего. И ничего плохого в этом не видел. И правда, что в этом плохого?

Разумеется, комиссия не могла рассматривать отдельно каждую картину, перемещенную во время войны. Приходилось сосредоточиваться на шедеврах. В списках, розданных членам комиссии, Фрэнсис узнавал портреты Невесть-Кого кисти Так-Себе-Художников, прошедшие через мастерскую в Дюстерштейне. Эти картины были в группе, принадлежавшей Фюрер-музею, и оказались никому не нужны, так что их оставили на месте. «Дурачок Гензель» заслужил индивидуального рассмотрения, поскольку был известен кое-кому из искусствоведов и вызвал небольшую сенсацию в Лондоне перед самой войной. «Дурачок» явился перед членами комиссии собственной персоной — то есть был выставлен перед ними на пюпитре — и получил одобрение как неплохая второстепенная работа, но из-за

неизвестного происхождения и заметного знака, напоминающего *Firmenzeichen* семьи Фуггер, отправился в Аугсбург. Комиссия не упустила случая умаслить Кнюпфера и Бродерсена и в то же время показать свою беспристрастность.

Фрэнсис легко скрыл чувства, которые охватили его при появлении «Дурачка Гензеля». Приятно было, что Россу картина понравилась.

— В нем есть своеобразный, как бы это сказать, гротеск, какого я раньше не видал, — сказал Росс. — Не бойкие ужасы, как во всех этих искушениях святых Антониев, а что-то более глубокое, холодное. Художник, наверно, был странный человек.

— Очень возможно, — сказал Фрэнсис.

Однако дело обернулось совсем по-другому, когда однажды, в ноябрьский послеполуденный час, грузчики внесли и поставили на пюпитр «Брак в Кане».

— Эта несколько выбивается из общего ряда, — заметил подполковник Осмазерли. — Сведений о происхождении — никаких, за исключением того, что она была в личной коллекции Геринга… если эту кучу награбленного можно назвать коллекцией. Но эта картина считается важной, и нам нужно решить ее судьбу.

— Рейхсмаршал явно умел отличить хорошую вещь, — сказал Бродерсен.

Он знал, о чем говорит, поскольку из его собственной галереи рейхсмаршал конфисковал все лучшие картины. А взамен выдал циничные расписки, в которых говорилось, что картины перемещены в целях обеспечения их безопасности. Поскольку Бродерсен не вступил в свое время в партию национал-социалистов, он не лишился работы лишь благодаря незыблемой репутации и чистейшему арийскому происхождению.

Картина в самом деле была хороша. Увидев ее по прошествии почти десяти лет, Фрэнсис понял, что она подлинно хороша. Он ничего не сказал, только слушал искусствоведов — а они говорили так долго, что свет за окнами угас и председатель распустил собрание до утра.

То, что говорили искусствоведы, одновременно льстило кальвинистской совести Фрэнсиса и тревожило ее. Может быть, это доселе неизвестная работа Матиаса Нейтхарта[255]? Живость и яркость цвета, каллиграфическая точность линий,

---

**[255] Примечания: 255**

*Матиас Нейтхарт* (Матиас Готхарт, Матиас Грюневальд, 1470/1475–1528) — немецкий живописец, крупнейший мастер эпохи Возрождения. Работал при дворе майнцских архиепископов и курфюрстов (1508–1525). В своем творчестве с эмоциональной силой выразил трагический накал и возвышенный мистический спиритуализм эпохи.

искаженные пропорции некоторых фигур, ощущение гротеска (опять это слово!) поддерживали эту гипотезу. Однако ее опровергало присутствие в картине чего-то итальянского, определенного маньеризма. Искусствоведы радостно препирались, с упоением ставили друг друга на место, и эта оргия продолжалась целый день.

Росс не умел держать рот на замке.

— Я знаю, что не имею права голоса в этом собрании, — сказал он, улыбаясь окружающим его великим людям. — Но прошу вас снизойти до моих любительских догадок. Не замечает ли кто сходства между стилем этой картины и стилем «Дурачка Гензеля», виденного нами несколько недель назад? Может быть, мне показалось.

Он сел с очаровательной мальчишеской улыбкой, возможно несколько переигрывая.

Споры двинулись в новом направлении. Одни искусствоведы заявили, что тоже что-то такое заметили и хотели об этом сказать, но секретарь мистера Корниша их опередил. Другие отмахнулись от явно абсурдного предположения. Но в обеих картинах есть что-то аугсбургское, сказали третьи, которые считали необходимым прислушиваться к интуиции. Кнюпфер и Бродерсен не желали слышать про «художника Матиса»:

в Германии он одно время был персоной нон грата из-за оперы Хиндемита[256]. Как бы то ни было, определенные черты картины исключали подобное предположение. Подполковник Осма-зерли бился изо всех сил, но не мог подтолкнуть искусствоведов к решению.

На что же они смотрели?

Картина представляла собой триптих с центральной панелью размером пять на пять футов и двумя боковыми панелями той же высоты, но шириной лишь три фута. С первого взгляда поражали сложность композиции и богатство цвета, подобное россыпи драгоценных камней. Композиция была задумана так, чтобы привлечь внимание к трем фигурам, доминирующим на центральной панели, да, пожалуй, и во всей картине. Двое — явно жених и невеста. Богатая одежда в стиле начала шестнадцатого века, лица серьезные, даже возвышенные; жених надевает кольцо на безымянный палец левой руки

---

**[256] Примечания: 256**

*...не желали слышать про «художника Матиса»: в Германии он одно время был персоной нон грата из-за оперы Хиндемита.* — Пауль Хиндемит (1895–1963) — немецкий композитор. Опера «Художник Матис» (1938), либретто которой написано самим Хиндемитом, повествует о судьбе художника во время Крестьянской войны в Германии (1524–1526), восстания крестьян против гнета Католической церкви. Из-за явных параллелей с ситуацией в нацистской Германии нацисты запретили оперу.

невесты. Их лица кажутся мужской и женской версиями одного и того же лица: длинная голова, крупный нос, светлые глаза, которые как будто не вяжутся с черными волосами. Третья главная фигура — улыбающаяся женщина, очевидно Богоматерь, так как из всех персонажей картины только у Нее одной вокруг головы нимб. Она подносит новобрачным роскошный кубок, из которого исходит сияние.

Справа от этой группы никого нет, но слева стоит старик плотного сложения, с веселым лицом, судя по одежде — горожанин. Он, по-видимому, рисует всю сценку на табличке из слоновой кости. Позади него, но ясно различимая, стоит женщина; она улыбается, как и Богоматерь, а в руках у нее астрономическая или, быть может, астрологическая карта. Довершает эту группу мужчина — возможно, конюший или привратник, с круглым улыбающимся лицом, одетый в богатую ливрею; в одной руке у него кнут кучера, но в другой — нечто вроде скальпеля или ножичка. За спиной, почти не видная, висит кожаная фляга; этот гость явно не испытывает жажды. Эту второстепенную группу — гостей на свадьбе? особо близких друзей? — завершает фигура карлика в полных церемониальных доспехах, но без

оружия, если не считать оружием веревку, смотанную в кольцо и висящую у него на левой руке. Правой он протягивает дородному художнику пучок каких-то длинных и тонких предметов — возможно, остро заточенных карандашей или серебряных стержней.

Однако потрясает зрителя в этой вдохновенной, но в целом ничем не примечательной композиции фигура с левой стороны, парящая в вышине над новобрачными. Может быть, это ангел? Но у него нет крыльев. Да, лицо одновременно овеянное святостью и нечеловеческое, но оно кажется лицом идиота; маленькая головка сходит почти на нет. Из уст этого существа, ангела, или кто он там, вьется лента с надписью старогерманским шрифтом: «Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc»[257]. Левой рукой существо держит над головой новобрачных золотой венец, а правой вроде бы указывает на пару, которая занимает главное положение на правой створке триптиха.

Фоном центральной панели и, с небольшими вариациями, боковых панелей служит пейзаж, переходящий на горизонте в горную цепь с подсвеченными солнцем вершинами.

---

**[257] Примечания: 257**

«А ты хорошее вино сберег доселе» *(лат.)*. — Ин. 2: 10.

По сравнению с блистательной центральной панелью боковые кажутся приглушенными. Кое-где они блекнут почти до гризайля, но местами оживлены цветом. Левую створку, кажется, легче всего истолковать: на ней Христос склонился над шестью каменными сосудами для воды, простирая руки в благословении. На заднем плане, в тени, стоят три фигуры, явно апостолы: Симон Зилот, бодрый мужчина средних лет, с широким топором лесоруба на поясе; святой Иоанн — его легко узнать по перу и чернильнице, подвешенным к поясу, и по прекрасным чертам юного лица; и… не может быть! да, это, несомненно, Иуда: рыжеволосый, с кошельком общинных денег, который он прикрывает левой рукой, правой указывая своим собратьям на фигуры центральной панели.

Но прежде чем проследить взглядом направление жеста Иуды, нужно понять, что это за две женщины с Христом. Первая стоит над коленопреклоненной фигурой в позе, которую можно даже назвать гневной: одна рука воздета в красноречивом обвинении, а другая, голая, выпростанная из балахона служанки, указывает вниз, на каменные водоносы. Вторая женщина, стоящая на коленях, словно силится защитить

Господа: маленькая, в странной, очень закрытой шапочке, на лице — нежность и обожание. Голова Христа окутана слабым сиянием, но в остальном Его фигура ничем не выделяется, ее можно даже назвать смиренной.

Засим взгляд зрителя, повинуясь жесту Иуды, переходит на правую створку. На ней, по-видимому, изображены свадебные гости: рыцарь, у которого один глаз закрыт повязкой; он вооружен мечом, но прижимает палец к губам, словно призывая к молчанию; с ним дама великой, но холодной красоты. Особенно дотошный любитель искусства может провести линию от указующего перста Иуды до этой створки триптиха: она упрется в богатого купца и его жену, явно занятых только собою; у купца на поясе висит тяжелый кошель. Чуть в стороне стоит врач с ланцетом в руке, готовый пустить кровь любому присутствующему на свадьбе, — он пронизывает их всех острым взглядом крысиных глазок. Но если это гости, то остальные фигуры, составляющие фон, видимо, нищие, пришедшие на свадьбу: кучка детей с искаженными, безобразными, голодными лицами. Они смотрят не на жениха и невесту, а на такого же оборванного мальчишку, который выковыривает кошке глаз острым камнем. Фон

этой створки подчеркнуто уныл и однообразен в сравнении с пейзажем, украшающим две другие панели.

Странная картина. Искусствоведы радостно вонзили в нее зубы своей учености и принялись трепать, чтобы подогнать под какую-нибудь удовлетворительную интерпретацию и приписать кому-нибудь.

Напрасно подполковник Осмазерли призывал их к порядку, напоминая, что их задача — распорядиться судьбой картины, а не решить окончательно вопрос ее авторства или интерпретировать ее загадочные составляющие. Схлихте-Мартин заявил, что картина ни в коем случае не могла предназначаться для христианской церкви: на иконе Христос не может быть где-то сбоку. Кнюпфер возжелал узнать, почему карлик облачен в парадные доспехи; конечно, всем известно, что для карликов делали парадные доспехи, но почему этот карлик надел доспехи, чтобы подносить карандаши, и заметил ли кто-нибудь, до чего он похож на Дурачка Генземя? (Росс энергично закивал.) Всех привело в недоумение то, что у Богородицы есть нимб, а у Ее Сына — нет. А фигура, плывущая по воздуху? Она-то что должна означать?

Разумеется, гадость должен был сказать профессор Бодуэн. Пока другие спорили, он разглядывал картину в упор, светил на нее фонариком, смотрел через увеличительное стекло, тер маленький участок обслюнявленным пальцем и наконец объявил во всеуслышание:

— Мне не нравятся эти кракелюры! Совсем не нравятся. Они слишком ровные — как будто появились все одновременно. Я предлагаю отдать картину на анализ. Готов спорить на любую сумму, что она окажется фальшивкой.

Тут все искусствоведы сочли нужным высказаться — кто соглашался, кто протестовал, кто колебался. Но Фрэнсис, при всей неловкости своего положения, не мог не заметить взгляд, которым Сарацини выстрелил в Бодуэна. Взгляд расфокусированных горящих глаз будто ударил француза; тот поспешно вернулся на место, словно его обожгло порывом невыносимо горячего воздуха.

Подполковник Осмазерли привел собравшихся в чувство и объяснил, что у комиссии нет полномочий поступать так, как предложил Бодуэн; если такие полномочия и можно получить, это займет очень много времени. Неужели они не могут прийти хоть к какому-нибудь согласию на

основании уже увиденного? Ведь они славятся умением проникать взглядом за пределы видимости, которой ограничены заурядные люди, добавил дипломатичный подполковник.

Фрэнсиса уже два с половиной дня терзали муки воспаленной совести. Он боролся с проказливым желанием — предоставить искусствоведов самим себе, пускай авторитетно заявят что-нибудь и сами загонят себя в угол. Но в этот момент он почувствовал, что обязан встать и произнести речь на манер покойного Летцтпфеннига: «Господа, я не могу лгать. Я сотворил это своей скромной кистью». А потом что? Конечно, не вешаться шутовски, в плаще и калошах, как бедняга Летцтпфенниг. Но какую бурю объяснений, оправданий, отрицаний вызовет его речь! Единственный, кто может подтвердить любые слова Фрэнсиса, — это Сарацини, но он, как ни тверд в определенных вопросах, в этом может оказаться чересчур гибким.

Однако Фрэнсис недооценил своего учителя. Сарацини поднялся на ноги. Это само по себе было важно, так как обычно эксперты выступали сидя.

— Господин председатель! Уважаемые коллеги! — начал он с тяжеловесной официаль-

ностью. — Позвольте мне указать, что наши попытки истолковать эту любопытную картину в терминах христианской иконографии неизбежно обречены на провал. Ибо эта картина не полностью — а может быть, даже и не в первую очередь — христианская. Разумеется, ее следует называть «Брак в Кане» из-за слов, исходящих из уст этой любопытной летящей фигуры: «А ты хорошее вино сберег доселе». В Писании эти слова произносит так называемый распорядитель пира, а здесь — таинственная фигура, и обращены они, кажется, к родителям — Рыцарю и Даме, которых мы видим на правой створке. Эта странная фигура держит соединяющий венец над головами Жениха и Невесты. Кто они? От вас, конечно, не ускользнуло, что они больше похожи на брата и сестру, нежели на супругов. Это внешнее сходство, несомненно, крайне важно для интерпретации картины. Взгляните на Христа. Разве Он не родственник Жениха и Невесты? Взгляните на Рыцаря и его Даму на правой створке: разве неясно, что они приходятся родителями обоим брачащимся? Взгляните на старого художника: у него то же самое лицо, но постаревшее, расплывшееся. И это нельзя объяснить умением художника рисовать одно-единственное лицо:

человека с кнутом, астролога, карлика, старуху в необычном чепце, Иуду изобразил чрезвычайно умелый портретист, искусно передав характер. Нет-нет, господа, у этой картины возможно только одно объяснение, и я скромно предлагаю его вашему вниманию.

Давайте вспомним, откуда взялась эта картина. Вы не знаете? Конечно нет, ибо она была скрыта. Но я знаю. Она происходит из замка Дюстерштейн, где, как вы знаете, находится богатейшая коллекция шедевров (точнее, находилась, пока генерал Геринг не принял под охрану лучшие из тамошних картин). До войны я несколько лет занимался расчисткой и реставрацией Дюстерштейнской коллекции. Но эта картина не была в числе тех, которые украшали стены замка. Эти панели, завернутые, лежали в чулане при замковой часовне. Этот триптих когда-то служил алтарем в часовне, пока она не была полностью редекорирована Иоганном Лиссом где-то в первой четверти семнадцатого столетия. Старую алтарную картину заменили новой, кисти Лисса или кого-то из его учеников — заурядной, не оскорбляющей ничьих вкусов Мадонной с Младенцем и святыми. Новую картину и сейчас можно увидеть в часовне. Старый триптих к тому

времени разонравился Ингельхаймам.

Почему? Картина, которую мы видим перед собой, вышла из моды, и, кроме того, для строго христианского вкуса она была еретической. Посмотрите: в ней сильны алхимические мотивы. Разумеется, алхимия и христианство не обязательно враждебны друг другу, но ортодоксальному богословию семнадцатого века, иными словами — духу Контрреформации, алхимия казалась слишком опасной соперницей Истинной Веры.

Я не знаю, что вам известно об алхимии, поэтому прошу извинить меня, если я расскажу что-то такое, что вы и без того ясно представляете. Но эта картина — явно изображение того, что называлось Химическим браком, слегка причесанное в христианском духе. Иными словами, она изображает алхимический союз элементов души. Взгляните: Жених и Невеста выглядят братом и сестрой, потому что они — мужской и женский элементы одной и той же души; объединение этой души считалось одной из высших целей алхимии. Не буду обременять вас алхимическими теориями, но это единение — этот союз — не могло быть достигнуто в юности. Его вообще было нелегко достигнуть. Поэтому Жених — мужчина,

во всяком случае, не первой молодости. Ясно, что подобное единение достигается только вмешательством чистейшего, высшего элемента души — а это издревле Христос, — таким элементом Он был для людей Средневековья, и им же Он является до сих пор, не в первозданном, но в неизменном по существу виде. Здесь мы видим Христа как благотворную силу, участвующую в Браке. Но благословляет Брак Души, духовный союз на этой картине Богоматерь, которую неортодоксальные, но и далекие от ереси мыслители часто называют Матерью-Природой. Я понятно выражаюсь?

— Пока все понятно, маэстро, — сказал профессор Найтингейл. — Но что означают другие фигуры? Например, вот этот, который летит: жуткое страшилище, как цирковой урод. Кто это может быть?

— Не могу сказать, хотя все мы, конечно, знаем, что в искусстве готики и поздней готики — а в этой картине элементы готики очень сильны — такая ангелическая фигура часто представляла родственника, например старшего брата, который умер до заключения Химического брака, но память о нем, его духовное влияние могли этому браку способствовать.

— Все это прекрасно, но кракелюры мне не

нравятся, — сказал профессор Бодуэн.

— О, бога ради, забудьте вы про эти кракелюры, — ответил Джон Фрюэн.

— С вашего позволения, я не забуду про кракелюры и буду весьма признателен вам, сэр, если вы не станете на меня огрызаться.

— Буду огрызаться, если надо, — сказал Фрюэн, вспыльчивый, как все йоркширцы. — Неужели, по-вашему, кто-нибудь стал бы подделывать такую лабуду, кучу позабытого мусора? Алхимия! Да что такое алхимия?

*– Алхимия – забава вроде карт,*
*Где можно, человека распалив,*
*Его обжулить…* – [258]

это снова заговорил Эйлвин Росс, которого невозможно было заткнуть.

— Нет, мистер Росс, ничего подобного! — возразил Сарацини. — Конечно, среди алхимиков были и жулики, как бывают они среди жрецов любой веры. Но были и другие алхимики, искренне ищущие просветления. И разве мы, пережив за последние пять лет такие страдания под гнетом

---

**[258] Примечания: 258**

*Алхимия — забава вроде карт…* — Бен Джонсон. Алхимик. Акт II, сц. 1. Перев. П. Мелковой.

злобной лженауки, вправе насмехаться над искренними верованиями прошлого, даже если его стиль мышления и лексикон несколько заржавели?

— Мистер Росс, я хотел бы напомнить, что выражение мнения не входит в ваши должностные обязанности, — сказал подполковник Осмазерли.

— Прошу прощения, — ответил Росс. — Всего лишь несколько слов из Бена Джонсона. Сами выскользнули.

— Бен Джонсон был великим циником, а великий циник — это великий глупец, — сказал Сарацини с необычной для него суровостью. — Но, господа, я не утверждаю, что могу истолковать все элементы картины. Это будет долгая работа для иконографа. Я лишь осмелюсь предположить, что эта картина могла быть написана для графа Майнхарда, жившего четыре с половиной столетия назад, — он сам пользовался репутацией алхимика, был покровителем и другом Парацельса, и говорили, что он в Дюстерштейне занимался опытами, которые по тому времени стояли на передовом крае науки. В конце концов, его часовня не была общедоступным местом. Кто помешал бы ему украсить ее так, как он хотел?

Искусствоведы — возможно, проявляя излиш-

нюю доверчивость в вопросах, лежащих вне их компетенции, — были склонны согласиться. Последовало долгое, туманное обсуждение. Когда Сарацини решил, что они уже достаточно поговорили, он подытожил сказанное:

— Могу ли я предложить, господин председатель и уважаемые коллеги, чтобы все мы сошлись на следующем: эти панели, несомненно происходящие из Дюстерштейна, следует вернуть в хранящуюся там замечательную коллекцию, а саму картину — которая, как мы все согласны, является неизвестным ранее шедевром и чрезвычайно интересна — приписать Алхимическому Мастеру, чье имя, увы, мы не можем установить точнее?

Все были за, только профессор Бодуэн воздержался.

— Вы спасли мою шкуру, — сказал Фрэнсис, поймав Сарацини на большой лестнице после выхода с заседания.

— Сознаюсь, я и сам чуточку доволен собой, — сказал *Meister.* — Я надеюсь, что вы, Корнишь, слушали внимательно: я не сказал ни единого слова лжи, хотя, конечно, не стремился непременно раздеть Истину донага, в отличие от многих художников. Вы ведь не знали, что в юности

я несколько лет изучал богословие? Я считаю, это необходимо любому, кто желает сделать карьеру.

— Я вам буду вечно благодарен. Мне не хотелось признаваться. Не потому, что я боялся. Из-за чего-то другого, что я даже затрудняюсь определить.

— Из-за обоснованной гордости, я бы сказал. Это прекрасная картина, совершенно оригинально трактующая библейский сюжет. И притом — шедевр религиозного искусства, если брать слово «религия» в его подлинном значении. Кстати, я вас прощаю за то, что вы придали Иуде мое лицо, хоть и обрамили его чужими волосами. Мастера должны где-то брать модели. Я ведь назвал вас Мастером не просто так и не в насмешку. Этой картиной вы создали себе душу, Фрэнсис, и я не шутил, именуя вас Алхимическим Мастером.

— Я ничего не знаю об алхимии. В этой картине есть вещи, которые мне самому непонятны. Я просто нарисовал то, что просилось на холст.

— Возможно, вы не понимаете алхимии, как понимает ее ученый, но вы явно жили алхимией; в вашей жизни алхимически свершились превращение низких элементов и союз благородных элементов. Но вы же знаете, что живопись требует от своих адептов мастерского владения

техникой, а это мастерство проявляет у мастера великие черты. То, чего вы не понимаете в картине, рано или поздно объяснится само — теперь, когда вы выудили его из глубин своей души. Вы ведь все еще верите в душу?

— Я пытался не верить, но, кажется, мне нет спасения. Католическая душа в цепях протестантизма. Но наверно, это лучше пустоты.

— Лучше, уверяю вас.

– *Meister* — я всегда буду звать вас *Meister,* хоть вы и произвели меня из *alunno* в *amico di Saraceni,* — вы были очень добры ко мне и не жалели розги.

— Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына[259]. Я горжусь, что стал вашим отцом в искусстве. Поэтому я попрошу вас кое о чем как отец. Сделайте это для меня. Следите за Россом.

Тут разговор прервался — в самом низу грандиозной лестницы поднялись шум и суматоха. Профессор Бодуэн оступился, ударился о мраморный угол и сломал бедро.

*– Надо полагать, это и был дурной глаз Сарацини, — сказал Цадкиил Малый.*

*— Нельзя стать таким великим человеком,*

---

**[259] Примечания: 259**

*Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына.* — Прит. 13: 25.

*как Сарацини, не овладев огромной духовной энергией, и далеко не вся она благонамеренна, — ответил даймон Маймас. — В жизни удачливых людей попадаются Мастера и Сивиллы, и я рад, что смог поставить таких хороших Мастеров и Сивилл на жизненном пути Фрэнсиса.*

*— Удачливых людей? Да, наверное. Не всякому встречаются Мастера и Сивиллы.*

*— Воистину. Но в нынешние времена — я имею в виду время Фрэнсиса, конечно, ибо мы с тобой стоим вне Времени, брат, — многие, кому посчастливилось встретить Мастера или Сивиллу, норовят поспорить, непременно желая вставить банальное словцо, и препираются, словно всякое знание относительно и подлежит обсуждению. Нашедший Мастера должен подчиняться Мастеру, пока не перерастет его.*

*— Но если Фрэнсис действительно сотворил свою душу, как сказал Сарацини, что ждет его впереди? Быть может, он достиг величия и его жизнь подошла к концу?*

*— Ты испытываешь меня, брат, но меня не так легко поймать. Теперь, когда душа Фрэнсиса, если можно так выразиться, у него перед глазами, он должен понять ее и стать ее достойным; это не простое и не быстрое дело. Создание души — не*

*конец пути, а новое начало в середине жизни.*

*— Да, это займет немало времени.*

*— Как ты любишь это глупое слово — «время». Теперь внешнее время Фрэнсисовой жизни потечет для него намного быстрее, а вот время его внутренней жизни поползет медленнее. Так что мы можем быстрее прокрутить остаток пленки, или видеозаписи, или каким там новомодным словечком назвали бы это современники Фрэнсиса, потому что внешняя жизнь теперь занимает его лишь частично. Вперед, брат!*

Чем теперь был Фрэнсис в мире МИ-5? Конечно, не одним из великих разведчиков, которые вдохновляют романистов на воспевание опасности, насилия и загадочных смертей. Он продолжал работать в Объединенной комиссии по искусству даже после того, как конференции в Европе закончились: резолюции конференций породили всевозможные проблемы, которые приходилось решать дипломатическим путем, торговлей, успокоением задетой национальной гордости, а порой — произвольными решениями, в принятии которых Фрэнсис играл пусть и не главную, но важную роль. Он сотрудничал с Британским советом. Но только дядя Джек знал, что Фрэнсис должен следить за некоторыми важными персо-

нами из мира искусства, чья лояльность, однако, не согласовалась с интересами стран антигитлеровской коалиции.

Именно поэтому Фрэнсис выглядел как чиновник, обыватель, завсегдатай клубов, который мог внезапно появиться где угодно — в мире искусства, в загородных имениях, в модном свете, а иногда и среди людей, приближенных ко двору. Практически в любом месте, где были умные люди, которые не считали его умным, не считали своим — он ведь не учился в Кембридже, — а потому говорили при нем чуть беспечнее, чем могли бы. Его считали заурядным типом, который как-то умудрился пролезть в мир искусства. Но еще он был полезным человеком, который может многое устроить.

Например, он устроил Эйлвину Россу разные блага, которых тот, возможно, не получил бы иным путем. Росс выразил свою благодарность, но хватило ее ненадолго, так как Росс, типично для него, считал, что эти блага положены ему за блестящие способности. Именно благодаря Фрэнсису Росс устроился на хорошую должность

в Институте Курто[260] и начал стремительное восхождение к позиции влиятельного критика и властителя вкусов.

Сарацини предупреждал Фрэнсиса, что за Россом нужно следить. И Фрэнсис следил, но видел лишь красивого молодого человека с блестящими способностями, чью карьеру двигать — чистое удовольствие. Фрэнсис наблюдал бы за Россом пристальнее, если бы Росс не был так занят собственными делами и не держался чуть снисходительно по отношению к самому Фрэнсису.

— Мне кажется, вы ошибочно судите о Россе, — сказал Фрэнсис Мастеру, приехав с очередным ежегодным визитом в тесную римскую квартиру. — Он поднимается вверх, как воздушный шар; скоро станет очень большой фигурой среди критиков искусства. А по вашим намекам можно подумать даже, что он нечестный человек.

— Нет-нет, он вполне честен, — возразил Сарацини. — Скорее всего, вы все правильно говорите. Но, дорогой мой Корнишь, я имел в виду, что он не художник, не творец — он политик от искусства. Он вертится по ветру как флюгер, а вы

---

**[260] Примечания: 260**

*Институт Курто* (Courtauld Institute of Art) — Институт истории искусства в составе Лондонского университета, располагающий собственным художественным собранием.

стоите как скала — кроме случаев, когда в роли ветра выступает сам Росс. Вы к нему слишком привязаны и даже сами не осознаете насколько.

— Если вы намекаете, что я в него влюблен, то глубоко ошибаетесь.

— Я не имею в виду, что вам хочется лежать с ним в постели, уютно обнявшись, и шептать ему на ухо секреты, — во всяком случае, мне так не кажется. Это как раз было бы менее опасно, поскольку любовники эгоистичны и могут поссориться. Нет, я думаю, вы видите в Россе золотого юношу, каким никогда не были сами, счастливчика, которым, как вам кажется, вы отродясь не бывали. У вас в волосах проседь. Ваша юность упорхнула. Не пытайтесь вернуть ее через Росса. Не поддавайтесь на шарм подобных юнцов. Люди, молодые так, как молод Росс, никогда не старятся, а вечная молодость — чрезвычайно жестокая судьба, сколько бы пустословы нашего времени ни твердили обратное. Помните, что говорит ангел, или кто он там, на вашей великой картине? «А ты хорошее вино сберег доселе». Не выливайте свое хорошее вино на алтарь Эйлвина Росса.

Как-то Фрэнсис столкнулся с Россом на Пэлл-Мэлл.

— «По шляпе непотребной ты — антихрист!»[261] — сказал тот вместо приветствия.

— Джонсон, надо думать. Чем тебе не угодила моя шляпа?

— Она — символ всего, чем ты стал, дорогой мой. Это шляпа а-ля Энтони Иден[262]. Вялая, мрачная и немодная. Давай пойдем к Локку и купим тебе нормальную шляпу. Такую, чтобы она повествовала миру о Внутреннем Корнише, искуснейшем реставраторе картин.

— Я уже многие годы не восстанавливаю картин.

— Зато я восстанавливаю! Я собираюсь восстановить законное место одной картины в мире высокого искусства! И ты знаешь эту картину, так что давай ты меня сводишь пообедать в «Скотт» — и я тебе все расскажу.

В «Скотте» над камбалой под соусом морнэ Росс выложил свои новости, бурля радостным энтузиазмом, необычным даже для него:

— Помнишь картину, которую мы видели в

---

**[261] Примечания: 261**

*«По шляпе непотребной ты — антихрист!»* — Бен Джонсон. Алхимик. Акт IV, сц. 7. Перев. П. Мелковой.

**[262] Примечания: 262**

*Энтони Иден* (1897–1977) — британский государственный деятель, консерватор; в 1940–1945 гг. министр иностранных дел, в 1955–1957 гг. премьер-министр.

Мюнхене? «Брак в Кане». Помнишь, что с ней случилось?

— Ее, кажется, отправили обратно в Дюстерштейн?

— Да, но я о ней не забыл. Отнюдь. Эта картина, точнее, триптих меня почему-то захватил. И ты должен помнить, что я говорил о связи между ней и «Дурачком Гензелем», которого мы видели чуть раньше. Картина, явно помеченная клеймом Фуггеров из Аугсбурга? Я доказал, что они связаны между собой.

— Доказал?

— Да, Фрэнк, — как мы доказываем такие вещи в нашем деле. Тщательным исследованием мазков кисти, качества красок, цвета. Ну и конечно, старое доброе чутье, подкрепленное опытом. Полный беренсоновский набор. Если не брать результатов научного анализа — они на самом деле туманны, — я все доказал.

— Ага. Это заслуживает сноски.

— Если бы ты не платил за мой обед, я бы тебя убил. Сноски! Это проясняет всю историю неизвестного художника, которого Сарацини назвал Алхимическим Мастером. Вот погляди: он явно любил загадки и постоянно подкладывал намеки для наблюдательных людей. Тот знак в

углу «Дурачка Гензеля» может быть семейным клеймом Фуггеров, а может — и гильотиной. Висельник, понимаешь? Карлик-висельник. И кого же мы видим на триптихе? Того же самого карлика-висельника, но на сей раз он держит свою веревку! И выступает во всем великолепии, в парадных доспехах!.. Это мучило меня долгие годы, и наконец я получил грант — ничего не делай без гранта, Фрэнк, — поехал в Дюстерштейн и уговорил старую графиню пустить меня посмотреть на «Брак в Кане». Она теперь страшно гордится этой картиной. Повесила ее в лучший зал. Я оставался в замке три дня — графиня была очень гостеприимна. Ей, видно, одиноко, бедной старушке. И я разгадал шифр!

— Какой еще шифр?

— То, что зашифровано в «Браке», конечно. Алхимический Мастер окутал свое творение алхимической тайной, и по очень веской причине. Но на самом деле эта картина не про алхимию. Она — про политику!

— Ты меня изумляешь. Продолжай.

— Что ты знаешь про Аугсбургское временное постановление?

— Ничего.

— О нем мало кто знает, но оно было важно, ко-

гда рисовали эту картину. Его приняли в тысяча пятьсот сорок восьмом году, и это была попытка примирить католиков и протестантов. Компромисс, который в итоге привел к Тридентскому собору. Католики пошли на определенные уступки протестантам, и самой большой из них было причастие под двумя видами — если тебе это что-нибудь говорит.

— Не оскорбляй меня, ты, протестант из прерий. Это значит, что миряне за литургией причащаются и хлебом, и вином.

— Умничка. Итак, брак в Кане, где Христос, разумеется, оделил всех вином — лучшим, какое они пробовали доселе. Но посмотри, кто главная фигура на этой картине: Мать-Церковь, которую олицетворяет Дева Мария, подносящая кубок. Значит, один — ноль в пользу католиков, которые самоотверженно уступили в вопросе, очень важном для протестантов. Новобрачные — это католическая и протестантская фракции, объединенные в дружественный союз.

— У тебя в объяснениях брешь. Мария, может быть, дает кубок протестантам, но точно не дает его католикам, и они его еще не получили.

— Я об этом думал, но мне кажется, это не важно. Назначение картины было явно не в том,

чтобы кричать свое послание каждому случайному посетителю замковой часовни, а в том, чтобы служить алтарной картиной, представляющей брак в Кане.

— А что другие фигуры?

— Кое-кого можно опознать. Старик с табличкой для письма — несомненно, Иоганн Агрикола, один из авторов проекта Аугсбургского постановления. А кто держит его письменные принадлежности? Кто же, как не Дурачок Гензель, висельник с веревкой, но здесь он в парадных доспехах, а значит, одет для торжества, которому способствует, подавая карандаши. Это символ прекращения преследований, понимаешь? Рыцарь и дама на правой створке, несомненно, граф Майнхард и его жена, донаторы этой картины. Они находятся именно там, где и ожидаешь их найти. Даже Парацельс на месте — вот он, востроглазый человечек со скальпелем.

— А все остальные?

— Это уже не важно. Важно то, что триптих написан в честь Аугсбургского постановления и уподобляет его браку в Кане. Послание ангела про хорошее вино, конечно, относится к примирению протестантов и католиков. Эти женщины, ссорящиеся из-за Христа, несомненно, символизируют

протестантскую проповедь и противопоставленную ей католическую веру. Алхимический Мастер изложил все так, что картину при необходимости можно истолковать самыми разными способами.

— И что же на все это сказала графиня?

— Она только улыбнулась и сказала, что я ее поразил.

— Понятно. Слушай, Эйлвин, я тебе серьезно говорю — будь осторожен. Твое толкование очень остроумно, но историк наверняка не оставит от него камня на камне. Например, зачем Ингельхаймам могла понадобиться такая картина? Они ведь никогда не были протестантами?

— Может быть, явными не были. Но они были алхимиками — во всяком случае, граф Майнхард был — и потому выбрали художника с явным алхимическим уклоном. Граф Майнхард наверняка что-то скрывал, но это уже не мое дело. Я буду писать только о картине.

— Писать?

— Да, я работаю над большой статьей для «Аполло». Не пропусти ее.

Фрэнсис, конечно, не пропустил статью. Все время, пока она не вышла, он разрывался на части. Очевидно, он должен открыть Россу историю

«Брака в Кане». Но почему «очевидно»? Потому что этого требует его совесть? Да, но если все решает голос совести, то Росс будет по совести обязан обличить Фрэнсиса как подделывателя картин, который сидел и молчал, пока «Брак» хвалили эксперты в Мюнхене. Суд совести затронет и графиню — она, может быть, действительно ничего не знает о «Браке в Кане», но в ее невинность в деле с «Дурачком Гензелем» верить не приходится. А если будет втянута графиня, то как же все остальные картины, которые тайно проходили через Сарацини, а потом их сплавляли закупщикам для Фюрер-музея? Сейчас не время обличать англо-франко-американских предпринимателей, которые водили за нос Третий рейх и лишили Германию многих подлинных шедевров. Германия проиграла войну, а потому она не права и должна остаться неправой во что бы то ни стало для утешения негодующей общественности. Дилемма Фрэнсиса щетинилась во все стороны острыми шипами.

А еще и проблема самого Росса. Он рассчитывает, что статья о «Браке» станет очередным значительным шагом в его карьере. И вдруг Фрэнсис остановит его неожиданным признанием? Если он вообще собирается признаваться, это

надо было делать много лет назад.

И наконец — Фрэнсис не мог лгать самому себе, — его удерживала гордость за удавшуюся великолепную мистификацию. Разве Рут не предупреждала, что в нем силен элемент Меркурия? Меркурия, который творит все, что есть в мире духоподъемного и восхитительного, но вдобавок покровительствует ворам, жуликам и мистификаторам. Границы между искусством, искусностью и — говоря начистоту — преступлением порой тоньше папиросной бумаги. С одной стороны, Фрэнсиса мучила совесть, но с другой — он едва удерживался от довольного хихиканья. Он не Летцтпфенниг, обезьяна его не погубит; его картина, хоть и анонимная, приобретет широкую известность и интересную историю благодаря подающему надежды молодому критику, обитателю мира Меркурия, мира искусствоведения. Фрэнсис решил молчать.

Статья вышла, и в ней было все, о чем Фрэнсис мог мечтать. Она была написана строгим, элегантным стилем, без мальчишеского энтузиазма, с которым Росс тогда делился своими планами. Тон был скромный: эта прекрасная картина, до сих пор пребывавшая в неизвестности, наконец увидела свет, и она — единственный, за исключе-

нием «Дурачка Гензеля», образец работы Алхимического Мастера, кто бы он ни был. Возможно, он был известен Фуггерам и графу Майнхарду, и это вкупе с тонкостью работы позволяет причислить картину к шедеврам аугсбургской группы художников, лучшим из которых был Гольбейн. Может быть, Алхимический Мастер был учеником или помощником Гольбейна? Вполне возможно, так как Гольбейн обожал картины с завуалированными намеками, понятными тем, кто обладает чутьем и достаточными познаниями в истории. Дальнейшие объяснения иконографических тонкостей картины Росс был счастлив предоставить ученым более проницательным, чем он сам.

Статья была хорошая и вызвала фурор среди тех, кого интересуют такие вещи, то есть нескольких сот тысяч искусствоведов-профессионалов, знатоков и людей, которые очень любят шедевры живописи, но никогда не будут владеть ни одним таким шедевром. Возможно, лучше всего было то, что к статье прилагалась прекрасная цветная репродукция всего триптиха и увеличенный снимок каждой из панелей. «Брак в Кане», отныне датированный и истолкованный, вошел в историю искусства, и Фрэнсис (меркуриальный Фрэнсис, а не измученный носитель католико-

протестантской совести) был вне себя от счастья.

Графиня отвергала все последующие просьбы об осмотре картины. Она отвечала, что слишком стара и слишком занята сельскохозяйственными делами, чтобы удовлетворять чужое любопытство. Может, заподозрила неладное? Этого никто никогда не узнал. «Ты погибнешь прежде, чем я погибну».

Статья уничтожила Фрэнсиса как художника. Разумеется, он не мог больше творить в стиле, усвоенном с таким трудом под ударами бича Сарацини. Это было слишком опасно. Но детям Меркурия свойствен дух противоречия, и Фрэнсис понял, что его опять тянет к мольберту. Он не писал с самого конца войны — только побаловал себя несколькими рисунками в стиле и технике старых мастеров. После выхода статьи Росса Фрэнсис увеличил коллекцию набросков в этом стиле. К ней добавились несколько этюдов к «Браку в Кане», созданных, так сказать, постфактум. Их приходилось держать под замком. Теперь Фрэнсису хотелось писать маслом. Очевидным выходом (к Фрэнсису прицепилось Россово словечко «очевидно») было бы освоить современный стиль. Фрэнсис купил в магазине готовые краски и холсты на подрамниках фабричной работы.

Вспомнив, как в юности ему нравились работы Пикассо, он принялся за работу, желая найти свой стиль, близкий к стилю великого художника, но в то же время выражающий истинное «я» Фрэнсиса Корниша.

Это в любом случае было бы нелегко, но стало и вовсе невозможно после беседы Пикассо с Джованни Папини, напечатанной в 1952 году в книге Папини[263] «Il Libro Nero»[264]. Вот что сказал Мастер:

> Основная масса людей больше не ищет в искусстве утешения и возвышения. Но утонченные богатые бездельники, дистилляторы квинтэссенций, ищут в нем нового, странного, оригинального, экс-

---

**[263] Примечания: 263**

*…беседы Пикассо с Джованни Папини, напечатанной в 1952 году в книге Папини «Il Libro Nero».* — Джованни Папини (1881–1956) — итальянский писатель, журналист, полемический критик и поэт, одна из самых противоречивых фигур в итальянской литературной жизни начала и середины XX в. Его книга «Il Libro Nero» (1952), написанная в форме дневника лирического героя, содержит вымышленные беседы с такими деятелями, как Гитлер, Дали и Пикассо. Интервью с Пикассо выходило также в других публикациях как подлинное. По некоторым источникам, Папини опубликовал фальшивое интервью по наущению НАТО, чтобы скомпрометировать Пикассо и его прокоммунистические симпатии. Впоследствии Папини попросил своего биографа Пьера Дэ разоблачить фальшивку.

**[264] Примечания: 264**

«Черная книга» *(ит.).*

травагантного, скандального. Сам я с периода кубизма, да и раньше, преподносил этим повелителям и критикам переменчивые странности, которые проносились у меня в голове, и чем меньше меня понимали, тем больше мной восхищались. Забавляясь этими играми, этими нелепицами, загадками, ребусами, арабесками, я прославился, и притом очень быстро. А слава для художника означает продажу полотен, выручку, удачу, богатство. Сегодня, как известно, я знаменит, я богат. Но наедине с собой я не могу назвать себя художником в великом, старинном смысле этого слова. Джотто, Тициан, Рембрандт – великие художники. Я же просто развлекаю публику. Я человек, который понял свою эпоху и сумел в полной мере воспользоваться глупостью, тщеславием и алчностью современников. Это горькое признание – мне больнее произносить эти слова, чем может показаться со стороны, – но зато оно искренне.

Фрэнсис немедленно довел эти слова до сведения Росса. Ему пришлось перевести их, так как

Росс по-итальянски мог разве что на пальцах объясниться; он все время собирался выучить этот язык как следует, чтобы читать вещи вроде «Il Libro Nero», но так и не собрался.

— Ну и что скажешь? — спросил Фрэнсис.

— Ничего не скажу. Ты же знаешь художников: у них бывают плохие дни, приступы сомнений в себе, приступы самоуничижения, когда они думают, что их работа — мусор, и унижают себя, сравнивая с художниками прошлого. Иногда они это делают, чтобы заставить собеседника возражать, и таким образом обретают новую уверенность. Наверняка этот Папини — уж не знаю, кто он, — застал Пабло врасплох, вытащил из него весь этот мусор и выдал за подлинное мнение.

— Папини — авторитетный философ и критик. Он пишет не ради сенсаций, и я уверен, что он попросил Пикассо перечитать и обдумать подобное заявление, прежде чем его публиковать. Ты не можешь отмахнуться от него как от мимолетного замечания, сделанного в минуту упадка духа.

— Могу. И отмахнусь. Слушай, Фрэнк, если тебе нужно мнение о работе художника, не проси его у самого художника. Проси его у людей, которые разбираются в искусстве. То есть у критиков.

— Ну вот! Ты правда думаешь, что художники — вдохновенные простачки, которые сами не знают, что делают?

— У художников сужено поле зрения. Они видят, что делают, и их мучат всякие сомнения в себе и своей работе. А критик стоит в стороне и видит, что происходит на самом деле. Только критик может родить взвешенное и порой окончательное суждение.

— Значит, когда Пикассо говорит о Пикассо, он несет чепуху?

— В точку. Он говорит о Пикассо-человеке, измученном житейскими неурядицами, превратностями здоровья, любовной жизни, остатка на счете в банке, ситуации в Испании — словом, всем, что составляет человека. А когда я говорю о Пикассо, я говорю о гении, написавшем «Авиньонских девиц», о мастере всех жанров, о сюрреалисте, о визионере, создавшем гениальную «Гернику» — одну из жемчужин той мерзкой эпохи, «Склеп» и все прочие шедевры. А Пикассо-человек ни шиша не знает о Пикассо-гении, потому что сидит внутри себя и видит себя лицом к лицу. О художнике Пикассо я знаю больше, чем сам Пабло Пикассо.

— Завидная уверенность.

— Ты не критик. Ты даже не художник. Ты ремесленник, креатура жулика Сарацини. И ты должен наконец это понять, потому что это часть правды. Очень большая часть. От репутации Пикассо зависит слишком многое, чтобы он позволил разной чепухе вроде этого интервью раскачивать лодку.

— Что зависит? Деньги? Мода во вкусах?

— Не надо цинично относиться к моде во вкусах. Искусство — это, помимо прочего, очень большой бизнес.

— А что ты думаешь о его словах про поиски утешения и возвышения в искусстве?

— Это мода прошлого. Это справедливо по отношению к «веку веры», которому пустили кровь в эпоху Возрождения и окончательно прикончили французской и американской революциями. Ты можешь назвать хоть одну великую картину, вдохновленную протестантизмом? Но конец «века веры» не означает смерти искусства. Оно — единственное, что бессмертно и вечно.

— Но он открыто говорит, что служил моде, угождал толпе, изобретая нелепости и головоломки.

— Ты что, не слышал, что я сказал? То, что он говорит, — ерунда. Важно то, что он делает.

Фрэнсис не выиграл спор, но Росс его все равно

не убедил. Фрэнсис был уверен: где-нибудь на свете есть художники, для которых утешение и возвышение — главные задачи искусства. Поэтому он решил вернуться в Канаду. Тамошнее искусство не то чтобы процветало, а даже, можно сказать, прозябало, и, следовательно, Фрэнсис мог попытаться подтолкнуть его в сторону, которую считал правильной.

Отправиться в этот великий миссионерский поход, вернуться к корням оказалось непросто. Первым делом надо было вырваться из МИ-5. К удивлению Фрэнсиса, дядя Джек не захотел его отпускать и начал возражать:

— Мальчик мой, может быть, тебе кажется, что тобой пренебрегли — не продвигали так быстро, как ты того заслуживаешь. Но ты не понимаешь, как мы работаем — как мы вынуждены работать. Если мы нашли отличного, верного человека на важный пост, мы оставляем его на этом посту. Ты — именно то, что нам нужно для работы с искусствоведами. Знающий человек с хорошей репутацией, но не очень заметный; можешь пройти куда угодно, не привлекая особого внимания; кроме того, ты канадец, а значит, люди, больше всего ценящие искрометный ум, считают тебя туповатым. У тебя достаточно денег, чтобы

ты не приставал ко мне поминутно, требуя надбавок. Я бы сказал, что ты идеально подходишь к своему месту. Ты принес мне столько полезных сведений об опасных людях, что заслужил свое место в нашем деле. А теперь ты хочешь разом все это отбросить.

— Очень мило с вашей стороны. Но куда ведет моя работа?

— Я не могу обещать, что она приведет к чему бы то ни было, кроме твоей теперешней позиции. Но разве ты недоволен? Твоего отца никогда не волновало, к чему приведет его работа.

— Его она привела к рыцарскому званию.

— Ты хочешь рыцарское звание? За что тебе должны его дать? Куча народу из тех, за кем ты следишь, пытаются вымучить рыцарское звание для себя. Если тебе его дадут, любой умный жулик заподозрит, что в тебе кроется больше, чем на первый взгляд.

— Я вам за все очень благодарен, но, по правде сказать, я и сам уверен, что во мне кроется больше, чем на первый взгляд. Поэтому я хочу уехать домой и быть подлинно собой у себя на родине.

На этом разговор закончился бы, если бы Фрэнсиса не потрясло до глубины души другое происшествие — не удар и не катастрофа, но

выбивающая из колеи жизненная перемена.

Скончался Сарацини. Поскольку его жена погибла во время войны, а дочь умерла при менее драматических обстоятельствах, Фрэнсис оказался единственным наследником Мастера.

Ему пришлось отправиться в Рим и провести долгие часы в обществе итальянских поверенных и чиновников, объясняющих все тонкости, связанные с получением в наследство большой частной коллекции предметов искусства — не сплошных шедевров, но, несомненно, музейного качества — в стране, раздетой догола войной, к которой она никогда не стремилась.

Итальянские юристы чрезвычайно вежливо выражали свои соболезнования, но были непреклонны в стремлении соблюсти закон. Соблюдение закона в Италии, как и в любой цивилизованной стране, оказалось крайне дорогостоящим делом, но Сарацини оставил на это столько денег, что их хватило и еще осталось. Чего итальянские юристы не могли контролировать, как ни пытались, — это анонимных счетов Сарацини в швейцарских банках.

Тут Фрэнсиса и настигло потрясение. Он не догадывался, что *Meister* — очень богатый человек. Но, видно, Сарацини заключал на редкость

удачные сделки с людьми, которые платили ему, князю Максу и графине за дюстерштейнские картины, отправленные в Англию. Фрэнсис явился пред очи невозмутимых банковских работников, удостоверил свою личность и свое бесспорное право на богатства Сарацини и не поверил своим глазам, увидев, сколько миллионов в твердой валюте отныне принадлежит ему. Уроженцу семьи банкиров не были в новинку большие суммы денег. Но до сих пор деньги приходили из Канады, и Фрэнсису не нужно было думать о капитале, доход с которого он получал. Для него деньги означали сумму, которая ежеквартально появлялась у него на счете. Из нее он выделял деньги на несчастное корнуолльское имение, которое никогда не оправдывало обещаний дяди Родерика, и все возрастающие суммы на содержание малютки Чарли, которая была уже почти взрослой и, кажется, питалась деньгами — так велики были требования, предъявляемые от ее имени тетей Пруденс. Фрэнсис, считающий себя рачительным хозяином, вздыхал и порой ругался, подписывая эти чеки. Остальные его расходы были мизерны по сравнению с остатком на счетах, но, несмотря на это, Фрэнсис был уверен, что находится в стесненном финансовом

положении.

На то, чтобы отделаться от МИ-5 и наилучшим образом распорядиться наследством Сарацини, ушло два года. Наконец-то Фрэнсис мог вернуться на родину.

Родина за годы его отсутствия — со времени отъезда на учебу в Оксфорд — не стояла на месте. Война заставила Канаду задуматься о ее месте в мире и о том, что большие страны так и норовят попользоваться странами поменьше — поменьше в смысле населения и влияния, а не в смысле физических размеров. Из деревенского мальчишки с круглыми от удивления глазами Канада превратилась в смышленого уличного мальчишку, но не приобрела истинной мудрости. Множество иммигрантов из всех уголков Европы увидели в Канаде свое будущее. Разумеется, они относились к ней потребительски и чуть свысока. Но все же не могли полностью опроститься, потерять врожденную утонченность европейцев, и благодаря им поверхность канадского общества приобрела некоторый лоск. Может быть, самой значительной переменой по большому счету стала та, о которой когда-то говорила проницательная Рут Нибсмит: маленькая страна с большим телом всегда была интровертом, — это

проявилось и в лоялистском уклоне, в нежелании быть освобожденной могучим соседом от того, что этот могучий сосед считал невыносимым колониальным игом; но теперь эта страна изо всех сил пыталась стать экстравертом, подражая тому самому соседу. Но Канада не могла по-настоящему понять соседей-экстравертов, а потому лишь имитировала их внешние повадки, и это часто походило на кривляние. Канада сбилась с пути — пережила то, что антропологи называют потерей души. Но если эта душа такая робкая, неуверенная, едва теплится — кто станет жалеть о ней, особенно если ее потеря означает большую, очевидную и немедленную выгоду?

Итак, Фрэнсис вернулся на родину, которой не знал. Его настоящей родиной были лучшие черты Виктории Камерон и Зейдока Хойла, рисковый характер и благородство *Grand-père,* сентиментальная доброта тети Мэри-Бен. Но ничего этого нельзя было найти в городе Торонто. Фрэнсис, как и многие другие люди, считал своей родиной мир детства, которого уже давно не было на свете.

Что он нашел в Торонто, так это семью Корниш-Макрори в новом составе. Джеральд Винсент О'Горман стал большим человеком среди финансистов и приобрел неопределенное, но огромное

влияние в Консервативной партии. Если тори когда-нибудь придут к власти, Джерри непременно будет сенатором — это гораздо вернее и выгоднее, чем звание рыцаря Святого Сильвестра, и, кроме того, делает его подлинным наследником *Grand-père* (так думали сам Джерри и его жена). Джерри был председателем совета директоров Корниш-треста, который к этому времени стал крупнейшим финансовым предприятием; президентом треста, преемником сэра Фрэнсиса, стал сенатор из Консервативной партии. (Сэр Фрэнсис умер, когда Фрэнсис в Риме разбирался с наследственными делами и потому не смог прибыть на похороны.) Сенатор был безупречно респектабелен и скучен и не доставлял Джерри никаких хлопот. Ларри и Майкл, сыновья Джерри, занимали высокие должности в тресте и были чрезвычайно дружелюбны к Фрэнсису — насколько он это позволял. Фрэнсису не хватало младшего брата, Артура, — тот вместе с женой погиб в автокатастрофе. Их сын Артур остался на попечении О'Горманов, которые старались как могли, но в основном вверяли Артура заботам служащих треста — как мужчин, так и женщин. Фрэнсису не нужна была помощь в распоряжении финансами: наследство Сарацини

было первыми в его жизни деньгами (если не считать жалких грошей от МИ-5), которые не контролировались и не управлялись семьей, и он не собирался никому открывать, как велико это наследство, или допустить, чтобы им стал распоряжаться кто-нибудь другой.

— Фрэнк, ты, конечно, делай, как считаешь нужным, но, ради бога, смотри, чтобы тебя не обобрали, — сказал Ларри.

— Не беспокойся, — ответил Фрэнсис. — Я научен горьким опытом и теперь знаю, что к чему.

Как только смог, Фрэнсис выделил скромную — по масштабам его богатства даже жалкую — сумму малютке Чарли и уведомил дядю Родерика и тетю Пруденс, что девушка будет получать проценты с этих денег, а когда ей исполнится двадцать пять лет, сможет распоряжаться капиталом. Он также сообщил дяде и тете, что его обстоятельства изменились (каким образом — он не объяснил) и теперь он может ежегодно выделять на содержание поместья лишь совсем небольшую сумму. На умоляющие письма Гласконов он отвечать не стал. Он считал, что и так сделал для них гораздо больше, чем следовало бы.

Засим он взялся за работу, желая обратить свой

немалый доход (капитал, соответственно еще больший, он трогать не собирался) на пользу канадского искусства. То, что произошло дальше, можно сравнить с ощущениями человека, который откусывает персик и ломает зуб о косточку.

Канадских художников Фрэнсис нашел очень быстро; они не то чтобы обошлись с ним грубо — просто они отличались независимым характером. Точнее говоря, хорошие художники были независимы, а те, кто радостно бросался на нового мецената, не были хороши. Фрэнсису никак не удавалось расстаться с деньгами, потому что он хотел выдавать их в комплекте с советами, а художники не желали никаких советов. Он попытался собрать несколько художников вместе для создания работ, которые возвышают и утешают. Художники были вежливы с ним, но совершенно глухи к его словам.

— Вы, кажется, хотите создать новое прерафаэлитское братство, — сказал Фрэнсису один из лучших художников, крупный мужчина украинского происхождения по имени Джордж Богданович. — Ничего не выйдет. Можете покупать картины. Мы просто счастливы, когда у нас покупают картины. Но не пытайтесь нами управлять. Оставьте нас в покое. Мы знаем, что

делаем.

То, что они делали, имело право на существование, но не нравилось Фрэнсису. Они были по уши влюблены в канадский пейзаж и пытались обжиться в нем самыми разными путями. Фрэнсис признавал, что у некоторых художников получалось неплохо, а кое у кого — просто великолепно.

— Но у вас на картинах совсем нет людей, — повторял он снова и снова.

— Это и хорошо, — ответил за всех Богданович. — От них воняет. От большинства, во всяком случае. Мы рисуем канадскую землю, и, может, когда-нибудь люди узнают ее по нашим картинам и начнут вонять чуть меньше. Но начинать надо с земли. Вот вам и утешение, и возвышение. Мы должны идти своим путем.

Возразить было нечего. Конечно, встречались и другие художники — последователи новейших течений. Они без приглашения начинали объяснять, что ныряют глубоко в собственное Бессознательное — Фрэнсису было в новинку слышать это слово в таком контексте — и вытаскивают замыслы, которые затем воплощают в живописи. Картины обычно оказывались беспорядочной мешаниной крикливых кра-

сок, некоторые — тщательно продуманным узором красочных пятен, обычно грязноватых. Эти послания от Бессознательного считались бесконечно драгоценными и якобы навевали восприимчивым зрителям отзвуки из таких глубин Бессознательного, куда не проникнуть без посторонней помощи. Но Фрэнсиса это не впечатляло. Он помнил слова Рут: «Чтобы поговорить с Матерями, нельзя просто взять и позвонить им по телефону. Их номера нет в справочнике». «Ныряльщики» явно не знали этого номера. Именно таких жуликов, имитирующих внутреннее хтоническое ви́дение, Фрэнсис научился презирать превыше всех остальных.

Итак, Фрэнсису пришлось удовлетвориться покупкой картин, которые были вполне хороши, но не радовали его душу. Как-то само собой получилось, что он начал брать картины у художников, живущих в разных недосягаемых уголках. Он держал эти работы в своей торонтовской квартире, время от времени продавал их, а деньги отдавал авторам. Он не брал за это комиссионных, но в каком-то смысле был торговцем картинами. Канадские собиратели живописи — довольно узкий круг — поняли, что он умеет отличить хорошую картину и его рекомендация гарантирует

качество. Это не приносило Фрэнсису утешения, но хоть как-то занимало его время.

Утешение дарили ему картины из коллекции Сарацини — он умудрился протащить их в Канаду не совсем законным путем и хранил в своем торонтовском жилище.

Жилище располагалось на последнем этаже принадлежащего Фрэнсису многоквартирного дома в хорошем, хотя и не фешенебельном, районе Торонто. Этот дом Фрэнсис купил много лет назад, послушавшись кузена Ларри, который советовал ему разнообразить вложение денег и приобрести какую-нибудь приличную недвижимость. Унылое здание было построено в период, когда архитекторы не отличались излишней живостью воображения. На последнем этаже располагались три квартиры, и Фрэнсис разместил свою коллекцию во всех трех. Поначалу этаж выглядел как одна богато, хоть и необычно, обставленная квартира, но со временем в комнатах становилось все теснее, а жизненное пространство Фрэнсиса сжималось.

— Боже мой! Чисто сорочье гнездо! — воскликнул Эйлвин Росс, когда первый раз приехал в гости. — «…Фортуна слепо сыплет / Дары на тех,

кому они не к месту»[265]. Это Джонсон, не я, но очень подходит, согласись. Ради всего святого, скажи мне, откуда у тебя все это?

— Унаследовал.

— От Сарацини, конечно. Можешь даже не говорить.

— Частично. Бóльшую часть я купил.

— И при покупке дух Сарацини стоял у тебя за плечом. Фрэнк, как ты вообще это выносишь?

Фрэнк это выносил, потому что считал такую жизнь временной. Он постоянно собирался тщательно пересмотреть всю коллекцию, что-то отправить в хранилище, что-то, может быть, продать и наконец остаться в квартире, возможно тесноватой и чересчур пышно украшенной, но все-таки похожей на человеческое жилье. А пока он жил в чем-то похожем на склад при антикварной лавке, куда постоянно добавлялось содержимое все новых ящиков, коробок и свертков. Хорошо, что в его доме был еще и грузовой лифт, помимо дрожащей, скрипучей бронзовой клети, в которой гости поднимались в обиталище, прозванное с подачи Росса «лавкой

---

**[265] Примечания: 265**

*«…Фортуна слепо сыплет / Дары на тех, кому они не к месту».* — Бен Джонсон, из пьесы «Всяк не в своем духе», или «Всяк не в своем нраве» («Every man out of his humour»), акт II, сц. 4.

древностей».

Росс был частым гостем в «лавке древностей», так как завел обыкновение приезжать в Канаду по нескольку раз в год — то прочитать лекцию, то поделиться ценными советами с какой-нибудь муниципальной или провинциальной галереей. Еще он печатал в канадских газетах и журналах свои рассуждения о судьбах искусства и головокружительных скачках цен на живопись на международных аукционах. Он привозил Фрэнсису сплетни из мира искусства — те, что не могли проникнуть в печать, — и анекдоты о его деятелях (кое за кем из них Фрэнсис когда-то следил по приказу дяди Джека). Надо сказать, что Фрэнсис никогда не рассказывал Россу, чем на самом деле занимался в Лондоне; он хранил полное молчание об этом, а также научился ловко уворачиваться от деликатных попыток выведать истинные размеры его состояния. Но он не мог скрыть, что богат, очень богат, ибо такой эксцентричный образ жизни мог вести только очень богатый человек. Он покупал дорогие картины на аукционах «Кристи» и «Сотби» — конечно, через агента, но с Росса вполне сталось бы выведать, кто настоящий покупатель.

Чего Росс не знал, так это того, что массовой

закупкой дорогих картин Фрэнсис хотел утолить невыносимую жажду творчества. Он много раз пытался обрести новый стиль, но каждый раз проникался отвращением и бросал эти попытки. Матери не желали говорить с ним современным голосом.

Внезапное увлечение Росса канадским искусством поставило бы в тупик менее проницательного человека, но Фрэнсис видел его насквозь. Росс хотел стать директором Национальной галереи в Оттаве. Чтобы добиться такого назначения, нужно начинать действовать заблаговременно — с прицелом на несколько лет вперед.

— Я ведь канадец, ты же знаешь, — говорил Росс. — Плоть от плоти этой страны, и мне хочется сделать для нее что-нибудь важное. Я хочу поднять Оттавскую галерею на мировой уровень, до которого ей сейчас далеко. Да, конечно, в ней есть неплохие вещи. Завидное собрание картин восемнадцатого века, и другие пристойные экспонаты попадаются. Но этого мало. Очень мало. Покупать приличные вещи галерея не может, потому что бюджет у нее мизерный. С другой стороны, в ней слишком много дареных вещей, а мы знаем, что это значит в стране, где мало кто разбирается в искусстве. Галерея не может ни отвергнуть подар-

ки, ни засунуть дареное куда-нибудь в запасник. Слишком много народу обидится. Но это время придет! Нужно будет безжалостно выкинуть плохое и решительно закупить хорошее… Слушай, Фрэнк, а что ты намерен делать с лучшей частью своей коллекции?

— Я об этом как-то не задумывался, — соврал Фрэнсис.

— Ну так пора задуматься, друг мой.

И вот, после долгой торговли и колебаний, Фрэнсис подарил галерее шесть своих лучших канадских картин. Росс проболтался где надо, что это он устроил дарение. Имя дарителя он тоже назвал, как Фрэнсис ни пытался остаться неизвестным.

— Если это просочится наружу, все галереи страны устроят на меня облаву, — сказал он.

— Неужели их нельзя понять? Ну подумай же, Фрэнк. Если ты не благотворитель, то что ты вообще такое? Когда ты наконец подаришь Национальной галерее что-нибудь из своих хороших итальянских вещей?

— Подарить? С какой стати? Кто сказал, что, если у человека есть хорошие вещи, он обязан их раздавать?

Через некоторое время — довольно скоро, по

меркам мира искусства, — Национальной галерее понадобился новый директор, а кто же лучше Росса подходил на эту должность?

В истинно канадском духе комиссия, призванная выбрать преемника и рекомендовать его соответствующему министру, долго сомневалась и мучилась. Захочет ли Росс, блестящий искусствовед с мировой репутацией, принять эту должность? Может, вместо него лучше назначить какого-нибудь достойного, но относительно неизвестного канадского ученого, имеющего какие-нибудь смутные заслуги перед страной? Что это за слухи ходят о личной жизни Росса? Не потребует ли он денег больше, чем галерея может платить? У Фрэнсиса было кое-какое влияние на некоторых членов комиссии, и он им воспользовался, но очень осторожно, втайне от других членов комиссии, которые ненавидели его за глубину познаний и за богатство. Наконец комиссия, в полной мере насладившись обязательной программой гефсиманских терзаний, направила рекомендацию министру, министр написал Россу, а Росс попросил месяц на размышления — в случае согласия ему придется пожертвовать карьерой всемирно известного искусствоведа. В конце концов он решился на эту жертву — за

значительно увеличенное жалованье.

Министр объявил о назначении. По случайности это было последнее назначение, о котором он объявил, так как правительство, членом которого он был, пало. После всех ритуальных плясок, необходимых для проведения всеобщих выборов, было сформировано новое министерство, и новый министр, которому теперь подчинялся Росс, оказался женщиной. Казалось бы, чего лучше? Среди канадцев распространено мнение о природной склонности женщин к искусствам и культуре. Ведь во дни первопоселенцев подобные вещи — которые тогда сводились в основном к лоскутным одеялам и вязаным коврикам — были исключительной прерогативой женщин. Идейные окаменелости эпохи первопоселенцев были весьма распространены среди канадских политиков.

Росс не уделял особого внимания выборам. Он сказал себе, что он ни с какого боку не политик. Он, может быть, и слышал пламенные обещания партии, пришедшей к власти в результате выборов, сократить расходы, вскрыть нарыв разбухшего чиновничьего аппарата, а главное, избавиться от того, что политики в речах, обращенных к избирателям, называли излишествами.

Слышал, но не обратил внимания. Однако расходы не так легко урезать, особенно если бóльшую часть их составляют пособия на детей, выплаты матерям, оплата лечения, пенсии стариков и инвалидов; и действительно, крики достойных бедняков не умолкают, а становятся все громче. Да и поголовье чиновников не так легко сократить, не обидев миллионы избирателей. Ведь все государственные служащие, особенно те, что поскромнее чином, принадлежат даже не к семьям, но к племенам, которые отстаивают своих с истинно племенной яростью. Значит, сэкономить можно только на излишествах. Если у страны уже есть Национальная галерея, причем полная картин (в чем может убедиться любой дурак, зайдя туда в дождливый день), закупка новых картин — это, несомненно, излишество, апофеоз легкомыслия, снобизма, витания в облаках.

Но ничто из этого не доходило до сознания Эйлвина Росса. Он порхал по Канаде, пересекая ее вдоль и поперек, и объяснял различным заинтересованным группам, что Канаде пора обзавестись достойной ее Национальной галереей, что нынешняя галерея даже не второсортная и что необходимы немедленные решительные действия. Его красноречием восхищались. «Мы не

можем занять свое место в мире как нация миллионов хоккейных болельщиков и нескольких десятков хоккеистов», — сказал он. Он цитировал Бена Джонсона: «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии. Картина — изобретение Неба, самое древнее и самое близкое к Природе»[266]. (Он не продолжил цитату — дальше Джонсон[267] прямо утверждает, что живопись стоит ниже поэзии. Подлинное искусство цитировать состоит в умении вовремя остановиться.) Прекрасный голос, в котором канадский акцент был слегка смягчен, но не исчез совсем, сам по себе гарантировал искренность оратора. А его красота пленяла женщин и многих мужчин. К таким канадцам они не привыкли. А как он шутил, и пил, и рассказывал отличные истории из жизни искусствоведов и художников на приемах, которые устраивались после его выступлений! Популярность Росса росла, как тыква, и была такая же яркая и блестящая. Завершив великое турне по Канаде (к этому времени новое

**[266] Примечания: 266**

*Он цитировал Бена Джонсона: «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии. Картина — изобретение Неба, самое древнее и самое близкое к Природе».* — См. примеч. 131.

**[267] Примечания: 267**

*Сэмюэль Джонсон* (1709–1784) — см. примеч. 18, 199.

министерство уже плотно уселось на место), он поджег свою петарду.

Не вовремя взорванная петарда хуже разорвавшейся бомбы. Росс не придумал ничего лучшего, как устроить пресс-конференцию, на которой объявил, что может единым махом поднять Национальную галерею на новый уровень, поставив ее в один ряд со всемирно известными коллекциями. В результате долгих переговоров и стремительного набега на Европу он потратил всю сумму, выделенную галерее на закупки на будущий год и вдобавок на шесть лет вперед. Он договорился о покупке шести картин — шести картин мирового класса — из великого частного собрания. Он сторговался по дешевке благодаря умению вести переговоры и, как он очень мягко намекнул, личному обаянию.

Кто же владелец? Росс позволил себя долго расспрашивать и наконец проговорился, что картины принадлежат Амалии фон Ингельхайм, которая недавно унаследовала коллекцию от бабушки. Графине (как неправильно, но эффектно титуловал ее Росс) нужны деньги, так как ее муж, князь Макс, приобрел большую корпорацию по производству косметики со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Поэтому графиня решила расстаться

с частью своих сокровищ, и они впервые увидят свет. За жалкую сумму в несколько миллионов долларов Канада может приобрести репутацию страны, владеющей значительной коллекцией живописи.

Относительно немногие люди понимают, что такое миллион долларов. Для большинства это туманная цифра, которая разбухает или съеживается, по ситуации. Возможно, политикам это свойственно в большей мере, чем обычным людям: для них миллион подобен гармошке, которая растягивается или сокращается. Если они собираются потратить миллион на себя, то это небольшая сумма, мысль о которой приятно согревает; если же этот миллион кто-то требует у них, он превращается в огромное число, невместимое обычным разумом. Когда политики узнали, что кто-то из должностных лиц, мелкая сошка на небольшой должности, тупиковой в смысле карьеры, обещал выплатить несколько миллионов за рубеж на приобретение картин — картин, подумать только! — они страшно возмутились. И больше всех негодовали представители той партии, ныне — лояльной оппозиции ее величества, которая назначила Росса перед самым своим падением.

Министр оказалась под прицелом. Она видела Росса раза два, и он ей не понравился. Помощником замминистра, работающим непосредственно с Россом, тоже оказалась женщина, и этой женщине он не нравился еще больше. Он процитировал ей Джонсона, а она решила, что он говорит о Сэмюэле Джонсоне, и выставила себя дурой. (Во всяком случае, так показалось ей — Росс привык к этой путанице и не обратил внимания.) Помощник замминистра была феминисткой и не сомневалась, что галантное обращение Росса с женщинами — издевательство с его стороны. Она подозревала, что он гомосексуалист — так хорош собой и не женат, — и приказала доверенному человеку (одному из «дворцовых евнухов» своего департамента) вывести Росса на чистую воду, если получится, — любыми методами, кроме разве что откровенного предложения в мужском туалете парламента. Надо признать, что Росс вел себя с этой дамой нетактично: выражаясь словами его любимого автора, он был поражен «зудящей язвой остроумья»[268] и никак не мог избавиться от этой болезни в общении с политиками и государственными служащими.

---

**[268] Примечания: 268**

*…«зудящей язвой остроумья»…* — Бен Джонсон, из пьесы «Всяк не в своем духе» («Всяк не в своем нраве»), пролог.

Госпожа министр положилась на рекомендацию замминистра, которая положилась на рекомендацию своей помощницы (которая не то чтобы была ее любовницей, но непременно стала бы ею, если бы обе не были такие занятые и усталые). У министра не осталось сомнений. Государственный служащий, подведомственный ее министерству, позволил себе непростительную вольность и заключил договор, касающийся еще не выделенных средств, притом не поставив ее в известность. Она выступила с заявлением в палате общин, опровергла сообщение о покупке картин и уверила собравшихся, что она, как никто, понимает необходимость сокращения расходов. Она благоговейным голосом сказала, что обожает искусство во всех его проявлениях, но бывают времена, когда даже ей приходится считать его излишеством. Она знает, в чем состоят приоритеты, когда экономика страны находится в тяжелом положении. Министр не стала распространяться об этих приоритетах, но можно было предположить, что они лежат где-то в прериях или, наоборот, в приморских провинциях, где, по-видимому, находятся месторождения денежных проблем.

Поскольку выборы не планировались, газетам

нужен был мальчик для битья, и Росс выступал в этой роли недели две. Самые консервативные газеты настаивали, что его следует смирить, разъяснить ему факты канадской жизни, преподать урок; самые радикальные газеты требовали снять его с должности и отправить в Европу, где ему, кажется, самое место. Впредь будет знать, что порядочные люди говорят о хоккее исключительно с благоговением.

Праведный гнев публики почти утих, когда Росс как-то вечером зашел в «лавку древностей». Глядя на его измученное, осунувшееся лицо, Фрэнсис понял, что любит его.

Но что он мог сказать?

— Ковчег Господень, по-видимому, впал в руки филистимлян?

— Со мной никогда в жизни такого не было. Они меня ненавидят. По-моему, они хотят моей смерти.

— О, вовсе нет. На политиков постоянно выливают еще худшую грязь. Все пройдет.

— Да, и я останусь навеки опозорен перед подчиненными. Госпожа министр вечно будет меня шпынять, как учительница — нерадивого ученика, и оспаривать каждый грош, идущий на галерею. Я буду сидеть, как вахтер, при кол-

лекции картинок с собачками и кошечками, без малейшей надежды когда-нибудь ее улучшить.

— Знаешь, Эйлвин, не сочти меня занудой, но тебе правда не стоило тратить деньги, которых у тебя еще не было. А министр… ну ты же знаешь: она как женщина обязана доказать, что она жестче любого мужика. Она не может позволить себе ни единой женской слабости, это прерогатива премьер-министра.

— Знаешь, она хочет меня выжить. Решила доказать, что я гомик.

— А ты гомик? Я не знал.

— Думаю, не в большей степени, чем большинство мужчин. У меня бывали связи с женщинами.

— А может, тебе поухаживать за госпожой министром? Это сразу решит вопрос.

— Вот странная идея! От нее пахнет дешевыми духами и леденцами от кашля. Нет, меня спасет только одно.

— А именно?

— Если мне удастся раздобыть для галереи одну из этих картин. Только одну! Это привлечет к нам внимание мира искусства и покажет госпоже министру, что я не полный идиот.

— Да, но как ты это сделаешь?

Не успев выговорить эти слова, Фрэнсис понял.

— Если я найду частного жертвователя, который подарит картину галерее, это мне очень поможет, а в конечном счете и вовсе реабилитирует. То есть если это будет именно та картина, о которой я думаю.

— Жертвователи — редкие птицы.

— Да, но не вымершие. Фрэнк, ну что?

— Что «что»?

— Ты прекрасно знаешь что. Ты раскошелишься на одну из этих картин?

— При нынешних ценах на живопись? Ты мне льстишь.

— Нет, не льщу. Я знаю, за сколько ты покупал картины в Лондоне в последние два-три года. Тебе это по карману.

— Даже если по карману — а я пока не подтвердил, что это так, — с какой стати мне это делать?

— Неужели ты не любишь свою родину?

— Когда как. Я снимаю шляпу, если мимо проносят канадский флаг. Хотя с точки зрения геральдики это чистый ужас.

— Тогда ради дружбы?

— Знаешь, я многое повидал в жизни. Самое отвратительное, что можно сделать с дружбой, — это назначить ей цену.

— Фрэнк, ты хочешь, чтобы я умолял? Ну хорошо, черт бы тебя побрал, я готов умолять. Ну пожалуйста!

Жизнь не баловала Фрэнсиса, но таким беспомощным он чувствовал себя впервые. Росс — несчастный, убитый и такой прекрасный в своем несчастье. Выражаясь библейским языком, в нем воскипела любовь к Россу. Но чувства Фрэнсиса не ограничивались состраданием. Чем больше денег у него было, тем больше он их любил. И еще, он не мог бы этого объяснить, но чувствовал: после того как он отказался от своего художественного дара, глубочайшие основы его души переключились на обладание имуществом, а следовательно, на деньги. Подарить народу картину — звучит красиво, но на деле опасно. Стоит прослыть благотворителем, и все от тебя чего-нибудь захотят. И чаще всего будут просить на поддержание посредственности. Но Росс, его последняя любовь, так несчастен! Фрэнсис любил Исмэй всем сердцем — как дурак. Рут он любил как мужчина, и она умерла вместе с сотнями и тысячами других людей, жертва преступной глупости мира. Он любил и Росса — не потому, что желал его плотски, но за его дерзкую юность, нетронутую годами, за его презрение к услов-

ностям, которые сковывали самого Фрэнсиса, вынудили его содержать разоренное имение и чужого ребенка, не дали признать великую картину своей. Да, он должен уступить. Пусть это больно ударит его по кошельку, который уже почти заменил ему душу. Почти, но не совсем.

Фрэнсис был готов сказать «да» — и сказал бы, если бы Росс удержал язык за зубами. Но роковое неумение Росса молчать все испортило.

— Ты же знаешь, даритель может остаться неизвестным.

— Конечно. Я бы в любом случае на этом настаивал.

— Значит, ты согласен! О Фрэнк, я тебя люблю!

Эти слова поразили Фрэнсиса сильнее любого удара. Боже, он действительно вешает на их дружбу табличку с ценой. Никаких сомнений быть не может.

— Я еще не сказал «да».

— Сказал-сказал! Фрэнк, теперь все будет хорошо! А насчет цены… я завтра же поговорю с князем Максом!

— С князем Максом?

— Да. Я знаю, что ты пьешь дешевую бормотуху, но даже ты должен был слыхать про князя Макса. Он — глава «Максимилиана», крупнейшей нью-

йоркской фирмы по импорту вина. Он действует от имени жены. Она до брака была Амалией фон Ингельхайм и унаследовала всю коллекцию от старой графини.

— Амалия фон Ингельхайм. Я не знал, что она вышла замуж за Макса! Я с ней знаком… был знаком.

— Да, она тебя помнит. Назвала тебя *Le Beau Ténébreux.* Сказала, что ты учил ее играть в скат, когда она была девчонкой.

— Почему она продает?

— Потому что у нее есть голова на плечах. Они с Максом — процветающая парочка аристократов, мастеров выживания. Они даже похожи между собой, хотя он должен быть намного старше. Она сделала хорошую карьеру как фотомодель, но ты же знаешь, это года на полтора, не больше. Она уже появилась на обложках двух крупнейших модных журналов, и дальше расти ей некуда. Они с князем Максом покупают косметическую фирму — очень хорошую, — и Амалия станет богатой, всемирно знаменитой красавицей.

— А картины?

— Она говорит, что ей всю жизнь было глубоко плевать на картины.

— Даже так? Да, малютка Амалия сильно вы-

росла… в каком-то смысле.

— Да, но у нее есть и сердце. Она прислушается к доводам разума. И если я скажу ей, что покупатель — ты, все будет хорошо. Иными словами, она продаст настолько дешево, насколько вообще можно ожидать… от аристократов, мастеров выживания. Может быть, картину удастся привезти и выставить в галерее еще до Рождества. Какой подарок народу!

— Там было шесть картин, насколько я помню. Но кажется, нигде не сообщалось какие. Я догадываюсь, за какие из них сейчас хорошо заплатят. Это маленький Рафаэль?

— Нет, не он.

— Портрет работы Бронзино?

— Нет. И не Грюневальд. После здешнего скандала нашлись другие покупатели, и пяти картин уже нет. Но ту, что мне нужна, Амалия придержала.

Рут когда-то говорила Фрэнсису, что у него прекрасная интуиция. Она проявилась не сразу, но сейчас заработала с полной силой.

— Какая это картина?

— Не какого-нибудь известного художника, но именно то, что нам сейчас надо, потому что в ней есть загадка, понимаешь, и историческое

значение, и она практически уникальна, потому что, кроме нее, известна только одна картина работы того же художника. Это моя любимая картина, потому что она, как ничто другое, помогла мне заработать репутацию искусствоведа. Ты ее видел! Приз — в студию! Это «Брак в Кане» кисти так называемого Алхимического Мастера!

Интуиция работала вовсю.

— Почему Амалия ее сохранила? Эйлвин, ты что, сказал, что, может быть, все-таки ее купишь?

— Ну… может, я и намекнул Максу. Ты же знаешь, какие ведутся разговоры при подобных сделках.

— Ты намекнул, что я, может быть, заплачу за картину?

— Разумеется, твое имя упоминалось. И они согласились придержать картину на месяцок ради старого друга.

— Иными словами, ты снова потратил деньги, которых тебе еще не дали. Мои деньги.

— Ну, Фрэнк, ты же знаешь, как это бывает. Не изображай из себя банкира.

— Я ее не куплю.

— Фрэнк, послушай! Я не мог поступить по-другому. Ты же знаешь, покупка произведений

искусства на таком уровне — чрезвычайно щекотливое дело. Когда Макс и Амалия размякли, я должен был действовать быстро. Завтра ты увидишь все в другом свете.

— Нет, не увижу. Я не собираюсь покупать эту картину.

— Но почему? Из-за денег? О Фрэнк, не говори, что это из-за денег!

— Нет, я даю тебе честное слово — деньги ни при чем.

— Тогда почему?

— По личным причинам, которых я не могу объяснить. Рафаэль, Бронзино, две или три других — да, это я для тебя сделал бы. Но не «Брак в Кане».

— Но почему, почему, почему? Скажи мне. Ты должен мне сказать!

— За все, что я был тебе должен, я расплатился сполна шестью прекрасными современными картинами. Но эту картину я не куплю — таково мое последнее слово.

— Какая ты сволочь!

— Ради такого случая мог бы и цитату из Джонсона подыскать.

— Да! «Говна те в зубы»[269].

— Очень хорошо. Это все?

> *– «Пусть собаки*
> *На стены гадят! Пусть жуки и осы*
> *Плодятся под твоею кровлей, этим*
> *Вертепом лжи и логовом греха!»*[270]

И Росс выбежал вон — смеясь над собственной цитатой, как показалось Фрэнсису. На самом деле Росс плакал. Эти гримасы отчасти похожи. Фрэнсис вымыл руки и удалился в узкий проход, где стояла его кровать. Прежде чем уснуть, он долго смотрел на картину, висящую в изголовье. Увидев ее, друзья Фрэнсиса приходили в недоумение. Картина была так себе. Дешевая репродукция «Изгнанной любви». Но сейчас она говорила Фрэнсису больше, чем любой из шедевров, сваленных кучами у него в квартире.

*– Конечно, Фрэнсис поступил единственно возможным образом. Не мог же он допустить, чтобы его любимый друг обманулся заведомой*

---

**[269] Примечания: 269**

*…цитату из Джонсона подыскать. <…> «Говна те в зубы».* — Бен Джонсон. Варфоломеевская ярмарка. Акт I, сц. 3.

**[270] Примечания: 270**

*«Пусть собаки / На стены гадят!..»* — Бен Джонсон. Алхимик. Акт V, сц. 3. Перев. П. Мелковой.

*фальшивкой, да еще работы самого Фрэнсиса, и повесил ее в главной галерее страны, которой они превыше всего обязаны служить и хранить верность, — сказал Цадкиил Малый.*

*— Ничего подобного, — возразил даймон Маймас. — Разумеется, мог, и то, что он называет влиянием Меркурия — то есть я, — всячески подталкивало его к этому. Я напоминал ему слова Летцтпфеннига: «Что здесь продается — великая картина или магия прошлого? Что покупается — прекрасная живопись или работа, подлинную ценность которой придает отпечаток четырех веков?» Поведение Фрэнсиса в этой истории было мне отвратительно. По правде сказать, я чуть его не бросил.*

*– А разве ты можешь?*

*— Ты же знаешь, что да. А стоит даймону уйти, и с человеком все кончено. Помнишь, когда Марк Антоний свалял дурака из-за той египтянки? Его даймон проникся отвращением и покинул его. Там тоже все вышло из-за глупой любви.*

*— Любовь Фрэнсиса к Россу не была глупой, брат. По мне, так в ней был привкус благородства, ибо она ничего не просила для себя.*

*— Но заставила Фрэнсиса предать лучшее, что в нем было.*

*— Это большой вопрос, брат. Любовь или стремление к мирским благам? Любовь или тщеславие? Любовь или желание сыграть шутку над миром искусства, где не нашлось места самому Фрэнсису? Бедняга Даркур так хочет выведать правду о Фрэнсисе! Знай он то, что знаем мы, он по достоинству восхищался бы им.*

*— Но все же ты не бросил Фрэнсиса.*

*— Он был мне омерзителен. Я терпеть не могу оставлять недоделанную работу. Мне приказали сделать Фрэнсиса великим человеком, а он поступил прямо противоположно моим наставлениям.*

*— Быть может, он и впрямь был великим человеком.*

*— Не таким великим, каким сделал бы его я.*

*— Но окончательное суждение не за тобой, брат.*

*— Но я и не был окончательно разбит, брат. К величию можно идти разными путями. Смотри, что будет дальше.*

Самоубийство Эйлвина Росса вызвало обычную в таких случаях реакцию публики: любопытство, ничего не стоящую жалость, радость зевак, оказавшихся свидетелями чего-то такого, что газеты назвали «трагедией». Искусствоведы всего мира

оплакивали безвременно ушедшего талантливого коллегу. Канадцы же предполагали, что он не вынес публичного позора. Кое-кто из канадцев сожалел о нем — в их речах чувство вины мешалось с тайным презрением к человеку, который не смог перенести заслуженное наказание терпеливо, как храбрый маленький солдат. Доморощенные психологи рассуждали о том, что Росс хотел наказать своих гонителей и хулителей. Кое-кому из гонителей действительно стало не по себе, но они злились на себя за то, что позволили собой манипулировать. Госпожа министр произнесла речь в парламенте; она вкратце упомянула Росса, сказав, что он действовал из благих намерений, но не обладал реалистическим взглядом на механизмы общества. Несмотря на это, она призвала достопочтенных членов собрания думать о нем как о великом канадце. Достопочтенным членам такое занятие было не в новинку, и они послушно думали указанным образом в течение одной минуты. В Национальной галерее устроили мемориальную службу, и покойному искусствоведу воздали все обычные гражданские почести: читали стихи, играли Баха, а замминистра произнесла очень тщательно сформулированную речь, написанную мелким

поэтом из числа правительственных спичрайтеров. В речи прозвучало много красивых слов, но не нашлось места ни единому признанию. В конце госпожа министр призвала коллектив Национальной галереи и весь канадский народ на пути к торжеству экономичной экономики хранить в сердцах память о Россе.

У Фрэнсиса не было нервного срыва, когда погибла Рут, но теперь он позволил себе именно это. Он выжил без посторонней помощи — заперся у себя в вертепе *лжи*, ел только холодную фасоль в томате прямо из банки и запивал пивом. Он снова стал собой — или таким, каким после этого был до конца жизни, — всего через несколько недель. Возможно, именно благодаря отсутствию профессиональной помощи.

Последние годы жизни Фрэнсиса были в своем роде плодотворны и не лишены своих утешений. Как раз тогда стало модно говорить об «эпохе простого человека», но Фрэнсис видел мало доказательств того, что эта эпоха действительно принадлежит простым людям. Надо сказать, что он нисколько не удивлялся этому и не жалел об этом, вспоминая годы Карлайлской средней школы, проведенные в обществе «детей простого человека». Случайные знакомые считали его

мизантропом, но были у него и близкие друзья — в основном из университетской среды. На почве обширных и необычных познаний о жизни в Европе на протяжении нескольких веков — его любимого периода — он сошелся с профессором Клементом Холлиером. Холлиер искал историческую истину в вещах, презираемых большинством историков. Еще одним другом Фрэнсиса стал профессор-преподобный (Фрэнсиса немало забавляла пышность этого титула) Симон Даркур: с Фрэнсисом его роднила страсть к редким книгам, рукописям, старинной каллиграфии, карикатурам и другим вещам, в которых Фрэнсис не обязательно разбирался, но которые попадались в сеть его огромной, разбухающей коллекции. Именно Даркур пробудил дремлющую любовь Фрэнсиса к музыке — лучшей, чем все, что знала Мэри-Бен. Даркура и Фрэнсиса часто видели вместе на концертах.

Иногда приятели сходились по вечерам в «лавке древностей». Холлиер мог почти весь вечер просидеть молча. Фрэнсис слушал речи Даркура — живые, забавные, располагающие к себе. Они лились, как игристое вино из бутылок, которые Даркур неизменно приносил с собой, ибо Фрэнсис не желал тратиться на прием гостей. Фрэнсиса

забавляло, что Даркур, знаток вин, жаловал продукцию князя Макса. На этикетках красовался герб и девиз «Ты погибнешь прежде, чем я погибну», — конечно, все думали, что он относится к вину.

Еще одним другом Фрэнсиса — не очень близким, но ценимым — стал профессор Эркхарт Маквариш. Сам профессор не догадывался, что Фрэнсис ценит его как родственную душу, порождение Меркурия. Но Фрэнсис держал свой меркуриальный дух под спудом, а Маквариш с дивной непосредственностью выпускал его наружу, хвалился, лгал и плутовал. Фрэнсис находил эту непосредственность забавной и освежающей. Даркур уговорил Фрэнсиса прочитать труды Бена Джонсона — в прекрасном томе, первоиздании, — и с тех пор Фрэнсис часто именовал Маквариша «сэр Эпикур Маммона». Маквариш не потрудился заглянуть в текст и считал этот титул лестным[271]. По правде сказать, Фрэнсис нашел в Бене Джонсоне душу, о которой никак нельзя было догадаться по тщательно выбранным цитатам

**[271] Примечания: 271**

*…часто именовал Маквариша «сэр Эпикур Маммона». Маквариш не потрудился заглянуть в текст и считал этот титул лестным.* — Сэр Эпикур Маммона — отрицательный персонаж пьесы Бена Джонсона «Алхимик», недалекий и жадный любитель удовольствий.

Росса, — душу внешне суровую, но таящую в себе нежность, в точности как у самого Фрэнсиса.

Маквариш как истый сын Меркурия не чурался и воровства. Он пользовался старым добрым методом: брал что-нибудь взаймы, а потом не возвращал. После пропажи ценной старой граммофонной пластинки, на которой сэр Гарри Лодер пел «Перестаньте, щекотушки»[272], Фрэнсис начал следить за тем, чтобы одалживать веселому аморальному шотландцу только не очень ценные вещи. Но Маквариш никогда не считал нужным делать для Фрэнсиса что-либо взамен тех благ, которые сам получал от этой дружбы. Это Холлиер и Даркур добились назначения Фрэнсиса почетным членом клуба профессоров колледжа Святого Иоанна и Святого Духа в университете Торонто — колледжа, в котором Фрэнсис когда-то учился и который ласкательно именовали «Душком». Поэтому Фрэнсис оставил «Душку» неплохое наследство по завещанию, с которым теперь упоенно возился, пересматривая отдельные пункты, всячески дополняя и изменяя.

Он тщательно обдумывал свою последнюю

---

**[272] Примечания: 272**

*...Гарри Лодер пел «Перестаньте, щекотушки»...* — Гарри Лодер, сэр Генри Лодер (1870–1950) — шотландец, автор и исполнитель комических песен. Песню «Stop Your Tickling Jock» написал ок. 1904 г.

волю и даже тревожился из-за нее. У него был документ, подтверждающий, что малютка Чарли не может ожидать от него ничего сверх уже полученной суммы; но вдобавок к этому Фрэнсис благоразумно (хоть и не очень великодушно) заставил своих лондонских поверенных взять у Исмэй (которая все еще боролась за рабочее дело где-то в срединных графствах Англии) расписку в том, что малютка Чарли не дочь Фрэнсиса и что ни она, ни Исмэй не имеют никаких прав на его наследство. Это оказалось непросто, так как по закону Исмэй все еще была женой Фрэнсиса. Но Фрэнсис сообщил своим поверенным имена одного-двух юристов, которые много знали об Исмэй и могли сильно осложнить ей жизнь, если она не будет ходить по струнке.

Во Фрэнсисе было еще много от Макрори, и поэтому он считал, что обязан в завещании позаботиться о родственниках. Поэтому он завещал кое-что — мелочь по сравнению с его огромным богатством — Ларри и Майклу. Чуть большую, но тоже не поражающую воображение сумму он оставил племяннику Артуру, сыну брата. Время от времени Фрэнсиса навещало смутное чувство вины по отношению к юному Артуру — шевеления родительского инстинкта, который

у Фрэнсиса никогда не был особенно силен. Но о чем мужчине на седьмом десятке лет говорить с мальчиком? У Фрэнсиса в голове сидело зачаточное канадское убеждение, что дядя обязан учить племянника стрелять, рыбачить, строить вигвамы из березовой коры и все такое. Эта мысль его полностью расхолаживала. Фрэнсису и в голову не приходило, что мальчик может интересоваться искусством. Так что для Артура он по-прежнему был молчаливым, плохо пахнущим стариком, не очень похожим на остальных Корнишей. Артур время от времени видел дядю на разных семейных сборищах и привык получать от него солидные суммы денег в подарок на Рождество и день рождения. Но, несмотря на уверенность, что у мальчиков могут быть только «мальчиковые» интересы, Фрэнсис замечал в глазах у Артура особый блеск. Годы шли, мальчик стал мужчиной, изобретательно, с выдумкой работал в Корниш-тресте — и Фрэнсис назначил его своим исполнителем по завещанию. Конечно, трое друзей Фрэнсиса должны были руководить юношей, предположительно невежественным в вопросах искусства, при разборке неподъемной кучи — ибо название коллекции собранию Фрэнсиса уже не подходило.

Раз в неделю Фрэнсис, если не забывал, навещал мать. Ей уже давно минуло восемьдесят — прекрасная, хрупкая женщина, она сохранила ясность мышления, но проявляла ее сугубо выборочно. На склоне лет Фрэнсис мог признать, что никогда не был близок с матерью, но теперь, когда безусловная любовь к ней перестала быть обязанностью, Фрэнсис понял, что мать ему вполне симпатична. Когда-то он пытался расспросить ее о Фрэнсисе-первом, и мать прикинулась выжившей из ума старушкой. Но теперь он решил разузнать о ее романах, которые так смущали его в юности и на которые отец смотрел сквозь пальцы.

— Мама, ты мне никогда не рассказывала о своей молодости. Вы с отцом друг друга очень любили?

— Фрэнко, что за странный вопрос! Нет, я не могу сказать, что мы друг друга очень любили, но он замечательно понимал меня, и мы были самыми близкими друзьями.

— Но разве ты никогда не была влюблена?

— О, десятки раз! Но понимаешь, я никогда не относилась к этому всерьез. Разве можно? От любви, если ее запустить, одни неприятности. Я знала множество мужчин, но никогда не давала

твоему отцу повода для беспокойства. Он всегда был главным мужчиной в моей жизни, и знал это. Вообще, он был довольно странный человек. Очень спокойно относился к жизни.

— Я ужасно рад это слышать.

— Я была отчаянно влюблена один раз в жизни — еще до твоего отца. Знаешь, как влюбляются девушки. Такой красавец, я никогда не встречала ничего подобного. Красота — очень опасная вещь, правда ведь? Я была совсем молодая, а он был актером, и я с ним никогда не была знакома — только видела его на сцене, но ужасно страдала.

— Тогда было много красивых актеров. Такая мода. А ты помнишь, как его звали?

— О, конечно помню. Кажется, у меня до сих пор где-то лежит открытка с ним — он играл в пьесе под названием «Мсье Бокэр». Его звали Льюис Уоллер. Такой красавец!

Так вот какова цена умствованиям доктора Дж.-А. и его злобно-научным утверждениям про неизвестную порчу! Эта холодная, прекрасная кокетка любила единожды в жизни, причем самозабвенно, и плодом ее страсти оказался Лунатик!

Какое наказание! Какая пощечина девушке-католичке от Бога, которому ее учили поклоняться! Неудивительно, что она отогнала от себя все

страсти и уподобилась Венере на картине Бронзино, — любовь стала для нее игрушкой. Фрэнсис много думал об этом и пришел к нескольким чрезвычайно философским выводам. Разумеется, совершенно неверным, так как он ничего не знал о благонамеренном материнском вмешательстве Марии-Луизы. Никто никогда не знает всего до конца. Но если бы Фрэнсис знал, его сострадание, несомненно, распространилось бы и на бабушку; теперь он всем сердцем еще сильнее обычного жалел Зейдока Хойла, мать и беднягу Лунатика.

Так что к смертному часу Фрэнсис подошел, вполне примирившись с главными в его жизни людьми. Внешнему миру и даже горстке близких друзей он казался чудаком и букой, но в нем была особая цельность, которая привлекала к нему этих друзей, как никогда бы не привлекли поверхностная любезность и легкомысленный шарм.

Его жизнь — но не слава — кончилась сентябрьской ночью с воскресенья на понедельник. Было душно и влажно, как часто бывает в Торонто в сентябре. По случаю своего дня рождения Фрэнсис вышел поужинать в ресторане, хоть и не был голоден, а по возвращении в «лавку древностей» прилег на кушетку, надеясь, что под ветерком

из окна будет легче дышать. Кушетка некогда принадлежала Сарацини; она была прекрасна, но не слишком приспособлена для лежания. Ее изготовили в самом начале девятнадцатого века для какой-нибудь тогдашней красавицы, воображавшей себя мадам Рекамье. Но Фрэнсис не мог заставить себя встать и пойти в постель. Поэтому, когда смерть нанесла ему первый удар, он был полностью одет и полусидел-полулежал. После этого удара Фрэнсис понял, что не в силах двинуться.

Более того, он понял, что ему больше не суждено двигаться.

Значит, это оно и есть? Смерть, которую он так часто видел на картинах — обычно в виде жестокой, грозной фигуры, — пришла к нему в «лавку древностей». Фрэнсис удивился, поняв, что не боится. Хотя дышал он теперь с трудом и каждый следующий вдох давался все труднее. Ну что ж, он всегда знал, что умирать — непросто.

У него туманилось в глазах, но мысли были ясны, яснее обычного. Он подумал, что находится в полном сознании и что это разительно отличается от того, что чувствовал Росс, — тот, чтобы уйти, наелся снотворного и запил джином. А насколько другими были последние часы Рут?

Кто скажет, что осталось от ее живого, храброго и мудрого ума в этом обожженном теле? Сколько бы люди ни называли смерть великим уравнителем, она, несомненно, к каждому приходит в ином обличье.

Фрэнсис уже мало что чувствовал, но вместо этого на него нахлынули другие чувства. Может, это и имеют в виду, когда говорят, что у умирающего перед глазами проходит вся жизнь? Фрэнсис не то чтобы увидел всю свою жизнь. Точнее сказать, его охватило ощущение завершенности жизни, понимание, что его жизнь — о, какое счастье, какое милосердие! — не была бесформенной кашей, бессмысленной неразберихой, какой он ее считал. Он скромно радовался тому, что справился не так уж плохо и что даже поступки, о которых он впоследствии жалел — например, ниспровержение несчастного Летцтпфеннига, — были частью узора, рисуемого не им, исполнением предначертаний, в той же мере относящихся к судьбе Летцтпфеннига, как и к судьбе самого Фрэнсиса. Даже отречение от Росса, которое Фрэнсис так часто вспоминал и считал отречением от самой любви, было не только следствием его слабости, но и — не в меньшей степени — результатом поступков самого Росса. Фрэнсис любил

Росса не меньше, чем когда-то любил Рут, хоть и по-иному, но еще сильнее он любил и должен был защищать нечто другое. Это — его единственный шедевр, картина «Брак в Кане», ныне висящая на почетном месте в выдающейся картинной галерее в Штатах, где на нее пялятся любители искусства и бесчисленные искусствоведы с университетскими дипломами, гарантирующими непогрешимость познаний и вкусов их владельцев. Если эта бомба когда-нибудь и взорвется, то не в Канаде и не погубит друга.

Нет! Это лицемерие, а у Фрэнсиса уже не было времени лицемерить. Конечно, Смерть намекнула ему на свой скорый приход неделю назад, когда он аккуратно сложил в конверт все этюды к «Браку в Кане», и предварительные, и сделанные постфактум, и надписал аккуратным курсивом: «Мои рисунки в стиле старых мастеров, для Национальной галереи». Рано или поздно кто-нибудь на них наткнется.

И неминуемо установит, кто на самом деле был Алхимическим Мастером. Это открытие даст разным умникам пищу для разговоров, материал, который можно препарировать, обсуждать в статьях и даже в книгах. Будут написаны биографии Алхимического Мастера. Но подойдут ли они

близко к истине? Откроют ли вообще нужные факты? На картине, в которой, по словам Сарацини, Фрэнсис воплотил свою душу — и такой, какова она была, и такой, какой ей суждено было стать, — Любовь действительно представляли две фигуры в центре; но это была скорее любовь к идеальной цельности, чем реальные любови Фрэнсиса. Прочтут ли люди его аллегорию, как он когда-то прочел великую аллегорию Бронзино? На этой столь дорогой ему картине Время и его дочь Истина сдергивали покрывало с истинного лика любви. Точно так же когда-нибудь Время и Истина сдернут покрывало с «Брака в Кане». И когда это случится, сперва люди начнут судить Фрэнсиса, обвиняя его в подделке и обмане. Но ведь Бронзино сказал нечто очень важное о подделке и обмане, изобразив Обман, *Fraude* — девушку с очаровательным лицом, предлагающую мед, и скорпиона с когтями хтонического дракона и кольчатым хвостом змеи. Этот Обман не заурядное жульничество, но порождение глубинного мира Матерей, где родится не только всяческая красота, но и все жупелы для робких душ, ищущих только света и уверенных, что Любовь — сплошной свет. Как повезло Фрэнсису, что он встретил *Fraude* и отведал ее преобража-

ющий отравленный поцелуй! Неужели Фрэнсис в последние минуты жизни отыскал аллегорию самого себя? О, благословен ангел «Брака в Кане», столь загадочно возглашающий: «А ты хорошее вино сберег доселе»!

Он засмеялся, но смех стоил таких усилий, что смерть нанесла еще один удар. Фрэнсис глубже погрузился в темное течение, которое его куда-то несло.

Где это он? Место никогда невиданное, но знакомое; подлинное, глубинное обиталище его духа — в большей степени, чем все, что он когда-либо знал; он раньше не бывал тут, но именно отсюда исходили видения, что были самыми драгоценными дарами его жизни.

Да, сомнений больше нет. Это — царство Матерей. Какое счастье, что в последние минуты Фрэнсису было суждено причаститься преображающего вина!

Дальше не было ничего. Стороннему наблюдателю показалось бы, что Фрэнсис какое-то время стоял на пороге смерти, а теперь сделал последний шаг.

*– Значит, ты бился за него до конца, брат, — сказал Цадкиил Малый.*

*— Это еще не конец. Фрэнсис порой не слушался*

*меня, но я по-прежнему повинуюсь приказу, — ответил даймон Маймас.*

*— А тебе приказали сделать его великим или хотя бы интересным человеком?*

*— Да, и посмертно он станет и великим, и интересным. Не сомневайся, мой Фрэнсис был великим человеком. Он не умер дураком.*

*– Однако и тебе пришлось потрудиться.*

*— Как всегда. Люди всюду лезут и все путают. Отец Девлин и Мэри-Бен со своей святой водой и одноствольным состраданием. Виктория Камерон с этим ужасным стоицизмом, замаскированным под религию. Доктор с его невежественной наукой. Вообще все невежды, убежденные, что их представления о мире — вершина человеческого познания.*

*— Но я полагаю, про них всех можно сказать, что они заложены у Фрэнсиса в костях.*

*— Они! Как ты мог сказать такое, брат? Конечно, мы с тобой знаем, что это всё метафоры. Да мы с тобой и сами метафоры. Но метафоры, что изваяли жизнь Фрэнсиса, — это Сатурн, решимость, и Меркурий, творец, шутник, трикстер. Мне приказали проследить за тем, чтобы они, Великие, были заложены в костях у Фрэнсиса и чтобы их никак нельзя было выбить из его плоти.*

*И моя задача еще не завершена.*

– Я тут подумал…

Артур, вернувшийся из двухдневной поездки, завтракал. Он уже съел грейпфрут, овсянку со сливками, яичницу с беконом и перешел к обычной коде завтрака — тосту с вареньем.

— Я совершенно не удивлена. С тобой это часто случается. И что? — откликнулась Мария.

— Та книга про дядю Фрэнка… Я был не прав. Надо сказать Симону, чтобы он продолжал работу.

— Ты больше не боишься скандала?

— Нет. Допустим, в Национальной галерее обнаружатся рисунки, которые выглядят как работы старых мастеров, но на самом деле их нарисовал дядя Фрэнк. Ну и что? Это не значит, что он что-то там подделывал. Он когда-то учился на художника, а в те времена студенты постоянно копировали работы старых мастеров и даже сами рисовали в этой манере — чтобы понять, как это делалось. Это никакая не подделка. Сотрудники галереи сразу распознают его работу, даже если Даркур не распознал. Ничего страшного не случится, помяни мои слова. Симон — специалист по словам, а не по картинам. Так что дадим ему добро и займемся настоящей работой фонда. Нам надо как-нибудь поскорей насобирать писем от

безденежных гениев.

— У меня на столе уже лежит несколько штук.

— Позвони Симону, любовь моя, и скажи, что я прошу прощения за свое самодурство. Спроси, может ли он прийти сегодня вечером. Мы посмотрим на письма, которые у тебя есть, и займемся настоящей работой. Будем покровительствовать искусствам.

— Медичи наших дней?

— Но-но, нескромность не украшает человека. Но мы, конечно, получим удовольствие от игры.

— Так свисти в свисток, и пусть игра начнется!

# Лира Орфея

*Лира Орфея открывает двери подземного мира.*
***Э. Т. А. Гофман***

# I

## 1

Артур, председатель-виртуоз, плавно подводил к концу очередное собрание:

— Все согласны, что эта затея совершенно безумна, абсурдна, может обойтись непредсказуемо дорого и нарушает все законы финансовой осмотрительности? Мы все высказались, в разной форме, но по существу были единодушны: ни один нормальный человек не пожелает связываться с таким проектом. Принимая во внимание основополагающие принципы Фонда Корниша, все это — прекрасные доводы за то, чтобы удовлетворить заявку с дополнением, которое мы сегодня обсуждали, и приступить к осуществлению проекта.

У него и впрямь способности к музыке, подумал Даркур. Он творит каждое собрание, как симфонию. Сначала объявляет тему, потом разрабатывает ее в мажоре и в миноре, тянет, дразнит, терзает, гоняет туда-сюда по закоулкам и наконец, когда это уже становится утомительным, подстегивает нас, мы сливаемся в оживленном

финале и под завершающие звучные аккорды благополучно голосуем.

Но некоторые люди не терпят, когда что-нибудь кончается. Холлиеру непременно надо было продолжить спор.

— Даже если по какой-то дикой случайности проект окажется успешным, какая от него будет польза? — спросил он.

— Вы упустили главное, — ответил Артур.

— Я как директор Фонда Корниша обязан проявлять осмотрительность.

— Но, дорогой мой Клем, вы — директор особенного фонда с необычными целями. Я прошу вас задействовать воображение, что совсем нехарактерно для фондов. Я прошу вас санкционировать чрезвычайно рискованную затею в надежде на необычайный успех. Вам незачем притворяться бизнесменом. Будьте собой — смело мыслящим ученым-историком.

— Ну, я полагаю, если так подойти к делу…

— Да, я подхожу к нему именно так.

— Но я все же думаю, что мой вопрос имеет смысл. Зачем миру еще одна опера? Их и без того уже много, и в цивилизованном мире на каждый квадратный километр приходится несколько человек, которые пишут новые оперы.

— Но эта опера будет совершенно особенной.

— Почему? Потому что композитор умер, не дописав ее? Потому что эта девица, Шнак-что-то-там, хочет ее закончить и получить за это ученую степень? Не вижу, что в этом особенного.

— Вы сильно упрощаете наш план…

— И оставляете за кадром самое главное. Вы забыли, что мы собираемся поставить законченную оперу на сцене и показать ее широкой публике, — вмешался Герант Пауэлл, актер, озабоченный своей театральной карьерой. Он был уверен, что постановку оперы поручат ему.

— Думаю, не следует забывать, что все сторонники этого плана чрезвычайно высокого мнения о мисс Шнакенбург. Они намекают, что она — гений, а мы ведь как раз ищем гениев, — сказал Даркур.

— Да, но разве мы хотели заниматься шоу-бизнесом? — спросил Холлиер.

— Почему бы нет? С вашего разрешения, я повторюсь: мы учредили Фонд Корниша на деньги, оставленные человеком, который прекрасно знал и любил искусство и не боялся рисковать. Нам нужно было решить, что это будет за фонд. И мы решили. Он должен способствовать процветанию искусства и гуманитарных наук, а план,

который мы рассматриваем, имеет прямое отношение и к искусству, и к гуманитарным наукам. Мы ведь договорились, что не хотим учреждать еще один фонд, который дает деньги солидным, надежным проектам и отходит в сторону, дожидаясь солидных, надежных результатов. Нынешнее меценатство поражено осторожностью и невмешательством, словно артритом. Давайте поддержим то, что нам нравится, и устроим тарарам. Мы уже сделали реверанс в сторону надежности — заработали имидж добропорядочной скучной организации, поручив Симону написать биографию нашего основателя и благодетеля…

— Спасибо, Артур. Огромное спасибо. Я даже не надеялся, что моя работа получит столь высокую оценку. Видишь, я краснею от смущения.

Симон Даркур прекрасно знал: труд биографа гораздо тяжелее, чем думает Артур. Кроме того, Симон отчетливо помнил, что до сих пор не попросил и не получил ни гроша за проделанную работу. Он, как многие литераторы, был обидчив.

— Симон, извини. Ты наверняка понял, что я хотел сказать.

— Я знаю, что ты, по-твоему, хотел сказать, но книга может оказаться вовсе не такой занудной,

как ты думаешь.

— Надеюсь, что нет. Но я, собственно, подводил к тому, что книга обойдется в какие-нибудь несколько тысяч долларов. Мы, конечно, не самый богатый фонд в Канаде, но все равно нам нужно избавиться от кучи денег. Мне хочется сделать что-нибудь эффектное.

— Это ваши деньги и, надо полагать, ваше право решать, что с ними делать. — Холлиер все еще пытался выступать в роли голоса разума.

— Нет, нет и еще раз нет. Это не мои деньги. Это деньги фонда, директора которого — мы все: вы, Клем, и ты, Симон, и ты, Герант, и, конечно, Мария. Я лишь председатель, первый среди равных — раз уж у фонда должен быть председатель. Неужели я вас не убедил? Вы действительно хотите унылой надежности? Кто за надежность и скуку — поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась. Но у Холлиера осталось чувство, что ему подставили подножку нечестным риторическим приемом. Герант Пауэлл вообще не любил заседаний и с нетерпением ждал, когда это заседание окончится. Даркур счел, что Артур обошелся с ним высокомерно. Мария прекрасно знала, что Холлиер совершенно прав и что деньги на самом деле принадлежат Артуру,

несмотря на все юридические хитросплетения. Она знала также, что сама не имеет никаких прав на эти деньги, разве что ее слово, как жены Артура, имеет чуть больший вес.

Она совсем недавно вышла замуж за Артура и всем сердцем любила его, но знала: он может быть ужасным тираном, когда ему чего-нибудь хочется. А сейчас ему страстно хотелось быть удачливым, изобретательным, смелым покровителем искусств. Он тиран, думала она. Должно быть, король Артур был именно таким тираном, когда убеждал рыцарей Круглого стола, что он всего лишь первый среди равных.

— Значит, мы все согласны? — продолжал Артур. — Симон, напишешь резолюцию? Не обязательно в отточенной формулировке: мы ее потом причешем. У всех налито? А почему никто ничего не ест? Угощайтесь, перед вами Блюдо изобилия.

Это была шутка, которая, как это бывает с шутками, уже немного приелась. «Блюдо изобилия», большое сложное сооружение из серебра, стояло посреди круглого стола, за которым сидели собравшиеся. От затейливо украшенного центрального основания отходили изогнутые стержни, на концах которых были тарелочки для

сухофруктов, орехов и сластей. Жутко уродливая штука, подумала Мария, — несправедливо, так как ваза была прекрасным образцом подобного рода вещей. Ее подарили на свадьбу Артуру и Марии Даркур и Холлиер, и Мария ненавидела вазу, зная, что такая дорогая вещь на самом деле не по карману ее бывшим преподавателям. И еще ваза воплощала в себе все, что Марии не нравилось в ее браке, — бессмысленную роскошь, высокомерие богатства, величественную бесполезность. После желания сделать Артура счастливым Мария больше всего на свете хотела стать настоящим ученым. Ей до сих пор казалось, что большие деньги и великая ученость несовместимы. Но Мария была женой Артура, и, раз никто не стал угощаться из вазы, Мария для виду взяла пару орехов.

Пока Даркур трудился над резолюцией, остальные директора фонда не вполне дружелюбно болтали между собой. Артур сильно раскраснелся, и Мария заметила, что у него заплетается язык. Неужели он пьян? Он никогда не пил много. Он взял шоколадку с Блюда изобилия, но, похоже, она оказалась неприятной на вкус — он выплюнул ее в носовой платок.

— Так сойдет? — спросил Даркур. — «Собрание

постановило, что фонд решил удовлетворить совместную заявку отделения аспирантуры кафедры музыковедения и мисс Хюльды Шнакенбург на материальную помощь, которая даст мисс Шнакенбург возможность сформировать и завершить рукописную партитуру, ныне хранящуюся в библиотеке отделения (в числе нотных рукописей, завещанных покойным Фрэнсисом Корнишем), оперы, которую оставил незавершенной по своей смерти в тысяча восемьсот двадцать втором году Эрнст Теодор Амадей Гофман. Работа должна быть выполнена в соответствии с оперными традициями времен Гофмана и для оркестра в соответствующем составе. Проект будет засчитан мисс Шнакенбург как частичное выполнение требований, необходимых для получения степени кандидата музыковедческих наук. Далее собрание постановило, что в случае удовлетворительного выполнения работы опера будет поставлена на сцене и показана публике под названием, которое дал ей сам Гофман, — „Артур Британский“. Ни кафедра музыковедения, ни мисс Шнакенбург еще не извещены о последней части нашего предложения».

— Это будет для них приятный сюрприз, — сказал Артур.

Он пригубил из бокала и тут же поставил его на место, будто напиток показался невкусным.

— Сюрприз, несомненно, — заметил Даркур. — Приятный ли — это вопрос. Кстати, а вы не думаете, что в протокол стоит внести полное название оперы?

— А разве она называется не просто «Артур Британский»? — спросил Герант.

— Нет. Гофман, по тогдашней моде, дал ей двойное название.

— Да, я знаю такие, — сказал Герант. — «Артур Британский, или… что-то еще». Что?

— «Артур Британский, или Великодушный рогоносец», — ответил Даркур.

— В самом деле? — спросил Артур. Его как будто беспокоила горечь во рту. — Ну, я думаю, если нам не нужно полное заглавие, не обязательно его упоминать.

Он снова сплюнул в платок, стараясь, чтобы никто не заметил. Но мог и не стараться, потому что, услышав полное название оперы, никто из собравшихся не взглянул на Артура.

Три других директора фонда смотрели на Марию.

## 2

Назавтра не успел Симон Даркур сесть за работу, как его оторвал телефонный звонок Марии. Артур был в больнице — у него оказалась свинка, или паротит, как эту болезнь называют врачи. Но врачи не сказали Марии того, что знал Даркур: свинка у взрослого мужчины — это серьезно. Она вызывает болезненное опухание яичек и может причинить непоправимый вред. Артур на несколько недель выбывал из строя. Но он сказал Марии, едва шевеля распухшей челюстью, что работа фонда должна продолжаться, и как можно быстрее, силами Даркура и Марии.

Как это похоже на Артура! У него был в высшей степени развит непревзойденный навык делового человека — перекладывать ответственность на других, уступая при этом лишь жалкие крохи власти. Даркур познакомился с Артуром после смерти своего друга Фрэнсиса Корниша: тот назначил Даркура одним из исполнителей своего завещания. Главным исполнителем, наделенным всей полнотой власти, был Артур. Он сразу показал себя прирожденным лидером. Как многие лидеры, временами он был жестковат, часто задевал чьи-нибудь чувства, но не из лич-

ной неприязни, а просто по недомыслию. Он был председателем совета директоров огромного Корниш-треста; крупные финансовые воротилы восхищались им и доверяли ему. Но вне деловой жизни он хорошо разбирался в искусстве, что для банкира нетипично. Точнее говоря, он любил искусство по-настоящему, а не просто благоволил к нему, как положено руководителю крупной корпорации.

Его намерения доказывало то, что он так стремительно основал Фонд Корниша на деньги, оставленные дядей Фрэнком. Артур хотел стать крупным меценатом — ради забавы и из любви к приключениям. Разумеется, фонд принадлежал ему. Для виду он учредил совет директоров, но кого туда пригласил? Клемента Холлиера, потому что Мария как бывшая студентка Холлиера питала к нему особую привязанность. И кем оказался Холлиер? Любителем совать палки в колеса и постоянно рассматривать вопросы с другой стороны; высочайшая репутация ученого-медиевиста не искупала его мрачной несостоятельности как человеческого существа. Еще Артур выбрал в директора Геранта Пауэлла: Пауэлл, восходящая звезда театра, обладал шармом и бурлящим энтузиазмом, типичными для людей этой породы. Он

с чисто валлийским легкомыслием поддерживал самые экстравагантные начинания Артура. И еще в совет директоров вошла Мария, жена Артура; милая Мария, которую Даркур любил когда-то. Да и до сих пор еще любил — может быть, даже острее теперь, когда ему уже наверняка не грозила взаимность. Теперь он мог трудиться, как раб, на благо своей дамы, романтически упиваясь неразделенным чувством.

Таково было мнение Даркура о коллегах по фонду. Что же он думал о себе?

Миру он был известен как преподобный Симон Даркур, хороший преподаватель греческого языка и авторитетный ученый; он был заместителем декана в колледже Плоурайт, подразделении университета, где готовили магистров и аспирантов. Кое-кто считал его мудрым человеком и приятным собеседником. Но Артур прозвал его «аббат Даркур».

Что такое аббат? Разве не правда, что на протяжении столетий так называли священника, который на самом деле принадлежал к разряду старших слуг? Аббат ел за одним столом с хозяевами, но у него была комнатка при дворцовой библиотеке, где он трудился как личный секретарь, посредник и устроитель всяческих дел. В

театре и литературе аббаты плели интриги и забавляли дам. В наше время уже никого не зовут аббатом, но аббаты еще нужны миру, и Даркур чувствовал себя одним из них. Однако его коробило, что Артур так бесцеремонно называет вещи своими именами.

Предположительно в былые дни аббатам платили жалованье. Даркура постоянно глодала мысль, что он не получает ни гроша, хотя выполняет обязанности секретаря фонда и вообще, как он это для себя формулировал, всячески пашет на благо фонда. Но он понимал: пока ему не платят, его независимости ничто не грозит. Независим, как свинья на льду, подумал он, — старые лоялистские онтарийские поговорки часто нежданно-негаданно всплывали у него в голове. Но если он не хочет, чтобы пострадала его университетская работа, придется пахать день и ночь — а он был из тех, кому необходима определенная доля творческого безделья, время на раскачку.

Творческое безделье — не для того, чтобы грезить или спать, но чтобы расставить информацию в голове наилучшим образом. Взять, например, жизнь Фрэнсиса Корниша: Даркур был уже в отчаянии. Он набрал массу фактов, потратил кучу

денег, чтобы провести лето в Европе и выяснить все, что можно, о жизни Корниша в Англии. Оказалось, что Корниш был кем-то там в английской контрразведке, но контрразведка не торопилась об этом рассказывать. Конечно, Фрэнсис сыграл важную роль в возвращении награбленных картин законным владельцам (насколько их удавалось установить). Но тут крылось что-то еще, и Даркуру никак не удавалось выяснить, что именно. Перед началом Второй мировой войны Фрэнсис чем-то занимался в Баварии: чем глубже Даркур копал, тем сильнее уверялся, что тут-то и зарыта собака, но ему никак не удавалось посадить эту собаку на цепь. В жизни Фрэнсиса Корниша зияла огромная дыра длиной лет в десять, и Даркуру нужно было ее заполнить. Один след (возможно, горячий) вел в Нью-Йорк, но как выкроить время для поездки и кто оплатит расходы? Даркуру уже надоело тратить деньги (по его меркам немалые) на добывание материала для книги, к которой Артур относился с явным пренебрежением. Даркур твердо решил написать хорошую книгу, насколько это в его силах, но он работал над ней уже год и чувствовал, что им откровенно пользуются.

Но почему он не мог взять и обрисовать по-

ложение, потребовать платы за свою работу, объяснить, что эта книга уже обошлась ему в большую сумму, чем он когда-либо надеется за нее получить? Потому что не хотел выставить себя в таком свете перед Марией.

Он знал, что ведет себя как дурак, притом жалкий. Любому человеку было бы неприятно сознавать, что он — жалкий дурак, секретарь подставного совета директоров, обремененный тяжелейшей задачей.

А теперь, значит, у Артура свинка! Любовь к ближнему требовала, чтобы Даркур испытывал подобающее случаю сожаление. Но непокорный бес, которого Даркуру так и не удалось в себе придушить, радовался при мысли, что у Артура яйца распухнут, как два грейпфрута, и будут зверски болеть.

Злободневные заботы неумолимо требовали внимания. Даркур потратил какое-то время на административные обязанности заместителя декана, побеседовал со студентом, у которого были «личные проблемы» (из-за девушки, разумеется), провел семинар по греческому языку Нового Завета и съел питательный, но скучный обед в столовой колледжа. Затем Даркур направился к зданию, которое остальному университету

казалось неприлично роскошным, — здесь располагалось отделение аспирантуры кафедры музыковедения.

Кабинет заведующего кафедрой был красив — современной красотой. Он приходился на угол здания, и две стены были полностью стеклянные: по замыслу архитектора они должны были открывать владельцу кабинета прекрасный вид на парк, простирающийся вокруг. К сожалению, стены также открывали проходящим мимо студентам прекрасный вид на заведующего, погруженного в работу — или, может быть, в творческое безделье. Поэтому завкафедрой прикрыл окна тяжелыми занавесями, так что в кабинете было темновато. Кабинет был большой; письменный стол завкафедрой казался меньше из-за соседства с роялем, клавикордами (завкафедрой специализировался на барочной музыке) и гравированными портретами музыкантов восемнадцатого века на стенах.

Уинтерсен, завкафедрой, был рад, что мисс Хюльда Шнакенбург получит деньги и в поддержку своей работы, и на проживание. Он разоткровенничался:

— Надеюсь, это решит сразу несколько проблем. Эта девушка — я буду звать ее Шнак, ее все так зо-

вут, и она вроде бы не возражает — чрезвычайно талантлива. Я бы сказал, что большего таланта на этой кафедре не припомню ни я сам, ни мои коллеги. Через нас проходят толпы студентов, из которых многие станут прекрасными исполнителями, а иные достигнут подлинного мастерства. Но Шнак — нечто гораздо более редкое: возможно, что она — истинно талантливый композитор. Но если она будет продолжать в том же духе, то рано или поздно это доведет ее до беды и, может быть, вообще погубит!

— Эксцентричность гения? — спросил Даркур.

— Нет, если вы имеете в виду живописные выходки и склонность изливать душу. В Шнак нет ничего живописного. Сколько лет я завкафедрой — и ни разу не встречал таких грязных, грубых сопляков с омерзительными манерами. А я всякого повидал, можете мне поверить. Что же касается души — боюсь, если вы употребите это слово в присутствии Шнак, она вас ударит.

— А что ее гложет?

— Не знаю. Никто не знает. Она происходит из образцово посредственной семьи. Родители совершенно заурядны. Отец работает часовщиком в большом ювелирном магазине. Тусклый, серый — как будто родился с лупой в глазу. Мать

— прискорбный ноль. Единственное, что их выделяет, — принадлежность к какой-то ультраконсервативной лютеранской секте. Они не переставая твердят, что дали дочери хорошее христианское воспитание. И кого же они вырастили? Анорексичку-неудачницу, которая не моет голову, да и вообще ничего не моет, огрызается на преподавателей и постоянно кусает кормящую руку. Но девица талантлива, и мы думаем, что ее талант — настоящий, большой, не однодневка. Сейчас она осваивает разные новейшие течения в музыке. Компьютерная музыка и алеаторика для нее уже пройденный этап.

— Тогда зачем ей работать над этими набросками Гофмана? Они кажутся чем-то совершенно устарелым.

— Это и нас всех интересует. Зачем ей нырять в прошлое на полторы сотни с лишком лет и доделывать незаконченную работу человека, которого обычно считают одаренным дилетантом? О да, Гофман написал несколько опер, и они были поставлены при его жизни, но, насколько мне известно, они весьма заурядны. В музыке он составил себе репутацию критика; он умно хвалил Бетховена раньше, чем кто-либо другой. Шуман был о Гофмане очень высокого мнения, а

Берлиоз его презирал — это в своем роде похвала наоборот. Гофман вдохновил множество людей гораздо талантливей его самого. Я бы все же назвал его литератором.

— А разве это плохо? Впрочем, я знаю его лишь по одной опере — ну знаете, «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Офранцуженный вариант трех его сюжетов.

— По странному совпадению, это тоже незаконченная работа; Гиро составил оперу из нот Оффенбаха после его смерти. Я ее не люблю.

— Конечно, вы специалист. А я простой оперный любитель, и мне она понравилась. Хотя она не везде продумана: в ней есть нечто ускользающее от большинства оперных режиссеров.

— Думаю, лишь сама Шнак может объяснить, зачем ей эта работа. Но мы, преподаватели, довольны, так как этот проект хорошо укладывается в картину наших музыковедческих исследований и мы сможем присвоить Шнак ученое звание. Оно ей понадобится. С ее характером ей жизненно необходимо набрать побольше солидных званий и дипломов.

— Вы хотите увести ее прочь от ультрамодерновой музыки?

— Нет-нет, я ничего не имею против совре-

менной музыки. Но для работы, которая будет засчитана как диссертация, нужно что-то более осязаемое. Может быть, работая над оперой, Шнак остепенится и хоть немного очеловечится.

Даркур решил, что сейчас самое время ознакомить завкафедрой с намерениями Фонда Корниша поставить новую оперу на театральной сцене.

— Боже! Они это всерьез?

— Да.

— А они вообще понимают, на что идут? Их затея может кончиться провалом, невиданным в истории оперного театра, — а это не пустые слова, скажу я вам. Я знаю, что Шнак не подведет, но материал может оказаться неблагодарным. Вы понимаете, о чем я: работа над оркестровкой, реорганизацией и прочим — это все косметическая хирургия, а ее возможности не безграничны. То, что поддержит фонд, и то, что можно создать на фундаменте, заложенном Гофманом, не обязательно привлечет публику.

— Фонд проголосовал в поддержку этого проекта. Вы же знаете, что эксцентричными бывают не только творцы; этим страдают и меценаты.

— Вы хотите сказать, что такова чья-то прихоть?

— Я ничего не говорил. Как секретарь фонда я сообщаю вам о его решении. Совет директоров фонда ознакомился со всеми факторами риска и все же готов вложить в этот проект существенные деньги.

— Да уж придется. Они хотя бы представляют, во что может обойтись полноразмерная постановка совершенно новой, никому не известной оперы?

— Они готовы вступить в игру. Но вам, конечно, придется следить, чтобы Шнак отработала эти деньги на совесть — в той мере, в какой у нее есть совесть.

— Они с ума сошли! Но я не намерен перечить чужой щедрости. Раз уж так легли карты, Шнак понадобится руководство на высочайшем возможном уровне. Авторитетнейший музыковед. Композитор не из последних. Дирижер, имевший дело с оперой.

— Три научных руководителя?

— Нет, всего один, точнее, одна, если мы сможем ее заполучить. Но с вашими деньгами, надеюсь, я ее уломаю.

Он так и не сказал, кого имел в виду.

## 3

Когда Артур заболел, Мария всю неделю не могла работать.

Обычно она была очень занята. Замужество на время оторвало ее от научной работы, но сейчас Мария вновь засела за диссертацию о Рабле. Правда, теперь ей, замужней женщине, эта работа казалась чуть менее срочной — но Мария не согласилась бы, что менее важной. Кроме диссертации, у Марии было множество дел, связанных с Фондом Корниша. Даркур думал, что тащит тяжелый воз, но и Мария несла свое бремя. Именно она первой читала все заявления о материальной помощи — утомительная, нудная работа. Кажется, все заявители хотели одного и того же — написать книгу, напечатать книгу, отредактировать рукопись, выставить свои картины, выступить с концертом или просто получить деньги, чтобы, как они неизменно выражались, «выиграть время» на воплощение этих проектов. Многие были вполне достойны поддержки, но совершенно не укладывались в концепцию фонда, каким его видел Артур. Марии приходилось писать вежливые письма каждому заявителю в отдельности с советом обратиться куда-либо еще.

Попадались, конечно, и мечтатели с размахом: один хотел запрудить и вычерпать Темзу, чтобы найти фундамент шекспировского «Глобуса»; другой намеревался установить полномасштабный фландрский карильон[273] в столице каждой из канадских провинций и учредить должность карильонера. Третьему нужна была материальная поддержка для написания серии картин, демонстрирующих, что многие великие полководцы были ниже среднего роста. Четвертый желал поднять из-под арктического льда какие-то недостоверно опознанные обломки кораблекрушения. Этих приходилось отваживать вежливо, но твердо. Относительно приемлемые случаи, а их было много, Мария обсуждала с Даркуром. Немногие предложения, которые могли понравиться Артуру, выуживались из общей массы и раздавались для ознакомления всем участникам Круглого стола.

---

**[273] Примечания: 273**

*Карильон* (*фр.* carillon) — 1) механический музыкальный инструмент, посредством часового механизма заставляющий ряд колоколов исполнять какую-либо мелодию; 2) колокольный многоголосный музыкальный инструмент западноевропейского происхождения, на котором играет карильонер. В XV–XVI вв. распространился на всем христианском Западе (Бельгия, Голландия). Ранее устанавливался на зданиях городских ратуш и церковных колокольнях, ныне стал помещаться и на отдельных, специально отстроенных архитектурных сооружениях башенного типа для использования его в качестве самостоятельного концертного инструмента.

Круглый стол был еще одной шуткой, которая не нравилась Марии. Конечно, совет директоров фонда собирался за круглым столом — красивым, старинным. Вероятно, лет двести-триста назад он служил «арендным столом»[274] в кабинете какого-нибудь управляющего имением. В квартире Корнишей этот стол лучше всего подходил для заседаний фонда. Поскольку за столом председательствовал Артур, Геранту Пауэллу пришла в голову шутливая ассоциация с легендами о короле Артуре. Герант много знал об артуровских легендах, хоть Мария и подозревала, что эти знания окрашены его живой фантазией. Именно Пауэлл настаивал, что решение Артура вести фонд по непроторенной дороге, руководствуясь чутьем, пропитано подлинным духом артуровских легенд. Пауэлл заклинал прочих директоров «бросаться в чащу леса там, где она всего гуще» и настойчиво повторял: *«là où ils la voient plus expresse»*[275] (он утверждал, что это на средневековом французском). Марии не нравилась

**[274] Примечания: 274**

*Арендный стол* — круглый стол, поддерживаемый широким деревянным основанием, в который вделаны ящички с названиями дней недели. Ящички служили примитивной картотекой для сбора арендной платы и хранения хозяйственных документов.

**[275] Примечания: 275**

Там, где они видят это наиболее явно *(фр.)*.

театральная аффектированность Пауэлла. Мария всю жизнь избегала аффектированности иного рода и, как истинный ученый, не доверяла слишком много знающим людям, не принадлежащим к миру науки (дилетантам, как называют их в ученом мире). Знания должны быть уделом тех, кто обращается с ними профессионально.

Иногда Мария спрашивала себя: неужели она вышла за Артура, чтобы заниматься такой бумажной работой? Но тут же отмахивалась от этого вопроса. Сейчас нужно выполнять именно эту работу, и Мария будет выполнять ее, как того, по-видимому, требует ее брак. Брак — это игра для взрослых, и правила ее у каждой пары свои.

Конечно, она как жена очень богатого человека могла стать «светской львицей». Но что это значило в такой стране, как Канада? Светская жизнь в ее старом понимании — визиты, чаепития, ужины, уик-энды, костюмированные балы — уже не существовала. Женщины, которым не приходилось работать, посвящали себя добрым делам. С живописью и музыкой связана масса утомительной нетворческой работы, которую профессионалы любезно передоверяют богатым добровольцам. Есть еще великая лестница сострадания, на которой общество располагает различные болезни в

соответствии с их социальным престижем. Светские дамы трудятся на благо увечных, хромых, слепых[276], больных раком, паралитиков, прочих калек и, конечно, страдальцев, пораженных новой модной хворью, СПИДом. И еще жертв общественного неустройства: избиваемых жен, избиваемых детей, изнасилованных девушек. Их как будто прибавилось за последнее время, а может быть, их крик о помощи стал лучше слышен. Подлинно светская дама демонстрирует неравнодушие к язвам общества и терпеливо продвигается вверх по лестнице сострадания, лавируя в сетях различных комитетов, советов, должностей вице-президента, президента и бывшего президента, губернаторских комиссий по расследованию. Порой многолетний труд светской дамы увенчивается орденом Канады. Время от времени светская дама и ее муж съедают неимоверно дорогой ужин в обществе равных им по положению людей, но ни в коем случае не для удовольствия. Это делается для сбора денег на какое-либо достойное дело или на «исследования».

---

**[276] Примечания: 276**

*Светские дамы трудятся на благо увечных, хромых, слепых…* — Ср.: «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых» (Лк. 14: 13) и «…пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых» (Лк. 14: 21).

Сто лет назад деньги точно так же собирали на поддержку заморских миссий. Обладание богатством влечет за собой ответственность, и горе богачу, который попытается ее избежать. Все это весьма достойная работа, но веселья в ней мало.

У Марии была вполне уважительная причина не крутить ступальное колесо благотворительности: Мария была научным сотрудником и занималась научной работой и таким образом оправдывала свое место на корабле общества. Но раз Артур серьезно заболел, Мария точно знала, что ей делать: она должна поддерживать мужа всеми доступными ей способами.

Она проводила у постели Артура все время, какое позволял распорядок больницы, и щебетала под молчание мужа. Он очень страдал, так как у него опухла не только челюсть; доктора называли это орхитом, и каждый день, когда медсестры не было поблизости, Мария приподнимала простыню и горевала над чудовищно разбухшими яичками. Опухоль причиняла Артуру сильную боль в паху и животе. Мария впервые увидела мужа больным, и от этого зрелища он стал ей по-новому дорог. Когда она была не с ним, она думала о нем — так много, что не могла работать.

Но мир не испытывает пиетета к подобным

чувствам. Марии нанесли визит, который ее сильно встревожил. Она сидела у себя в красивом кабинете — впервые в жизни у нее появился собственный отдельный рабочий кабинет, и она обставила его красиво, даже, может быть, чересчур. Вошла экономка-португалка и сказала, что с Марией хочет поговорить какой-то мужчина.

— О чем?

— Он не захотел мне сказать. Он говорит, что вы его знаете.

— Кто это, Нина?

— Ночной консьерж. Тот, который сидит в вестибюле с пяти вечера до двенадцати ночи.

— Если это связано с домом, пусть он обратится к мистеру Калдеру в конторе Корниш-треста.

— Он говорит, что по личному вопросу.

— Черт! Ну ладно, пусть войдет.

Мария не узнала вошедшего мужчину. Если не обращать внимания на униформу консьержа, он мог оказаться кем угодно. Он был маленький, не очень приятный с виду, все время как-то ежился, и Мария его сразу невзлюбила.

— Спасибо, что приняли меня, миссис Корниш.

— Простите, я не знаю вашего имени.

— Уолли. Я Уолли, ночной консьерж.

— А фамилия?

— Кроттель. Уолли Кроттель. Моя фамилия вам ничего не скажет.

— Зачем вы хотели меня повидать?

— Ну, не буду ходить вокруг да около. Я пришел насчет книги маво папки.

— Ваш отец подавал заявление в фонд по поводу книги?

— Нет. Он помер. Вы его знали. И книгу знаете. Маво папку звали Джон Парлабейн.

Джон Парлабейн покончил с собой чуть больше года назад и тем самым ускорил ухаживание и женитьбу Артура Корниша. Но, глядя на Кроттеля, Мария не находила в нем черт покойного Парлабейна — мощного костяка, большой головы, злокозненного ума, который светился в глазах и неминуемо привлекал к себе внимание. Мария слишком хорошо знала покойного Парлабейна и понимала, что нужно быть настороже. Парлабейн — англиканский монах-расстрига, полицейский осведомитель, торговец наркотиками, нахлебник человека, неприятнее которого Мария в своей жизни не встречала. Парлабейн, который вторгся в ее отношения с научным руководителем, — когда-то Мария надеялась, что этот научный руководитель, Клемент Холлиер, станет ее возлюбленным. Когда Парлабейн убил

своего мерзкого господина и сам покончил с собой, Мария решила, что избавилась от него навсегда. Она забыла слова Холлиера, который предупреждал: «Ничего не кончилось, пока все не кончилось». Книга Парлабейна! Здесь нужна была тонкая хитрость, а Мария боялась, что ей такой хитрости недостает.

— Я никогда не слышала, что у Парлабейна были дети.

— Об этом мало кто знает. Все из-за моей мамки. Ради мамки это держали в тайне.

— Вашу матушку звали миссис Кроттель?

— Нет, миссис Уистлкрафт. Она была супругой Огдена Уистлкрафта, великого поэта. Вы наверняка про него слыхали. Он уже давненько помер. Надо сказать, он хорошо ко мне относился, для приемного-то отца. Но не хотел дать мне свою фамилию. Понимаете? Не хотел, чтобы кругом него околачивались ненастоящие Уистлкрафты. Не от истинного семени, как он говорил. Потому меня вырастили под мамкиной девичьей фамилией — Кроттель. Как будто я ихний племянник. Сирота-племянник.

— И вы думаете, что вашим отцом был Парлабейн.

— Я знаю. Мамка проговорилась. Перед тем как

помереть, она мне сказала, что с Парлабейном с одним изо всех мужиков у нее бывал первоклассный организм. Я, конечно, извиняюсь за такое, но это ее подлинные слова. Она была очень эмансипированная и много говорила про организм. Уистлкрафту, видать, организм никак не давался. Наверно, у поэтов кишка тонка.

— Понимаю. Но о чем вы хотели со мной поговорить?

— О книге. Книге маво папки. Он написал большую, важную книгу и поручил ее вам, когда скончался.

— Джон Парлабейн оставил мне и профессору Холлиеру большой объем материала. И письмо оставил, когда покончил с собой.

— Да, но когда он отдавал богу душу, то наверняка не знал, что у него есть натуральный наследник. Я то есть.

— Послушайте, мистер Кроттель. Я вам сразу скажу, что Джон Парлабейн создал огромный, весьма несвязный философский труд. Чтобы хоть как-то оживить книгу, он добавил биографического материала. Но писателя из него не вышло. Эту книгу прочитали несколько знающих людей — точнее, прочитали, сколько смогли, — и сказали, что она не годится для публикации.

— Слишком откровенная, а?

— Не думаю. Скорее, слишком бессвязная и скучная.

— Ой-ёй-ёй, миссис Корниш, мой папка был мозговитый человек. Не говорите мне, что он написал скучную книгу.

— Именно это я вам и говорю.

— А я слыхал, что в ней было много всякого про разных важных людей, правительство, все такое — про ихние похождения в юности, и они не хотели, чтобы это стало всем известно.

— Я ничего подобного не помню.

— Это вы так говорите. Не хочу вас обижать, но, может, это заговор. Я слыхал, что много кто хотел эту книгу напечатать.

— Ее видели несколько издателей и решили, что она им не подходит.

— Жареные факты, э?

— Нет, просто издатели решили, что книги из этого не выйдет.

— У вас есть их письма, чтобы это доказать?

— Мистер Кроттель, ваша настойчивость неуместна. Слушайте меня: человек, которого вы безо всяких доказательств называете своим отцом, оставил машинописную копию книги непосредственно профессору Холлиеру и мне.

И у меня есть его письмо, где об этом говорится. Мы должны были распорядиться книгой по собственному усмотрению, и мы ею распорядились. Больше говорить не о чем.

— Я хочу видеть эту книгу.

— Это невозможно.

— Тогда мне придется принять меры.

— Какие меры?

— Законные! Я имел дело с законом и знаю свои права. Я наследник. Вы думаете, что крепко сидите, а это, может, вовсе и не так.

— Конечно, вы можете прибегнуть к закону, если считаете нужным. Но если вы надеетесь заработать на этой книге, то я могу сразу сказать, что вас ждет разочарование. Простите, наш разговор окончен.

— Хорошо. Будь по-вашему. Мой законный представитель с вами свяжется.

Кажется, Мария победила. Артур всегда говорил: если тебе угрожают законом, соглашайся, пусть подают в суд. Такие разговоры — как правило, блеф.

Но Мария была неспокойна. Когда вечером пришел Даркур, она приветствовала его давней фразой:

— Парлабейн вернулся.

Эхо слов, которые — с разной степенью огорчения — повторяли многие люди два года назад, когда Джон Парлабейн в монашеской рясе вернулся в университет. Многие помнили его, многие слыхали легенды о нем: блестяще одаренный философ, он задолго до того покинул университет в результате неблаговидной истории — старой и вечно новой — и некоторое время болтался по свету, хитроумно сея раздоры и нарушая закон. Он сбежал из английского монашеского ордена Священной миссии, и орден, судя по всему, не горел желанием заполучить его обратно. После бегства он всплыл в колледже Святого Иоанна и Святого Духа (неофициально именуемом «Душок»). Примерно через год он покончил с собой, оставив записку, в которой со смаком признавался в убийстве профессора Эркхарта Макварииша (чудовищно тщеславного человека с очень странными сексуальными вкусами). Мария, Даркур, Холлиер и многие другие надеялись, что Парлабейн окончательно отошел в историю. Но Мария не устояла перед искушением — открыть новую главу этой истории подлинно театральным жестом.

Даркур выказал подобающие случаю удивление и расстройство. Когда Мария объяснила, в

чем дело, он заметно успокоился.

— Решение простое, — заметил он. — Отдай ему рукопись книги. Она тебе не нужна. Пускай он сам убедится, что с ней ничего нельзя сделать.

— Не выйдет.

— Почему?

— У меня ее нет.

— Что ты с ней сделала?

— Выбросила.

Вот теперь Даркур по-настоящему ужаснулся.

— Что ты сделала?! — взревел он.

— Я думала, она уже никому не нужна. И бросила ее в мусоропровод.

— Мария! И ты еще называешь себя ученым! Ты что, забыла первую заповедь ученого: *никогда ни при каких обстоятельствах ничего не выбрасывать*?

— Зачем она мне нужна была?

— Вот теперь ты знаешь зачем! Ты сама связала себя по рукам и ногам и предала в руки этому человеку. Как ты теперь докажешь, что книга ничего не стоила?

— Если он пойдет в суд? Можно будет вызвать кого-нибудь из тех издателей. Они скажут, что книга никуда не годилась.

— Ну да, ну да. Могу себе представить. «Ска-

жите, пожалуйста, мистер Баллантайн, когда вы читали эту книгу?» — «А? Нет, я не читаю книги сам. Я отдал ее одному из своих редакторов». — «Прекрасно. И вам предоставили письменный отчет?» — «Нет. В этом не было необходимости. Редактор лишь просмотрела книгу и сказала, что это безнадежно. Как я и подозревал. Я, конечно, и сам заглянул в книгу, но мельком». — «Благодарю вас, мистер Баллантайн. Как видите, господин судья и господа заседатели, нет доказательств, что книга подверглась серьезному профессиональному рассмотрению. Разве шедевры жанра, именуемого *le roman philosophe*[277], можно оценить по достоинству при столь беглом знакомстве?» Каждого из твоих свидетелей-издателей будут по очереди вызывать для дачи показаний, и каждый раз тебе придется выслушивать один и тот же диалог. Адвокат Кроттеля может утверждать что угодно относительно книги: что это шедевр философской мысли, что это ядовитое обличение разврата в высших эшелонах власти. Абсолютно что угодно. Он скажет, что вы с Холлиером завидовали научным способностям Парлабейна и не дали ходу его книге под

**[277] Примечания: 277**
Философский роман *(фр.)*.

тем предлогом, что Парлабейн — сознавшийся убийца. Адвокат споет арию про Жана Жене, гениального писателя и преступника, и завяжет его вместе с Парлабейном розовыми бантиками. Мария, ты влипла по самые уши.

— От твоих разговоров мало толку. Что нам делать? Может, как-то избавиться от Кроттеля? Уволить его?

— Глупая! Ты что, не знаешь — наша удивительно подробная Хартия прав и свобод запрещает увольнять кого бы то ни было, особенно если этот человек отравляет тебе жизнь. Да адвокаты Кроттеля тебя распнут. Слушай, дитя мое, тебе нужно посоветоваться с самым лучшим законником, причем как можно быстрее.

— А где нам его искать?

— Пожалуйста, не говори «нам». Я не имею никакого отношения к этой передряге.

— Но ты же мой друг!

— Быть твоим другом — тяжелый труд.

— Понятно. Друг до первого дождя.

— Не капризничай. Конечно, я с тобой. Но должен же я излить душу. Между прочим, мне и без этой истории хватает забот — с этой проклятой оперой, которую затеял Артур. Она меня с ума сведет! Знаешь чего?

— Нет, что?

— Мы откусили слишком много и теперь не успеем разжевать. Мы обещали поддержать Шнак в работе над оперой. Я еще не встречался со Шнак лицом к лицу, но успел наслушаться всяких ужасов. И конечно, я решил посмотреть, что там в этих гофмановских бумагах. С этого надо было начинать, но Артур бросился вперед очертя голову. Так что я посмотрел. И знаешь чего?

— Послушай, что ты меня все время спрашиваешь, знаю ли я чего? Это очень неграмотно и недостойно тебя. Ну-ну, не обижайся. Так что?

— Сущая ерунда. В бумагах нет либретто. Там есть всего несколько слов, примерно описывающих текст, который должен соответствовать музыке. Вот.

— И что же?

— А то, что нам придется найти либретто. Или сочинить. Либретто в манере начала девятнадцатого века. И откуда мы его возьмем?

Мария решила, что пора доставать виски. Они с Даркуром предавались унынию и изливали свои беды глубоко за полночь. Мария выпила только одну рюмку, а Даркур — несколько. Ей пришлось вывести его на улицу и запихать в такси. К счастью, полночь уже минула и ночной консьерж

сменился с поста.

## 4

Симон Даркур плохо спал и проснулся с похмельем. Он стал ругать себя — гораздо суровей, чем это делал бы мирянин. Без сомнения, он слишком много пьет. Он отказывался называть это алкогольной зависимостью, как диктует современная социология. Он сказал себе, что становится пьяницей, а пьяница-священник — самый отвратительный вид пьяниц.

Оправдания? Да, конечно, он мог бы найти кучу оправданий. Фонд Корниша и святого до бутылки доведет. Вот ведь туполобая компашка подобралась! Причем во главе с Корнишем, которого финансовый мир считает таким идеалом осмотрительности. Но какие бы ни были у Даркура оправдания, он не должен стать пьяницей.

Эта история с якобы сыном Парлабейна может попортить много крови. Даркур кое-как проглотил завтрак — насильно заставляя себя именно потому, что пьяницы обычно не завтракают, — и позвонил знакомому частному детективу, который был ему кое-чем обязан. Симон мытьем и катаньем дотащил его способного сына до получения степени бакалавра. У детектива были

очень полезные связи. Потом Симон поговорил по телефону с Уинтерсеном, завкафедрой музыковедения, не подчеркивая своего беспокойства из-за отсутствующего либретто, но пытаясь осторожно выяснить, что знает об этом Уинтерсен. Завкафедрой не волновался. Возможно, соответствующие бумаги попали в другое место или были внесены в каталог под другим именем — скорее всего, под именем либреттиста, которым, по-видимому, был Джеймс Робинсон Планше. Ни завкафедрой, ни Даркур никогда не слыхали о Планше, но они кружили по рингу в привычной для ученых манере — каждый пытался выяснить, что знает другой. От их возни в воздух поднялось облако незнания, которое, что опять-таки характерно для ученых, их успокоило. Они договорились о времени встречи Даркура с мисс Хюльдой Шнакенбург.

Когда это время настало, Даркур и завкафедрой прохлаждались в многооконном кабинете минут двадцать.

— Сами теперь видите, — сказал Уинтерсен. — Ни от кого другого я бы ничего подобного не потерпел. Но как я вам говорил, Шнак — особый случай.

Особо неприятный, подумал Даркур. Наконец

дверь открылась, Шнак вошла и села, не дожидаясь ни приветствия, ни приглашения.

— Она сказала, что вы хотите меня видеть.

— Не я, Шнак, а профессор Даркур. Он представляет Фонд Корниша.

Шнак ничего не сказала, лишь полоснула Даркура взглядом — возможно, злобным. Ее вид не так выбивался из привычного ряда, как ожидал Даркур, но, несомненно, в кабинете завкафедрой она являла собой необычное зрелище. Дело было даже не в неряшливой и давно не стиранной одежде: многие студентки по модной идеологии того времени из принципа ходили в затрапезном и грязном. Немытость Шнак была не протестом против чего-либо, а настоящей грязью. Шнак выглядела чудовищно антисанитарной, больной и слегка сумасшедшей. Грязные волосы сосульками свисали на острую крысиную мордочку. Глаза почти закрылись — Шнак подозрительно щурилась, и от этого у нее на лице появились морщины в самых неожиданных местах, морщины, какие в наше время нечасто увидишь даже у древних старух. Грязный свитер когда-то принадлежал мужчине; на локтях вязка протерлась и распустилась. Свитер дополняли грязные джинсы — опять-таки грязные не модной грязью

бунтарской юности, в которой есть определенное кокетство. Джинсы Шнак были грязны по-настоящему, до омерзения: в паху расплывалось большое желтое пятно. Довершали картину поношенные кроссовки без шнурков, на босу ногу. Девушка была очень грязна, но не агрессивно грязна — не как обыватель, желающий своим видом сделать некое заявление. В ней не было ничего поражающего взгляд. Если можно так выразиться, она выделялась именно своей непримечательностью: встретив ее на улице, Даркур, скорее всего, не обратил бы внимания. Но, увидев, на кого фонд собирается поставить большие деньги, Даркур похолодел:

— Мисс Шнакенбург! Надо полагать, мистер Уинтерсен сказал вам, что Фонд Корниша обдумывает возможность представить на сцене обработанную вами оперу Гофмана?

— Зовите меня Шнак. Да. Психованная затея, но деньги ихние.

Голос был сухой, сварливый.

— Верно. Но вы понимаете, что ее невозможно будет осуществить без полного сотрудничества с вашей стороны?

— Угу.

— И фонд может на вас рассчитывать?

— Наверно.

— Директорам фонда потребуется более полная уверенность. Вы ведь все еще несовершеннолетняя?

— Не-а. Мне девятнадцать.

— Вы молоды для работы над диссертацией. Я думаю, что мне следует поговорить с вашими родителями.

— Без толку.

— Почему?

— Они ни хрена в этом не смыслят.

— В музыке? Я говорю об ответственности. Нам нужна какая-то гарантия, что вы выполните свои обязательства. Я хочу получить согласие ваших родителей.

— Они думают, музыкант — это тот, кто играет на органе в церкви.

— Но они согласятся на наш проект, как вы думаете?

— Откуда мне знать? Я только за себя отвечаю. Но если им пообещать денег, они, скорее всего, за них ухватятся.

— Мы собираемся выделить грант, который покроет все ваши расходы — на жизнь, на обучение, все, что может потребоваться. Вы примерно представляете, какая сумма вам понадобится?

— Я могу жить, не тратя ничего. Или завести какие-нибудь дорогие привычки.

— Нет, мисс Шнакенбург, этого вы не можете. Мы будем тщательно следить за расходами. По всей вероятности, я буду сам их контролировать, и при малейшем намеке на упомянутые вами дорогие привычки наше сотрудничество закончится.

— Шнак, вы же сказали мне, что оставили все эти глупости, — вмешался Уинтерсен.

— Да. В общем, оставила. У меня темперамент неподходящий.

— Рад слышать, — заметил Даркур. — Скажите — мне просто интересно, — вы бы стали работать над этим проектом, над оперой, если бы вам не дали гранта?

— Да.

— Но насколько я понимаю, вас интересуют самые современные направления в музыке. Откуда эта страсть к началу девятнадцатого века?

— Ну не знаю, оно меня вроде как зацепило. Все эти чудики.

— Ну хорошо, а что бы вы делали, если бы вам не дали гранта?

— Какую-нибудь работу. Все равно что.

Даркуру надоело ее равнодушие.

— Вы бы стали, например, играть на пианино в борделе?

Шнак слегка оживилась — впервые за всю беседу. Она расхохоталась — сухим, пыльным смехом:

— Проф, вы в каком году живете? Теперь в борделях нету пианино. Сплошной хай-фай и электроника. И девочки то же самое. Сходите как-нибудь, освежите память.

Важнейшее умение для преподавателя — не показывать студентам, что их оскорбления тебя задели. Надо выждать и сквитаться с ними, когда настанет удачный момент. Даркур продолжал невозмутимым, шелковым тоном:

— Мы хотим, чтобы у вас было время для работы над оперой, чтобы вы не беспокоились о заработке. Но вы все учли? Например, в этих бумагах нет ничего похожего на либретто.

— Это меня не колышет. Кто-нибудь пускай его найдет. Мое дело — музыка, и только музыка.

— А вам достаточно будет этих нот? Я не специалист, но, думаю, для завершения оперы на основе одних набросков и грубых планов нужна потрясающая страсть к своему делу.

— Вы — думаете?

— Да, я думаю. Позвольте вам напомнить, что

решение еще не принято. Если ваши родители вас не поддержат, если вы так равнодушны к деньгам и той пользе, которую они могут принести вашей работе, мы ни в коем случае не будем вам навязываться.

Тут вмешался Уинтерсен:

— Слушайте, Шнак, не будьте дурой. Это невероятный шанс для вас. Вы ведь хотите стать композитором? Вы мне сами говорили.

— Угу.

— Тогда советую понять вот что: Фонд Корниша и наша кафедра предлагают вам редчайший шанс, огромную ступень в карьере, способ привлечь к себе необходимое внимание. Многие великие музыканты прошлого отдали бы десять лет жизни за такую возможность. Еще раз повторю: не будьте дурой.

— Херня.

Даркур решил, что настало время для рассчитанной вспышки гнева:

— Знаете что, Шнак! Не смейте со мной так разговаривать. Помните, что даже Моцарту прилетало по заднице, когда он вел себя невежливо. Решайте. Нужна вам помощь или нет?

— Угу.

— Не угукайте. Нужна или нет?

— Да, нужна.

— Нет, я жду волшебного слова. Ну же, Шнак, — вы наверняка его слыхали когда-нибудь, ну хоть в далеком прошлом.

— Ну… пожалуйста.

— Вот это уже больше похоже на дело. И впредь продолжайте в том же духе. Я вам сообщу о нашем решении.

Когда Шнак ушла, завкафедрой не скрыл своей радости.

— Какое наслаждение! — сказал он. — Я уже давно хотел с ней так поговорить, но вы же знаете, нам нужно соблюдать осторожность со студентами: того и гляди накатают жалобу в попечительский совет. Но деньги все еще дают кое-какую власть. Где вы научились укрощать диких зверей?

— В молодости поработал на паре неблагополучных приходов. Шнак вовсе не так крута, как пытается нам внушить. Она недоедает, да и ест в основном всякую дрянь. Надо полагать, она когда-то принимала наркотики, а сейчас — я не удивлюсь, если она пьет. Но что-то симпатичное в ней есть. Если она гений, то это гений в полном соответствии с великой традицией романтизма.

— Я надеюсь.

— Думаю, Гофману она бы понравилась.

— Я мало знаю о Гофмане. Это не моя эпоха.

— Он весьма соответствует великой традиции романтиков. Он как писатель был одним из вдохновителей немецкого романтизма. Но в великой традиции романтиков есть аспекты, без которых в наше время лучше обойтись. Шнак придется это усвоить.

— А от Гофмана она этому научится? Он совсем не тот учитель, которого я бы для нее выбрал.

— А кого бы вы выбрали? Удалось вам заполучить того научного руководителя, которого вы хотели?

— Я буду завтра звонить ей за границу. Я постараюсь быть как можно более убедительным, а это может занять некоторое время. Надеюсь, счет за телефон я могу отправить вам?

Судя по этим словам, у завкафедрой был большой опыт работы с различными фондами.

## 5

Даркур знал, что вымученное у Шнак «пожалуйста» — лишь временная победа. Он на миг заставил непослушного ребенка слушаться, но это ничего не значило. Его сильно беспокоила вся история с «Артуром Британским».

Несмотря на все свои роптания, Даркур был верным другом и не хотел, чтобы первый же меценатский проект Фонда Корниша позорно провалился. Новости о грандиозной затее Артура непременно просочатся на свет — не через директоров фонда, а через самого Артура. Конечно, он не собирается выдавать информацию прессе, но самые худшие утечки информации — непреднамеренные. Артур брал на себя очень много: он открыто собирался сделать нечто такое, чего другие канадские фонды не делали; он отворачивался от традиционных объектов благотворительности и общепризнанно достойных дел. Если он потерпит неудачу, то раздастся даже не хор, а восьмиголосная оратория на слова «Мы же говорили» в исполнении благомыслящих граждан. Артур, совершенно не по-канадски, намеревался вложить большие суммы денег в зыбкую идею, призрак. Страна, жаждущая определенности, не простит ему этого. И не важно, что деньги, которые он раздает, его собственные: в эпоху, когда любые траты скрупулезно рассматриваются и безжалостно критикуются, любой намек на то, что частное лицо легкомысленно тратит большие суммы по своему усмотрению, приведет в ярость критиков, которые сами не

занимаются благотворительностью, но точно знают, как это надо делать.

Почему Даркур так беспокоился за Артура? Он не хотел, чтобы на Марию обрушился град общественного порицания и критики. Даркур все еще любил Марию и с благодарностью вспоминал, как она отвергла его ухаживания и взамен предложила дружбу. Он все еще страдал от свойственного влюбленным убеждения, что любимое существо можно и нужно уберегать от всяческих превратностей судьбы. В мире, где каждый должен получить свою порцию шишек, Даркур желал уберечь от них Марию. Если Артур желает встать к позорному столбу, Мария, как верная жена, добровольно встанет с ним рядом. Что тут поделаешь?

Человек, склонный к романтическому аспекту религии, не может полностью изжить суеверия, как бы ни притворялся, что они ему ненавистны. Даркур хотел получить подтверждение, что все хорошо, или недвусмысленное предупреждение, что дело плохо. Где можно это сделать? Он знал. Он решил посоветоваться с матерью Марии, зная, что Мария будет решительно против, — она пыталась освободиться от всего, что символизировала ее мать.

Пока что у нее не очень получалось.

Мария видела себя в первую очередь ученым, преданным науке, а не женой богача и не замечательной красавицей, чья красота провоцирует разные далекие от науки происшествия. Мария хотела обрести новую мать — Мать Кормящую, альма-матер, университет. Она не сомневалась, что ученость, научная работа помогут ей подняться над цыганской половиной своей крови и отвергнуть столь ненавистное цыганское наследство. Но мать стояла у нее на пути, как огромный камень.

Мать, мадам Лаутаро (после смерти мужа она вернулась к своей девичьей фамилии), занималась весьма уважаемым ремеслом лютьера, врачевателя больных скрипок, виолончелей, альтов и контрабасов; это была семейная профессия, о чем свидетельствовала фамилия семьи. Но, помимо этого, мать работала вместе со своим братом Ерко, человеком многих подозрительных талантов. Ерко не находил ничего особенного в том, чтобы собирать новые инструменты из обломков старых скрипок вперемешку с кусочками его и сестриной работы и подсовывать за старинные ничего не подозревающим людям. Мадам Лаутаро и Ерко нельзя было назвать заурядными

жуликами, просто в подобных вопросах у них не было никаких моральных барьеров. Истинные цыгане, аристократы этого многострадального и презираемого народа, они считали нормальным и обычным делом пользоваться любыми слабостями *гадже*[278]. *Гадже* хотят взять в плен и уничтожить их народ? Отлично; ну так они узнают, кто умнее. Мадам Лаутаро подделывала скрипки и воровала в магазинах, наслаждалась этой ловкой местью миру *гадже* и полагала, что образование для ее дочери — способ продолжить ту же битву иными средствами. Клемент Холлиер, научный руководитель Марии, хорошо понимал и ценил ее мать. Он считал ее восхитительной культурной окаменелостью, пережитком Средневековья, эпохи, когда неимущие ловко и хитро воевали с имущими. Но Мария вышла замуж за имущего, за адепта канадской денежной религии-морали, и не для того, чтобы обобрать его до нитки, а по любви. Мадам Лаутаро так и не поверила этому до конца. Неудивительно, что Мария старалась держаться как можно дальше от матери.

Но судьба с неумолимой иронией распоряди-

---

**[278] Примечания: 278**

*Гаджё* (*жен.* гаджи, *мн.* гадже) — не цыган *(цыг.).*

лась по-другому.

Не прошло и трех месяцев со свадьбы Артура и Марии, как дом мадам Лаутаро сгорел и мадам с Ерко остались без крова. Дом стоял в респектабельном квартале Торонто под названием Роуздейл и хранил внешнюю безупречную респектабельность со дней незапятнанно респектабельного и преуспевающего супруга мадам Лаутаро, поляка, *гаджё*, ныне покойного Тадеуша Феотоки. Стоило Тадеушу, богатому и респектабельному, умереть, как мадам (сперва шумно оплакав человека, которого любила не меньше, чем Мария — Артура) вернулась к своей девичьей фамилии и цыганскому образу жизни, единственному, который был ей родным. Они с Ерко изуродовали дом. Превратили его в лабиринт убогих комнатушек и поселили туда разных отчаявшихся людей, в основном старух. Жильцы платили за квартиры много больше настоящей цены, доверяясь мощной руке домовладелицы. Одна из этих старух, мисс Гретцер, девяностодвухлетняя девственница (которая, однако, притворялась, что ей всего восемьдесят восемь), однажды уснула с сигаретой в руке. Не прошло и часу, как мисс Гретцер обратилась в головешку, а мадам Лаутаро-лютьер и ее хитроумный брат

Ерко стали бездомными. Мадам вопила и причитала, что они к тому же остались нищими.

Но они отнюдь не остались нищими. Как только начался пожар, мадам и Ерко бросились в подвальную мастерскую, вытащили из стены два цементных блока, помчались в садик за домом и швырнули кожаный мешок с деньгами в декоративный пруд. Затем они заняли позицию перед домом и с наслаждением предались шумной скорби, вырыванию волос и прочим театральным приметам отчаяния. Когда пожарные залили последний уголек, брат и сестра извлекли мешок из пруда, помчались в роскошный пентхауз, где жили Артур с Марией, и принялись за работу. Они вытащили из мешка мокрые купюры большого достоинства и развесили для просушки, пришпилив к мебели и гардинам. Мадам Лаутаро и Ерко настояли на том, чтобы спать на полу в красивой гостиной, пока все до единой бумажки не будут высушены, проглажены и пересчитаны: они боялись, что деньги украдет Нина, экономка-португалка, открыто считавшая Лаутаро сбродом. Разумеется, с точки зрения португальской католички, они и были сбродом.

Нет, они отнюдь не остались нищими. Кроме наличных в мешке, у них было большое наслед-

ство Тадеуша, вложенное в фонд доверительного управления и приносящее солидный доход. И еще страховка. Для Ерко и мадам Лаутаро страховка была чем-то вроде пари: страховая компания билась об заклад, что дом не сгорит. Если дом сгорал, страховая компания проигрывала и попадала на деньги. К несчастью, перестроив красивый особняк в лабиринт меблированных комнатушек, Лаутаро не перестраховали дом как коммерческое предприятие; они продолжали платить низкие взносы, как за дом на одну семью. Страховая компания, чувствительная к подобным вопросам, пригрозила им судом за мошенничество. Артур был недоволен, но Ерко уговорил его не вмешиваться: цыгане разберутся своим, цыганским способом. Неужели крупная, могущественная финансовая компания станет преследовать и угнетать двух бедных цыган, ничего не смыслящих в хитросплетениях бизнеса? Конечно нет! Лаутаро пребывали в блаженной уверенности, что получат от страховой компании большие деньги. Но для цыгана любые деньги, которые нельзя пощупать, подобны обманному золоту фей, а пожар — неотвратимая, осязаемая катастрофа. Где приклонить голову двум бедным погорельцам?

Мадам выразила желание остаться на неопределенное время в пентхаузе, — по ее словам, там хватило бы места на целый табор. Но Мария наотрез отказала. Ерко придумал свой план: они с мадам Лаутаро могут снять древнюю конюшню, стоящую позади лавки его приятеля на Куинстрит-Ист. Конюшню легко приспособить под жилье, и в ней прекрасно разместятся скрипичная мастерская мадам и кузня самого Ерко.

Это могло оказаться приемлемым вариантом, но мадам Лаутаро посетила гениальная идея, осуществление которой, по словам мадам, должно было восстановить утраченное благосостояние семьи. Множество женщин, чей дар и в подметки не годился мадам Лаутаро, рекламировали свои услуги в качестве гадалок и ясновидящих, помогающих получить совет свыше. Кое-кто из них открыто обещал восстановление утерянной мужской силы. По слухам, бизнес процветал. Мадам презрительно назвала этих женщин мошенницами, но заметила, что если к ней приходят люди с деньгами в руках и прямо-таки требуют, чтобы их обманули, кто она такая, чтобы отказывать?

Даркур спросил: неужели она в самом деле готова проституировать свой немалый талант, предсказывая будущее за деньги? Мадам Лаутаро

ответила кратко и решительно.

— Никогда! — сказала она. — Никогда в жизни я не стану использовать свой дар для такой халтуры! Они у меня получат то же, что услышали бы от дешевой ярмарочной гадалки. Это будет мое хобби. У меня тоже есть гордость и понятие об этике — не хуже, чем у кого другого.

Но тут Артур взъерепенился. Как председатель совета директоров уважаемой финансовой компании, он не мог допустить, чтобы его теща держала гадальную лавчонку в сомнительном квартале. Артуру не понравились замечания коронера, который вел расследование смерти мисс Гретцер. Коронер весьма грубо прошелся по отсутствию надлежащих мер пожарной безопасности в доме, который он назвал трущобой, несмотря на элегантный внешний вид. Неужели мадам Лаутаро не с кем посоветоваться в подобных делах? Артур не присутствовал на заседании суда, но чувствовал, сидя в твердыне финансовой империи Корнишей, как острый взгляд коронера сверлит ему затылок. Поэтому Артур заявил, что сам найдет погорельцам жилье. К ужасу жены, он предложил ее родным квартиру в подвале многоквартирного дома, в котором жили сами Артур и Мария: так родичи будут у него перед глазами.

Холлиер нетактично указал Марии на почти мифологическую красоту этого решения. Она — на самом верху великолепного здания, открытая солнцу и воздуху; ее корни, самая основа ее бытия, — в основании, в глубинах того же здания. Дивное воплощение метафоры корня и цветка. Мария умела огрызаться и огрызнулась на Холлиера, когда он это сказал.

Но она привыкла. Мать и дядя не ходили в пентхауз — не потому, что им запрещали, а потому, что им там не нравилось: воздух наверху разреженный, еда нездоровая, заставляют все время сидеть на стульях, разговоры скучные, и Ерко даже не дают выпускать газы, так как они, видите ли, сильно пахнут. В общем, не место для людей, сколько-нибудь любящих получать удовольствие от жизни.

При следующем визите к Марии Даркур говорил о Шнак, но в мыслях его царила мадам Лаутаро. Он был ее любимцем, она уважала его как священника, хоть и несколько необычного. Она чувствовала, что в сердце у святого отца живет суеверие, и это роднило их. Но визит к сивилле следовало устроить очень тактично.

— Я тут начала изучать Гофмана, — сказала Мария. — Кто-нибудь из фонда должен представлять

себе мир, в который мы собираемся нырнуть.

— Ты читала его знаменитые «Сказки»?

— Да, некоторые. Музыкальные критические статьи я не стала читать, поскольку ничего не знаю о технической стороне музыки. Кое-что узнала о его жизни. Судя по всему, над этой оперой, «Артуром Британским», он работал как раз перед смертью. У него были просветы, когда ему становилось лучше, и тогда он требовал перо и бумагу и что-то делал, хотя его жена — она, кажется, была из совсем простых — не могла бы сказать, что именно. Ему было всего сорок шесть лет. Жизнь у него была тяжелая, он все время скитался, потому что Наполеон сильно осложнял жизнь людям вроде него: в смысле, не музыкантам или писателям, а юристам. Он был именно юристом и этим зарабатывал, когда подворачивалась возможность. Он пил — не то чтобы все время, но у него бывали запои. Он два раза был влюблен, оба раза несчастливо, и ни разу — в свою жену. И так и не добился признания как композитор, а именно этого ему хотелось больше всего на свете.

— Истинный романтик, судя по описанию.

— Не совсем. Не забудь, что он был законником. Весьма уважаемым судьей — когда Наполеон не

мешал. Думаю, именно потому его сказки так чудесны: все вокруг такое обыкновенное, и вдруг — бабах! — и ты в волшебном мире. Я сейчас пытаюсь осилить его совершенно невообразимый автобиографический роман, половина которого написана от лица кота, гадкого обывателя, презирающего все, что Гофману было дорого.

— Настоящего кота или человека в образе кота?

— Настоящего. Его зовут кот Мурр.

— Ах да, ты ведь читаешь по-немецки. Я-то нет. Так что же с его музыкой?

— Ее оценивают невысоко. Музыканты не любят дилетантов, а литераторы не любят тех, кто пересекает границы, особенно границу со стороны музыки. Если ты писатель, ты писатель. Если композитор — композитор. Перебежчиков не терпят.

— Но многие композиторы прекрасно писали.

— Да, исключительно письма.

— Давай надеяться, что музыка Гофмана лучше его репутации. А то Шнак попадет в хорошенькое положение, да и мы вместе с ней.

— Я подозреваю, что бедняга Гофман как раз собирался обрести музыкальный голос, когда умер. Вдруг эта опера окажется шедевром?

— Мария, ты небеспристрастна. Ты уже за Гофмана.

— А почему бы и нет? Кстати, я уже не зову его по фамилии. Его звали Эрнст Теодор Амадей Гофман. Он сам взял имя Амадей, потому что боготворил Моцарта. Получается Э.Т.А.Г. Я мысленно зову его ЭТАГ. Очень милое прозвище.

— ЭТАГ. Да, неплохо.

— Да. Тебе удалось что-нибудь раскопать про Кроттеля?

— Пока нет. Но мои шпионы рыщут повсюду.

— Поторопи их. Он нехорошо поглядывает на меня, когда я возвращаюсь по вечерам.

— Охранник и должен нехорошо поглядывать. А как он смотрит на Ерко?

— Ерко ходит через другую дверь, через черный ход, как вся обслуга здания. У них с мамусей особый ключ.

Даркур решил, что настала пора предложить визит к Лаутаро. Мария колебалась:

— Я знаю, это выглядит, как будто я ужасная дочь. Но мне не хотелось бы поощрять хождения туда-сюда.

— А что, было много хождений сюда? Нет? Тогда давай совершим хождение туда, ну хоть один раз. Мне ужасно хочется послушать, что твоя мать

скажет обо всем этом деле.

Мария еще немного помялась, и они спустились на лифте в самые глубины здания — в подвал, где стояли машины жильцов кондоминиума.

— Лира Орфея открывает двери подземного мира, — тихо сказала Мария.

— Что это? — спросил Даркур.

— Цитата из ЭТАГа[279].

— Правда? Интересно, в самом деле отворила? У нас в фонде нет музыкантов. Направляемся ли мы в подземный мир? Может быть, твоя мать нам скажет.

— Уж она точно что-нибудь скажет. По делу или нет — другой вопрос.

— Ты не права. Ты же знаешь, твоя мать — удивительно талантливая гадалка.

В зловещем свете, характерном для подземных стоянок, они прошли весь подвал насквозь, свернули за незаметный угол и постучали в безликую металлическую дверь. Она преграждала путь в неиспользуемую часть подвала, где архитектор собирался сделать спортзал и парилку, но пе-

---

**[279] Примечания: 279**

*Лира Орфея открывает двери подземного мира… <…> Цитата из ЭТАГа.* — Цитируется «Крейслериана» Э. Т. А. Гофмана. В переводе П. Морозова зд.: «Лира Орфея отворила врата ада». Мотив связи творчества с хтоническим миром — один из центральных в «Корнишской трилогии» Р. Дэвиса.

редумал.

Стук остался без ответа. Они забарабанили. Дверь чуть-чуть приоткрылась на цепочке, и голос Ерко в самом глубоком басовом регистре сказал:

— Если вы пришли по работе, воспользуйтесь входом на один этаж выше. Я вас встречу у двери.

— Мы не по работе, а по дружбе, — сказал Даркур. — Ерко, это я, Симон Даркур.

Дверь распахнулась. Ерко, в лиловой рубашке и вельветовых штанах, когда-то бывших алыми, по-медвежьи облапил Даркура в знак приветствия. Ерко был рослый мужчина впечатляющей внешности — с лицом большим, как одна из его скрипок, и цыганской гривой черных волос.

— Поп Симон! Мой очень дорогой друг! Входи, входи же! Сестра, поп Симон пришел. И твоя дочь, — добавил он подчеркнуто более холодным тоном.

Только Лаутаро могли превратить допотопный бетонный мешок, в высшей степени безличный и холодный, в подобие пещеры Аладдина — сочетание мастерской и хаоса человеческого жилья. Здесь воняло клеем, испарениями кузнечного горна, едой, залежавшейся вне холодильника,

смердели две шкуры енота, растянутые на стене для просушки, и дивно пахло драгоценным старым деревом. Некоторые из бетонных стен остались голыми — на них кто-то делал вычисления мелом и стирал их, поплевав на стенку. На других стенах висели восточные ковры. Над жаровней пылающих углей бдила мать Марии, сама *пхури дай*[280]. Она мешала что-то пахучее в сковородке. Дым от жаровни уходил по трубе, выведенной через окно прямо под потолком.

— Вы как раз к ужину, — сказала мадам Лаутаро. — Мария, достань еще две миски. Они в шкафу. Я готовлю *ринджу* с *пихтей*. Просто замечательно помогает от этого гриппа, который сейчас повсюду ходит. Ну что ж, дочь моя. Давненько я тебя не видела, но все же добро пожаловать.

Даркуру было странно видеть, как прекрасная Мария съеживается в присутствии матери. Уважение к родителям проявляется в самых разных формах. Мария вдруг стала цыганской дочерью, надевшей для маскировки дорогие современные одежды. Туфли она сбросила сразу, как вошла в квартиру.

Цыгане редко целуются, но Мария поцелова-

---

**[280] Примечания: 280**
Мудрая старуха, советница (*букв.* старая женщина; *цыг.*).

ла мать, и Даркур тоже поцеловал измазанную сажей руку мадам Лаутаро; он знал, что ей это приятно — напоминает о молодости, когда она была знаменитой венской цыганкой-скрипачкой.

Они стали есть *ринджу* с *пихтей* — это оказался рубец, вымоченный в очень крепком бульоне из свиных ножек и вполне съедобный. Даркур ел с большим аппетитом, как от него и ожидали: тому, кто пришел просить совета у оракула, не пристало воротить нос от угощения. За рубцом последовало что-то тяжелое, с творожным вкусом, под названием *савьяко*[281]. Даркур благодарил Бога за рюмку крепкой домашней сливовицы Ерко — от нее немело нёбо, но зато она прожигала дыры в этой еде, которая тяжелым грузом легла в желудке.

После того как они оказали надлежащее почтение богу гостеприимства, последовала получасовая беседа на общие темы. Если хочешь вопрошать оракула, отринь торопливость. Наконец настала пора Даркуру задавать вопросы. Он рассказал мамусе — именно так Мария звала свою мать — о Фонде Корниша; у нее было о нем

**[281] Примечания: 281**

*…что-то тяжелое, с творожным вкусом, под названием савьяко.* — Блюдо цыганской кухни, сладкий творожный пирог с сухофруктами.

лишь отдаленное и превратное представление.

— Да, да; это Блюдо изобилия, — сказала она.

— Блюдо изобилия — это просто шутка, — поправила Мария.

— Звучит не как шутка, — возразила мамуся.

— Да, это шутка, — сказал Даркур. — Так называется большое серебряное многоярусное блюдо, которое Мария ставит на стол, когда мы собираемся. В нем лежат всякие закуски — оливки, анчоусы, маринованные устрицы, сладости, печенья и все такое. Блюдом изобилия его в шутку прозвал один из директоров фонда. Он валлиец. Он говорит, что это блюдо напоминает ему валлийскую легенду про вождя, у которого на столе было волшебное блюдо; его гости могли просить у этого блюда чего угодно и получали просимое.

— Я слыхала ту же историю в других краях. Но это хорошее название. Разве ваш фонд не то же самое? Полное блюдо, из которого каждый может взять, что ему нужно?

— Мы об этом как-то не думали.

— У вашего валлийца, видно, есть голова на плечах. Вы — охранители изобилия, верно ведь? Все просто.

Может быть, чуточку слишком просто, подумал Даркур, вспомнив о том, что́ Блюдо изобилия

обещало Шнак. Он рассказал мамусе про незавершенную оперу, Шнак и свои сомнения, стараясь говорить как можно проще, чтобы она поняла. Он сделал распространенную ошибку — слишком упрощал свою речь, разговаривая с человеком хоть и не получившим формального образования, но очень умным и с развитой интуицией. Мария ничего не говорила — в присутствии матери ей полагалось молчать, пока ее не спросят. Мамуся переводила взгляд с дочери на Даркура и обратно и — в своей системе представлений — хорошо поняла их; они и не догадывались, насколько хорошо.

— Значит, вы хотите знать, что случится. И думаете, что я могу вам рассказать. Вам не стыдно, а, отец Даркур? Вы не настоящий католик, но все же в своем роде священник. Разве Библия не велит вам держаться подальше от таких, как я?

— Библия в нескольких местах предостерегает против тех, кто вызывает мертвых, против волшебников[282] и чародеев, шептунов и веща-

**[282] Примечания: 282**

*Библия в нескольких местах предостерегает против тех, кто вызывает мертвых, против волшебников…* — «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев. 19: 31).

телей[283]. Но мы живем в падшем мире, мадам Лаутаро. В прошлый раз, когда я зашел к своему епископу, у него был финансовый консультант — епископ советовался с ним по поводу церковных инвестиций. Он не смог меня принять, потому что говорил с консультантом, который шептал и вещал ему про рынок облигаций. Если, обратившись к вам за советом, я ставлю под угрозу спасение души, я с радостью заплачу эту цену.

Итак, мамуся достала карты Таро из красивой черепаховой шкатулки и ловко перетасовала их. Ловко, но осторожно, потому что это была прекрасная старинная колода, уже ветшающая от старости.

— Думаю, следует сделать расклад на девять карт, — сказала мамуся.

По ее просьбе Даркур снял колоду, в которой мамуся оставила одни только фигурные карты. Сначала он отложил в сторону четыре карты лицом вниз; потом положил верхнюю карту посреди стола. Это оказалась Императрица, повелительница мирского богатства, сильная

**[283] Примечания: 283**

*…чародеев, шептунов и вещателей.* — «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» (Ис. 8: 19).

карта, хорошая основа для гадания. Следующая карта, которую вытянул Даркур, легла слева от Императрицы: это была Сила, красивая дама, побеждающая льва, — она раздирала ему пасть, явно без особого напряжения. Над Императрицей положили Влюбленного — проницательная мамуся заметила, как переменилась в лице Мария при виде этой карты. Следующей картой — ее положили справа от Императрицы — была Папесса, Великая Мать. При виде последней карты, место которой было под Императрицей, Даркур дернулся — это оказалась Смерть, ужасный скелет, разящий косой человеческие тела. Даркур терпеть не мог эту карту. Он заколебался.

— Кладите-кладите, — сказала мамуся. — Не бойтесь ее, пока не узнаете, что она значит. Теперь переверните карты-оракулы.

Это были те четыре карты, что он отложил в самом начале. Ими оказались, по порядку, Разрушенная Башня, Страшный Суд, Отшельник, и последним шел Дурак.

— Как вам это нравится? — спросила мамуся.

— Совсем не нравится.

— Не пугайтесь только оттого, что в раскладе темные карты. Посмотрите на Императрицу — она вытаскивает вас, мужчин, из любых передряг,

в которые вы способны влипнуть. У вас подобрался очень женственный набор, и это хорошо, потому что мужчины постоянно все запутывают и портят. Посмотрите на Силу: разве это грубая, мужская сила? Нет! Это непреодолимая сила, и ее хозяйка владеет этой силой не потому, что она — мужчина, вот что я вам скажу. А эта Верховная Жрица, Папесса. Как вы думаете, кто она? Да, вы вытащили отличные карты.

— Я не могу спокойно видеть эту Смерть.

— Бросьте! Все боятся карты Смерти, потому как не хотят думать, что она означает. Но вы — священник! Разве Смерть не значит преображение, перемену? Она превращает все сданные карты в нечто иное — в нечто лучшее, как вы сами же говорите своей пастве. А посмотрите на свои карты-оракулы. Башня — значит, кто-то упадет; странно будет, если этого не случится, судя по тому, что вы мне рассказали про свой фонд. И Страшный Суд. Кто его избежит? Но посмотрите на Отшельника. Это человек, живущий в одиночку. Похоже, что это вы, отец Симон! А самая сильная карта — Дурак! Какой его номер в колоде?

— У него нет номера.

— Конечно нет! Дурак — это ноль! А что такое

ноль? Это власть, нет? Поставьте ноль рядом с любым числом, и оно вмиг увеличится в десять раз. Это мудрый джокер, влияющий на весь остальной расклад, и он находится на месте высочайшей силы. Вашим раскладом управляют Императрица и Дурак, а поскольку на первом месте среди карт-оракулов стоит Разрушенная Башня, это, скорее всего, предвещает много… как вы это говорите? Кубарем? Кверху дном? Много переворотов и кувырков…

— Вверх тормашками, — подсказала Мария.

— А есть такое слово?

— Вверх тормашками — это очень похоже на правду, — сказал Даркур.

— Не бойтесь этой судьбы! Полюбите ее! Обнимите ее! Вот как надо обращаться с судьбой. Вы, *гадже*, вечно чего-то боитесь.

— Я спрашивал вас не о своей собственной судьбе, мадам, но об успехе начинаний фонда. Его директора — мои друзья, и я беспокоюсь за них.

— Нечего беспокоиться за других людей. Они сами о себе позаботятся.

— А вы не собираетесь толковать мою колоду?

— Зачем? Кажется, все и так ясно. Вверх тормашками. Мне нравится это слово.

— А как вы думаете… может быть, Императри-

ца, женщина-хранительница, — это Мария?

Мамуся разразилась смехом, что бывало с ней редко. Это был не зловещий смех ведьмы, а глубокий, грудной хохот. Если Даркур ждал, что мать отождествит свою дочь с фигурой, обладающей хоть какой-то властью, он сильно ошибался.

— Если я постараюсь объяснить, я только все запутаю, потому что я сама не уверена. Ваш Дурак-ноль — это может быть сам ваш Круглый стол. Дураком-нулем может быть мой зять; конечно, я его люблю, но он может стать Дураком-нулем с тем же успехом, как и любой другой человек, если будет слишком заноситься. А Великая Мать, Верховная Жрица, — это может быть ваше Блюдо изобилия, которое раздает дары… но справится ли она с этой ролью? Не знаю. Может, это кто-то совсем другой, новый человек в вашем мире.

— А Влюбленный, — может быть, это Артур? — спросила Мария и с ужасом поняла, что краснеет.

— Ты хочешь, чтобы это оказался он, но карта лежит в неправильном месте. Влюбленных кругом полно — для людей, чьи мысли устремлены к любви.

Даркур был разочарован и обеспокоен. Он множество раз слышал, как мамуся объясняет

расклад карт, и она впервые была так скупа на слова, так неохотно говорила о том, что видит, что чувствует, что подсказывает ее интуиция. Мамуся очень нечасто просила другого человека раскладывать карты: значит ли это что-нибудь? Даркур уже начал жалеть о том, что попросил Марию привести его в подвальный табор. Но раз уж попросил, то ожидал услышать что-нибудь обнадеживающее — хоть самую малость. Он говорил, упрашивал, и наконец мамуся чуточку смягчилась:

— Вам нужно хоть что-то, да? Какая-то точка опоры? Наверно, вы в своем праве. Если бы я вытащила такой расклад для себя, я бы очень береглась с тремя вещами. Во-первых, будьте осторожны, давая деньги этой девочке.

— Шнак?

— Ужасное имя. Да, ей. Вы сказали, что она очень талантливый музыкант. Я много знаю про музыкантов; я и сама музыкант. Меня просто обожали в Вене, до того как я вышла замуж за отца Марии. Я пела, играла на скрипке и цимбалах, танцевала. Я покорила сотни сердец. Богатые мужчины дарили мне драгоценные камни. Бедные — то, что было им не по карману. Я бы много могла порассказать…

— Хватит молоть языком! — сказал Ерко, неустанно подкрепляясь сливовицей. — Поп Симон не для того пришел, чтоб слушать твою похвальбу.

— Да-да, мамуся, — вставила Мария. — Мы все знаем, какая ты была замечательная до того, как стать еще замечательнее, то есть как сейчас. Ты все еще могла бы разбивать сердца, если бы хотела быть жестокой. Но ты не хочешь быть жестокой, милая наша матушка. Не хочешь.

— Нет-нет, — подхватил Даркур. — Вы приняли и приветствовали удел *пхури дай*. И стали мудрейшей женщиной, чья мудрость — великая опора для всех нас.

Лесть помогла. Мамусе нравилось, когда ее называли мудрой старухой, несмотря на то что ей было едва за шестьдесят.

— Да, я была замечательная. Может быть, сейчас я еще замечательнее. Я не стыжусь говорить правду о себе. Но что касается Шнак… держите ее на коротком поводке. Всякие там фонды погубили многих художников. Художникам нужно работать. Их талант расцветает в голоде и разрухе. Так что не допускайте, чтобы эта девочка пошла на улицу, но и не топите ее талант в деньгах. Держите ее на коротком поводке. Будьте осторожны,

чтобы Блюдо изобилия не превратилось в орудие уничтожения.

— А второе?

— Это мне совсем неясно, но мне кажется, что какие-то старые люди, мертвые люди, хотят сказать что-то важное. Люди странного вида.

— А третье?

— Не знаю, следует ли мне об этом говорить…

— Прошу вас, мадам.

— Это не имеет отношения к картам. Это что-то такое, что пришло ко мне само. Эта третья весть очень, очень сильная: она пришла, когда вы дрожали над картой Смертью. Наверно, мне не следует ее открывать. Может, это была весть для меня, а не для вас.

— Умоляю! — сказал Даркур. Он знал: старая провидица просто хочет, чтобы ее хорошенько попросили.

— Ну ладно. Вот оно: вы собираетесь пробудить маленького человечка.

Мамуся была гениальным драматургом; этими словами она дала понять, что занавес опустился. После многих выражений благодарности, изумления, преувеличенных похвал — с мамусей можно было не опасаться, что хватишь лишку, — Даркур и Мария вернулись в пентхауз, к

бутылке виски, из которой аббат выпил больше, чем намеревался, хотя и меньше, чем желал бы.

Что бы там ни говорила мамуся, он ненавидел карту Смерть, она испортила ему весь расклад. Он знал, что это глупо. Если бы предсказание было радужным, он радостно принял бы его, но в глубине души снисходительно презирал бы и Таро, и цыганские пророчества. Полностью поверить в радужное будущее было бы не по-канадски, а также недостойно христианского священника. Но теперь, когда карты напугали его, он в глубине души думал, что свалял дурака, решив изобразить царя Саула и обратившись за советом к чародеям и волшебникам, шептунам и вещателям. А так как он христианский священник, то заслуживает кары за свою глупость. И уже несет эту кару.

Три непонятно откуда взявшихся пророчества понравились ему еще меньше. Он не верил, что художников надо держать на голодном пайке. Толстые коты охотятся лучше тощих. Разве не так? Бедность никому не на пользу. Верно ведь? А что до вести, которую хотят принести люди странного вида, он вообще ничего не понимал.

А… пробуждение маленького человечка? Что это за человечек?

Маленьким человечком, которого он знал луч-

ше всего, был его собственный пенис — именно так эту часть тела называла мать Даркура. Всегда держи человечка в полной чистоте, милый. Потом, когда он уже был студентом семинарии, его приятели звали эту часть тела «стариком» или «ветхим», намекая на Ветхого Человека, или Ветхого Адама, которого Новый, Искупленный Человек должен был изгнать. Как холостяк, чей сексуальный опыт был неглубоким и эпизодическим для человека его возраста, Даркур страдал оттого, что его «человечек» часто напоминает о себе — знак того, что он уделяет недостаточно внимания этой стороне своей натуры.

Его физическое влечение к Марии никогда не было всепоглощающим, но саднило, не давая о себе забыть. При встрече она целовала его — он почти что не хотел этих поцелуев, ибо они будили в нем запретную жажду. Но ведь в тот день, когда он сделал Марии предложение, они договорились быть друзьями. Тогда это имело для него глубочайшее значение, и дружба с Марией стала одним из источников, питающих его жизнь. Но он сознавал, что в ней есть и фарсовая сторона. «Мы просто друзья». Именно так говорят люди в интервью для газеты, когда отрицают обвинения в любовной связи. О невыносимая пытка! О по-

хоть, жгучая, словно адское пламя, — правда, не настолько сильная, чтобы пристрелить Артура и увезти Марию в любовное гнездышко где-нибудь на Востоке. О комедия священства, которое требует от людей столько неестественного, но не дает сил на то, чтобы изгнать мирские похоти! О, как ужасно быть профессором-преподобным Симоном Даркуром, заместителем декана колледжа Плоурайт, преподавателем греческого языка, членом Королевского общества, а в самых важных областях жизни — полным идиотом!

«Вы собираетесь пробудить маленького человечка». Мать Марии видела его насквозь, как стеклянного. Позорище! О погасшая лампа и неплодное чрево![284] О адские муки!

## 6

## ЭТАГ в чистилище

*«Вы собираетесь пробудить маленького человечка». Как будто он когда-либо спал! Ничего*

---

**[284] Примечания: 284**

*О погасшая лампа и неплодное чрево!* — Цитируется стихотворение английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889) «Статуя и бюст» (1855):

*Я обвиняю каждый тщетный призрак*
*В погасшей лампе и неплодном чреве…*

*Перев. Д. Никоновой*

*подобного, этот человечек глаз не смыкал в чистилище. С самого мига моей смерти я знал, что люди читают написанное мною о музыке, время от времени слушают постановки моей «Ундины», лучшей из моих завершенных опер, и не забывают мои волшебные сказки, в которых, по словам критиков, повседневное мешается с фантастическим. Маленький Человечек уж точно не страдает от забвения читателей и зрителей.*

*Я многого достиг за свою жизнь — больше, чем средний человек. Но не успел закончить одну вещь, которую следовало закончить. Это — моя опера «Артур Британский», по которой даже полному тупице стало бы ясно, что я уже не подмастерье композитора, а полноправный мастер, создавший работу, которая дает право называться мастером. Не хуже, а пожалуй что и лучше самых лучших работ моего доброго друга Вебера. Но судьба распорядилась иначе: я едва наметил костяк будущей оперы, как смерть скосила меня; я перестал существовать, отошел к праотцам, убрался на тот свет, и не вдруг, а после продолжительных неприятных ощущений. Честно признаю, что это моя собственная вина. Я жил неосмотрительно. Слишком охотно развязывал кошелек, изображая знатного человека за счет*

*своего здоровья и талантов. Итак, моя жизнь безвременно прервалась, и оттого я ныне нахожусь в чистилище, в той его части, что уготована художникам, музыкантам и литераторам, так и не достигшим полного расцвета своего дара. Они, так сказать, недоварились. Чистилище. Не худшее место из всего, что ждет человека за гробом, ибо здесь он свободен от цепей пространства и времени и обладает определенными способностями, а также, как бы это выразиться, некоторым посмертным влиянием.*

*Но все же не буду ходить вокруг да около: здесь, в чистилище, — скука смертная. Но мне ли жаловаться? Моя судьба не из худших. Здесь есть художники, ученые и писатели, о которых никто не вспоминал последние две тысячи лет. Они счастливы, если какой-нибудь соискатель звания кандидата наук наткнется на их труды и радостно ухватится за них как за материал, еще никем не залапанный и не исчерпанный. Скучнейшей кандидатской диссертации (а это, я вам скажу, не фунт изюму) может хватить, чтобы художник освободился из чистилища и пошел дальше — мы точно не знаем куда, но надеемся на лучшее, ибо для таких, как мы, людей творчества скука уже достаточное мучение. Когда мы как истинные*

*чада Церкви (во всяком случае, некоторые из нас) при жизни слушали проповеди, нам рассказывали про грешников, которые поджариваются на раскаленных углях или стоят голыми на ледяном сибирском ветру. Но мы не грешники. Мы лишь художники, которые не завершили свой земной труд по той или иной причине и теперь должны ждать, пока нас не искупит или хоть как-то не оправдает человеческое восприятие. Небесное восприятие, судя по всему, как раз и привело нас в чистилище — мы не свершили то, что могли, а это грех особого рода, хотя, как я уже сказал, и не самого худшего.*

*Может, это и есть мой великий шанс? Неужто странная девица Шнак станет моей избавительницей? Но не следует возлагать на нее слишком большие надежды. Я уже однажды совершил такую ошибку — уж не помню, сколько лет назад, — когда один забавный тип, франко-немецкий еврей Жак Оффенбах, взял несколько моих сказок за основу своей последней оперы, «Сказки Гофмана». (Спасибо тебе, Жак, что прославил мое имя.) Оказалось, однако, что этой работы недостаточно для избавления из чистилища. Да, мелодии красивые, и оркестровка неплохая (слава богу, что Жак не дал себе увлекаться большим*

*барабаном). Но Оффенбах слишком много занимался оперой-буфф, и теперь настоящая опера его не удовлетворяла. И еще у него слишком много французского юмора, а это бывает фатально для музыки. Когда я пишу музыку, я всегда держу свое чувство юмора под замком, хотя мой немецкий юмор умнее и глубже французского юмора Оффенбаха. После смерти понимаешь, каким предательски опасным может оказаться юмор для серьезных вещей, если он не шекспировский и не раблезианский. Я рад видеть, что у девицы Шнак вовсе нет чувства юмора. Однако у нее приличный запас презрения и насмешки, что сходит за юмор для людей недалеких.*

*Неужели это мой великий шанс? Я должен сделать все от меня зависящее, чтобы ей помочь. Я буду стоять за плечом Шнак и подталкивать ее в нужном направлении, насколько смогу. Значит, эти чудики ее «зацепили»? Надо полагать, она говорила про чудиков вроде Вебера и Шумана. А как же восхитительно здравомыслящий Моцарт, в честь которого я взял свое третье имя? А вдруг Шнак откусила кусок, который ей не под силу прожевать? Ей понадобится удача. Без удачи, на основе моих торопливых заметок у нее получится неудобоваримое месиво. Я должен стать*

*удачей Шнак. Ей очень сильно повезет, если она не найдет то ужасное либретто, в котором этот осел Планше собирался сделать из «Артура» черт знает что, и сделал бы, если бы я не умер. У него та же беда, что и у Оффенбаха, — слишком много юмора, в его случае — английского. Он слишком хорошо знает, что «пойдет» в театре, то есть что «пошло» в прошлый раз и уже начинает надоедать публике. Я вновь благодарю Бога за то, что Шнак ничего не знает о театре и напрочь лишена чувства юмора. Если вообще возможно уберечь ее от этих двух зол, я ее от них уберегу.*

*Может, я действительно умер для того, чтобы спасти свою оперу от ужасного либретто Планше? Я и по сию пору не знаю ответа на этот вопрос. Есть пределы тому, что знает человек о собственной жизни, даже находясь в чистилище.*

*Почему старуха-предсказательница сообщила этому доброхоту Даркуру и своей прекрасной, но мало понимающей дочери, что они будят маленького человечка, так, как будто это что-то нежелательное? Я очень рад, что меня разбудили таким образом. К счастью, Даркур, эгоцентричный осел, решил, что старуха имеет в виду его писюн. А вдруг она знает что-то такое, чего не знаю я в моем положении? Возможно ли это?*

*Бог свидетель, я полностью пробудился и не усну вновь, пока не увижу, чем все это кончится. А затем, если моя удача позволит мне стать удачей Шнак, я, может быть, обрету шанс на вечный сон — моя работа будет завершена.*

# II

## 1

Пока преподаватели Шнак собирались в большом зале кафедры музыковедения, чтобы посмотреть фильм «После бесконечности», Даркур много нового узнал о Хюльде Шнакенбург и был удивлен услышанным. Ее хамство, обращенное к Уинтерсену, никак не проявлялось в учебе. Преподаватели неохотно признали, что она выполняет их задания на отлично. «Калякая на замызганных бумажках?» — спросил Даркур, вспоминая письмо Шнак фонду. Отнюдь нет; оказалось, что выполняемые Шнак задания образцово чисты и написаны четким и даже — преподаватели чрезвычайно неохотно использовали это слово — элегантным почерком. Почти что образцы музыкальной каллиграфии. Шнак достигла многого в изучении гармонии, контрапункта и анализа. Преподаватели признали, что ее экскурсы в электронную музыку, эмбиент, конкретную музыку и вообще любые шумы, которые можно извлечь из любого необычного источника, весьма изобретательны — когда их удается отличить

от обыкновенного уличного грохота.

Они даже согласились, что у нее есть чувство юмора, хотя и не очень приятное. Шнак вызвала сенсацию своей серенадой для четырех теноров с гортанями, стянутыми скотчем почти до удушья; некоторые преподаватели даже осторожно одобрили это произведение, не заметив, что оно исполнялось первого апреля. Все единодушно считали манеры Шнак ужасными, но обучение студентов хорошим манерам не входило в задачи кафедры музыковедения. Однако, по общему согласию, Шнак чересчур много себе позволяла. Один преподаватель, еще помнящий древние постановки мюзик-холла, спел прямо в ухо Даркуру:

*Слова-то недурны, мой свет,*
*Но тон ужасен, спору нет.*

Знаний и умений Шнак более чем хватило для получения степени магистра. Репутация упрямой ослицы и хамки не помешала ей окончить учебу, хотя и стяжала неприязнь и даже страх со стороны отдельных преподавателей.

Как и можно было ожидать, Шнак не явилась в академической шапочке и мантии в актовый зал университета, чтобы принять свой диплом

магистра из рук ректора. Все подобные церемонии и предложения пройти любые *rite de passage*[285] она отвергала, припечатывая своим любимым словечком «херня». Зато немедленно принялась готовиться к работе над диссертацией и с сентября начала ходить на семинары «Романтические мотивы в опере девятнадцатого века», «Классические методы композиции» и «История исполнительского искусства». К началу семестра она успела проработать больше литературы, чем большинство ее соучеников собирались прочитать за весь год. Она с головой ушла в обязательную работу по теории музыки и композиции — у другого человека это выглядело бы как любовь к своему делу, но в исполнении Шнак больше напоминало яростный религиозный фанатизм.

В дополнение к немалой учебной нагрузке Шнак успела написать музыку к фильму «После бесконечности». Зрительный зал наполняли студенты, изучающие театр, кино и всяческие проявления авангарда. Автором сценария и режиссером фильма был всеобщий кумир, гениальный студент; от фильма ожидали великих

---

**[285] Примечания: 285**
Обряд перехода *(фр.)*.

откровений. Диалогов в нем не было — создатель фильма желал воспроизвести непосредственность раннего немого кино и избежать любого осквернения литературщиной. Однако музыка в фильме была, ибо Чаплин разрешал сопровождать фильмы музыкой, особенно той, которую он сам написал. Студент-гений не умел писать музыку, но угадал в Шнак родственную душу, и она создала нужный для фильма аккомпанемент. Она отвергла синтезатор и написала музыку для рояля со струнами, обмотанными пергаментом, блокфлейты, хитроумно накрытой жестяной лоханью, и простейшего из инструментов — расчески, обернутой папиросной бумажкой. Вместе выходило смутно мелодичное, но несфокусированное жужжание, прерываемое взвизгами. Все согласились, что это чрезвычайно усиливает эффект фильма.

Создатель фильма с презрением отозвался о качестве сценариев, которое он назвал «линейностью». Его фильм двигался скачками и делился на несвязные куски; зрителям приходилось в меру своих сил догадываться, что происходит. Это было несложно. Человечество стояло на грани катастрофы: утечка радиации сделала всех, мужчин и женщин, бесплодными. Что же будет с

человеческим родом? Удастся ли найти беременную женщину, чье дитя, может быть, избежало проклятия и не стало бесплодным? А если женщине удастся доносить и родить ребенка, чем его выкормить? У матери, очевидно, — во всяком случае, создателю фильма это было очевидно — не будет молока, или же оно станет источником яда. Может ли мужчина выкормить ребенка, если от этого зависит судьба человечества? Для получения ответа зрителям показали несколько эпизодов, в которых друзья режиссера — мужчины — самоотверженно пытались извлечь молоко из плоских, мало что обещающих сосцов. У одного или двух это получилось (молоко удачно имитировали кремом для бритья). Но вдруг выяснилось — часть сюжета, в которой это выяснялось, сочли недостойной для съемок и показа на экране, — что одной фертильной женщине удалось избежать ядерного проклятия. Она оказалась простодушным дитятей двенадцати лет (эту роль играла дочь квартирной хозяйки режиссера). Ей предстояло взять на себя задачу продления человеческого рода, если еще найдется мужчина, способный ее оплодотворить. Поиск фертильного мужчины был показан панорамами огромных пустых равнин и длинными коридорами, где

эхом отдавались шаги невидимых искателей (Шнак ловко изобразила шаги с помощью двух половинок кокоса). Показали и отчаяние Великого Мудреца (его играл добрый друг режиссера, выдающийся человек, по необъяснимой причине решив, что для этой роли нужен сюртук и шейный платок) — он должен был объяснить двенадцатилетней девочке, что такое секс и что ей предстоит сделать. Лицо девочки, изумленное — а может быть, пустое и растерянное, — снимали под необычными углами, создавая образ Дитяти-Мадонны, нимфетки-Спасительницы и, конечно, символа Преображения. Фильм смотрели с благоговейным восхищением, хотя горстка циников и хихикала, когда девочка опустилась на колени у ног Великого Мудреца — из парадных брюк неожиданно торчали белые ступни — и, по-видимому, облобызала их. Согласно великой традиции студенческого пессимизма, судьба человечества в конце фильма осталась нерешенной. Шнак выразила это тремя нисходящими глиссандо блокфлейты.

Самые проницательные университетские критики утверждали, что различают в музыке намек на иронию. Однако большинство, признавая их возможную правоту, утверждало, что это лишь

придает дополнительную глубину гениальному фильму, который по справедливости заслуживает крупнейших международных наград.

Через несколько дней преподаватели собрались для обсуждения диссертационных тем и были поражены, узнав, что Шнак собирается завершить работу над «Артуром Британским» за один учебный год. Она уже прошла все курсы, необходимые соискателю степени, и ей ничто не помешает работать над проектом, кроме необычайно сжатых сроков, которые она сама себе назначила. За год создать работу такой длины и сложности? Преподаватели колебались.

— Я уже зарекся контролировать Шнак или что-либо ей советовать, — сказал Уинтерсен. — Если это ее убьет или сведет с ума, быть по сему. Я надеюсь переложить задачу наблюдения за ее работой на плечи уважаемой гостьи.

Конечно, всем стало любопытно, кто эта уважаемая гостья, но завкафедрой сказал, что об этом рано говорить, так как еще ничего не решено. Как обычно, преподавательский состав решил продемонстрировать безупречность своей научной этики, для чего принялся препираться и дискутировать.

— Эта самая опера как работа на звание канди-

дата, — сказал профессор музыковедения, — кто знает, что там потребуется сделать? Меня как-то не впечатляет это стремление закончить то, что по воле судьбы осталось незаконченным.

— Да, но следует признать, что подобные проекты бывали, и вполне успешные, — сказал другой музыковед, который не любил первого. — Дженет Джонсон превосходно реконструировала «Путешествие в Реймс» Россини. А Дерик Кук завершил Десятую симфонию Малера. Эта девушка хочет совершить шаг вперед, а не назад. Показать нам Гофмана, какого никто никогда не слышал.

— Я слушал одну оперу Гофмана в Германии, — думаю, больше никто из присутствующих не может этим похвалиться. Не сказал бы, что она внушила мне желание услышать еще одну. Эти оперы начала девятнадцатого века по большей части весьма посредственны.

— А, но тут может быть вина либреттиста, — сказал его враг, который действительно в жизни не слышал ни единой ноты, написанной Гофманом, но специализировался по либретто — это была уютная узкая ниша, где никто не стал бы оспаривать его авторитет. — Как выглядит либретто этой оперы?

Этот вопрос, адресованный Уинтерсену, позво-

лил ему продемонстрировать качества, отличающие завкафедрой от рядовых преподавателей. Он, по правде сказать, не знал ничего о либретто Гофмана и не стал притворяться, что знает; но если собеседники на основании его слов решат, что он видел либретто, это уже их проблемы.

— Прежде чем мы сможем удовлетворительно ответить на этот вопрос, предстоит проделать определенную работу, — сказал он. — Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы и этой стороне проекта было уделено должное внимание. Мы не специалисты по литературе. Нам придется организовать для Шнак комиссию с участием кого-нибудь с кафедры сравнительного литературоведения.

Раздался всеобщий стон.

— Да, я знаю, — сказал завкафедрой. — Но следует признать, что они очень тщательно подходят к делу. Я собирался пригласить профессора Пенелопу Рейвен. Все согласны?

Поскольку собранию нужно было решить и другие вопросы, а уже близилось время, когда преподаватели ощущают потребность выпить перед ужином, все согласились.

## 2

Профессор Рейвен вовсе не обрадовалась, когда ее попросили войти в комиссию, руководящую написанием диссертации на кафедре музыковедения. Ей предстояло стать единственным членом комиссии, не имеющим отношения к музыке, а она знала, что чужакам в такого рода научных группах положено держаться скромно, не лезть не в свое дело и в то же время придавать комиссии и всем ее делам размах и респектабельность. Судя по всему, это будет означать кучу работы и очень мало удовлетворения. Но, отобедав в профессорском клубе со старым другом Симоном Даркуром и испив свою половину бутылки вина, Пенелопа стала по-другому смотреть на вещи.

— Я не знала, что и ты участвуешь в проекте. Это, конечно, многое меняет.

— Я не участвую в нем как исследователь, но имею определенное влияние на ход проекта, — сказал Симон.

Затем он сообщил Пенни под большим секретом — зная, что информация утекает из нее, как из дырявого решета, — про Фонд Корниша, его решение поддержать Шнак и намерение предста-

вить «Артура Британского» на сцене. Он также сказал, что все изыскания Пенелопы в области либретто для «Артура» будут щедро оплачены фондом. Это все меняло.

— Проблема только в том, что либретто, кажется, очень отрывочно, — объяснил Даркур.

— Что именно у вас есть?

— Я взглянул мельком; если честно, у нас нет почти ничего. И я даже боюсь гадать, какова вероятность что-нибудь нарыть. Это будет непростое дело.

— С моим талантом исследователя и деньгами, которые у тебя в распоряжении, можно добиться многого, — сказала Пенни, нахохлясь, как сова. — Я тоже поглядела, и тоже мельком, как ты, и там на самом деле ничего нет, кроме нескольких заметок по-немецки, рукой самого Гофмана, потому что он записывал много всяких музыкальных отрывков, которые собирался использовать. Я полагаю, что где-то лежит настоящее либретто, которое я не видела. Насколько мне известно, между Гофманом и английским либреттистом произошел какой-то спор, почти что ссора.

— А кто это был?

— Не кто иной, как прославленный Джеймс Робинсон Планше.

— Да, Уинтерсен упоминал его имя. А что в нем такого прославленного?

— Это очень популярный драматург и либреттист девятнадцатого века. Сейчас почти забытый. Хотя одна его фраза — «Это и кошку рассмешило бы» — стала крылатой. Это, оказывается, из какой-то его работы. Сейчас если его вообще помнят в оперном мире, то как либреттиста злосчастного «Оберона» Вебера, одного из самых зрелищных провалов в истории оперного театра. Музыка великолепная. Либретто… у Шнак в репертуаре есть подходящее словечко.

— Херня?

— Да, полнейшая, чрезвычайно фаллического свойства.

— Но почему?

— Не знаю почему и, если бы у тебя не было такой восхитительной возможности швыряться деньгами, никогда не узнала бы. Но теперь непременно узнаю.

— Как?

— Я уже ясно вижу весь план действий. Фонд Корниша намеревается оплатить мою поездку за рубеж с целью выяснения этого вопроса.

— А где же ты будешь искать?

— Ну-ну, Симон, ты же знаешь, в ученом мире

считается неприличным такое спрашивать. Мое дело — знать, где искать, а тебе, Шнак и Фонду Корниша остается ждать, пока я не найду. Но если это либретто вообще можно найти, то его найду именно я.

Даркуру пришлось этим удовлетвориться. Пенни ему нравилась. Ближе к сорока, чем к тридцати, но несомненное обаяние и сила духа. Если вспомнить любимую Даркуром фразу Рабле, «девица из себя видная и пригожая»[286]. Под всем этим прятался стальной хребет женщины, которая сумела вскарабкаться по лестнице научной карьеры к званию полного профессора. Поэтому Симон знал, что дальше давить на Пенелопу бесполезно.

После обеда ему не хотелось возвращаться к себе в Плоурайт, где ждала биография покойного Фрэнсиса Корниша с катастрофически зияющим провалом в самой середине. Он направился в библиотеку профессорского клуба. С отвращением оглядел стол, где были выставлены менее неизвестные из бесчисленных ежеквартальных научных журналов с унылыми статьями, авторы которых похвалялись исследованиями, жизнен-

**[286] Примечания: 286**

*…фразу Рабле, «девица из себя видная и пригожая».* — Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Том I, глава III. Перев. Н. М. Любимова.

но важными для них самих, но наводящими смертную скуку на их коллег. Даркур знал, что должен ознакомиться с публикациями, затрагивающими его область исследований, но на улице была весна, и он не смог усадить себя за научную работу. Он уклонился с пути, приблизился к другому столу, с ненаучной периодикой, и взял в руки «Вог». Он никогда не читал таких журналов, но, разгоряченный выпитым вином и искрометной беседой с Пенни Рейвен, надеялся, что в журнале окажутся картинки с легко одетыми или вовсе неодетыми женщинами. Он сел читать.

Читать он не начал. Вместо этого он стал разглядывать рекламу. На рекламных объявлениях были изображены молодые женщины различной степени раздетости, но по моде того времени они выглядели такими злыми, безумными, яростными, что вовсе не утешали и не возбуждали приятных фантазий. Волосы у этих девиц стояли дыбом или были дико всклокочены. Глаза горели адским огнем или, наоборот, щурились, навевая мысль о душевном нездоровье. И вдруг Даркур наткнулся на изображение, разительно не похожее на все остальные. Он несколько минут глядел на картинку, и в глубинах памяти что-то шевелилось, оживало, пока наконец он не перестал

верить своим глазам.

Это была не фотография, а рисунок серебряным карандашом, тронутый кое-где красным и белым мелом, с изображением головы девушки: работа утонченная, но не слабая, без вызова и показного блеска, свойственных современности. И в самом деле, рисунок был сделан в духе и манере эпохи, отстоящей от нас не менее чем на четыреста лет. Аристократическая посадка головы, в которой сквозит не высокомерие, а скромная уверенность в себе; взгляд невинный, но не простодушный; изящная линия щеки; лицо не круглое, как пудинг, и челюсть не квадратная, как у девиц на прочих рекламных объявлениях. Самообладание, которое читалось на этом лице, бросало вызов любому зрителю, особенно мужчине. Оно словно говорило: «Вот что я такое; а что такое ты?» Картинка приковывала взгляд сильнее любых других объявлений в журнале.

Под картинкой стояло несколько строк, набранных прекрасным, четким шрифтом, опять-таки не чрезмерно утонченным и не чересчур манерным. Даркур кое-что знал о шрифтах и понял, что это — современная версия шрифта, основанного на почерке поэта, религиозного деятеля, библиофила, ученого, гуманиста (и в некоторых

отношениях — негодяя) кардинала Пьетро Бембо. Послание было коротким и ясным:

> *Ваш макияж не зависит от переменчивой моды. Он – воплощение вашего «я», той эпохи, к которой принадлежит ваш индивидуальный тип красоты. Кто из старых мастеров мог бы нарисовать вас и увидеть вашу суть? Мы поможем найти ответ на этот вопрос. Вы научитесь наносить тот единственный макияж, который сделает вас шедевром. Мы хотим привлечь не многих, а лучших клиентов. Наши продукты и услуги недешевы. Поэтому их можно приобрести лишь в очень немногих салонах у наших доверенных визажистов. Какой вы шедевр живописи? Мы поможем достичь совершенства, свойственного только вам.*

Обращение было подписано элегантным курсивом: «Амалия». Ниже располагался список из пяти-шести салонов с адресами.

Воровато оглянувшись — не застанет ли его кто за чудовищным для ученого преступлением, — Даркур осторожно выдрал страницу из журнала и помчался домой — писать очень важное письмо.

## 3

Встреча между Фондом Корниша и родителями Шнак состоялась в конце мая в гостиной пентхауза. Все согласились, что встречу лучше провести, хотя знали, что никакого толку от нее не будет. Прошло два месяца с тех пор, как фонд принял решение поддержать Шнак в ее работе по воскрешению, воплощению и облачению в новые одежды «Артура Британского» по записям Гофмана. Конечно, уже давно пора было встретиться со Шнакенбургами, но Артур слишком плохо себя чувствовал, и у него не было сил. Сейчас, в конце мая, он пошел на поправку, но был еще бледен и быстро уставал.

Кроме Артура и Марии, присутствовал только Даркур — Холлиер сказал, что ему нечего привнести в эту встречу, а Герант Пауэлл был слишком занят близящимся началом Стратфордского театрального фестиваля и не мог ни на что отвлекаться. Шнакенбургов просили прийти в половине девятого, и они явились точно в срок.

Родители Шнак оказались вовсе не ничтожествами, каких представил себе Даркур по рассказу Уинтерсена. Элиас Шнакенбург был не очень высокий, но очень худой, отчего казался высоким;

на нем был приличный серый костюм и темный галстук. Седые волосы уже начали редеть. Серьезное лицо носило отпечаток достоинства, какого Даркур не ожидал: этот часовщик был мастером своего дела и никому не слугой. Жена была такая же седая и худая, в фетровой шляпе, слишком теплой для мая, и серых нитяных перчатках.

Артур рассказал им про замысел фонда и объяснил, что фонд желает поддержать молодую женщину, которая, по-видимому, подает большие надежды, а ее проект будит воображение. Директора фонда полагают, что реализация проекта будет связана со значительными расходами. Поэтому руководство фонда, хотя ни в коем случае не считает Шнакенбургов ответственными за успех проекта, сочло необходимым известить родителей Хюльды о происходящем.

— Если вы не считаете нас ответственными, мистер Корниш, то чего вы от нас хотите? — спросил отец.

— Попросту доброго отношения. Согласия на проект. Мы не хотим, чтобы казалось, будто мы пытаемся действовать без вашего ведома.

— Вы думаете, что Хюльде не безразлично наше согласие или наши сомнения?

— Мы не знаем. Мы полагали, что ей хотелось

бы заручиться вашим одобрением.

— Нет. Наше согласие, наш отказ — все это ничего не будет для нее значить.

— То есть вы считаете ее полностью независимой?

— Разве мы можем так считать? Она — наша дочь, и мы до сих пор не отказались от мысли, что мы за нее ответственны, мы продолжаем ее горячо любить. Мы считаем, что обязаны ее оберегать — что бы там ни говорил закон. Оберегать, пока она не выйдет замуж. Мы ее не отвергали. Она заставила нас почувствовать, что это она нас отвергла.

Он говорил с легким немецким акцентом, но очень правильно построенными фразами.

Миссис Шнакенбург беззвучно заплакала. Мария побежала за стаканом воды, в то же время думая: «Какой смысл добавлять воду к слезам?» Даркур решил, что пора вмешаться.

— Уинтерсен, заведующий кафедрой, говорил, что у вас с дочерью напряженные отношения. Вы, конечно, понимаете, что мы не можем в это вмешиваться. Но мы должны поступать определенным образом, не становясь ни на чью сторону в личных конфликтах.

— Это, конечно, очень по-деловому и по пра-

вилам, но мы здесь говорим не о делах. Мы чувствуем, что потеряли дочь, наше единственное дитя. И этот проект, который вы так любезно устраиваете, сделает только хуже.

— Ваша дочь еще очень молода. Возможно, вы вскоре помиритесь. И конечно, я могу вас заверить, что мы — мистер и миссис Корниш и я — готовы помочь всем, чем можем.

— Вы очень добры. Желаете нам добра. Но вы не те люди, кто может тут что-то поделать. Хюльда нашла себе других советчиков. Не таких, как вы. Вовсе не таких.

— Может быть, если вы нам расскажете, это как-то поможет? — спросила Мария.

Она сидела рядом с миссис Шнакенбург и держала ее за руку. Мать молчала, но отец, повздыхав, продолжал рассказ:

— Мы виним себя. Нужно, чтобы вы это поняли. Возможно, мы были чересчур строги, хотя и непреднамеренно. Видите ли, мы тверды в вере. Мы очень строгие лютеране. Мы и Хюльду так воспитывали. Никогда не позволяли ей все подряд, как сейчас многим детям позволяют. Я виню себя. Мать всегда была добра к ней. Я не проявил должного понимания, когда она решила идти в университет.

— Вы возражали? — спросил Даркур.

— Не совсем так. Я просто не видел смысла. Я хотел, чтобы она окончила секретарские курсы, устроилась на работу, была счастлива, нашла хорошего жениха, вышла замуж… дети… Вы понимаете.

— Вы не видели ее музыкального дара?

— О да. Это было ясно еще в ее детстве. Но ведь она могла и музыкой заниматься. Мы платили за уроки, пока это не стало слишком дорого. Мы ведь люди небогатые. Мы подумали, что она может принести свой музыкальный дар церкви. Руководить хором, играть на органе. В церкви для этого всегда есть место. Но разве можно построить на музыке целую жизнь? Мы сочли, что нет.

— Вы не думали, что музыка может стать профессией? Завкафедрой говорит, что у вашей дочери задатки композитора.

— Да… я знаю. Он и мне это говорил. Но вы бы захотели, чтобы ваша дочь… единственная дочь… вела такую жизнь? Вы хоть что-то хорошее слыхали об этом образе жизни? Что там за люди? Судя по тому, что я слышал, — нежелательные элементы. Конечно, господин Уинтерсен, кажется, достойный человек. Но он преподаватель, верно? Это что-то надежное. Я пытался настоять

на своем, но, похоже, времена родителей, настаивающих на своем, давно прошли.

Даркур знал тысячи таких историй.

— Значит, ваша дочь взбунтовалась? Но ведь все дети бунтуют. Это необходимо…

— Почему необходимо? — В голосе Шнакенбурга впервые прозвучала воинственная нотка.

— Чтобы найти себя. Любовью можно задушить, вы согласны?

— Разве Божья любовь душит человека? Подлинного христианина — никогда.

— Я имел в виду родительскую любовь. Даже любовь добрейших, самоотверженнейших родителей.

— Любовь родителей — это воплощение Божьей любви в жизни ребенка. Мы молились вместе с ней. Просили Бога даровать ей смиренное сердце.

— Понятно. И что было дальше?

Пауза.

— Я не могу вам рассказать. Не хочу повторять все, что она говорила. Не знаю, где она набралась таких слов. Впрочем, знаю; в наше время их можно услышать где угодно. Но я думал, что девушка, получившая такое воспитание, закрывает слух для подобной грязи.

— И она ушла из дома?

— Да; вышла в чем была, после нескольких месяцев, которые я не согласился бы пережить вновь ни за какие деньги. У кого-нибудь из вас есть дети?

Все покачали головой.

— Тогда вы не можете знать, через что прошли мы с матерью. Она нам не пишет, не звонит. Но мы, конечно, знаем, что с ней происходит, потому что я навожу справки. Да, я признаю, что она хорошо окончила университет. Но какой ценой? Мы иногда ее видим — тайком, чтобы она не заметила, — и мое сердце болит при виде ее. Я боюсь, что она пала.

— Что вы имеете в виду?

— Что я могу иметь в виду? Я боюсь, что она ведет аморальный образ жизни. Иначе откуда она берет деньги?

— Знаете, студенты работают. Они зарабатывают вполне законными способами. Я знаю множество студентов, которые сами оплачивают свою учебу; это по силам только молодым и сильным существам — работать и одновременно учиться. Такие люди заслуживают уважения, мистер Шнакенбург.

— Вы ее видели. Кто даст ей работу, когда она

в таком виде?

— Она худая как палка, — произнесла миссис Шнакенбург. Это была ее единственная реплика за всю беседу.

— Вы действительно не хотите, чтобы мы предоставили ей этот шанс? — спросила Мария.

— Сказать вам честно, миссис Корниш, — не хотим. Но что мы можем поделать? По закону она совершеннолетняя. Мы люди бедные, а вы богатые. У вас нет детей, так что вы не знаете, какую боль они приносят. Надеюсь, ради вашего же блага, что это и дальше так будет. У вас есть разные идеи про всякую музыку, искусство и прочее; у нас ничего этого нет, и нам ничего этого не надо. Мы не можем с вами сражаться. Мир скажет, что мы стоим у Хюльды на пути. Но мир для нас не главное. Для нас важнее другие вещи. Мы разбиты. Не думайте, что мы этого не знаем.

— Мы, конечно же, не хотим, чтобы вы считали себя разбитыми или думали, что это мы вас разбили, — сказал Артур. — Мне бы хотелось, чтобы вы попробовали взглянуть на ситуацию с нашей точки зрения. Мы искренне хотим предоставить вашей дочери тот шанс, которого заслуживает ее талант.

— Я знаю, вы хотите добра. Когда я сказал, что

мы разбиты, я имел в виду, что мы проиграли одно сражение. Но мы тоже дали Хюльде кое-что, знаете ли. Дали ей источник всякой истинной силы. И мы молимся… молимся каждую ночь, иногда по целому часу… о том, чтобы она вернулась к нам, пока еще не поздно. Господня милость неисчерпаема, но если грешник пинает Господа в лицо, то Он рано или поздно обойдется с ним сурово. Мы приведем нашу девочку обратно к Богу, если это вообще можно вымолить.

— Значит, вы не отчаиваетесь, — сказала Мария.

— Разумеется, нет. Отчаяние — тяжелейший грех. Оно ставит под вопрос милость и всемогущество Бога. Мы не отчаиваемся. Но мы всего лишь люди, мы слабы. Мы не можем не испытывать боли.

Разговор зашел в тупик. Они обменялись еще несколькими репликами — Шнакенбург был неизменно вежлив, но не уступил ни на волосок, — и чета Шнакенбургов удалилась.

В комнате повисло тяжелое молчание. Артур и Мария, кажется, сильно пали духом, но Даркур был в хорошем настроении. Он подошел к бару в углу и принялся смешивать напитки, которые им показалось невежливо употреблять при Шнакен-

бургах, наверняка противниках алкоголя. При этом он мурлыкал себе под нос:

*Древнюю и вечно новую*
*Быль поведай мне опять*
*О невидимом и чаемом,*
*Чтоб надеяться и ждать,*
*Чтоб небесной славе Божией*
*И любви Его сиять.*

— Симон, подобные шутки неуместны, — заметила Мария.

— Я просто хотел вас подбодрить. Отчего вы оба такие унылые?

— Я чувствую себя полным дерьмом, — ответил Артур. — Бесчувственный богач, бездетный, одержимый мирской суетой, в погоне за своими прихотями отбирает у бедняков их единственную отраду.

— Она сама себя отобрала задолго до того, как мы вообще о ней услышали, — заметил Даркур.

— Ты же знаешь, о чем я. Тирания привилегированных богачей.

— Артур, ты еще не совсем здоров. И беззащитен перед тонкой психологической атакой. Именно ей ты подвергся. Этот Шнакенбург знает

все приемы, чтобы заставить людей чувствовать себя полным дерьмом, если они не разделяют его личный взгляд на вещи. Это месть униженного и оскорбленного. Ты не имеешь морального права пинать бездомную собаку, зато она имеет право тебя укусить. Это одна из неустранимых несправедливостей общества. Не обращай внимания. Иди вперед, как шел.

— Симон, ты меня удивляешь. Этот человек говорил от глубокого, искреннего религиозного чувства. Мы можем не разделять это чувство, но обязаны его уважать.

— Слушай, Артур, специалист по религии здесь я. Не бери в голову.

— Ты ритуалист, адепт высокой церкви, и презираешь их простоту. Я не знала, что ты такой сноб, — гневно произнесла Мария.

— А ты в глубине души так и осталась суеверной цыганской девчонкой, и стоит кому-нибудь упомянуть Бога, как ты моментально размякаешь. Я не презираю ничьей простоты. Но я вижу, когда притворная простота — способ добиться власти.

— Какая же власть у этого человека? — спросил Артур.

— Например, он может сделать так, что ты почувствуешь себя полным дерьмом, — отпари-

ровал Даркур.

— Симон, ты не прав, — сказала Мария. — Он говорил о Боге с такой уверенностью и с таким доверием. Я почувствовала себя легкомысленной дурой.

— Дети, послушайте старого аббата Даркура и перестаньте себя грызть. Я видел сотни таких людей и разговаривал с ними. Да, у них есть глубина и твердость веры, но купленные ценой безрадостного отношения к жизни, нежелания знать. Все, что эти люди требуют у Бога, — некий эквивалент духовной минимальной зарплаты, а в обмен они готовы отдать всю радость жизни — которую тоже сотворил Бог, позвольте вам напомнить. Я зову таких верующих «Друзья Минимума». Господь, неисправимый шутник, послал им дочь, которая хочет войти в ряды Друзей Максимума, и вы в силах помочь ей. Вера ее родителей — как крохотная свеча, горящая в ночи; ваш Фонд Корниша — назовем его из скромности сорокаваттной лампочкой, которая освещает Шнак путь к лучшей жизни. Не следует выключать лампочку из-за того, что свеча кажется такой жалкой и слабой. Да, Шнак сидит в яме. На нее страшно смотреть. Она — маленькая злобная тварь. Но единственный путь для нее — вперед, а не назад

к хорошей работе, хорошему мужу, как две капли воды похожему на папочку, и детям, рожденным в том же рабстве. Отец Шнакенбург — крепкий орешек. Вам тоже надо быть крепкими.

— Симон, я и не знал, что ты стоик, — сказал Артур.

— Я не стоик. Я нечто очень немодное в наше время: оптимист. Дайте девочке шанс.

— Конечно дадим. Мы уже обязались. Пути назад нет. Но мне не нравится думать, что я попираю слабых.

— Ах, Артур! Какой ты сентиментальный болван! Неужели ты не видишь? Шнакенбургу необходимо, чтобы его попирали! Это нужно ему как воздух! В великой предвыборной гонке жизни он баллотируется на пост мученика, и ты ему помогаешь. Да, у него есть глубокая и твердая вера. А что у тебя? Ты баллотируешься на пост мецената, великого покровителя искусств. Это достаточный источник уверенности и убеждения в своей правоте. Так что тебя гложет?

— Деньги, наверно, — сказала Мария.

— Конечно деньги! Вы оба страдаете чувством вины, которое наше общество навязывает богачам. Не поддавайтесь! Докажите, что деньги могут творить добро.

— Клянусь Богом, ты и вправду оптимист, — сказал Артур.

— Уже неплохо для начала. Присоединяйтесь ко мне, вступайте в ряды оптимистов, и со временем вы сможете разделить со мной веру во многие другие вещи. Я вам никогда о них не говорил: если работа священника меня чему и научила, так это тому, что проповедовать беднякам во много раз легче, чем богатым. Богачи слишком перегружены чувством вины и слишком упрямы.

— Мы не упрямы! Мы сочувствуем Шнакенбургам. А ты, аббат Даркур, насмехаешься над ними и нас тоже подстрекаешь. Ты англиканин! Обрядовер! Надутый тупой профессор! Омерзительно!

— Это не аргумент, а всего лишь ворох оскорблений. Я даже не снизойду до того, чтобы тебя простить. Я участвовал в подобных сценах столько раз, что вы и представить себе не можете. Зависть заурядных родителей к одаренному ребенку! Для меня это не ново. Удары ниже пояса — потому что у собеседника банковский счет пожирнее твоего, а значит, ты добродетельней! Любимое орудие бедняков-фарисеев. Они используют отвратительный вариант веры, чтобы обрести статус, недоступный для неверующих: рассказывают вам «древнюю и вечно новую»

сказку и ждут, что вы сломаетесь. И вы ломаетесь. Настоящая вера, друзья мои, — сторонница эволюций и революций; именно таким должен стать ваш Фонд Корниша, или он останется ничем.

— Симон, из тебя вышел бы отличный проповедник, — заметила Мария.

— Я никогда не искал такого рода работы; она раздувает эго и может привести к гибели.

— Мне лично стало намного лучше. Не знаю, как Артуру.

— Симон, ты хороший друг, — сказал Артур. — Прости, что я тебе нахамил. Я беру назад «надутого» и «тупого». Но то, что ты профессор, — это правда. Давай забудем про Шнакенбургов, насколько получится. Как там книга про дядю Фрэнка? Продвигается?

— Да, кажется, наконец сдвинулась с мертвой точки. По-моему, я вышел на след.

— Отлично. Ты ведь знаешь, мы хотим, чтобы книга получилась. Я шучу на эту тему, но ты понимаешь… Мы тебе доверяем.

— Спасибо. Я продвигаюсь. Кстати, я тут исчезну на неделю или около того. Отправляюсь на охоту.

— Какая охота? Сейчас не сезон.

— Только не на мою дичь. Мой сезон как раз

начался.

Даркур допил то, что оставалось у него в стакане, и ушел, напевая:

*О невидимом и чаемом,*
*Чтоб надеяться и ждать,*
*Чтоб небесной славе Божией*
*И любви Его сиять…*

Но в голосе сквозила ирония.

— Старый аббат — истинный друг, — сказал Артур.

— Я его люблю.

— Платонически, надеюсь.

— Конечно. Как ты можешь сомневаться?

— Если дело касается любви, я готов сомневаться в чем угодно. Я не могу воспринимать тебя как должное.

— Можешь, вообще-то.

— Кстати, ты мне так и не сказала, что мамуся наворожила Симону, пока я был в больнице.

— По сути — только то, что в жизни каждый должен получить свою порцию шишек.

— Я, кажется, уже выбрал свою норму шишек. Шишек и свинок. Но мне уже лучше наконец-то. Сегодня будем спать вместе.

— Ой, Артур, как хорошо! А тебе можно?

— Учение Даркура об оптимизме. Давай попробуем.

И они попробовали.

## 4

Комната в квартире на Парк-авеню превосходила великолепием все, что Даркур когда-либо видел. Это была работа гениального декоратора — настолько гениального, что ему удалось превратить комнату скромных размеров в нью-йоркской квартире в залу большого особняка или даже небольшого дворца где-нибудь в Европе. Панели с росписью гризайль, несомненно, происходили из дворца, но их подогнали по размеру так, словно они изначально находились тут. Обстановка была элегантная, но удобная, какой не бывает во дворцах; в комнате хватало современной мебели, на которой можно было спокойно сидеть, не опасаясь, что изнашиваешь ценный антиквариат. Картины на стенах выбирал явно не дизайнер интерьеров — они говорили о цельном, личном вкусе; некоторые были некрасивы, но декоратор повесил их так, чтобы они смотрелись наиболее выгодно. Целые столы были нагружены безделушками — то, что в журналах по дизайну интерьера называют «изящным мусо-

ром», — но этот мусор, несомненно, принадлежал владельцам комнаты. На изящном антикварном дамском письменном столике стояли фотографии цвета сепии; они были вставлены в рамки с гербами, явно принадлежащими людям, чьи лица выцветали на фотографиях. Красивый, но не легкомысленный письменный стол указывал на то, что в этой комнате занимаются делами. Горничная в элегантном форменном платье попросила Даркура присесть и сказала, что княгиня сейчас выйдет.

Княгиня вошла очень тихо. Ей было, видимо, за пятьдесят, но выглядела она гораздо моложе: дама великой красоты, но не профессиональная светская красавица; Даркур не встречал женщин изысканней.

— Надеюсь, вам не пришлось слишком долго ждать, профессор Даркур. Меня задержал скучный телефонный звонок.

Она говорила деликатно, с ноткой веселья в голосе. Английский выговор графини был идеален, — возможно, у нее была в детстве английская гувернантка? Но оставался легкий намек на акцент, словно родным языком княгини был другой. Может быть, французский? Немецкий?

— Большое спасибо, что приехали. Ваше письмо

меня очень заинтересовало. Вы хотели спросить об этом рисунке?

— Да, княгиня, если можно. Княгиня, правильно? Я увидел его в журнале, и он приковал мой взгляд. Разумеется, как и было задумано.

— Мне очень приятно это слышать. Разумеется, по моему замыслу рисунок должен привлекать внимание. Вы не поверите, скольких трудов мне стоило убедить рекламщиков, что это будет именно так. Они очень шаблонно мыслят, вы не находите? «Ах, кто будет смотреть на старомодную картинку?» — сказали они. «Любой, кто устал от крикливых, вульгарных девиц на прочей рекламе», — ответила я. «Но в этом году такая мода», — сказали они. «Но то, что я предлагаю, относится не только к этому году. Оно живет дольше. Я обращаюсь к людям, кругозор которых не ограничен одним годом». Они не хотели слушать. Мне пришлось настаивать.

— А теперь они убедились, что вы были правы?

— Теперь они утверждают, что это была с самого начала их идея. Ах, профессор, вы не знаете рекламщиков.

— Зато я знаю людей. Я верю тому, что вы рассказываете. Они, конечно же, поняли, кто

изображен на рисунке?

— Голова девушки, семнадцатый век. Да, они это знают.

— А девушку они не узнали?

— Как они могли ее узнать?

— Ну, глаза-то у них есть. Я узнал эту девушку, как только вы вошли в комнату, княгиня.

— В самом деле? У вас острый глаз. Может быть, она моя прапрапрапрабабушка. Этот рисунок из фамильной коллекции.

— Княгиня, с вашего позволения, я буду говорить откровенно. Я видел подготовительные эскизы к этому рисунку.

— В самом деле? Где же, позвольте узнать?

— В собрании моего друга, одаренного художника, которому особенно хорошо удавалось подражание стилю минувших веков. Он оставил множество рисунков — копировал их из обширных коллекций подобных вещей. Другие рисунки он делал с натуры, насколько я мог понять из пометок на них. В его коллекции я нашел пять набросков девичьей головы, которые превратились в принадлежащий вам рисунок, опубликованный для рекламы.

— Где сейчас эти наброски?

— В Канадской национальной галерее. Мой друг

завещал галерее все свои рисунки и картины.

— Кто-нибудь, кроме вас, заметил это поразительное сходство?

— Пока нет. Вы же знаете, как работают галереи. У них залежи вещей, еще не внесенных в каталог. Я увидел эти рисунки, когда готовил коллекцию моего друга к передаче в галерею. Я был его исполнителем по завещанию. Возможно, пройдут годы, пока этим рисункам кто-нибудь уделит серьезное внимание.

— Как звали этого художника?

— Фрэнсис Корниш.

Княгиня, которую, кажется, забавлял весь этот разговор, рассмеялась:

– *Le Beau Ténébreux!*[287]

— Прошу прощения?

— Так мы его прозвали, я и моя гувернантка. Он учил меня тригонометрии. Он был такой красивый, серьезный и правильный, а я жаждала, чтобы он отшвырнул карандаш, заключил меня в объятия, осыпал поцелуями мои пылающие губы и воскликнул: «Бежим со мной! Я унесу тебя в свой полуразрушенный замок в горах, и там мы сольемся воедино и будем любить друг друга,

---

**[287] Примечания: 287**
Мрачный красавец *(фр.)*.

пока звезды не сойдут с небес, чтобы подивиться нашей любви!» Мне было пятнадцать лет. *Le Beau Ténébreux!* Что с ним стало?

— Он умер около двух лет назад. Как я уже сказал, я был одним из исполнителей по завещанию.

— Он занимался своей работой?

— Он был собирателем и ценителем искусства. Он был очень богат.

— Значит, он отошел от дел?

— Нет-нет, он очень активно занимался собирательством.

— Я имею в виду его профессию.

— Профессию?

— Вижу, вы ничего не знаете о его ремесле.

— О каком ремесле вы говорите? Я знаю, что он изучал живопись.

Княгиня снова музыкально рассмеялась.

— Простите, княгиня, но я вас не понимаю.

— Прошу меня извинить. Я просто вспомнила *Le Beau Ténébreux* и его живописные этюды. Но настоящая его работа была другая.

Даркур сиял от восторга: наконец-то! Чем же занимался Фрэнсис Корниш все эти годы, о которых не осталось никаких записей? Княгиня знает. Пора говорить начистоту.

— Я надеюсь, вы мне расскажете, в чем заключалась его настоящая работа. Видите ли, я решил написать биографию своего старого друга и обнаружил длительный период, примерно с тридцать седьмого по сорок пятый год, о котором почти нет информации. Я знаю, что в сорок пятом году он вошел в комиссию, которая работала над возвращением законным владельцам всей огромной массы картин и скульптур, перемещенных во время войны. Все, что вы можете рассказать об этом неизвестном мне периоде, будет чрезвычайно полезно. Вот, например, этот ваш портрет: он заставляет думать, что вы были знакомы несколько ближе, чем просто преподаватель тригонометрии и его ученица.

— Вы так думаете?

— Я кое-что знаю об изобразительном искусстве. Рисунок безошибочно выдает чувство художника к модели.

— Ах, профессор Даркур! Вы ужасный льстец.

«Что да, то да, — подумал Даркур, — и надеюсь, мне удастся охмурить эту тщеславную женщину». Но тщеславная женщина продолжала:

— Тем не менее, мне кажется, с вашей стороны негалантно было намекать, что я могу помнить тридцать седьмой год и тем более — что я в этом

году могла уже изучать тригонометрию. Надеюсь, что хотя бы моя внешность не дает оснований для этого.

«Черт! Ей, выходит, лет шестьдесят пять; вот это я ляпнул. У меня всегда было плохо с математикой».

— Уверяю вас, княгиня, что мне ничего подобного даже в голову не приходило.

— Вы сами еще не стары, профессор, и не знаете, что значит время для женщин. Мы пытаемся защититься от него, используя множество полезных орудий. Таких, например, как моя линия косметических средств.

— О да; я желаю вам всяческих успехов.

— Разве вы можете желать мне успеха, если собираетесь разоблачить мой особый знак превосходства, мой рисунок семнадцатого века, как подделку? Но, я полагаю, у вас нет другого выхода, если вы хотите, чтобы ваша книга о *Le Beau Ténébreux* была правдивой и полной.

— Она не будет правдивой и полной, если вы не расскажете мне, что делал Фрэнсис Корниш в эти годы, о которых я ничего не знаю. И уверяю вас, что я даже не думал упоминать о вашем рисунке.

— Если вы о нем не напишете, кто-нибудь

другой напишет. И это может меня погубить. Производство косметики и без того достаточно неоднозначный бизнес, не хватало еще намеков на его связь с подделкой картин.

— Нет-нет, я никогда ни словом о нем не обмолвлюсь.

— Пока эти наброски хранятся в вашей Национальной галерее, опасность будет велика.

— Да, это, к несчастью, так.

— Профессор Даркур, — княгиня явно кокетничала, — если бы вы знали то, что знаете сейчас, о моем рисунке и о том, как я его использую, вы бы отправили те пять набросков в Национальную галерею?

— Если бы я знал, что вы храните ключ к самой интересной части жизни Фрэнсиса Корниша, — очень сомневаюсь.

— А теперь они останутся там навеки?

— Понимаете ли, княгиня, это — государственное имущество. Оно принадлежит канадскому народу.

— Думаете, для канадского народа они когда-нибудь станут очень важны? Индейцы, эскимосы, ньюфаундлендские рыбаки и хлеборобы станут в очередь, чтобы на них посмотреть?

— Боюсь, что я вас не понимаю.

— Если эти рисунки будут у меня в руках, я расскажу вам о Фрэнсисе Корнише такие вещи, которые станут сердцем вашей книги. Рисунки вдохновят меня и освежат мою память.

— А если их у вас не будет?

— Тогда, профессор Даркур, ничего не выйдет.

## 5

Фонд Корниша собрался во всем великолепии. Пять его сотрудников сидели за Круглым столом, на котором красовалось Блюдо изобилия. Чудодейственное блюдо ломилось от разнообразных августовских плодов. Лиловые грозди винограда, покрытые аметистовой пыльцой, свисали с разных ярусов. «В кои-то веки эта уродливая штука даже мне кажется красивой», — подумала Мария.

Люди, живущие среди красивых вещей, привыкают к ним и перестают замечать. Ни Мария, ни остальные члены фонда не обращали внимания на обстановку комнаты, в которой стоял Круглый стол. Очень высокий потолок комнаты (в виде соборного свода, как выразился архитектор) в свете вечереющего дня казался еще выше и сумрачнее обычного. Под сводом шел ряд ленточных окон, через которые виднелось зеленовато-синее небо

и первые звезды; ниже на стенах висели прекрасные картины из коллекции Артура, выбранные и купленные им самим, ибо покойный Фрэнсис Корниш, у которого прекрасных картин хватило бы на небольшой музей, не оставил племяннику ни одной. Был тут и рояль, но в такой просторной комнате он не подавлял всю остальную обстановку, как это иногда случается с роялями. По правде сказать, в комнате было не очень много мебели. Артур любил простор, и Мария была счастлива в незахламленном пространстве — родительский дом, в котором она выросла, был забит мебелью под завязку даже до того, как мамуся вернулась к цыганским обычаям и устроила себе свинарник в подвале под всей этой красотой. Даркур однажды назвал подвальный табор «затхлой лавкой древностей сердца моего»[288], и Мария рассердилась на него, потому что он был совершенно прав.

Сотрудники фонда сидели за Круглым столом при свечах, которым тайно помогали скрытые под карнизом светильники. Человека, впервые попавшего сюда, изумила бы и, возможно, приве-

**[288] Примечания: 288**

*...«затхлой лавкой древностей сердца моего»...* — Цитата из стихотворения У. Б. Йейтса «Бегство цирковых животных» (The Circus Animals' Desertion), где в числе прочего используются образы, заимствованные из карт Таро.

ла в благоговейный трепет эта картина, апофеоз богатства, высокого положения, элегантной тишины и спокойствия — привилегий, даруемых богатством и высоким положением. Таким человеком оказалась Пенелопа Рейвен; комната ее потрясла, и Пенелопа твердо решила не подавать виду.

От сегодняшнего вечера ждали очень многого. Даже Холлиер раньше времени вернулся из очередной поездки в Трансильванию, где искал свои любимые культурные окаменелости (как он это называл). «Какой он красивый! — подумала Мария. — Как нечестно, что его красота придает дополнительный вес всему, что он говорит. Симон совсем не красивый, но делает для фонда намного больше, чем Холлиер. Артур красив, но не изысканной красотой Холлиера; зато Артур запускает движение колес и кипение котлов, как Холлиеру не дано. Наверно, я, для женщины, так же красива, как Холлиер — для мужчины, а я знаю, как мало толку от красоты, когда надо по-настоящему делать дело».

Про Геранта Пауэлла, пятого члена фонда, Мария вовсе не думала. Пауэлл ей не нравился; точнее, не нравилось, как он смотрит на нее — с вызовом; он был красив в актерском стиле: масса

волнистых темных кудрей, тонко вырезанные, как у лошадки-качалки, ноздри, большой подвижный рот; как и других хороших актеров, Пауэлла было лучше не разглядывать слишком близко. «Если вдруг Фонд Корниша придется когда-нибудь изображать на сцене, — подумала Мария, — на роль Холлиера нужно выбрать Пауэлла: его преувеличенная красота будет хорошо видна даже с последних рядов, откуда тонкую красоту самого Холлиера не различить».

Пришли все, и все с нетерпением ожидали доклада Пенелопы Рейвен: она с победой вернулась из-за границы, где искала либретто «Артура Британского», и теперь собиралась поведать о находке.

— Я нашла либретто, — сказала она. — Это оказалось сравнительно нетрудно. Подобные проекты напоминают «Охоту на Снарка»: в последний момент Снарк всегда может оказаться Буджумом. Я подумала, что либретто могло попасть в библиотеку Британского музея, среди театральных бумаг. Но, как вы, наверно, знаете, чтобы найти там что-нибудь — если речь идет о подобных малоизвестных вещах, — нужна сметка исследователя, чутье на диковины и обыкновенная слепая удача. Конечно, я перерыла

оперные архивы в Бамберге, Дрездене, Лейпциге и Берлине — и не нашла ничего. Ни бумажки. Куча всякого про Гофмана, но про эту оперу — ничего. Мне нужно было все прочесать, чтобы не выбросить на ветер ваши деньги. Но у меня было подозрение, что нужные бумаги окажутся в Лондоне.

— Из-за этого Планше, — сказал Артур.

— Нет. Не из-за него. Я шла по следам Чарльза Кембла. Извините, я прочитаю вам небольшую лекцию. Кембл принадлежал к знаменитой театральной семье: все вы слышали о миссис Сиддонс — она приходилась ему сестрой и была величайшей актрисой своего времени. Вы знаете ее портрет, «Миссис Сиддонс как муза трагедии», работы Рейнольдса. Чарльз Кембл был управляющим и арендатором театра Ковент-Гарден с тысяча восемьсот семнадцатого по тысяча восемьсот двадцать третий. Несмотря на множество успешных постановок, театр едва сводил концы с концами. Не по вине Кембла. Такова уж была театральная экономика того времени. Владельцы театра требовали чудовищную арендную плату, и даже умелые театральные управляющие часто оказывались в беде… Чарльз обожал оперу. Он вечно уговаривал композиторов писать новые

оперы. Он был невероятно добрый человек и поощрял всех, у кого был талант. Кембл не выпускал из поля зрения нашего Джеймса Робинсона Планше, потому что Планше давал результаты: он умел работать в театре, и сотрудничество с ним означало успех. Кембл слыхал про Гофмана — все Кемблы были прекрасно образованны, что вовсе не обычная вещь среди тогдашних людей театра. Надо полагать, Кембл читал по-немецки или, может быть, слышал какую-нибудь оперу Гофмана, будучи в Германии. Он уговорил Гофмана создать для него оперу и настоял на том, чтобы либретто писал Планше, — тому не было еще и тридцати, и он уверенно шел к успеху и славе… Итак, работа началась. Планше и Гофман переписывались, но, боюсь, их переписка утеряна. Бедняга Гофман уже болел, и не успело из этой затеи хоть что-нибудь выйти, как он умер. Гофман и Планше цапались, как кошка с собакой, в чрезвычайно вежливом эпистолярном стиле того времени. Надо полагать, Планше даже обрадовался, когда из оперы ничего не вышло. Потом он вместо нее написал небольшую вещицу под названием «Дева Мэриан», на музыку одного ловкого халтурщика по фамилии Бишоп… Вся история, насколько мне удалось ее раскопать, нашлась в бумагах Чарльза Кембла в

Британском музее. Хотите послушать?

— Конечно хотим, — сказал Артур. — Но первым делом успокойте нас: вы в самом деле нашли какое-то либретто к нашей опере?

— О да. Еще и какое! Оно у меня есть, прямо тут. Но думаю, дело сильно прояснится, если я зачитаю вам часть переписки Кембла и Планше.

— Валяйте, — сказал Артур.

— Вот первое найденное мною письмо Кемблу.

Дражайший Кембл!

Я обменялся посланиями с герром Гофманом, и, сколько я могу судить, наши с ним цели разнятся, ибо он обладает лишь самым отдаленным представлением об английском театре в том, что касается оперы. Но я уверен, что мы с ним придем к согласию, когда я объясню ему все обстоятельства нашего положения. Кстати говоря, мы переписываемся по-французски, и я должен сказать, что причиной наших разногласий хотя бы отчасти, возможно, служит его несовершенное владение этим языком.

Как Вы знаете, я люблю работать быстро, а поскольку сейчас у меня множество

дел, я написал Гофману, как только Вы мне сообщили, что он готовит пиесу для наступающего сезона в КовентГардене. Я изложил на бумаге план, замысел которого вынашивал уже некоторое время – замысел пиесы с феями и эльфами, которую можно с тем же успехом привязать к королю Артуру, как и к любому другому популярному герою. Вкратце план таков: король Артур и его спутники, пресытившись удовольствиями охоты, задумывают учредить Круглый стол, дабы способствовать поддержанию рыцарства в Англии. Королева Гвиневра жалуется на это (тут можно вставить комический дуэт Артура и королевы, которая думает, что он ею пренебрегает). Артур знает, как с этим бороться: он зовет своего волшебника Мерлина и просит перенести королевский двор tous sans exception[289] ко двору турецкого султана, чтобы посмотреть, как с дамами обращаются там. Мерлин призывает главных эльфов и фей во главе с царем Обероном

**[289] Примечания: 289**
В полном составе, без исключения *(фр.)*.

и царицей Титанией, чтобы они произвели необходимое волшебное действие. Но правители Страны фей также в раздоре между собою; они отказываются выполнить поручение. (Здесь можно вставить балет фей – это очень красиво и, по общему согласию, даст верный успех у публики.) Мерлин просит помощи у Пигвиггена, единственного эльфа среди Артуровых рыцарей. Объединив свои колдовские чары, Мерлин и Пигвигген переносят британский королевский двор в Турцию. Оживленная сцена завершает первый акт.

Второй акт разворачивается в Турции. Это предоставляет возможности, которыми, я уверен, ваш мистер Грив блистательно воспользуется для создания зрелищных сцен, поражающих зрителей своей роскошью. Турецкий султан начинает осаждать королеву Гвиневру, возбуждая ревность Артура. (Здесь отличная возможность вставить комические интриги Пигвиггена.) К немалому огорчению Артура, его главный рыцарь, Ланселот, влюбляется в королеву. Лансе-

лот и Артур ссорятся, и ничто не решит их разногласий, кроме дуэли. В действие опять вмешивается Пигвинген, который знает, что Элейна, Лилейная дева, любит Ланселота и он ранее поощрял ее любовь. Элейна должна появиться еще в первом акте. Турецкий султан не дозволяет поединков у себя в государстве. В удачный момент появляются Оберон и Титания, которые уже помирились. Они переносят весь Круглый стол обратно в Британию. Здесь я подумываю о сцене, в которой Двор Фей, со свечами в руках, ведет британцев прочь от Турции; они переваливают через гору в темноте. (Вы знаете, что в запасниках Ковент-Гардена есть такая гора: ее три года назад использовали в «Барбароссе», и ее легко будет приспособить для повторения тогдашнего превосходного успеха.) Сильный финал второго акта.

Третий акт происходит опять в Британии. Идут приготовления к поединку Артура и Ланселота, но сперва мы видим торжественную процессию Семи Побор-

ников Христианства[290], – конечно, их всех играют дамы; с особенным комическим пылом выступают француз Дени и испанец Яго. Выйдет весьма стильно, если святой Антоний споет по-итальянски, Дени – по-французски, а Яго – по-испански. За этим можно вставить комические арии с подчеркнутым акцентом: святого Патрика – с ирландским, святого Давида – с валлийским, святого Андрея – с шотландским; может быть, можно даже устроить комическую битву между этими тремя святыми, и английский святой Георгий их примирит, покорив всех трех. Под водительством святого Георгия – здесь нужно вставить парад герольдов и великую демонстрацию щитов и гербов, это смотрится великолепно и почти ничего не стоит – Артур и Ланселот готовятся к поединку. Как вы думаете – взять настоящих лошадей? Лошади – верное дело с английской публикой. Поединок пре-

**[290] Примечания: 290**

*…процессию Семи Поборников Христианства…* — Семью поборниками христианства называют святых Георгия (Джорджа), Андрея (Эндрю), Патрика, Дионисия (Дени), Иакова (Яго), Антония Падуанского и Давида, небесных покровителей Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии и Уэльса соответственно.

рывается появлением Элейны, Лилейной девы из Астолата: ее тело приплывает по течению реки в челне. Она как будто бы мертва. В руке у нее свиток, гласящий, что она была возлюбленной Ланселота и он ее покинул. Гвиневра обвиняет Ланселота, он сознается, Элейна вскакивает с погребального одра и заявляет свои права на бывшего возлюбленного. Артур и Гвиневра мирятся при помощи Мерлина и Пигвиггена. Святой Георгий провозглашает победу рыцарского духа и Круглого стола. Грандиозный патриотический финал.

Излишне объяснять Вам, так хорошо знающему ресурсы своего театра, что я готовил этот план с расчетом на певцов, которые свободны прямо сейчас, за исключением мадам Каталани, которая удалилась от дел, но готова вернуться на сцену: нам удастся соблазнить ее партией Гвиневры, если мы предоставим достаточно возможностей для ее прекрасного колоратурного сопрано, что вовсе не трудно. Если у Гофмана не получится, наш друг Бишоп напишет что-нибудь

в своем обычном цветистом стиле. А другие актеры – кто же, как не Брэм на роль Артура, Дюрасет – Ланселота, мисс Коз – Элейны, Кили – Мерлина (он уже потерял голос, но я вижу Мерлина второстепенной комической фигурой) и мадам Вестрис – Пигвиггена, в костюме, выигрышно подающем ее великолепные конечности? Ренч превосходно справится с ролью Оберона, так как он умеет танцевать, а мисс Пейтон, достаточно миниатюрная, несмотря на свою растущую корпулентность, – с ролью Титании. Из Огастеса Бэрроуза выйдет превосходный святой Георгий. Мило, не правда ли?

Можно было бы подумать, что мы отлично разложили всю оперу, оставив простор для всяческой фантазии, гротеска и прочего, на каковые, по вашему уверению, герр Гофман – большой мастер. Но нет. О нет!

Наш немецкий друг отвечает мне со множеством комплиментов на очень формальном французском – он польщен нашим сотрудничеством, сознает, какую славу принесет ему работа для Ковен-

тГардена, и прочая и прочая, – а потом начинает читать мне типично немецкую лекцию об опере. По его мнению, время оперы, подобной предложенной мною, – подумайте, он назвал ее «восхитительной рождественской сказкой для детей!» – давно прошло и настало время замыслов, более серьезных с музыкальной точки зрения. В его опере не будет отдельных номеров или песен, связанных диалогом, но непрерывный поток музыки; к ариям прибавится recitativo stromentato, так что оркестру, по сути, некогда будет отдохнуть – оркестрантам придется весь вечер пилить и дудеть! И музыка должна быть драматической, а не просто давать предлог для демонстрации голоса особо одаренных певцов – «исполнителей на человеческой гортани, этом сильно переоцененном инструменте», как он выразился! (Интересно, что сказала бы мадам Кат?) И еще у каждого персонажа должен быть свой музыкальный «девиз», под которым герр Гофман разумеет вокальную фразу или инструментальный росчерк, обозначающий только этого пер-

сонажа; этот «девиз» можно представлять различными способами согласно духу действия. Он утверждает, что это произведет поразительный эффект и возвестит новый способ написания опер! Да уж, конечно – и заодно выгонит всех зрителей из театра, я в сем не сомневаюсь!

Прекрасно. Музыка – это его дело, я полагаю, хоть я и сам не полный невежда в сей науке, как уже несколько раз имел возможность доказать. Но когда он смеется над моим наброском драматической части пиесы – думаю, у меня есть право говорить откровенно. Он хочет вернуться назад, к оригинальным легендам об Артуре, и драматизировать их «серьезно», как он говорит, а не в духе un bal travesti[291]. Думаю, это намек на моих Семь Поборников, изображаемых дамами: я совершенно уверен, что публика будет в восторге, поскольку дамы в рыцарских доспехах сейчас, если можно так выразиться, на пике моды – частью потому, что показывают ноги, но что из того? Полосатые

**[291] Примечания: 291**
Бал-маскарад *(фр.)*.

трико для каждой «поборницы» в цветах национального флага соответствующей страны дадут превосходный эффект и понравятся той части зрителей, которую не увлекает музыка. Оперный театр – не монастырь и никогда им не был. Далее герр Гофман говорит о «кельтской атмосфере» Артуровой легенды, явно не понимая, что артуровские легенды давно перешли – по праву завоевания – в собственность Англии, а следовательно, и в собственность ее оперного театра.

Но не беспокойтесь, дорогой друг. Я сейчас пишу ответ, который разъяснит герру Гофману многие вещи, явно доселе ему неизвестные. Я уверен, что мое письмо возымеет немедленный эффект и наше дальнейшее сотрудничество будет весьма дружественным.

Засим имею честь подписаться,

Ваш покорный слуга

***Джеймс Робинсон Планше.***
***18 апреля 1822 года***

— Господи боже мой! — воскликнул Артур.

— Не беспокойся, — заметил Герант. — Я такое

все время вижу. Театральный народ только так и общается. Это называется «творческий фермент, порождающий всякое великое искусство». Точнее, так это называют, когда хотят выразиться деликатно. Надо думать, есть еще письма?

— И какие! — сказала Пенни. — Слушайте, сейчас я вам прочитаю второе.

Дорогой Кембл!

Преодолев свое вполне объяснимое огорчение — ибо я взял себе за правило никогда не говорить и не писать, будучи во гневе, — я вновь написал нашему другу Гофману в манере, кою Эйвонский Бард именует «утешительной». Я повторил свои основные тезисы и подкрепил их отрывками из стихов, подходящих для использования в опере. Например, я предложил начать оперу хором охотников. Что-нибудь воодушевленное, и побольше медных духовых в оркестровке, со словами вроде этих:

*Пошли мы на охоту*
*Ранехонько с утра:*
*Охота нам угрохать*
*Ба-альшого кабана!*

*Нас ждала с кабаном незадача:*

*Перепутали мы, не иначе,*
*Но волшебный наш друг*
*Поразил всех вокруг*
*И копьем кабана охреначил.*

Засим должна последовать уморительно смешная песня Пигвиггена (я уже упомянул, что его будет играть мадам Вестрис?) об охоте на кабана (с некоторой игрой на слове «охота», как то: «мы отправились на охоту» и «ему охота»), а затем охотники повторяют припев.

В этой сцене должен быть очень явным мотив волшебства. Желательно, чтобы в декорациях и одежде доминировал голубой цвет, символизирующий волшебную силу Пигвиггена, — он быстр и ловок, подобие Пака, в противоположность тяжеловесной, комической магии Мерлина. Может, вставить здесь еще песню? Пигвигген должен понравиться всем зрителям, и дамам, и джентльменам: первым — как очаровательный мальчик, вторым — как очаровательная девушка в голубых одеждах мальчика. Сей трюк был столь хорошо известен Барду! Я предложил в письме к герру Г., чтобы Пигвигген пел примерно следующее:

*Король равнялся с мудрецом:*
*Кто красен жезлом, кто лицом,*

*Чья кровь знатней и голубей,*
*Кто всех сильнее и мудрей?*

— Боюсь, у современной публики эти строки вызовут нездоровое оживление, — заметил Даркур. — Прости, Пенни, я не хотел тебя перебивать, но в наше время упоминать о жезлах, голубом цвете и мальчиках, которые на самом деле девочки, следует с большой оглядкой.

— Погоди, то ли еще будет, — ответила Пенни и продолжала читать письмо:

Любовная линия Ланселота и Гвиневры составляет основную романтическую тему оперы. Я набросал дуэт, чтобы Гофман начал его обдумывать. Я не композитор — хоть и не чужд музыке, как уже говорил, — но, думаю, эти стихи помогут создать нечто подлинно прекрасное человеку, обладающему даром композитора, — как, мы имеем основания полагать, Гофман. Итак, Ланселот стоит под окном Гвиневры.

*Ночь темна, и ярко светят*
*Звезды над водой,*
*О, любимая, мы встретим*
*Эту ночь с тобой.*
*Будет литься эта песня,*

*Будет лютня подпевать,*
*Будет голос твой чудесный*
*Страсть и нежность пробуждать.*

*Ночь темна, и ярко светят*
*Звезды над водой,*
*О, любимая, мы встретим*
*Эту ночь с тобой.*

— Простите, можно вас побеспокоить на предмет еще капельки виски? — вполголоса спросил Холлиер у Артура.

— Всенепременно. Если там и дальше в том же духе, то мне самому понадобится большой стакан, — ответил Артур и передал Холлиеру графин. Оказалось, что Даркуру и Пауэллу тоже необходимо выпить.

— Я должна заступиться за Планше, — сказала Пенелопа. — Всякое либретто при чтении звучит очень плохо. Но послушайте, что отвечает ему Гвиневра из окна:

*Ах, боже мой, бушуют страсти*
*В моей груди!*
*Ах, я твоя, ты – мое счастье,*
*Ко мне приди.*

*Я неприступной, вероятно,*
*Тебе кажусь —*
*Пока в любовь я безвозвратно*
*Не погружусь.*

Дальше, насколько я поняла, по замыслу Планше Ланселот уговаривает Гвиневру вступить с ним в сношения через дупло, где они будут оставлять друг другу условные знаки.

— Только не это, — сказал Пауэлл. — Сначала голубые мальчики, а теперь сношения в дупло прямо на сцене. Нас разгонит полиция.

— Будьте любезны, перестаньте пошлить, — сказала Пенни. — Не все любовные песни так сентиментальны. Послушайте, что должен петь турецкий султан, когда Круглый стол прибывает к его двору. Красота Гвиневры его немедленно сразила. Он поет:

*Я думал о пери и гуриях,*
*О звездах арабских ночей,*
*Но эта прекрасная фурия!*
*Сравнится ли кто-нибудь с ней?*

*Какая страсть! Какая страсть! Какая страсть*

*В любом ее движении!*

*Когда б мечта моя сбылась, сбылась, сбылась —*

*Дарить ей наслаждение!*

— Пенни, вы серьезно нам это предлагаете? — спросила Мария.

— Планше, безо всякого сомнения, предлагал это серьезно — и с полной уверенностью. Он знал свой рынок. Это либретто начала девятнадцатого века — я вас уверяю, что в ту эпоху людям нравилось именно такое. Эпоха регентства, ну или достаточно близко к ней. Любители музыки насвистывали и пели «Избранные парафразы из концертов», играли их на шарманке и барабанили на своих любимых лакированных «фортепьянах». В те времена, бывало, ставили Моцарта, из которого выбрасывали целые куски и заменяли их веселенькими новыми мелодиями Бишопа. Это потом опера стала очень серьезным делом, почти священнодействием, и ее стали слушать в благоговейной тишине. В эпоху регентства люди считали оперу забавой и обходились с ней по-свойски.

— И что ответил Гофман на эту чушь? — спросил Холлиер.

— Мне кажется, «чушь» — немного слишком сильное слово, — заметила Пенни.

— Подобный юмор совершенно омерзителен! — воскликнул Артур.

— Планше очень свысока относится к прошлому, а я этого терпеть не могу, — сказала Мария. — Он вертит Артуром и его рыцарями, как будто у них нет ни капли человеческого достоинства.

— О, это верно. Очень верно, — согласилась Пенни. — Но разве мы от него чем-нибудь отличаемся — со всеми нашими «Камелотами»[292], «Монти Пайтонами» и прочим? Театралам всегда льстило, когда их много-раз-прапрадедушек представляли идиотами. Иногда мне кажется, что нелишне было бы учредить Хартию прав и свобод для покойников. Но вы совершенно правы: это юмористический текст. Послушайте, что поет Элейна, когда Ланселот дает ей отставку:

*Прекрасным утром летним*
*Прощаюсь я с надеждой:*

---

**[292] Примечания: 292**

*«Камелот»* — мюзикл (1960) и фильм на его основе (1967) по мотивам серии романов Т. Х. Уайта «Король былого и грядущего» (*The Once and Future King*, 1958), пересказывающих рыцарский роман «Смерть Артура» (*Le Morte D'Arthur*, ок. 1450–1470) сэра Томаса Мэлори, в свою очередь являющийся интерпретацией легенд о короле Артуре.

*Коль мне не быть твоею,*
*Навек смежу я вежды.*
*На ложе темной ночью*
*Мою получишь весть,*
*Услышишь тихий голос:*
*«Я здесь, я здесь, я здесь!»*

— Прямо какая-то лебединая песнь, — заметил Артур.

— А что там с грандиозным патриотическим финалом? — спросил Даркур.

— Сейчас посмотрим… где это? А, вот:

*Ликует лес, ликует дол:*
*Се на престол Артур взошел!*
*С великой радости народ*
*Хвалу правителю поет.*
*Слава, слава королю*
*Повелителю!*

— В этом даже и смысла нет никакого, — сказал Холлиер.

— И не должно быть. Это патриотизм, — ответила Пенни.

— Неужели Гофман положил это на музыку? — спросил Холлиер.

— Нет. Вот последнее письмо, которое, судя по всему, подводит черту. Слушайте.

Дорогой Кембл!

К сожалению, у меня неутешительные новости от нашего друга Гофмана. Как Вы знаете, я послал ему наброски нескольких песен для пиесы об Артуре, с обычными заверениями, положенными либреттисту, что я изменю их любым образом, по его усмотрению, чтобы они легли на сочиненную им музыку. И разумеется, что я напишу дополнительные куплеты для театральных сцен, о которых мы договорились. И когда все это будет завершено, я объединю сцены диалогами. Но, как Вы видите, он упорно застрял на своей *idée fixe*[293]. Я полагал, что причиной наших разногласий служит язык; не знаю, насколько хорошо герр Гофман понимает по-английски. Однако он счел за благо ответить мне именно на этом языке. Прилагаю его письмо.

Достоуважаемый сэр!

---

**[293] Примечания: 293**
Навязчивая идея *(фр.)*.

Чтобы устранить всякие предпосылки для непонимания, я пишу сии строки на немецком языке с тем, чтобы мой досточтимый друг и коллега *Schauspieldirektor*[294] Людвиг Девриент перевел их на английский, коим я владею не в полном совершенстве. Однако же мои познания в английском языке вполне достаточны, чтобы уловить дух Ваших прекрасных стихов и объявить их полностью непригодными для задуманной мною оперы.

Большим счастьем для меня были великие изменения в музыке, происходившие на протяжении всей моей жизни, – многие музыканты даже великодушно говорят, что и я внес свою лепту в сии перемены. Ибо, как Вы, вероятнее всего, не знаете, я написал изрядное число музыкальных критических статей и удостоился даже похвалы великого Бетховена, не говоря уже о дружбе Шумана и Вебера. Бетховен сожалел впоследствии, что окончил наконец своего «Фиделио»

**[294] Примечания: 294**
Импресарио *(нем.)*.

в виде оперы с разговорными диалогами (Singspiel[295], как мы это называем). Со времени завершения моей последней оперы «Ундина», которую Вебер столь великодушно осыпал похвалами, я много думал о природе оперы вообще; и ныне – когда мое время истекает по причинам, о которых не буду здесь распространяться, – я испытываю великое желание написать вымечтанную мною оперу или не писать вовсе никакой. И, досточтимый сэр, прошу извинить меня за прямоту, но предложенное Вами либретто вовсе не годится для оперы, как я ее вижу.

Когда я говорю о вымечтанной мною опере, это не просто сложенные вместе красивые слова, уверяю Вас; это выражение того, чем, по моему мнению, должна быть музыка и что она должна быть способна выразить. Ибо разве музыка не язык? А если да, то язык чего? Не язык ли она мира снов, мира за пределами мысли, за пределами всех языков, известных Человеку? Музыка пытается говорить с

**[295] Примечания: 295**
Зингшпиль, комическая опера *(нем.)*.

Человеком на единственно возможном языке этого невидимого мира. В своем письме Вы вновь и вновь подчеркиваете, что мы должны сказать зрителю нечто, должны добиться успеха. Но что это за успех? Я подошел к точке своей жизни – боюсь, к завершающей, – когда подобный успех более не имеет привлекательности. Мне недолго осталось говорить, а посему я желаю говорить только правду.

Я покорнейше прошу Вас пересмотреть свою точку зрения. Мы должны создать не очередной Singspiel, полный шуточек и эльфийских персон, но оперу в духе будущего, насквозь пронизанную музыкой; арии в ней будут связаны диалогом, который поется под аккомпанемент оркестра, а не просто под редкое бряцание клавикорда, задающее тон певцу. Умоляю Вас, о досточтимый сэр, давайте серьезно отнесемся к британским легендам и не будем представлять короля Артура площадным шутом.

Напротив того, главной пружиной действия мне видится открытие королем Артуром любви Ланселота и Гвиневры

и великое страдание, в котором король смиряется с их любовью. Все, что нужно для создания этого сюжета, есть в вашем великом английском романе «Смерть Артура». Умоляю Вас, черпайте вдохновение оттуда. Покажем зрителям эту великую любовь; великую скорбь, в которую повергает Ланселота сознание, что он предает своего друга и короля; безумие Ланселота, вызванное раскаянием. Создадим оперу о трех людях высочайшего благородства. Сделаем прощение Артура, его понимание и любовь к своей королеве кульминацией сюжета. Я предлагаю следующее название: «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Не знаю, насколько хорошо оно звучит на английском языке, но Вы, без сомнения, можете судить об этом.

Но умоляю Вас, давайте исследуем то чудесное, что таится в глубинах души. Пусть лира Орфея откроет нам дверь в подземный мир чувств.

Со всяческими уверениями в наивысочайшем к Вам почтении,

остаюсь Ваш покорный слуга

*Э. Т. А. Гофман.*
*1 мая 1822 года*

P. S. Я прилагаю к сему некоторое количество черновых эскизов, приготовленных мною для оперы того сорта, что мне столь желанен; надеюсь, что они донесут до Вас частицу чувства, о котором я говорил, – чувства, которое изобилует в, если выражаться модным ныне словом, романтизме.

Вот так, дорогой Кембл. Что скажете? А что сказать мне? Читая это, я так и представлял себе немцев с длинными дымящимися трубками, засидевшихся над кружками с густым темным пивом. Конечно, я знаю, о чем он говорит. Это называется Мелодрама – род театрального действа, когда стихи читают или поют под музыку; совершенно бесполезная вещь для оперы, как мы ее понимаем в Ковент-Гардене.

Но я сдержался. Никогда не выходить из себя, имея дело с музыкантами, – это хороший принцип, как Вы знаете по опыту своих сношений со вспыльчивым Бишопом, из коих Вы всегда выходите по-

бедителем благодаря своей превосходной Флегматичности. Я написал снова, пытаясь уговорить Гофмана посмотреть на дело с моей точки зрения; в мои задачи, объяснял я ему, не входит продвижение вперед границ музыки и ныряние в мутное царство снов. Я уверил его, что шутку англичане ценят превыше всего и если что говоришь англичанину, это следует говорить шутливо или вовсе не говорить, когда речь идет о музыке. (Я исключаю, конечно, жанр Оратории, ибо это совсем другое.) Я даже попытался впечатлить герра Гофмана прелестной написанной мною песенкой, предлагая сделать ее первым выступлением эльфа Пигвиггена (мадам Вестрис) для обрисовки характера персонажа:

*Сидит на троне Оберон*
*С Титанией своей,*
*Но он ли правит всей страной?*
*Да полноте, ей-ей.*
*Вот я – Пигвигген, их премьер-*
*Министр и советник,*

*Я всех важней, хотя, ей-ей,*
*Не так-то я заметен.*
*Вот с королевою король*
*Не поделили что-то,*
*Их помирить тотчас изволь:*
*Нелегкая работа!*

*Кто правит Сказочной страной?*
*Ей-ей, конечно, не Король!*
*Я здесь отнюдь не лишний:*
*Главней Сморчка и Шишек.*
*В своих одеждах голубых,*
*Всем правлю я – от сих до сих!*
*В волшебной дали голубой*
*Король считается со мной!*
*В волшебной дали голубой*
*Важней Пигвигген, чем король!*

Осмелюсь сказать – не из тщеславия, но как человек, завоевавший достойное место в театре сочинением нескольких пиес, имевших несомненный успех, – что песенка весьма удалась. Вы согласны?

Прошло уже несколько недель, но ни строки от нашего немецкого друга. Время, однако, идет, и я пошевелю его снова, столь добродушно, сколь я умею.

Примите и пр.,

***Ваш Дж. Р. Планше.***

— На этом письме есть пометка, сделанная рукой Кембла: «Мне сообщили, что Гофман умер в Берлине двадцать пятого июня. Немедленно известить Планше и назначить ему встречу — надо выбрать другую пиесу и другого композитора — Бишопа? — так как опера должна быть готова к Рождеству».

За Круглым столом воцарилось тяжелое молчание. Пенни взяла гроздь винограда из Блюда изобилия.

Первым заговорил Холлиер:

— Как вы думаете, что понял бедный умирающий Гофман из всего этого мусора про голубых мальчиков, сморчки и шишки?

— Современные зрители, несомненно, воспримут это как непристойную шутку. Язык в некоторых отношениях сильно изменился со времен Планше, — сказал Даркур.

— Это уж точно, — заметил Артур.

— Может быть, с современными зрителями не все так плохо, — утешил их Пауэлл, настроенный, кажется, оптимистичнее прочих. — Помните ту песню из «Кордебалета»[296]? Там все время было про «голубые дали», а пела девушка с великолепными конечностями. И у публики это вызвало фурор.

— Не могу не согласиться насчет изменений в языке, — сказала Пенни. — Это я еще не стала вам читать наброски диалогов, которые Планше послал Кемблу. Пигвигген у него приходит в лес, «где голубые ели», а потом долго распространяется о том, что у него теперь есть две волшебные шишки.

— Что у него есть? — в ужасе переспросил Артур.

— Две волшебные шишки. Очевидно, шишки с голубых елей в лесу Мерлина обладают особо волшебными свойствами.

— А что, в шишках нынче есть что-то двусмысленное? — спросил Холлиер. — Простите, я не очень разбираюсь в современном сленге.

— Шишки теперь означают женскую грудь, — объяснил Пауэлл. — Выпуклости, понимаете? «У

---

**[296] Примечания: 296**
*«Кордебалет»* (A Chorus Line) — мюзикл 1975 г.

нее отличные шишки». Возможно, это словечко больше распространено в Англии, чем здесь.

— А, понимаю. Я подумал про «шишку» в единственном числе, что означает головку полового члена. Возможно, об этом предмете будет говорить сам Великодушный Рогоносец.

— Ради бога, перестаньте шутить, — сказал Артур. — Дело очень серьезное. Вы что, не понимаете? Мы что, правда собираемся выкинуть кучу денег из наследства дяди Фрэнка на оперу про голубых мальчиков, шишки и сношения через дупло? Мария, скажи мне, я уже поседел? Я отчетливо ощущаю, как у меня съеживается кожа на голове.

— Мне как специалисту по Рабле отвратительны эти жалкие потуги на полускрытую непристойность, — заявила Мария.

Пенни не очень элегантно выплюнула на тарелку горсть виноградных косточек.

— Но зато у вас есть музыка. Во всяком случае, планы и наброски.

— Да, но годится ли она? — спросила Мария. — Если это на том же уровне, что и Планше, мы пропали. Сидим в дыре, как Артур говорит. Хороший ли Гофман композитор? Кто-нибудь знает?

— Я, конечно, не судья, — сказала Пенни. — Но

я думаю, что очень неплохой. Имейте в виду, я в музыке не специалист. Но когда я была в Лондоне, Би-би-си передавало «Ундину» Гофмана в цикле ранних романтических опер, и я, конечно, послушала. Даже записала, и эти записи у меня с собой, если кому интересно. У вас есть магнитофон?

Мария взяла кассеты и вставила одну в стереопроигрыватель, ловко спрятанный в шкафу рядом с Круглым столом. Даркур убедился, что у всех налито, и члены Фонда Корниша — в самом ужасном упадке духа со дня основания фонда — приготовились слушать. На всех лицах читалась безнадежность, но у Пауэлла — в меньшей степени. Ему как человеку театра было не привыкать к провалам и безднам творческого процесса.

Артура первого встряхнула и оживила музыка.

— Слушайте, слушайте! Он использует голоса в увертюре! Вы когда-нибудь слышали такое?

— Это голоса влюбленного и Духа Воды, взывающих к Ундине, — объяснила Пенни.

— Если он и дальше продолжает на том же уровне, может быть, все обойдется, — сказал Артур.

Он был страстным меломаном, плохим пианистом-любителем и ужасно сожалел, что дядя Фрэнк не оставил ему свою завидную коллекцию

музыкальных рукописей. Тогда незавершенная опера оказалась бы в надежных руках самого Артура.

— Да он умелый композитор, — произнесла Мария.

И в самом деле. Сотрудники Фонда Корниша приободрились — в меру своей способности к восприятию музыки. Даркур понимал, что слышит: он и с Фрэнсисом Корнишем когда-то познакомился на почве общей любви к музыке. Пауэлл утверждал, что музыка — одна из стихий, в которых он живет; он хотел расширить свой опыт театрального режиссера постановкой оперы и именно поэтому так уговаривал Фонд Корниша заняться «Артуром Британским». Холлиеру в детстве медведь на ухо наступил, но драматические сюжеты Холлиер любил и понимал, а «Ундина», безусловно, была драматична, — правда, это не мешало ему время от времени клевать носом. К концу первого акта все заметно приободрились и опять потребовали выпивки — но не для того, чтобы утишить боль поражения, а чтобы отметить удачу.

«Ундина» — длинная опера, но Фонд Корниша мужественно дослушал ее до конца. Было уже почти четыре часа утра; они просидели за Круглым

столом больше девяти часов. Но, кроме Холлиера, все были бодры и счастливы.

— Если таков Гофман-композитор, мы снова оседлали свинью, как говорится, — сказал Артур. — Надеюсь, я не выдаю желаемое за действительное, но, по-моему, это просто отлично.

— Он и правда призывает лиру Орфея, чтобы открыть подземный мир чувств, — заметила Мария. — Он часто повторял эту фразу. Должно быть, она ему очень нравилась.

— А вы слышали, как он использует деревянные духовые? Не просто дублирует струнные, как норовили даже лучшие итальянцы того времени; нет, у него они создают свое особое настроение. О волшебные глубокие звуки флейт! Это романтизм, верней верного, — сказал Пауэлл.

— Новый романтизм, — заметила Мария. — Можно уловить отзвуки Моцарта — нет, не отзвуки, а бережные воспоминания, с любовью; а в грандиозные моменты — бетховенскую крепкую плоть. И слава богу, в особо напряженных местах он достигает выразительности не за счет того, что дербанит в литавры. По-моему, это прекрасно! О Артур!..

От облегчения и радости она бросилась мужу на шею и поцеловала его.

— Я рад, что мы сначала выслушали его письмо к Планше, — сказал Даркур. — Теперь мы знаем, куда он двигался и чего надеялся достичь в «Артуре». Музыка не как подпорка для сценического действия, но как само действие. Как жаль, что ему не удалось довершить задуманное!

— Да-да, это все прекрасно; я не хочу лить на ваши восторги холодную воду, но как наименее музыкальный человек среди собравшихся должен заметить, что у нас все-таки нет либретто, — вмешался Холлиер. — Исходя из того, что белиберда Планше не годится, — конечно, вы все с этим согласны. Значит, либретто нет. А хватит ли у нас музыки на оперу, кто-нибудь знает?

— Я заходил в библиотеку посмотреть, — ответил Артур. — Там есть большая пачка нот, но я, конечно, не могу судить, в каком состоянии эта музыка. Кое-где на нотах что-то нацарапано по-немецки — видимо, предложения по сценическому действию или указания мест, на которых это действие должно происходить. Я не умею читать старонемецкий почерк, так что ничего не могу сказать.

— А слова?

— Я не видел никаких слов, но я могу ошибаться.

— Как вы думаете, мы можем вручить Шнак эти бумаги и предоставить ей простор для деятельности? Она знает немецкий? Может быть, переняла хоть немного от родителей. Конечно, это будет не поэтический немецкий. В старших Шнаках нет ничего поэтического, — сказал Даркур.

— Я не хочу показаться назойливым, но каково наше положение в отсутствие либретто?

Пауэлл потерял терпение:

— За этим столом собралось столько башковитых людей! Неужели мы все вместе не сможем составить одно либретто?

— Стихи? — переспросил Даркур.

— Да, стихи для либретто, — ответил Пауэлл. — Я видел десятки либретто, и ни одно из них не достигало головокружительных поэтических высот. Ну же! Составление либретто — это не для слабодушных.

— Боюсь, в отношении музыки я буду пятой спицей в колеснице, — заметил Холлиер. — Но что касается кельтских легенд, они по моей части. Я прекрасно помню роман Мэлори. Все мои познания — к вашим услугам. Я могу подделывать поэтические строки на позднесредневековом английском не хуже кого другого.

— Отлично, — сказал Пауэлл. — Вот мы и снова

оседлали свинью, как, в весьма кельтском духе, выразился Артур.

— О нет, не торопитесь, — осадил его Холлиер. — Нам понадобится время даже после того, как мы выберем нужный вариант Артуровой легенды. Их, знаете ли, много: кельтская, французская, немецкая и, конечно, версия Мэлори. А как мы собираемся трактовать образ Артура? Кто он — бог солнца, воплощенный в легенде людьми, не до конца обращенными в христианство? Или просто *dux bellorum*, вождь-военачальник бриттов, возглавляющий борьбу против пришлых саксов? Или мы выберем утонченный вариант Марии Шампанской и Кретьена де Труа? Или решим, что Гальфрид Монмутский все же знал, о чем пишет, сколь бы маловероятным это ни казалось? Теннисоновского Артура можно сразу сбросить со счетов — он насквозь добродетельный и благородный, послефрейдовская публика на такое не купится. Одно решение вопроса, каким мы хотим видеть Артура, может занять много месяцев упорных раздумий.

— Мы хотим видеть его героем оперы начала девятнадцатого века, и конец делу, — отрезал Пауэлл. — Нам нельзя терять ни секунды. Я, кажется, четко объяснил, что Стратфордский театральный

фестиваль позволит нам организовать девять или десять представлений «Артура» в следующем сезоне. Я уговорил их поставить его в расписание как можно позже, то есть в конце августа. Остался едва-едва год. Надо пошевеливаться.

— Но это абсурдно! — уперся Холлиер. — Успеем ли мы создать либретто, не говоря уже о музыке? И, кроме того, я думаю, певцам и театральным работникам тоже нужно будет время.

— С певцами и театральными работниками нужно будет подписать контракт не позже чем через месяц, — сказал Герант. — Боже мой, вы хоть примерно представляете, как работают оперные певцы? Лучшие из них связаны контрактами на три года вперед. Для нашего масштаба лучшие звезды не нужны, даже если бы мы могли их заполучить; но и умных певцов следующего разряда непросто будет найти, особенно для никому не известной вещи. Им придется втискивать нашу оперу в очень напряженные расписания. А еще оформитель, и плотники с малярами для декораций, и костюмы… Хватит пока, а то я сам испугаюсь.

— Но либретто! — воскликнул Холлиер.

— Либретто должно пошевеливаться. Тому, кто за него отвечает, придется немедленно взяться за

работу и работать быстро. Не забудьте, что слова нужно будет впихнуть в существующую музыку, какая бы она ни была, а это дело непростое. Мы не можем позволить себе расслабуху с солнечными богами и Кретьеном де Труа.

— Ну, если вы так подходите к делу, то мне лучше сразу удалиться. У меня нет никакого желания связывать свое имя с халтурой, — заявил Холлиер и налил себе еще стакан виски из графина.

— Нет-нет, Клем, ты нам очень нужен, — поспешила заверить Мария.

Она до сих пор питала нежность к человеку, который — кажется, уже так давно — сорвал цвет ее невинности: почти рассеянно, словно не замечая, что делает. Конечно, вряд ли Мария, современная девушка, обладала чем-то таким архаичным, как цвет невинности, но это слово подходило к палеопсихологическому образу мышления Клемента Холлиера.

— Я берегу свою репутацию ученого. Мне жаль настаивать, но это факт.

— Клем, ну конечно ты нам нужен, — вмешалась Пенни Рейвен. — Но, я думаю, только в качестве консультанта. Саму писанину лучше оставить старым рабочим лошадкам вроде нас с Симоном.

— Как пожелаете, — с пьяным достоинством сказал Холлиер. — Я безо всяких сожалений признаю, что у меня нет опыта работы в театре.

— Опыт работы в театре — именно то, что нам понадобится, и притом солидный опыт, — сказал Пауэлл. — Я собираюсь вас вытащить из этой кутерьмы, и я намерен действовать кнутом, — надеюсь, никто не будет на меня в обиде. Если мы хотим создать хоть какую-то постановку, нам придется собрать воедино кучу разнородных элементов.

— Я как член ученого сообщества, предположительно играющий роль акушерки при вашем начинании, смею напомнить, что вы забыли один важный элемент, который будет иметь большой вес во всем этом деле, — сказала Пенни.

— А именно?

— Особого научного руководителя, которого выписали для Шнак. Светило, которое приедет в университет, чтобы в течение года выступать в роли «композитора с проживанием» специально для участия в нашем проекте.

— Уинтерсен все намекает, но так и не назвал имя, — заметил Даркур. — Пенни, ты знаешь, кто это?

— Знаю. Они наконец договорились. Это не кто

иной, как сама доктор Гунилла Даль-Сут.

— Боже ты мой! Что за имя! — воскликнул Даркур.

— Да, а что за дама! — отозвалась Пенни.

— Не слыхал про такую, — заметил Артур.

— Как не стыдно! Ее считают преемницей Нади Буланже[297], музой, воспитательницей талантов и творительницей чудес. Шнак — поистине удачливое дитя. Но еще про Гуниллу говорят, что она — Страх Божий, так что Шнак лучше остерегаться, а то ей достанется на орехи.

— С какой же стороны света явится сие грозное воплощение божества? — спросил Артур.

— Из Стокгольма. Разве имя и фамилия вам ни о чем не говорят?

— Надо думать, нам колоссально повезло?

— Не могу сказать. Кто она — Снарк или Буджум? Поживем — увидим.

## 6

## ЭТАГ в чистилище

*Мне нравится этот Пауэлл. Настоящая те-*

---

**[297] Примечания: 297**

*Надя Буланже* (1887–1979) — французский музыкант, дирижер, педагог.

*атральная душа. Боже, как вспомню, каково мне приходилось, когда я ставил оперы в Бамберге и даже в Берлине — и не всегда знал, где взять нужное число музыкантов для оркестра! Да и что за музыканты! Днем — портные, вечером — кларнетисты в театре! А певцы! Но хуже всего был хор. Помню, иные хористы украдкой бегали за сцену, когда хор был не занят, и возвращались через пару минут, вытирая рот тыльной стороной руки! И еще все актеры носили кальсоны под трико: вельможи при дворе какого-нибудь князя Егосиятельство выглядели так, словно только что ввалились в театр с ледяных пустошей Лапландии. Теперь все стало гораздо лучше. Порой мне удается проникнуть на постановку какой-нибудь оперы Вагнера — того самого Вагнера, который так любезно обо мне отзывался и указывал на мое влияние в своем превосходном использовании лейтмотива. Поверьте, мне хочется рыдать — в той мере, в какой может рыдать тень, — до того чисто вымыты эти певцы! Все мужчины, кажется, побрились в самый день представления. Иные женщины толсты, но ни одна из них не беременна больше чем на пятом месяце. Многие из этих актеров умеют играть! И играют — хоть и не всегда хорошо. Без сомнения, в опере многое*

*изменилось с моих бамбергских дней.*

*А про деньги нечего и говорить! Артисты, занятые в моем «Артуре», могут каждую пятницу являться к театральному казначею, точно зная, что им выплатят полное жалованье за всю неделю. Как хорошо я помню обещания своего времени — и ненадежность этих обещаний! Конечно, мне как директору театра — то есть человеку, которому порой приходилось дирижировать оркестром и малевать декорации, — жалованье обычно выплачивали, но его было трагически мало. Эти современные люди театра, кажется, не чувствуют, что они живы, а я, думая об их легкой жизни, порой забываю, что я мертв. Точнее, мертв в той же степени, что и все остальные обитатели чистилища.*

*Я наконец-то смею надеяться. Может быть, мне не суждено остаться в чистилище навеки. Если Герант Пауэлл поставит моего «Артура» и хотя бы пять человек высидят до конца представления, то я обрету свободу и моя душа возобновит свой прерванный полет, mors interruptus* [298] *, выражаясь научно.*

*Конечно, виноват я сам. Да, я ушел раньше вре-*

---

**[298] Примечания: 298**
Прерванная смерть *(лат.)*.

*мени, но следует признать, что я сам ускорил свою кончину — так же верно, как если бы прибег к петле или ножу. Моя смерть наступила от бутылки и от… впрочем, довольно. Назовем это «смертью от романтизма».*

*Однако по великому милосердию Всевышнего существование в чистилище — вовсе не сплошные слезы раскаяния. Мы можем и смеяться. И как же я смеялся, когда эта женщина-профессор — в мое время такого не было; ученая женщина могла быть bas bleu* [299] *, но никогда не подумала бы вторгнуться в университет, — когда эта женщина-профессор, как я уже сказал, читала письма Планше Кемблу.*

*Мне они были в новинку. Я помню его письма ко мне, источаемую ими живость и самоуверенность. Он вовсе не сомневался, что я, который не писал опер уже несколько лет — кажется, семь, — с радостью приму его развязную помощь. Но эти письма Кемблу, в которых он рапортует о нашей переписке, были для меня чем-то новым; они представили мне всю историю в ином, забавном свете. Бедняга Планше, трудолюбивый гугенот, столь твердо намеренный поработать*

---

**[299] Примечания: 299**
Синий чулок *(фр.)*.

*на благо мадам Вестрис и ее великолепных конечностей. Бедняга Планше, уверенный, что оперная публика не усидит спокойно, когда играют или поют что-то серьезное. Конечно, Планше представлял себе оперу в виде дурного Россини — или в виде Моцарта, изуродованного самовлюбленным бандитом Бишопом. Ковент-Гарден Планше — это театр, где никто не слушает происходящего на сцене, пока не завизжит или не затрубит очередная Великая Глотка; где люди приходят в ложи с корзинами жареной птицы и шампанского и набивают животы прямо посреди действия; где все зрители подходящего возраста, от четырнадцати до девяноста, флиртуют, кивают друг другу и посылают из ложи в ложу billets doux* [300] *, обернутые вокруг пакетиков со сластями; где сопрано, стяжав достаточно настойчивые аплодисменты, приостанавливает ход оперы и исполняет какую-нибудь популярную песенку — после моей смерти это зачастую был «Дом, милый дом», монументальный вклад Бишопа в историю музыки; где драгоценности сопрано — настоящие, полученные за упорное лежание под старыми богатыми вельможами — интере-*

---

**[300] Примечания: 300**
Любовные записочки *(фр.)*.

*суют зрителей не меньше, чем ее голос; по мере увядания Великой Глотки взгляды все сильнее приковывает Великий Бюст, и чем больше он, тем больше на нем уместится бриллиантов. Ревнивые соперницы называют их «медалями за доблесть».*

*В Германии — даже в Бамберге — мы знали театр лучше этого и трудились, чтобы зачать Романтизм и произвести его на свет.*

*Я рыдал — о да, мы, обитатели чистилища, можем рыдать и часто предаемся этому занятию, — вновь услышав мою «Ундину», исполненную лучше, чем я когда-либо слышал при жизни. Как хорошо теперь играют оркестры! В том оркестре, который извлекла bas bleu из хитроумной музыкальной машинки, пожалуй, не было ни одного портного! «Ундина» осталась моей последней попыткой перетащить оперу из восемнадцатого века в девятнадцатый. Я вовсе не отвергаю Глюка и Моцарта, но следую за ними в своих попытках вытащить в сознание нечто большее из бессознательной части человеческой души. Так мы обратились от их формальных комедий и трагедий к мифам и легендам, чтобы освободиться от цепей классицизма. И сюжет «Ундины» — да, моей прекрасной сказки о водяной*

*нимфе, которая становится женой смертного и в конце концов уносит его с собой в подводное царство, — разве не говорит о стремлении современного человека исследовать глубины, лежащие под поверхностью его собственной души? Я знаю, что сейчас мог бы разработать этот сюжет гораздо лучше, но я и тогда неплохо справился. Вебер — мой щедрый, добрый друг Вебер — хвалил искусство, с которым я объединил музыку и действие в прекрасной мелодической концепции. Такая похвала, и из такого источника!*

*И вот наконец, после долгого ожидания, может быть, и из моего «Артура» что-нибудь выйдет. «Нет либретто», — сказали они. У них есть лишь яйца-болтуны, которые так ловко высасывал Планше. Куда они пойдут за либретто? Но я верю в Пауэлла. Думаю, он знает об Артуровом мифе больше, чем все остальные, особенно профессора. Смею ли я надеяться, что моя музыка, мои наброски зададут тон всей работе? Конечно. Я должен надеяться.*

*Жаль, я понимаю не все, что они говорят. Кто такие Снарк и Буджум, которых упомянула bas bleu? Звучит словно некая великая битва из трудов Вагнера. О, это докучное ожидание! Надо полагать, оно и есть мука или наказание, перено-*

*симые в чистилище.*

# III

## 1

Симон Даркур сидел у себя в кабинете, в колледже Плоурайт, и обдумывал план преступления. Это, несомненно, было преступление, ибо он задумал обворовать сначала университетскую библиотеку, а затем — Канадскую национальную галерею. Княгиня Амалия выразилась предельно ясно: цена информации о Фрэнсисе Корнише, которой она готова поделиться, — наброски к рисунку, который она использует для рекламы своей марки косметики. Княгиня преподносила его публике как рисунок старого мастера, хоть и не называла имя этого мастера. Но тонкость линий, виртуозное владение техникой серебряного карандаша и, превыше всего, умение воспроизвести девственную красоту — непорочную, но сознающую свои силы — недвусмысленно говорили о ком-то из старых мастеров.

Фотографии княгини Амалии уже много лет появлялись в разделах светских сплетен модных журналов, где она публиковала свою рекламу. Было видно, что эта прекрасно сохранившаяся

аристократка, лет, быть может, пятидесяти с небольшим, принадлежит к тому же роду, что и невинное дитя на рисунке в рекламе. О магия аристократии! О романтика древнего рода! Как передавалась красота, подобно благословению, через четыре века! Аристократизм, конечно, не купить в магазине, но ведь могла же крупица волшебства перейти от княгини Амалии в ее лосьоны, мази и краски! Дамы — и, как стало известно, немало джентльменов — поспешили записаться на прием к умелым визажисткам из салонов княгини. Визажисткам предстояло (это занимало целый день) установить, какой старый мастер живописал именно тот тип красоты, к которому принадлежит клиент, и какие краски этот мастер использовал, чтобы запечатлеть красоту на века. (В обширном списке мастеров ближе всех к современности был Джон Сарджент.) Предположительно только княгиня Амалия могла воспроизвести нужные краски в косметике. Процедура была очень дорогая, но, конечно, стоила того, ибо вводила клиента в мир великого искусства, творений величайших художников. Чтобы тебя увидели как человека с картины старого мастера — неужели это не стоит больших денег? «Расхватывают, как горячие пи-

рожки» — этой вульгарной фразой рекламщики описывали успех кампании. Не старайтесь выглядеть по последнему писку моды. Откройте в себе — в глубинах своей души — свое лучшее «я», модель гениального художника!

Конечно, если выплывет на свет, что портрет благородной девы из числа предков княгини Амалии на самом деле нарисован канадцем, знавшим княгиню девчонкой, миллионы долларов вылетят в трубу. Во всяком случае, так сказали бы специалисты по рекламе. Если какой-нибудь любопытный, роясь в запасниках Национальной галереи, обнаружит наброски к этой великолепной мистификации — наброски, сделанные рукой канадца, подделывателя картин и проходимца, ибо никем другим он быть не мог, — княгиня, опять-таки по выражению рекламщиков, ударит своим прекрасным лицом в грязь. Во всяком случае, так казалось княгине, чувствительной, как, по общему мнению, подобает аристократам.

Княгиня хотела получить эти наброски; она предложила за них определенную цену — информацию, которая, по намекам княгини, гарантирует успех книги Даркура, биографии покойного Фрэнсиса Корниша, ценителя искусств и благодетеля своей страны.

Даркура снедала лихорадка биографа — алчное стремление заполучить необходимую информацию. У него не было ни малейшего доказательства, что княгиня действительно знает нечто важное, но он был убежден в этом и готов на отчаянный поступок, чтобы выведать, что именно она знает. Он нутром чуял, что она поможет заполнить огромную дыру, зияющую посреди его книги.

Книга была близка к завершению — насколько книга может быть к этому близка, если в ней не хватает важной части. Даркур уже написал заключительные главы о последних годах жизни Фрэнсиса, когда тот вернулся в Канаду и стал меценатом, покровителем художников, ценителем с международной репутацией, щедрым дарителем картин современных и старинных художников Национальной галерее. И действительно, Фрэнсис подарил галерее все свои папки с рисунками. Многие, без сомнения, принадлежали старым мастерам; среди этих рисунков прятались наброски к портрету княгини Амалии. Но книга о собирателе искусств и покровителе художников, даже очень хорошо написанная, не обязательно захватит читателя. Читатели биографий любят жареные факты.

Даркур закончил и первую часть книги, описание детства и юности Фрэнсиса; учитывая, каким скудным материалом он пользовался, это была просто гениальная работа. По скромности Даркур не применял к себе слово «гениальный», но знал, что поработал на славу, изготовив прочные кирпичи из трухи и соломы. Ему повезло, что покойный Фрэнсис Корниш никогда ничего не выбрасывал и не уничтожал. Среди личных бумаг Фрэнсиса — тех, что попали в университетскую библиотеку, — нашлось несколько альбомов с фотографиями, сделанными дедушкой Фрэнсиса, старым сенатором, основателем фамильного состояния. Старый Хэмиш был страстным фотографом-любителем; он без конца запечатлевал улицы, дома, рабочих и более высокопоставленных жителей Блэрлогги, городка в долине реки Оттавы, где прошло детство Фрэнсиса. Все фотографии были аккуратно подписаны викторианским почерком сенатора. Вот они — бабушка, красавица-мать, импозантный, но какой-то одеревенелый отец, тетушка, семейный доктор, священники, даже кухарка сенатора Виктория Камерон и нянька Фрэнсиса Белла-Мэй. Было и много фотографий самого Фрэнсиса, хрупкого, темноволосого, насторожен-

ного мальчика — уже с тем самым, красивым, но словно омраченным тенью лицом, за которое княгиня Амалия прозвала взрослого Фрэнсиса *Le Beau Ténébreux*. Опираясь на эти фотографии, которые сенатор звал «солнечными картинами», Симон Даркур возвел вполне убедительное сооружение — описание ранних лет Фрэнсиса. Оно было настолько хорошо, насколько позволяли обширные изыскания Даркура, подкрепленные его живым воображением (которое он, однако, умел обуздывать).

Для биографии книга была написана прекрасно: биографическая литература полагается на свидетельства, но в гораздо большей мере — на домысел биографа, если в его распоряжении нет дневников и семейных бумаг, чтобы заполнить пробелы. Однако лучшая биография — это разновидность беллетристики. Биографический труд невозможно отфильтровать, очистить от личности биографа, его симпатий. Дневников в распоряжении Даркура не было. Лишь несколько табелей из блэрлоггских школ Фрэнсиса и из Колборн-колледжа, где Фрэнсис учился позже; какие-то записи и бумаги из университета. Личных документов очень мало, но Даркур сотворил чудеса с теми, что были. Однако, чтобы ожить,

книге не хватало сердца. Что, если у княгини есть частица этого сердца, пусть больного, ревматического? Тогда книга оживет, заполнится дыра, зияющая на месте лет, когда Фрэнсис вроде бы изучал изобразительное искусство и развлекался в Европе. По временам Даркур приходил в отчаяние. Он обрадовался бы даже расписке об уплате за услуги борделя. А теперь ему представился увесистый шанс получить данные, которые помогут заполнить зияющую пропасть между полным надежд молодым канадцем, словно сквозь землю провалившимся после Оксфорда, и Фрэнсисом, возникшим в 1945 году в образе искусствоведа, сотрудника комиссии, возвращающей украденные картины и скульптуры законным владельцам. Ценой этих данных было преступление. Да, преступление, что уж тут играть словами.

Но Даркур не поддавался угрызениям совести. Конечно, он священник, хоть и зарабатывает на жизнь преподаванием греческого языка; он по-прежнему иногда надевает священнический воротничок, но тот уже давно не сковывает его дух. Сейчас Даркур ощущал себя в первую очередь биографом, а биографы испытывают только очень специфические моральные терзания. Колебания Даркура вызывал не вопрос, как ре-

шиться на кражу, а совсем другой: как украсть и не попасться. Он так и видел заголовки в газетах: «Профа повязали на попытке обнести галерею». Выступать на суде в роли обвиняемого будет чудовищно стыдно. Конечно, его не посадят — в наше время сажают только за неуплату налогов. Но, конечно, оштрафуют и, несомненно, заставят ходить отмечаться в полицию, ежемесячно докладывать, как его успехи на новой работе — преподавании латыни на курсах Берлица.

Так как же это сделать? Даркур припомнил, что Шерлоку Холмсу случалось разгадывать преступление, поставив себя на место преступника, — это помогало открыть если не мотив, то хотя бы метод. Но сколько Даркур ни погружался в глубины преступной души, никакого решения он там не находил. Все, что дали ему эти попытки, — мысленный образ самого себя в черной маске, свитере с высоким горлом и кепке, натянутой по самые брови. Воображаемый Даркур выходил из здания Национальной галереи с большим мешком через плечо. На мешке крупными буквами значилось: «ВОРОВСКАЯ ДОБЫЧА». Это был фарс, а Даркур сейчас нуждался в большой дозе элегантной комедии.

Уж не видит ли он себя кем-то вроде супер-

мена, Клерикального Медвежатника Даркура? Может, за темными одеяниями священника и скромным достоинством преподавателя древних языков таится острый ум, планирующий кражи, которые ставят в тупик лучшие умы полиции? Может, это и есть его истинное лицо? О, если бы это было так! Но умные жулики из книг живут в мире, где мысль обладает абсолютной силой и где тщательно продуманные планы никогда не идут насмарку. Даркур прекрасно понимал, что живет совсем в другом мире. Для начала он обнаружил — уже, можно сказать, на склоне лет, — что не умеет думать. Конечно, он мог при необходимости выстроить логическую цепочку, но, когда речь заходила о его личных делах, мозги превращались в кашу, и он принимал важные решения «по наитию», неким мысленным скачком, не имеющим ничего общего с мышлением, логикой или любым другим атрибутом первоклассного преступника, о каких пишут в детективах. Даркур создавал решение, как талантливый повар создает суп: бросает в кастрюлю все, что подворачивается под руку, добавляет пряности и вино, делает еще что-то — и выходит нечто божественно вкусное. Рецепта нет, результат предсказуем лишь в самых общих чертах. Можно ли так пла-

нировать преступление?

Если воспользоваться другой метафорой — Даркур вечно переключался с одной метафоры на другую, стараясь только не смешивать их, чтобы не получилась каша, — он словно крутил в кинозале головы обрывки пленки, на которых проделывал разные вещи разными способами, пока наконец не натыкался на план действия. Как ему совершить нужное преступление?

Оно должно состоять из двух частей. Насколько он помнил, предварительных набросков к портрету княгини Амалии было пять; они лежали в большой связке папок с рисунками старых мастеров из коллекции Фрэнсиса. Эти наброски Даркур должен извлечь и увезти в Нью-Йорк. Он знал, что папки никто не рассматривал подробно и уж точно не вносил в каталог; они лежат в запаснике Национальной галереи в Оттаве. В каталог их не внесли, но наверняка видели — Даркур надеялся, что мельком. Их хватятся, но припомнят ли в деталях? Скорее всего, их перенумеровали. И действительно, Даркур сам составил очень приблизительный каталог, когда, исполняя завещание Фрэнсиса Корниша, отправил кучу бумаг в Оттаву. «Карандашный набросок головы девушки», что-нибудь в этом

роде. О, если бы только нетерпеливый юноша Артур не настоял на том, чтобы картины, книги, рукописи и прочую ценную рухлядь его дяди изъяли из обширного дядиного жилища и склада как можно скорее! Но Артур настоял, а красть картины из большой государственной галереи — непростое дело.

Однако — и это было очень большое «однако», преисполненное надежд, — личные бумаги Фрэнсиса Корниша попали в университетскую библиотеку, а с ними — рисунки, которые, как показалось Даркуру, были дороги хозяину скорее по воспоминаниям, чем из-за их художественной ценности. Тут были картины, принадлежащие к оксфордскому периоду жизни Фрэнсиса, когда он, кроме копирования рисунков старых мастеров из Эшмоловского музея, рисовал с натуры. Даркур предположил, никого не спрашивая, что Национальной галерее эти рисунки ни к чему, хоть они и неплохи. А что, если их подменить? Утащить пять картинок из библиотеки и вложить их в папки в галерее? И никто не узнает. Кажется, решение найдено. Осталось понять, как воплотить его в жизнь.

Наутро после того дня, когда участники Круглого стола заслушали обрывки либретто Планше

в исполнении Пенни Рейвен, Даркур сидел в халате у себя в кабинете и смотрел обрывки мысленного кино. Тут за окном затрещало, запыхтело, засопело и запердело — Даркур знал, что такие звуки производит только маленькая красная спортивная машинка Геранта Пауэлла, когда резко тормозит. Через несколько секунд забарабанили в дверь, — конечно, это был Пауэлл с его манерой привносить чисто шекспировский жар в скромные повседневные дела.

— Вы спали? — спросил он на бегу, ворвался в кабинет, сбросил с кресла пачку бумаг и плюхнулся на их место сам.

Кресло — хорошее, старинное, Даркур заплатил за него кучу денег грабителю-антиквару — угрожающе затрещало, когда актер устроился в нем, вальяжно забросив одну ногу через подлокотник. Пауэллу была свойственна некая театральная широта движений; все, что он говорил, произносилось с актерской точностью, необыкновенно звучным голосом, в котором еще слышались отзвуки валлийского акцента.

Даркур сказал, что нет, он почти не спал, так как вернулся домой около пяти часов утра. Вчерашний разговор и прослушанная «Ундина» чрезвычайно взволновали его, и потому сон его

не был крепок. Он, конечно, знал, что Пауэлл намерен рассказать ему, как почивал сам.

— Я глаз не сомкнул, — провозгласил Пауэлл. — Ни на минуту. Без конца крутил в голове всю эту историю. Что я вижу перед собой, так это гигантский забег с препятствиями. Посудите сами: у нас нет либретто; неизвестно, есть ли у нас музыка и сколько; у нас нет ни певцов, ни декораций, ни времени на работу с техниками, плотниками и механиками театральных машин — ничего, кроме надежд и театрального помещения. Если мы хотим, чтобы эта опера не оказалась самым чудовищным провалом в истории искусства, нам надо трудиться день и ночь, начиная прямо сейчас и до того момента, когда постановка окажется на сцене, беззащитная перед критиками, этими насильниками-педофилами. Думаете, я преувеличиваю? Ха, ха!

Его смех заполнил бы театр приличных размеров. В окнах кабинета задрожали стекла.

— Из глубин своего нетривиального опыта я уверяю вас, что не преувеличиваю. А от кого мы зависим, вы и я? А? От кого мы зависим? От Артура — он лучший из людей, но невинен, как нерожденный младенец, и ничего не смыслит в том мире, куда мы сейчас вступаем

со связанными руками. Артур вооружен лишь предпринимательским духом и мешками денег. Кто еще? Эта девчонка, я ее пока не видел — она должна произвести на свет музыку для оперы. И ее руководительница, женщина со странным именем, — наверняка жуткая книжная крыса, которой нужно сто лет на самое простое дело. Конечно, есть еще Пенни, но она не театральный человек, и я не знаю, насколько ей можно доверять. О высокоученом профессоре Холлиере я запрещаю вам даже упоминать; он, совершенно очевидно, не способен отличить голову от седалища, выражаясь театрально. Паразит, и больше ничего, — к счастью, от него легко отделаться. Ну и компашка!

— Вы ничего не сказали о Марии, — заметил Даркур.

— Я могу часами говорить о Марии, притом в стихах; она — кровь моего сердца. Но какая от нее польза в нашем положении? А? Какая от нее может быть польза?

— Она сильнее, чем кто-либо другой, влияет на Артура.

— Вы правы, разумеется. Но это вторично. Почему она не остановила Артура, когда он решился на это безумное предприятие?

— Ну… а вы почему его не остановили? Я почему не остановил? Нас захватил его энтузиазм. Не стоит недооценивать силу Артурова энтузиазма.

— И опять вы правы. Впрочем, вы почти всегда правы. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю. Вы единственный участник Круглого стола, у кого хватит ума, если пошел дождь, спрятаться под крышу. Не считая меня, конечно.

У Даркура упало сердце. Подобного рода лесть обычно значила, что на него собираются свалить какую-нибудь трудоемкую и нудную работу, за которую никто больше не хочет браться. Пауэлл продолжал:

— Вы единственный человек в Фонде Корниша, кто делает дело. Артур порождает идеи. Выстреливает ими, как ракетами. И гипнотизирует всех остальных. Но если в фонде хоть что-то делается, то исключительно благодаря вам. У вас хватает терпения заставить Артура прислушаться к доводам рассудка. Вы хоть понимаете, что вы такое, а? Они называют эту штуку Круглым столом, а если это Круглый стол, то кто тогда вы? А? Не кто иной, как Мирддин Виллт, советник великого короля. Мерлин — вот ты кто. Ты же должен был это увидеть. Как можно этого не увидеть?

Даркур в самом деле до сих пор этого не видел.

Он притворился невеждой, надеясь, что Пауэлл дальше разовьет такую лестную мысль.

— Мерлин? Это, кажется, волшебник?

— Его считали волшебником все эти морлоки, которые собирались за Круглым столом, потому что он умел что-то делать, кроме как драться и гоняться за Граалем. В каждой великой легенде есть толпа героев и один по-настоящему умный человек. Наш Артур — герой: люди обожают его, едят у него из рук. Холлиер, надо думать, тоже герой — в своем роде. Я — герой, только на мне лежит фатальное клеймо интеллекта. Но ты — не герой. Ты — Мерлин, и я хочу, чтобы ты работал вместе со мной, иначе нам не удастся привести эту дикую затею хоть в какой-то рабочий порядок.

— Герант…

— Зови меня Герант-бах. Это валлийское обращение. Оно обозначает дружбу, понимание, сообщничество.

— Бах? Как Иоганн Себастьян Бах?

— Старина Иоганн Себастьян родился в Германии, но в душе был валлийцем. «Бах» — это уменьшительный суффикс. Это все равно что сказать «Герант, дорогой» или «мой милый Герант». Валлийский язык очень богат на выражения

близости и ласки. А я буду звать тебя Сим-бах. В знак нашей духовной близости.

Даркур и не подозревал, что между ним и Пауэллом есть какая-то особая духовная близость, но Пауэлл подался вперед в кресле, сверкая огненными глазами, источая заговорщический дух, как печка — жар. Ну вот, подумал Симон. Впрочем, если эта близость примет угрожающую форму, всегда можно отодвинуться.

— Так чего же вы хотите, Герант-бах?

Пауэлл произнес громким шепотом:

— Мне нужны *dramatis personae*![301] Список действующих лиц, прямо сейчас.

— Ну, я полагаю, с этим проблем не будет. Даже Планше был вынужден согласиться, что в опере об Артуре где-то среди действующих лиц должен затесаться Артур. А где Артур, там и королева Гвиневра, и несколько рыцарей Круглого стола. И Мерлин, я полагаю. Эти в опере точно будут, как ни выворачивай сюжет.

— Ага! Ты сразу все понял! Я так и знал, что ты поймешь. Сим-бах, ты золотой человек! А ты понимаешь, что это значит? Нам нужна Оперная Четверка. Сопрано — конечно, Гвиневра. Хотя

---

**[301] Примечания: 301**
Действующие лица *(лат.)*.

я не люблю эту офранцуженную форму ее имени. Про себя я всегда называю ее Гвенхвивар. Гораздо изысканней звучит, правда ведь? Но эти англоговорящие едва ворочают языком и, конечно, не смогут такого произнести. Так, а кто у нас контральто? У нас обязательно должно быть контральто.

— О боже. Давайте посмотрим. Хм… Фея Моргана?

— Точно! Коварная сестра Артура. Естественно, контральто. Всем оперным злодейкам положены эти богатые, чарующие низкие ноты. А кто у нас тенор?

— Сам Артур, наверно?

— Нет. Артур должен обладать весом. Ему, думаю, нужен баритон. Хороший, бархатный бас-баритон. Если сделать его и тенором, и рогоносцем, публика не будет ему сочувствовать, а Артур обязательно должен вызывать сочувствие публики. Но нам нужен еще более низкий бас — и для квартетов, и для сюжета.

— Это, должно быть, Мордред, виновник гибели Артура.

— Совершенно верно.

— Но как же без тенора? Разве может быть опера без тенора?

— Конечно нет. Публике нужен тенор. Это у нас будет Ланселот, соблазнитель. Тенора — великие соблазнители.

— Ну хорошо. Значит, вот ваши четыре голоса. Точнее, даже пять.

— Отлично. Нам понадобится еще одна женская роль, Элейны, Лилейной девы. Ей подойдет хорошее меццо-сопрано — годится для сильных чувств, но не слишком низко, низкий голос — это для злодеек. И еще несколько теноров и басов для рыцарей Круглого стола, но они на самом деле просто хор, так что их найти несложно.

— Как у вас все просто получается.

— Нет, Сим-бах, вовсе не просто. Я сейчас же сяду на телефон и начну искать людей на эти партии. Как я вчера уже говорил, певцов нельзя в последнюю минуту подбирать. Они еще хуже хоккеистов: их надо немедленно пришлепывать контрактом или хоть каким-то письменным соглашением, и чем заблаговременнее, тем лучше.

— Но ведь наши специалисты по музыке — Шнак и эта женщина со странным именем — захотят участвовать в обсуждении? Я знаю и вы знаете, что у нас нет либретто. Как можно нанимать певцов, если у нас нет ни либретто, ни музыки?

— Нужно. Время не ждет. К тому же основа либретто у нас есть.

— Есть? С каких пор?

— Со вчера, когда я ворочался и не мог сомкнуть глаз и ее придумал. История Артура у нас есть. Что тут долго говорить? У меня есть основа сюжета. Теперь нужно только немножко слов и музыки. И вот тут, старина Мерлин, на сцену выходишь ты. Подгони дело, чтобы либретто как можно скорей оказалось на бумаге.

— Пауэлл… прошу прощения… Герант-бах, вы уже говорили об этом с кем-нибудь, кроме меня?

— Еще нет. Но мы встречаемся с важной дамой, гением, музой, погонщицей Шнак, на ужине в субботу. Что, тебе никто не сказал? Ну, еще скажут. И тогда я поведаю ей сюжет «Артура Британского», а вы с малышкой Пенни начнете выдавать на-гора слова — да побыстрее.

— Как-то у вас все просто получается.

— Ага! Ирония! Сим-бах, я твою иронию обожаю. Это первое, что меня к тебе привлекло. Я так счастлив, что ты согласился, — просто словами не передать. Я сейчас же сяду на телефон. Счета наверняка в целое состояние обойдутся. Надо думать, я буду их тебе присылать.

Герант схватил Даркура за обе руки и выкрутил

их. Затем привлек ошеломленного Даркура к себе на грудь и по-шекспировски обнял. На протяжении всего объятия он, словно бы в экстазе от облегчения, терся щекой о щеку Даркура, обдавая его перегаром вчерашнего виски. Наконец он вылетел в дверь. Почти тут же его голос донесся с улицы — он орал на каких-то студентов с инженерного факультета, осмелившихся заглянуть под капот его машины. Фырканье и гудки послышались вновь и наконец затихли вдалеке.

В великом упадке духа Даркур снова сел обдумывать свое преступление. Да преступление ли это? Закон, разумеется, гласит, что да. Университет, несомненно, решит так же; попытка обворовать библиотеку вызовет некоторую неприязнь университетской общественности к Симону — хотя, возможно, этого преступления будет и недостаточно, чтобы лишить Даркура профессорского звания. Профессору на постоянной ставке сойдет с рук даже хула на Святого Духа[302], если, конечно, у него хороший адвокат. Но все же, по совести, ему придется уйти самому. Вот кража в Национальной галерее — другое

**[302] Примечания: 302**

*Профессору на постоянной ставке сойдет с рук даже хула на Святого Духа…* — Аллюзия на Мф. 12: 31: «всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам».

дело. Это, конечно, настоящее преступление.

Однако закон — это еще не все. Есть такая штука — естественная справедливость, хотя Даркур не очень хорошо представлял себе, откуда она исходит. Разве он не был одним из исполнителей завещания покойного Фрэнсиса Корниша? Его выбрал сам Фрэнсис — предположительно именно для того, чтобы Даркур действовал по своему усмотрению, исполняя волю покойного друга. А разве покойный не захотел бы, чтобы история его жизни, которую пишет его друг и биограф, была как можно более полной?

А в самом деле — захотел бы? Фрэнсис Корниш был очень странным человеком. В его характере было множество закоулков и темных углов, куда Симон никогда не заглядывал и не хотел заглядывать.

Но это все несущественно. Фрэнсис Корниш умер, а Даркур жив. Как бы Пенни Рейвен ни хотелось ввести Декларацию прав покойников, любой истинный биограф встретит эту идею в штыки. Даркур в полной мере обладал писательским тщеславием и хотел написать лучшую книгу, на какую был способен, — хорошая книга станет лучшим памятником его покойному другу, чем скучные записи о непреложных фактах.

Значит, так тому и быть. Он пойдет на преступление, и будь что будет. Книга важнее.

Так думал Даркур, и перед глазами у него крутились разные картины: преступление, и Фрэнсис Корниш, и княгиня Амалия, и сцена суда, где Даркур пытался оправдаться перед облаченным в мантию судьей с умными, понимающими глазами. Но Даркур чувствовал, что в его мысленный киносеанс лезут другие образы — из оперы, из слов Геранта Пауэлла о ролях, которые необходимы для успеха.

Пауэлл упомянул Мерлина. Но почему Мерлин не попал в список действующих лиц? Разве это столь тривиальная фигура, что сюжет обойдется без него? Или ее может сыграть любой халтурщик, церковный хорист, завербованный в последний момент? Надо будет спросить об этом, когда Герант в субботу за ужином начнет рассказывать свой сюжет.

Даркур давно знал, что в этом мире ему суждено делать бóльшую часть работы, в то время как награды достаются другим людям. Но и он был не лишен самоуважения.

Без Мерлина? Вот, значит, как «Герант-бах» видит историю Артура? Нет, Симон Даркур этого не допустит, раз уж его вынуждают играть роль

Мерлина в частной жизни. Он им всем покажет!

Но сейчас он должен устремить все силы на преступление.

## 2

Время не ждет. Даркур позвонил библиотекарю, заведующему особыми коллекциями, — своему старому другу. Человеку, которого он не стал бы обманывать ни за какие сокровища мира, если бы от этого не зависела судьба книги Даркура.

— Арчи, это Симон. Слушай, у меня тут возникла небольшая загвоздка с книгой. Ну, с моей биографией Фрэнсиса Корниша. Мне нужно кое-что проверить, связанное с периодом его жизни в Оксфорде. Можно я зайду взглянуть на бумаги, которые мы вам послали?

Никаких проблем. Заходи когда угодно. Сегодня после обеда? Конечно. Хочешь посидеть у меня в кабинете? Нет, незачем тебя беспокоить. Я только взгляну на бумаги — прямо в хранилище, или где там они у вас.

Это-то и беспокоило Даркура. Где лежат бумаги Корниша? Вдруг придется на них смотреть в комнате, полной младших подбиблиотекарей и прочих лишних глаз? Это было не очень вероятно, но все же возможно. При удаче он сможет

воспользоваться одним из крохотных закутков у окна, где аспирантам иногда разрешают разложить бумаги.

Легким шагом — в библиотеку. Кивай направо и налево, ты — всем известный профессор, пользующийся неограниченным доверием. Зайди в кабинет Арчи — поздороваться. Выслушай его стоны о нехватке денег на составление каталогов. Да, бумаги Корниша так и лежат, с тех пор как их прислали. Но не волнуйся, их каталогизируют как следует, вот только найдутся деньги. А может, Фонд Корниша захочет спонсировать этот проект? Даркур заверил Арчи, что Фонд Корниша непременно заинтересуется — он, Даркур, сам внесет такое предложение. А кстати, не оставить ли ему портфель в кабинете Арчи? Конечно, Даркур знает, что он вне подозрений, ха-ха. Но если сам нарушаешь правила, как заставить других их соблюдать? Арчи с этим согласился; каждый, немножко напоказ, уважил высокие принципы другого, и портфель остался лежать на стуле.

Облекшись таким образом в одежды праведности, Даркур вошел в большую комнату, заполненную стальными стеллажами, на которых в числе прочих материалов лежали бумаги Корниша. Молодая женщина, занятая медленной,

кропотливой работой — составлением каталога, показала Даркуру, где лежит искомое, и прошептала — почему прошептала? они были одни в комнате, но вся обстановка словно призывала к шепоту, — что в дальнем конце комнаты есть удобное спокойное местечко с большим столом, на котором можно разложить бумаги, чтобы их удобнее было просматривать. Даркур знал, что это противоречит библиотечному распорядку: он должен был объявить, какие именно документы ему нужны, даже если библиотекарям трудно их найти; но ведь он сам когда-то помог библиотеке заполучить эти бумаги и к тому же был членом Общества друзей библиотеки и щедро жертвовал на ее нужды. Хорошая репутация — незаменимая вещь, когда нужно совершить преступление.

Само преступление заняло несколько секунд. Даркур точно знал, какая из больших связок бумаг ему нужна, вмиг открыл ее и нашел нужные рисунки.

Они относились к оксфордским дням Фрэнсиса Корниша; в основном это были копии второстепенных старых мастеров, сделанные Корнишем для освоения стиля, которым он потом так гордился. Благодаря таланту и неустанным упражнениям Корниш научился рисовать дорогим

серебряным карандашом на тщательно подготовленной бумаге. Как произведения искусства его рисунки не представляли интереса. Старательные ученические работы, не более того.

Однако среди них попадались другие, тоже нарисованные серебряным карандашом, но по-другому помеченные. Все копии старых мастеров Корниш аккуратно подписывал, с указанием имени мастера (среди них часто попадался некто *Ignotus*[303], этот на удивление плодовитый художник) и даты создания копии. Но несколько рисунков были надписаны просто: «Исмэй, 14 ноября 1935 г.» (или какая-нибудь другая дата, вплоть до весны 1936 года).

Среди них были и головы, и поясные портреты девушки не то чтобы красивой, но, несомненно, с изысканными чертами лица. На других рисунках та же девушка, обнаженная, лежала на диване или стояла, прислонившись к камину. Что-то в этих рисунках явственно говорило: их создавала рука влюбленного. Изгибы плеч и шеи, талии и грудей, бедер, икр и ляжек очерчены удивительно бережно — не похоже на заурядный набросок начинающего художника, которому досталась

**[303] Примечания: 303**
Неизвестен *(лат.)*.

хорошая модель. И в технике нет отстраненности, характерной для старых мастеров, — она говорит о желании, горящем здесь и сейчас. Но в лице Исмэй нет любви. На нескольких рисунках оно было капризным, но чаще всего усмехалось, будто модель отчасти жалела художника и отчасти снисходила до него. В этих рисунках не было ничего от мертвенной искусности старых мастеров. Они жили. Это работа уже не ученика, а художника.

Кто же такая Исмэй? Жена Фрэнсиса Корниша, одна из многих фигур в его биографии, о которых Даркуру не удалось разузнать ничего. Или почти ничего. Она была дочерью Родерика и Пруденс Глассонов из усадьбы Сент-Колумб в Корнуолле; год проучилась в Оксфорде (в колледже Леди-Маргарет-Холл) и ушла, не получив диплома; обвенчалась с Фрэнсисом Корнишем в церкви Сент-Колумба 17 сентября 1936 года и с тех пор как будто исчезла без следа — ее существование после этой даты не отразилось ни в одном документе. Даркур случайно наткнулся на упоминание о ней и раскопал кое-что — сам Фрэнсис никогда не говорил о жене.

Даркур как биограф и ученый сделал все, что мог. Он написал сэру Родерику Глассону, сотруд-

нику министерства иностранных дел в Лондоне, и осведомился о судьбе его сестры. Пришел холодный ответ следующего содержания: насколько известно сэру Родерику, его сестра Исмэй погибла во время битвы за Британию в одном из северных городов, предположительно в Манчестере. О ней ничего не известно, так как опознать множество тел в разрушенном городе не представилось возможным и многих похоронили безымянными.

Значит, это жена Фрэнсиса Корниша — так она выглядела до свадьбы. Девушка, рожденная, чтобы очаровать романтически предрасположенного человека и, без сомнения, быть любимой им. Но куда она делась потом? Исмэй была частью дыры посреди жизненного пути Фрэнсиса Корниша, которая мучила Даркура и превращала его труд биографа в тяжкое и неприятное бремя.

Даркур не мог долго любоваться рисунками. Не дай бог придет дружелюбная подбиблиотекарша с предложениями помощи или кофе. Что брать? Головы, конечно. Рисунки обнаженной натуры слишком завораживали — на них остановился бы даже беглый взгляд. Даркур, чья слабость к женской красоте не вполне объяснялась любовью к искусству, с удовольствием взял бы один из рисунков для себя, но это было опасно. Кле-

рикальный Медвежатник должен подавлять свои желания и сдерживать порывы. Он возьмет только головы.

И вот, с быстротой, отрепетированной при одевании сегодня утром, он снял пиджак и жилет — на нем было одеяние священника, включающее в себя необъятный жилет из рубчатого шелка, известный у англикан как Ч. З., «число зверя», из-за ассоциаций с высокой англиканской и римско-католической церквами, — и приспустил брюки. Вытащил сзади из-под рубашки прозрачный пластиковый конверт размером двенадцать на восемнадцать дюймов, вставил рисунки в него и снова запихнул конверт на спину под рубашку. Подтянуть брюки, снова надеть Ч. З., оборудованный удобным хлястиком, который придержит конверт на месте. И дело сделано.

— Большое спасибо, — сказал он подбиблиотекарше. — Я все сложил на место, в пачку, осталось только на полку вернуть.

Он улыбнулся в ответ на ее улыбку и вышел из комнаты.

— Большое спасибо, Арчи, — на ходу окликнул он друга, забирая портфель.

— Не за что. Приходи еще.

И прочь из библиотеки, таким же легким ша-

гом. Клерикальный Медвежатник совершил половину своего преступления. Но еще не завершил его. Ему хотелось помчаться в Плоурайт и спрятать преступную добычу. Но этого делать нельзя. Нет. Он пошел в клуб преподавателей, уселся в читальне и заказал пиво. Кроме него, в читальне был только один человек. Этот член клуба должен будет подтвердить его алиби, если понадобится. Он видел, что Даркур пришел сюда прямо из библиотеки с пустыми руками, невинный, как свежевылупившийся цыпленок.

Другой член клуба тоже заказал пиво — сегодня было жарко. Он приветственно поднял стакан, обращаясь к Даркуру:

— Ваше здоровье.

— За преступление! — воскликнул Клерикальный Медвежатник.

Собеседник, простая душа, решил, что священник шутит, и хихикнул.

## 3

– Я вижу перед собой группу смелых людей, партию первопроходцев поразительной храбрости, отправляющихся в чрезвычайно опасное путешествие. Вероятно, слова, которые описывают вас лучше всего, — искатели рока, — произнесла

доктор Гунилла Даль-Сут, когда Фонд Корниша уселся за Круглый стол.

— Это прекрасное скандинавское выражение, доктор, но не слишком ли оно пессимистично? — спросил Артур.

Почетная гостья сидела от него по правую руку.

— Нет, нисколько. Оно реалистично. Вы должны знать, что никогда ни одна опера или пьеса о короле Артуре не имела успеха у публики. Никогда. Ни единая.

— Но ведь Перселл написал неплохую оперу об Артуре? — спросила Мария.

— Перселл? Нет. Это не опера. Я бы назвала ее *Posse mit Gesang*[304], чем-то вроде водевиля или пьесы с волшебством. В ней есть интересные страницы, но при перевозке она портится, — сказала доктор с непоколебимой мрачностью.

— Может быть, нам удастся то, что не удалось другим, — заметил Артур.

— О, я восхищаюсь вашим мужеством. Я приехала в том числе и из-за него. Но одного мужества недостаточно. Безусловно недостаточно, раз уж мы заговорили о Перселле. В его «Артуре» слиш-

---

**[304] Примечания: 304**
Пьеса с пением *(нем.)*.

ком много разговоров. Все действие — в разговоре, а не в музыке. Музыка — лишь украшение. Это не опера. Опера — не разговор. Да, разговоров в опере быть не должно. Сплошная музыка.

— Но ведь это решаете именно вы? — спросил Артур.

— Может быть, и так. Только время покажет, — сказала доктор и единым духом осушила свой бокал вина. До ужина ей щедро наливали мартини: она выпила три, но, кажется, все еще хотела пить.

— Давайте не будем начинать этот вечер в пораженческом духе, — сказала Мария. — Я приготовила особый ужин. Артуровский. Вы будете есть то, что могли есть при дворе короля Артура, с некоторыми неизбежными поправками.

— Хвала Господу за неизбежные поправки, — заметил Холлиер. — Сомневаюсь, что я выжил бы после ужина шестого века. Что мы будем есть?

— Что за вопрос! Неужели вы мне не доверяете? — воскликнула Мария. — Мы начнем с поширированного лосося. Я уверена, что при дворе Артура ели прекрасную лососину.

— Да, но это хоххаймерское — вы считаете, оно аутентично для артуровской эпохи? — спросила доктор. — Я думала, что при Артуре пили пиво.

— Вы забываете, что он был кембробриттом и за ним стояло пять веков римской цивилизации, — ответила Мария. — Я уверена, что он пил очень хорошее вино и всячески заботился о его доставке в Камелот.

— Возможно, — сказала доктор и осушила еще один большой бокал. — Это вино хорошее.

Она говорила так, словно за вином могло последовать что-нибудь не очень хорошее.

Принимать в гостях доктора Гуниллу Даль-Сут оказалось непросто. Она будто принесла с собой в пентхауз атмосферу глубокой осени, хотя на дворе было еще только начало сентября. Все испугались, что, если доктора тут же не развеселить, осень перейдет в суровую зиму.

Участники Круглого стола не знали, чего ожидать, и меньше всего они ожидали увидеть кого-то вроде доктора. Она не была эксцентрична в том смысле, в каком бывают эксцентричными ученые, по совместительству — выдающиеся музыканты. Прекрасно одета, фигура — чудо стройности и элегантности, лицо — несомненно красивое. Странным в докторе было то, что она как будто явилась из прошлого. На ней было подобие мужского наряда, прекрасно сшитое: жакет — по сути, сильно приталенный синий муж-

ской редингот; зауженные зеленые бархатные брюки, заправленные в элегантные лакированные сапожки; очень высокий мягкий воротник, подвязанный пышным шейным платком, а на пальцах — крупные, мужские кольца. Густые прямые каштановые волосы до плеч, разделенные на пробор, обрамляли длинное, глубоко меланхоличное лицо с характерными, но изящными чертами. Точно так одевался Ференц Лист, когда еще не носил сутану, подумал Даркур. Она что, наряжается у театрального костюмера? Вид у нее, конечно, странный, но ей подходит просто в самый раз. С кого она взяла пример? С Жорж Санд? Нет, доктор гораздо элегантнее. Даркура всегда завораживала женская одежда и то, что кроется под ней. Он понял, что готов поддаться очарованию доктора Даль-Сут. Но как только начался разговор, стало ясно, что очарование доктора может ввергнуть человека в глубокий пессимизм.

— Я рад, что вам по вкусу наше вино, — сказал Артур. — Позвольте, Симон наполнит ваш бокал. Как вам нравится Канада? Глупый вопрос, конечно. Но вам придется меня извинить: мы каждого приезжего спрашиваем, как ему нравится Канада, не успеет он и с самолета сойти. Можете не

отвечать.

— Нет, я отвечу. То, что я видела, мне нравится. Оно вовсе не чуждое. Похоже на Швецию. Почему бы и нет? Географически мы почти соседи. Я выглядываю из окна, и что я вижу? Ели. Клены, уже краснеющие. Большие выступы голых скал. Совсем не похоже на Нью-Йорк. Я была в Нью-Йорке. И на Принстон не похоже — там я тоже была. Здесь пахнет как надо. Как в северной стране. У вас ужасные зимы?

— Да, у нас зимой бывает тяжело, — ответил Артур.

— Ага, — сказала доктор и улыбнулась — впервые за весь вечер. — Трудная зима творит великий народ и великую музыку. Я в целом не люблю музыку слишком южных стран. Я выпью еще бокал хоххаймера, с вашего позволения.

«Она какая-то бездонная бочка, — подумал Даркур. — Пьяница? Исключено — слишком аскетическая внешность. Накачаем ее спиртным и посмотрим, что будет». На него, как старого друга семьи, возложили обязанность готовить мартини, и вино за обедом подавал тоже он; он пошел к буфету, открыл очередную бутылку хоххаймерского и вручил ее Артуру.

— Будем надеяться, что вам удастся наколдо-

вать прекрасную северную музыку из обрывков записей Гофмана, — сказал Артур.

— Будем надеяться. Да, надежда — именно то, на что мы будем опираться, — сказала доктор и влила в себя стакан хоххаймера, не залпом — доктор была слишком элегантна, чтобы пить залпом, — но без передышек.

— Надеюсь, вы не сочтете грубым, что мы так скоро заговорили об опере, — сказала Мария. — Понимаете, она нас очень сильно занимает.

— Человек всегда должен говорить о том, что его больше всего занимает, — ответила доктор. — Я хочу говорить об этой опере, и она меня занимает.

— Вы уже видели ноты? — спросил Артур.

— Да. Это наброски, указания оркестровки, темы, которые Гофман собирался использовать для обрисовки важных мотивов сюжета. Он, кажется, в чем-то предвосхитил Вагнера, но его темы красивее. Но это не опера. Пока еще не опера. Эта студентка слишком увлеклась и сказала вам, что там есть опера. Это очень красивая музыка, притом не глупая. Кое-что могло бы принадлежать Веберу. Кое-что — Шуману. Мне все понравилось. Я люблю эти восхитительные провальные оперы Шумана и Шуберта.

— Надеюсь, вы не считаете, что наш проект — лишь очередная провальная опера?

— Кто знает?

— Но вы же не можете браться за работу, наметив своей целью провал? — спросила Мария.

— Неудача может многому научить. Конечно, такова ведь и тема нашей оперы, насколько я могу судить. Он назвал ее «Великодушный рогогосец». Я правильно понимаю, что рогогосец — это обманутый муж?

— Да. Только надо говорить «рогоносец».

— Я так и сказала. Рогогосец. Благодарю вас, этот хоххаймер — очень хорошее вино. Вернемся к рогогосцу: почему это мужчина? Почему не женщина?

— Вы можете использовать французское слово: *кокю*. Это от *le coq*, петух. Французы называли и до сих пор называют обманутых мужей именем этой птицы из-за ее всем известных похождений.

Холлиер тоже весь вечер с тихой решимостью накачивался хоххаймером. Он приподнял бокал и над бокалом поклонился доктору Даль-Сут.

— А, вы человек, который знает язык? Очень хорошо. Тогда почему это слово мужского рода? Человек, обманутый в браке. Разве женщин не обманывают? Снова, и снова, и снова? Тогда по-

чему для этого не придумали слово, а?

— Не знаю, как образовать женскую форму от рогоносца. Рогоносица? Неуклюже. Может, рогоноска?

— Не годится, — сказала доктор.

— А это важно? В артуровских легендах обманывают именно Артура, — сказала Пенни Рейвен.

— Верно. Этот Артур был глуп, — заявила доктор.

— Нет-нет, я не желаю такого слушать, — возразила Мария. — Он был благородный человек, твердо намеренный поднять моральный дух всего королевства.

— Но все же он был рогогосец. Не обращал достаточно внимания на жену. И она украсила его парой больших рогов.

— Может быть, женской формы от слова «рогоносец» нету, потому что как ни обманывай самку, рога у нее не вырастут, — серьезно заметил Холлиер.

— Самка знает фокус получше, — сказала доктор. — Она дарит мужу двусмысленное дитя, а? Он смотрит в колыбель и говорит: «Что за черт, ребенок какой-то странный. Клянусь Богом, я рогогосец».

— Но в артуровских легендах нет упоминаний о

плоде преступной страсти Гвиневры и Ланселота. Поэтому Артур не мог сказать таких слов, мадам.

— Не «мадам». Я предпочитаю, чтобы меня называли «доктор». Разве что после долгого времени мы сблизимся; тогда, может быть, я разрешу называть меня Ниллой.

— А может, Гуни? — спросил Пауэлл.

— Гуни — омерзительно. Но этот Артур — этот глупый король, — ему не нужен младенец, чтобы узнать. Его жена и самый лучший друг говорят ему прямо. Пока ты поднимал моральный дух, мы были в постели. Из этого могла выйти комедия. Вышла бы — у Ибсена. У него часто бывает такой юмор.

Мария решила, что пора сменить тему.

— Следующее блюдо — подлинно артуровское. Запеченная свинина с яблочным соусом. Я уверена, что в Камелоте очень любили это блюдо.

— Свинина? Нет, свинина — никогда! Это должен быть жаренный на вертеле кабан, — сказала доктор.

— У моего мясника не нашлось хорошей кабанятины, — ответила Мария — может быть, чуть резковато. — Вам придется довольствоваться очень хорошей запеченной свининой.

— Я рад, что это не кабан, — заметил Холлиер. —

В путешествиях мне случалось есть жареную кабанятину, и она мне не нравится. Плотное, тяжелое мясо, весьма сильно провоцирует полночную меланхолию. У меня, во всяком случае.

— Вы не ели хорошего жареного кабана, — возразила доктор. — Хороший жареный кабан — превосходная еда. Я вовсе не нахожу, что она провоцирует к меланхолии.

— Откуда вам-то знать? — встряла Пенни Рейвен.

— Извините, профессор Рейвен, я вас не понимаю.

— Вы, кажется, и безо всякой кабанятины склонны к меланхолии, — сказала Пенни, которая тоже не пренебрегала хоххаймером. — Сначала вы вгоняете нас в депрессию по поводу оперы, а теперь клевещете на прекрасную жареную свинину, которую приготовила Мария.

— Простите, если я вгоняю вас в депрессию, но тут, возможно, вина не моя. Я не веселый человек. Я серьезно отношусь к жизни. Я не склонна себя обманывать.

— Я тоже, — сказала Пенни. — Я наслаждаюсь прекрасным артуровским пиром, приготовленным Марией. Она — хозяйка этого дома, и я заявляю, что она превосходная *hlafdiga*.

— Превосходная что? — переспросила доктор.

— Превосходная *hlafdiga*. Это староанглийское слово, от которого произошло слово «леди». Оно означает человека, раздающего пищу. Это очень почетный титул. Я поднимаю этот бокал за нашу *hlafdiga*.

— Нет-нет, Пенни! Я вынужден протестовать! — воскликнул Холлиер. — *Hlafdiga* не означает «леди». Эту этимологическую гипотезу давно разбили в пух и прах. *Hlafdiga* — это тестомес, а не хлебодар, как утверждаете вы в своем невежестве. Вы смешиваете мерсийский говор с нортумбрийским.

— Идите в жопу, Клем. Современное слово «леди» происходит от *hlafdiga*; словом *hlafdiga* назывался человек, который раздавал хлеб. Потом это слово стало звучать как *leofdi*, потом — *lefdi* и наконец — «леди». Яйца — или *aegru*, если вам непременно нужно староанглийское слово, — курицу не учат. *Hlafdiga* была женой *hlaford*, то есть лорда, осел вы надутый, и следовательно, это его леди.

— Оскорбление — не аргумент, профессор Рейвен, — с пьяным достоинством возразил Холлиер. — *Hlafdiga* вполне может быть человеком низкого происхождения…

— Может быть, даже из цыган, — вставила Мария с изрядной долей жара.

— Бога ради, подадут нам наконец свинину? — спросил Пауэлл. — Или мы тут будем дискутировать про этимологию, пока все не остынет? Я провозглашаю Марию настоящей леди во всех смыслах этого слова. А теперь давайте есть.

— Никаких леди больше нет, — сказала доктор Даль-Сут, протягивая стакан, чтобы его наполнили. — Мы все на равной ноге, и отличает людей только талант. Единственная подлинная аристократия — аристократия таланта. Это вы красное наливаете, профессор Даркур? Какое? Дайте мне посмотреть на бутылку.

— Это превосходное бургундское, — ответил Даркур.

— Хорошо. Можете наливать.

— Конечно, он может наливать, — сказал Пауэлл. — Вам что тут, ресторан? Это вино, которое тут есть, а значит, это вино, которое вы получите, так что заткнитесь.

Доктор Даль-Сут выпрямилась:

– *Monsieur, vous êtes une personne grossière*[305].

— Можешь не сомневаться, Гуни. Так что смот-

---

**[305] Примечания: 305**
Мсье, вы отвратительная личность *(фр.)*.

ри, веди себя хорошо.

Воцарилось молчание. Даркур завис над бокалом доктора. Доктор неожиданно расхохоталась:

— Пауэлл, я думаю, ты мне нравишься. Разрешаю называть меня Нилла и на «ты». Но только тебе разрешаю.

Она подняла бокал, приветствуя Пауэлла, элегантно и мило улыбнулась и осушила бокал до дна.

— Еще, — сказала она, пихая бокал Даркуру, который в это время наливал вино Пенни Рейвен.

— Подождешь, Нилла, — сказал Пауэлл.

— Ты учишь меня хорошим манерам? — спросила доктор. — Каким манерам? В моей стране почетному гостю разрешены определенные вольности. Ты думаешь, что ты — укротитель львов и, возможно, покоритель дам. Так вот, я лев, который съел не одного укротителя. И ты меня не покоришь, потому что я не дама.

— Забавно, я как раз начала об этом догадываться, — заметила Пенни. — Но если вы не дама, то что вы, по-вашему, такое?

— Мы только что говорили об аристократии таланта, — сказала доктор, чей бокал Даркур поспешил наполнить вне очереди.

— Ну-ка, Пенни, без драк, — вмешалась Ма-

рия. — Дамам не полагается произносить тосты, но Артур занят разделкой нашего аутентичного кельтского поросенка, так что я возьму на себя роль *hlafdiga* и подниму этот бокал за здоровье доктора Гуниллы Даль-Сут; я утверждаю, что в аристократии таланта она не меньше чем графиня. И да насладимся мы в полной мере плодами ее гения.

За здоровье доктора выпили с энтузиазмом — все, кроме Пенни Рейвен, которая что-то пробормотала в свой бокал. Доктор поднялась на ноги.

— Мои дорогие новые друзья! — произнесла она. — Вы оказываете мне честь, и я вас не подведу. Я вас немножко дразнила? Может быть. Таков уж мой обычай. Я великая шутница, вам следует это знать. За моими словами часто прячется некий *double entendre*[306], который вы сразу не поймете, — может быть, далеко не сразу поймете. Может быть, даже ночью вы проснетесь со смехом. Ах, эта доктор, скажете вы. Она глубока, глубока. Вы выпили за мое здоровье. Я пью в ответ за ваше. Вы, преподобный сэр с вином, можно налить чего-нибудь в мой бокал? Благодарю вас.

---

**[306] Примечания: 306**
Двойной смысл *(фр.)*.

Хоть я и не уверена, что на пирах Артура было вино. Возможно, наша *hlafdiga* ошибается и у Артура вина не пили. Но у них наверняка была эта вещь, которую делают из ферментированного меда…

— Медовуха, — подсказал Холлиер.

— Совершенно верно. Медовуха. Я ее пила. Гадость, ужасная сладкая гадость, вот что я вам скажу. Я вывернула желудок…

— Неудивительно, если так стараться, — заметила Пенни с улыбкой, которая, однако, не полностью компенсировала грубость ее слов.

— Я могу перепить под стол кого угодно из присутствующих, — мрачно и воинственно сказала доктор. — Мужчину, женщину и собаку я могу перепить под стол. Но я не хочу слышать тут гадких слов. Я хочу выпить за всех вас. Хотя, как я уже сказала, я не верю, что у Артура было вино…

— Я только что подумал, — перебил ее Холлиер. — У древних валлийцев было вино. Помните старый клич — *Gwin o eur!* «Вино из золота!» У них не только было вино — они пили его из золотых сосудов. А не из коровьих рогов, как труппа бродячих артистов, ставящая сцену пира в «Макбете». *Gwin o eur!*

— Клем, ты пьян! — воскликнула Пенни Рейвен. — И это очень сомнительная, необоснован-

ная цитата.

— И еще ваш валлийский ужасен! — добавил Пауэлл.

— Неужели? Если б мы были не на дружеском ужине, я бы вам заехал в нос.

— Да неужели? Слабó!

— Да! Прямо по сопатке! — сказал Холлиер.

Он приподнялся со стула, словно собираясь начать драку, но Пенни удержала его.

— Мерзкий народ эти валлийцы, — пробормотал он.

— Точно-точно. Настоящий сброд. Не лучше цыган, — заметил Пауэлл и подмигнул хозяйке дома.

— Произношу ли я речь, или же я не произношу речь? — провозгласила доктор. — Высказываю ли я благодарность за этот роскошный ужин, с таким вкусом составленный и так элегантно поданный под взглядом сияющих глаз нашей *hlafdiga*?

Она отвесила глубокий поклон в сторону Марии.

— Да, именно этим я и занимаюсь. Поэтому я приказываю всем вам, дебоширам и ученым болванам, молчать, пока я не закончила. Я люблю эту страну; она, как и моя родная страна, — соци-

алистическая монархия[307], а потому объединяет в себе лучшие черты прошлого и современности. Я люблю хозяев этого дома, они истинные покровители искусств. Я люблю вас всех: вы — мои спутники по увлекательному приключению, великому путешествию в поисках чего-то такого, что человек жаждал достичь, но не достиг. Я осушаю этот бокал за вас.

Так она и сделала, а затем села — довольно тяжело.

Это, должно быть, мартини виноват, подумал Даркур. Они все перед ужином глотали мартини так, как будто им никогда в жизни больше не дадут пить. Доктор выпила три, это совершенно точно, потому что я сам их раздавал. Сейчас, после благодарственной речи и тоста в честь Марии, доктор умолкла и съела большую порцию жареной свинины под яблочным соусом и разнообразных овощей — вероятно, не артуровских, но никто не стал к этому придираться — в чрезвычайно мрачном настроении. Другие гости

---

**[307] Примечания: 307**

*Я люблю эту страну; она, как и моя родная страна, — социалистическая монархия…* — Канада представляет собой монархию. В настоящее время пост главы канадского государства занимает Елизавета II, она же по совместительству царствующая королева Великобритании. Ее официальный титул — Елизавета II, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры.

переговаривались вполголоса с разной степенью вежливости.

Канадцев — Артура, Холлиера, Пенни Рейвен и Даркура — испугала речь доктора; они замкнулись при первом же намеке на высокие мотивы, превосходные намерения, на то, что они имеют отношение к чему-то великому, а следовательно, опасному. Они не полностью принадлежали к серому большинству: их мир был просторней, но все же они носили серость как защитное внешнее одеяние. Они не имели привычки бормотать национальную канадскую молитву: «Господи, даруй мне посредственность и комфорт; защити меня от сияния Твоего света». Однако они знали, каким трудным и выбивающим из колеи может оказаться слишком смелый дух. Они принялись за еду и завели ни к чему не обязывающие светские разговоры.

В сердцах двоих присутствующих, которые не были канадцами, — Пауэлла и Марии — слова доктора высекли огонь. Пауэлла снедало честолюбие, но не то честолюбие, которое ставит успех и награду превыше блистательности свершения. Пауэлл собирался использовать своих коллег и Фонд Корниша для достижения собственных целей, но он был уверен, что эти цели — благие, и

собирался обеспечить достойную награду и славу всем своим соратникам. Да, он будет хлестать бичом и выжимать из своей упряжки все, на что они способны, на пути к намеченной цели. Он знал, что имеет дело в основном с учеными и что лошадь должна идти шагом и рысцой, прежде чем перейти в галоп. Но он был намерен добиться своего и в докторе почуял союзника.

Что до Марии, то она — впервые после замужества — ощутила близость подлинного приключения. Да, конечно, это замечательно — быть миссис Артур Корниш, разделять мысли и устремления человека с прекрасной — она даже сказала бы, не побоясь этого слова, благородной душой. Все, что она могла пожелать от мужчины, она находила в Артуре. И все же — виноват ли в том северный характер или канадская серость — в ее браке чувствовался едва заметный холодок. Они любили друг друга. Доверяли друг другу. Любовь, доверие, теплота царили и в их постели. Но… о, если бы хоть на мгновение повеял ветерок несбыточного, если бы можно было хоть на секунду ослабить контроль! Вдруг опера этому поможет? Опера была рискованной затеей. Мария уже начала забывать резкий, острый запах риска. Последний раз она чуяла его еще в эпоху

Парлабейна, больше года назад. Кто бы подумал, что она пожалеет о Парлабейне? И все же он внес в ее жизнь что-то необычное, пряное.

Мария не знала, где ее место в этом приключении, на пути к опере. Она не музыкант, хоть и музыкальна. Работать над либретто ей не позволят: Симон и Пенни застолбили его для себя. Неужели роль Марии сведется к выписыванию чеков, к роли официального лица Фонда Корниша? Толпы искателей грантов убедили ее, что деньги — это семя, из которого родится все остальное. Но деньги не были подлинным семенем от ее семени.

Даркур ел и думал обо всем подряд — он часто так делал. Интересно, что будет, если вдруг над этим столом пролетит проказливый джинн и лишит нас всех одежды? Результат выйдет неплохой — лучше среднего. Мария останется потрясающей красавицей и в одежде, и без. Холлиер, неуместно красивый для профессора (хотя почему? Неужели профессор непременно обязан быть скелетом или жирдяем?), без одежды явит микеланджеловскую симметрию мужского тела средних лет, под стать величественной голове. Артур окажется плотным: фигура сносная, но непримечательная. Пауэлл голым будет выгля-

деть не так импозантно, как в одежде: как многие актеры, он хрупкого сложения, почти худой. Голова — самое красивое в нем. Пенни Рейвен… что ж, в ней можно было разглядеть останки былой миловидности, но, на проницательный взгляд Даркура, ее груди начинали рыхлеть, а вокруг талии наметился «спасательный круг». Сидячая жизнь научного работника не шла Пенни на пользу, и на симпатичном лице уже начали отвисать брыли.

А доктор? Даркуру вдруг пришло на ум острое словцо, сказанное студентом о студентке: «Я скорее с велосипедом пересплю». Может быть, под прекрасным шопеновским костюмом доктор жилиста и холодна и в постели от нее не больше толку, чем от велосипеда? Может, и так, но, несомненно, с ней должно быть интересно. А как у нее с грудью? Под жакетом не разглядишь. А с бедрами? Их прятали фалды жакета. Но талия была, несомненно, изящной. Красивые, длинные ступни и кисти. Да, с доктором может быть очень интересно в постели. Но в любом случае Даркуру не суждено это проверить.

Что до самого профессора-преподобного Симона Даркура, он вынужден был признать, что возраст его не красит. Он сроду был толстяком, и теперь

растяжки у него на животе красовались, как шрамы, полученные в битве с лишним весом.

Он заметил, что за столом воцарилась почти полная тишина: тихий ангел пролетел, как говорится. А не джинн, крадущий у людей одежду. Прислуга забрала у Даркура тарелку, и он встал, чтобы принести еще вина. Пришла очередь шампанского. Интересно, кто первым запротестует, что, может, у короля Артура за столом и подавали вино, но уж точно не шампанское? Никто не протестовал. Шампанское приняли, бормоча благодарности.

Следующее блюдо Мария подала без комментариев. Это был какой-то красивый десерт из яиц и сливок, загущенный чем-то непонятным.

— Что это? — спросила доктор.

— Это аутентичное артуровское блюдо, и тут уж никто не возразит, — сказала Мария. — Оно называется «овсяный кисель».

Все умолкли. Никому не хотелось спрашивать, что такое «овсяный кисель», но в голову решительно ничего не шло. Мария выдержала паузу минуты две и сжалилась над гостями.

— Вам это не повредит, — сказала она. — Это всего лишь тонко помолотая овсяная мука и кое-что еще для вкуса. Валлийские предки Геранта

называли это блюдо размазней.

— «„Пахта и размазня“ — у Монтгомери звонят», — запел Пауэлл на мотив «Апельсины и лимоны».

— А запах! — сказала Пенни. — Что-то неуловимое, восхитительное! Напоминает мне детство.

— Это зюзник, — объяснила Мария. — Весьма артуровская деталь. Наверняка вам в детстве давали леденцы с зюзником от кашля.

— Но не только зюзник, — сказал Холлиер. — Есть еще какой-то вкус. По-моему, это бренди.

— Я уверена, что у Артура был бренди, — заявила Мария. — А если кто-нибудь начнет спорить, я отошлю все это обратно на кухню и прикажу, чтобы вам принесли сырой репы пожевать. Уж репа точно будет аутентичным блюдом древних бриттов, и надеюсь, что всех придир она устроит. Под шампанское репа легче проскочит в желудок.

— Милая, не сердись, — сказал Артур. — Я уверен, никто не хотел тебя обидеть.

— А я в этом не так уверена, и мне уже надоело, что мой ужин проверяют на соответствие археологическим данным. Если моя интуиция подсказывает, что это блюдо артуровское, то оно артуровское, даже если это шампанское, и все тут!

— Конечно, — сказала доктор голосом, гладким, как поданные на стол сливки. — Мы были невыносимы, и я требую, чтобы это немедленно прекратилось. Мы оскорбили нашу *hlafdiga*, и нам должно быть стыдно. Мне стыдно. Профессор Рейвен, вам стыдно?

— А? — вздрогнув, переспросила Пенни. — Да, наверно. Все, что подается за Круглым столом Артура, по определению артуровское, верно ведь?

— Вот что мне нравится в вас, канадцах, — заметила доктор, — это ваша готовность признать свою неправоту. Это прекрасная, хоть и несколько опасная, национальная черта. Вам всем стыдно. Мне тоже стыдно.

— Но я не хочу, чтобы кому-нибудь было стыдно, — возразила Мария. — Я хочу, чтобы все были счастливы и не ссорились и не препирались все время.

— Конечно, дорогая, — согласился Холлиер. — Мы неблагодарные скоты, а это — прекраснейший ужин.

Он склонился через голову Пенни, чтобы погладить Марию по руке, но не рассчитал и залез рукавом в размазню.

— О черт! — сказал он.

— Так насчет оперы, — сказал Артур. — Навер-

но, пора начать ее обдумывать?

— Я думал о ней много часов, — сказал Пауэлл. — Первое, что нам нужно, — это сюжет. И он у меня есть.

— В самом деле? — спросила доктор. — Вы еще не видели музыки и не говорили со мной, но у вас уже есть сюжет. Надеюсь, нам, ничтожным людишкам, позволено будет выслушать этот сюжет, прежде чем мы начнем над ним работать?

Пауэлл выпрямился на стуле и обвел собравшихся улыбкой, которой умел растопить сердца полутора тысяч театральных зрителей зараз.

— Ну конечно, — сказал он. — Сомнений в этом вовсе нет, не навяжу вам свой сюжет, тем более музыкантам. Мы, либреттисты, работаем вовсе не так. Мы знаем свое место в иерархии оперных артистов. Я лишь хотел сказать, что у меня есть основа, которая поможет начать обсуждение нашего оперного замысла.

Как ловко он нами крутит, подумал Даркур. Он использует не меньше трех уровней языка. Грубый, народный язык — когда он обратился к доктору и назвал ее Гуни. И когда называет меня «Сим-бах», и когда так странно ставит слова в предложении — надо думать, копирует структуру своего родного валлийского. Другой язык — нор-

мативный, стандартный, на котором он обращается к незнакомым, безразличным ему людям. И еще — богатый литературный язык: этим языком он не говорит, а декламирует, уснащая свою речь цитатами из Шекспира и более популярных поэтов; этот язык при необходимости переходит в поэтический, бардовский речитатив. Когда такой человек вешает тебе лапшу на уши, испытываешь истинное наслаждение. Он придает блеск языку, который большинство из нас использует как скучный инструмент. Интересно, какой язык он выберет сейчас? Обогащенный литературный, надо думать.

— Историю Артура невозможно собрать в единый связный рассказ, — произнес Пауэлл. — Она есть у нас в элегантной французской форме, в плотной и меланхоличной немецкой, а также в форме, которую придал ей сэр Томас Мэлори, — самой богатой и волшебной из всех. Но за разными формами лежит единая великая кельтская легенда, питающая всю элегантность, всю силу и все волшебство. Поверьте, я не забыл об этой легенде, составляя краткую историю, которую намерен вам сейчас предложить. Но чтобы привлечь зрителей, нашей опере нужен крепкий сюжет, который выдержит всю тяжесть

музыки. Музыка придает опере жизнь и чувство, но повествовать она не может.

— Клянусь Богом, вы правы, — перебила его доктор. И прошипела в сторону Даркура: — Шампанского!

— Да! *Gwin o eur!* — подхватил Холлиер.

— А теперь слушайте. Надеюсь, все согласны, что невозможно рассказывать об Артуре, не упомянув Калибурн, великий волшебный меч; мне не нравится название Экскалибур, это поздняя форма. Но мы обречены на скупость! Мы не можем вернуться к самому началу жизни Артура и рассказать, как он обрел Калибурн. Поэтому я предлагаю воспользоваться приемом, на мысль о котором меня навел сам Гофман. Помните, как в увертюре «Ундины» он сразу задает нужный тон, используя голоса влюбленного и духа воды, которые зовут Ундину? Я предлагаю почти сразу, как только начнется увертюра, показать сцену видения — за сетчатым занавесом, чтобы все было как в тумане. Мы увидим Мерлина и Артура на берегу волшебного озера. По взмаху десницы Мерлина великий меч поднимается из воды, зажатый в невидимой руке, и Артур хватает его. Но пока он обуреваем величием момента, из озера поднимается призрак Гвиневры — как вы

все, конечно, знаете, это имя означает «белый призрак» — и вручает Артуру ножны для Калибурна. Мерлин приказывает Артуру взять ножны и объясняет ему — не беспокойтесь, я покажу им, как это изобразить на сцене, — что ножны еще важнее меча, ибо, когда меч находится в ножнах, в стране царит мир, а мир — это дар от Артура его подданным. Но за спиной у Артура призрак Гвиневры показывает жестами, что эти ножны — она сама и что, если Артур не осознает ее значения и ее силы, меч ему ничего не даст. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Я понимаю, — сказала доктор. — Меч — мужское начало, а ножны — женское, и, пока они не объединятся, не может быть ни мира, ни процветания, достигаемого мирными искусствами.

— Вы поняли! — воскликнул Пауэлл. — И еще ножны — это Гвиневра, и Артур уже начинает ее терять, потому что возлагает все надежды только на меч.

– *Symbolismus*[308] очень хорош, — заметила доктор. — И ведь меч также означает эту вещь Артура… ну, его мужскую вещь… как она по-вашему называется?

---

**[308] Примечания: 308**
Символизм *(нем.)*.

— Его пенис.

— Не очень красивое слово. Это по-латыни и означает «хвост». Как это может быть хвостом, если оно спереди? Неужели в вашем английском языке нет слов получше?

— Есть, но их не принято произносить в приличном обществе, — сказал Даркур.

— О, в приличном! Я плевала на приличия! А ножны — это вещь королевы; какое у вас есть неприличное слово для этого?

Никому не хотелось отвечать, но Пенни шепнула доктору на ухо.

— Среднеанглийский язык, — пояснила она, чтобы придать делу наукообразность.

— Ого, это слово! — воскликнула доктор. — Мы в Швеции знаем его хорошо. Это хорошее слово, гораздо лучше, чем глупое слово «хвост». Я вижу, что наша опера будет весьма глубокомысленной. Еще шампанского, пожалуйста. Возможно, лучше всего будет поставить бутылку рядом со мной.

— Я правильно понимаю, что вы еще до начала оперы сообщаете зрителям: в стране не может быть мира, если король не совокупляется с королевой? — спросил Холлиер.

— Отнюдь, — возразил Пауэлл. — Пролог говорит, что величие страны зависит от единения

мужского и женского начал и что меч в одиночку не может принести благородства духа, которое ищет Артур. Не беспокойтесь. Это можно передать умелой работой со светом. Мы не будем вульгарно совать меч в ножны и вытаскивать, чтобы повеселить людей, для которых секс — лишь возня в постели.

— Эта игра больше, чем просто четыре голые ноги под одеялом, — глубокомысленно кивнула Пенни.

— Совершенно верно. Это — единство двух противоположных, но взаимодополняющих разумных начал. Может быть, именно оно и есть Грааль. Но эту идею я оставлю либреттистам на случай, если они сочтут ее полезной.

— Вино в золоте, — вставила Мария.

— Я никогда не думала о Граале в таких терминах, — заметила Пенни. — Интересная мысль.

— Порой и слепая свинья желудь найдет. — Пауэлл поклонился в ее сторону. — А теперь — собственно опера... Первый акт начинается с того, что коварная сестра Артура, Моргана Ле Фэй (она волшебница, а потому, естественно, контральто), пытается выведать у Мерлина его тайны: кто будет наследником Артура? Мерлин некоторое время выворачивается, но не может

отказать сестре по ремеслу и в конце концов открывает ей, что наследником станет человек, рожденный в мае, если только Артур не обзаведется сыном. Моргана Ле Фэй вне себя от радости — ее сын Мордред родился в мае, и он — королевский племянник, а значит, ближайший наследник. Мерлин предостерегает ее от излишней уверенности, ибо Артур любит Гвиневру великой любовью, а значит, появление ребенка весьма вероятно. Нет, если Артур будет рисковать жизнью на войне, отвечает контральто… Следующая сцена — собрание рыцарей Круглого стола. Артур повелевает им разойтись в разные стороны на поиски святого Грааля, который должен принести Британии длительный мир и величие. Рыцари, повинуясь приказу, разъезжаются в разные стороны. Но когда является Ланселот, король не отправляет его на поиски: Ланселот должен остаться во дворце и охранять его, ибо король сам хочет отправиться на поиски Грааля, вооруженный великим Калибурном; король вынимает меч из ножен и поет о своем всепоглощающем стремлении. Гвиневра умоляет Артура отпустить Ланселота, ибо она страшится, что преступная любовь, которую она и Ланселот питают друг к другу, навлечет позор на королевство. Но Артур

непоколебим. Пока он облачается в доспехи, чтобы отправиться в путь, — это очень зрелищная сцена — Моргана Ле Фэй крадет у него ножны. Воодушевленный, Артур отказывается ждать, пока ножны найдут, и отправляется в путь, провозгласив, что храбрости и силы, символизируемых обнаженным мечом, довольно для победы. Рыцари сваливают искать Грааль, Гвиневра полна тяжких предчувствий, а Моргана Ле Фэй ликует. Конец действия.

— А что же Мордред? — спросила Мария. — Мы еще ничего про него не слышали.

— Он один из рыцарей, и он сомневается в Граале, — ответил Пауэлл. — Он может кривиться и насмехаться на заднем плане.

— Сильно, но подходит ли это для девятнадцатого века? — засомневался Холлиер. — Не слишком ли много психологии?

— Нет, — сказала доктор. — Девятнадцатый век не означает примитив. Посмотрите на «Волшебного стрелка» Вебера. В девятнадцатом веке тоже была психология. Ее изобрели не мы.

— Очень хорошо, — сказал Холлиер. — Продолжайте, Пауэлл.

— Во втором акте всякие оперные штуки разворачиваются по-крупному. Начинается с майского

гулянья королевы: она со своими дамами собирает в лесу майские цветы. Думаю, ее следует посадить на лошадь. Лошадь — верное дело в опере. Намекает, что на постановку не пожалели денег. Если лошади сделать клизму за час до поднятия занавеса и если ее будет вести достаточно народу, то даже колоратурное сопрано удержится в седле, а выйдет очень красиво. В лесу Гвиневра встречает Ланселота, и они поют о своей страсти — конечно, после того, как свита с лошадью ушли. Но Моргана Ле Фэй в обличье старой лесной ведьмы подслушивает их. Она не может сдержаться. Выскакивает из укрытия, набрасывается на королеву с Ланселотом и обвиняет их в измене королю. Они протестуют, заверяя ее в своей невиновности и преданности Артуру. Когда волшебница уходит, появляется Мерлин и предостерегает влюбленных о зле, скрытом в майских бутонах, и об опасности, которую таит в себе месяц май. Но влюбленные его не понимают.

— Глупы, как все оперные персонажи, — заметил Холлиер.

— Зачарованы, как все влюбленные, — поправила доктор. — Оперные персонажи ничем не отличаются от обычных людей, только мы видим их души.

— Если бы меня о чем-нибудь предупредили волшебница и волшебник, у меня, наверно, хватило бы ума послушаться, — не уступал Холлиер.

— Думаю, да. Именно поэтому о профессорах не пишут опер, — ответила доктор.

— Это лишь первая сцена акта, — сказал Пауэлл. — Декорации быстро меняются — я знаю, как это сделать, — и следующая сцена изображает покои в башне над рекой, выше по течению от Камелота. Гвиневра и Ланселот только что свершили свою любовь. Они в экстазе, но на реке под окнами башни появляется черная баржа, которую ведет Моргана Ле Фэй. На барже плывет Элейна, Лилейная дева из Астолата. Она обвиняет Ланселота в измене и заявляет, что носит под сердцем его ребенка. Гвиневра объята ужасом. Ланселот сознается, что обвинение истинно, но говорит, что возлег с Элейной, будучи околдованным, и подозревает, что чары наслала на него Моргана Ле Фэй. Следует квартет, в котором Моргане Ле Фэй предоставляется прекрасная возможность понасмехаться над Ланселотом. Но Гвиневра по-прежнему в отчаянии. Когда баржа продолжает свой путь по течению, в Камелот, упреки Гвиневры сводят Ланселота с ума. Конечно, у Мэлори он пребывает в безумии много

лет. Бегает по лесу, биясь о деревья и попадая в разные членовредительные истории. Но у нас на это нет времени, так что наш Ланселот побезумствует лишь немного. Это будет новинка: сцена безумия, как в «Лючии»[309], но для тенора. Ланселот собирается убить себя во искупление своей неверности, хотя он в ней не виноват. Но Гвиневра запрещает ему. Она говорит, что ненужных убийств не будет, и сама вкладывает его меч обратно в ножны. В заключение этой сцены прибывает усталый гонец с вестью: была великая битва, и Артур погиб. Его тело везут обратно в Камелот для погребения. Конец сцены.

— Да, никто не обвинит нашу оперу в недостатке событий, — заметила Мария.

— События нужны опере как воздух, — сказала доктор. — Никто не будет слушать людей, которые два с половиной часа не переставая поют о своей любви. Пауэлл, продолжайте. Что дальше? Вы убили Артура. Это плохо. Человек, именем которого названа опера, не должен откидывать копыта до самого конца. Поглядите на «Лючию ди Ламмермур»: ее последний акт скучен. Никаких

**[309] Примечания: 309**

*…сцена безумия, как в «Лючии»…* — «Лючия ди Ламмермур» (1835) — трагическая опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» (1819).

Лючий. Придумайте что-нибудь другое.

— И не подумаю, — сказал Пауэлл. — Последний, заключительный акт происходит в большом зале Артурова дворца в Камелоте. Артур возвращается с победой, хоть и раненый. Он рассказывает о битве, в которой сражался, и о рыцаре в черных доспехах, который вызвал его на поединок. Казалось, что Артур уже побежден, — он упал с коня и мог лишь прикрыться щитом, когда Черный рыцарь уже собирался нанести ему *coup de grâce*…[310]

— Что нанести? — переспросил Холлиер.

Пенни накинулась на него:

– *Coup de grâce,* Клем! Ну ты же знаешь — прикончить его. Не отвлекайся. Ты все время задремываешь.

— Ничего подобного.

— Еще как. Сиди прямо и слушай.

— Так вот, как я сказал, Черный рыцарь уже собирался нанести ему *coup de grâce*, когда увидел изображение Богоматери на щите. Засим Черный рыцарь повернулся и бежал, и Артур, хоть и раненый, остался в живых. Артур поет хвалу Богоматери, которая спасла его от верной гибели.

---

**[310] Примечания: 310**
Удар милосердия *(фр.).*

Вечная Женственность, понимаете?

– *Das Ewig-Weibliche*, — согласилась доктор. — Идиота-мачо хорошенько проучили. Дальше.

— Все очень рады, что Артур вернулся. Но у самого Артура неспокойно на душе. Он знает, что у него есть заклятый враг. Тут появляются несколько рыцарей, ведя с собою Черного рыцаря — Мордреда. Артур поражен, что его племянник, сын его любимой сестры, ищет его смерти. Мордред высмеивает Артура как глупого идеалиста, ставящего честь превыше власти, и показывает ножны Калибурна, без которых, как он говорит, власть бессильна и все решает меч. Он вызывает раненого короля на битву. Гвиневра выхватывает у него ножны и умоляет короля вложить в них Калибурн, но король не желает об этом и слышать. Они с Мордредом сражаются, и король снова ранен. Пока он умирает, Гвиневра и Ланселот признаются в своей преступной любви. Но — и это кульминация всего сюжета — Артур выказывает чрезвычайное величие души и объявляет, что величайшая любовь — это любовь к ближнему и она выражается не только в физической верности; его любовь и к Гвиневре, и к Ланселоту сильнее той раны, которую они ему нанесли. Он умирает. Картина тут же меняется на Волшебное

озеро, по волнам которого Артур уплывает на погребальном челне в туман. При нем только Мерлин, который в последний раз вкладывает Калибурн в ножны и бросает его обратно в воду, откуда он когда-то появился. Артур уплывает к Острову Снов. Занавес.

Даркур и Мария захлопали. Но Холлиер остался недоволен:

— Вы слишком много людей побросали по дороге. Что случилось с Элейной? А с ее ребенком? Мы же знаем, что этот ребенок — Галахад, Непорочный рыцарь, увидевший Грааль. Вы не можете все это так оставить после второго акта.

— Еще как могу, — сказал Пауэлл. — Это опера, а не цикл «Кольцо нибелунга». Нам нужно опустить занавес не позже одиннадцати.

— Вы не упомянули, что Мордред — кровосмесительный плод Артура и Морганы Ле Фэй.

— Нет у нас времени на кровосмешение. Сюжет и так достаточно сложный. Кровосмешение только все запутает.

— Я не намерена связываться с оперой, в которой участвуют младенцы, — заявила доктор. — Лошади на сцене — это уже плохо, а младенцы — чистый ад.

— Зрители решат, что их обманули, — не отста-

вал Холлиер. — Любой, кто читал Мэлори, знает, что это сэр Бедивер, а не Мерлин бросил меч в озеро. А Артура увезли на челне три королевы. Ваш сюжет безобразно далек от оригинала.

— Пускай жалуются в газеты, — сказал Пауэлл. — Пускай музыковеды мусолят эту оперу следующие двадцать лет. Нам нужен связный сюжет, и мы должны его закончить до того, как рабочие сцены потребуют уплаты сверхурочных. Много ли, по-вашему, в зале найдется человек, знакомых с книгой Мэлори?

— Я всегда говорил, что театр — площадное искусство, — с пьяным достоинством провозгласил Холлиер.

— И потому он — живое искусство, — сказала доктор. — В нем есть жизненная сила. Из кучи историй про Артура нам нужно выудить связный сюжет, и Пауэллу это удалось. Лично я весьма удовлетворена его схемой оперы. Пью за тебя, Пауэлл. Ты крепкий профессионал.

— Спасибо, Нилла. Это для меня лучший комплимент.

— Что значит «крепкий профессионал»? — шепнул Холлиер на ухо Пенни.

— Это человек, который хорошо знает свое дело.

— По-моему, это человек, который совсем не знает Мэлори.

— Мне очень понравилось, и я рад, что доктор со мной согласна, — сказал Артур. — Клем, что бы ты ни говорил, это небо и земля по сравнению с той ерундой про голубые ели, которую откопала Пенни. У меня как будто огромный камень свалился с души. Я ужасно беспокоился.

— Считай, твое беспокойство только началось, — сказал Пауэлл. — Но будем решать проблемы по мере их возникновения. Верно, Нилла-фах?

— Пауэлл, ты переходишь всякие границы. Как ты смеешь так со мной разговаривать?![311]

— Ты не поняла. Это слово — валлийское, оно выражает хорошее отношение.

— Ты отвратителен. И даже не пытайся объяснить.

— «Фах» — это женский вариант «бах». Если я говорю «Сим-бах», это все равно как я бы сказал «милый старина Сим».

— Я тебе никакая не «милая старина»! — взвилась доктор. — Я — вольный дух, а не ножны от меча какого-нибудь мужика! Мой мир — мир

---

**[311] Примечания: 311**

*«Фах»* — валлийское ласковое обращение к женщине — созвучно с непристойным английским словом.

бесконечных возможностей выбора.

— Могу себе представить, — сказала Пенни.

— Профессор Рейвен, вы меня чрезвычайно обяжете, если устремите все свое внимание на либретто, порученное вам, — сказала доктор. — Вы уловили *symbolismus*? Это будет замечательно современная идея. Подлинный союз мужчины и женщины для спасения и возвышения человечества.

— Но как это может быть замечательно современная идея, если она верна Гофману и началу девятнадцатого века? — возразил Холлиер. — Вы забываете, что наша задача — восстановить и завершить произведение искусства давно ушедшей эпохи.

— Профессор Холлиер, вы удивительно тупы — так может быть туп только человек высочайшей учености, и потому я вас прощаю. Но во имя любви ко всемогущему Господу и Его Пречистой Матери, чье изображение Артур носил на щите, я умоляю вас заткнуться, оставить творческую работу творцам и прекратить ваше научное блеяние. Настоящее искусство, когда бы его ни создали, едино и говорит о великих вещах жизни. Вбейте себе это через толстый череп в свою великую, прекрасно оборудованную голову и

заткнитесь, заткнитесь, *заткнитесь*!

Доктор ревела богатым контральто, какое не посрамило бы и Моргану Ле Фэй.

— Ничего, — сказал Холлиер. — Я не оскорблен. Я выше бессвязных выкриков пьяной мегеры. А вы все давайте вперед, выставляйте себя ослами. Я умываю руки.

— Клем, ты хочешь сказать, что умываешь руки до следующего раза, когда тебе захочется вмешаться, — сказала Пенни. — Я тебя знаю.

— Пожалуйста! Ну пожалуйста! — теперь на крик перешел Даркур. — Такое поведение не подобает собранию ученых и людей искусства. И я не намерен больше этого слушать. Вы ведь знаете, о чем говорит доктор, да? Это было впервые сказано… ну, по крайней мере, Овидием. Он где-то говорит, кажется в «Метаморфозах», что великие истины жизни — это воск и все, что мы можем, — оставлять на нем различные оттиски. Но воск вечен и неизменен…

— Я помню, — сказала Мария. — Он говорит: ничто не сохраняет свою собственную форму, но Природа, великая обновительница, вечно творит новые формы из старых. Во всей вселенной ничто не погибает — лишь изменяется, приобретая новый вид…

— И это правда, которая лежит в основе всех мифов! — заорал Даркур, махая руками на Марию, чтобы она замолчала. — Если мы верны великому мифу, то можем придавать ему какую угодно форму. Сам миф — воск — не меняется.

Доктор, которая в это время зажигала сигару, вытащенную из серебряного футлярчика, сказала Пауэллу:

— Я начинаю видеть, как буду действовать. Сцена, в которой Артур прощает любовников, будет в ля миноре, и в этот ля минор мы будем впадать и выпадать из него до самого конца, когда волшебник провожает Артура, уплывающего на Остров Снов. Вот как мы это сделаем.

— Конечно, Нилла, именно так мы и сделаем, — сказал Пауэлл. — Минор вылепляется прямо из воска, горячий и крепкий. И не стоит суетиться насчет соответствия оперы девятнадцатому веку. Она будет художественно верна ему, но не стоит ждать буквальной верности, потому что… ну, потому что буквальная верность девятнадцатому веку была бы фальшивой. Вы видите?

— Да, я очень хорошо вижу, — сказал Артур.

— Артур, ты такой милый, — сказала Мария. — Ты все видишь лучше нас всех.

— А я вижу, что нас ждет множество трудно-

стей, — сказал Холлиер.

— Я вижу воск, и я уверен, что вы двое, крепкие профессионалы, видите форму, и я совершенно удовлетворен, — сказал Даркур.

— Благослови тебя Господь, Сим-бах, — сказал Пауэлл. — Ты — старый добрый Мерлин, вот ты кто, друг мой.

— Пауэлл, этот Мерлин, этот волшебник, он важнее в твоей истории, чем я думала, — заметила доктор. — В оперной терминологии его можно назвать пятым персонажем, и певца на эту роль следует подбирать очень обдуманно. Какой у него голос, как ты думаешь? У нас есть бас-негодяй, баритон-герой, тенор-любовник, контральто-злодейка, колоратурное сопрано — героиня и меццо-сопрано — простушка, эта обманутая девушка… как там ее… Элейна. А кто будет Мерлин? Что вы скажете о *haute contre* — ну знаете, такой высокий, неземной голос?

— Контртенор? Чего же лучше! Он будет не похож на всех остальных.

— Да, и очень полезен в ансамблях. Эти мужские альты похожи на трубу, только звучат странно…

— Призыв рожка из края феи[312], — процити-

**[312] Примечания: 312**

*Призыв рожка из края феи…* — Теннисон А. Рожок (из поэмы «Принцесса»). Перев. Эммы Соловковой.

ровал Пауэлл.

— Вам, кажется, либретто понравилось в том виде, в каком его изложил Герант, — заметил Артур.

— О, нам придется кое-что менять в ходе работы, — ответила доктор. — Но это хорошая схема: связная и простая для людей, которые не могут следить за сложным сюжетом, но с глубоким скрытым значением. У оперы должно быть основание: что-то большое, как несчастная любовь, или месть, или какой-нибудь вопрос чести. Потому что людям это нравится, понимаете? Они сидят, все эти биржевые брокеры, богатые пластические хирурги и менеджеры страховых компаний, такие серьезные и спокойные, словно ничто в мире их не задевает. Они приходят слушать «Богему» или «Травиату» и вспоминают какую-нибудь любовную интрижку — со стороны она показалась бы жалкой, но это была их молодость; или они слушают «Риголетто» и вспоминают, как генеральный директор унизил их на последнем заседании совета директоров; или «Макбета» — и думают, как хорошо было бы убить генерального и занять его место. Только они это не думают — они это чувствуют, очень глубоко, под поверхностью, и там, в глубине, оно кипит,

это страдание, в примитивном подземном мире их душ. Но они ни в чем не признаются, даже если вы на колени встанете. Опера, как ни одно другое искусство, говорит с сердцем человека, потому что она по сути своей проста.

— А что вы видите как глубоко заложенное основание нашей оперы?

— Очень красивую концепцию, — ответил Пауэлл. — Победу, выхваченную из пасти поражения. Если у нас получится, у зрителей будет рваться сердце. Артур не нашел Грааль, потерял жену, потерял корону, потерял саму жизнь. Но его благородство и величие духа, когда он прощает Гвиневру с Ланселотом, делают его героем. Он подобен Христу: с виду — побежденный, но на самом деле — величайший из победителей.

— Вам понадобится первоклассный исполнитель, — заметила Мария.

— Да. И я уже присмотрел одного, но не скажу вам, кто это, пока он не подпишет контракт.

— Это алхимическая тема, — сказала Мария. — Золото из отбросов.

— Знаете что? Я думаю, вы правы, — отозвался Холлиер. — Мария, вы всегда были моей лучшей студенткой. Но если вам удастся вытянуть такое из подлинной постановки девятнадцатого века,

вы будете поистине алхимиками.

— Мы и есть алхимики, — сказала доктор. — Это наша работа. Но теперь мне нужно идти домой. Завтра я должна быть свежа, чтобы просмотреть все заметки Гофмана, пока то, о чем мы сегодня говорили, не изгладилось из памяти. И это надо сделать до того, как я поговорю с малюткой Шнакенбург, что бы она собой ни представляла. Поэтому я желаю вам доброй ночи.

Доктор, прямая, как гренадер, твердым шагом обошла комнату, пожимая всем руки.

— Позвольте, я вызову вам такси, — сказал Даркур.

— Нет, ни в коем случае. Прогулка меня освежит. Здесь не больше двух миль, и ночь весьма свежа.

С этими словами доктор схватила Марию в объятия и поцеловала долгим поцелуем.

— Не беспокойтесь, малютка, — сказала доктор. — Ваш ужин был очень хорош. Конечно, не аутентичен, но лучше настоящего. Совсем как наша опера.

И она удалилась.

— Господи, вы видели, сколько эта женщина выпила? — воскликнула Пенни, когда доктор ушла. — И ни разу — ни единого разу за все шесть

часов — не сходила в туалет. Она вообще человек?

— Определенно человек, — сказала Мария, вытирая рот носовым платком. — Она засунула мне язык в рот чуть не до самых гланд.

— Меня она не стала целовать, вы заметили? — спросила Пенни. — Впрочем, я и не горю желанием. Старая похабная лесбиянка. Берегитесь, Мария. Она на вас глаз положила.

— До чего мерзкая сигара! Я теперь неделю буду ходить с этим вкусом во рту, — пожаловалась Мария. Она взяла свой бокал, отхлебнула шампанского, звучно прополоскала рот и сплюнула в пустую чашку из-под кофе. — Я никогда не думала, что привлекательна в этом смысле.

— Вы привлекательны во всех смыслах, — произнесла Пенни, впадая в слезливое настроение. — Это нечестно.

— Раз уж вы начали себя жалеть, мне пора домой, — сказал Холлиер.

— Клем, я тебя отвезу, — сказала Пенни. — У меня широкая, незлопамятная душа, хоть ты и паршивый старый негодяй.

— Благодарю вас, профессор Рейвен, — ответил Холлиер. — Я бы предпочел не ехать в вашей машине. В последний раз, когда вы подвозили

меня домой, нас остановил полицейский — из-за вашего стиля вождения.

— Он просто придирался.

— А когда мы подъехали к моему дому, вы хулигански загудели, чтобы разбудить мою мать. Нет, Пенни. Вы под хмельком, и я с вами не поеду.

— Под хмельком! Ничего себе! А кто все время засыпал, пока Герант рассказывал? Клем, ты просто какая-то старая баба!

— Мы живем в век женской эмансипации, и я не понимаю, почему название старой женщины служит оскорблением.

Холлиер осторожно поднялся и осторожно, с достоинством удалился. Пенни помчалась за ним, изрыгая нечленораздельные проклятья.

— Конечно, она его повезет, — заметил Даркур. — Клем скуп, как герой Мольера, и никогда не откажется поехать бесплатно. Я выжду минуту и тоже пойду.

— Ой, Симон, когда ты ко мне зайдешь? — спросила Мария. — Мне надо с тобой посоветоваться. Кроттель хочет опять прийти и ныть про эту несчастную книгу Парлабейна.

— Я приду, когда надо будет, — сказал Симон и ушел.

— Герант, что ты скажешь о докторе? — спро-

сил Артур последнего оставшегося гостя.

— О, она затмила факелов лучи![313] Я просто без ума от старушки Вдаль-Ссут. Мы с ней поладим, как два голубка, — точно, как два голубка.

— Она не поддалась на твои чары, — заметила Мария.

— Именно. Поэтому мы отлично сработаемся. Я презираю легкодоступных женщин.

Он поцеловал Марию в щеку и ушел. Мария и Артур оглядели большую разгромленную комнату. Свечи на Круглом столе оплыли и догорали. Посреди стола стояло Блюдо изобилия, из которого ни один гость ничего не взял — то ли потому, что это не отвечало бы подлинности шестого века, то ли по другой причине. Как любой стол после долгого ужина, этот был жалким зрелищем.

— Не беспокойся, любимая, — сказал Артур. — Это был замечательный ужин, очень удачный, честно. Но я никак не могу понять твоих университетских друзей. Почему они так ссорятся?

— Это ничего не значит, — объяснила Мария. — Просто они терпеть не могут, когда кто-то получает преимущество, пусть хоть на минуту. Доктор разворошила змеиное гнездо.

---

**[313] Примечания: 313**

*Шекспир У.* Ромео и Джульетта. Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

— Да, она провокатор, это уж точно.

— Провокатор в хорошем смысле, как ты думаешь?

— Как она сама сказала, мы должны надеяться, — сказал Артур и повел жену на ложе. Точнее, к двум отдельным ложам, так как Артур еще не полностью оправился.

## 4

## ЭТАГ в чистилище

*Старушка Вдаль-Ссут! Да понимает ли Пауэлл, кто такая доктор Гунилла Даль-Сут, если так ее называет? Но мне кажется, он сказал это любя — таков уж его театральный обычай; у людей театра очень мало уважения к чему бы то ни было, кроме того, что они видят в зеркале.*

*Доктор вселяет в меня надежду. Это человек, которого я понимаю. Заслышав звуки лиры Орфея, она узнаёт их и не боится следовать за ними, куда бы они ее ни завели.*

*Я обожаю доктора. Не как мужчина женщину, но как художник — друга. Она удивительно похожа на того, кто при жизни был моим самым близким и дорогим другом, — Людвига Девриента. Он был прекрасным актером и со-*

*страдательнейшим, милейшим человеком.*

*Какие вечера мы проводили вместе в таверне Люттера, через площадь от моего дома! Но почему же в таверне? Почему я был не у домашнего очага, с милой, верной, долготерпеливой женой Михалиной?*

*Думаю, потому, что Михалина меня слишком сильно любила. Она была такая заботливая! Когда я писал свои сказки, полные ужаса и гротеска, и мои нервы были словно раскалены, и я боялся, что моя душа навсегда затеряется в опасном подземном мире, откуда приходили мои сказки, — Михалина сидела рядом, следила, чтобы мой стакан был всегда полон, и порой держала меня за руку, если я дрожал, — ибо я дрожал, когда идеи приходили слишком быстро и были слишком страшны. Я клянусь, это именно она спасла меня от безумия. И как же я ее наградил? Конечно, не ударами, резкими словами и грубостью, в отличие от многих мужей. В бытность мою судьей я наслушался ужасных историй про домашних тиранов. Мужчина может быть респектабельнейшим из обывателей для своих знакомых, но чудовищем и дьяволом для своих домашних. Только не я. Я любил Михалину, уважал ее, давал ей все, что позволяли мои немалые*

*заработки. Но я всегда сознавал, что жалею ее, а жалел я ее потому, что она была мне так предана, никогда не допрашивала, обращалась со мной не как с возлюбленным, а как с хозяином.*

*Конечно, по-другому и не могло быть. Слишком быстро после нашей свадьбы я взял ученицу, Юлию Марк, и полюбил ее всей душой и всем сердцем; все обворожительные женщины в моих книгах — это портреты Юлии Марк.*

*Все дело в ее голосе. Я учил ее петь, но мало чему мог научить — такой у нее был дар и такой голос, какие редко встречаются. Конечно, я мог привить ей тонкий вкус, научить составлять музыкальные фразы, но, садясь за клавикорды, я терялся в мечтаниях о любви, и выставил бы себя дураком — а может, и байроническим демоном-любовником, — если бы Юлия хоть как-то меня поощряла. Ей было шестнадцать лет, и она знала, что я ее люблю, хоть и не знала, насколько сильно, потому что была слишком молода, и преклонение такого, как я, казалось ей в порядке вещей. Очень молодые девушки уверены, что созданы для того, чтобы их любили; порой они даже бывают добры к любящим, но не понимают их по-настоящему. Должно быть, Юлия втайне мечтала о каком-нибудь молодом офицере, бли-*

*стательном, в мундире, со сногсшибательными усами, который должен был покорить ее своей доблестью и аристократическими манерами. И что ей был учитель музыки, маленький человечек со странным острым личиком, который репетировал с ней гаммы, пока она не научилась их петь с чарующей точностью, никогда не фальшивя? Приятный пожилой мужчина, почти на двадцать лет старше ее; в тридцать шесть его бакенбарды, скобками обрамляющие крысиную мордочку, уже начали седеть. Но я любил ее, пока не понял, что, может быть, умру от этой любви, — а Михалина знала, но не сказала мне ни единого ревнивого слова, не упрекнула меня.*

*Так чем все кончилось? Когда Юлии было семнадцать лет, ее мать, тупая мещанка, нашла ей выгодную партию — некоего Грепеля, в возрасте под шестьдесят, но богатого. Надо думать, решила, что судьба богатой вдовы — лучшее будущее для ее дочери. Добрая женщина не знала, что Грепель весьма прилежно пьет. Он был не из тех, кто во хмелю буянит и хорохорится, и не из романтических, меланхолических пьяниц — он просто упорно квасил. Я до сих пор не позволяю себе думать, какова была семейная жизнь Юлии с Грепелем. Возможно, он ее бил, но вероятнее,*

*что он просто был груб, мрачен, обижал ее и никогда не узнал и не желал знать ничего важного о том, чем была или могла бы стать моя Юлия. Как бы то ни было, через несколько лет их брак был расторгнут; по милосердию Господню дело рассматривалось и развод утверждался не в моем суде. От прекрасного голоса к тому времени не осталось и следа, и от моей Юлии — тоже; она превратилась в достойную жалости обеспеченную женщину, основное занятие которой — изливать свои несчастья подружкам за бесчисленными чашечками кофе и нездорово жирными пирожными. Но я сохранял в своем сердце прекрасную девушку шестнадцати лет и теперь вижу, что во многом придумал ее сам. Ибо Юлия тоже в душе была мещанкой, и все мои труды как учителя ничего не могли бы с этим поделать.*

*Кто такие мещане? О, среди них попадаются очень милые люди. Они — соль земли, но не ее перец. Мещанин — это человек, который совершенно спокойно живет в совершенно неизведанном мире. Полагаю, что моя милая, милая, верная Михалина тоже была мещанкой, ибо она никогда не пыталась исследовать какой-либо мир, кроме мира своего мужа, а этого было недостаточно,*

*поскольку Э. Т. А. Гофман не мог любить ее так же страстно, как Юлию.*

*Была ли это трагедия? О нет, нет, мои дорогие высокообразованные друзья. Мы же знаем, что такое трагедия. Это — героические фигуры, которые повествуют миру о своих страданиях и требуют, чтобы мир благоговейно трепетал. Мелкий судейский чиновник, желающий быть великим композитором, а на деле ставший необычным писателем, и его преданная жена-полька не могут быть героями трагедии. Таким обычным людям там не место. В лучшем случае они могут стать материалом для мелодрамы, в которой тяжкие жизненные превратности перемежаются комическими и даже фарсовыми сценами. Эти люди не живут под свинцовым небом трагедии. Для них меж тучами порой появляются просветы.*

*Таким просветом, редким днем хорошей погоды, была для меня дружба с Людвигом Девриентом. Человеком, решительно не принадлежащим к царству мещан. Он происходил из великой театральной семьи, сам прекрасный актер, человек такого магнетизма и красоты, что, может быть, удовлетворил бы и девичьи мечты Юлии Марк. Меж нами была дружба и взаимная*

*симпатия, которая полностью устраивала нас обоих, — мы оба принадлежали к числу людей, которых как раз стало модно называть романтиками. Мы исследовали мир, насколько могли. К своему прискорбию, должен сказать, что компасом в этих исследованиях обычно служила бутылка. Бутылка шампанского. В те дни оно еще не стало невозможно дорогим, и мы могли прибегать к нему часто и усердно. Этим мы и занимались вечер за вечером в таверне Люттера, и кучка друзей приходила послушать, как мы беседуем и бродим по миру, о котором мещане ничего не знают.*

*Когда я умер — в возрасте сорока шести лет, от осложнений разных хворей, не последней из которых было употребление шампанского, — Девриент выставил себя посмешищем в глазах непонимающих людей и завоевал уважение тех, кто способен понять. После моих похорон он пошел к Люттеру и славно напился. Во хмелю он не был буен, не делал глупостей и не шатался, но полностью уходил в тот, другой мир, который мещане отказываются исследовать и даже боятся нанести на свои аккуратные карты вселенной. Людвиг сунул в карманы две бутылки шампанского, пошел на кладбище и уселся на моей могиле;*

*и всю холодную ночь 25 июня 1822 года он беседовал со мной в своей наилучшей манере. Часть вина он выпил, а часть вылил на могилу. Я не мог ему отвечать, но та ночь, без сомнения, была лучшей из проведенных нами вместе и очень скрасила мне одиночество первых загробных дней.*

*В этой женщине я будто вновь вижу Девриента или что-то от него. Поэтому, когда вечеринка окончилась, я пошел рядом с ней по осенним улицам этого странного, но не враждебного города. Я довел ее до дому, а потом всю ночь напролет сидел у ее постели. Говорил ли я с ней в ее снах? Пусть ответят те, кто разбирается в этом лучше меня, но я надеюсь, что да. В докторе Гунилле я узнал еще одного романтика; на это звание претендуют многие, но оно дается от рождения, и нас таких мало.*

# IV

## 1

Мистер Мервин Гуилт наслаждался происходящим. Вот, думал он, какова должна быть практика юриста — в шикарных апартаментах сидят незаурядные люди, и он, Мервин Гуилт, раздает им наставления для их же блага, черпая из сокровищницы своего понимания закона и человеческой природы.

Каждый дюйм мистера Мервина Гуилта был преисполнен юриспруденции. Это даже слабо сказано, потому что дюймов в мистере Гуилте было сравнительно мало, а натуры законника — очень много. Он не мог быть никем иным. Он всегда носил воротник-бабочку, как бы намекая, что лишь несколько минут назад снял адвокатскую мантию и беффхен[314] и теперь пытается

**[314] Примечания: 314**

*…снял адвокатскую мантию и беффхен…* — Беффхен — элемент профессиональной одежды средневековых ученых, английских и канадских адвокатов, а также литургического одеяния протестантских священнослужителей; представляет собой белый нагрудник в виде двух ниспадающих лент. Воротник-бабочка (воротник с острыми углами, отогнутыми под 45°) также является деталью одежды канадских адвокатов.

приспособить величественные манеры и риторику, подобающие в суде, к нуждам повседневной жизни. Он всегда ходил в темном костюме-тройке — на случай, если его срочно вызовут в суд. Он питал особое пристрастие к латыни; пусть римские священники перестали кутать свои требы в этот язык, как в покров тайны, но Мервин Гуилт оставался ему верен. Как объяснял мистер Гуилт, этот язык столь ёмок, столь точен, столь соответствует духу юриспруденции во всей своей философии и в своих звуках, что незаменим как орудие, когда надо сломить волю оппонента или клиента. Юриспруденция же до сих пор как-то не очень жаловала мистера Гуилта, но он был в любой момент готов принять ее внезапные милости.

— Для начала, — сказал он, улыбаясь сидящим вокруг стола, — я хотел бы подчеркнуть, что желание моего клиента разрешить этот вопрос не запятнано интересами *ad crumenam*[315], то есть он не ищет денег, но вызвано исключительно его врожденным уважением к *ius natural*[316], то есть к тому, что справедливо и законно.

---

**[315] Примечания: 315**
От кошелька *(лат.)*.

**[316] Примечания: 316**
Естественное право *(лат.)*.

Он улыбнулся Марии, потом Холлиеру, потом Даркуру. И даже крупному мужчине с большими черными усами, которого представили просто «мистер Карвер». Наконец он улыбнулся — особо лучезарно — своему клиенту Уолли Кроттелю, сидящему рядом.

— Верно, — сказал Уолли. — Не думайте, что я в это влез, только чтоб урвать.

— Уолли, позволь, я буду говорить, — сказал мистер Гуилт. — Давайте выложим карты на стол и посмотрим на дело *ante litem motam*, то есть до его перенесения в суд. Вот смотрите: отец мистера Кроттеля, покойный Джон Парлабейн, по своей кончине оставил рукопись романа под заглавием «Не будь другим». Верно?

Мария, Холлиер и Даркур кивнули.

— Он оставил ее мисс Марии Магдалине Феотоки, ныне миссис Артур Корниш, и профессору Клементу Холлиеру, назначив их распорядителями своего литературного наследства.

— Не совсем, — сказал Холлиер. — Он оставил рукопись и письмо с просьбой, чтобы ее напечатали. Термин «распорядители литературного наследства» не употреблялся.

— Это мы еще увидим, — сказал мистер Гуилт. — Возможно, он подразумевался. Пока что

у меня и моего клиента не было возможности исследовать это письмо. Думаю, настало время его предъявить. Вы со мной согласны?

— Совершенно исключено, — сказал Холлиер. — Это письмо носило глубоко личный характер, и лишь малая часть его была посвящена роману. Все, что Парлабейн хотел предать публичности, он написал в других письмах, которые отправил в газеты.

Мистер Гуилт театрально порылся у себя в портфеле и вытащил какие-то газетные вырезки.

— Вы имеете в виду те части, где упоминается о его несчастливой решимости покончить с собой из-за пренебрежения, которым был встречен его великий роман?

— А также те, в которых подробно описывалось чудовищное убийство профессора Эркхарта Макварииша, — сказал Холлиер.

— Это не имеет отношения к рассматриваемому нами делу, — возразил мистер Гуилт, с негодованием отметая нетактичное упоминание.

— Имеет, конечно, — сказал Холлиер. — Он знал, что убийство наделает шуму и привлечет внимание к его книге. Он сам так говорил. Он предложил рекламировать его книгу как «роман, ради публикации которого автор пошел на убий-

ство». Или что-то в этом роде.

— Давайте не будем отвлекаться на то, что не имеет отношения к делу, — чопорно сказал мистер Гуилт.

— Может, он съехал с катушек и сам не знал, что несет, — предположил Уолли Кроттель.

— Уолли! Говорить буду я, — сказал мистер Гуилт и сильно пнул Уолли под столом. — Пока у нас нет неопровержимых доказательств обратного, будем предполагать, что покойный мистер Парлабейн отдавал себе полный отчет в своих словах и поступках.

— Я полагаю, его правильней называть «брат Джон Парлабейн», даже несмотря на то, что он сбежал из монастыря и порвал связи с орденом Священной миссии. Не следует забывать, что он был монахом, — сказала Мария.

— В наше время многие обнаруживают, что не совсем подходят для религиозной жизни, — сказал мистер Гуилт. — Нас не волнует точный статус мистера Парлабейна на момент его прискорбной кончины — *felo de se*[317], и кто без греха, пусть первый бросит камень. Нас волнует то, что он приходится отцом моему клиенту. И мы сейчас

---

**[317] Примечания: 317**
Самоубийство *(лат.)*.

говорим о статусе моего клиента как наследника мистера Парлабейна.

— Но откуда мы знаем, что Уолли — его сын? — спросила Мария. Она, как женщина, хотела сразу перейти к сути дела, и церемонные подходы мистера Гуилта ее раздражали.

— Потому что так всегда говорила моя покойная мамка, — объяснил Уолли. — «Парлабейн — твой отец, верней верного; только с ним изо всех мужиков у меня бывал настоящий организм». Так моя мамка всегда говорила…

— Извини! Извини! Позволь мне вести эту беседу, — перебил его мистер Гуилт. — Мой клиент вырос в семье покойного Огдена Уистлкрафта, чье имя навеки вошло в анналы канадской поэзии, и его жены, покойной Элси Уистлкрафт, которая неоспоримо является матерью моего клиента. Мы не собираемся отрицать, что миссис Уистлкрафт и покойного Джона Парлабейна связывала страсть, — назовем это отношениями *ad hoc*[318], возможно имевшими место два или три раза. Зачем нам это отрицать? Кто осмелится бросить камень? Какая женщина выходит замуж за поэта? Конечно, женщина, способная на силь-

---

**[318] Примечания: 318**
Непостоянный, преходящий *(лат.)*.

ные страсти и глубокое женское сочувствие. Ее жалость простерлась и на этого друга семьи, с которым их роднил обширный литературный темперамент. Жалость! Жалость, друзья мои! И сострадание к великому, одинокому, ищущему гению. Вот в чем все дело.

— Нет, — упрямо сказал Уолли. — Это все организм.

— Оргазм, Уолли! Ради бога, сколько раз я должен тебе повторять? Оргазм! — прошипел мистер Гуилт.

— А мамка всегда говорила «организм», — не сдавался Уолли. — Я-то знаю. И не думайте, что я на нее в обиде. Мамка есть мамка, и я ей по гроб жизни благодарен, и мне не стыдно. Мерв, ты же сам чего-то такое говорил, вроде по-латыни, «де мортос» или что-то вроде. Ты сказал, это значит «не след хаять свою родню».

— Уолли! Хватит! Беседовать буду я.

— Угу, но я только хочу объяснить про мамку. И Уистлкрафта — он не любил, когда я называл его папкой, но вообще был добрый. Он никогда со мной про все это не говорил, но я знаю, что он не держал обиды на мамку. Большой обиды. Он как-то сказал, стихами: «не лови стыдом, когда могуч и был идет на приступ», как говорит тот

крендель.

— Какой же это крендель? — Даркур подал голос впервые за весь вечер.

— Ну этот крендель, у Шекспира[319].

— Ах, у Шекспира! Я думал, это Уистлкрафт сам сочинил.

— Нет, это Шекспир. Уистлкрафт готов был смотреть сквозь пальцы на всю эту историю. Он понимал жизнь, хоть и не был докой по части организма.

— Уолли! Обрати внимание, что здесь присутствует дама.

— Ничего, — сказала Мария. — Я думаю, меня можно назвать женщиной, знающей свет.

— И прекрасной специалисткой по творчеству Рабле. — Холлиер улыбнулся Марии.

— Ага! Рабле? Это француз, из старых? Покойник? — спросил мистер Гуилт.

— Подлинно великие люди бессмертны, — сказала Мария и вдруг поняла, что цитирует свою мать.

— Очень хорошо, — сказал мистер Гуилт. —

---

**[319] Примечания: 319**

*Он как-то сказал, стихами: «не лови стыдом, когда могуч и был идет на приступ», как говорит тот крендель. / — Какой же это крендель? <...> / — Ну этот крендель, у Шекспира.* — Приведена искаженная цитата из пьесы У. Шекспира «Гамлет», акт III, сц. 4: «...не зови стыдом, // Когда могучий пыл идет на приступ». Перев. М. Лозинского.

Значит, мы можем беседовать более свободно. Вы все тут люди ученые, университетские, и нет нужды напоминать вам о великих переменах, происшедших за последние годы в общественном мнении, можно даже сказать — в общественной морали. Разделение между приемлемым и безнравственным — как в газетах, так и в современной беллетристике, хоть я и не могу уделять много времени чтению беллетристики — практически исчезло. Сдержанность речи — где она? Безнравственность — где она? Мы живем в век полной фронтальной наготы в театре и кино. Со времени процессов над авторами «Улисса» и «Леди Чаттерлей» закон был вынужден начать все это учитывать. Если вы, миссис Корниш, изучаете Рабле — я его, признаться, не читал, но у него сложилась определенная репутация даже среди людей, незнакомых с его творчеством, — следует предположить, что вы привыкли к нарушениям пристойности. Но я отклоняюсь от темы. Давайте вернемся к тому, что нас интересует на самом деле. Мы признаем, что покойная миссис Уистлкрафт вела не совсем моральную жизнь…

— Но ее нельзя назвать безнравственной, — заметила Мария. — Сейчас сказали бы, что она была эмансипированной женщиной.

— Совершенно верно. Вижу, миссис Корниш, у вас почти мужской ум. Давайте продолжим. Мой клиент — сын Джона Парлабейна…

— Доказательства, — перебил мистер Карвер. — Где ваши доказательства?

— Простите, друг мой. Я не знаю, какое отношение вы имеете к этому делу. Я предположил, что вы в каком-то смысле *amicus curiae* — друг суда, — но если вы собираетесь вмешиваться и советовать, я должен знать, почему это и кто вы такой.

— Меня зовут Джордж Карвер. Я работал в полиции, потом вышел в отставку. Сейчас понемножку занимаюсь частными расследованиями, от нечего делать.

— Понимаю. И вы расследовали это дело?

— Не сказал бы. Возможно, буду, если будет что расследовать.

— То есть, будучи свидетелем нашей сегодняшней встречи, вы считаете, что расследовать нечего?

— Пока нет. Вы ничего не доказали.

— Но вы думаете, что вам известно нечто имеющее отношение к делу.

— Я знаю, что Уолли Кроттель устроился на работу охранником в это здание, сказав среди

прочего, что работал в полиции. Это не так. В полицию его не взяли. Недостаточный уровень образования.

— Возможно, он проявил неосмотрительность, но это не имеет никакого отношения к делу. А теперь слушайте: я сегодня с самого начала сказал, что мы с моим клиентом полагаемся на *ius naturale* — естественную справедливость, то, что законно и правильно, то, с чем повсеместно согласятся достойные люди. Я утверждаю, что мой клиент имеет право на всяческие материальные блага, проистекающие от публикации романа его отца «Не будь другим», поскольку мой клиент — законный наследник Джона Парлабейна. И еще я утверждаю, что профессор Клемент Холлиер и миссис Артур Корниш помешали публикации книги по личным соображениям. Все, чего мы требуем, — это признание естественного права моего клиента, иначе мы будем вынуждены обратиться к закону и настаивать на возмещении после публикации книги.

— Как вы это себе представляете? — спросил Даркур. — Невозможно заставить кого-либо опубликовать книгу.

— Это мы посмотрим, — ответил мистер Гуилт.

— Если посмотрите, то увидите, что никто не

хочет ее публиковать, — сказала Мария. — Когда разразился скандал, многие издатели попросили разрешения ознакомиться с книгой и отвергли ее.

— Ага! Чересчур скандальная оказалась, а? — воскликнул мистер Гуилт.

— Нет, чересчур скучная, — ответила Мария.

— Книга представляла собой в основном изложение философии Джона Парлабейна, — объяснил Даркур. — Его философия была лишена оригинальности, и автор все время нудно повторялся. Он перемежал длинные философские пассажи автобиографическим материалом — эти вставки он считал литературными, но я вас уверяю, что они таковыми не были. Чудовищно скучная вещь.

— Автобиографическим? — оживился мистер Гуилт. — Он наверняка изобразил живых людей, и вышел бы отменный скандал. Политиков небось? Больших шишек из мира бизнеса? И потому издатели не захотели браться за книгу?

— Издатели прекрасно чувствуют, где приемлемое, где безнравственное и где интереснейшая область их соприкосновения, — заметила Мария. — Как говорит мой любимый писатель Франсуа Рабле: *«Quaestio subtilissima, utrum chimaera*

*in vacuo bombinans possit commedere secundas intentiones*»[320]. Я знаю, что могу говорить по-латыни, ведь вы прекрасно владеете этим языком.

— Ага, — сказал мистер Гуилт, выражая этим междометием массу юридических тонкостей, хотя в его глазах явственно замерцало непонимание. — И как же именно вы применяете эту прекрасную юридическую максиму к интересующему нас делу?

— Ее можно очень приблизительно истолковать как предположение, что вы стоите на банановой кожуре, — объяснила Мария.

— Хотя нам и во сне не привиделась бы возможность опровержения ваших прекрасных *argumentum ad excrementum caninum*[321], — заметил Холлиер.

— Что он говорит? — спросил Уолли у своего консультанта.

— Говорит, наши аргументы — дерьмо собачье. Но мы не обязаны сносить такое обращение от людей только потому, что у них есть деньги и

---

**[320] Примечания: 320**

«Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить вторичные интенции» *(лат.). Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль. Ч. 2, гл. 7. Перевод Н. Любимова.

**[321] Примечания: 321**

Довод из собачьих экскрементов *(лат.)*.

положение в обществе. У нас все равны перед законом. А с моим клиентом обошлись несправедливо. Если бы книгу опубликовали, он имел бы право на долю прибыли, а может, и на всю прибыль от публикации. Но вы не стали публиковать книгу, и мы хотим знать почему. Именно за этим мы сюда пришли. Я думаю, мне следует изъясняться более прямо. Где рукопись?

— Не думаю, что вы имеете право задавать такие вопросы, — сказал Холлиер.

— У суда будет такое право. Вы говорите, что издатели отвергли рукопись?

— Если совсем точно, — ответила Мария, — один издатель сказал, что готов за нее взяться, если ему разрешат отдать ее «литературному негру», который попробует что-нибудь сделать из сюжета, выкинув всю философию и морализаторство Парлабейна. Издатель сказал, что из книги может выйти сенсация — подлинная исповедь убийцы. Но это шло совершенно вразрез с тем, чего хотел Парлабейн, и мы отказались.

— То есть книга была непристойной и содержала узнаваемые портреты реальных людей, а вы их прикрываете.

— Нет-нет; насколько я помню этот роман — ту часть, которую я прочел, — он вовсе не был

непристойным. На взгляд современного читателя, — сказал Холлиер. — Там были упоминания о гомосексуальных сношениях, но Парлабейн описывал их так завуалированно и туманно, что эти сцены в общем невинны по сравнению с описанием того, как он убил беднягу Макварища. Не столько непристойны, сколько скучны. Он не был хорошим беллетристом. Издатель, о котором упомянула миссис Корниш, хотел сделать книгу действительно непристойной, но мы не согласились унижать таким образом нашего давнего коллегу Парлабейна. Что непристойно и что нет — это вопрос вкуса; можно любить пряное, но не должно любить мерзкое. А мы не доверяли вкусу этого издателя.

— Вы хотите сказать, что не прочитали весь роман? — произнес мистер Гуилт, тщательно изображая недоверие.

— Его было невозможно читать. Даже преподавателю, который по должности прочитывает огромную массу нудных документов. Моя природа взбунтовалась где-то на четырехсотой странице, и последние двести пятьдесят остались непрочитанными.

— Совершенно верно, — сказала Мария. — Я тоже не смогла дочитать.

— И я, — сказал Даркур. — Хотя, я вас уверяю, приложил все усилия.

— Ага! — воскликнул мистер Гуилт. Этими словами он словно прыгнул на них, подобно тигру. — Вы признались, что ничего не знаете об этой книге, которую ее автор считал одним из величайших произведений художественной литературы в жанре философского романа за всю историю человечества! И все же вы посмели не дать книге ходу! Уму непостижимая наглость!

— Ее никто не хотел печатать, — объяснил Даркур.

— Прошу вас! Не перебивайте! Сейчас я говорю не как представитель закона, а как человеческая душа, заглядывающая в бездну омерзительного интеллектуального и морального падения! Слушайте меня! Если вы не передадите нам рукопись, чтобы мы могли исследовать ее и передать на экспертизу специалистам, то вам грозит судебное преследование, а уж суд возьмет вас за живое, можете мне поверить!

— И нет никаких других вариантов? — спросила Мария. Казалось, эта угроза не взволновала ни ее, ни двух преподавателей.

— Мы с моим клиентом хотим огласки не больше, чем вы. Знаю, может показаться странным,

что адвокат советует вам не идти в суд. Но я предлагаю заключить полюбовное соглашение.

— То есть вы хотите, чтобы мы от вас откупились? — уточнил Холлиер.

— Это не юридический термин. Я предлагаю полюбовное соглашение в сумме, скажем, миллион долларов.

Холлиер и Даркур, у которых был опыт публикации книг, в голос расхохотались.

— Вы мне льстите, — сказал Холлиер. — Вы знаете, сколько платят университетским преподавателям?

— Вы не один в этом деле, — улыбнулся мистер Гуилт. — Я полагаю, миссис Корниш без труда найдет миллион долларов.

— Конечно, — согласилась Мария. — Я швыряю такие деньги нищим на паперти.

— Шутки неуместны, — сказал мистер Гуилт. — Миллион — наше последнее слово.

— На каких основаниях?

— Я уже упоминал о *ius naturale*, — сказал мистер Гуилт. — Обыкновенная справедливость и человеческая порядочность. Напомню еще раз: мой клиент — сын Джона Парлабейна, и на момент своей смерти покойный не знал, что у него есть сын. В этом вся суть. Если бы мистер

Парлабейн об этом знал на момент составления завещания, неужели он оказался бы способен пренебречь правами собственного ребенка?

— Насколько я помню мистера Парлабейна, он был способен на что угодно, — пробормотал Даркур.

— Ну так закон не позволил бы ему ущемить права прямого наследника. Сейчас не восемнадцатый век, знаете ли.

— Думаю, пора и мне вставить свои два цента, — вмешался мистер Карвер. Весь вечер он сидел очень неподвижно — как большая кошка. Сейчас он был похож на бодрствующую и очень зоркую кошку. — Вы не сможете доказать, что ваш клиент — сын Джона Парлабейна.

— Ах, не смогу?

— Да, не сможете. Я навел справки и нашел как минимум трех свидетелей — думаю, при желании нашлось бы и больше, — которые имели доступ к телу миссис Уистлкрафт в ее жаркие и знойные дни. Простите за непристойность, но один из моих информаторов сказал, что она была известна под кличкой «Оплата при входе», а бедняга Уистлкрафт слыл рогоносцем и посмешищем, хоть и был порядочным человеком и хорошим поэтом. Кто же отец ребенка? Мы этого

не знаем.

— Еще как знаем, — возразил Уолли Кроттель. — Что вы скажете про организм, а? Что скажете? У нее никогда не было организма ни с кем из этих людей, которых вы упомянули. Она сама так говорила; всегда была очень откровенной. А без организма откуда ребенок-то возьмется? А? Без организма — никуда.

— Уж не знаю, что вы читали на эту тему, мистер Кроттель, но вы глубоко ошибаетесь, — заявил мистер Карвер. — Взять хоть мою жену: у нас четверо прекрасных детей, один только на прошлой неделе сдал экзамен на адвоката — да, он юрист, как и вы, мистер Гуилт. Так вот, у моей жены никогда не бывало этой штуки, ни разу за всю жизнь. Она сама мне говорила. И она совершенно счастливая женщина, вся семья ее обожает. Вы бы видели, что творится у нас дома в День матери! Может, этот ваш организм, как вы его называете, и прекрасная штука, но для дела он не нужен. Так что лопнул ваш организм. Я имею в виду, он не годится как доказательство.

— Ну, моя мамка так говорила, — сказал Уолли, храня сыновнюю верность даже в поражении.

Мистер Гуилт, кажется, лихорадочно обшаривал собственный мозг — вероятно, в поисках

полезной латинской цитаты. Он решил по возможности обойтись уже использованной.

– *Ius naturale*, — сказал он. — Естественная справедливость. Неужели вы будете ее отрицать?

— Да, когда ее исполнения требуют под дулом пистолета, и притом незаряженного. Во всяком случае, я бы посоветовал именно так поступить, — сказал мистер Карвер с видом кошки, выпустившей когти.

— Пойдем, Мерв, — сказал Уолли. — Нам пора.

— Я еще не закончил, — ответил его консультант. — Я хочу добраться до сути дела: почему они скрыли завещание?

— Завещания не было, — сказал Холлиер. — Было личное письмо.

— Самое близкое к завещанию, что осталось от покойного Джона Парлабейна. И еще я хотел бы знать, почему эти люди отказываются предъявить *corpus delicti*, под которым, поспешу заметить, я имею в виду не тело покойного Джона Парлабейна, хотя эти слова часто неверно толкуют именно в таком смысле, но материальный объект, имеющий отношение к преступлению. Я говорю о рукописи романа, послужившей предметом данного спора.

— Потому что у нас нет причин ее предъяв-

лять, — ответил мистер Карвер.

— Ах, нет?! Ну что ж, посмотрим!

Мистер Карвер опять стал ласковой кошечкой с бархатными лапками. Выражение, к которому он прибег, оказалось несколько неожиданным в устах бывшего сотрудника Королевской канадской конной полиции, ныне — частного сыщика.

— Хренушки! — сказал он.

Мистер Мервин Гуилт медленно поднялся со своего места, всячески демонстрируя негодование и что-то нечленораздельно бормоча. Он удалился с видом человека, который уходит лишь для того, чтобы вернуться с новыми силами, и клиент потащился следом за ним. Мистер Гуилт выказал свои чувства лишь тем, что изо всех сил хлопнул дверью.

— Слава богу, избавились от них, — сказала Мария.

— От Гуилта — может быть. Насчет Кроттеля я бы на вашем месте не был так уверен, — сказал мистер Карвер, поднимаясь со стула. — Я про него кое-что знаю. Такие люди могут повести себя очень мерзко. Вы, миссис Корниш, лучше держите ухо востро.

— Почему именно я? Почему не профессор Холлиер?

— Психология. Вы женщина, притом богатая. Люди вроде Уолли очень завистливы. С профессора, извините меня за прямоту, взять нечего, а богатая женщина — сильное искушение для таких, как Уолли. Я просто хочу предупредить.

— Спасибо, Джордж. Вы были великолепны, — сказал Даркур. — Вы пришлете мне счет?

— Подробный и полный, — ответил Карвер. — Но я должен сказать, что сам получил удовольствие. Этот Гуилт мне никогда не нравился.

Мистер Карвер отказался от предложения выпить и ушел, ступая бесшумно, как кошка.

— Где ты нашел этого замечательного человека? — спросила Мария.

— Мне удалось помочь его старшему сыну, когда он был студентом. Я немножко попреподавал ему латынь — ровно столько, сколько надо, — объяснил Даркур. — Джордж — мой ключ к подземному миру. Такой ключ нужен каждому.

— Если это все, то я пойду, — сказал Холлиер. — Мне надо закончить кое-какую работу. Но, Мария, простите меня — вам, как научному сотруднику, следовало бы знать, что никогда ничего нельзя выбрасывать. Если мы начнем выбрасывать вещи, что останется ученым будущего? Это же элементарная цеховая солидарность. Начните

выбрасывать вещи, и что тогда делать исследователям?

И он ушел.

— Симон, тебе тоже надо прямо сейчас уходить? — спросила Мария. — Я хотела задержать тебя на пару слов… может, выпьешь?

Симон подумал, что этот вопрос совершенно излишний. Его снедало такое авторское беспокойство за книгу, что он всегда готов был выпить. Надо будет последить за собой. Пьяница-священник. Пьяница-профессор. Какой позор!

— Я налью тебе, если хочешь, — сказал он. — Мне кажется, ты стала пить гораздо больше по сравнению с университетом.

— Мне и нужно больше, чем тогда. Мне досталась крепкая голова от дяди Ерко. Не волнуйся, Симон, мне далеко до алкоголизма. Я никогда не сравняюсь с доктором Гуниллой Даль-Сут.

— Доктор просто героически сражается с бутылками. Но я почему-то не думаю, что она страдает, как это называют американцы, алкогольной зависимостью. Она любит вино и может много выпить не пьянея. Вот и все.

— Ты не составишь мне компанию?

— Боюсь, я и так слишком много пью, а у меня не такая замечательно крепкая голова, как у вас

с доктором. Я выпью газировки.

— Симон, ты справишься со всем, что на тебя навалили?

— Меня беспокоит эта опера — что абсурдно, потому что она вообще не моя забота. Вы с Артуром хотите выкинуть на нее сотни тысяч долларов, но деньги-то ваши. Вы, конечно, делаете это для Пауэлла?

— Нет, конечно нет — хотя со стороны это наверняка именно так и выглядит. Он действительно все время подталкивал нас и не дал хорошенько все взвесить. То есть я думала, мы просто дадим немного денег Шнак, чтобы она поработала с рукописями Гофмана, какие найдутся. Но Пауэлл предложил поставить оперу. Он так бурлил энтузиазмом и валлийской риторикой, что заразил Артура, и ты помнишь, как Артур сразу увлекся всей этой затеей. И вот мы здесь — увязли по шею в чем-то таком, чего не понимаем.

— Надо думать, Пауэлл понимает.

— Да, но мне совершенно не нравится сочетание Артурова идеализма и пауэлловской пронырливости. Если опера не провалится с треском, то победителем наверху кучи окажется Пауэлл. Надо полагать, Шнак тоже выиграет, хоть я и не понимаю, как именно; но Пауэлл, как

организатор всей затеи, обязательно окажется в лучах прожекторов, а ему только этого и надо.

— Почему ты не возражаешь, чтобы Шнак что-то выиграла, но так настроена против Пауэлла?

— Он использует Артура, а следовательно, и меня. Он карьерист. Он известный актер, но знает, что на этом поприще двигаться дальше особо некуда, и хочет стать режиссером. Он очень хорошо знает и понимает музыку, а потому хочет поставить оперу, причем на высшем уровне. Во всем этом нет ничего плохого. Послушать Пауэлла, так это Артур ринулся в авантюру очертя голову, но на самом деле наоборот. Это Пауэлл всех втянул. Думаю, он воспринимает Артура и меня только как ступеньки лестницы, ведущей к успеху.

— Мария, тебе надо хорошо понимать, что такое меценат. Я много знаю о меценатстве, навидался в университете. Либо ты пользуешься, либо тобой пользуются. Либо ты требуешь самый большой кусок пирога, и добиваешься, чтобы галерею, театр или что там назвали в честь тебя, и настаиваешь, чтобы твой портрет повесили в фойе, и смотрели тебе в рот, и слушали каждый твой чих затаив дыхание, — либо ты просто денежный мешок. Работая с артистами, следует понимать,

что имеешь дело с людьми непревзойденной наглости и невероятной самовлюбленности. Поэтому надо либо поставить себя жестко и добиваться, чтобы тебя каждый раз выдвигали на первый план, либо участвовать из чистой любви к искусству. Не жалуйся, что тебя используют. И вообще будь великодушна. Думаю, излишне напоминать, что великодушие — добродетель столь же редкая, сколь и прекрасная.

— Я совершенно не отказываюсь быть великодушной, но мне обидно за Артура. Симон, мне совершенно противно, отвратительно, ужасно и гадко второе название нашей оперы — «Великодушный рогоносец». Я чувствую, что Артура пытаются поиметь.

— Рогоносцев не имеют — их обманывают.

— Я об этом и говорю.

— Если такое происходит с Артуром, то виноват в первую очередь он сам.

— Симон, то, что я тебе сейчас скажу, я не могу сказать больше ни одному человеку в мире. Ты меня понимаешь, когда я говорю, что Артур — подлинно благородный человек. Слово «благородство» вышло из моды. Видимо, оно недемократично. Но никакое другое слово к Артуру не подходит. Он замечательно щедрый и открытый

человек. Но именно поэтому он ужасно уязвим.

— Он очень привязан к Пауэллу. Не буду напоминать, что он позвал его в свидетели на вашу свадьбу.

— Да, и до тех пор я о Пауэлле ни разу не слышала, а тут он вдруг явился — весь из себя элегантный и красноречивый. Наглый и пронырливый, как кошка парикмахера, по старой пословице.

— Ты разгорячилась, а мне от твоей горячности хочется пить. Я все-таки выпью с тобой.

— Выпей. Симон, мне нужен твой мудрый совет. Я беспокоюсь и сама не знаю почему.

— Нет, знаешь. Ты думаешь, что Артур слишком привязан к Пауэллу. Верно?

— Не в том смысле, в каком ты думаешь.

— Скажи мне, в каком смысле я думаю.

— Ты думаешь, что между ними что-то гомосексуальное. В Артуре этого нет ни капли.

— Мария, для такой потрясающе умной женщины ты потрясающе наивна. Если ты думаешь, что гомосексуальность — это грубые случки в турецких банях или грязные поцелуи и гнусные пальцы, треплющие шею[322], в каком-нибудь

---

**[322] Примечания: 322**

*...грязные поцелуи и гнусные пальцы, треплющие шею...* — См. примеч. 168.

подозрительном мотеле, ты очень далека от истины. Ты говоришь — и я тебе верю, — что Артур благороден и это совсем не в его стиле. По совести говоря, я думаю, что это и не в стиле Пауэлла. Но навязчивое обожание человека, чертам характера которого он завидует, готовность дарить этому человеку дорогие подарки и идти ради него на большой риск — тоже гомосексуальная любовь, если ветер подует в нужную сторону. Благородные люди обычно неосторожны. Артур — носитель подлинно артуровского духа: он ищет чего-то необычного, приключения, путешествия, поисков Грааля — и Пауэлл, кажется, предлагает именно это, а потому Артур не может перед ним устоять.

— Пауэлл — эгоистичный негодяй.

— И при этом, не исключено, великий человек или же великий артист, что совсем не то же самое. Как Рихард Вагнер, который тоже был эгоистичным негодяем. Помнишь, как он использовал и водил за нос несчастного короля Людвига?

— Людвиг был жалким безумцем.

— И благодаря его безумию у нас теперь есть несколько великолепных опер. Не говоря уже о совершенно безумном замке Нойшванштайн, который обошелся баварцам буквально в коро-

левское состояние и окупился уже раз двадцать, просто привлекая туристов.

— Ты ссылаешься на кусок мертвой истории и на отвратительный скандал, который тут совершенно ни при чем.

— История не бывает мертвой, потому что она все время повторяется, хотя и не одними и теми же словами, не в одном и том же масштабе. Помнишь, мы на артуровском ужине говорили про воск и форму? Воск человеческого опыта — всегда один и тот же. Это мы штампуем его разными формами. Одержимость, роднящая художника и его покровителя, стара как мир, и я думаю, что тут ты ничего не изменишь. А ты говорила с Артуром?

— Ты не знаешь Артура. Когда я поднимаю эту тему, он говорит, что я должна иметь терпение, что омлет не сделаешь, не разбивая яиц, и все такое… Он совершенно спокоен и ничего не понимает.

— А ты сказала ему, что он влюблен в Пауэлла?

— Симон! За кого ты меня принимаешь?

— За ревнивую женщину, например.

— Думаешь, я ревную к Пауэллу? Я его ненавижу!

— О Мария, неужели ты ничему не научилась

в университете?

— О чем ты?

— Вот о чем: ненависть баснословно близка к любви, и оба этих чувства означают одержимость. Слишком сильно подавляемые страсти иногда перекидываются в свою противоположность.

— Мои чувства к Артуру никогда не перекинутся в противоположные.

— Смело сказано. А что же ты чувствуешь к Артуру?

— А разве не видно? Я ему предана.

— Эта преданность тебе очень дорого обходится. Впрочем, преданность всегда дорого обходится.

— Эта преданность обогатила мою жизнь так, что не выразить словами.

— Кажется, ты заплатила тем, что до брака было тебе дороже всего на свете.

— Даже так?

— Да, так. Насколько ты продвинулась в работе над той неопубликованной рукописью Рабле, которую нашли в бумагах Фрэнсиса Корниша? Я помню, как ты была счастлива, когда она нашлась — благодаря этому чудовищу, Парлабейну, — и Холлиер тогда сказал, что это будет твое становление как ученого. Ну вот, прошло около полутора лет. Как подвигается твоя работа? Насколько я

помню, Артур преподнес тебе рукопись как свадебный подарок. Вот это важный момент: жених дарит невесте то, что потребует приложения всех ее сил и талантов. Что-то такое, что может значить для нее даже больше, чем этот брак. Репутация ученого и особая слава — практически в кармане. Опасный подарок, но Артур рискнул. Так чем ты занималась все это время?

— Училась жить с мужчиной, училась управлять этим домом, а он — полная противоположность цыганской *цэре*[323], где я жила с матерью и дядей, и всему их чудовищному жульничеству с *бомари*, и всем *вурситорям*[324], витавшим над тем чудовищным местом. Я туда хожу, только когда ты меня заставляешь…

— Не забывай, именно Артур перевез остатки цыганского барахла в подвал этого самого дома, где ты изображаешь знатную даму…

— Симон! Я не изображаю никакую знатную даму! Господи, ты говоришь совсем как моя мать! Я пытаюсь окончательно и полностью вжиться в современную цивилизацию и оставить все это

---

**[323] Примечания: 323**

*Цэра* — шатер *(цыг.)*.

**[324] Примечания: 324**

*Вурситори* — в цыганской мифологии опасные и коварные богини домашнего очага.

прошлое позади.

— Похоже, современная цивилизация, которая для тебя заключается по большей части в Артуре, отрезала тебя от лучшего в тебе. Я не имею в виду твое цыганское происхождение, об этом давай забудем на минуту. Отрезала от того, что привлекло тебя в Рабле, — великого гуманного духа и великого смеха, спасающего нас в жестоком мире. Я помню, что с тобой творилось, когда ты заполучила эту рукопись: тебе и сам профессор М. Э. Скрич был не брат, а ведь он все равно что митрофорный аббат среди вас, раблезианцев. А теперь… теперь…

— Я мало-помалу ужалась до размеров обычной жены?[325]

— У тебя все еще хорошая память на цитаты. Хоть что-то пока можно спасти из развалин.

— Симон, не смей называть меня развалиной!

— Хорошо. И я не буду свысока смотреть на женщин только потому, что они — жены. Но ведь можно быть одновременно ученым и женой? И одно другому не во вред, а, наоборот, на пользу?

— За Артуром приходится присматривать, это

---

**[325] Примечания: 325**

*Я мало-помалу ужалась до размеров обычной жены?* — «Я мало-помалу ужмусь до размеров обычной жены» (Конгрив У. Так поступают в свете. Перев. Р. Померанцевой).

отнимает много времени.

— Ну что ж… не позволяй ему тебя поглотить. Я только это и хотел сказать. А почему ты за ним так много присматриваешь? До женитьбы он сам как-то справлялся.

— У него были потребности, которые оставались неудовлетворенными.

— Ага.

— Не говори «ага», как Мервин Гуилт! Ты думаешь, я про секс.

— А разве нет?

— Теперь ты проявляешь наивность. Оно и видно — безбрачный священник.

— А кто в этом виноват, скажи на милость? Я дал тебе шанс меня просветить.

— Что сделано, того не переделать.

— Увы, мы ничего и не делали.

— Ты прекрасно знаешь, что у нас ничего не вышло бы. Думаю, из тебя муж еще хуже, чем из Артура.

— Ага! Вот теперь я точно скажу — ага!

— Я устала, а ты этим пользуешься.

— Так всегда говорят женщины, когда их загоняют в угол. Слушай, Мария, я твой старый друг, наставник и воздыхатель. Что не так у вас с Артуром?

— Все так.

— Может, все слишком хорошо?

— Может быть. Я ведь не ребенок, я не требую постоянных восторгов, страсти и всего такого. Но в нашем вареве явно не хватает перца.

— А как у вас с организмом?

— В этом аспекте я где-то между миссис Карвер и миссис Уистлкрафт, этим фейерверком в образе человеческом. Для организма нужны двое, знаешь ли… Давай лучше не будем использовать это слово, даже в шутку, а то оно случайно выскользнет в серьезном разговоре, и мы навеки опозорим себя в глазах мыслящих людей.

— В моих разговорах это слово редко всплывает, но, я думаю, ты права. Так что, твоя супружеская жизнь скучнее, чем ты ожидала?

— Я и сама не знаю, чего ожидала.

— Может, ты ожидала чаще видеть Артура? Кстати, где он на этот раз?

— В Монреале. Завтра вернется. Он вечно куда-нибудь уносится по делам. Корниш-трест, конечно, требует постоянного внимания.

— Ну… я бы и хотел дать тебе какой-нибудь хороший совет, но не могу. Все семьи разные, и всем приходится искать свое решение. Я считаю, тебе нужно обязательно вернуться к работе и найти

какое-нибудь собственное занятие, связанное с наукой, но, кроме этого, мне совершенно нечего тебе посоветовать…

— И не надо ничего советовать. Огромное спасибо тебе за то, что ты меня выслушал. У нас вышел настоящий, правильный *диван* — так это называют цыгане.

— Прелестное слово.

— Извини, что я навела на тебя тоску.

— Ты никогда не наводишь тоску. Но если ты не восстановишь свой былой прекрасный раблезианский дух, это может случиться — и будет поистине ужасно.

— Честный обмен. Можешь навести на меня тоску своими бедами.

— Я тебе про них уже рассказал. Во всяком случае, про оперу сказал. И еще эта книга. Она сидит у меня в голове как гвоздь.

— Ага!

— Ну и кто теперь подражает Мервину Гуилту?

— Я. У меня для тебя кое-что есть. Это касается дяди Фрэнка, и я уверена, что это будет полнейший сюрприз. Погоди.

Мария ушла к себе в кабинет, и Даркур ухватился за возможность — нет, не налить себе новую порцию, но пополнить свой стакан. Щедрой

рукой.

Мария вернулась с письмом.

— Прочти и возрадуйся, — сказала она.

Письмо было в квадратном конверте — из тех, какими англичане пользуются для личной переписки. Солидное письмо, толстая пачка бумаги, каждая страница — на фирменном бланке «Пони-клуба западных графств». Страницы исписаны крупным, четким почерком, характерным для мало пишущих людей, которые склонны транжирить бумагу и тем немедленно вызывают подозрение любого научного работника. Содержание письма полностью гармонировало с его внешним видом. Письмо гласило:

> Дорогой кузен Артур!
>
> Да, именно кузен, потому что ты племянник моего отца, покойного Фрэнсиса Корниша, так что мы с тобой из одного стойла, как говорят мои коллеги. Я давно уже должна была тебе написать, но закрутилась – дела по фирме и все такое. Ты, конечно, не хуже меня знаешь, как это бывает. Но я первый раз услыхала про тебя прошлой весной, когда канадский коллега спросил, знаю ли я тебя, и ока-

залось, что ты у себя в стране большая шишка. Конечно, я и раньше знала, что на нашем фамильном древе где-то сбоку болтаются канадцы, потому что мой дедушка, тоже Фрэнсис Корниш – и отец твоего дяди, который был моим отцом, – ой, получается очень запутанно! В общем, он женился на канадке, но мы с ним никогда не были знакомы, потому что он занимался чем-то очень секретным, и я даже не буду притворяться, что хоть что-то в этом понимаю. И мой отец тоже. В семье про него никогда не упоминали по ряду причин, в том числе и потому, что он сам был очень секретный. «Вообщем», как сейчас пишут, он был моим отцом, и в некоторых отношениях очень хорошим отцом, потому что щедро заботился обо мне в смысле денег, но я ни разу его не видела с тех пор, как была слишком маленькая, чтобы его как следует узнать, – в общем, ты понял. Он женился на своей кузине Исмэй Глассон – темной лошадке, насколько я понимаю, – и меня воспитали в семейной усадьбе, не в Чигуидден-Холле, а в Сент-Колумбе, по-

тому что моей бабушкой была его тетя Пруденс, и там она как раз жила с дедушкой, которого звали Родерик Глассон. Ой, что это я! Конечно, она с ним жила в том смысле, что она была его женой, – здесь все чисто, уверяю тебя. Сент-Колумб в конце концов пришлось продать, и там теперь птицефабрика, но мне удалось купить флигель, и теперь я оттуда руковожу своей маленькой конюшней – я главная шишка в «Пони-клубе западных графств», как ты видишь по бланкам, на которых я пишу это письмо. Боюсь, у меня просто нету никакой другой бумаги, потому что я прямо по свои обширные бедра увязла в бизнесе по разведению пони, а он скучать не дает – ты не поверишь! Короче, в ноябре я приезжаю в Канаду, потому что меня пригласили судить на вашей Королевской зимней ярмарке – прыжки через барьеры и все такое, – и, насколько я понимаю, там будут участвовать детки, которые просто обожают своих пони и мечтают выиграть! Я жду не дождусь, когда их увижу! Я и тебя хотела бы увидеть. Так что я тебя наберу, когда пони-бизнес

меня отпустит, и, может, у нас получится попить чайку и обменяться семейными новостями! Наверняка ты про меня вообще не слыхал, разве что кто-нибудь упомянул про Малютку Чарли – это я! И не такая уж я теперь малютка, скажу тебе! Так что надеюсь тебя увидеть, шлю тебе миллион родственных поцелуев, хоть мы еще и не знакомы!

С любовью,

***Чарлотта Корниш***

— Ты знал, что у дяди Фрэнка был ребенок? — спросила Мария.

— Я знал, что он оставил пожизненное содержание с ежеквартальной выплатой некой Чарлотте Корниш, — мне сказал Артур. Но это могла быть какая угодно престарелая родственница. Я видел в приходской книге запись о браке Фрэнсиса и его кузины Исмэй Глассон, но ни слова о ребенке. Какой бы я ни был идиот, но, шныряя по Корнуоллу, я все же разнюхал, что Фрэнсис был женат на Исмэй Глассон. Но когда я начал наводить о ней справки, все пришипились и сделали вид, что ничего не знают. И никто ни слова не сказал ни про Малютку Чарли, ни про «Пони-клуб». В

общем, детектив из меня так себе. Конечно, все Глассоны куда-то пропали, а когда я связался с сэром Родериком, ныне живущим в Лондоне, он отнесся к этому крайне холодно и не нашел времени со мной повидаться. Подумать только! Но Малютка Чарли, судя по всему, не мастерица писать письма.

— Но она — живая, настоящая. Она должна была что-нибудь слышать про дядю Фрэнка, хоть она его и не помнит. Может, это золотая жила для твоей книги, а, Симон?

— Я слишком осторожен и не ожидаю ничего такого. В этом письме как будто слышится фырканье и ржанье, верно? Но оно — как луч света в очень темном царстве нашего неведения о жизни Фрэнсиса Корниша.

— Значит, мы оба что-то почерпнули из этого *дивана* — не много, но хоть что-то.

## 2

Даркур ушел, и Мария отправилась в постель, оставив Артуру записку с просьбой разбудить ее, когда он приедет из аэропорта. Мария всегда так делала, и Артур всегда игнорировал эти просьбы — он был очень заботлив и не желал понимать, что она хочет, чтобы ее разбудили, хочет его ви-

деть и говорить с ним.

Мария не стала читать книгу, чтобы уснуть. Она, как правило, не читала в кровати. Вместо этого она обдумывала какую-нибудь тему, которая ее в конце концов усыпляла. Что-нибудь серьезное, надежное, старую знакомую тему, но не слишком трудную, чтобы не прогнать сон.

Что выбрать на сегодня? Даркур велел Марии не подавлять свою раблезианскую натуру; не морить голодом полнокровный раблезианский юмор, который в полной мере принадлежал ей до встречи с Артуром; не ужиматься до размеров обычной жены, а то она не сможет быть настоящей женой. Хорошая тема, наводящая сон, — семикратный смех Бога. Кажется, о гневе Бога, о Его отмщении, о карах и многоразличном недовольстве современный мир и без того хорошо знает, даже несмотря на все и всяческие попытки выкинуть Бога из головы. Хорошо, будем думать о Его семикратном смехе.

Идея семикратного смеха на взгляд современной религии покажется очень странной. Она принадлежит гностикам, а потому, конечно, еретическая. В рамки христианства не укладывается Бог, который смеется. То, что Бог мог возрадоваться тому, что Он сотворил, и что вся Вселенная

родилась из Его радости, — сама мысль об этом полностью чужда миру, одержимому серьезностью, легко переходящей в уныние. Что же такое семикратный смех?

Первым был смех, из которого «стал свет», как говорится в Книге Бытия. Потом — Смех Тверди, то есть Вселенной, которую мы только начали осваивать — можно сказать, попробовали космос одним пальцем ноги, как купальщик холодную воду. Мы сочиняем страшилки про космические корабли, невидимо шпионящих за нами зеленых человечков с антеннами и общее ощущение своей неполноценности перед беспредельным пространством. Каково это Богу — неизвестно, но нам точно не очень смешно.

А третий смех? Это был Смех Разума, верно? Вот такого Бога, кажется, можно полюбить — такого, который «воссмеял в жизнь» разум, как только уготовал для него место. Древние мыслители считали, что разум — это Гермес, а Гермес — очень подходящее олицетворение Разума, ибо он чрезвычайно многообразен, изменчив, двойствен, неоднозначен, но если воспринимать его правильно, то он — жизнерадостнейшее творение в своей неустанной изобретательности. А что было дальше?

Четвертый смех называется Смехом Продолжения рода — сюда относится не только секс, но всякий рост и размножение. Все же секс был определенно частью этого смеха, если и не всем смехом; как, должно быть, смеялся Бог, ошеломляя Гермеса такой невероятной задумкой! И как, должно быть, смеялся Гермес, когда эта великолепная шутка до него дошла! Хотя Бог и Гермес наверняка знали, что до многих людей она так и не дойдет и что они даже, если можно так выразиться, испортят шутку. И вот — чтобы справиться с людьми, не понимающими шуток, Бог рассмеялся опять, и возникла Судьба, или Предопределение. По сути, тот самый воск, на котором, как уверял Даркур, мы все оттискиваем свою печать, не всегда зная, что она такое.

Господь, катаясь от смеха на своем престоле, знал, что Судьба не может работать вне определенных рамок. Поэтому он, видимо уже изнемогая от смеха, воссмеял Время, чтобы Судьба могла действовать последовательно, и тем самым дал людям, лишенным чувства юмора, возможность до скончания веков препираться о природе Времени.

Но тут Бог — может быть, с подачи Гермеса — понял, что он, кажется, чересчур суров к со-

зданиям, которые населят сотворенный мир. Он рассмеялся в последний раз, и плодом этого смеха стала Психея, Душа. Этот смех дал всему творению, и в первую голову — человечеству, шанс соприкоснуться с Господним весельем. Не овладеть им и, уж конечно, не понять его полностью, но найти способ присоединиться к нему хоть отчасти. Бедняжка Психея! Бедняжка Душа! С каким упорством наш мир мешает ей на каждом шагу! Он считает ее — если вообще вспоминает о ее существовании — мрачной, бестелесной девой, по большей части неспособной отличить свой духовный локоть от своей же метафизической задницы! И никто не понимает, что она — истинная супруга и соратница Гермеса.

Вот и все. От усилий, которые понадобились, чтобы выудить из памяти давно лежащие там сведения, Марию потянуло в сон. Но она еще успела осмыслить заново слова Симона, заклинавшего ее не морить голодом свою раблезианскую натуру. У Марии тоже есть Гермес и Душа, и она должна жить с ними в истинной дружбе, иначе перестанет быть Марией и ее брак пойдет под откос.

Ей нельзя забывать, что Рабле знал и любил легенды об Артуре и питался их духом, даже

пародируя их. И конечно же, она будет сильнее любить своего собственного Артура, если не станет принимать его чересчур всерьез. Великодушие? Разумеется. Но избыток добродетели чересчур легко переходит в слабость.

Мария уснула. Артур, вернувшись около часу ночи и прочитав записку, улыбнулся с нежностью и пошел в другую спальню, чтобы не будить жену.

## 3

— Хотите, я покошу вам траву?

Казалось бы, простой вопрос. Но в устах Хюльды Шнакенбург эти слова, обращенные к доктору Гунилле Даль-Сут, были знаком полной капитуляции, актом признания вассальной зависимости — словно Генрих Четвертый стоял босиком на снегу в Каноссе.

Шнак и доктор работали вместе уже две недели. Только что подошло к концу их шестое совместное занятие. Начали они не слишком удачно. Доктор увидела в Шнак «женщину из народа» — не крестьянку, а городскую простолюдинку — и говорила с ней откровенно свысока. Шнак же увидела в докторе очередную скучную наставницу — может, и высокообразованную, но не

очень одаренную, да еще и высокомерную. Если с Уинтерсеном Шнак была мрачна и сварлива, то с доктором — откровенно груба и злобна, доктор же отвечала ей ледяной вежливостью. Но вскоре они начали уважать друг друга.

Шнак всегда обязательно выясняла, в чем заключаются достижения ее преподавателей. Обычно это оказывался солидный объем ничем не примечательной музыки, разрабатывающей модное направление, но почти без экспериментов; что-то пару раз исполнялось и получило осторожное одобрение слушателей, которые были в курсе модных веяний; очень редко эти сочинения выходили за пределы Канады. Да, это была музыка, но она, если пользоваться выражением Шнак, не цепляла. Шнак искала что-нибудь поинтереснее. В опубликованных работах доктора Шнак увидела нечто такое, что ее зацепило. Такое, с чем — Шнак точно знала — она не может равняться, безошибочно узнаваемый, неповторимый голос. Впрочем, доктора никак нельзя было бы причислить к величайшим композиторам мира. Критики, как правило, называли ее работы «примечательными». Однако это были выдающиеся критики. Доктор, одна из лучших учениц Нади Буланже, впервые привлекла к

себе внимание струнным квартетом, в котором слышался свой язык, индивидуальный голос, а не голос ее великой учительницы. Шнак приступила к чтению нот со сдержанностью, поначалу — даже с презрением; но потом сдержанность пришлось отбросить, ибо эту музыку несомненно отмечала дивная ясность мышления, выраженная традиционными методами, но в совершенно независимой манере. Работа была недлинная; для музыки — очень сухая, точная, строго обоснованная. Но более позднюю скрипичную сонату не стала бы высмеивать даже Шнак; она знала, что написанное ею с этим не сравнится. Говорить об остроумии в музыке — слишком туманно и недостойно музыкальных критиков, но подобрать другого слова не удалось бы. И каждая последующая работа Гуниллы Даль-Сут показывала тот же выдающийся ум: Сюита для кларнета и струнных, Второй струнный квартет, симфония скромных масштабов (по сравнению с капитальными трудами, требующими больше сотни исполнителей, по примеру мастеров девятнадцатого века), набор песен — настоящих песен, а не просто размеренных звуков, издаваемых голосом в состязании с роялем, и наконец — «Реквием по Бенджамену Бриттену», от которого у Шнак

перехватило дыхание. У нее больше не было сомнений: наконец-то она нашла своего Учителя. Реквием был не то что остроумный, но глубоко прочувствованный и проникновенный; Шнак знала, что ей не хватает именно этих качеств, и, к своему крайнему удивлению, поняла, что жаждет их обрести. Она была вынуждена признать, что это — настоящая музыка.

Однако все статьи, посвященные доктору в различных справочниках, подчеркивали, что она сильнее всего именно как педагог. Она училась у Нади Буланже; специалисты по истории музыки утверждали, что она, как никто другой, воплотила в себе дух своей великой наставницы. Никто не утверждал, что она так же хороша, как Буланже, или отличается от нее: критики непоколебимо уверены, что ныне живущие люди по определению уступают покойникам.

Значит, учитель? Такой, которого можно по-настоящему уважать? Шнак до сих пор не осознавала, что больше всего на свете хочет найти учителя; чтобы сделать это открытие, ей пришлось преодолеть собственное ослиное упрямство. И вот в конце шестой встречи она предложила покосить доктору газон. Шнак обрела своего наставника.

Газон и впрямь нужно было срочно косить. Доктору до сих пор не доводилось жить в отдельном доме, но кафедра музыковедения поселила ее в приятном домике на тихой улочке совсем рядом с университетом. Домик принадлежал семье профессора, который уехал в годичный саббатический отпуск, забрав с собой жену и детей. Домик был очень домашний, уютный. Мебель, хоть и не разломанная, громко свидетельствовала, что в доме живет семья с маленькими детьми. Во всех комнатах стояли книжные шкафы, на полки которых были плотно втиснуты книги — в основном по философии; другие книги, сколько уместилось, лежали на них сверху. Детские ручонки оставили следы на стенах; все кресла провисли под тяжестью философских седалищ. В доме не нашлось ни одного полного комплекта чашек или тарелок; ложки, вилки и ножи были все разнокалиберные, из нержавеющей стали, которая все же умудрилась заржаветь. На стенах висели портреты философов — которые, как правило, не отличаются красотой — и фотографии с конференций, на которых профессор и его жена были запечатлены в окружении коллег из разных стран. Доктор не знала, какой именно отраслью философии занимается хозяин дома, но это яв-

но была не эстетика. Осмотрев новое жилище, доктор вздохнула, сняла со стен бóльшую часть фотографий и поставила на каминную полку свое величайшее сокровище, без которого никогда надолго не покидала парижскую квартиру, — маленькую изящную статуэтку работы Барбары Хэпуорт. Доктор понимала, что больше с этим домом ничего не поделаешь.

Но газон! Когда доктор только приехала, газон был вытоптан, как поле боя, — обычное дело для места, где играют дети. Но трава очень быстро вытянулась и превратилась в бурьян. Что делать? Доктор не знала, да ее это особо и не заботило, но она не могла отмахнуться от того факта, что газончики соседей по обе стороны аккуратно подстрижены. Обычно там, где жила доктор, трава не вела себя так нагло, или же при необходимости откуда-то приходили люди и подстригали ее. Трава росла, и доктор уже начала чувствовать себя Спящей красавицей, заточенной среди разросшегося заколдованного леса. Кроме травы, доктора беспокоило осиное гнездо над парадной дверью; а окна дома были грязны от дождей и пыльных ветров канадской осени. У доктора не было склонности к домашнему хозяйству.

И вдруг выясняется: Хюльда Шнакенбург знает,

что делать с газоном!

Шнак отправилась на задний двор, где, конечно, в сарае стояла газонокосилка. Не очень хорошая, ибо профессор недалеко ушел от доктора в смысле мещанской хозяйственности. Но все же газонокосилка хоть как-то работала — то, что не могли прожевать ее престарелые челюсти, она выдирала с корнем. Шнак вооружилась этим музейным экспонатом и принялась если не подстригать траву, то рубить ее. Она трудилась с усердием преданного раба. Грубой силой подчинив себе сорняки, она граблями собрала скошенное и еще раз выкосила весь газон. Зеленую массу она сложила в пластиковый мешок, который отправился в мусорный контейнер; к этому контейнеру доктор относилась с отвращением и старалась им по возможности не пользоваться: остатки от своих скудных трапез она запихивала в бумажные пакеты, которые потом, под покровом ночной темноты, перекидывала на газон в заднем дворе соседа, преподавателя богословия.

Когда трава наконец покорилась, Шнак увидела, что доктор стоит в проеме парадной двери.

— Спасибо, дорогая, — сказала та. — А теперь зайди в дом, твоя ванна готова.

Ванна? Шнак не принимала ванн. Время от

времени, пасуя под давлением окружающих, она ополаскивалась под душем в раздевалке при женсовете, очень стараясь не замочить волосы. Она ужасно боялась простуд.

— Ты разгорячена и устала, — произнесла доктор. — Смотри, ты потеешь. Ты простудишься. Идем.

Шнак никогда не видала подобного. Роскошью ванная комната профессора не сравнилась бы с Нероновой, но здесь было все, что нужно; доктор изгнала вонючие губки, полысевшие щетки, целлулоидных уточек и резиновых зверей, оставленных предыдущими хозяевами. Сама ванна была ровесницей дома — большая, старомодная, с медными кранами, на львиных лапах; она полнилась горячей водой и благоухала маслами, которыми доктор, заядлая любительница купания, пользовалась сама.

Шнак очень удивилась, когда стало ясно, что доктор не намерена уходить; более того, она жестом велела Шнак раздеваться. Это было поистине странно: в семействе Шнакенбургов принятие ванны было тайной церемонией с намеком на нечто неприличное и медицинское, наподобие клизмы. Тот, кто мылся, всегда закрывал дверь на задвижку, чтобы к нему не

вломились. Шнак не в новинку было раздеваться при других людях — три мальчика, с которыми она приобрела кое-какой (очень примитивный) сексуальный опыт, были сторонниками полной наготы, но перед женщиной ей не приходилось раздеваться с самого детства, и она застеснялась. Доктор поняла это; с легким смешком, но очень ловко она стянула со Шнак вонючий свитер и кивком велела ей вылезти из полуразвалившихся кроссовок и грязных джинсов. Несколько секунд, и Шнак стояла на коврике перед ванной уже голая. Доктор задумчиво оглядела ее:

— Какая ты грязная, дитя мое! Неудивительно, что от тебя так пахнет. Полезай в воду.

Да будет ли конец чудесам? Шнак обнаружила, что ей предстоит не купаться, но быть выкупанной. Доктор повязала поверх одежды где-то найденный ею громадный фартук, встала на колени рядом с ванной и вымыла Шнак так основательно, как та не мылась ни разу за последние двенадцать лет (то есть с того дня, когда мать приказала ей мыться самой). Как ее мылили, как терли ступни, приговаривая детскую считалочку про пальчики, — они с детства не помнили такого обращения! Мытье вышло долгим. Когда доктор наконец выдернула затычку, некогда прекрасная

вода была уже серой и мутной.

— Вылезай, — велела доктор, стоя с большим полотенцем в руках.

Она принялась тереть непривычно чистое тело Шнак — с деловитостью, явно намекающей, что помощь не нужна. Вытирание перемежалось прикосновениями очень интимного характера — они удивили Шнак, ибо вовсе не походили на грубое лапанье, свойственное трем ее бойфрендам, студентам инженерного факультета. Пока все это происходило, опять набралась полная ванна воды.

— Полезай опять, — сказала доктор. — Теперь будем мыть голову.

Шнак послушно влезла в ванну, сильно недоумевая; однако за спиной у себя она слышала звуки торопливого раздевания. Несколько секунд — и доктор тоже залезла в ванну и уселась позади Шнак, зажав ее между длинными изящными ногами. Доктор обильно поливала водой грязную голову Шнак; обильно умащала ее шампунями с восхитительно пахнущими маслами; наконец тщательно прополоскала и вытерла, бесцеремонно и словно играя.

— Вот теперь ты совсем чистая девочка, — сказала доктор, смеясь. — Как тебе это нравится?

Она снова улеглась в ванну за спину Шнак, притянула ее к себе и принялась намыленными пальцами ласкать ее соски, совершенно ошеломленные таким обращением.

Шнак не могла бы сформулировать, как ей это нравится. Слова были не ее стихией, а то она сказала бы, что это — райское наслаждение. Но в памяти кое-что всплыло: все статьи в справочниках кончались упоминанием того, что доктор не замужем. Ну и ну!

Потом они устроили ритуальный костер из старого тряпья Шнак. Доктор хотела сжечь его в камине, но Шнак проверила трубу — зажгла бумагу на каминной решетке, и камин тут же принялся изрыгать клубы дыма. Это подтвердило подозрения Шнак о том, что в трубе — птичье гнездо. Такое проявление хозяйственной премудрости сильно впечатлило доктора. Тряпье сожгли на заднем дворе, когда стемнело, и даже поплясали вокруг костра.

Поскольку Шнак осталась без одежды, она не могла пойти домой, да и не хотела. Они с доктором переместились в кровать. Они пили смесь рома с жирным молоком, и Шнак, лежа в объятиях доктора, поведала ей историю своей жизни — как она ее видела; эта версия удивила бы и

разгневала бы ее родителей.

— Старая история, — заметила доктор. — Одаренный ребенок; родители-фарисеи. Религия, лишенная любви; жажда чего-то бóльшего. Дитя мое, ты знаешь, кто такие фарисеи?

— Это из Библии?

— Да, но теперь это слово стало обозначать людей, которые против того, что нам с тобой дорого, — искусства и свободы, без которой оно не может существовать. Ты читала Гофмана, как я тебе велела?

— Да, прочитала кое-какие сказки.

— Вся жизнь Гофмана была одной долгой битвой с фарисеями. Бедняга! Ты еще не читала «Кота Мурра»?

— Нет.

— Это непростая книга, но без нее ты не поймешь Гофмана. Это биография великого музыканта Крейслера.

— А я не знала, что он такой старый.

— Не Фрица Крейслера, глупая! Другого человека, Гофман его придумал. Великого музыканта и композитора, капельмейстера Иоганнеса Крейслера, непонятого романтического гения, вынужденного мириться с оскорблениями и высокомерием фарисеев, составляющих костяк

общества, в котором он живет. Друг Крейслера написал книгу о его жизни и оставил на столе; кот Мурр находит книгу и пишет на обороте каждого листа свою собственную биографию. Рукопись отправляют к печатнику, который глуп и печатает все подряд как единое произведение; Крейслер и кот Мурр смешались в одной книге. Но кот Мурр — истый фарисей: он воплощает все, что ненавидит Крейслера и ненавистно ему. Кот Мурр так подытоживает жизненную философию: *«Gibt es einen behaglicheren Zustand, als wenn man mit sich selbst ganz zufrieden ist?»* Ты понимаешь по-немецки?

— Нет.

— А надо бы. Без немецкого — очень плохая музыка. Кот говорит: «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?»[326] Это — квинтэссенция фарисейства.

— Приятное состояние — например, если у тебя хорошая работа. Машинистки.

— Да, если это все, чего желает человек, и если он не способен видеть дальше. Конечно, не все машинистки такие, иначе на концертах не было

---

**[326] Примечания: 326**

*Кот говорит: «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?»* — Цитата приведена в переводе Д. Каравкиной, В. Гриба, И. Снеговой (Э. Т. А. Гофман. Житейские воззрения кота Мурра).

бы слушателей.

— Я хочу чего-то большего.

— И найдешь. Но и приятные состояния тоже будут в твоей жизни. Вот как сейчас.

Поцелуи. Ласки, искусные и разнообразные, — Шнак и не подумала бы, что такое возможно. Полторы минуты экстаза — и глубокий покой, в котором Шнак заснула.

Доктор лежала без сна несколько часов. Она думала об Иоганнесе Крейслере и о себе.

## 4

Вино было очень хорошее. Конкретней Даркур не рискнул бы высказаться, так как не считал себя знатоком вин. Но он умел узнавать хорошее вино, когда его пил, а это вино, без сомнения, было очень хорошим. Князь Макс обратил внимание Даркура на гравированные этикетки бутылок — тонкие скупые штрихи угловатых букв гласили, что это вино отложено для хозяев виноградника. Никаких броских картин крестьянского веселья или натюрмортов старых мастеров с фруктами, сырами и мертвыми зайцами — это все для заурядных вин. В верхней части этих, во всех остальных отношениях чрезвычайно скромных, этикеток красовался замысловатый герб, а под

ним девиз: *Du sollst sterben ehe ich sterbe*.

«Ты погибнешь прежде, чем я погибну», — мысленно перевел Даркур. К чему относится этот девиз — к владельцам герба или к вину в бутылках? Должно быть, к аристократам: никто не станет утверждать, что вино переживет человека, который его пьет. Допустим, юноше или девушке лет шестнадцати налили стакан вина за семейной трапезой; или ребенку дали чуть-чуть вина, смешанного с водой, чтобы он не чувствовал себя обделенным на пиру. Неужели этот девиз утверждает, что шестьдесят лет спустя вино еще сохранит свои качества? Вряд ли. Подобные вина бывают, но их продают дорогие аукционные дома, а не торговцы вином для широкого потребления. Значит, эта похвальба, или утверждение, или угроза — может быть любое из трех или все три сразу — относится к людям, носителям герба.

Вот они, эти люди, сидят за одним столом с Даркуром. Князь Макс — ему, должно быть, хорошо за семьдесят, но он все так же прям, строен и элегантен, как когда-то в бытность молодым щеголеватым немецким офицером. На возраст князя намекают только очки, которые умудряются придавать ему изысканный вид, и поредевшие

желтовато-белые волосы, тщательно набриолиненные и зачесанные прямо назад с шишковатого лба. Веселость, бьющая через край живость, неистощимый поток анекдотов и болтовни могли бы исходить от человека вдвое моложе.

Что до княгини Амалии, она была такой же прекрасной, хорошо сохранившейся и одетой к лицу женщиной, как и прошлым летом, когда Симон увидел ее впервые. Тогда она тактично и предельно ясно дала понять: если он желает узнать определенные факты о Фрэнсисе Корнише, то должен как-то добыть для нее наброски этого самого Фрэнсиса Корниша к рисунку в стиле старых мастеров, столь активно и с такой искусной недосказанностью используемому ею в рекламе. И Даркур выполнил требование княгини.

В Национальной галерее Клерикальному Медвежатнику, как теперь мысленно называл себя Даркур, повезло точно так же, как и в университетской библиотеке. Он так же перемолвился словечком с куратором отдела рисунков — старым знакомым, которому в голову не пришло бы ни в чем заподозрить Симона; так же небрежно и быстро просмотрел рисунки в особой папке; стремительно подменил рисунки, которые должны были стать платой за откровенность княгини, ри-

сунками из библиотеки, принесенными с собой за хлястиком жилета «Ч. З.»; и так же добродушно попрощался с приятелем, покидая архивы галереи. На рисунки еще не успели нанести гадкие метки, которые начинают звенеть, когда посетитель проходит через излишне любопытные сканеры; судя по всему, в папку вообще никто не заглядывал с тех пор, как ее доставили в галерею примерно год назад. «Ловкая работа, — подумал Симон, — хоть и не мне себя хвалить». Он выбрал для кражи удачный день — в Оттаву как раз приехал папа римский, и все, кто мог бы, шныряя кругом, заподозрить неладное, отправились на дальнее поле — глядеть, как харизматичный религиозный лидер совершает мессу, и слушать его наставления и увещевания, обращенные к канадцам.

«Неужели я вообще всякий стыд потерял? — спрашивал себя Симон. — Неужели я теперь — самодовольный, удачливый преступник, которого не удерживают даже священные обеты?» Он не пытался ответить на это как-нибудь философски; им владела неутолимая жадность биографа. Он вышел на верный путь и не потерпит преград на этом пути. Он пожертвовал бы и спасением души — лишь бы удалось написать по-настояще-

му хорошую книгу. С Богом можно примириться и на смертном одре. А пока что — жизнь еще не кончилась.

— Моя жена очень довольна тем, что вы принесли, — сказал князь Макс. — Вы уверены, что это всё — что это все наброски к тому рисунку?

— Насколько я знаю, да, — ответил Симон. — Я просмотрел все рисунки Фрэнсиса Корниша — и его собственные, и его копии со старых мастеров — и не нашел ничего относящегося к портрету княгини, кроме тех набросков, которые я вам только что вручил.

— Восхитительно, — сказал князь. — Я бы сказал, что мы и не знаем, как вас отблагодарить, но это было бы неверно. Амалия расскажет вам все, что она знает о *Le Beau Ténébreux*. И я тоже, хотя я не был с ним близко знаком — видел его только один раз, в Дюстерштейне. Он сразу произвел на меня благоприятное впечатление. Красивый; скромный; и даже остроумный, когда вино превозмогло его скрытность. Но продолжай, дорогая. А пока — еще по стакану вина?

— Фрэнсис Корниш действительно был таков, как говорит князь, но в нем крылось много большее, — продолжила княгиня. Она пила мало: великой светской красавице и деловой женщине

с умом острым как бритва, приходится соблюдать умеренность. — Он вошел в мою жизнь как раз тогда, когда я из девочки становилась девушкой и начинала серьезно интересоваться мужчинами. Точнее, и я не шучу, любая девочка, только начав ходить, обращает внимание на мужчин и мечтает о них. Но Фрэнсис Корниш появился в нашем семейном кругу как раз тогда, когда я начала грезить о любовниках.

— Я вспоминаю Фрэнсиса, и мне странно думать, что он мог быть таким привлекательным, — сказал Симон. — К старости он превратился в гротескную фигуру.

— Я уверена, это именно погибшая красота обернулась гротеском, — ответила княгиня. — Мужчины не замечают подобных вещей, если только их не привлекают в романтическом смысле другие мужчины. У вас наверняка есть его фотографии?

— Он терпеть не мог фотографироваться, — сказал Симон.

— Тогда я могу вас удивить. У меня есть множество фотографий, снятых мною самой. Конечно, любительские, но они многое открывают. Одну фотографию я держала под подушкой, пока моя гувернантка не обнаружила ее и не запретила

мне. Я сказала, что она ревнует; она рассмеялась, но я поняла по ее смеху, что попала в цель. Фрэнсис был очень красив и с таким приятным низким голосом. У него был не чисто американский выговор, а с призвуком шотландского раскатистого «р», от которого у меня таяло сердце.

— Я уже ревную, — вмешался князь.

— О Макс, не глупи. Ты же знаешь, чего стоят молодые девушки.

— Я знал, чего стоишь ты, дорогая. Но я также знал, чего стою я сам. Так что в то время я не ревновал.

— Какое противное тщеславие! — сказала княгиня. — Как бы то ни было, у каждого человека была детская любовь, которую он хранит в душе до конца жизни. Я уверена, профессор, вы знаете, о чем я говорю.

— Да, я помню одну девочку с кудряшками — мне тогда было девять лет, — сказал Даркур, пригубливая вино. — Я знаю, что вы имеете в виду. Но, прошу вас, рассказывайте дальше о Фрэнсисе.

— У него было все, что нужно, чтобы привлечь любовь молодой девушки. Даже слабое сердце. Ему приходилось следить за состоянием своего здоровья и посылать отчеты врачу в Лондон.

Князь рассмеялся.

— Да, это сердце было ему так же полезно, как и умение обращаться с кистью, — сказал он.

— И я уверена, что его сердечная слабость была не менее подлинной, чем его талант.

— Конечно. Но мы ведь знали, что такое эти его отчеты врачу?

— Ты знал, — сказала княгиня. — А я нет — во всяком случае, тогда. Ты знал многое, о чем я понятия не имела.

— Надеюсь, вы все-таки объясните? — спросил Даркур. — Слабое сердце. Это мне известно. Конечно, он и умер от сердечного приступа. Но вы говорите, за этим крылось что-то еще?

— Я узнал о его слабом сердце с другого, лондонского конца цепочки, — объяснил князь. — Фрэнсис посылал отчеты о работе своего сердца врачу, который тут же передавал их нужным людям из министерства информации, потому что они были зашифрованными донесениями. Фрэнсис наблюдал за поездами, проходившими два-три раза в неделю мимо Дюстерштейна. Эти поезда перевозили несчастных заключенных в ближайший лагерь — концентрационный, исправительно-трудовой или что-то в этом роде. В общем, одно из тех недоброй памяти мест, откуда

мало кто выходил живым.

— Вы хотите сказать, что Фрэнсис был шпионом?

— Конечно, — ответил князь. — А вы не знали? Его отец был очень известным разведчиком, и, надо полагать, он и сына приобщил к семейной профессии.

— Но *Le Beau Ténébreux* был не очень хорошим шпионом, — заметила княгиня. — Очень мало кто из шпионов подлинно хорош в своем деле. Надо полагать, он был не особенно важной фигурой. Он приехал в Дюстерштейн как ассистент Танкреда Сарацини, старого жулика, который реставрировал нашу родовую коллекцию картин. Сарацини, может, и не занимался шпионажем, но обожал совать нос во что попало. Он тут же вычислил Фрэнсиса. И моя бабушка тоже.

— Да, старую графиню еще никому не удавалось обвести вокруг пальца, — сказал князь. — Она видела насквозь любую уловку.

— Прошу прощения! — воскликнул Даркур. — Я ничего не понимаю. Что такое Дюстерштейн, кто такая старая графиня и что это за история со шпионажем? Вы меня совершенно запутали.

— Значит, мы сможем расплатиться сполна за ваши наброски, — сказал князь.

— У вас есть ключ к потерянным годам жизни Фрэнсиса. Я знаю, что он некоторое время провел в Европе, изучая живопись, и работал с великим Сарацини — но, кроме этого, я не знаю ничего.

— Дюстерштейн — родовое имение Амалии. Она жила там со своей бабушкой, старой графиней.

— Я была сиротой, — объяснила княгиня. — Не бедной сироткой и не сиротой из романа Диккенса, а просто сиротой. Меня воспитывали в Дюстерштейне бабушка и гувернантка. Моя жизнь была невероятно скучной, и вдруг приехал старый Сарацини — работать над нашим собранием картин, — и вскоре после этого явился *Le Beau*, чтобы ему помогать. Тогда это повергло меня в полнейший восторг.

— И он был шпионом?

— Конечно, он был шпионом. И моя гувернантка, Рут Нибсмит, тоже. В годы рейха Германия кишела иностранными шпионами. Даже удивительно, что при таком обилии шпионов Британия перед войной валяла такого дурака.

— Он шпионил за ближайшим концлагерем?

— Он к нему и близко не подходил. Это не удавалось никому, тем более канадцу в маленьком спортивном автомобильчике. Нет; он только

считал товарные вагоны в каждом поезде, проходившем мимо замка. А я следила за ним. Надо сказать, это было очень смешно. Я стояла у окна в своей башне — очень романтично звучит, не правда ли? — и смотрела, как Фрэнсис считает вагоны. Я, можно сказать, слышала, как он считает, — он стоял у своего окна, думая, что невидим под покровом ночной темноты. А в саду под окнами, за кустами, сидела моя гувернантка и шпионила за Фрэнсисом. Я, бывало, следила за ними обоими, чуть не падая со смеху. Я подозреваю, что бабушка тоже за ними следила — из окна комнаты, прилегающей к ее кабинету, где она занималась делами. Она заправляла очень крупным сельскохозяйственным производством.

— Говоря о шпионах, — сказал князь, — следует заметить, что, за исключением немногих мастеров своего дела, их легко узнать, метафорически выражаясь, по запаху. У них над головой словно облачко висит, как у героев комиксов, с надписью «Я шпик». На них можно не обращать особого внимания, так как они в основном безвредны. Но если в вашем замке вдруг обнаруживается незнакомый молодой красавец, ассистент жулика вроде Сарацини, со всяческими нужными документами и слабым сердцем, регулярно по-

сылающий письма на Харли-стрит, — он, скорее всего, шпион.

— Но Фрэнсис на самом деле был ассистентом Сарацини? — спросил Даркур. — Тут не было обмана?

— Сарацини был воплощением обмана. Только не поймите это так, что он был тривиальным лгуном и лгал ради личной выгоды. Он питал артистическую страсть к иллюзии, выходящую далеко за рамки обычной подделки картин. Он считал, что играет шутки над Временем. Он был величайшим реставратором, это вы знаете. Работая над ценной картиной, такой как картины из дюстерштейнской коллекции, он проникался подлинным духом и манерой художника, автора картины. Он словно обращал время вспять. Но он мог также взять очень посредственную картину и превратить ее из пятиразрядной во второразрядную. Это искусство особого рода — точно чувствовать, как далеко можно зайти.

— Одна из лучших вещей такого рода, вышедшая из мастерской Сарацини, на самом деле была работой Корниша, — заметила княгиня. — «Дурачок Гензель» — Макс, ты помнишь эту картину?

— Нет-нет, то не была подмалевка. То был оригинал. Ужасно странная маленькая панель,

портрет карлика-шута. Совершенно удивительное лицо: оно как будто видело тебя насквозь.

— Меня эта картина испугала, — сказала княгиня. — Конечно, я не должна была ее видеть. Но вы же знаете, как любопытны дети. Сарацини каждый вечер запирал мастерскую и, наверно, думал, что все его секреты в безопасности. Но ключ от мастерской лежал у бабушки в ящике письменного стола. Я время от времени брала ключ и заглядывала в мастерскую. Мне показалось, что этот карлик говорит обо всей трагедии человеческой жизни — о том, что он заперт, как в тюрьме, в безобразном теле, об уродстве, которое лишает его права на сострадание других людей, о жажде мести и жажде любви. Так много чудовищной правды жизни — на панели размером восемь на десять дюймов.

— Где сейчас эта картина? — спросил Даркур.

— Понятия не имею, — ответил князь. — Насколько мне известно, она какое-то время была в коллекции Геринга, но с тех пор я ничего о ней не слышал. Если ее не уничтожили — а я не могу поверить, что у кого-нибудь поднимется на это рука, — она всплывет рано или поздно.

— Вы так говорите, будто Фрэнсис и впрямь был великим художником, — заметил Даркур.

— Да, — согласился князь. — Ну что, перейдем к кофе?

Кофе им подали в большой гостиной. Даркур еще не бывал тут: все его переговоры с княгиней проходили в ее кабинете — впрочем, таком элегантном, что лишь грубый человек, нечувствительный к красоте, стал бы критически рассматривать деловое предложение, прозвучавшее в этой обстановке. Надо полагать, торговалась княгиня где-то в другом месте. Но, несомненно, где-то она торговалась, ибо князь и княгиня явно вели дела с размахом, и притом в отрасли, где царит жестокая конкуренция. Гостиная, похоже, шла вдоль всей стены роскошного пентхауза, где жила княжеская чета.

Даркур подумал, что скоро станет специалистом по дорогим пентхаузам. Пентхауз Корнишей в Торонто был замечателен своей современностью: в некоторых комнатах стены целиком из стекла открывали потрясающий вид почти на весь город и даже дальше — энтузиасты утверждали, что в ясный день из этих окон можно увидеть облако водяной пыли, стоящее вдали над Ниагарским водопадом. Но современность пентхауза парадоксальным образом помещала его вне времени, так как он был лишен броских

архитектурных деталей и основной характер ему придавала мебель, а многие предметы мебели были в стиле семнадцатого века: Артуру он нравился, а Мария не оспаривала вкус Артура. Но Макс и Амалия сознательно обставили свое жилище так, чтобы оно напоминало о восемнадцатом веке. Поэтому картина, занимавшая главное место в комнате, производила такое удивительное впечатление.

Это был триптих. Он висел на фоне дамаста, которым была затянута южная стена. Сюжет картины удавалось понять не сразу, так как она была полна — но не переполнена — людьми, одежда которых относилась к самому началу шестнадцатого века. Одни — в парадном платье, другие — в парадных доспехах, третьи — в одеждах, облюбованных художниками всех веков для изображения библейских персонажей. Даркур вгляделся в картину и понял, что ее сюжет — очень необычно решенный — это «Брак в Кане». Лишь когда заговорила княгиня, Даркур понял, что стоит с разинутым ртом, уставившись на триптих.

— Вы любуетесь нашим сокровищем, — сказала княгиня. — Прошу вас, сядьте вот тут, вам будет лучше видно.

Даркур взял чашку кофе и сел рядом с княгиней.

— Великолепная картина, — сказал он. — И очень необычная трактовка сюжета. Христос почти низведен до второстепенной фигуры, и можно даже сказать, что Он с изумлением взирает на жениха. Я хотел бы осведомиться, известно ли вам, кто ее автор.

— Эта картина — одна из пяти или шести, которые мы собирались продать несколько лет назад, — пояснил князь. — Нам было очень тяжело с ней расставаться, но в то время я собирался расширять свою торговлю вином, начав поставки в Северную Америку, а вы можете себе представить, каких капиталов это требовало. Нас выручила дюстерштейнская коллекция — нам удалось сохранить несколько лучших картин, несмотря на военное разорение и разграбление. Мы продали все, кроме этой. Великие американские картинные галереи спорили из-за них. Одно время, кстати, мы вели переговоры по продаже этой картины вашей Канадской национальной галерее, но в конце концов сделка сорвалась. Какие-то проблемы с финансированием. Мы удачно продали остальные картины, так что эту решили оставить себе.

— Но вы не знаете, кто автор?

— Как же, знаем. Кстати сказать, в решении этого вопроса сыграл большую роль канадский искусствовед. Он атрибутировал ее как работу Алхимического Мастера. Видите ли, кое-какие детали свидетельствуют о том, что автор картины разбирался в алхимии.

— Этого искусствоведа звали Эйлвин Росс? — спросил Даркур.

— Совершенно верно, — ответил князь. — Очень приятный человек. Он сильно помог нам в поисках покупателей на все остальные картины. Его статью о «Браке в Кане» можно найти в подшивках журналов по искусству. Насколько мне известно, его мнение никто не оспаривал. Видимо, картина так и будет значиться творением Алхимического Мастера, если мы не установим его подлинную личность. Но вот и наш второй гость.

Второй гость, подобно князю, являл собой чудо сохранности. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что ему за семьдесят, но шаг его был легок, фигура подтянута, и зубы, несмотря на удивительный блеск, по-видимому, свои.

— Позвольте представить вам профессора Даркура, — произнесла княгиня, таким обра-

зом давая понять, что новый гость — во всяком случае, по ее мнению — стоит выше Даркура в светской табели о рангах. — Он из Канады. Он привез мне то, о чем мы с вами говорили, так что вопрос решен. Профессор, это мистер Аддисон Трешер. Вы, конечно, его узнаёте.

Даркур его не узнал, но в памяти что-то слабо шевельнулось. Ах да, конечно: один из великих и славных деятелей от искусствоведения, консультирующий музеи, устанавливающий подлинность произведений искусства и поражающий обманщиков своим личным Мечом Истины.

— Аддисон очень помог нам тогда с картинами. И мы попросили его зайти сегодня, потому что он тоже знал Фрэнсиса Корниша. Профессор Даркур пишет биографию Корниша, — пояснила княгиня, обращаясь к хозяину удивительных зубов. — Вы часто говорили о Корнише.

— Да, действительно. Я присутствовал, когда Корниш одним махом перескочил из положения ученика Сарацини в разряд великих распознавателей подделки. Я видел, как он прихлопнул Жана-Пауля Летцтпфеннига. Пригвоздил ко кресту, можно сказать. Разоблачил его как автора поддельной картины Ван Эйка. Все дело

было в неосторожном изображении обезьяны — Летцтпфенниг допустил на полотно обезьяну, которую никак не мог нарисовать Ван Эйк. Я никогда не видел более проницательного и элегантного разоблачения. Но Корниш так и не воспользовался своей славой, хотя все этого ждали. Он погрузился в почти полную безвестность, если не считать работы в той комиссии, которая пыталась вернуть картины владельцам после войны.

— Да, об этом я знаю, — сказал Даркур. — Меня повергли в ступор те годы жизни Фрэнсиса, о которых ничего не известно, — надо думать, теперь я могу называть их дюстерштейнскими годами. Какой он был тогда? Вы можете мне про него рассказать?

— Я был свидетелем великой сцены разоблачения в Гааге, и, конечно, мы вместе работали в Комиссии по возвращению потерянных и украденных работ. Но мы почти не общались напрямую. Его внешность весьма впечатляла, но об этом вы знаете лучше меня. Высокий, тихий, но в нем было нечто, если можно так выразиться, байроническое. От него как будто едва заметно припахивало серой.

— Совершенно верно, таким и я его запомни-

ла, — подхватила княгиня. — Едва уловимый аромат серы. Неотразим. Байроничен.

— В последние годы жизни он был сутулым шаркающим чудиком, — сказал Даркур. — Приятным человеком, если познакомиться с ним поближе. Но это весьма далеко от *Le Beau Ténébreux*.

— Вполне ожидаемый исход, — заметил Трешер. — Во что превратился бы Байрон, доживи он до старости? Это был бы лысый толстяк с ужасным несварением желудка, деятель Консервативной партии. Скорее всего, озлобленный женоненавистник. Для романтического героя ранняя смерть — удача. Романтики не рассчитаны на долгую жизнь.

Они беседовали весь вечер, пока Даркур не ушел ровно в одиннадцать, но больше ничего важного о Корнише ему не рассказали. Разговор снова и снова возвращался к Корнишу и тут же перескакивал на какой-нибудь животрепещущий вопрос искусствоведения — у Трешера оказался бесконечный запас намеков и историй, которые могли бы очень многое поведать Даркуру, знай он больше об эпохальных аукционах, великих разоблачениях и ошеломительных ценах.

Но вечер был вовсе не так беден находками, как может показаться. Макс и Амалия старались,

как могли, вознаградить Даркура за привезенные им наброски. Князь и княгиня играли честно, и когда Симон уходил, княгиня отдала ему все фотографии предмета своей юношеской любви. Но весь вечер глаза Даркура снова и снова обращались к «Браку в Кане». На следующее утро, садясь в самолет, Даркур был как в огне — ему не терпелось провести некое расследование, и он всем сердцем надеялся, что уж теперь точно узнает кое-что о Фрэнсисе Корнише и его книга будет не просто респектабельным, почтительным биографическим трудом.

**5**

Как отнесся Артур к тому, что такая важная встреча Фонда Корниша проводилась не за Круглым столом, а где-то в другом месте? К тому, что вместо Блюда изобилия с орехами и сластями были крекеры и копченая рыба из баночек на шведском столе, собранном на скорую руку доктором и Шнак? К тому, что пили за этим столом крепкий аквавит, запивая его пивом, и Холлиер особенно усердствовал?

Да, Артур был этим недоволен, но он так хорошо владел собой, что никто и не замечал его недовольства, — он и сам его не полностью осо-

знавал, только чувствовал, что ему слегка не по себе. Он понял, что у него отобрали контроль над оперным проектом — мягко, незаметно — и теперь он лишь консультант, даже не председатель совета директоров фонда.

Они пришли слушать музыку. Рояль был и в роскошном пентхаузе Артура. Если уж рояль необходим, чтобы оценить музыку Гофмана и то, что Шнак способна из нее сделать, почему доктор как-то особо повелительно приказала, чтобы все пришли сюда?

Шнак как раз играла. Для композитора она была вполне компетентным пианистом. Иными словами, она могла сыграть что угодно с листа, но не умела играть по-настоящему хорошо. Она могла играть по оркестровой партитуре, чтобы, как она выразилась, «дать представление» о том, что там написано. Все, что не удавалось воспроизвести с помощью десяти пальцев, она изображала уханьем, свистом и воплями: «Медные духовые!» или «Вступают деревянные духовые!» Желая показать, что мелодия предназначается для певца, она пела унылым голосом, а так как слов еще не было, то она пользовалась слогами «я-я-яа».

Еще больше, чем производимые ею шумы, собравшихся поразила ее внешность. Прежде

всего, Шнак теперь была чистая. И одета в новое — судя по всему, выбранное доктором, так как новая одежда была весьма строгой и могла бы выглядеть стильно, если бы Шнак умела ее носить. Сама Шнак была уже не истощенной, а пухлой, слегка отечной, как человек, который начал объедаться после длительной голодовки. Волосы приобрели вполне приличный цвет — непримечательный средне-русый. Непокорные пряди летали в воздухе вокруг головы Шнак. Судя по виду, она была счастлива и полностью поглощена своим теперешним занятием. Шнак Преображенная.

«Интересно, доктор пришлет мне счет за новую одежду или сообразит спрятать эти траты среди других своих расходов?» — подумал Даркур. Он имел на это право. На его стол теперь приземлялось столько странных счетов, что он чувствовал себя каким-то вселенским кормильцем. Но в этом был некий глубинный смысл.

Никто из участников Круглого стола не получил музыкального образования, но все они разбирались в музыке — ходили на концерты, покупали записи. И все они решили, что музыка, исполняемая Шнак, хороша. Безусловно, мелодична и эмоциональна. Музыки, кажется,

было очень много, и Шнак играла ее неразработанными, прерывистыми кусками. Когда она прекратила играть, заговорила доктор:

— Вот то, что у нас есть. На основании этого Хюльда должна будет построить новую музыку, сшивая фрагменты вместе и кое-где усиливая вставками, похожими на Гофмана, но не настоящим Гофманом. Он оставил много заметок, поясняющих его намерения. Но это еще далеко не опера. Теперь нам нужно подробное либретто, с действиями и словами. Словами, соответствующими этой музыке. Пока что мы даже не утвердили окончательно список действующих лиц. Конечно, мы знаем, какая должна быть оркестровка — на тридцать два инструмента: именно такой оркестр Гофман использовал бы в собственном оперном театре. Струнные, деревянные духовые, несколько медных духовых, барабаны — только два барабана, ибо у Гофмана не было сложных современных литавр. Итак, чем занимались все это время наши литераторы?

— У нас есть схема либретто. Точнее, у меня есть. Примерно такая, как я обрисовал несколько недель назад, — сказал Пауэлл. — Что до действующих лиц, у нас есть семь главных ролей: Артур, Гвиневра, Ланселот, Мордред, Моргана Ле Фэй,

Элейна и Мерлин.

— А хор? — спросила доктор.

— В качестве мужского хора у нас будут рыцари Круглого стола. Их должно быть двенадцать, с Артуром — тринадцать. Аллюзия на Христа и апостолов.

— О, это весьма сомнительно, — вмешался Холлиер. — Это романтизм девятнадцатого века, ныне полностью дискредитированный. У Артура было больше сотни рыцарей.

— Ну, у нас он точно перебьется, — сказал Пауэлл. — Кроме Ланселота и Мордреда, мы можем дать ему сенешаля сэра Кея, Гавейна с Бедивером — положительных героев — и Гарета Прекраснорукого; его может играть хорошенький мальчик, если мы найдем такого. Потом нам нужен Лукан, дворецкий, и Ульфиус, распорядитель двора. Для развлечения можно использовать Динадана — он был записной остряк и может время от времени отмачивать шуточки, чтобы оживить действие. И конечно, два негра.

— Негра? — переспросил Артур. — С какой стати в Британии шестого века должны быть негры?

— С такой, что в наши дни невозможно поставить оперу без одного-двух черных певцов, — объяснил Пауэлл. — К счастью, мы можем

использовать сэра Пеллинора и сэра Паломида, они оба сарацины, так что наше дело в шляпе.

— Но сарацины же не негры, — возразил Холлиер.

— У нас они будут неграми, — сказал Пауэлл. — Я не хочу неприятностей.

— Это будет неправдоподобно, — не сдавался Холлиер.

— Не будет. В моей постановке все выйдет как надо. Теперь что касается женщин…

— Погодите, — перебил Холлиер. — Вы что, решили все же сделать из оперы комедию?

— Вовсе нет, — сказала доктор. — Я понимаю, что имеет в виду Пауэлл. Опера представляет собой истину мифа, даже если это опера про шлюх с золотым сердцем, живших в девятнадцатом веке. А истина мифа позволяет на практике делать очень многое. Так что у нас с женщинами?

— По женщине на каждого рыцаря, — сказал Пауэлл. — Им не нужно ни имен, ни персонажей. Кроме леди Клариссаны, наперсницы Гвиневры, — она носит за ней веер, ловит ее, когда та падает в обморок, и все прочее по необходимости. Клариссана, по сути, хористка, но будет получать на пару баксов больше, поскольку играет именованную роль. Вот и все. В общей сложности

двадцать девять человек; еще несколько на роли всяких герольдов и трубачей, ну и, конечно, второй состав. Так мы обойдемся менее чем сорока людьми, и на сцене никогда не будет больше тридцати четырех зараз. На сцену в Стратфорде больше не влезет, а то будет похоже на метро в час пик.

— В какую сумму это обойдется? — спросил Даркур.

— Деньги — не главное, — сказал Артур. — Не забывайте, это приключение.

— Поиск. Подлинно артуровский поиск, — сказала Мария. — Поиск сокровища, затерянного в прошлом. Гнаться за дешевизной тут неуместно.

Даркур спросил себя, не сарказм ли это. Со времени их разговора — их *дивана* — в Марии появилось нечто, не новое, но прежнее, от той Марии, которой она была до превращения в миссис Артур Корниш, до ужимания. Она, кажется, обретала свой прежний рост.

— Я рад, что вы такого мнения, — сказал Пауэлл. — Чем больше я думаю об этой опере, тем дороже она становится. Как сказала Мария, погоня за прошлым обходится недешево.

— Какие гонорары запросят певцы? — спросил Даркур.

— У них практически фиксированные ставки, в зависимости от репутации. Для этой оперы вам понадобятся певцы второго разряда…

— А нам обязательно себя так ограничивать? — спросил Артур.

— Вы неправильно поняли. Я сказал «второго разряда», а не «второго сорта». Звезд первой величины вы не сможете заполучить, да они вам и не нужны. Они все законтрактованы на три-четыре года вперед и, кроме того, исполняют роли из узкого репертуара. Они просто не согласятся разучивать новую роль ради десятка выступлений. Они и репетировать не привыкли. Выпрыгнут из самолета, отбарабанят не глядя свою стандартную Виолетту или Риголетто, хвать деньги, и снова на самолет. Нет, я говорю о певцах, которые понимают, что делают, которые еще и музыканты, умеют играть на сцене и не заплыли жиром. Их сейчас много, и они — будущее оперы. Но они всегда заняты и берут недешево. Будем надеяться, что нам повезет. Я уже навел кое-какие справки и думаю, что все будет хорошо. Хор мы наберем в Торонто: здесь много прекрасных певцов.

Восхитительно, подумал Артур. Именно то, чего ему хотелось. Друг Герант весьма инициативен. И все же… деловой человек в душе Артура

не успокаивался — ведь Герант наверняка обещал певцам деньги и, может быть, предлагал заключить с ними контракты, но кто все это санкционирует? Импресарио и покровитель искусств аплодировал Геранту, у банкира же зародились кое-какие неприятные сомнения. Пауэлл продолжал:

— Скажу вам, что певцы — не единственная наша проблема. Театральный художник — где его искать, если наша опера ставится уже следующим летом? Слишком поздно. Но нам чудовищно, невероятно повезло. Я связался с одной подающей надежды театральной художницей — она второй художник в Валлийской национальной опере и хочет начать работать самостоятельно. Далси Рингголд ее зовут. Я поговорил с ней по телефону, и она пылает энтузиазмом. Но она выставила одно условие.

— Деньги? — спросил Даркур.

— Нет. Далси не жадная. Но она хочет сделать такие декорации, какими они были бы у Гофмана, если бы он ставил эту оперу сам — в Бамберге, например. А это означает стиль раннего девятнадцатого века, когда всем кажется, что декорации меняют пятьдесят рабочих сцены, но на самом деле у нас их будет десять, и им придется выучить

старинные методы, которые их удивят. Потому что в те дни рабочие сцены действительно двигали декорации, а не просто нажимали на кнопки. Это обойдется в круглую сумму.

— Надо полагать, вы с ней уже ударили по рукам? — спросил Холлиер.

Чем больше аквавита он в себя вливал и чем больше пива отправлял ему вслед, тем более крепли его сомнения.

— Она согласилась подождать, пока мы не решим, — сказал Пауэлл. — И я молю Бога, чтобы вы согласились на ее план.

— Это значит — чудовищно тяжелые декорации, длинные перерывы, поросшие травой откосы с искусственными цветами и постоянный грохот за кулисами? — спросил Артур.

— Вовсе нет. Вся эта чепуха появилась с новым типом декораций. Я говорю о системе, когда каждая сцена сопровождается нарисованным задником и пятью-шестью парами кулис, расположенных по обе стороны сцены; все это на колесиках, так что сцену можно менять почти мгновенно — ввезли и вывезли, ввезли и вывезли, почти как в кино, когда кадры сменяются наплывом. В конце каждой сцены актеры уходят — рраз! — и вы уже в следующей сцене. Но для

этого нужна очень четкая работа за кулисами.

— Звучит восхитительно, — сказала Мария.

— Это просто волшебство! Я не знаю, зачем мы променяли его на все эти неподвижные декорации и цветные прожектора, которые не показывают ничего, кроме настроения осветителя. Чистая магия!

— По описанию похоже на пантомиму, — заметил Холлиер.

— Да, немножко похоже. Но что плохого в пантомиме? Я вам говорю, это магия.

— Вы имеете в виду — так, как в Дроттнингхольме[327]? — спросил Даркур.

— Именно.

Больше никто из членов фонда не бывал в Дроттнингхольме, и все были впечатлены.

— Но почему это так дорого? — спросил Артур. — По-моему, тут можно обойтись охапкой реек, холстом и краской.

— Именно поэтому. Краска очень дорогая. Хорошие сценические художники нынче редкость, но Далси сказала, что управится, если у нее будет

---

**[327] Примечания: 327**

*Дроттнингхольм* — дворцовый комплекс в Швеции с придворным театром, построенным в 1766 г. В отличие от других европейских театров XVIII в., в нем сохранились типичные для того времени итальянские машины и механизмы. В 1922 г. театр после реставрации был вновь открыт. С 1953 г. здесь проводится Международный оперный фестиваль.

команда из шести студентов художественного училища. Она сама будет ими руководить и возьмет на себя все трудные части. Но это требует много времени и дорого как сто чертей.

— Если это волшебство, то оно у нас будет, — сказал Артур.

— Вот подлинно артуровский дух! — сказала Мария и поцеловала его.

— Я — за, безо всяких оговорок, — сказала доктор. — Тогда у меня — то есть у Хюльды — будет в распоряжении много сцен, а это замечательная свобода для композитора. В помещении и на воздухе, в лесу и в саду. Да-да, мистер Корниш, вы человек прекрасного воображения. Я салютую вам.

Доктор тоже поцеловала Артура. В щеку. Засовывать ему язык в рот она не стала.

— Думаю, в такой масштабной постановке вы с удовольствием используете и Искомого Зверя, — сказал Холлиер: он заметно подбодрился, хотя и нетвердо держался на ногах.

— Ради всего святого, что такое Искомый Зверь? — спросила доктор.

— Это чудовище, которое всю жизнь искал сэр Пеллинор, — объяснил Холлиер. — Меня поражает, что вы этого не знаете. Искомый Зверь «с виду

был головой — как змей, телом — как леопард, лядвиями — как лев и голенями — как олень, и с огромным хлещущим хвостом. А из чрева у него исходил рев, точно в нем были заключены тридцать пар гончих»[328]. Для волшебной оперы — самое то.

— О Клем, ты гений! — воскликнула Пенни Рейвен и, чтобы не отставать от общей поцелуйной тенденции, чмокнула Холлиера, к его величайшему смущению.

— Ну… я не знаю, — сказал Пауэлл.

— Ой, соглашайтесь, соглашайтесь! — воскликнула Пенни. — Хюльда сделает так, чтобы Зверь пел из живота! Столько голосов в чудесной гармонии! Какой *coup de théâtre*![329] Нет, наверно, надо сказать *coup d'oreille*[330]. Это будет жемчужина спектакля.

— Этого я и боюсь, — возразил Пауэлл. — Совер-

---

**[328] Примечания: 328**

*Это чудовище, которое всю жизнь искал сэр Пеллинор… <…> Искомый Зверь «с виду был головой — как змей, телом — как леопард, лядвиями — как лев и голенями — как олень, и с огромным хлещущим хвостом. А из чрева у него исходил рев, точно в нем были заключены тридцать пар гончих».* — Цитируется с некоторыми изменениями по: *Мэлори Т.* Смерть Артура. Перев. И. Берштейн.

**[329] Примечания: 329**

Эффектный трюк *(фр.)*.

**[330] Примечания: 330**

Пир слуха *(фр.)*.

шенно второстепенный персонаж, сэр Пеллинор, будет шататься по сцене со здоровенным чучелом дракона, отвлекая зрителей на себя. Нет уж! Я накладываю вето на Искомого Зверя.

— А я думал, вам нужен полет фантазии, — сказал Холлиер с высокомерием человека, чью блестящую идею только что отвергли.

— Полет, а не бесконтрольное буйство, — объяснила доктор.

— Искомый Зверь — неотъемлемая часть артуровских легенд. — Холлиер повысил голос. — Искомый Зверь — это чистый Мэлори. Вы что, собираетесь и Мэлори выкинуть за борт? Нет уж, скажите. Если я должен участвовать в подготовке этого либретто, как вы его называете, я должен знать основные правила. Что вы намерены делать с Мэлори?

— Здравый смысл превыше всего, — ответила доктор, тоже не пренебрегавшая аквавитом. — Мы переплавляем миф в искусство, а не рабски воспроизводим его. Если бы Вагнер пошел на поводу у мифа, чудовища и великаны до смерти затоптали бы «Кольцо нибелунга» и никто бы вообще не понял сюжета. На мне лежит ответственность, и я вам о ней напоминаю. На первом плане стоят интересы Хюльды. И вообще, Гоф-

ман не оставил нам музыки, сколько-нибудь пригодной для превращения в четырехголосный хор, поющий в животе у чудовища. Такой хор даже дирижера не будет видеть! К черту вашего Искомого Зверя!

Артур понял, что пора ему как председателю совета директоров вмешаться. Минут пять Пенни, Холлиер и доктор орали, оскорбляя друг друга, пока наконец Артур не восстановил некое подобие порядка. Однако в воздухе по-прежнему висело ощутимое напряжение.

— Давайте примем какое-нибудь решение и в дальнейшем будем его придерживаться, — сказал он. — Мы говорим о природе либретто. Нам нужно решить, на какой основе мы будем его строить. Профессор Холлиер выступает за Мэлори.

— Я руководствуюсь здравым смыслом, — объяснил Холлиер. — Либретто будет на английском языке. Мэлори — лучший англоязычный источник по королю Артуру.

— Да, но язык! — воскликнула Пенни. — Все эти «преже восписах» и «возверзем печаль»! При чтении — очень красиво, но попробуйте произнести вслух, а тем более спеть! Вы полагаете, что сможете на этом языке сочинять стихи?

— Я согласен, — сказал Даркур. — Нам нужен

понятный язык, который допускает хорошие рифмы и несет в себе отзвук романтики. Что это будет?

— Совершенно очевидно, — сказал Пауэлл. — Точнее, очевидно всякому, кроме ученых. Нам нужен сэр Вальтер.

На это имя никто не отреагировал. На лице у всех, кроме Артура, читалось недоумение.

— Он имеет в виду Вальтера Скотта, — пояснил Артур. — Неужели никто из вас не читал Скотта?

— Теперь уже никто не читает Скотта, — сказала Пенни. — Его разжаловали из классиков в современники. Для того чтобы стать предметом научных исследований, он слишком прост, но пренебречь им полностью не удается.

— Вы имеете в виду — в университетах, — сказал Артур. — Слава богу, что я никогда не учился в университете. Как читатель я бродил по Парнасу, жуя траву там, где она казалась сочнее. Я очень много читал Скотта, когда был мальчиком, и любил его. Думаю, Герант прав. Нам нужен Скотт.

— Почти все большие романы Скотта были переделаны в оперы. Сейчас они почти не ставятся, но в свое время имели большой успех. Россини, Беллини, Доницетти, Бизе и прочие. Я посмотрела. Неплохо сработано, должна сказать.

Это заговорила Шнак. До того она почти не открывала рот, и все посмотрели на нее в изумлении — как в сказке, где какое-нибудь животное вдруг обрело дар речи.

— Мы и забыли, что Хюльда только что получила степень магистра музыковедения, — сказала доктор. — Послушаем ее. Ведь самую важную работу делает она.

— Гофман много читал Скотта, — продолжала Шнак. — Хвалил его. Говорил, что у него оперный дух.

— Шнак права, — сказал Артур. — Оперный дух. «Лючия ди Ламмермур» до сих пор популярна.

— Гофман знал эту оперу. Они были современниками, раз уж вас так интересуют современники, и, может быть, она на него повлияла, — сказала Шнак. — Дайте мне Скотта, и посмотрим, что с ним можно сделать. Конечно, это будет *писташ*.

— Надо говорить «пастиш»[331], дорогая, — поправила ее доктор. — Но ты права.

— Следует ли это понимать так, что мы отказываемся от Мэлори? — не отставал Холлиер.

---

**[331] Примечания: 331**

*Пастиш* (*фр*. pastiche, от *ит*. pasticcio) — опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация.

– *‘Raus mit*[332] Мэлори! — выпалила Шнак. — Я про него сроду не слыхала.

— Хюльда! Ты же сказала, что не знаешь немецкого!

— Нилла, это было две недели назад, — ответила Шнак. — Как, по-твоему, я могла получить степень магистра музыковедения без знания немецкого? Как я, по-твоему, читаю заметки Гофмана? Я даже говорю немножко, на уровне кухни. Честно, вы, важные шишки, все ужасно тупые! Гоняете меня, как экзаменаторы, обращаетесь со мной как с ребенком! Кто тут пишет оперу, позвольте вас спросить?

— Шнак, вы правы, — сказал Пауэлл. — Мы вами пренебрегали. Простите. Вы попали в самую точку. Это должен быть пастиш из Скотта.

— Если это не будет *пасташ* из Скотта, мне нужно немедленно садиться читать «Мармион» и «Деву озера»[333], — сказал Даркур. — Но как мы будем работать?

— Хюльда подробно расскажет вам о музыке и даст маленькие планы, которые покажут ход

---

**[332] Примечания: 332**

Долой *(нем.)*.

**[333] Примечания: 333**

*…из Скотта… «Мармион» и «Деву озера»…* — «Дева озера» (1810) — поэма Вальтера Скотта, «Мармион» (1808) — его роман в стихах.

мелодии, чтобы вы могли положить на нее слова. И как можно быстрее, пожалуйста.

— Прошу извинения и разрешения вас покинуть, — сказал Холлиер. — Если вам понадобятся сведения по истории, костюмам или обычаям, вы знаете, где меня найти. Конечно, если вы не намерены руководствоваться исключительно необузданной и неосведомленной фантазией. Позвольте пожелать вам всем доброй ночи.

## 6

— Что за муха укусила Клема? — спросила Пенни, когда все они уселись в машину Артура и поехали. Машина у Артура была хорошая, но, когда на заднее сиденье втиснулись Пенни, Даркур и Пауэлл, стало тесновато, хоть они все и поджимали зад из вежливости.

— Это голос оскорбленной учености, — сказал Даркур.

— Наверно, кризис среднего возраста, — предположил Пауэлл.

— Это еще что такое? — заинтересовался сидящий за рулем Артур.

— Это такая новая модная болезнь, вроде ПМС, — объяснил Пауэлл. — На нее можно списать что угодно.

— Правда? Может, у меня тоже что-нибудь из этого есть? А то я в последнее время чувствую себя как-то не очень.

— Тебе еще рано, дорогой, — заметила Мария. — И вообще, я тебе не позволю в такое впадать, потому что от этого мужчина превращается в младенца. Я так и подумала, что сегодня Клем вел себя просто как ужасный ребенок.

— Он и есть младенец, я это уже много лет знаю, — сказал Даркур. — Крупный, высокоученый, очень красивый младенец, но все же младенец. Но кто меня удивил сегодня, так это Шнак. Она выламывается из скорлупы с треском, а? Уже принялась нами командовать.

— Это все старушка Вдаль-Ссут, — заявила Пенни. — У меня мрачные подозрения по поводу старушки Вдаль-Ссут. Вы знаете, что девочка переехала к ней? Что бы это могло значить?

— Вы явно хотите нам объяснить, — сказала Мария.

— Да тут и объяснять нечего. Они со Шнак — розовенькие. Это очевидно, как нос на лице.

— Кажется, Шнак это идет только на пользу, — сказал Артур. — Она стала мыться, чуточку прибавила в весе, научилась разговаривать и больше не смотрит на нас так, словно желает

всех утопить. Если в этом виновато лесбиянство, то мы должны ему спасибо сказать.

— Да, но мы же несем какую-то ответственность? То есть, я хочу сказать, получается, что мы практически связали девочку по рукам и ногам и вручили этой жеребиле! Вы что, не слышали, как они весь вечер ворковали — «Нилла» да «милая Хюльда», аж блевать тянет?

— Ну и что с того? — возразила Мария. — Она ведь, по сути, первый человек в жизни Шнак, который к ней добр — то есть по-настоящему добр. И скорее всего, первый человек в жизни Шнак, который серьезно говорит с ней о музыке — серьезно, а не просто как преподаватель со студентом. Если это время от времени означает кувыркания в койке, нежные объятия и поцелуи, что с того? Я вас умоляю. Шнак девятнадцать лет, причем она очень способная для своего возраста. Я слышала шепотом произнесенное слово «гений».

— Симон, а ты что скажешь? — спросила Пенни. — Ты у нас специалист по морали.

— То же, что и Мария. А как специалист по морали добавлю, что любовь надо ценить, где бы ты ее ни нашел.

— Даже если это означает, что тебя будет му-

солить доктор Гунилла Даль-Сут? Благодарю вас, отец Даркур, за весьма передовое мнение.

— Я одного не понимаю, — сказал Артур. — Что они *делают*?

— О Артур, это вечный вопрос любого мужчины, как только речь зайдет о лесбиянках, — ответила Мария. — Да что в голову придет, то и делают. Я, наверно, и сама могла бы много чего придумать.

— Правда? — обрадовался Артур. — Обязательно покажешь. Я буду Шнак, а ты Гуни, и мы выясним, чем они занимаются в койке. Новое откровение чудес земных.

— По-моему, вы все легкомысленные и безответственные люди, — сказала Пенни. — Я все больше уверяюсь, что наш Снарк в конце концов окажется Буджумом.

— Что это за Снарк и Буджум такие? — не выдержал Артур. — Вы их все время поминаете с тех самых пор, как начали работать с нами над оперой. Я полагаю, это какая-нибудь литературная аллюзия. Пенни, просветите меня! Я всего лишь смиренный, хорошо обучаемый денежный мешок. Допустите меня в круг носителей тайного знания.

— Не сердитесь, Артур! Да, наверно, эти термины непонятны для непосвященных, но они

позволяют сказать так много в нескольких словах. Видите ли, у Льюиса Кэрролла есть великая поэма под названием «Охота на Снарка». Она повествует о кучке безумцев, которые отправились сами не зная куда искать сами не зная что. Их ведет Кормчий — это вы, Артур, — полный отваги и пыла. Под командой у него — банкир и бильярдный маркер, а также бобр, который плетет кружева, — это, наверно, ты, Симон, потому что он «не раз их от гибели спас, но вот как — совершенно неясно»[334]. И еще один необычный персонаж, который считается булочником, но в конце концов оказывается мясником[335]. Он, по-видимому, умеет все:

> *Но для тех, чей язык к сильной фразе привык,*
>
> *Имена он другие носил:*
>
> *Для близких друзей – «Огарки свечей»,*

---

**[334] Примечания: 334**

*…он «не раз их от гибели спас, но вот как — совершенно неясно».* — Кэрролл Л. Охота на Снарка. Перев. Г. Кружкова.

**[335] Примечания: 335**

*И еще один необычный персонаж, который считается булочником, но в конце концов оказывается мясником.* — Пенни допускает неточность, что особенно непростительно для специалиста по сравнительному литературоведению. Булочник (Baker) и мясник (Butcher) — два разных персонажа «Охоты на Снарка».

*Для недругов – «Жареный сыр».*[336]

*Он с гиенами шутки себе позволял,*
*Взглядом пробуя их укорить,*
*И однажды под лапу с медведем гулял,*
*Чтобы как-то его подбодрить.*[337]

Это, несомненно, вы, Герант, валлийский чаровник, потому что вы нас всех завязали в узел и вертите нами как хотите с этой оперой. В общем, это безумная поэма про безумное путешествие, но в ней непостижимым образом присутствует некий странный смысл. Например, среди нас много научных работников — Клем, Симон и я, это немало, — а послушайте, что говорит Кормчий про Снарка:

*Во-вторых, он не скор в пониманье острот*
*И вздыхает в отчаянье хмуром,*
*Если кто-то рискнет рассказать анекдот*

---

**[336] Примечания: 336**

*Но для тех, чей язык к сильной фразе привык… Для недругов — «Жареный сыр».* — Кэрролл Л. Охота на Снарка. Перев. М. Пухова.

**[337] Примечания: 337**

*Он с гиенами шутки себе позволял… чтобы как-то его подбодрить.* — Кэрролл Л. Охота на Снарка. Перев. Г. Кружкова.

*Или, скажем, блеснет каламбуром.*[338]

Ведь именно этим мы и занимались весь вечер! Разводили бодягу про Мэлори и научный подход к чему-то такому, что по природе своей совершенно ненаучно, потому что это — Искусство. А искусство — странная вещь. Страннее не бывает. Оно может выглядеть как простой обыкновенный Снарк и вдруг оказаться Буджумом! И тогда — берегитесь!

> *Снарки, в общем, безвредны. Но есть среди них*
>
> *(Тут оратор немного смутился)*
>
> *Есть и БУДЖУМЫ… Булочник тихо поник*
>
> *И без чувств на траву повалился.*[339]

Артур, вы понимаете? Вы видите, как это все складывается один к одному?

— Может, и видел бы, будь я вами, а так не вижу, — ответил Артур. — Я слаб в литературных аллюзиях.

---

**[338] Примечания: 338**

*Во-вторых, он не скор в пониманье острот… или, скажем, блеснет каламбуром.* — Кэрролл Л. Охота на Снарка. Перев. М. Пухова.

**[339] Примечания: 339**

*Снарки, в общем, безвредны… и без чувств на траву повалился.* — Кэрролл Л. Охота на Снарка. Перев. Г. Кружкова.

— Думаю, в них и сам король Артур оказался бы слаб, если бы Мерлину вдруг вздумалось отмочить пару шуточек с тонкими аллюзиями на «Черную книгу»[340], — сказала преданная жена Мария.

— Да, но все же у меня предчувствие, что эта история может плохо кончиться, — сказала Пенни. — И сегодня оно только укрепилось. Шнак, бедная девочка, считает себя крепким орешком, но на самом деле она просто затюканное дитя. А теперь ее втянули во что-то такое, с чем она совершенно явно не справится. Меня это беспокоит. Я не люблю лезть в чужие дела и уж точно не строю из себя спасительницу, но должны же мы что-то делать!

— По-моему, вы завидуете, — сказал Пауэлл.

— Завидую?! Я?! Герант, вы отвратительны! Я это поняла только что. С самого первого раза, как я вас увидела, я не могла понять, как я к вам на самом деле отношусь! Льстивый валлийский краснобай! Но теперь я знаю — вы влезли в это

---

**[340] Примечания: 340**

*…«Черную книгу»…* — «Черная Книга из Кармартена» (*валл.* Llyfr Du Caerfyrddin) — сборник религиозной и эпической валлийской поэзии, считается самым ранним сохранившимся манускриптом из написанных полностью на валлийском языке. Мария допускает анахронизм, так как «Черная книга» написана в середине XIII в., в то время как король Артур, согласно легенде, жил в V–VI вв.

дело ради личной выгоды, а на всех остальных вам плевать с высокой колокольни, и я вас терпеть не могу!

— Знаете что, профессор? Мы все влезли в это дело ради личных выгод, — ответил Пауэлл. — Зачем же еще? Вот вы зачем в него влезли? Вы не знаете, но надеетесь узнать. Ради славы? Ради забавы? Из желания заполнить пустоту в своей жизни? Что представляет собой ваш личный Снарк? Советую вам найти ответ на этот вопрос.

— Я уже приехала, — сказала Пенни. — Артур, спасибо, что подвезли. Герант, выпустите меня.

Пауэлл вылез из машины, склонился и придержал дверцу для разъяренной Пенни.

— Герант, зря ты это сказал, — сказала Мария, когда машина тронулась.

— Почему? Я считаю, что это правда.

— Тем более не следовало говорить об этом вслух.

— Возможно, вы правы насчет Пенни, — сказал Даркур. — Почему у такой привлекательной женщины в таком возрасте никого нет? Почему она так охотно флиртует с мужчинами, но это никогда ни к чему не приводит? Может быть, наша Пенни чего-то не замечает, потому что не хочет замечать.

— Только драки за Шнак нам не хватало, чтобы расцветить унылую простоту затеи с оперой, — заметил Пауэлл. — Искусству как-то не хватает эмоций, вам не кажется? Эпическая битва доктора и Пенни, словно белого и черного ангелов, за тело и душу Хюльды Шнакенбург добавит щепотку соли в безвкусную кашу нашей повседневности.

## 7

## ЭТАГ в чистилище

*Так что же они делают? Артур хотел бы это знать, а я, благодаря своему привилегированному положению, знаю точно.*

*Но с этим привилегированным положением нужна осторожность. «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?» Мне надо беречься, чтобы не стать похожим на кота Мурра. Надо полагать, даже обитатель чистилища может впасть в грех самодовольного фарисейства.*

*Но то, чем занимаются доктор Гунилла и Хюльда Шнакенбург, очень далеко и от фарисейства, и даже от стана его противников, к которому я принадлежал в свое время и к которому теперь прикрепили лестный ярлык «движения*

*романтиков». Конечно, тесная и страстная дружба между женщинами тогда не была редкостью, но каким физическим радостям они предавались — было неизвестно или не принималось во внимание. Конечно, иные девицы бросались друг другу на шею при встрече; часто одевались в одинаковые платья; одновременно падали в обморок или впадали в истерику, ибо истерики и обмороки были популярной женской забавой тех времен и считались признаком утонченности чувств. Но всегда предполагалось, что в конце концов эти юные создания выйдут замуж, а после замужества близость с подругой могла стать еще драгоценней. Когда пора первых брачных восторгов прошла и муж заводит привычку являться в постель пьяным, или отвечает на упреки жены рукоприкладством и не прочь при случае подбить ей глаз, или по возвращении домой от него разит шлюхами, как прекрасно иметь подругу, которая тебя уважает, а по временам, возможно, помогает достичь экстаза, немыслимого, по мнению мужа, для хорошо воспитанной женщины. Видите ли, этот особый экстаз тогда считался прерогативой проституток, и они учились его мастерски имитировать, чтобы польстить клиентам.*

*В мое время все было не так, как сейчас. Любовь ценилась очень высоко, но она была самоцелью, поэтому несчастливая или мучительная любовь считалась не менее, а может, и более ценной, чем разделенное чувство, которое вкусили в полной мере. Любовь — это экстаз, а половая потребность — нечто вроде голода; голод же не обязательно удовлетворять в самом лучшем и дорогом ресторане. Бордель в Берлине, куда ходили мы с Девриентом, был скромный; тамошние женщины знали свое ремесло и свое место. Они не претендовали на близость со своими гостями и всегда называли их Mein Herr — за исключением случаев, когда гостю хотелось нежностей или непристойностей (за что полагалась дополнительная плата и повышенные чаевые). Это в России и Польше люди норовят завести фамильярные отношения со шлюхами — и, на мой взгляд, ведут себя как идиоты. Я вот не могу припомнить лица ни одной шлюхи, хотя пользовался очень многими.*

*Почему? Почему я посещал бордель, даже когда сходил с ума от любви по Юлии Марк, недостижимой ученице? Даже когда страдания, причиняемые любовью, были сильнее всего, я не переставал есть, пить — и ходить в бордель.*

*Любовь — это не голод, а экстаз. Шлюхи — не женщины, а служанки.*

*А что моя жена? По-вашему, я, будучи по уши влюбленным в другую женщину, мог стремиться разделить постель со своей женой, дражайшей Михалиной Рорер? Неужели, по-вашему, я мог ее так оскорбить? Думаете, я совсем не уважал ни ее, ни все, что она для меня значила? Она была фактом моей жизни, причем одним из важнейших, и я не стал бы наносить ей такое оскорбление даже без ее ведома — а я ни на минуту не сомневался, что она знала о моей страсти к Юлии. Кстати, у моей жены была близкая подруга, и я никогда не интересовался, что между ними происходит, и не пытался вмешиваться. Думаю, то же делал и Данте, вздыхая по своей Беатриче. Данте был отличным семьянином — и я тоже, в духе своего времени. Романтическая любовь и добропорядочная семейная жизнь были вполне совместимы, но смешивать их не следовало. Брак был договором, к которому следовало относиться серьезно, и верность, которой требовал этот договор, была делом нешуточным. Но любовное безумие могло быть, и часто бывало, направлено за пределы брака.*

*Есть ли любовь между Гуниллой и Хюльдой? Я*

*уверен, что со стороны Хюльды — да, но не могу сказать, ожидает ли кто-то из них двоих, что эта любовь окажется долговременной, подобно браку. Хюльду впервые посвятили в сладкий экстаз; Гунилла же обладает большим опытом. Это она, к примеру, научила Хюльду игре, которую они называют «Любовный напиток».*

*На самом деле это варенье. Точнее, основу составляет варенье — лучшее клубничное, фирмы «Крэбтри и Эвелин». К нему примешивают мед и рубленые грецкие орехи. Потом Гунилла намазывает дорожку варенья на животик Хюльды, от пупка вниз. Вылизав варенье из пупка, Гунилла продолжает медленно и нежно лизать, продвигаясь на юг, и со временем — все это делается lentissimo e languidamente [341] — достигает средоточия наслаждений, и тогда слышатся вздохи, а порой и крики. Партнерши отдыхают, обмениваясь поцелуями, а потом наступает очередь Хюльды — она умащает живот Гуниллы и не спеша выполняет тот же ритуал. В случае Гуниллы процедура всегда заканчивается громкими криками. Гунилла особо ценит грецкие орехи, так как, по ее словам, от них возникает дополнительное трение.*

---

**[341] Примечания: 341**

Очень медленно, изнемогающе (из итальянского; музыкальные термины, обозначающие темп исполнения музыкального произведения).

*Все эти невинные восторги кончаются совместным приемом ванны (и пары стаканчиков аквавита), а затем следует освежающий сон. Кому это вредит? Никому. И даже в бордель ходить не нужно. Очень удобно.*

*Как я этому завидую! Потому что именно в борделе — уж не помню, в каком из них и в каком из многих городов, где я работал, — я подцепил болезнь, которая, несомненно, тоже помогла ускорить мою смерть. Я, конечно, лечился, но в те дни лечение не помогало ничему, кроме кошелька врача. Я думал, что вылечился, но потом узнал правду. То было в 1818 году, а в 1822 году, когда я тяжело захворал и умер, я знал, что меня убрала на тот свет не только болезнь печени, вызванная любовью к шампанскому, и не только загадочный паралич, наконец диагностированный как tabes dorsalis*[342]*, одно из многих имен древней болезни. Она же унесла и беднягу Шуберта — мне было отлично видно из чистилища, как ему под конец жизни пришлось носить нелепый парик, пряча лысину, причиной которой был сифилис. И Шуман умер, сам себя заморив голодом; но к это-*

---

**[342] Примечания: 342**

*Tabes dorsalis* — спинная сухотка *(лат.)*, форма третичного сифилиса. Характеризуется поражением спинальных нервных корешков и задних столбов спинного мозга.

*му привело столь долго владевшее им безумие, порожденное все той же Morbus Gallicus*[343].

*Сначала отказали ноги, потом паралич распространился на руки, и я уже не мог удержать пера. Я был полон решимости закончить «Артура Британского» и, потеряв способность писать, стал диктовать ноты жене, моей милой, верной Михалине, способной помощнице. Но я успел сделать лишь наброски музыки, которую желал создать, — те самые наброски, по которым Шнак теперь так хорошо угадывает, что было у меня на уме. Отняв у меня возможность держать перо, болезнь, кажется, расширила и обогатила мои композиторские способности. Я всегда считал, что определенные виды ядов — например, табак и алкоголь, если назвать два самых популярных — расширяют благородный ум, если не погружают его в обычный ступор. Кое-кто назовет это убеждением подлинного романтика. Но вместе с полетами вдохновения болезнь принесла мне чудовищные пытки, и именно они ускорили мою кончину.*

*Сифилис иногда называют болезнью гениев — ведь столько замечательных людей, в том*

---

**[343] Примечания: 343**

Галльской болезнью *(лат.)*. Галльская, то есть французская, болезнь — еще одно название сифилиса.

*числе моих современников, умерли от него или были раньше времени сведены в могилу какой-нибудь хворью, в основе которой лежал все тот же сифилис. Согласился бы я пожертвовать своим даром, чтобы избавиться от боли и распада заживо? К счастью, мне не нужно отвечать на этот вопрос.*

# V

## 1

— Ой, мне так нравится в Канаде! То есть то, что я видела. Конечно, это не вся Канада. На самом деле я видела только Торонто и Королевскую зимнюю ярмарку. Я хочу по дороге домой задержаться на пару дней в Монреале — опробовать свой французский. Но, может быть, у меня времени не будет. Конюшня не ждет, сами понимаете. В это время года столько работы!

— Я рад, что мы вам понравились, — сказал Даркур. — Давайте поговорим про вашего отца…

— А, да. Про папочку. Мы ведь об этом собирались говорить, правда? За этим вы привели меня обедать в этот замечательно суперский ресторан. Потому что вы пишете книгу про папочку, верно? Я и сама немножко балуюсь писательством, знаете ли. Книжки про пони, для детей. Они расходятся тиражом под сотню тысяч, я сама удивлена. Но до того как мы займемся папочкой, я вам скажу про одну вещь — это большой секрет, но я знаю, что вы никому не расскажете, — про одну вещь, с которой в Канаде не очень, и если с

этим что-нибудь не сделать, пока не зашло слишком далеко, то все будет совсем ужасно. Речь идет о международном престиже, вы же понимаете.

А, политика, подумал Даркур. Политика бушует, как лихорадка, в жилах каждого канадца и мгновенно заражает гостей страны — вот и Малютку Чарли, она же мисс Чарлотта Корниш, не миновала эта участь. Малютка Чарли сидела напротив, вонзая вилку в припущенную лососину.

— И что же это? — неохотно спросил он.

Малютка Чарли заговорщически склонилась к нему, воздев вилку с куском лососины, как фея — волшебную палочку; к нижней губе Малютки Чарли прилипло рыбное волоконце.

— Ваши коноводы, — прошептала она.

От шепота волоконце лососины отклеилось и полетело через стол по направлению к тарелке Даркура. Малютка Чарли принадлежала к тому типу женщин, у которых приемлемые манеры за столом сочетаются с очевидной жадностью в еде; лацканы прекрасного твидового жакета уже покрылись следами торопливого, радостного обжорства.

— Коноводы? — растерянно повторил Даркур.

Неужели канадские коноводы деградировали, а он и не заметил? Может, у этого слова есть ка-

кое-то другое, неизвестное Даркуру значение?

— Не думайте, я не виню ваших ветеринаров, — продолжала Малютка Чарли. — Те, что я видела, просто первый класс. Но беда начинается на одну ступень ниже ветеринаров — с коноводов: это они настоящие спутники и наперсники пони. Да, ветеринар следит за серьезными вещами типа колик, и сапа, и мыта, и всяких ужасных вещей, которые могут погубить прекрасного пони. Но это коновод дает лошадке теплого пойла, если она чуточку закуксилась от простуды или после падения. Это коновод гладит и утешает пони, если на выставке или соревнованиях что-то пошло не так. Я называю коновода няней для пони. Знаете, у меня в конюшне есть замечательная девушка — ну, она моего возраста на самом деле, — ее зовут Стелла, но я всегда зову ее нянюшкой, и, поверьте мне, она оправдывает это имя. Я ей доверяю больше, чем многим ветеринарам, вот что.

— Вам очень повезло с ней. Вернемся к вашему покойному батюшке. Надо думать, вы его помните?

— Да-да, — сказала Малютка Чарли. — Но погодите минутку, я хочу вам рассказать, что случилось вчера. Я судила — точнее, была председателем жюри, — и нам привели совершенно

замечательного маленького шетландского жеребчика. Отличный экземпляр! Глаза ясные, блестящие, широко посаженные; прекрасная морда, большие ноздри, широкая грудь и отличная холка, замечательный круп — просто картинка! Я вам скажу, я бы его купила, если бы могла собрать нужную сумму. Не буду говорить его кличку, не хочу распускать слухи — хотя, конечно, я вам доверяю. И его вел этот коновод, совсем не тот человек, какого можно ожидать увидеть с таким лапочкой, и когда пони встряхнул головой — они это часто делают, потому что они, конечно, знают, когда их оценивают, а они ведь гордые, — этот человек со всей силы дернул за уздечку и сказал: «Стой смирно, сволочь!» Он, конечно, вполголоса сказал, но я-то слышала! И у меня чуть сердце не разорвалось от сочувствия к маленькому. Я спросила этого типа, не сердито, но настойчиво: «Вы коновод?» И он мне ответил: «Угу, я за ним смотрю» — почти хамским тоном! И я подумала, что ж, я за эти дни такого насмотрелась и меня уже с души воротит. И тут он как снова дернул за уздечку, а пони хватанул его зубами! А он ударил его по носу! И конечно, пропали всякие надежды этого пони на чемпионство. Потому что если пони кусается, то я вам сразу скажу, что он может

понести, а скорее всего, еще и закидывается. И все из-за этой скотины-коновода!

— Да, это ужасно, вы правы, — сказал Даркур; они уже перешли к клубничному торту — он был из безвкусной импортной клубники, но Малютка Чарли захотела именно клубничный торт, а Даркур пытался как-то разбить лед, чтобы выпустить на волю поток ее воспоминаний. — А ваш отец любил животных?

— Не могу сказать, — ответила Малютка Чарли, усиленно работая ложкой. — Как мне рассказывали, он в первую очередь любил короля и родину. Но вы не думайте, что раз я хотела купить того жеребчика, то я прямо обожаю шетландцев. Конечно, их охотно покупают для детей, потому что они такие миленькие. Но они обманчивы, вот что я вам скажу. У них слишком короткий шаг. Передержав девочку на шетландце, можно погубить ее как наездницу. Как только она дорастет, ее нужно обязательно пересадить на хорошего валлийца с примесью арабской крови. Вот у них и стиль, и скорость! Именно ими я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Но они не для поло, имейте в виду! Для поло нужны эксмурские и дартмурские, этих я тоже развожу. Кстати сказать — нехорошо болтать про клиентов, но чего уж там, — пару лет

назад я продала эксмурского жеребчика в конюшню Его Королевского Высочества, и Е. К. В. сказал, со мной по секрету поделились, что это лучший жеребец, какого он видел в своей жизни.

— Я никому не скажу, честное слово. Так ваш отец…

— Ему было четыре года, то есть он как раз входил в самую пору. Только ради бога, это я сказала человеку из конюшни Е. К. В., не перетруждайте его. Дайте ему время, и он будет каждый год, лет до двадцати, давать вам от двадцати пяти до сорока первоклассных жеребят. Но если вы его сейчас перетрудите… Вы не поверите, я однажды видела прекрасного жеребца, которого заставили обслуживать по триста кобыл за сезон, и после пяти лет он только на собачье мясо годился! У них так же, как у людей. Все дело в качестве, а не количестве. Конечно, они будут стараться. Они замечательно охотливые. Но дело в сперме. У перетруженного жеребца количество сперматозоидов падает и падает. Он, может быть, выглядит как донжуан, но на самом деле он просто замученный дохляк. Как говорит Стелла — она иной раз может сказануть, — морковка бы и хотела, да помидоры уже никуда. И все тут. Никогда, никогда не жадничайте с жеребцом!

— Честное слово, не буду. Но, я думаю, нам надо все-таки поговорить про вашего отца.

— Ой, правда. Простите меня, пожалуйста. Я как сяду на своего конька, так и не слезу. Стелла так и говорит. А что до папочки, так я его никогда не видела.

— Никогда?

— Никогда на моей памяти. Он-то меня, наверно, видел, когда я была маленькая. Но в сознательном возрасте — никогда. Но он обо мне заботился. То есть регулярно посылал деньги, а коноводила меня бабушка. Ну вы знаете, Пруденс Глассон. Вся эта компания между собой родня в разной степени. Понимаете, мою мамочку звали Исмэй Глассон, а ее отец был Родерик Глассон, и он приходился папочке родней по другой линии. Будь то моя конюшня, я бы не стала их так случать, но что сделано, того не воротишь. Помню, когда мне подарили самого первого пони — очень миленького, шетландца, — у него на уздечку была привешена записка: «Малютке Чарли от папочки».

— Но матушку свою вы, конечно, помните?

— Нет, ничуточки. Видите ли — это страшная семейная тайна, — мамочка была норовистая и однажды понесла. Вскоре после того, как я роди-

лась, она вскинулась и понесла, бросила меня на папочку и бабушку с дедушкой. Но имейте в виду, она была не просто норовистая, а вроде как идейная: поехала в Испанию воевать, и я всегда полагала, что ее там и убили, но подробностей мне так никто и не рассказал. Она была, кстати, красавица, но, судя по фото, я бы сказала, ее предков чересчур близко случали: слишком нервная, шарахается, того гляди понесет. И наверняка кусалась, и закидывалась, и все такое.

— Правда? Спасибо, вы мне очень помогли. Я пытался навестить вашего дядю, Родерика Глассона, в министерстве иностранных дел в Лондоне, чтобы расспросить о вашей матушке, но не смог попасть к нему на прием.

— О, дядя Родди с вами ни за что не станет разговаривать. Он — образцовое чучело надутое. Я уже сама потеряла всякую надежду его увидеть, хоть не очень-то и хотелось. Но не думайте, что у меня было несчастное детство или что я бегала без призора. Счастливей детства просто не бывает, хоть Сент-Колумб без конца ветшал и разваливался, пока я в нем росла. Насколько мне известно, папочка все время вливал деньги в это несчастное имение — бог знает почему, — но дедушка был безнадежен в смысле управления

хозяйством. За нашими деньгами, которые от папочки, следил поверенный, так что они не пошли в унитаз и сейчас не идут. Моя маленькая конюшня построена благодаря этим деньгам, и с тех пор, как я нашла Стеллу — она бы вам ужасно понравилась, хоть и может сказануть иной раз, а вы все-таки священник, — я счастлива просто невероятно.

— Так, значит, вы на самом деле ничего не знаете об отце? В письме к здешним Корнишам вы упомянули, что он имел отношение к контрразведке.

— На это намекали, но впрямую ничего не говорили. Думаю, что и не знали. Но, видите ли, папочкин отец, сэр Фрэнсис, сотрудничал с контрразведкой — и очень плотно, насколько мне известно. Но как далеко папочка зашел по его стопам, я не знаю. Это из-за шпионской работы папочка не мог меня навещать. Во всяком случае, мне так сказали.

— Шпионской? Так вы думаете, он на самом деле был шпион?

— Бабушка не позволяла произносить это слово. Она говорила, что у нас — разведчики. А шпионы бывают только иностранные. Но вы же знаете, как дети вредничают. Я часто шутила, что папоч-

ка — шпион, чтобы чуть расшевелить взрослых. Ну, как дети это обычно делают. Мне запретили болтать, сказали, что это очень большой секрет, но теперь, я думаю, уже все равно.

— А вы знали, что ваш отец был художником, прекрасно разбирался в искусстве, пользовался репутацией знатока?

— Никогда ни слова об этом не слышала. Хотя я чуть со стула не упала, когда мне сказали, что он оставил огромное состояние! Мне приходило в голову спросить Корнишей, не хотят ли они вложить часть этих денег в разведение суперских пони — ну знаете, самых лучших. Но потом я сказала себе: заткнись, Чарли, это жадность, а папочка с тобой и без того по-честному обошелся. Так что заткнись! И заткнулась. Ой, блин, мне надо бежать! У меня очень плотное расписание на остаток дня. Спасибо за обед, он был просто супер. Я вас больше не увижу, да? И Артура с Марией тоже. Я улетаю в пятницу. Они просто суперпарочка. Особенно Мария. Кстати, вы же большой друг семьи; вы что-нибудь слыхали про то, что она жеребая?

— Жеребая? А, понял. Нет, ни слова. А вы?

— Нет. Но у меня глаз наметанный, я же заводчица. В кобыле сразу что-то такое появляется.

В смысле, когда жеребец сработал. Все, я упорхнула!

И она упорхнула, насколько это возможно для женщины солидного телосложения.

## 2

Артур рыдал. Последний раз он плакал в четырнадцать лет, когда его родители погибли в автомобильной катастрофе. Но сейчас горе оказалось сильней его. Он сидел в кабинете Даркура, тесном, заваленном книгами, а в окно робко заглядывало маленькое водянистое ноябрьское солнце, словно сомневаясь, рады ли ему тут. Артур рыдал. Его плечи тряслись. Ему казалось, что он воет, хотя Даркур, стоя у окна и глядя во внутренний двор колледжа, слышал только рыдания, идущие словно из самой глубины груди. Из глаз Артура лились слезы, а из носа — соленые струи соплей. Один платок уже промок насквозь, да и второму — Артур всегда носил при себе два платка — уже явно недолго оставалось. Даркур был не из тех, кто держит в кабинете коробки бумажных салфеток. Артуру казалось, что приступ плача никогда не прекратится: стоило ему выплакаться немного, как на сердце валилась новая лавина горя. Но наконец он откинулся на спинку кресла.

Нос у него покраснел, глаза опухли, и он остро сознавал, что по дорогому галстуку размазалась сопля.

— У тебя есть платок? — спросил он.

Даркур бросил ему платок:

— Ну что, немножко полегчало?

— Я чувствую себя полным рогоносцем.

— О да. Рогоносцем. Или, как говорит доктор Даль-Сут, рогогосцем. Привыкай.

— Мог бы и посочувствовать. Хреновый из тебя друг. И священник тоже хреновый.

— Вовсе нет. Мне очень жаль тебя, и Марию тоже, но что толку, если я начну вместе с тобой заливаться слезами сирен? Моя работа — сохранять хладнокровие и смотреть на вещи со стороны. А что Пауэлл?

— Я его еще не видел. Что мне делать? Избить его?

— Чтобы весь мир узнал, что у вас случилось? Нет, бить ни в коем случае не следует. И вообще, вы по уши увязли в этом оперном проекте, и Пауэлл незаменим.

— Черт побери, он мой лучший друг!

— Кукушат часто подсовывают лучшим друзьям. Пауэлл тебя любит как друг. И я тебя люблю, кстати, хотя и не демонстрирую этого так явно.

— Ну, это такая любовь. Ты как священник обязан всех любить. Тебе, как Христу, это по должности положено.

— Ты ничего не знаешь о священниках. Да, я знаю, нам положено любить все человечество, но я этого не могу. Потому я перестал работать на приходе и начал преподавать. Моя вера требует, чтобы я любил ближнего своего, но я не могу, а притворяться, пуская сладкие слюни — так, как это делают профессиональные любители всего человечества, профессиональные благотворители, газетные сестры-плакальщицы, политики, — не хочу. Понимаешь, Артур, я не Христос и не могу любить так, как Он. Я стараюсь быть вежливым, внимательным к людям, порядочным человеком — и делаю что могу для тех, кого действительно люблю. Ты — один из них. Я уважаю твои слезы, но не помогу тебе, рыдая вместе с тобой. Лучшее, что я могу сделать, — это помочь тебе взглянуть на ситуацию, сохраняя ясность ума и незамыленный взгляд. Я ведь и Марию тоже люблю, знаешь ли.

— Да уж знаю. Ты ведь ей делал предложение, да?

— Да, и она мне отказала — в добрейшей, деликатнейшей манере. И за это я люблю ее еще

больше, потому что семья у нас с ней вышла бы чертовски плохая.

— Понятно, ясный ум и незамыленный взгляд. Тогда зачем ты делал предложение?

— Потому что я был охвачен страстью. У меня были тысячи причин любить Марию и, как я теперь вижу, миллион причин, чтобы на ней не жениться. Я до сих пор люблю ее, но не беспокойся — у меня нет ни малейшего желания играть ту роль, которую в вашем браке сыграл Пауэлл.

— Да, она однажды упомянула, что когда-то была неравнодушна к Холлиеру и что ты делал ей предложение. И более того — выставил себя полным идиотом. У каждой женщины в прошлом найдется подобный эпизод. Но вышла она за меня. А теперь — все губит.

— Чушь! Это ты хочешь все погубить.

— Я?! Это она беременна, будь оно все проклято.

— И ты уверен, что это не твой ребенок?

— Да.

— Почему ты уверен? Вы предохраняетесь? Презервативами, по теперешней моде?

— Я ненавижу эти штуки. Утром проснешься, а они валяются вокруг, на тумбочке у кровати и на ковре, влажно ухмыляясь, — прямо Призраки

Былого Непотребства[344].

— Так что, Мария чем-то пользуется?

— Нет. Мы хотели ребенка.

— И?..

— Ты же помнишь — у меня была свинка. В тяжелой форме. Врачи мне очень тактично сообщили, что отныне я бесплоден. Не импотент, просто бесплоден. И ничего нельзя сделать.

— Ты, конечно, сказал Марии?

— Я не успел.

— Значит, отец ребенка — кто-то другой?

— Гениально, Холмс!

— И это не может быть никто другой, кроме Пауэлла?

— А кто еще? Понимаешь… мне очень неприятно об этом говорить… ко мне приходил один человек.

— И рассказал?

— Да. Ночной охранник из нашего здания.

— Некий Уолли Кроттель?

— Да. И он сказал, что, когда меня не было, мистер Пауэлл порой оставался у нас в квартире допоздна, а иногда и на ночь, и, может быть, я хочу, чтобы мистеру Пауэллу дали ключ для про-

---

**[344] Примечания: 344**

*…прямо Призраки Былого Непотребства.* — Аллюзия на Призрака Былого Рождества из «Рождественской песни» Ч. Диккенса.

езда на стоянку?

— И ты сказал, что нет.

— Я сказал, что нет. Это был просто намек, ты же понимаешь. Но его хватило.

— Да, не следовало недооценивать Уолли. Значит…

— Из-за этой истории с оперой Пауэлл к нам все время приходит, а если засиживается допоздна, то остается ночевать. В комнате для гостей. Я не знал, что он ею пользовался в мое отсутствие.

— Да, Пауэлл — большой любитель попользоваться.

— Похоже на то.

— А теперь ты сказал Марии? В смысле, что ты бесплоден?

— Да — когда она сказала, что беременна. Мне показалось, она не так уж и счастлива, но я решил, что она просто стесняется. И наверно, у меня был дико ошарашенный вид — это еще мягко сказано — и я не мог выговорить ни слова. Мария спросила, что не так. И я ей сказал.

— И?..

— Прошло несколько минут, и все это время намек Кроттеля вроде как рос, разбухал у меня в голове, и наконец я все выложил. Так прямо и ляпнул: «Это от Пауэлла?» А она не сказала ни

слова.

— Очень не похоже на Марию. Чтобы она не нашла что сказать?

— Она только закрыла рот и стала на меня смотреть. Я никогда не видел у нее такого лица. Очень большие глаза и плотно сжатые губы. Но она улыбалась. Этого хватило, чтобы я взбесился.

— А чего ты ждал? Чтобы она пала на колени и омыла слезами твои сшитые на заказ туфли, а потом вытерла их своими волосами? Дорогой, ты плохо знаешь собственную жену.

— Ты чертовски прав. Совсем не знаю. Но это меня взбесило, и я бесился все сильнее, а она только улыбалась этой чертовой улыбочкой и упорно молчала. Наконец я сказал, что молчание — знак согласия. А она ответила: «Ну, если ты так хочешь думать, то да». И все.

— И с тех пор вы не разговаривали?

— Симон, мы не дикари. Конечно, мы разговариваем. Очень вежливо, на нейтральные темы. Но это ад, и я не знаю, что делать.

— И ты пришел ко мне за советом. Весьма разумно.

— Ты отвратительно самодоволен.

— Неправда. Не забывай, мне в жизни приходилось разбираться с такими делами. Так что,

начнем?

— Ну, если хочешь.

— Нет-нет: только если *ты* хочешь.

— Ну хорошо.

— Так. Во-первых, имей в виду: я прекрасно понимаю, что тебе больно. Когда тебе заявляют, что ты не в полной мере мужчина, — это невесело. Но ты не первый. Взять хоть Джорджа Вашингтона. По-видимому, еще одна жертва свинки. Записной дамский угодник, а вот детей у него не было. Но все же он прожил жизнь не совсем зря. Отец отечества и все такое.

— Не остри.

— Даже не думал об этом. Но вставать в трагическую позу я тоже не буду. Способность зачинать детей — важное биологическое качество мужчины, но с развитием цивилизации на передний план выходят другие, по меньшей мере столь же важные качества. Ты не какой-нибудь кочевник-пастух или средневековый крестьянин, для которого дети — нечто вроде примитивной системы социальной защиты. Всю эту бодягу с зачатием сильно переоценивают. В природе производить потомство умеют все, и человек далеко не чемпион. Если бы не свинка, ты бы выстреливал по нескольку миллионов живых спермиев

зараз, и один из них, может быть, попал бы в цель. Но любимому жеребцу твоей кузины Малютки Чарли ты и в подметки не годишься — он производит в среднем десять миллиардов потенциальных маленьких жеребят каждый раз, как покрывает кобылу. В этом его предназначение. Впрочем, настоящий чемпион в этом — кабан: восемьдесят пять миллиардов — а потом он забывает о своей самке и невозмутимо трусит прочь в поисках желудей, а она продолжает валяться в грязи. Но Человек, гордый Человек — нечто совершенно иное. Даже у самого жалкого человека есть душа, то есть живое сознание своего «я», а ты, Артур, человек незаурядный. К сожалению, человек также и единственное существо, которое сделало из секса хобби и фетиш. Кровать — это великая игровая площадка мира сего. А теперь слушай…

— Я слушаю.

— Ты пришел ко мне как к священнику, верно? Ты надо мной шутил и называл меня аббатом Даркуром. Ручной клирик. Ученый-богослов у тебя на жалованье. Я англиканский священник, и даже Римско-католическая церковь наконец признала, что мое священство не хуже любого другого. Когда я венчал вас с Марией, у тебя слу-

чился приступ ортодоксии и ты хотел, чтобы все было строго как положено. Ну так будь и сейчас ортодоксален. Может быть, Бог уготовал для тебя какое-то другое занятие — и это важнее, чем делать детей. Пускай их делают любители, ходоки, которые ничего другого не умеют. А ты лучше спроси Бога, чего Он от тебя хочет.

— Вот только не надо читать мне проповеди. И совершенно напрасно ты тащишь в эту историю Бога.

— Дурак ты! Думаешь, у меня хватило бы могущества вытащить Его из этой истории? Или откуда бы то ни было еще? Ну хорошо, раз ты такой глупый, можешь не говорить «Бог». В любом случае это слово — лишь обозначение. Говори «Судьба», или «Предопределение», или «Кисмет», или «Жизненная сила», или «Оно», да называй его как хочешь, только не делай вид, что его не существует! И что бы ты ни делал, это «Называй-как-хочешь» вершит часть — очень крохотную часть — своего замысла через тебя, и как бы ты ни притворялся, что живешь свою собственную жизнь под диктовку своего разума, это полная чушь, самообман для идиотов.

— Значит, о свободе воли можно забыть?

— О да. У тебя есть свобода делать то, что велит

«Называй-как-хочешь», и свобода выполнить его повеление хорошо — или из рук вон плохо, как тебе будет угодно. Короче, свобода играть теми картами, которые тебе розданы.

— Опять проповедуешь!

— И буду проповедовать! Не думай, что сможешь вывернуться. Если ты не спросишь Бога — это мой профессиональный термин для обозначения той силы, о которой мы говорим, — если ты не спросишь Его, чего Он от тебя хочет, Он сам тебе объяснит, совершенно недвусмысленно, а если ты не послушаешь, то тебе будет так плохо, что теперешнее горе покажется детской истерикой из-за конфетки. Тебе нравилось быть ортодоксальным, когда это выглядело красиво. Сейчас это совсем некрасиво, и я советую тебе помнить, что ты мужчина, а не воображать себя конкурентом жеребца Малютки Чарли или какого-нибудь кабана, который кончит свои дни дежурным блюдом в баварском ресторане.

— Так что мне делать?

— Примирись со своим горем и хорошенько, внимательно пересчитай свои удачи.

— Проглотить неверность, измену? Измену Марии, которую я люблю больше жизни?

— Чушь! Люди так говорят, но это чушь. Боль-

ше всего на свете ты любишь Артура Корниша, потому что именно его вручил тебе Бог и о нем велел заботиться как следует. Если ты не будешь любить Артура Корниша истинной, глубокой любовью, ты не годишься в мужья Марии. Она ведь тоже живая душа, а не просто филиал твоей, как какой-нибудь филиал твоего Корниш-треста. Может быть, у нее есть своя судьба и этой судьбе нужен факт, который ты называешь неверностью. Ты когда-нибудь думал об этом? Артур, я серьезно. Твоей первой и главной заботой должен быть Артур Корниш. Твоя ценность для Марии и всего остального мира зависит от того, как ты будешь обращаться с Артуром.

— Мария украсила Артура Корниша рогами.

— Тогда решайся, у тебя два выхода. Первый: ты избиваешь Пауэлла — может быть, убиваешь его — и тем создаешь такое количество несчастья, которого хватит на несколько поколений. Второй: ты берешь пример с героя той самой оперы, из-за которой все получилось, и становишься Великодушным Рогоносцем. К чему это приведет, знает только Бог, но в истории великого Артура Британского это помогло создать духовный капитал, которым уже много веков живет лучшая часть человечества.

Артур молчал. Даркур опять подошел к окну и посмотрел, какая на улице погода, — солнце уже сменилось унылым осенним дождем. Подобные паузы кажутся длинными тому, кто их держит, но на самом деле прошло не больше четырех-пяти минут.

— Почему она так странно улыбалась? — спросил наконец Артур.

— Когда женщины так улыбаются, этим не следует пренебрегать, — ответил Даркур. — Это значит, что они ушли очень глубоко в себя, погрузились намного глубже уровня повседневности, в безжалостный ум Природы, которая видит правду, но не обязательно открывает все, что видит.

— А что же она видит?

— Надо полагать, она видит, что собирается родить этого ребенка независимо от твоего мнения по этому поводу и заботиться о нем, даже если из-за этого ей придется расстаться с тобой, потому что эту работу поручило ей «Называй-как-хочешь» и она знает, что приказ надо выполнять. Она знает, что в следующие пять-шесть лет это будет ее ребенок — в той мере, в какой он никогда не будет ребенком ни одного мужчины. Потом мужчины, конечно, поставят на нем свою печать — но только на поверхности, а воск, принимаю-

щий форму печати, все равно сотворен матерью. Мария улыбается, потому что знает свои намерения, и еще она смеется над тобой, потому что ты — не знаешь.

— Так что мне с ней делать? — спросил Артур.

— Веди себя так, словно по-настоящему ее любишь. Что она делала, когда ты последний раз ее видел?

— Не очень похоже на самодостаточного индивидуума, честно говоря. Расставалась со своим завтраком, склонившись над унитазом.

— Очень хорошо и правильно, так и подобает молодой матери. Ну так вот мой совет: люби ее и оставь в покое.

— Может, предложить ей зайти к тебе?

— Не вздумай! Но она придет — либо ко мне, либо к своей матери, и я готов биться об заклад, что она выберет меня. Мы с ее матерью более или менее коллеги, но я с виду цивилизованней, а Марию все еще сильно тянет к цивилизации.

## 3

Даркур не привык к тому, чтобы его развлекали женщины; точнее, к тому, чтобы женщины водили его в рестораны и платили по счету. Он знал, что это смешно: несомненно, счет за сегодняш-

ний прекрасный ужин доктор Гунилла Даль-Сут предъявит Корниш-тресту. Доктор поглощала еду быстро и эффективно, а вот Даркур относился к категории терпеливых, неторопливых жевунов. Но все равно доктор в роли хозяйки была совершенно другим человеком, разительно отличным от строптивой гостьи на артуровском ужине. Она была внимательна, добра, прекрасно вела беседу, но не отличалась особой женственностью. Если в двух словах, подумал Даркур, она держится как свой парень. Но она проявила себя необычной собеседницей.

— Какие грехи вы хотели бы совершить? — спросила она.

— Почему вы спрашиваете?

— Это ключ к характеру, а я хочу узнать вас получше. Конечно, вы священник, поэтому, надо думать, изо всех сил изгоняете греховные мысли. Но я уверена, что они у вас бывают. Как у всех. Какие же? О сексе? Вы не женаты. Может быть, мужчины?

— О нет. Я очень люблю женщин. У меня много друзей-женщин, но зов плоти меня не мучает, если вы об этом. Во всяком случае, не часто. Если бы Дон Жуан был университетским преподавателем, заместителем декана своего колледжа,

секретарем крупного благотворительного фонда и писателем-биографом, он не снискал бы славы великого соблазнителя. Для любовных побед нужна куча свободного времени, даже не сомневайтесь. И большая целеустремленность. Думаю, когда Дон Жуан не шел по следу очередной женщины, он был довольно скучным собеседником.

— Фрейдисты думают, что Дон Жуан на самом деле ненавидел женщин.

— Тогда у него это очень странно проявлялось. Мне трудно представить себе секс с человеком, которого ненавидишь.

— Иногда не догадываешься, что ненавидишь человека, пока не попробуешь его в деле. Я выражаюсь идиоматически, а не по́шло. Надеюсь, вы понимаете.

— О, конечно.

— Я тоже однажды была замужем. Меньше недели. Фу!

— Мои соболезнования.

— Почему? На ошибках учатся. Я научилась быстро. Решила, что быть фру Бергграв — не мое призвание. Так что — развод, и я вернулась к своей жизни и своему собственному имени. Которым, кстати говоря, я очень горжусь.

— Конечно-конечно.

— Здесь многие смеются, когда его слышат.

— Некоторые имена плохо поддаются переносу на другую почву.

— Сут — очень почтенный род в Норвегии, откуда происходят мои Суты. В прошлом веке жил один очень хороший художник, носивший эту фамилию.

— В самом деле?

— Над моей фамилией могут смеяться только люди, которые мало бывали в свете.

— Да-да.

— Такие, как профессор Рейвен. Она ваш большой друг?

— Я ее хорошо знаю.

— Глупая женщина. Вы знаете, что она мне телефонировала?

— По поводу либретто?

— Нет, по поводу Хюльды Шнакенбург. Она говорила какую-то ерунду, но ясно было — она думает, что я себя очень нехорошо веду с этой девочкой.

— Да, я в курсе. А вы действительно себя нехорошо ведете?

— Конечно нет! Но я пытаюсь выманить ее обратно в жизнь. До сих пор она вела жизнь… как это сказать?

— Полную лишений?

— Да, именно. Без доброты. Без нежности. Я уж не говорю — любви. Ужасные родители.

— Я их видел.

— Истинные последователи кота Мурра.

— Никогда не думал о нем как о вероучителе.

— О, вы о нем не слыхали. Он — творение нашего Э. Т. А. Гофмана. Кот. Его философское кредо — «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?» Это религия миллионов.

— Воистину.

— Хюльда — человек искусства. Насколько велик ее талант — кто знает? Но, безусловно, она творец. Кот Мурр — враг истинного искусства, религии, науки, всего сколько-нибудь важного. Коту Мурру нужна прежде всего определенность, а все великое произрастает на поле битвы меж истиной и ошибками. *'Raus mit Kater Murr!*[345] — так говорит теперь Хюльда. Если я с ней немножко играю — вы меня понимаете? — то лишь ради посрамления кота Мурра.

— Только ради этого?

— О, вы хитрец! Нет, не только. Мне это очень приятно, и ей тоже.

---

**[345] Примечания: 345**
Долой кота Мурра! *(нем.)*

— Я вас не обвиняю.

— Но вы очень умны. Вы перевели разговор с грехов, которые хотели бы совершить сами, на грехи, в которых меня обвиняет эта глупая провинциальная женщина. С Хюльдой все будет хорошо. Как это она говорит? О'кей. С ней все будет о'кей.

— Наверно, чуть лучше, чем просто о'кей?

— О, но вы понимаете. У нее очень плохо с языком. Она говорит ужасные вещи. Например, что она «олицетворяет себя» с каким-нибудь персонажем. Или что она «дубютирует» этой оперой. Она имеет в виду «дебютировать» и к тому же употребляет это слово неправильно. Но она не дура и не вульгарна. Просто не обращает внимания на язык. Для нее в языке нет загадки, нет обертонов.

— Я знаю. В обществе таких людей мы с вами чувствуем себя замшелыми, нудными грамматиками.

— Но она не может быть творцом в музыке и хулиганкой в речи. Вот вы уважаете язык.

— Да.

— Я поняла по тому, что вы сделали с либретто. Оно очень хорошо.

— Спасибо.

— Эта глупая женщина вам не помогает?

— До сих пор не помогала.

— Наверно, она вспоминает обо мне и у нее пересыхает перо. И этот красивый глупец, профессор Холлиер, — он слишком ученый, чтобы быть хоть капельку поэтом. Но то, что вы дали Хюльде, — вполне приличная поэзия.

— Нет-нет, вы мне льстите.

— Нет, не льщу. Но я хочу знать — это все ваше?

— А чье же еще?

— Это может быть пастиш. Я как раз только что убедила Хюльду не говорить «писташ». Если так, это первоклассный пастиш. Но пастиш чего?

— Послушайте, доктор Даль-Сут, вы чересчур настойчивы. Вы меня обвиняете в плагиате. А если я вас обвиню в краже музыкальных идей?

— Я буду с негодованием отрицать. Но вы слишком умны, чтобы обмануться, и знаете, что многие музыканты заимствуют идеи, видоизменяют их и обычно лишь самые проницательные музыкальные критики могут догадаться, что произошло. Потому что чужая музыка проходит через собственный творческий желудок композитора и выходит в совершенно другом виде. Знаете старую историю про Генделя? Его кто-то

обвинил в краже мелодии у другого композитора. А он пожал плечами и ответил: «Да, но что он с ней сделал?» Где вы проводите границу между плагиатом и влиянием? Когда в музыке Гофмана звучат отголоски Моцарта, как с ним иногда случается, — это не кража, а дань великому таланту. Так что, на вас кто-нибудь влиял?

— Если мы собираемся это обсуждать, я настаиваю, чтобы мы перешли на «ты» и я мог звать вас Ниллой.

— Я почту за честь. И буду называть тебя Симоном.

— Ну что ж, Нилла, меня очень обижает твое предположение, что я не поэт, притом что я, несомненно, поставляю стихи.

— Пусть обижает, но это правда.

— Из этого следует, что я жульничаю.

— Все творцы — дети Гермеса, верховного жулика.

— Позволь мне ответить на твой первый вопрос: какие грехи я хотел бы совершить. Так уж и быть, признаюсь: я самую малость склонен к подлогу, мистификации. Мне ужасно хочется подсунуть что-то не стопроцентно аутентичное, не совсем подлинное в мир, где от любой неподлинности шарахаются в священном ужасе.

Именно таков мир искусства. Критики, которые сами ничего не порождают, так ополчаются на пойманных за руку обманщиков! Кстати сказать, человек, чью биографию я пишу и чьи деньги стоят за Фондом Корниша, однажды разоблачил обманщика — подделывателя картин: все его преступление состояло в том, что он выдал шедевр своей кисти за работу другого художника, давно умершего. Уж наверно, это не самое ужасное преступление?

— Значит, ты жулик? Ты очень интересный человек. Я тебя не выдам. Вот: мы пьем за твою тайну.

Доктор взяла бокал в правую руку, а левую продела в изгиб правой руки Даркура, согнутой в локте. Оба подняли бокалы и осушили их.

— За тайну, — сказал Даркур.

— Так кого же ты обкрадываешь?

— А кого бы ты обворовала, если бы работала над этим либретто? Поэта, конечно, но не очень известного. Обязательно современника Гофмана и родственную ему душу, а то законченное целое будет фальшивить. И еще тебе придется перемежать стихи этого поэта строками собственного сочинения, но в том же духе, потому что никто ведь не написал либретто про короля Артура

просто так, на всякий случай, поэтому не стоит ждать, что где-нибудь вдруг отыщется готовое. А в результате получится…

— Пастиш!

— Да, а искусство будет состоять в том, чтобы заделать швы, чтобы никто не заметил и не обличил все творение как…

— …писташ! О Симон, какой ты умный! Мы с тобой будем большими друзьями!

— Давай за это выпьем, — сказал Даркур.

Они снова сцепили руки и выпили. Люди, сидящие за соседним столиком, откровенно пялились, но доктор пронзила их ледяным взглядом, и они поспешно склонились над тарелками.

— Ну, так кто же это?

— Не скажу. Я не боюсь, что ты проболтаешься, просто для меня очень важно, чтобы никто больше не знал, и если я проиграю в этом, то проиграю все. К тому же его имя тебе наверняка ни о чем не скажет. Его стихи давно вышли из моды.

— Но они хороши. Когда Мордред замышляет убийство Артура, он у тебя говорит:

*Пусть обопрется он*
*На жизнь свою:*
*На хрупкий промежуток*

*Меж нами и Ничем.*
*На скользкой почве*
*Своего дыханья*
*Рисует он бесцветные мечты*
*И наблюдает стылые надежды.*

Я похолодела, когда это читала.

— Хорошо. А ты видишь, как это ложится на музыку Шнак? Подлинный Гофман сливается с моим настоящим поэтом, и при некотором везении мы создадим нечто подлинно прекрасное.

— Мне очень хотелось бы знать, кто твой поэт.

— Тогда ищи его. Он не то чтобы совершенно неизвестен. Просто чуть в стороне от проторенной тропы.

— Он — этот Вальтер Скотт, о котором говорил Пауэлл?

— Все лучшее у Скотта уже давно использовали, а не лучшее и воровать не стоит.

— Но конечно же тебя разоблачат, когда опера выйдет.

— Не сразу. Может быть, далеко не сразу. Часто ли зрители прислушиваются к либретто? Слова пролетают мимо, они — лишь предлог для музыки и абрис сюжета.

— Ты изменил сюжет, который тогда переска-

зал нам Пауэлл?

— Не сильно. Я его подтянул и укрепил. Опере нужен хороший, крепкий сюжет.

— А музыка должна поднять его в воздух и оживить.

— Ммм… Только не в эпоху Гофмана. В его собственных операх и в тех, что ему нравились, сначала идет кусок сюжета — как правило, на очень простую мелодию, почти речитативом, — а потом действие останавливается, чтобы певцы могли разразиться роскошными ариями о своих чувствах. Именно чувства, а не сюжет составляют оперу. Большинство оперных сюжетов, даже после Вагнера, просты до омерзения.

— Просты и немногочисленны.

— Поразительно немногочисленны, как их ни приукрашивай.

— Кто-то говорил, что во всей литературе не наберется больше девяти сюжетов.

— Он с тем же успехом мог бы сказать «во всей жизни». Удивительно — и очень полезно для излечения от гордыни — думать о том, как мы ходим древними тропами, не узнавая их. Человечество потрясающе эгоцентрично.

— К счастью для него. Симон, не ругай человечество за жалкие крохи индивидуализма. Ты

совсем как эта женщина, Мария Корниш, с ее воском и печатью. А она каким путем идет? Как ты думаешь?

— Откуда мне знать, пока ее история не завершилась? А когда это случится, меня, скорее всего, уже не будет на свете и я не смогу высказать свое мнение.

— Она меня очень интересует. Нет, не в этом смысле. Я вовсе не хочу разбивать ее брак, хотя она прекрасна. Но кто-нибудь его разобьет.

— Думаешь?

— Этот муж ей совершенно не подходит.

— Я бы не сказал.

— Да. Он холодная рыба. В нем нет ни капли чувств.

— Ага, Нилла, теперь я вижу тебя насквозь. Ты хочешь, чтобы я начал тебе противоречить и выложил все, что знаю про Артура. Но я скажу только одно: ты ошибаешься.

— Ты удивительно хорошо хранишь тайны.

— Это моя работа, иначе какой же я священник.

— Ну хорошо. Не говори. Но эта женщина — совсем другой коленкор, чем Артур Корниш, у которого за душой ничего, кроме денег, тщательно продуманных планов и кота Мурра.

— Ты права насчет нее. Но не права насчет него. Как раз сейчас он со всех ног улепетывает от кота Мурра.

— Да ну? Значит, он женился на Марии, чтобы сбежать от кота Мурра? Но ты проговорился. Эта женщина — не канадка.

— Нет, канадка. Кто угодно может быть канадцем. Это один из наших немногочисленных даров. Понимаешь, каждый из нас привозит с собой в Канаду что-то свое, и нескольких лет недостаточно, чтобы это стереть. Даже нескольких поколений недостаточно. Но я вижу, что тебя снедает любопытство, а гостю подобает быть вежливым, так что я все же кое-чем с тобой поделюсь. Мария наполовину полька, а на другую половину — венгерская цыганка.

— Вот это крепкий настой! Цыганка, значит?

— Если бы ты видела ее мать, ты бы не усомнилась. Мария этого ни за что не признает, но она очень похожа на мать. И Артур хорошо относится к матери своей жены. Умный человек не возьмет в жены женщину, мать которой ему неприятна.

— И эта мать еще жива? Она здесь? Я хочу с ней познакомиться. Обожаю цыган.

— Собственно говоря, почему бы и нет. Но не думай, что она тебе непременно понравится.

Мамуся за милю чует покровительственное отношение и обойдется с тобой коротко. Она, если пользоваться лексиконом Шнак, старая стерва. И мудра, как змея.

— Ага, вот теперь ты заговорил! А Мария — молодая стерва, как бы она ни притворялась любезной женой богача и синим чулком. Ты проболтался, отец Даркур!

— Все потому, что вино уж очень хорошее. Но я рассказал тебе только то, что и так все знают.

— Так давай выкладывай, что там с Артуром?

— Артур — способный финансист, председатель правления огромной финансовой империи и человек, подлинно любящий искусство. Щедрый человек.

— И хлюпик? Ботан? Видишь, я тоже набралась лексикона у Хюльды.

— Нет, он вовсе не хлюпик и никакой не ботан, и у Хюльды нет подходящих для него слов. А что он такое — тебе придется выяснить самой.

— Но что за сюжет плетут он и его жена? Который из девяти? Скажи, а то я ведь могу тебя и треснуть!

— Не затевай драку в ресторане, а то нас выкинут. И это будет совершенно не по-канадски. Я, кажется, разнюхал их сюжет, но тебе не скажу,

даже не надейся. Ты умная женщина; догадайся сама.

— Непременно, и вот тогда, скорее всего, я тебя тресну. Или поцелую. Для мужчины ты неплохо пахнешь. Но ты хотя бы отведешь меня к матери этой твоей Марии?

— Если хочешь.

— Хочу.

— Ты и сама старая стерва, Нилла.

— Не такая уж старая. Но, безусловно, стерва.

— Мне нравятся грубые женщины.

— Хорошо. Выпьем коньяку?

— Думаю, арманьяку, если ты не против. Он больше подходит стервам.

## 4

Даркур не сомневался: Мария что-то затеяла. А то с чего бы она вдруг заявилась к нему среди бела дня, в половине пятого, делая вид, что просто шла мимо и решила выпить с ним чаю? Она прекрасно знала, что Даркур не увлекается светскими файв-о-клоками и для него это будет целое дело — найти чайник, раскопать завалявшиеся остатки чая и вскипятить воду на плитке. Даркур прекрасно знал, что если Марии хочется выпить чаю, ее с радостью встретят в общей гостиной ее

старого колледжа, где чай всегда в изобилии. Оба знали, что Мария пришла поговорить про свою измену. Но она явно не собиралась играть кающуюся Магдалину. На ней был красный брючный костюм, волосы повязаны красным платочком. Она улыбалась, встряхивала волосами и закатывала глаза — Даркур раньше не замечал у нее такой манеры. Она пришла не исповедоваться и каяться, но бросить вызов и защищаться.

— Артур у тебя был, — сказала она после нескольких фраз ни о чем — оба не скрывали, что это лишь дань условности, ничего не значащая прелюдия к настоящему разговору.

— Он тебе сказал?

— Нет, но я догадалась. Бедный Артур сейчас в ужасном состоянии, а в таких случаях ты — его неизменное прибежище.

— Он был расстроен.

— И ты его утешил?

— Нет. Это было бы неуместно. Артур не из тех, кого можно утешить конфеткой, а утешения, как правило, большего и не стоят.

— Значит, ты все знаешь?

— Никоим образом. Я знаю то, что он мне рассказал.

— И собираешься меня отчитать?

— Нет.

— И хорошо. Я сейчас не в настроении слушать, как меня отчитывают.

— Тогда зачем ты пришла?

— А что, нельзя уже зайти к старому другу на чашку чая?

— Слушай, Мария, не валяй дурака. Если ты хочешь поговорить о нынешнем положении дел, я к твоим услугам. Но я вовсе не сторож твоей совести, знаешь ли.

— Но ты думаешь, что я поступила плохо.

— Не объясняй мне, что я думаю. Если хочешь, расскажи, что думаешь ты.

— Откуда мне было знать, что Артур бесплоден? Он мне не сказал.

— А это что-нибудь изменило бы?

— Ты просто не понимаешь, что случилось.

— В таких вещах никто в точности не понимает, что случилось, кроме непосредственных участников, а они не всегда способны объяснить.

— Значит, это ты знаешь?

— Да, я кое-что знаю о жизни. Немного, но кое-что. Я знаю, что иногда друг семьи подбрасывает кукушонка в гнездо и что это очень древняя история. И еще я знаю: когда ты вот так встряхиваешь волосами и закатываешь глаза, словно пони из

конюшни Малютки Чарли, это значит — ты думаешь, что кто-то обошелся с тобой плохо. Кто, Артур?

— Он от меня скрыл.

— Он страдал и стыдился, и ты должна была бы это понять. Он бы сказал тебе в свое время. А как много ты скрыла от него?

— Да, кое-что скрыла. Подходящий момент не подворачивался.

— Мария, что за семью построили вы с Артуром? Подходящий момент можно организовать.

— Подходящий для того, чтобы приползти на коленях, рыдая, и чтобы меня простили. Я не потерплю, чтобы меня прощали.

— Ты сделала то, что сделала, и за это нужно заплатить определенную цену. Принятие чужого прощения может быть частью этой цены.

— Значит, я не буду ее платить.

— Ты готова скорее разрушить свой брак?

— До этого не дойдет.

— Судя по тому, что я знаю об Артуре, — наверно, не дойдет.

— Он меня простит, и до конца нашей совместной жизни счет в нашем браке будет один — ноль не в мою пользу. А я этого не потерплю. Я не собираюсь в течение многих лет отвечать

«да, дорогой» по всем важным вопросам только потому, что за мной долг, с которым я не могу расплатиться. У меня будет ребенок — это ты, надо полагать, знаешь. И каждый раз, когда он нашалит или не оправдает ожиданий, Артур будет вздыхать, закатывать глаза и вообще проявлять чудесное великодушие, черт побери все на свете!

— Ты думаешь, что он будет так делать?

— Я не знаю, что он будет делать, но именно этого я не потерплю.

— У тебя дьявольская гордость, ты знаешь?

— Надо полагать.

— Ты не можешь ошибаться. Мария должна быть всегда права. Ну хорошо. Живи так, если не можешь по-другому. Но честное слово, гораздо проще и удобнее быть человеком, который имеет право на ошибку.

— Удобнее! Ты говоришь, как кот Мурр. Ты знаешь, кто такой кот Мурр?

— Что меня все всё время об этом спрашивают? Ты же сама мне о нем рассказала.

— Верно. Извини. Но с тех пор я дочитала этот поразительный роман, и мне кажется, что кот Мурр пробрался в мою жизнь и корежит ее. Кот Мурр и его омерзительная уютная философия слишком подходят к моему браку.

— Ага.

— Я тебя умоляю, не говори «ага», как будто тебе все ясно. Ты ничего не понимаешь в браке. Я думала, что счастлива. Потом я узнала, чем может быть счастье. Для меня оно означало — стать меньше себя самой и меньше чем женщиной. Знаешь, как говорят феминистки? Счастливая жена — перебежчица в войне за женское равноправие.

— В самом деле? Но о каком счастье ты говоришь? Счастье — непростая вещь.

— Мне уже начало казаться, что оно — именно то, что о нем говорит кот Мурр, уютное местечко, где можно быть полностью довольным собой.

— Ну, для очень многих людей это так и есть. Но не для тебя. И не для Артура, — можно подумать, ты этого не знаешь. Ты недооцениваешь своего мужа.

— Я его недооцениваю? Ну так он недооценивает меня! Всё эти чертовы деньги! Они отрезали меня от всего, чем я была, и от всего, чем я хочу быть.

— А именно?

— Я хочу быть Марией, кто бы она ни была! Но в этом браке я не выясню, кто она такая, потому что, куда я ни ткнусь, я не Мария: я миссис Артур

Корниш, богачка и синий чулок, точнее — сильно выцветший чулок, потому что миссис Артур Корниш только и делает, что горбатится на этот сраный Фонд Корниша, раздает деньги людям, желающим сделать тысячи вещей, которые меня совершенно не интересуют. Я все отдала этому фонду, и теперь меня больше нет!

— Ну, я надеюсь, что-то от тебя все-таки осталось. А что у вас с Артуром?

— Он стал очень странный. Чудовищно внимательный и заботливый.

— И теперь ты знаешь почему.

— Из-за этой свинки? Ну почему вдруг свинка? Какая-то ерунда, а потом оказывается такая гадость.

— Ну, можешь называть ее двусторонним орхитом, если тебе нужно более торжественное название. Лично мне больше нравится «свинка», потому что это слово намекает на капризы и плохое настроение. Именно то, что сейчас происходит с Артуром. Он недоволен собой, у него плохое настроение, и как раз поэтому он старается быть с тобой вдвойне вежливым, чтобы компенсировать то, что ты вышла замуж за пустышку. Он считает себя слабаком и хлюпиком и жалеет тебя. Он знает, что с возрастом его яйца

сморщатся и высохнут и для него это будет совсем невесело. Он боялся тебя потерять, а сейчас он думает, что это уже случилось. Это случилось?

— Как ты можешь такое спрашивать?

— А как я могу не спрашивать? Совершенно очевидно, ты спала с кем-то, кто не страдает бесплодием, и была настолько неосторожна, что забеременела.

— Господи, Симон, какой ты гадкий! Ты говоришь как типичный мужчина!

— Ну так я и есть мужчина. Ты явно считаешь, что на эту историю можно посмотреть под каким-то особым женским углом. Тогда расскажи мне, как ты ее видишь.

— Во-первых, я ни с кем не «спала». Это не была цепочка измен за спиной Артура. Только один раз. И я тебе клянусь, что это произошло как будто с совершенно незнакомым человеком: мы с Пауэллом не обменялись ни единым словом, которое могло бы к такому привести. Он мне даже не нравится. Один-единственный раз, и я залетела! Какая ирония судьбы! Должно быть, Старый Шутник животики надорвал!

— Расскажи.

— Да, да — древнюю и вечно новую быль, как поется в твоей любимой песне. Но это вовсе не

та древняя история, которую ты подозреваешь. А другая, гораздо старше — она уходит в глубь веков и, наверно, эпох, во времена, когда женщины только-только перестали быть недочеловеками, жмущимися в глубине пещеры.

— Мифическая?

— Да, клянусь Богом! Именно мифическая. Как в тех мифах, в которых бог сходит к смертной женщине. Помнишь, как-то вечером Пауэлл рассказывал сюжет оперы и там Моргана Ле Фэй пару раз появлялась переодетой и плела интриги?

— Да. Мы тогда говорили о сценическом переодевании.

— И Артур сказал, что его всегда раздражал этот прием в старинных пьесах, когда персонаж надевает плащ и шляпу и все остальные принимают его за другого. Артур тогда сказал, что переодевание невозможно. Мы узнаем людей по походке, по осанке, по тысяче неосознаваемых вещей. Еще он сказал, что спину замаскировать невозможно — ни один человек не видит себя со спины, зато все остальные его видят, и со спины человека гораздо легче узнать, чем лицом к лицу. Помнишь, что на это ответил Пауэлл?

— Что-то вроде того, что люди хотят обманываться?

— Да. Что мы сами навлекаем на себя обман, как и в тех случаях, когда смотрим выступление фокусника. Он рассказал, как однажды участвовал в концерте в сумасшедшем доме. Очень талантливый иллюзионист выбивался из сил, но ему совсем не хлопали. Почему? Потому что сумасшедшие не были его сообщниками по обману. Для них кролик, появляющийся из пустой шляпы, — в порядке вещей. А вот здоровые люди — доктора и медсестры, живущие в том же пространстве аксиом, что и фокусник, — были в восторге от его выступления. И с маскировкой то же самое. На сцене людям можно отвести глаза чисто условным переодеванием, потому что настоящий обман творят они сами, своей волей. Покажите Ланселоту и Гвиневре ведьму, и они поверят, что это ведьма, потому что в их ситуации ведьма гораздо уместней, чем Моргана Ле Фэй в лохмотьях.

— Да, я помню. Мне тогда показалось, что это довольно хлипкий аргумент.

— Но ты наверняка помнишь, что он сказал после этого? Что мы обманываемся, потому что сами хотим обмануться. Это для нас по каким-то причинам необходимо. Это — аспект судьбы.

— Кажется, помню. Пауэлл несет завораживаю-

щую кельтскую чепуху в огромных количествах, верно?

— Ты так цинично к нему относишься, потому что он потрясающе убедителен, а ты ему завидуешь. Если ты так настроен, мне незачем продолжать.

— Нет-нет, продолжай. Я обещаю на время отложить свое неверие в идеи Геранта Пауэлла.

— Да уж придется. А теперь слушай внимательно. Месяца два назад Пауэлл зашел ко мне по делу. Как ты знаешь, он сейчас заключает договоры с певцами и другими участниками постановки и перед подписанием — он очень щепетилен на этот счет — всегда показывает их Артуру или мне, если Артур в отъезде. В тот вечер Артур был в отъезде. В Монреале, он там часто бывает, и я не знала, когда он должен вернуться. Поздно ночью или на следующее утро. Мы с Пауэллом работали допоздна, а потом пошли спать.

— Прямо так, без предисловий?

— Да нет, не в том смысле, что легли вместе. Пауэлл часто ночует у нас в гостевой комнате, если задерживается в городе. А утром рано встает и сразу едет в Стратфорд. Это уже заведенный порядок и очень удобно для Пауэлла.

— Вот и Уолли Кроттель так подумал.

— К черту Уолли Кроттеля. Ну вот, я пошла к себе и заснула, а часа в два ночи вошел Артур и лег ко мне в постель.

— Я полагаю, в этом не было ничего необычного.

— Это было не совсем обычно. Понимаешь, после болезни Артур отселился в отдельную комнату и там же обычно спит, а ко мне приходит только по случаю секса. Так что я не удивилась.

— И это был Артур?

— Кто же еще? На нем был халат Артура. Ты наверняка помнишь этот халат. Я его подарила Артуру вскоре после свадьбы. Его шили по моему заказу, геральдических цветов короля Артура и с его гербом — зеленым драконом в красной короне на золотом поле. Этот халат ни с чем не спутать. Я нащупала вышитого дракона на спине. Пришедший скользнул в мою постель, распахнул халат — и вуаля.

— Все как по писаному.

— Да.

— Мария, я не верю ни единому слову.

— Но я поверила. Или очень важная часть меня поверила. Я приняла его за Артура.

— А он взял тебя, как Артур?

— Именно это мне трудно объяснить. Если к

тебе в очень темную спальню входит мужчина, и ты на ощупь узнаешь так хорошо знакомый тебе домашний халат твоего мужа, и этот мужчина доставляет тебе такое наслаждение, что все сомнения и недовольство прошедших недель развеиваются как дым, — неужели ты потребуешь, чтобы он назвался?

— Он ничего не говорил?

— Ни слова. Слова были не нужны.

— Мария, все это чертовски подозрительно. Я невеликий специалист, но у любой пары бывают какие-то привычные, ожидаемые вещи — ласки, звуки и, конечно, запахи. От него пахло Артуром?

— Я не помню.

— Ну, Мария, так не пойдет.

— Ну… и да и нет.

— Но ты не протестовала.

— Разве в такие минуты протестуют?

— Надо думать, нет. Знаешь, я, наверно, тебя понимаю.

— Спасибо, Симон. Я надеялась, что ты поймешь. Но не была уверена. Мужчины в таких вещах совершенно непредсказуемы.

— Ты же сама все сказала несколько минут назад. Эта история уходит в глубь веков и не ста-

реет. Демон-любовник. Ты рассказала Артуру?

— Как я могла, когда он весь такой выдержанный и, черт бы его побрал, святой?

— Уж постарайся. Он многое понимает — ты и не подозреваешь, сколько именно. К тому же он и сам небезупречен. Он скрыл от тебя то, что ты имела полное право знать. Устройте-ка *диван.* Ничто так не оздоравливает атмосферу, как хороший цыганский *диван*.

**5**

Есть особый род отчаяния, известный писателям, которые не могут выкроить время для собственного труда. Даркур был необычно раздражителен, потому что вообще не продвигался в работе над биографией покойного Фрэнсиса Корниша. Внезапную идею, озарившую его в гостиной княгини Амалии, нужно было развить дальше, раскопать, а он чем занимался? Отнюдь не этим, а семейными несчастьями Артура и Марии. Будучи подлинно сострадательным человеком — хотя и презирая то, что свет считает состраданием, — Даркур много думал об Артуре и Марии и, правду сказать, переживал за них. Как многие, чье ремесло — давать советы другим, Даркур никогда не исполнял собственные

предписания. Он сказал обоим друзьям, что беспокоиться и грызть себя — бессмысленно и вредно, а когда они ушли, увяз в беспокойстве за них. По идее, Даркур был в саббатическом отпуске, то есть отдыхал от университетской работы, но любой преподаватель знает, что, не уехав из университета, невозможно полностью отрешиться от своих обязанностей.

Взять, например, Пенни Рейвен. Ее, вроде бы идеальную женщину-ученого, чудо организованности и разумного подхода к жизни, повергло в полное смятение то, что происходило между Шнак и доктором Даль-Сут. Что же именно между ними происходило? «Симон, ты что-нибудь знаешь?» Даркур старался хранить терпение во время ее продолжительных звонков. «Я знаю, что доктор и Шнак работают над оперой и со страшной скоростью выдают на-гора музыку, безжалостно погоняя меня, чтобы я приносил новые и новые куски либретто или поменял что-то в написанном ранее; я захожу к ним раз в день, а то и чаще, и мы препираемся из-за кусков речитатива; я никогда не думал, что у либреттиста такая собачья жизнь. Верди по сравнению с Гуниллой показался бы ангелом. Они работают, Пенни, работают!» — «Да-да, Симон, я понимаю,

но не могут же они работать все время. Какая там атмосфера? Мне чудовищно больно думать, что бедную девочку втянули в ситуацию, с которой ей не справиться». — «С атмосферой там все в порядке; учительница направляет ученицу, но не подавляет ее, а ученица цветет, как роза, — ну, может, и не как роза, но на ней проклюнулось несколько робких бутонов. Она вымыта, накормлена и по временам даже смеется — тихим, пыльным смешком». — «Да, Симон, но как это достигается? Какой ценой?» — «Не знаю, Пенни, и, честно говоря, мне все равно, потому что это не мое дело. Я не нянька. Сходи посмотри сама, если тебя это так волнует. Кстати говоря, ты должна была писать либретто вместе со мной, но пока что совершенно ни хрена не сделала». — «Да, но у тебя так хорошо получается, а мне надо готовить огромный доклад к следующему заседанию научного общества, и, честно, у меня совсем нет времени. Но я приду в самом конце и положу несколько завершающих штрихов». — «Черта с два! Раз я пишу либретто, никто, кроме меня, не будет вносить в него завершающие штрихи. Все штрихи, которые нужны, я получаю от Ниллы, а в том, что касается английской поэзии, ее штрихи больше похожи на удары кузнечного мо-

лота». — «Ну хорошо, значит, ты отказываешься нести ответственность за юную особу, вверенную твоему попечению — во всяком случае, до определенной степени». — «Нет, Пенни, она не вверена моему попечению; если она кому и вверена, то это Уинтерсену, а от него ты не добьешься выступлений в защиту высокой морали. А если будешь и дальше совать нос не в свое дело, то не исключено, что Шнак заедет по нему кулаком. Я тебя предупредил». — «Ну что ж. Ну что ж. Но я обеспокоена и разочарована». — «Прекрасно! Продолжай в том же духе. Кстати, ты, случайно, не знаешь какого-нибудь двусложного слова, чтобы заменить „печаль“? „Печаль“ не подходит, плохо ложится на музыку: у меня тут четвертная нота, за которой следует восьмушка. Вот о таких вещах мне все время приходится думать. О, я знаю! „Скорби“! Прекрасное слово, прямо из Мэлори, и ударение на первом слоге, а потом безударный второй. Его можно спеть! Прекрасный ударный открытый слог, а за ним безударный маленький». — «Нет, Симон, это совсем не годится. Слишком архаично и театрально». — «Господи, Пенни! Оставь меня в покое, ты… критик!»

И такие диалоги повторялись все время. Пауэлл был прав. Пенни ревнует, как мокрая кошка,

потому что Гунилла взяла Шнак в… ученицы? Да, конечно, но еще и в… как это назвать? Для мужчины в таком положении существует множество слов. Тапетка, миньон, бардаш… а для женщины? Даркур не знал. Может быть, *petite amie*[346] подойдет. Хочет ли Пенни прибрать Шнак к рукам? Нет, это вовсе не ее стиль. Пенни, конечно, лесбиянка, но в материнском, удушающе-заботливом стиле, из тех, что всецело живут успехами своих миленьких деточек. В сексуальном плане она — собака на сене, сама не ест и другим не дает. Пенни просто завидовала успешному пиратскому наскоку доктора Гуниллы, ее уверенности в себе и презрению к коту Мурру.

Но каждый день, весь день, а иногда и ночью, во сне, биография Фрэнсиса Корниша не давала покоя Даркуру. Неужели его книге суждено так и остаться достойной, нудной, непримечательной жвачкой? Шпионский колорит — это неплохо, но Даркуру хотелось большего.

Все дело в той картине, «Брак в Кане». Где он видел эти лица? Точно не среди огромных пачек рисунков и набросков, которые сам же отправил в Национальную галерею. Картина, безусловно,

---

**[346] Примечания: 346**
Любовница *(фр.)*.

была замком, надежно охраняющим настоящую жизнь Фрэнсиса Корниша. Но где же ключ? Оставалось только искать его, искать, искать без устали. Но где?

Даркуру повезло, что его так радушно привечали в университетской библиотеке, где под замком лежали все остатки из битком набитых квартир Фрэнсиса Корниша, ожидая, когда до них доберутся составители каталогов. Безусловно, до этих материалов очередь дойдет не скоро, так как они именно то, чем назвал их Даркур, когда привез в библиотеку. Остатки, объедки. Все прекрасные картины, собрание канадской современной живописи, завидная коллекция современных иностранных художников, рисунки старых мастеров, редкие книги, дорогие альбомы по искусству, куча нотных рукописей (настолько беспорядочная, что не заслуживала имени коллекции) и все остальное мало-мальски ценное отправилось в галереи и в библиотеку. Несомненно, в свое время всю эту огромную массу внесут в каталоги — каталогизация обычно движется со скоростью наступающего ледника. Но осталась еще огромная куча, которую Даркур мельком просмотрел и по недостатку времени не стал исследовать подробно, — на нем лежали

обязанности исполнителя завещания, и приходилось торопиться.

Не питая особых надежд, Даркур решил просмотреть эти остатки. Он объяснил приятелю-библиотекарю, что намерен делать, и получил обещание всяческой помощи. Но именно помощи он и не хотел. Он хотел вынюхивать, он хотел совать нос в документы и ждать, не всплывет ли вдруг какой-нибудь намек на ту поразительную картину.

Сама картина была известна в мире искусства, хотя мало кто ее видел своими глазами. Конечно, многие читали статью Эйлвина Росса в «Аполло» — окончательное решение загадки. Статья вышла несколько лет назад, еще при жизни Фрэнсиса Корниша, так что он точно ее читал. Наверняка она вышла с его одобрения или, по крайней мере, с молчаливого согласия. Статья была хорошо проиллюстрирована, и картина заново поразила Даркура, когда он выкопал статью в библиотечных подшивках «Аполло». Он несколько раз перечитал элегантные пассажи Росса, подробно разъясняющие исторический смысл картины (что-то про Аугсбургское соглашение и попытки примирить Римско-католическую церковь с протестантской реформационной). Росс

делал вывод, что картина принадлежит кисти неизвестного, но весьма талантливого мастера, которого он решил называть просто Алхимическим Мастером из-за каких-то алхимических мотивов, обнаруженных им в картине.

Но эти лица! Они показались Даркуру знакомыми, когда он видел картину живьем в Нью-Йорке. На репродукциях в «Аполло» они не так притягивали взгляд, хотя репродукции были подробны и хороши. Но в оригинальном холсте есть нечто такое, чего не может передать ни одна, даже самая лучшая, репродукция. Люди на картине жили, а люди на страницах «Аполло» — нет. Эти лица! Даркур точно где-то видел по крайней мере кого-то из этих людей, а у него прекрасная память на лица. Но где?

Делать нечего, придется скрупулезно перебирать весь отвал из Корнишевой «лавки древностей», бумажку за бумажкой. Все, что привезли сюда после того, как Даркур, Клемент Холлиер и недоброй памяти покойный Эрки Маквариш выполнили свой долг и разобрали наследство покойного. Мог ли Эрки прикарманить что-нибудь важное? Вполне возможно, ибо он принадлежал к редкой, но не вымирающей породе жуликов от науки. (Даркур с болью в сердце осознал, что

и сам теперь не последний представитель этой категории, хотя, конечно, он — совсем другое дело.) Но он не имеет права предполагать, что в этой куче отсутствуют ключи к великой картине, пока не просмотрит все до единой папки и пачки. Лучше всего перерыть эту кучу, начав снизу.

Итак, облачившись в слаксы и свитер — одежду для грязной работы, — Даркур отправился в библиотеку и, после сердечного напутствия Арчи, начал снизу.

Внизу лежали бумаги, до которых еще не дотрагивались ни сам Даркур, ни Холлиер, ни Маквариш, так как они, по-видимому, не имели прямого отношения ни к коллекциям Корниша, ни к самому Корнишу. Секретаршу, которую прикомандировал к ним Артур Корниш, попросили сделать грязную работу — такова обычно участь секретарш. «Упаковать весь этот мусор...» — «А дальше что?» — «Мм... ну положите его вместе с тем, что предназначено для университетской библиотеки. Когда тамошние сотрудники дойдут до этого хлама, они сами его выкинут, но до тех пор пройдут годы. Мы торопимся закончить объемную работу, порученную нам нетерпеливым Артуром Корнишем».

Вот он, весь этот хлам, аккуратно завернутый и

перевязанный в пачки умелой рукой секретаря. Пачки предвещали долгие часы нудных поисков. Даркур почти двадцать лет пробыл приходским священником, прежде чем устроился на должность преподавателя греческого языка и смог покинуть уже нелюбимую работу. Но годы труда на приходе оставили свою печать — взявшись за первую пачку, Даркур поймал себя на том, что мурлычет какую-то мелодию.

Мелодии, которые мы напеваем себе под нос, очень важны. Они сигналят о состоянии духа, неведомом верхнему слою сознания. Даркур напевал давно любимый гимн:

*Иегова всемогущий,*
*Поддержи меня в пути,*
*Проведи меня чрез пустошь,*
*От неверья защити.*
*Пред Тобой я слаб и грешен,*
*Мой Спаситель Всеблагой.*
*Накорми, согрей, утешь мя,*
*До конца пребудь со мной.*

Прекрасная молитва. А поскольку она шла из глубины души, а не из суетливого, вечно чем-то занятого мозга, Даркур тут же получил на нее

ответ. Не может быть? Говорите, никаких ответов на молитвы не бывает? Конечно, современный ум не признает ничего подобного.

Секретарша надписала каждую пачку аккуратным, безликим почерком. Писем в этих бумагах не было, и вообще, Даркур еще раньше просмотрел все сохранившиеся письма Фрэнсиса Корниша. Но здесь были пачки газет со статьями о разных делах, связанных с миром искусства. Газеты были сложены как попало, но во многих статьях речь шла о подделках, предполагаемых или же доказанных. У Фрэнсиса была ужасная привычка — сохранять всю газету, отметив нужную статью синим карандашом, вместо того чтобы вырезать ее и поместить в картотеку, как сделал бы любой человек, уважающий своих наследников. Желтеющие газеты заполняли несколько свертков. Даркура кольнуло чувство вины — он, как биограф, обязан был просеять всю эту кучу в поисках жемчужин. Он это непременно сделает, но не сейчас. В некоторых статьях речь шла о делах или о смерти совершенно неизвестных Даркуру людей. Подозреваемые из тех времен, когда Корниш работал в контрразведке? Возможно. Ясно, что в роли шпиона Фрэнсис был неаккуратен и неметодичен. И еще в самом низу

лежали шесть больших свертков, помеченных «Фотографии. Не личные». Наверняка там нет ничего интересного. Даркур уже нашел фотографии всех людей, нужных ему для книги. Фотографы обычно ведут аккуратные картотеки, так что это было несложной, хотя и нудной, задачей. Но раз уж Даркур решил просмотреть все, он распаковал свертки, и это оказались старомодные семейные фотоальбомы.

Они были аккуратные, даже чересчур; каждая фотография заботливо подписана старомодным почерком. Ах да: это рука Фрэнсисова дедушки, а сами альбомы — дело рук и любимое хобби старого сенатора, Хэмиша Макрори. Должно быть, он не пожалел денег на эти альбомы, так как они явно были сделаны на заказ и на каждом значилось золотым тиснением (буквы не потускнели со временем, так что золото было настоящее): «Солнечные картины».

Фотографии оказались более личными, чем решила при беглом осмотре секретарша. Первые три альбома, по-видимому, запечатлели жизнь городка в Онтарио на рубеже веков: улицы, утопающие в грязи или в снегу или обожженные до трещин летним солнцем; перекошенные, словно пьяные, телефонные столбы с паутиной прово-

дов; на улицах — конные экипажи; огромные подводы, запряженные четверкой и груженные бесконечно длинными бревнами; и жители городка, одетые по тогдашней моде, — местами расплывчатые там, где объектив сенатора не успел остановить их на ходу. Были тут и сцены в лагере лесорубов, где мужчины цепями и примитивными подъемниками грузили эти самые бревна на подводы. И сами лесорубы, здоровяки с огромными бородами и большими топорами, рядом с деревьями, которые они только что повалили или распилили. И лошади, гигантские першероны, плохо ухоженные, но хорошо откормленные. Клички лошадей тоже были аккуратно вписаны в альбомы: Ромашка, Старый Ник, Леди Лорье, Томми, Большой Юстас. Эти лошади — терпеливые, надежные и сильные, как слоны, — таскали бревна из лесу. Так начиналось богатство Корнишей, подумал Даркур. С леса, хотя тогда лесопильное дело было совсем не то, что сейчас. Дальше на фотографиях были пильные ямы, в которых верхний пильщик стоял на бревне, над чудовищно огромной пилой, а нижний выглядывал из ямы. Гордились ли они, что сенатор хочет их снять? Застывшие лица не выдавали ничего, но в позах была гордость:

это люди, которые знают свое дело. Отличные фотографии. Запечатлели Канаду, ушедшую навсегда. Какой-нибудь социальный историк будет счастлив прибрать их к рукам. Но лиц, которые Даркур надеялся отыскать, тут не было.

Следующие три альбома. Эти, кажется, обещают больше. Священники в сутанах и биреттах неловко сидят у столика, на котором лежит раскрытая книга. Невысокого роста мужчина с проницательным взглядом — явно врач, судя по старомодному прямому стетоскопу и человеческому черепу у него на столе. Но что это за женщина в странном чепчике? А эта, что стоит у кухонной двери с тазиком и поварешкой? Именно эти лица искал Даркур. Неужели?..

Да, это они. Вот, в пятом альбоме! Очаровательная девушка, несомненно, мать Фрэнсиса в юности. Мужчина с очень прямой спиной — солдатская выправка и монокль в глазу. Без сомнения, это дама и одноглазый рыцарь с картины «Брак в Кане». Под фотографиями рукой сенатора было написано: «Мэри-Джим и Фрэнк, первая неделя в Блэрлогги». Это родители Фрэнсиса, но не такие, какими Даркур их знает по более поздним фотографиям: это Мэри-Джим и Фрэнк, какими их видел в детстве Фрэнсис. А

потом — вот сокровище, вот решающая деталь! — фотография красивого темноволосого юноши лет восемнадцати: «Мой внук Фрэнсис перед выпуском из Колборн-колледжа, 1929 г.»

Вот оно! Ключ наконец у Даркура в руках! Но что же Даркур? Он ликовал, вне себя от радости? Нет, он был очень спокоен, как человек, отбросивший сомнения и тревоги. Он подумал, что его терпение вознаграждено, а потом отбросил эту мысль как недостойное проявление гордыни. Остался последний альбом.

«А ты хорошее вино сберег доселе»[347]. Надпись на ленте, которая вилась из уст необычного ангела на картине, оправдалась. Даркур в полном изумлении переворачивал страницы. «Мой кучер Зейдок Хойл»: молодцеватый мужчина с солдатской выправкой, но — если всмотреться — с несчастным лицом стоит возле отличной кареты, запряженной парой гнедых. Без сомнения, это *huissier*[348] с картины, жизнерадостный человек с кнутом. А за ним — тут с Даркура слетело все спокойствие, флегматичное приятие огромной удачи — среди фотографий бородатых,

---

**[347] Примечания: 347**
*«А ты хорошее вино сберег доселе».* — Ин. 2: 10.

**[348] Примечания: 348**
Привратник, распорядитель *(фр.)*.

древних, молодых, полных сил и трясущихся от немощи жителей Блэрлогги начала века красовалась фотография карлика: он стоял перед убогой лавкой, щурясь на солнце и подобострастно ухмыляясь сенатору, местному великому человеку, который снимал его для «солнечной картины». Под фотографией было написано: «Ф. Кс. Бушар, портной». Тот самый карлик, который так гордо, прямо стоял на полотне «Брака в Кане», и — не исключено — прототип «Дурачка Гензеля».

Может быть… возможно ли… может быть, это и есть «пробуждение маленького человечка»?

Из-за перегородки высунулось доброе лицо младшей библиотекарши.

— Профессор Даркур, не желаете ли кофе?

— Клянусь Богом, желаю, — ответил тот, и она, несколько потрясенная таким эмоциональным всплеском, поставила перед ним бумажный стаканчик с жидкостью, которую персонал библиотеки — с широтой души, свойственной истинным ученым, — именовал «кофе».

Даркур поднял этот стакан едва теплой черной жижи за свою удачу. Вот он сидит, окруженный свидетельствами, раскрывающими тайну, немаловажную для мира искусства. Он, Симон Даркур, только что идентифицировал персонажей кар-

тины «Брак в Кане», тем самым доказав, что она — продукт нашего времени, утонченная загадка, повествующая о жизни самого художника. Он разрушил затейливые построения Эйлвина Росса и раз и навсегда идентифицировал Алхимического Мастера.

Это — покойный Фрэнсис Корниш.

Но Даркур думал не о сенсации, которую произведет его открытие в мире искусства. Он думал о своей книге. О биографическом труде. Книга не просто слегка приподнялась из болота скуки, как надеялся Даркур, — она обрела крылья и взлетела.

Он, как подобает ученому, аккуратно сложил альбомы стопкой на большом столе в отведенной ему нише. Никогда не оставляй за собой беспорядок. Он благословил Фрэнсиса Корниша и первую заповедь ученого: никогда ничего не выбрасывать. Завтра он вернется и сделает подробные записи.

Работая, он снова принялся напевать. На этот раз — один из метрических псалмов:

*И камень, что отвергнут был,*
*Лег во главу угла.*
*Господь то чудо сотворил,*

*Вовек Ему хвала.*[349]

## 6

Оттава в конце ноября — не то место, куда ездят ради удовольствия. По слухам, этот город — самая холодная столица в мире; в Москве по сравнению с ней всего лишь зябко. В это время здешняя природа готовится к ежегодной яростной атаке на выносливость, добродушие и находчивость местных жителей. Даркур был рад, что в Национальной галерее царит роскошное тепло. Он с поднятым воротником шмыгал из гостиницы в галерею и обратно, пытаясь защититься от ледяных ветров, дующих с реки и канала. Даркур мерз телом, но огромная радость согревала его душу. Все, что он нашел при новом, более тщательном исследовании той части коллекции, которую Фрэнсис Корниш назвал рисунками старых мастеров, подтверждало великое открытие, сделанное в университетской библиотеке.

Как все, что осталось после Фрэнсиса, многочисленные папки и конверты смешались в беспорядочную кучу, но это была куча сокровищ — важнейших и менее важных. Подборки соб-

---

**[349] Примечания: 349**

*И камень, что отвергнут был… вовек Ему хвала.* — См. примеч. 36.

ственных рисунков Фрэнсиса были аккуратно подписаны. В основном ученические этюды: неплохие, с тщательно проработанными деталями. По странной причуде художник отыскал для этой работы настоящую старую бумагу и особым образом подготовил ее к рисованию серебряным карандашом. Зачем столько труда ради простых ученических упражнений? На каждом рисунке был указан оригинал, с которого он сделан, и дата создания копии. Но в рисунках было нечто, намек — Даркур не дал ему перейти в уверенность — на то, что эти рисунки ничуть не хуже оригиналов, а иногда и лучше, пусть они и значатся копиями. Живи Фрэнсис в другом веке и имей необходимость зарабатывать себе на хлеб, он, пожалуй, преуспел бы, терпеливо создавая и продавая туристам копии понравившихся им картин. Копиист может быть весьма одарен — в техническом смысле он может быть талантливее многих художников, не снисходящих до такой работы и не имеющих к ней склонности. Но все же копиист делает всего лишь копии.

Среди документов был один коричневый конверт, который Даркур открыл последним: он предчувствовал, что искомое может оказаться именно там. Даркур хотел подразнить себя, рас-

палить почти до лихорадки, как ребенок, что приберегает один сверток из кучи рождественских подарков, надеясь, что там скрыто именно то, чего ему хочется больше всего на свете. Этот конверт, в отличие от прочих, был запечатан: клапан приклеен на место, а не просто засунут внутрь. Надпись на конверте гласила не «Рисунки старых мастеров», а «Мои рисунки в стиле старых мастеров, для Национальной галереи». Галерейное начальство, скорее всего, не позволило бы его открыть — во всяком случае, потребовало бы присутствия какого-нибудь уполномоченного представителя, чтобы дышал Даркуру в затылок. Но Даркур, уже считающий себя опытным жуликом, пробрался на кухоньку, где сотрудники галереи делали себе чай и кофе и прятали тайные запасы печенья, и попросту отпарил клапан, быстро и без лишних слов. Да, то, что он искал, было в этом конверте. Будь Даркур склонен к обморокам, он бы сейчас упал в обморок.

Здесь были предварительные наброски к «Браку в Кане»: несколько планов группировки фигур, этюды голов, рук, одежд и доспехов — и каждая голова носила сходство (хоть и не всегда полное) с кем-нибудь изображенным на «солнечных картинах» дедушки, Джеймса Игнациуса Макрори.

Впрочем, нет, не каждая: женщину, стоящую посреди центральной панели, дедушка не узнал бы, но Даркур узнал прекрасно. Это была Исмэй Глассон, жена Фрэнсиса Корниша и мать Малютки Чарли. Фигура Иуды тоже происходила не с «солнечных картин»: это был Танкред Сарацини, шаржи на которого, аккуратно подписанные, часто попадались в блокнотах Фрэнсиса. И карлик, так гордо выступающий на створке картины, так униженно держащийся на фотографии: Ф. Кс. Бушар, без сомнения. А *huissier* — это Зейдок Хойл, кучер дедушки. Чем он был так важен, почему попал на картину? Даркур надеялся когда-нибудь это узнать, но даже если и не узнает, ничего страшного.

Самыми загадочными были этюды с изображением ангела, уверенно парящего над центральной панелью — столь уверенно, что его влияние явно распространялось на все три. Вот он; один из этюдов подписан «Ф. К.». Это собственные инициалы Фрэнсиса Корниша, но ангел, несомненно, не он. Может, Корниш просто от нечего делать подписал рисунок? Или эта безумная, но неумолимо притягательная, сильная фигура — некое представление Фрэнсиса о самом себе? Неужели он так странно себя видел? Еще одна

загадка. Даркур надеялся когда-нибудь найти на нее ответ, но знал, что это не обязательно. Перед ним лежали прототипы людей, изображенных на картине «Брак в Кане»; даже если не всех их удастся отождествить со знакомыми Фрэнсиса и дедушки Макрори, это ничуть не умаляет его открытия. С легким сердцем Даркур снова заклеил конверт и покинул галерею, по дороге расточая всяческие любезности тем, кто позволил ему искать среди галерейных материалов, — эти люди предположили, что он ищет что-то связанное с биографией их покойного благотворителя, для своей книги, и были совершенно правы.

Даркуру нужно было время, чтобы освоиться со сделанным открытием — несомненно, самой большой удачей его жизни. Поэтому он вернулся в Торонто поездом, и путешествие заняло почти целый день, хотя самолетом он долетел бы меньше чем за час. Именно долгое путешествие и нужно было Даркуру. Народу в поезде было мало, и тропическая жара от батарей, перемежаемая пронзительными ноябрьскими сквозняками, была гораздо приятнее герметически замкнутой атмосферы самолета. Скудость буфета — в поезде предлагали обычные железнодорожные бутерброды — Даркур компенсировал тем, что

захватил с собой большую плитку шоколада с орехами. На коленях у него лежала книга, ибо он был из тех, кто постоянно имеет при себе книгу, как талисман. Но Даркур не читал. Он думал о своей находке. Он упивался ею. Он смотрел в окно, на безжизненный, плоский ландшафт восточного Онтарио в ноябре, на унылые городки; убогие, непривлекательные, в глазах Даркура они были подобны саду Эдемскому, а мерзнущие прохожие — Адамам и Евам. Он мысленно строил фразы; тщательно подбирал эпитеты; пресекал собственные поползновения на литературную экстравагантность. Он придумал несколько скромных способов представить свое открытие, которое должно было полностью изменить образ покойного Фрэнсиса Корниша в глазах света. Во все время путешествия Даркур был как никогда близок к неземному блаженству.

Но путешествие кончилось, и блаженство вместе с ним. По прибытии Даркура в колледж привратник сообщил, что ему звонили: он должен как можно скорее связаться с Артуром.

— Симон, я прошу тебя об очень важном одолжении. Я знаю, что ты занят, но, пожалуйста, брось все и немедленно поезжай в Стратфорд к Пауэллу.

— Чего ради?

— А ты не знаешь? Ты что, газет не читал? Он в больнице, в плохом состоянии.

— Что случилось?

— Авария, вчера ночью. Видимо, он неосторожно вел машину. Точнее, он поехал через парк, рядом с Фестивальным театром, на большой скорости и врезался в дерево.

— Машина сошла с дороги?

— Он не был на дороге. Он был в самом парке, вилял меж деревьев и орал, как дикарь. Мне сказали, что он был очень пьян. Он сильно разбился. Мы за него ужасно беспокоимся.

— Конечно. Но почему ты сам не поедешь?

— Это деликатный момент. Возможны осложнения. Оказывается, под наркозом он начал болтать, и хирург позвонил мне, чтобы я объяснил… ну и, наверно, ему интересно было, что я скажу. Пауэлл наболтал про Марию и меня, и теперь, если мы помчимся его проведать, театральный мир получит новую пищу для сплетен. Ты же знаешь этих людей. Но кто-то должен к нему поехать. Иначе будет просто неприлично. Поедешь, а? Возьми машину, конечно, это ведь связано с делами фонда. Поезжай, Симон. Ну пожалуйста!

— Конечно, я поеду, раз нужно. Только… ты

хочешь сказать, что он все разболтал?

— Очень многое. Конечно, хирург сказал, что под наркозом люди фантазируют и никто не воспринимает всерьез то, что они говорят.

— Но он воспринял это достаточно всерьез, чтобы известить тебя.

— Пока он штопал Геранта, вокруг крутились всякие ассистенты и медсестры — а ты знаешь, что такое больничные сплетни.

— Я знаю, что такое любые сплетни, если людям попадет на зубок лакомый кусочек.

— Так ты поедешь? Симон, ты настоящий друг! И позвонишь нам, как только вернешься?

— Мария беспокоится?

— Мы оба беспокоимся.

Вот это хорошо, думал Даркур, несясь в Стратфорд в наемном лимузине. Если они оба беспокоятся об одном и том же, о передряге, в которую попали с Пауэллом, это может снова свести их вместе, и тогда конец вежливым разговорам ни о чем. Даркур был настроен отчасти цинично, так как перекусил наспех, ожидая машины, и этот перекус вместе со съеденным в поезде шоколадом явно не нравился его желудку.

Несварение желудка — великий прародитель цинизма. На заднем сиденье машины, пронзаю-

щей ноябрьскую тьму, Даркур утратил сегодняшнее счастливое расположение духа. Он снова стал добряком-стариной Симоном, придворным аббатом Фонда Корниша, испытанной пожарной командой, высланной тушить огонь сплетен, к которым Артур и Мария отнеслись всерьез.

Мы живем в век сексуальной раскрепощенности, думал он. Уже никто не ожидает от людей серьезного отношения к брачному обету, никто не видит ничего особенного в прелюбодеянии, блуде и всяческой нечистоте — за исключением случаев, когда они касаются тебя самого. А в этом случае поднимается крик, от которого пробуждаются авторы колонок светских сплетен и адвокаты по бракоразводным делам, и порой доходит даже до уголовного суда. Особенно если дело касается известных людей, а Мария, Артур и Герант Пауэлл — известные люди, каждый в своем роде, и уязвимы для сплетен, как любой человек. Даркур был из старой онтарийской семьи, потомок имперских лоялистов, и порой ему на ум приходила старая лоялистская поговорка, не теряющая актуальности: «Все зависит от того, чьего быка прободали». На этот раз прободали корнишевского быка, и рану скрыть, пожалуй, не удастся.

Но все же Даркуру надо нестись в Стратфорд, чтобы залепить кровоточащее место пластырем.

Пауэлла положили в «полуотдельной» палате — это значило, что он лежал в той части палаты, которая была ближе к двери; палата была разгорожена белой занавеской, и обитатель другой половины, судя по звукам, взял напрокат больничный телевизор. Он смотрел хоккей, видимо решающий матч, на полную громкость. Ведущие в большом волнении комментировали игру и обсуждали ее важность.

— О, Сим-бах, какой ты молодец, что приехал! Как я рад тебя видеть! Попроси, пожалуйста, этого козла прикрутить свою адскую машинку!

Голова Геранта была вся в бинтах, но лицо оставалось свободным; на лице виднелись синяки, но ран Даркур не заметил. Одна рука была в гипсе, а левая нога, тоже в какой-то медицинской обертке, приподнята на подвесе, приделанном к раме кровати.

— Простите, вы бы не могли немного уменьшить громкость? Мой друг очень плохо себя чувствует, и нам с ним надо поговорить.

— А? Что вы сказали? Говорите погромче, я глуховат. Отличная игра, а? Хаттеры дают жару советской сборной! Моя любимая команда! Из

Медисин-Хат[350]! Лучшие в своей лиге. Если они выиграют этот матч, то, может, кубок все-таки нам достанется! Важная встреча, а?

— Да, но не могли бы вы сделать потише? Мой друг очень плохо себя чувствует.

— Правда? Ну ничего, это его подбодрит. Хотите, отдерните занавеску, чтоб ему было видно!

— Спасибо, вы очень добры. Но ему на самом деле плохо.

— От этого ему точно полегчает. Ого! Видели? На волосок промахнулся! Донникер сегодня в отличной форме. Он покажет этим русским, что такое защита! Ого! Смотри! УХ ТЫ!

По-видимому, ничего нельзя было сделать. Сосед Пауэлла пылал всепоглощающей страстью, и говорить с ним было бесполезно.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — спросил Даркур.

— Я нахожусь в предгорьях Ада, у входа в Расселину Скорби, — ответил Пауэлл.

Он заранее заготовил текст, подумал Даркур. Похоже, мне придется нелегко.

— Я приехал, как только узнал. Что с тобой случилось, ради бога?

---

**[350] Примечания: 350**

*Медисин-Хат* — город на юго-востоке провинции Альберта (Канада).

— Кара небесная, Сим-бах. Я все погубил и испортил! Моя жизнь лежит в руинах, и мне некого за это винить, кроме себя самого. Таково наказание за грех, и мне ничего не остается делать, кроме как смиренно проглотить его, взять на плечи свой крест, искупить вину страданием, пасть ниц пред небесным Престолом и умереть! Это семейное: мой прадедушка и мой дядя Давид оба умерли от позора и отчаяния. Отвернулись к стенке и умерли. Я пытаюсь умереть. Это самое меньшее, что я могу сделать при сложившихся обстоятельствах. О боже, моя голова!

Даркур пошел искать медсестру. Она сидела на посту в конце коридора, где сестры и практиканты сбились в кучку у крохотного телеэкрана, смотря судьбоносную игру. Но медсестра оторвалась от экрана достаточно надолго, чтобы зайти за белую занавеску к соседу Пауэлла и убавить громкость телевизора вопреки громким жалобам хоккейного фанатика, что так ему ничего не слышно. Она также по настоятельной просьбе Даркура принесла стакан алка-зельцера, бальзам на его растревоженный желудок. На несколько сниженном шумовом фоне Даркур попытался утешить Пауэлла:

— Ну, Герант, не надо так убиваться. Все могло

быть гораздо хуже. Ты не умрешь, даже не думай об этом. Врачи сказали, что недели через три ты уже будешь на ногах, но тебе надо лежать смирно и делать все, чтобы поправиться.

— Позитивное мышление! Они это все время долдонят. «Смотрите на вещи позитивно, потому что это очень способствует выздоровлению, и через несколько недель вы будете в полном порядке». А я не хочу быть в порядке! Я этого не заслуживаю! Пусть ярится буря!

— Герант, я тебя умоляю! Ты делаешь из мухи слона.

— Из мухи?! Слона?! Сим-бах, ты уязвляешь меня до глубины души. О, как у меня болит голова!

— Конечно, и будет болеть, когда ты так орешь. Говори шепотом. Я сейчас подвинусь к тебе поближе и все прекрасно услышу. А теперь расскажи, что случилось.

— Мэлори, Сим-бах. Мэлори — вот что со мной случилось. Позапрошлой ночью я читал Мэлори: он успокаивает душу, и я словно становлюсь ближе к Артуру — к королю Артуру, я имею в виду, к его двору, его великим замыслам и его бедам. Книга открылась на сцене безумия Ланселота. Знаешь ее? Наверняка; ее все знают.

— Да, помню.

— Тогда ты должен помнить и эти слова: «…он из верхнего окна выпрыгнул прямо в сад, и шипы и колючки исцарапали ему все лицо и тело, а он бросился бежать куда глаза глядят, обезумевший от своего горя. Он скрывался, блуждая, целых два года, и никто из встречавшихся ему не мог угадать в нем сэра Ланселота»[351].

— И ты последовал его примеру?

— Да, в переводе на современные реалии. Я, конечно, был слегка нетрезв и размышлял о своем бедственном положении, и чем больше я думал, тем ясней осознавал его бедственность, и вдруг я понял, что больше не могу. Я выскочил в окно — хорошо, что оно не верхнее, а, по милосердию Божьему, располагается на первом этаже. Я сел в машину и погнал как безумный не помню куда, но в конце концов оказался в этом парке, а ты знаешь, каким зловещим кажется лес ночью, и чем дальше я ехал, тем более артуровским и мэлориевским казалось мне все происходящее, и я мчался среди деревьев, мотор ревел, я выписывал зигзаги и круги — все на невероятной скорости, во мне погиб великий автогонщик… и я узрел

**[351] Примечания: 351**

*…«…он из верхнего окна выпрыгнул прямо в сад… и никто из встречавшихся ему не мог угадать в нем сэра Ланселота».* — Мэлори Т. Смерть Артура. Перев. И. Берштейн.

соразмерный павильон, что возвышался в лесу справа от меня…

— Это был парковый туалет, насколько я понимаю. Ты в него чуть не врезался.

— Черта с два туалет! Это был великий шатер, достойный короля, с реющими знаменами…

— А, значит, это был Фестивальный театр.

— Вооруженные рыцари и крестьяне сновали меж деревьев, дивясь на меня.

— Это, конечно, полиция. Уж не знаю там насчет крестьян, но свидетелей было более чем достаточно. Твою машину легко опознать.

— Не принижай мою агонию, Сим-бах! Не своди ее к банальной повседневности. Мое безумие было подлинно артуровским, ланселотовым. Потом я лишился чувств.

— Ты врезался в дерево. Ты был пьян как свинья и ездил на машине в общественном месте, подвергая опасности публику, а потом врезался в дерево. Я почитал газеты по дороге. Слушай, Герант, я не хочу преуменьшать твой темперамент или твое увлечение Мэлори, но факты остаются фактами.

— Да, но что такое факты? Я говорю не о тех фактах, которыми оперирует суд, и не о газетном вранье, но о психологических фактах. Я находил-

ся во власти великого архетипа, и мне все равно, как это выглядело в глазах окружающих. Слушай меня, слушай.

— Я слушаю, но не жди, что я начну бегать как безумный вместе с тобой. Ты должен это понять.

— Сим, милый старый друг! Из всего человечества я от тебя в первую очередь жду сочувствия и понимания. Ты очень жесток. Твой язык до того остер, что ранил бы и ветер. Сим, ты не знаешь, что я такое. Я сын служителя Божьего. Мой отец, что ныне поет роскошным басом в хоре ангелов, был известным кальвинистским, методистским священником в Уэльсе. Он вырастил меня в сознании и страхе Бога. Ты знаешь, что это значит. Ты и сам служитель Божий, хоть и епископального, обрядолюбивого толка, за что я тебя прощаю, но хоть где-то в тебе должна быть крупица подлинного знания.

— Надеюсь.

— Сим! Я так и не забыл, не бросил всего, чему меня учили в детстве, хоть жизнь и привела меня в мир искусства, — это тоже Божий мир, хотя во многих отношениях он чудовищно греховен. Я много грешил, но никогда — против искусства. Ты знаешь, что было моим падением?

— Знаю. Пьянство.

— О Сим, как это низко! Да, я время от времени пропускал капельку, чтобы утишить боль сердца, но не это было моим падением. Нет; им была плоть.

— То есть женщины?

— Не женщины, Сим. Я никогда не был неразборчив в связях. Не женщины, а Женщина, сие высочайшее воплощение Божьей славы и милосердия Божия! Через Женщину я пытался подняться и стать лучше. Но по греховности своей выбрал неверный путь. Плоть, Сим, плоть!

— Жена твоего лучшего друга?

— Последняя — и, несомненно, величайшая — из многих. Видишь ли, Сим, Господь нас искушает. И еще как. Не будем делать вид, что это не так. Иначе зачем же мы молимся «не введи нас во искушение»?

— Мы молимся, чтобы нас не подвергали испытанию.

— Да, но нас ему подвергают, и иногда это испытание чертовски тяжело. Верь мне, Сим-бах. Вот погляди: зачем Господь наделил меня байроновским темпераментом, байроновской красотой лица и байроновской неотразимостью?

— Не знаю.

— Ты не знаешь. У тебя великая душа, Сим,

великая, непоколебимая душа, но в плане физической привлекательности — ничего особенного. Я как друг говорю, без церемоний. Поэтому ты не знаешь, каково смотреть на прекраснейшую женщину и говорить себе: «Она моя, если я только захочу протянуть руку и взять ее». Ты никогда такого не ощущал?

— Честно сказать, нет.

— Вот видишь! А у меня всю жизнь так. О плоть! Плоть!

Человек, лежащий по другую сторону занавески, принялся дергать ее изо всех сил.

— Эй, а ну потише! Вы так орете, что мне тут ничего не слышно!

— Ш-ш-ш! Тихо, Сим, не повышай голос. У нас с тобой личный разговор. Можно даже назвать его исповедью, если хочешь. На чем я остановился? Ах да, плоть!

*Люби не так, как любит узник плоти.*
*Чьи сны – о ласке горькой за гроши,*
*Кто нежность девы любит без души,*
*Лишь на любовь ответную в расчете.*
*Ты любишь одного себя – в охоте*

*За славой.*[352]

Знаешь эти стихи, да? Сантаяна — а ведь кое-кто не считает его хорошим поэтом! Это точно про меня: вся моя любовь была лишь ради того, чтобы меня любили в ответ, и я был узником плоти.

Лицо Геранта было мокро от слез. Даркур чувствовал, что беседа пошла в неверном направлении, но он был мягкосердечен, а потому принялся вытирать слезы Геранта собственным носовым платком. Надо как-то ввести этот поток эмоций в приемлемое русло.

— Ты хочешь сказать, что соблазнил Марию лишь для испытания собственной власти? Твой дешевый байронизм принес великое несчастье Артуру, которого ты называешь своим другом.

— Это все опера виновата. Нечего притворяться, что она лишь постановка. Если наша опера хоть чего-то стоит, ее влияние неодолимо. А она стоит многого, я точно знаю. Это опера вновь столкнула меня с Мэлори, а Мария — которую я на самом деле люблю любовью друга, а не страстью мужчины к женщине — подлинно героиня Мэлори. Так свободна и пряма, так проста и все же так велика духом и так очаровывает. Ты ведь

---

**[352] Примечания: 352**

*Люби не так, как любит узник плоти… за славой.* — См. примеч. 85.

не мог этого не почувствовать?

— Да, я знаю, о чем ты говоришь.

— А я это почувствовал при первой же встрече. Как там у Мэлори? «Прекрасна собой и замечательно мудра»[353]. Но я не сказал с ней ни слова. Я был верен Артуру.

— Но не сохранил ему верность.

— Помнишь тот вечер, когда мы говорили о переодеваниях? Я сказал, что в особо напряженных ситуациях зритель — соучастник обмана. Он сам желает, чтобы его вера совпала с намерениями обманщика. А Мария с этим не согласилась. Что меня удивило, ведь она так хорошо знает людей Средневековья и, конечно, должна понимать: очень многое из того, что лежало в основе средневековых верований, еще живо в душах современных людей и ждет лишь нужного слова или стечения обстоятельств, чтобы пробудиться и заработать. Так мы и подпадаем под власть архетипов, и тогда наши поступки, вроде бы бессмысленные на поверхностный взгляд, имеют неодолимый, притягательный смысл, если смотреть вглубь вещей. Разве Мария может такого не знать? Никогда не поверю.

---

**[353] Примечания: 353**

*Как там у Мэлори? «Прекрасна собой и замечательно мудра».* — Мэлори Т. Смерть Артура. Перев. И. Берштейн.

— Что ж, может быть, в этом ты и прав.

— И вот настала ночь, когда Артур был в отъезде, а мы с Марией поужинали и до полуночи работали: просматривали контракты, договоры, заказы на материалы и всякие прочие бумаги, нужные для такого сложного проекта, как постановка оперы. Мы не обменялись ни одним словом, какого не могли бы сказать при Артуре. Но она на меня поглядывала время от времени, и я прочел ее взгляд. Но не ответил ей таким же. Ни разу. Если бы ответил, думаю, на том бы все и кончилось, потому что Мария поняла бы, что происходит, и положила этому конец в себе, ну и во мне, конечно.

— Надеюсь, что так.

— Потом я пошел в постель, но понял, что не могу забыть эти взгляды. И еще я не мог забыть, как смеялась благоразумная Мария над моей теорией переодевания. И я лежал и вспоминал ее взгляды. В общем, я проскользнул в спальню Артура, надел его халат, очень артуровский халат, который Мария сшила ему на заказ, когда они только поженились и шутили про Круглый стол, Блюдо изобилия и все такое, и я прикрыл наготу этим халатом и прокрался босиком в спальню к Марии, где она спала или почти спала.

Видение, Сим, видение. И так я доказал правоту своей теории.

— В самом деле? Ты можешь поклясться, что она действительно приняла тебя за Артура?

— Откуда мне знать, что она думала? Но она не сопротивлялась. Была ли она во власти заблуждения? Я — да, я точно знаю. Мною владел миф, подобный тому, какой мог бы сочинить Мэлори. Это было колдовство, чары.

— Погоди-ка, Герант. Это не Артурову королеву, а Элейну Ланселот навещал таким образом.

— Не придирайся. Ситуация была мэлориевская.

— Но Мария должна была узнать твой голос.

— О Сим, какой ты невинный! Мы не произнесли ни слова. Слова были не нужны.

— Ну, будь я проклят.

— Нет, Сим, ты не проклят. Вот я, скорее всего, проклят. Это было больше чем прелюбодеяние. Я пришел, аки тать в нощи — похититель чести. Я обманул доверие друга.

— Наверно, все-таки двух друзей?

— Не думаю. Одного друга. Артура.

— Ты ставишь Артура прежде Марии, которую ты соблазнил?

— Я знаю, что обманул Артура. Не могу сказать,

обманул ли я Марию.

— Короче говоря, если оставить в стороне тонкости, у Марии будет ребенок, и, несомненно, от тебя. Ты об этом знаешь?

— Знаю. Артур мне сказал. Он рыдал, Сим, и каждая его слеза была как капля крови из моего сердца. Я этого никогда не забуду. Лучше бы я умер.

— Хватит упиваться собственным несчастьем! Ты не умрешь, Мария родит твоего ребенка, а Артуру придется как-то проглотить эту пилюлю.

— Ты смотришь со стороны.

— Конечно. Я и стою в стороне, но я был другом Артура и Марии задолго до тебя, и мне придется приложить все силы, чтобы исправить дело.

— Неужели ты не считаешь себя и моим другом, а, Сим? Ведь я нуждаюсь в тебе не меньше, чем они двое? Я же узник плоти?

— Хватит все валить на плоть, как будто она — сам дьявол.

— А что же она такое, по-твоему? Враг Божий, Отрава Человека, одеяние ада, образ скота, Возлюбленная Грешника, убежище лицемера, Паутина Паука, Поработительница Душ, дом пропащих, дьяволово гноище.

— Боже, ты в самом деле так думаешь?

— Так думал мой отец. Помню, как он гремел с амвона. Он цитировал одного из наших валлийских поэтов-боговидцев, великого Моргана Луйда[354]. Правда, прелестно? По-моему, лучше не скажешь.

Пауэлл, чей голос впечатлял даже при нормальной громкости, уже не говорил, а декламировал, как древние барды, звучно и величаво, с чисто мильтоновской торжественностью. Сосед за занавеской орал в полный голос. Хаттеры выиграли! Непобедимый Донникер спас положение в последнюю минуту!

В палату ворвалась маленькая медсестра, ставшая как будто выше ростом от гнева и начальственного авторитета.

— Что здесь происходит? Вы что, с ума посходили? Весь этаж жалуется! У нас тут лежат по-настоящему больные люди, если вы не знаете! Ну-ка, выйдите отсюда!

Она взяла под руку Даркура, как единственного ходячего из буянов, и твердо подтолкнула его к двери. Даркур, растерянный и пораженный выходками Геранта, не сопротивлялся и позволил себя, мягко выражаясь, вывести.

---

**[354] Примечания: 354**

*Морган Луйд* (1619–1659) — валлийский пуританский проповедник, поэт и прозаик.

## 7

Даркур с нетерпением ждал рождественских каникул. Он размышлял о том, что эта осень совершенно его измотала. Действительно, каша, которую заварили Артур, Мария и Пауэлл, истощала его духовные ресурсы: он не был участником их истории, но каждый из троих считал Даркура своим наперсником и советником, а потому Даркуру приходилось выслушивать каждого из них, давать советы, а потом снова выслушивать, как эти советы отвергают. Из всей троицы Мария доставляла ему меньше всего хлопот. Ее планы были ясны: она должна родить ребенка, но для женщины умной, образованной и с достаточно незаурядной биографией, ставящей ее выше буржуазных условностей, ей понадобилось удивительно долгое время, чтобы с этим свыкнуться. Мария решила, что нанесла Артуру непоправимый вред. Артур предавался великодушию: он взял на себя роль Великодушного Рогоносца и полностью вжился в нее. Великодушие бывает совершенно невыносимым для окружающих, ибо насильственно загоняет их во вспомогательные роли, играть которые отнюдь не весело. Пауэлл же наслаждался собой, изыскивая новые ритори-

ческие обороты для выражения своего чувства вины и пробуя их на своем друге Симе каждый раз, как тот навещал его в больнице.

Все было бы гораздо проще, не будь все трое полностью искренни. Они не сомневались, что каждое их слово идет от чистого сердца, даже Пауэлл, который говорил очень много, сильно переигрывал и получал от этого большое удовольствие. Если бы они вели себя глупо, Даркур обличил бы их и призвал к порядку. Но они не были глупцами: они были просто современные люди, которые запутались и не могли освободиться; а их поверхностно-современные взгляды на жизнь не предлагали выхода из этой путаницы. У современных взглядов не было ни единого шанса в борьбе с какофонией голосов — откуда?.. по-видимому, из прошлого. Даркур делал все, что мог, всячески утешая всех троих.

Главная его трудность заключалась в том, что сам он утешение не очень ценил. Он видел в нем соску с сахарной водой, какую глупая мать сует плачущему младенцу. Ему хотелось бы, чтобы друзья наконец включили мозги, но прекрасно понимал, что мозги в такой беде не очень помогут, ведь именно мозги каждый раз подталкивают человека поковырять больной зуб

— вдруг сегодня будет не так больно, как вчера. А поскольку Даркур не любил утешать, он мог советовать только терпение и слушал, как ему говорят в ответ (с разной степенью грубости), что ему-то хорошо советовать. Ну что ж, думал он, пусть я буду их грушей для битья. По крайней мере, им повезло, что у них есть хорошая, надежная боксерская груша.

Ему повезло в том, что он мог время от времени сбрасывать с себя личину мальчика для битья и наслаждаться ролью торжествующего сыщика-искусствоведа и — в будущем — успешного писателя-биографа. Он написал княгине Амалии с мужем, что нашел некие данные, которые могут пролить новый свет на их замечательную картину. Они ответили осторожно. Хотели узнать, что он знает, и он в ответном письме предложил все объяснить, когда полностью соберет материал. Они были вежливы, но сдержанны, что вполне естественно, когда кто-то обещает пролить новый свет на фамильную ценность. Пока что Даркур выстраивал в нужном порядке свои доказательства. Он еще сам не очень понимал, что они значат, но они должны будут выглядеть убедительно для людей, которые могут воспринять их в штыки.

Неудивительно, что Даркур с нетерпением ждал двух недель каникул. Он надеялся выкинуть из головы чужие беды, ходить на долгие прогулки, читать детективы, поглощать обильную вкусную пищу и питье. Он зарезервировал номер в дорогом отеле в северных лесах: наверняка там будут и другие отдыхающие, но не столь полнокровного, атлетического склада.

Он совсем забыл о своем обещании — сводить доктора Гуниллу Даль-Сут в гости к мадам Лаутаро, ясновидящей, *пхури дай*, части биографии Марии, от которой та по-прежнему старалась убежать.

— Тебе в самом деле надо поговорить с матерью, — сказал он Марии во время очередного *дивана*, на котором они обсуждали насущную проблему уже в двадцатый, как казалось Даркуру, раз. (На самом деле — максимум в четвертый.) — Она очень мудра. Я бы на твоем месте больше доверял ей.

— Что она может об этом знать?

— Ну, если уж на то пошло, а что я могу об этом знать? Я говорю тебе, что думаю, а ты отвечаешь, что я ничего не понимаю. Мамуся хотя бы смотрит с другой точки зрения. И еще она знает тебя. Лучше, чем ты думаешь.

— Моя мать жила относительно цивилизованной, современной жизнью, пока была замужем за моим отцом. Когда он умер, она почти сразу же вернулась к старому цыганскому образу жизни. Конечно, в нем тоже что-то есть, но он не имеет отношения к моему браку.

— Ты просто не хочешь признаться сама себе, насколько ты похожа на мать. Мне кажется, ты с каждым днем становишься все больше и больше на нее похожа. Ты была вылитая она, когда первый раз пришла ко мне поговорить об этом несчастном деле, вся разодетая в красное, как Безнравственная Девица из плохой пьесы девятнадцатого века. Но с тех пор ты непрерывно глупеешь.

— Спасибо тебе огромное.

— Ну извини, я вынужден обходиться с тобой прямо, раз ты не слушаешь доводов здравого смысла. Я имею в виду твой здравый смысл, а не свой. А твой здравый смысл восходит прямиком к мамусе.

— Почему не к отцу?

— К набожному поляку, совершенно закованному в условности? Это из-за него тебе даже не пришло в голову поступить по-современному и сделать аборт? Разрубить узел, вытереть доску

начисто и начать сначала?

— Нет, не из-за него. Из-за меня. Мое тело сотворило нечто, не посоветовавшись с головой, и я не намерена убивать это нечто.

— Хорошо. Но то, что ты сейчас сказала, совершенно в духе твоей матери, хотя она, скорее всего, выразилась бы намного проще. Слушай, Мария, ты пытаешься похоронить мать, и у тебя ничего не выйдет: то, что хоронят, всегда жиреет, а хоронящий сохнет. Посмотри на Артура: он похоронил свои вполне оправданные гнев и ревность и очень натурально изображает щедрого человека, который ни на что не жалуется. Вообще ни на что. Но у него ничего не выходит — ты, я думаю, видишь. Посмотри на Пауэлла: он самый счастливый из вас троих, потому что способен обратить все происходящее с ним в своего рода искусство, и сейчас он исторгает из себя чувство вины, облекая его в сочные валлийские риторические обороты. В один прекрасный день он возьмет да и упорхнет, свободный, как птичка. А вы с Артуром останетесь тут с малышом имярек.

— Мы с Артуром называем его Немо. Ну ты знаешь — «никто».

— И очень глупо. Он уже кто-то, и у вас уйдет много лет, чтобы узнать, кто он есть. Не забывай,

«что в костях заложено...» и тэ дэ и тэ пэ. А что заложено в костях малютки Немо, как вы его зовете? В числе прочего — тот самый папаша Геранта, яростный ханжа и святоша.

— Слушай, это смешно, в конце концов!

— Все, что я тебе говорю и что, на мой взгляд, разумно, ты объявляешь смешным. Тогда что толку перемолачивать старую солому?

— Перемолачивать старую солому! Это, надо полагать, еще одна твоя старая онтарийская поговорка. Очередная народная мудрость лоялистов.

— Эта мудрость заложена у меня в костях, Мария. А если она тебе не нравится — что ты все время приходишь ее слушать?

## 8

Даркур и доктор Даль-Сут прибыли в цыганский табор, раскинутый в подвале дома Корнишей. Прибыли они с солидным запасом пищи и питья — на этом настоял Симон, и доктор тоже согласилась, что лучше избежать эксцессов цыганской кухни — *савьяко, сарми* и тому подобного. Но и Даркур, и доктор понимали, что в таком случае нужно принести какие-нибудь лакомства с собой, поэтому они запаслись копченой индейкой и большим, жирным и сладким рождественским

пирогом — это был фундамент их угощения, а прилагалась к нему корзина разных деликатесов, полдюжины шампанского и бутылка хорошего коньяка. Мамуся пришла в восторг:

— Вы сама доброта! Я была ужасно занята в последние дни. Перед Рождеством нужно столько наворовать в магазинах, вы же понимаете, — призналась она Гунилле, которая и бровью не повела.

— Для этого, наверно, нужна большая ловкость, — сказала доктор.

— Да. Меня не должны поймать. Мария говорит, если меня поймают и все узнают, что она моя дочь, она меня убьет.

— Потому что Корниши верные ученики кота Мурра?

— Я не знаю, что это такое. Но Артур занимает очень высокое положение.

— Да, конечно.

Мамуся зашлась в густом, гортанном смехе.

— Нет-нет, ни в коем случае, это не годится, чтобы его позорила собственная теща. — Она пытливо взглянула на Даркура. — Но вы-то все знаете об этом деле, отец Даркур.

— О каком деле вы говорите, мадам Лаутаро?

— Святой отец, мы ведь старые друзья, а? Не-

ужели мы будем притворяться? О, вы целуете мне руку, все очень вежливо, и зовете меня «мадам», но мы ведь с вами друг друга понимаем по-настоящему, верно? Мы старые друзья, стреляные воробьи? Или нам надо соблюдать приличия из-за этой очень знатной дамы, которую вы сегодня привели? Она шокируется? С виду она вроде бы не из таких.

— Мадам Лаутаро, я вас уверяю, что не шокировалась уже много лет.

— Конечно нет! Шокируются глупые люди. А вы — женщина, повидавшая свет, как и я. Так что́, вы оценили эту шутку? Я не должна позорить великого Артура, потому что воровство в магазинах — это преступление против денег, а деньги — это Большой Бог. Зато позор постели и сердца не считается. Отличная шутка, правда? Таков мир *гаджё*.

Открылась дверь, и вошел Ерко. Небритый, длинноволосый, неряшливый, в кожаном картузе и грубом кожухе. Он снова стал совсем цыганом, подумал Даркур. Кто бы, глядя на Ерко теперь, поверил, что когда-то он был деловым человеком, талантливым, изобретательным технологом?

— Что там про мир *гаджё*? — спросил Ерко, встряхнув заснеженный картуз и щедро осыпав

снегом все вокруг.

— Мы говорим про этого маленького *ракло*[355] наверху. Уж не буду называть его *бивужо*[356].

— Не будешь, сестра, а то получишь моего ремня. И ты знаешь, что очень невежливо — использовать цыганские слова в беседе с друзьями, которые не *романи*. Ты все никак не можешь заткнуться, все твердишь про этого ребенка, что наверху.

— Шутка уж очень хороша.

— Мне не нравится такая шутка.

Ерко взглянул на доктора и низко поклонился ей:

— Мадам, для меня это большая честь. — Он поцеловал ей руку. — Я знаю, что вы — очень великий музыкант. Я тоже музыкант. Я уважаю величие в нашей профессии.

— Я слышала, что вы хорошо играете на *цимбалом*[357], мистер Лаутаро.

— Ерко. Зовите меня Ерко. Я никакой больше

---

**[355] Примечания: 355**

Мальчик нецыганского происхождения *(цыг.)*.

**[356] Примечания: 356**

*Бивужо* — нечистый *(цыг.)*.

**[357] Примечания: 357**

*Цимбалом (цыг.)* — цимбалы, струнный ударный музыкальный инструмент наподобие гуслей.

не «мистер».

— Брат, они принесли угощение.

— Хорошо! Я хочу пировать. Я наконец победил этих бандитов из страховой компании.

— Они дадут нам денег?

— Нет; они не подадут на нас в суд. Это уже победа. Я пришел к ним вот в таком виде и сказал: «Я бедный цыган. У меня ничего нет. Неужели вы бросите меня в тюрьму? Неужели вы бросите мою сестру в тюрьму? Мы старые. Мы больные. Мы не понимаем ваших правил. Помилосердствуйте». Вот так я говорил и говорил. В конце концов им это надоело, и я тоже надоел, и они велели мне убираться и никогда больше не приходить в их величественное здание. «О, как вы милосердны, — сказал я, рыдая. — Сейчас Рождество. Вас осеняет дух Беби Исуса, и Он вознаградит вас в Царствии Небесном». Я даже попытался поцеловать ногу самого важного человека, но он ее отдернул. Чуть не лягнул меня в нос. Я сказал: «Вы нас простили перед этими свидетелями, чьи имена я записал. Больше я ничего не прошу». Теперь они не могут нас судить. Таков закон *гаджё*. Мы победили.

— Чудесно! Мы победили этих жуликов! — На радостях мамуся схватила Даркура за руки и

проплясала с ним несколько па, а он следовал за ней, как мог.

— Но как же те превосходные инструменты, что погибли на пожаре? — спросил он, пыхтя.

— Сгорели. На то Божья воля. Люди, которым они принадлежали, должны были их застраховать. Но простые цыгане ничего не знают о таких вещах. — Мамуся снова рассмеялась. — А теперь мы будем пировать. Садитесь на пол, великая дама. Так делают наши настоящие друзья.

И они сели на пол и немедленно принялись за индейку, оливки и ржаной хлеб, пользуясь приборами, какие принес Ерко, — не везде хорошо промытыми.

Даркур подумал, что трапеза недурна, особенно если обильно запивать ее шампанским. Гунилла радостно вгрызалась в еду — ни следа тех утонченных манер, которые Даркур привык у нее видеть. Он подумал, что именно так, должно быть, молодой Лист пировал с цыганами. Доктор уделяла особое внимание шампанскому. Она пила, не отставая от Ерко, — прямо из горлышка.

— Вы настоящая благородная дама! — воскликнул Ерко. — Не гнушаетесь нашей скромной трапезой! Это — высочайшая учтивость. Только простолюдины поднимают шум из-за манер за

столом.

— Особенно когда я сама принесла эту трапезу, — ответила Гунилла, обгладывая индюшачью ножку.

— Да-да, я просто хотел сказать, что вы у нас гостья. Не хотел обидеть.

— Ее не обойдешь, — сказала мамуся и обратилась к Даркуру: — Я знаю, кто это. Она — та женщина, которую показали карты. Помните, в левой части расклада? Она — Сила. Очень большая сила, но без всякой грубости. Вы ведь в этой опере, как ее там, из-за которой так изводится мой зять?

— Так вы об этом знаете? — спросила доктор.

— Чего я только не знаю! Вы слышали про мое гадание? Наш отец Симон заставил меня разложить карты в самом начале этого приключения, и вы тоже были в том раскладе, хотя тогда я не знала, что это вы. Что, святой отец, теперь вы поняли, кто был кто в тех картах? Тогда вам ничего не пришло в голову, кроме того, что моя дочь Мария может быть Императрицей. Она — Императрицей! Я смеюсь!

Мамуся засмеялась, обрызгав всех шампанским и ошметками индейки.

— Если она не Императрица, то, может, Папес-

са? Она должна быть одной из женщин в том гадании.

— Я думаю, она — третья из карт-оракулов: помните, Страшный Суд? Она — Правосудие, та, кто всех взвешивает и судит. Но не спрашивайте меня, как именно. Все станет известно, когда придет время.

— Я вижу, вы обдумывали то гадание, — сказал Даркур. — Вы опознали кого-нибудь еще из карт?

— Они не люди, — объяснила мамуся. — Они — *смоло*. Ерко, как по-английски *смоло*?

— Такие штуки… не знаю, большие штуки, — ответил Ерко с полным ртом.

— Может быть, можно сказать, что это — Платоновы идеи? — спросил Даркур.

— Если хотите. Вы мудрый человек, поп Симон.

— Как ты думаешь, он — Отшельник? — спросила мамуся. — Тогда я так сказала, но теперь я не знаю. В нашем добром отце Симоне слишком много от дьявола, он не годится в Отшельники.

— Стойте, стойте, — вмешалась доктор Гунилла. — Это было гадание про нашу оперу? Что обещают карты — хороший исход?

— Неплохой, — ответила мамуся. — Не плохой и не хороший. Трудно сказать. В тот вечер я была

не в лучшей форме.

Доктор нахмурилась:

— Неужели мы собираемся родить посредственность? Провал я переживу. Успех я люблю, но не слишком. Но от посредственности меня тошнит.

— Я так и знала: вы не из тех, кто живет посреди дороги, — заметила мамуся. — Мне и карты не нужны, чтобы это увидеть. Ваша одежда, манеры, то, как вы пьете, — все вместе. Дайте-ка я угадаю. Вы и в постели с причудами?

— С причудами — да. Но не для того, чтобы кого-то развлечь. Я та, кто я есть.

Она взглянула на Даркура:

— Эта самая Рейвен опять мне звонила. Мне пришлось проявить жесткость. Я спросила: «Вы знаете Бодлера?» Она сказала: «Вы меня оскорбляете. Я профессор сравнительного литературоведения. Конечно, я знаю Бодлера». — «Ну тогда, — сказала я ей, — проглотите-ка вот это: Бодлер говорит, что неповторимое и высочайшее наслаждение в любви проистекает от сознания, что ты творишь зло; и мужчины, и женщины от рождения знают, что зло — источник всевозможных наслаждений. А вы разве не знаете этого от рождения? Может быть, вы неправильно родились? В семь месяцев?» Она бросила трубку с

сильным грохотом.

— А вы творите зло в любви? — спросила мамуся.

— Зло, добро — меня не волнует. Я это оставляю специалистам, вот таким, как Симон. Я делаю то, что делаю. Я не прошу мир ни судить то, что я делаю, ни узаконивать это, ни предоставить этому особое место — ничего такого. Слушайте меня, мадам Лаутаро: еще совсем юной девушкой я встретила Жана Кокто, и он мне сказал: «Культивируйте в себе то, за что вас пинает толпа, потому что это и есть ваше истинное „я“». И я следую его совету. Я — Гунилла Даль-Сут, и это все, на что хватает моих сил. И этого довольно.

— Только очень великие люди могут такое сказать, — подхватил Ерко. — Я и сам всегда так говорю.

— Не называйте меня специалистом по морали, — сказал Даркур. — Я давно перестал морализировать. Мораль никогда не срабатывает два раза подряд одинаково.

Шампанское уже туманило ему голову, и сигарный дым тоже. Хорошие сигары недоступны для магазинных воров, даже таких ловких, как мамуся. Поэтому сигары, которыми угощал Ерко, были не просто неприятными: их дым въедался в

горло, словно дым костра, где горят ядовитые травы. Даркур избавился от своей сигары, как только смог это сделать, оставаясь в рамках вежливости, но все остальные дымили с наслаждением.

— Мадам, — сказал он, ибо его биографический труд не шел у него из головы. — Когда вы раскладывали карты, вас посетили некоторые озарения. Вы тогда сказали, что мы «разбудили маленького человечка» и должны готовиться к последствиям. Кажется, теперь я знаю, кто этот маленький человечек.

— И расскажете нам? — спросила мамуся.

— Не сейчас. Если я прав, то в свое время об этом узнает весь мир.

— Отлично! Отлично, отец Симон. Вы принесли мне загадку, а это — прекраснейшая вещь. Люди приходят за тайнами ко мне, но ведь мне и самой нужны тайны. Я рада, что вы не забыли про маленького человечка.

— Тайны, — повторила доктор, которая как-то нахохлилась и стала похожа на философствующую сову. — Тайны — кровь жизни. Она вся — одна большая тайна. Я вижу, шампанское кончилось. Где коньяк? Симон, мы ведь принесли коньяк? Нет-нет, Ерко, зачем новые бокалы? Мы прекрасно обойдемся этими стаканами.

Доктор щедро разлила коньяк по стаканам:

— За тайну жизни, а? Выпьете со мной?

— За тайну, — сказала мамуся. — Люди вечно требуют, чтобы им все объяснили, но это чушь. О, эти люди, что приходят ко мне со своими тайнами! В основном о любви. Помните ту глупую песню?

О, сладкая загадка бытия!

Я наконец-то разгадал тебя!

Они думают, что тайна жизни — в любви, а любовь, по-ихнему, — это значит устроиться уютно с кем-нибудь мягким и теплым, и конец всему. Чушь! Да, я это еще раз повторю. Чушь! Тайна — повсюду, а если ее объяснить, то в чем же тайна? Лучше не знать ответа.

— «…Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его»[358], — процитировал Даркур. — Вот что такое тайна.

— Тайна — это сахар в чашке, — сказала доктор.

Она достала из корзины деликатесов коробочку с белыми кристаллами, которую в магазине приложили к угощениям, открыла и щедро сыпанула себе в коньяк.

---

**[358] Примечания: 358**

*…Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его»…* — Евангелие от Фомы, 117.

— Гунилла, я бы не стал этого делать, — заметил Даркур.

— Тебя никто и не просит. Я это делаю, и вполне достаточно. Таково проклятие жизни — когда люди хотят, чтобы все делали одну и ту же мудрую глупость. Слушайте: вы знаете, что такое жизнь? Я вам расскажу. Жизнь — это драма.

— Гунилла, Шекспир тебя опередил. «Весь мир — театр», — продекламировал Даркур.

— У вашего Шекспира мышление лавочника, — парировала Гунилла. — Да, он был поэт, но с душой лавочника. Он пытался нравиться людям.

— Таково было его ремесло, — сказал Даркур. — И твое, кстати, тоже. Ты ведь хочешь, чтобы наша опера понравилась людям?

— Да, хочу. Но это не философия. Гофман — не философ. А теперь замолчите все и слушайте, это очень важно. Жизнь — драма. Я знаю. Я ученица божественного Гёте, а не этого вашего лавочника Шекспира. Жизнь — драма. Но это драма, которую мы никогда как следует не понимали, и притом большинство из нас — очень плохие актеры. Поэтому наши жизни как будто бы лишены смысла, и мы ищем его в игрушках — деньгах, любви, славе. Как будто бы лишены, но, — тут доктор подняла палец, чтобы подчеркнуть важность

своего великого откровения, — но на самом деле не лишены.

Казалось, ей трудно сидеть прямо; обычно бледное лицо совсем посерело.

— Тебя не туда завело, Нилла, — заметил Даркур. — Я считаю, что у каждого человека есть свой личный миф. Может, не ахти какой, но в любом случае это миф, и его форма, его узор разворачиваются где-то за пределами нашего обыденного мира.

— Для меня это все слишком глубоко, — сказал Ерко. — Я рад, что я цыган и мне не обязательно иметь философию и объяснение для всего. Мадам, вам нехорошо?

Доктору совершенно явно было нехорошо. Ерко, большой специалист по такого рода недомоганиям, поднял ее на ноги и бережно, но быстро вывел через наружную дверь на уличную стоянку машин. Оттуда донеслись ужасные звуки, словно кто-то захлебывался, давился и выворачивался наизнанку, и жалостные крики на иностранном языке — видимо, шведском. Наконец Ерко привел сильно притихшую Гуниллу обратно к месту пира, усадил на пол и на всякий случай прислонил к стене. Гунилла немедленно завалилась на бок.

— Это был не сахар, а соль, — заметил Дар-

кур. — Я ей сказал, но она не пожелала слушать. Видимо, ее роль в великой драме жизни на этом этапе требует длительной паузы.

— Когда она оживет, я налью ей стопку моей собственной сливовицы, — сказал Ерко. — Хотите сейчас рюмочку, поп Симон?

— Спасибо, Ерко, но лучше не надо. Мне еще придется тащить великого философа домой, к ученице.

— Это та девушка, которая делает вашу оперу? — спросила мамуся.

— Она самая. Сейчас по виду ни за что не скажешь, но, я считаю, наша доктор на нее благотворно влияет.

— Теперь, когда она нас не слышит, — что там с этим ребенком? — спросила мамуся.

— А что с ребенком? Он — факт.

— Да, но странный факт. Ребенок не от ее мужа.

— Если мне позволено будет осведомиться, откуда вы знаете?

— Он не может делать детей. Я увидела сразу, как он пришел из больницы. По глазам всегда видно. Это тот актер, который все время околачивается у них дома, сделал этого ребенка.

— Откуда вы знаете?

— Уолли Кроттель так говорит.

— Мамуся, Уолли Кроттель — враг Марии и враг Артура, и вы не должны ему доверять, не должны его слушать. Он хочет их уничтожить.

— О, нечего предупреждать меня про Уолли. Я гадала ему по руке. Мелкое ничтожество, но у таких людей можно кое-что выяснить. Не беспокойтесь из-за Уолли. У него на ладони написано, что его ждет несчастный случай. Может быть, Ерко позаботится об этом несчастном случае.

— Боже, Ерко! Неужели вы собираетесь его замочить?

— Поп Симон, что вы, это было бы преступление! Но если этого Уолли ждет несчастный случай, то надо сделать так, чтобы случай вышел правильный. Положитесь на меня.

— Этот ребенок… — продолжала мамуся. — Мария хочет ребенка больше всего на свете. Глубоко в душе она — настоящая цыганская девчонка, и ей нужен ребенок у груди. Теперь у нее есть ребенок, и она будет счастлива, если Артур тоже будет счастлив.

— А не слишком ли это — требовать, чтобы он был счастлив?

— Мы живем в странное время. Теперь люди нанимают женщин, чтобы рожали им детей, если

жена не может рожать. Почему бы не нанять и отца? Ведь этот Пауэлл на них работает?

— Надо думать, его нанимали для работы несколько иного рода.

— Этот Пауэлл — не обычный человек. Я думаю, он — Любовник из моего гадания. Помните эту карту? Молодой мужчина между двумя другими людьми. Справа от него — женщина, а кто слева? Кое-кто говорит, что это другая женщина, а на самом деле? Они говорят, что это женщина, потому что у нее нет бороды, но что такое мужчина без бороды? Он мужчина не во всех смыслах, но все же он достаточно важен, чтобы властвовать над красивой женщиной. На нем корона. Конечно, это король. Любая раскладка карт неповторима. Может быть, в этой раскладке этот человек — король Артур, и он выглядит так, словно подталкивает молодого мужчину к красивой женщине. А красивая женщина указывает на любовника, словно спрашивая: «Этот?» А у них над головой летает бог любви и целит стрелой прямо в сердце красивой женщины.

— У вас очень убедительно выходит.

— О, карты могут быть очень мудры. И очень хитры. Значит, вы знаете, кто этот маленький человечек? И не скажете?

— Пока нет.

— Что ж, будьте осторожны. Может быть, Дурак связан с маленьким человечком, известие о котором я вам сообщила. Отец Симон, вы когда-нибудь смотрели пристально на эту карту, Дурака?

— Я ее, кажется, очень хорошо помню.

— Что делает собака?

— Я не помню собаку.

— Ерко, принеси карты. И может быть, по наперстку сливовицы.

Пока Ерко выполнял поручение, Даркур взглянул на лежащую Гуниллу. Цвет лица у нее стал несколько лучше, и она — насколько это возможно для женщины с ее изысканными манерами — храпела.

— Смотрите, вот он. Дурак. Видите, он куда-то идет, в путешествие, и очень доволен. Дурак, он всегда куда-нибудь идет. И у него хороший шутовской костюм, но посмотрите, штаны продраны сзади. Просвечивает голая задница. И это очень правильно, потому что, когда в нашей жизни проявляется Дурак, мы всегда оказываемся чуточку с голой задницей. А что делает собачка при виде голой задницы? Может быть, она ее покусывает. Что такое вообще собака? Тварь природы, верно? Она не учится, не думает, это природа в ее самой

простой форме, и собачка покусывает задницу Дурака, чтобы заставить его двигаться такой дорогой, о которой ум и не подумает. Более удачной дорогой. Естественной дорогой, которую выбирает судьба. Может быть, такой дорогой, которую не одобряет ум, потому что ум тоже может быть дураком — но не великим, утонченным Дураком, идущим в этот особый путь. Собачка покусывает, но, может быть, она также и нюхает. Потому что нельзя кусать без того, чтобы нюхать. Знаете, как собаки всех обнюхивают? Ширинку? Задницу? Их специально учат, чтобы они этого не делали, но они забывают, потому что им дан великий дар обоняния, почти убитый мудрым, мыслящим Человеком. Нос вещает, когда глаза слепы. Когда человек считает себя цивилизованным, он притворяется, что не пахнет. А если боится, что от него воняет, то мажет на себя что-нибудь, чтобы перебить свою вонь. Но собачка знает, что задница и вонь — часть настоящей жизни и часть путешествия Дурака и что от природных вещей нельзя избавиться, если хочешь жить в настоящем мире, а не в полумире глупых, довольных собой людей. Дурак спешит со всех ног к чему-то такому, что он считает хорошим. Что говорят, когда кто-нибудь спешит к цели изо всех сил?

— Говорят, что он бежит сломя голову.

— Люди, которых я знаю, говорят «бежит, теряя штаны».

— Видите, отец Симон? В этой судьбе, которую предсказала моя колода карт, кто-то бежит, теряя штаны, за чем-то очень важным. Может, это вы?

— Мамуся, вы меня изумили, и в своем изумлении я скажу правду. Да, я думаю, что это я.

— Хорошо. Я думала, что вы Отшельник, но теперь я уверена, что вы — Дурак. Вы идете куда-то далеко, и инстинкт покусывает вас за задницу, и вам придется усвоить, что инстинкт знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Инстинкт знает, как пахнет ваша задница — ваше седалище, которого вы сами никогда не увидите. Скажите, сколько платит вам мой зять за все, что вы делаете?

— Платит! Мамуся, мне время от времени возмещают кое-какие расходы — то, что я заплатил из своего кармана, служа Фонду Корниша. Но, черт бы его побрал, мне не платят ни ломаного гроша. Мне вечно не хватает денег. И мне это уже надоело. Они думают, если я их друг, я обязан на них горбатиться задаром, просто ради счастья быть одним из них. И настоящая беда — в том, что они правы!

— Отец Симон, не кричите! Вы очень счастливый человек, и теперь я точно знаю, что вы — Дурак. Великий Дурак, который царствует над всем раскладом! Не берите ни гроша за свою работу! Ни единого гроша! Таков путь Дурака, потому что его фортуна делается не так, как у других людей. Ваш фонд платит всем. Этому Пауэллу, делателю детей. Этой докторше, она хорошо знает свое дело, но на самом деле она всего лишь Сила и иногда заходит совсем не туда, куда надо. И девочке, ей дают столько денег на эту самую оперу, и, может быть, эти деньги пойдут ей во вред. Но вы — свободны! Вы не скованы золотой цепью! Вы — Дурак! О, я должна вас поцеловать!

И она его поцеловала. Ерко тоже настоял на том, чтобы поцеловать Даркура. Это было колючее и пахучее объятие, но Даркур уже понимал, что реальность и истина иногда оказываются весьма пахучими. На этом пиршество кончилось, Даркур погрузил Гуниллу в такси, отвез ее, все еще обмякшую и молчаливую, домой и сдал на руки Шнак.

— Ой, Нилла, бедненькая! Что они с тобой сделали? — воскликнула она, поддерживая свою учительницу, подобную увядшему цветку.

— Я была дурой, Хюльда, — сказала доктор,

когда дверь закрылась.

Да, но не Дураком! Даркур, такой счастливый, каким не был уже много лет, заплатил таксисту и пошел домой пешком, наслаждаясь холодным зимним воздухом и своим новым положением в жизни.

Он стал подыскивать слова, чтобы выразить свою всепоглощающую радость, новое ощущение полноты бытия. Из глубин сознания выплыла старая онтарийская поговорка.

Он чувствовал себя таким героем, что и дохлую собаку пополам разрубил бы.

## 9

## ЭТАГ в чистилище

*У меня рвется сердце от жалости к Даркуру. Жизнь либреттиста — собачья жизнь. Еще хуже, чем у драматурга, которому приходится умасливать эгоистичных чудовищ новыми сценами, новыми шутками, возможностью повторять привычные штуки, стяжая привычный успех; но драматург до некоторой степени волен выбирать форму сцен и речей. Либреттист же обязан повиноваться тирану-композитору, который по литературному вкусу, возможно, недалеко ушел*

*от крестьянина и не думает ни о чем, кроме своей музыки.*

*И он, конечно, в своем праве. Опера — это музыка, а все остальное должно музыке подчиняться. Но на какие жертвы приходится идти литератору!*

*Взять, например, психологию. Акварельная тонкость чувства и двойственность даже самой честной души; порывы горячих эмоций, что хлещут из самых глубин, уничтожая рассудок. Может ли музыка вместить все это? Да, в каком-то смысле может, но по точности выражения она никогда не сравнится с истинной поэзией. В музыке слишком силен голос чувств; она не годится для изображения личности. Можно ли чисто музыкальными средствами дать персонажу неповторимый голос? Попытаться — можно, но, как правило, это будет голос композитора. Если композитор велик — например, божественный Моцарт или, помоги нам Господь, штурмующий небеса Бетховен, — мы любим этот голос и не променяем его даже на мастерски созданные образы Шекспира.*

*Видите ли, моя беда в том, что я разрываюсь между Гофманом — поэтом и рассказчиком и Гофманом-композитором. Я могу с равным жа-*

*ром отстаивать любую из сторон. Мне хочется вознести поэта на престол, а музыканту отвести роль аккомпаниатора. Но мне равно хочется, чтобы музыкант изливал свое вдохновение, а поэт строгал тексты с правильным расположением гласных, послушные музыке и не лезущие на первый план. Процитирует ли кто-нибудь хоть одну гениальную поэтическую строку из оперного либретто? Даже от Шекспира останется жалкий огрызок, когда ловкий либреттист обломает его строки, чтобы уложить их в требования маэстро Ктопопалло. А потом всякие дураки будут повторять, что маэстро Ктопопалло даст Шекспиру сто очков вперед.*

*Если музыкант подлинно чувствителен к поэзии, то рождается магия, как в песнях Шуберта. Но, увы, оперы Шуберт писал чудовищные, а у Вебера был просто фатальный талант — выбирать в либреттисты самых неподходящих людей. Вроде этого Планше, который погубил «Оберона». О, какое счастье, что я избежал тупых куплетцев доброжелательного Планше!*

*Теперь у меня есть Даркур, и какую же ношу взвалили на плечи ему, бедному! Он должен создать либретто под уже написанную музыку — точнее, под музыку, которую Шнак и гениаль-*

*ная доктор Гунилла напишут на основе моих заметок.*

*Он неплохо справляется. Конечно, нелегко найти слова, которые выдержат сюжет, придуманный этими людьми для моего «Артура». Не совсем тот сюжет, какой мне хотелось бы. Он попахивает современностью — их современностью, не моей. Но он неплох. В нем больше психологии, чем осмелился бы вложить я, и я этим очень доволен, так как я был весьма тонким психологом для своего времени. Мои таинственные сказки не просто фантазии, над которыми юная дева может скоротать незанятый вечер.*

*Но Даркур нашел отличный выход. Когда только можно, он занимает стихи у истинного поэта. Не очень известного, по его словам, но я, так или иначе, не могу об этом судить, ибо не достигаю подлинного понимания того, что читаю по-английски, и английская поэзия для меня — неизведанный край. Но то, что Даркур надергал из творений неизвестного поэта, мне нравится. Как он прав, что никому не открывает имени этого незнакомца! Если его узнают, то каждый захочет сказать свое слово, а беспорядочная груда слов — погибель искусства и вечное проклятие театральной постановки. Нет! Пусть тайна*

*остается тайной, а если кто-нибудь хочет разнюхать ответ — что ж, удачи ему, но, скорее всего, это будет означать неудачу Даркура.*

*Любая возня с произведениями искусства, их переделка — адовый, рабский труд. Я-то знаю. Однажды я из дружбы согласился на нечто подобное. Я адаптировал шекспировского «Ричарда III» для своего друга Людвига Девриента. И это чуть не погубило нашу дружбу, ибо Людвиг требовал от меня такого, что моя совесть художника восставала. «Но у Шекспира именно так», — говорил я, а Людвиг в ответ орал: «К черту Шекспира! Сделай мне вот тут поразительный эффект, чтобы я взял зрителей за горло и задушил их своим великолепием! А потом, в следующей сцене, сделай так, чтобы я опять их задушил, чтобы от них осталось мокрое место, пропитанное обожанием!» На это я отвечал: «Мой дорогой Луи, ты должен доверять своему поэту и мне». И он говорил такое, чего я никак не мог стерпеть: «Шекспир давно умер, а ты… не тебе придется каждый вечер выходить на сцену с горбом и шпагой и выигрывать битвы. Поэтому делай, что я говорю!» И тут, конечно, мне ничего не оставалось, кроме как пойти и напиться. Людвиг вымучил из меня то, что хотел, но Ричард III так*

*и не стал его величайшей ролью, и я знаю почему. Зрители остались незадушенными, а критики сообщили им, что Людвиг — артист погорелого театра и жалкий шут. Кого же он за это винил? Конечно, Шекспира — и меня вместе с ним.*

*Даркур мне симпатичен, и не только потому, что мне его жалко. Старая цыганка говорит, что он получит большую награду, но старые цыганки иногда ошибаются. Кому интересен либреттист? Разве на празднике после премьеры кто-нибудь захочет непременно с ним познакомиться? К чьим ногам падают хорошенькие дамы? Кого хватают за лацкан импресарио, требуя новых, еще более гениальных свершений? Точно не либреттиста.*

*Старая цыганка ошибается. Или я чего-то не знаю обо всем этом деле (очень надеюсь).*

*Как бы то ни было, мне нужно «переждать момент», как говорит Шекспир. Или не Шекспир? Свериться негде — в чистилище нет библиотек.*

# VI

## 1

Рождественские каникулы Даркура превзошли его самые смелые ожидания. Гостиница в северных лесах притворялась простой лесной хижиной, но на самом деле оказалась роскошным обиталищем. Даркуру отвели большую комнату с большими окнами, из которых открывался прекрасный вид на поросшую елями долину. Правильную комнату, с письменным столом и хорошим мягким креслом, и с кроватью, конечно, и еще — что весьма редко и ценно для гостиницы — с хорошим светом для чтения. А также с комодом, встроенным шкафом для одежды и санузлом, где было все, что нужно Даркуру, и даже то, что было ему совершенно не нужно, как то: биде и строгое объявление, запрещающее бросать предметы женской гигиены в унитаз. С чувством глубокого удовлетворения Даркур разобрал чемодан и повесил в шкаф одежду, полностью скрывающую тот факт, что ее владелец — священник. Даркур потратил деньги на две-три рубашки, достаточно крикливые для отпуска в сельской местности, и

несколько красивых шейных платков, которые можно было заправлять в расстегнутый ворот. Он также запасся хорошими вельветовыми брюками и парой сапог для долгих прогулок — продавец клялся, что сапоги надежно защитят его от холода и сырости. Еще у Даркура было с собой два твидовых пиджака, один — с кожаными заплатками на локтях; эти пиджаки четко сигнализировали, что он — научный работник, причем не из тех, что любят кататься на лыжах или на санях или вести светские разговоры ни о чем. Среди постояльцев были молодые люди — любители всех этих удовольствий, а также люди постарше, которые желали сидеть в баре, притворяясь, что на самом деле хотят кататься на лыжах или на санях; но ненавязчивая дама, отвечавшая за то, чтобы всем было весело, сразу поняла, что Даркуру будет веселее всего, если его оставят в покое. Итак, он был вежлив с другими постояльцами, подчинялся правилам, требующим поддерживать разговор о погоде и улыбаться детям, но в целом его оставили в покое, и он, преисполненный глубокой благодарности, освоился на новом месте и приготовился провести две недели в своем собственном обществе.

После завтрака он гулял. И перед ужином тоже.

Он читал, иногда детективные романы, а иногда — толстые сложные книги, которые подталкивали его на путь нужных размышлений. Он делал заметки. Но бóльшую часть времени он только думал, созерцал, взирал внутрь себя; размышлял о том, что он — Дурак, и о том, чтó это может значить.

Дурак; веселый шут, идущий куда-то в рваных штанах, в компании собачки, которая покусывает открытое взорам седалище, подгоняя Дурака вперед и иногда подталкивая в направлении, которое он сам никогда не выбрал бы. Дурак, которому не соответствует никакое число, кроме могущественного нуля, который, будучи добавлен к любому другому числу, увеличивает его вдесятеро. У мамуси в подвале Даркур был искренен, когда делился своей верой в персональный миф каждого человека и в то, что этот миф, как правило, ничего особенного собой не представляет. Собственный миф Даркура виделся ему историей слуги, верного, но не хватающего звезд с неба; он — ценный помощник, но никогда не породит ничего важного, не будет значительной фигурой ни в чьей жизни, кроме своей собственной. Если бы Даркура попросили выбрать в колоде Таро символизирующую его карту, он,

скорее всего, выбрал бы Пажа Жезлов, *Le Valet de Baton* — верного, преданного служителя. Разве не эту роль он играл всю свою жизнь? Как священник он был предан своей вере и своему епископу, пока мог, а когда уже больше не мог, то ушел в преподаватели. Как преподаватель он был великодушен к студентам и всячески помогал им, а также выполнял работу заместителя декана по административным делам; работы было очень много, а благодарности за нее — мало. Как друг он был терпеливым помощником Корнишам и трудился на благо их безумного фонда и затеянной фондом безумной истории с оперой, которой на самом деле не существовало — лишь обрывки идей, нацарапанные умирающим в муках Гофманом. Конечно, он, Даркур, — Паж Жезлов. Но мамуся подтвердила то, что он уже давно ощущал нутром. Он — нечто лучшее. Он — Дурак. Не угодливый слуга с салфеткой в руке, а вольный путник, подгоняемый вперед чем-то лежащим за пределами интеллекта и осторожности.

Разве сам он не чувствует, как это истинно? Разве чутье, которое вывело его на «солнечные картины» и запечатанный конверт в сокровищнице Национальной галереи, не рождается где-то в глубинах, неподотчетных разуму, логике, ин-

струментарию ученого? Разве создаваемая им биография старого приятеля, Фрэнсиса Корниша, за которую он взялся только из дружбы, из одолжения Артуру и Марии, не расцвела в нечто совершенно неожиданное, такое, чего ни один потомок Фрэнсиса Корниша не мог бы предсказать? Если Даркур сумеет собрать головоломку, сопоставить людей с фотографий дедушки Макрори, жителей Блэрлогги (вот уж никто не подумал бы, что это — колыбель искусства), и фигуры с великой картины «Брак в Кане», датированной «около 1550 г.» и приписанной неизвестному Алхимическому Мастеру, разве это не докажет, что Фрэнсис был как минимум гениальным подделывателем картин, а как максимум — гениальным художником редкой, эксцентричной породы? И как же Даркур этого добьется? Тем, что будет не жуликом, обворовавшим библиотеку и галерею, а Дураком, чьи моральные законы неподвластны общим правилам. Он — Дурак, единственная из фигур Таро, которая движется — не падает, как Башня, и не вращается бесконечно на месте, как Колесо Фортуны, и не влачится церемониальными конями, как Колесница, но шагает вперед, навстречу приключениям.

К человеку после сорока подобное открытие

себя приходит не как внезапное озарение. Нет, оно робко стучится, и поначалу его отвергают как нескромное. Оно проявляется во внезапных, необъяснимых вспышках радости бытия. Оно приходит как шутка, и его встречают недоверчивым хохотом. В конце концов оно не позволяет себя отрицать, но и тогда к нему не сразу привыкают. Даркур обладал смирением человека, всем сердцем принявшего призвание священника. Он был священником в духе Эразма, в духе неуправляемого Сиднея Смита, который, как говорили, прошутил свои шансы на епископскую митру. Священником того же типа, что и могучий Рабле. Но разве не был Рабле истинным священником и в то же время Шутом Божиим? Может быть, и Симон Даркур, профессор, заместитель декана своего колледжа, бесплатный мальчик на побегушках при Фонде Корниша и (как он иногда думал) единственный вменяемый человек среди толпы очаровательных лунатиков, на самом деле Дурак Божий, юродивый Христа ради? Он был слишком скромен, чтобы приветствовать такое открытие воплями и скачками.

Так он размышлял во время долгих одиноких прогулок по сосновым лесам, окружавшим гостиницу. Он был не из тех, чьи рассуждения

выстраиваются в прямую линию с неумолимой логикой, — да и существуют ли такие люди иначе как в книгах? Ходьба помогала ему думать, но это значило, что, расхаживая, он качался на волнах в теплой ванне разрозненных обрывков мыслей. Эту ванну приходилось подогревать ежедневно, и каждый день он подходил чуть ближе к выводу и наконец достиг счастливой уверенности. Соседи по гостинице, неисправимые сплетники, как любые отдыхающие, иногда спрашивали друг друга, почему это мужчина в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях так часто улыбается сам себе, а не в ответ на их улыбки и почему он раз или два рассмеялся — тихо, но отчетливо — за обеденным столом, где сидел, как обычно, в одиночку.

Именно в лесу Даркур зашел дальше всего в потрясшем его осознании себя и жизни, которую ему суждено вести отныне. Весь мир думает о канадцах — если вообще о них думает — как об обитателях северной лесной страны. Но канадцы живут в сообществах, больших и малых, и жизнью их управляют заботы общества и навязанные им идеи. В леса же канадцы приходят если не с намерением их вырубить и использовать, то с желанием промчаться вниз по склону на лыжах

или санях, трудолюбиво попыхтеть, занимаясь зимними видами спорта, а по окончании дневных трудов хорошенько погудеть в баре или на дискотеке. Иными словами, они направляются в леса не для того, чтобы искать свое истинное «я», но чтобы изжить любые намеки на него. Физическое усилие заглушает все заботы, привезенные из города. Люди не просят лесá, чтобы те с ними говорили. Но леса будут говорить, если найдут слушателей, и Даркур слушал, шагая по одиноким тропам, проложенным среди огромных сосен. И когда, казалось бы, в совершенно безветренную погоду снег сеялся с деревьев Даркуру на плечи, ему слышался голос из глубин, ничего общего не имеющий с миром слов.

Он размышлял не только о себе, но и о людях, от которых приехал отдыхать. Что за кашу заварила Хюльда Шнакенбург своим вроде бы невинным желанием — составить нечто целое из рукописных заметок композитора, чтобы получить степень доктора музыковедения, которая позволит ей занять определенное место в мире музыки! Стремление Артура найти отдушину от бизнеса и выступить в роли интеллектуала и покровителя искусств! Хитроумный замысел Геранта Пауэлла, желающего обрести лавры постанов-

щика необычной оперы! Совращение Хюльды Шнакенбург аморальной, но поразительно вдохновляющей Гуниллой Даль-Сут! Внезапная беспомощность Клемента Холлиера, гениального ученого и известного палеопсихолога, при столкновении с любой работой воображения, не запертой накрепко в темном и туманном прошлом! Злость профессора Пенелопы Рейвен, поставленной лицом к лицу с аспектом своего «я», который она полжизни благополучно маскировала! Буря чувств, сотрясающая Марию, которая пытается примирить свои обязанности жены очень богатого человека и сопутствующие цепи светских условностей со стремлением к научной работе и попытками убежать от своего цыганского наследства! И конечно, ребенок — он пока неизвестная величина, хотя уже живой; а живет он только благодаря Хюльде, которая, роясь в нотных рукописях, наткнулась на остов «Артура Британского, или Великодушного рогоносца». Каждого из этих людей что-то влечет, и будь Даркур на самом деле Пажом Жезлов, он был бы слугой их влечений. Но предположим, что он — Дурак; влечения над ним не властны, но он готов идти своим путем и уверен, что судьба и озорная собачка укажут ему путь. Ведь это неиз-

меримо лучше! Миф Дурака — поистине миф, и Даркур воплотит его своей жизнью в полной мере и со всей радостью, на какую способен.

Его, как любого человека, стоящего на пороге великих изменений, одолевали перепады чувств. Что за ерундой он тут занимается — современный человек, почтенный наставник молодежи, сотрудник университета, то есть храма разума и интеллектуального прогресса? Не сошел ли он с ума, поверив бредням старой цыганки и ее картам Таро? Это мышление, если его вообще можно назвать мышлением, — суеверное, архаическое. Но, с другой стороны… эта теория очень заманчива, она покоится на авторитете веков, она тысячелетиями служила людям, прежде чем их обуяла современная страсть к логике. Причем не к логике как системе, применимой к тому, что подвластно логическим выводам и научному методу. Нет, к логике извращенной, используемой для отцеживания из любой проблемы любого намека на шепот интуиции, то есть возможности видеть в темноте. Туманные предсказания мамуси и ее карты Таро — лишь пути выражения ее интуиции, которая в сочетании с интуицией самого Даркура может открыть двери, запертые для логики. Пусть логика занимает свое почетное

место, на котором она до сих пор верно служила человечеству, но ей не следует заноситься, провозглашая себя единственным методом решения задачи или поиска пути. Логика может стать оружием, позволяющим страху победить судьбу.

В голове у Даркура все время всплывало одно слово — его использовала Гунилла, когда посвящала Шнак в тонкости музыкальной композиции. *Sprezzatura*[359]. По словам Гуниллы, это означает презрение к очевидному, к проторенным тропам, к тому, что кажется обязательным для новичков в музыке; благородная небрежность, внезапный скачок в искусстве — прыжок к дальнему берегу, куда не доберешься на пароме привычных правил.

Конечно, такие прыжки могут окончиться на дне канавы. Ведь именно *sprezzatura* Артура Корниша — порожденная, видимо, первыми симптомами свинки, жаром, раздражительностью больного — завела их всех в авантюру с оперой. Совершили они грациозный прыжок или плюхнулись на дно канавы? Только время покажет.

Может, Фонд Корниша по неведению забрел

---

**[359] Примечания: 359**

Определенное презрение к условностям, нарочитая небрежность *(ит.).*

в какую-то часть Артурова мифа, а этому мифу нужен был великий король, которого предали лучший друг и возлюбленная? За временем, которое некогда столь повелительно объявляла каждый полдень большая обсерватория в Оттаве, временем, что дирижирует миллионами людских действий, лежит Время Мифа, время души, где живут все девять сюжетов, о которых они тогда говорили с Гуниллой, и простирается пейзаж совершенно иного рода. Конечно, подлинная жизнь людей протекает в уме, и тем они отличаются от животных; а ведь ум сотворен не тиканьем часов, но коловращением планет и дыханием огромной вселенной, раскрывшей нам до сих пор лишь немногие из своих тайн?

Все это лирика и чепуха, думал Даркур. Может, и так; логики-любители презирают лирику, ибо она угрожает тому, что им дорого, — робкой уверенности, которая, если докопаться до сути, уверена в очень немногом. Эти люди презирают лунный свет, потому что никогда не смотрят на луну. Сколько знакомых Даркура смогут сказать, в какой фазе на момент вопроса находится луна? Интересно, путешествует ли Дурак при лунном свете. Если да, то ему повезло — он видит, куда идет, в отличие от тех, кто никогда не смотрит

на луну.

Да, снимать ливрею слуги, Пажа Жезлов, и надевать пестрый наряд Дурака — страшно и в то же время увлекательно. За всю свою респектабельную жизнь испытал ли Даркур хоть одно настоящее приключение? По-видимому, именно этого требует от него Время Мифа. Когда настанет черед Истины говорить, она может выбрать незнакомый тебе язык, но очень важно уловить, что она скажет.

Симон Даркур вернулся из лесов к повседневной жизни новым человеком. Не полностью обновленным, столь же вовлеченным в свои обязанности и жизнь своих друзей, но человеком, яснее осознающим, кто он такой.

## 2

Если Даркуру затея с оперой казалась безумием, то для Шнак и доктора она проявлялась все четче и влекла их все сильнее. У них уже хватало готовой музыки, настало время ее подрезать, подтягивать, укладывать и трамбовать, чтобы получилась опера. Она еще не обрела окончательную форму, но очертания уже обрисовались. Все до единой темы и заметки Гофмана были учтены, и на них строилась бóльшая часть музыки. Но,

конечно, тут и там зияли прорехи, требующие заплат; нужно было навести мостики от одного куска подлинного Гофмана к другому и законопатить трещины. Это испытание должно было показать, хороша ли Шнак в своем деле. Доктор ничего не предлагала, но безжалостно отвергала все предложения Шнак, которые казались ей неподходящими или недостойными целого. Разработка и оркестровка заметок Гофмана была для Шнак детской игрой; найти голос Гофмана и выразить его в новой музыке — другое дело.

Придирчивость доктора и постоянное раздражение Шнак превращали жизнь Даркура в ад. Даркур возился со словами и кусочками слов нужной длины, подлаживая их к музыке, которая писалась каждый день и редактировалась тоже каждый день. Наконец Даркуру стало казаться, что он вовсе утратил дар связного рассказа и членораздельной речи. Порой доктор бранила его за банальность приготовленного текста; иногда отвергала текст за излишнюю литературность, сложность восприятия при пении, чрезмерную поэтичность, туманящую смысл.

Разумеется, доктор, талантливый композитор, так выражала недовольство собой и тем, что ей удавалось выжать из ученицы; Даркур это пони-

мал и был готов терпеть. Но чего он не собирался терпеть, так это нападок и хамства Шнак, вообразившей, что она имеет право капризничать и требовать невозможного.

— Это херня!

— Откуда вы знаете?

— Я тут композитор!

— Вы — малограмотная хамка! Это не херня, а стихи великого поэта, которые я немного изменил. Вы просто не способны их оценить. Берите и скажите спасибо!

— Нет-нет, Симон, Хюльда права. Это не годится. Нужно что-то другое.

— Что?

— Не знаю что, но другое. Знать, что именно, — это твое дело. Здесь нужно что-то с тем же смыслом, но с хорошей открытой гласной на третьей доле второго такта.

— Но тогда придется все перекраивать.

— Ну, значит, перекрои. И прямо сейчас, а то мы не сможем пойти дальше. Не сидеть же нам тут до завтра, пока ты тужишься над словарем.

— А что бы вам не перекроить музыку?

— Симон, запомни раз и навсегда: ты ничего не смыслишь в музыке.

— Очень хорошо! Но чтобы эта девчонка мне

больше не хамила.

— Херня!

— Хюльда! Я запрещаю тебе использовать это слово в разговорах с профессором. И со мной тоже. Мы должны работать бесстрастно. Искусство рождается не из страсти, но из преданности делу.

— Херня!

Тут доктор отвешивала Шнак оплеуху — или начинала обнимать ее и нежничать. Даркур не поднимал руки на Шнак, но порой был на волосок от этого. Правда, не всегда они работали с таким накалом чувств, но достигали его по меньшей мере раз в день, а иногда доктору приходилось поить всех шампанским. Даркур думал, что счет за шампанское, должно быть, растет со страшной скоростью.

Он упорствовал. Глотал оскорбления, и часто — в своем новом образе, Дурака, — отвечал на них оскорблениями, но не сдавался. Он твердо решил стать профессионалом. Если художники работают именно так, он тоже будет художником — насколько либреттист смеет претендовать на это имя.

Но так работали явно не все художники. Не реже раза в неделю из Стратфорда в красненьком

автомобильчике прилетал Пауэлл, а его художественный метод заключался в излиянии масла и бальзама.

— О, какая красота! О Симон, это очень хорошо. Знаешь, когда я работаю над своей другой постановкой — я ставлю «Двенадцатую ночь», она должна открыться в мае, — мне в голову приходят слова, которые не принадлежат Шекспиру. Это — чистый Даркур. Ты упустил свое призвание, Сим-бах. Ты поэт. Без всякого сомнения.

— Нет, Герант, я не поэт. Я пользуюсь чужими стихами. Все арии, все длинные куски — это его. Конечно, с небольшими изменениями. Только речитативные пассажи мои, и то лишь из-за Ниллы: она требует черт знает чего, речитатив должен укладываться в свободный аккомпанемент, и потому ударения в словах падают противно любым законам поэзии. Почему бы певцам просто не проговаривать этот текст? Они были бы похожи на людей, а не на сумасшедших попугаев.

— Ну-ну, Сим-бах, ты прекрасно знаешь почему. Потому что Гофман так хотел. Он был новатором, искателем приключений. Он хотел, задолго до Вагнера, создать оперу, которая будет сплошным пением — без костылей для сюжета в виде разговорных вставок и речитативов. Мы должны быть

верны заветам Гофмана, понимаешь? Нам нельзя подводить старину Гофмана.

— Ну ладно. Но это меня убьет.

— Не убьет. Ты прекрасно выглядишь, я никогда не видел тебя в лучшей форме. Но сейчас я собираюсь опровергнуть все, что говорил до этого. В третьем акте нам нужна большая ария для Артура, в которой он скажет ясно и доходчиво, что такое любовь и почему он прощает Гвиневру и Ланселота. А у Гофмана нет ничего подходящего, ни единого обрывка.

— И?..

— Ну, все очевидно. Нашей милой Шнак придется написать музыку самостоятельно, а тебе — найти для нее слова.

— Нет-нет, — вмешалась доктор. — Вот это действительно будет измена Гофману.

— Нилла, слушай меня. Ты знаешь, сколько опер погубила слишком развитая совесть их создателей? Давай на минуточку забудем про Гофмана. Хотя нет, я не это имел в виду. Подумай о том, что сделал бы Гофман, будь он жив. Я его прямо вижу — маленький человечек с острыми блестящими глазами — он жует перо и думает: «Что нам нужно в третьем акте, так это большая, сногсшибательная ария для Артура,

которая стянет всю оперу воедино и вынет душу из зрителей. Именно ее запомнят все, ее будут играть шарманщики на улицах». В наше время шарманщиков уже нету, но Гофман этого знать не мог. Эта ария должна задеть за живое всех, и старых и молодых; может быть, критики втопчут ее в грязь, но критики следующего поколения объявят ее гениальной.

— Я не согласна ни на какие дешевые завлекаловки, — объявила доктор.

— Дорогая моя принципиальная Нилла-фах! Есть дешевое искусство, и мы все знаем, что оно такое. Но есть и другое искусство, оно превыше того, что критики называют хорошим вкусом. Хороший вкус — это, знаешь ли, нечто вроде вегетарианства от эстетики. За его пределы выходишь на собственный страх и риск. И иногда получаются сопли с сахаром вроде «M'appari» из «Марты»[360]. А иногда — гениальные вещи вроде

**[360] Примечания: 360**

*...из «Марты».* — «Марта, или Ричмондская ярмарка» (1847) — романтико-комическая опера в четырех актах немецкого композитора Фридриха фон Флотова на либретто Вильгельма Фридриха.

«Voi che sapete»[361] или «Porgi amor»[362]. Или ария «Вечерней звезде» из «Тангейзера»[363], или «Хабанера» из «Кармен»[364] — а ведь Вагнера никак нельзя обвинить в том, что он искал дешевого успеха, или Бизе — в том, что он потворствовал вкусам публики. Хватит уже вам, деятелям искусства, презирать публику. Она не сплошь состоит из дураков. Вам нужно вложить в эту гофмановскую штуку нечто такое, что поднимет ее выше обычных ученических экзерсисов, цель которых — заработать для Шнак ученую степень. Мы должны сделать так, чтобы у людей челюсти отвисли, понимаешь, Нилла? Неужели ты будешь возражать?

— Знаешь, Пауэлл, это опасные разговоры. Мне бы следовало приказать Хюльде выйти из комнаты. Она не должна слышать таких непристойностей.

---

**[361] Примечания: 361**

*«Voi che sapete»* — ария Керубино из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786).

**[362] Примечания: 362**

*«Porgi amor»* — ария графини из той же оперы.

**[363] Примечания: 363**

*«Тангейзер»* — «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845) — пятая опера Рихарда Вагнера.

**[364] Примечания: 364**

*«Кармен»* (1875) — опера Жоржа Бизе по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме.

— Нилла, послушай. Я знаю, это голос Искусителя, но Искуситель уже многих вдохновил на создание подлинно прекрасных вещей. Слушай меня внимательно. Ты знаешь эти стихи?

*Пусть критики искусством дорожат*
*И я смиренно перед ним склоняюсь,*
*Но не оно, а сердца честный жар*
*На самом деле души подчиняет.*

Даркур, который до сих пор слушал как завороженный, расхохотался. Он возвысил голос, подражая бардовскому напевному речитативу Пауэлла, и продолжил:

*Не песнь поэта сладостно звучит*
*И колокольным звоном отдается,*
*А сердце, что в стихах его стучит*
*И в ритм, и в рифму неустанно бьется.*

— Это английская поэзия? — вопросила доктор, подняв брови почти до корней волос.

— Господи Исусе! По-моему, это прекрасно! — воскликнула Шнак. — Ой, Нилла, как здорово сказано, ты когда-нибудь слыхала такое?

— Я не очень хорошо разбираюсь в английской поэзии, — сказала доктор, — но это звучит как

полная… я, как правило, не пользуюсь словечками Хюльды, но это полная херня. Это слово я переняла у Хюльды, и оно весьма полезно. Херня!

— Сами стихи, безусловно, херня, — отозвался Даркур. — Но в них кроется драгоценная жемчужина истины. В этом беда поэзии. Даже ужасный поэт может сказать правду. Порой и слепая свинья желудь найдет.

— Профессор, как всегда, наставил нас на путь истинный, — подхватил Пауэлл. — Единым сердцем не создашь Искусства. Искусству — горе, коли сердце пусто. Надо же, а из меня вышел бы неплохой либреттист! Ну так что — вы согласны?

— Я попробую, — сказала Шнак. — Мне уже обрыдло путаться в старом халате Гофмана.

— Я определенно попробую, — сказал Даркур. — Но при одном условии. Я должен написать стихи раньше, чем Шнак напишет музыку.

— Сим-бах, они у тебя уже есть! Я по глазам вижу!

— По правде сказать, да. — И Даркур прочитал им стихи.

— Ну-ка, еще раз, — сказала Шнак, впервые за все их знакомство глядя на Даркура без подозрения и злости.

Даркур снова продекламировал стихи.

— Это оно! — воскликнул Пауэлл. — Мы снова оседлали свинью.

— Но это — хорошие английские стихи? — спросила доктор.

— Я не раздаю оценки поэтам, как будто они школьники, — ответил Даркур. — Это — одно из лучших творений очень хорошего поэта и намного превышает уровень оперных текстов.

— Но ты скажешь нам, кто этот поэт? — спросил Пауэлл.

— Мы о нем говорили, когда в самый первый раз обсуждали, чьи стихи взять для оперы. Это сэр Вальтер Скотт.

## 3

Даркур сидел и думал: вот я сижу и ем холодную жареную курицу с салатом в шикарном пентхаузе, в воскресенье вечером. Неужели я действительно делю эту трапезу с тремя персонажами артуровской легенды? С тремя людьми, отыгрывающими, в переводе на современные реалии, великий миф о преданном короле, чаровнице-королеве и выдающемся искателе приключений?

Верна ли аналогия? Чего добивался король

Артур? Он стремился улучшить мир и потому требовал, чтобы его рыцари, безусловно принадлежащие к элите по рождению, повиновались кодексу рыцарства и таким образом стали элитой по заслугам. Сделать мир лучше, но не просто силой, а разумным, бескорыстным применением силы — в этом заключалась его идея.

А что же Артур Корниш, который сидит напротив меня и накладывает себе желе из красной смородины? Он принадлежит к своего рода элите по рождению: к канадской элите, для которой трех поколений денег уже достаточно, чтобы причислить человека к знати, что бы он собой ни представлял. Но Артур хочет быть интеллектуалом и продвигать культуру своей властью, то есть своими деньгами; точнее — деньгами покойного Фрэнсиса Корниша, загадочным капиталом неизвестного происхождения. Несомненно, это можно рассматривать как попытку, причем весьма успешную, перехода в элиту по заслугам? Вероятно, в распоряжении Артура Корниша больше денег и власти, чем когда-либо было у Артура Британского.

Королева Гвиневра осталась в легендах как соучастница преступной любви, принесшей великое горе королю Артуру. Не во всех легендах

она предстает как женщина, живущая только своей любовью: иногда она — жена, которой пренебрегает муж, иногда — честолюбивая женщина с неутоленным духом. В целом более живая и противоречивая фигура, чем образ, нарисованный Теннисоном.

Мария, несомненно, подходит. Она сама сказала — недавно, перед свадьбой с Артуром, — что полюбила его за прямоту, великодушие и привлекательную для нее свободу от научного мира, которым ограничивались собственные устремления Марии. Артур предложил ей любовь, а сверх любви — еще и дружбу, и она не устояла. Но женщина не может жить только в царстве любви: ей нужна своя жизнь; она должна светить, а не только отражать чужой свет. Похоже, что замужество несколько затмило свет Марии. Она слишком много сил вложила в то, чтобы быть женой Артуру; это во-первых, во-вторых и в-последних. И ее душа взбунтовалась. Сколько времени они женаты? Год и восемь месяцев? Год и восемь месяцев растворения в муже, с полным забвением всего прочего? Конечно, так не пойдет. Любая женщина, стоящая того, чтобы на ней жениться, — больше, чем просто жена, если, конечно, мужчина не отъявленный эгоист. Артур,

конечно, не отъявленный эгоист, хоть и привык, чтобы все выходило по его, — типично для богача. Даркур сам не был женат, но видел много браков и обвенчал много пар — столько, подумал он очередной онтарийской поговоркой, что и палкой не разгонишь. Лучше всего работали те браки, в которых единение допускало некоторую отдельность, — не то чтобы супруги были яростно независимы друг от друга, но каждый из них полностью владел собственной душой.

Стоит ли говорить с Артуром и Марией о душах? Наверно, нет. Души сейчас не в моде. Люди с покорным изумлением слушают научные лекции о невидимых частицах, которые, если верить ученым, находятся повсюду и ужасно важны. Но от разговора о душах люди шарахаются. Слово «душа» стало неприличным в мире, овладевшем ядерной энергией.

Но для Даркура души существовали. Не как туманное облачко и неосязаемое олицетворение чего-то благородного, но как сила, отличающая живого человека от мертвого сырья для похоронных дел мастера. Душа как совокупность сознания — то, что человек знает о себе, и то, что скрыто от него, но знает его и движет им; это слово затаскано до дыр, его принимают или

отвергают, но деваться от него некуда.

А что же Пауэлл? Он как раз из тех, кто станет страстно доказывать, что у него-то душа есть. Но им явно движет неосознаваемая им самим часть души — часть, которую кое-кто, например мамуся, назвал бы его судьбой. Судьба человека в нем самом — в большей степени, чем он сам знает. Мы притягиваем к себе подобное себе. И именно судьба Пауэлла заставила его соблазнить жену друга, причем, вероятно — нет, точно, Даркур не сомневался, — к этому причастна и судьба Марии; точно так же, как Ланселот соблазнил Гвиневру — или был ею соблазнен.

— Симон, тебе долить заправки в салат? — спросила Мария.

Они с Артуром и Пауэллом о чем-то беседовали, пока Даркур сидел, погруженный в мысли.

Да, он хочет еще заправки в салат. Надо следить за собой и не уплывать в туман размышлений, пока другие о чем-то говорят. О чем, кстати?

Конечно, о будущем ребенке. Они много о нем говорили, причем с поразительной для Даркура открытостью. Мария, уже на шестом месяце, ходила в красивых платьях, которые не подчеркивали, но и не скрывали ее беременность, в отличие от женщин, виденных Даркуром на ули-

це: те носили брюки, словно пихая свой раздутый живот в лицо всему миру.

Артур и Герант были равно озабочены. Каждый из них называл себя неопытным молодым отцом: иногда это была шутка, но все равно в ней сквозил тайный страх. Они тряслись над Марией — заставляли ее садиться, когда она не прочь была постоять, и бегом приносили ей вещи, без которых она вполне могла обойтись. Они настаивали, чтобы она не водила машину, чтобы клала ноги на табуретку, когда садится, чтобы много отдыхала, чтобы пила молоко (чего доктор ей не советовал), чтобы ела побольше, чтобы ела здоровую пищу, чтобы пила самую капельку вина и совсем не пила крепких напитков, чтобы пропускала неприятные новости в газетах. Их слегка разочаровало, что она не требовала причудливой еды, — они были бы счастливы исполнять ее странные капризы, вроде соленых огурцов с мороженым. Мария смеялась и говорила, что это все бабкины сказки. Но они, как любые будущие отцы, превращались в надоедливых старых бабок, и чем дальше, тем больше. Их дружба стала прочнее прежнего.

Интересно, Артур и Ланселот в давние времена тоже так суетились? Конечно нет: у них ведь не

было двусмысленного дитяти.

— Встреча с родителями Шнак прошла успешно, — отрапортовал Пауэлл.

— А кто с ними встречался? Прошу прощения, меня там не было, — сказал Даркур.

— Нилла настояла, чтобы Шнак позвала их в гости. Нилла держит Шнак в строгости и учит ее хорошим манерам. Не позволяет ей ругать родителей. Она сказала: «Хюльда, дорогая, ты должна позвать своих родителей сюда, и мы будем с ними очень, очень любезны». Так они и сделали.

— И ты тоже там был? — спросила Мария.

— А как же! Я бы не пропустил этого ни за какие коврижки. Я был, если можно так выразиться, звездой этого вечера, вишенкой на торте. Я замечательно поладил с родителями Шнак.

— Расскажи, — попросила Мария.

— Ну вот, Шнак пригласила их по телефону — Нилла в это время стояла над ней с кнутом, если не ошибаюсь. Вы их видели. Я бы не назвал их душой общества, к тому же они явно заранее приготовились указать Нилле ее место и хорошенько отчитать Шнак. Но у них ничего не вышло. Нилла очаровала их; она создает вокруг себя атмосферу старой европейской аристократии. Достаточно для того, чтобы старшие Шнаки распознали в ней

настоящую гранд-даму. Не просто богачку вроде вас, Корнишей, но подлинную аристократку. Просто удивительно, как это до сих пор неотразимо действует. Нилла беседовала с ними на немецком языке — и таким образом исключила Шнак из разговора, потому что та понимает по-немецки, но почти не говорит. Я слаб в немецком — кое-как разберу вагнеровское либретто, и все, — но я понял, что Нилла была с ними подлинно любезна. Не снисходительна — она говорила с ними как с равными, как одна представительница старшего поколения с другими, и дала им понять, что ее искренне заботит судьба Шнак. Она говорила об искусстве и о музыке, и они слегка оттаяли — от этих разговоров, и от жирных сладких пирожных, и от кофе с большим количеством взбитых сливок. Но оттаяли не совсем, хотя их явно впечатлило огромное количество исписанной Шнак нотной бумаги. Они поняли, что она в самом деле трудится. Но им все еще не давал покоя ее мятеж против того, что они считают религией. И тут вступил я со своей ударной партией.

— Ты, Герант? Ты согласился с этими заскорузлыми пуританами в вопросах веры?

— Конечно, Артур-бах. Не забывай, что меня взрастили методистом кальвинистского толка и

мой отец был могучим шаманом этой веры. Конечно, я им об этом сказал. Но, сказал я, поглядите на меня: я глубоко погружен в мир искусства, и театра, и музыки, и отцовство и великолепие Бога являются мне каждый час моей жизни и проницают все, что я делаю. «Неужели Господь говорит одним-единственным языком? — вопросил я их. — Неужели Его всепобеждающая любовь не простирается также и на тех, кто еще не пришел к полноте веры, к религиозной жизни? Разве не может Он говорить где угодно, и в театре, и в опере, обращаясь к тем, кто бежал от Него в мир с виду легкомысленный, посвященный удовольствиям? Друзья мои, вы имеете благодать — вам открыта полнота данного Господом Слова. Вы не встречали, как встречал я, Господа, говорящего с падшими и заблудшими языком искусства; вы не сталкивались с хитростью Бога, коей Он проникает и в души людей, затворивших слух для Его истинного голоса. Наш Господь суров с такими, как вы, — теми, кого Он с рождения избрал себе в паству; но Он действует деликатно и нежно с теми, кто уклонился на мирские пути. Он говорит многими голосами, и самый победительный из них — голос музыки. У вашей дочери огромный музыкальный дар, и неужто вы осмелитесь ска-

зать, что она не избрана Богом как Его дитя, Его арфа сионская, что призывает к Нему Его заблудших чад? Осмелишься ли ты, Элиас Шнакенбург, утверждать, что через музыку твоей дочери не может говорить — и я утверждаю это со всем возможным смирением, — не может говорить Сам Господь? Осмелишься ли? Возьмешь ли на себя такое тяжкое суждение? О Элиас Шнакенбург, заклинаю тебя, умоляю тебя, поразмысли об этих тайнах, а потом отвергни музыкальный дар своей дочери, если посмеешь!»

— Господи боже, Герант, неужели ты такое сказал?

— Воистину я это сказал, Мария. И это, и много большее. Я дал им отведать валлийского красноречия, проповеднического экстаза: я не говорил, а выпевал. Сработало на загляденье.

Мария была обезоружена.

— Герант! Ах ты, жулик! — выговорила она, когда наконец обрела дар речи.

— Мария-фах, ты ранишь меня в самое сердце. Я был искренен в каждом слове. И более того, правдив. Сим-бах, ты же знаешь, что такое проповедь. Разве я сказал хоть слово, которое ты не мог бы произнести с амвона?

— Мне понравилось про хитрость Бога, Герант-

бах. Что до всего остального — скажу только, что не сомневаюсь: ты был искренен, когда все это говорил, и меня не удивляет, что старшие Шнаки клюнули. Да, если подумать, я согласен — все, что ты им говорил, правда. Но я не уверен, что твои намерения были искренними.

— Мои намерения заключались в том, чтобы Шнакам понравилась наша опера, и чтобы они провели приятный вечер, и чтобы разодранный хитон семейного мира Шнаков был наконец зашит.

— И как, получилось?

— Мамаша Шнакенбург была счастлива, что ее дитя отмыто и прибавляет в весе; папаша Шнак — надеюсь, я к нему справедлив — обрадовался, что Хюльда проводит время в столь элегантной компании: в каждом человеке дремлет сноб, а папаша Шнак явно еще помнит сиятельный мир аристократической Европы. Ну а я только добавил розочек на торт своей пышной теологией.

— Не теологией, Герант, риторикой, — поправил Даркур.

— Сим-бах, перестань уже пинать риторику. Что она такое? Прибежище поэта, когда его муза спит. Прибежище проповедника, когда ему надо пощекотать уши невнимательных слуша-

телей. Мы, обитатели мира искусства, все время садились бы в лужу, если бы нас не выручала риторика. Риторика низка лишь тогда, когда ею пользуются низкие люди. Для меня это лишь способ возбудить древние, вечные элементы духовной структуры человека с помощью размеренной, ритмичной речи. Ты отвергаешь мою риторику лишь из низкой зависти, и я очень разочарован в тебе.

— Конечно, Герант, ты прав: люди, не умеющие болтать языком, завидуют тем, кто умеет. Но это всего лишь гипноз.

— Всего лишь гипноз! О Сим-бах! О, сколь жалкая низость духа звучит в этом нищенском «всего лишь»! Я рыдаю от жалости к тебе!

И Пауэлл положил себе еще кусок курицы.

— Одно из двух — либо рыдать, либо набиваться едой, — заметил Даркур. — А Шнаки не унюхали ничего подозрительного между Ниллой и их чадом?

— Думаю, они и не знают о существовании подобного разврата. Сколько я помню Библию, там ничего не говорится о шалостях женщин между собою. Потому у этого занятия греческое название. Старые суровые израильтяне считали извращение исключительно мужской привиле-

гией. Шнаки думают, что их дочь прибавляет в весе благодаря Хорошему Влиянию.

— Я как женщина не могу понять, что́ в Шнак привлекательного, — заметила Мария. — Будь у меня те же наклонности, что у Ниллы, я бы нашла девочек посимпатичнее.

— О, Шнак обладает прелестью невинности, — объяснил Пауэлл. — Конечно, она злобная маленькая дрянь, но под этой коркой прячется нетронутое дитя, способное удивляться миру. Вероятно, она давала себя лапать каким-нибудь морлокам-студентам, поскольку таков обычай их круга, а дети боятся идти против обычая. Но настоящая, подлинная Шнак, которая прячется в глубине, еще подобна цветку, и Нилла как раз тот человек, который может его деликатно сорвать. Вы ведь знаете, как это бывает, — впрочем, вы не знаете, потому что никто из вас не садовник; это я трудился в мамкином саду все свое детство. Первый цвет всегда срывают, и новые цветы, крепче и сильнее, распускаются на его месте. Именно это сейчас происходит со Шнак.

— Какие там еще цветы? — возмутился Артур. — Боже сохрани, чтобы мы содержали дом свиданий для лесбиянок! Даже для Фонда Корниша есть пределы. Симон, разберись, пожалуйста,

в этом вопросе.

— Правильно! Я оплачиваю совершенно дикие счета за шампанское и маленькие хорошенькие пирожные из кондитерских. Эти женщины прекрасно могут поддерживать свою страсть гамбургерами!

— Вы совершенно не правы, — вмешался Пауэлл. — Ничего подобного там не происходит. Нилла пробудила дремлющую нежность Шнак, и, скажу я вам, ребята, это был нелегкий труд. Куда теперь Шнак обратит свои разбуженные силы? По-моему, Сим-бах, она положила глаз на тебя.

Даркур вздрогнул. Его совсем не обрадовало, что Артур и Мария встретили предположение Пауэлла взрывом хохота.

— Не вижу, что тут смешного. Само предположение чудовищно.

— В любви не может быть ничего чудовищного, — заметил Пауэлл.

— Прости, Симон. Я вовсе не имел в виду, что в тебя нельзя влюбиться и что мысль об этом смешна. Просто Шнак... — Не договорив, Артур сложился пополам от смеха, закашлялся, и пришлось стучать его по спине.

— Тебе нужно перекрасить волосы и бежать на запад, — предложила Мария.

— Симон прекрасно сам за себя постоит, и он должен быть здесь, — сказал Пауэлл. — Он нам нужен. Если совсем приспичит, он может бежать, когда опера будет готова. В опере все дело. И в тех стихах, которые Симон читал Шнак. Вы видели, как она переменилась в лице?

— Это ты читал ей стихи, — возразил Даркур. — Ты, валлийский манипулятор, ты продеклами-ровал девочкам Эллу Уилер Уилкокс, и Ниллу чуть не стошнило (и правильно), зато Шнак все проглотила и запросила еще.

*…Но не оно, а сердца честный жар*
*На самом деле души подчиняет.*

Ты хотел пошутить, но Шнак приняла все за чистую монету.

— Потому что это правда. Банально, но правда. И надо полагать, это первые стихи в жизни Шнак, которые попали ей в самое сердце, как стрела Амура. Но именно ты прочитал настоящие стихи и подарил их Шнак для кульминации нашей драмы. Симон нашел слова для великой арии Артура, — пояснил он, обращаясь к Артуру и Марии. — Именно то, что надо. Подходящая эпоха и дивные стихи, в которых прекрасно сформулирована забытая истина.

— Ну-ка, Симон, давай послушаем, — сказал Артур.

Даркур вдруг застеснялся. Эти стихи точнейшим образом описывали положение людей, сидящих вместе с ним за столом; в стихах говорилось о благородстве, о верности и, как он незыблемо верил, о сущности самой любви. Симон не решился на полногласную бардовскую манеру, свойственную Пауэллу. Он тихо продекламировал:

*Блаженства служит нам залогом*
*Лишь чувство, посланное Богом.*
*Оно не жар воображенья,*
*Что остывает в свой черед,*
*Не жгучий пламень вожделенья,*
*Что, утолив себя, умрет.*
*В нем душ сродство и пониманье,*
*В нем уз и нитей сочетанье,*
*В нем сердце с сердцем, ум с умом,*
*Душа и тело – все в одном.*[365]

Слушатели молчали. Нарушила тишину Мария;

---

**[365] Примечания: 365**

*Блаженства служит нам залогом... душа и тело — все в одном.* — Скотт В. Песнь последнего менестреля. Песнь V, строфа 13. Перев. Вс. Рождественского.

как истинный научный работник, она принялась критиковать прозвучавшие слова, ибо так ее учили; верный критический инструментарий помогал ей свести поэзию к набору технических приемов и легко пренебречь содержанием. В умелых руках эта система могла укротить Гомера и обратить сонеты Шекспира в сырье для критиков. Эта система, единожды освоенная, пусть и с иными целями, навсегда освобождала ее носителя от любого влияния любого поэта, как бы он ни был благороден и о чем бы ни желал поведать миру.

— Херня! — сказал Пауэлл, когда Мария закончила.

И начался жаркий спор, в котором Пауэлл стоял насмерть за стихи, Артур помалкивал и о чем-то думал, а Мария твердо решила объявить всего Вальтера Скотта второсортным, а его легко льющиеся стихи — продуктом нескромной, поверхностной души.

«Она борется за свою жизнь, — подумал Даркур, — и извращенным образом использует орудия, полученные в университете. Но разве можно узнать что-нибудь о любви на лекциях и семинарах?»

Сам он в драку не полез. Это было несложно, так как вклиниться между Пауэллом и Марией

удалось бы только громким и упорным криком. Интересно, подумал Даркур, не было ли такой сцены в Камелоте? Случалось ли Артуру, Гвиневре и Ланселоту сойтись вместе и спорить о сделанном — и о том, что послужило ему причиной?

А если эти трое в самом деле современные версии главных героев великого рыцарского сюжета, как они выглядят в свете рыцарских законов? Рыцари — и, надо думать, их дамы тоже — должны были обладать двенадцатью рыцарственными добродетелями (или хотя бы стремиться к ним). Списков этих добродетелей известно много, причем разных, но во все списки входят Честь, Доблесть и Учтивость. Если вдуматься, у Артура, Марии и Пауэлла этих добродетелей хоть отбавляй. Упование, Справедливость и Упорство? Это испытание мужчины, похоже, выдержали лучше, чем Мария. Веру и Верность, видимо, лучше не обсуждать, раз Мария беременна. И о Целомудрии упоминать бестактно. Прямота, то есть искренность и отсутствие коварства: ею, видимо, в той или иной степени обладают все трое. Щедрость, нестяжательство, одно из первых добродетелей рыцаря, — главная идея Фонда Корниша. Все это шампанское и венские пирожные — не что иное, как щедрость, и огромные суммы денег, как раз

сейчас идущие на постановку оперы, — тоже. Но Милосердие — этой добродетелью, кажется, обладает только Артур, и она лишний раз проявляется в том, как он суетится вокруг беременной Марии. Мария же, кажется, напрочь лишена этого свойства. Или нет? Может быть, она встретила сэра Вальтера Скотта в штыки лишь из страха перед своими истинными чувствами? *Débonnaireté* — вот это хорошая добродетель для рыцаря, да и для любого, кто ею обладает: бодрость сердца, благородное равнодушие к мелким неприятностям, прямо сказать — *sprezzatura*. Пауэлл — образец этой добродетели; по временам его еще одолевают припадки красноречивого раскаяния в содеянном, но он уже стремится преодолеть их. Он рассматривает себя как со-отца, совместно с Артуром, и достойно играет эту роль.

Интересно, что тут кроется? Убежденный фрейдист почти наверняка объявил бы, что Артура и Геранта связывает тайное гомосексуальное влечение, получающее выход в обладании одной и той же женщиной. Но Даркур был не склонен к фрейдовским интерпретациям. В лучшем случае они — угрюмые полуправды; они на удивление мало что объясняют и исцеляют. Они ковыряют то, что Йейтс назвал «затхлой лавкой древно-

стей сердца моего», но не источают Аполлонова света, который Йейтс и многие другие поэты проливают на гноище человеческого сердца. Сэр Вальтер, столь откровенно писавший о своей милой Шарлотте, знал нечто такое, чего не знал несчастливо женатый венский мудрец. «Уз и нитей сочетанье».

Может быть, Артур тоже это знал. Мария устала спорить и явно готова была расплакаться.

— Пойдем, милая. Тебе пора спать, — сказал Артур.

И это окончательно решило вопрос с Милосердием.

## 4

Все канадцы ждут весны, но Даркур на этот раз ждал с особым нетерпеньем. Он не мог завершить поиски персонажей «Брака в Кане», пока не сошел снег, а в Блэрлогги снежный покров лежал и даже обновлялся вплоть до середины апреля.

Пока что Даркур проводил долгие часы в библиотеке, просеивая последние остатки бумаг из квартиры Корниша. Точнее, из трех квартир, битком набитых произведениями искусства. Вооружившись плодами своего биографического золотоискательства — сведениями о Корнишах,

О'Горманах, Макрори, их чадах и домочадцах, — Даркур смог опознать почти всех персонажей великой картины.

Кое-кого из них «опознавали» и раньше. Даркур вызубрил почти наизусть статью Эйлвина Росса, опубликованную двадцать пять лет назад в «Аполло». Она довершила репутацию Росса как великого искусствоведа и убедила всех, что молодого канадца надо принимать всерьез. Каким, должно быть, хитроумным считал себя Росс, усмотрев параллель между картиной и Аугсбургским соглашением 1548 года между католиками и протестантами. Как убедительно он доказывал, что на картине изображены граф Майнхард из Дюстерштейна со своей графиней, ученый Иоганн Агрикола и Парацельс! Последнее было чрезвычайно знаменательно, так как портретов Парацельса известно крайне мало. И даже веселого карлика Росс опознал совершенно точно, ибо не сомневался, что он — «Дурачок Гензель», который, без сомнения, был не кем иным, как знаменитым карликом-шутом в услужении у банкирской семьи Фуггеров. Такая романтичная история тронула бы и сердце сэра Вальтера Скотта. Но Даркур теперь знал, что все это чушь и чепуха.

«Граф Майнхард с графиней» были, несомненно, родителями Фрэнсиса Корниша, а Иоганн Агрикола — преподавателем из Колборн-колледжа, впервые направившим стопы Фрэнсиса на путь исторических изысканий: его фотография нашлась между страницами рисовального блокнота Фрэнсиса эпохи Блэрлогги. Как там его звали? Рамзи. Данстан Рамзи. Что же до Парацельса, востроглазого человечка в мантии врача, со скальпелем в руках, сомнений быть не могло: это доктор Джозеф Амброзиус Джером, о котором Даркур знал только, что он был семейным врачом Макрори и дедушка Макрори его однажды сфотографировал. На фотографии доктор сидел, держа в одной руке скальпель (именно такой, как на картине), а другую положив на человеческий череп.

Наброски. Их были десятки, и у многих нашлись двойники среди «солнечных картин» дедушки. Карлик — это, несомненно, Франсуа Ксавье Бушар, маленький портной из Блэрлогги. Дедушка запечатлел его полностью одетым, но Фрэнсис нарисовал лежащим на столе, совершенно голым и явно мертвым. Может, видел его у бальзамировщика? Среди ранних рисунков обнаженной натуры попадались намеки

— лишь абрис из нескольких линий, но весьма красноречивый — на человека, напоминающего *huissier* с картины. На картине он стоял с кнутом, а дедушка сфотографировал его возле упряжки отличных лошадей. Представительный мужчина, но потрепанный жизнью. На всех рисунках у него в глазах светилась жалость — к мертвым, но также и рыцарственное сострадание ко всему человечеству.

Наброски и фотографии, раскопанные Даркуром в университетской библиотеке, в совокупности с этюдами, по прямому распоряжению Фрэнсиса Корниша отосланными в Национальную галерею, создали полную картину. Две женщины, спорящие над кувшинами с вином, между которыми стоит коленопреклоненный Христос: конечно, это мисс Мэри-Бенедетта Макрори, тетя Фрэнсиса, а ссорится она с дедушкиной кухаркой, Викторией Камерон. О чем же они могли спорить? Поскольку сцепились они над фигурой Христа, возможно, Он и был причиной их несогласия. А кто же святой Иоанн, с пером и чернильницей? Его опознать не удалось, но, может быть, с годами секрет раскроется. Что до выразительного портрета Иуды, вцепившегося в денежный кошель, тут секрета не было: во

Фрэнсисовых альбомах дюстерштейнской эпохи хватало изображений этого человека, чтобы опознать в нем Танкреда Сарацини, крестного отца Фрэнсиса в живописи, двусмысленную фигуру, «серого кардинала» в мире искусства сорокалетней давности: гениального реставратора картин, который, может быть, иногда заходил чуть дальше простой реставрации.

Были на картине и другие люди, которые совсем не поддавались опознанию или позволяли только строить догадки. Например, толстый купец с женой: это мог быть Джеральд Винсент О'Горман, известный по своим блэрлоггским делам как хитроумный делец на службе Корниш-треста; женщина, соответственно, Мэри-Тереза Макрори, в начале жизни — истовая католичка, позднее же — сияющий светоч среди торонтовских англикан. Но что за женщина держит астрологическую карту? Ее не оказалось нигде — ни на фотографиях, ни среди набросков. А эти кошмарные дети на заднем плане? Видимо, юные жители Блэрлогги, но со злыми, порочными лицами, особенно ужасными у детей. Они как будто говорили нечто о детстве — такое, что не часто услышишь.

Центральные фигуры картины — разумеется, жених и невеста — не представляли собой

никакой загадки и не оставляли места для сомнений. Они напоминали, но никоим образом не имитировали чету Арнольфини на портрете Ван Эйка. Сходство крылось в пристальных взглядах, в серьезности лиц. Невеста, конечно же, Исмэй Глассон. Даркур перевидал ее на сотнях набросков, голую и одетую, и уже знал не хуже любого другого лица в мире ее лицо — не то чтобы красивое, но отраженный на нем напор чувств притягивал сильнее любой красоты. Это — жена Фрэнсиса, мать Малютки Чарли, беглянка, фанатичка; Фрэнсис на картине простирал к ней руку, но не касался ее — она как будто отстранялась, устремив глаза не на мужа, но на красивого молодого человека, нарисованного в облике святого Иоанна.

Мужем был Фрэнсис Корниш. Исповедь в форме автопортрета. Изображений Фрэнсиса сохранилось мало: если не считать этой картины, он никогда не рисовал себя, и никто из современников не счел его достаточно интересным, чтобы сделать хотя бы набросок. Дедушкины фотографии запечатлели хрупкого темноволосого мальчика, уродливо одетого — по моде его детства и юности. Фрэнсис в матроске стоит на огромном стволе поваленного дерева, над груп-

пой могучих бородатых лесорубов; Фрэнсис в лучшем воскресном костюмчике сидит у стола, на котором лежат его четки и молитвенник; Фрэнсис щурится от солнца на улицах Блэрлогги. Фрэнсис рядом с красавицей-матерью ежится в неудобном крахмальном воротничке. Несколько групповых фотографий времен Колборна, запечатлевших Фрэнсиса как получателя каких-то наград. Снимок с любительской театральной постановки — похоже, студенческого капустника: Фрэнсис, худой и длинный, торчит в заднем ряду, среди помощников режиссера и оформителей; его едва видно из-за девушек в коротких юбках и мальчиков в блейзерах, которые явно напелись и натанцевались всласть. Но все это ровно ничего не говорило о Фрэнсисе Корнише.

А вот на картине «Брак в Кане» его фигура доминировала; вся остальная композиция была привязана к ней. Ни расположение, ни позу нельзя было бы назвать агрессивными; фигура на картине вовсе не кричала: «Поглядите на меня!» Но пристальный взгляд этого мужчины, одетого в коричневые и черные тона, вновь и вновь притягивал зрителя, как бы того ни интересовали другие персонажи картины. Чаще всего автопортреты впиваются глазами в зрителя. Художник,

рисующий себя, обычно глядится в зеркало и потому вынужден хотя бы одним глазом смотреть прямо в глаза смотрящему. Чем больше не по себе художнику, тем пронзительней становится взгляд. Рембрандтов, смеющих рисовать себя как есть, — мало. Фрэнсис на картине смотрел не на жену: его взгляд был направлен за пределы холста. Но он глядел не в лицо зрителю, бросая ему вызов, а куда-то поверх голов. Лицо было серьезное, почти печальное, и по контрасту с другими людьми на картине — уклончивой, слегка надутой невестой, неуемно жаждущим приключений святым Иоанном, важными Рыцарем и Дамой, двумя спорящими женщинами, старым ремесленником (дедушкой Макрори в образе святого Симона Зилота, с плотницкими инструментами в руках) — казалось, что Фрэнсис смотрит из их мира в какой-то другой, свой собственный мир. Даркуру приходилось видеть такой взгляд у старого Фрэнсиса, которого он знал.

Последним — хотя нет, не совсем последним — персонажем картины была женщина, стоящая рядом с новобрачными. У нее одной на всей картине был нимб. Богоматерь? Да, рамки сюжета требовали, чтобы она присутствовала на картине. Но может статься, вернее было бы назвать

ее Великой Матерью. Как мать всех и вся, она не обязана была походить ни на кого в отдельности. Ее серьезная красота была всеобъемлющей, а улыбка сияла безмятежностью, взмывающей превыше мирских забот.

Призвана ли эта безмятежная улыбка исцелить боль, явно сквозящую в изображениях жениха и невесты? Жених на картине протягивал кольцо, желая надеть его на безымянный палец левой руки невесты, а та словно отстранялась или, может быть, отдергивала руку. Даркуру, уже знающему многое и совершившему погружение в «солнечные картины» и бесчисленные копии чужих рисунков, наброски и собственные рисунки Фрэнсиса — все, что осталось от истины Фрэнсисовой жизни, — эта необычайная картина казалась аллегорией гибели человека, уничтожения его духа. Неужели норовистая беглянка Исмэй в самом деле так сильно ранила Фрэнсиса? После этой картины он до конца жизни не брался за кисти всерьез.

*Неужто я зачахну и угасну*
*Лишь потому, что женщина прекрасна?*

Автор этих строк и стоящей за ними философии

легкого отношения к любви был душой крепче Фрэнсиса. Но не все мужчины и не все влюбленные обладают крепостью души. Даркуру казалось: Фрэнсис умер не потому, что Исмэй решила идти за собственной звездой. Что-то внутри Фрэнсиса было смертельно ранено, и смерть, нагнавшая его много лет спустя, одного в захламленной квартире, стала второй по счету; Даркур не мог бы сказать, которая из смертей, первая или вторая, стала в большей степени прекращением бытия.

Даркур охотно признавал, что несведущ в любви. Юношей он не влюблялся — разве лишь поверхностно. Он не знал иных страстей, кроме любви к Марии — как он теперь понимал, безумия, от которого ему посчастливилось излечиться. Но у него был дар, нечастый у людей, умеющих глубоко чувствовать, — способность понимать и радости, и убийственные удары судьбы, постигающие других. Чем дольше он смотрел на большую репродукцию всей картины и на увеличенные фрагменты, иллюстрирующие гениальную и совершенно ошибочную статью в «Аполло», тем больше задумывался, не нанесла ли Мария, питающая под сердцем ребенка Пауэлла, именно такой удар Артуру Корнишу. Если это правда, то Артур держится на удивление хорошо,

но он потерял всю свою *débonnaireté*. Безусловно, Артур — Великодушный Рогоносец. Но он уже не тот кристально четкий, щедрый и безжалостный человек, каким был при первом знакомстве с Даркуром. Если это так — кого винить? Чем больше узнавал Даркур, тем менее был склонен винить или хвалить кого бы то ни было.

А вот самой последней фигуре на картине придется ждать до весны — тогда ее, может быть, получится опознать раз и навсегда.

Это был ангел, летящий над головами супругов и Всеобщей Матери на центральной панели триптиха. Может быть, не совсем ангел, но почему он тогда висит в воздухе без помощи ангельских крыльев? С первого взгляда казалось, что он пускает насмарку всю композицию. Прочие фигуры на картине были человечны, нарисованы с любовью, иногда прекрасны, иногда благородны, иногда самодовольны, иногда — как святой Симон — мудры мудростью превыше мирской. А летающее создание было смешным и страшным. Заостренная головка, почти идиотическое выражение лица, явные признаки больного ума и уродливого тела — все в нем было неуместно. И все же чем больше зритель смотрел на это существо, тем больше казалось, что оно на своем

месте и незаменимо для высказывания, которым была эта картина.

Изо рта существа выходил свиток, отчасти похожий на облачко со словами, как в комиксах. Надпись на свитке гласила: «Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc». Не очень элегантно звучит, но эти слова сказал распорядитель пира жениху на свадьбе в Кане: «А ты хорошее вино сберег доселе»[366]. Первое чудо Христа; загадка, ибо ничто в Евангелиях не намекает, что тайна была известна кому-либо, кроме Христа, Его Матери и нескольких слуг.

Может быть, эта картина тоже предмет великой красоты и загадка? Шутка, очень глубокая и серьезная шутка над будущими зрителями?

Апрель принес ответы, как и надеялся Даркур. Он совершил мучительное путешествие на поезде в Блэрлогги, а там, вооружившись лопатой, метлой и фотоаппаратом, отправился на католическое кладбище и вновь поднялся на мрачный голый холм, чтобы навестить семейный участок Макрори. Там высились три больших, безвкусных памятника — сенатору, его жене и Мэри-Бенедетте Макрори. Но были тут и несколько надгробий

---

**[366] Примечания: 366**

*…«А ты хорошее вино сберег доселе».* — См. примеч. 347.

поскромнее. Один был даже не надгробием, а просто мемориальным камнем в честь некоего Зейдока Хойла — надпись на камне именовала его верным слугой семьи. И вот оно — в дальнем конце, за большим каменным надгробием: небольшая мраморная плита. Вровень с землей. Даркур счистил с нее остатки снега и льда, наслоения лишайника, и открылась короткая простая надпись: ФРЭНСИС.

Вот оно, значит. Среди набросков детских лет Фрэнсиса попадалось изображение уродливой фигуры, заключенной в кровать — почти клетку. Жалкий урод, из тех, что злые люди называют «безмозглыми», — пустой взгляд, редкие волосы, выражение лица (если это можно так назвать) пробудили бы искру жалости и у людоеда. Эти наброски — торопливые, но очень живые — помечались только буквой «Ф». Кроме одного, на котором рукой мальчика, желающего, но еще не умеющего быть каллиграфом, почерком, явно скопированным с какой-нибудь королевской подписи, значилось: «Фрэнсис Первый».

Фрэнсис Первый? Ну вот, подумал Даркур. Теперь я знаю все, что мне нужно, и, наверно, больше мне и не суждено узнать. Воистину хорошее вино сберегли до последнего.

## 5

— Краны должны прийти, — сказал голос Уинтерсена в телефоне. — Они собирались сегодня прибыть.

Какие краны? Водопроводные? Звонок завкафедрой оторвал Даркура от работы над биографией, и ему не сразу удалось переключиться на заботы, волнующие Уинтерсена. Так какие там еще краны? Ах да! Краны. Ведь Даркур сам согласился, чтобы какие-то люди по фамилии Кран приехали из университета на западном побережье США, чтобы сделать что-то непонятное, связанное с постановкой оперы! Но это было уже давно, несколько месяцев назад, и Даркур, дав согласие и четко обозначив, что Фонд Корниша не заплатит этим Кранам ни копейки, выкинул их из головы. Он предпочитал решать проблемы по мере их возникновения. И вот теперь Краны должны были приехать.

— Вы про них, конечно, помните, — сказал завкафедрой.

— Не совсем…

— Они — асессоры из университета Помело, — сказал Уинтерсен. — Мы согласились, что они будут наблюдать за постановкой оперы. Про опе-

ру вы, надеюсь, помните?

О да! Про оперу Даркур помнил. Кто, как не он, трудился не разгибаясь над либретто уже четыре месяца?

— Но за чем они собираются наблюдать? — спросил Даркур.

— За всей постановкой. За всем, что связано с оперой, — от того, как Шнак пишет музыку, до последней детали декораций на сцене. А потом — за реакцией критиков и публики.

— Но зачем?

— Чтобы Эл Кран мог защитить диссертацию. Он учится на кафедре режиссуры в Помело и специализируется по опере. Когда он соберет все нужные материалы, то сделает *Regiebuch*[367] и представит ее на защите.

— Что сделает?

– *Regiebuch*. Это по-немецки. Там будут все никому не нужные подробности о постановке оперы.

— С ума сойти! Он похож на фигуру Божественного Всеведения из средневековой пьесы. А доктор Даль-Сут знает? А Пауэлл?

— Наверно, знают. Вы же наш связной. Во всяком случае, я так понял. Разве вы им не сказали?

---

**[367] Примечания: 367**

Букв. «Книга режиссуры», суфлерский экземпляр пьесы с режиссерскими указаниями и купюрами *(нем.)*.

— По-моему, я не знал. Или не осознавал в полной мере.

— Тогда надо им сообщить как можно скорее. Эл и Мейбл сразу приедут к вам. Они горят энтузиазмом.

— Кто такая Мейбл?

— Затрудняюсь сказать. Она не то чтобы миссис Кран, но они вместе. Ничего страшного. Они не пропадут, у Эла большой грант от Фонда передовых исследований университета Помело. Кафедры музыковедения разных университетов часто оказывают друг другу такие взаимные услуги. Все будет хорошо.

Как легкомысленно Уинтерсен относится к подобным делам! Без сомнения, в этом секрет пребывания на посту завкафедрой. Часа через два после его звонка Даркур смотрел на Эла и Мейбл Кран, сидящих у него в кабинете, и думал, что хорошо, похоже, не будет.

Нельзя сказать, что Краны источали угрозу. Отнюдь. У них был выжидающий взгляд, хорошо известный Даркуру и свойственный определенному типу студентов. Они хотели, чтобы сделалось нечто, и ждали от Даркура, чтобы он это организовал. Им было лет по двадцать пять, но они сохраняли незрелый, студенческий

вид. Похоже, они путешествовали налегке и без особых церемоний. Стояла еще прохладная канадская весна, но Эл Кран оделся как будто с расчетом на жару. На нем были брюки чино, очень мятый пиджак из хлопка в блестящую полосочку и грязная рубашка. Нагрудный карман пиджака отвис под тяжестью нескольких шариковых ручек. Сандалиям, надетым на босу ногу, осталось, похоже, недолго. Впалые щеки покрывала темная двух-трехдневная щетина. Что же до Мейбл, то при взгляде на нее первым делом бросалась в глаза ее чудовищная беременность. Нерожденный ребенок уже словно сидел у нее на коленях. Как и Эл, Мейбл оделась с расчетом на лето в южной Калифорнии, и с обувью у нее тоже были явные проблемы. Оба улыбались по-собачьи — словно надеясь, что их погладят.

Но Эл знал, чего хочет. Он хотел провести несколько дней с Хюльдой Шнакенбург, чтобы разобрать с ней все ноты оперы и исследовать все материалы Гофмана, которые он называл «документация». После этого он хотел провести несколько дней с доктором Даль-Сут — Эл сказал, что ее присутствие «просто шикарно». Сама возможность поговорить с доктором чрезвычайно обогатит его опыт участия в проекте. Еще Элу

нужен был доступ к ксероксу, чтобы снять копии со всего — с каждого дюйма бумаг Гофмана, с каждого черновика Шнак, с каждой страницы законченной партитуры. Он хотел проработать либретто с тем, кто его писал, и сравнить со всеми доступными материалами Планше, на которые опирался (или не опирался) либреттист. Он хотел поговорить с режиссером, оформителем, осветителем и артистами. Он хотел получить копии всех декораций и всех отвергнутых эскизов декораций. Он хотел сфотографировать сцену, на которой будет ставиться опера, и обмерить ее со всех сторон.

— Это для начала, — объяснил он. — Потом, конечно, я буду сидеть на всех репетициях и музыкальной подготовке. И мне нужно будет получить резюме всех участников. Но сейчас мы хотели бы узнать, где мы будем жить.

— Понятия не имею, — сказал Даркур. — Поговорите с Уинтерсеном, это заведующий кафедрой. В городе полно гостиниц.

— Боюсь, гостиница нам не по карману, — сказал Эл. — Нам приходится следить за деньгами.

— Насколько я понял Уинтерсена, у вас большой грант от Помело.

— Большой для одного, — объяснил Эл. — Ед-

ва-едва для двоих. Точнее даже, для троих. Сами видите, что с Мейбл.

— О Эл, ты думаешь, кто-то что-то напутал? — воскликнула Мейбл.

Даркур встревожился, поняв, что она из породы плакс.

— Не беспокойся, Лапуля, — утешил ее Эл. — Я уверен, что профессор все устроил.

«Разбежался», — подумал Даркур. Когда-то — до того, как Даркур осознал себя Дураком — он ринулся бы в бой и принял на себя полную ответственность за этих младенцев, затерявшихся в лесу. Но Дураку приходилось нести иную ношу. Так что он назвал Кранам имя секретарши Уинтерсена и телефон доктора Даль-Сут и благодаря хорошо развитой профессорской силе духа — духовному эквиваленту китайского цигуна — приподнял их со стульев и удалил из своего кабинета.

Они ушли, обильно благодаря и уверяя, что с нетерпением ждут новой встречи. По их словам, само знакомство с ним было просто потрясающим.

## 6

Даркур не знал, как рассказать Артуру и Марии об открытии, теперь уже несомненном, подлинной сути «Брака в Кане». Да, Фонд Корниша никоим образом не финансировал написание биографии Фрэнсиса Корниша, но дружба с Артуром и Марией, а также простая порядочность по отношению к семье, с которой Даркур был тесно связан, требовали, чтобы он сообщил им о находке раньше, чем княгине Амалии и князю Максу. Картина принадлежит княгине и князю, а кто знает, как они отреагируют на новости о своем сокровище? Сочтут Даркура гениальным детективом от искусства или решат, что он чересчур бесцеремонно развенчал фальшивку? А если картина — фальшивка, ее владельцы понесут денежные потери? Все это тяготило Даркура, но хуже того — Корниши были чрезвычайно щепетильны во всем, что хоть как-то касалось незапятнанной репутации их финансовой империи, и могли повести себя непредсказуемо. Так что Даркур тянул время, расставлял точки над «i» в бумагах и надеялся, что благоприятный момент представится сам.

Благоприятный момент настал внезапно, и

решение пришло, откуда его не ждали. Уолли Кроттеля поймали на сбыте марихуаны школьникам. Он бойко торговал косяками во дворе школы имени губернатора Симко, и кое-кто из школьников с характерной для некоторых детей смесью невинности и глупости направлялся домой, гордо попыхивая. Но полицейские не успели заковать Уолли в наручники, он рванулся к свободе — и попал под машину. Он сильно пострадал и теперь лежал в Центральной больнице. У дверей палаты дежурил полицейский, и Уолли ничего не оставалось делать, как лежать и читать книгу — «Миддлмарч», как мистер Карвер сообщил Даркуру. Весьма неожиданный выбор. Это мистер Карвер сообщил полиции о побочном заработке Уолли и откровенно радовался постигшей Уолли каре.

— Надо сказать, что у него все было на мази, — рассказывал мистер Карвер. — Он растил травку в углу автостоянки за зданием меблированных комнат, где жил сам. Маленький клочок, но на пару косяков много травки и не надо, к тому же Уолли щедро добавлял мяту — и чтобы вышло побольше, и чтобы запах детям нравился. У него неплохо шли дела — ну, для его масштабов. Не знаю, где уж детишки брали деньги, чтоб ему за-

платить, но в том районе много небедных семей, и еще, я думаю, кое-кто из детей перепродавал его товар в розницу своим одноклассникам, разбодяживая сушеной травой и бог знает чем еще. Вот ведь засранцы! Подумать только: дети-пушеры! Но мы живем в очень странном мире, профессор.

— Да уж. А вы-то как узнали про Уолли?

— В том доме, где у мистера и миссис Корниш пентхауз, в подвале, живет один тип — я уже много лет его знаю. Он выглядит почти как бомж, но на самом деле вовсе не бомж. По-моему, у него был зуб на Уолли — тот все крутился вокруг их подвальной квартиры, пытался выяснить, как это так получилось, что мой знакомый и его сестра там живут. А она — экстрасенс, по временам помогает полиции, когда надо. Да-да, мы в полиции не брезгуем подсказками от экстрасенсов, иногда они очень полезны. В нашем деле никакой информацией нельзя пренебрегать.

— Как вы думаете, Уолли тяжко придется на суде?

— Этот жулик Гуилт, конечно, трудится вовсю. Он собирается заявить, что Уолли происходит из неблагополучной семьи и все такое. Сделает все возможное, чтобы продержать Уолли в больнице, пока не подвернется судья подобрее. Только чер-

та с два! Когда речь идет о продаже наркотиков детям, добрых судей не бывает. Уолли всласть наотдыхается за счет королевы[368].

— А конкретнее?

— Ну, в законе сказано, что за сбыт можно получить пожизненное. Пожизненного, конечно, не дадут, но могут дать много. Будем оптимистами. Допустим, Уолли выйдет из больницы хромой, или с дыркой в голове, или еще с чем-нибудь таким же зрелищным. Тогда, может быть, судья его пожалеет. Конечно, его все равно посадят, но, если он будет хорошим мальчиком, настучит на пару-тройку своих дружков, хорошенько подлижется к тюремному начальству и капеллану, лет через семь он, может быть, снова окажется на улице. Но ни минутой раньше. Я бы надеялся на девять-десять. Сбыт наркотиков детям — на это очень, очень косо смотрят. Как говорят китайцы, Уолли потерял лицо. Ваша знакомая с книгой, про которую он тогда ныл, может о нем забыть. Кстати, как поживает эта приятная дама?

— Она ждет ребенка.

— Прекрасно! Передайте ей мои наилучшие пожелания.

---

**[368] Примечания: 368**

*Уолли всласть наотдыхается за счет королевы.* — То есть за счет государства. См. примеч. 307.

В тот же вечер Даркур поспешил к Корнишам, думая, что это сообщение подготовит благоприятную почву для настоящей новости. Но его ждал неприятный сюрприз: Пауэлл прибыл раньше его и уже устроился как дома. При нем Даркур никак не мог обсуждать историю «Брака в Кане». Но он рассказал Артуру и Марии о судьбе Уолли и прогнозе Карвера.

— Бедный Уолли, — сказала Мария.

Артур был потрясен:

— Бедный!.. Мария, ты что, не понимаешь? Это полностью решает вопрос с книгой! Уолли теперь ничего не добьется в суде.

— Разве суды не должны судить нелицеприятно, если кто-то пал жертвой несправедливости?

— Они, конечно, должны, но они этого не делают. Отныне об Уолли можно забыть.

— Вы, мужчины, удивительно жестокосердные существа. Неужели для тебя главное — чтобы вышло по-твоему, даже ценой страданий ближнего?

— Я ни в коей мере не возражаю, чтобы выходило по-твоему, ценой страданий любого ближнего. Кроме меня, конечно, — ответил Артур.

— Уолли страдает по собственной глупости, — вмешался Даркур. — Пытался сбежать от поли-

цейских при аресте! О эти непрофессионалы! Совершенно очевидно, что преступник из него никакой.

— А ты бы на его месте не попытался сбежать?

— Если бы я околачивался по школьным дворам, толкая травку детям? Я бы думал, что делаю. Будь я преступником, я бы старался использовать мозги, которые дал мне Бог.

— Ну ладно. Уолли — паршивая овца. И притом глупая. Но разве пристало тебе, христианскому священнику, насмехаться и превозноситься? Где твое сострадание?

— Мария, прекрати изображать Всеобщую Матерь и источать сострадание, как сломанная труба — воду. Ты шутишь. На самом деле ты радуешься не меньше нашего.

— Я действительно вскоре стану матерью и считаю, что сострадание мне пристало. Я знаю свою роль.

Мария улыбнулась деланой улыбкой Мадонны.

— Отлично! Тогда я тоже буду играть свою роль. Артур, звони своему адвокату, пускай он защищает Уолли. А я пока свяжусь с газетными сестрами-плакальщицами, пускай прольют пару слез о горькой участи Уолли. Герант, ты

подай от его имени жалобу на нарушение Хартии прав и свобод. Уолли работал в этом здании, а следовательно, был наемным работником Корниш-треста, главой коего является Артур. Следовательно, Артур должен броситься на помощь жертве нашей социальной системы. Мария, готовься выступить в суде — беременная, под вуалью. Расскажешь, каким милым всегда был Уолли и как он страдал комплексом анонимности оттого, что Уистлкрафт отказался дать ему свою фамилию. Уолли, конечно, все равно посадят, но зато он доплывет в тюрьму, а потом выплывет оттуда на волне наших слез. Конечно, мы никому не скажем, как Уолли пытался растрясти вас на миллиончик. Ну-ка, давайте за дело. Наверняка у вас во дворце не один телефон.

— О, я вовсе не предлагала что-либо делать, — запротестовала Мария. — Я только хотела, чтобы мы говорили о нем с бóльшим состраданием.

— Сим-бах, ты не понимаешь современной концепции сострадания. Это пассивная добродетель. Я вот понимаю, что хочет сказать Мария: давайте все пожалеем Уолли и, может, пошлем ему в кутузку апельсинов. А если кто и должен жестоко обращаться с преступниками, это все ужасные полицейские и бяки-судьи. За то мы им

и платим. Чтобы нам жилось уютненько. Мы раздавим Уолли, как червя, но нам не обязательно пылать к нему гневом и мщением — у нас есть слуги, которые берут это на себя.

— Вот новая грань философии кота Мурра, — заметил Даркур. — Спасибо, Герант-бах, что просветил меня.

— После того как родится ребенок, я хочу написать целый том про кота Мурра, — сказала Мария. — Гофман, можно сказать, и не начал с ним разбираться. Кот Мурр на самом деле — величайший социальный философ нашего времени.

Лучшего Даркур и желать не мог. Это была почти прежняя Мария, вдохновляемая Франсуа Рабле; Мария, чей дух, просвещенный животворящим юмором, стремился к высотам научного познания. Даркуру показалось, что и Артур выглядит чуть лучше. Неужели на семейство Корнишей снизошло некое спокойствие? Однако Пауэлл по-прежнему был тут и, кажется, устроился надолго.

— Мне скоро уходить, — сказал он, — но пока что дайте насладиться мирным покоем вашего дома. Это единственное место, где до меня не доберется ужасный Эл Кран.

— От него и тут не укрыться, — заметил Ар-

тур. — Вчера ночью Эл и Лапуля явились сюда, и он допрашивал меня два часа. И каждый раз тратил пять минут, чтобы сформулировать очередной вопрос. Выражаясь современным языком, Элу не хватает вербальных навыков; а по-простому, он косноязычен. Он принес магнитофон, так что все его «э-э-э» и «мм» навеки останутся в анналах истории. Он хотел знать, какова была моя «мотивация», когда я решил поддержать оперу средствами фонда. Он не понимает, что люди совершают поступки по совокупности причин; ему нужна одна большая, толстая мотивация. Он говорит, что это будет значительная, оплодотворяющая нить в сложном разнообразии артистического вдохновения. Он хочет выявить все нити, сплетающиеся в сложный гобелен, который есть искусство, — это я его слова цитирую, как вы поняли, — но некоторые нити, очевидно, являются более оплодотворяющими, чем другие, а моя нить просто невероятно оплодотворяющая. Она может оказаться основой — или даже утком — всего гобелена. Я думал, упаду в обморок со скуки, но мне все-таки удалось его выпроводить.

— Артур не один страдал, — вмешалась Мария. — Все время, пока Эл мучил его, Лапуля изводила меня — я думала, с ума сойду, пока она

сначала благодарила меня за прием в нашем Гостеприимном Доме, а потом завела шарманку о том, что она назвала Нашим с Вами Положением. При беременности может тошнить по разным причинам, но, кажется, Лапуля ни одной не пропустила.

— О, Лапуля от тебя в восторге, она сама мне сказала, — заверил Даркур. — Конечно, потому, что ты тоже ждешь ребенка. Ты и она, глубоко беременные, — это, как она выразилась, «объективные корреляты»[369] трудов по рождению нашей оперы. И твой ребенок, и ее ребенок, и наша опера должны появиться на свет примерно в одно и то же время.

— Избавь меня от научных прозрений Лапули, — попросила Мария. — Она ничей не объективный коррелят, и она мне противна — людям всегда противны пародии на них самих. Она ждет, что я распахну ей объятия как товарке по тягости, но, если она обрушит на меня еще хоть чуть-чуть сестринской любви, у меня будет выкидыш. Она непременно истолкует это как

---

**[369] Примечания: 369**

*Объективный коррелят* — в поэзии способ передачи субъективных переживаний в интеллектуальной, универсальной форме, а не в индивидуально-чувственной, характерной для романтизма; термин введен Т. С. Элиотом.

дурное предзнаменование для нашей оперы, так что, боюсь, будет недовольна. Но я больше не пущу ее и на порог своего Гостеприимного Дома.

— В Гостеприимном Доме Ниллы их не особенно любезно приняли, — сказал Пауэлл. — Нилла не знает, что такое асессор, а я не могу ей объяснить. Я всегда думал, что это означает должностное лицо, облеченное судебной властью. Сим-бах, что в точности значит асессор?

— Это нечто новое в научном мире. Человек, который наблюдает за тем, как что-то делают, и составляет чрезвычайно подробный отчет; он как бы испытывает все те же чувства, что и творцы, но при этом ничего не творит. Нечто вроде лицензированного соглядатая.

— Но кто выдает ему лицензию? — спросил Артур.

— В этом случае, видимо, Уинтерсен. Он говорит, что наблюдение за созданием оперы неизмеримо обогатит Эла, а если Эл превратит свою диссертацию в книгу, это увековечит чрезвычайно интересный и глубоко оплодотворяющий опыт.

— Нилла недовольна, — заметил Пауэлл. — Она знает только одно значение слова «оплодотворяющий» и считает, что Эл несет похабщину в

стиле, типичном для мужских шовинистов. Она решительно заявила ему, что в их со Шнак работе нет и не будет ничего оплодотворяющего, а когда он начал спорить, обошлась с ним весьма резко. Сказала, что у нее нет времени на ерунду. Лапуля разразилась слезами, а Эл сказал, что прекрасно понимает всю меркуриальность артистического темперамента, но акт творения является оплодотворяющим, а его задача — понять природу этого акта в силу своих возможностей. Кажется, он считает, что его возможности весьма широки. Надеюсь только, что он не сыграет роль презерватива в нашем оплодотворяющем акте.

— Не беспокойся, — сказал Артур.

— Я и не беспокоюсь. Нилла и Шнак работали как лошади. На самом деле я не удивлюсь, если Уинтерсен пригласил этих соглядатаев, чтобы они измерили всю энергию, затраченную участниками проекта. А кстати, он-то сюда каким боком?

— Он завкафедрой музыковедения, — объяснил Даркур. — Думаю, он видит себя крупным оплодотворителем культурных проектов. А вы знаете, что Эл и Лапуля ходили к Пенни Рейвен?

— Как к соавтору либретто?

— Соавтор она, как же! Если соглядатаи хотят

узнать про нашу работу, они ко мне должны обращаться. Но Пенни — закаленный профессорский кадр. Она навешала Кранам высокоученой лапши на уши. Потом позвонила мне и так хохотала, что едва могла говорить. Цитировала «Охоту на Снарка», как всегда.

— Опять этот «Снарк», — заметил Артур. — Надо будет все-таки его прочитать. Что она сказала?

— Эта поэма — просто удивительный источник цитат.

*И со свечкой искали они, и с умом,*
*С упованьем и крепкой дубиной,*
*Понижением акций грозили притом*
*И пленяли улыбкой невинной.*[370]

— Невинные улыбки — это по части Лапули, — сказала Мария. — Интересно, смогу ли я удержаться и не убить ее каким-нибудь хитроумным способом. Какие есть способы убить и не попасться?

— А при чем тут вообще Лапуля? — спросил Артур. — Они что, вместе занимаются этим асессорством?

---

**[370] Примечания: 370**

*И со свечкой искали они, и с умом... и пленяли улыбкой невинной.* — Кэрролл Л. Охота на Снарка. Перев. Г. Кружкова.

— Ответ знает Холлиер, — сказал Даркур. — Они и к нему ходили, но ничего не добились. Он, однако, исследовал их весьма тщательно. Он говорит, что, по его мнению, Лапуля — в антропологическо-психологическо-исторических терминах — представляет собой Внешний Образ Души Эла.

— Какая ужасная мысль, — заметила Мария. — Представьте, каково смотреть в слезливые глаза Лапули и говорить себе: «Боже, это — лучшая часть моего „я“!» Лапуля говорит, что Эл не хочет без нее делать ничего важного. Не помню, говорила ли она, что она — его муза. Но с нее станется.

— Лучше бы я не знал «Охоту на Снарка», — пожаловался Пауэлл. — Я по уши увяз в постановке оперы, а у меня все время крутится в голове:

*Все же править пришлось в основном на авось.*

*Бедный Кормчий промолвил уныло:*

*«Коль подул ветерок прямиком на восток,*

*Мы, поди, не на запад поплыли!»*

— Герант, ты, случайно, не намерен поднять лапки? — спросил Артур.

— Нет, не намерен. Не больше обычного для этой стадии любой крупной постановки. Но я

просыпаюсь ночью в холодном поту и вижу себя в образе Кормчего. Понимаете, у нас все готово. Партитура, певцы, декорации — все. И наконец я должен приступить к тому, что Эл называет оплодотворяющей частью. Если будет на то милость Господня, мне хватит сил для этого оплодотворения. А теперь я с величайшей неохотой должен покинуть вашу уютную норку и вернуться за свой рабочий стол. Мне еще надо утрясти миллион деталей.

Он неловко поднялся со стула. «Он все еще хромает, — подумал Даркур. — Это идет к его байронической личности. Он даже скользящую походку выработал, чтобы скрыть хромоту, — совсем как Байрон. Интересно, он сознательно ему подражает или просто по-другому не может?»

Когда Пауэлл очистил поле боя, настало время выложить новости о «Браке в Кане». Даркур старался рассказывать как можно убедительней: он хотел открыть своим друзьям новый мир, а не испугать их внезапным взрывом. Он впервые рассказал им, как ездил к княгине Амалии с целью убедиться, что ее рисунок старого мастера — на самом деле ее собственный портрет в девичестве, сделанный человеком, в которого она была по-детски влюблена. Даркур решил не

упоминать о том, что обокрал университетскую библиотеку и даже Национальную галерею: он уже успел убедить себя, что это были вовсе не кражи, но дорожные приключения Дурака, ведомого интуицией и управляемого моралью, которая не всем придется по вкусу. Если все выйдет так, как он задумал, то его поступки получат оправдание, ну а если не повезет, то он окажется в тюрьме. Он деликатно, но решительно поведал о своем изумлении в гостиной княгини, где увидел, среди вполне убедительных работ старых мастеров, также вполне убедительный «Брак в Кане» и был потрясен, узнав на картине лица с «солнечных картин» дедушки Макрори и из старых, позабытых альбомов Фрэнсиса. Он настойчиво повторил, что сомнений нет: Алхимический Мастер — это Фрэнсис и великий шедевр был написан не более пятидесяти лет назад.

Артур и Мария слушали почти в полном молчании, только Артур время от времени присвистывал. Пора было переходить к главному.

— Вы понимаете, что это значит для моей книги. Это — ее оправдание. Кульминация. У нас есть доказательства, что Фрэнсис — великий художник. Работавший в манере далекого прошлого, но тем не менее великий.

— Но работавший в манере далекого прошлого, — сказал Артур. — Может, он и великий художник, но это значит, что он — автор фальшивки.

— Вовсе нет! У нас нет ни грамма доказательств, что Фрэнсис собирался кого бы то ни было обмануть. Он не выставлял эту картину на продажу. Если бы не война, он бы, несомненно, забрал ее с собой, покидая Дюстерштейн, и меня никто не убедит, что он собирался продать ее как картину шестнадцатого века. Княгиня об этом знает. Картина лежала в чулане в замке, а когда замок был захвачен во время оккупации Германии, пропала вместе с уймой других картин. После войны комиссия, которая занималась возвращением пропавших произведений искусства, вернула ее в Дюстерштейн. Фрэнсис был членом этой комиссии. Тут может быть что-то нечисто, но мы не знаем подробностей. И до сих пор картина хранится в семье, то есть у княгини Амалии.

— Это не отвечает на мой вопрос, — заметил Артур. — Почему он писал в манере шестнадцатого века? И еще, посмотри на эту статью в «Аполло», с объяснениями. Если Фрэнсис никого не хотел обмануть, зачем он написал картину именно так?

— Тут мы подходим к моменту, судьбоносному

для моей книги, — сказал Даркур. — Ты почти не помнишь Фрэнсиса. А я его очень хорошо помню. Я не встречал человека, сильнее обращенного внутрь себя. Он прокручивал мысль в голове, пока не приходил к заключению. Эта картина — самое важное из его заключений. Она показывает то, что он считал самым важным в своей жизни, — влияния, супротивные течения, в общем — гобелен, как сказал бы Эл Кран, будь у него шанс. Написав эту картину, Фрэнсис построил свою душу — так же верно, как какой-нибудь медитирующий отшельник или монах-затворник. То, что вы видите на картине, — это весь Фрэнсис, во всей полноте, как он сам себя видел.

— Да, но зачем подражать стилю шестнадцатого века?

— Потому что это последний период, когда художник мог сделать то, что хотел сделать Фрэнсис. Вы знаете хоть одну картину, написанную после эпохи Возрождения, которая открывала бы все, что автор о себе знает? Есть, конечно, великие автопортреты. Но даже Рембрандт, рисуя себя в старости, мог показать только, что сделала с ним жизнь, но не то, как она это сделала. В эпоху Возрождения живопись изменилась — отбросила все аллегорическое, метафизическое, весь язык

символов. Вы, наверно, не знаете, что Фрэнсис был знатоком иконографии — это метод, позволяющий понять, что хотел сказать художник, а не только увидеть то, что видно всякому. В «Браке в Кане» Фрэнсис хотел поведать собственную истину, и как можно яснее. Причем не кому-либо другому, а самому себе. Эта картина — исповедь, подведение итогов, обращенное к себе самому. Она — шедевр в нескольких смыслах сразу.

— А кто этот странный ангел? — спросила Мария. — Ты всех персонажей опознал, а его пропустил. По-моему, ясно, что он чрезвычайно важен.

— Я практически уверен, что это старший брат Фрэнсиса. Из набросков, изображающих его, подписан только один, и подпись гласит: «Фрэнсис Первый». Можно только догадываться, что он оказал огромное влияние на всю жизнь Фрэнсиса Второго.

— Как это? Он выглядит идиотом, — заметил Артур.

— По-видимому, он и был идиотом. Ты не знал своего дядю. Он был глубоко сострадателен. О да, его считали мизантропом, и он терпеть не мог глупцов, а порой казалось, что он вообще людей не переносит. Но я его знал — он был невероятно

добрым человеком. Надо сказать, что сплошь и рядом, говоря «добрый человек», имеют в виду «слюнявый сентиментальный дурак». Фрэнсис же, как никто, сознавал глубочайшую трагедию хрупкости человеческой жизни. И я совершенно уверен, что причиной тому именно присутствие в его жизни этого уродливого существа, пародии на самого Фрэнсиса. В юности он был романтиком — посмотрите, как он изображал девушку, свою будущую жену, что нанесла ему такую рану. Посмотрите на карлика: Фрэнсис знал этого беднягу и живым, и мертвым и сделал что мог, чтобы своей кистью уравновесить весы Судьбы. Все портреты на картине — это суждения о людях, которых знал Фрэнсис, причем суждения человека, которого грубым пинком вышвырнули из юношеского романтизма в глубоко сострадательный реализм. Артур, я тебя умоляю, не спрашивай меня больше, почему он нарисовал это резюме своей жизни в стиле ушедшей эпохи. Старые мастера были глубоко верующими людьми, и это — картина глубоко верующего человека.

— Мне никогда и словом не намекали, что дядя Фрэнк был верующим.

— Это слово в нашу суетливую эпоху обрело совсем другой смысл, — пояснил Даркур. — Но

постольку, поскольку оно означает поиски знания, желание жить не на поверхности, жажду осознавать реальность, которая кроется в глубине, — я даю тебе слово, Фрэнсис был истинно верующим.

— Дядя Фрэнк — великий художник! — произнес Артур. — В голове не укладывается.

— Но это же замечательно! — воскликнула Мария. — Гений в нашей семье! Артур, разве ты не рад?

— У нас в семье было немало способных людей, но их гений — во всяком случае, талант — проявлялся в финансах. И если кто-нибудь скажет, что финансовый гений — это лишь низкая хитрость и жадность, не верь. Это — интуиция, подлинный дар. Но гений такого рода, как дядя Фрэнк… для семьи финансистов это настоящий скелет в шкафу.

— Судя по всему, скелету в шкафу не нравится, — заметил Даркур. — Фрэнсис Корниш громко требует, чтобы его выпустили.

— Тебе еще придется говорить с этими людьми в Нью-Йорке. Как они отнесутся к твоему открытию? Драгоценный шедевр старинной живописи, единственный известный труд Алхимического Мастера, вдруг оказался фальшивкой.

— Артур, это не фальшивка, — вмешалась Ма-

рия. — Симон только что объяснил нам, что такое эта картина, и она ни в коем случае не фальшивка. Это — поразительная личная исповедь в форме картины.

— Артур в чем-то прав, — заметил Даркур. — К князю и княгине нужно подходить очень осторожно. Я не могу вдруг свалиться им на голову и заявить: «Слушайте, у меня для вас новость». Они должны сами захотеть, чтобы я приехал. Они должны захотеть узнать то, что я им расскажу. Разница как между «Джек приехал!» и «Джек приехал…».

— Снова народная мудрость обитателей Онтарио? — спросила Мария.

— Да, и притом очень мудрая, если вдуматься. Я не могу просто вывалить на них свое открытие и на том остановиться. Я должен намекнуть, к чему может привести это открытие.

— И к чему же?

— Ну, во всяком случае, не к тому, чтобы объявить картину ничего не стоящей и лишить ее права называться произведением искусства. Я должен показать им новый путь.

— Симон, я тебя знаю. Я по глазам вижу — у тебя что-то припрятано в рукаве. У тебя есть план. Ну же, расскажи.

— Нет, я бы не сказал, что это план. Так, неоформленная идея. Настолько дурацкая, что мне даже неудобно о ней говорить.

— Ты скромничаешь, чтобы спрятать подлинно даркуровскую хитрость. Рассказывай.

И Даркур — робко, но не безыскусно, ибо он репетировал эту речь несколько дней, — рассказал.

Воцарилось долгое молчание. Чуть погодя Мария принесла напитки: для мужчин — виски, а для себя — стакан с жидкостью, напоминающей молоко, но насыщенного золотого цвета. Они молча потягивали напитки. Наконец заговорил Артур:

— Очень изобретательно, только я не доверяю изобретательности. Чересчур хитро.

— Не просто хитро, а гораздо лучше, — ответил Даркур.

— Слишком много неосязаемых факторов. Неконтролируемых величин. К сожалению, я не могу на это пойти.

— Я не готов принять это за окончательный ответ. Подумай. Забудь, а потом вспомни и еще подумай. Мария, что ты скажешь?

— Это очень коварный план.

— Пожалуйста, не говори так! «Коварный» — нехорошее слово.

— Я не в обидном смысле. Но согласись, ты собираешься навешать лапшу на уши простакам.

— Лапшу на уши простакам? Это что, тоже из Рабле? — поинтересовался Артур.

— Садись, пять, — ответила Мария. — Это выражение — раблезианское по духу, хотя я не знаю, как он выразился бы в точности. Наверно, *avalleur de frimarts*[371] или что-то вроде этого. В общем, попытка обмануть доверчивых людей. Мне нужны раблезианские словечки — должна же я как-то противостоять Симону с его потоком народной мудрости про Джека и свиней.

— Ты что, действительно думаешь, что князь и княгиня — доверчивые простаки? Да ты с ума сошла!

— Но ты же считаешь нас с Артуром доверчивыми простаками.

— А разве нет? Что же вы тогда связались с этой оперой?

— Это тут ни при чем.

— А я думаю, очень даже при чем. Что она вам дала?

— Мы пока не знаем, — ответил Артур. — Подождем — увидим.

---

**[371] Примечания: 371**

Глотатели густого тумана *(фр.)*; выражение взято из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. 1, гл. XX.

— Но пока вы ждете, ты обдумаешь мой план?

— Ну, раз ты нас в него посвятил, что нам остается делать?

— Отлично, больше я ничего не прошу. Но мне надо поговорить с князем и княгиней. Ведь это их картину я собираюсь развенчать. Ну, с определенной точки зрения развенчать.

— Слушай, Симон, а ты не можешь спустить все дело на тормозах?

— Нет, не могу и не хочу. Это не просто сердцевина моей книги. Это истина, а истина всегда рано или поздно выходит на свет. Скелет решительно барабанит по двери шкафа изнутри. Либо ты его выпустишь моим способом, либо, и даже не сомневайся, кто-нибудь разломает шкаф и все равно его выпустит. Не забудь о набросках, которые Фрэнсис завещал Национальной галерее.

— Но ведь тогда это нас не коснется? Мы же не владельцы картины.

— Да, но к тому времени выйдет моя книга. Если я умолчу о «Браке в Кане», книга окажется глупой и бесполезной. Почему я должен на это идти ради твоих котомурровских убеждений?

— Ты прямо помешался на своей дурацкой книге.

— Моя дурацкая книга будет стоять на полках,

когда мы все уже давно обратимся в прах. Я хочу оставить после себя лучшее, на что я способен. И я хочу, чтобы ты, Артур, как мой друг, задумался об этом. Потому что книгу я напишу, и напишу ее так, как считаю нужным, а ты делай что хочешь. Если это убьет нашу дружбу, значит такую цену мне придется заплатить за создание книги, вот и все.

— Симон, не ораторствуй. Мы с Марией высоко ценим твою дружбу, но, если надо будет, обойдемся и без нее.

— Ну-ка, прекратите! — вмешалась Мария. — Почему вы, мужчины, не можете просто не согласиться друг с другом, без трагических поз? И трагических разрывов. Артур, я тебя предупреждаю: если ты поссоришься с Симоном, я уйду к нему и буду жить с ним во грехе. Так что хватит! Симон, выпей еще.

— Нет, спасибо. Мне уже надо идти. Но скажи, что ты такое пьешь? Выглядит восхитительно.

— Оно и на вкус восхитительно. Это молоко с хорошей добавкой рома. Мне доктор посоветовал пить его перед сном. Я плохо спала, а он говорит, это лучше, чем снотворное, хотя дамы в моем положении от него и толстеют.

— Восхитительно! Может, ты нальешь мне пол-

стакана такого? Я ведь тоже беременен — своей книгой, и тоже нуждаюсь в маленьких радостях для подкрепления сил.

— Артур, сделай ему молока. Или это ниже твоего достоинства — поухаживать за бедным Симоном в его деликатном положении? Я пила это вчера вечером, когда пришли Эл с Лапулей, и Лапуля была шокирована.

— Молоком с ромом? Спасибо, Артур. Что именно ее шокировало?

— Она долго и несвязно рассказывала мне об алкогольном синдроме плода: если мать пьет во время беременности, у нее может родиться урод, анацефал, умственно отсталый ребенок. Я об этом кое-что знаю: чтобы такое случилось, надо выпить очень много. Но Лапуля — фанатик. И еще она, бедная, страдает от беременности по полной программе. Я выслушала подробный отчет о том, как ее мучают газики, не желая выйти ни с одного конца. И как она совершенно ничего не может сделать с волосами — даже голову помыть не может, судя по ее виду; и еще ей приходится каждые полчаса бегать в то, что она деликатно именует дворцом пись-пись, потому что в ее мочевой пузырь теперь ничего не помещается. Мать-природа, гадкая старуха, взимает с нее пол-

ную цену за ребенка Эла. Надеюсь хотя бы, что ребеночек выйдет хороший.

— А она не сказала, почему они не поженились, раз так друг друга любят?

— А как же. У нее для всего найдется штамп. Они считают, что их союз и так свят и несколько слов, которые над ними пробормочет какой-нибудь священник, ничего не изменят.

— Почему это, если послушать людей, священники вечно бормочут? Я очень многих венчал и при этом произносил слова отчетливо. Я не позволяю себе бормотать.

— Ты не уважаешь штампы. Как тебе не стыдно! Ты просто обязан бормотать при отправлении своих презренных, отсталых обрядов.

— Ясно. Я запомню. Кстати, а на ваших крестинах я буду бормотать? Я с удовольствием.

— Конечно, милый Симон. Обязательно побормочешь.

— А вы уже выбрали имена? Это лучше делать заранее.

— Мы с Артуром еще ничего не решили, но Герант все время предлагает какие-то валлийские имена. Они прямо лопаются от древней рыцарственности и красноречия бардов, но весьма трудны для неповоротливых канадских языков.

Даркур допил молоко с ромом и собрался уходить. Мария попрощалась с ним нежно, Артур — дружески, но сдержанно. В целом Даркур счел, что ему удалось выполнить намеченное.

По дороге домой он думал об уродах, анацефалах и умственно отсталых детях. Таков был Фрэнсис Первый. Но была ли его мать алкоголичкой? Пока что Даркур не нашел тому свидетельств. Впрочем, исследователь-биограф вынужден свыкнуться с мыслью, что каких-то вещей он так никогда и не узнает.

## 7

— Да… похоже, что *Le Beau Ténébreux* был еще более темной лошадкой, чем мы подозревали, — произнесла княгиня Амалия.

— Честное слово, я потрясен! Потрясен! — сказал князь Макс, который любил преувеличенные речевые эффекты. — Я хорошо помню Корниша. Располагающий к себе, но сдержанный; мало говорил, но прекрасно умел слушать; красавец, но будто не сознавал своей красоты. Я считал, Сарацини повезло с таким талантливым ассистентом; портрет карлика Фуггеров был просто шедевром. Жаль, что у нас его больше нет. И в самом деле, карлик Фуггеров был очень похож на карлика в

«Браке в Кане».

— Я помню, тот забавный тип Эйлвин Росс именно это сказал, когда Комиссия по искусству при антигитлеровской коалиции рассматривала обе картины. Росс был отнюдь не дурак, хотя и кончил жизнь по-дурацки.

Это сказал Аддисон Трешер. «Именно за ним я должен наблюдать, его должен убедить», — подумал Даркур. Князь и княгиня Амалия знали много всего о картинах и очень много — о бизнесе, но этот человек знает мир искусства, и его «да» или «нет» будет решающим. До этого дня он даже словом не обмолвился, что видел картину «Брак в Кане» еще в Европе. «Даркур, будь предельно осторожен».

— Вы хорошо знали Фрэнсиса Корниша? — спросил он.

— Неплохо. То есть я познакомился с ним в Гааге, когда он вынес то поразительное заключение о неподлинности Ван Эйка. Он из тех, кто не раскрывает своих карт до последнего. Но мне выпало несколько случаев поболтать с ним позже, в Мюнхене, когда там заседала Комиссия по искусству. Тогда он открыл мне кое-что, и это откровение согласуется с вашим неожиданным истолкованием картины, которой мы все лю-

бовались столько лет. Вы знаете, как он учился рисовать?

— Я видел прекрасные копии старых мастеров, которые он делал в Оксфорде, — ответил Даркур. Он решил этим ограничиться.

— Да, но до того? Его рассказ был самой поразительной исповедью, какую я когда-либо слышал от художника. Мальчиком он многому научился по книге некоего Гарри Фернисса, карикатуриста и иллюстратора девятнадцатого века. Корниш рассказал мне, что рисовал трупы в похоронном бюро. Бальзамировщиком был конюх его деда. Фернисс потрясающе умел пародировать чужой стиль: однажды он организовал гигантскую выставку-мистификацию своих пародий на всех великих художников поздней Викторианской эпохи. Разумеется, художники его возненавидели, но хотел бы я знать, где эти картины сейчас… Конечно, умение рисовать лежит в основе всех великих картин — но вообразите ребенка, который научился так рисовать по книге! Эксцентричный гений. Впрочем, все гении эксцентричны.

— Вы действительно думаете, что нашу картину нарисовал *Le Beau Ténébreux*? — спросила княгиня.

— Фотографии, которые нам показывал про-

фессор Даркур, исключают любую другую возможность.

— Это значит, что жемчужина нашей коллекции уничтожена. Стерта в пыль, — сказал князь Макс.

— Возможно, — согласился Трешер.

— Почему «возможно»? Разве нам не доказали, что это фальшивка?

— Умоляю, только не фальшивка, — сказал Даркур. — Именно это я очень хочу доказать. Картина создавалась не с целью обмана. У нас нет ни клочка доказательств, что Фрэнсис Корниш когда-либо пытался ее продать, выставить или получить от нее какую бы то ни было выгоду. Это глубоко личное произведение, в котором он запечатлел и сбалансировал самые важные элементы своей жизни, и сделал это единственным способом, каким умел, — кистью. Упорядочил то, что хотел рассмотреть, в форме и стиле, наиболее близких ему. Это не значит подделывать.

— Попробуйте объяснить это знатокам искусства, — сказал князь.

— Именно это я намерен сделать в своей биографии Фрэнсиса. И сделаю, простите за нескромность. Не для того, чтобы развенчать фальшивку или опорочить вашу картину, но чтобы показать,

каким необычайным человеком был Фрэнсис Корниш.

— Да, дорогой профессор, но невозможно сделать одно без другого. Мы понесем ущерб. Мы будем выглядеть идиотами — или сообщниками в обмане. Вспомните о статье Эйлвина Росса в «Аполло», обо всех исторических параллелях шестнадцатого века. Эта картина хорошо известна в мире искусства. Вы проделали гениальную детективную работу. Люди решат, что мы молчали ради спасения картины — или что мы пали жертвой шутки Фрэнсиса Корниша. Шутки в духе Гарри Фернисса, как только что объяснил нам Аддисон.

— Кстати сказать, теперь я вижу, что толстый художник, рисующий на табличке из слоновой кости, — вылитый Гарри Фернисс, — заметил Трешер.

— Да, юмора Фрэнсису было не занимать. Он обожал шутки, особенно мрачные и не всем понятные, — ответил Даркур. — Но это опять аргумент в мою пользу. Если бы Фрэнсис задумал обман, неужели он поместил бы на картину портрет такого известного художника, причем изобразив его именно как художника за работой? Я повторяю: эта картина была предназначена

исключительно для ее автора. Это исповедь, глубоко личная исповедь.

— Аддисон, как вы думаете, сколько стоила бы эта картина, если бы мы не знали то, что рассказал сегодня профессор Даркур?

— На это могут ответить только в «Кристи» или «Сотбис». Они знают, что́ можно выручить за такую картину. Наверняка — много миллионов.

— Несколько лет назад мы были готовы продать ее Канадской национальной галерее за три миллиона, — сказал князь Макс. — Нам нужен был капитал на расширение дела Амалии. Директором галереи тогда был Эйлвин Росс, но в последний момент ему не удалось найти деньги на покупку, а вскоре после этого он умер.

— Три миллиона — это почти даром, — сказал Трешер.

— Мы подпали под чары Росса, — объяснила княгиня. — Он был такой красавец. Мы предложили ему несколько картин за одну цену. Эта была самая дешевая. Но в конце концов они все ушли к другим покупателям. Эту мы решили оставить. Она нам очень нравится.

— А ведь у вас столько других картин, — не очень дружелюбно сказал Трешер. — Но три миллиона — это практически даром. Если бы не то, о

чем нам рассказали сегодня вечером, сейчас вы могли бы получить втрое, вчетверо больше.

Момент настал.

— А вы согласились бы продать картину теперь, за сходную цену? — спросил Даркур.

— Продать ее как изысканную фальшивку?

— Продать ее как величайший шедевр Алхимического Мастера, чья личность теперь установлена, — то есть покойного Фрэнсиса Корниша. Позвольте, я открою вам свой замысел.

И Даркур открыл им свой замысел — так убедительно, как только мог.

— Конечно, это зависит от множества факторов, — так он закончил свою речь.

Князь, княгиня и Трешер глубоко задумались.

— Да, очень подозрительный план, — сказал Трешер. — Но идея чертовски хорошая. По-моему, за сорок лет в мире искусства я лучшей и не слышал.

— Торопиться некуда, — сказал Даркур. — Вы позволяете мне действовать в этом направлении?

На том и порешили, и Даркур улетел обратно в Канаду.

## 8

— Я считаю, что одно из имен должно быть Артур. В конце концов, так звали моего отца, так зовут меня, и это хорошее имя. Оно всем знакомо, в нем нет никаких странностей, его легко произносить. С ним связаны разные хорошие вещи, в том числе наша опера.

— Я совершенно согласен, — сказал Холлиер. — Как крестный отец, я вправе выбирать имя, и я голосую за Артура.

— А Клементом ты его не хочешь назвать? — спросил Артур.

— Мне это имя не очень нравится.

— Ну, слава богу — одно имя выбрали. Нилла, ты — крестная мать. Какое имя ты предлагаешь?

— Мне нравится Хакон, потому что это имя моего отца и в Норвегии оно овеяно славой. Но канадского ребенка оно может стеснять. То же касается Олафа — это другое мое любимое имя. Как насчет Николааса? Даже не обязательно писать его через два «а», если он не захочет. Это хорошее имя; это имя святого, а я считаю, что у каждого ребенка должно быть имя святого, даже если оно не используется.

— Превосходно! И весьма разумно. Значит, Ни-

колаас, и я прослежу, чтобы он писал его с двумя «а», в память о тебе.

— О, я ему и так не дам о себе забыть. Я всерьез отношусь к обязанностям крестной матери.

— Ну хорошо. Герант?

Так, подумал Даркур. Это опасный момент. Выражаясь театрально, здесь кроется тайная язва. Герант пылает типично валлийской страстью к именам и генеалогии и все время пытается намекнуть, что это он настоящий отец ребенка. Артуру придется пустить в ход все свое искусство главы собрания.

— Конечно, я первым делом подумал про свое имя, — начал Пауэлл. — Это прекрасное, поэтическое, благозвучное имя, и я ношу его с наслаждением. Но Сим-бах горячо возражал. Конечно, я хотел бы дать мальчику валлийское имя, но вы все время ноете, что валлийские имена трудно произносить. Кому трудно? Мне — нет. Видите ли, для меня имя имеет огромную важность; оно окрашивает все самовосприятие ребенка и дает ему роль, которую он может играть. Кадвал, например: это имя означает «великий вождь»…

— Да, и злобные саксы наверняка будут дразнить мальчика «подвалом», — вмешался Артур. — Вспомни, как страдал несчастный Най

Бивен[372]. Ситуэллы[373] его называли не иначе как Аневризм.

— Ситуэллы — очень вульгарные люди, — отпарировал Пауэлл.

— К сожалению, вульгарных людей много.

— Но есть и другие прекрасные имена. Айдан, например: слышишь, Нилла, это имя святого! Или Селуин, что означает жаркую преданность великому делу; это, несомненно, будет вдохновлять нашего мальчика. Или Овайн, «высокорожденный»: это имя указывает на благородное происхождение, особенно со стороны отца. Или Хьюго, очень популярное имя в Уэльсе; я выбрал эту форму, а не валлийское Хюв, которое может показаться странным непросвещенному уму. Но имя, которое я предлагаю с особой гордостью, — Гилвайтуи. Он играет не самую выдающуюся роль в «Мабиногионе», но это имя весьма уместно по другим причинам, о которых не стоит сейчас

---

**[372] Примечания: 372**

*Най Бивен* (Аневрин Бивен, 1897–1960) — британский политик-лейборист валлийского происхождения, один из лидеров левого крыла лейбористов, создатель Национальной системы здравоохранения Великобритании.

**[373] Примечания: 373**

*Ситуэллы* (Эдит, Осберт и Сашеверелл) — два брата и сестра, английские аристократы-литераторы, создавшие литературно-художественный кружок в Лондоне (1916–1930).

говорить[374]. Гилвайтуи! В этом есть некое благородное буйство, верно?

— Повтори, пожалуйста, — попросил Артур.

— Очень простое имя. Гил-вай-ту-и, с легким ударением на «ва». По-моему, восхитительное имя. Ведь правда, оно воскрешает в памяти великие дни легенд, еще до Артура, когда по земле ходили полубоги, в пещерах прятались драконы, а великие волшебники вроде Мата Матонви карали и награждали по заслугам! Древние, славные времена.

— Как это пишется? — спросил Холлиер, приготовивший карандаш и бумагу.

Герант сказал по буквам.

— На бумаге выглядит совершенно варварски, — заметил Холлиер.

---

**[374] Примечания: 374**

*Но имя, которое я предлагаю с особой гордостью, — Гилвайтуи. Он играет не самую выдающуюся роль в «Мабиногионе», но это имя весьма уместно по другим причинам, о которых не стоит сейчас говорить.* — «Мабино́гион» (правильнее «Мабиноги») — главный валлийский эпос, цикл повестей, созданных в основном в средневаллийский период, но отчасти восходящих, по всей видимости, к древним традициям железного века. Согласно четвертой книге из «Четырех ветвей Мабиноги», Мат ап Матонви (Мат, сын Матонви), король Гвинеда, чтобы не умереть, был вынужден держать свои ступни на коленях девственницы, кроме того времени, когда находился на войне. Племянник Мата Гилвайтуи влюбился в Гэвин, девушку, обязанностью которой было держать ступни Мата. Маг Гвидион, брат Гилвайтуи, подстроил войну с соседями. Пока Мат ап Матонви был на войне, Гилвайтуи пробрался во дворец и овладел Гэвин. Обнаружив случившееся, король Мат взял Гэвин в жены, чтобы защитить ее честь, а племянников наказал,

превращая их в течение нескольких лет поочередно в пары разных животных (оленя и олениху, кабана и свиноматку и пр.).

Пауэлл очень обиделся:

— Варварски, говорите? И это в стране, где детям каждый день дают самые разные имена со всех концов света, и даже нелепые, выдуманные, сляпанные бог знает как! Варварски! Слушайте, Холлиер, вам следовало бы знать, что валлийцы уже пятьсот лет как освоили все достижения римской цивилизации, когда ваши предки еще жрали козлятину прямо со шкурой и подтирали зад пучками чертополоха! Варварски! И я должен такое сносить от кучки морлоков, для которых главное в имени — то, что оно должно легко выговариваться, или какие-нибудь сентиментальные ассоциации! О вашем невежестве я сожалею, а вас презираю.

— Это, вообще-то, из Диккенса[375], — заметил Холлиер. — Я уверен, вы способны подыскать для выражения своих чувств что-нибудь более бардовское.

— Ну-ка, ну-ка, давайте не будем ссориться, — вмешался Даркур. — И давайте придем к решению, потому что я должен сказать вам — и родителям, и крестным — нечто важное.

---

**[375] Примечания: 375**

*О вашем невежестве я сожалею, а вас презираю. / — Это, вообще-то, из Диккенса…* — Диккенс Ч. Николас Никльби. Глава XV. Перев. А. Кривцовой и Е. Ланна.

Но Пауэлл надулся, и пришлось его долго улещивать, прежде чем он согласился продолжать.

— Ну хорошо, если вы настаиваете, пусть мальчик получит самое расхожее из валлийских имен, — сказал он наконец. — Пускай его зовут Дэвид. Даже не благородный валлийский Дафид, а пошлый английский Дэвид.

— Вот это хорошее имя, — сказала Гунилла.

— И еще одно имя святого, — заметил Даркур. — Пусть будет Дэвид. А в каком порядке? Артур Николаас Дэвид?

— Нет, потому что тогда монограмма на его чемоданах будет «AND»[376], — заметил Холлиер, охваченный, по-видимому, внезапным приступом практичности.

— На чемоданах! Вот странная идея! — сказал Пауэлл. — Если вас так интересуют сокращения, почему бы сразу не назвать ребенка ГРЕХ?

Артур с Даркуром мрачно переглянулись. Неужели Герант хочет разболтать? Это никому не нужно, кроме самого Геранта с его валлийским гонором.

— Грех? — переспросил Холлиер. — Почему грех?

---

**[376] Примечания: 376**
И *(англ.)*.

— Потому что так его будет называть эта чертова страна! — заорал Пауэлл. — Номер сто двадцать три четыреста пятьдесят шесть семьсот восемьдесят девять по Государственному Регистру Единого Хозяйствования! А чтобы получать пенсию, он превратится в ПРАХ сто двадцать три четыреста пятьдесят шесть семьсот восемьдесят девять! Пенсионный Регистр Администрации Хозяйствования! К тому времени, как он станет ПРАХом, имен не будет ни у кого, останутся только эти кретинские номера, присвоенные государством! Так давайте их опередим и сразу назовем его Прах! Эта страна глуха к поэзии, провались она в пекло!

Герант гневно осушил стакан и снова наполнил его до краев.

Настало время преодолеть раздоры, поэтому Даркур произнес самым медовым голосом:

— Значит, Артур Дэвид Николаас? Прекрасно. Поздравляю. Я с большим удовольствием провозглашу эти имена при крещении. Теперь пойдем дальше.

— Позвольте, я вам сразу напомню, что я убежденный атеист, — перебил Холлиер. — Я слишком много знаю о религиях, меня уже не обдурить. Так что бросьте свои поповские замашки. Я согла-

сился только ради дружбы с Артуром и Марией.

«Ну да, — подумал Даркур, — и еще потому, что ты был первым, кто плотски познал мать этого ребенка. Ты меня не обманешь». Но вслух он сказал:

— Ничего страшного, мне часто приходится иметь дело с неверующими крестными. Я вас не обижу. Единственное, что вы должны пообещать, — любить этого ребенка, помогать ему по возможности, давать советы, когда он будет в этом нуждаться, и сделать для него все, если его родители не доживут до его совершеннолетия, от чего боже сохрани.

— Разумеется, это я обещаю. Я приму участие в церемонии ради интереса к древнему обряду. Но не просите меня присоединиться в качестве духовной силы.

— Нет-нет, ничего такого. Но если церемония состоится, она должна иметь какую-то форму, и я точно знаю какую. Нилла, а вы что скажете?

— Я согласна без оговорок. Меня вырастили, выражаясь словами вашего лавочника Шекспира, «неистовой лютеранкой»[377], и я очень люблю

---

**[377] Примечания: 377**

*Меня вырастили, выражаясь словами вашего лавочника Шекспира, «неистовой лютеранкой»…* — Шекспир У. Генрих VIII. Акт III, сц. 2. Перев. В. Томашевского.

детей, особенно мальчиков. Я счастлива, что у меня будет крестный сын. Можете быть спокойны.

— Я в вас не сомневаюсь, — сказал Даркур. — А ты, Герант?

— Сим-бах, ты же меня знаешь. Я кальвинист до мозга костей. Но я тебе не очень доверяю. Что я должен пообещать?

— Я попрошу тебя отречься за ребенка от Сатаны и всех деяний его, от тщеславия и суеты этого мира, от всех его похотей житейских и похотей плоти.

— Прекрасно сказано. Ты это сам сочинил?

— Нет, Герант, это сочинил архиепископ Кранмер[378].

— Этот Кранмер неплохо пишет. И я отрекаюсь от всего этого за ребенка, а не за себя?

— По идее, да.

— Потому что, видишь ли… Как человек театра,

---

**[378] Примечания: 378**

*…это сочинил архиепископ Кранмер.* — Томас Кранмер (1489–1556) — один из отцов английской Реформации, архиепископ Кентерберийский. Содействовал установлению королевского верховенства в церковных делах (в 1534 г. парламент провозгласил Генриха VIII главой Церкви Англии), проведению реформации и секуляризации церковного имущества. Провел ряд церковных реформ в духе протестантизма. Издал две Книги общих молитв (1549 и 1552 гг.), ставших обязательными для богослужения в соответствии с Актами о единообразии. После восстановления католицизма при Марии Тюдор был обвинен в государственной измене, заключен в тюрьму и сожжен на костре как еретик.

как художник, я не могу на самом деле отречься от тщеславия и суеты, потому что я ими живу. Что же до похотей житейских, то всю мою жизнь и работу ограждают контракты, составленные жадными агентами и чудовищами, регулирующими экономику театра. Но за мальчика — за юного Дафида, которого я буду звать Тафи, когда познакомлюсь с ним поближе, я отрекусь так, что только пыль столбом.

— Мы серьезно должны все это обещать? — осведомился Холлиер. — Мне понравилось про Сатану. Я не думал, что крещальная служба так глубоко уходит корнями в древность. Симон, обязательно дашь мне требник почитать. В нем много интересного.

— До чего же вы, мужчины, банальны, — заметила Гунилла. — Пауэлл, что до тщеславия и суеты, говори только за себя. Симон, то, что ты сказал, кажется, значит, что мы должны воспитать мальчика на принципах высокой морали. Сделать из него мужчину. Можешь во мне не сомневаться.

— Хорошо, — сказал Даркур. — Значит, в воскресенье, в часовне, в три часа дня. Приходите трезвыми и прилично одетыми.

Пока гости уходили, а Пауэлл удалялся в свою

привычную спальню, Даркур перемолвился словечком с Марией.

— Ты молчала, когда мы говорили про имена. Тебе разве все равно, как назовут мальчика?

— Симон, милый, я храню цыганские обычаи. Когда ребенок вышел из меня и закричал, его положили мне на грудь, и я назвала его. Настоящим именем. Шепнула ему на ушко. И что бы вы там ни делали в воскресенье, именно это будет его настоящим именем.

— А ты мне его скажешь?

— Конечно нет! Я даже мальчику не скажу, пока он не вырастет, — а тогда я снова шепну ему это имя. У него есть настоящее цыганское имя, оно всюду будет с ним и будет хранить его, покуда он жив. Но это — тайна между ним и мной.

— Значит, ты меня опередила?

— Конечно. Я сама не ждала, что так будет, но в самый миг перед тем, как он покинул мою утробу, поняла. Что в костях заложено… ну ты знаешь.

## 9

Если не считать маленького инцидента, крестины прошли гладко. В церкви были только родители, крестные и младенец: Краны рвались прийти, и пришлось сказать открытым текстом,

что их не приглашают. Эл что-то бормотал про объективные корреляты и связь рождения ребенка с рождением оперы. По его словам, это была бы потрясающая, совершенно неожиданная сноска в *Regiebuch*. Мейбл умоляла, чтобы ее пустили, — оказывается, ей хотелось посмотреть, как крестят. Даркур сказал, что она может это легко устроить, окрестив своего будущего ребенка, но Эл и Мейбл торопливо заявили, что несколько слов, которые пробормочет священник над их ребенком, ничего не изменят в его будущей жизни.

Даркур не стал спорить, хотя знал, что они заблуждаются, причем глупо заблуждаются. Он настороженно относился ко многому, во что, как священник, был обязан верить и что должен был открыто отстаивать, но в благотворности крещения не сомневался. Даже если оставить в стороне чисто христианские соображения, крестины — это символическое принятие новой жизни в общество, тем самым объявляющее, что в нем есть место для этой новой жизни; крестины — утверждение отношения к жизни, выраженного в Символе веры, который входит в крещальную службу в архаичной форме — несколько сокращенной, но полной важнейшего смысла. Родители и крестные, читая вслух Символ веры,

могут даже не верить в него — но, как отчетливо осознавал Даркур, они живут в обществе, которое коренится в этом Символе веры; не будь его и причины, по которой он был составлен, огромные части нашей цивилизации никогда не появились бы на свет. И даже те, кто насмехается над Символом веры или вообще его не замечает, тем не менее твердо стоят на его фундаменте. Символ веры — один из великих верстовых столбов на пути человечества от первобытного общества к тому, что грядет; может быть, цивилизация прошла мимо победным маршем, а столб остался позади, но он — веха, отступление за которую уже невозможно.

Холлиер смирился с крещальным обрядом, увидев в нем ритуал перехода и принятия нового человека в племя. Пусть так, думал Даркур, но подобные ритуалы отдаются дальним эхом, не слышным глухому уху рационалиста. Даркур считал рационализм элегантным, высокоумным способом заметания под ковер разных важных, но беспокоящих вещей. Впрочем, последствий обряда не отменяет то, что некоторые чересчур умные люди их не видят.

Пауэлл согласился быть крестным отцом, но держит кукиш в кармане. Он хочет дать обе-

щания, которые не собирается выполнять, — и действительно, разве можно сдержать все обещания, что дает крестный отец, во всей их сложности? Допустим. Но Пауэлл решил стать крестным отцом, потому что эта роль ближе всего к роли настоящего отца ребенка. Пауэлла неотразимо влекут любые торжественные церемонии. Значит, он из тех, кто желает, чтобы серьезным аспектам внутренней жизни придавались торжественные внешние формы. Такое желание, впрочем достойное уважения, означает, что Пауэлл — истинный сын театра, который есть не что иное, как овеществление важных аспектов внутренней жизни человека. Даркур решил, что понимает Пауэлла лучше, чем сам Пауэлл.

Насчет Гуниллы у него сомнений не было. Вот женщина, которая видит слова Символа веры насквозь, прозревая за ними суть. Гунилла — чистое золото.

Что же до Артура и Марии, то рождение ребенка, судя по всему, сблизило их еще сильнее прежнего. То, что дети — благословение брака, — это штамп. Такой же банальный, как стишки Эллы Уилер Уилкокс об искусстве. Но образованному, высокоумному человеку очень трудно признать, что иные штампы на самом деле —

важные истины.

Другой штамп — то, что рождение ребенка — это символ новой надежды, хоть она и может обратиться в горькое разочарование. А крещение — церемония, в которой эту надежду возвещают. Надежда, или Упование, — одна из рыцарских добродетелей в том смысле, который Краны, например, не поняли и, может быть, никогда не поймут. В маленьком теле Артура Дэвида Николааса, которое Даркур принял на руки и осенил крестным знамением, воплотилась, в частности, надежда на будущее брака Артура и Марии. Уз и нитей сочетанье.

Небольшой инцидент произошел уже после того, как Даркур произнес благословение на младенца и перекрестил его пальцами, смоченными святой водой. Следуя древнему обычаю, ныне возрождаемому поборниками старой обрядности, Даркур зажег три свечи от одной большой свечи, стоящей рядом с купелью, и протянул их крестным родителям со словами: «Приимите свет Христов, ибо вы перешли от тьмы к свету».

Холлиер и Гунилла поняли, что делают это от имени младенца, и с достоинством приняли свечи; Гунилла — почтительно склонив голову.

Пауэлл же вздрогнул от неожиданности, уро-

нил свечу, залив воском одежду, и принялся шарить по полу, бормоча совершенно неподходящее «о господи!». Мария захихикала, а дитя, которое до этого вело себя как ангел, даже когда ему окропляли голову водой, громко взвыло.

Даркур отобрал у Пауэлла свечу, снова зажег ее и произнес:

— Приими свет Христов в изумлении сердца своего, ибо ты перешел от тьмы к свету.

Потом, когда они отмечали крестины, Пауэлл сказал Даркуру:

— Сим-бах, это был отличный экспромт. Лучшего я и в театре не слыхал.

— Герант-бах, по-моему, твой был еще лучше, — ответил Даркур.

## 10

Артисты и мастера, которые трудятся над постановкой оперы, — тесный кружок, куда простых смертных не допускают. В этом нет злого умысла; просто в акт творения погружаются с головой; внешний мир становится призрачным и вновь обретает осязаемость, лишь когда творение завершено, афиша составлена, а крепчайшая связь творцов несколько ослабла.

Недопущенные в святая святых остро чувству-

ют это. В последние недели работы над «Артуром Британским» Артур и Мария ощутили некоторый холодок. Конечно, их всюду встречали с радостью (на деле это значило, что всем было неудобно их выгонять). Они были ангелами-спонсорами. Они оплачивали счета и всевозможные расходы, не говоря уж о выплате жалованья артистам, значит к ним следовало относиться с вежливостью. Но эта вежливость была холодной. Даже любезный друг Пауэлл шептал другому другу, Даркуру: «Неужели Артуру с Марией обязательно тут околачиваться, когда мы работаем?»

Даркур по праву участвовал в приключении: он был автором либретто. Конечно, менять слова на этой стадии было уже поздно, но все равно Даркур имел право присутствовать в зале; более того, если его не было и он вдруг требовался Пауэллу, чтобы объяснить певцу какой-нибудь не очень понятный отрывок, это оказывалось очень неудобно. Даже Пенни Рейвен, в силу своего (пускай призрачного) отношения к либретто, могла приходить на репетиции, не возбуждая ничьих вопросов. Но не «ангелы».

— Я чувствую себя совершенно не на месте. Как бежевые туфли на похоронах, — сказал Артур, который обычно не увлекался сравнениями.

— Но я хочу смотреть, что они делают! — сказала Мария. — Есть же у нас какие-то права? Ты вообще видел, какие деньги мы платим по счетам?

Наверно, они думали увидеть оживленное движение: Пауэлла, который управляет полной артистов сценой, размахивая руками, как полицейский во время беспорядков. Ничего подобного они не увидели. На репетициях царила тишина и спокойствие. Безалаберный Пауэлл всегда приходил за полчаса до начала и строго выговаривал опоздавшим, хотя опоздания были редки и всегда по уважительным причинам. Кипучий Пауэлл был тих и сдержан; он никогда не кричал и неизменно сохранял учтивость. Он обладал полной властью и умело применял ее. Неужели это и есть художественное творчество? Видимо, да. Артур и Мария поражались тому, как быстро и уверенно опера обретала форму.

Правду сказать, в первые две недели репетиций это было не очень похоже на оперу, как Артур и Мария ее себе представляли. Репетиции проходили в больших грязных комнатах, снятых для этой цели в консерватории и на кафедре музыковедения. Заведовал ими Уолдо Харрис, первый помощник Пауэлла; это был крупный

молодой мужчина без особых примет, никогда не терявший спокойствия среди бури. Он, кажется, знал все. У него была ассистентка, Гвен Ларкин, которую называли сценариусом; у нее, в свою очередь, были две девушки на посылках. Мисс Ларкин по временам выходила из себя (что было вполне простительно), а неопытные ассистентки бегали и суетились, потрясая клипбордами, пока мисс Ларкин не взглядывала на них сердито и не велела (шепотом) заткнуться. Но эти девицы были воплощенным спокойствием по сравнению с тремя студентками на побегушках — их полагалось посылать за кофе, бутербродами или срочно нужным человеком. Они были низшей, самой незначительной формой жизни в театре. На репетициях все семеро липли к Пауэллу, как железные опилки к магниту, и говорили шепотом. Они все изводили огромное количество бумаги и беспрестанно что-то записывали. Остро заточенными карандашами их снабжали те же девочки на побегушках.

Но все они в театральной иерархии стояли ниже, чем мистер Уоткин Бурк, которого именовали *répétiteur*. Его обязанностью было разучивать партии с певцами.

Уотти должен был сделать так, чтобы певцы

знали свои партии, а это означало все, что угодно: от долгих часов у рояля с исполнителями, которые уже знали партии, но хотели получить совет по фразированию, до работы с певцами, которые с трудом читали ноты (хотя и не признавались в этом), — с ними приходилось разучивать партии практически наизусть. В обязанности Уотти входило обучение хора, то есть десяти джентльменов из числа рыцарей короля Артура (не считая Джайлза Шиппена, ведущего тенора, и Гаэтано Панизи, который исполнял роль Мордреда) и всех придворных дам. Все хористы были хорошими певцами, но двадцать два певца — это еще не хор. Их нужно было бережно подтолкнуть к тому, чтобы они пели вместе: не просто выводили мелодию, но выводили ее как единое целое и чуть-чуть меняли тон, подстраиваясь под солистов, которые могли от сценического испуга взять чуточку ниже или выше. Уотти, настойчивый человечек с крысиной мордочкой, гениальный пианист, был мастером в этом деле.

Уотти, подобно Пауэллу, никогда не кричал и не выходил из себя, хотя порой тень великой усталости пробегала по умному острому личику. Например, такое случилось после его разговора с мистером Наткомом Прибахом, бас-баритоном,

исполнителем роли сэра Дагонета.

— Я прекрасно понимаю мистера Пауэлла, который желает, чтобы мы создали индивидуальные образы рыцарей Круглого стола, — сказал Прибах. — С другими ребятами все ясно, так? Они рыцари. Храбрые парни, и все тут. Но сэр Дагонет — шут Артура, и именно потому я получил эту роль. Потому что я не хорист и не исполнитель мелких ролей, вовсе нет: я — компримарио[379] и пользуюсь репутацией недурного комика. Мой Фрош из «Летучей мыши» известен всему оперному миру. Очевидно, что мне дали роль сэра Дагонета, чтобы привнести в оперу комедийный оттенок. Но как? У меня нет ни единой комедийной строчки. Так что нам надо обязательно что-нибудь придумать, понимаете? Разрядка смехом. Я много об этом думал и нашел как раз нужное место. Финал первого акта, когда Артур расписывает рыцарям все прелести рыцарства. Это тяжеловатая сцена. Музыка, конечно, прекрасная, но сцена тяжеловата. Именно туда мы и вставим разрядку. Так что мне выбрать — чих или прыск?

— Извините, я не понял, — сказал Уотти.

---

**[379] Примечания: 379**

*Компримарио* — исполнитель вторых ролей в опере.

— Вы что, меня ни разу не видели? Это мои верные приемы. Когда Артур начинает распространяться о рыцарстве, разве я не могу налить себе бокал вина? А потом, в нужный момент, прыснуть? Я поперхнусь вином, прысну во все стороны и обрызгаю всех рядом стоящих. Верное дело. Но если это слишком, я могу ограничиться чихом. Мой чих на самом деле — комическое продолжение моего прыска, и, конечно, я не хочу отвлекать на себя слишком много внимания, так что чих, возможно, будет уместней. Но ни в коем случае не решайте окончательно, пока не увидите мой прыск. Понимаете, мне нужно знать сейчас, до того как мы начнем репетиции на сцене: тогда я смогу хорошенько все продумать и выбрать самый подходящий момент для чиха. Или прыска. Потому что подходящий момент в комедии — это главное, как вы, конечно, знаете.

— Обратитесь к мистеру Пауэллу, — сказал Уотти. — Я не имею отношения к постановке.

— Но вы поняли, что я хочу сказать?

— О да, конечно.

— Понимаете, я не хочу быть навязчивым; просто стремлюсь делать что могу.

— Это к мистеру Пауэллу.

— Ну хотя бы что вам больше нравится? Чих

или прыск?

— Не могу сказать. Это не ко мне.

Артура и Марию (и Даркура тоже) поразило, что Уотти играл по полной оркестровой партитуре, показывая певцам, что́ они будут слышать во время пения или мимолетной паузы; певцы работали по наброскам музыки, в которых была показана их вокальная партия и примерная оркестровка. Подготовка всех нот (переписанных рукой Шнак) обошлась в небольшое состояние.

На музыкальных репетициях присутствовала доктор Даль-Сут, но голоса не подавала. Она говорила только с Уотти и только шепотом. Иногда она что-то шептала Шнак, которая тенью ходила за ней, жадно и быстро вбирая знания.

Первая общая репетиция состоялась в грязной, плохо освещенной комнате в подвале консерватории. В стены за много лет въелся аромат экономных студенческих обедов — едва съедобных перезрелых бананов и арахисового масла. В комнате было тесно, так как вдоль стены стояли три комплекта литавр, а в углу — куча пустых футляров от контрабасов, напоминающая съезд сенаторов.

— Как же мы будем работать? — спросил Натком Прибах. — Тут повернуться негде.

— Садитесь, пожалуйста, — объявила Гвен Ларкин. — Стульев хватит на всех.

Пауэлл обратился к труппе:

— Так как это новая опера и либретто непростое, сегодня мы начнем с того, что прочитаем вслух все три акта.

— Без пианино, — сказал Натком Прибах, у которого был подобающий оперному комику дар констатировать очевидное.

— Это не музыкальная репетиция, — объяснил Пауэлл. — Вы все знаете свои партии — во всяком случае, должны знать. В течение одного-двух дней мы петь не будем. Я хочу, чтобы вы просто прочитали вслух свои слова, как будто играете в пьесе. Либреттист присутствует здесь и разъяснит все непонятные места.

Собравшиеся певцы были в основном неглупы — возможно, потому, что это не был «звездный состав», по обычному выражению музыкальных критиков. Большинство певцов составляли молодые североамериканцы — они обладали большим опытом работы в опере, но почти не имели дела с крупными оперными театрами в других странах. Они не боялись чтения вслух. Небольшая кучка певцов во главе с Наткомом Прибахом не видела, с чего бы им читать то, что можно спеть, но

готова была попробовать, чтобы угодить Пауэллу, — они поняли, что он опытный, мыслящий режиссер. Некоторые не очень хорошо читали по-английски — например, Ганс Хольцкнехт, исполнитель роли Артура; а мисс Клара Интрепиди, которая должна была петь Моргану Ле Фэй, запиналась на словах, которые без всякого труда пропевала на репетициях с Уотти. Но один певец — Оливер Твентимэн — читал, как актер, причем как умный актер. К началу второго акта лучшие артисты в группе поняли, что пытаются (с разной степенью успеха) подражать ему.

В основном певцы были молодые, но Оливер Твентимэн уравновешивал средний возраст труппы: он был стар. Не дряхл, как утверждали некоторые: он еще не разменял десятый десяток. Но говорили, что ему уже за восемьдесят, и он был одним из чудес оперного света. Критики называли его исключительный серебристый тенор «скромным», но он отчетливо звучал во всех великих оперных театрах мира. Твентимэна обожали в Глайндборне[380] и на нескольких американских оперных фестивалях для узкого круга. Лучше всего ему удавались фантазийные пер-

---

**[380] Примечания: 380**

*...обожали в Глайндборне...* — См. примеч. 65.

сонажи — Селлем в «Похождениях повесы»[381], Звездочет в «Золотом петушке»[382], Оберон в «Сне в летнюю ночь»[383]. Заполучить его на роль Мерлина было большой удачей. Слушать, как он читает свою роль, — чистым наслаждением.

— Восхитительно! — провозгласил Пауэлл. — Леди и джентльмены, я прошу вас прислушаться к английскому произношению мистера Твентимэна: оно соответствует высочайшей традиции.

— Да, но мне кажется, что он сильно искажает гласные, — сказала Клара Интрепиди. — Они — не чистые звуки, пригодные для пения. У нас есть гласные, верно? Пять гласных. А, и, э, о, у. Их можно спеть. Неужели вы потребуете, чтобы мы пели нечистые звуки?

— В английском языке двенадцать гласных, —

---

**[381] Примечания: 381**

*…Селлем в «Похождениях повесы»…* — «Похождения повесы» («Карьера мота») — опера в трех действиях (1951) на музыку И. Ф. Стравинского (1882–1971) и либретто У. Одена и Ч. Колмена, основанное на одноименной серии литографий У. Хогарта. Селлем, фамилия героя-аукциониста, дословно означает «Продай их».

**[382] Примечания: 382**

*«Золотой петушок»* — последняя опера Н. А. Римского-Корсакова (1844–1908), написанная в 1908 г. по одноименной сказке А. С. Пушкина (либретто В. И. Бельского).

**[383] Примечания: 383**

*«Сон в летнюю ночь»* (1960) — опера композитора Бенджамена Бриттена (1913–1976) по одноименной пьесе У. Шекспира (либретто создано на основе пьесы Питером Пирсом).

объяснил Пауэлл. — Поскольку это не мой родной язык и мне также пришлось его учить, не считайте, что я предвзят. Что за гласные? Они все — в этой фразе:

В чащах юга жил-был цитрус, ийо!

Но фальшивый экземпляр.

Каждый звук можно прекрасно пропеть, и ни один не звучит так тонко, как «й», который на конце слова может превратиться в «и». «Йо» должно звучать как один короткий и один длинный слог, а не как два длинных. Имейте в виду, я буду пилить вас, пока не добьюсь правильного произношения.

Мисс Интрепиди слегка надулась, словно намекая, что варварские причуды английского языка не повлияют на ее пение. Но мисс Дональда Рош, американка, приглашенная на роль Гвиневры, тщательно записывала.

— Повторите, пожалуйста, фразу, — сказала она, и Герант пропел для нее всю последовательность слогов.

К нему присоединился Оливер Твентимэн, желая показать мисс Интрепиди, что в этой фразе действительно двенадцать разных гласных звуков и ни один из них нельзя назвать «нечистым».

В целом певцы получили удовольствие от чтения либретто. К концу дня можно было с уверенностью сказать, кто из них — актеры, обученные пению, а кто — певцы, которых научили играть на сцене. Марта Ульман, миниатюрная женщина, приглашенная на маленькую, но впечатляющую роль Элейны, очень выразительно прочитала:

*Ни словом, вздохом, ни слезой,*
*Улыбкой жалкой и несмелой*
*Не намекну тебе, друг мой,*
*Как сердце бедное болело,*
*Как было пусто.*
*Я сейчас*
*Тебе кажусь вполне спокойной.*
*Румянец на моих щеках.*
*Но, милый друг, как это больно.*

*Мир не увидит скорбь мою,*
*Но о тебе моя Печаль.*
*Свою любовь к тебе храню.*
*Прощай, любовь моя, прощай.*

Но когда Дональда Рош и Джайлс Шиппен читали в унисон, у них получилось далеко не так

удачно:

*Любовь!*
*Вот мчится время на могучих крыльях,*
*Непостоянно;*
*Будь верной,*
*И навек его ты обуздаешь.*

Да и мисс Интрепиди, прославленная укротительница аудиторий, слегка опешила, когда ей пришлось читать свои слова, обращенные к негодяю Мордреду:

*Я знаю – скрыт в твоих словах*
*Секрет ужасный.*
*Каждый поворот*
*Твоей коварной мысли*
*Я наблюдаю с содроганьем.*
*В черепе твоем плодятся мысли —*

*Они, как корневища,*
*Стремятся вглубь*
*И разрушают камни,*
*Рептилий душат,*
*Что в беззвучном вопле*

*Заходятся, крича про смерть Артура.*

Но мисс Интрепиди была крепким профессионалом; запутавшись в словах, она воскликнула:

— Я разберусь! Не волнуйтесь, я разберусь!

И Пауэлл заверил ее, что в этом никто ни в малейшей степени не сомневается.

Вечером, когда чтение было закончено, Гунилла впервые обратилась к труппе.

— Вы поняли, чего добивается наш режиссер? — спросила она. — Он хочет, чтобы вы пели слова, а не звуки. Звуки может спеть кто угодно; чтобы спеть слова, нужен артист. Того же хочу от вас и я. Симон Даркур нашел нам прекрасное либретто; Хюльда Шнакенбург создала замечательную музыку на основе заметок Гофмана. В этой опере мы должны видеть среди прочего совершенно новый образ Гофмана-композитора: это — музыкальная драма, созданная задолго до Вагнера. Так что пойте ее, как раннего Вагнера.

— А! Вагнер! — воскликнула мисс Интрепиди. — Теперь я знаю.

Краны жадно впитывали все это и последующие репетиции «на полу», как называл их Пауэлл, целью которых было спланировать движения и при необходимости жесты певцов. (Асессоров всегда называли Кранами, хотя Мейбл каждый

раз принималась объяснять, что она все еще Мейбл Маллер и не поступилась своей индивидуальностью в их высокодуховном союзе, хотя, несомненно, поступилась своей фигурой.) Эл загонял всех в угол и допрашивал. В своем желании быть незаметным он мозолил глаза. Он, как тигр на охоте, жадно кидался на каждую мотивацию и записывал ее. Его заметки для великой *Regiebuch* приобрели угрожающий объем. Оливер Твентимэн оказался для Эла золотым дном.

Вот это кладезь традиций! Твентимэн в молодости пел со множеством знаменитых дирижеров, и его подготовка вошла в легенду. Еще юношей, почти мальчиком, он работал со знаменитым Дэвидом Франконом-Дэвидом[384] и воспроизвел для Эла множество заповедей этого великого мастера. Что еще более замечательно, он три года работал с блистательным Вильямом Шекспиром — не драматургом, объяснил он, когда у Эла отвисла челюсть, а учителем пения, который родился в 1849 году и обучил многих величайших певцов, пока не скончался в 1931-м. Шекспир всегда настаивал, что пение, даже сложнейшее, основано на словах, на словах, на словах.

---

**[384] Примечания: 384**

*Дэвид Франкон-Дэвид* (1855–1918) — известный валлийский оперный певец, баритон.

— Да это прямо как сон! — воскликнул Эл.

— Это мастерство, мой мальчик, — сказал Натком Прибах, который пока не дождался решительного выбора между чихом и прыском. — И не забывайте про комическую струю. Вагнер не любил комического; впрочем, он считал «Мейстерзингеров» комической оперой. Видели бы вы моего Бекмессера[385] в Сент-Луисе пару лет назад! Я два раза останавливал представление!

Особенно Эл донимал Даркура:

— Это ваше либретто… Оно кой-где смахивает на стихи, а?

— Возможно, местами, — согласился Даркур.

— А вы что-то совсем не похожи на поэта, — не отставал Эл.

— Может быть, и не похож. А что, когда у вас ожидается прибавление?

— Мы уже замучились. Лапуля ужасно устала. И беспокоится. Мы оба беспокоимся. Нам повезло, что мы вместе работаем над этим замечательным проектом. Помогает отвлечься от всякого такого.

Мейбл кивнула — потная, тяжелая и замучен-

---

**[385] Примечания: 385**

*…он считал «Мейстерзингеров» комической оперой. Видели бы вы моего Бекмессера…* — «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868) — опера Рихарда Вагнера в трех действиях на собственное либретто на немецком языке. Считается одной из вершин творчества Вагнера. Бекмессер — один из второстепенных персонажей этой оперы.

ная. Ей хотелось, чтобы труппа наконец переехала в Стратфорд, подальше от жуткой влажной жары торонтовского лета. По ночам, лежа на кровати в дешевой меблирашке и слушая, как Эл читает вслух зловещие гофмановские сказки, она иногда задумывалась: понимает ли Эл, какую жертву она приносит его карьере? Как и другие женщины до нее — с тех самых пор, как человечество впервые соблазнилось блеском того, что мы теперь называем наукой и искусством.

— Эл, ты не разотрешь мне ноги? У меня ужасно болят лодыжки.

— Конечно, Лапуля, вот только дочитаю до конца.

Через двадцать минут он наконец принялся растирать ей ступни и удивился: почему она плачет?

## 11

## ЭТАГ в чистилище

*Какая забавная драма — жизнь, когда ты не обязан быть одним из актеров! Нет-нет, это звучит похоже на кота Мурра. Но за последние несколько недель я получил больше удовольствия, чем за все время, прошедшее после моей смерти.*

*Гомер был совершенно не прав, когда говорил об унылом полусуществовании мертвых. Мне очень приятна отстраненность моей теперешней жизни. Я вижу всех людей, работающих над моей оперой; я понимаю их чувства, но не обязан разделять их и так же страдать. Я аплодирую их стремлениям и сожалею об их ошибках. Но поскольку я абсолютно ничем не могу им помочь, меня не мучает чувство вины или сознание своей ответственности. Именно так, полагаю, боги смотрят на человечество. (Я прошу меня извинить, если, говоря о «богах» во множественном числе, я как-то задену то, того или тех, что ждут меня в следующей фазе посмертного существования.) Но боги, конечно, могли вмешиваться, и весьма часто вмешивались, хоть и не всегда со счастливым исходом — с точки зрения людей.*

*Невзгоды Пауэлла и Уоткина Бурка мне весьма близки. Как часто я сражался с певцами, которые считали итальянский единственным языком, пригодным для пения, и презирали наш благородный немецкий как язык варварства! Да, иные из этих певцов рождали сладостные звуки, но вложить в них достаточно смысла уже затруднялись; итальянский прекрасен, мы многим ему*

*обязаны, но наши северные языки богаче поэтическими тонкостями, оттенками, а оттенки — суть моей работы как композитора и как писателя. Как я боролся с певцами, желающими «вокализировать», — это словечко как раз вошло в моду и казалось им вершиной элегантности и утонченности в музыке. Как восхитительно они орали — как раз тогда, когда нужно было выразить смысл! Как настойчиво требовали, чтобы я заменил одни немецкие слова на другие, которые они могут спеть красивей! И каким неузнаваемым становилось слово, которое валялось, истерзанное, на самом дне производимых ими звуков, то есть рева, воркования, воплей или рыданий, исторгнутых с обильной и бессвязной музыкальностью! «Милостивая госпожа непревзойденная артистка, — объяснял я жирной капризной сопрано, — если вы пропоете это слово так громко, как обычно разговариваете, этого будет вполне достаточно, а слово будет исполнено смысла, который покорит ваших слушателей». Но они мне не верили. Ничто так не раздувает самоуверенность, как успех певца у зрителей.*

*Впрочем, отчего бы и нет? Если можешь до слез тронуть слушателей своим ля третьей октавы, к чему другие ухищрения?*

*А если можешь рассмешить их, не диво, что скоро тебе станет все равно, чем смешить. Этот человек, желающий чихнуть или прыснуть вином в лицо другим, мало чем отличается от площадных шутов моего времени. Для них вся комедия заключена в колбасе; дайте им колбасу, и они заставят большинство зрителей пять минут надрывать животики от смеха; прибавьте к колбасе луковицу, и хохот будет продолжаться восемь минут. Но как грустно подобное веселье! Как далеко оно от Духа Комедии!*

*Я начинаю привязываться к Шнак, насколько дух способен привязаться: она стала чище с тех пор, как эта шведка ее соблазнила, но она лишена шарма. Меня пленяет ее музыкальный гений. Да, я намеренно употребляю слово «гений». Я подразумеваю, что она обладает достаточной индивидуальностью, чтобы наложить отпечаток на музыку своего времени как подлинно серьезный композитор, и может достичь славы, хотя бы и посмертной. Ведь и Шуберт теперь известен как гений первой величины, а когда я впервые узнал о его трудах, очень мало кто в нашей части Германии о нем слыхал, и он пережил меня едва на пять лет. Изо всех, кого я знаю, творения Шнак, воздвигнутые на заложенном мною*

*фундаменте, больше всего напоминают Шуберта. Когда она в ударе, наша совместная работа обладает меланхоличной безмятежностью, приятием скорбей земной юдоли, характерным для Шуберта. Доктор Даль-Сут это знает, но остальные говорят, что музыка оперы похожа на Вебера, поскольку знают, что Вебер был моим другом.*

*Этот причудливый осел Кран выводит всю оперу из Вебера. Он из тех ученых, которые уверены: все, что есть в искусстве, старательно выведено из чего-нибудь существовавшего ранее. Да, мне нравилась музыка Вебера, но у меня не возникает желания поставить свою подпись ни под одной его оперой.*

*Бедный Шуберт — он умирал медленно, как я, и, в сущности, от той же болезни. До сих пор, кажется, никто не объяснил, почему одна и та же болезнь одного сводит в могилу в бреду и чудовищных муках, а другому дает в последний год жизни написать три сонаты для фортепиано, лучшие во всем царстве музыки.*

*Не следует сурово судить Крана. Возможно, он беспокоится о ребенке или о своей разбухшей женщине, Мейбл Маллер. В нем есть некая эротическая елейность, которой не следует пре-*

*небрегать. Бедняжка Мейбл займет невысокое место в списке жертв, принесенных на алтарь искусства.*

*Я вижу и другие жертвы — большие, как мне кажется. Я печалюсь за Артура и Марию. Они смиренно желают быть своими среди артистов, но им не дают даже того статуса, который дарован Наткому Прибаху. Артисты (и даже послушницы от искусства — девушки на побегушках) не намеренно жестоки, они отвергают Артура и Марию лишь потому, что те как будто ничего не делают для оперы, хотя именно их деньги лежат в основе всей затеи. «Ничего не делают»? Они каждый день выписывают чеки, расплачиваясь за то и за се. Потому что они подлинно любят искусство и желают ему процветания! Потому что, если бы они могли петь, они бы пели! Если бы им разрешили, они раскрасили бы лица гримом и вышли на сцену!*

*Я видал подобных людей в театрах, где работал режиссером — как сейчас Пауэлл. Богатые купцы или мелкие дворяне — они оплачивали счета, и не всегда для того, чтобы заработать вес в обществе, но порой из истинной любви к тому, на что сами не были способны. Покровитель искусств может выбрать одну из двух*

*дорог: подмять все под себя и испортить суп, пересолив его или переперчив, либо делать то, к чему предназначил его Бог, то есть платить, платить, платить! И я в свое время был таков же, как все: целовал ручки, нижайше кланялся, говорил комплименты, но в душе яростно желал благодетелям провалиться и не путаться у меня под ногами, когда я работаю. Видя себя в своем творении — музыканте Иоганне Крейслере, я презирал своих покровителей и видел в них лишь последователей мерзкого кота Мурра! Словно среди артистов не встретить людей, ищущих лишь своего интереса! О, если бы я мог утешить Артура и Марию, ощущающих холодок презрения, исходящий от артистов. Но в моем положении я и этого не могу.*

*Но я вижу, что их судьба — другая, а кто может избежать судьбы? Они проживают — как фарс — историю Артура и Гвиневры, но когда тебя влечет фарсовая судьба, это не то же самое, что чувствовать себя персонажем комедии. Такова их участь — быть богатыми и казаться могущественными, но в мире искусства, где богатство имеет не первостепенную важность, а могущество ничего не дает.*

*Как и все прочие, я томлюсь и жду переезда в*

*Стратфорд.*

# VII

## 1

Когда труппа наконец переехала в Стратфорд и, как выразился Пауэлл, покатила к премьере на самой высокой передаче, легко было не заметить, что Шнак по уши влюблена в Пауэлла. Она ходила за ним по пятам — но точно так же за ним ходили сценариус, ее ассистентки и девушки на побегушках. Она ловила каждое его слово — но то же делали помреж Уолдо и оформитель Далси Рингголд. Никто не замечал влюбленности Шнак, кроме Даркура; никто, кроме него, не видел, *как* она таскается за Пауэллом и слушает его. Никто не видел света любви у нее в глазах.

В таких глазах его обычно и не ищут. У нее были маленькие, вечно сощуренные, тусклые глазки. И вообще, одеяние любви ее не украсило: двигалась она неуклюже, ибо была кривонога, как свинья, идущая на войну (по очередной онтарийской пословице Даркура); голос не утратил скрипучести, хотя Гунилле удалось расширить словарный запас Шнак и отучить ее сквернословить; изящества в ней не было ни капли, а

что до шарма, тут она в подметки не годилась даже младшей из девиц на побегушках. Но Шнак полюбила; это было не пробуждение тела и утоление его желаний, как с Гуниллой, но овеянная романтикой страсть. «Пока Шнак работала над оперой, она и сама пропиталась пресловутым романтизмом, — думал Даркур. — Наверняка она по ночам мечется на бессонном ложе и поверяет подушке имя возлюбленного».

Даркур рискнул спросить Гуниллу, в курсе ли она.

— О да, — ответила доктор. — Это было неминуемо. Ей надо перепробовать все, а Пауэлл — совершенно очевидная мишень для любви молодой девушки.

— И ты не против?

— А почему я должна быть против? Девочка не моя собственность. Да, мы мило забавлялись, к великому шокированию этой толстой кумушки, профессора Рейвен. Но это было то, что бывает между учеником и учителем. А не любовь. Я знала любовь, Симон, в том числе и к мужчинам; я знаю, что это такое. Я не настолько романтик, чтобы считать любовь полезной для просвещения — расширение горизонтов, ценный опыт и тому подобная чушь. Но любой человек, если

он не полный кочан капусты, когда-нибудь испытывает подобное. Я присмотрю за тем, чтобы любовь не помешала ей работать: все, кажется, забыли, что цель этой усложненной затеи — защита диссертации, и Хюльда должна получить свое ученое звание, иначе выйдет лишь колоссальный перевод денег.

И действительно, это была усложненная затея. Труппе повезло: в последние три недели репетиций в ее распоряжении оказался весь театр. Правда, кроме сцены. На сцене еще неделю должна была идти пьеса, в которой использовался лишь один несложный набор декораций. Все мастерские и репетиционные теперь были посвящены «Артуру». А в последние две недели перед премьерой певцы завладели и сценой — кроме случаев, когда она нужна была декораторам и техникам.

Техники орудовали с размахом. Даркуру казалось, что они почти поглотили оперу. В одной мастерской на огромных каркасах были натянуты холсты, на которых рисовали декорации, — Пауэлл требовал достойных декораций, а не висячих линялых тряпок, создающих впечатление, что небо село при стирке.

— Во времена Гофмана сценического освеще-

ния — в нашем теперешнем понимании — не существовало и все световые эффекты приходилось рисовать на декорациях. Именно это сейчас делает Далси.

Далси Рингголд была совсем не похожа на театральных оформителей, как их представлял себе Даркур. Маленькая, застенчивая, смешливая, она как будто сама не воспринимала свою работу всерьез.

— Ничего гламурного, на самом деле я просто портниха, — говорила она с полным ртом булавок, обматывая чем-то Клару Интрепиди. — Я — «та симпатичная мисс Далси, у которой такая легкая рука».

В ее руках Клара Интрепиди каким-то образом стала выше и стройнее.

— Вот, дорогая: если вы только самую чуточку втянете живот, будет просто замечательно.

— Я дышу животом, — ответила мисс Интрепиди.

— Тогда мы это задрапируем капельку посвободнее… и сделаем вот тут ма-а-аленькую вставочку…

Еще Далси видели в люльке, качающейся перед огромным каркасом: на каркас был натянут очередной задник, раскрашенный по акварель-

ным эскизам Далси, аккуратно расчерченным на квадратики. Обвязав голову грязной банданой, она рукой мастера клала завершающие штрихи. Иногда она оказывалась в подвале, где изготавливались доспехи — не со звоном кузнечного молота, но с химической вонью прессуемого плексигласа. Здесь же изготовили все мечи, и скипетр Артура, и короны для Артура и Гвиневры, усаженные стеклышками с фольговой подкладкой — это были драгоценные камни, придавшие послеримской Британии восхитительную кельтскую пышность.

Далси была повсюду, ее вкус и воображение накладывали отпечаток на все.

— Ненавижу, когда зрителям велят задействовать воображение, — говорила она. — Это халтура. Зрители платят, причем немаленькие деньги, за чье-то чужое воображение — платят людям, у которых воображения столько, что зрителям и не снилось. Вроде меня. Воображение — мое ремесло.

Говоря это, она заканчивала прекрасный маленький набросок головы шута, которую должны были изготовить якобы из металла и прикрепить к рукоятке меча сэра Дагонета. Но ремесло Далси этим не ограничивалось.

Даркур взял с ее рабочего стола большую книгу.

— Что это? — спросил он.

— О, это мой любимый и обожаемый Джеймс Робинсон Планше. Это его «Энциклопедия костюмов», книга, которая совершила революцию в театральном оформительстве. Вы не поверите, но он был первым, кто попытался одевать артистов в одежду, хоть как-то подходящую к историческому периоду. Это он оформил первую постановку «Короля Иоанна» действительно в стиле той эпохи. Конечно, я не копирую его дизайн. Точное воспроизведение исторического костюма, как правило, выглядит нелепо. Но дорогой Планше просто потрясающе стимулирует воображение.

— Надо полагать, даже Планше не знал, что носили во времена короля Артура, — сказал Даркур.

— Нет, но он сделал бы предположение, и весьма обоснованное, — сказала Далси, нежно поглаживая два огромных тома. — Я подпитываюсь от милого Планше и еще, конечно, строю догадки. Множество драконов — это самое подходящее для Артура. Я надену Моргане Ле Фэй головной убор в форме дракона. Звучит как ужасный китч, но вот увидите — когда я закончу, это будет очень

красиво.

«Значит, всеведущий Планше все-таки пролез в нашу оперу, хоть мы и отказались от его ужасного либретто», — подумал Даркур. Он уже начал чуточку влюбляться в Далси — как и любой другой мужчина, оказавшийся рядом с ней. Впрочем, оказалось, что в сексе она — единомышленница доктора Даль-Сут: она бесстыдно флиртовала со всеми мужчинами, но ужинать пошла с Гуниллой.

«Это мир, в котором секс занимает не первое, не второе и даже, может быть, не третье место, — подумал Даркур. — Освежающая новизна».

Однако секс в полной мере брал свою дань с жертвы семейной жизни, Мейбл Маллер. В Стратфорде оказалось так же жарко, как в Торонто, у Мейбл распухли ноги, волосы потускнели и слиплись, и она с явным трудом таскала свое бремя, устремленное в будущее. Она плелась за Элом, который носился туда-сюда, делая заметки и фотографируя «поляроидом»; изо всех сил стараясь никому не мешать, он страшно путался у всех под ногами. Нельзя сказать, что Эл забывал про Мейбл или игнорировал ее: он давал ей носить свой тяжелый портфель, и еще они всегда вместе ели сэндвичи, принесенные Мейбл из ближай-

шей закусочной; Эл в это время распространялся («экстраполировал», как выражался он сам) о том, что успел записать и сфотографировать.

— Это чистое золото, Лапуля, — время от времени повторял он.

Но для нее это было золото фей — тронь его, и оно обратится в сухие листья.

Когда схватки Мейбл наконец стали невыносимыми и ее пришлось везти в больницу, Эл даже не обиделся на нее за зря потраченное время. «Уже каждые двадцать минут», — со слезами прошептала она, и Эл закончил только одну очень важную запись, прежде чем схватить Лапулю за руку и вывести ее из репетиционной. Такси им искал Даркур, и он же велел водителю ехать как можно скорее. Договоренности с больницей не было, Лапуля даже ни разу не побывала у доктора, поэтому ее взяли в приемный покой «скорой помощи».

— У Мейбл что-то не так, — сказала Мария Даркуру чуть позже. — Схватки прекратились.

— Эл вернулся к концу репетиции. Я думал, все идет гладко.

— Эла я удушить готова! Вот в чем вся беда с этими «гражданскими браками». Чуть что — и люди идут на попятный. Я бы побыла в больнице,

но Артуру нужно на пару дней вернуться в контору, и я еду с ним. Новое в деле Уолли Кроттеля. Я тебе потом расскажу. На самом деле тут нам делать нечего. Герант, кажется, считает, что мы мешаем.

— Не может этого быть.

— Еще как может. Но ты приглядишь за Мейбл? Конечно, ее дела нас не касаются, но я все равно беспокоюсь. Дай знать, если мы сможем чем-то помочь.

Так Даркур и оказался в унылом приемном покое родильного отделения в четыре часа утра. Эл ушел в половине одиннадцатого, пообещав позвонить наутро. Даркур был не один. После ухода Эла явилась доктор Даль-Сут.

— Это ну совсем не по моей части, — сказала она. — Но бедняжка — чужая в земле чужой, как и я, вот я и пришла.

Даркур знал, что хвалить ее за это неуместно.

— Меня Артур и Мария попросили приглядеть, — сказал он.

— Они мне нравятся, — ответила доктор. — С первого взгляда не очень понравились, но при ближайшем рассмотрении они выглядят лучше. Очень крепкая пара. Думаешь, это из-за ребенка?

— В том числе. Ребенок замечательный. Мария

кормит грудью.

— В самом деле? Это старомодно. Но, я считаю, очень хорошо.

— Не знаю. Как говорим мы, ученые, «это не моя область». Но зрелище прекрасное.

— У тебя мягкое сердце, Симон. И хорошо. Я терпеть не могу мужчин, в которых совсем нет мягкости.

— Гунилла, как ты думаешь, мы, одиночки, склонны к сантиментам, когда дело касается любви, детей и прочего?

— Я вообще не склонна к сантиментам. Но иногда сентиментальна. Это очень полезное различие в языке. Если человек не чувствует — он почти мертв.

— Но ты… прости за откровенность… выбрала путь, начисто исключающий детей.

— Симон, ты слишком умен, чтобы быть таким провинциалом, каким иногда притворяешься. Ты же знаешь, что в мире есть место для всего и всех. Что, по-твоему, значит брак? Два человека едят с одной вилки и вместе делают детей?

— Боже сохрани! Сейчас уже так поздно — или так рано, — что я буду откровенен. Брак — это не только домашняя жизнь, продолжение рода, узаконенный секс или форма собственности. И это,

совершенно точно, не счастье в том смысле, как это слово обычно понимают. Думаю, это — способ найти свою душу.

— В мужчине или женщине?

— С мужчиной или женщиной. Вдвоем, но в конечном счете — в одиночку, как все в жизни.

— Тогда почему ты не нашел свою душу?

— О, это не единственный путь. Но возможный.

— Значит, ты думаешь, что и я когда-нибудь найду свою?

— Почти не сомневаюсь. Люди обретают души самыми разными способами. Я сейчас пишу книгу — биографию моего очень хорошего друга, который, несомненно, свою душу нашел. В живописи. Он хотел найти ее в браке, и вышла трагедия, потому что он тогда был сопливым романтиком, а она — из числа сирен, после которых у мужчины только и остается что кубок слез сирены в руках[386]. Прохиндейка, если судить по обычным меркам. Но в этой трагедии Фрэнсис Корниш нашел свою душу. Я знаю. У меня есть доказательства. Об этом я и пишу.

---

**[386] Примечания: 386**

*…кубок слез сирены в руках.* — Аллюзия на шекспировский сонет 119. В сонете говорится о превратностях любви, укрепляющих и обогащающих душу человека. См. также примеч. к с. 1072.

— Фрэнсис Корниш? Один из этих Корнишей?

— Дядя Артура. Именно на его деньги мы сейчас устраиваем этот фантастический цирк.

— Но ты думаешь, Артур найдет свою душу в этом браке?

— И Мария тоже. И если хочешь знать, я считаю, что король Артур нашел свою душу — или ее большой кусок — в браке с Гвиневрой, которая тоже была та еще штучка, если верить Мэлори. И наша опера в значительной мере именно об этом. «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Он нашел свою душу.

— А этот Артур тоже великодушный рогоносец?

Даркуру не пришлось отвечать, так как в этот момент вошел врач в белом халате и шапочке:

— Это вы с миссис Маллер?

— Да. Что там?

— Мои соболезнования. Вы отец?

— Нет. Просто друг.

— Там плохо. Ребенок родился мертвым.

— В чем причина?

— Она, кажется, ни разу не показывалась врачу за все время беременности. Иначе мы бы сделали кесарево. Но когда мы обнаружили, что у ребенка слишком большая голова для родового канала,

он был уже мертв. Это называется «угнетение плода». Очень жаль, но такое случается. Как я уже сказал, она вообще не наблюдалась у врача.

— Можно ее видеть?

— Не рекомендуется.

— А она уже знает?

— Она в сумеречном состоянии. Роды были долгие. Утром кто-нибудь должен будет ей сказать. Вы сможете?

— Я могу, — сказала доктор Гунилла, и Даркур был ей благодарен.

## 2

Утром доктор Даль-Сут пришла в больницу, но нужда сообщать дурную весть уже отпала. У Мейбл был Эл. Мейбл была в истерике.

— Произошла, как говорят англичане, сцена, — рассказывала доктор Даркуру. — Эл, этот мерзкий педант, даже не позаботился выяснить, был ребенок мальчиком или девочкой. А когда Мейбл потребовала, чтобы ей показали ребенка, медсестра объяснила, что это невозможно. Мейбл спросила почему. Потому что тело уже недоступно, сказала медсестра. Почему, спросила разъяренная Мейбл. Потому что никто не попросил выдать тело для похорон, объяснила

медсестра. Мейбл поняла. «Вы хотите сказать, что моего ребенка выкинули в мусор?» — спросила она. Медсестра объяснила, что в больнице это называют по-другому и именно так чаще всего поступают с мертворожденными детьми. Но деталей она не сообщила, кроме того, что это был мальчик, совершенно здоровый, если не считать необычно большой головы. Никаких аномалий. Видимо, это у Мейбл в голове аномалия. Ты ее знаешь. Она мягкотелая дура, но такие люди могут поднять ужасный шум, если их разозлить. Она готова была убить Эла. А он — честное слово, это его надо было выбросить в мусор при рождении! — только твердил: «Успокойся, Лапуля, завтра ты все увидишь в другом свете». Ни нежного слова не сказал, не обнял ее и вообще вел себя так, будто он совершенно ни при чем! Я его выставила и немного поговорила с Мейбл, но ей очень плохо. Что ты намерен делать? Это к тебе, кажется, все бегут, если случилась настоящая беда. Ты пойдешь к Мейбл?

— Наверно, лучше сперва сходить к Элу.

Эл считал, что Мейбл ведет себя совершенно неразумно. Она знает, как он занят и как эта работа важна для его карьеры, то есть для их общей карьеры, если они намерены держаться вместе.

Разве он не поехал с ней в больницу и не вернулся только после ужина, как прекрасно известно Даркуру? Врач же сказал, что роды могут продлиться несколько часов, потому что с первым ребенком никогда не знаешь. Неужели Эл должен был сидеть там всю ночь? Ведь ему потом целый день работать по заранее намеченному плану, с полной самоотдачей. Если бы не этот несчастный случай — этот мертворожденный ребенок, — все было бы в порядке. А теперь Мейбл отчего-то скандалит.

Вся беда, объяснил Эл, оттого, что Мейбл так и не поднялась над уровнем своей семьи. Узкий кругозор, не блещут интеллектом — Эл с ними так и не поладил. Все время спрашивали, почему они с Мейбл не поженятся, как будто несколько слов, которые над ними пробормочет… и т. п. Эл думал, что помог Мейбл интеллектуально вырасти, но под влиянием стресса (Эл готов был признать, что потеря ребенка — это стресс) все вернулось на круги своя, и Мейбл снова стала дочерью страхового агента из Фресно. Она хотела, по ее словам, «похоронить ребенка по-человечески». Как будто несколько слов, которые пробормочет и т. п., что-то изменят для существа, которое никогда не жило.

— Буду с вами откровенен. После этой истории стало ясно, что мне с Мейбл не по пути. Надо смотреть правде в глаза: людям с таким разным уровнем образования, как мы — хотя Мейбл, конечно, учится на социолога, — не найти общий язык.

Эл, конечно, хотел бы поступить как порядочный человек. Мейбл рвется домой, к маме. Подумать только! Женщина двадцати двух лет просится к маме! Конечно, Маллеры — очень дружная семья. Но Элу это не по карману. Его гранта от университета хватает на одного, едва-едва — на двоих, и билет во Фресно подорвет его финансы. Не может ли Даркур уговорить Мейбл подождать пару дней и не очень расстраиваться, а тогда, может быть, она все увидит в другом свете.

Даркур сказал, что рассмотрит вопрос и поступит наилучшим образом.

Это означало, что он позвонил Марии в Торонто и все ей рассказал.

— Я немедленно выезжаю, — ответила она.

Именно Мария забрала Мейбл из больницы, оплатила все счета, поселила ее в гостинице рядом с собой и хорошенько прочистила Элу мозги — их обоих поразило, насколько банальной была

ее отповедь и по тону, и по содержанию. Именно Мария отправила Эла в аптеку за молокоотсосом, в котором срочно нуждалась Мейбл. Это был ужаснейший день в жизни Эла. Молокоотсос! Эл запросто мог зайти в аптеку и спросить презервативы. То был эпатаж. Но молокоотсос! Это какой-то апофеоз домовитого мещанства. Когда Мейбл оправилась, именно Мария довезла ее до аэропорта и купила ей билет во Фресно, к маме. Слезливая благодарность Мейбл, которая все время пыталась говорить с Марией «как женщина с женщиной» или «как несчастная мать со счастливой», была для Марии тяжелым испытанием, но она снесла все без единой насмешки или жалобы — даже в разговорах с Даркуром. Даже постоянные слезливые намеки Мейбл, что судьба благоволит к богачам и преследует бедняков, не вывели Марию из себя. Хоть она и думала при этом, что от такого, пожалуй, молоко в груди свернется.

— Ты вела себя героически, — сказал Даркур. — Ты заслуживаешь награды.

— А я ее и получила, — сказала Мария. — Помнишь, я говорила про новости в деле Кроттеля? Нам сказочно повезло — книга нашлась!

— Но ты же ее выбросила.

— Да. Но то был оригинал — мятая, грязная, исчерканная охапка листов, что оставил Парлабейн. Когда я посылала книгу издателям, один из них подумал, что литературный негр сможет что-то выжать из этого текста. Поэтому он сделал копию — непростительно, конечно, но таковы издатели — и послал своему любимому литературному негру, который ответил, что это безнадежно. Но недавно этот негр послал копию обратно — нашел ее у себя на столе; видимо, он не отличается литературной аккуратностью. И издатель запоздало поступил как честный человек, то есть отправил ее мне. А я отправила ее Уолли.

— Но ведь Уолли в тюрьме, ждет суда.

— Я знаю. Я послала ее Мервину Гуилту с длинным письмом, полным дразнилок и ехидных латинских цитат. Разрешила ему публиковать книгу — если сможет.

— Мария! Он же тебя теперь по судам затаскает!

— Не затаскает. Я показала письмо Артуру, и он долго смеялся, но потом велел одному из своих юристов все переписать, и получилась сухая нудная бумага. Ни слова по-латыни. С тех пор как адвокаты не знают латыни, они стали гораздо скучнее. В общем, это стопроцентно надежное

письмо — в нем мы ничего не признаём и не предоставляем никаких прав, но даем Уолли то, чего он хотел, — «глянуть на книгу маво папки».

— И делу конец.

— Ну, поскольку Уолли дадут не меньше семи лет, точно конец.

— Мария, тебе сам черт ворожит!

Эл не сказал Марии ни слова благодарности. Ему это и в голову не пришло — так он погрузился в свой *Regiebuch*; а если бы и пришло, он бы не рискнул, ибо от женщины, которая *так* с ним говорила, лучше держаться подальше. В душе Эл был в первую очередь музыковедом. Ведь есть, кажется, опера под названием «Все хорошо, что хорошо кончается»? Он посмотрел в справочнике. Точно, есть такая. Композитор Эдмон Одран. И его лучшая оперетта называлась «La Poupée» — ведь это, кажется, означает «Мла-

денец»?[387] Удивительно, как в человеческой судьбе, и в музыке, и в жизни все переплетается. Поневоле задумаешься.

## 3

Инцидент не помешал работе над оперой. Приготовления к премьере по-прежнему шли полным ходом. Представления пьесы, которая занимала сцену, окончились, и театром полностью завладел Пауэлл с компанией. Декорации подвесили на колосниках; все сорок пять наборов веревок, управляющих декорациями, подогнали по размеру и сбалансировали для удобства. С театрального склада принесли взятые напрокат роскошные занавеси и прикрепили перед просцениумом, чтобы их можно было подхватить в стороны и вверх в пышной манере девятнадцатого века. Пауэлл потребовал, чтобы на рампе

**[387] Примечания: 387**

*В душе Эл был в первую очередь музыковедом. Ведь есть, кажется, опера под названием «Все хорошо, что хорошо кончается»? Он посмотрел в справочнике. Точно, есть такая. Композитор Эдмон Одран. И его лучшая оперетта называлась «La Poupée» — ведь это, кажется, означает «Младенец»?* — Эл немного путает. У французского композитора Эдмона Одрана (1842–1901) есть оперетта «Жилетта Нарбоннская» (1883), сюжет которой основан на комедии У. Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается» и ее литературном первоисточнике, одной из новелл «Декамерона» Боккаччо. У Одрана есть также оперетта «La Poupée», что, однако, в переводе с французского означает не «Младенец», а «Кукла».

установили нижние софиты, и добился своего. Напрасно Уолдо Харрис утверждал, что такое уже никто не использует.

— Их использовали в театре Гофмана, и они очень льстят внешности дам, — объяснил Пауэлл. — Если свет только сверху, лица дам будут похожи на черепа, а это недопустимо. И снимите эти чертовы прожектора с передней части просцениума — они совершенно не в стиле, и мы без них прекрасно обойдемся. Света с передней части балкона вполне достаточно.

Пауэлл был намерен, насколько это возможно, превратить маленький театр, принадлежащий Стратфордскому фестивалю, в очаровательный оперный театр начала девятнадцатого века.

— Мы используем эти хорошенькие дверцы, открывающиеся на авансцену, — сказал он Даркуру, — и не будем гасить свет в зале, а только приглушим его — во времена Гофмана зрители сидели при свете, видя своих соседей, и могли болтать или флиртовать, если пьеса им не нравилась. Флирт — прекрасное занятие, надо бы его возродить.

Пауэлл с Далси Ринголд приготовили красивые картуши для украшения маленьких лож рядом со сценой: на одном картуше был герб

города, а на другом — провинции, но не в официальном, а в игривом стиле. Они выглядели как изящная алебастровая лепнина, но на самом деле были выпрессованы из того же легкого пластика, что и доспехи Артуровых рыцарей.

Все эти занятия производили много шума, но певцы время от времени поднимались на сцену, орали или визжали в глубины зала и соглашались, что акустика прекрасная. Они пока еще работали в репетиционных под руководством Уоткина Бурка, который, кажется, перешел на двенадцатичасовой рабочий день.

Труппа сильно оживилась, когда театр перешел в ее полное распоряжение. Возникали дружеские связи, обострялась вражда, звучали тайные насмешки.

Одним из насмешников был Альберт Гринло, чернокожий певец, игравший сэра Пеллинора. Он нашел великую забаву в лице Наткома Прибаха, который был по профессии комедиантом, но отнюдь не считал себя комичным.

— Ты знаешь, что Прибабах получает письма от своей собаки? — спросил Гринло у Винсента Лемойна, другого чернокожего рыцаря. — Я не шучу! От своей собаки! Она, конечно, в Англии, но пишет ему два раза в неделю. Да еще с

простонародным акцентом! *«Дарагой хазяин, я потибе ужасно скучаю, но хазяйка говорит, что мы должны крепицо и ходить гулять кажный день, как если б ты был тут. Мой рувматизм стал хужей, но я пью таблетки и заноч встаю всего раза два-три. Хазяйка говорит эта более лучше. Скарей приижай домой в лавровых венках и привизи кучу красивых зеленых косточек. Твой Бобик. Хазяйка присоединяица».* Как ты думаешь, почему собака так изъясняется?

— Это классовый вопрос, — объяснил Уилсон Тинни, исполнитель роли Гэрета Прекраснорукого. — Собака любит хозяина, а он — ее, но социально они не равны. И тем более собака не может стоять выше хозяина. Представьте себе Прибабаха с титулованной собакой. *«Дорогой Прибах, Ваша супруга прекрасно за мной ухаживает в Ваше отсутствие. Я с нетерпением жду двенадцатое августа, когда откроется сезон охоты на куропаток. Примите мои уверения в совершеннейшем почтении не как от пса к хозяину, но как от смиренного друга»*. Это совершенно не годится.

— А знаете что? — спросил Винсент Лемойн. — Мне кажется, что эти письма пишет жена Прибабаха! И что собака на самом деле неграмотна!

— Поразительно! — воскликнул Гринло. — Как ты думаешь, Прибабах что-нибудь подозревает?

Некоторая напряженность царила в отношениях между мисс Вирджинией Пул — леди Клариссаной, которая одна из всех женщин-хористок играла именованную роль, — и Гвен Ларкин, сценариусом. Мисс Пул считала, что ей должны дать отдельную грим-уборную, но вместо этого ее поместили («засунули», как она выразилась) вместе со всем хором в большую комнату в подвале. Она участвует во всех трех актах, у нее два костюма, и все же Марта Ульман, которая поет Элейну и участвует только в одной сцене, получила собственную грим-уборную на одном этаже со сценой. Если это намеренное оскорбление, чем оно вызвано? А если недосмотр, то не следует ли его немедленно исправить?

Потом Пауэлл с Уолдо Харрисом скандалили в течение целого дня, потому что Пауэлл приказал вырезать в сцене люк и приказ не выполнили. Но если люк прорежут, объяснил Уолдо, он будет вести в оркестровую яму, а не в подвал под сценой. Пауэлл возмутился, что ему не сказали этого раньше. Он хотел, чтобы Мерлин волшебным образом появился на сцене, именно здесь — на авансцене с правой стороны, и мистер Твентимэн

уже четыре недели репетирует именно с этим расчетом. Ладно, сказал Уолдо, мы прорежем люк, но тогда придется сократить оркестр на пять человек. Тут вмешалась доктор Даль-Сут, и дело как-то обошлось без кровопролития и без люка.

— Я могу спускаться с колосников на тросе, — предложил Твентимэн. — Мне уже приходилось это делать.

Оливера Твентимэна полюбили все, причем без особых усилий с его стороны. Его преклонный возраст, шарм, а главное — непоколебимая уверенность, что все стараются ему угодить, покорили девиц на побегушках (которым он приносил бельгийский шоколад в хорошеньких пакетиках), убедили Гвен Ларкин, что она обязана грудью защищать его от всяческих невзгод, и заставили Уолдо Харриса принести в гримуборную Твентимэна особое кресло-качалку и маленький обогреватель — на случай внезапных осенних холодов. Взамен мистер Твентимэн снабжал всех советами по наилучшему английскому произношению при пении — Ганс Хольцкнехт слушал его, как прилежный ученик, и даже Клара Интрепиди прислушивалась, хотя старалась не показывать виду. Ей все еще был подозрителен язык, в котором столько гласных.

Дело шло к финальным репетициям, и волнение — тщательно сдерживаемое, как подобает профессионалам, — все росло.

Сцена была почти полностью оккупирована техниками, но Пауэлл выкроил время, чтобы дать актерам привыкнуть к пению в театре. Не всегда в полную силу, как выяснил Даркур: иногда певцы «мазали», то есть пели вполголоса, пропускали высокие ноты или брали на октаву ниже, и вообще звучали так тихо, словно решили хранить музыку в тайне. Уоткин Бурк творил чудеса на древнем пианино, стоящем на авансцене: он по-прежнему играл с полной оркестровой партитуры и с большой твердостью отражал атаки Эла Крана, желающего завладеть ею для своих заметок. Гунилла, сильно невзлюбившая Эла, решила, что нот он не увидит, если в ее силах этому помешать. Эл жаловался Пауэллу на трудности, но Пауэлл его не пожалел. Элу так и не удалось заполучить партитуру, и он совсем не обрадовался обещанию, что, может быть, ему что-нибудь дадут, когда начнутся представления.

Группа по связям с общественностью тоже развила бурную деятельность. Она требовала каких-нибудь интересных сплетен для передачи в прессу, которая пока не сильно интересовалась

«Артуром». Отчеты из кассы обескураживали: даже на премьеру были проданы не все билеты. Придется раздавать контрамарки. Несколько высокоученых критиков попросили партитуру для ознакомления и обиделись, когда им отказали: Уинтерсен запретил любое распространение нот, пока их не изучат экзаменаторы Шнак. Премьера приближалась, а из кассы сообщали, что на все представления продано лишь около трети билетов. Доктора Даль-Сут это не заботило, но руководство Стратфордского фестиваля было недовольно.

Даркур, как любитель-энтузиаст, жаждал успеха у публики и страдал, так как успех казался маловероятным. Шла одна из загадочных репетиций вполголоса. Даркур сидел на балконе театра. Вдруг он почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит, и уловил знакомый запах. Не то чтобы неприятный, но тяжелый, меховой, как из клетки медведя в зоопарке. Тихий бархатный бас зарокотал ему в ухо:

— Поп Симон, на одно слово.

Он обернулся — над ним склонялся Ерко.

— Поп Симон, я тут все замечал. Смотрел очень внимательно. Все, кажется, идет хорошо, но очень важной части оперы еще не хватает. Вы

понимаете, о чем я?

Даркур понятия не имел, о чем говорил цыган, который высился над ним как гора.

— Клака, поп Симон. Где ваша клака? Никто о ней не говорит. Я спрашивал. Я говорил с вашими пиарцами, они и слова такого не знают. Но вы-то, конечно, знаете?

Даркур слыхал слово «клака», но ничего не знал о самом понятии.

— Без клаки — никак. А чего еще вы ждете? Никто не знает эту оперу. В зале должны быть люди, которые знают оперу сверху донизу. Никто не осмелится хлопать, если не будет знать когда, где и почему. Зрители боятся сделать ошибку, и выглядеть глупо, и опозориться. А теперь слушайте очень внимательно. Я все знаю о том, как устроить клаку. Не я ли годами работал в Венской опере под руководством великого Бончи — он приходился родственником великому тенору с тем же именем, но таким образом, что об этом нельзя было говорить вслух. А я был правой рукой Бончи.

— Ерко, ты говоришь о людях, которые будут хлопать за деньги? Боюсь, нам это совсем не подходит.

— Хлопать за деньги — конечно, не подходит.

Это будет не клака, а шумный необученный сброд. Нет, смотрите: клака — это небольшая кучка специалистов; они, конечно, и хлопают тоже, но не как попало; среди них есть *bisseurs*, которые вызывают артистов на бис; *rieurs*, смехачи, которые смеются, когда надо, но не дурацким хохотом, а лишь чуть-чуть, как знающие люди, чтобы и другие начали смеяться; *pleureurs*, плакальщики, которые рыдают, когда нужно; и, конечно, они хлопают — но так, чтобы вдохновить других зрителей на аплодисменты, а не просто лупят рука об руку, как пьяные. И все это тщательно организует — и да, дирижирует этим — *capo di claque*. Это я. О деньгах речи нет — это подарок от нас с сестрой нашему дорогому Артуру. Но достаньте мне двенадцать билетов — четыре на балконе, по два с каждой стороны в партере поближе к сцене и четыре в последних двух рядах, посередине. Дело верное. И конечно, два билета для меня и сестры, потому что мы явимся в вечерних костюмах и сядем на лучшие места посреди зала. И дело в шляпе.

— Но, Ерко… Вы, конечно, очень добры, но разве это не обман?

— Разве пиар — обман? Разве стал бы я вас обманывать, друг мой?

— Нет-нет, конечно; но я уверен, что кого-то это да обманет.

— Поп Симон, слушайте. Вы знаете цыганскую пословицу «От лжи зубы белеют»?

— Надо сказать, это очень соблазнительно.

— Вы все устроите.

— Я поговорю с Пауэллом.

— Но ни слова Артуру. Это подарок. Сюрприз.

Даркур поговорил с Пауэллом, и тот был в восторге:

— Точно как в начале девятнадцатого века! Знаешь, он прав. Если зрителям не подсказывать, они в массе своей не будут знать, что им нравится и когда следует хлопать. Клака — именно то, что надо.

Даркур передал Ерко одобрение Пауэлла. Я иду путем Дурака, думал он. И в общем и целом — это весело.

## 4

А вот в экзамене Шнак не было ничего веселого. Результаты ее экзаменовки влияли на всю труппу — от рабочих сцены, которые считали все мероприятие помпезной нудятиной, до Альберта Гринло, у которого она вызвала, по его словам, мандраж, и Ганса Хольцкнехта с Кларой Интрепи-

ди, которым доктор Гунилла велела выложиться по полной на экзаменационном представлении, не «мазать» и ни в коем случае не беречь голос.

Форма экзамена была необычной. Поторговавшись, экзаменаторы согласились, что экзамен не может проводиться на кафедре музыковедения. Они должны поехать в Стратфорд. Утром в верхнем театральном буфете состоится устный экзамен, а после обеда экзаменационная комиссия увидит представление оперы. «Вам предстоит длинный день», — сказал Уинтерсен. Но ничего не сказал о том, какой день получится у Шнак.

Премьере, назначенной на субботу, должны были предшествовать три генеральные репетиции. Поэтому специально выделенный микроавтобус с семью музыковедами отъехал от здания кафедры музыковедения в среду, без четверти восемь утра.

— Надо сказать, я нахожу это значительным отступлением от процедуры, — сказал профессор Андреас Пфайфер, «внешний» экзаменатор, важная персона, приглашенная ради такого случая из важного музыкального учебного заведения в Пенсильвании.

— Вы говорите о просмотре представления оперы? — спросил заведующий кафедрой Уин-

терсен, который развлекал Пфайфера за ужином накануне вечером и был уже сыт им по горло.

— Об этом я ничего не говорю, — ответил Пфайфер. — Я имею в виду то, что нас подняли в несусветную рань и тащат куда-то в сельскую местность. Я очень плохо спал — думал о том, что нас ждет. Очень трудно сохранять выдержку при таких обстоятельствах.

— Следует признать, что обстоятельства необычные, — заметил Уинтерсен, зажигая первую сигарету за день.

— Возможно, чересчур необычные, — согласился Пфайфер. — Не могли бы вы воздержаться от курения? Это чрезвычайно неприятно в закрытом салоне.

Завкафедрой вышвырнул сигарету в окно.

— Ах, ах! Вы ее не потушили! — воскликнула профессор Аделаида О'Салливен. — Так и начинаются лесные пожары! Остановите! Я выйду и затопчу ее.

Автобус остановили, профессор О'Салливен выскочила, с риском для жизни пробежала сто метров назад среди потока машин, нашла сигарету, которая сама погасла на асфальте городской улицы, и затоптала ее из принципа. Путешествие начиналось неудачно. Профессор Джордж Купер,

плотный англичанин, уже уснул, но профессор Джон Диддир тайно встал на сторону завкафедрой, ибо сам любил курить во время экзаменов, чтобы скоротать время, и понял, что на сей раз ему это не удастся, раз Пфайфер и О'Салливен так явно против. Профессор Франсеско Бергер, экзаменатор с родной кафедры Шнак, попытался сыграть миротворца и рассказал анекдот, но, будучи неумелым рассказчиком, испортил развязку и лишь усугубил положение. Профессор Пенелопа Рейвен, седьмой экзаменатор, засмеялась над скомканным анекдотом. Смех прозвучал чересчур громко; Пфайфер сердито воззрился на Пенелопу и сверлил ее взглядом, пока она не замолчала.

В Стратфорд ехали почти два часа. Все это время водителю пришлось терпеть остерегающие возгласы Пфайфера, который был пугливым пассажиром.

Наконец экзаменаторы расположились в театральном буфете. Им поставили большой стол, где в изобилии лежали карандаши и блокноты, а также стояли термосы с кофе. Профессор Пфайфер, который кофе не пил, получил бутылку «перье» от Гвен Ларкин, назначившей себя распорядителем мероприятия. Она оставила в буфете

трепещущую девицу на побегушках, чтобы та приносила, уносила и выполняла другие приказы экзаменаторов.

Процедура устного экзамена на степень доктора музыковедения не слишком сурова, но может оказаться тяжелой. Шнак, по настоянию Гунилллы напялившая юбку, нервно околачивалась в буфете. Она поздоровалась за руку со всеми экзаменаторами, хотя терпеть не могла рукопожатий. Гунилла представила ее профессору Пфайферу, который четко дал понять, что оказывает Шнак большую честь. Он протянул руку, которой она едва коснулась. Все это походило на ритуал прощения палача перед казнью.

Затем Уинтерсен попросил Шнак спуститься вниз и ждать, пока ее не позовут. Она удалилась под конвоем девицы на побегушках, выступающей со всей торжественной серьезностью восемнадцати лет. Доктор Гунилла как научный руководитель была членом комиссии, а также выполняла функции «друга осужденного» — традиционной должности в военно-полевом суде. Канадцы тепло приветствовали ее, но профессор Пфайфер, у которого было свое мнение о международной репутации доктора, умудрился обдать ее холодом.

Завкафедрой, опытный в такого рода делах, мысленно застонал. Его предупреждали, что Пфайфер — сволочь, но репутация профессора была высока, а значит, приходилось терпеть.

Завкафедрой, в силу своей должности, был председателем экзаменационной комиссии. Он начал по правилам, то есть спросил присутствующих, знакомы ли они друг с другом. Они оказались знакомы (кое-кто — даже слишком хорошо). Он обратил их внимание на три копии партитуры, лежащие на столе перед ними — в справочных целях.

Затем Уинтерсен предоставил слово профессору Андреасу Пфайферу как приглашенному главному экзаменатору.

Профессору Пфайферу понадобился примерно час. Был ясный августовский день, но к тому времени, как Пфайфер вывалил на слушателей все свое недоверие и отвращение, в комнате воцарился февраль. Профессор Бергер, добродушный человек, симпатизирующий Шнак, воспользовался своей должностью внутреннего главного экзаменатора и умудрился немного сдвинуть календарь обратно, куда-то в конец декабря. Все же в помещении явственно ощущалась послерождественская унылость.

Другие экзаменаторы, вызываемые по очереди, были кратки. Пенни Рейвен заняла не более десяти минут. Она дала понять, что либретто создано ею, и вскользь упомянула о помощи некоего неназванного писателя.

— Я ничего не слышу о Планше, — заметил профессор Пфайфер.

Пенни и Гунилла воззрились на него с холодной ненавистью, но он был непроницаем.

Поскольку шествие пикадоров, приветствие президента, выступление матадоров и прочие церемонии, обычно предшествующие корриде, закончились, настало время привести быка. Уинтерсен кивнул девице на побегушках (уже обратившейся в шекспировского тюремщика), и Шнак снова привели к столу, совершенно убитую двумя часами одиночного беспокойного ожидания. Ее посадили рядом с завкафедрой и попросили объяснить свой выбор диссертационного проекта и рассказать о методах, которые она применяла, работая над ним. Она рассказала, но очень плохо.

Первым на нее выпустили профессора Пфайфера. Он, невероятно искусный матадор, тридцать пять минут мучил и терзал несчастную Шнак; она, не обладая красноречием и не владея ри-

торикой, по пять минут молчала и собиралась с мыслями перед каждым ответом.

Профессор Пфайфер не скрывал своего разочарования. Бык оказался неуклюжий, не боец, и явно не стоил внимания матадора такого класса.

Но по мере того как пытка продолжалась, Шнак все чаще прибегала к следующему ответу: «Я сделала именно так, потому что я это так услышала». Профессор Пфайфер смотрел на нее с сомнением и раза два презрительно фыркнул, но кое-кто из экзаменаторов, а именно Купер и Диддир, принимались улыбаться и кивать, потому что и сами понемногу сочиняли музыку.

Доктор Даль-Сут время от времени вмешивалась. Но Пфайфер заткнул ей рот словами: «Я не позволю себе думать, что научный руководитель соискателя принимал чересчур активное участие в собственно работе над композицией; это было бы абсолютно неприемлемо». Доктор Гунилла надулась, но с тех пор тактично хранила молчание.

Наконец завкафедрой, несколько раз подчеркнуто взглянув на часы, дал понять, что Пфайферу пора заканчивать допрос. Настала очередь доктора Франсеско Бергера; он был так добродушен, так старался успокоить Шнак, так обильно хвалил ее работу, что чуть все не испортил. Коллеги

доктора Бергера боялись, что он хватит через край. Когда настало их время задавать вопросы, они были кратки и милосердны.

Но Джордж Купер, продремавший почти все время, спросил:

— Я заметил, что в важные моменты оперы вы использовали тональности, которые, скажем так, не первыми приходят в голову композитору. Ля-бемоль мажор, до-бемоль мажор, ми-бемоль мажор — почему именно они?

— Это любимые тональности ЭТАГ, — ответила Шнак. — У него была теория о тональностях и их особом характере, о том, что с ними связано.

— ЭТАГ? Кто такой ЭТАГ? — спросил профессор Пфайфер.

— Извините. Эрнст Теодор Амадей Гофман; я привыкла мысленно называть его ЭТАГ, — объяснила она.

— Вы хотите сказать, что идентифицируете себя с ним?

— Ну, раз я работаю по его заметкам и пытаюсь понять, как он думал…

Профессор Пфайфер помолчал, издав носом презрительный звук. Потом сказал:

— Эти теории о характере тональностей были в большой моде во времена Гофмана. Конечно, все

это романтическая чепуха.

— Чепуха или нет, но нам следует узнать об этом поподробнее. Что он думал об этих тональностях?

— Ну… Он писал про ля-бемоль мажор: «Эти аккорды уносят меня в страну тоски по несбыточному». И про до-бемоль мажор: «Он впивается мне в сердце раскаленными когтями». Он называл эту тональность «мрачный призрак с красными горящими очами». А ми-бемоль мажор он часто использовал вместе с рожками: он называл это «тоскующие и сладкие звуки».

— Он ведь принимал наркотики? — осведомился профессор Пфайфер.

— Не думаю. Он много пил, иногда почти до белой горячки.

— Я не удивлен, раз он нес такую чепуху про характеры тональностей, — заявил Пфайфер и намерен был оставить эту тему.

Но Шнак не успокоилась:

— Но если он так думал, разве мне не следует уважать его идеи? Раз я заканчиваю его оперу и все такое?

Теперь уже профессор Диддир издал носом звук, словно намекая, что профессора Пфайфера застали врасплох.

— Надо полагать, свое избыточное увлечение модуляцией вы объясните тем, что Гофман обожал Бетховена.

— Гофман обожал Бетховена, и Бетховен был высокого мнения о Гофмане.

— Надо полагать, — заметил великий музыковед. — Вам, юная дама, следовало бы помнить, что думал о Гофмане Берлиоз: «писатель, мнящий себя композитором». Но вы решили потратить много сил на эту второстепенную фигуру, отчего мы и собрались сегодня здесь.

— Возможно, для того, чтобы доказать: Берлиоз мог ошибаться, — вмешалась доктор Гунилла. — Он частенько выставлял себя дураком, как это вечно бывает с музыкальными критиками.

Она знала, что доктор Пфайфер написал эссе о Берлиозе, оценив его на семьдесят из ста — больше Пфайфер не давал никому и никогда. Если Берлиоза можно использовать как палку, чтобы побить Пфайфера, тем лучше.

Был уже час дня.

— Дамы и господа, напоминаю вам, что наша утренняя работа — лишь часть этого необычного экзамена, — произнес завкафедрой. — Мы снова соберемся в два часа в театре, чтобы прослушать закрытое представление оперы с мисс

Шнакенбург в качестве дирижера. Ваше решение будет частично основано на результатах этого прослушивания. Как говорится, чтобы доказать, что пудинг съедобен, надо его съесть. А пока что Фонд Корниша пригласил нас на обед, и мы уже опаздываем.

Профессору Пфайферу не понравилась идея обеда за счет Фонда Корниша.

— Ведь они заинтересованы в исходе, — сказал он Уинтерсену. — Разве соискательница не их протеже? Мне неприятно задавать такой вопрос, но не пытаются ли они нас купить?

— Я думаю, они пытаются проявить порядочность и гостеприимство, — ответил завкафедрой. — Как вы знаете, для гостеприимства нужно участие двух сторон. Римляне весьма мудро использовали для понятий «гость» и «хозяин» одно и то же слово.

Пфайфер его не понял и покачал головой.

Обед проходил в лучшем ресторане Стратфорда — маленьком заведении у реки. Артур и Мария сделали все, чтобы угодить экзаменаторам. С Бергером, Купером, Диддиром и Пенни Рейвен это было легко. То же — с завкафедрой и даже с профессором Аделаидой О'Салливен, которая испытывала предубеждение только против табака.

Однако профессор Пфайфер и доктор Даль-Сут отбросили внешнюю учтивость, подобающую на экзамене, и сцепились как кошка с собакой.

— Я совершенно не согласен с процедурой, то есть с прослушиванием представления, — сказал Пфайфер. — Это вносит элементы, излишние для нашего решения.

— Вам все равно, эффектно ли смотрится опера на сцене?

— Меня интересует лишь, насколько эффектно она смотрится на бумаге. Я согласен с покойным Эрнестом Ньюменом: великая партитура полностью проявляется, когда ее читаешь в тишине своего кабинета, а не когда сидишь среди толпы, терпя ошибки оркестра и певцов.

— Вы хотите сказать, что лучше воспроизведете оперу у себя в голове, чем сто музыкантов высокого класса в театре?

— Я способен прочитать оперную партитуру.

— Лучше, чем, скажем, фон Караян? Чем Хайтинк? Чем Колин Дэвис?

— Я не понимаю цели ваших вопросов.

— Я пытаюсь оценить всю степень вашего величия, чтобы проявить должное уважение. Я тоже способна прочитать оперную партитуру. Я славлюсь этой способностью. Но все равно луч-

ше, когда я взмахиваю палочкой и сто двадцать музыкантов принимаются за работу. Я одна не заменяю оперную труппу и оркестр.

— Да? Вы, возможно, и не заменяете, а я заменяю. Нет, я не пью вина. Стакан «перье», пожалуйста.

Алкоголь, не выпитый профессором Пфайфером, с лихвой компенсировали остальные. За утро у них пересохло в горле. За время обеда все, кроме Пфайфера, пришли в отличное настроение; профессор Джордж Купер обнаружил склонность налетать на столы и смеяться над своей неловкостью. В конце концов, под профессорскими мантиями скрывались музыканты; хорошо накрытый стол был частью их стихии. Все поблагодарили Артура и Марию так горячо, что Пфайфер заподозрил худшее. Но его им не удалось подкупить! Отнюдь!

## 5

В ряду грим-уборных на уровне сцены первой шла каморка, предназначенная для дирижера (когда он был) или быстрого переодевания при необходимости. Сейчас тут сидела Шнак, отчаявшаяся и одинокая. Ее и раньше отвергали — например, тот парень, который сказал, что с

ней спать все равно что с велосипедом. Ей знакомо было одиночество человека, покинувшего дом и родителей. Она знала, как горько быть одиночкой, никуда не вписываться, — она была еще слишком молода и незначительна, чтобы носить свое одиночество как орден. Но так она еще никогда не страдала — сейчас, когда ей как музыканту предстояло сделать огромный шаг вперед.

Она знала, что не провалится. Франсеско Бергер уже несколько недель как объяснил ей, что экзамен — лишь ритуал, церемония, необходимая в научной среде; факультет музыковедения не допускает соискателей к экзамену, не будучи уверен в успехе как минимум на девяносто пять процентов. Экзамен был либо последним и самым тяжелым испытанием студенческой жизни, либо первым и самым легким из испытаний жизни профессиональной. Шнак нечего было бояться.

Но она все равно боялась. До этого ей доводилось дирижировать лишь студенческим оркестром, сборищем вздорных неопытных школяров. Профессиональный оркестр — нечто совершенно иное. Мастера своего дела — как старые кони, которые борозды не испортят; они повидали всяких наездников и были намерены делать по возможности то, что считают нужным. О, конечно, они

не провалят представление: они — истинные музыканты. Но они будут отставать от темпа, вступать не вовремя, фразировать кое-как; они не потерпят, чтобы ими командовала какая-то соплячка. На всех публичных представлениях должна была дирижировать Гунилла, разве что она смилостивится над Шнак и отдаст ей пару представлений в будни. Гунилла умела добиваться нужного от оркестра, и музыканты уважали ее острый язык — она умела профессионально отчехвостить, не переходя на личности. Как это она вчера сказала арфисту? «Арпеджио должно быть рассчитанным, как жемчужины, которые одну за другой роняют в вино, а не случайным, будто баба поскользнулась на банановой кожуре». Не Оскар Уайльд, но для репетиции сойдет. Гунилла учила Шнак дирижировать, дала ей провести полную оркестровую репетицию, сама делала пометки, а потом целый час разбирала их со Шнак. Но сегодня, взмахнув палочкой, Шнак останется одна. И старый козел Пфайфер будет наблюдать за каждым ее движением.

Сидеть в уборной было невыносимо. Шнак вышла и забрела на сцену, где готовились к увертюре. Сцену озарял лишь свет одной голой лампочки высоко на колосниках; вид был уны-

лый, как всегда бывает с неосвещенной сценой. Снизу, из-под спиральной конструкции из валиков, имитирующих набегающие волны озера, доносились голоса: Уолдо Харрис, Далси и Гвен Ларкин спорили с Герантом.

— Они прекрасно работают, но слишком скрипят, — говорил Уолдо. — Но вы же не согласитесь их совсем убрать? Наверно, мы бы могли что-нибудь придумать, чтобы изобразить волны на озере.

— О нет! — воскликнула Далси. — Я обожаю эту конструкцию, она полностью соответствует тому, как это делали в тысяча восемьсот двадцатом году.

— Они обошлись в целое состояние, — сказал Уолдо. — Просто жалко будет их выбросить.

— Но что делать? — спросил Герант.

— Придется разобрать три валика и покрыть резиной трущиеся части. Этого, наверно, хватит.

— Сколько времени это займет? — спросил Герант.

— Не меньше часа.

— Тогда потратьте час и сделайте. Чтобы сегодня после обеда уже было готово.

— Не можем, — сказала Гвен Ларкин. — Занавес должен подняться ровно в два. Сегодня экзаме-

новка Шнак, ты забыл?

— И что с того? За час никто не умрет.

— Судя по тому, что было сегодня утром, нельзя, чтобы они ждали целый час. Они разозлятся, особенно этот сварливый старик. Мы не можем осложнять Шнак экзамен.

— Чертова Шнак! Противная малявка. От нее одни проблемы!

— Герант, не вредничай. Дай девочке шанс.

— По-твоему, ее шанс важнее моей постановки?

— Да, Герант, с этой минуты и до половины четвертого ее шанс важнее всего на свете. Ты это сам вчера говорил всей труппе.

— Ты же знаешь, я говорю то, чего требует момент.

— Ну так вот, сейчас момент требует, чтобы мы оставили эти ролики в покое. Потом все сделаем.

— Это женская солидарность. Господи, как я ненавижу женщин!

— Можешь меня ненавидеть, дело твое, — сказала Гвен. — Но пойди навстречу Шнак. Потом будешь ее ненавидеть сколько хочешь.

— Гвен права, — сказал Уолдо. — Я сказал «час», но вполне может выйти и два. Давайте пока это оставим.

– *O Jesu mawr! O anwyl Crist!*[388] Как хотите!

Судя по звукам, Герант ушел весьма недовольный.

— Не переживайте! Нам только сцену появления меча отыграть! На сегодня сойдет! — крикнул Уолдо, но Герант не ответил, а значит, не смягчился.

Шнак отправилась в туалет и вытошнила в унитаз съеденный сэндвич и выпитый кофе. Обед превратился в желчь у нее в желудке. Она обтерла лицо, умылась холодной водой, вернулась к себе в грим-уборную и стала смотреться в зеркало. Чертова Шнак. Противная малявка. Герант, конечно, прав.

Он меня никогда не полюбит. Не за что. Я люблю Геранта еще больше, чем Ниллу, а он меня ненавидит. Еще бы! Коротышка. Тощая. Волосы ужасные. Морда крысиная. А ноги! Зачем Нилла велела мне надеть черный жакет и эту белую блузку? Конечно, он меня терпеть не может. Я просто жуткая уродина. Почему я не похожа на Ниллу? Или на эту Марию Корниш? За что Бог меня так не любит?

В дверь постучали, и заглянула девица на побе-

---

**[388] Примечания: 388**

Господи Исусе! Боже милостивый! *(валл.)*

гушках (самая хорошенькая).

— Шнак, пятнадцать минут, — сказала она. — Мы все за тебя болеем. Все девочки будут тебя ругать.

Шнак огрызнулась, и девица исчезла.

Следующие пятнадцать минут Шнак твердила себе, более или менее повторяясь, как она себя ненавидит. Ее опять позвали — на сей раз в дверь, и она пошла вниз, через сценический подвал на сцену и в оркестровую яму. Вот они сидят — тридцать два негодяя, сговорившиеся ее уничтожить. Они ей мило кивали; концертмейстер и Уоткин Бурк, сидевший у клавесина, шепнули: «Ни пуха».

Нилла велела, если при выходе Шнак на дирижерское место будут аплодисменты, развернуться и поклониться. Никто не хлопал, но краем глаза Шнак увидела, что семь экзаменаторов расположились там и сям в зрительном зале, а в первом ряду, прямо у нее за спиной, с полной партитурой на коленях и фонариком в руке, сидит ненавистный Пфайфер. Ну и место выбрал, подумала она.

Загорелась и погасла красная лампочка сценариуса, и тут же медленно и мрачно моргнула, как глаз морского чудовища, диафрагма телекамеры, стоящей прямо перед дирижерским местом и

призванной передавать каждое движение Шнак на мониторы в глубине сцены — для режиссера, хора и разных звуковых эффектов за сценой.

Шнак постучала по пюпитру, подняла палочку — личную палочку Гуниллы, сделанную на заказ и, видимо, врученную ей сегодня в качестве талисмана, — взмахнула, и первый таинственный аккорд увертюры окатил ее как волна.

Оркестр, понимая, что она трусит, но ничего не зная о ее ненависти, играл хорошо. Пятнадцать тактов в медленном темпе, и занавес поднялся, открывая Волшебное озеро. Перед ним стояли Оливер Твентимэн в роскошном одеянии Мерлина и Ганс Хольцкнехт в доспехах и плаще Артура. Мерлин обратился с заклинанием к волнам, и — чуточку не вовремя — великий меч Калибурн поднялся над недвижными водами. Артур схватил его, и магия меча ожила. Все вроде бы шло хорошо, но тут Шнак постучали — почти ударили — по спине, а когда она не отреагировала, раздался громкий свист, и голос профессора Пфайфера завопил:

— Стоп! Стоп! Повторите с буквы «D», пожалуйста!

Шнак уронила палочку, музыка смолкла.

— Что случилось? — спросил голос Уинтер-

сена.

— Я хочу прослушать заново с буквы «D». Они играют не то, что написано в партитуре.

— Мы внесли небольшое изменение на репетиции, — сказал голос Гуниллы. — Добавление в партии деревянных духовых.

— Я говорю с дирижером, — отрезал Пфайфер. — Если вы внесли изменение, почему оно не отражено в представленной партитуре? Повторите, пожалуйста, с буквы «D».

Так что музыку повторили с буквы «D». Хольцкнехт, в начале довольный своим выступлением, совсем не обрадовался неожиданному бисированию. Оливер Твентимэн одарил профессора Пфайфера чарующей улыбкой через рампу, словно снисходя к капризу ребенка, и профессору это не понравилось.

Однако спорный кусок повторили, и все шло хорошо до конца увертюры. Ее показывали через сетчатый прозрачный занавес, для таинственности; когда его стали поднимать, он не послушался, но зацепился за переднюю правую кулису, и раздался ужасный треск рвущейся материи. Занавес перестали поднимать, и сбоку сцены появились Гвен Ларкин и крупный мужчина с длинным шестом. Мужчина отцепил занавес от помехи.

Это не напугало ни рабочих сцены, ни певцов, привыкших к подобным накладкам, но обдало холодом сердце Шнак, уверенной, что безжалостный враг и это поставит ей в минус.

Когда Герант потом дико кричал, что это представление было подобно «Вечеру в опере» братьев Маркс[389], он преувеличивал. Конечно, число различных неполадок явно превысило средний уровень. Но больше всего представлению мешал профессор Пфайфер, который потребовал в общей сложности семи повторений на том — вполне справедливым — основании, что музыка не совсем соответствует нотам, присланным ему три недели назад. Когда он не свистел сквозь зубы — громко, как полицейский, — требуя остановить представление, то слышно бормотал, жалуясь на недостаток света, мешающий делать пометки. В результате опера вместо рассчитанных двух с половиной часов, не считая антракта, заняла много больше четырех; певцы пали духом и пели не лучшим образом. Лишь крепкие профессионалы в оркестре невозмутимо пилили, дудели и теребили струны все четыре часа — и неплохо, учитывая обстоятельства.

---

**[389] Примечания: 389**

*…«Вечеру в опере» братьев Маркс…* — «Вечер в опере» — музыкальная кинокомедия 1935 г. с участием знаменитых комиков братьев Маркс.

Шесть из семи экзаменаторов сдались задолго до конца репетиции. Они услышали вполне достаточно, услышанное им понравилось, они съели вкусный обед и готовы были закруглиться и вернуться домой. Но профессор Пфайфер не отрывался от партитуры; он, кажется, ни разу не поднял глаз на сцену и явно злился, когда действие прерывалось из-за каких-нибудь технических проблем. Поэтому никто не заметил, что последней сценой дирижировала не Шнак, а Уоткин Бурк прямо из-за клавесина. Шнак пропала; в оркестре подумали, что ей стало плохо, и совершенно не удивились.

Но даже они удивились, когда через пожарный выход с правой стороны зрительного зала донеслась сирена; из двери на просцениуме появилась Гвен Ларкин, соскочила со сцены, ринулась к пожарному выходу, открыла его и впустила четырех человек с носилками; они пробежали мимо сцены, оттоптав ноги профессору Пфайферу, и исчезли в служебной двери с левой стороны. Музыка продолжала звучать, хоть и запинаясь, пока, еще через несколько секунд, те же четверо не появились снова, таща носилки, на которых лежало накрытое одеялом тело Шнак. Сцена в это время заполнилась людьми — актеры в костю-

мах, несколько техников, девицы на побегушках, Артур и Мария во главе с Пауэллом сбились в кучу у рампы. Шнак пронесли перед ними — Даркуру, сидящему в темной глубине зала, подумалось, что они смотрят словно со стен артуровской крепости, но их изумление и горе были вовсе не театральными, а настоящими, смешанными с ужасом. Небольшая процессия достигла двери, носилки исчезли, и сирена «скорой помощи» затихла вдали.

Конечно, поднялся шум — такой, как бывает только в театре при непредвиденном повороте событий. Что такое? Почему? Что случилось? Что делать?

Уолдо Харрис призвал всех к порядку и объяснил, что произошло. Когда Шнак не появилась на дирижерском месте в начале последней сцены, одна из девиц на побегушках отправилась посмотреть, что случилось, не нашла Шнак в ее комнате и заглянула в дамский туалет. Шнак лежала там на полу без сознания.

Неужели она пыталась покончить с собой? Никто не знал, и нельзя было так думать, пока врачи не скажут точно, что произошло. Мисс Интрепиди объявила: если это самоубийство, то она лично не удивлена, принимая во внимание,

как с бедной девочкой обращались весь день. Вокруг мисс Интрепиди немедленно собрались единомышленники и принялись роптать на профессора Пфайфера, который об этом не знал и не обращал внимания. Ему не терпелось продолжить экзамен.

— Это прискорбно, но, может быть, не критично, — заявил он. — Мы можем удалиться на совещание и потом принять решение. У меня множество вопросов, особенно по либретто. Где мы можем уединиться?

— Но мы не можем продолжать экзамен в отсутствие соискателя, — сказала Пенелопа Рейвен.

— Мы уже наэкзаменовались до тошноты, — вмешался Джордж Купер. — Давайте присвоим ей ученую степень, и дело с концом.

— Присвоим ей ученую степень, когда мы еще не получили ответов на важнейшие вопросы? — возмутился Пфайфер. — Я отнюдь не удовлетворен.

— Следует признать, что обстоятельства необычные, — сказал Уинтерсен. — Нельзя сказать, что мы подошли к делу безответственно. Мы уже целый день потратили. Я уверен, мы можем прийти к согласию.

— Я согласен! Выдвигаю предложение: счесть

представленную работу и обязательное сценическое исполнение достаточными для присвоения степени, — сказал Франсеско Бергер.

— Извините! Это моя привилегия как внешнего экзаменатора! — воскликнул профессор Пфайфер.

— Ну тогда, ради бога, воспользуйтесь ею, — огрызнулся Купер. — Это нелепо! Девушка, может быть, мертва или умирает.

— Я прекрасно понимаю, что соображения гуманности могут кое-кого подталкивать к поспешному решению. Но, по моему опыту, подобные соображения редко бывают рациональными. Мне хотелось бы провести этот экзамен надлежащим образом; я считаю, что следует отложить решение на неделю и за это время прослушать еще как минимум два представления.

— Извините, но я вынужден употребить свою власть, — вмешался Уинтерсен. — Я не могу выполнить ваше требование, профессор. Давайте голосовать. Я буду вызывать по алфавиту. Профессор Бергер?

Шесть экзаменаторов проголосовали за присвоение ученой степени, профессор Пфайфер воздержался, а завкафедрой не воспользовался своим правом голоса. Экзамен кончился. Шнак,

живая или мертвая, отныне носила степень доктора музыковедения.

Корниши перехватили бразды правления. Даркура попросили отвести экзаменаторов на ужин, поскольку экзамен так сильно затянулся. Гунилла заявила, что немедленно едет в больницу вместе с Артуром и Марией. Профессор Пфайфер сказал, что не нуждается в ужине, но это никого не обмануло. Певцов, взволнованных трагедией, разогнали по гримерным.

Герант призвал к себе Уолдо и Гвен и принялся разбирать с ними длинный список пометок, которые он сделал сегодня в ходе того, что для него было длинной и полной докучных задержек репетицией. Он сказал, что тоже начнет переживать, но только тогда, когда все будет отлажено до мелочи, как в швейцарских часах.

## 6

«Что подумал бы первый встречный, окажись он в этой комнате?» — спросил себя Даркур. Красивая молодая мать сидит в тусклом свете единственной лампы и кормит грудью ребенка; надетый на ней длинный халат может относиться к любой эпохе за последние две тысячи лет. В комнате две очень большие кровати; на первой

под тяжелым покрывалом лежат две женщины, одна средних лет, с изысканными чертами лица, похожая на хищную птицу, другая — хорошенькая, с озорными темными глазами. Старшая женщина обняла свою спутницу и поглаживает ей шею. На второй кровати лежу я сам, полностью одетый, но без обуви, а рядом со мной — мужчина великой красоты, от которого бьет ощутимой энергией; его рубаха с расстегнутым воротом и длинные темные кудри могут относиться к любой эпохе за последние двести пятьдесят лет. Мы с ним тоже прикрыты покрывалом — августовская ночь прохладна, — но нас не связывает влечение. В комнате есть еще один человек: он стоит у комода, превращенного в импровизированный и весьма хорошо снабженный запасами бар.

А сама комната? Она похожа на фахверковый дом, словно перенесенный из Стратфорда-на-Эйвоне или графства Глостер, но вывернутый наизнанку. Темные балки поддерживают неровную белую штукатурку. Безусловно, такое оформление призвано напоминать о Шекспировском фестивале, главной славе этого города.

Это — номер Артура и Марии в мотеле, где они более или менее жили последние три недели, наблюдая — насколько им позволили — окон-

чательные приготовления к премьере «Артура Британского». В этой комнате они принимают Гуниллу, Далси Рингголд, Геранта и меня. Сейчас десять вечера. Мы собрались, чтобы поговорить о странном поведении Хюльды — отныне и навеки доктора Хюльды — Шнакенбург, которую несколько часов назад увезли в больницу прямо с экзамена.

Пожалуй, случайный прохожий счел бы эту сцену странной. Смесь домашних забот и гостевых развлечений. Или подумал бы, что это люди с вывертами собрались для группового секса.

— Она поправится, — сказал Артур, передавая Гунилле очередной стакан крепкого виски. — Но когда она вернется, ей будет перед нами стыдно. Врачи сказали, что подержат ее еще пару дней. Ее желудочный тракт подвергся, как они выразились, серьезной атаке. Они промыли ей желудок.

— Дурочка, — заметила Гунилла. — Почти сто таблеток аспирина и полбутылки джина. С чего она взяла, что от этого можно умереть?

— Она не собиралась умирать, — возразил Артур. — Это, как теперь модно говорить, крик о помощи.

— Вы зря не воспринимаете ее всерьез, — сказала Гунилла. — Она, без сомнения, хотела себя

убить. Ей, как многим самоубийцам, не хватило знаний.

— Но согласитесь, она устроила очень эффектную сцену, — заметила Далси. — Она меня тронула. Я плакала в три ручья, не стыжусь признаться.

— Она видела себя в роли Элейны, Лилейной девы из Астолата, — сказала Мария. — Умирающей от любви к изменнику Ланселоту. Хюльда очень многому научилась, работая над оперой, даже помимо музыки. Она хотела, чтобы Герант почувствовал себя последним подонком, точно как Элейна поступила с Ланселотом. Дэви, радость моя, давай-ка на другую сторону.

Она переложила ребенка к другой груди.

— А что, все дети так чавкают, когда сосут грудь? — спросил Герант.

— Это очень приятное чавканье, а ты не задавай нахальных вопросов. Помни, что ты в опале.

— Черт меня побери, если я в опале, — сказал Герант. — Я тут ни при чем. И мириться с этим не собираюсь.

— А придется, — сказала Далси. — Конечно, это несправедливо, но кто ты такой, чтобы избежать вселенской несправедливости? Это как раз один из тех случаев, когда женская партия выигрывает

великий поединок. Ты презрел ее любовь — видит бог, достаточно очевидную, — и она пыталась себя убить. Так что ты в опале. Герант Пауэлл, сердцеед, ты покрыл себя позором не менее чем на две недели.

— Херня!

— Грубость не идет мужчине в твоем положении. Ты назначен «надменным, галантным, веселым Лотарио»[390], и, если у тебя есть хоть какое-то чувство сюжета, ты отыграешь эту роль до конца.

— Неужели все против меня? Сим-бах, скажи хоть несколько красноречивых слов в мою защиту. В чем я виноват?

— Ну, если уж совсем по-честному и по справедливости, я видел, как ты ей провокационно улыбался.

— Я всем улыбаюсь, особенно если при этом ничего не имею в виду. Это всего лишь бессмысленная гримаса вежливости. Возможно, я порой улыбался и Шнак, когда она путалась у меня под ногами. Клянусь душой моей дорогой матери,

---

**[390] Примечания: 390**

*…«надменным, галантным, веселым Лотарио»…* — Вошедший в поговорку литературный образ бессовестного соблазнителя. Приведена цитата из пьесы английского драматурга Николаса Роу (1674–1718) «Прекрасная грешница» (The Fair Penitent). Соблазнитель по имени Лотарио упоминается также в «Дон Кихоте» Сервантеса.

ныне подпевающей прекрасным меццо-сопрано в небесном хоре, что ровным счетом ничего не имел в виду. Я и тебе улыбался, Нилла, и тебе, Далси, и, Бог свидетель, при этом я ничего не добивался от вас, ужасных жеребил.

— Жеребил! — возмутилась Гунилла. — Как ты смеешь меня… нас так обзывать! Ты хам, Герант!

— Да, ужасный хам, правда, Нилла? «Она была чиста, ужасный хам, // Она тебя любила, хам жестокий…» Шекспир, применительно к ситуации[391].

Далси наслаждалась этим разговором. Ею владели негодование и шотландский виски.

— Она меня не любила, даже если думала, что любит.

— Это одно и то же.

— Боюсь, что так, — согласился Даркур. — Бедняжка Шнак впала в великое заблуждение, свойственное влюбленным безумцам. Она думала, что своей любовью может возбудить ответную любовь. Раз в жизни такое бывает с каждым. Я говорю как голос холодного разума.

— И ты жестоко игнорировал ее, — продолжил

---

**[391] Примечания: 391**

*«Она была чиста, ужасный хам, // Она тебя любила, хам жестокий…» Шекспир, применительно к ситуации.* — Слегка видоизмененная цитата из пьесы У. Шекспира «Отелло». Перев. Б. Пастернака.

Артур. — Герант, ты в опале.

— Думаю, мне следует сделать заявление, — сказал Герант. — То, что я сейчас скажу, проистекает не из тщеславия, но из горького опыта. Слушайте меня, все. С тех самых пор, как я был пригожим отроком, женщины в меня упорно влюблялись. Насколько мне известно, к этому имеет какое-то отношение химия. Ну и то, что я абсурдно красив (скажу без ложной скромности). Что мне это дало? Лишь неприятности. Но виноват ли я? Я отказываюсь признать себя виновным. Разве красивые женщины виноваты, что мужчины в них влюбляются? Разве виновата Мария, что все, кто ее видит, влюбляются в нее или по меньшей мере вожделеют? Готов спорить, что даже Сим-бах, старая кочерыжка, влюблен в Марию. Но разве Мария виновата? Это настолько смешно, что даже слов не стоит. Так чем же виноват я, если Шнак, эмоционально недоразвитая и перекореженная, вбила себе в голову какую-то глупость? Красота помогла мне достичь успеха на сцене, и мне это уже до чертиков надоело. Потому я и хочу перейти из актеров в режиссеры. Мне неприятно, когда на меня пялится, пуская слюни, целый зал голодных самок. Я слишком умен, чтобы ценить подобное поклонение, причина которому

— лишь Одеяние Ада, моя физическая оболочка. Я скоро вступлю в средний возраст, когда красота сменится достоинством зрелости. У меня хромая нога. Так что, может быть, я смогу хоть век свой дожить спокойно.

— Я бы на твоем месте на это не рассчитывал, — сказал Артур. — Ты должен нести свой крест. Может, красота твоя и уходит, но химия-то булькает по-прежнему. Но мы отвлеклись от главного. То есть от Шнак. Что ты намерен делать со Шнак?

— А почему я должен с ней что-то делать? Я не собираюсь ее поощрять, если ты об этом. Она противна, как дохлая креветка. И не только потому, что некрасива. Ее голос терзает меня, подобно ржавой пиле, а ее убогий словарь причиняет мне огромные страдания. Пусть меня заставят обходиться без красоты, но роскошь языка нужна мне как воздух. Мало того, что она безобразна на вид. Она и звучит безобразно, и я не желаю иметь с ней ничего общего.

— Ты придаешь ненормально большое значение голосу, — заметила Мария.

— Потому что голоса очень важны, а про них обычно забывают. Взять хоть тебя, Мария: стоит тебе открыть рот, и раздается музыка. Но

большинство женщин даже не знают, что такое возможно. Это одна из трех великих примет красоты. Она полностью меняет лицо. Если Медуза будет говорить как богиня, ее не отличить от Минервы.

— Как это по-валлийски! — сказала Далси.

— Думаю, в этом нет ничего плохого, — отпарировал Герант.

— Ну хватит, пышечка моя, — сказала Мария, приложила маленького Дэви к своему плечу и потерла ему спинку; ребенок громко, прямо-таки по-богатырски рыгнул.

— Похоже, вырастет моряком, — заметил Артур.

— Или великим финансистом, в папочку, — сказала Мария. — Позови няню, дорогой.

Пришла няня — не стереотипная плотнокраснощекая баба, но девушка лет двадцати с небольшим, в элегантном синем форменном платье: Дэвид был ее первым воспитанником.

— Идем, ягненочек мой, — сказала она с шотландским выговором, при первых звуках которого Герант одобрительно глянул на нее. — Пора в постельку.

Она забрала ребенка, который на сей раз громко, раскатисто пукнул.

— Вот молодец, — сказала няня.

— Дэвид умнее вас всех, — заявил Герант. — Он подытожил весь наш спор одной мастерской репликой. И давайте больше к этой теме не возвращаться.

— Придется, — сказала Мария. — Не отвертишься. Пускай ты и не поощрял Шнак, но ты должен ее утешить. Логика ясна, но объяснять ее словами слишком долго.

— Я раньше прикрою представление, — сказал Герант, выбрался из-под тяжелого покрывала и вышел, громко топая. Хлопать дверью он не стал, видимо избегая банальности.

Остальные долго жевали насущный вопрос, решая, кто прав и кто не прав, пока Даркур не заснул. В полночь они разошлись по своим комнатам. Большой мотель был набит людьми, так или иначе связанными с постановкой «Артура», и Альберт Гринло упорно именовал его Камелотом. Интересно, в Камелоте ходило много сплетен про Ланселота и Элейну? Мэлори об этом умалчивает.

## 7

Назавтра, как только в больницу начали пускать, Герант явился к Шнак. Она лежала в палате

на двоих, но, по счастью, вторая койка пустовала. Шнак сидела на кровати, измученная и бледная, в больничном халате, когда-то голубом, а теперь — жалко-сером. Она ела желе оранжевого цвета и запивала гоголь-моголем.

— Такое дело, старушка, — сказал Герант. — Не повезло. Ты не виновата, и я тоже. Судьба.

— Я вела себя как эгоистичное говно, и теперь всем за меня стыдно, — сказала Шнак. Слезы ее не красили.

— Неправда. И то и другое неправда. И пожалуйста, перестань ругаться: кто все время грязно ругается, у того и жизнь будет грязная.

— Моя жизнь — говно. Всё против меня.

— Миссис Гаммидж![392]

— Кто это такая?

— Если будешь хорошей девочкой и быстро поправишься, я дам тебе книжку про нее.

— О, так она из книжки. Все вы, и Нилла, и Корниши, и этот Даркур, — все вы живете книжками. Как будто там всё есть!

— Понимаешь, там и вправду почти всё есть. Нет, не так. Мы узнаём в книгах то, что уже ви-

---

**[392] Примечания: 392**

*Всё против меня. / — Миссис Гаммидж!* — Персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд». «Всё против меня» — ее постоянная жалоба. (Использован перевод А. Кривцовой и Е. Ланна.)

дели в жизни. Но если будешь читать книги, то сможешь набраться кое-какого опыта и тебе не обязательно будет испытывать каждый удар на собственной шкуре. Ты кое-что сможешь предугадать наперед. Например, в любви. Ты думала, что любишь меня.

Шнак болезненно взвыла.

— Ну хорошо, ты до сих пор так думаешь. Ну-ка, скажи. Скажи: «Я люблю тебя, Герант!»

Шнак опять взвыла.

— Ну-ка, давай. Выкладывай!

— Я скорей умру.

— Вот видишь, что получается, если строить словарный запас на словечках типа «говно»? Большие слова застревают у тебя в горле. Кто не может говорить о любви, тот ее и не чувствует.

— Чувствую, еще как!

— Тогда скажи!

— Меня тошнит.

— Отлично. Вот тазик. Я подержу тебе голову. Давай-давай! Хм… не так уж плохо, если учесть, что́ ты с собой сделала. Все почти как новенькое. Сейчас я вылью это в туалет, ты выпьешь воды, и мы продолжим.

— Оставь меня в покое!

— Не оставлю! Тебе еще много чего придется

извергнуть, а не только гоголь-моголь, если хочешь по-настоящему выздороветь. Дай я вытру тебе рот. А теперь давай по новой: «Я люблю тебя, Герант».

Побежденная, Шнак зарылась лицом в подушку и среди рыданий едва слышно прошептала: «Я тебя люблю».

— Молодец! Теперь посмотри на меня, и я вытру тебе глаза. Понимаешь, я твой друг, но я не люблю тебя — не так, как ты будто бы любишь меня. Милая, не думай, что я не понимаю! Все проходят через такую безнадежную любовь, и я тоже через нее прошел, и я знаю, что это ужасно больно. Но представь себе, что мы — романтические влюбленные. Как ты думаешь, я бы стал держать тебе голову, пока ты блюешь, вытирать тебе лицо и вправлять мозги? Любовь, о которой мечтаешь ты, происходит на зеленых лугах среди аромата цветов и пения птиц. Или в роскошных чертогах, где ты возлежишь в шезлонге, а я очень медленно снимаю с тебя одежду и наши тела сливаются в пароксизме невыносимого наслаждения — и все это время ни один из нас не засмеется и не скажет другому ни единого доброго слова. А ведь в долгом пути вдвоем нужен именно смех и добрые слова.

— Я чувствую себя полной дурой.

— И ошибаешься. Ты не дура, и только дурак сочтет тебя дурой. Ты творец. Может быть, даже гениальный. Романтическое искусство — это именно то, чем ты занималась с прошлой осени, — не что иное, как чувство, которому художественная техника придала форму. Техники у тебя навалом. А вот с чувством проблемы.

— Если бы тебя воспитывали как меня, ты бы ненавидел само это слово.

— Меня воспитывали в котле кипящего чувства. Только оно все было увязано с религией. Когда я сказал родителям, что хочу стать актером, они так бушевали, словно уже видели меня в аду. Но отец был прекрасным актером, только на амвоне. И мамка — она работала Сарой Бернар двадцать четыре часа в сутки. Но они все это выплескивали в церкви. А мне нужна была сцена побольше: понимаешь, я тоже знал Бога, но мой Бог воплощался в искусстве. Я не мог запереть Его в часовне. Художник не стремится запереть Бога в клетку: он хочет жить Богом, дышать Им, и это дьявольски трудная работа — это значит все время падать и снова подниматься.

— Я ненавижу Бога!

— Молодец! Ты не говоришь, как дура, что Его

нет. Ты говоришь, что ненавидишь Его. Но вот что. Тебе это не понравится, но все равно. Бог тебя любит. Он сотворил тебя особенной. Нилла, когда ее тянет на откровенность, намекает, что ты, может быть, очень особенная. Я бы так сказал: дай Богу шанс. Он все равно сделает что хочет, но тебе будет проще, если ты не станешь брыкаться и вопить.

— Как вообще можно жить Богом?

— Можно; это значит — жить с собой в меру своих сил. Но извне это не всегда выглядит красиво. Не врать себе — можно и так сказать. Следовать своему чутью. Но не жди от меня объяснений. Мой отец был великим объяснителем. Он мог до звона в ушах слушателей распространяться о пронизывающем нас Божьем Свете. Да, он был талантливый проповедник! Подлинно опьяненный Богом. Но он думал, что у Бога только один, немигающий свет, единый для всех. Вот тут мы с ним разошлись.

— А теперь, когда я сказала… то, что ты меня заставил… ты тоже что-нибудь скажешь?

— Да. Скажу, что это не пойдет. Допустим, я поймаю тебя на слове. Ты будешь меня любить, а я — пользоваться тобой, пока все не кончится, то есть совсем недолго. Это будет обман. У меня

на это нет ни времени, ни желания, а когда все кончится, ты озлобишься, а ты и без того злобная. Вот скажи, а Гуниллу ты любила?

— То было совсем другое.

— Ни одна любовь не похожа на другую. Счастливчикам выпадает настоящая. Ну знаешь — «уз и нитей сочетанье». Но не всем. Это большая ошибка — думать, что все любят одинаково и у каждого в жизни должна быть великая любовь. С тем же успехом можно сказать, что любой может сочинить великую симфонию. В любви много несчастья; это непогода с краткими проблесками солнечного света. Посмотри на нашу оперу: любовь в ней — сплошное горе. Это не лучшая часть жизни Артура, Ланселота, Гвиневры.

— Это лучшая часть жизни Элейны.

— Элейна не была талантливым композитором, так что не примеряй ее на себя. Правда, она страдала тем же, что и ты. «Жар воображенья, что, утолив себя, умрет». Ты положила эти слова на прекрасную музыку. Неужели ты из них ничему не научилась? Шнак, если мы с тобой сойдемся, тебе это осточертеет через две недели.

— Потому что я уродина! От моей рожи всех тошнит! Это нечестно! Я проклята! Эта стерва Корниш, и Нилла, и Далси — все красавицы и

могут вертеть как хотят и тобой, и любым мужиком! Я себя убью!

— Не убьешь. У тебя впереди много дел. Но буду честен: ты не королева красоты, и тебе придется с этим жить. Это не самая большая беда в жизни, честное слово. Как, по-твоему, выглядела Нилла в твои годы? Нелепой орясиной, я уверен. А теперь она прекрасна. Дожив до ее лет, ты будешь не такая, как сейчас. Успех подарит тебе новую внешность. Ты будешь изысканной страшилой.

Шнак опять взвыла и спрятала лицо в подушку.

— Прости, если я тебя обидел. Но понимаешь, мне тоже сейчас нелегко. Все требуют, чтобы я с тобой поговорил, как бы я ни кричал, что и не подозревал о твоих чувствах. А я ни за что не отвечаю. Я не могу рисковать тем, что наша беседа подогреет твое чувство и ухудшит положение. Поэтому я говорил сугубо против своего желания. Ты меня знаешь: я люблю вещать цветисто и пышно, ради удовольствия. Но с тобой я говорю как под присягой. Каждое слово — от чистого сердца. Если бы я отпустил тормоза, я начал бы вещать об Одеянии Ада, дьяволовом гноище и так далее, весь набор. Валлийская риторика у меня в крови, а мое проклятие в том, что мир полон морлоков,

не умеющих мыслить метафорически. Они меня не понимают и считают жуликом, потому что их языки обернуты мешковиной, а мой подвешен на золотых петлях. Я был с тобой честен, насколько я это умею. Ты же понимаешь, да?

— Наверно.

— Хорошо. Теперь я пойду. У меня куча дел. Выздоравливай скорей: ты нам нужна на премьере, а это послезавтра. И… Шнак, дай я тебя поцелую. Не романтически, и не братски, боже сохрани! — а дружески. Мы ведь коллеги по ремеслу, правда?

Он ушел. Шнак дремала и думала, дремала и думала, и после обеда, когда Гунилла пришла ее проведать, оказалось, что ей гораздо лучше.

— Наверняка этот разговор ему нелегко дался, — заметила она, когда Шнак пересказала ей беседу Геранта. — Многие так называемые влюбленные не рискнули бы на подобную откровенность. Быть таким, как Герант, — непросто.

## 8

В пятницу днем состоялся окончательный смотр костюмов перед последней генеральной репетицией, назначенной на вечер. В шестом ряду сидело несколько человек: главным был Герант Пауэлл, при нем Далси Ринголд, как

верный оруженосец, с другой стороны — Уолдо Харрис. В ряду перед ними сидели Гвен Ларкин и обе ее ассистентки, а рядом замерла в ожидании девица на побегушках — на случай деликатных сообщений, которые нельзя прокричать во всеуслышание. Актеры в костюме и гриме один за другим поднимались на сцену, проходили в середину, двигались туда-сюда, кланялись, делали реверансы, взмахивали мечом. Иногда Герант выкрикивал какую-нибудь команду: отвечая, актеры прикрывали ладонью глаза от огней рампы, чтобы хоть как-то его видеть. Герант шептал замечания на ухо Далси, которая делала пометки или объясняла, а иногда увещевала, если очередное желание оказывалось невыполнимым за краткое время, оставшееся до премьеры.

Странный момент, подумал Даркур, который сидел еще дальше от сцены, совсем один. Момент, когда важен только вид певца, а не его пение; когда уже сделано все возможное, чтобы придать певцу сходство с персонажем, а с невозможным приходится смириться. Момент необъяснимого преображения.

Например, два черных рыцаря, Гринло и Лемойн, превосходно смотрелись в доспехах и тюрбанах, которые по замыслу Далси должны

были подчеркивать их связь с Востоком. А вот Уилсон Тинни, играющий Гарета Прекраснорукого, походил на мешок, хотя в обычной одежде выглядел вполне прилично. Все из-за коротких ног. Без доспехов, в рубахе, он напоминал пупса. Гримируясь, он сильно накрасил щеки, видимо изображая обветренное лицо человека, проводящего дни в седле, но в итоге лишь усилил сходство с куклой. Оливер Твентимэн в одеяниях Мерлина выглядел вполне убедительным магом, потому что у него-то ноги были длинные; он обожал красиво одеваться и сейчас был счастлив. Джайлс Шиппен — Ланселот — в костюме был меньше обычного похож на сердцееда: на нем как будто было большими буквами написано: «ТЕНОР», и при вполне приличной фигуре он из-за широкой грудной клетки казался ниже своего роста.

— Ты что, не положила ему прокладки в туфли? — прошипел Герант, обращаясь к Далси.

— Положила, сколько могла; чуть больше — и он бы ходил как в ортопедической обуви. Он просто неказист, что с ним ни делай.

— Никто не поверит, что женщина могла бросить Хольцкнехта ради него. Ганс выглядит великолепно.

— Да, он излучает царственность, — заметила

Далси. — Но все знают, что у женщин странные вкусы. Боюсь, тут ничего не поделаешь.

Как и следовало ожидать, Натком Прибах нашел о чем поговорить и фонтанировал жалобами.

— Герант, я совершенно ничего не слышу в этой штуке. — Он говорил о бармице, кольчужной сетке, которая ниспадала с его шутовского шлема на плечи, закрывая уши. — Если я ничего не слышу, я могу выйти на сцену не вовремя и все испортить. Неужели ничего нельзя сделать?

— Натком, вы смотритесь великолепно. Воплощенный образ веселого рыцаря. Далси что-нибудь подложит под шлем, прямо над ушами, и все будет в порядке.

— Мне все время неловко, — пожаловался Наткомом. — Терпеть не могу, когда у меня на сцене уши закрыты.

— Натком, вам, как настоящему профессионалу, такая мелочь не может помешать, — сказал Герант. — Попробуйте сегодня так, а если не получится, мы что-нибудь придумаем.

— Черта с два мы что-нибудь придумаем, — прошептала Далси и сделала пометку в блокнот.

Женщины тоже совершенно преобразились, надев костюмы. Доналда Рош — королева Гвиневра

— выглядела красавицей, но явно современной, в то время как Марта Ульман в роли леди Элейны была, безусловно, созданием Средних веков, причем до того аппетитным, что все мужчины не сводили с нее глаз. Клара Интрепиди — Моргана Ле Фэй — в платье переменчивых цветов и головном уборе в виде дракона была, безусловно, волшебницей, но явно сбежавшей из какой-нибудь вагнеровской оперы. Она превосходила ростом всех мужчин, кроме Хольцкнехта, и при виде ее казалось, что дома в шкафу у нее висит полный набор доспехов.

— Ничего не поделаешь, — прошептала Далси. — Ну разве что она согласится всю дорогу петь стоя на коленях или сидя. Хорошо, что она сестра Артура: можно считать, что высокий рост — это у них наследственное.

— Да, но погляди на Панизи, — ответил Герант. — Он предположительно ее сын и при этом сын Артура. Явно же дитя этих двоих должно быть великаном.

— При инцесте всякое бывает. Подключи воображение. Это же ты подбирал певцов.

В целом придворные дамы смотрелись великолепно — кроме Вирджинии Пул, которая в роли леди Клариссаны выглядела как женщина, за-

таившая обиду, — впрочем, она таковой и была, что на сцене, что вне ее. Кое-кого из женщин помоложе Далси обрядила в *cotehardie*, тугой средневековый корсаж, выставляющий красивую грудь в наилучшем свете.

— Ты дала волю своим наклонностям, да, дорогая? — спросил Герант.

— А то. Погляди на Полли Грейвз: это смертный грех — закрывать одеждой такие роскошные дойки. А Эстер Мосс? Дуновение таинственного Востока, ветерок, прилетевший в Камелот из Багдада.

— На твоих эскизах все это выглядело немного не так.

— Тебе грех жаловаться. Эти девушки усладят взор зрителя, утомленного тяжелым днем в конторе.

— И взор зрительницы тоже, дорогая. Я не жалуюсь. Просто удивился. Кто же знал, какие богатства скрывались под репетиционными одеждами.

— Примроз Мейбон чудо как аппетитна, прямо так и съела бы ее, — сказала Гвен Ларкин. — У нашего пола есть свои преимущества… когда удается их показать.

— Девочки, подхватите трены через руку, —

скомандовала Далси. — Этэйн, через левую. Вот так.

Даркуру все они — даже нудный Прибах — казались великолепными. Далси беззастенчиво брала идеи из «Энциклопедии» Планше и явно изучала работы Берн-Джонса, но то, что получилось в результате, было ее собственным творением. Может, и не все певцы выглядели в костюмах наилучшим образом, но общий эффект был великолепен — в каждой группе цвета перекликались, но не явным образом, а тонко. Об этом элементе оперы Даркур, зеленый новичок, еще не имел понятия.

Просмотрев все костюмы в их окончательном виде, сделав все пометки и выслушав все жалобы, Герант крикнул:

— Сейчас будет перерыв, но до этого давайте порепетируем выход на поклон. Ну-ка, все на сцену!

Когда все наконец выстроились, к его полному удовлетворению, он скомандовал:

— Когда все поклонятся, вы, Ганс, сойдете со сцены через правую сторону и приведете Ниллу, которая тоже поклонится, а потом жестом позовет Шнак. А ты, Шнак, тогда выйдешь в полном великолепии — ну, сколько сможешь наскре-

сти, — Нилла возьмет тебя за руку, и ты сделаешь реверанс.

— Что я сделаю?

— Реверанс. Тебе не положено кланяться, ты еще слишком молодая. Если ты не знаешь, что такое реверанс, пусть тебе кто-нибудь покажет. Спасибо, пока все свободны. Дрессировщики животных, соберитесь за сценой прямо сейчас.

— Но почему я? — ответил Даркур на непривычные мольбы Шнак, которая сразу по окончании репетиции, как только все разошлись, начала к нему подлизываться.

— Но вы же знаете, как делают реверанс.

— Ну… да. Но почему ты не попросишь кого-нибудь из женщин? Это их епархия.

— Не хочу. Они меня терпеть не могут. Будут злорадствовать.

— Чепуха. Они к тебе очень хорошо относятся. А те, что помоложе, я думаю, тебя боятся, потому что ты очень умная.

— Ну пожалуйста, ну Симон! Ну я вас очень прошу.

Она впервые назвала его Симоном, и, поскольку сердце не камень, он согласился.

Они нашли темный закоулок за кулисами, у склада декораций.

— Вот. Тут тихо, и нам никто не помешает. Насколько я помню то, чему меня учили в танцевальной школе, это делается вот так. Сначала стань прямо. Ты сутулишься, а это портит весь реверанс. Теперь медленно и с достоинством опиши полукруг правой ступней сзади левой и слегка коснись правым коленом левой подколенной ямки. Теперь начинай медленно, осторожно опускаться, как будто в лифте. Когда дойдешь донизу, склони голову — от шеи. Спина все время должна быть прямая. Ты не корчишься, а благодаришь за любезность. Смотри на меня.

Даркур очень медленно — как пожилая вдова, у которой не гнутся суставы, — присел в реверансе. Шнак попробовала и грохнулась на бок.

— Это непросто. И в какой-то степени отражает характер человека. Не будь слишком игрива, но и не напускай на себя важность. Ты — великий композитор, благодаришь зрителей за аплодисменты. Ты превосходишь их талантом, но они — твои зрители, и ты оказываешь им высшую любезность артиста. Ну-ка, еще раз.

Шнак попробовала еще раз и уже не упала.

— Куда девать руки, черт бы их побрал?

— Держи их, как ты держала бы их на коленях, если бы сидела. Некоторые взмахивают правой

рукой, обводя сцену, но это слишком театрально, а тебе еще и по возрасту не подходит. Вот, уже лучше. Еще раз. И еще. Держи голову прямо и гляди в зал: кланяйся только в самой нижней точке. Еще. Давай, давай. У тебя уже получается.

Даркур несколько раз сделал реверанс ей, а она — ему. Они качались, как поплавки на волне, лицом друг к другу, порой напоминая двух геральдических зверей на гербе. У Даркура стонали колени, зато Шнак освоила маленький, но необходимый для выступающего артиста навык.

Сверху донесся резкий всплеск аплодисментов и крики «браво!». Даркур и Шнак подняли головы: сверху, из люльки для раскрашивания декораций, за ними с нескрываемым восторгом наблюдали трое или четверо рабочих сцены и Далси Рингголд.

Старого упрямца Даркура это не смутило. Он послал неожиданным зрителям воздушный поцелуй. Но Шнак, залившись жаркой краской стыда, убежала к себе. Ей еще многому предстояло научиться.

## 9

— Симон, мы слышали о тебе чудесные отзывы, — сказала Мария; они втроем с Артуром

сидели в своем любимом ресторане. — Далси говорит, что ты учил Шнак делать реверанс, так что прямо сердце радовалось. По ее словам, ты был настоящей гранд-дамой.

— Кто-то должен был ее научить, а в наши дни мало кто из женщин владеет женским арсеналом, — ответил Даркур. — Я подумываю учредить школу, в которой девушек будут учить искусству очаровывать. От своих эмансипированных сестер они этому точно не научатся.

— Мы живем в эпоху джинсов и футболок, — заметил Артур. — Шарм и хорошие манеры вышли из моды. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Взять эпоху Французской революции: прошло одно-два поколения, и французы снова прыгали как блохи, всячески кланяясь Наполеону. Люди обожают этикет. Хорошие манеры — это пропуск в дюжину тайных обществ.

— Нельзя же, чтобы Шнак опозорилась перед зрителями, когда выйдет кланяться, — сказал Даркур. — А я говорил, что мне звонил Клем Холлиер? Он завтра собирается сюда и спрашивал у меня, что ему надеть — фрак или смокинг. Для выхода на сцену, как вы понимаете.

— Клем собирается выходить на поклон? — спросила Мария. — С чего вдруг?

— Вот и я про то. Но он значится в программке как соавтор либретто и, видимо, считает, что публика возжелает его видеть.

— А разве он что-нибудь делал?

— Ни черта он не делал. Даже меньше Пенни, которая только ныла, и критиковала, и злилась на меня за то, что я не сказал ей, откуда беру лучшие стихи. Но Пенни собирается явиться при полном параде, и я не удивлюсь, если она тоже намерена выйти к публике.

— А ты, Симон, выйдешь?

— Меня не просили, и в целом я думаю, что нет. Либреттиста никто не любит. Зрители даже не поймут, кто я такой.

— Ты можешь вместе с нами прятаться в темном углу.

— Артур, на сердитых воду возят, — сказала Мария. И объяснила Даркуру: — Он обиделся, что к нам так холодно относились последние несколько недель.

— Весь последний год, — поправил Артур. — Мы делали все, о чем нас просили, и много больше. Мы, безусловно, оплачивали все счета, а это не мелочь. Но стоило нам прийти на репетицию и скромно стать в сторонке, Герант смотрел на нас как на врагов, и труппа тоже. Старик Твентимэн

нам улыбался, но это потому, что он считает своим долгом изливать свет и радость даже на самых низких тварей.

— Дорогой, ну не обижайся так. Или хотя бы не показывай этого. Надеюсь, нас включили в программку?

Настал миг, которого Даркур страшился.

— Понимаете, вышла накладка. Выражение благодарности Фонду Корниша случайно забыли. Понятно, как это получилось. Фестиваль обычно делает такие вещи собственными силами, а у нас была особая постановка, независимо от фестиваля, хотя и под его эгидой. Вот и просмотрели. А я увидел гранки только сегодня после обеда. Но не расстраивайтесь. Прямо сейчас во все программки добавляют вкладыши с выражением должной благодарности.

— Напечатанные на машинке под копирку?

— Нет, размноженные на ксероксе.

— Это то же самое.

— Вполне естественная ошибка.

— Совершенно естественная, особенно если учесть, как мало отношения имеет Фонд Корниша к этой опере. Можно было и не беспокоиться. Кого это волнует? Главное, чтобы представление продолжалось.

— Артур, я тебя умоляю, не обижайся. Стратфордский фестиваль очень ценит своих благодетелей.

— Надо думать, благодетели вынуждены для этого принимать суровые меры. Мы просто вели себя недостаточно агрессивно. В следующий раз будем сильнее работать локтями. Нам нужно научиться искусству благотворения, хотя, надо сказать, я не в восторге от этой необходимости.

— Ты видишь себя покровителем искусств в старом смысле этого слова — так, как его понимали в девятнадцатом веке. Неудивительно, принимая во внимание природу нашей оперы. Но настанут лучшие времена. «В сражениях и больше мы теряли».

Артур смягчился, но не совсем.

— Артур, мне очень жаль, что ты обиделся, но, честное слово, они не нарочно.

— Симон, позволь, я объясню. Не думай, что Артур ищет повода обидеться. Он совсем не такой. Но он, а точнее, мы с ним считали себя импресарио — мы хотели вдохновлять, питать и все такое. Как Дягилев. Ну, не совсем как Дягилев — он был один в своем роде. Но что-то такое. И ты видел, что получилось. Нам не дали ни вдохновлять, ни питать. С нами даже разговаривать не стали. Так

что мы подыграли Геранту и всем остальным. Но мы удивлены и слегка огорчены.

— Вы оба просто золото, — сказал Даркур.

— Вот именно! — воскликнул Артур. — Оно и есть. То самое, которым оплачена вся затея.

— Золото на самом деле неплохая роль, — сказал Даркур. — У тебя, Артур, деньги всегда были, так что ты просто не знаешь, как на них смотрят другие. Дягилева не поминайте — у него всю жизнь гроша ломаного не было. Он вечно выпрашивал деньги у людей вроде тебя. Вы с Марией — золото, чистое золото. Вы очень богаты, у вас талант к финансам, но вы знаете о золоте далеко не все. Вы понятия не имеете, какую зависть и ревность пополам с откровенным, бесстыдным подхалимством оно вызывает у людей даже против их воли. Артур, ты вложил в золото душу, терпи теперь все последствия — и хорошие, и плохие.

— Симон, как ты мог сказать такую гадость? Душу в золото! Я не просил, чтобы меня рожали в богатой семье, а если у меня способности к финансам, это не значит, что я ставлю деньги превыше всего! Ты не заметил, что мы с Марией питаем подлинную, гигантскую и по большей части самоотверженную любовь к искусству? Мы хотим

своими деньгами помочь что-нибудь сотворить! Более того — нет, помолчи, Мария, я ему все скажу, — мы хотим сами творить, насколько можем, и сделать с деньгами дяди Фрэнка что-нибудь такое, что он полностью одобрил бы. А в нас видят только денежных мешков. Тупых хамоватых невежд! Недостойных встать рядом с говнюками типа Прибаха и самовлюбленной плаксивой интриганки Пул! На первой генеральной репетиции я стоял за кулисами совершенно молча, и на меня зашикала — зашикала, честное слово — одна из этих чертовых девиц на побегушках! Альберт Гринло в это время шептался и хихикал, как всегда! Я спросил эту девчонку, что ей надо, и она зашипела: «Сейчас идет экзамен!» Как будто я не знал об этом экзамене за несколько месяцев!

— Да, Артур. Да, да, да. Но позволь мне объяснить. Когда воздух насыщен искусством, всем приходится глотать обиды и забывать о них. Когда я сказал, что ты вложил душу в золото, я просто говорил о природе реальности.

— И моя реальность — золото? И все?

— Именно. Но не в том смысле, в котором ты подумал. Выслушай меня и не вскидывайся все время. Видишь ли, все дело в душе. Душа не может существовать только как газ, который делает

нас благородными, когда мы сами позволяем. Душа — это нечто другое: душу нужно вложить во что-нибудь, и люди ищут, куда вложить свои души, энергию, лучшие надежды — зови как хочешь. Два великих вместилища душ — деньги и секс. Есть и другие: власть или стабильность (это плохое вместилище) и еще искусство (а это — хорошее). Погляди на беднягу Геранта. Он хочет вложить душу в искусство, но все считают, что он должен вкладывать ее в секс, потому что он красив и привлекает как женщин, так и мужчин. И это его убивает, потому что он очень хороший человек. Если бы он взял и обратил все свои устремления на секс, он мог бы стать полнейшим негодяем, с его-то данными. Но искусство не может жить без золота. Романтики притворяются, что может, но на самом деле — нет. Они презирают его, как презирали вас, но в глубине души знают, что к чему. Золото — одна из величайших реальностей, и, как любая реальность, оно не сплошь розы. Оно — вещество жизни, а жизнь порой жестока. Поглядите на вашего дядю Фрэнка: его реальностью было искусство, но оно же и принесло ему больше горя, чем радости. Как по-вашему, отчего он под старость обратился в сварливого скрягу? Он пытался изменить свою

душу, превратить ее из предмета искусства в денежную единицу, и у него ничего не вышло. А вы с Марией сейчас сидите на куче денег, которую он нагреб в результате этих попыток. Вы пытаетесь превратить всю кучу обратно в искусство, но не удивляйтесь, если порой это оказывается мучительно больно.

— А ты, Симон, во что вложил душу? — спросила Мария.

Артур ничего не сказал — он задумался.

— Раньше я думал, что в религию. Потому и стал священником. Но религия, которой требовал от меня мир, не работала, и это меня убивало. Не физически, а духовно. Мир полон священников, которых религия убила: сбежать они не смогли или не захотели. Тогда я попробовал науку, и она мне подошла.

— Помню, ты часто повторял нам на семинаре: «Стремление к мудрости — обретение второго рая в сем мире», — сказала Мария. — И я тогда тебе поверила. И до сих пор верю. Это слова Парацельса.

— Действительно. Великого непонятого гения. В общем, я устремился в науку. Точнее, вернулся к ней.

— И она послужила как надо? Точнее, ты ей

послужил?

— Странно то, что чем глубже я уходил в науку, тем больше она становилась похожа на религию. В смысле, на настоящую религию. Полная самоотдача самому важному, но не всегда очевидному. Иногда люди находят это в церкви, но у меня так не вышло. Я нашел искомое в чертовски странных местах.

— Я тоже, Симон. Я все еще ищу. И буду искать. Это единственный путь для таких, как мы с тобой. Но…

> *Плоть немощна, и беспощаден Враг:*
> *Меня смущает Смерти близкой страх.*[393]

Это ведь правда, да?

— Только не для тебя, Мария. Ты еще молода говорить о страхе смерти. Но насчет Плоти и Врага ты права — хоть это и похоже на проповеди Геранта.

— Я иногда думаю об этом, глядя на малютку Дэвида.

— Нет-нет, — вмешался Артур. — С тем покончено. Забудь. Дитя изгладило все былое.

---

**[393] Примечания: 393**

*Плоть немощна, и беспощаден Враг…* — Уильям Данбар (1459/1460–?) — шотландский бард.

— Вот речь истинного Артура! — воскликнул Даркур и поднял бокал. — За Дэвида!

— Простите, что я разнылся, — сказал Артур.

— Ты не ныл. То есть не по-настоящему. Ты просто дал волю вполне законному негодованию. Любой человек имеет право время от времени хорошенько поныть. Это прочищает душу. Очистить грудь от пагубного груза, давящего на сердце, и все такое.[394]

— Шекспир, — сказал Артур. — В кои-то веки я узнал твою цитату.

— Как мы сильно зависим от Шекспира, — заметила Мария. — «Каким питьем из горьких слез Сирен…»[395] Помнишь?

— «Так после всех бесчисленных утрат // Во много раз я более богат», — подхватил Даркур. — Да, это очень подходит. Весьма емко.

— Во много раз я более богат. Точнее, во много раз более, чем был богат дядя Фрэнк, — сказал Артур. — Симон, наверно, ты прав. Я много думаю о золоте. Кому-то ведь надо про него думать. Но

---

**[394] Примечания: 394**

*Очистить грудь от пагубного груза, давящего на сердце…* — Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. III. Перев. М. Лозинского.

**[395] Примечания: 395**

*«Каким питьем из горьких слез Сирен…»* — Шекспир У. Сонет 119. Перев. С. Я. Маршака. См. также примеч. 386.

это не значит, что я — кот Мурр. Симон, мы все крутили в голове ту задумку, про которую ты тогда рассказал. Она как-то больше в духе дяди Фрэнка, ты не находишь?

— Иначе я бы про нее и не заикнулся.

— Ты сказал, что, по-твоему, эти люди в Нью-Йорке рассмотрят наше предложение.

— Если его правильно преподнести. Я думаю, Артур, они тебе понравятся. Коллекционеры, знатоки, но, конечно, не хотят, чтобы их выставили дураками. Ни в коем случае не хотят оказаться укрывателями подделок. Они тоже не коты Мурры. Просто если выплывет, что они хранили откровенную подделку, это не пойдет им на пользу ни в мире искусства, ни в мире бизнеса.

— А что у них за бизнес?

— Компания князя Макса импортирует в Америку вино в огромных объемах. Хорошее. Не какую-нибудь бормотуху пополам с алжирской ослиной мочой. Никаких подделок. Я видел его бутылки и у тебя на столе. Ты, наверно, не замечал его герб на этикетках, с девизом: «Ты погибнешь прежде, чем я погибну».

— Удачный слоган для вина.

— Да, но на самом деле это родовой девиз, и он означает: не пытайся меня обойти, а то по-

жалеешь.

— Я встречал таких людей в бизнесе.

— Но имей в виду, что княгиня тоже занимается бизнесом. Ее специальность — косметика, но очень изысканная и достойная.

— А это тут при чем?

— Это не что иное, как стремление преподносить вещи в их лучшем виде. Именно этого захотят князь и княгиня.

— Думаешь, они потребуют безумных денег?

— Мы живем в век безумных цен на живопись.

— Даже поддельную?

— Честное слово, ты меня доведешь и я тресну тебя по голове этой бутылкой! Которая, кстати говоря, не из погребов князя Макса. Сколько раз тебе повторять, что эта картина — не подделка, не задумывалась как подделка и на самом деле она потрясающе важна, уникальна?

— Я знаю. Я слышал, что ты о ней говорил. Но кто убедит в этом весь мир?

— Я, конечно. Ты забыл про мою книгу.

— Симон, я не хочу тебя обижать, но сколько людей, по-твоему, прочитают твою книгу?

— Если ты примешь мое предложение — сотни тысяч, потому что в ней будет описана жизнь Фрэнсиса Корниша как захватывающее приклю-

чение в мире искусства. Причем очень канадское приключение.

— По-твоему, эта страна — место для великих приключений в мире искусства? Родина людей, которых заботят вопросы души? Ты с ума сошел.

— Да, я так думаю, и нет, я не сошел с ума. Иногда мне кажется, что я опередил свое время. Ты не читал мою книгу. Она, конечно, еще не закончена, и концовка полностью зависит от твоего решения. У этой книги может быть просто фантастическая развязка — в обоих смыслах этого слова. Ты не знаешь, что пробуждает в умах вроде моего долгое созерцание жизни твоего дяди. Артур, ты должен мне довериться. А в таких вещах ты боишься мне довериться, потому что не доверяешь сам себе.

— Я доверился себе в этой истории с оперой. И втянул Фонд Корниша в провальную затею.

— Ты не знаешь, провальная она или нет, и еще долго не узнаешь. Ты, как дилетант, думаешь, что по премьере можно предсказать всю судьбу пьесы. Ты знаешь, что в Сент-Луисе уже интересуются «Артуром»? Если опера не наделает шуму здесь, возможно, она понравится там. И в других местах. Конечно, ты нас подталкивал, чтобы мы ввязались в эту затею. И теперь думаешь, что это

начало болезни так на тебя повлияло. Но толчком к созданию великих произведений, бывало, служили и более странные вещи, чем свинка.

— Ну хорошо. Давайте попробуем. Только осторожно. Я думаю, будет лучше, если теперь я возьму дело в свои руки и съезжу к князю и княгине.

— А я думаю, что ничего подобного делать не следует. Предоставь действовать Симону, он хитрый стреляный воробей.

— Мария, ты заговорила совсем как жена.

— Да, причем лучшая, какая у тебя когда-либо будет.

— Верно. Очень верно, дорогая. Кстати, я подумываю о том, чтобы впредь именовать тебя Лапулей.

Мария показала ему язык.

— Прежде чем вы окончательно погрузитесь в супружеские нежности, смущая посторонних, позвольте указать вам на то, что репетиция оперы, которую Артур решил возненавидеть, уже подошла к концу первого акта. Нам пора идти в театр, чтобы подвергнуться пренебрежению и осмеянию, если уж суждено. А что касается того, другого дела — вы мне разрешаете действовать?

— Да, Симон, разрешаем, — сказала Мария.

Артур, как обычно, в это время подзывал официанта, чтобы заплатить по счету.

## 10

Скоро начнется первое представление «Артура Британского».

Гвен Ларкин по интеркому вещает на все грим-уборные и артистическое фойе: «Леди и джентльмены, занавес поднимется через полчаса. Начало представления через полчаса».

Ранние пташки уже давно готовы. Оливер Твентимэн лежит в кресле-качалке у себя в гримуборной. Он загримирован и полностью одет, за исключением мантии, висящей рядом. Костюмер тактично оставил его одного, давая собраться. А что, если это его последний выход? Кто знает? Конечно, не сам Оливер. Он будет петь, пока его приглашают режиссеры и дирижеры. А его пока приглашают. Но скорее всего, ему больше не доведется воплотить на сцене совсем новую роль. Никто до него не пел Мерлина в «Артуре Британском», и он постарается сделать так, чтобы слушатели его не скоро забыли. И критики тоже — эти летописцы оперной истории, в целом гораздо более правдивые, чем их собратья, имеющие дело с драмой. Когда Твентимэна не станет,

они скажут, что роль Мерлина, созданная им на девятом десятке, — его лучшая работа с тех пор, как он пел Оберона в «Сне» Бриттена. Твентимэну приятно было, что он и в старости остается великим артистом. Преклонный возраст вкупе с великими достижениями — великолепный венец, притупляющий жало смерти.

*…преклонных лет очарованье,*
*Что, словно Севера сиянье,*
*Тебя к могиле приведет…*[396]

Вордсворт знал, о чем говорит. Твентимэн повторил эти строки два-три раза, как молитву. Он часто молился, и порой его молитвы принимали облик цитат.

На сцене Уолдо Харрис вел с Гансом Хольцкнехтом очередную (последнюю, как он надеялся) беседу на тему «волос на полу». Много лет назад — Хольцкнехт не уточнил, сколько именно, и названия оперного театра тоже не открыл, только сказал, что это был один из крупнейших, — в последнем акте «Бориса Годунова» он начал задыхаться. Да так, что едва мог издать звук. Что-то

---

**[396] Примечания: 396**

*…преклонных лет очарованье… тебя к могиле приведет…* — У. Вордсворт, из стихотворения «К юной даме».

попало ему в горло и душило его. Вместо пения его едва не стошнило. В таком положении лучшее в артисте объединяется с лучшим в человеке, чтобы преодолеть препятствие, еще более зловещее оттого, что причина его непонятна. Каким-то образом — по временам Ганс думал, что лишь милостью Провидения, — он спел свою партию, спел хорошо, не фальшивя. Он продержался до конца акта, а потом рванулся в грим-уборную и позвал театрального доктора, который пинцетом извлек у него из горла двадцатидюймовый человеческий волос! Из парика? Из шевелюры какой-нибудь линяющей хористки-сопрано? Но откуда бы ни взялся этот волос, он повел себя со злобой одушевленной твари! Видимо, Ганс вдохнул его, когда, лежа на полу и втягивая воздух могучей грудью, изображал простертого в отчаянии царя. Он до сих пор хранил волос в полиэтиленовом пакетике и показывал его каждому помрежу в каждом театре, где пел, предупреждая о том, что может случиться, если сцену не подметать — и не раз в день, а несколько раз за представление, при каждом удобном случае. Он не хотел показаться надоедливым или невротиком, но певцу грозят опасности, неведомые публике. Ганс выпрашивал у Харриса — со всей весомостью

своей немаловажной роли в труппе — обещание, что сцену будут как следует подметать каждый раз после того, как опустят занавес. Уолдо сочувственно пообещал, мысленно мечтая, чтобы Хольцкнехт раз и навсегда удовлетворился и перестал его дергать.

В суфлерском углу суетилась Гвен Ларкин. Она бы это так не назвала, но сейчас она занималась тем, что переделывала и приглаживала вещи, которые давно уже были сделаны и доведены до совершенства. Сама Гвен была идеальным сценариусом — это значит, что она обладала идеальным вниманием к деталям, была начеку на случай любой накладки и могла ее устранить, а также служила великой утешительницей нервных артистов. Но сама под личиной спокойствия нервничала больше всех.

Сегодня она была одета в дорогой брючный костюм и блузку обманчиво простого фасона. Своих двух ассистенток и трех девиц на побегушках она заставляла одеваться так же — настолько, насколько они были способны приблизиться к ее элегантной простоте. Искусство заслуживает уважения, а уважение выражается в достойном костюме. И пусть некоторые зрители являются в театр в таком виде, словно только что выгребали

навоз из коровника, — это их дело. Но работники театра одеваются с уважением к своей работе. Девиц на побегушках пришлось предупредить насчет звякающих серег и цепочек: конечно, на сцене звяканья не слышно, но оно может отвлекать тех, кто стоит за кулисами.

Суфлерский угол назывался так по традиции: из него, конечно, никак нельзя было подсказывать людям, стоящим на сцене. С него и сцены-то видно не было, разве что совсем маленький кусочек. Но на столе Гвен Ларкин, точной копии стола самого дирижера, лежала полная партитура оперы с мельчайшими деталями постановки — вдруг понадобится быстро что-нибудь проверить. Эл Кран отдал бы ухо за эту партитуру, но Гвен охраняла ее ревностно, как и полную оркестровую партитуру, которая хранилась в сейфе в кабинете Уолдо Харриса.

Гвен Ларкин покрутила кольцо-талисман на безымянном пальце левой руки. Она бы даже под страхом смерти не созналась, что это талисман. Она — Сценариус, ее дело — организованность, а не удача. Но кольцо и в самом деле было талисманом — камея эпохи Возрождения, подарок бывшего возлюбленного. Все девицы на побегушках об этом знали и где-то разжились

собственными кольцами-талисманами, ибо Гвен была их идеалом.

Даркур не слышал, как объявляли полчаса до начала, — в это время он в своем любимом ресторане развлекал двух сиятельных критиков. Артур и Мария начисто отказались делать что-либо подобное, но грань между сиятельным критиком из Нью-Йорка и почетным высоким гостем столь тонка, что Даркур решил все же принять гостей как следует. Сиятельнейшие критики могут съесть и выпить сколько угодно и остаться совершенно беспристрастными. Известны даже случаи, когда такие критики кусали накормившую руку, сами того не замечая. Даркур знал об этом, но решил, что за скромным ужином сможет преподнести критикам кое-какую информацию.

В отношении Клода Эпплгарта, несомненно самого популярного и читаемого из нью-йоркских критиков, семена, безусловно, падали на каменистую почву[397], ибо мистера Эпплгарта, театрального критика с огромным стажем, никакая информация не волновала. Он был по специальности остряк. Именно острот ожидали

**[397] Примечания: 397**

*...семена, безусловно, падали на каменистую почву...* — Ср.: «...иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока» (Мф. 13: 5).

от него читатели — разве его задача не в том, чтобы веселить публику? Он бы не пошел на «Артура», но премьера совпала с его ежегодным визитом на шекспировскую часть Стратфордского фестиваля, и не пойти было бы неприлично. Хотя опера была не его епархией; он был наиболее влиятелен и обычно губителен в жанре мюзикла.

Иное дело был Робин Эдэр, чье слово в отношении оперы было… не то чтобы законом, скорее окончательным суждением ангела-регистратора. Видный музыковед, переводчик либретто, человек потрясающей эрудиции и — редчайшее качество — подлинный любитель оперы, он с интересом выслушал Даркура и принялся его допрашивать, как на суде.

— То, что мне сообщили, настолько туманно, что вызывает еще тысячу вопросов. Если Гофман оставил лишь наброски, насколько полным было либретто? Участвовал ли в его создании Планше? Надеюсь, что нет. Он погубил «Оберона» своей шутливой чепухой. У вас есть связное либретто?

— По словам доктора Даль-Сут, Гофман оставил много больше, чем «наброски». В его записях было много музыки, и вся она вошла в партитуру оперы. Легла в ее основу.

— Да, но что с либретто? Не может быть, чтобы Гофман оставил готовое либретто. Кто его создал?

— Я, как вы увидите из программки.

— Да? А на какой основе? Ваша собственная, оригинальная работа? Вы, конечно, понимаете, что, если эту оперу считать завершением работы Гофмана — когда он там умер, в тысяча восемьсот двадцать втором? — либретто чрезвычайно важно. Оно должно соответствовать самой опере, а это не так просто. Думаете, у вас получилось?

— Не могу об этом судить. Вот что я могу сказать: бóльшая часть либретто заимствована — либо в точности, либо с небольшими изменениями — у поэта, несомненного гения, современника Гофмана и его пылкого единоверца-романтика.

— И это?..

— Я уверен, что вы, с вашей непревзойденной широтой небанальных познаний, немедленно узнаете автора.

— Загадка? Восхитительно! Обожаю загадки. Я подойду к вам после представления и скажу имя поэта, а вы скажете, угадал я или нет.

— А нельзя ли нам еще шампанского? — спросил мистер Эпплгарт. — Слушайте: кто бы ни написал это чертово либретто, на свете не было

еще ни одной хорошей пьесы или мюзикла про короля Артура. Взять хоть «Камелот». Полный провал.

— Ну, теперь это уже заслуженный провал, почти классика, — ответил мистер Эдэр.

— Все равно провал. Я и тогда говорил, и сейчас скажу. Убожество.

— Расскажите мне еще про этот Фонд Корниша, — продолжал мистер Эдэр. — Я так понимаю, это мужчина и женщина с подставным советом директоров. И они желают меценатствовать с большим размахом.

— Не может у них быть денег на действительно грандиозный замысел, — вмешался мистер Эпплгарт, у которого после второй бутылки шампанского несколько улучшилось настроение. — Медичи наших дней! На это все замахиваются. Но в современном мире так уже не бывает.

— Но ведь даже в этом году на деньги меценатов были созданы прекрасные вещи, — возразил мистер Эдэр.

— Слушайте, — сказал мистер Эпплгарт. — Меценатство хорошо работало, когда артисты знали свое место. Некоторые ходили в ливреях. Нынешний меценат — жертва. Артисты распнут его, будут издеваться над ним, пародировать его

и разденут догола, если он с самого начала не поставит себя как следует. Когда Медичи или Эстергази попирали артистов, результаты были прекрасные. Стоит меценатам встать с артистами на равную ногу, и все пропало, потому что артисты не верят в равенство. Они верят только в свое превосходство. Сукины сыны!

И он мрачно наполнил стакан.

— Корниши очень старались оставить артистов в покое во время работы над оперой, — сказал Даркур. — Должен признаться, у них осталось впечатление, что артисты в какой-то степени тяготились их присутствием.

— Меня это совершенно не удивляет, — буркнул мистер Эпплгарт.

— Что поделаешь — артистический темперамент. С творцами порой бывает нелегко, — объяснил мистер Эдэр.

Это прозвучало так, будто он не сомневался: онто занял прочные позиции в мире творчества.

— Уже половина седьмого, — заметил Даркур. — Наверное, пора выдвигаться в театр. Занавес поднимут в семь.

— Терпеть не могу, когда спектакли начинаются рано, — сказал мистер Эпплгарт. — Ужин, считай, испорчен.

— Клод, не ворчи. Как будто ты не знаешь, что это для нашего же блага. Чтобы критики успевали сдать материал в завтрашние газеты.

— Только не в субботу вечером, — отпарировал мистер Эпплгарт, который уже прошел через стадии мрачности и сардонического веселья и теперь, готовясь к работе, вступал в воинственную стадию. — Чертов Артур! Он уже умер, что ж ему даже в могиле не дают покоя?

— Никто не знает, где его могила, — сообщил мистер Эдэр, кладезь информации.

— Сегодня вечером она будет на этой сцене, — сказал мистер Эпплгарт с очевидной уверенностью.

Гвен объявила четверть часа до поднятия занавеса. Из грим-уборных доносился гул, жужжание, иногда — взятая в полный голос нота: это певцы распевались. Слышно было, как с той стороны занавеса прибывает публика — ранние пташки из числа любителей заранее усесться на место и как следует изучить программку. По коридорам мимо дверей грим-уборных ходил Ганс Хольцкнехт, желая артистам удачи. «Hals und beinbruch!»[398] — кричал он, а подвернувшиеся

---

**[398] Примечания: 398**
«Ни пуха ни пера!» *(нем.)*

артисты-мужчины к тому же получали от него на счастье коленом под зад.

За кулисами — где не услышит Гвен Ларкин — Альберт Гринло предавался своей любимой забаве: обучал девиц на побегушках театральному фольклору и традициям. Они стояли вокруг него, пожирая бельгийский шоколад, подаренный чуть раньше Твентимэном, — у того был обычай дарить подарки на премьеру, особенно более скромным членам театральной семьи.

— Не знаю даже, можно ли вам такое слушать, потому что маленьким девочкам не положено знать таких вещей. Но если вы по правде хотите работать в театре…

— Честно, Альберт! Ну расскажи. Ну пожалуйста.

— Ну тогда, конфеточки мои, вам надо знать про критиков. Сегодня в зале присутствуют очень-очень важные люди из этой очень важной профессии. Их, настоящих, можно отличить от обыкновенных простых людей из местных газет. Есть одна верная примета. — Он понизил голос до шепота. — Они никогда не ходят в туалет.

— Во время представления? — спросила самая хорошенькая девица.

– *Вообще никогда*. От колыбели до могилы

— никогда. Никогда ни один человек не видал критика в сортире.

— Альберт, не может быть такого, — недоверчиво сказала девица. Но по голосу было ясно: ей безумно хочется, чтобы это оказалось правдой. Она жаждала чудес.

— Неужели я буду вас обманывать? Я вас хоть раз обманул? Я вам еще кое-что скажу, очень важное, это вам пригодится, когда вы будете женами и матерями. Ну или просто матерями, по нынешней моде. Когда у вас родится ребенок, загляните ему в попку, где должна быть дырочка. Если дырочки нет, значит у вас родился критик.

— Альберт, этого не может быть!

— Факт. Медицинский факт. По-научному это называется неперфорированный анус. И это верная примета критика. Настоящего критика, высокого полета. В университете Джонса Хопкинса есть медицинский музей, и там несколько таких хранятся в банках. Там можно на них посмотреть, и эта их особенность видна так же ясно, как табличка «Нет выхода» над дверью. Мелкие критики, они такие же, как вы и я, — у них выход так же устроен, как и у всех людей. А крупные — нет. Нет, нет и нет. Попомните слова дядюшки Альберта.

— Говорят, Клод Эпплгарт сегодня в зале, — сказала Шнак.

Они с доктором Гуниллой сидели в маленькой грим-уборной для дирижеров. Было очень душно, так как доктор курила свои любимые черные сигары.

— Кто это? — спросила она.

— Его считают самым влиятельным музыкальным критиком в Нью-Йорке. А значит, во всем мире, — сказала Шнак, которая, как все канадцы, благоговела перед Нью-Йорком.

— Я не знаю его имени, — сказала доктор. — И я сморкаюсь ему в волосы, — добавила она, чтобы подбодрить Шнак, охваченную ужасом.

Конечно, сегодня в оркестровой яме стоит Гунилла, но Шнак предстоит дирижировать за сценой. Когда хор запоет за кулисами, именно Шнак будет управлять им, сверяя темп по монитору, где движется серый призрак Гуниллы. Придется размахивать специальной, неудобной штукой — по сути, металлическим стержнем с красной лампочкой на конце. Шнак подумала, что и без того дирижирует не слишком элегантно и уж совсем дурацкий вид принимает, когда машет этой штуковиной, которую хор прозвал волшебной палочкой феи.

Дирижирование! О, это дирижирование! Освоит ли она его хоть когда-нибудь? «Дирижируй либретто, а не музыкой» — так всегда говорит Гунилла. Легко ей говорить. Она высокая, элегантная — романтическая фигура. Шнак чувствовала себя вороньим пугалом в вечернем платье, которое сотворила для нее Далси. Шнак кое-как соскребла бритвой волосы в подмышках, а теперь в произведении Далси подмышек было не видно. Но они болели. Сейчас Шнак с радостью пообещала бы никогда в жизни больше не выступать перед публикой.

— Пять минут, леди и джентльмены. Увертюра и начало представления через пять минут. — Тихий, но отчетливый голос Гвен раздался из громкоговорителя на стене.

— Пожалуйста, пройди на свое место, — сказала доктор.

— Мне нечего делать до конца увертюры.

— Зато мне есть что делать. И я хочу побыть одна.

Даркур стоял в фойе. После объявления о том, что представление начнется через пять минут (Даркур его не слышал, но знал, что оно было), явились необычные зрители — группой, тут же рассыпавшейся на пары и тройки. Они не то

чтобы резали глаз, но были чересчур парадно одеты. Конечно, многие зрители надели сегодня смокинги и фраки, но особо торжественные одеяния новоприбывших напоминали о давно ушедших эпохах. Дамы были в платьях из роскошных материй, впрочем несколько пострадавших от времени и носки. Одну даму украшало перо в волосах, другую — металлическая диадема, усаженная впечатляющими, но не очень убедительными драгоценными камнями. Это была клака Ерко, среди которой возвышался сам Ерко, — его манишка и галстук пожелтели от времени, хвосты фрака свисали до икр. Рядом с ним красовалась мамуся в поддельных драгоценностях и лайковых перчатках, некогда белых, длиной выше локтя. Члены группы держались и двигались с величавостью, какую редко увидишь на североамериканском континенте и никогда — в Стратфорде.

Ерко скользнул по Даркуру равнодушным, неузнающим взглядом.

«Ну что ж, поехали. Помоги нам Господь», — подумал Даркур и пошел на свое место в зале.

**АРТУР БРИТАНСКИЙ**
ОПЕРА В ТРЕХ АКТАХ,

по плану и наброскам Э. Т. А. Гофмана,
завершенная на основе его заметок Хюльдой Шнакенбург
под руководством доктора Гуниллы Даль-Сут
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Артур, король Брита-нии — Ганс Хольцкнехт
Мордред, племянник короля — Гаэтано Панизи
Сэр Ланселот — Джайлз Шиппен
Мерлин — Оливер Твентимэн
Сэр Кей, сенешаль — Джордж Садлоу
Сэр Гавейн — Жан Моран
Сэр Бедивир — Юрий Вольмер
Сэр

Гарет Прекраснорукий Уилсон Тинни

Сэр Лукас, дворецкий Марк Хорребоу

Сэр Ульфиус, распорядитель двора Чарльз Блэнд

Сэр Динадан Марк Люппино

Сэр Дагонет, шут Натком Прибах

Сэр Пеллинор Альберт Гринло

Сэр Паломид Винсент Лемойн

Королева Гвиневра Дональда Рош

Моргана Ле Фэй, сестра короля Клара Интрепиди

Леди Элейна
Марта Ульман
Леди Кларисса-на Вирджиния Пул

Придворные дамы: Ада Боскауэн, Лючия Поцци, Маргарет Кэлнан, Люси-Эллен Озье, Апполин Грейвз, Этейн О'Хара, Эстер Мосс, Мириам Дауни, Хозанна Маркс, Карен Эдей, Минни Сейнсбери

Глашатаи: Джеймс Митчелл, Улик Карман

Свита: Бесси Лаут, Джейн Холланд, Примроз Мейбон, Нобль Гранди, Эллис Кронин, Иден Уигглсворт

Костюмы и декорации – Далси Рингголд, исполнение – мастерские Стратфордского фестиваля

Художник сцены – Уилли Грив

Главный машинист сцены – Дикки Плонт

Осветитель – Уолдо Харрис

Сценариус – Гвенллиан Ларкин

Концертмейстер – Отто Клафски

*Répétiteur* и игра на клавикордах – Уот-

кин Бурк

Режиссер-постановщик – Герант Пауэлл

Дирижер – Гунилла Даль-Сут

*Либретто – Симон Даркур*

при содействии Пенелопы Рейвен и Клемента Холлиера.

Пиарщики блестяще справились со своим делом. Зал был заполнен на приличном уровне, и явно не за счет раздачи контрамарок по общежитиям медсестер и домам престарелых, как иногда приходится делать. Место Даркура оказалось рядом с Клементом Холлиером. Даркуру пришло в голову, что он первый раз видит сего ученого мужа в смокинге. От Холлиера резко пахло каким-то пряным одеколоном или водой после бритья. «Придется весь вечер этим дышать», — подумал Даркур, но тут же отвлекся, ибо свет потускнел и в оркестровую яму прошествовала доктор Даль-Сут. Она пожала руку концертмейстеру и элегантно поклонилась залу.

Зал отреагировал живо. Зрители никогда не видели ничего похожего на Гуниллу — ее мужеподобную красоту, роскошный зеленый сюртук, пышный белый шейный платок. Вечер явно

обещал быть интересным. Можно считать, что представление уже началось.

Гунилла взмахнула палочкой, и раздались первые тяжелые аккорды темы Калибурна. Они уступили твердой, но печальной теме рыцарства, которая развивалась минуты три, пока не дошла до точки, обозначенной в партитуре буквой «D». На этом месте роскошные красные занавеси поехали вверх и назад, открывая короля Артура и Мерлина, стоящих на берегу Волшебного озера.

Тут зрителей ждал сюрприз, к которому они были совершенно не подготовлены. Герант, Уолдо Харрис и Далси Рингголд потрудились на славу, воспроизводя сценические декорации, какими они были в начале девятнадцатого века, то есть во времена Гофмана. От самых огней рампы — ибо на рампе были огни — сцена плавно поднималась на протяжении всех сорока футов сценического пространства. По сторонам стояли шесть пар кулис, изображающих британский лес по весне, каким его мог написать, например, Фюзели[399];

**[399] Примечания: 399**

*...британский лес по весне, каким его мог написать, например, Фюзели...* — Иоганн Генрих Фю́ссли, или Генри Фю́зели (1741–1825) — швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства. Фюзели считается одним из главных новаторов живописи рубежа XVIII–XIX вв., а его творчество — ранним проявлением романтизма в английском искусстве.

в самой глубине сцены, перед роскошным нарисованным задником, бесшумно крутились ролики, наделавшие беды всего несколько дней назад; они создавали эффект тихо колышущихся волн. Сцена была решена в перспективе, на манер девятнадцатого века: не столько в расчете убедить кого-нибудь, что она изображает реальный мир, сколько с желанием, чтобы вышло красиво и хорошо дополняло действие.

«Это объективный коррелят к музыке», — подумал Эл Кран и принялся царапать в блокноте. Он сам был не очень уверен, что значит «объективный коррелят», но предполагал, что это значит что-то такое, что помогает понять что-то другое. Такое объяснение его вполне удовлетворяло.

Зрители, никогда не видевшие ничего подобного, разразились громкими аплодисментами. Канадцы обожают аплодировать декорациям. Но Гунилла, незнакомая с этим национальным обычаем, обернула к зрителям лик горгоны. Она угрожающе зашипела и замахала рукой, чтобы они перестали. Ей неожиданно помогли: там и сям в зале раздалось шиканье, не сердитое, но звучащее мягким упреком. В бой вступила клака Ерко. Отныне и до конца представления она управляла аплодисментами — со знанием

дела и со вкусом. Хлопки затихли, и послышался голос Оливера Твентимэна, высокий и чистый, как серебряный рожок. Он произнес заклинание, пробуждающее силы Калибурна, — они должны были очистить и возвысить жизнь королевского двора, придав новое значение рыцарству. Даркур выдохнул. Опасный поворот пройден удачно. Даркур отдался музыке. Через несколько минут занавес опустился, и увертюра — подлинно гофмановская увертюра, с участием певцов — завершилась.

Занавес тут же поднялся, знаменуя начало первого акта. Сцена представляла зал во дворце короля Артура. Это было прекрасное зрелище, но не особенно наводящее на мысли о рыцарстве: у персонажей не было вида пришибленной святости, характерного для сценических рыцарей. Натком Прибах по приказу Геранта «скакал по сцене и валял дурака» с бильбоке в руках, не слишком бросаясь в глаза. Рыцари не обращали на него внимания. Дамы — «роскошные дойки» Полли Грейвз красовались на сцене, и бюст Примроз Мейбон им не уступал — спели о себе и своем положении в наилучшей оперной манере. Даркур был очень доволен старинной балладой, которую он приладил к гофмановской теме: она

подчеркивала, что корни этой оперы — в английском фольклоре.

*Вот дивный замок Камелот,*
*Веселый Карлеон,*
*В нем наш король Артур живет*
*И нами правит он.*
*Гвиневры мудрость и краса*
*И царственная стать —*
*Спасибо вам, о Небеса,*
*За эту благодать!*

Так поют рыцари.

— Кем стать? — прошипел Холлиер на ухо Даркуру.

— Стать! Ну что вы, слова «стать» не знаете? С-т-а-т-ь! Тсс!

Песню подхватывают дамы:

*Благословен будь их дворец,*
*Где каждый рыцарь – смел.*
*Пусть всех убережет Творец*
*От копий и от стрел.*

Польщенные рыцари в ответ поют нечто вроде программного заявления, и дамы присоединяются к ним:

*За нас ты умер, Иисус,*
*Поправши смертью смерть,*
*Наш знатный род благослови,*
*Нас не оставь и впредь.*

Но им недолго наслаждаться подобной идеологией в духе кота Мурра. Входят король Артур и королева — перед ними шествуют четыре пажа, ведя четырех огромных ирландских волкодавов. Артур рассказывает об откровении, полученном на Волшебном озере:

*Как будто бы читая свиток древний*
*В пещере, под охраною драконов,*
*Под стражею деревьев молчаливых,*
*Я разверну свой план…*

Артур связывает придворных рыцарскими законами, по которым благородству крови должны сопутствовать благородные деяния. Рыцарям подобает быть *bons, sages et cortois, preux et vaillans*[400]. В знак своих благородных устремлений Артур дает обет — служить Христу Рыцарства, а после него, уступая лишь на йоту, —

---

**[400] Примечания: 400**

Добрыми, мудрыми, учтивыми, доблестными и храбрыми *(фр., устар.).*

своей королеве как сосуду своей чести и ножнам Калибурна. Все рыцари приносят подобные обеты своим дамам, и сцена заканчивается.

Зрители встретили ее с горячим одобрением, и Даркур начал понемногу успокаиваться. Но что это? Даркур был готов, а зрители нет, и Даркур не предвидел их ошеломления, когда — безо всякого занавеса и почти без механических звуков — большой зал дворца мгновенно преобразился в часовню по соседству, где Моргана Ле Фэй и ее сын Мордред строили ковы, желая похитить ножны Калибурна. Даркур знал, что произошло: рабочие бесшумно оттянули назад шесть пар боковых кулис дворцового зала, открывая кулисы, изображающие развалины часовни. В тот же миг в глубине сцены опустился новый задник, и огромный зал как будто растаял на глазах публики.

— Да, в девятнадцатом веке кое-что умели, — шепнул Холлиер.

Действительно, подумал Даркур, но ничего не сказал, потому что обожатели декораций опять захлопали, а клака Ерко принялась их утихомиривать. Моргана Ле Фэй с сыном обсуждали свои коварные замыслы. Хорошо излагает, подумал Даркур, когда Мордред — Гаэтано Панизи, роскошный бас, но не слишком импозантная фигура

— выразил презрение к Артуру и его идеалу рыцарства:

*Пусть обопрется он*
*На жизнь свою:*
*На хрупкий промежуток*
*Меж нами и Ничем.*
*На скользкой почве*
*Своего дыханья*
*Рисует он бесцветные мечты*
*И наблюдает стылые надежды.*

Сцена снова мгновенно преобразилась — на сей раз обратно в чертог. Артур заклинает рыцарей отправиться в священный поход на поиски Грааля, который станет сердцем и красой нового, артуровского рыцарства. Артур вздымает великий меч, испрашивая благословения Господня, а Моргана Ле Фэй тем временем крадет ножны. Великолепная сцена, в которой нарастает сила и доблесть, завершается великим «Граалевым хором», почти вагнеровским по широте замысла.

— Все идет хорошо, — сказал Холлиер, пока они с Даркуром выбирались со своих мест.

Но, войдя в комнатку за кабинетом директора театра, они обнаружили там Геранта, который

был в ярости и глотал виски, как воду.

— Эти морлоки что, совсем рехнулись? Какого черта они аплодируют декорациям?

— Это очень красивые декорации, — объяснил Даркур. — Зрители в большинстве своем никогда таких не видели. Подобные декорации были объявлены вне закона лет шестьдесят назад, когда вошла в моду вся эта чепуха, «зрители должны задействовать воображение». Можно подумать, от этого кому-то стало лучше!

— А я думаю, им нравится игра актеров, — не согласился Холлиер. — Помнишь у Байрона? «Я не знаю нематериальной чувственности более прекрасной, чем хорошая актерская игра». Пауэлл, вы наверняка помните: вы ведь обожаете Байрона. Этот коротышка Панизи просто великолепен. И Хольцкнехт, конечно, тоже, но негодяями всегда восхищаешься больше.

У Холлиера явно что-то было на уме. По приглашению Пауэлла он выпил и наконец превозмог застенчивость:

— Герант, насчет выхода на поклон — я полагаю, те, кто работал над либретто, должны будут показаться публике? Не то что мне очень хочется. Я терпеть не могу всякие такие вещи. Но если это обязательно…

— Когда опустится последний занавес, зайдите в служебную дверь, — сказал Герант. — Гвен покажет вам, что делать; времени хватит, потому что хлопать будут долго, я точно знаю. Когда Гвен вытолкнет вас на сцену, вас ослепят огни рампы, так что будьте осторожны и не свалитесь в оркестровую яму. Старайтесь не выглядеть полным болваном, как обычно выглядят либреттисты на сцене, полной актеров. Просто кланяйтесь. Никаких вывертов. И не уходите со сцены, пока все не стихнет.

— Но вы сами там, конечно, будете?

— Может, буду, а может, и нет.

— Но вы режиссер!

— Да, я режиссер. И начиная с сегодняшнего дня, с четырех часов пополудни, я — самый ненужный человек из всех, имеющих отношение к опере. Во мне никто не нуждается. Мое дело сделано. Я совершенно излишен.

— Не может быть!

— Еще как может. Если я прямо сейчас перережу себе горло, действие не остановится и все намеченные представления состоятся без сучка и задоринки.

— Но ведь это ты создал оперу!

— Нет, не я. Ее создали Гофман, Гунилла и Шнак

и все эти певцы и музыканты. И даже вы двое. Я лишь добавил театральные штучки, проституируя искусство. Завлекалово для людей, далеких от музыки.

— Чепуха! — сказал Даркур, который прекрасно видел, что у Пауэлла очередной приступ капризов. — Ты был душой и энергией всей этой затеи. Мы все грелись у твоего огня. Не думай, что мы этого не знаем. Ты незаменим. Так что приободрись.

— Сим-бах, я тебя знаю. Еще минута — и ты начнешь меня ругать за жалость к себе.

— Может быть.

— Ты милый, разумный человек, умеющий держать себя в руках. Тебе не понять душу художника. Ты не знаешь, какая тень за ним тащится: все просеивающий фильтр тщеславия, желчь зависти, узы неправды, ледяными цепями скованной со всем светом, и всей радостью, и всеми хвалебными одами, которые достаются оперному режиссеру. Я истощен и никому не нужен. Я погружаюсь в трясину отчаяния, какую знает лишь художник, закончивший работу. Идите, вы оба! Идите обратно в зал. Плавайте в теплых водах гарантированного успеха. Оставьте меня! Оставьте!

Он уже пил большими глотками прямо из горла.

— Да, пожалуй, нам надо идти, — сказал Даркур. — Я не могу пропустить то, что сейчас будет. Но ты, Герант-бах, постарайся взять себя в руки. Ты же знаешь, мы все тебя любим.

То, что не мог пропустить Даркур, было сценой майского гуляния королевы в начале второго акта. Над этой сценой Пауэлл, Уолдо и Далси трудились много месяцев с немалой изобретательностью. Когда занавес поднялся после краткой, благозвучной прелюдии, зрителям показалось, что они заглядывают в невообразимую глубь рощи боярышника в белоснежном цвету, как в метели. Далеко-далеко в тумане белых цветов появилась королева Гвиневра на вороном коне. Она сидела боком в седле, коня вел в поводу паж. Одна за другой на авансцену выходили придворные дамы в белых плащах, не закрывая приближающейся королевы. Они не пели; казалось, они заколдованы, ибо вся сцена казалась колдовской; музыка то нарастала, то спадала, а дамы в ожидании королевы образовали живописные группы. На дамах были венки из майских цветов. Творилось подлинное волшебство.

Даркур знал, как достигается эффект. Он был на

большинстве репетиций и слышал все обсуждения этой удивительной сцены. Но и его захватила магия. Он понял то, чего не понимал раньше: великое волшебство театра во многом творится самими зрителями; оно неосязаемо, но несомненно; магия начинается обманом зрения, игрой света и краски, но растет и крепнет в отклике аудитории. Не бывает великого представления без великого зрительного зала; и этого барьера не перейти ни кино, ни телевизору, как ни старайся, ибо в них не может быть связи между действием и теми, на кого направлено это действие. Великий театр, великая музыкальная драма творятся каждый раз заново — людьми по обе стороны огней рампы.

Даркур особенно наслаждался волшебной сценой оттого, что знал ее секрет. Уолдо Харрис, в котором с первого взгляда никак нельзя было заподозрить человека с воображением, предложил увеличить глубину сцены, открыв огромные раздвижные двери, которые вели в хранилище и далее в мастерскую. В итоге получилась глубина около ста футов. Не очень много, но умелым применением перспективы это расстояние удалось увеличить. И еще — Уолдо и Далси были так счастливы своей придумкой, что хихикали

несколько дней подряд, — первой королевой Гвиневрой, видимой издалека, была не высокая, статная Дональда Рош, а шестилетняя девочка на пони размером едва ли больше сенбернара. Футах в шестидесяти от рампы карликовая Гвиневра скрывалась в рощице, и вместо нее оттуда появлялась девочка побольше на пони побольше, которого вел паж повыше ростом. Эта Гвиневра, оказавшись в сорока футах от рампы, тоже на миг исчезала в кустах, и вместо нее появлялась уже сама Дональда Рош на вороном коне нормального размера. За ней пажи вели двух великолепных белых козлов с позолоченными рогами. Уолдо и Далси отрабатывали эту иллюзию, утончали ее, пока она не превратилась из простого трюка с перспективой в нечто великое и прекрасное.

Конечно, волшебство было бы неполным без лучших страниц оперы, сотворенной Шнак. В сцене использовались три родственные темы, которые по наброскам Гофмана предназначались для большого музыкального фрагмента. Шнак и Гунилла решили, что эти темы следует развить в прелюдию ко второму акту: они предвосхищали сцены любви и измены, в которых Гвиневра и Ланселот под зловещим влиянием Морганы Ле Фэй вкушают свою любовь и стра-

дают от раскаяния — двойного, ибо Ланселот, околдованный, также возлег с девой Элейной. Но Герант, услышав первые варианты прелюдии, заявил, что она должна стать фоном к майскому гулянию королевы, и сломил сопротивление композиторш, которые, конечно, хотели создать из нее чистую музыку. Именно этот фрагмент на экзамене убедил экзаменаторов (всех, кроме сварливого Пфайфера), что Шнак заслуживает ученой степени доктора музыковедения, а может быть, и много большего.

И вот эти темы стали не симфонической музыкой, но аккомпанементом дивному обману зрения, или, если вам так больше нравится, шедевру сценической магии.

На репетициях кое-кто из певцов роптал, что эта — возможно, лучшая — часть оперы не использует их голоса. Натком Прибах даже назвал музыку «молчаливой», а Ганс Хольцкнехт сказал какую-то колкость про пантомиму. Но представление стало истинным шедевром.

Зрители сидели тихо, как мышки, до самого конца этой сцены — и потому, что клака Ерко потихонечку приучала их не хлопать без подсказки, и потому, что действие и музыка зачаровали их. Когда королева и особые рыцари из ее свиты, но-

сители белых щитов, тихо сошли со сцены туда, где Гвен высвободила особое пространство для всей процессии — королевы, ее коня, рыцарей и дам, то есть немалой толпы, которая тем не менее должна была двигаться без задержек, — зрители разразились трехминутной несмолкающей овацией. Три минуты — это долго для яростных аплодисментов; когда первая минута прошла, Ерко пустил в ход своих людей во всех уголках зала, и их крики «браво!» были так заразительны, что к ним присоединились и посторонние зрители. Но так как эти последние не обучались в европейских оперных театрах, им было не тягаться с профессионалами.

Кажется, кто-то закричал: «Браво, Гофман!»? Да, действительно; это был Даркур.

Гунилла, не привыкшая отвечать на восторги зрителей иначе как ледяным кивком, кланялась и кланялась. Ведь она была великим художником, а подобное признание публики сладостно артисту.

— Ну мы им показали! — крикнул Холлиер на ухо Даркуру. — Теперь они от нас никуда не денутся!

«Мы? — подумал Даркур, хлопая до боли в ладонях. — Кто это „мы“? Ты-то тут при чем?»

Музыку создали Гофман и Шнак, и она прекрасна. Но магия принадлежит Геранту Пауэллу, а еще — Далси и Уолдо, которых он зажег и вдохновил своим чувством театра.

И Гофману. Даркур возвысил голос в честь Гофмана.

Не только Гофмана-композитора, который, может быть, уступал Шнак как музыкант. Но Гофмана, который жил и умер в эпоху, когда романтизм процветал во всех искусствах. В честь истинного духа Гофмана. Именно Гофман был тем «маленьким человечком», которого разбудил Фонд Корниша и иже с ним.

Второй акт шел своим чередом. Сцена у пещеры Мерлина, в которой колдунья Моргана обманом заставляет старика проговориться: Артура уничтожит лишь человек, рожденный в мае. Моргана торжествует, ибо в мае родился ее сын, который приходится сыном также и Артуру, — плод кровосмешения, хотя Артур этого не знает. Роковые слова Морганы:

*Неверный луч*
*Грядущей страшной мысли,*
*Тебя я жду.*
*Приди же. Озари мое сознанье!*

*И ответ Мордреда:*

*Я чувствую, оно растет, растет:*

*Как тень злодея под луною полной.*

*Луна плывет неспешно, прикрываясь*

*Вуалью облака.*

*Оно*

*Сгущается внезапно и зловеще…*

Соблазнение Гвиневры Ланселотом. Его признание в любви и ее горестный крик:

*О нет! Тебе не верю я.*

*Когда ж поверю —*

*То сердце тотчас обратится в пепел.*

Влюбленным Гвиневре и Ланселоту открывается, что дева Элейна, соблазненная Ланселотом под действием чар Морганы, должна умереть от любви, но умереть с радостью:

*О мыслей, взглядов сладкое влиянье!*

*О перемена бытия! Для всех живущих*

*Она как жизнь, что в нас вдохнул Всевышний,*

*В свои несовершенные творенья!*

*Люблю ли я? Люблю?*

*Я шествую в сиянье*
*Всех помыслов любимого,*
*Как будто*
*Окутана божественною славой.*

Ланселот осознает всю глубину предательства, скрытую в его любви, и с горечью принимает неумолимую судьбу:

*О горький час! Я чувствую, как никогда,*
*Величье своего паденья и бесчестья.*

Опера уже полностью захватила зрителей, от которых никто не ожидал восприимчивости к романтике артуровских легенд. Оживленный гул разговоров в антракте радовал сердце.

Но Даркура что-то беспокоило. Он вышел в фойе и поймал Пенни:

— Ты не поменяешься местами с Клемом на третий акт? Мне хочется, чтобы ты хоть часть вечера посидела рядом со мной.

— Красиво говоришь, но я знаю, что у тебя на уме. Я успела пообщаться с Клемом. Уж не знаю, чем он себя полил, но он явно перестарался. Я чуть не задохнулась. Представляю, каково было тебе. «Мирровый пучок — возлюбленный мой у

меня, всю ночь у грудей моих пребывает»[401]. Но я тебя спасу. С радостью. А у нас неплохо вышло, ты не находишь?

«Опять „мы“. Ты-то что сделала? — подумал Даркур. — Несколько часов ныла и критиковала мою работу, и больше ничего».

— Я рискну предположить, что наш Снарк все же чистокровный Снарк, без примеси Буджума. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы хлопали с таким энтузиазмом? И это в Канаде, на Родине Умеренных Восторгов.

— Да, пока все идет неплохо, — ответил Даркур, глядя, как Ерко со слоновьей элегантностью нависает над маленькой, но очень восторженной дамой с оранжевыми волосами. — Пойдем в зал. Третий акт сейчас начнется.

Третий акт был очень похож на то, как его описывал когда-то Герант на неудачном артуровском ужине, устроенном Марией. Только акценты слегка сместились, — видимо, это неизбежно. Ария Мерлина, обличающего негодяя Мордреда, завораживала:

*Твои черты мрачны, как час ночной,*

---

**[401] Примечания: 401**

*«Мирровый пучок — возлюбленный мой у меня, всю ночь у грудей моих пребывает».* — Песн. 1: 12.

*Твой взгляд кромешный предвещает ужас.*

И еще:

*Тебя насквозь я вижу! Так несчастный,*
*Что пьет вино, внезапно замечает*
*Убийцу сквозь отравленный бокал.*

Мордред умирает нераскаянным, как подобает истинному злодею:

*Что время есть и что – сей бренный мир?*
*Всего лишь мысль, мелькнувшая в пространстве,*
*Лишь краткий миг средь хаоса и мрака.*

Но прекраснейшая часть досталась Гансу Хольцкнехту в роли короля. Прекрасный актер и прекрасный певец, он как нельзя лучше сыграл потрясенного Артура, узнающего о кровосмешении, о ненависти своего озлобленного сына Мордреда и — самое страшное для него — об измене любимой жены и любимого друга. Но он взывает к Любви, которая для него превыше радости плотского обладания. Это миг подлинного величия. Последние слова Артура:

*В нем душ сродство и пониманье,*
*В нем уз и нитей сочетанье,*

*В нем сердце с сердцем, ум с умом,*
*Душа и тело – все в одном —*

тронули многих зрителей, к их собственному смущению, до слез.

«Вальтер Скотт очень хорош, но Шнак подняла его на новый уровень, — подумал Даркур. — Интересно, понимала ли она сама, что кладет на музыку? Если да, то для нее, израненного ребенка, есть надежда. Но с музыкантами никогда не скажешь».

По смерти Артура обстановка дворца снова магически растаяла, и зрители перенеслись на берега Волшебного озера, которого не видели со времени увертюры. Но озеро изменилось: теперь над ним царила поздняя осень; желтые листья и редкие снежинки, кружась, падали на сцену, где стояли рыцари, опираясь на мечи. Рыцари пели:

*Несет снежинки ветер злой*
*И мертвые листы.*
*И вдруг родится день златой*
*Из серой темноты.*
*Пробудят духи мертвецов,*

*Что спят в земле сырой,*
*И вот тогда в конце концов*
*Воскреснет наш король.*

Тело Артура — но не живого Хольцкнехта — положили в неглубокий челн, и оно отплыло по водам. Когда челн исчез из виду, Мерлин швырнул ему вслед Калибурн, отныне и вовек надежно вложенный в ножны. Из волн поднялась рука, закованная в доспех, и схватила меч. Снова раздались торжественные аккорды темы, открывшей оперу, и занавес опустился.

После того как все артисты вышли на поклон, Гвен вытолкнула на сцену Пенни, Холлиера и Даркура. Зрители не знали, кто это и почему они на сцене, но после каждой оперной премьеры на поклон выходит несколько никому не известных людей, и зал по широте душевной хлопает и им тоже.

Геранта, на удивление твердо стоящего на ногах, встретили громовыми аплодисментами. Он, кажется, был в превосходном настроении, а во фраке выглядел потрясающе романтично. Он и Гунилла приковывали взгляд в пестрой и, надо сказать, несколько растрепанной толпе на сцене.

Даркур с удовлетворением отметил, что Шнак сделала несколько реверансов и даже не пошатнулась.

## 11

## ЭТАГ в чистилище

*Шампанское! Столько шампанского, но ни капли для меня. Одно из неудобств жизни в чистилище — то, что все плотские аппетиты сохраняются, но без малейшей надежды их утолить. Незримо двигаясь меж людьми на празднестве в честь премьеры моего «Артура», я вижу полнящиеся бокалы и полные бутылки. В силу своего чисто духовного состояния — мы, обитатели чистилища, весьма непорочны, о да, весьма, — я лишен даже слабого утешения, возможности толкнуть кое-кого под руку, опрокидывая бокал на крахмальную манишку или в пышное декольте. И это я, который когда-то хлебал шампанское из пинтовых горшков! Но насколько я понимаю, с тех пор шампанское сделало карьеру в свете, и эти люди пригубливают его с благоговением.*

*Наверно, это ночь моего торжества. Опера, лишь задуманная мною, теперь по-настояще-*

*му закончена, и в целом удовлетворительно. Неужели я самую малость завидую девочке Шнакенбург? Бесспорно, у нее легкая рука в оркестровке и, как мне кажется, пробуждающийся дар к мелодике. Но я не вижу в ней истинно романтического пыла. Пока не вижу. Может быть, он и не придет больше к ней, как пришел к нам, первым восприемникам даруемых им страданий и красоты; к нам, людям, среди которых мне посчастливилось стать предтечей.*

*Понравилось ли мне представление? О, здесь я чувствую, что не могу ответить с уверенностью. Музыканты играли и певцы пели много лучше, чем в мои дрезденские дни. Оркестр был неизмеримо лучше той кучки сброда, с которой мне приходилось мириться, а в этой Даль-Сут есть нечто от даймонического духа, владевшего моим собственным капельмейстером Крейслером. Сценические картины просто завораживали. Певцы — о чудо! — умели играть на сцене и играли, даже когда не пели! Что сказало бы на это семейство Ойнике, трое членов которого участвовали в моей «Ундине»? «Артур» — истинная музыкальная драма, исполненная в единстве стиля и намерения, совершенно невозможном в мое время.*

*Но увы, каждый из нас — создание своего време-*

*ни. В этой постановке мне не хватало привычных (это не обязательно значит хороших) элементов.*

*Взять, например, суфлера. О, эти суфлеры моего времени, родившиеся, кажется, уже стариками, простуженными, имеющими пристрастие к бренди и нюхательному табаку! Все они отличались сварливым характером, все были от макушки до пяток ожесточены тем, что из них не вышло композиторов, певцов, дирижеров! Они сидели скрюченные в своей будке у края сцены, прикрытые от публики изогнутой крышей наподобие ракушки. Над сценой торчала лишь голова, поджариваемая керосиновыми светильниками рампы. Все остальное тело пронизывали ледяные сквозняки, гуляющие под сценой. Каждый раз, когда рабочие открывали люк, чтобы какой-нибудь бог или демон мог возникнуть на сцене, суфлера душила поднятая ими пыль веков. В таком аду суфлер шепотом подсказывал певцам слова и часто задавал тон, нередко — чахоточным голосом, которому отнюдь не помогали нюхательный табак и сценическая пыль, иногда намеренно пинаемая особо злобными актерами прямо в лицо суфлеру!*

*Отчего же я скучаю по суфлерам? Поверьте,*

*иной раз по хворям и лишениям прошлого тоскуешь так же искренне, как по его блеску. Я знавал немало суфлеров и побывал на похоронах многих из них; а эти певцы, столь прекрасные музыканты, что прекрасно управляются без суфлера, кажутся мне поэтому слегка неестественными.*

*И еще мне не хватает жизни за кулисами. «Зеленой комнаты», где проводят время артисты, когда они не нужны на сцене, и где положение артиста в театре можно точнейшим образом вычислить по тому, как далеко он располагается от печки. Но еще более мне не хватает гримуборных, крохотных, пропитанных характерным запахом любимых духов актера, не вполне маскирующим вонь из ночного горшка. Ночной горшок прятался в тумбочке, на крышке которой стояли кувшин и таз, чтобы певец мог помыть руки, если уговорит слугу принести горячей воды из единственно возможного источника — мастерской плотника, расположенной под сценой. Печь в «зеленой комнате» была столь мила бедным обитателям театра, потому что грим-уборные не отапливались, — в лучшем случае там стояла крохотная жаровня для углей, но уголь был дорог и его приносили слуги, которым нужно было давать на чай.*

*Что за романтические сюжеты и восхитительные интриги разворачивались тут! В самых роскошных грим-уборных была кушетка или даже кровать на одного, которая при некоторой изобретательности могла стать кроватью для двоих!*

*Этот красивый театр гораздо лучше любого из виденных мною. Зрители — гораздо вежливее, да, вежливее и лучше воспитаны, чем любые зрители моей эпохи, и, я клянусь, они так восприимчивы к музыке, как я и не ожидал. Им даже и клака не нужна, хотя клака была, и прекрасная. Дух кота Мурра витал в зале — ну конечно, когда же этот сверхреспектабельный филистер отказывался побывать на публичном представлении? — но кот Мурр тоже многому научился за прошедшие века. Его мех обрел новый лоск. Да-да: времена меняются, и кое в чем к лучшему.*

*Но… каждый из нас — создание своего времени. Порой я спрашиваю себя: смотрит ли когда-нибудь божественный Моцарт бесчисленные современные представления своих опер, напичканные психологией и философией? Ощущает ли он странное томление, которое ощутил я, видя свершение своего «Артура»?*

*Услышу ли я «Артура» еще раз?*

*Надо полагать, я мог бы попробовать тут зацепиться, но думаю, что не следует этого делать. Я видел воплощение моего «Артура» и сложности, привнесенные им в жизнь столь многих людей. Мне как художнику следует иметь чувство меры, даже в отношении собственных творений. Кроме того, мне шепнули — не знаю кто, но я слишком тактичен, чтобы спрашивать, — что мое время в чистилище подошло к концу. Ведь я попал сюда из-за незавершенной работы, а теперь она завершена. «Артур» обрел жизнь, и весьма удовлетворительную, а мне пора прочь отсюда.*

*Прощайте, кто бы вы ни были! Помните Гофмана!*

# VIII

## 1

Завершение хитроумной схемы Даркура заняло около трех лет с момента, когда упал финальный занавес «Артура Британского». Правительственные структуры, крупнейшие галереи, искусствоведы, издатели и большие суммы денег движутся очень медленно и думают долго; чтобы убедить их двигаться согласованно, нужны величайшие дипломатия и такт. Но Даркур добился своего и не обзавелся в результате ни язвой желудка, ни тахикардией; ему даже не часто пришлось уединяться, чтобы побиться головой об стену. Он говорил самому себе, что добился своего, идя путем Дурака — весело шагая, доверяясь своему умному носу и покусываниям маленькой собачки-интуиции, указывающим путь, пускай заросший и извилистый.

И вот однажды в декабре, в присутствии вы-

соких гостей, генерал-губернатор Канады[402] официально открыл Мемориальную галерею Фрэнсиса Корниша. По всеобщему — или почти всеобщему — мнению, она стала весьма значительным дополнением к Канадской национальной галерее, увековечившим высокие заслуги всех основателей, и особенно Артура и Марии Корниш, чьи имена как инициаторов и главных организаторов публике не давали забыть. Вклад Корнишей в создание оперы был недооценен, что их вполне объяснимо обидело. Возможно, обида еще не совсем прошла. Но за основание Мемориальной галереи Фрэнсиса Корниша их благодарили — даже слишком сильно, к их смущению.

Конечно, они протестовали. Конечно, их скромность возмущалась, их протесты и негодование были совершенно искренни. Но все же очень приятно, когда тебя чествуют как благодетеля общества, приятно, когда тебя заставляют протестовать. Гораздо приятнее, чем оставаться

**[402] Примечания: 402**

*Генерал-губернатор Канады* — должностное лицо, представляющее в Канаде британского короля или королеву. Канада входит в состав Содружества наций (добровольный межгосударственный союз суверенных государств, объединяющий Великобританию и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты) и признает британского монарха в качестве главы государства.

забытым и недооцененным, а то и слушать обвинения, что ты путаешься под ногами, когда ты всего лишь пытаешься сделать что-то для развития культуры и искусства, ибо нельзя просто так отмахнуться от ненавистного слова, которое так старательно зализывает и приглаживает кот Мурр. Артур и Мария были скромны, и им было приятно лишний раз убедить мир в своей скромности.

Даркур тоже был скромен, но впервые в жизни он вызвал интерес публики, позволяющий проявить эту скромность. Его книга, так давно вынашиваемая биография Фрэнсиса Корниша, вышла в свет годом раньше; ее заметили не только в Канаде, но во всем англоговорящем мире, да и везде, где читают книги о необычных художниках. Не все внимание было лестным, но издатели заверили Даркура, что нападки и презрительные отзывы тоже полезны. Критики не станут биться в эстетической истерике, если предмет истерики не стоит внимания. Не все эти критики специализировались на изобразительном искусстве: некоторые были культурологами, то есть критиками вообще, а кое-кого мазнула миром новомодная юнгианская кисть; они даже читали что-то из Юнга. Этих привело в восторг, а

многих искусствоведов — в ярость предисловие к книге, написанное Клементом Холлиером, специалистом высочайшей репутации в области, где сливаются в объятиях время, искусство и древняя, многослойная человеческая душа. Клем, совершенно бесполезный при работе над оперным либретто, был большой шишкой в мире, где существовал биографический труд Даркура. Знающие люди называли эту область палеопсихологией и историей культуры, и не всякий угнался бы за Клемом на ее непроторенных дорогах. Так Даркур нашел себе надежного толмача в нескольких важных для него мирах, и его все чаще звали в разные места прочитать лекцию — иногда такое приглашение было повесткой в суд, где ему предлагалось произнести речь в свою защиту.

Но все эти приглашения должны были ждать создания, организации и торжественного открытия Мемориальной галереи Фрэнсиса Корниша. А вот тогда, подсказывала Даркуру старая онтарийская поговорка, настанет время и дохлую собаку пополам разрубить.

Ему пришлось нелегко. Сперва нужно было убедить князя и княгиню продать «Брак в Кане» Канадской национальной галерее. Князь и княгиня хотели полной уверенности в том,

что их никогда, ни при каких обстоятельствах не обвинят в хранении фальшивки или в том, что они демонстрировали миру фальшивку как подлинное полотно шестнадцатого века. Они не предлагали картину на продажу, сообщая о ней ложные сведения, но, с другой стороны, они и не опровергали интересную интерпретацию, предложенную в убедительной статье Эйлвина Росса на авторитетных страницах «Аполло». Именно в свете блестящих умозаключений Росса они позволили выставить картину в крупнейшей американской картинной галерее, которая одно время рассматривала возможность ее покупки. Князь и княгиня должны показаться не хитрецами, а нелюбителями говорить лишнее. Это можно было устроить, и это было устроено — силами известнейшего критика Аддисона Трешера, который обелил князя и княгиню, отмыл картину — хотя отвратительное слово «отмывание» не прозвучало ни разу — и установил цену, за которую Фонд Корниша ее приобрел. Возможно, процент от этой внушительной суммы позже перешел в руки Трешера, но, конечно, только справедливо, что он получил награду за свою работу и за свою великую репутацию, устранившую все, или почти все, сомнения.

Но все эти деликатные переговоры меркли перед усилиями, затраченными на то, чтобы убедить Канадскую национальную галерею принять картину сомнительного происхождения и выставить ее в особом зале, хоть и совершенно бесплатно для самой галереи.

Руководители крупных галерей далеко не глупы, но не привыкли думать о живописи в психологическом аспекте. Они охотно признавали красоту картины, но если это работа канадца, созданная менее полусотни лет назад, почему она написана в стиле шестнадцатого века, на аутентичном старинном триптихе, красками, которые невозможно отличить химическим анализом? Да-да, это мастерская работа — в старинном смысле этого слова, то есть работа подмастерья на звание мастера. Но мастера чего? Фрэнсис был учеником — несомненно, лучшим — Танкреда Сарацини, непревзойденного мастера реставрации картин; настолько талантливого, что его подозревали в восстановлении или даже преображении некоторых старинных картин до состояния, намного превосходящего оригинальную работу. У людей, посвятивших свою жизнь и репутацию живописи, одна мысль о подделке вызывает конвульсии. Подделка — сифилис искусства, но

ужасная правда заключается в том, что сифилис, случалось, сподвигал на создание прекраснейших произведений. Ни один искусствовед, ни один директор крупной галереи не осмелится сказать: «Вот прекрасная, духоподъемная, кишащая спирохетами картина — безусловно, шедевр, но двусмысленный, не из тех, что можно спокойно предложить коту Мурру». Для кота Мурра и его единомышленников все должно быть чисто и ясно, чтобы комар носа не подточил. А кот Мурр — весьма популярная персона среди искусствоведов и галерейщиков.

Именно тут веское слово Клемента Холлиера оказалось незаменимым. Если некто хочет написать картину с целью тренировки особых навыков в определенной области, он сделает это стилем, которым владеет лучше всего. Если он хочет создать картину, которая особым образом воплощает его жизненный опыт, исследует миф его жизни в его собственном понимании и, как сказали бы в старину, «образует его душу», он вынужден это делать в стиле, позволяющем подобные аллегорические откровения. После Ренессанса и уж точно после протестантской Реформации художники уже не рисовали подобные картины с откровенностью, характерной

для доренессансной эпохи. Новое время отняло у них словарь веры и мифа. Но Фрэнсис Корниш, желая сотворить свою душу, обратился к стилю живописи и концепциям визуального искусства, которые были ему наиболее созвучны. Он не считал, что обязан быть современным. Более того, в беседах с Холлиером и Даркуром он часто высмеивал понятие современности как глупые цепи, сковывающие фантазию и вдохновение художника.

Следует помнить, добавлял Даркур, что Фрэнсиса вырастили католиком, или почти католиком, и он относился к своей вере настолько серьезно, что положил ее в основание своего искусства. Если Бог — един и вечен, Христос — здесь и сейчас, то различные течения в искусстве — лишь глупые причуды рабов Времени.

Все эти мысли Даркур подробно развил в своей книге, но ему пришлось много раз повторять их лично перед серьезными и недоверчивыми членами разных комитетов.

Большие шишки из Национальной галереи, не без основания считавшие себя хранителями официального художественного вкуса Канады, бекали и мекали. Они выслушали Даркура, поняли его, восхитились ловкостью его аргументов,

но он их не убедил. Они не могли просто так смириться с существованием человека, пишущего в старинном стиле и притом имеющего наглость делать это с мастерством и фантазией, до которых далеко лучшим современным канадским художникам. Он валяет дурака с одной из самых священных идей, еще оставшихся в мире, которому ненавистно само понятие святыни, — с идеей Времени. Он посмел не принадлежать своей эпохе. Такой человек наверняка либо не в своем уме, либо — что гораздо сильнее пугало членов комиссии — издевается над ними. Правительства и искусствоведы боятся шутников, как Сатана — святой воды. А если шутка затрагивает большие деньги, то есть само сердце и основание современного искусства и культуры, страх быстро перерастает в панику, а кот Мурр злобно шипит и плюется.

Но все же Даркур при поддержке верного союзника Холлиера и неизменной помощи Артура и Марии наконец победил. Мемориальная галерея Фрэнсиса Корниша открылась.

Это был один большой зал, посвященный исключительно триптиху «Брак в Кане». На прочих стенах висели материалы, показывающие канадское происхождение картины. Солнечные

картины дедушки Макрори, увеличенные, чтобы можно было разглядеть каждую деталь; жители Блэрлогги; домочадцы дедушки; средневековая изоляция городка, затерянного в лесах. Все это было ясно видно любому заинтересованному зрителю. На одной стене висели аккуратные эскизы Фрэнсиса в стиле старых мастеров — по ним видно было, как он приобретал необыкновенное умение рисовать, нужное для создания большой картины. На третьей стене располагались самые личные рисунки Фрэнсиса — наброски из мертвецкой, торопливые зарисовки Танкреда Сарацини и дедушкиного кучера, несомненно — Иуды и *huissier* с большой картины; приковывающие взгляд, нарисованные с огромной любовью изображения Исмэй Глассон, одетой и раздетой — явной невесты из «Брака». Не все фигуры с большой картины удалось найти на рисунках и в набросках, но бóльшую часть удалось; среди них сильнее всего потрясали фотография Ф. Кс. Бушара, карлика-портного, запечатленного дедушкой, и жалкая фигура голого карлика на бальзамировочном столе, изображенная Фрэнсисом. Даже самый рассеянный зритель не мог не заметить, что это — гордый карлик в парадных доспехах, глядящий с картины.

Артур, Мария и Даркур согласились, что наброски, по которым можно опознать уродливого ангела как Фрэнсиса Первого, выставлять не следует. Не все тайны следует раскрывать.

К выставке прилагался путеводитель с объяснениями, написанный Даркуром, так как творение Холлиера оказалось бы непонятно широкой публике. Но только посетителям, понявшим, о чем говорит весь этот зал, были ясны слова, написанные прекрасным каллиграфическим почерком на стене над великой картиной:

Жизнь каждого мало-мальски стоящего человека представляет собой непрерывную аллегорию. Лишь очень немногим взорам доступна тайна подобной жизни — жизни фигуральной, иносказательной, как Священное Писание.

ДЖОН КИТС[403]

## 2

— Симон, ты счастлив? — спросила Мария. — Надеюсь, что да. Ты столько труда вложил.

Мария, Артур и Даркур ужинали вместе после торжественного открытия мемориальной гале-

---

**[403] Примечания: 403**

*Жизнь каждого мало-мальски стоящего человека…* — Джон Китс, письмо к Джорджу и Джорджиане Китс, февраль 1819 г. Перев. С. Сухарева.

реи. Генерал-губернатора и его свиту с поклонами и благодарностями усадили в машины; князя, княгиню и Аддисона Трешера отвезли в аэропорт и проводили на рейс с обильными заверениями во всяческом почтении (княгиня успела еще раз шепотом поблагодарить Даркура за тактичное умолчание о рисунке старого мастера, сделанном рукой Фрэнсиса и ныне служащем рекламой ее косметических товаров). Клемента Холлиера и Пенни Рейвен довели до рукава, через который шла посадка на другой самолет, в Торонто. Все правители, короли и мудрецы разъехались, и трое друзей наслаждались уединением.

— Настолько, насколько я вообще способен быть счастливым, — ответил Даркур. — Это что-то вроде золотой дымки. Надеюсь, вы тоже счастливы.

— Отчего же нам не быть счастливыми? — сказал Артур. — Нас хвалили, нас превозносили и чесали за ушком совершенно не по заслугам. Я чувствую себя самозванцем.

— Это всё деньги, — сказала Мария. — Наверно, не стоит недооценивать деньги.

— В основном не наши, а дяди Фрэнка, — уточнил Артур. — Сундуки почти опустели. Теперь нужно несколько лет, чтобы резервуар напол-

нился снова и фонд мог сделать что-нибудь еще.

— О, это ненадолго, — заверила Мария. — В банке говорят, года три. Тогда мы сможем еще что-нибудь сотворить.

— А какую роль вы на этот раз выберете? Меч Рассудительности или Млекоточащую Грудь Сострадания?

— Меч, конечно, — сказал Артур. — Грудь только подставь — обязательно кто-нибудь укусит. Не попробовав, не узнаешь, как трудно раздавать деньги. То есть разумно раздавать. Посмотри на нашу галерею. Сколько нам пришлось драться!

— Да, но драться очень интеллигентно, возвышенно. Ловко жонглируя самолюбием разных людей и их разнообразными интересами, причем иногда приходится делать вид, что ты об этих интересах понятия не имеешь. Приходится вертеться ужом, чтобы никому не пришлось из-за выражения благодарности потерять лицо. Спорю на что угодно: если старина Фрэнсис все это видел, он сейчас катается со смеху. Старый черт ценил иронию. А его большая тайна — ангел-идиот, первая попытка его родителей, — осталась тайной, хотя почти наверняка ее рано или поздно разнюхает какой-нибудь любопытный. Эти всё объясняющие стены на деле объясняют далеко

не все.

— Это было приключение, а я всегда жаждал приключений, — сказал Артур. — И опера тоже была приключением. И всем этим мы обязаны дяде Фрэнку, не забывайте.

— Как мы можем об этом забыть? — воскликнула Мария. — Ведь ничего не кончилось. И у Шнак дела идут потихоньку.

— Не так уж и потихоньку, — возразил Даркур. — Да, оперу больше не ставили; пока не ставили, но кое-какой интерес есть. Зато большой главный фрагмент — майское гуляние королевы — уже несколько раз исполняли очень хорошие оркестры, и всегда с упоминанием, что это из оперы. Шнак идет в гору, а Нилла говорит, что возродился даже интерес к Гофману-композитору.

— Знаете, при первой встрече Нилла мне страшно не понравилась, — сказала Мария. — Она так ужасно себя вела на том артуровском ужине. Но она идеальная крестная мать… розовенькая фея-крестная. Она посылает Дэви замечательные деревянные игрушки: поезда, тележки и все такое, и все время просит, чтобы мы привезли его в Париж, повидаться с ней. Не то что этот вонючка Пауэлл. Он пишет иногда, но о мальчике вообще не упоминает. Только о себе, любимом. Надо

сказать, что у него дела идут хорошо. Последняя новость была, что он поставил отличного «Орфея»[404] в Милане. Клем и тот лучше как крестный отец. Он подарил Дэви книгу артуровских легенд с чудными иллюстрациями — Дэви сможет ее читать лет с десяти. А Пенни подарила первоиздание «Охоты на Снарка». По-моему, эти профессора вообще не понимают, что такое трехлетний ребенок.

— Может быть, эти подарки на самом деле для тебя, — сказал Даркур. — «Снарк» — отличная аллегория нашей затеи с оперой, и наш Снарк в конце оказался только наполовину Буджумом.

— У меня так руки и не дошли до этой поэмы, — вмешался Артур. — Симон, я тебя умоляю — просвети меня, темного. Кто такой Снарк? А Буджум? Наверно, мне следует это знать.

— Но если не прочитаешь, так и не узнаешь. Краткая справка: Снарк — это очень привлекательный объект поиска, который, будучи найденным, может оказаться неожиданно опасным — то есть Буджумом. Для неуемных романтических душ, одержимых изыскательством, любой Снарк

---

**[404] Примечания: 404**

*…поставил отличного «Орфея»…* — «Орфей и Эвридика» — опера австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787), созданная в 1762 г. на сюжет греческого мифа об Орфее.

может оказаться Буджумом. Это великолепная аллегория всех приключений в мире искусства.

— Аллегория, аллегория… Да, я знаю, что такое аллегория. Симон, это ведь ты повесил ту цитату из Китса прямо над картиной дяди Фрэнка. «Жизнь каждого мало-мальски стоящего человека представляет собой непрерывную аллегорию». Ты на самом деле в это веришь?

— Неужели я тебя не убедил? Это одно из великолепных озарений, какие часты у Китса в письмах. Оно — из обычного письма к брату и сестре о самых заурядных вещах. Всего лишь кусок письма, но какая в нем мудрость!

— Ты меня уже несколько раз убедил, но я каждый раз почему-то разубеждаюсь. Это очень пугающая мысль.

— Не пугающая, а возвышающая, — поправила Мария. — «Жизнь каждого мало-мальски стоящего человека…» — это заставляет задуматься, стоит ли чего-нибудь твоя жизнь, а если да, то в чем ее невидимая тебе тайна.

— Я лучше соглашусь, что моя жизнь ничего не стоит. Мне не нравится думать, что в ней есть какой-то узор, которого я не вижу и, скорее всего, никогда не увижу.

— Не смей говорить, что твоя жизнь ничего

не стоит, дорогой, — сказала Мария. — Я лучше знаю.

— Заявлять свои права на аллегорию — это как-то несообразно. Все равно что заказать статую себя самого в обнаженном виде со свитком в руке.

— Китс писал второпях, — сказал Даркур. — Он мог бы с тем же успехом сказать, что в основе жизни человека лежит скрытый миф.

— По-моему, от этого ничуть не легче.

— Артур, ты иногда бываешь страшно ненаблюдателен, чтоб не сказать туп, — заметил Даркур. — По-моему, мы уже достаточно накачались этим превосходным бургундским, чтобы я мог задать тебе очень личный вопрос. После всей этой истории с оперой неужели ты даже не догадываешься, каким может быть твой миф? И Марии, и Пауэлла? Это прекрасный миф, и я, как сторонний наблюдатель, могу подтвердить, что вы его очень элегантно воплотили.

— Ну, если считать, что я играю роль Артура… но это же глупо, только из-за имени?.. Тогда Мария должна быть Гвиневрой, а Пауэлл, наверно, Ланселотом. Но мы совсем не похожи на персонажей артуровской эпохи. И где же твой миф?

Даркур хотел заговорить, но Мария его оста-

новила:

— Конечно, ты его не видишь. Ни один герой мифа не видит себя героем мифа. Они не возглашают направо и налево: «Я — герой мифа!» Миф и его героев видят только внешние наблюдатели, вроде Симона и меня. А сами герои думают, что они простые, обыкновенные парни, которые стараются вести себя как следует в любых обстоятельствах.

— Я просто отказываюсь быть героем, — заявил Артур. — Как можно жить, зная, что ты — герой?

— А у тебя нет выбора, — объяснил Даркур. — Ты вылавливаешь миф из глубин, и он тобой завладевает. Может, он на тебя уже давно глаз положил. Подумай про оперу. Как там говорил Гофман? Мария, ты тогда раскопала цитату.

— «Лира Орфея открывает двери подземного мира».

— Он, наверно, был удивительный и необычный человек, — сказал Артур. — Я всегда так думал, хотя, конечно, не мог бы так хорошо сформулировать. Но я по-прежнему не вижу мифа.

— Это миф великодушного рогоносца, — объяснил Даркур. — И жить в нем можно только любовью и милосердием.

Они долго молчали и задумчиво потягивали

вино. Наконец заговорил Артур:

— Я предпочитаю не использовать в отношении себя слово «великодушный».

— Зато я предпочитаю, — сказала Мария.